ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ

Р Е Д А К Ц И Я

В. В. ВИНОГРАДОВ (ГЛАВ. РЕД.), И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН,

С. А. МАКАШИН и М. Б. ХРАПЧЕНКО

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

1 · 9 · М О С К В А · 5 · 9

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО – ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ

ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 5 · 9

ГОД ИЗДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий том «Литературного наследства» посвящен революционным демократам - «шестидесятникам». В книге печатаются новые документальные материалы о Н. Г. Чернышевском, Н. А. Добролюбове, М. Е. Салтыкове-Щедрине, а также о других деятелях первого периода разночинской революционности.

Том открывается публикацией пометок В. И. Ленина на книге Ю. М. Стеклова «Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность» (СПб., 1909). Публикация подготовлена Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Особенное внимание в этих пометках Ленин обращает на практическую революционную деятельность Чернышевского, на его борьбу против самодержавно-крепостнического строя, против либерализма, за крестьянскую революцию в России. В послесловии эти пометки анализируются и сопоставляются с уже известными в литературе высказываниями Ленина о Чернышевском и русском освободительном движении шестидесятых годов.

Большой интерес представляет исследование «Чернышевский в немецкой рабочей печати». Систематическое изучение немецкой социалистической периодики 1868—1889 годов позволило выявить имеющиеся здесь материалы о великом русском революционере. Это выступления С.-Л. Боркгейма — друга и соратника Маркса и Энгельса, статья Августа Бебеля о романе «Что делать?», анонимный некролог Чернышевскому на страницах нелегального издания газеты «Der Sozialdemokrat», одним из редакторов которой был в то время Энгельс, и многое другое. Собранные материалы не оставляют сомнения в том, что к исходу жизненного пути Чернышевского его величие сознавалось демократами и социалистами не только России, но и Западной Европы.

Отдел, посвященный Чернышевскому, содержит также сообщение о не известных ранее статьях его в газете «С.-Петербургские ведомости», новые воспоминания о Чернышевском (Н. Д. Новицкого, Д. Л. Михаловского, С. Б. Сукиасовой-Артемьевой), неизданные письма о нем (А. Н. Пыпина), вновь разысканные документы о Чернышевском в архиве III Отделения. Большинство из этих материалов сосредоточено на наиболее важном в жизни Чернышевского периоде революционной ситуации конца 1850-х — начала 1860-х годов. В частности, в них содержатся новые данные о конспиративной поездке Чернышевского в Лондон для свидания с Герценом.

Раздел, посвященный Н. А. Добролюбову, меньше по объему, но содержит также ценные документы, из них особый интерес представляют «лекции» о русской литературе, которые Добролюбов читал своей ученице Н. А. Татариновой — дочери известного либерального деятеля 1850-х годов. Эти «лекции» отчетливо характеризуют историко-литературные взгляды юного Добролюбова, в частности его суждения о народной поэзии и теории литературы, а также об отдельных писателях. В воспоминаниях К. В. Лаврского раскрывается деятельность Добролюбова по консолидации демократических сил и, что особенно важно, отношение его к Герцену и герценовскому «делу» в знаменательный 1861 год. Здесь же печатаются три не известные ранее заметки Добролюбова, в том числе одна — об А. Н. Островском — являющаяся первым выступлением критика в печати, а также ряд его писем.

Значительное место в томе занимает М. Е. Салтыков-Щедрин. «Литературное наследство» посвятило ему два специальных тома, вышедших в 1933—1934 гг. (тт. 11-12 и 13-14). За истекшие с той поры двадцать пять лет советское щедриноведение не стояло на месте. Оно обогатилось, в частности, полным собранием сочинений и писем писателя, несколькими книгами монографического характера, исследованиями и статьями на отдельные темы. Но что касается документальных публикаций, относящихся к творчеству и жизни Щедрина, то после упомянутых томов «Литературного наследства» их почти не было. Щедринский раздел настоящего тома примыкает к предыдущим и как бы продолжает их.

В центре щедринского раздела — ранее не известные произведения сатирика, в свое время не попавшие в печать по цензурным причинам.

Публикации открываются статьей Салтыкова о Кольцове (1856) в ее доцензурной редакции. Основной интерес этой редакции в том, что она содержит обширное введение программного характера — своего рода «литературный манифест» Салтыкова, вернувшегося из вятской ссылки к писательской работе. Вновь открытый документ,

возникший еще до статей Добролюбова и одновременно с первыми литературно-критическими опытами Чернышевского, может быть отнесен к числу наиболее развернутых выступлений писателя, определяющих его литературные взгляды. Вместе с тем это новая и важная веха в истории эстетики русского критического реализма.

Публикуемая далее позднейшая редакция щедринского очерка «Каплуны», предназначавшаяся для № 1-2 «Современника» 1863 г., позволяет проследить ход работы Щедрина над произведением, очень важным для изучения его мировоззрения. Особенно ценен этот материал еще и потому, что дополнительная работа над уже законченными «Каплунами» была осуществлена после критических замечаний Чернышевского, прочитавшего первоначальную редакцию очерка. Интересной особенностью вновь открытой редакции «Каплунов» является ее концовка — «Философия города Глупова. Краткие наставления глуповским гражданам». Здесь предвосхищаются некоторые темы «Истории одного города».

Существенное значение для уяснения политических взглядов Щедрина середины шестидесятых годов — момент, отмеченный поворотом правительства и общества к реакции — имеет ряд не состоявшихся, но подготовленных для печати полемических выступлений Щедрина 1864 г., публикуемых по сохранившимся корректурам. Это прежде всего новая статья из публицистического цикла Щедрина «Наша общественная жизнь» «Археологи свидетельствуют...». Тема трагической судьбы истинных деятелей России в условиях самодержавия возникла в этой статье как непосредственный отклик Щедрина на гражданскую казнь Чернышевского.

Публикуемый полный текст рецензии на комедию Ф. Н. Устрялова «Чужая вина» обогащает тот важный раздел сочинений Щедрина, где отразилось обострение классово-идеологической и групповой идеологической (в демократическом лагере) борьбы после 1863 г., после крушения надежд на скорое крестьянское восстание.

Три других документа — полемическая статья «Литературные кусты», «сборная» рецензия на книгу «О добродетелях и недостатках» и некоторые произведения «стрижиной литературы», наконец, сатирический фельетон «Наяда и рыбак» — связаны друг с другом хронологически и тематически. Это 1864 год, полемика «Современника» с Достоевским и его журналами «Время» и «Эпоха». Новые материалы составляют важные звенья этой полемики и уточняют не только ее детали, но и общую картину.

Завершается раздел «Неизвестные страницы Щедрина» публикацией его «детской сказки» или «басни» об Александре II и Синоде, не предназначавшейся для печати. Это один из ярких образцов утаенной политической сатиры, сверкающий всеми красками щедринской иронии и сарказма.

В эпистолярной части щедринского раздела публикуется более пятидесяти писем Салтыкова к разным лицам и дается обзор содержания еще около ста его писем к А. Ф. Каблукову и А. М. Унковскому.

Подъем русской демократической литературы и публицистики в шестидесятые годы был теснейшим образом связан с развитием освободительного движения в стране. Изучению этой борьбы посвящены публикации, собранные в последнем разделе тома: «Из истории литературы, общественной мысли и революционного движения 1840—1860-х годов». Первой по важности следует назвать публикацию, относящуюся к мемуарам А. А. Слепцова. Печатаемые документы освещают сложный вопрос об обстоятельствах возникновения «Земли и воли», о роли Чернышевского в организации этого тайного общества, а также о составе и степени достоверности мемуаров А. А. Слепцова, столь затруднявших исследователей революционного движения шестидесятых годов.

Существенный интерес для новой оценки политических взглядов А. П. Щапова представляет публикация его обширного «письма» к кн. П. П. Вяземскому. Документ этот может быть с полным основанием отнесен к наиболее ярким памятникам революционной публицистики шестидесятых годов.

Важное значение имеют материалы для биографии двух выдающихся русских революционеров, вернейших учеников Чернышевского — братьев Александра и Николая Серно-Соловьевичей. Среди других документов здесь публикуется письмо арестованного Николая Серно-Соловьевича к Александру, конспиративно пересланное за границу из Алексеевского равелина Петропавловской крепости.

В последнем разделе тома печатается несколько публикаций, не связанных с деятелями революционной демократии, но представляющих интерес для изучения литературы и общественной мысли сороковых — шестидесятых годов. Таковы письмо К. Д. Кавелина о смерти Николая I, статья А. В. Дружинина, содержащая новые сведения о гибели Лермонтова, комедия Козьмы Пруткова «Торжество добродетели».

Редакция надеется, что при всем богатстве документальных публикаций о революционных демократах шестидесятых годов, появившихся в советскую эпоху, в том числе и на страницах «Литературного наследства», настоящий том явится существенным вкладом в изучение этого замечательного периода.

В редакционной работе над томом принимала участие К. П. Богаевская, подбор иллюстраций — Т. Г. Динесман и Н. Д. Эфрос.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ПОМЕТКИ В. И. ЛЕНИНА НА КНИГЕ Ю. М. СТЕКЛОВА «Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (1909)

Ниже публикуются пометки В. И. Ленина на книге Ю. М. Стеклова «Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность (1828—1889)». СПб., 1909, хранящейся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ф. 2, оп. 1, ед. хр. 2595).

Пометки и замечания В. И. Ленина представляют собой автограф черным, красным и синим карандашами.

Пометки были сделаны Лениным не ранее октября 1909 г. и не позднее апреля 1911 г. Они свидетельствуют о большом интересе Ленина к вопросам развития русской общественной мысли, к жизни и деятельности великого русского революционера и мыслителя Чернышевского. Эти замечания неразрывно связаны с произведениями Ленина, в которых рассматриваются освободительное движение в России, взгляды и деятельность Чернышевского.

Многочисленные ленинские пометки на книге Стеклова относятся к философским, экономическим и политическим взглядам Чернышевского, к его художественным произведениям, а также к общественному движению в 60-е годы XIX века.

В своих пометках и замечаниях Ленин отмечает как сильные, так и слабые стороны мировоззрения Чернышевского, подчеркивает его революционный демократизм, вскрывает утопический характер социалистических идей Чернышевского. Особенное внимание Ленин обращает на практическую революционную деятельность Чернышевского, на его борьбу против самодержавно-крепостнического строя, против либерализма, за крестьянскую революцию в России.

Публикуемые пометки Ленина дают новый, богатейший материал для изучения и освещения передовой русской общественной мысли, для правильного понимания исторического значения деятельности Чернышевского.

* * *

Публикация подготовлена В. Я. Зевиным и А. Г. Хоменко при участии М. В. Стешовой.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

Ю. М. СТЕКЛОВ. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1828—1889), СПб., 1909

Глава I

МОЛОДОСТЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО.— УНИВЕРСИТЕТ.— ЖЕНИТЬБА

⟨11⟩* ...Как мы увидим дальше, Чернышевский своеобразно переработал и претворил положения утопического социализма. Пытаясь объединить их с выводами гегельянской философии, с материалистическим мировоззрением и с критикой существующих экономических отношений, Чернышевский самостоятельно стал на путь, приближавший его к выработке системы научного социализма. Но создать такую цельную систему ему не удалось. С одной стороны, этому помешал насильственный перерыв в его литературной деятельности, вызванный его арестом и ссылкой; с другой стороны, неразвитость общественных отношений в тогдашней России лежала на нем тяжелым балластом и не давала ему возможности развить до логического конца свои взгляды. Карл Маркс, который за три года до Чернышевского приступил к изучению социальных систем (1843 г.), жил в другой обстановке и сумел сделать то, чего не суждено было сделать Чернышевскому. По силе же своего ума и по разносторонности знаний «великий русский ученый и критик», как назвал его Маркс, вряд ли уступал основателю научного социализма...

Глава II

ОБЩИЙ ОЧЕРК ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

⟨29⟩ ...Гоголь, напротив, принадлежит к числу тех писателей, любовь к которым требует одинакового с ними настроения души, потому что их деятельность есть «служение определенному направлению нравственных стремлений». Если у таких писателей, говорит Чернышевский, есть враги, то есть и многочисленные друзья; и ⟨30⟩ никогда незлобивый поэт не может иметь таких страстных почитателей, как тот, кто, подобно Гоголю, питая грудь ненавистью ко всему низкому, пошлому и пагубному, враждебным словом отрицания против всего гнусного проповедует любовь к добру и к правде. «Кто гладит по шерсти всех и всё, тот кроме себя не любит никого и ничего; кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления зла. Кого никто не ненавидит, тому никто ничем не обязан»...

*bien dit!***

⟨31⟩ ...Близилась отмена крепостного права, и крестьянский вопрос был поставлен на очередь дня. Интересы высших классов защищались правительством, дворянскими организациями и боль-

---

* В ломаных скобках указаны страницы книги.— *Ред.*

** хорошо сказано! (франц.).

шинством литературы; только интересы крестьянских масс не находили искренних и бескорыстных защитников. И вот Чернышевский, очертя голову, ринулся в бой как с открытыми и лицемерными защитниками интересов крепостников, так и с представителями нарождающихся буржуазных тенденций. В «Современнике» за 1857—59 гг. появился ряд блестящих ⟨32⟩ статей и исследований Чернышевского, в которых со смелостью, необычной для того времени, отстаивались интересы трудящихся масс и разоблачались лицемерие и злая воля господствующих классов... ? NB

...Так как с отменой крепостного права русское общество из феодально-крепостнического превращалось в буржуазное, то Чернышевский поставил себе задачей дискредитировать в глазах передовых элементов самые основы буржуазного строя и вместе с тем показать, что против этого строя, осужденного лучшими умами на Западе, давно уже ведется борьба, направленная к полному его уничтожению и к замене его новым общественным устройством, основанным на началах человеческой солидарности. С этой целью Чернышевский написал ряд блестящих статей, из которых укажем статьи «Экономическая деятельность и законодательство», «Капитал и труд», «Июльская монархия», «Кавеньяк» и пр. В этих же статьях и в целом ряде других Чернышевский старался разоблачить буржуазный либерализм и показать, что он неспособен даже довести до конца свою собственную борьбу с абсолютизмом и пережитками феодального строя и что он по существу является представителем ⟨33⟩ интересов крупных собственников, будучи принципиально враждебен интересам трудящихся демократических масс... NB

...Чтобы подвести фундамент под мировоззрение складывающейся юной русской демократии, Чернышевский воспользовался ⟨34⟩ появлением брошюры Лаврова «Очерки вопросов практической философии» и написал свою блестящую статью «Антропологический принцип в философии», в которой излагал основные положения фейербаховского материализма и подвергал безжалостной критике идеалистическое мировоззрение... NB

...Можно сказать без преувеличения, что не было ни одного крупного политического вопроса, интересовавшего русское общество, на который Чернышевский ⟨35⟩ не спешил бы откликнуться своим разумным и авторитетным словом. Он писал о демократии и централизации, об отношениях между русинами и поляками в Галиции, между поляками и малороссами, об университетском вопросе (по поводу студенческих беспорядков 1861 г.), о либерализме и демократизме, о попытках преобразования русского государственного строя, полемизировал с реакционерами и либералами, славянофилами и Герценом и т. д., и т. д. Мощный ум его все время горел ярким светом, освещая пути грядущим поколениям. Он критиковал и наставлял, бранил и советовал, не щадя своих сих, гордо и сознательно идя навстречу своей неизбежной гибели. Прометей русской революции, как удачно называет его Русанов[1], не жалел себя, отстаивая счастье родного народа и расчищая дорогу для грядущих борцов... NB *не совсем!*

[1] Н. Русанов — Социалисты Запада и России, СПб., 1908, стр. 286.

⟨37⟩ ...Реакционеры, враждебные эмансипации женщины, как и раскрепощению личности вообще, инсинуировали, будто Чернышевский в «Что делать?» проповедует так наз. «свободную любовь»[1]. Разумеется, это клевета или органическая неспособность понять психологию новых свободных людей...

⟨38⟩ ...Мы знаем, что Чернышевский некогда мечтал об ученой карьере. Но скоро он убедился, что будет гораздо полезнее NB ||| русскому народу на другом поприще. Этот демократ по убеждению и боец по темпераменту не мог удалиться на холодные вершины академической науки в то время, когда кругом закипала жизнь и чувствовалась необходимость осветить широким слоям русского общества смысл совершавшихся вокруг них и подготовлявшихся событий...

⟨41⟩ ...Лессинг и симпатичен Чернышевскому как великий просветитель немецкого общества в эпоху перелома, мощно пролагавший пути грядущему. Для Лессинга Чернышевский готов даже сделать исключение из устанавливаемого им общего социологического закона, говорящего о второстепенной и подчиненной роли литературы. «Пусть политика и промышленность шумно движутся на первом плане в истории, история все-таки свидетельствует, что знания — основная сила, которой подчинены и политика, и промышленность, и все остальное в человеческой жизни». Несколькими строками ниже Чернышевский, впрочем, ограничивает свое положение. Он указывает, что «несмотря на все пристрастие греков к поэзии, ход их жизни обусловливался не литературными влияниями, а религиозными, племенными и военными стремлениями, впоследствии, кроме того, политическими и экономическими вопросами. Литература была, подобно искусству, лучшим украшением, но только украшением, а не основной пружиной, не главной двигательницей их жизни. Римская жизнь развивалась военной и политической борьбой и определением юридических отношений; литература была для римлян только благородным отдыхом от политической деятельности. В блестящий век Италии, когда она имела Данте, Ариосто и Тассо, также не литература была основным началом жизни, а борьба политических партий и экономические отношения: эти интересы, а не влияние Данте, решали судьбу его родины и при нем, и после него. В Англии, гордящейся величайшим поэтом христианского мира и таким числом первостепенных писателей, какого не найдется, быть может, в литературах всей остальной Европы вместе взятых,— в Англии от ⟨42⟩ литературы никогда не зависела судьба нации, определявшаяся религиозными, политическими и экономическими отношениями, парламентскими прениями и газетной полемикой: собственно так называемая литература всегда имела второстепенное влияние на историческое развитие этой

[1] См., например, гнусную брошюру проф. одесского университета П. П. Цитовича, вышедшую в 1879 г. под заглавием «Что делали в романе „*Что делать?*"».— Серия клеветнических брошюр этого пасквилянта, направленных против «нигилизма», обратила на него внимание правительства, которое в 1880 г. дало ему субсидию на издание антиреволюционной газеты «Берег». Этот прототип «России» и «Русского знамени» никакого успеха не имел, а издание скоро закончилось плачевным фиаско и, кажется, растратой.— Выдержки из этой брошюры, к сожалению, очень неполные, см. в книге *Н. Денисюка* — «Критическая литература о произведениях Н. Г. Чернышевского». Москва, 1908 г.

КНИГА Ю. М. СТЕКЛОВА «Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», СПб., 1909. ЭКЗЕМПЛЯР С ПОМЕТКАМИ В. И. ЛЕНИНА

Титульный лист

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Москва

Ю. М. Стекловъ.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКІЙ,

ЕГО ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

(1828—1889).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія т-ва „Общественная Польза", Большая Подъяческая, № 39.

1909.

страны. Таково же было положение литературы почти всегда, почти у всех исторических народов»[1].

Но для Лессинга Чернышевский готов сделать исключение из этого общего правила. Правда, говорит он, таких исключений, когда литература является главной двигательницей исторического развития, очень немного, и эпоха Лессинга как раз является одним из таких исключений. От начала деятельности Лессинга до смерти Шиллера, в течение 50 лет, развитие одной из величайших европейских наций, будущность стран от Балтийского до Средиземного моря, от Рейна до Одера, определялась литературным движением. Почти все другие социальные факторы не благоприятствовали развитию немецкого народа. Одна литература вела его вперед, борясь с бесчисленными препятствиями.

Здесь в Чернышевском заговорил просветитель, здесь уверенность в могуществе разума и силе знания взяла в нем перевес над его материалистическими взглядами в социологии. Типичный просветитель Лессинг был особенно дорог Чернышевскому еще и потому, что он напоминал ему во многих отношениях Белинского, а эпоха Лессинга напоминала ему 40-ые и 50-ые годы русской истории. В том и другом случае это был «период бури и

[1] Сочинения, т. III, 586 и сл.

натиска», и вполне извинительно увлечение просветителя другими просветителями[1].

⟨45⟩ ... Чтобы составить себе понятие о миросозерцании Чернышевского, приходится (быть может, несколько искусственно) соединять отдельные его суждения и мысли, высказанные по различным поводам в разрозненных статьях и заметках и потому иногда противоречащие друг другу или недодуманные до логического конца. И тем не менее внимательное изучение полного собрания сочинений Чернышевского приводит нас к глубокому

NB ||| убеждению, что он обладал довольно цельным материалистическим мировоззрением, которое старался проводить при обсуждении всех вопросов, как теоретических, так и практических...

Глава III

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЧЕРНЫШЕВСКОГО. — МОРАЛЬ РАЗУМНОГО ЭГОИЗМА

⟨47⟩ ...На Западе эволюция левого гегельянства привела к Фейербаху, который заложил основу материалистической философии. «Тем,— говорит Чернышевский,— завершилось развитие немецкой философии, которая теперь в первый ⟨48⟩ раз достигла положительных решений, сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической трансцендентальности и, признав тождество своих результатов с учением естественных наук, слилась с общей теорией естествоведения и антропологией»[2].

*Ср. Engels Feuerbach versus ΣΣ**

⟨49⟩ ...Основным вопросом философии является вопрос об отношении между мышлением и бытием. Идеализм признает ||примат|| духа над природой, материализм утверждает примат природы или материи. В этом отношении Фейербах шел навстречу материализму, отвергая идеализм ⟨50⟩ Гегеля с его абсолютной идеей[3]. По его словам, «истинное отношение мышления к бытию

*не точно! NB ср. Feuerbach***

---

[1] В этом отношении Чернышевский иногда доходит до преувеличений, не свойственных его обычному строгому реализму. Так, противодействие чиновников народной трезвости он объясняет тем, что «они дурно воспитаны и слишком мало учились» (Соч., IV, 396). Но такие утверждения встречаются у него редко.

?

[2] Очерки гогол. периода. Соч., II, 162.

[3] Попытка *Ланге* доказать, что Фейербах не был материалистом («История материализма», СПб., 1899, т. 2, стр. 394 и сл.), не выдерживает критики. См. Плеханов — Основные вопросы марксизма, СПб., 1908, стр. 7 и сл.; *его же* — За двадцать лет, изд. 3, СПб., 1909, стр. 271 и сл.

* Энгельс
Фейербах
по отношению к
общему итогу (нем.) ⟨Очевидно Ленин имеет в виду работу Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах, т. II, 1955, стр. 368 — 370). — *Ред.*⟩.

** Очевидно Ленин имеет в виду упомянутую работу Ф. Энгельса (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах, т. II, стр. 349—351).— *Ред.*

есть следующее: бытие — *субъект*, мышление — *предикат*. Мышление обусловливается бытием, а не бытие — мышлением. Бытие обусловливается самим собою... имеет свою основу в самом себе»...

⟨53⟩ ...Прежние теории нравственных наук, говорит Чернышевский, лишены были всякого научного значения благодаря пренебрежению к антропологическому принципу. Что же это за антропологический принцип? «Антропология,— отвечает Чернышевский,— это такая наука, которая, о какой бы части жизненного человеческого процесса ни говорила, всегда помнит, что весь этот процесс и каждая часть его происходит в *человеческом организме*, что этот организм служит материалом, производящим рассматриваемые ею феномены, что *качества феноменов обусловливаются свойствами материала*, а *законы*, по которым возникают феномены, есть *только особенные частные случаи действия законов природы*» (курсив наш). NB

Здесь совершенно определенно выставлен основной принцип фейербаховского «гуманизма», принимающего как отправной пункт новой философии действительного, чувственного человека...

⟨58⟩... Такова была эта знаменитая статья, которая впервые в русской литературе определенно излагала основные начала фейербахова материализма, доведенного у Чернышевского до крайних логических выводов. Мы не станем рассматривать здесь вопроса о том, не вкрались ли в аргументацию Чернышевского детальные ошибки или преувеличения; важно то, что в ней с редкой последовательностью отстаивался материалистический взгляд на природу вообще и на человека в частности. Эта статья была философским манифестом «новых людей», разночинской интеллигенции — и так на нее и взглянули враги революционной демократии... NB

⟨59⟩ ...«Отеч. Записки» сгруппировали возражения, сделанные Юркевичем против Чернышевского [1]. Они сводились к тому, что 1) Чернышевский не знает философии; 2) что он смешал применение естественно-научного метода к изучению психических явлений с самим объяснением душевных явлений; 3) что он не понял важности самонаблюдения как особенного источника психологических познаний; ⟨60⟩ 4) что он «перемешал (?) метафизическое учение о единстве материи»; 5) что он допустил возможность превращения количественных различий в качественные; 6) наконец, «вы допустили, что всякое воззрение есть уже факт науки, и таким образом утратили разницу жизни человеческой от животной. Вы уничтожили нравственную личность человека и допускаете только эгоистические побуждения животного»[2]. NB

На это Чернышевский отвечает, что все те же самые смертные грехи, которые Юркевич открывает в нем, семинарские тетрадки открывают в Аристотеле, Бэконе, Гассенди, Локке и т. д.,— сло-

---

[1] Своей статьей против Чернышевского «скромный» профессор Киевской духовной академии Юркевич сделал карьеру: Катков и Леонтьев вскоре устроили ему перевод на кафедру философии в Москву. Вместе с тем этот несчастный человек таким образом обессмертил свое имя. Можно ли только позавидовать такому бессмертию?

[2] Как увидим ниже, аналогичный аргумент почти через сорок лет приводит г. Иванов в своей «Истории русской критики». Недурно?

вом во всех философах, которые не имели чести принадлежать к цеху идеалистов...

⟨63⟩ ...По всему складу своего последовательного и цельного ума Чернышевский органически не мог бы примириться ни с какой философской системой, в основе которой лежал дуализм. Он признавал только монизм. Но монизм может быть идеалистическим или материалистическим. И, конечно, Чернышевский как по своим личным стремлениям, так и по условиям исторической обстановки, должен был сделаться сторонником материалистического монизма. Идеализм по своему существу созерцателен; материализм же — система действенная, соответствующая периодам общественного подъема и классам революционно настроенным. Вместе со всем своим поколением Чернышевский естественно стал на точку зрения материалистического монизма ...

?

⟨66⟩ ...Чернышевский, связывавший философское мировоззрение с определенными практическими стремлениями, понимал, что новейший материализм является философией рабочего класса...

NB ||

⟨71⟩ ...Этика Чернышевского сильно напоминает этику Фейербаха; скажем поэтому несколько слов о последней. Как замечает Энгельс[1], этика Фейербаха по форме реалистична, по существу же своему совершенно абстрактна...

⟨74⟩ ...Чернышевский продолжает свою аргументацию. Человек, проводящий целые недели у постели больного друга, приносит свое время и свою свободу в жертву *своему* чувству дружбы: это «свое» чувство в нем так сильно, что, удовлетворяя его, он получает бóльшую приятность, чем получил бы от всяких других удовольствий и даже от свободы; а нарушая его, оставляя без удовлетворения, чувствовал бы больше неприятности, чем сколько получает от временного стеснения своей свободы. То же можно сказать об ученых, отрекающихся от личной жизни во имя интересов науки, или о политических деятелях, «называемых обыкновенно фанатиками»,— поясняет Чернышевский, т. е. о революционерах...

NB |||

⟨82⟩ ...Теория разумного эгоизма не должна вводить нас в заблуждение. Это на первый взгляд индивидуалистическое учение в действительности насквозь проникнуто общественным характером. Важна не форма, а содержание «разумного эгоизма» — и, как мы видели выше, Чернышевский и его последователи решали все относящиеся сюда спорные вопросы в социальном духе, в смысле служения общественным и общечеловеческим интересам. В основе морали разумного эгоизма лежит идея долга, но долга свободного, идея выбора, соответствующего внутреннему, органическому благородству. «Быть защитником притесняемых или защитником притеснений,— выбор тут не труден для честного человека»[2]. Теория разумного эгоизма — это и есть *мораль честных людей*, мораль революционного поколения 60-х годов...

> ||

? ×

[1] *Энгельс.* От классического идеализма и пр., стр. 35 и сл.— Энгельс зло вышучивает этику Фейербаха, утверждая, что по его морали биржа — высший храм нравственности, если только спекуляция ведется с правильным расчетом. Это, конечно, полемический прием, но он удачно вскрывает абстрактность и неисторичность фейербаховской морали.

?

[2] Сочинения, IV, 475.

Глава IV

ЭСТЕТИКА И КРИТИКА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

⟨93⟩ ...Исполненный сил и надежд представитель начинающей свою историческую карьеру революционной демократии решительно отказывается признать идеалистический взгляд, видящий в трагическом закон вселенной. И здесь он пытается стать на «антропологическую» точку зрения...

⟨104⟩ ...Эстетические вопросы были для него только полем битвы, на котором юный революционер мысли давал первое сражение ненавистному старому миру, ненавистному со всеми его политическими и экономическими учреждениями и со всей его идеологией и моралью. В своей диссертации, «где под несколько схоластической формой бурлит жажда жизни, работы, земного счастья»[1], Чернышевский выступил в качестве выразителя идей и настроения разночинной интеллигенции, в то время (после Крымской войны) смело выходившей на историческую сцену с развернутым знаменем протеста...

Глава V

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

⟨135⟩ ...Если вспомнить, что Чернышевский жил в эпоху глухой европейской реакции, наступившей вслед за подавлением революционного движения 1848—49 гг., что во Франции торжествовал Наполеон III, в Австрии был восстановлен абсолютизм, Пруссия изнывала в тисках феодальной реакции, Италия тщетно стремилась к своему освобождению, Россия собиралась только разделаться с крепостным правом, если вспомнить, что в Европе политическое оживление начало наступать только после австро-итальянской войны 1859 года, а в наличность серьезных революционных сил в России Чернышевский, как мы увидим ниже, не верил, то мы поймем, что его объективизм должен был сплошь и рядом приводить его к безотрадному пессимизму. И тем не менее Чернышевский считал долгом чести не скрывать от себя и своих читателей всей правды, как бы горька она ни была, и никогда не признавал положения: «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»... ?

⟨145⟩ ...Итак, Чернышевский рекомендовал оптимистическое отношение к жизни именно на основании того, что *в наше время главная движущая сила истории — промышленное направление.* «Начать хотя с того,— говорит он,— что это стремление дельное, а не праздное; стремление, вовсе не имеющее в виду ничьей погибели — правда, оно губит многих, но только мимоходом, нечаянно, а не по умыслу, как многие из прежних стремлений (здесь Чернышевский из-за сочувствия к развитию производительных сил, обеспечиваемому капитализмом, и из-за вражды к крепостничеству и абсолютизму впадает даже в некоторое преуменьшение губительной роли современной индустрии, отчего он вообще был свободен). Если войны, дипломатические соперничества

[1] *Андреевич* — Опыт философии русской литературы. СПб., 1905, стр. 249.

приносили свою пользу, если даже уничтожение Нантского эдикта принесло свою пользу, как открывается при точном исследовании, как же не принесет пользы мирное и трудолюбивое промышленное направление нашего века? Быть может, иным из нас приятнее было бы господство какого-нибудь более возвышенного стремления,— но чего нет, того нет, а из того, что есть, более всего добра приносит промышленное направление. Из него выходит и некоторое содействие просвещению, потому что для промышленности нужна наука и умственная развитость; из него выходит и некоторая забота о законности и правосудии, потому что промышленности нужна безопасность; из него выходит и некоторая забота о просторе для личности, потому что для промышленности нужно беспрепятственное обращение капиталов и людей. Победы Наполеона в Испании и Германии принесли некоторую ⟨146⟩ пользу этим странам, как же не принесут некоторую пользу победы фабрикантов и инженеров, купцов и технологов? *Когда развивается промышленность, прогресс обеспечен. С этой точки мы преимущественно и радуемся усилению промышленного движения у нас*». И дальше Чернышевский с восторгом отмечает несколько новых фактов из области промышленного развития: основание нового пароходного общества по Волге и ее притокам, сельскохозяйственную выставку в Киеве и т. п.[1]...

NB

⟨147⟩ ...После вышесказанного нас, конечно, не удивит, когда мы услышим от Чернышевского, что в основе политического брожения обыкновенно лежит недовольство социальное[2]. Нас не поразит его фраза, как бы выхваченная из брошюр Маркса 1848—49 года, что «соль и вино участвовали в падении Наполеона, Бурбонов и Орлеанской династии»[3]. И мы не удивимся, читая у него рассуждение о причинах падения Рима, которое он вслед за Плинием объясняет изменением земельных отношений: «большепоместность разорила Италию — latifundia perdidere Italiam»[4]...

*Ср. Плеханов**

⟨152⟩ ...В статье «Капитал и труд» Чернышевский показывает, что в основе древней истории лежала борьба классов. В Афинах, по его мнению, в этой борьбе преобладал чисто политический элемент: эвпатриды и демос боролись почти исключительно за или против распространения политических прав на массу демоса[5]. В Риме гораздо сильнее выступает на первый план борьба

---

[1] Современное обозрение (ноябрь 1857 г.). Соч., III, 561—2. Ср. «Заметки о журналах» (ноябрь 1856 г.), где Чернышевский «важнейшим из всех улучшений» после Крымской войны признает «принятие мер к построению обширной сети железных дорог». Соч., II, стр. 653.

[2] Июльская монархия. Соч., VI, 63.

[3] Кавеньяк. Соч., IV, 33.

[4] «Капитал и труд». Соч., VI, 15.

[5] Совершенно ясно, что Чернышевский здесь ошибается, но это ошибка случайная, так как он же обыкновенно доказывает, что в основе политической борьбы лежит столкновение экономических интересов.— Впрочем, и у Энгельса мы встречаем такую фразу: «По крайней мере, в новейшей истории государство, политический строй является подчиненным элементом, а гражданское общество, область экономических отношений имеет решающее значение» (loc. cit., 57). Будто так обстоит дело только «в новейшей истории»? Это, конечно, обмолвка. Не будем же особенно строги к аналогичным обмолвкам Чернышевского. >

* Г. В. Плеханов в своей работе «Н. Г. Чернышевский» приводит это же высказывание Чернышевского о причинах падения Рима (см. «Социал-демократ». Литературно-политическое обозрение, кн. 1. Лондон, 1890, стр. 109 и отд. изд.: СПб., 1910, стр. 164).— *Ред.*

за экономические интересы; спор о сохранении общественной земли, об ограждении пользования ею для всех, имеющих на нее право, идет рядом с борьбой за участие в политических правах и наполняет собой всю римскую историю до самого конца республики...

⟨154⟩ ...Итак, для Чернышевского было ясно, что современные общественные классы складываются в процессе производства: трем элементам производства — земле, капиталу и труду — соответствуют три основных класса современного общества: землевладельцы, буржуазия и рабочие. В примечаниях ⟨155⟩ к Миллю он определенно указывает, что в общем и целом взаимные отношения этих трех классов обусловливаются трехчленным делением продукта на ренту, прибыль и заработную плату...

? Ср. Marx Das Kapital, III, 7*

⟨157⟩ ...Правда, у Чернышевского встречается выражение «язва пролетариата», но употребляет он собственно это выражение

во время полемики с буржуа — западниками, склонными усматривать в Западной Европе чуть ли не рай и не желающими критически отнестись к отрицательным сторонам западноевропейских отношений[1]. Чернышевский говорит о физическом вырождении населения под влиянием капитализма, о неравномерном и несправедливом распределении богатств, об отсталости французского земледелия, о господстве суеверий в массе населения, о слабости науки и отсутствии классового самосознания у рабочих, словом, о той отвратительной и гнетущей обстановке эпохи Второй Империи, когда интеллигентный буржуазный слой населения, «поставленный между страхом вулканических сил народной массы и происками интриганов, пользующихся рутиной и невежеством, предавался своекорыстным стремлениям по невозможности осуществить свой идеал или бросался в излишества всякого рода, чтобы заглушить свою тоску». Чернышевский мог в интересах более верной защиты общинного землевладения ставить русскому обществу на вид угрожающую народу пролетаризацию. Но ведь и социал-демократы, возражающие против столыпинских аграрных мероприятий, прибегают к аналогичному аргументу (не по форме, конечно, а по существу)...

фальшь!

⟨158⟩ ...Но что такое пролетарий? Быть может, Чернышевский разумел под ним просто бедняка или того же «простолюдина»? А вот послушаем самого Чернышевского. Издеваясь над Вернадским за его фразу, что во Франции «множество пролетариев имеют недвижимую собственность», Чернышевский пишет: «Мы осмеливаемся спросить, каким же образом могла произойти такая странность? Сколько нам случалось читать экономистов, пролетарий всегда означает у них человека, не имеющего ⟨159⟩ собственности; это вовсе не то, что просто бедняк; да, экономисты строго различают это понятие: бедняк просто человек, у которого средства к жизни скудные, а пролетарий — человек, не имеющий

---

[1] Заметки о журналах («Русская беседа» и славянофильство), март, 1857 г., Соч., III, 151.— В то время Чернышевский еще надеялся, что «лучшие представители» славянофильства, на которых правительство смотрело довольно косо, пойдут с демократами рука об руку по некоторым вопросам (в частности, по вопросу о политической свободе и обеспечении народного благосостояния). Скоро он в этом разочаровался.

* Маркс. Капитал. III, 7 (нем.). ⟨См. К. Маркс. Капитал, т. III. М., 1955, стр. 827—845.— *Ред.*⟩.

собственности. *Бедняк противопоставляется богачу, пролетарий — собственнику.* Французский поселянин, имеющий 5 гектаров земли, может жить очень скудно, если земля его дурна или семейство его слишком многочисленно, но все-таки *он не пролетарий*; напротив, какой-нибудь парижский или лионский мастеровой работник может жить в более теплой и удобной комнате, может есть вкуснее и одеваться лучше, нежели этот поселянин, но все-таки он будет пролетарием, если у него нет ни недвижимой собственности, ни капитала, и судьба его исключительно зависит от заработной платы»[1]. Эти слова родоначальника народничества показывают, насколько выше он стоял таких эпигонов народничества, как например В. Чернов, до сих пор не желающий

NB усвоить разницу между бедняком и пролетарием. Они же показывают, почему он считал «пролетариатство... за язву, более тяжелую для народной жизни, нежели простая бедность». Чернышевский имел в виду необеспеченность существования, которая в случае безработицы, болезни или старости обрекала пролетария на голодную смерть. Эта необеспеченность существования особенно ужасна была в то время, в период отсутствия профессиональных организаций (кроме Англии) и отсутствия страхования рабочих.

Но то обстоятельство, что Чернышевский признавал пролетариат социальной язвой (смысл этого признания мы уже объяснили), отнюдь не значит, чтобы он не понимал великого исторического значения этой самой «язвы». В статье о *Studien* Гакстгаузена, в которой он между прочим признает общину признаком нашей отсталости, а сохранение ее в России считает следствием невыгодных обстоятельств нашего исторического развития, в этой замечательной статье содержится еще другое глубокое указание Чернышевского, свидетельствующее о проницательности

NB* этого великого ума. Говоря о том, что экономическое ⟨160⟩ развитие Западной Европы породило страдания пролетариата, он выражает уверенность в конечной победе этого класса, а самое его появление объявляет фактором исторического прогресса. «Мы нимало не сомневаемся в том,— говорит он,— что эти страдания будут исцелены, что *эта болезнь не к смерти, а к здоровью*»[2]. Пролетарии не успокоятся, пока не добьются удовлетворения своих требований, и вот почему капиталистическим нациям предстоят новые смуты, жесточайшие прежних. «С другой стороны,—говорит Чернышевский,— число пролетариев все увеличивается, и главное, возрастает их сознание о своих силах и

NB проясняется их понятие о своих потребностях»[3]. Скажите откровенно, читатель, эта фраза не напоминает вам ничего из «Коммунистического манифеста»?

Приводя цитату из «Экономического указателя» Вернадского о брожении среди европейских рабочих, Чернышевский продолжает: «Помнили ли вы, что говорит ваш журнал, и если помнили, понимали ли? „Рабочий класс в Западной Европе волнуется, требуя применения начал товарищества к своему труду, все резче

[1] О поземельной собственности. Соч., III, 418 (1857 г.).
[2] Соч., III, 303 (1857 г.).
[3] О поземельной собственности. Соч., III, 455 (1857 г.).
* NB подчеркнутая косыми линейками означает, что NB поставлена в углу страницы книги. — *Ред.*

значительное участіе въ составѣ палаты общинъ, которая добилась главной власти въ государствѣ. Благодаря своей уступчивости аристократія надолго сохранила фактическое преобладаніе въ государствѣ, и только послѣ цѣлаго ряда постепенныхъ политическихъ завоеваній среднее сословіе дѣйствительно добилось господствующаго положенія. Это произошло во второй половинѣ 18-го вѣка, и къ этому же времени относится и „возникновеніе новой экономической теоріи, до сихъ поръ пользующейся привилегіею на имя политической экономіи, какъ будто она единственная теорія экономическихъ учрежденій“. Духъ ея, по словамъ Чернышевскаго, совершенно соотвѣтствуетъ положенію средняго сословія въ обществѣ и роду его занятій. Среднее сословіе составляютъ хозяева промышленныхъ заведеній и торговцы; потому важнѣйшимъ изъ экономическихъ явленій школа Адама Смита признаетъ расширеніе размѣровъ фабрикъ, заводовъ и вообще промышленныхъ заведеній, имѣющихъ одного хозяина съ массой наемныхъ рабочихъ, и развитіе обмѣна. Классовое происхожденіе классической политической экономіи обусловливаетъ ея основныя черты: заботу не о развитіи производства вообще, а о развитіи производства спеціально въ капиталистической его формѣ, а также о неограниченномъ владычествѣ конкуренціи.

Третьимъ классомъ является рабочій классъ. „Изъ трехъ элементовъ, участвующихъ въ производствѣ цѣнностей, недвижимая собственность и въ особенности земля принадлежитъ высшему классу, не участвующему прямымъ образомъ въ производствѣ; оборотный капиталъ вносится въ производство среднимъ классомъ, такъ называемыми антрепренерами, мануфактуристами, заводчиками и фермерами; трудъ почти весь совершается простымъ народомъ, который въ политическомъ отношеніи до сихъ поръ служилъ только орудіемъ для средняго и высшаго сословій въ ихъ взаимной борьбѣ, не сохраняя постояннаго независимаго положенія въ политической исторіи“.

Итакъ, для Чернышевскаго было ясно, что современные общественные классы складываются въ процессѣ производства: тремъ элементамъ производства—землѣ, капиталу и труду—соотвѣтствуютъ три основныхъ класса современнаго общества: землевладѣльцы, буржуазія и рабочіе. Въ примѣчаніяхъ

ПОМЕТКИ В. И. ЛЕНИНА НА КНИГЕ Ю. М. СТЕКЛОВА «Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», СПб., 1909

Страница 154

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Москва

и резче провозглашая потребность работы от правительства и общих мастерских". Ясен или нет смысл движения? Что сказано этим? Сказано то, что в рабочем классе Западной Европы все более и более развивается убеждение в необходимости droit au travail, ateliers nationaux, разливается идея Люксембургских конференций. Ясно ли это для вас, г. И. В — ский? Но какова сила этого движения? „Открыт заговор, обнимающий всю восточную половину Западной Европы, простирающийся от Берлина до Бельгии и Швейцарии", — не беспримерно ли по громадности такое явление? Да что тут говорить, вы сами сравниваете его с „лигой против хлебных законов" — т. е. с могущественнейшим и разумнейшим и успешнейшим из всех стремлений Англии в последнее 25-летие. Вы в своем журнале придаете такую силу и глубокость этому движению, что характеристика, доставляемая вами, далеко превосходит резкостью ⟨161⟩ те слова, которыми выражались мы об этом движении. Мы говорили об Англии и Франции, вы прибавили сюда Бельгию, Швейцарию и Германию. Мы говорили, что это движение сильно, — вы сравнили его в настоящее время по силе с могущественнейшим из всех событий и стремлений новейшей английской истории и прибавили, что это еще только зародыш, который развивается, а когда он разовьется, так еще не то будет»[1]...

⟨174⟩ ...Народнически настроенная часть нашей публики меньше всего интересовалась анализом воззрений Чернышевского с точки зрения его близости к научному социализму; и очень возможно, что установление такой близости она сочтет оскорблением памяти великого мыслителя. Среди большинства марксистов, напротив, господствует взгляд на Чернышевского, как на писателя очень симпатичного, в свое время полезного, но весьма далекого от современного материалистического мировоззрения. На их отношение ⟨175⟩ к Чернышевскому сильно действует тот каприз истории, в силу которого этот объективист и материалист сделался родоначальником народничества. Вообще же большинство публики знает о Чернышевском лишь то, что он написал утопический роман «Что делать?» и якобы мечтал о переходе России от общины сразу к социализму посредством заговора небольшой кучки революционеров-интеллигентов.

NB

Действительная научная физиономия Чернышевского имеет весьма мало общего с этим фантастическим образом...

...Чернышевский смотрел на историю человечества глазами строгого объективиста. Он видел в ней диалектический процесс развития путем противоречий, путем скачков, которые сами являются результатом постепенных количественных изменений. В итоге этого безостановочного диалектического процесса происходит переход от низших форм к высшим. Действующими лицами в истории являются общественные классы, борьба которых обусловливается экономическими причинами. В основе исторического процесса лежит экономический фактор, определяющий политические и юридические отношения, а также идеологию общества.

Можно ли отрицать, что эта точка зрения близка к историческому материализму Маркса и Энгельса? От системы ⟨176⟩ основателей современного научного социализма мировоззрение

[1] О поземельной собственности. Соч., III, 457 (1857 г.)

Чернышевского отличается лишь отсутствием систематизации и определенности некоторых терминов. Единственный серьезный пробел в историко-философских воззрениях Чернышевского заключается в том, что он не указал определенно на решающее значение развития производительных сил как основного фактора исторического процесса. Но он подходил вплотную к этому вопросу, понимал, что смена исторических периодов есть смена определенных стадий в развитии производительных сил — и выше мы показали это с достаточной убедительностью ссылками на его сочинения... чересчур

Глава VII

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СОЦИАЛИЗМ

⟨275⟩ ...В рассуждениях Чернышевского по этому поводу мы снова наталкиваемся на причудливое смешение гениальных прозрений и утопических тенденций,— смешение, объясняемое, как и во всех других случаях, общим характером его экономической системы, о котором мы говорили неоднократно. NB

Он упрекает Милля за то, что «о самом главном товаре — о труде» тот ограничивается парой замечаний, в то время как «труд — единственный или важнейший товар для огромного большинства людей»[1]. Чернышевский объясняет это обстоятельство тем, что весь анализ ведется у Милля с точки зрения капиталиста, что «точка зрения, из которой возникает идея стоимости производства,— точка зрения производителя, и собственно только производителя, покупающего труд у наемных работников»[2]. Если не поставить коренного вопроса об этом «странном товаре», то ничего особенного и нельзя будет сказать о его меновой стоимости: товар как товар подчинен уравнению снабжения и запроса — только и всего. «Но коренной-то вопрос состоит в том: следует ли труду быть товаром, следует ли ему иметь меновую ценность?»

Здесь Чернышевский подходит к вопросу, *может ли* труд, это мерило ценности, иметь меновую ценность; но в согласии с общим духом своей системы ставит вопрос так: *следует ли* ему иметь меновую ценность? Товар есть нечто, существующее отдельно от человека, говорит он, а труд есть функция человеческого организма, «часть человеческого существа, никаким способом не могущая существовать отдельно от человека». Продажа и ⟨276⟩ покупка труда есть не что иное, как продажа и покупка человека; поэтому, если труд—товар, то это возможно лишь в том случае, если сам человек — товар. «Следует ли человеку быть товаром, об этом можно думать различно; но политическая экономия утверждает, что не следует». Покупка труда от покупки раба отличается только продолжительностью времени, на которое совершается продажа, и степенью власти, какую дает над собой продающийся покупающему. Основная черта здесь одна и та же: власть частного человека над экономическими силами другого человека. «Юрист и администратор могут интересоваться разницей между покупкой труда и невольничеством; но политикоэконом не должен»...

[1] Примечания к Миллю, стр. 436 и сл.
[2] Ibid., стр. 492.

...От имени читателя Чернышевский сам задает себе вопрос: «Но если труд — общее мерило ценностей, то каким же образом доказывали вы в одной из предыдущих статей, что труд не должен иметь меновой ценности?» На этот вопрос он отвечает: «Очень легко убедиться, что эти два понятия о труде как деятельности, которая служит мерилом ценностей и однако не должна сама быть ценностью,— что эти два понятия не противоречат друг другу, а наоборот, необходимо вытекают одно из другого. Мерилом предмета или понятия, конечно, не может служить сам предмет или само понятие,— для этого нужны другой предмет, другое понятие, находящиеся в тесной связи с измеряемыми, как их источники, причины или результаты, но совершенно различные от них. Например, нормой осадки речных судов служит не глубина какого-нибудь речного судна, а глубина реки; глубина реки и ⟨277⟩ плавающее по реке судно — две вещи, совершенно различные. Нормой одежды служит никак не самая одежда, а очертание человеческой фигуры и климат. Нормой закона служит общественное благо; нормою пищи — желудок и язык человека; нормой помады или духов — обоняние человека. Словом сказать, норма вещи всегда нечто совершенно иное, нежели сама вещь. Таким образом, *если ценность должна иметь свою норму* (как имеет свою норму все в человеческой жизни), *то сама эта норма не может быть ценностью.* Господствующая теория только потому и не могла понять норму ценности, что причислила труд к ценностям. Припомним афоризм, который сама господствующая теория ставит верховным принципом учения о ценности и обмене: „продукты обмениваются на продукты". *Труд не есть продукт. Он еще только производительная сила, он только источник продукта.* Он отличается от продукта, как мускул от поднимаемой мускулом тяжести, как человек от сукна или хлеба»[1]...

NB

...Вслед за классической экономией Чернышевский различает два вида ценности: внутреннюю и меновую. Под внутренней ценностью он разумеет ценность потребительную[2]— и в отличие от буржуазной экономии именно ⟨278⟩ на анализе этой внутренней ценности он сосредоточивает главное внимание. Это совершенно естественно, если вспомнить, что Чернышевский критикует капиталистический строй не столько с точки зрения его внутренних объективных тенденций, сколько с точки зрения его противоположности интересам общества, народа, массы...

NB

...Чернышевскому и нужен этот закон ценности не капиталистического, а социалистического ⟨279⟩ общества, ибо только в последнем производство будет сообразоваться с потребностями «человека», общества. Он и не скрывает, что все его рассуждения о внутренней и меновой ценности, а также о труде, не имеющем ценности, направлены к обличению существующего строя. «Мы видим,— заключает он,— что по сущности дела меновая ценность должна совпадать с внутренней, и отклоняется от нее только вследствие ошибочного признания труда за товар, которым труду никак не следует быть. Поэтому возможность отличать меновую

[1] Примечания к Миллю, стр. 493.

[2] «Чтобы предмет имел меновую ценность, нужно... быть ему годным на известное употребление,— по мнению покупателя... На языке политической экономии это выражается так: меновую ценность имеют лишь те предметы, которые имеют внутреннюю ценность». Прим. к Миллю, стр. 420.

ценность от внутренней *свидетельствует только об экономической неудовлетворительности быта*, в котором существует разность между ними. Теория должна смотреть на раздельность меновой ценности от внутренней точно так же, как смотрит на невольничество, монополию, протекционизм. Она может и должна изучать эти явления со всевозможной подробностью, но не должна забывать, что она тут описывает *уклонения от естественного порядка*. Она может находить, что устранение того или другого из этих феноменов экономической жизни потребует очень долгого времени и очень значительных усилий; но как бы далек ни представлялся ей срок излечения той или другой экономической болезни, не должна же она не представлять, каково должно быть здоровое положение вещей»[1]. NB NB

Здоровое же положение вещей — это социалистический строй, при котором производство планомерно организовано сообразно потребностям общества, труд перестает быть товаром, а «меновая ценность совпадает с внутренней». Распределение производительных сил между разными занятиями при системе производства, основанной на обмене, или при производстве на продажу определяется распределением покупательной силы в обществе; при системе же производства, основанной «прямо на потребностях производителя», оно и определяется этими потребностями. Так дело обстоит на низшей стадии развития, характеризующейся существованием замкнутого мелкого хозяйства; но так же оно будет обстоять и на высшей стадии экономического ⟨280⟩ развития, при которой будет господствовать коллективное организованное хозяйство[2]... нет!

⟨282⟩ ...В этой системе «меновая ценность продукта оставляется без всякого внимания; продукт прямо подводится под потребности человека, рассматривается только его годность для их удовлетворения — внутренняя ценность его; приобретение меновой ценности продуктом предполагается делом случайным, исключительным, потому что масса продуктов и не идет в продажу или в обмен, а прямо служит на потребление производителя; если же часть продуктов и идет в обмен на продукты других производителей[3], меновая ценность не является чем-то отличным от внутренней,— внутренняя ценность прямо превращается в меновую без всякого увеличения или уменьшения»[4]. NB

Естественно,— продолжает наш автор,— что этот взгляд, предполагающий прямую связь между производством и потреб-

---

[1] Ibid., 440—441.

[2] Ibid., 449—450.— Теперь становятся понятны те дополнения, которые Чернышевский сделал к 17 тезисам Милля о ценности (см. выше, стр. 232): в них он противопоставляет принципы капиталистического и социалистического хозяйства с точки зрения противоположности между двумя видами ценности.

[3] Здесь, как мы видим, Чернышевский допускает частичный обмен и в будущем обществе. Дело в том, что, как увидим ниже, он допускал возможность промежуточной стадии между капитализмом и социализмом. NB

[4] Из всего вышеизложенного ясно, что если между взглядами на ценность Чернышевского и Прудона и можно установить некоторое самое общее сходство, то сходство это чисто формального свойства. По мнению Прудона, его «установленная (или конституированная) ценность» может осуществиться лишь в обществе мелких самостоятельных производителей, свободно обменивающихся своими продуктами-товарами; «норма» же ценностей Чернышевского предполагает как раз наоборот общество, организованное на на-

лением без посредства обмена, предполагающий соединение прибыли с рабочею платою в руках трудящегося, предполагающий тожество потребителя и производителя, отрицающий систему наемного труда,— естественно, что этот взгляд не был понят ни Адамом Смитом, ни его последователями, не умевшими представить себе систему быта, которая была бы выше трехчленного деления продукта между тремя различными классами. «А между тем, даже и при нынешнем быте нельзя не видеть преобладания условий, соответствующих этому взгляду, если ⟨283⟩ обратиться мыслью от частного хозяйства отдельных лиц к национальному хозяйству. *Для целой нации потребители и производители—одно и то же*; потребление прямо определяется производством; рабочая плата, прибыль и рента сливаются в одно целое, в продукт национального труда... При малейшем внимании к национальному хозяйству, как одному экономическому целому, этот поверхностный взгляд на дело (учение о „стоимости производства" в господствующей теории) заменился бы изложенной нами идеей общей нормы ценностей»...

⟨295⟩ ...Из предыдущего изложения читатель мог составить себе представление о характере экономической системы Чернышевского, его методе и цели его исследований. Цель ⟨296⟩ эта заключалась в том, чтобы путем критики существующих экономических отношений обнаружить вред капитализма для широких народных масс, подчеркнуть его преходящий характер и выявить основные черты будущего социалистического строя. При этом центр тяжести переносился естественно в область критики существующего с точки зрения предстоящего и в область характеристики будущего строя — хотя бы в самых общих чертах. От этого анализ существующих экономических отношений несколько пострадал и, как мы видели выше, определение некоторых основных понятий политической экономии у Чернышевского оказалось невыдержанным с исторической и диалектической точки зрения.

*только?**

Но если недостатки примененного Чернышевским метода вредно отразились на общем значении его системы и сделали ее недолговечной, если эта система сыграла известную историческую роль, но в настоящее время должна быть признана устарелой, то эти общие недочеты и неточность отдельных определений не помешали нашему автору высказать целый ряд глубоких критических замечаний относительно капиталистического строя в его целом. И в этой области дарование и проницательность нашего автора сказались с полным блеском...

⟨320⟩ ...Социализм Чернышевского, конечно, не был свободен от некоторых утопических элементов, но признать на этом основании Чернышевского только и просто утопистом мы не решаем-

NB

?

чалах коллективного труда и коллективного владения орудиями производства, пускающее в обмен лишь ничтожную часть своих продуктов. Исходная точка зрения у Чернышевского — социалистическая, у Прудона — мелкобуржуазная индивидуалистическая. Там, где начинает действовать «норма ценностей» первого, там для «установленной ценности» второго нет места.

* Слово «только?» написано Лениным в левом верхнем углу страницы.—*Ред*

ся. Как мы уже сказали, Чернышевский занимает промежуточную стадию между утопическим и научным социализмом, в большинстве случаев стоя ближе к последнему...

⟨324⟩ ...Повторяем, об утопизме Чернышевского следует говорить cum grano salis. Строгий реалист, он брал из утопических систем, главным образом, их критику частной собственности и капиталистического строя, а также общие принципы будущего строя, как, например, ассоциация, соединение промышленности с земледелием, организация производства и т. п.; но он прекрасно видел недостатки утопических систем и блестяще критиковал многие их положения...

⟨327⟩ ...Сопоставляя все, что мы выше говорили о политических и историко-философских взглядах Чернышевского, мы с полным основанием можем утверждать, что социальную революцию он представлял себе как внезапный переворот, подготовленный тяжелым положением рабочего класса, вызванный какими-нибудь серьезными осложнениями в международных отношениях и сопровождающийся захватом власти и революционной диктатурой социалистической партии. Но как он смотрел на условия постепенного подготовления этого социального катаклизма, —на этот вопрос ответить гораздо труднее. Его надежды на производительные ассоциации, а в России на общинное землевладение, как на факторы, способные облегчить переход к организации коллективного производства в национальном масштабе, нам уже известны. Но мы почти ничего не знаем о том, как он смотрел на фабричное законодательство, на профессиональные союзы и их борьбу за улучшение условий труда, на потребительные товарищества и пр. Об этих предметах Чернышевский почти ничего не говорит; о профессиональных союзах он упоминает чуть ли не один раз в статье «Капитал и труд»[1]. Конечно, известную роль сыграли при этом ⟨328⟩ цензурные условия; но если цензура мешала, допустим, нашему автору много распространяться о борьбе рабочих союзов, то о таких вопросах, как законодательство по охране труда и его социальное значение, он мог бы говорить доволь-

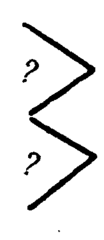
[1] «В Англии мы видим, что работники составляют между собой громадные союзы для самостоятельного действования в политических и особенно экономических вопросах... В практике промышленные союзы (trade's unions) работников представляют очень много соответствующего теориям, которые у французов называются коммунистическими. В Англии, где не любят давать громких имен вещам, эти союзы подвергаются упрекам в коммунистических стремлениях только при особенных случаях, каковы, напр., колоссальные отказы от работы для принуждения фабрикантов к повышению заработной платы» (Соч., VI, 29). И это все. Насколько мало значения Чернышевский, по-видимому, придавал деятельности профессиональных союзов, видно из его рассуждений о тенденции капиталистической эволюции понизить благосостояние рабочих масс. Пролетаризация самостоятельных производителей,— говорит он,— ведет к тому, что в составе рабочего класса пропорция наемных работников увеличивается, а самостоятельных хозяев уменьшается; а так как, при прочих равных условиях, в работнике-хозяине непременно (?) будет больше самоуважения, чем в наемном рабочем, то заработная плата последнего не удержится на уровне дохода мелкого самостоятельного производителя. А раз начавшись, падение продолжается безостановочно (характерно, что и здесь Чернышевский не касается вопроса о «резервной рабочей армии», давящей на уровень заработной платы). Но вышеуказанная тенденция капиталистического развития может парализоваться и даже перевешиваться другими противоположными влияниями. Однако и тут Чернышевский имеет в виду не роль организованной борьбы рабочего класса. Он указывает на «прогресс понятий и знаний», благодаря которому улучшаются законы и учреждения, и на связанное с этим развитие в рабочих чувства самоуважения (Прим. к Миллю, 523—525).

но подробно[1]. Остается допустить, что он не придавал ему особенного значения, как одному из паллиативных средств, неспособных произвести серьезного улучшения в положении рабочего класса при сохранении современных общественных отношений, что он мечтал о революции, которая сразу положит конец капиталистическому строю без дальних проволочек.

Но дает ли все это нам право причислить Чернышевского к утопистам tout court? Мы отнюдь этого не думаем.

Что Чернышевского нельзя причислить к представителям «мелкобуржуазного социализма», ясно из всего предыдущего изложения...

⟨329⟩ ...Все эти отрицательные черты мелкобуржуазного социализма были органически чужды нашему Чернышевскому. От идеализации патриархального варварства он был совершенно ⟨330⟩ свободен; жизнеспособность мелкого производства он категорически отрицал; положительная же его программа сводилась отнюдь не к восстановлению мелкого ремесла или земледелия, а к планомерной общественной организации производства на началах коллективизма.



Но есть ли основания причислить нашего автора к представителям критически-утопического социализма? Посмотрим...

...Маркс, столь строго отнесшийся к писаниям и деятельности таких представителей европейского социализма, как, напр., Прудон и Лассаль (из них последний был его собственным учеником) и таких представителей русского социализма, как Герцен, Бакунин и Нечаев, относился к Чернышевскому с величайшим уважением и глубокой симпатией. Крайне сдержанный в похвалах и скупой на лестные отзывы, творец научного социализма признал нашего автора великим ученым и критиком, мастерски обнаружившим банкротство буржуазной экономии. Ясно, что этот лестный отзыв, чуть ли не единственный в устах сурового Маркса, имел же какие-нибудь серьезные основания,— особенно, если сопоставить его с строгими отзывами Маркса о других крупных представителях социалистической мысли. И такие основания несомненно имелись...

⟨332⟩ ...Черты утопистов совершенно чужды были Чернышевскому — кроме одной: он также видел в основании производительных ассоциаций способ доказать преимущества товарищеского хозяйства над капиталистическим и орудие пропаганды новых идей. Но какая колоссальная разница между ним и утопистами в этом отношении! Во-первых, он никогда не объявлял основание ассоциаций *единственным* средством социального преобразования, не пытался доктринерски навязать рабочему классу

---

[1] Даже в статье, казалось бы, специально посвященной этому вопросу («Экономическая деятельность и законодательство»), дается довольно абстрактный разбор вопроса о законности и неизбежности государственного вмешательства в экономические отношения. Можно подумать, что Чернышевскому осталась чужда точка зрения Маркса, провозгласившего закон о 10-часовом рабочем дне «не только крупным практическим успехом, но и победой принципа: впервые при ярком дневном свете политическая экономия буржуазии была побеждена политической экономией пролетариата» (Манифест Интернационала 1864 г.). А между тем, как мы видели в главе VI, Чернышевский вовсе не относился абсолютно отрицательно ко всем реформам безразлично.

⟨333⟩ эту единую форму и не противопоставлял ее историческим формам рабочего движения; во-вторых, он не только не отрицал политической борьбы и политических задач пролетариата, но, напротив, как мы видели выше (гл. V и VI), упрекал социалистов в робости и непоследовательности при осуществлении этих задач, в частности по вопросу о захвате политической власти и революционной диктатуре. Политический индифферентизм, узкая исключительность изобретателя философского камня, кабинетного мыслителя, мечтающего облагодетельствовать глупое человечество своими гениальными выдумками и свысока посматривающего на беспомощное барахтанье непросвещенных масс в пучинах исторического водоворота,— словом, сектантская самоуверенность и педантизм были ему абсолютно чужды[1]. NB

Как всякий политический деятель и социальный новатор, он, конечно, придавал большое значение пропаганде, но в отличие от утопистов он ничуть не верил в абсолютную силу идей, способную перевесить и заглушить голос классовых интересов. Поэтому он меньше всего думал обращаться со своей проповедью к господствующим классам, никогда не апеллировал ни к их сердцу, ни к кошельку и не мечтал о притуплении классовых противоречий *или о примирении противоположных интересов. Напротив*, все свои надежды он возлагал на классовые интересы трудящихся, на развитие их сознательности и на их политическую активность. И ⟨334⟩ несмотря на свое идейное одиночество, он никогда не верил, как это при аналогичных условиях делал Сен-Симон, в необходимость кучки просвещенных избранников, которые должны думать и действовать за народ.

На практическую программу Чернышевского имела влияние деятельность чартистов и французских социалистов 40-х годов. Те и другие стремились к преодолению капитализма посредством политического переворота, концентрированного политического действия, и добивались всеобщего избирательного права, как орудия, обеспечивающего влияние трудящихся масс на государство; те и другие обращались не к состраданию и доброй воле правящих классов, а к эксплуатируемым массам, к пролетариату; те и другие смотрели на государство, на организованную силу общества, как на орудие, с помощью которого им удастся, предварительно наложив на него руку, осуществить свои социальные требования. И если в области научной критики капитализма Чернышевский был учеником Фурье, Оуэна и Сен-Симона, то в области практических действий и методов политической борьбы он примыкал скорее к бланкистам и чартистам... NB

[1] Сен-симонистов он осуждает, между прочим, и за их политический индифферентизм, за сектантский исход в новый Иерусалим: «Торжественное вступление сен-симонистов в новый порядок жизни происходило 6 июня 1832 года, в тот самый день, когда соседние кварталы Парижа были театром республиканского восстания, возбужденного процессией похорон Ламарка. Безмятежно приступая к своей внутренней организации среди грома пушек, истреблявших малочисленные отряды инсургентов, сен-симонисты как будто показывали, что нет им никакого дела до старых радикальных партий, идущих к преобразованию общества путем, который сен-симонисты считали ошибочным, и даже не понимающих, какие реформы нужны для общества; отрекаясь от старого мира, они отреклись даже и от людей, которые больше всех других в старом мире хотели добра простолюдинам» (Июльская монархия, 1. с., 146).

Однако в близкое наступление социализма Чернышевский не верил. В этом отношении он смотрел на вещи более реалистически, чем, например, Маркс и Энгельс в конце 40-х годов. В статье «Экономическая деятельность и законодательство» (1859 г.) он говорит, что мы еще очень далеки от социализма, «быть может, и не на тысячу лет, но вероятно больше, нежели на сто или на полтораста»[1]. Вот почему надежды Чернышевского на общину (пока у него еще были эти надежды) не следует истолковывать в таком смысле, будто он допускал возможность внезапного скачка из русского варварства ⟨335⟩ с его безграмотностью и деревянными колесами сразу в коммунистическое тысячелетие. Вероятно, он полагал, что если история, которая, «как бабушка, страшно любит младших внучат»[2], сложится особенно благоприятно для русского народа, то получится нечто вроде того, что за последние годы называлось у нас «трудовой республикой», а в таком случае сохранение общины даст возможность постепенно переходить к настоящему коллективному земледелию с применением машин.

?

NB

NB «реализм» ??

Итак, Чернышевский не верил в близость социализма, но полагал, что необходимо уже теперь изучить социалистический строй в его основаниях, «иначе мы будем сбиваться с дороги»[3]. Но если сейчас немыслимо полное и окончательное осуществление социалистического строя, то мыслимо частичное осуществление социализма. «Разве не случается,— говорит Чернышевский,— что мыслитель, развивающий свою идею с одной заботой о справедливости и последовательности системы в своих чисто теоретических трудах, умеет ограничивать свои советы в практических делах настоящего лишь одной частью своей системы, удобоисполнимой и для настоящего?». Вот почему Чернышевский считает небесполезным, сохраняя целостность своих социалистических стремлений, «поговорить и о возможном в современной действительности». И дальше Чернышевский повторяет свой план производительных ассоциаций, составленный по Фурье и Луи Блану, оговариваясь, что это лишь одно из «предположений, имеющих в виду границы возможного для нынешней эпохи»[4].

⟨336⟩ Не будем строго судить его за это. Вспомним, что и Каутский в своей брошюре «На другой день после революции» говорит о постепенном осуществлении социализма,— правда, после захвата власти пролетариатом. Не забудем далее, если взять

Ого! Заврался т.Стеклов

[1] Соч., IV, 450.

[2] Ibid., 329.

[3] Прим. к Миллю, 634 и сл.

[4] В этом отношении на Чернышевского несомненно оказало влияние учение Фурье о гарантизме как промежуточной стадии между капиталистическим строем (цивилизацией) и социалистическим (социетарным строем, гармонией). Гарантизм у Фурье это такой социальный уклад, при котором частные интересы, господствующие в цивилизации, будут подчинены гарантиям общественного интереса. Абсолютное право частной собственности будет ограничено; акционерные общинные конторы организуют производство и торговлю на товарищеских началах; введена будет система широкого государственного страхования граждан от всяких несчастных случаев; организована будет широкая общественная помощь безработным и пр. Словом, система неограниченной конкуренции будет устранена, а государственное вмешательство в экономические отношения получит особенное развитие в интересах трудящихся масс, если только человечеству не удастся сразу перейти от цивилизации к гармонии, минуя стадию гарантизма.

ства съ его безграмотностью и деревянными колесами сразу въ коммунистическое тысячелѣтіе. Вѣроятно, онъ полагалъ что если исторія, которая, „какъ бабушка, страшно любитъ младшихъ внучатъ“ [1]), сложится особенно благопріятно для русскаго народа, то получится нѣчто вродѣ того, что за послѣдніе годы называлось у насъ „трудовой республикой“, а въ такомъ случаѣ сохраненіе общины дастъ возможность постепенно переходить къ настоящему коллективному земледѣлію съ примѣненіемъ машинъ.

Итакъ, Чернышевскій не вѣрилъ въ близость соціализма, но полагалъ, что необходимо уже теперь изучить соціалистическій строй въ его основаніяхъ, „иначе мы будемъ сбиваться въ дороги“ [2]). Но если сейчасъ немыслимо полное и окончательное осуществленіе соціалистическаго строя, то мыслимо частичное осуществленіе соціализма. „Развѣ не случается,—говоритъ Чернышевскій,—что мыслитель, развивающій свою идею съ одной заботой о справедливости и послѣдовательности системы въ своихъ чисто теоретическихъ трудахъ, умѣетъ ограничивать свои совѣты въ практическихъ дѣлахъ настоящаго лишь одною частью своей системы, удобоисполнимою и для настоящаго?“. Вотъ почему Чернышевскій считаетъ не безполезнымъ, сохраняя цѣлостность своихъ соціалистическихъ стремленій, „поговорить и о возможномъ въ современной дѣйствительности“. И дальше Чернышевскій повторяетъ свой планъ производительныхъ ассоціацій, составленный по Фурье и Луи Блану, оговариваясь, что это лишь одно изъ „предположеній, имѣющихъ въ виду границы возможнаго для нынѣшней эпохи“ [3]).

[1]) Ibid., 329.

[2]) Прим. къ Миллю, 634 и сл.

[3]) Въ этомъ отношеніи на Чернышевскаго несомнѣнно оказало вліяніе ученіе Фурье о гарантизмѣ, какъ промежуточной стадіи между капиталистическимъ строемъ (цивилизаціей) и соціалистическимъ (соціетарнымъ строемъ, гармоніей). Гарантизмъ у Фурье это такой соціальный укладъ, при которомъ частные интересы, господствующіе въ цивилизаціи, будутъ подчинены гарантіямъ общественнаго интереса. Абсолютное право частной собственности будетъ ограничено; акціонерныя общинныя конторы организуютъ производство и торговлю на товарищескихъ началахъ; введена будетъ система широкаго государственнаго страхованія гражданъ отъ всякихъ несчастныхъ случаевъ; организована будетъ широкая обще-

ПОМЕТКИ В. И. ЛЕНИНА НА КНИГЕ Ю. М. СТЕКЛОВА «Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», СПб., 1909

Страница 335

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Москва

эпоху, более близкую к Чернышевскому, что конгрессы Интернационала, на работы которых со стороны влиял сам Маркс, также допускали такое частичное осуществление социализма еще
?? в рамках буржуазного строя (куда они относили национализацию земли, национализацию железных дорог, каналов и рудников и передачу их рабочим ассоциациям и т. п.).

Глава VIII

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ТОГО ВРЕМЕНИ

⟨340⟩ ...На современное ему русское общество Чернышевский смотрел крайне пессимистически; он не видел в нем ни стремления к решительной борьбе, ни сил, способных довести эту борьбу до конца. «Переделать по нашим убеждениям жизнь русского общества!— говорит герой повести «Тихий голос»:— в молодости натурально думать о всяческих химерах. Но в мои лета было бы стыдно сохранить наивность... Я давно стал совершеннолетним, давно увидел, в каком обществе я живу, какой страны, какой нации сын я. Хлопотать над применением моих убеждений к ее жизни, значило бы трудиться над внушением волу моих понятий о ярме»[1]. Ему казалось, что он живет в эпоху «безнадежной летаргии общества»[2]. Другой герой Чернышевского говорит: «Я люблю мой родной народ, но я чужой ему» («Вечера у княгини Старобельской»)[3].

Вы помните замечательную сцену в «Прологе», когда Волгин, приглашенный на банкет к знакомому либералу, воочию убеждается в бессилии и беспомощности дворянства, испуганного приближающейся отменой крепостного права. Он не любил дворянства, но бывали минуты, когда он не имел вражды к нему: можно ли ненавидеть жалких рабов? И теперь на него нашло такое настроение. «Жалкая нация, жалкая нация! Нация рабов,— снизу до верху все сплошь рабы»,— думал он и хмурил брови. «У русского ⟨341⟩ народа не могло быть борцов, по мнению Волгина, оттого, что русский народ не способен поддерживать вступающихся за него; какому же человеку в здравом смысле бывает охота пропадать задаром?» Вопрос о земле и о вознаграждении помещиков по-настоящему должен был решиться волею народа. Должен и, разумеется, не будет,— злобно замечает Волгин...

... Левицкий так передает впечатление от бесед с Чернышевским[4].

Из того, что он говорил, многое казалось слишком мрачно, слишком безнадежно. Его слова возбуждали в слушателе глубокое презрение к настоящему и ко всякой деятельности в настоящем. Искреннему демократу не стоит горячиться потому, что все наши общественные дела — мелочь и вздор. Наше общество не занимается ничем, ⟨342⟩ кроме пустяков. Теперь[5], например, оно горячится исключительно из-за отмены крепостного права. *Что такое крепостное право? Мелочь.* В Америке невольничество не

[1] «Тихий голос». Соч., X, ч. 1, 63.
[2] Ibid., 70.
[3] «Вечера» и пр. Соч., X, ч. 2, 306.
[4] «Дневник Левицкого» (вторая, неоконченная часть «Пролога»). Соч., X. ч. 1, стр. 210 и сл.
[5] Т. е. в конце 50-х годов.

мелочь: разница между правами и благосостоянием черного работника в южных штатах и белого работника в северных — неизмеримо велика; сравнять невольника с северным работником великая польза. У нас не то. Многим ли лучше крепостных живут вольные мужики? Многим ли выше их общественное значение? Разница настолько микроскопическая, что не стоит и говорить об ней. Отмена крепостного права — мелочь, раз земля останется во владении дворянства. От реформы одна сотая доля крестьян выиграет, остальная может только проиграть. В сущности, все это мелочь и вздор. *Все вздор перед общим характером национального устройства.* Допустим, что эта частичная реформа будет осуществлена. Что дальше на очереди? Суд присяжных? «Тоже важная вещь, когда находится не под влиянием такого общего национального устройства, при котором никакие судебные формы не могут действовать много хуже суда присяжных». Две мелочи — вот вся программа хлопот и восторгов русского общества на довольно долгое время, если не случится ничего особенного; а ничего особенного пока еще не предвидится...

⟨343⟩ Левицкий (Добролюбов) не мог согласиться с этими мрачными выводами Волгина (Чернышевского), хотя во время бесед поддавался могучему влиянию этого огромного и последовательного ума. Он признает Волгина человеком, преданным всей душой народным интересам, но он также ясно видит его недостатки: *он не верит в народ.* «По его мнению, народ так же подл и пошл, как общество. Понятно, почему он так думает: ему не хотелось бы террора; он и старается убедить себя, что террор невозможен. Он слишком холодно советует терпеть. Это явная логическая ошибка... Народу не так легко терпеть, как нам». Левицкий ставит себе вопрос: действительно ли в русском обществе нет серьезных стремлений и даже нельзя внушить их ему? Скептицизм и равнодушие] Волгина давали ему перевес над пылким и увлекающимся энтузиастом, верившим в разум и энергию людей. Но в этих спорах у Левицкого была сильная сторона: его активность. Он говорит: «Но в одном я был правее Волгина: никакое положение дел не оправдывает бездействия; всегда можно делать что-нибудь не совершенно бесполезное; всегда надобно делать все, что можно. Об это разбивались все его насмешки над его собственной деятельностью, которая кажется ему ⟨344⟩ пустой, и над моими стремлениями к такой же работе,— положим, и действительно мелкой, жалкой».

Приводим из этого глубоко интересного дневника (не забудем, написанного самим Чернышевским) еще один разговор, характерный для тогдашнего настроения Чернышевского (вторая половина 50-х годов). Проживая в глухой провинции, Левицкий вспоминает беседы со своим учителем. «В голове Петербург, журналистика, наши либералы и Волгин, с вялой насмешкой говорящий: „Эх, вы!— Ну, какое пиво сваришь с этой сволочью?" И возражаешь Волгину: „Где же, когда же общество не было толпою сволочи? А между тем порядочные люди всегда и везде работали".— „Натурально, по глупости; всегда и везде умные люди были глупы, Владимир Алексеевич. Что за радость толочь воду?— продолжал Волгин свои вялые сарказмы: — История движется не тем, не мыслями и работой умных людей, а глупостями дураков и невежд. Умным людям не для чего тут мешаться; глупо мешаться не в свое дело, поверьте!"» Отвечаешь ему и на

это: „Вопрос не в том, умно ли мешаться, а в том, можешь ли не мешаться? Умно ли моему телу дрожать от холода, умно ли моей груди чувствовать стеснение в удушающем газе? Глупо. Лучше бы для меня, если бы иначе; но такова моя природа: дрожу от холода, негодую на подлость, и если нечем пробить стену душной тюрьмы, буду биться в нее лбом,—пусть она не пошатнется, так хоть он разобьется—все-таки я в выигрыше". Вижу вялую улыбку, вижу покачивание головы: „Эх, Владимир Алексеевич, натурально, в этом смысле вы говорите справедливо, но поверьте, не стоит иметь такие чувства".— „Не в том дело, стоит ли иметь, а в том, что имеешь их"»[1].

Работать для людей, которые не понимают тех, кто работает для них,— это очень неудобно для работающих и невыгодно для успеха работы,— говорил Чернышевский в «Письмах без адреса». *Вот трагедия Чернышевского и его современников.* При данном в то время соотношении общественных сил ход событий совершался с роковой ⟨345⟩ неуклонностью, направляясь против народных интересов...

... А либералы? На них Чернышевский меньше всего возлагал надежд. Недоверие к либералам необходимо для революционера, так как либералы меньше всего думают о народном благе, а преследуют чисто буржуазные интересы. Но он простил бы им половину исторических грехов, если бы они проявили хоть сколько-нибудь решимости и настойчивости даже в преследовании своих классовых целей, если бы они поняли, что никакие реформы не имеют никакого значения в России до тех пор, пока остаются в целости основные черты старого режима. С грустью и негодованием констатирует он отсутствие энергии и серьезных стремлений в русском обществе, «самый общий недостаток в котором — не какие-нибудь ошибочные понятия, а отсутствие всяких понятий, не какие-нибудь ложные увлечения, а слабость всяких умственных и нравственных влечений... каких-либо общественных интересов». В герое тургеневской «Аси» он видит символическую фигуру, в которой воплотились отличительные черты наших «лучших людей», представителей образованного общества; его пошлое поведение он признает «симптомом эпидемической болезни, укоренившейся в нашем обществе».

В русском обществе нет мужчин, говорит Чернышевский. Без приобретения привычки к самостоятельному участию в общественных делах, без приобретения чувств гражданина, ребенок мужского пола, вырастая, ⟨346⟩ делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиной он не становится или, по крайней мере, не становится мужчиной благородного характера. Мелочность взглядов и интересов отражается на характере и на воле: «какова широта взглядов, такова широта и решений». Этим определяется характер русских героев, которые, как замечает Чернышевский, у всех наших писателей действуют одинаковым образом. «Пока о деле нет речи, а надобно только занять праздное время, наполнить праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства и желания, большая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрей-

[1] Ibid., 239.

шие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и косноязычно выразить что-то, дающее смутное понятие о их мысли, но вздумай кто-нибудь схватиться за их желание, сказать: „Вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим", — при такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что „как можно так скоро", и „притом же они честные люди", и не только честные, но очень смирные, и не хотят подвергать вас неприятностям и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего ни за что не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они „никак не ждали и не ожидали", и проч.»[1].

Статью о тургеневской «Асе» Чернышевский написал для разоблачения «либеральных иллюзий». С этими же иллюзиями он систематически боролся во всех своих писаниях, попутно разоблачая в них узость и классовый характер либеральных стремлений. ⟨347⟩ Само собою разумеется, либералы платили ему за его кампанию глубокой ненавистью, сравнивали его с Гречем, Булгариным, Сенковским. Но Чернышевский и его кружок не смущались либеральной клеветой и продолжали беспощадно разоблачать либеральное прекраснодушие, торжественно-напыщенное разглагольствование о русском прогрессе; они доказывали, что ладья русского прогресса не только не пошла полным ходом вперед, но продолжает преблагополучно торчать в старом историческом болоте. А в сатирическом приложении к «Современнику», в знаменитом «Свистке», в котором сам Чернышевский писал мало (там работал главным образом Добролюбов), но на направление и содержание которого он имел огромное влияние, безжалостно вышучивалась либеральная восторженность, умеренность, аккуратность и любезная либеральному сердцу «гласность».

Отношение Чернышевского к русским либералам прекрасно выясняется из романа «Пролог». О либеральных бюрократах нечего и говорить: их Чернышевский презирал и ненавидел от всей души, быть может, еще больше, чем открытых и убежденных реакционеров. На всем протяжении романа он безжалостно казнит либеральничающего сановника-лицемера (Савелова), издевается над ним и описывает его в самых черных красках. Но с таким же почти презрением относится он и к либералам из так называемого образованного общества. Он рисует их умственно ограниченными, морально-пошлыми, политически недальновидными и трусливыми. Он смеется над их торжественными заявлениями о том, что «пробудилось сознание в целом обществе». В резко насмешливом тоне описывает он лидера тогдашних петербургских либералов Рязанцева, в котором изображен, по-видимому, Кавелин, впоследствии злорадствовавший по поводу ареста Чернышевского. С нескрываемым презрением говорит он о господах «„просвещателях" русской публики, у которых чепуха в голове; пишут ахинею, сбивают с последнего толку русское общество, которое и без того находится в полупомешательстве...»

---

[1] Русский человек на rendez-vous. Соч., I, 90—91 (1858 г.).

⟨348⟩ ...В 44 № «Колокола» за 1859 год появилась статья Герцена «Very dangerous!» («Весьма опасно!»), прямо направленная против кружка Чернышевского. «В последнее время, — писал Герцен,— в нашем журнализме стало повевать какой-то тлетворной струей, каким-то *развратом* мысли». Герцен отказывается принять взгляды Чернышевского и Добролюбова за выражение общественного мнения, а высказывает предположение, что их статьи внушены им правительством. «Журналы, сделавшие себе пьедестал из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страждущими, катаются со смеху над *обличительной* литературой, над неудачными опытами *гласности*. И это не то, чтобы случайно, но при большом театре ставят особые балаганчики для освистывания первых опытов свободного слова литературы, у которой еще не заросли волосы на голове, так она недавно сидела в остроге»[1].

NB ⟨349⟩ Герцен дальше возмущается насмешками радикалов над либералами-мечтателями, напоминает «свистунам», как сурово общественное мнение казнило «за гражданские измены или шаткости», приводит пример Гоголя и Сенковского и утверждает, что в смехе Чернышевского и Добролюбова нет «того вечно тревожащего демона любви и негодования», который в избытке замечался у Белинского и Грановского. Теперь, дескать, наступила эпоха серьезных общественных начинаний. «Вот потому-то в такое время,— заключает Герцен,— пустое балагурство скучно, неуместно; но оно делается отвратительно и гадко, когда привешивает свои ослиные бубенчики к тройке, которая, в поту и выбиваясь из сил, вытаскивает — может, иной раз оступаясь — нашу телегу из грязи. Не лучше ли в сто раз, господа, вместо освистывания неловких опытов вывести на торную дорогу,— самим на деле помочь и показать, как надо пользоваться гласностью? Мало ли на что вам есть точить желчь,— от цензурной троицы до покровительства кабаков, от плантаторских комитетов до полицейских побоев. Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно *досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани!) и до Станислава на шею*»[2].

Эта скандальная статья Герцена, в которой Чернышевский и Добролюбов выставлялись чуть ли не агентами-провокаторами и слугами реакции и в которой будущим жертвам абсолютизма сулился Станислав на шею, произвела крайне неприятное впечатление на кружок «Современника». В июне 1859 года Чернышевский выехал за границу, где в Лондоне между ним и Герценом состоялось по этому поводу объяснение. Как и следовало ожидать, это объяснение ни к чему не привело: в тот момент оба собеседника стояли на противоположных полюсах. Чернышевский был представителем революционно-демократического течения общественной мысли, а Герцен тогда стоял еще на точке зрения просвещенного либерализма и даже не свободен был от некоторых надежд на либеральную бюрократию... NB

⟨350⟩ ...О свидании с Чернышевским Герцен рассказал в статье «Лишние люди и желчевики»[3] чрезвычайно пристрастно и од-

[1] Балаганчик при театре — это, конечно, «Свисток», выходивший в виде приложения к «Современнику».

[2] Сочинения Герцена, т. VI, стр. 242—246. СПб., 1905.

[3] Соч. Герцена, т. V, стр. 241—248.

носторонне. Послушать его, так весь разговор представителей двух направлений русской общественной мысли вертелся якобы вокруг исторических экскурсий в 30-ые и 40-ые годы.

На самом деле не может подлежать сомнению, что спор Чернышевского с Герценом должен был идти об отношении *к тогдашнему русскому либерализму и к реформам 60-х годов*; исторические справки могли служить для того и другого собеседника лишь иллюстрацией их отношения к текущим злободневным вопросам. Не забудем, что полемика-то между ними завязалась именно по поводу насмешек «Современника» и «Свистка» над буржуазным либерализмом вообще и над тогдашними российскими «прогрессистами» в частности.

Лишние люди — это отцы, люди 40-х годов, и либералы 60-х годов, на которых нападал «Современник»; *желчевики* — это революционеры 60-х годов, Чернышевский и его единомышленники, на которых нападал Герцен. Но единственный упрек, который Герцен мог поставить желчевикам, это их тон, «беспокойный тон, язык saccadé и вдруг расплывающийся в бюрократическое празднословие, уклончивое смирение и надменные выговоры, намеренная сухость и готовность по первому поводу осыпать ругательствами, оскорбительное принятие вперед всех обвинений и беспокойная нетерпимость директора департамента. ⟨351⟩ Этот fion директорского распекательного слога, презрительный и с прищуренными глазами, для нас противнее генеральского сиплого крика, напоминающего густой лай остепенившейся собаки, ворчащей больше по общественному положению».

После объяснения с Чернышевским Герцен принужден уже отказаться от своих инсинуаций по адресу радикалов, действующих якобы по внушениям правительства. Теперь он уже признает, что они — люди добрейшие по сердцу и благороднейшие по направлению, но прибавляет, что тоном своим они могут довести ангела до драки и святого до проклятия[1]. К тому же они, по его словам, с таким апломбом преувеличивают все на свете и не для шутки, а для огорчения, что выводят добродушных людей из терпения. На всякое «бутылками и пребольшими» у них готово мрачное «нет-с, бочками сороковыми!» Герцен утешается надеждой, что тип желчевиков недолговечен. Жизнь,— говорит он,— долго не может выносить наводящие уныние лица невских Даниилов, мрачно упрекающих людей, зачем они обедают без скрежета зубов и, восхищаясь картиной или музыкой, забывают о всех несчастьях мира сего. На смену этим беспощадным отрицателям, которых снедает раздражительное и «свернувшееся» самолюбие, на смену этим ипохондрикам, неразвившимся талантам и неудавшимся гениям должно прийти новое жизнерадостное и здоровое поколение, которым старики à la Герцен протянут, быть может, руку через головы физически и морально больного поколения желчевиков.

Как мы видим, даже такой искренний и просвещенный представитель либерализма, как Герцен, органически не мог понять первого поколения русских революционных демократов[2]. Из-за

[1] Как известно, о *тоне* противника люди заговаривают тогда, когда не в состоянии привести против него более серьезных аргументов.

[2] Г. Богучарский в своей книге «Из прошлого русского общества» (стр. 250), изложивши этот конфликт двух направлений, заключает: «совершенно

NB тона он не разглядел сущности их ⟨352⟩ стремлений, из-за деревьев он не заметил леса. Настолько органически либералы и демократы были уже тогда чужды друг другу. Ибо здесь дело шло не о столкновении двух поколений или, вернее, не столько о столкновении двух поколений, сколько о конфликте двух общественных течений, двух партий, представлявших существенно различные и враждебные классовые интересы[1]. Либералы представляли интересы буржуазии и прогрессивного дворянства, Чернышевский и его кружок отстаивали интересы трудящихся или, говоря его слогом, простонародья, в котором по тогдашним социальным условиям смешивались воедино рабочий класс и крестьянство. Не следует при этом упускать из виду, что крестьянство составляло тогда почти единственную массу трудящихся, из которой пролетариат не успел еще выделиться настолько, чтобы входить в расчеты демократов в качестве серьезного исторического фактора. И вот почему в расчетах тогдашних социалистов вообще, и Чернышевского в частности, главную роль играет крестьянство, а о пролетариате упоминается лишь глухо и слабыми намеками (например, швейные мастерские в романе «Что делать?»).

NB

NB

⟨353⟩ ...Именно потому, что в основе режима, от которого задыхалось все честное и живое на Руси, лежало крепостное право,— именно потому передовые русские люди того времени с таким восторгом встретили первые акты, ⟨354⟩ коими правительство возвещало свою решимость приступить к раскрепощению крестьянства. И даже наш великий Чернышевский на момент поддался общему увлечению и, в параллель герценовскому: «Ты победил, Галилеянин!», предпослал своей статье «О новых условиях сельского быта» («Совр.», 1858, № 2) эпиграф, обращенный к Александру II: «Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помаза тя Бог твой (Псал. XLV, стих 8)»[2]...

1858

NB ясно, что Чернышевский был по существу дела неправ». Правда, он спохватывается и вспоминает, что «мы имеем показание по этому поводу (разговор в Лондоне) только одной стороны», но во-первых, об этом нужно было вспомнить прежде, чем делать столь решительный вывод, а во-вторых, показаниями по этому поводу является вся литературная и общественная деятельность обоих великих писателей. Чернышевский до конца остался верен своим взглядам — и история доказала справедливость его отношения к русскому либерализму; а вот Герцену пришлось скоро отказаться от своего прекраснодушия и во многом стать на точку зрения Чернышевского. Почему же г.Богучарский все-таки считает Чернышевского «по существу дела неправым»? По какому существу и какого дела? В его отношении к российским либералам, что ли? или к либеральничающей бюрократии? Вот что значит пройти освобожденско-кадетскую школу!

[1] Характерно, что Тургенев (конечно, человек 40-х годов), разорвавши с радикальным «Современником», перебежал в «Русский вестник» Каткова, который к тому времени успел уже достаточно обнаружить свои настоящие тенденции. Роман Тургенева «Отцы и дети», который, что бы там ни говорили, направлен был против «нигилистов» (хотя благодаря художественной искренности автора нигилист Базаров вышел все-таки симпатичнее всех других персонажей романа), помещен был в «Русск. вестнике» за 1862 г. А между тем Катков в своем журнале уже вел доносительную кампанию против демократов, а вскоре ополчился и на Герцена (личного друга Тургенева), обливая его ушатами помоев.

[2] Соч., IV, 50 и ss.

стремленій, изъ-за деревьевъ онъ не замѣтилъ лѣса. Настолько органически либералы и демократы были уже тогда чужды другъ другу. Ибо здѣсь дѣло шло не о столкновеніи двухъ поколѣній или, вѣрнѣе, не столько о столкновеніи двухъ поколѣній, сколько о конфликтѣ двухъ общественныхъ теченій, двухъ партій, представлявшихъ существенно различные и враждебные классовые интересы [1]). Либералы представляли интересы буржуазіи и прогрессивнаго дворянства, Чернышевскій и его кружокъ отстаивали интересы трудящихся или, говоря его слогомъ, простонародья, въ которомъ по тогдашнимъ соціальнымъ условіямъ смѣшивались воедино рабочій классъ и крестьянство. Не слѣдуетъ при этомъ упускать изъ виду, что крестьянство составляло тогда почти единственную массу трудящихся, изъ которой пролетаріатъ не успѣлъ еще выдѣлиться настолько, чтобы входить въ разсчеты демократовъ въ качествѣ серьезнаго историческаго фактора. И вотъ почему въ разсчетахъ тогдашнихъ соціалистовъ вообще и Чернышевскаго въ частности главную роль играетъ крестьянство, а о пролетаріатѣ упоминается лишь глухо и слабыми намеками (напримѣръ, швейныя мастерскія въ романѣ „Что дѣлать?").

по этому поводу (разговоръ въ Лондонѣ) только одной стороны", но вопервыхъ, объ этомъ нужно было вспомнить прежде, чѣмъ дѣлать столь рѣшительный выводъ, а во-вторыхъ, показаніями по этому поводу является вся литературная и общественная дѣятельность обоихъ великихъ писателей. Чернышевскій до конца остался вѣренъ своимъ взглядамъ—и исторія доказала справедливость его отношенія къ русскому либерализму; а вотъ Герцену пришлось скоро отказаться отъ своего прекраснодушія и во многомъ стать на точку зрѣнія Чернышевскаго. Почему же г. Богучарскій все-таки считаетъ Чернышевскаго „по существу дѣла неправымъ"? По какому существу и какого дѣла? Въ его отношеніи къ россійскимъ либераламъ, что ли? или къ либеральничающей бюрократіи? Вотъ что значитъ пройти освобожденско-кадетскую школу!

[1]) Характерно, что Тургеневъ (конечно, человѣкъ 40-ыхъ годовъ), разорвавши съ радикальнымъ «Современникомъ», перебѣжалъ въ «Русскій Вѣстникъ» Каткова, который къ тому времени успѣлъ уже достаточно обнаружить свои настоящія тенденціи. Романъ Тургенева «Отцы и Дѣти», который, что бы тамъ ни говорили, направленъ былъ противъ «нигилистовъ» (хотя благодаря художественной искренности автора нигилистъ Базаровъ вышелъ все-таки симпатичнѣе всѣхъ другихъ персонажей романа), помѣщенъ былъ въ «Русск. Вѣстникѣ» за 1862 г. А между тѣмъ Катковъ

ПОМЕТКИ В. И. ЛЕНИНА НА КНИГЕ Ю. М. СТЕКЛОВА «Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», СПб., 1909

Страница 352

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Москва

... Главнейший источник всех недостатков русской жизни — крепостное право[1]. «С уничтожением этого основного зла нашей жизни, каждое другое зло ее потеряет девять десятых своей силы». Крепостным правом ⟨355⟩ парализовались «все заботы правительства, все усилия частных людей на благо России». При нем невозможны были ни правосудие, ни нормальное функционирование государственного механизма, ни порядочная администрация, ни рациональный бюджет, ни развитие производительных сил. Подневольный труд крестьян в первую голову невыгоден был для самих помещиков. Отмена крепостного права принесет пользу всему народу, всей стране, но больше всего и прежде всего выиграет от нее помещичий класс, а затем купцы и промышленники: вот почему расходы по освобождению крестьян должна нести вся нация[2]. Но все эти положительные стороны скажутся только в том случае, если реформа будет проведена глубоко и серьезно, если крестьянам будет предоставлена вся нужная им земля и притом за небольшой выкуп[3]. А в случае рационального разрешения крестьянского вопроса Россия быстрыми шагами пойдет вперед, причем общинное землевладение поможет ей постепенно и безболезненно перейти к высшим формам организованного труда.

Вот почему первые шаги правительства в области крестьянской реформы привели Чернышевского в такой восторг, окрылили его такими радужными надеждами. И вот почему из-под пера его вырвалось славословие Александру II, столь не идущее к общему мировоззрению писателя. «Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчивает Александра II счастьем, каким не был увенчан еще никто из государей Европы — счастьем одному начать и совершить освобождение своих подданных». Но — скоро, еще в том же 1858 году, Чернышевский изменил свое отношение к правительству, когда увидел, что оно искажает великую реформу в интересах помещиков[4].

⟨356⟩ С тоской и бессильным гневом смотрел Чернышевский на то, как крестьянская реформа, попавшая в руки бюрократов и крепостников, систематически искажается и проводится во вред народным интересам. Мнения народа никто не спрашивал, и Чернышевский берет на себя выразить крестьянскую точку зрения. Народ, говорит он, ждет от реформы земли и воли, т. е. не только личного освобождения, но и передачи всех находящихся в его пользовании земель за умеренный выкуп (об освобождении без выкупа по тогдашним цензурным условиям, как мы указывали, нельзя было и заикаться). Он предостерегает правительство, что временное сохранение обязательных отношений и тяжелый

[1] Впоследствии, как мы знаем, Чернышевский несколько изменил свой взгляд; неудача крестьянской реформы заставила его искать этой основной причины глубже — и он нашел ее в политическом устройстве России, одним из проявлений которого он и признал крепостное право.

[2] Соч., IV, 62, 66, 67, 94, 99, 112, 387.

NB ||| [3] В сущности Чернышевский стоял за полную экспроприацию помещиков и за передачу крестьянам земли без всякого выкупа; но открыто говорить об этом в своих статьях он не мог по цензурным условиям. Ср. приводимую ниже в тексте выдержку из романа «Пролог» (разговор с Соколовским).

с. 357

[4] Знаменитая статья «Критика философских предубеждений против общинного землевладения», в которой Чернышевский смеется над собой за временно овладевшие им оптимистические надежды, напечатана была в № 12 «Соврем.» за 1858 г.

1858 № 12

выкуп внушат народу мысль о том, что он обманут, а в таком случае стране предстоят самые тяжелые испытания[1]. Под влиянием чувства негодования, охватившего Чернышевского при виде искажения крестьянской реформы, он начинает склоняться к той мысли, что лучше бы не было никаких реформ. «Я не желаю,— говорит Волгин,— чтобы делались реформы, когда нет условий, необходимых для того, чтобы реформы производились удовлетворительным образом»[2].

«Толкуют: освободим крестьян,— замечает он в другом месте.— Где силы на такое дело? Еще нет сил. Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него. А видите, к чему идет. Станут освобождать. Что выйдет?— сами судите, что выходит, когда берешься за дело, которого не можешь сделать. Натурально что: испортишь дело, выйдет мерзость...— Волгин замолчал, нахмурил брови и стал качать головой.— Эх, наши господа эмансипаторы, все эти ваши Рязанцевы с компанией!— вот хвастуны-то; вот болтуны-то; вот дурачье-то!— Он опять замотал головою». Убеждая революционера Соколовского (Сераковский) не верить нашим либералам и скептически относиться к пустым толкам о затеваемых серьезных реформах, Волгин утверждает, что, по его мнению, беды ⟨357⟩ не будет, если дело освобождения крестьян будет передано в руки помещичьей партии. Разница не колоссальная, а ничтожная. Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа (*вот где Чернышевский раскрывает свои карты*: *в романе*, *написанном в Сибири*; в статьях, писавшихся с разрешения цензуры, он об этом не мог и заикаться). NB План помещичьей партии отличается от плана прогрессистов только тем, что проще и короче, поэтому он даже лучше. Если сказать правду, *лучше пусть будут освобождены без земли*. «Вопрос поставлен так, что я не нахожу причин горячиться, будут или не будут освобождены крестьяне; тем меньше из-за того, кто станет освобождать их — либералы или помещики. По-моему, все равно. Или помещики даже лучше»[3].

Почему же Чернышевский полагал, что освобождение крестьян без земли лучше? Потому, что, по его мнению, это было единственное средство расшевелить косную народную массу и возбудить в ней движение, которое смело бы старый режим целиком и дало бы народу настоящую землю и волю. Все это время он колебался между полным унынием и надеждой на предстоящий взрыв крестьянской революции. NB На либеральном банкете Волгин грозит реакционным помещикам народной революцией; но через минуту сам смеется над собой. Грозить крестьянским восстанием, крестьянской революцией! «Не было ли бы это и смешно? Кто же поверил бы, кто не расхохотался бы?— Да и не совсем честно грозить тем, во что сам же первый веришь меньше всех»[4].

Народ спит, народ темен, говорит Чернышевский, но можно ли надеяться на его пробуждение? При известных условиях, пожалуй, можно. «Люди довольно скоро умнеют, когда замечают, что им выгодно стало поумнеть»,— пишет он в «Что делать?».

---

[1] Устройство быта. Соч., IV, 545—47.
[2] «Пролог», loc. cit., 91, 116, 120, 121.
[3] Ibid., 163—164.
[4] Ibid., 181.

В своей общественной деятельности отдельные лица могут руководиться идейными или моральными мотивами; массы же, говорит Чернышевский, приходят в движение только под давлением ⟨358⟩ своих материальных интересов. Русский народ всей своей историей приучен к мысли, что он не должен ждать для себя ничего хорошего от высших классов, а когда народ дошел до такой мысли, то он «непременно и скоро сделает вывод, что ему самому надобно взяться за ведение своих дел»[1]. Обманутое реформой крестьянство ждет другой, «настоящей» воли, несмотря на все репрессии правительства. Поэтому крестьянское движение неизбежно. А если к этому крестьянскому недовольству присоединится недовольство других классов общим политическим режимом, то произойдет революция, направленная против существующего строя в целом. Чернышевский ссылается на смуту в Польше, на крестьянские волнения внутри России, на появление революционных прокламаций («Великорусс», «К молодому поколению»), на брожение среди университетской молодежи в Петербурге и на конституционное движение среди дворян[2].

Итак, при всем своем пессимистическом отношении к сознательности и активности русского народа Чернышевский к концу 1861 года начал, по-видимому, допускать возможность широкого крестьянского движения. В этом отношении чрезвычайно характерна его статья «Не начало ли перемены?», написанная по поводу рассказов Н. В. Успенского и помещенная в XI книжке «Современника» за 1861 год. Указывая на то, что Н. Успенский пишет о народе правду без всяких прикрас и что его рассказы свободны от слащавой идеализации народной жизни, Чернышевский объясняет это обстоятельство тем, что в психике русского крестьянства произошла перемена к лучшему. Пока положение русского народа представлялось безнадежным, пока о нем можно было только сожалеть, до тех пор писатели идеализировали его жизнь и изображали его исключительно «несчастным, несчастным, несчастным». Такое отношение к народу, по мнению Чернышевского, никуда не годится; во всяком случае, оно — объяснялось исключительно безысходностью его положения ⟨359⟩. Теперь дело очевидно изменилось, и очерки Н. Успенского — очень хороший признак.

«Решимость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа духе свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большой разности нынешних времен от недавней поры, когда ни у кого не поднялась бы рука изобличать народ. Мы замечали, что резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся только по его собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу. В этом смысле надобно назвать очень отрадным явлением рассказы г. Успенского, в содержании которых нет ничего отрадного».

---

[1] «Письма без адреса», l. с., 294—5.
[2] Ibid., 304.

То обстоятельство, что в рассказах Успенского народная масса представляется как бы лишенной умственного развития и сознания человеческого достоинства, ничего не говорит...

... В великие исторические моменты, когда задеты насущные интересы и стремления масс, народ преображается. «Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично и ⟨360⟩ мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, *минуты энергических усилий, отважных решений*. То же самое встречается в истории каждого народа». NB

И Чернышевский кончает свою статью призывом к интеллигенции идти в народ, для сближения с которым не нужно никаких фантастических фокус-покусов в славянофильском духе, а достаточно простого и непринужденного разговора о его интересах[1].

Приобщить народ к идеям демократии и социализма,— эту великую историческую задачу должно было выполнить новое молодое поколение, выступившее на сцену после разгрома старого режима во время Крымской войны. На это бодрое и смелое поколение возлагал Чернышевский все свои надежды, для него он и Добролюбов писали свои статьи, к нему они обращались с призывами идти в народ. Изображению этих новых людей посвящен роман Чернышевского «Что делать?», написанный в Петропавловской крепости. «Добрые и сильные, честные и умеющие,— обращается к ним Чернышевский в предисловии к роману,— недавно вы начали возникать между нами, но вас уже немало и быстро становится все больше». А когда их станет совсем много, тогда будет очень хорошо...

⟨361⟩ ...У этих людей стремление к социализму, к установлению царства труда есть естественное человеческое стремление. Их невеста, царица свободы и равенства, подсказывает ⟨362⟩ им магические слова, привлекающие к ним всякое огорченное и оскорбленное существо. Они воздействуют на окружающих, «развивают» их, т. е. внушают им чувство человеческого достоинства и любовь к страждущим (характерно для Чернышевского, что Лопухов, развивая Веру Павловну, дает ей читать сочинения *Фурье* и *Фейербаха*). С либералами они расходятся органически; они — пропагандисты новых демократических и социалистических идей: Оуэн для них «святой старик». Они внимательно следят за наукой, интересуются антропологической философией, химическими теориями Либиха, законами исторического прогресса и вопросами текущей политики, организуют кружок, куда входят пара ремесленников и мелких торговцев, пара офицеров, учителя и студенты; устраивают швейные мастерские на коммунистических началах. Но в сущности их идеал—мещанское счастье; их деятельность носит преимущественно культурнический характер; от прямой политической борьбы, от участия в революционных предприятиях они пока воздерживаются и даже боятся ее. NB

Истинным представителем новых людей и предтечей народных борцов является Рахметов, «особенный человек», как называет его Чернышевский. В Рахметове соединяется беспощадная логика

---

[1] «Не начало ли перемены?». Соч., VIII, 339—359.

NB самого Чернышевского с жилкой настоящего революционного агитатора, которой Чернышевский, по-видимому, был лишен. В этом отношении Рахметов напоминает друга Чернышевского, знаменитого польского революционера Сераковского, которого Николай Гаврилович вывел в «Прологе» под именем Соколовского; но только Рахметов свободен от либеральных увлечений Соколовского. «Агитаторы мне смешны»,— говорит Волгин, но в действительности он преклоняется перед ними, чувствует, что в них имеется инстинкт истинных политических деятелей и практическая энергия борцов за народное дело[1].

⟨365⟩ ...Если Лопуховы и Кирсановы — тип новый, то Рахметов — тип, так сказать, новейший, последнее слово русского общественного развития. Таких людей, по словам Чернышевского, мало; до сих пор он встретил только 8 образцов этой породы, в том числе двух женщин. «Мало их,— заключает Чернышевский свое описание Рахметова,— но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли»[2].

---

[1] Сераковский был близким человеком в кружке «Современника», биографические сведения о нем помещены отчасти в романе «Пролог», отчасти в брошюре Шаганова «Н. Г. Чернышевский на каторге и в ссылке» со слов Николая Гавриловича. В 1848 г. Сераковский, бывший тогда студентом, приехал на рождественские каникулы на свою родину в Подольскую губернию. В это время среди местной польской шляхты готовилось восстание благодаря слухам о начавшемся движении в Галиции. Сераковский предложил увлекающимся горячим головам не спешить с решительными выступлениями, пока он сам не съездит на границу и не разузнает, в чем дело. По дороге его схватили и «по подозрению в намерении уехать за границу» сослали рядовым в Оренбургские линейные батальоны — главным образом за откровенные и смелые разговоры с военными следователями. В начале нового царствования он был произведен в офицеры, уехал в Петербург и поступил в военную академию, которую и кончил с отличием, а затем был отправлен правительством за границу с какими-то военно-техническими поручениями. В Англии он познакомился с Пальмерстоном, который представил его королеве Виктории. В 1863 г. он примкнул к польскому восстанию, был начальником ковенского революционного отряда, взят в плен и повешен Муравьевым.— Этого замечательного человека и вывел Чернышевский под именем Соколовского в «Прологе». Беспощадный к самому себе, он в романе несколько добродушно подсмеивается и над пылким Соколовским за его оптимизм: «Мы с Болеславом Ивановичем забавны... ждем бури в болоте»,— говорит он. Но по всему видно, что он горячо любил и уважал этого бледного энтузиаста с пламенным, впивающимся в душу взглядом, рыцаря без страха и упрека, агитатора с практической жилкой, горячим сердцем, но холодной головой, не теряющегося в самые опасные минуты и всегда готового пожертвовать своей жизнью делу народного освобождения. Страницы, посвященные описанию Соколовского, лучшие в романе и отличаются поразительной художественной силой.— В романе Волгин отказывается от сближения с Соколовским ввиду того, что последний, как человек энергический и самоотверженный, недолго будет оставаться во власти либеральных иллюзий и обязательно ввяжется в какие-нибудь революционные предприятия; вести знакомство с таким человеком небезопасно. В действительности дело обстояло, конечно, не так. Но для Чернышевского характерно, что он конспирирует даже в романе, написанном в далекой ссылке, спустя долгое время после изображаемых в нем событий.

[2] Полагают, что в лице Рахметова Чернышевский вывел некоего Бахметьева, который у Герцена («Общий фонд». Сборник посмертных статей-

⟨366⟩ Итак, к концу своей литературной деятельности Чернышевский, при всем своем отрицательном отношении к русскому обществу и недоверии к активности народных масс, начал допускать возможность широкого революционного движения, вызванного разочарованием крестьянства в реформе 1861 года. С другой стороны, он мог констатировать наличность новых людей, революционеров из интеллигенции, готовых стать во главе народа в его борьбе с царством эксплуатации и угнетения... NB

...По какому же пути должно было пойти в России ⟨367⟩ революционное движение с точки зрения Чернышевского?

Выше (в главе VI) мы видели, что по общим своим политическим взглядам Чернышевский стоял близко к бланкизму — к бланкизму не в том смысле, какой это слово получило впоследствии и доныне употребляется в разговорном языке[1], а скорее

Женева, 1874, стр. 181 и сл.) изображен совершенно иначе. Герцен встретился с ним в Лондоне в 1858 г.: приблизительно в это время у Чернышевского Рахметов уезжает за границу. У нашего автора Рахметов за границей является к Фейербаху, чтобы предложить ему деньги на издание его сочинений (кстати, это лишний раз показывает, как высоко Чернышевский ставил Фейербаха, «величайшего из европейских мыслителей XIX века, отца новой философии». «Что делать?», l. c., 194); Бахметьев же приехал в Лондон к Герцену, чтобы предложить ему часть своего капитала на дела русской пропаганды. Вот как Герцен описывает Бахметьева: NB

«Молодой человек с видом кадета, застенчивый, очень невеселый и с особой наружностью, довольно топорно отделанной, седьмых-восьмых сыновей степных помещиков. Очень неразговорчивый, он почти все молчал; видно было, что у него что-то на душе, но он не дошел до возможности высказать что̀. Я ушел, пригласивши его дня через два-три обедать. Прежде этого я его встретил на улице.

— Можно с вами идти? — спросил он.

— Конечно, не мне с вами опасно, а вам со мной. Но Лондон велик.

— Я не боюсь,— и тут вдруг, закусивши удила, он быстро ⟨366⟩ проговорил: — Я никогда не возвращусь в Россию, нет, нет, я решительно не возвращусь в Россию...

— Помилуйте, вы так молоды.

— Я Россию люблю, очень люблю; но там люди... Там мне не житье. Я хочу завести колонию на совершенно социальных основаниях; это все я обдумал и теперь еду прямо туда.

— То есть куда?

— На Маркизские острова».

Из имевшихся у него 50 000 франков Бахметьев 30 тысяч взял с собой на Маркизские острова, завязавши их в платке «так, как завязывают фунт крыжовнику или орехов», а 20 тысяч оставил Герцену на дела пропаганды: это и был «общий фонд», впоследствии вызвавший столько раздоров среди русской эмиграции. Дальнейшая судьба Бахметьева совершенно неизвестна: он исчез бесследно. В изображении Герцена он выходит каким-то развинченным, чуть не полоумным чудаком, очень мало напоминающим грозную и суровую фигуру Рахметова. Но и то сказать: Герцен органически неспособен был понять русских революционеров того времени; на этой почве и произошли все те недоразумения, которые отравили последние дни его жизни. Уж если Герцен мог так ложно понять писателей Чернышевского и Добролюбова, что ж удивительного, если он совершенно не понял угловатого и сурового представителя революционной молодежи? Но с другой стороны очень возможно одно из двух иных предположений: или Бахметьев вовсе не послужил прототипом для Рахметова, или же Чернышевский сильно его идеализировал, создавши образ, ничего общего не имеющий с оригиналом, или сочетавши в нем черты из характера Добролюбова (суровое чувство гражданского долга), Бакунина (объезд славянских земель, ср. также Кельсиева), Сераковского (сближение со всеми классами) и т. д.

[1] Образчиком такого поверхностного понимания бланкизма являются рассуждения г. Николаева о политических взглядах Чернышевского. Рас-

в том смысле, в каком понимал его Маркс, когда признавал бланкистов истинными представителями революционного пролетариата. Бланкисты впервые во Франции более или менее точно сформулировали требования рабочего класса и сделали ряд попыток к практическому их осуществлению. То, что эти попытки выразились преимущественно в виде организации боевых тайных обществ и вылились в форму вооруженных восстаний, было совершенно естественно по тогдашним условиям и вполне соответствовало неустойчивому равновесию тогдашней цензитарной Франции и слабой организованности французского пролетариата того времени. Эти же обстоятельства обусловили и другие черты бланкизма, в частности характерное для него преувеличение роли сознательного организованного меньшинства и веру в решающее значение государственной власти, к захвату которой они систематически стремились. Но бланкисты держались ⟨368⟩ той точки зрения, что меньшинство сильно лишь постольку, поскольку оно верно выражает если не стремления, то, по крайней мере, интересы трудящегося большинства.

На этой же точке зрения, единственно возможной для эпох, характеризующихся пассивностью народной массы, по-видимому, стоял и Чернышевский. Он определенно подчеркивал, что без участия народных масс нельзя достигнуть серьезных практических результатов; он говорил, что только сочувствие широких масс способно обеспечить успех той или иной политической программы и что без возбуждения энтузиазма в массах революционные попытки неминуемо обречены на плачевное фиаско. В активность масс, в способность их к широкой политической инициативе он, как мы знаем, мало верил. Но он полагал, что в те исторические периоды, когда задеты насущные интересы этих масс — главным образом интересы экономические, особенно для них близкие, чувствительные и понятные,— они способны приходить в движение и во всяком случае послужить опорой для сознательного меньшинства, склонного к решительной инициативе. Это меньшинство, слившее свое дело с делом народа, должно при благоприятных условиях захватить государственную власть, учредить революционную диктатуру и использовать могучий государственный механизм в интересах народных масс. Законодательные акты, направленные к изменению социальных отношений и опирающиеся на сочувствие большинства, способны видоизменить всю народную пси-

сказавши о своем разговоре с Чернышевским на каторге, во время которого Николай Гаврилович высказал ту мысль, что было бы гораздо лучше, если бы во время крестьянской реформы победила откровенно-крепостническая партия дворянства и крестьяне были бы освобождены без земли, ибо тогда немедленно произошла бы катастрофа, г. Николаев заключает: «Тут, как видите, чистый бланкизм: чем хуже, тем лучше (!). Это совсем не напоминает позднейших теорий наших доморощенных марксистов (которым, к слову сказать, господа Николаевы в свое время именно и приписывали принцип «чем хуже, тем лучше» и которых эти господа именно и обвиняли в сочувствии обезземелению крестьянства.— *Ю. С.*). Не эволюция, не постепенное освобождение крестьян от средств производства, не вываривание мужика в фабричном котле, не постепенное его превращение в батрака, а полное и сразу произведенное обезземеление. Не эволюция, к которой, повторяю, Н. Г. относился с негодованием (?), а катастрофа. Не марксизм, а бланкизм» («Личные воспоминания», 21—22).—Нечего сказать, хорошее представление о взглядах Чернышевского можно получить из такой тирады!

хику[1]. А в таких отсталых странах, как Россия (не забудем: тогдашняя Россия, только начинавшая становиться на путь капиталистического развития), переход государственной власти в руки социалистов может помочь народу, быстро пройдя промежуточные этапы, перейти от низших к высшим, целиком или отчасти минуя стадию капитализма...

⟨369⟩ ...В ряде блестящих статей, посвященных защите общинного принципа от нападок буржуазных экономистов[2], Чернышевский развил все те аргументы, которые впоследствии составили арсенал народников, усвоивших ⟨370⟩ букву, но не дух великого учителя. Обнаруженная им при этой мастерской защите общины сила логики и глубина чувства прямо поражают читателя и до сих пор придают статьям блестящего полемиста живой интерес. Правда, при этом Чернышевский иногда договаривался до не совсем основательных утверждений, вроде того, что община не только не препятствует прогрессу сельского хозяйства, но напротив именно она благоприятствует этому прогрессу[3]. Но для него центр тяжести вопроса лежал не в этой плоскости. Даже если допустить, говорил он, что община задерживает развитие производительных сил, она все-таки выгоднее для нации в целом[4].

NB

NB

Это потому, что община может облегчить переход России к социалистическому строю. На Западе осуществление социализма затруднено психикой и навыками крестьянства, хотя и бедствующего на своей парцелле, но цепко держащегося за частную собственность; там для организации национального хозяйства на началах коллективизма приходится «перевоспитать целые народы». У нас в России лишь $^1/_{15}$ или $^1/_{20}$ часть земель обрабатываются на правах «полновластной собственности»; подавляющая же масса земель или распределяется для обработки и пользования по общинному началу, или же принадлежит государству, т. е.

NB

[1] «Все общественные явления зависят от законов, управляющих обществом. Говорят: над нравами бессильны законы, vanae leges sine moribus. Да, закон бывает бессилен, когда обращается единственно против симптомов болезни; *но он всесилен, когда, постигнув истинную причину зла, законодатель изменяет учреждения, производящие это зло*» (Цитированная статья о Бентаме, l. c., стр. 526).

[2] Назовем главнейшие из этих статей: 1) Рецензия на «Обзор исторического развития сельской общины в России» Чичерина, «Совр.», 1856, 4; 2) Славянофилы и вопрос об общине, «Совр.», 1857, 5; 3) «Studien» Гакстгаузена, «Совр.», 1857, 7; 4) О поземельной собственности, «Совр.», 1857, 9 и 11; 5) Критика философских предубеждений против общинного землевладения, «Совр.», 1858, 12; 6) Суеверие и правила логики, «Совр.», 1859, 10.

[3] Соч., III, 192 и сл.; 465 и сл., 472, 478.

[4] Ibid., 190—191. Здесь приводится известный пример: сравниваются два участка, один с фермерским хозяйством и с высшей производительностью, другой с общим пользованием и с производительностью на 40% меньшей; по примерному расчету оказывается, что на втором участке масса населения пользуется почти вдвое бо́льшим благосостоянием, хотя масса производимых ценностей почти вдвое больше на первом участке (ибо здесь землевладелец и фермеры-капиталисты присваивают себе всю прибавочную стоимость). Вот почему Чернышевский «считает выгодным для нации сохранить общинное пользование на втором участке даже во время того периода, когда оно задерживает успехи производства». Но тут же он спешит оговориться, что в действительности общинное землевладение не служит препятствием прогрессу земледелия, а в частности в России вовсе не община является причиной отсталости сельского хозяйства.

всей нации. Масса народа до сих пор смотрит на землю, как на общинное достояние...

1858, 12 ⟨371⟩ ...Анализу теоретической возможности этого перехода посвящена одна из самых блестящих статей Чернышевского, а именно «Критика философских предубеждений против общинного землевладения». Собственно говоря, ⟨372⟩ Чернышевский, когда писал эту статью, сильно уже разочаровался в возможности осуществить этот переход на практике — в виду того оборота, который приняла крестьянская реформа...

...Но когда Чернышевский убедился, что ни одна из «низших» гарантий, которые он считал необходимыми ⟨373⟩ предпосылками для дальнейшего развития общинного принципа, не осуществлена, когда он увидел, что старый политический режим остался в полной неприкосновенности, что проведение крестьянской реформы передано в руки бюрократии и дворянства, что народ не только не получил всей земли, но даже был лишен значительной части прежних своих угодий, а за предоставленную в его распоряжение землю на него был наложен высокий выкуп,— одним словом, когда он понял, что «великая реформа» грозит скорее ухудшить, чем улучшить положение народных масс, не раскрепостить их, не предоставить полный простор их творческим силам, а сковать их еще более тяжелыми цепями, тогда он признал, что его надежды были неосновательны, его построения абстрактны, а вся кампания в пользу общины, как возможного зародыша социалистического строя, была сплошным недоразумением. И по своей честности он поспешил открыто признать это.

«Предположим,— говорит он с помощью своего «любимого способа объяснений»,— что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собою разумеется, что если я это делал из расположения собственно к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам и что приготовленный из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовляемый из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях? „Человек самолюбив“, и первая мысль, рождающаяся во мне, относится ко мне самому. „Как был я глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?“. Вторая моя мысль о вас, предмете моих забот, и о том деле, ⟨374⟩ одним из обстоятельств которого я так интересовался: „лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мной человеку! лучше пропадай все дело, приносящее вам только разорение!“ Досада за вас, стыд за свою глупость — вот мои чувства!»[1].

---

[1] Смысл этой притчи ясен: выгодное для массы решение аграрного вопроса предполагает предварительное совершение политического переворота. После реформы 1861 г. эта мысль сделалась общим достоянием всех демократически настроенных элементов. NB

Но на прощание Чернышевский концентрирует свои аргументы в пользу того утверждения, что русская община может *при благоприятных условиях* послужить исходным пунктом социалистического развития. Этим он как бы старается внушить своим сторонникам ту мысль, что если бы им удалось побороть темные силы, стоящие поперек пути русскому народу и препятствующие свободному его творчеству, дело трудящихся, быть может, не было бы проиграно бесповоротно...

⟨375⟩... Но при этом естественно возникает вопрос: должно ли каждое отдельное проявление общего процесса проходить в действительности все логические моменты с полной их силой, или же обстоятельства, благоприятные ходу процесса в данное время и в данном месте, могут в действительности приводить его к высокой степени развития, совершенно минуя средние моменты или, по крайней мере, чрезвычайно сокращая их продолжительность и лишая их всякой ощутительной интенсивности? Другими словами, может ли русская община при известных условиях прямо перейти в высшую стадию, минуя промежуточную стадию капитализма?

Таков был «проклятый вопрос» тогдашней русской жизни, мучительно интересовавший Чернышевского и современное ему поколение социалистов и демократов... NB

⟨378⟩...Принужденные строить свое теоретическое здание из тех материалов и на том фундаменте, которые предлагались им тогдашней ⟨379⟩ действительностью, шестидесятники-социалисты в своих стремлениях и надеждах на предстоящее крестьянское восстание в сущности отражали смутные стремления и чаяния многомиллионной крестьянской массы и давали им только, так сказать, обобщенное выражение. NB не только

«Так сложилась окончательно национальная форма русского социализма, которая красной нитью проходит через все последующие теоретические построения русских социалистов, и, осложняясь различными побочными влияниями, получая каждый раз новые дополнения и поправки под влиянием развивающейся жизни, дает различные теоретические формулировки, в которых все-таки ясно проглядывает основное зерно русского социализма, т. е. надежда на близкое всеобщее восстание крестьянства, одним разом устраняющее и гнет абсолютизма, и зачатки капитализма»[1].

---

[1] В этом смысле Чернышевского, конечно, можно признать одним из родоначальников народничества, поскольку последнее характеризуется между прочим верой в то, что Россия минует стадию капитализма. Но с этой стороны народничество можно возводить и к Герцену, и еще выше. Следует, однако, вспомнить, что широкий и трезвый ум Чернышевского был чужд герценовской исключительности, что наш автор и не думал ставить крест над европейской культурой, якобы насквозь пропахшей «мещанством», и что он признавал переход от общины к социализму лишь одной из возможностей, да и то мало вероятной и требующей для своего осуществления стечения особенно благоприятных обстоятельств. В наличность последних он уже к концу 1858 г. не верил. С другой стороны, Чернышевский в силу присущего ему скептицизма мало верил в революционную активность русского народа (в частности крестьянства). В этом отношении предтечей народничества можно скорее назвать Добролюбова, от которого и исходит первый призыв к «хождению в народ». У Чернышевского скорее были все задатки к тому, чтобы сделаться в России первым провозвестником критического или научного социализма; но его трагедия в том и заключается, что когда настало время его понять и оценить, он уже устарел и в значительной степени оказался лишь материалом для исторического исследования. «Я чужой своему народу» — вот где драма!

К концу 1861 года такое восстание крестьянской массы считалось вероятным, и такие надежды питали не одни горячие молодые головы. Условия, при которых состоялось освобождение крепостных, создавали, по-видимому, благоприятную почву для такого стихийного взрыва и, по свидетельству ‹380› современников, всеобщее восстание крестьянства против тогдашнего государственного порядка и господствующих классов допускалось тогда *всеми*, начиная от правительства и кончая революционерами, «нигилистами». Герцен пишет: «Б. (Бакунин) верил в возможность военно-крестьянского восстания в России, верили отчасти и мы; да *верило и само правительство*, как оказалось впоследствии рядом мер, статей по казенному заказу и казней по казенному приказу. Напряжение умов, брожение умов было неоспоримо, никто не предвидел тогда, что его свернут на свирепый патриотизм»[1]. Об этом же настроении свидетельствует и участник тогдашнего революционного движения, Л. Пантелеев: «Настроение общества (в конце 1861 г.) было крайне приподнятое; куда ни придешь, везде шум, говор, оживленные споры, а главное — всеобщее ожидание чего-то крупного и даже в ближайшем будущем»[2].

И здесь действовали даже не чисто русские условия. Во всей Европе воздух был насыщен электричеством. Гарибальди, кумир тогдашних русских радикалов, готовился к своему крестовому походу на Рим. В Пруссии происходил конституционный конфликт, который, как казалось, должен был привести к революционному взрыву. В Австрии абсолютизм после своего поражения во время итальянской войны 1859 г. не успел еще придти в себя, а тут снова начиналось революционное брожение в Венгрии. В самой Франции, которую Чернышевский называл «волканом Европы», правительство принуждено было ослабить вожжи, усилилась либеральная партия и появились первые симптомы возрождающейся республиканской агитации. Польша волновалась, готовясь снова восстать за свое национальное бытие. Одним словом, казалось, что тяжелая ночь реакции, опустившаяся над Европой после подавления революции 1848 г., начинает уступать место новому рассвету.

При всем своем скептицизме Чернышевский отличался ‹381› слишком здоровым чувством, чтобы не допустить возможности освежительной грозы, которая на этот раз должна была захватить и Россию. Если все прежние европейские революции разбивались о русскую границу и только вели к усилению реакции внутри России, теперь, когда в самой России появились некоторые активные революционные элементы и — главное, когда самая толща народных низов начала, по-видимому, обнаруживать недовольство своим положением, дело должно было измениться. С уверенностью этого нельзя было сказать, но некоторая вероятность тут была[3]. Налицо имелись: сильное и нежелавшее ни с кем де-

[1] Сборник посмертных статей, стр. 212.— Герцен имеет в виду взрыв шовинизма, охвативший русское общество во время польского восстания ввиду попыток европейской дипломатии вмешаться в это дело.

[2] «Из воспоминаний прошлого», ч. 1. СПб., 1905, 188; 228.

[3] Г-н Николаев пытается охарактеризовать тогдашнее настроение Чернышевского в следующих выражениях: «Катастрофа вскоре немыслима (точ-

литься властью правительство, воспитанное на традициях николаевской эпохи — с одной стороны; всеобщее брожение на Западе, глухое недовольство крестьянской массы и либерального общества в России, наконец, первые зародыши русской революционной партии — с другой. Ввиду таких условий необходимо было сделать попытку. Исход ее в значительной мере будет зависеть «от различной группировки элементов власти»[1]. Если революционной партии удастся воспользоваться замешательством правительства и недовольством широких масс, то при общеевропейской революции, которая в большей или меньшей степени будет окрашена социалистическим цветом, и при наличности общинного землевладения России удастся, быть может, сильно приблизиться к социализму. Если же революционная партия не успеет добиться своей цели, если результатом революции будет только завоевание политической свободы, то и в таком случае выигрыш будет большой[2].

нее было бы сказать: мало вероятна.— *Ю. С.*), но долг мыслящего и последовательного человека — стремиться к ней и делать все возможное для ее приближения. Поменьше фраз и теорий и побольше *действия»* (l. с., 23).—Вот только насчет «теорий» мы несколько сомневаемся: теоретик Чернышевский вряд ли относился к «теориям» с таким пренебрежением, как г. Николаев. Но энергию он действительно рекомендовал... раз нужно приступать к делу. NB

[1] Шаганов — Чернышевский на каторге и в ссылке, стр. 8.

[2] В конце 1871 г. Чернышевский, прощаясь с молодыми товарищами по каторге, изложил им нечто вроде своей политической ⟨382⟩ profession de foi, которую Шаганов передает так: «Он говорил нам, что со времени Руссо во Франции, а затем и в других европейских странах демократические партии привыкли идеализировать народ,— возлагать на него такие надежды, которые никогда не осуществлялись, а приводили еще к горшему разочарованию. Самодержавие народа вело только к передаче этого самодержавия хоть Наполеону I и, не исправленное этой ошибкой, многократно передавало его плебисцитами Наполеону III. Всякая партия, на стороне которой есть военная сила, может монополизировать в свою пользу верховные права народа и, благодаря ловкой передержке, стать якобы исключительной представительницей и защитницей нужд народа,— партией преимущественных народников. Он, Чернышевский, знает, что *центр тяжести лежит именно в народе*, в его нуждах, от игнорирования которых погибает и сам народ, как нация или как государство. Но только ни один народ до сих пор не спасал сам себя (такую же мысль незадолго до смерти высказал и Белинский.—*Ю. С.*) и даже, в счастливых случаях приобретая себе самодержавие, передавал его первому пройдохе. Это — переданное или непереданное, а древле благоприобретенное — самодержавие уже не так-то легко переходит к кому-либо другому. Становясь душеприказчиком своего народа, оно именно распоряжается им, как мертвым, и с имуществом народа поступает по своему благоусмотрению. И тогда горе тому, кто захотел бы будить этого мнимо умершего,— вмешиваться в его хозяйственные дела! По пути душится и слово, и совесть, ибо из этих вещей выходят разные пакости для власти... И как заключенному в тюрьме обойти своего тюремщика? Не прежде ли всего он единственно с ним должен иметь дело? Какой тюремщик по доброй воле позволит заключенному делать воззвание к разрушению тюрьмы? Конечно, формы — вещь ненадежная. Можно при всяких формах выстроить крепкий острог для трудолюбивого земледельца. С другой стороны, быть может, и хорошо, что формы ненадежны. При них всегда возможна борьба партий и победа одной партии другою,— и на практике победа всегда прогрессивная. *Страшнее всего — бесформенное чудовище, всепоглощающий Левиафан*. Чернышевский еще прежде говорил, что не так бы пошла история нашей родины, если бы при воцарении Анны партия верховников восторжествовала. Ни одна партия не может не делиться властью ради своего же собственного спасения... При власти партий все же более вероятности сделать что-нибудь в пользу народа, чем при отсутствии всяких политических форм, а следовательно, и всякой возможности предпринять что-либо в указанном направлении» (Шаганов, l. с., 28—29).— Это не совсем похоже на народничество с его политическим индифферентизмом и с презрением к конституционным формам.

NB

⟨382⟩ Итак, народное движение возможно; лозунг его — *земля и воля*; путь — захват власти революционерами при активной поддержке и сочувствии народных масс; результат — трудовая республика, а в случае поражения революционеров — во всяком случае значительное улучшение положения ⟨383⟩ народа. Вот программа, которую Чернышевский развивал перед своими современниками, вот путь, на который он приглашал их вступить или, вернее, на который он толкал их своими сочинениями. Но принимал ли он лично какое-нибудь участие в революционных предприятиях того времени? Это крайне спорный вопрос, на который мы и в настоящее время не можем дать положительного ответа. Тайну свою, если здесь была какая-нибудь тайна, Чернышевский унес в могилу. И в таком случае его действительно следует признать великим конспиратором. Н. Русанов со слов Шелгунова рассказывает, что Чернышевский после долгого колебания и тщательного взвешивания аргументов за и против решил активно вмешаться в ход событий, признав, что другого исхода из исторической коллизии не было, а некоторые шансы на торжество народного дела существовали[1]. Но в чем собственно конкретно выразилось участие Чернышевского в революционных делах, Русанов определенно не говорит, если не считать его указаний на вероятное авторство Чернышевского в составлении прокламации «К барским крестьянам». Внимательно изучивши все относящиеся к делу сведения, мы склоняемся к той мысли, что непосредственного активного участия в тогдашних революционных предприятиях Чернышевский скорее не принимал; решение же его, о котором говорит Н. Русанов со слов Шелгунова, могло относиться к тому, что Чернышевский *перестал отсоветовать* своим друзьям и молодежи заниматься революционными конспирациями, к чему он склонялся раньше[2].

⟨384⟩ Сомнительно, чтобы Чернышевский участвовал в «Земле и воле»; по крайней мере, на это нет никаких прямых указаний. Как известно, это общество возникло в конце 1861 или в начале 1862 г. Каков был первоначальный состав его учредителей, мы до сих пор не знаем; возможно, что одним из них был Н. Серно-

---

[1] «Социалисты Запада и России», стр. 294.

[2] Пантелеев рассказывает про свои беседы с Н. Г. с глазу на глаз, в его кабинете, где он мог бы, казалось, дать волю языку: «Тут речь его всегда была серьезна, осмотрительна, чужда двусмысленности и вместе с тем далека от какого-нибудь подстрекательства. Напротив, он пользовался каждым подходящим случаем, чтобы подчеркнуть, с какими трудностями приходится бороться всякому начинающемуся освободительному движению, как сильны враждебные силы, как они изощряются в борьбе. Припоминаю его замечание: „Посмотрите, как они даже в мелочах сделались предусмотрительны; чтобы при выдаче матрикул не допустить скопления студентов, придумали производить ⟨384⟩эту операцию по участкам"» («Из воспоминаний прошлого», кн. 2, стр. 178). Вообще он старался удерживать молодежь от необдуманных демонстраций (см. историю с подачей студенческого адреса министру нар. пр.; Ibid., ч. 1, 225—6). Ср. также его отзыв о Г. З. Елисееве, который в разгар студенческих волнений развивал какой-то фантастический революционный проект, для осуществления которого требовалось 300 (на все готовых) человек; когда впоследствии Пантелеев и Н. Утин рассказали Чернышевскому про этот эпизод, он заметил: «Не удивляюсь: ведь Григорий Захарович, несмотря на свои седые волосы, самый юный в редакции „Современника"» (Ibid., 186).

Соловьевич. В 1862 г. в него вступило несколько студентов, в том числе Н. Утин и Л. Пантелеев, автор довольно неполных воспоминаний об этой организации. Впрочем, весьма возможно, что общество «Земля и воля» как определенная организация именно и возникло после того собрания, которое состоялось на квартире Утина весной 1862 г. и о котором рассказывает Пантелеев[1]. Инициатор собрания, хороший знакомый Чернышевского («господин в пенсне»), сообщил новичкам о существовании центрального комитета, но весьма вероятно, что это был просто-напросто миф, присочиненный для пущей важности, и что никакого комитета не существовало. Во всяком случае весьма характерно, что когда Утин по окончании собрания задал Пантелееву вопрос: «Как ты полагаешь, Николай Гаврилович — член комитета?», — Пантелеев без колебаний ответил: «Не думаю, *он слишком кабинетный человек*». Через некоторое время оба юные прозелита революции решили позондировать самого Чернышевского. Не объявляя ему открыто о своем вступлении в общество, они вели речь разными обиняками, говорили о необходимости устраивать кружки между молодежью, и притом кружки с общественным направлением. Но Чернышевский, хотя и высказывал одобрение этим планам, оставался однако непроницаем, при этом хорошо отозвался о «господине в пенсне» и ⟨385⟩ рассказал басню Эзопа о медведе, который порвал дружбу с человеком за то, что тот в одном случае дул на огонь, чтобы он хорошенько разгорался, а в другом — с целью погасить его[2].

Во всяком случае, хотя мысль о возможной руководящей роли Чернышевского в «Земле и воле» очень «анкуражировала» ее молодых сочленов, но ни в то время, ни в последующее Пантелеев, один из самых активных членов общества, не имел никаких данных для того, чтобы с уверенностью допустить участие в этой организации Николая Гавриловича.

Столь же сомнительно, чтобы Чернышевский был одним из авторов конституционного подпольного листка «Великорусс». Всего вышло 3 номера этой газеты между июлем и сентябрем 1861 года. Правда, многие мысли, высказанные в «Великоруссе», соответствовали некоторым мыслям Чернышевского, но только некоторым. Оценка крестьянской реформы, требование политической свободы и учредительного собрания, желание предоставить Польше и Малороссии политическую самостоятельность, а крестьянам всю бывшую в их распоряжении землю с отнесением выкупа на счет государства — все это, конечно, близко напоминает взгляды Чернышевского, но полное отсутствие социалистического элемента в «Великоруссе» и пропаганда идеи адреса царю о даровании свобод как-то не вяжутся со всем тем, что всегда проповедовал Николай Гаврилович. Конечно, можно предположить, что в данном случае Чернышевский руководился тактическими соображениями, избегая сразу развернуть всю свою программу, чтобы не отпугнуть умеренно-либеральных слоев общества, но этому опять-таки противоречит все то, что мы знаем об отношении Чер-

[1] «Из воспоминаний прошлого», ч. I, стр. 252 и сл.

[2] Пантелеев не объясняет, какой смысл имела тогда эта притча. Быть может, Чернышевский хотел дать понять молодежи, что если раньше он удерживал ее от революционных конспираций, то впредь он не намерен этого делать.

нышевского к либерализму вообще и к русскому либерализму, в частности. Во всяком случае сторонники того взгляда, что Николай Гаврилович был чуть ли не редактором «Великорусса», должны были бы привести хоть ⟨386⟩ какие-либо фактические доказательства своего утверждения, но до сих пор этого сделано не было, и рассуждения их не выходят из области догадок[1]...

⟨387⟩ ... К кружку московских «якобинцев» Зайчневского и Аргиропуло, выпустившему за подписью «Центральный Революционный Комитет» прокламацию «Молодая Россия»[2], Чернышевский относился прямо отрицательно. Несмотря на антибуржуазное содержание этой прокламации, наделавшей в свое время столько шума, на разоблачение ею либеральных иллюзий Герцена и «Великорусса», на отказ от каких бы то ни было компромиссов с существующим политическим и экономическим строем, на определенно революционный и даже социалистический ее характер, Чернышевскому она решительно не понравилась. Вероятно, он был недоволен ее несерьезностью, декламаторским и кровожадным тоном, тем более, что, появившись одновременно с петербургскими пожарами, она подала врагам демократии повод

---

[1] Лемке в статье «Процесс великоруссцев» («Былое», 1906, № 7) ссылается на свидетельство Стахевича, сосланного в начале 60-х годов по другому политическому делу и прожившего с Чернышевским несколько лет в Сибири. «Я заметил,— сообщает Стахевич («Закаспийское обозрение» 1905, № 143),— что Чернышевский с явственным сочувствием относится к листкам, выходившим в неопределенные сроки под заглавием „Великорусс"; вышло, помнится, три номера. Слушая разговоры Николая Гавриловича, я иногда замечал, что и содержание мыслей, и способ их выражения сильнейшим образом напоминают мне листок „Великорусс", и *я про себя решил*, что он был
NB или автором, или, по меньшей мере, соавтором этих листков, проповедовавших необходимость конституционных преобразований». Пантелеев на этот счет выражается довольно осторожно. Упоминая о некоем Захарьине, который «*по некоторым указаниям* принимал непосредственное участие, *кажется*, в „Великоруссе"», он прибавляет в примечании: «Близость Захарьина с Чернышевским дает мне основание думать, что Ник. Гавр. был, *может быть*, не
NB совсем чужд делу „Великорусса". К тому же манера говорить с публикой, стиль „Великорусса" очень напоминает Н. Г. В 90-х годах покойный А. А. Рихтер говорил мне, что, по его сведениям, одним из главных членов кружка, выпустившего „Великорусс", был давно умерший Лугинин. Кажется, он выведен Чернышевским в „Прологе пролога" под именем Нивельзина» («Из воспоминаний», ч. I, 327). В. Обручев, молодой офицер, осужденный по делу «Великорусса» на каторгу, был очень близок к Чернышевскому; по словам Пантелеева, он был даже любимцем Николая Гавриловича. На основании вышеприведенных фактов г. Кульчицкий решительно утверждает, что «инициатором, редактором и руководителем „Великорусса" был не кто иной, как Чернышевский» (Ист. рев. движ., стр. 256). Утверждение слишком смелое и рискованное. Баллод, один из организаторов тогдашних тайных типографий, категорически отрицает близость Чернышевского к издательству «Великорусса» (цит. у Денисюка, вышеуп. брошюра, стр. 149). Дать материалы для решения этого спорного вопроса мог бы теперь г. Обручев, который после отбытия наказания снова поступил на службу и дослужился до генеральского чина, но на обращенный к нему запрос Лемке генерал отказался представить какие-либо разъяснения.

[2] Эта прокламация напечатана во 2-м приложении к сборникам «Госуд. преступления в России», изд. за границей В. Базилевским (Богучарским), «Материалы для истории рев. движения в России в 60-х годах», Париж, 1905, стр. 56—63; отчасти у Лемке «Полит. процессы», 94—104.

обвинять революционеров в учинении поджогов с целью вызвать смуту. Чернышевский чрезвычайно сухо принял приехавшего к нему делегата от московского кружка и отказался взять доставленные ему для распространения экземпляры прокламации. Но затем он как будто стал сожалеть о том, что оттолкнул от себя людей, быть может, экспансивных и увлекающихся, но горячо преданных народным интересам, решительных и в идейном отношении близко к нему стоящих. Он решил выпустить прокламацию ⟨388⟩ «К нашим лучшим друзьям», которая должна была рассеять недоразумения между ним и москвичами; но скорый арест помешал ему выполнить это намерение. Так рассказывает Пантелеев со слов Н. Утина[1]. А Лемке со слов С. Южакова, слышавшего этот рассказ от И. Гольц-Миллера, члена московского кружка, сообщает, что Чернышевский отчасти осуществил свое намерение. А именно он послал в Москву видного революционного деятеля того времени и одного из основателей «Земли и воли», А. А. Слепцова[2], с тем, чтобы уговорить комитет как-нибудь сгладить крайне неблагоприятное впечатление, произведенное на общество «Молодой Россией». Успел ли посланец в своей миссии, с точностью неизвестно, но возможно, что убеждения Чернышевского повлияли на москвичей. По крайней мере, при обыске у Баллода найдена была рукопись прокламации, под заглавием «Предостережение», являющейся как бы удовлетворением желания Чернышевского. Но принадлежала ли эта прокламация действительно деятелям Центрального Революционного Комитета, до сих пор точно установить нельзя[3].

Столь же темным остается вопрос об отношении Чернышевского к М. Михайлову и, в частности, к его революционному предприятию, т. е. к распространению известной прокламации «К молодому поколению». Текст этой прокламации написан был Н. Шелгуновым, Михайлов же напечатал ее в Лондоне у Герцена и провез в Россию заклеенной в дно чемодана. Знал ли Чернышевский о затее Шелгунова и Михайлова, неизвестно; но что по приезде в Петербург он был посвящен в это дело, Пантелеев утверждает категорически. Раз в присутствии Михайлова к Чернышевскому пришел один из сотрудников «Современника», пользовавшийся доверием Николая Гавриловича. Пришедший между прочим высказал мысль, что следовало бы печатать за границей подпольные издания, а затем доставлять их в Россию. Когда Михайлов ушел, ⟨389⟩ Чернышевский сказал гостю: «Да ведь вы попали не в бровь, а прямо в глаз: Михайлов именно это и сделал»[4].

Но отсюда еще не следует, что Чернышевский одобрял предприятие Михайлова или был с ним солидарен...

...Во всяком случае, ясно одно: если Чернышевский сам и не принимал активного участия в различных проявлениях начинав-

---

[1] «Из воспоминаний», ч. I, 269—270.

[2] Не его ли изображает г. Пантелеев под именем «господина с пенсне»? См. «Из воспоминаний», ч. I, гл. XXIV: «Земля и воля». || NB

[3] Лемке — «Политические процессы», стр. 109 и сл.

[4] «Из воспоминаний», ч. I, 330—331.

NB ||| шегося тогда революционного движения, то он всеми ими живо интересовался, о многих знал [1], а некоторыми даже идейно руководил.

Был ли Чернышевский автором воззвания «К барским ⟨390⟩ крестьянам»? Лемке и Русанов думают, что был[2]. Мы скажем: ты, господи, веси! Пантелеев сообщает со слов Михайловского, который слышал этот рассказ от Шелгунова, что в зиму 1861 года Чернышевский написал прокламацию «К народу»; эту прокламацию Шелгунов переписал измененным почерком и отдал ее М. Михайлову, который передал ее Всеволоду Костомарову (о нем ниже) для напечатания[3]. Очевидно, речь идет о прокламации «К барским крестьянам». Если даже допустить, что первую половину ее писал Чернышевский (хотя прямых указаний на это ни Лемке, ни Русанов не приводят никаких; сходство слога и содержания ничего не доказывает, как мы уже говорили выше),— итак, если даже допустить, что первая половина прокламации составлена Чернышевским, то вторая половина наверно написана не им. Никогда бы Чернышевский не позволил себе рассказывать народу, что во Франции и в Англии (в 1861 году) полковники и генералы ломали шапки перед мирским старостой и что народ сменял неугодных ему царей; он не стал бы говорить, что англичане и французы хорошо живут, что суд там праведный и равный для всех, и т. п.[4] Впрочем, и Русанов, ⟨391⟩

[1] О широкой осведомленности Чернышевского в этой области свидетельствует следующий сам по себе мелкий факт, сообщаемый Пантелеевым: «Меня раз крайне поразило, как, должно быть, в апреле (1862 г.), он обратился ко мне с вопросом: по каким соображениям я возражал в сентябре 1861 г. в студенческом комитете против некоторых слишком резких предложений?» («Из восп.», ч. 2, 179).

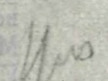
[2] Лемке. «Полит. процессы», 194, 335—6; Русанов, loc. cit., 327.

[3] Пантелеев. «Из воспоминаний», ч. 2, 181.

[4] Текст воззвания см. у Лемке, l. c., стр. 336—346.— Начинается оно словами: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Ждали вы, что даст вам царь волю,— вот вам и вышла от царя воля». Далее идет убийственная критика реформы 1861 года с точки зрения крестьянских интересов, и постепенно читатель подготовляется к критике самодержавного строя как основного фактора народных бедствий. Автор прокламации старается, оперируя фактами, подорвать «царскую легенду». Выясняется значение политической свободы и необходимость борьбы за нее. Далее доказывается солидарность интересов всех слоев крестьянства, в частности бывших помещичьих и государственных крестьян, и солидарность интересов народа и солдат, которые должны сильно выиграть от революции. Указывается на необходимость организации в народных массах,— «надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет». А покуда эта пора не пришла, следует воздерживаться от частичных выступлений и напрасной траты сил. Когда установится единодушие среди народа, революционеры подадут ему сигнал к открытию военных действий. «Тогда и пришлем такое объявление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, что во всех местах в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов, и единодушие в нем есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и легко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовление у тебя идет». Написанная ясно и вразумительно, прокламация эта, так и не увидавшая света, удачно заканчивается следующей прибауткой: «Печатано письмецо это в славном городе Христиании, в славном царстве шведском, потому что в русском царстве царь печатать правды не велит. А мы все — люди русские и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтоб вы себя берегли. А когда пора будет за доброе дело приняться, тогда откроемся».

ятно по этимъ же соображеніямъ, предполагаетъ, что воззваніе „Къ барскимъ крестьянамъ“ вышло изъ-подъ пера Чернышевскаго не цѣликомъ.

Сопоставляя все, что намъ извѣстно о жизни Чернышевскаго, о его характерѣ и взглядахъ, мы въ концѣ концовъ не рѣшаемся категорически отвѣтить на вопросъ о непосредственномъ его участіи въ революціонномъ движеніи. Вѣрнѣе всего, что непосредственно онъ въ немъ не участвовалъ; но что онъ зналъ о всѣхъ существенныхъ проявленіяхъ тогдашняго революціоннаго движенія, что непосредственные участники послѣдняго совѣщались съ нимъ и считались съ его указаніями, что, во всякомъ случаѣ, они почерпали изъ бесѣдъ съ нимъ и изъ его сочиненій убѣжденіе въ необходимости практическихъ попытокъ, къ которымъ самъ Чернышевскій по нерѣшительному и вялому складу своего характера, по своей непрактичности и книжности, быть можетъ, не былъ способенъ [1],—это врядъ ли подлежитъ сомнѣнію. Чернышевскій былъ знакомъ съ большинствомъ тогдашнихъ революціонныхъ дѣятелей, какъ В. Обручевъ, Н. Серно-Соловьевичъ, М. Михайловъ, Пантелѣевъ, Слѣпцовъ, Н. Утинъ, Сѣраковскій, Іосафатъ Огрызко и т. д.; онъ пользовался огромнымъ вліяніемъ на демократическіе элементы русскаго общества и былъ кумиромъ революціонной молодежи. Къ каждому слову его прислушивались съ величайшимъ вниманіемъ, почерпая изъ его статей практическія указанія и ненависть къ соціальной



тому что вездѣ тогда народъ готовъ, и единодушіе въ немъ есть, и одно мѣсто отъ другого не отстанетъ. Тогда и легко будетъ волю добыть. А до той поры готовься къ дѣлу, а самъ виду не показывай, что къ дѣлу подготовленіе у тебя идетъ“. Написанная ясно и вразумительно, прокламація эта, такъ и не увидавшая свѣта, удачно заканчивается слѣдующей прибауткой: „Печатано письмецо это въ славномъ городѣ Христіаніи, въ славномъ царствѣ шведскомъ, потому что въ русскомъ царствѣ царь печатать правды не велитъ. А мы всѣ—люди русскіе и промежъ васъ находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что на доброе дѣло себя бережемъ, какъ и васъ просимъ, чтобъ вы себя берегли. А когда пора будетъ за доброе дѣло приняться, тогда откроемся“.

[1]) Къ Чернышевскому, быть можетъ, примѣнимы слова, сказанныя имъ о Неккерѣ: „Онъ явился тѣмъ болѣе нерѣшителенъ и смущенъ, чѣмъ дальновиднѣе былъ его взоръ: *нерѣшительность—слабая сторона проницательности*“ (Тюрго, l. c., 231).

ПОМЕТКИ В. И. ЛЕНИНА НА КНИГЕ Ю. М. СТЕКЛОВА «Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», СПб., 1909

Страница 391

вероятно по этим же соображениям, предполагает, что воззвание «К барским крестьянам» вышло из-под пера Чернышевского не целиком.

?? Сопоставляя все, что нам известно о жизни Чернышевского, о его характере и взглядах, мы в конце концов не решаемся категорически ответить на вопрос о непосредственном его участии в революционном движении. Вернее всего, что непосредственно
1) он в нем не участвовал; но что он знал о ||всех|| существенных проявлениях тогдашнего революционного движения, что непосред-
2) ственные участники последнего совещались с ним и считались
3) с его указаниями, что, во всяком случае, они почерпали из бесед
4) с ним и из его сочинений убеждение в необходимости практических попыток, к которым сам Чернышевский по нерешительному и вялому складу своего характера, по своей непрактичности и книжности, быть может, не был способен[1], это вряд ли подлежит сомне-
NB || нию. Чернышевский был знаком с большинством тогдашних революционных деятелей, как В. Обручев, Н. Серно-Соловьевич, М. Михайлов, Пантелеев, Слепцов, Н. Утин, Сераковский, Иосафат Огрызко и т. д.; он пользовался огромным влиянием на демократические элементы русского общества и был кумиром революционной молодежи. К каждому слову его прислушивались с величайшим вниманием, почерпая из его статей практические указания и ненависть к социальной ⟨392⟩ эксплуатации и политическому угнетению. С нетерпением ожидали выхода очередной книжки «Современника», тираж которого благодаря сотрудничеству Чернышевского и Добролюбова дошел в 1860—61 году до $6^1/_2$ тысяч экземпляров,— цифра по тому времени огромная[2]. Хотел ли этого Чернышевский или нет, воздерживался ли он от какого-нибудь подстрекательства, как рассказывает Пантелеев, и пользовался каждым подходящим случаем, чтобы подчеркнуть трудности, ожидающие революционеров, и силу и хитрость врагов, его сочинения будили совесть и властно толкали к борьбе за
|| народное освобождение. В этом смысле можно сказать, что Чернышевский был идейным вождем и вдохновителем тогдашнего революционного движения. Правительство могло бы, пожалуй, еще обвинить его в знании и недонесении. А знал он, конечно, много, вероятно — всё...

---

[1] К Чернышевскому, быть может, применимы слова, сказанные им о Неккере: «Он явился тем более нерешителен и смущен, чем дальновиднее был его взор: *нерешительность — слабая сторона проницательности*» («Тюрго», l. с., 231).

[2] С каким благоговением молодежь относилась к своему кумиру, видно между прочим из воспоминаний Ашенбреннера, рассказывающего о влиянии Н. Г. на воспитанников кадетского корпуса: «Добролюбова мы читали и читали, но Чернышевский имел на нас более сильное и прямое влияние. Его мы знали наизусть, его именем клялись как правоверный магометанин клянется Магометом, пророком Аллаха» («Наша жизнь», 1905, № 200; цит. у Малышенко, Р. М. 1906, № 6, 73). В провинции собирались сходки для прочтения свежей книжки «Современника» со статьями Добролюбова и Чернышевского. О влиянии Чернышевского на таких писателей, как Решетников, Помяловский, отчасти даже Некрасов, достаточно известно. Биограф Помяловского, Н. Благовещенский, сообщает, что автор «Бурсы» почти воспитался на «Современнике», и т. д., и т. д.

Глава IX

АРЕСТ, СУД И ССЫЛКА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Не говори: «Забыл он осторожность.
Он будет сам своей судьбы виной».
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Но любит он возвышенней и шире,
В его душе нет помыслов мирских,
Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других.
Так мыслит он, и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь ему нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна...
Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте.
Его послал бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Некрасов[1].

⟨393⟩ ... Правительство смотрело на Чернышевского, как на главного идейного, а быть может, и материального руководителя начинавшегося революционного брожения. Он имел неосторожность задеть материальные интересы господствующих классов, и с этого момента его можно было считать обреченным на погибель. Вопрос заключался только в том, когда правительству угодно будет наложить свою руку на родоначальника русского социализма. После студенческих беспорядков 1861 года, начавшегося брожения в Польше и знаменитых петербургских пожаров правительство сочло удобным приступить к действиям, и 12 июня 1862 года Чернышевский был арестован.

Этому аресту предшествовала ожесточенная травля Чернышевского в реакционной и либеральной прессе, развязывавшая правительству руки для решительных действий и подстрекавшая его к репрессивным мерам против духовного вождя «нигилистов». Катков доносил на ⟨394⟩ «Современник», как на гнездо революции, а «Московские ведомости» после пожара Щукина рынка утверждали, что поджог произведен поляками и русскими нигилистами, действовавшими по поручению Чернышевского. После майских пожаров Петербург был охвачен каким-то пароксизмом реакционного бешенства. Люди, вчера еще восторгавшиеся статьями Чернышевского в пользу крестьян, отрекались от него, примыкая к общему реакционному воплю: «Распни его!»... NB ||

... Чернышевского все считали человеком, который пользуется громадным влиянием в революционных кругах. Достоевский в своем «Дневнике писателя» сообщает, что в 1862 году он сам отправился к Чернышевскому и убеждал его повлиять на составителей прокламации «К молодому поколению» и удержать их от революционных крайностей. В романе «Пролог пролога» Чернышевский с добродушной иронией сам рассказывает, как самый обычный его поступок истолковывался либеральными сплетниками (Рязанцев-Кавелин) в смысле важного революционного пред- ||

[1] Это стихотворение, которому Некрасов для цензуры дал заглавие «Пророк» (из Барбье), первоначально (1874 г.) было озаглавлено просто: «Н. Г. Чернышевский». См. Лемке, l. c., 195.

приятия (мнимая посылка эмиссара к Герцену). Так же смотрела на Чернышевского и администрация...

‹395› ...Помимо литературных доносов Чернышевский получал еще анонимные угрожающие письма. Одно из них, посланное каким-то помещиком, полно злобной брани и угроз против проповедника «грязной демократии» и «социализма, признанного NB наукой несчастным произведением больного ума». Воспаленному мозгу испуганного крепостника Чернышевский представляется не иначе, как с ножом в руках, в крови по локоть, а кончается письмо следующим знаменательным заявлением: «Считаем не лишним заметить вам, г-н Чернышевский, что мы не желаем видеть на престоле какого-нибудь Антона Петрова и, если действительно произойдет кровавое волнение, то мы найдем вас, Искандера или кого-нибудь из вашего семейства, и, вероятно, вы не успеете еще запастись телохранителями»[1]. Sic!*

Само собою разумеется, что, кроме литературных доносов и угрожающих писем, на Чернышевского поступал еще ряд доносов в III Отделение. 5 июня 1862 года туда поступил такой анонимный донос, не оставшийся, вероятно, без влияния на арест Чернышевского. Приводим некоторые извлечения из этого любопытного исторического документа. «Что вы делаете? Пожалейте Россию, пожалейте царя! Вот разговор, слышанный мною вчера в обществе профессоров. Правительство запрещает всякий вздор печатать, а не видит, какие идеи проводит Чернышевский; это коновод юношей; направление корпусных юношей дано им; это хитрый социалист; он мне сам сказал (говор. ‹396› проф.), что „я настолько умен, что меня никогда не уличат". За пустяки сослали Павлова и много других промахов делаете, а этого вредного агитатора терпите. Неужели не найдете средств спасти нас от такого зловредного человека!.. Теперь, видя его тенденции уже не на словах, а в действиях, все весьма либеральные люди, настолько благоразумные, что они сознают необходимость существования у нас монархизма, отдалились от него и убеждены, что ежели вы не удалите его, то быть беде — будет кровь; ему нет места в России — везде он опасен, разве в Березове или Гижигинске; не я говорю это,— говорили ученые, дельные люди, от всей души желающие конституции[2]... А крови не минуете и нас всех сгубите — это шайка бешеных демагогов, отчаянные головы,— это «Молодая Россия» выказала вам в своем проспекте все зверские ее наклонности; быть может, их перебьют, но сколько невинной крови за них прольется! Тут же слышал, что в Воронеже, в Саратове, в Тамбове,— везде есть комитеты из подобных социалистов, и везде они разжигают молодежь... Общество в опасности, сорванцы бездомные на все готовы, и вам дремать нельзя; на вас грех падет, коли допустите их до резни, а она будет, чуть задремлете или станете довольствоваться полумерами... Эта беше-

---

[1] Лемке — «Политические процессы», 198—99. Следует заметить, что подлинные материалы по делу Чернышевского впервые опубликовал г. Лемке, работавший в архивах.

[2] Конечно, это говорит гнусный доносчик, и полагаться на фактическую точность его сообщений не приходится. Но он верно подметил враждебное отношение либералов к великому социалисту.

* так! (лат.).

ная шайка жаждет крови и ужасов и пойдет напролом,— не пренебрегайте ею. Избавьте нас от Чернышевского — ради общего спокойствия».

Этот донос лишний раз напоминал правительству о Чернышевском, на которого III Отделение уже давно обратило свое благосклонное внимание...

⟨398⟩ ...По телеграфному доносу шпиона, одного из посетителей Герцена, Ветошников был арестован на границе, причем у него найдены были все письма Герцена. Для III Отделения вышеупомянутой приписки в письме к Серно-Соловьевичу было достаточно, чтобы на следующий же день, 7-го июля, арестовать Чернышевского. Все бумаги и часть книг Чернышевского были захвачены, а сам он отвезен в Алексеевский равелин...

Арест Чернышевского произвел необычайно сильное впечатление на демократическую интеллигенцию... Революционная молодежь была, конечно, потрясена арестом своего идейного вождя. Реакционеры торжествовали, радуясь тому, что опаснейший их враг обезврежен, как они надеялись, навсегда. Но и либералы в душе радовались гибели Чернышевского, глубоко презиравшего их и беспощадно разоблачавшего их истинную природу. Так, один из вождей тогдашнего либерализма и хороший знакомый Чернышевского, Кавелин, в письме к Герцену не скрывал своего истинного чувства: «Известия из России с моей точки зрения не так плохи... Аресты меня не удивляют и, признаюсь тебе, не кажутся возмутительными... Чернышевского я очень, очень люблю, но такого брульона, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видел. И было бы за что погибать! Что пожары в связи с прокламациями, в этом нет теперь ни малейшего сомнения»[1]. NB !

Таков был Иудин поцелуй либерала, до сих пор окруженного ореолом сияния в глазах наших «конституционно-демократических» буржуа. Повторяя гнусную полицейскую сплетню о связи петербургских пожаров с революционными прокламациями, эти господа давали моральное оправдание разгулу репрессий, с которыми реакция ⟨399⟩ обрушилась на демократов. А между тем, если и можно связывать тогдашнюю эпидемию пожаров с какими-нибудь политическими стремлениями, то, во всяком случае, не с деятельностью революционеров. Сенатор Жданов, отправленный через 2 года в Поволжье для расследования пожаров, имевших место в Саратове, Симбирске и т. д., установил, что они связаны с происками тогдашних реакционеров и крепостников, стремившихся запугать правительство, терроризировать общество и таким образом помешать делу реформ... NB

При обыске у Чернышевского взяты были некоторые письма, относившиеся к университетским беспорядкам 1861 года, анонимное письмо с угрозами, которое мы привели выше, алфавитный ключ на 4 листках, 2 тетради дневника и письмо Герцена к неизвестному адресату с некоторыми подчистками. Ни один из этих документов не давал возможности уличить Чернышевского в революционных замыслах и действиях...

---

[1] Русанов, I. с., стр. 276.

... Но III Отделение не хотело выпустить из когтей свою жертву. 1 августа Потапов представил в комиссию записку, составленную по донесениям полицейских агентов (из этой записки, кстати, обнаруживается, что с осени 1861 года Чернышевский состоял под неослабным шпионским надзором). Записка характеризовала литературную деятельность Чернышевского, перечисляла его знакомых, описывала его образ жизни, рассказывала о посещении им в 1859 году Герцена в Лондоне, но главным образом лгала, путала и инсинуировала без конца, обвиняя Чернышевского в возбуждении революционного брожения среди 〈400〉 студентов и в составлении никому не ведомых прокламаций. Но и эта записка, хотя и создавала известное моральное настроение против Чернышевского, не могла служить к его обвинению благодаря голословности инсинуаций.

NB

Чернышевского не допрашивали. Он терпеливо сидел в крепости, со дня на день ожидая своего освобождения, так как был твердо убежден, что никаких серьезных улик против него правительство не имеет. Он усердно работал и переписывался с женою. В письме от 5 октября, которое комиссия не сочла возможным передать его жене, а приобщила к делу, заключалась следующая ужасная, по мнению сыщиков, фраза: «Наша с тобою жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, и наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости и характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь» (дальше следует план будущих работ, о которых мы говорили в I главе). В этих словах Чернышевского комиссия усмотрела необычайное самомнение и преступную гордость. В умственном и моральном отношении члены следственной комиссии, как видно, не уступали либералу Кавелину...

NB

〈402〉 ... Костомаров садится писать письма к родным. Чулков замечает у него одно толстое письмо, прочитывает его и — какая неожиданность! — оказывается, что это письмо имеет прямое отношение к Чернышевскому. Письмо немедленно пересылается Потапову, а тот сейчас же телеграфирует Чулкову о безотлагательном возвращении с Костомаровым в Петербург. Комедия разыгрывается как по нотам.

В этом письме, составляющем целую брошюру размером более печатного листа, пересыпанном цитатами на всевозможных языках, переполненном натянутыми шуточками и отвратительной болтовней, содержалось все, что нужно было III Отделению для того, чтобы погубить Чернышевского. Костомаров пишет своему мифическому адресату, что он при случае расскажет ему о литературной деятельности Чернышевского, «тайной и явной, чтобы показать вам, откуда подул тот ветер, который наслал столько жалких жертв в казематы российских крепостей и в те злачные места, куда отсылают по соглашению министра внутренних дел с шефом жандармов,... тогда вы увидите, откуда на святом знамени свободы появился тот скверный девиз, во имя которого действуют наши доморощенные агитаторы, пишутся все эти „Великоруссы“ и „Молодые России“, все эти бесполезные прокламации с красными и голубыми печатями»...

NB

〈405〉 ... Но всех имевшихся в деле документов было, очевидно, мало, и III Отделение решило пустить в ход последнее сред-

ство. 2 июля министр юстиции Замятин прислал в ⟨406⟩ сенат обширную записку «О литературной деятельности Чернышевского» явно шпионского происхождения. В этой записке, которая должна была оказать на судей известное давление, Чернышевский выставляется как главный проповедник материализма и коммунизма, дается тенденциозный анализ его сочинений и устанавливается внешнее сходство между его литературными работами и содержанием выходивших в то время революционных прокламаций. Кончается записка следующими словами: «Прокламации суть как бы вывод из статей Чернышевского, а статьи его — подробный к ним комментарий»...

... Стахевич, познакомившийся с Чернышевским в Сибири, рассказывает в своих воспоминаниях, что задолго до ареста Чернышевского Сераковский передал ему свой разговор с генералом Кауфманом, тогда директором канцелярии военного министерства. Бравый генерал находил, что Чернышевский за вредное влияние на молодежь должен быть сослан: правительство так впоследствии и поступило, сославши Чернышевского на каторгу исключительно за «вредное влияние». Тот же Стахевич рассказывает, что незадолго до ареста Чернышевского посетил адъютант кн. Суворова и от имени последнего советовал ему немедленно уехать за границу. На вопрос Чернышевского, почему же князь так о нем заботится, адъютант ответил: «Если вас арестуют, то уж значит сошлют, сошлют, в сущности, без всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурой. Вот князю и желательно, чтобы на государя, его личного друга, не легло это пятно — сослать писателя безвинно». Но Чернышевский категорически отказался уехать за границу, гордо идя навстречу своей участи, а отчасти не допуская мысли о возможности такого беззакония, как ссылка писателя за разрешенные цензурой статьи... NB

⟨411⟩ ... Герцен встретил возмутительный приговор над Чернышевским проклятием его палачам всех рангов и степеней и заклеймил позором продажную либеральную и консервативную печать, которая своими доносами и травлей накликала варварские гонения правительства на прогрессистов и революционеров.

Приводим из книги Лемке выдержки из статьи, напечатанной Герценом в № 186 «Колокола» за 1864 год:

«Чернышевский осужден на *семь лет каторжной работы* и на вечное поселение. Да падет проклятьем это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей. Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России — к утверждению сентенций диких невежд сената и седых злодеев Государственного совета... А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!.. Чернышевский был выставлен вами к позорному столбу на четверть часа..., а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему! Проклятье вам, проклятье — и, если можно, месть!»...

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 2595.

ЛЕНИН О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Послесловие В. Я. Зевина

Нельзя сказать, чтобы пометки Ленина на книге Стеклова о Чернышевском совсем не были известны исследователям, работающим в области изучения русской общественной мысли. Еще в 1933—1934 гг. П. Н. Лепешинский в статье «Ленин о Чернышевском (дополнительные данные в виде пометок Ленина в книге Ю. М. Стеклова „Н. Г. Чернышевский")», опубликованной в сборниках «Старый большевик» [1], описал, вернее — изложил, значительную часть ленинских пометок. И в этом — большая заслуга П. Н. Лепешинского. Но, не говоря уже о том, что указанные сборники стали библиографической редкостью, воспроизведение пометок Ленина в статье (к тому же не исчерпывающее) не могло заменить самостоятельной публикации этого ценнейшего материала.

Следует сказать также, что некоторые пометки были неправильно воспроизведены автором статьи (далеко не всегда можно согласиться и с комментариями Лепешинского). Поэтому публикация Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в настоящем томе «Литературного наследства» ленинских пометок на книге Стеклова о Чернышевском, впервые воспроизводимых вместе с текстом, в том виде, как они сделаны в оригинале, имеет большое значение.

Прямых и точных сведений о времени чтения Лениным книги Стеклова о Чернышевском не имеется. Однако некоторые данные позволяют предположительно установить датировку. Книга Стеклова вышла в свет в октябре 1909 г., первые рецензии на нее появились в 1910 г. Из письма же Ленина к Горькому, написанного в конце апреля 1911 г. [2], видно, что к этому времени Ленин уже ознакомился с книгой Стеклова. Таким образом, пометки Ленина сделаны не ранее октября 1909 г. и не позднее апреля 1911 г. Важно отметить еще следующее обстоятельство: очевидно Ленин читал книгу Стеклова в тот же период, что и работу Г. В. Плеханова «Н. Г. Чернышевский», вышедшую тоже в октябре 1909 г.[3] — об этом свидетельствуют как содержание, так и характер пометок Ленина на обеих книгах [4]. Можно думать, что Ленин сначала прочел книгу Плеханова, ибо в пометке на странице 147 книги Стеклова он сравнивает одно из положений автора с высказыванием Плеханова по данному вопросу.

Повышенное внимание Ленина в эти годы к вопросам истории русской общественной мысли, конечно, не случайно.

После поражения революции 1905—1907 гг., когда различные классы и партии подводили итоги революции, связывая актуальные вопросы современности с вопросами о путях развития и традициях русской общественной мысли и освободительного движения, борьба вокруг идейного наследия русских революционных демократов обострилась. Реакционная литература оплевывала передовую общественную мысль, обливала грязью идеи и деятельность Белинского, Герцена, Чернышевского. Либералы, яростно выступая против материалистических и демократических взглядов революционных демократов, извращали их воззрения и деятельность, представляли их вождями «интеллигентного класса», чуждыми народу, выхолащивали революционное содержание их учений, что ярко проявилось в сборнике «Вехи» и в работах, посвященных Герцену, Белинскому, Чернышевскому. Не могли дать правильной оценки взглядов русских революционных демократов и народническо-эсеровские писатели. Перед большевиками встала настоятельная задача — дать отпор фальсификаторам передовой русской общественной мысли, защитить прогрессивное идейное наследие русских революционных демократов, показать их значение и использовать лучшие традиции прошлого.

Вот почему Ленин во многих произведениях этого периода («Социал-демократия и выборы в Думу», 1907; «Материализм и эмпириокритицизм», 1908; «О „Вехах"», 1909; «„Крестьянская реформа" и пролетарски-крестьянская революция», 1911; «Памяти Герцена», 1912, и др.) останавливается на вопросах, связанных с развитием русской общественной мысли, дает характеристику и оценку идейного наследия русских революционных демократов.

Сам за себя говорит и тот факт, что осенью 1908 г. Ленин ответил согласием на предложение Стеклова принять участие в сборнике, посвященном жизни и деятельности Чернышевского, высказав при этом желание взять на себя не тему «Чернышевский и крестьянский вопрос», как намечал Стеклов, а освещение философских взглядов Чернышевского [5]. Издание этого сборника не состоялось, но развернутую характеристику философских воззрений Чернышевского Ленин дал, как известно, в книге «Материализм и эмпириокритицизм».

Несомненно, что та же задача — необходимость правильного освещения русской общественной мысли — вызвала интерес Ленина к книгам Плеханова и Стеклова, а также к другой литературе о Чернышевском (об этом можно судить уже по тому, что Ленин отмечал приводимую в этих книгах библиографию по данному вопросу).

Нужно сказать, что и в социал-демократической литературе не всегда давалась правильная характеристика и оценка мировоззрения и деятельности великих русских революционных демократов. Это сказалось также в книгах Плеханова и Стеклова о Чернышевском. В книге 1910 г. Плеханов сделал шаг назад по сравнению со своими прежними работами о Чернышевском: исходя из своих меньшевистских позиций, он затушевывает революционно-демократическое содержание идей и деятельности Чернышевского, и Ленин в своих пометках на книге Плеханова прослеживает эволюцию его взглядов по этому вопросу. Стеклов же, напротив, — по существу стирал грань между марксизмом и учением Чернышевского. Не может быть никакого сомнения, что выводы Ленина в статьях «„Крестьянская реформа" и пролетарски-крестьянская революция», «Памяти Герцена» направлены не только против реакционной и либеральной литературы о русской общественной мысли, но и против ошибочных концепций книг Плеханова и Стеклова. В связи с этим следует подчеркнуть, что пометки Ленина на книгах Плеханова и Стеклова о Чернышевском нельзя рассматривать вне связи друг с другом и изолированно от работ Ленина, написанных до и после чтения этих книг.

С ранней юности Ленин проявлял огромный интерес к сочинениям Чернышевского. Труды и статьи Ленина, в которых приводятся высказывания из работ Чернышевского, говорят о прекрасном знании им произведений великого русского революционного демократа.

Н. К. Крупская вспоминает, что Ленин очень любил Чернышевского. Как говорит Крупская, Чернышевский «заразил его своей непримиримостью в отношении либерализма»[6]. Большое впечатление на Ленина произвел Чернышевский и как личность своей выдержанностью, стойкостью, преданностью народу и революции.

Заслуживает внимания запись В. В. Воровского беседы с Лениным о Чернышевском, которая имела место в конце января 1904 г. в Женеве; в этой беседе принимали также участие С. И. Гусев и Н. Валентинов [7]. Ленин, — вспоминает Воровский, — сказал, что до знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова, главное влияние на него имел Чернышевский и началось оно с «Что делать?». «Все, напечатанное им в „Современнике",— говорил Ленин,— я прочитал до последней строчки и не один раз. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в развитии философской мысли и от него пришло понятие о диалектическом методе, после чего было уже много легче усвоить диалектику Маркса. От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве, литературе и выяснилась революционная фигура Белинского. Прочитаны были все статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, его примечания к переводу политической экономии Милля, и так как Чернышевский хлестал буржуазную экономическую науку, это оказалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу. С особенным интересом и пользой я читал замечательные по глубине мысли обзоры иностранной жизни, писавшиеся Чернышевским. Я читал Чернышевского „с карандашиком" в руках, делая из прочитанного большие выписки и конспекты. Тетрадки, в которые все это заносилось, у меня потом долго хранились».

Задолго до чтения книг Стеклова и Плеханова Ленин в своих произведениях — «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?», «От какого

наследства мы отказываемся?», «Попятное направление в русской социал-демократии», «Что делать?» и других—сформулировал единственную правильную концепцию изучения мировоззрения и деятельности Чернышевского, дал характеристику его взглядов, показал его роль в освободительном движении в России. Великий русский писатель, гениальный мыслитель и революционер, один из первых русских социалистов, последовательный материалист и диалектик — так характеризовал и оценивал Ленин Чернышевского. Ленин указывал, что в мировоззрении и революционной программе Чернышевского демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое. Чернышевский верил в самобытность путей развития России, полагал возможным для нее миновать капиталистический строй с его мучениями, верил в общинный строй русской жизни и отсюда — в возможность крестьянской социалистической революции. Ленин еще в 1899 г. осудил попытку «экономистов» бессмысленно надерганными цитатами доказать, будто Чернышевский не был утопистом. В то же время Ленин подчеркивал революционный демократизм Чернышевского, глубокое понимание им современной действительности, антагонистичности русских общественных классов, природы царского самодержавия, крепостнического характера и буржуазного содержания «крестьянской реформы» 1861 г., указывал на ненависть Чернышевского к либералам, решительное отстаивание им интересов крестьянства, последовательную борьбу его за революцию. Ленин прекрасно знал не только произведения Чернышевского, но и литературу о нем и о шестидесятых годах, и не раз приводил факты, характеризующие революционную ситуацию 1859—1861 годов, раскрывая огромную мобилизующую, революционную роль идей и деятельности Чернышевского.

Читая книги Стеклова и Плеханова, Ленин имел свою совершенно ясную точку зрения как на мировоззрение Чернышевского в целом, так и на его философские, экономические, политические взгляды и на его художественные произведения.

Книга Стеклова, как и книга Плеханова, вряд ли дала Ленину много нового материала о Чернышевском и об эпохе 1860-х годов. Но Ленин читал ее с исключительным вниманием: он отмечает даты жизни и деятельности Чернышевского, приводимые автором, сопоставляет положения, содержащиеся в книге, обращает внимание на детали и даже замечает опечатки. Не ограничиваясь подчеркиваниями и пометками, относящимися к приведенным сведениям или отдельным положениям, Ленин еще делает в верхнем углу многих страниц пометку NB, отмечая для себя текст этих страниц в целом.

Пометки Ленина можно было бы разделить на три группы: во-первых, Ленин подчеркивает или отмечает интересующие его высказывания Чернышевского, во-вторых, и это, разумеется, главное, он дает оценку положениям и выводам Стеклова о тех или других сторонах мировоззрения Чернышевского и, наконец, обращает внимание на ошибочность отдельных высказываний автора по вопросам теории марксизма и политики партии. Конечно, такое деление очень условно, ибо все пометки связаны друг с другом и отражают единый ход мысли.

Нет сомнения, что пометки Ленина на книге Стеклова, относящиеся к различным сторонам мировоззрения и деятельности Чернышевского и дающие богатый материал для освещения взглядов великого русского революционного демократа и социалиста, явятся предметом глубокого изучения исследователями развития русской общественной мысли — историками, философами, экономистами, литературоведами.

В настоящей статье мы хотели бы изложить лишь несколько общих наблюдений, характеризующих эти пометки.

Ленин в общем положительно оценил книгу Стеклова. В письме к Горькому, о котором говорилось выше, он характеризовал Стеклова как автора «хорошей книги о Чернышевском». Вместе с тем, как показывают пометки, он критически отнесся и к концепции Стеклова в целом и к ряду выдвинутых им положений.

Красной нитью через все пометки Ленина проходит мысль, что главное в мировоззрении и деятельности Чернышевского — это его революционный демократизм.

Если Плеханов, — как писал Ленин, — сосредоточив основное внимание на теоретических воззрениях Чернышевского, на вопросе о том, был ли Чернышевский материалистом или идеалистом в своих взглядах на историю, «*просмотрел* практически-политическое и *классовое* различие либерала и демократа»[8], то Стеклов справедливо

подчеркивал революционный демократизм Чернышевского. Ленин отмечает те места книги Стеклова, где автор говорит, что Чернышевский был представителем революционно-демократического течения общественной мысли и стремился подвести фундамент под мировоззрение складывающейся юной русской демократии (стр. 33, 93, 349). Он подчеркивает положение о том, что Чернышевский был демократом по убеждению и бойцом по темпераменту (стр. 38). Особенное внимание Ленин обращает на противопоставление революционной демократии во главе с Чернышевским и либералов, — он отмечает мысль Стеклова о конфликте двух общественных течений, двух партий, представлявших не только существенно различные, но и враждебные классовые интересы: либералы представляли интересы буржуазии и прогрессивного дворянства[9], Чернышевский и его кружок отстаивали интересы трудящихся, или, говоря его слогом, простонародья, — народных слоев, в которых по тогдашним социальным условиям смешивались рабочий класс и крестьянство (стр. 352).

Ленин подчеркивает, что Чернышевский презирал и ненавидел от всей души либералов и что либералы, в свою очередь, были глубоко враждебны к великому демократу (стр. 347, 396). Он одобрительно относится к замечанию Стеклова, что история доказала справедливость отношения Чернышевского к русскому либерализму (стр. 351—352).

Ленин отмечает мысль автора о том, что исторической задачей нового поколения революционеров, которую ставил Чернышевский, было — *идти в народ, приобщить народ к идеям демократии и социализма* (стр. 360).

В связи с этим важно отметить, что Ленин выражает несогласие с утверждением, что шестидесятники «в сущности отражали смутные стремления и чаяния многомиллионной крестьянской массы и давали им только, так сказать, обобщенное выражение». Ленин замечает: «не только» (стр. 379). Ибо совершенно очевидно, что Чернышевский и его соратники не только отражали смутные стремления крестьянства, но стояли на неизмеримо более высоком уровне, видели значительно дальше, чем забитые и угнетенные крестьяне, шли впереди масс, стремясь поднять их до уровня демократических идей. В статье «„Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция» Ленин писал по этому вопросу: «И если века рабства настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже „бунтов“, не освещенных никаким политическим сознанием, то были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество пресловутой „крестьянской реформы“, весь ее крепостнический характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский»[10].

Утверждение Стеклова о том, что Чернышевский «очертя голову», ринулся в бой против крепостников и либералов, вызывает у Ленина знак вопроса на полях (стр. 31). В действительности же деятельность Чернышевского опиралась на определенный теоретический фундамент, была целеустремленной и обоснованной.

Ленин уделяет большое внимание изложению Стекловым взглядов Чернышевского. Много пометок Ленина мы находим в главах «Общий очерк литературной деятельности Чернышевского», «Философские взгляды Чернышевского. — Мораль разумного эгоизма», «Эстетика и критика Чернышевского», «Философия истории Чернышевского», «Политическая экономия и социализм».

Ленин одобрительно отнесся к высказываниям Стеклова о том, что Чернышевскому было свойственно «причудливое смешение гениальных прозрений и утопических тенденций», что он «занимает промежуточную стадию между утопическим и научным социализмом, в большинстве случаев стоя ближе к последнему» (стр. 275, 320).

В то же время Ленин решительно возражает против утверждения Стеклова, что «от системы основателей современного научного социализма мировоззрение Чернышевского отличается лишь отсутствием систематизации и определенности некоторых терминов». Ленин поставил знак вопроса у слова «лишь», а на полях написал: «чересчур» (стр. 175—176), тем самым Ленин указал на ошибку в самой концепции Стеклова, склонного стирать грань между марксизмом и взглядами Чернышевского.

Чернышевский, действительно, был гениальным мыслителем и в своих философских, экономических и социально-политических взглядах стоял, можно сказать, на

вершине развития мировой общественной мысли домарксовского периода. В беседе с Воровским, Гусевым и Валентиновым Ленин характеризовал Чернышевского как «самого большого и талантливого представителя социализма до Маркса». Несомненно, что из всех утопических социалистов Чернышевский ближе всех подошел к научному социализму. Но в условиях отсталой крепостнической России он не смог подняться до научного социализма. Только марксизм стал духовным оружием рабочего класса, теорией пролетарской партии, победоносным знаменем борьбы миллионных масс трудящихся.

Необходимость правильной оценки как сильных, так и слабых сторон мировоззрения Чернышевского — таков один из важнейших выводов, который можно сделать из пометок Ленина, касающихся философских, экономических и политических взглядов великого русского революционного демократа и утопического социалиста.

Ленин отмечает глубокую мысль Чернышевского, «что новейший материализм является философией рабочего класса...» (стр. 66). Он подчеркивает положение, что Чернышевский обладал «довольно цельным материалистическим мировоззрением» (стр. 45). В частности, внимание Ленина привлекает утверждение Чернышевского о том, что качества феноменов, производящихся человеческим организмом, «обусловливаются свойствами материала, а законы, по которым возникают феномены, есть только особенные частные случаи действия законов природы» (стр. 53). Ленин с одобрением, в общем, подходит к оценке Чернышевским развития немецкой классической философии, значения материалистической философии Фейербаха, сопоставляя эту оценку с соответствующим местом из работы Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (стр. 47,49). При этом Ленин не пропускает и ошибочные высказывания Стеклова по вопросу о соотношении духа и материи, различии материализма и идеализма, о характеристике Энгельсом этики Фейербаха (стр. 49, 63).

Как известно, в работе «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин подчеркнул, что Чернышевский, будучи последовательным материалистом и диалектиком, тем не менее не смог подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса. В связи с этим находится и оценка Лениным социологических взглядов Чернышевского, которым он в своих пометках на книгах Стеклова и Плеханова уделяет большое внимание.

Ленин отнюдь не отрицает материалистической тенденции в социологических взглядах Чернышевского. Соответствующий материал, высказывания Чернышевского, приводимые автором книги, не вызывают, собственно, у Ленина возражений. Без этой тенденции Чернышевский не смог бы понять, — как указывал Ленин, — природу самодержавного государства и антагонистичность русских общественных классов, не смог бы быть, по выражению Ленина, «замечательно глубоким критиком капитализма»[11]. Ленин писал, что от сочинений Чернышевского веет духом классовой борьбы, а в пометках на книгу Плеханова Ленин подчеркнул, что Чернышевский «очень близко подошел к теории борьбы классов»[12]. Заметим, что П. Н. Лепешинский, комментируя пометки Ленина, неправильно полагал, что «Чернышевский, верный ученик Фейербаха, дальше своего учителя в области философского материализма не пошел», что нельзя и говорить о материалистических взглядах Чернышевского в социологии [13].

Но Ленин решительно выступает против переоценки материалистической тенденции в социологических взглядах Чернышевского. Он не согласен со Стекловым, который считал социологические взгляды Чернышевского материалистическими, а его высказывания в идеалистическом, просветительском духе — лишь исключениями, отклонениями (стр. 42). Особенно резкие возражения Ленина встречают попытки Стеклова доказать, что такие «обмолвки» (например, по вопросу о соотношении политического строя и экономических отношений) имели место и у Энгельса (стр. 152).

В качестве одного из доказательств того, что Чернышевский был материалистом в своих взглядах на историю, Стеклов ссылается на рассуждение Чернышевского о причинах падения древнего Рима, «которое он, — пишет Стеклов, — вслед за Плинием объясняет изменением земельных отношений: „большепоместность разорила Италию — latifundia perdidere Italiam!“». Ленин подчеркивает эти слова Стеклова, а на полях пишет: «ср. Плеханов» (стр. 147). Очевидно, он имел в виду правильную

мысль Плеханова, который считал, что приведенное рассуждение Чернышевского отнюдь еще не доказывает его материалистического понимания истории, что статья «О причинах падения Рима» и другие работы Чернышевского свидетельствуют об обратном — о его идеализме в подходе к истории общества [14].

Чернышевский приближался к историческому материализму, но в объяснении коренных причин исторического развития он стоял на идеалистических позициях. Материалистическая тенденция в социологических взглядах Чернышевского не была последовательной и завершенной. Он не понял, что главной силой в системе условий материальной жизни, определяющей характер общественного строя, переход от одного строя к другому, является способ производства.

Большой интерес представляют пометки Ленина, связанные с изложением Стекловым политико-экономических взглядов Чернышевского.

Ленин, видимо, не был полностью согласен с утверждением Стеклова, что целью экономических исследований Чернышевского было — путем критики существующих экономических отношений — обнаружить вред капитализма для широких народных масс, подчеркнуть его преходящий характер и выявить основные черты будущего социалистического строя. Делая против этого места замечание: «только?» (стр. 295—296), Ленин, как можно предположить, имел в виду, что целью экономической системы Чернышевского прежде всего была критика феодально-крепостнических отношений в России и обоснование необходимости их уничтожения.

Ряд важных пометок Ленина относится к характеристике взглядов Чернышевского на капитализм.

Судя по замечанию Ленина, он не согласен с утверждением Стеклова, что «для Чернышевского было ясно, что современные общественные классы складываются в процессе производства: трем элементам производства — земле, капиталу и труду — соответствуют три основных класса современного общества: землевладельцы, буржуазия и рабочие». Ленин на полях ставит знак вопроса и для сравнения отсылает к 7-му отделу III тома «Капитала» Маркса (очевидно, Ленин имеет в виду главу 48 — «Триединая формула») (стр. 154). Если провести это сопоставление, то станет ясно, что тезис Чернышевского о трехчленном делении продукта далеко не соответствует марксистской постановке вопроса «о триединой формуле». Развивая свои идеи в условиях отсталой, крепостнической России, Чернышевский не смог вскрыть природы капиталистической эксплуатации.

Вместе с тем Ленин обращает внимание на многие вдумчивые замечания Чернышевского о капиталистическом обществе. Так, он подчеркивает высказывание Чернышевского о труде как производительной силе, источнике продукта (стр. 277). Останавливается Ленин и на положении Чернышевского об отсутствии существенной разницы между покупкой труда (Чернышевский не знал понятия «рабочая сила». — *В. З.*) и рабством, так как здесь идет речь только о различных формах эксплуатации (стр. 276).

Ленин согласен с утверждениями Стеклова о том, что Чернышевский высказал целый ряд глубоких критических мыслей о капиталистическом строе в целом (стр. 296). Ленин, видимо, одобрительно относится к мнению Стеклова, что Чернышевский критикует капиталистические отношения не столько с точки зрения их внутренних объективных тенденций, сколько с точки зрения их противоположности интересам общества, народа, массы (стр. 278). Ленин подчеркивает приводимое Стекловым высказывание Маркса о Чернышевском как о великом ученом и критике буржуазной политической экономии (стр. 330).

Внимание Ленина привлекает замечательное высказывание Чернышевского о пролетариате; он подчеркивает слова Чернышевского о том, что «число пролетариев все увеличивается, и, главное, возрастает их сознание о своих силах и проясняется их понятие о своих потребностях», а также следующий комментарий Стеклова: «Скажите откровенно, читатель, эта фраза не напоминает вам ничего из „Коммунистического манифеста“?» (стр. 160).

Ленин отмечает высказывание Чернышевского об относительной прогрессивности

капитализма: «Когда развивается промышленность, прогресс обеспечен. С этой точки,— писал Чернышевский, — мы преимущественно и радуемся усилению промышленного движения у нас» (стр. 146).

Вместе с тем Ленин констатирует глубокую враждебность Чернышевского к капиталистическому строю вообще и к нарождавшимся в России буржуазным тенденциям. Ленин обращает внимание на рассуждение Чернышевского о том, что «возможность отличать меновую ценность от внутренней свидетельствует только об экономической неудовлетворительности быта, в котором существует разность между ними», что это есть уклонение от естественного порядка вещей (стр. 279). Подвергая критике капитализм, он доказывает, что последний должен быть заменен другим общественным строем —социализмом. Ленин уделяет большое внимание характеристике Стекловым социалистических взглядов Чернышевского, он неоднократно вскрывает противоречивость утверждений автора, критически отмечает те места книги, где Стеклов пытается доказать, что Чернышевский не был утопическим социалистом. Против того места, где Стеклов пишет, что «здоровое же положение вещей — это социалистический строй» (стр. 279), Ленин поставил слово «нет!», имея в виду ошибочность представления утопистов о социализме как о предустановленном «естественном порядке», а не как об общественном строе, являющемся результатом закономерного развития общества.

Ленин подчеркивает слова Стеклова о том, что Чернышевского нельзя причислить ни к представителям «мелкобуржуазного социализма» (стр. 328), ни к представителям «критически-утопического социализма» (стр. 330). На стр. 324 Ленин отмечает следующее высказывание Стеклова: «...об утопизме Чернышевского следует говорить cum grano salis. Строгий реалист, он брал из утопических систем главным образом их критику частной собственности и капиталистического строя, а также общие принципы будущего строя». Подчеркивая изложение Стекловым мысли Чернышевского, что в случае установления в России «трудовой республики» сохранение общины дает возможность постепенно переходить к настоящему коллективному земледелию с применением машин,—Ленин иронически замечает: «„реализм“??», так как именно эта идея говорит об утопичности социалистических представлений Чернышевского (стр. 335)[15].

Заслуживает внимания пометка Ленина, относящаяся к сопоставлению Стекловым взглядов Чернышевского и Прудона. Ленин не соглашается с утверждением Стеклова о том, что «исходная точка зрения у Чернышевского — социалистическая, у Прудона — мелкобуржуазная, индивидуалистическая» (стр. 282). Ленин отнюдь не ставил знак равенства между взглядами Прудона и Чернышевского. Но он считал неверным противопоставление, проведенное Стекловым, во-первых, потому, что социализм Чернышевского был утопическим, а Прудон субъективно также являлся социалистом, и во-вторых, потому, что нельзя забывать крестьянский характер социализма Чернышевского. Ленин ставит знак вопроса в отношении категорического утверждения Стеклова, что Чернышевский был совершенно свободен от идеализации патриархального варварства и что его позитивная программа отнюдь не сводилась к восстановлению мелкого ремесла или земледелия (стр. 329—330). Чернышевский мечтал о переходе к социализму через крестьянскую общину, и, хотя он ставил целью планомерную общественную организацию производства на началах коллективизма, объективно торжество его идей означало бы свободное развитие крестьянского хозяйства.

Разница же между Прудоном и Чернышевским состояла в том, что первый проповедовал свои мелкобуржуазные идеи уже в условиях господства капитализма, и они играли реакционную роль, а идеи Чернышевского развивались в условиях борьбы против самодержавно-крепостнического строя, были направлены на полное уничтожение феодальных отношений, помещичьего землевладения и играли поэтому прогрессивную, революционную роль.

Следует сказать, что Стеклов, излагая социалистические воззрения Чернышевского, допускает ошибочное утверждение, что Чернышевский будто бы считал возможным частичное осуществление социализма в рамках старого строя. При этом он, как справедливо отмечает П. Н. Лепешинский, зачем-то ссылается

на брошюру К. Каутского «На другой день после революции», в которой говорилось о постепенном переходе к социализму, но после захвата власти рабочим классом. Имея в виду эту путаницу у Стеклова, Ленин написал: «Ого! Заврался т. Стеклов» (стр. 336). Решительное возражение Ленина вызывает и другое ошибочное положение Стеклова — что «конгрессы Интернационала, на работы которых со стороны влиял сам Маркс, также допускали такое частичное осуществление социализма еще в рамках буржуазного строя (куда они относили национализацию земли, национализацию железных дорог, каналов и рудников и передачу их рабочим ассоциациям и т. п.)» (стр. 336).

Ленин внимательно следит за излагаемым Стекловым развитием взглядов Чернышевского на общину, отмечает, в частности, год и месяц, когда была напечатана статья Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения», в которой Чернышевский теоретически обосновывает вопрос о переходе к социализму через крестьянскую общину. Ленин подчеркивает положение о том, что Чернышевский понимал невозможность этого перехода в рамках старого политического режима (стр. 372—374)[16].

Характеризуя взгляды Чернышевского на общину, Стеклов допустил неуместные аналогии с политикой партии, которые резко осудил Ленин. Так, указывая, что «Чернышевский мог, в интересах более верной защиты общинного землевладения, ставить русскому обществу на вид угрожающую народу пролетаризацию», Стеклов замечает: «Но ведь и социал-демократы, возражающие против столыпинских аграрных мероприятий, прибегают к аналогичному аргументу (не по форме, конечно, а по существу)...» Ленин отчеркивает это место и пишет на полях: «фальшь!» (стр. 157).

Вряд ли можно сомневаться, что именно имея в виду неправильное утверждение Стеклова, отрицавшего утопический характер социализма Чернышевского, Ленин писал в статье «„Крестьянская реформа" и пролетарски-крестьянская революция»: «Чернышевский был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма»[17]. В книге Стеклова правильно отмечается революционный характер социализма Чернышевского. Ленин подчеркивает слова Стеклова о том, что Чернышевский упрекал утопических социалистов Запада в робости и непоследовательности при осуществлении политических задач рабочего класса, «в частности по вопросу о захвате политической власти и революционной диктатуре» (стр. 333).

Реальным содержанием утопического социализма Чернышевского являлся боевой, последовательный революционный демократизм.

В противовес Плеханову, который не видел этого своеобразия утопического социализма Чернышевского, смазывал его революционный демократизм, Ленин писал в названной выше статье: «Но Чернышевский был не только социалистом-утопистом. Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей»[18].

Глава VIII книги Стеклова «Чернышевский и русское общество того времени», в которой характеризуются политические взгляды и революционная деятельность Чернышевского, привлекает особенное внимание Ленина. Эта глава буквально испещрена его пометками.

Ленина очень интересует изложение Стекловым политической программы Чернышевского. Он ставит знак NB в углу той страницы книги, где автор формулирует программу Чернышевского следующими словами: «Итак, народное движение возможно; лозунг его — земля и воля; путь — захват власти революционерами при активной поддержке и сочувствии народных масс; результат — *трудовая республика* ⟨подчеркнуто Лениным. — *В. З.*⟩, а в случае поражения революционеров — во всяком случае значительное улучшение положения народа» (стр. 382—383).

Огромное значение, особенно в связи с борьбой вокруг «крестьянской реформы», имела постановка Чернышевским аграрного вопроса. Стеклов, в общем, правильно

характеризует революционную позицию Чернышевского в этом вопросе. Ленин отмечает приводимые Стекловым цитаты из сочинений Чернышевского, где говорится о связи крепостничества с самодержавным режимом, об общем характере национального устройства, о непонимании либералами, «что никакие реформы не имеют никакого значения в России до тех пор, пока остаются в целости основные черты старого режима» (стр. 342, 345). В связи с этим Ленин с одобрением отчеркивает слова Стеклова о стремлении Чернышевского разоблачить буржуазный либерализм, показать его неспособность даже «довести до конца свою собственную борьбу с абсолютизмом и пережитками феодального строя» (стр. 32)[19]. Ленин ценил всестороннюю критику реформы Чернышевским, последовательно отстаивавшим крестьянские интересы. Но Стеклов допускает ошибку, утверждая, что Чернышевский после рескриптов Александра II на некоторое время поверил в возможность мирного решения крестьянского вопроса сверху. Ленин отнюдь не фиксирует внимания на этом положении Стеклова. Он лишь ставит горизонтальную черту против того места, где Стеклов пишет, что в том же 1858 г. Чернышевский изменил свою позицию (стр. 354, 355).

Как ни странно, важнейший вывод о том, что «в сущности Чернышевский стоял за полную экспроприацию помещиков и за передачу крестьянам земли без всякого выкупа», — Стеклов делает в примечании, не придавая ему, видимо, решающего значения. Ленин же подчеркивает это положение, на полях отчеркивает его трижды, ставит NB и указывает стр. 357 книги Стеклова, где приводится цитата из «Пролога», подтверждающая революционность аграрной программы Чернышевского (стр. 355).

Точно так же, не в основном тексте, а в примечании Стеклов пишет, приводя рассуждение Чернышевского о «провизии» в статье «Критика философских предубеждений против общинного владения»: «Смысл этой притчи ясен: выгодное для массы решение аграрного вопроса предполагает предварительное совершение политического переворота». И опять Ленин обращает на это положение особенное внимание (стр. 373—374).

В связи с этим следует отметить, что среди многочисленных высказываний Ленина о Чернышевском мы не найдем ни одного, где констатировались бы какие-либо колебания в политической позиции Чернышевского. Ленин всегда подчеркивал последовательный, боевой характер революционного демократизма Чернышевского.

Важно отметить и то значение, которое придал Ленин требованию Чернышевским политической свободы. Он отмечает соответствующие места, приводимые Стекловым из воспоминаний Шаганова о Чернышевском (стр. 381—382), и, что особенно важно, — из прокламации Чернышевского «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Ленин подчеркивает, что в прокламации дается «убийственная критика реформы 1861 г.» и «выясняется значение политической свободы» (стр. 390).

Стеклов пишет, что по общим своим политическим взглядам Чернышевский стоял близко к бланкизму, оговариваясь, впрочем, что к бланкизму «в том смысле, в каком понимал его Маркс, когда признавал бланкистов истинными представителями революционного пролетариата». Ленин подчеркивает это положение Стеклова, как и утверждение его о том, что на точке зрения бланкистов, преувеличивавших роль сознательного организованного меньшинства и веривших в решающее значение государственной власти, к захвату которой они стремились, и считавших в то же время, что меньшинство сильно лишь постольку, поскольку оно правильно отражает интересы трудящегося большинства, — что «на этой же точке зрения, единственно возможной для эпох, характеризующихся пассивностью народной массы, по-видимому, стоял и Чернышевский» (стр. 367—368). Но из этого было бы неправильно делать вывод, что Ленин соглашается с довольно-таки путаными рассуждениями Стеклова о бланкизме вообще и о бланкизме Чернышевского, в частности. Во всяком случае, ни в одной из своих работ Ленин не говорит о бланкизме Чернышевского. Напротив, он все время подчеркивает, что Чернышевский проводил идею крестьянской революции, считая, что не заговор кучки революционеров, а народное восстание может привести к победе.

Большое внимание уделяет Ленин взглядам Чернышевского на перспективы революции в России. Он отмечает почти все высказывания Стеклова по этому вопросу. У Стеклова здесь не было последовательности. На стр. 135 он пишет, что «в наличность

серьезных революционных сил в России Чернышевский <...> не верил», и Ленин, подчеркивая это положение, ставит на полях знак вопроса, не соглашаясь с автором. В других местах Стеклов, отмечая, что Чернышевский «колебался между полным унынием и надеждой на предстоящий взрыв крестьянской революции» (стр. 357), указывает, что к концу 1861 г. Чернышевский «начал, по-видимому, допускать возможность широкого крестьянского движения» (стр. 358), «возможность широкого революционного движения, вызванного разочарованием крестьянства в реформе 1861 года» (стр. 366). Все эти места, как и другие приводимые Стекловым высказывания Чернышевского и факты, свидетельствующие о наличии в России в тот период революционной ситуации, обращают на себя пристальное внимание Ленина.

Ленин подчеркивает высказывания Чернышевского из статьи «Не начало ли перемены?» о «перемене в обстоятельствах», о том, что в жизни каждого народа бывают моменты «энергических усилий, отважных решений», когда народные массы пробуждаются и делают решительные попытки к улучшению своей судьбы. Ленин отмечает мысль Чернышевского о преображении народа в великие исторические моменты. Не встречает возражений Ленина и тезис Стеклова о понимании Чернышевским активности и роли масс. Он отчеркивает: «...когда задеты насущные интересы <...> масс— главным образом интересы экономические, особенно для них близкие <...>, — они способны приходить в движение и во всяком случае послужить опорой для сознательного меньшинства, склонного к решительной инициативе» (стр. 359—360, 368).

Отметим, что и в пометках на книге Плеханова Ленин также обращает внимание на подобные положения [20]. Ленин считал, что именно глубокая вера в возможность крестьянской революции воодушевляла революционеров шестидесятых годов на героическую борьбу с самодержавием и побудила Чернышевского «активно вмешаться в ход событий» (стр. 383).

Стремиться к революции и делать все возможное для ее приближения — так характеризовал позицию Чернышевского в 1859—1861 гг. Николаев, слова которого приводит Стеклов, и Ленин подчеркивает это место (стр. 381).

Как известно, Ленин указывал, что своими произведениями Чернышевский воспитывал настоящих революционеров. В связи с этим следует сказать, что в пометках на книге Стеклова Ленин большое внимание уделил роману Чернышевского «Что делать?». Ленин высоко ценил это замечательное произведение.

«Я была удивлена, — вспоминает Н. К. Крупская, — как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые есть в этом романе, он отметил»[21].

Ленин дал резкий отпор Валентинову, который в упоминаемой выше беседе назвал роман Чернышевского «бездарным, примитивным и претенциозным».

«Отдаете ли вы себе отчет, что говорите? — бросил Ленин Валентинову. — Как в голову может прийти чудовищная, нелепая мысль называть примитивным, бездарным произведение Чернышевского, самого большого и талантливого представителя социализма до Маркса?<...> Под его влиянием сотни людей делались революционерами <...>. Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. *Он меня всего глубоко перепахал.* Когда вы читали „Что делать?"? Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло. Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было никуда не годное поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а недель. Только тогда я понял его глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь».

В пометках на книге Стеклова Ленин обращает внимание на характеристику Чернышевским «новых людей», революционеров. Ленин подчеркивает слова:«С либералами они расходятся органически; они — пропагандисты новых демократических и социалистических идей» (стр. 362). Особенно интересует Ленина образ Рахметова, он отмечает, что в Рахметове соединялась беспощадная логика с жилкой настоящего революционного агитатора, и прослеживает указания о живых прототипах этого образа (как и образа Соколовского, выведенного Чернышевским в романе «Пролог»)[22].

Ленин отчеркивает замечательное высказывание Чернышевского о революцио-

нерах, приведенное Стекловым: «Мало их, — заключает Чернышевский свое описание Рахметова, — но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли» (стр. 365).

Ленин детально, можно сказать скрупулезно, отмечает факты практической революционной деятельности Чернышевского, прослеживает его революционные связи. Пожалуй, именно в этом отношении книга Стеклова дала Ленину новый материал, и пометки Ленина, относящиеся к этому вопросу, имеют большое значение.

Прежде всего очень важно отметить интерес Ленина к прокламации Чернышевского «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Ленин останавливается на указаниях Н. С. Русанова и М. К. Лемке о вероятном участии Чернышевского в составлении прокламации «Барским крестьянам...» (стр. 383, 389—390), и если Стеклов сомневается в принадлежности прокламации перу Чернышевского, то Ленин, судя по его пометкам, не разделял этой точки зрения. Он подчеркивает библиографическую ссылку Стеклова на книгу Лемке, в которой был напечатан текст прокламации, отмечает некоторые места в изложении Стекловым содержания прокламации (стр. 390—391). Заметим, что в настоящее время советские исследователи в своих работах, посвященных Чернышевскому, исходят из того, что этот замечательный документ принадлежит Чернышевскому и является важнейшим источником для характеристики политической программы и революционной тактики Чернышевского [23].

Говоря о пометках Ленина по вопросу о революционных связях Чернышевского, нужно прежде всего остановиться на характеристике Стекловым взаимоотношений Чернышевского и Герцена.

Стеклов занимал неправильную позицию, считая, что Герцен и Чернышевский в 1859 г. стояли на разных полюсах: «Чернышевский был представителем революционно-демократического течения общественной мысли, а Герцен тогда стоял еще на точке зрения просвещенного либерализма и даже не свободен был от некоторых надежд на либеральную бюрократию...» (стр. 349). Ленин обращает внимание на это положение, как и на слова Стеклова о том, что «Герцен органически не мог понять первого поколения русских революционных демократов» (стр. 351, а также стр. 365). Как известно, Ленин делал в своих статьях другой вывод. В работе «Памяти Герцена» Ленин писал: «Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму. Однако, справедливость требует сказать, что, при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх» [24]. В то же время Ленин указывал, что Чернышевский сделал громадный шаг вперед против Герцена и был гораздо более последовательным и боевым демократом.

Положение Ленина о том, что при всех колебаниях Герцена демократ брал в нем верх, что Герцен находился в одном лагере с последовательной революционной демократией, нашло блестящее подтверждение в опубликованных в последние годы документах из «пражской» и «софийской» коллекций бумаг Герцена и Огарева [25], которые говорят о том, что в период революционной ситуации Герцен и Огарев, так же как и Чернышевский и Добролюбов, разрабатывали планы создания революционной организации, подготовки вооруженного восстания и вели практическую работу в этом направлении. Вопрос о взаимоотношениях Чернышевского и Герцена, их роли в революционном движении 1860-х годов недавно оживленно обсуждался в нашей исторической литературе [26]. В настоящей статье нет возможности вдаваться в эту полемику, но следует сказать, что нельзя отрицать революционности позиции Герцена. Разумеется, между Чернышевским и Добролюбовым, с одной стороны, и лондонским центром в лице Герцена и Огарева, с другой, имелись серьезные разногласия как программного, так и особенно тактического порядка, и было бы неправильно их затушевывать. Чернышевский решительно выступал против либеральных колебаний и иллюзий Герцена, критиковал его ошибочные взгляды. Но это были разногласия между револю-

ционерами одного лагеря, споры по вопросам *революционной* программы и *революционной* тактики. Чернышевский и Герцен стремились координировать свою работу по созданию революционной организации и подготовке восстания, и вряд ли можно сомневаться, что во время лондонского свидания Чернышевского и Герцена в июне 1859 г., вопрос о котором заинтересовал и Ленина (стр. 349, 350),— речь шла не только о статье Герцена «Very dangerous!!!», но, главным образом, и об организации революционной работы [27].

Внимание Ленина останавливают также факты, касающиеся участия Чернышевского в обществе «Земля и воля» (стр. 384). Интересует Ленина и вопрос о том, был ли Чернышевский автором листка «Великорусс» (стр. 385—386)[28]. Несомненно, что авторы «Великорусса» испытали на себе могучее влияние революционных идей Чернышевского. Вполне возможно, что Чернышевский и Н. А. Серно-Соловьевич знали членов кружка «Великорусс» и старались вовлечь их в общую организацию.

Ряд пометок Ленина касается взаимоотношений между Чернышевским и московской организацией «Молодая Россия»: он отмечает приводимые Стекловым выдержки из воспоминаний Л. Ф. Пантелеева, А. А. Слепцова и других о «Молодой России» (стр. 387, 388). Не обходит Ленин и оценку Стекловым отношений Чернышевского и М. И. Михайлова (стр. 388, 389).

Ленин подчеркивает слова Стеклова о том, что Чернышевский живо интересовался всеми проявлениями начинавшегося тогда революционного движения, «о многих знал, а некоторыми даже идейно руководил» (стр. 389). В связи с этим у Ленина вызывает недоумение и возражение заявление Стеклова о том, что нельзя категорически ответить на вопрос о непосредственном участии Чернышевского в революционном движении, что вернее всего он в нем не участвовал; на полях книги в этом месте Ленин поставил два знака вопроса (стр. 391). Здесь же Ленин перечисляет приводимые Стекловым основные факты, которые говорят как раз об активном, непосредственном участии Чернышевского в революционном движении, —что 1) Чернышевский *знал о всех* существенных проявлениях тогдашнего революционного движения; что 2) непосредственные участники последнего *совещались* с ним и 3) *считались* с его указаниями, 4) что, во всяком случае, они *почерпали* из бесед с ним и из его сочинений убеждение в необходимости практических попыток (выделено Лениным. — *В. З.*). Ленин подчеркивает и отчеркивает сбоку слова Стеклова, что все «это вряд ли подлежит сомнению» (стр. 391) и что «Чернышевский был идейным вождем и вдохновителем тогдашнего революционного движения» (стр. 392). Рядом с первым подчеркиванием Ленин ставит сверх того знак NB.

Можно думать, что именно в связи с этим вопросом Ленин в статье «„Крестьянская реформа" и пролетарски-крестьянская революция» дает свою, совершенно определенную формулировку — что Чернышевский стоял во главе немногочисленных тогда революционеров [29]. Труды советских историков полностью подтверждают этот вывод Ленина. Несмотря на скудость документального материала о нелегальной революционной деятельности Чернышевского, объясняемую стремлением революционеров 60-х годов прошлого столетия к исключительной конспиративности, все шире раскрывается громадное влияние революционных идей Чернышевского на освободительное движение, борьба Чернышевского за консолидацию сил демократического лагеря в период революционной ситуации, за создание революционной организации и подготовку народного восстания.

Ряд пометок Ленина есть в главе «Арест, суд и ссылка Чернышевского». Он подчеркивает, что Чернышевский с осени 1861 г. состоял под неослабным полицейским надзором, отмечает приводимые Стекловым факты травли великого революционного демократа со стороны реакционной и либеральной прессы. Особенное возмущение Ленина вызывает гнусная роль либералов в этой кампании, анонимные письма к Чернышевскому и доносы, поступавшие в III Отделение (стр. 393, 394, 395, 396). Ленин подчеркивает слова Стеклова о том, что «и либералы в душе радовались гибели Чернышевского, глубоко презиравшего их и беспощадно разоблачавшего их истинную природу» (стр. 398); в частности, Ленин вновь обращает внимание на гнусное письмо Кавелина к Герцену (стр. 398), которое, нужно сказать, он еще в 1901 г. привел в статье

«Гонители земства и аннибалы либерализма» [30]. Ленин с одобрением относится к словам Стеклова о ходе следствия и суда над Чернышевским: «В умственном и моральном отношении члены следственной комиссии, как видно, не уступали либералу Кавелину...» (стр. 400). Отмечая, что Чернышевский, в результате фальсифицированного процесса, был осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение, Ленин подчеркивает ряд мест из приводимой в книге Стеклова статьи Герцена по поводу расправы царского правительства над Чернышевским (стр. 411).

В заключение несколько слов о пометках Ленина, связанных с вопросом о роли и месте Чернышевского в русском освободительном движении.

Стеклов не смог, в общем, показать историческое значение деятельности Чернышевского. «Скорбная и трагическая фигура могучего мыслителя, слишком далеко опередившего свое поколение, — писал Стеклов, — осталась одинокой и непонятой даже для тех, кто впоследствии продолжал в России его дело» (стр. 175). Поэтому он считал, что Русанов удачно назвал Чернышевского «Прометеем русской революции»; Ленин трижды подчеркнул слово «удачно», а на полях написал: «не совсем!» (стр. 35).

Касаясь вопроса о соотношении идей Чернышевского и народничества, Стеклов пишет, что в силу «каприза истории» Чернышевский, «этот объективист и материалист, сделался родоначальником народничества», что в своих статьях об общинном землевладении Чернышевский «развил все те аргументы, которые впоследствии составили арсенал народников, усвоивших букву, но не дух великого учителя», и Ленин отмечает эти положения (стр. 174—175, 369—370). Стеклов, как и Плеханов, не сумел решить вопроса о значении идейного наследия Чернышевского и его соотношении с мировоззрением народников. Этот вопрос был правильно решен только Лениным, который рассмотрел его в работе «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», в статье «От какого наследства мы отказываемся?», написанных задолго до чтения книг Стеклова и Плеханова, и в статьях «„Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция», «Памяти Герцена», «Из прошлого рабочей печати в России», написанных уже после того, как он ознакомился с этими книгами.

Ленин указывал, что родоначальниками народничества считают Герцена и Чернышевского [31], что Чернышевский, вслед за Герценом, развил народнические взгляды [32]. При этом Ленин имел в виду то общее, что было в идеях Чернышевского и в мировоззрении народников: утверждение о самобытности путей развития России, о возможности миновать капитализм и перейти через крестьянскую общину к социализму. Но в то же время Ленин неоднократно подчеркивал, что этим далеко не исчерпывается данная проблема, что имеется и существенное различие между мировоззрением революционных демократов первой половины XIX в. и позднейшим народничеством. Главным в идейном наследстве Чернышевского являются отнюдь не указанные положения. Кроме того, Чернышевский развивал эти мысли в ту эпоху, когда еще не выявились резко противоречия капитализма и не выступил на историческую арену пролетариат, когда основной исторической задачей была борьба за полное уничтожение феодально-крепостнического строя; и в этой обстановке идеи об уравнительном землепользовании и т. п. объективно играли революционную роль, являлись в сущности формулировкой требований крестьян, борющихся за уничтожение помещичьего землевладения и власти помещиков. Идеи же позднейших народников развивались в другой обстановке, в период утверждения капитализма, и их учение о самобытности развития России, признание главной революционной силой не рабочего класса, а крестьянства и т. п.—эти идеи в новой обстановке чем дальше, тем больше играли реакционную роль. Но дело не только в этом. Основное содержание учения Чернышевского составляли революционный демократизм, борьба за народную революцию, за полное уничтожение феодально-крепостнических отношений. И вот от этих идей даже революционные народники, не говоря уже о либеральных, сделали шаг назад. Они, как указывал Ленин, отступили и в области теории, философии, и в области политики.

Ленин подчеркивал, что подлинным восприемником идейного наследия великих русских революционных демократов явилась революционная социал-демократия, и в этом смысле он называл Белинского, Герцена, Чернышевского предшественниками русской социал-демократии. Но, разумеется, революционная социал-демократия,

большевики критически подошли к этому идейному наследию, переработав его с точки зрения марксизма, научного социализма и усвоив лучшее в нем. Путеводной звездой в их борьбе стал марксизм, единственно научная теория, развитая и обогащенная великим Лениным.

Оценивая роль Чернышевского в освободительном движении в России, Ленин указывал, что именно революционеры 1860-х годов, хотя они и потерпели, по-видимому, поражение, так как революционная ситуация не переросла в революцию — именно Чернышевский и его соратники были великими деятелями своей эпохи. Отмена крепостного права и другие реформы 1860-х годов стали возможны только в результате революционного движения той эпохи, вождем которого был Чернышевский.

«Либералы 1860-х годов и Чернышевский, — писал Ленин в 1911 г.,— суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию»[33].

Силы демократии и социализма, смешанные сначала воедино в утопической идеологии и борьбе революционных демократов 1850—1860-х годов и революционных народников 1870—1880-х годов, начали с 1890-х годов расходиться по мере перехода к борьбе революционных классов, и размежевались друг от друга.

Пролетариат организовался и выступил самостоятельно как последовательный революционный класс, во главе со своей партией. Крестьянство явилось могучим революционным союзником пролетариата, который сплотил крестьянство и руководил его борьбой. И в этом смысле можно сказать, что Чернышевский, великий революционный демократ, был союзником большевиков в их борьбе за победу народной революции, за свержение царизма и установление демократической республики, за полное уничтожение феодально-крепостнических пережитков.

Воплощены в жизнь и мечты Чернышевского о социализме в России, но, конечно, не путем крестьянской революции и не через крестьянскую общину, а в результате Великой Октябрьской социалистической революции, совершенной рабочим классом в союзе с трудящимся крестьянством под руководством партии коммунистов, под всепобеждающим знаменем марксизма-ленинизма.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Старый большевик», 1933, № 5; 1934, № 3.

2 В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 36, стр. 144.

3 На титульном листе указан 1910 г., но в действительности книга вышла в 1909 г. (см. «Книжная летопись», 1909, № 42, от 31 октября, стр. 18, № 21673).

4 Пометки Ленина на книге Плеханова опубликованы в XXV «Ленинском сборнике». М., 1934.

5 В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 36, стр. 130.

6 Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине, вып. 1. М.—Л., 1930, стр. 172—177.

7 Извлечения из записи беседы, сделанной В. В. Воровским, приведены в статье Н. Валентинова «Чернышевский и Ленин» («Новый журнал», Нью-Йорк, 1951, кн. XXVI и XXVII) и в его книге «Встречи с Лениным». Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1953 (см. «Вопросы литературы», 1957, № 8, стр, 126—134). Статья и книга Н. Валентинова, бывшего меньшевика, затем контрреволюционера и эмигранта, представляют собой по существу пасквиль и на Чернышевского и на Ленина. Он извращает труды и учение Ленина, обливает его грязью, делает грубые выпады против советского строя и против Коммунистической партии. Толкуя вкривь и вкось воспоминания Воровского, Валентинов фальсифицирует взгляды Чернышевского; он заявляет, что взгляды Ленина не отличались от позиции Чернышевского. Но извлечения из записи Воровского, приведенные в книге Н. Валентинова, представляют большой интерес. Некоторый материал об этой беседе, в частности об отношении Ленина к роману Чернышевского «Что делать?», дается и Валентиновым.

8 «Ленинский сборник», XXV, стр. 231.

9 Считая важным вскрыть буржуазно-помещичью природу русского либерализма, Ленин отмечает ошибочность одного высказывания Стеклова, утверждавшего, что либералы преследуют «чисто буржуазные интересы» (стр. 345).

10 В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 17, стр. 96.

11 Там же, т. 20, стр. 224.

12 «Ленинский сборник», XXV, стр. 228.

13 «Старый большевик», 1933, № 5, стр. 86—87.

[14] Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения, т. IV, 1958, стр. 302—303.

[15] Следует отметить, что Лепешинский неправильно комментировал это замечание Ленина. «Можно думать,— пишет он,— что взгляд Чернышевского на возможную победу крестьянской революции, которая водворит в стране режим „трудовой республики" (нечто вроде того, что могло бы быть в результате революции 1905 на известном ее этапе,— по намеку Стеклова), является вполне приемлемым с точки зрения Ленина. Но мысль о дальнейшем затем *постепенном переходе* от буржуазно-демократической республики к социалистическому обществу (к „коллективному земледелию"), переходе без революционных взрывов, без кровавой борьбы эксплуатируемых с эксплуататорами, без революционной ломки старой государственной машины,— эта мысль могла быть подсказана Чернышевскому его мелкобуржуазными предрассудками» («Старый большевик», 1933, № 5, стр. 89). В действительности же Чернышевский не различал буржуазно-демократическую и социалистическую революцию, а считал возможным прямой переход от самодержавно-крепостнического строя к социализму и исходил из того, что этот переход невозможен без революции. Возражение Ленина встречает не надежда Чернышевского на мирный переход к социализму (на это он не надеялся), а именно идея Чернышевского о переходе к социализму через крестьянскую общину.

[16] Нельзя согласиться с мнением П. Н. Лепешинского о том, что Чернышевский вскоре же после своих первых увлечений общиной перешел к полосе скептицизма и разочарования в своих надеждах на нее. Чернышевский никогда не оставлял идеи о возможности перехода к социализму через крестьянскую общину.

[17] В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 17, стр. 97.

[18] Там же.

[19] В книге Плеханова Ленин также подчеркивает мысли Чернышевского о необходимости направить свои усилия на коренную переделку общественных отношений; отмечает критику Чернышевским либералов, которые предлагали паллиативы там, где нужно было радикальное решение, воображали, что система истинно конституционного правления водворится у них сама собой, без борьбы со старым порядком («Ленинский сборник», XXV, стр. 233, 234).

[20] Ср. пометки Ленина на книге Плеханова («Ленинский сборник», XXV, стр. 226, 235, 236).

[21] Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М.— Л., 1930, стр. 178—179.

[22] Ср. пометки Ленина на книге Плеханова («Ленинский сборник», XXV, стр. 214).

[23] Авторство Чернышевского по отношению к прокламации «Барским крестьянам...», а также то, что она написана до реформы, было убедительно доказано в статье М. В. Нечкиной «Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации» («Исторические записки», 1941, т. 10).

[24] В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 18, стр. 12.

[25] «Лит. наследство», т. 61, 1953; т. 62, 1955; т. 63, 1956.

[26] См. М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации.— «Исторические записки», 1941, т. 10; Р. А. Таубин. К вопросу о роли Н. Г. Чернышевского в создании «революционной партии» в конце 50-х — начале 60-х годов XIX века.— «Исторические записки», 1952, т. 39; М. В. Нечкина. Новые материалы о революционной ситуации в России (1859—1861 гг.).— «Лит. наследство», т. 61, 1953; М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в борьбе за сплочение сил русского демократического движения в годы революционной ситуации (1859—1861).— «Вопросы истории», 1953, № 7; Ф. М. Бурлацкий. Политические взгляды Н. А. Добролюбова. М., 1954; Я. И. Линков. Проблема революционной партии в России в эпоху падения крепостного права.— «Вопросы истории», 1957, № 9; М. В. Нечкина. «Земля и воля» 1860-х годов.—«История СССР», 1957, № 1 и др.

[27] М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский и А. И. Герцен в годы революционной ситуации (1859—1861 гг.). —«Известия АН СССР, Отделение литературы и языка», т. XIII, вып. 1, 1954; Я. И. Линков. Роль Герцена и Огарева в создании и деятельности общества «Земля и воля».— «Вопросы истории», 1954, № 3 и др.

[28] В книге Плеханова о Чернышевском Ленин также отмечает следующее положение автора: «Мы вполне согласны с г. Стахевичем: своим языком и содержанием „Великорусс" в самом деле очень напоминает публицистические статьи Чернышевского» («Ленинский сборник», XXV, стр. 208—209).

[29] В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 17, стр. 96.

[30] Там же, т. 5, стр. 29—30.

[31] Там же, т. 18, стр. 490.

[32] Там же, т. 20, стр. 224.

[33] Там же, т. 17, стр. 96.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В «С.-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЯХ»

Сообщение В. Э. Боград а

2 ноября 1853 г. Чернышевский писал своему отцу: «Кое-что пишу для „Отечественных записок“ и „С.-Петербургских ведомостей“» (XIV, 248)*. 14 декабря он сообщал ему же: «Я, если б умел вести дела, как должно, мог бы играть главную роль если не в „Отечественных записках“, то в „Петербургских ведомостях“, а теперь играю роль довольно еще неважную» (XIV, 255). Эти указания с полной очевидностью свидетельствуют об участии Чернышевского в распространенной и весьма влиятельной столичной газете — «С.-Петербургские ведомости». Работы Чернышевского в этой газете до сих пор не были известны и не подвергались сколько-нибудь серьезному изучению. В собрания его сочинений не введена ни одна из статей, помещенных в этой газете.

Между тем, кроме свидетельств самого Чернышевского о его сотрудничестве в «С.-Петербургских ведомостях», существует прямое указание на принадлежность ему одной критической статьи в этой газете. Оно промелькнуло в периодической печати около семидесяти лет тому назад, но осталось незамеченным исследователями. Один только М. Н. Чернышевский, так много сделавший для выявления и издания произведений своего отца, обратил внимание на следующие строки некролога Чернышевскому, опубликованного на страницах «Русских ведомостей» 18 октября 1889 г.: «Первою статьею Н. Г. Чернышевского был разбор одной из повестей Писемского, напечатанный в „С.-Петербургских ведомостях“». М. Н. Чернышевский сделал себе пометку для памяти: «Какая была первая статья и где помещена? В некрологе „Русских ведомостей“ упоминается, что первая статья — разбор одной из повестей Писемского, напечатанная в „С.-Петербургских ведомостях“ — о чем и когда именно» (ЦГАЛИ, ф. 1, оп. 2, ед. хр. 199, л. 67). Наиболее осведомленным лицом в заинтересовавшем М. Н. Чернышевского вопросе был А. Н. Пыпин, к которому он и обратился за разъяснениями. Ответ Пыпина сохранился в записи М. Н. Чернышевского: «NB. Первая статья, по словам А. Н. Пыпина,— о немецкой средневековой поэме Гудруне. Май — июль 53. По справкам в „С.-Петербургских ведомостях“, ничего такого не оказалось. Мих. Чернышевский» (там же, л. 68).

В выпущенном М. Н. Чернышевским Полном собрании сочинений Н. Г. Чернышевского не находим ни одной из статей, помещенных в «С.-Петербургских ведомостях». Надо сказать, что и после завершения этого издания М. Н. Чернышевский не прекращал поисков статей в этой газете. Но розыски по-прежнему оставались безрезультатными, и он вы-

* В разделе «Чернышевский» все ссылки на его тексты даются по Полному собранию сочинений в 16-ти томах (М., Гослитиздат, 1939—1953) с указанием только томов (римскими цифрами) и страниц (арабскими).

нужден был признать: «В письмах 1853 г. упоминается о писании в „С.-Петербургских ведомостях", но какие статьи и когда были помещены нигде никаких указаний нет» (там же, ед. хр. 212, л. 114).

Ознакомившись с «С.-Петербургскими ведомостями» за май — декабрь 1853 г., мы убедились, что действительно за этот период в них не напечатано статьи о Писемском и нет даже упоминания о Гудруне. Вместе с тем обнаруженная нами недавно часть чернового автографа Чернышевского (ЦГАЛИ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 439, л. 1), в котором дан пересказ содержания Гудруны, подтверждает, что свидетельство Пыпина имело под собой реальную почву. Ведь в приведенных выше записях М. Н. Чернышевского, за разъяснением которых он обратился к Пыпину, сначала следовал вопрос: «Какая была первая статья?», а затем уже — «где помещена?». Следовательно, возможно, что первой печатной работой Чернышевского, действительно, была статья о Гудруне, но Пыпин за давностью времени ошибся в обозначении издания, в котором она была помещена, и она остается и поныне неизвестной*.

В бумагах писателя, хранящихся в ЦГАЛИ, наше внимание привлекли его черновые наброски, на первый взгляд незначительные, сделанные на оборотной стороне рукописей статей «Эстетические отношения искусства к действительности» и «Опыт словаря к Ипатьевской летописи». Тексты трех отрывков, из которых первый посвящен разбору романа М. И. Михайлова «Марья Ивановна», второй — произведению М. И. Воскресенского «Запрет на имя. Быль, очень похожая на сказку», третий — рассказу А. И. Корнилевского «Немка» (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 432, л.1 и ед. хр. 192, лл. 23 об. и 15 об.), полностью или частично совпадают с печатавшимися анонимно в «С.-Петербургских ведомостях» тремя обозрениями под заглавием «Русская журналистика». Первое обозрение было напечатано в № 249 от 10 ноября, два других — в №№ 272 и 273 от 8 и 9 декабря 1853 г., что совпадает по времени с упомянутыми выше свидетельствами Чернышевского в письмах к родным.

Приведем текст первого из набросков Чернышевского:

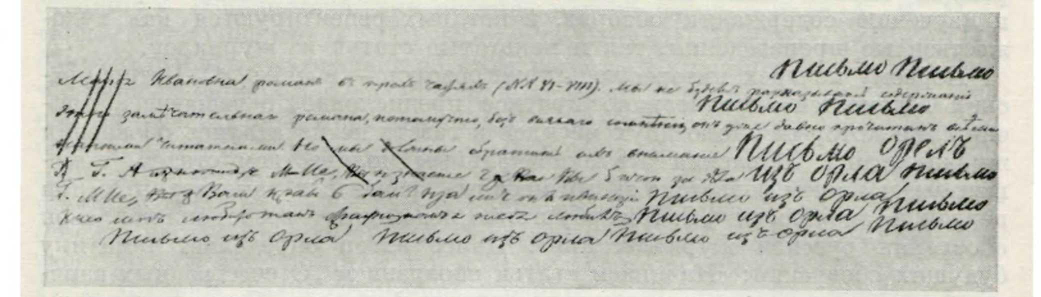
«„Марья Ивановна", роман в трех частях (№№VI—VIII). Мы не будем рассказывать содержание этого замечательного романа, потому что, без всякого сомнения, он уже давно прочитан всеми нашими читателями. Но мы должны обратить их внимание». В № 249 «С.-Петербургских ведомостей» читаем: «„Марья Ивановна", роман в трех частях (№№ VI—VIII). „Марья", конечно, уже прочтена нашими читателями...»

Во втором наброске Чернышевский писал:

«... прекрасно потому, что не могу на вас жениться,— отвечает Петр Петрович.— Это почему? — Да потому, что у вас ни копейки,

* В возможности сотрудничества Чернышевского в каком-то неустановленном издании утвердил нас один малоизвестный факт его биографии. В предисловии к его книге о Лессинге, вышедшей в 1876 г. в Женеве, читаем: «Еще в 1854 или 1855 г. ему, как тогда малоизвестному литератору, предлагали быть редактором-реформатором „Петербургских ведомостей", это предлагал бывший петербургский вице-губернатор, Н.М.Муравьев, сын вешателя» (Чернышевский. Лессинг. Его время, его жизнь и литературная деятельность. Суд над Чернышевским. Женева, 1876, стр. X). Если это сообщение и достоверно, то в него следует внести поправку. М. Н. Муравьев мог сделать такое предложение Чернышевскому лишь относительно неофициальной части «С.-Петербургских губернских ведомостей», которые он подписывал как должностное лицо (вице-губернатор), и ни в коем случае не могла идти речь о «С.-Петербургских ведомостях», так как они издавались Краевским и Очкиным и были частной газетой. Однако и в комплекте «С.-Петербургских губернских ведомостей» нет статьи о Гудруне. Поиски статьи о Гудруне оказались безрезультатными и в других, сходных по заглавию с «С.-Петербургскими ведомостями» газетах, например, в «С.-Петербургских полицейских ведомостях». Из всего этого следует, что, вероятнее всего, Чернышевский сотрудничал еще в каком-то забытом органе.

да у меня ни гроша.— Как так? вы богатый человек?— А вот как и вот как и если я женюсь на вас, лишусь 6000 р. сер. в год.— Так что же нам с вами делать? — спрашивает Лизавета N.— А что делать? жениться,— отвечает Петр Петрович,— пропадай 6000 руб. сер. в год, проживем и без них.— А когда так,— отвечает девушка,— приходится уж верно сказать вам, в чем дело: деньги эти прислала вам я. Вы потеряли облигацию польской лотореи, я подняла ее, ваш нумер выиграл 1 200 000 злотых, и я прислала вам проценты с этих денег, а не говорила вам об этом только для того, чтобы узнать, так ли вы меня любите, чтоб для меня отказаться от всего света. Охотники до дюмасовских романов прочтут с удовольствием сказку г. Воскресенского».



НАБРОСОК ПЕРВЫХ СТРОК РЕЦЕНЗИИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА РОМАН М. И. МИХАЙЛОВА «МАРЬЯ ИВАНОВНА»

Автограф

Рецензия напечатана анонимно в «С.-Петербургских ведомостях» от 10 ноября 1853 г.

Центральный архив литературы и искусства. Москва

Этот отрывок почти буквально совпадает со следующей частью обозрения «Русская журналистика» из № 273 «С.-Петербургских ведомостей»: «Нет, вовсе не прекрасно,— говорит Петр Петрович.— Отчего же?— Оттого, что не могу жениться на вас.— Почему же?— Потому, что нам с вами нечего будет есть.— Да ведь вы богаты?— Нет, у меня не будет ни копейки, если я женюсь на вас. — Как так? — Да вот как,— и Петр Петрович рассказывает ей, в чем штука.— Что же нам делать?— спрашивает девушка.— Жениться на вас,— отвечает Петр Петрович,— пропадай мои 6000 руб. сер. в год: проживем как-нибудь и без них.— А когда так,— отвечает девушка,— то скажу вам, что деньги эти прислала вам я; вы потеряли облигацию польской лотереи; я подняла ее; ваша облигация выиграла 1 200 000 злотых, и я прислала вам проценты с этой суммы, а не говорила вам об этом выигрыше, желая узнать, так ли вы меня любите, чтоб для меня отказаться от богатства.— Охотники до дюмасовских романов с удовольствием прочтут сказку г. Воскресенского...».

Что же касается разбора Чернышевским рассказа Корнилевского «Немка», то сохранилась лишь черновая запись заглавия: «„Немка“, рассказ г. Корнилевского „Москвит“, соответствующая тексту из № 272 «С.-Петербургских ведомостей».

Как видим, рукописные черновые наброски Чернышевского почти полностью совпадают с аналогичным текстом, включенным в «Русскую журналистику» «С.-Петербургских ведомостей». В связи с тем, что каждое из обозрений «Русская журналистика» состоит из нескольких рецензий, а текст автографа Чернышевского частично совпадает лишь с одной, необходимо решить, был ли он автором и остальных. Вряд ли можно предположить, что Чернышевскому, хотя он был тогда и начинающим литера-

тором, в небольшом обзоре журналистики могла принадлежать лишь незначительная часть текста. Более вероятно, что ему поручали обзор полностью, и Чернышевский отбирал в рецензируемых журналах наиболее заинтересовавшие его произведения. Это явствует хотя бы из того, что сохранился перечеркнутый Чернышевским черновой набросок, в котором дан пересказ произведения А. Тулубьева «Перевоз» из № 10 «Отечественных записок» 1853 г., разбор которого отсутствует в интересующих нас обозрениях журналистики, хотя первый из них специально посвящен №№ 6—10 «Отечественных записок» этого года. Из-за отсутствия еще каких-либо документальных данных вопрос о принадлежности перу Чернышевского всего текста упомянутых трех фельетонов окончательно решить можно лишь на основании их анализа. Поэтому обратимся к изучению содержания обзоров, в которых рецензируются как художественные произведения, так и некоторые статьи из журналов.

Первому из трех интересующих нас обзоров — в № 249 «С.-Петербургских ведомостей» предпослано краткое предисловие, освещающее причины, по которым около двух месяцев в газете не печатались обозрения журналистики. Объясняя это значительным количеством статей, помещенных «в нашем фельетоне за эти месяцы», рецензент замечает, что «при первой возможности „С.-Петербургские ведомости" возобновляют свои обозрения русской журналистики». Далее автор определяет тематику будущих обозрений: «Начинаем статьи обозрением „Отечественных записок" за летние и осенние месяцы; два другие фельетона будут посвящены обозрению за эти же месяцы „Современника", „Москвитянина", „Библиотеки для чтения" и „Пантеона"». Не свидетельствует ли это, что «первой возможностью» возобновления обзоров журналистики явилось приглашение для этой работы Чернышевского, оговорившего заранее тематику будущих своих фельетонов?

Изучение содержания трех обозрений убеждает, что, вероятнее всего, они написаны одним лицом и что этим лицом был Чернышевский: взгляды последнего совпадают с мыслями рецензента «С.-Петербургских ведомостей», для которого основное достоинство произведений заключается в наличии общественно-значимой тематики, даже при недостаточной художественности. Так, например, привлекая внимание читателей к посредственному рассказу Корнилевского, обозреватель замечал: «Рассказ г. Корнилевского очень слаб в художественном отношении: можно даже найти довольно много страниц, написанных решительно дурно; особенно дурны те места, в которых автор вдается в лиризм или юмор à la Гоголь. Но серьезность содержания и гуманность основной идеи искупляет многие недостатки г. Корнилевского: в нем есть мысль, и этого довольно, чтобы дать ему право на нашу снисходительность».

Такой подход при оценке художественных произведений весьма характерен для Чернышевского. В статье по поводу романов и повестей М. В. Авдеева он писал, что можно «примириться скорее с недостатками формы, нежели с недостатком содержания, с отсутствием мысли» (II, 210).

Высказывание о романе Григоровича «Рыбаки» в анализируемом нами обзоре «С.-Петербургских ведомостей» близко по характеру к высказываниям о том же авторе Чернышевского в «Современнике» 1856 г. («Заметки о журналах»— III, 694—695).

Давая уничтожающую характеристику роману Е. Тур «Три поры жизни», Чернышевский подчеркивал как основной порок этого романа — отсутствие «вероятности в ходе событий» (II, 231). Примечательно в связи с этим замечание рецензента «С.-Петербургских ведомостей», что один из недостатков рассказа Кунацкого «Петр Иванович Короткоушкин» состоит «в невероятности не только в подробностях, но и в самом ходе событий».

В том же отзыве о рассказе Кунацкого «Петр Иванович Короткоушкин» читаем: «Сюжет был бы недурен, если бы взяться за него с большим знанием дела. Все лица бедны; картины провинциального быта и провинциальных отношений не верны действительности». По убеждению рецензента, этого не произошло бы, «если б автор был получше знаком с бытом людей, которых он описывает, и не впадал в ошибки против действительности». Знание жизни, верность действительности — требование Чернышевского, которое он не раз высказывал: «Каждый литератор с самостоятельным талантом берет сюжет для своих рассказов из того круга жизни, который интересует его и хорошо ему знаком» (III, 690).

Большое место в одном из обозрений уделено опубликованной на страницах «Библиотеки для чтения» первой части романа А. Я. Марченко (за подписью: Т. Ч.) «Умная женщина». Либеральная критика благожелательно отозвалась об этом романе. Например, рецензент «Отечественных записок» в декабрьской книжке журнала, называя его «одной из лучших повестей г-жи Т. Ч.», писал: «Сколько в этом рассказе нового, умного, занимательного». Диссонансом прозвучал отзыв рецензента «С.-Петербургских ведомостей», который иронически отметил, что у автора, «кроме таланта писать ровно и гладко», «ничего не видно» и что «первая часть ее романа — какой-то непонятный, лишенный содержания хаос. Изложение же (или по классическому выражению „слог“) г-жи Т. Ч. хорошо». Такое отношение к роману А. Я. Марченко соответствует позднейшему суждению Чернышевского о нем же в статье «Об искренности в критике». Цитируя приведенный отзыв «Отечественных записок» о романе, где сказано было: «Мы пропустили в рассказе всю прежнюю жизнь холостяка и умной женщины, жизнь которой занимает, по крайней мере, три четверти романа», Чернышевский насмешливо заключает: «Хорош и занимателен должен быть роман, в котором, *по крайней мере, три четверти* не стоит читать» (II, 243). Заметим также, что рецензия «С.-Петербургских ведомостей» во многом близка к статье Чернышевского о «Трех порах жизни» Е. Тур. Близость эта сказывается не только в том, что в обеих рецензиях защищается содержательное реалистическое искусство, но и в самой манере их построения.

Несомненный интерес представляет оценка «Кто кого проучил» Е. П. Ростопчиной в третьем обзоре «С.-Петербургских ведомостей». По поводу этого произведения рецензент «Отечественных записок» в декабрьской книжке журнала писал: «Нам этот сюжет очень нравится, и хоть есть торопливость в развязке, хоть действующие лица говорят как-то очень странно, но вообще это одна из миленьких комедий».

«„Кто кого проучил“,— замечал обозреватель «С.-Петербургских ведомостей»,— еще одна из тех драматических пословиц, которых так много пишется и в которых так мало содержания; главное достоинство, какое может быть в этих пословицах,— искусное ведение разговора таким образом, чтобы ничтожная интрига, задуманная действующими лицами от скуки и основанная на капризе, поддерживалась на двадцати страницах, хотя, собственно говоря, она должна бы разрешиться двумя словами». Это суждение полностью соответствует отношению Чернышевского к безыдейным, пустым произведениям.

В ряде случаев кажется, что, говоря о некоторых из рецензируемых произведений, автор обзоров журналистики «С.-Петербургских ведомостей» передает только их содержание, не давая им оценки. Так, подчеркнув высокое достоинство «Рыбаков» Григоровича, он пишет: «Кому содержание романа Григоровича казалось неинтересным, тот может в X нумере „Современника“ прочитать повесть г. Толстого „Три возраста“».

Такой прием при оценке художественных произведений свойственен критическим выступлениям Чернышевского этого периода. Так,

пересказ содержания произведения Воскресенского «Запрет на имя — быль, очень похожая на сказку» заканчивается фразой: «Охотники до дюмасовских романов прочтут с удовольствием сказку г. Воскресенского». Кажется, что Чернышевский относится к ней вполне терпимо. Однако если при этом вспомнить отрицательное отношение Чернышевского к Дюма, произведения которого он неоднократно квалифицировал как «пустую болтовню», то и подлинное отношение его к пустенькой повести Воскресенского становится очевидным.

В трех интересующих нас обозрениях журналистики «С.-Петербургских ведомостей» по существу проводится мысль, которую высказал Чернышевский в это же время в своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности»: «Содержание, достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто бы оно — пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто; художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: „Да стоило ли трудиться над подобными пустяками?“ Бесполезное не имеет права на уважение» (II, 79).

Изучая обзоры из «С.-Петербургских ведомостей», мы получаем теперь более полное представление о начальном периоде литературной деятельности Чернышевского. Эти обзоры являются яркой и убедительной характеристикой разносторонности, энциклопедичности молодого Чернышевского, столь свойственной дальнейшей его деятельности.

Естественно поставить вопрос, продолжал ли Чернышевский участвовать в «С.-Петербургских ведомостях» в дальнейшем, или же на этом его сотрудничество в газете прекратилось. Ознакомление с последующими обзорами русской журналистики «С.-Петербургских ведомостей» вызывает мысль, что Чернышевский был автором обзоров и в 1854 и начале 1855 г. Однако этот вопрос требует специального исследования, которому мы надеемся посвятить особую статью.

ВОСПОМИНАНИЯ Н. Д. НОВИЦКОГО О ЧЕРНЫШЕВСКОМ И ДОБРОЛЮБОВЕ

Статья и публикация В. Э. Боград а

Имя Николая Дементьевича *Новицкого* (1833—1906) неоднократно упоминается в литературе, посвященной шестидесятым годам. Воспитанник Николаевской академии Генерального штаба, впоследствии генерал-от-кавалерии и член Военного совета, Новицкий занимал крупные командные посты в русской армии. В годы своей молодости он был близко знаком с Чернышевским и Добролюбовым, которые оказали большое и благотворное влияние на развитие молодого офицера. Много лет спустя Новицкий, по просьбе А. Н. Пыпина, написал воспоминания о Чернышевском, но полный текст их до сих пор не был известен. Впервые о существовании этих воспоминаний, не называя фамилии Новицкого, упомянул Е. А. Ляцкий в статье «Н. Г. Чернышевский и И. И. Введенский» («Современный мир», 1910, № 6, стр. 162—163), приведя в ней ту часть воспоминаний «покойного Н. Д. Н.», в которой Новицкий рассказывал о встрече со студентом Чернышевским у И. И. Введенского в 1850 г. Кроме того, в распоряжении Ляцкого был и другой автограф Новицкого, являющийся, очевидно, фрагментом первоначального наброска его воспоминаний, с которого исследователем была снята копия. Текст этой копии был опубликован Н. М. Чернышевской в сборнике «Н. Г. Чернышевский. 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи». Саратов, 1928, стр. 295—296.

Местонахождение полного текста воспоминаний Новицкого до сих пор оставалось неизвестным. Однако, как это иногда случается, разыскивать их, в сущности, не приходилось: они были обнаружены там, где они должны были находиться — в архиве А. Н. Пыпина, хранящемся в ИРЛИ (ф. 250, ед. хр. 482).

Рукопись воспоминаний представляет собою тетрадь большого формата в 27 листов, исписанных с обеих сторон. Начало рукописи написано рукою писаря (лл. 1—6), остальная часть — автограф Новицкого.

В неопубликованных до сих пор письмах Новицкого к Пыпину (обширный архив которого оказался раздробленным и хранится в нескольких местах) отражена история работы мемуариста. Из письма Новицкого к Пыпину от 8 ноября 1889 г. видно, как глубоко и сильно поразила его смерть Чернышевского.

«Вот уже прошло три недели с тех пор, — писал Новицкий, — как я узнал о смерти Николая Гавриловича, в течение которых пробыл даже девять дней в Киеве, среди всяческой сутолоки, а и до сих пор,— поверьте слову, дорогой Александр Николаевич, — все никак не могу овладеть собой. Тени его и Добролюбова так вот и стоят передо мною... да, что тени! — я слышу их голоса, беседую с ними во сне, наяву... годы: 57, 58, 59, 60, прожитые с ними, воскресают в моей памяти с такою рельефностью, тянут до того к былому и отвращают от настоящего, что просто не хочется даже жить!.. Мало было проклятому текущему году Салтыкова,— надо еще было слопать и Николая Гавриловича!.. А мне все верилось, что он еще поработает — ну, хотя бы с десяток лет; что не для того же, в самом деле, он вышел пять лет тому назад из могилы, чтобы вновь, и уже окончательно, свалиться в нее!..

Фу, какая мерзость все эти верования в призраки, в какую-то якобы логичность явлений. Бедная, жалкая русская литература, бедное, жалкое русское общество.

Из газет наших узнал я, что с покойного, лежащего в гробу, снята фотография. Если она есть у вас, пожалуйста, пришлите мне ее, ну, хотя бы с моим сыном, когда он поедет к нам на Рождество. Где гнездится жизнь у нас? черт ее знает! — ну, а смерть так вот и носится, так и косит все хорошее, все доброе» (ГПБ, письма к А. Н. Пыпину).

В ответ на это письмо Пыпин отправил Новицкому фотографию Чернышевского и обратился с просьбой написать воспоминания о покойном. Новицкий горячо откликнулся на это. 8 января 1890 г. он писал:

«Не знаю, как и благодарить вас, мой дорогой Александр Николаевич, за присылку портрета, сходство которого до того поразительно с оригиналом, что я точно смотрю на последний...

Ваше желание относительно „воспоминаний" я исполнил, но — не посердитесь — не успел их привести в вид, удобный для посылки с отъезжающим сыном. С одной стороны — раскидался, с другой — набросал их так неразборчиво и грязно, что вижу необходимость и посократить и велеть переписать все почище и поразборчивее. Много недели через две я вышлю их вам на ваше *полнейшее усмотрение и распоряжение*: как знаете, так и поступайте. Если не подвернется оказия, то не лучше ли, вместо того, чтобы адресовать вам на вашу квартиру, выслать их в контору редакции „Вестника Европы" уже для передачи вам? Бросьте по сему поводу словечко! Пусть бросите в яму мое писание вы, за то я не буду в претензии, но не почтовое ведомство» (ЦГАЛИ, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 315, л. 4).

Однако, несмотря на обещание, отправка воспоминаний Новицким задерживалась. Они были посланы лишь 25 февраля 1890 г. вместе с сопроводительным письмом, в котором он объяснял причины столь длительной задержки:

«Не сердитесь на меня, дорогой мой друг Александр Николаевич, что шестью неделями позже противу срока посылаю вам обещанную рукопись, при сем прилагаемую, и которую, посвящая вам, предоставляю вам же в полнейшее распоряжение: что хотите, то с нею и делайте! Об одном только попрошу, буде вздумаете ее напечатать, чтобы имя автора рукописи осталось под спудом.

Замедление в отправке произошло по причине замедления выезда из Ромен вручителя рукописи, ротмистра Григория Ивановича Карташевского, с которым отправить ее мне гораздо желательнее, чем чрез посредство нашей перлюструющей почты. Кстати замечу, что ваша Наташа знает Карташевского и его жену, с которою она дебютировала у нас на сцене. Это — совсем порядочные люди.

Не скрою, что рукопись писалась дольше, чем предполагал я. С одной стороны перерывы — независимые от меня, с другой — добровольные. Крепко уж, знаете ли, растравляла эта работа нервы мои! Не только вспоминать, но еще и рассказывать про былое, хорошее и доброе, когда сам в настоящем сидишь за подковыриванием подметок к старым сапогам, — уж какое это преядовитое занятие!..

Не знаю, пригодится ли на что вам эта рукопись, при набрасывании которой у меня из головы не вылезал некрасовский стих, что ею

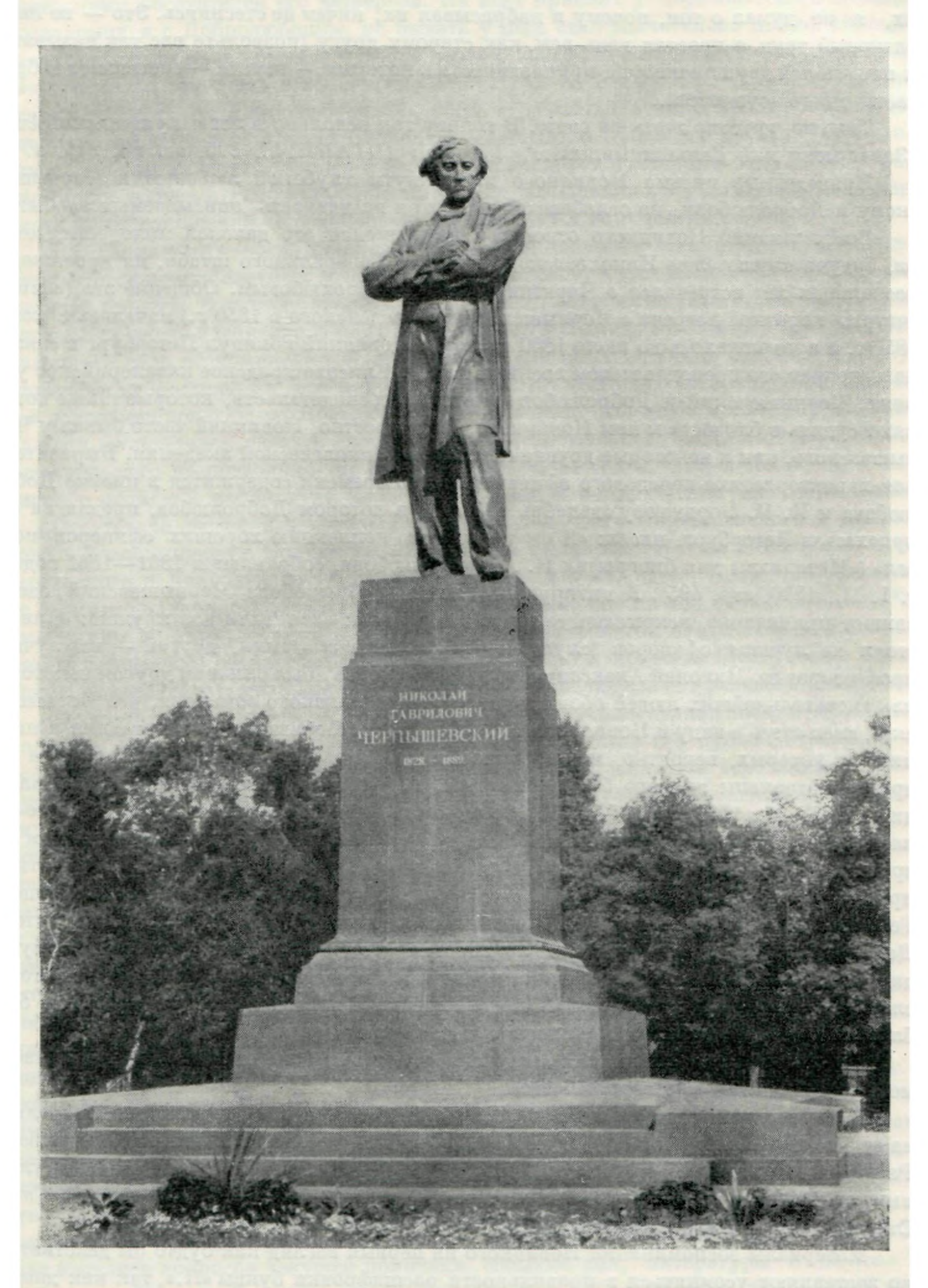
не прославиться —
угодить тебе хочу!

Во всяком случае, если бы что в ней оказалось не довольно ясным или полным, то без церемонии поставьте мне вопросы, на которые я постараюсь ответить.

Заодно, пользуясь оказией, прилагаю к рукописи этой еще и оттиск из „Киевской старины". Все ведь это также относится к тому же невозвратному...» (ИРЛИ, ф. 250, ед. хр. 174, лл. 3—4. — В № 3 «Киевской старины» 1889 г., под криптонимом Н. Д. Н., была напечатана заметка Новицкого «К биографии Т. Г. Шевченка», в которой он рассказывал о своем участии в освобождении из крепостной зависимости поэта).

По получении рукописи, Пыпин обращался к Новицкому с некоторыми вопросами и обещал не предавать воспоминания гласности.

«Говоря о печати, — писал в ответ на это ему Новицкий 18 марта 1890 г., — я говорил это только так, на случай, вперед зная о немыслимости даже напечатания моих воспоминаний — не только теперь, но, вероятно, и лет через 30-ть, 40!! Да, и писавши-то



ПАМЯТНИК ЧЕРНЫШЕВСКОМУ В САРАТОВЕ

Скульптура (бронза) А. П. Кибальникова, 1953 г.

Фотография А. и В. Леонтьевых, 1958 г.

их, я не думал о том, почему и набрасывал их, ничем не стесняясь. Это — не литературный труд, а простая дань вам, как старому другу (позвольте вас так называть), и памяти тех двух личностей, привязанность к которым,— верьте,— составляет добрую часть моего существа...

Тяжело, грустно жить на свете. В голову так невольно и лезет пушкинский стих: „Зовет меня мой Дельвиг милый!..“ Эх-ма!» (ЦГАЛИ, ф. 395, ед. хр. 315, л. 6).

Приведенные письма Новицкого проникнуты глубокой любовью к Чернышевскому и Добролюбову, не ослабевшей, несмотря на давность описываемых событий.

Воспоминания Новицкого относятся ко временам его далекой молодости, когда он, будучи слушателем Николаевской академии Генерального штаба, на протяжении нескольких лет встречался с Чернышевским и Добролюбовым. Общение это (если не считать короткой встречи с Чернышевским у Введенского в 1850 г.) началось с конца 1857 г. и продолжалось до июля 1860 г., когда Новицкий покинул Петербург в связи с назначением его преподавателем военных наук в Елисаветградское кавалерийское училище. Чернышевский и Добролюбов оставили ряд свидетельств, которые также позволяют судить о близости к ним Новицкого. Как известно, Новицкий часто бывал у Чернышевского, как и некоторые другие слушатели Николаевской академии. Выразительная характеристика передового офицерства того времени содержится в письме Добролюбова к И. И. Бордюгову (декабрь 1858 г.), в котором Добролюбов, предлагая ему приехать в Петербург, писал: «Я бы тебе целую коллекцию хороших офицеров показал» («Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 годах», т. I. М., 1890, стр. 495). К цитируемым словам Добролюбова Чернышевский сделал важное примечание, вскрывающее их точный смысл: «Это были два кружка: один состоял из лучших офицеров (слушателей) Военной академии, другой — из лучших профессоров ее. Николай Александрович 〈Добролюбов〉 был близким другом некоторых из замечательнейших людей обоих кружков». Нет никакого сомнения, что Чернышевский имел здесь в виду и Новицкого. В 1888 г., когда Чернышевский составлял «Список лиц, от которых, вероятно, можно было бы получить или письма Добролюбова или другие материалы для его биографии» («Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие», т. III. М., 1930, стр. 652—653), то одним из первых назвал он Новицкого, не сделав к этому каких-либо пояснений. Значение такой записи становится понятным при сравнении с внесенной почти в конце списка весьма примечательной характеристикой при фамилии Добровольского: «*Добровольский*, бывший в 1857—1859 годах офицером Генерального штаба, другом Н. Д. Новицкого и вместе с ним очень близким приятелем Добролюбова. Жив ли? И остался ль хорошим человеком? (Подобно Новицкому, он давно стал генералом. Но не от чина происходит мое сомнение в нем, а от некоторых слухов)». Из этого можно судить, что отношение Чернышевского к Новицкому было благожелательным и не изменилось с течением времени.

Публикуемые воспоминания свидетельствуют о вполне определившейся близости между Новицким и Добролюбовым.

В связи с этим следует остановиться на известной записи в дневнике Добролюбова от 5 июня 1859 г.: «Есть, правда, еще Н., Ст., Д.,— да кто их знает, что они за люди». Расшифровка этой записи была не столь давно подвергнута сомнению В. Н. Шульгиным, заявившим, что «нет никаких оснований думать, что *Н.* — это Новицкий, *Ст.* — Станевич, *Д.* — Добровольский» («Вопросы истории», 1954, № 10, стр. 129).

Материалы воспоминаний Новицкого на первый взгляд как будто бы действительно заставляют усомниться в правильности расшифровки буквы «Н.», так как дневниковая запись Добролюбова указывает на отсутствие полной ясности и доверительности в отношениях Добролюбова к «Н.» и его друзьям: «Да кто их знает, что они за люди...». Однако при ближайшем рассмотрении указанное противоречие оказывается мнимым. Оно снимается при помощи уточнения дат посещения Новицким Чернышевского и Добролюбова.

Новицкий указывает, что он приехал в Петербург осенью 1857 г., к началу занятий в Военной академии. С Чернышевским он, по его словам, встретился у З. Сераковского «месяца этак через три» по приезде в Петербург. Только после этого, то есть в конце 1857 или в начале 1858 г., Новицкий начал посещать Чернышевского, сделался

постоянным посетителем его четвергов. На этих приемах у Чернышевского Новицкий познакомился с Добролюбовым, но бывать у него стал значительно позже. Новицкий заявляет, что он начал бывать у Добролюбова, когда тот жил на Моховой. А Добролюбов поселился там лишь в *конце июня* 1859 г. (С. А. Рейсер. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., 1953, стр. 219). Неудивительно поэтому, что в дневниковой записи от *5 июня* Добролюбов записал о «Н.» и его друзьях: «Да кто их знает, что они за люди». Запись в дневнике фиксирует начальный этап личного общения Добролюбова с Новицким, воспоминания же Новицкого рисуют общую деловую картину их отношений. Противоречия между этими документами нет.

В публикуемых воспоминаниях Новицкий, сколь это ни странно, изображает Чернышевского кабинетным мыслителем, теоретиком, человеком, далеким от революционной борьбы. Трудно объяснить это личными, «охранительными» мотивами мемуариста. Как видно из цитированного выше письма к Пыпину от 18 марта 1890 г., Новицкий писал свои воспоминания исключительно для него, не думая о печати и цензуре, «почему и набрасывал их, ничем не стесняясь». На честность же Пыпина он имел полное основание полагаться. Поэтому он мог откровенно говорить о всем ему известном. Так, он не побоялся назвать своим приятелем повешенного революционера З. Сераковского, чего не позволила бы ему сделать элементарная осторожность, если бы он писал с оглядкой на цензуру или с недоверием к политической честности Пыпина.

Отсутствие сведений о революционной деятельности Чернышевского и Добролюбова в воспоминаниях Новицкого объясняется осторожностью не Новицкого, а Чернышевского и Добролюбова. При всем сочувствии к их идеям Новицкий, вероятно, не был революционно настроен и по одной этой причине не мог быть осведомлен Чернышевским и Добролюбовым о конспиративной стороне их деятельности. Вспомним, что к составлению серии прокламаций Чернышевский привлек Шелгунова и Михайлова и никого из тех, кто был скрыт в дневнике Добролюбова под разными инициалами.

Воспоминания Новицкого проникнуты глубочайшим уважением и признательностью к Чернышевскому и Добролюбову, которые были его руководителями в «невозвратно минувших годах бодрой молодости, смелых надежд и верований в светлую будущность». Взгляды и идеи, развиваемые вождями русской революционной демократии при общении с молодым, прогрессивно настроенным офицером, недавним участником Крымской войны и героической обороны Севастополя, который вместе со своими товарищами по оружию предавался «горячим толкам о только что закончившейся кровавой трагедии, о причинах, вызвавших и приведших ее к известной перипетии, о ходе и вероятных последствиях ее», находили благоприятную почву и поддержку. Несомненную роль в формировании прогрессивных взглядов Новицкого сыграло также частое посещение им «четвергов» Чернышевского, на которых, — как пишет Новицкий, — собирались «люди, столько же сочувственно относившиеся к прогрессивному движению, охватывавшему в те времена все слои общества, сколько к „Современнику" и главнейшим его сотрудникам, бывшим лучшими выразителями этого движения»; «...каждый мог рассказывать ли что или высказаться по поводу чего-либо, с полной непринужденностью, не оглядываясь на соприсущих, как это обыкновенно бывает на наших собраниях, да как, к сожалению, нередко и бывало, а особенно последнее время на вечерах по вторникам, у покойного Н. И. Костомарова, у которого иногда собиралась уму непостижимая по своей разношерстности смесь всякого люда». Из этого видно, что на вечерах у Чернышевского был круг близких к нему лиц, которые в своих беседах касались вопросов текущей политики, событий дня, литературы и науки. Как указывает Новицкий, он все теснее сближался с Добролюбовым «по общности взглядов на жизнь вообще, а на нашу русскую, в особенности». Тем не менее, он не стал революционером. Как многие из людей его круга, Новицкий, после отъезда из Петербурга в 1860 г., отходит от увлечений молодости, сохранив, однако, навсегда глубокую привязанность к Чернышевскому и Добролюбову.

Пользоваться воспоминаниями Новицкого, как и большей частью мемуаров, следует с осторожностью — не все сообщаемое в них может считаться исторически точным. При всем том они не лишены значительного интереса и займут видное место среди обширной мемуарной литературы о Чернышевском и Добролюбове.

ИЗ ДАЛЕКОГО МИНУВШЕГО

(ПОСВЯЩАЕТСЯ А. Н. ПЫПИНУ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА РАЗДРАНИЯ СЕЙ РУКОПИСИ В КЛОЧКИ)

Darüber ist längst Gras gewachsen*.

I

Как-то раз по ранней весне 1851 г.[1], в одно из воскресений, утром, я с двумя своими товарищами**, выпущенными осенью того же года вместе со мною из Дворянского полка на службу офицерами в ** артиллерийскую бригаду, зашли к нашему тогдашнему учителю русской словесности, Иринарху Ивановичу Введенскому, которого, мало сказать — мы, как впрочем и все его ученики, любили и чтили, но, говоря по-институтски,— просто «обожали».

— Позвольте, господа, вас познакомить с моим земляком, Н. Г. Чернышевским,— сказал Иринарх Иванович, введя нас в свой небольшой, заваленный грудою книг, журналов и бумаг кабинет и представляя сидевшему у стола и вставшему при нашем появлении студенту, невысокого роста, с золотисто-каштановыми, не коротко обстриженными, гладко причесанными волосами, с голубыми, вдумчивыми глазами, в очках, и одетому довольно опрятно, хотя и не в новый уже форменный студентский сюртук.

Мы по очереди пожали ему руку.

— Ну-с, господа, дорогие гости, садитесь, будем чай пить да беседовать,— говорил Иринарх Иванович, усаживая нас и угощая папиросами.

— Но мне, как знаете, Иринарх Иванович, надобно торопиться,— заметил Чернышевский на это приглашение, забирая с собою какой-то сверток бумаг и свою треуголку.

— Знаю, знаю,—спохватился Иринарх Иванович;— а потому и не удерживаю, хотя очень, очень сожалею, что вы покидаете нашу компанию.

Мы вновь пожали руку уходящему студенту, которого хозяин проводил до передней, где они проговорили о чем-то около десяти минут.

— Простите, господа, что покинул вас тут одних,— извинялся торопливо возвращающийся к нам Иринарх Иванович,— но,— проклятая память!— я только при прощанье с молодым человеком вспомнил, о чем давно уже собирался ему сказать.

— Это не из ваших бывших учеников?— кто-то из нас спросил Иринарха Ивановича.

— О нет,— отвечал он.—Это мой добрый знакомый, саратовец,— такой же, как и я, как вы то, разумеется, уже знаете, семинарист,— приехавший сюда, как и я когда-то, искать света в университете... Это-с — не только милейший, симпатичнейший, трудолюбивейший молодой человек, но и являющийся подчас,— для меня, по крайней мере,— неразрешимою загадкою?!.

— В каком же отношении?..

— Да в том, изволите видеть, что он, несмотря на свои какие-нибудь 23, 24 года[2], успел уже овладеть такою массою разносторонних познаний вообще, а по философии, истории, литературе и филологии в особенности, какую за редкость встретить и в другом патентованном ученом!.. Да-с, да-с, так что, беседуя с ним,— поверите ли?— право, ей-богу, не знаешь, чему дивиться?— начитанности ли, массе ли его познаний и сведений, в которых

---

* Все это давно поросло травой (нем.).

** Один из них — Павловский, был убит в сражении на Черной речке, 4 августа 1855 г., а другой, Лыженко, умер в 1887 г.— *Прим. Новицкого.*

он умел при том наисолиднейше разобраться, или широте, проницательности и живости его ума?!. Замечательно организованная-с голова! даровитый молодой человек, который,— смело можно предсказать,— должен в будущем занять видное место в нашей литературе,— разве!..— И Иринарх Иванович умолк, склоняя, по обычному ему жесту, голову несколько набок, направо, задумчиво смотря, чрез очки, куда-то вдаль, и складывая губы в какую-то горько-ироническую улыбку.

Поговорив сначала о этом «разве», на котором оборвалась речь нашего незабвенного наставника, мы перешли затем к литературе и истории, страшно охватывавшим тогда наши умы и сердца под благотворным влиянием его же, и только после долгой беседы, длившейся, помнится, часа два, ушли домой. Вспоминая и комментируя затем каждое слово, сказанное Иринархом Ивановичем во время этой задушевной беседы его с нами, мы нередко вспоминали, между прочим, и о студенте, встреченном у него и так блестяще им аттестованном, сойтись и поближе познакомиться с которым стало для нас в высшей мере желательным, хотя, к сожалению, и не так простым, как это могло казаться. Дело в том, что из корпусов, бывших тогда строго закрытыми заведениями, нас увольняли в отпуска только по праздникам, когда, следовательно, мы только и могли встречаться с ним. Расчет на эти встречи у Иринарха Ивановича представлял, однако, очень мало шансов, так как мы, при всем бесконечном добродушии его, зная вечную заваленность его работою, тревожить его нашими частыми посещениями, по чувству простой деликатности, не позволяли себе никогда. Оставалось, значит, одно: пойти самим прямо на квартиру привлекавшего нас к себе студента!..— на что после некоторых колебаний мы и решились, хотя и не без предварительного одобрения Иринарха Ивановича.

Пошли раз, но увы! оказалось, что студент с месяц уже тому назад, как съехал со своей квартиры; но куда? — «А кто же его знает?..»[3]

«Нешто за скубентами уследишь?!.»,— отвечал, почесываясь, на наш вопрос дворник.— Не без труда разыскав новую квартиру Чернышевского,— где именно находившуюся? уже не помню, но только не близко от нас,— мы заходили к нему еще, кажется, раза два или три, но, не застав его дома, так и уехали по производстве нас в офицеры, по осени[4] из Петербурга, не встретив его уже более ни разу нигде.

Такова была моя первая, мимолетная встреча с Николаем Гавриловичем и таков был первый, тоже, пожалуй, мимолетный отзыв, но услышанный мною однако о нем от человека выдающихся способностей, обширного образования, замечательного столько же по уму, сколько по высоте и чистоте всех своих помыслов и побуждений, в одинокую могилу которого хотя и швырялись из-под полы комки грязи нашими нынешними сикофантами, но имя которого будущий историк нашего просвещения и литературы всегда будет произносить с чувством глубочайших симпатий и почтения.

С той поры прошло без малого три года, проведенных нами на службе в далекой, по тогдашнему отсутствию железных путей, Малороссии, среди глубочайших мира и тишины, о близком и суровом нарушении которых никто и не помышлял. Мирная войсковая служба того времени, за исключением летней поры, тягостью вообще не отличалась и оставляла для нас, военной молодежи, массу досуга, которым мы могли пользоваться, как хотим! Что скрывать? Много этого досуга и с тем вместе, конечно, и души бесшабашно тратилось в разухабисто-разгульной жизни тогдашних помещиков, у которых мы всегда были желанными гостями. Да и как было нам тут, только что вырвавшимся на волю из-за душных стен и железных тисков корпусной жизни, устоять противу соблазнов всех этих празд-

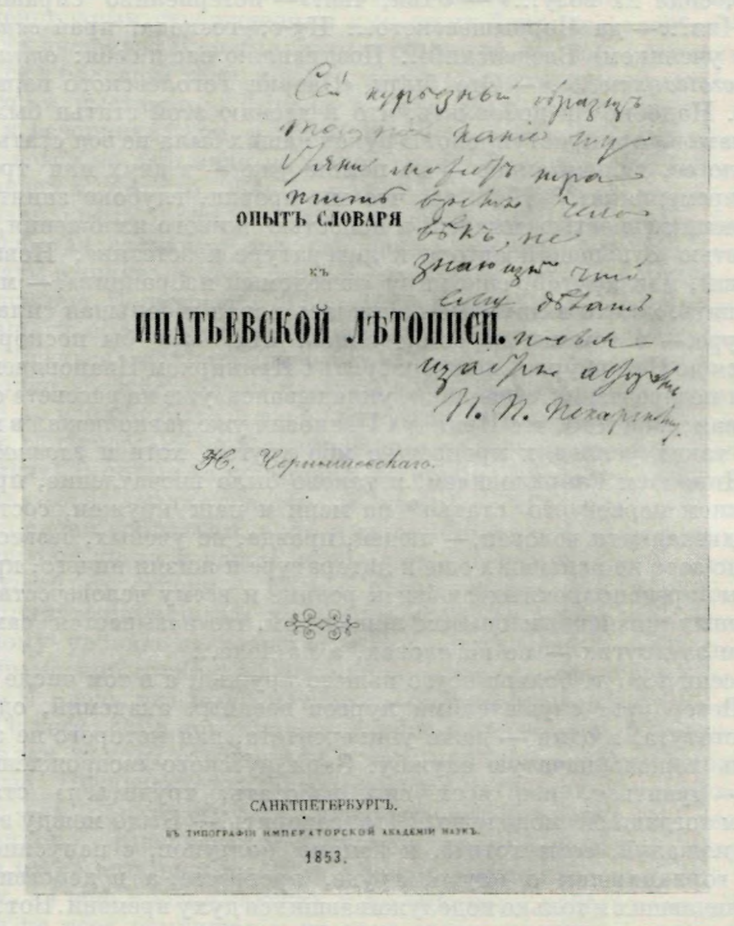
неств и пиров, на которые,— то и знай,— что приглашали нас?!— против всех этих охот, пикников, ухаживаний, плясок, картежа, а подчас,— безумных кутежей и разгула?!. Но,— удивительное дело! — как далеко ни завлекали нас все эти разудалые забавы, все же таки они не в силах были изгладить в нас впечатлений, вынесенных с уроков и бесед Иринарха Ивановича, ни парализовать данного им импульса к умственному труду, к интересам высшего порядка. Даже и при увеселительных поездках по балам и охотам мы все же таки никогда не упускали случаев доставать книги, иногда очень хорошие и серьезные книги, бог весть уже, как и зачем попадавшиеся в помещичьих разношерстных библиотеках; аккуратно выписывали сами почти все, тогда очень немногочисленные, повременные журналы и в часы досуга, которого и за пирами и службою все-таки оставалось вдоволь, с жадностью читали и перечитывали их, а иногда целые ночи напролет проводили в горячих дебатах в своем товарищеском кружке по поводу тех или других прочитанных статей. Конечно, при этих дебатах часто вспоминалось нами и дорогое имя Введенского, мнение которого при этом так часто хотелось бы слышать, да вспоминалось, между прочим, и имя безвестного тогда Чернышевского, статей которого, веря предсказанию Иринарха Ивановича, мы нетерпеливо поджидали и которого, как нам казалось, в свою очередь, также нетерпеливо ожидало пустующее тогда в журналах место Белинского...

Не прекращались наши дебаты, не переставали мы выписывать журналы, а в Бухаресте приобретать книги[5] и в течение всей Восточной войны, на которую мы выступили в 1853 г. Но только по неурядице, царившей тогда и в полевой почте, иные книжки журналов вовсе не доходили до нас, а которые и получались, то либо в обтрепанном виде, либо так, что февральская книжка получалась позже майской и т. п. А время, тяжелое время, все шло да шло. С Придунайских княжеств мы перебросились в Крым. Свершилась перемена царствования. Пал Севастополь, а в нем и на Черной речке пали безвременно и некоторые товарищи нашего кружка, бодро шедшего на войну и с патриотическим воодушевлением, дружным хором юных голосов распевавшего старинную песню, начинавшуюся словами «Где ты, виновник чувств высоких и священных?!.» и кончавшуюся припевом:

Пусть Россия дорогая
Нас сынами назовет,
И, Россию защищая,—
Каждый пусть из нас умрет!..

Наступил 1856 год. Заключили перемирие, а затем и мир, после которого в течение месяцев двух все чины враждовавших армий не только знакомились, но сближались, даже сдружались, посещая и угощая друг друга без малейшего остатка злобы от только вчера заключившейся борьбы. Любопытное было время!.. Началась, наконец, и постепенная эвакуация войск из Крыма. Бригада, в которой я служил, была первоначально передвинута с Черной речки к г. Карасу-Базару, лежащему уже в степной части Крыма. Стоял великолепный май, когда крымские степи, покрытые роскошною, душистою травою и массою цветов, кажется, дышат жизнью. После бурной боевой деятельности и тяжелых трудов для нас, по крайности, наступила пора полного бездействия. В ожидании дальнейшего передвижения в Россию, пока неизвестно еще для нас: куда именно, мы много гуляли, купались, охотились на дрохв, бешено скакали с татарскими борзыми по степям за зайцами, но еще больше предавались горячим толкам о только что закончившейся кровавой трагедии, в которой были участниками,— о причинах, вызвавших и приведших ее к известной перипетии, о ходе и вероятных последствиях ее[6]. От отвлеченных вопро-

сов философии, истории, эстетики, столь занимавших нас, мы как-то незаметно для нас самих стали все чаще и чаще переходить на почву действительности, на почву нашей войсковой да и вообще всей нашей русской жизни и, между прочим, к разговорам о крепостных, которых чуть не у каждого из нас имелось при себе по одному, а то и по два человека. Диапазон всех этих толков все подымался выше и становился страстнее. Мы


ОПЫТЪ СЛОВАРЯ

КЪ

ИПАТЬЕВСКОЙ ЛѢТОПИСИ.

Н. Чернышевскаго.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

1853.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА ИЗДАНИИ ЕГО КНИГИ «ОПЫТ СЛОВАРЯ К ИПАТЬЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ», СПб., 1853:

«Сей курьёзный образец того, на какие пустяки может тратить время человек, не знающий что ему делать, посвящается автором П. П. Пекарскому»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

строили планы о дальнейшем нашем образовании, жажда к которому, как равно и к чтению, стала чувствоваться нами с небывалою еще силою... Чтобы хотя как-нибудь удовлетворить эту жажду, мы нарочно даже снарядили одного из наших товарищей в Симферополь: не разыщет ли как он в тамошнем почтамте наших журналов?..

Прошло дня три. Как теперь вижу: сидим мы в татарской сакле на полу и ужинаем от добычи охоты нашей. Вдруг затарахтело что-то на дворе. Отворяется дверь, и в нее входит возвратившийся из Симферополя товарищ наш В**, сопровождаемый солдатиком, тащащим за ним всякие закупки и связки журналов.— «Вот, молодец!— добыл-таки наши журна-

лы!»— почти единогласно с восторгом вскричали мы.—«Добыть-то добыл,— отвечал он,— но опять не все и разрозненные, хотя едва не целые сутки рылся в почтамте, где — верите ли?— и книгами, и письмами комнаты завалены чуть-чуть не до потолка!.. Впрочем, четыре первые книжки „Современника" посчастливилось, однако, разыскать; а в них, знаете ли, господа, чья напечатана статья?.. Я не утерпел и начал читать ее даже дорогою, сидя на возу...» — «Чья, чья?»— нетерпеливо спрашивали мы его.— «Чья?..— да Чернышевского... Ну-с, господа, прав *ваш* (В** не был его учеником) Введенский!.. Поздравляю вас и себя: *отныне место Белинского занято...*». — Это были «Очерки гоголевского периода литературы». Надобно ли добавлять, что к чтению этой статьи было тут же безотлагательно и приступлено. В руках наших была не вся статья, а только начало ее, напечатанное — не помню уже — в двух или трех книжках «Современника»?[7] Но и то, что мы прочли, глубоко заинтересовало нас и оригинальностью мыслей, и ясностью живого изложения,— и своеобразностью отношений автора к литературе и эстетике. Новый ли это Белинский, или другой, еще миру «неведомый избранник»?— мы не брались решать, но что в лице его появилась новая и большая сила в родной литературе,— в том мы не сомневались. «Ах, как бы поскорей теперь добраться до Петербурга, да поговорить с Иринархом Ивановичем!»—говорили мы по прочтении «Очерков», укладываясь уже на рассвете спать и не подозревая даже того, что Иринарх Иванович уже давно лежал в могиле!..[8]

При таких условиях произошло мое другое, хотя и *заочное*, знакомство с Николаем Гавриловичем, и таково было впечатление, произведенное чтением первой его статьи* на меня и наш кружок, состоящий из десяти, двенадцати человек,— людей, правда, не ученых, безвестных, молодых, но зато не искавших еще в литературе и жизни ничего, кроме света и истины, преисполненных любви к родине и всему человечеству и пока искушенных жизненным опытом лишь в том, что называется самопожертвованием за других — не на словах, а на деле...

По осени 1857 г. большинство нашего кружка, а в том числе и я, было уже в Петербурге слушателями курсов военных академий, один— Горного института, а один — даже университета, для которого не задумался покинуть хорошо начатую службу. Заря русского «возрождения» подымалась,— «учиться, изо всех сил работать, трудиться» становилось лозунгом тогдашней молодежи. Что говорить!— Было между этою молодежью, пожалуй, если хотите, и немало болтунов, с напускною горячностью горланивших о науке, труде, прогрессе, а в действительности бездельничавших и только подслуживавшихся духу времени. Вот именно из этих-то горлопанов,— как то можно доказать с «поличным» в руках,— и вышла впоследствии вся эта орава нынешних quasi-беллетристов и критиков разных: «Помой», «Чего изволите»[9] и проч., и проч., которые с таким во истину холопским усердием ныне всячески поносят то, чему они тогда якобы поклонялись, и что они, несомненно, точно с таким же усердием станут восхвалять завтра же — повей только с другой стороны ветерок в их погребок!.. Но не такого пошиба личностями очерчивался общий характер большинства тогдашней молодежи,— того большинства, которое за точку отправления и за основной камень своих саморазвития и самодеятельности принимало два, так сказать, положения: «Я — человек, и ничто человеческое мне не должно быть чуждо», и другое: «Долой не только невежество, но и дилетантизм, довольно уже натворивший зла людям, как то доказывается тысячами примеров истории всех веков и наро-

---

* Статьи Чернышевского, если не ошибаюсь, начались печататься с 1853 г., но мы не знали того, и упоминаемая статья, принимаемая нами за первую, была, собственно говоря, лишь *первою* прочитанною нами его статьею.— *Прим. Новицкого.*

дов, а нашей — новейших времен, кончая Крымскою войною, с особенною наглядностью».—И если первое из этих положений, расширявшее умственный горизонт, оживотворявшее и облагораживавшее стремления молодежи, могло, пожалуй, вести иногда к некоторой, так сказать, раскиданности мыслей, то последнее, служа тому тяжелым противовесом, могуче толкало ее к усидчивому труду, к серьезному изучению каждым своей специальности. Да так оно в действительности и было, вопреки ложным и тенденциозным утверждениям нынешних бытописателей той эпохи.

Посещали учащиеся молодые люди и общество, и оперу, бывшую тогда в Петербурге в большом ходу, и театр, на котором стали появляться пьесы Островского, и выставки,— бывали в концертах, на балах, на разных собраниях и вечеринках, но — вопреки тем же лживым утверждениям — опять-таки вовсе не забывали за всеми этими увеселениями своего дела, а возвратившись, бывало, домой, чтобы наверстать утраченное иногда таким образом время, ночи напролет просиживали за книгами да за записками, работая с такими лихорадочными энергиею и увлечением,— точно солдаты гарнизона над верхами крепости, ожидающей ежеминутно нового штурма. Серьезность стремлений к науке, научной работе была так в тогдашней молодежи велика и заразительна, что она мало того, что заставляла браться за книгу людей, давным-давно покинувших чтение, но благотворно воздействовала даже на саму профессуру, в рядах которой — увы! — немало было людей, относившихся к своим обязанностям не только с халатностью, но и с полнейшим индифферентизмом. Все это— факты, отрицать которые из помнящих то время не станет никто, у кого сохранилась хотя капля совести и чести!..— «Господа!..,— говорил, обращаясь к своим собратьям, один из почтенных профессоров на юбилее, праздновавшемся тогда в одном из высших заведений, где был слушателем и пишущий эти строки.— Если и прежде мы усердно трудились над задачами, принятыми каждым из нас на себя, то теперь применительно к умственному уровню настоящих наших слушателей и серьезности их научных стремлений и занятий мы должны наши усердие и труды удесятерить...»— И слова эти были истиною,— истиною вдвойне: и вверх, по отношению к кафедре, и вниз, по отношению к аудитории. Да, если бы все это не было так, как мы утверждаем, а так, как утверждают современные литературные Ноздревы, разрисовывающие тогдашнюю учащуюся молодежь, то — в образе пустых политиканов-болтунов, то — каких-то Дон-Жуанчиков — развивателей барышен, то спрашивается: откуда же взялась вся масса лиц, впоследствии с таким знанием своего дела и честью работавших, да еще продолжающих и по сию пору работать на всех, без исключения на всех поприщах и по всем отраслям государственно-общественной деятельности,— лиц, из которых весьма многие успели заслужить себе почетную известность не только у себя дома, но и за границею?!!.. Конечно, не все, но большинство их взялось и вышло все из рядов той же, якобы ничего путного не делавшей молодежи, которая довершала или начинала свое высшее образование в конце 50-х и начале 60-х светлых годов.

Я поступил на курс академии N[10], куда прилив слушателей был в 1857 г. небывало велик, представляя поэтому еще бо́льшую, чем обыкновенно, пеструю смесь представителей всех родов оружия, людей, если почти и одинаковых по уровню образования, то различных по воспитанию, а еще более — по материальным средствам и по классам общества, из которых вышли они. Такая пестрота при общности научных интересов, в виду к тому же одинаковости службы, к которой мы подготовляли себя, не помешала, однако, нашему довольно скорому сближению друг с другом. Правда, мы не составляли одного общего, плотно связанного кружка, чего, впрочем, и не могло быть уже по одному числу лиц нашего курса, доходящего

до 80-ти человек. Но мы не разбивались, однако, и на кружки, крепко в себя замкнутые, а тем более — враждебные друг другу, хотя, понятно, частию — прежние сослуживство или приятельство, а частию — и новая приязнь, зарождающаяся на почве взаимной симпатии между молодыми людьми, вместе учащимися и работающими, естественно, приводили к тому, что одни чаще виделись и больше говорили с другими, чем с прочими, а иногда—собирались на сходки к какому-либо из приятелей, у кого была квартира попросторней.

Произнеся страшное слово «сходка», считаю не лишним здесь оговориться, что сходки наши не имели никакого сходства с сходками студенческими*, глубокомысленными, историческими исследованиями которых и по сию пору не перестали еще заниматься разные отставные профессора и инспектора, пишущие в «Русской старине»[11],— по сию пору, очевидно, ничему не научившиеся и ничего не забывшие, а потому и рассказывающие про них с серьезною миною лиц губернского гоголевского города, строивших догадки: кто такой был Чичиков? — такие страхи, от которых, право, можно было бы умереть, не возбуждай они неудержимого смеха!.. Нет, наши сходки, на которые собирались не юноши-студенты, а люди, хотя и молодые еще очень, но уже служащие или действующие на том или другом жизненном поприще, отличались от студентских не только немноголюдностью, но и всем своим характером. Исследование и изучение военного дела во всех его разветвлениях и элементах, начиная с человека, взявшего в руки оружие и идущего на смерть или победу, а также общенаучные вопросы были всегда главнейшим содержанием этих сходок, хотя, само собою разумеется, не обходилось при этом без разговоров и горячих дебатов и по поводу подымавшихся и сильно волновавших тогда все русское общество вопросов. То была пора небывалого еще подъема общественного духа, когда (употребляю не свое, а чужое выражение) не было, казалось, на Руси камня, в котором не бился бы пульс!.. Как же при таком состоянии общества могли не интересоваться и не волноваться всеми этими вопросами — мы-то, учащаяся военная молодежь, только что сошедшая с бастионов Севастополя и чувствовавшая и считавшая себя не какими-либо Landsknecht'ами, «маржеретами», а сынами своей земли, столько же дорожащими ее благом, величием, сколько и болеющими всеми ее болестями?! Как, наконец, мы могли безучастно относиться к общественным вопросам уже по одному тому, что в ряду их не было такого, который так ли, иначе ли, но не находился бы в тесной, органической связи — не только с нашим личным бытом, но с бытом и устройством всех вооруженных сил страны, реформирование которых, хотя, правда, во многом еще поверхностное, отрывочное, но шло уже тогда весьма энергично, являясь как бы кануном всех последовавших за тем обширных реформ в империи.

Да, бился, сильно бился тогда общественный пульс и в нас; но такая возбужденность его, заставлявшая нас так горячо относиться к этим вопросам, не только не умаляла в нас интерес к изучению своей специальности, но еще пуще поджигала к тому.— «Не все прославленные историей военные люди были, к сожалению, лучшими и честнейшими гражданами своей страны,— говорили мы,— но все они и всегда были образованнейшими людьми своего времени».— «Военное дело само по себе — не наука,

* О студенческих сходках я имел случай составить себе довольно ясное понятие, частию — из рассказов некоторых знакомых профессоров и студентов, а главное — моего товарища, слушавшего тогда университетские курсы, человека очень умного и наблюдательного. Раз как-то из курьеза я даже присутствовал, конечно, со стороны, — с ним и сам на такой сходке, произведшей на меня почти такое впечатление, какое производит игра детей в солдатики и в войну, какою в действительности по сути своей эти пресловутые сходки и были да, конечно, навсегда и останутся, по крайней мере, до тех пор, пока детство не перестанет быть детством, а юность — юностью!.. — *Прим. Новицкого.*

II

ОЧЕРКИ ИЗЪ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Статья вторая (*).

II. РУССКІЯ РЕДАКЦІИ СРЕДНЕВѢКОВЫХЪ СКАЗАНІЙ ОБЪ АЛЕКСАНДРѢ.

Разобранная нами повѣсть, взятая изъ «Тысячи и Одной Ночи», приводитъ насъ къ любопытному вопросу въ исторіи старой нашей письменности, который теперь снова обратилъ на себя вниманіе изслѣдователей. Тринадцатое столѣтіе начало новый періодъ въ умственной и нравственной жизни древней Руси; внѣшнія несчастія и стѣсненіе самобытной дѣятельности должны были отразиться и на памятникахъ древней нашей словесности, такъ-что эпоха татарскаго ига кладетъ между ними рѣзкую грань. Съ тѣмъ вмѣстѣ, многія произведенія эпохи дотатарской или совершенно погибли, или остались уединенными свидѣтелями того, въ какихъ размѣрахъ и въ какомъ направленіи могли развиться эти начала, внезапно-остановленныя въ своемъ распространеніи. До насъ дошло только самое незначительное число рукописей отъ того времени, и нѣтъ сомнѣнія, что это произошло не случайно; напротивъ, гибель рукописей зависѣла именно отъ невыгодныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Съ потерею рукописей терялись и самыя сочиненія, такъ-что нѣкоторые памятники существуютъ для насъ только въ догадкахъ и предположеніяхъ, и трудъ изслѣдователя древнѣйшаго періода нашей литературы теперь главнымъ образомъ есть трудъ реставратора.

Однимъ изъ любопытнѣйшихъ памятниковъ въ этомъ отношеніи мо-

(*) Первая статья напечатана въ № 2-мъ «Отечеств. Записокъ» 1855 года (томъ XCVIII).

Т. CII. — Отд. II.

НАДПИСЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО П. П. ПЕКАРСКОМУ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ «ОЧЕРКОВ ИЗ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» А. Н. ПЫПИНА (1855 г.):

«Александр Николаевич Пыпин поручил мне надписать, что передает эту брошюру П. П. Пекарскому в знак дружбы, связывавшей его с П.П., пока г. Пыпин еще не возгордился своими учеными подвигами. Не хотеть подписывать экземпляра, отдаваемого в подарок, было бы невежливо со стороны обыкновенного человека. Но Гёте и Гриммы стоят выше суетных условий вежливости.
Н. Чернышевский»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

а искусство, и притом по разнородности и сложности составных своих элементов едва ли не самое труднейшее из всех существующих искусств. А так как для солидного изучения всякого искусства, а военного, стало быть, и того больше, столько же необходимо основательное знакомство с техническою его стороною, сколько и основательная общенаучная подготовка, то вывод отсюда прост: хорошенько изучай технику твоей специальности, но в то же время также ревностно заботься и об обогащении себя общенаучными познаниями; иначе, если ты и узнаешь ее, то разве настолько, сколько вывесочный маляр знает живопись, фельдшер — медицину, а дед, потешающий публику на масляничном балагане,— драматическое искусство». В настоящее время, как кажется, вывод этот, как и многое другое, не считается уже ни простым, ни верным. Но ведь я говорю про былое, а тогда мы признавали этот вывод за непререкаемую истину, какою не перестали признавать его на старости и теперь. А потому, изучая свою специальность, мы — на сколько-то хватало сил — всячески также заботились о расширении наших познаний по всеобщей истории, литературе, философии, законоведению и политической экономии. Первые два предмета, хотя и читались в академии, но из рук вон плохо, а последние и вовсе не входили в академический курс. Правда, все мы, бывшие кадеты, обучавшиеся по программам, приводившим, как известно, своею обширностью в изумление даже самого Александра Гумбольдта, вынесли из корпусов по всем этим предметам сведения, но столь туманные, убогие, что уяснить, установить, расширить их являлось для нас делом важнейшей необходимости, хотя и далеко не легким. Тут мало было доброго желания, усидчивого самоучения, толкований в товарищеском кружке: тут чувствовалась, сознавалась потребность в руководительстве,—по крайности, лично мной. Но где его искать?!. Иринарха Ивановича Введенского, на которого, собираясь в академию, я возлагал все мои в этом отношении упования, давным-давно не было уже в живых. Мысль о знакомстве с его приятелем, Н. Г. Чернышевским, стала неотступно преследовать меня с самого дня поступления моего в академию. Но ведь Чернышевский был тогда уже не студентом, а литератором, успевшим уже приобресть солидную известность и работающим в самом лучшем и распространенном тогда журнале; следовательно, чтобы свести с ним знакомство, да притом — не шапочное, а близкое, какое собственно только и могло быть мне желательным, надобно было или иметь знакомых, знающих его и которые могли бы дать мне известную рекомендацию или — иметь какой-либо повод самому явиться к нему с визитом. Но — точно нарочно — в довольно многочисленном кругу знакомых моих не находилось ни души, знакомой с Чернышевским, да не было у меня повода и самому представиться ему. Написать какую-либо статейку с тем, чтобы только повезти ее к нему для напечатания в «Современнике», не заботясь даже, будет или не будет она напечатана,— я, конечно, мог. Но у меня не выходили тогда из головы слова одного великого немецкого ученого, сказанные им молодому человеку, принесшему к нему свое сочинение: «Мы, господа, так уже много писали, что, право, пора бы нам и почитать», а потому я не решался на то, тем более, что и времени на писанье статеек у меня не было. Пожалуй, можно еще было сделать ему визит под предлогом возобновления *прежнего* знакомства; но разве мимолетная встреча у Введенского, случившаяся около семи лет тому назад, о которой он легко мог и совсем позабыть, могла быть признаваема мною за знакомство?! А такой визит разве не мог быть принят им — чего доброго! — за грубую навязчивость с моей стороны, а потому сразу же компрометировать меня пред ним?.. Нет, завязывать знакомство под подобным предлогом мне представлялось слишком рискованным, чтобы решиться на то... Позже, когда я узнал этого выходящего из ряда вон человека — не только по уму, учености, но

и по душевным качествам его, прямо, можно сказать, сотканным из благожеланий ближнему и бескорыстнейшей любви ко всему доброму, да и теперь, когда набрасываю эти воспоминания, мне становятся невыразимо смешными все эти мои размышления и приискивания предлогов познакомиться с ним, вместо которых проще всего было прямо идти к нему да и сказать, зачем именно, не ожидая, разумеется, ничего иного, кроме самого задушевного приема и готовности служить вам всем, чем он только мог. Но тогда я, хотя и хорошо помнил характеристику и пророчества о Николае Гавриловиче Иринарха Ивановича Введенского, лично все-таки его не знал, а потому колебался и тщетно подыскивал поводы к знакомству с ним, которые так, быть может, и не подыскал бы, не подвернись тут совершенно неожиданный случай — месяца этак через три по пребывании моем в Петербурге. Одним из сокурсников моих был Зигмунт Игнатьевич Сераковский, поручик Арзамасского драгунского полка, родом поляк, потянувший лет десять солдатскую лямку в оренбургских линейных батальонах, куда он был выслан рядовым из студентов Петербургского университета за участие в каком-то политическом деле [12]. Впоследствии, в 1863 г. взятый в плен и тяжко раненный при разбитии польской банды, которою он командовал, Сераковский погиб в Вильно, на эшафоте, по обвинению в участии в вооруженном восстании в качестве офицера, находившегося на службе, какую он, уходя «до лясу», на беду себе не позаботился предварительно покинуть. Обстоятельство это, утягчавшее, конечно, до последней крайности вину Сераковского, послужило, между прочим, хотя и без малейшего к тому основания, поводом ко всевозможным грязным инсинуациям, долго пускавшимся в ход разными нашими патриотствующими пролазами и сплетниками не только противу академии, которую прошел Сераковский, противу всего корпуса офицеров, воспитывавшегося в ней, но даже и противу многих таких высокопоставленных лиц, как, например, Д. А. Милютин, имена которых, конечно, всегда будут произноситься не иначе, как с чувством глубокого уважения каждым порядочным и сколько-нибудь любящим свое отечество русским... Большой, открытый лоб, большие серо-голубые, живые и искрящиеся глаза, необыкновенные нервность и подвижность, страстная речь, возраст (ему было уже тогда около сорока лет) [13] и, наконец, самый даже костюм, носимый с небрежностью людей, настолько поглощаемых какою-либо мыслью, что они едва знают, во что и как одеты,— таков был общий вид Сераковского, с первой же встречи невольно привлекший мое внимание к нему. Позже, хорошо познакомившись с ним, я нашел в нем горячего польского патриота, мечтавшего, впрочем, не о старой, а о новой Польше,— Польше будущего, и — что меня особенно изумляло в нем — не ставившего, подобно многим своим соотечественникам, которых я знавал, своей «ойчизны» в передовом углу всего человечества, а отводившего ей лишь место равноправного члена в среде других славянских народностей. Это был положительно умный, очень образованный, много знавший, видевший и испытавший на своем веку человек, но, несмотря на то и на свои годы, идеалист и мечтатель во вкусе крайних жирондистов и притом гуманист и добряк, детски, часто — прекомично, доверчивый и к людям, и к событиям, крайне легко увлекающийся и увлекаемый, способный тормошить, пожалуй,— возбуждать других, но не увлекать за собою, а только располагать их к себе, к своей собственной личности. В высшей мере живой, деятельный, хотя часто и жестоко страдавший от горловой болезни, которую мы в шутку прозывали «maladie conventionnelle»*, Сераковский имел во всех слоях петербургского общества обширнейшее знакомство, постоянно, бывало, то сам делая, то принимая визиты других

* Игра слов: «условной болезнью» и «болезнью Конвента» (франц.).

в своей квартиренке, по обстановке и чистоте больше всего напоминавшей бивак, и где кого, кого только нельзя было встретить?!.. Тут бывали поэты, писатели, редакторы, художники, артисты, попы, патеры и муллы, помещики губерний северо- и юго-западных, малорусских и великорусских, книгопродавцы и владетели типографий, высокопоставленные гражданские и военные чины, профессора и студенты, офицеры всех родов оружия, путешественники, доктора, сибиряки и оренбургцы, бывшие политическими ссыльными и не бывшие ими,— ну, словом, чего хочешь, того спросишь!— Обменявшись с Сераковским, жившим по соседству со мною, первоначальными визитами, я так больше и не бывал у него, ограничивая знакомство наше встречами и беседами в академии. Но вот как-то раз заходит, или, правильнее,— влетает он ко мне, сразу же начиная укорять меня, что, живя рядом, я никогда не загляну к нему, что, изучая вместе одно дело, нельзя друг с другом не видаться, что живая наука, живая жизнь — вовсе не антитезы и т. д. Чрез несколько дней после того, помнится, в какой-то праздник, я захожу к Сераковскому и,— представьте мое изумление!— встречаю у него Н. Г. Чернышевского, которого я мгновенно же узнал в числе пяти или шести других посетителей[14]. Оказалось, что Николай Гаврилович был с несколько запоздалым визитом у Сераковского, неоднократно уже посещавшего его, почему он и очень извинялся пред последним, ссылаясь на недосуг.

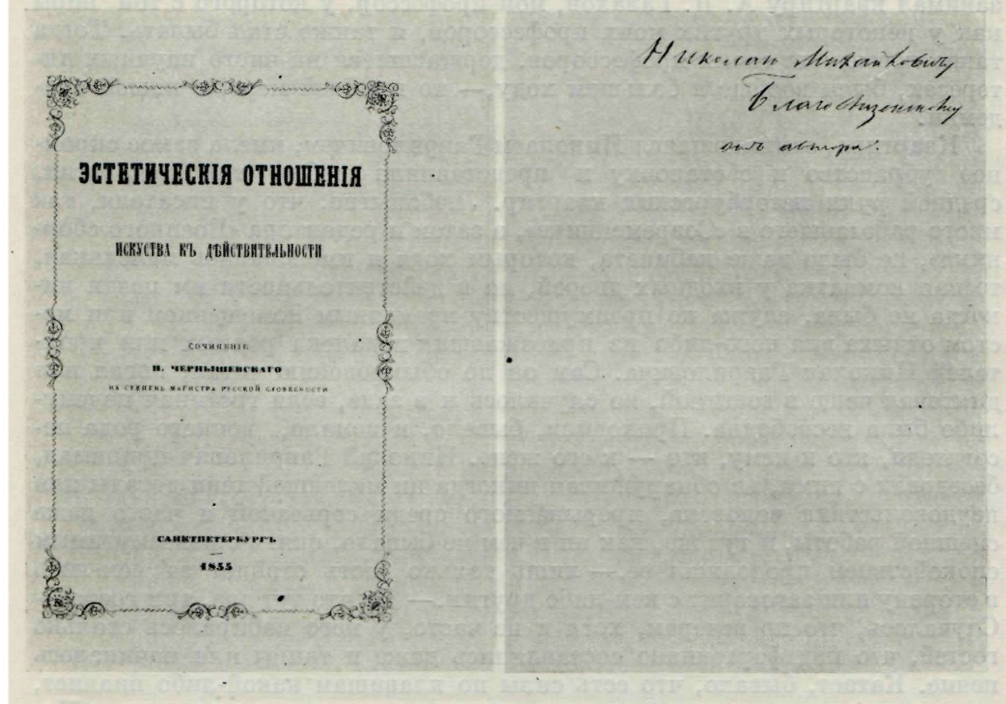
Семь почти лет, минувших с первой моей встречи с Николаем Гавриловичем, понятно, не могли не наложить на него своей руки: станом он сделался плотнее и как бы рослее; о свежем румянце на щеках не было и помину; волоса стали темнее и тусклее и носились им теперь à la russe. Но глаза смотрели по-прежнему, бороды и усов он, как и прежде, не носил и внешним своим видом вообще очень, очень еще походил на прежнего студента 51-го года[15].

Сераковский представил нас друг другу. Мы разговорились.

Как и следовало ожидать, Николай Гаврилович не помнил нашей первой встречи, но с большою симпатиею вспоминал о покойном Иринархе Ивановиче Введенском, заливался хохотом при рассказе моем о тогдашней нашей попытке разыскать его студенческую квартиру, говоря, что он и поныне не может еще решить, что в ту пору больше затруднило бы его: указать свою квартиру, или принять кого в ней?..— «Но зато теперь-с, если бы вы пожелали когда посетить меня,—добавил он, улыбаясь,—то могу вам указать мою квартиру уже с точностью... я живу... да вот для памяти позвольте мне вручить вам мою карточку».— И Николай Гаврилович принялся за розыск по всем карманам своих карточек, каковых — увы!— налицо не оказывалось.— «А я-то,— говорил он, разражаясь своим звонким смехом,— собирался сегодня сделать еще два-три визита! Хорошо еще, что застал дома вас, Зигизмунд Игнатьевич...»—«Да я вас сейчас же выведу из затруднения,— спохватился Сераковский,— у меня есть готовые карточки, на которых сто́ит только написать свое имя!..» И он, со свойственною ему лихорадочною порывистостью, выхватив из стола карточки, мгновенно начал писать «Н. Г. Ч.» на одной, другой... пятой... десятой... —«Да постойте, постойте: Зигизмунд Игнатьевич,— ведь мне за глаза довольно и трех»,— тщетно удерживал его Николай Гаврилович, помирая вместе с нами от хохоту.—«Пригодятся на случай, если вдруг опять потеряете или, наконец, пока вам сделают другие»,— говорил на это Сераковский, с яростью продолжая делать надписи на карточках и второпях страшно забрызгивая их чернилами под звуки всеобщих взрывов хохота, пока, наконец, кто-то не овладел карточками и чернильницей... Чрез несколько минут после этой комической сцены с Сераковским,— а сколько таких, боже мой, можно было бы рассказать про него!— Николай Гаврилович уехал, сказав на прощанье мне:

— Может, заглянете вечером в четверг? По четвергам вечером я всегда бываю дома...

С этой собственно встречи началось мое знакомство с Николаем Гавриловичем, которое, постепенно переходя, не скажу — в дружбу, но в самые добрые и приязненные отношения, непрерывно продолжалось до июня 60-го года, когда я выехал, и надолго, из Петербурга в провинцию. Оттуда, хотя и очень редко, раза два-три, я писал к нему и всякий раз получал ответы, хотя и незначительные по объему и содержанию, но о нечаянной утрате которых, тем не менее, до сих пор не перестаю сожалеть.



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА ИЗДАНИИ ЕГО ДИССЕРТАЦИИ «ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ», СПб., 1855:

«Николаю Михайловичу Благовещенскому от автора»

Литературный музей, Москва

При одном из таких ответов я получил от него, между прочим, первую книгу 1-й части «Политической экономии» Ст. Милля, с примечаниями переводчика и с надписью: «Доброму другу»... Книга эта и по сию пору хранится у меня, как память о ее переводчике и о невозвратно минувших годах бодрой молодости, смелых надежд и верований в светлую будущность. С 60-го года,— значит, в течение почти 30-ти лет, мне довелось лишь оросить слезою две его рановременные могилы: одну — авторскую и гражданскую, в которую свалили его людские ненависть, зависть и непонимание, и другую — общечеловеческую, в которую он уже свалился сам после долгих, без жалоб, молча и гордо перенесенных и ничем не заслуженных нравственных и физических страданий, сломивших-таки его, вообще крепкий, организм, но, к изумлению, не подорвавших ни его таланта, ни широты и ясности ума, ни чистоты высоких стремлений. Но ни видеться, ни переписываться ни с ним, ни даже знать многое о его печальной судьбе мне с той поры больше уже не доводилось.

Столько же по чувству деликатности, указывающей мне на необходимость прежде, нежели явиться на вечер, сделать утренний визит Николаю Гавриловичу — тем более, что, как я узнал от Сераковского, он был уже женат,— сколько и по нетерпению поскорее поговорить с ним по поводу занимавших тогда меня научных вопросов, я поехал к нему, не дожидаясь четверга, чуть ли не на другой день после моей встречи.

Он жил тогда,—да и все время моего знакомства, за исключением летних выездов на дачу — раз отлично помню на Петровский остров, а другой на ст. Любань, по Николаевской железной дороге,— в Поварском переулке, в доме Тулубьева, во втором этаже[16]. В третьем, как раз над ним, занимал квартиру А. Д. Галахов, мой профессор, у которого с той поры как у некоторых других моих профессоров, я также стал бывать. Тогда такие посещения своих профессоров, державшиеся на чисто научных интересах, были вообще в большом ходу,— по крайней мере, в нашей академии.

Квартира, занимавшаяся Николаем Гавриловичем, имела самое скромное убранство и обстановку и представляла собою тип недорогих, средней руки петербургских квартир. Любопытно, что у писателя, так много работавшего в «Современнике», а затем и редактора «Военного сборника», не было даже кабинета, которым хотя и именовалась маленькая, тесная комнатка у входных дверей, но в действительности им почти никогда не была, служа по преимуществу временным помещением или местом отдыха для кого-либо из приезжавших издалека родных или приятелей Николая Гавриловича. Сам он по обыкновению читал, писал или диктовал чаще в гостиной, но случалось и в зале, если гостиная почему-либо была несвободна. Приходили, бывало, и немало, всякого рода посетители, кто к нему, кто — к его жене. Николай Гаврилович принимал, беседовал с ними, не обнаруживая никогда ни малейшей тени досады или неудовольствия человека, прерываемого среди серьезной и часто даже спешной работы, и тут же, как ни в чем не бывало, опять с невозмутимым спокойствием продолжал ее,— лишь только гость отойдет за чем-либо в сторону или заговорит с кем-либо другим.— Да что тут два, три гостя!— Случалось, что по вечерам, хотя и не часто, у него набиралось столько гостей, что под фортепиано составлялись даже и танцы или начиналось пение. Катает, бывало, что есть силы по клавишам какой-либо пианист, кричит певец или молодежь пляшет, топает, шаркает, шумит в зале, а Николай Гаврилович сидит себе в гостиной, будто в какой-нибудь отдаленной и глухой пустыне и пишет да пишет... Поговорит, весело даже посмеется с кем-либо из влетевших к нему из зала и — опять пишет! Меня всегда поражал полнейший индифферентизм его ко всякому комфорту, но индифферентизм его даже уже не к комфорту, а к самым обыкновенным, простым условиям, необходимым для всякого при всякой работе, а при его работе по преимуществу,— как тогда для меня был, так и теперь остается непостижимою тайною. Точно в нем совмещались два независимых друг от друга человека: один, живущий ординарною, вседневною жизнью, ничем от нее не уклоняющийся, всегда покойный, ко всем приветливый, разговорчивый, готовый всегда даже посмеяться, слегка поиронизировать, пошутить, и — другой, настолько ушедший в себя, в мысль, в науку и настолько поэтому непроницаемый для всего, его окружающего, что авторского процесса, шедшего в нем, не могло нарушить уже ничто, почему произведения его и появлялись, по-видимому,— будто богини из пены морской. Удивительный был это субъект даже для тех, кто знал его не как писателя, а как обыкновенного человека в его обычной обстановке!..

Те невыразимые добродушие и простота, с которыми я был встречен Николаем Гавриловичем с первого же шага моего появления в его доме, настолько ясно мне говорили, что за человека я встречаю в нем, что я, не

обинуясь, с первых же слов высказал ему побуждения, заставлявшие так нетерпеливо искать знакомство с ним.

— Так чего же было вам стесняться-то? — сказал он при этом с полушутливым укором. — Ну, пришли бы просто да и сказали, в чем дело; а то вздумали еще визиты делать! Да, вы приходите всегда, когда нужно. Я ведь почти всегда дома, не говоря про четверги, как я вам докладывал-с... Очень буду рад, если чем-нибудь могу быть полезным вам... — И разговор наш прямо перешел к научным вопросам, занимавшим меня и сводившимся главнейше к тому: с чего по тому или другому предмету следует

Николаю Михайловичу Щепкину, въ знакъ искренняго уваженія къ его прекрасному, благородному предпріятію отъ автора

ЛЕССИНГЪ

ЕГО ВРЕМЯ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛЕССИНГЪ

ЕГО ВРЕМЯ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

Н. ЧЕРНЫШЕВСКАГО

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1857

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА ЕГО КНИГЕ «ЛЕССИНГ, ЕГО ВРЕМЯ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», СПб. 1857 г

«Николаю Михайловичу Щепкину, в знак искреннего уважения к его прекрасному, благородному предприятию от автора»

Литературный музей, Москва

начинать чтение? что и где искать и найти можно? Как и с какой стороны подступать к изучению, и т. д. И сколько ценных указаний и советов я получил от Николая Гавриловича тут же, с этой первой моей беседы с ним, не говоря уже о тех, которые получал постоянно, почти систематично, в течение трехлетнего непрерывного знакомства с ним, — и всегда с такою благодушною готовностью, что я по чувству деликатности часто просто, бывало, даже колебался обращаться к нему за разъяснениями, боясь нарушить его занятия, которые им добровольно, кажется, не прерывались никогда. — «Вы прежде уже лучше скажите мне прямо, Николай Гаврилович, можно с вами потолковать минут этак с десяток, что, впрочем можно отложить и до другого раза?», — спрашиваешь, бывало, его через полуотворенную дверь. — «Можно, можно-с и теперь...» или — «поговорите немножко пока с Ольгой Сократовной, я — сейчас...» — бывали постоянные его ответы.

Говорить о чувствах, с тех пор зародившихся и живущих во мне к этому человеку, которому в деле моего образования я обязан так, как никому, я не стану: они умрут вместе со мной. Но как тут не вспомнить о «замечательно организованной голове», как когда-то охарактеризовал Введенский еще студентскую голову Чернышевского?— о той поистине универсальности знаний, какою она полна была, и как я в том невольно и убеждался, и изумлялся по самому роду сношений, в каких состоял с ним?.. Конечно, для людей, хорошо знакомых с произведениями Чернышевского и способных — хотя с некоторым только беспристрастием ценить их, мое свидетельство в этом отношении немногое скажет. Но за всем тем только люди, имевшие случай так близко знать его, как я,— а таких немало,— могут удостоверить, до каких глубины и ширины эта универсальность знаний доходила у него! Вот уже подлинно, повторяя слова некрасовской песенки, можно сказать: «Чего не знал наш друг опальный?»— И все это, надо заметить, без малейшей рисовки или претензии дать это так ли, иначе ли вам почувствовать в разговоре или сношениях с вами,— так, что иной, не коснувшийся почему-либо этой стороны Николая Гавриловича, мог бы легко и не заметить ее в нем: до того он был в этом отношении скромен, прост и даже, если хотите, замкнут в себе. Необычайно также велика была и память у него, к которой он однако по обыкновению относился точно так же, как к своему зрению покойный Н. И. Костомаров, его же приятель, разговоры его с которым, полные всегда научно-общественных интересов, отличались часто замечательной юмористикой с обеих сторон. Костомаров, бывало, вечно жалуется на зрение, уверяя, что уже почти стал слеп, и чрез полчаса после того, разгорячившись, тут же схватывает какую-нибудь книгу, да еще напечатанную стереотипом, и пребегло читает ее. Так же точно, бывало, и Николай Гаврилович всегда жалуется на свою «проклятую», «дрянную» память, а разговорившись, смотришь—тут же укажет вам, и безошибочно, какую-нибудь книгу, место, где ее найти, и не только часть, главу, но едва только не страницу, на которой находится что-либо интересующее вас.

Разговор наш при первом моем посещении Николая Гавриловича не столько даже по числу вопросов, с которыми я обращался к нему, сколько по объяснениям их, а еще более по расспросам, какие он сам делал мне, как бы зондируя меня, порядочно-таки затянулся. Я начал торопливо собираться.— «Да постойте, куда же это вы?.. Если свободны,— оставайтесь-ка обедать,— удерживал меня Николай Гаврилович,— ведь худо ли, хорошо ли, а обедать будете же?»,— продолжал он смеясь. В эту минуту вошла к нам Ольга Сократовна.

— А что, голова,— обратился он к ней,— можешь ты угостить сегодня обедом твоего нового знакомого?

— Ну, конечно, и даже очень буду рада, если только он человек невзыскательный,— отвечала она.

— И прекрасно-с... значит нам остается только сесть да закурить...

Но едва только мы уселись, как раздался звонок: вошел Н. А. Некрасов, с которым я тут впервые познакомился. А не прошло и пяти минут, как крепко зазвонили вторично, и в залу вошел Сераковский с двумя приятелями. Не могу передать всех подробностей завязавшегося при этом разговора, вращавшегося главным образом на вопросах и новостях переживаемого тогда времени, но никогда не забуду своего рода, так сказать, Sängersprophezeihung*, вырвавшегося при этом у Некрасова.— Речь шла о наступивших добрых временах, о надеждах, связывавшихся тогда с новым царствованием, начавшимся, слава богу, не с казней и ссылок, подобно предшествовавшему, а с амнистий, с милостей... С особенным, ему

* пророчество певца (нем.).

«ВОЕННЫЙ СБОРНИК», СПб., 1858
В РЕДАКТИРОВАНИИ ЭТОГО ИЗДАНИЯ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Титульный лист первого тома

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ
ИЗДАВАЕМЫЙ
ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛѢНІЮ
ПРИ ШТАБѢ ОТДѢЛЬНАГО ГВАРДЕЙСКАГО КОРПУСА
ТОМЪ I
САНКТПЕТЕРБУРГЪ
ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА
1858

только свойственным, да отчасти и понятным в нем увлечением говорил на эту тему Сераковский, разрисовывающий яркими красками не только настоящее, но и перспективу будущего.— «Давай-то бог, Зигизмунт Игнатьевич, вашими устами мед пить... — заметил на это своим несколько хриплым и усталым голосом Некрасов,— а мне все как-то чудится, как бы нынешнее царствование не кончилось тем, чем предшествующее началось...»

По отъезде Некрасова и Сераковского с приятелями, мы сели за обед, во время которого, удивленный крайней воздержанностью в еде Николая Гавриловича, я невольно обратился к нему с вопросом, не болен ли он.— «У меня, изволите видеть, маленький катар»,— отвечал он. «Ах, канашечка,— заметила при этом Ольга Сократовна,— да ты ведь постоянно ешь, как цыпленок!..» — Не могу утвердительно сказать: действительно ли катар был тому причиною? Но только впоследствии, часто обедая у него и с ним у кого-нибудь, в истине слов Ольги Сократовны я вполне мог удостовериться: воздержанный и невзыскательный в пище, он едва ли еще не более был воздержан в напитках, из которых, кроме воды, молока и чаю, вряд ли что когда и употреблял?!.. Вот курить — так курил много...

Не знаю, по чьей именно мысли, но только по инициативе Военного министерства произошло в 58 г. превращение старого, никем в войсках

не читаемого, бесцветного ежемесячного специального издания «Военный журнал»,— в новый журнал: «Военный сборник»[17], с крайним радушием встреченный — не только военною, но и всею публикою вообще. С таким чувством встречалась, впрочем, в те дни всякая попытка, даже направленная так ли, иначе ли к улучшению или отмене всего старого, отжившего или отживающего, непригодность и бремя которого, дознанные по непосредственному опыту каждым, также тогда осуждались и всячески доказывались, как ныне доказывается разными умственными недоносками и ошалелыми обскурантами вся его полезность и прелесть. Не знаю также и того, по чьей, собственно, инициативе был приглашен к участию в редакции «Военного сборника» и Николай Гаврилович. Но, как бы то ни было, приглашение это было делом вполне основательным и много говорящим в пользу как скромности, так честности и заботливости по отношению к разрешению предстоявшей задачи двух военных редакторов нового журнала, если только приглашение Чернышевского в сотоварищество к ним зависело от них, чего утверждать не стану.

Программа, направление и дух журнала, возникшего по инициативе министерства, во главе которого тогда стоял человек[18], хотя уже и дряхлый, но энергически стремившийся к обновлению и улучшению нашей армии и производивший в ней одну реформу за другою, предрешались, так сказать, программою, направлением и духом деятельности самого же министерства. Создавая свой орган, оно желало, чтобы тот, служа — с одной стороны,— исследователем потребностей и нужд армии на основании изучения как прошлого, так и настоящего ее,— в то же время был бы популяризатором правильных современных познаний по военному искусству вообще, в чем армия крайне нуждалась; распространителем в ней истинных понятий о дисциплине, долге и службе, сводившихся до того к одним лишь формалистике, фухтельной выправке солдата и разным смотровым фокус-покусам; возбудителем в рядах армии вкусов к чтению и умственному вообще труду, облагораживающим ее стремления и подымающим ее дух, и, наконец, докладчиком ей о том, что делается по устройству и образованию вооруженных сил в других странах белого света, о чем до того в нее не проникало ни слуха, ни духа. И ничего, ровно ничего, кроме стремления к самому добросовестному выполнению таких высокоразумных целей министерства, не входило и в помыслы обоих военных редакторов, этих главных заправил нового журнала, прекрасно понимавших всю неуместность, ненужность и даже просто нелепость каких бы то ни было тенденций к удалению куда-либо в сторону от поставленной им задачи, к которой к тому же они относились с полным сочувствием людей, горячо преданных и отечеству, и его армии, и ее всяческим интересам. Да и о каких тенденциях и зловредном направлении могла быть речь в суждениях о журнале — не только официальном, министерском, но еще и находившемся под недремлющим оком самой строгой из цензур военной?!.. Совершенно так же, как военные редакторы, смотрел на дело и их «штатский» собрат, Чернышевский, приглашенный и пошедший в редакторы «Военного сборника» вовсе не с целью придавать ему то или другое направление, чего от Чернышевского[19], как не военного специалиста, при всем его могучем универсализме, смешно было бы и требовать, а по побуждениям совсем иного рода.

Дело в том, что военные редакторы, оба серьезно занятые в академии по своим профессорским должностям да, кроме того, еще и по службе, положительно не имели ни достаточно времени, чтобы взять на себя всю многотрудную и сложную работу по ведению журнала, ни достаточной для того опытности, какою Чернышевский обладал тогда уже вполне. Далее, преследуя не какие-нибудь меркантильные целишки и заботясь всячески о достоинствах своего журнала, они в лице такого соредактора

как Чернышевский приобретали не только огромную силу для литературной обработки журнальных статей, но и отличного, замечательного знатока европейских языков, составителя иностранных обозрений. Наконец, самая постановка имени Чернышевского, тогда уже известного писателя и сотрудника наиболее тогда распространенного и любимого публикою «Современника», рядом с именами двух других редакторов, хотя очень уважаемых в министерстве и академии, но людей, в армии и обществе тогда никому еще не известных, приносила новому журналу весьма немаловажную услугу, служа ему своего рода рекомендациею, удостоверяющею читателей, что новый журнал будет уже не тем, чем был его предшественник, служивший им не столько для чтения, сколько для завертывания в походе жареной курицы или московской колбасы...— И пошел новый журнал, во всех отношениях прекрасно редижируемый и издаваемый,— пошел так, как подавай бог и ему век бы идти. Но... но маленькие тучки, разросшиеся ныне до непроглядных туч, заволокших все небо, тогда уже появились на светлом и радужном горизонте русской жизни!..

Не прошло и несколько месяцев с появления юного журнала, любая из статей которого могла бы быть без малейшего колебания и даже с радостью напечатана в любом из ныне существующих повременных изданий до «Гражданина» или даже до самого «Военного сборника» включительно, как на него, словно град, посыпались уже всяческие, хотя, правда, непечатные инсинуации. Укоряли юный журнал — ни более, ни менее — как в предумышленном расшатывании дисциплины (это по поводу статейки, указывавшей на крайние злоупотребления в войсковом хозяйстве, пользовавшиеся тогда всеобщей известностью[20]); в унижении высокопоставленных лиц и учреждений (а это по поводу другой статейки, рассказывавшей про хищения во время Крымской войны чинов интендантского ведомства, над которыми, кстати, тогда производилось следствие[21]) и т. д., и т. д.; причем гг. инсинуаторы, не особенно-то стеснявшиеся в набрасывании тени неблагонадежности даже на таких лиц, как военные редакторы, за которых и было кому да которые отчасти и сами могли постоять за себя, тем с большею, разумеется, развязностью очерняли третьего «штатского», к высшим сферам доступа не имевшего, и который, по заявлению их, именно и был-то корнем всего зла.

Есть много оснований, если не утверждать, то предполагать, что мотивами ко всей этой инсинуационной игре, прикрываемой, как это всегда бывает в подобных случаях, чувствами преданности и патриотизма, в действительности послужили — не что иное, как мелкие, себялюбивые и корыстные расчеты некоторых лиц, стоявших в тени и желавших выскочить, остававшихся в стороне, на малом содержании и потому алкавших завладеть видным местом военных редакторов «Сборника», по тогдашнему весьма, и весьма даже не дурно оплачиваемых... Говорили — по крайности, в ту пору,— что многие из этих инсинуаций делались лицами, не только их не писавшими, но вряд ли даже читавшими как их, так и «Военный сборник», а только их подписывавшими в твердом уповании на высокие достоинства скромных и им только известных действительных авторов их, что, замечу мимоходом, очень и очень похоже на правду... Но как бы там однако ни было, и хотя к всеобщему изумлению их даже печатали, но дело было сделано: из рук прежней, первой редакции, с 1 января 59 г. издание «Военного сборника» перешло в руки новой, другой.

Вступление Николая Гавриловича в редакцию «Военного сборника» не произвело никакой перемены ни в образе его домашней жизни, ни в общественных отношениях, ни в отношениях к «Современнику», где он по-прежнему неутомимо работал вместе с таким же работником и с такою же, как он, высокодаровитою личностью, Н. А. Добролюбовым. Несколько

только увеличился персонал его знакомых и посетителей как вседневных, так и по вечерам в четверги, когда у него по обыкновению запросто собирался небольшой круг. Как хватало у Николая Гавриловича сил на работу, в которую он тогда всецело был погружен, это уже его тайна; но только в это именно время шла речь еще и о другой предстоявшей ему и Добролюбову работе, которой оба они ожидали не только без страха, но даже с радостью. Дело, изволите видеть, шло о приобретении Некрасовым с торгов «Русского инвалида», тогда еще большой литературно-политической газеты, находившейся тогда в жалком состоянии, взять которую в свои руки и поднять входило в планы Некрасова в расчете, разумеется, на содействие таких публицистических сил, как Чернышевский и Добролюбов, но что, к сожалению, по многим причинам не выгорело, однако [22].

Не произвел, по-видимому, никакой перемены во всех этих отношениях и выход Николая Гавриловича из редакции «Военного сборника»; но это только пока... Непечатные инсинуации, преследовавшие, как замечено выше, чисто меркантильные цели и послужившие поводом к этому выходу весьма, быть может, и не имели вовсе в виду компрометировать — а тем более губить Чернышевского, но тем не менее они сразу поставили его под жесткий Index*, а главное—сильно вздобрили почву для дальнейших его инкриминаций. Обстоятельство это, ускользнувшее вначале от внимания не только друзей и приятелей Николая Гавриловича, но, как кажется, и его самого, не ускользнуло однако от зорких очей его учено-литературных и всяческих других недругов,— людей, как говорится, вообще без предрассудков, которые, воспользовавшись готовою уже к тому почвою, мало-помалу печатно и непечатно и не преминули в конце концов воздвигнуть противу Чернышевского тот эшафодаж** всяческих недостойных поношений и обвинений, в результате которых... о, срам! о ужас! — этот высокодаровитый и глубокоученый мыслитель и экономист, долженствовавший занять одно из первых мест среди европейских светил политико-экономической науки, являлся не более, как пустым фантазером, полупомешанным болтуном, вроде тех, что за границею издают глупые книжонки, никем не читаемые! Этот блестящий, прозорливый публицист, популяризатор величайших открытий новейшей науки, этот критик и беллетрист — вносителем сюбверсивных*** идей, сеятелем смуты в умах! Этот, наконец, серьезный кабинетный работник, едва находивший время для отдыха от своих трудов, этот образцовый семьянин и добряк, в жизнь свою не посягавший на жизнь червяка,— союзником каких-то проходимцев-революционеров, подбивателем молодежи на политические преступления и пропаганду с девизом: «Ломай, режь и жги все!»... И это все Чернышевский-то, так любивший и науку, и искусства, и Россию, и человечество, и молодежь, и так всегда готовый, несмотря на свою работу, которою единственно обеспечивалось существование его и его семьи, по целым часам толковать о ней, терпеливо объясняя: что читать? как читать? как надо работать и учиться?!!..

«Знаете ли,— говорила мне одна высокопоставленная и почтенная личность, имевшая случай хорошо знать Николая Гавриловича и всю его историю, ныне уже давно покойная,— будь я великим драматургом, я непременно взял бы его сюжетом моей трагедии, но, по крайней мере, при своей жизни не дозволил бы ее играть на сцене из страха свести зрителей с ума от горя, от негодования и ужаса...».

Бог, в неизреченном милосердии всепрощающий, конечно, простит и инкриминаторов, погубивших Чернышевского. Вероятно, еще при

* Index librorum prohibitorum (Указатель запрещенных книг). — *Ред.*

** набор (от франц. «échafaudage»).

*** пагубных (от франц. «subversif»).

жизни своей он простил их и сам, сказав по своему обыкновению: «Ну, что же тут делать-с? Все это в порядке вещей...». Но потомство, но история,— хочется крепко веровать,— не простит этим людям никогда!..

Вспомнив выше и даже неоднократно о приемных вечерах, бывших по четвергам у Николая Гавриловича, нельзя не сказать несколько слов и о посетителях их. Разумеется, говорю не о той беззаботной молодежи, которая собиралась весело погуторить, потанцевать, попеть к Ольге Сократовне, тогда еще очень молодой, веселой и беззаботной, но о той молодежи и немолодежи, что группировалась, бывало, около самого хозяина. Все это были люди, столько же сочувственно относившиеся к прогрессивному движению, охватывавшему в те времена все слои общества, сколько к «Современнику» и главнейшим его сотрудникам, бывшим лучшими выразителями этого движения, хотя не все с одинаковым доверием относившиеся к силе и прочности последнего, да и не все по некоторым литературно-политическим вопросам вполне друг с другом солидарные.

Бывал на этих вечерах и И. С. Тургенев, хотя и редко, как не часто бывали на них И. И. Панаев и Н. И. Костомаров, которого, как равно и Некрасова, мне чаще доводилось встречать у Николая Гавриловича по утрам. Очень часто бывали тут А. Д. Галахов, которому для этого стоило только сойти несколько ступеней лестницы, К. Д. Кавелин, В. И. Ламанский, П. П. Пекарский, П. В. Анненков, Дмитриев [23], тогда

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НА КАТОРГЕ

Эскиз маслом к картине «Прощание с Европой» польского художника А. Сохачевского, 1863—1882 гг.

Исторический музей, Варшава

профессор, часто приезжавший почему-то из Москвы, покойный профессор Утин, редакторы «Военного сборника» и некоторые другие военно-академические профессора, А. Ф. Погосский, Г. И. Городков, Сераковский, всегда привозивший с собою кого-либо из своих земляков, и многие еще другие, так или иначе соприкосновенные с литературою, наукою или редакциями обоих журналов, где работал Николай Гаврилович, имена которых теперь уже и не припомнить. Добролюбов, сколько помню, был на этих вечерах всегда почти, как и ваш покорный слуга.

Скромные, бесцеремонные, с одним лишь чаем с тартинками, вечера эти, тем не менее, всегда почти отличались не только занимательностью, но и большою оживленностью, что, конечно, прежде всего обусловливалось полною порядочностью людей, собиравшихся на них, на которых каждый мог рассказывать ли что или высказаться по поводу чего-либо с полной непринужденностью, не оглядываясь на соприсущих, как это обыкновенно бывает на наших собраниях да как, к сожалению, нередко и бывало, а особенно последнее время на вечерах по вторникам у покойного Н. И. Костомарова, у которого иногда собиралась уму непостижимая по своей разношерстности смесь всякого люда. Но так как вечера Чернышевского не носили на себе ни тени характера каких-либо специально научных, литературных или политических собраний, то и содержание их, понятно, заключалось — не в обсуждении каких-либо поочередно, систематически выставляемых вопросов, не в чтении рефератов, произнесении речей и принятии решений, а в простых чисто приятельских собеседованиях, совершенно случайно вращавшихся то на интересах дня, то на интересах науки, литературы или политики, а потому, естественно, и носивших на себе характер не более как простого времяпрепровождения, хотя часто во многих отношениях и весьма серьезного, но и, в общем,—бесследного.— «Ну и что же, какой прок из всех этих прекрасных разговоров между прекрасными, все так прекрасно понимающими людьми?!..», — говаривал, бывало, мне Добролюбов, не отличавший слова от дела, когда мы после этих собеседований, идя с ним по опустелым улицам, возвращались домой. Сказать, кто более других на этих вечерах говорил или побуждал к дебатам, случалось, возникавшим тут, но никогда не принимавшим острого характера, а тем более никогда не приводившим к размолвкам,— трудно; но только — не хозяин, хотя никогда и не уклонявшийся ни от разговоров, ни от возражений, а еще того больше — не Добролюбов, по большей части слушавший, наблюдавший и только изредка вставлявший при этом какое-либо свое замечание, всегда столько же разумное, сколько и меткое, острое...

Воспоминанием о этих вечерах я и закончу повествование о моем знакомстве с Чернышевским, личность которого при этом я пытался изобразить без малейших ретушевок,— так, как она в моей памяти запечатлелась. Ни удлинять, ни испещрять это повествование, и без того уже растянувшееся, какими-либо мелкими рассказами или анекдотами, почерпнутыми из жизни Николая Гавриловича, я не стану, как потому, что, говоря по правде, немногое в этом отношении сохранилось у меня в памяти, так и потому, что все подобные рассказы и анекдоты считаю ненужным балластом: зачем они?.. Человек громадных способностей, учености, неустанного труда, железной воли, неподкупной честности и глубоких убеждений, которым он всю жизнь не изменял ни в чем никогда, Чернышевский был во многом, и особенно в этом последнем отношении, такою, можно сказать, феноменальною личностью в наших литературе и обществе и притом такою, что называется,— *цельною* личностью, что для верной оценки и характеристики его идеалов и его литературно-обществен-

ного значения, нужны не анекдоты про него, а серьезные изучение и понимание эпохи, народившей и создавшей его — с одной стороны, а с другой,— такие же изучение и понимание его произведений. Конечно, далеко не все, чем были богаты его ум и талант и чем кипело любящее сердце его, сказано в этих произведениях, роковым образом к тому же прервавшихся в лучшую пору его интеллектуальных и физических сил, но, за всем тем, думаю, что в произведениях своих он весь.

Говоря когда-то* о смертельной вражде политических партий при Луи-Филиппе и о кровавых происшествиях 5 и 6 июня 1832 г.— этой, по выражению Чернышевского, «вредной растрате собственных сил и общественных средств в бесплодных катастрофах»,— он далее говорит, «что есть другой, гораздо *спокойнейший* путь к разрешению общественных вопросов, путь ученого исследования; и надобно было бы *не бесславить* тех немногих людей, которые работают на этом пути за всех нас, увлекающихся пристрастием к внешним событиям и к эффектному драматизму собственно так называемой политической истории». «Но,— продолжает Чернышевский,— мы обыкновенно не помним и этого. Мыслители, отыскивающие средства к отстранению тех недостатков, из которых проистекают гибельные для всего общества катастрофы, подвергаются насмешкам и клеветам общества, которому хотят помочь...».

Чернышевский прежде всего и был именно одним из таких немногих мыслителей, за что и подвергался, подобно всем им, от общества, которому хотел служить, насмешкам и клеветам, да, увы! и не одним только насмешкам и клеветам...

II

Немногое, как видите, мой дорогой Александр Николаевич, я рассказал вам про Чернышевского. Немногое расскажу и про Добролюбова[24], образ которого в моем воображении не только наяву, но даже,— вы поверите ли тому? — во сне никогда не являлся без образа Чернышевского, как и наоборот!.. Да и многое ли можно рассказать про этих двух людей, живших не столько внешнею, сколько внутреннею жизнью, ставивших благо общественное важнейшею целью своего существования и в отплату за то страшившихся не только того, чтобы жизнь, но чтобы и сама смерть-то не разыграла «какой-нибудь обидной шутки» над ними?!.. «Боюсь,— умирая, говорит Добролюбов,—

Чтоб над холодным трупом
Не пролилось горячих слез,
Чтоб кто-нибудь в усердье глупом
На гроб цветов мне не принес,—
Чтоб все, чего я ждал так жадно
И так напрасно, я живой,
Не улыбнулося отрадно,
Над гробовой моей доской»[25].

Впервые я и встретился и познакомился с Добролюбовым у Чернышевского. Это было вскоре за появлением первых статей Добролюбова, которые, сразу же обратив на себя внимание, вначале весьма многими приписывались перу Чернышевского.

Я не разделял такого мнения, почему прямо и обратился к Николаю Гавриловичу за разъяснением.

Николай Гаврилович тотчас же открыл мне этот секрет, который, впрочем, весьма недолгое время оставался секретом и для публики,

* См. «Современник», 1860 г., кн. 2, «Июльская монархия», стр. 736—737.— *Прим. Новицкого.*

несмотря даже на то, что, за исключением немногих, да и то позднейших статей, подписывавшихся: *Н. -бов*, прочие статьи Добролюбова печатались им без подписи[26]. Да оно и понятно. Несмотря на полную принципиальную солидарность мировоззрений Чернышевского и Добролюбова, своеобразность и оригинальность последнего были слишком велики, чтобы понимающая читающая публика могла долго оставаться в недоумении и не заметить в статьях Добролюбова — хотя и талантливую, но все же не Чернышевского, а чью-то другую руку, которую она и не замедлила разыскать. С своей стороны, такое недоумение публики я готов объяснять не столько даже отсутствием или малою развитостью в ней литературных вкусов и чутья, сколько неожиданностью, появлением перед нею, да притом рядом с одним, уже существовавшим, другого таланта, который вдруг будто с неба свалился, что в истории литератур почти никогда не бывает, но что в данном случае, однако, было,— так как Добролюбов, несмотря на свое incognito, вступал на литературное поле так, как вступают в свои владения владетели, в праве которых никто не сомневается.

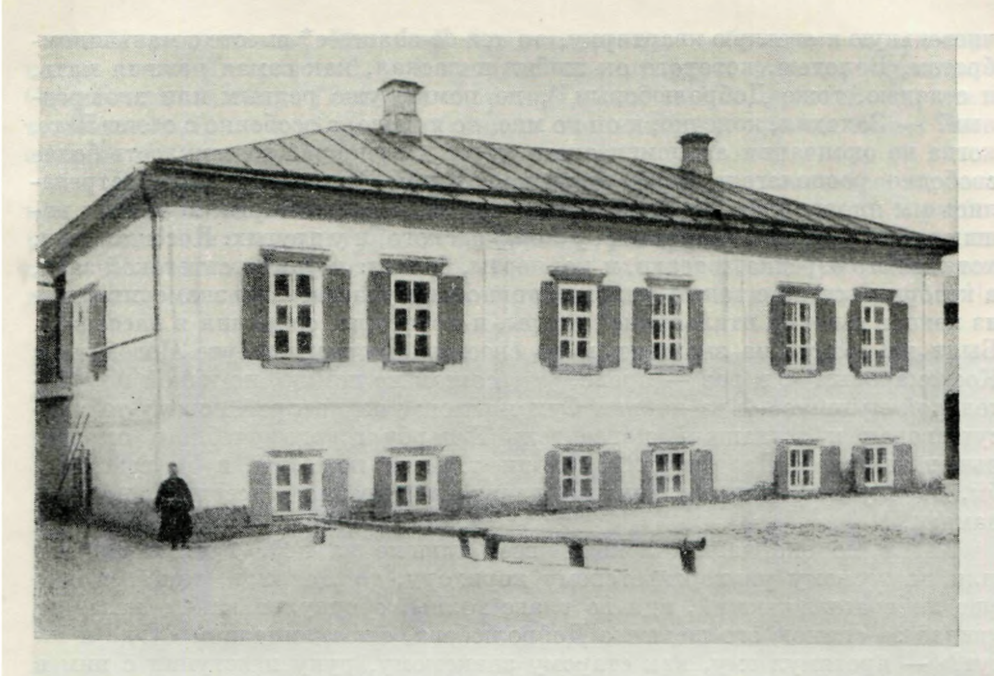
Мне редко удавалось в моей жизни встречать людей, более деликатных, во всем сдержанных, несмотря на всю страстность и восприимчивость своей глубоко поэтической натуры, более скромных, несмотря на громадный ум и чувство самой гордой независимости, и в то же время более нежно добрых без малейшей сентиментальности, чем Н. А. Добролюбов, который как по всем приемам, так и по манере, с какими он держал себя везде и со всеми, скорее заставлял предполагать в нем сына какой-либо традиционно интеллигентной, высоко аристократической семьи, чем сына бедного священника. Самый искренний демократ по убеждениям и нравам, человек этот по душе и сердцу был аристократом, но не в вульгарном а в настоящем значении этого слова. Довольно хорошего роста, не крепкого, но статного сложения, с густыми, слегка вьющимися темно-каштановыми волосами, с умными, добрыми глазами, проницательно смотрящими чрез очки, с спокойными — я сказал бы даже — элегантными движениями и речью, Добролюбов был не столько красивою, сколько в высшей мере симпатичною, сразу же располагающею к себе личностью,— настолько же умственно, нравственно и физически похожею на Базарова, в лице которого будто бы Тургенев хотел изобразить ее, насколько сам Тургенев походил,— ну, на кого бы примерно? — ну, да хотя бы на Поль де Кока, Клюшникова, бывших и нынешних редакторов «Московских ведомостей», или, пожалуй, даже на редактора «Гражданина». Откровенно говоря, я и не упомянул бы о этой параллели, проводимой между Добролюбовым и Базаровым, не проводись она — несмотря на всю свою бессмысленность, пошлость и оскорбительность для памяти как Добролюбова, так даже и самого Тургенева — и по сию пору разными литературными идиотами или маклаками и не повторяйся она вслед за ними разными воронами и галками, которыми и всегда-то кишело, а уже ныне особенно, наше оголтелое так называемое общество...

От общества и общественной жизни, делами которых Добролюбов, понятно, очень интересовался, он держался вообще далеко. Но это не по нелюдимости или застенчивости, которых у него вовсе не было в натуре, а скорее по увлечению, с каким он отдавался литературным занятиям, составлявшим его призвание, а также — по причине той тяжкой, денной и ночной, почти беспрерывной работы, которую он, подобно Чернышевскому, на себе нес. Ведь работал он не над одними своими произведениями, которые к тому же нередко по требованиям цензуры, то сокращавшей, безобразившей, то даже вовсе не допускавшей их, приходилось ему по многу раз переделывать, что невообразимо мучило, изводило его, но еще по редакции над массою произведений и других. А при такой работе до сближения ли с обществом было ему?!.. Не могу сказать, чтобы

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НА КАТОРГЕ

Портрет маслом, написанный по зарисовке с натуры польским художником А. Сохачевским. Фрагмент эскиза картины «Прощание с Европой». (Сосланный в 1863 г. в Сибирь за участие в польском революционном движении, Сохачевский отбывал каторгу в Усолье Иркутском. Здесь в июле 1864 г. он мог видеть Чернышевского)

Исторический музей, Варшава



ДОМ А. М. НИКОЛЬСКОГО НА СОБОРНОЙ УЛИЦЕ В САРАТОВЕ (НЫНЕ НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ). ЗДЕСЬ ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ И УМЕР ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Фотография

«Исторический вестник», 1905 г., декабрь

такая работа была результатом эксплуатации Добролюбова редакциею «Современника», так как по поводу этого, несмотря на близость наших отношений, я не слыхал никогда от него даже намека на жалобу; но — будь эта работа даже и добровольною, тем не менее она, жестоко подкапывая его организм, настолько заполняла его, что у него еле-еле оставалось, как говорится,— пара минут, чтобы перевести дух, подумать о своих делах или своем слабом здоровье, повидаться и побеседовать с приятелями. Помнится, мне удалось как-то раза два подряд потащить Николая Александровича в театр да раз на прогулку за город, а Некрасову довлечь его с собой на обед в английский клуб, так, боже мой! — сколько шуток и смеху у всех нас, начиная с самого Добролюбова, вызвали эти выезды его, которые Николай Гаврилович, заливаясь своим звонким хохотом, называл: событиями, неопровержимо свидетельствующими о дурных наклонностях Добролюбова к рассеянной светской жизни, а сам Добролюбов объяснял — отсутствием в нем силы противления соблазнам, расставляемым противу него, подобно сетям, злоумышленными людьми...

Нелегко и не вдруг сближался он и с людьми, но, раз уверившись в них и сблизившись с ними, привязывался к ним со всею искренностью, оставался так же неизменно верным им, как и своим идеалам.

— Что вы никогда не заглянете ко мне? — сказал мне раз Добролюбов,— месяца этак чрез три после нашего знакомства [27], прощаясь со мною на углу Невского и Владимирской, докуда мы дошли с ним, возвращаясь по домам после одного из вечеров у Чернышевского.— Будь я свободнее, я и сам давно зашел бы к вам. Не визитами же, в самом деле, считаться нам! А вы все-таки более можете располагать временем, чем я...

Вскоре я и зашел к нему. Он жил тогда на Моховой,— не помню в чьем доме, но неподалеку только от Пантелеймоновской, занимая небольшую,

чистенькую и светлую квартирку, au rez-de-chaussée* вместе с мальчиком-братом, Володею, которого он любил и ласкал, как самая нежная мать, и с дядею, тоже Добролюбовым[28], не помню уже родным или двоюродным? — Заходил, конечно, и он ко мне, но я чаще, а особенно с осени 59 г., когда по окончании академического курса я приобрел возможность более свободно располагать моим временем. Кроме Чернышевского, встречались мы иногда у К. Д. Кавелина и еще реже у некоторых холостых наших приятелей, как, например, у Сераковского, и у других. Посещали мы, хотя все это изредка, и театр, и концерты, бывшие в университетской зале, в которых всегда с такою милою готовностью участвовали знаменитейшие из певцов и певиц итальянской оперы, и некоторые собрания в пассаже... Были мы вместе на знаменитом по своему комизму диспуте Погодина с Костомаровым[29], и раз — право, уже совсем не помню, по какой побудительной причине — на лекции Сухомлинова, на которой почему-то присутствовал и тогдашний попечитель Петербургского учебного округа, нынешний граф Делянов. О лекции этой я, пожалуй, и не вспомнил бы, не случись тут маленький инцидент, крепко засевший в моей памяти.

Когда по окончании лекции все, бывшие на ней, густою толпою шли по тесному университетскому коридору, то Делянов, тогда сильно еще либеральничавший, идя во главе толпы, обернулся как-то назад и, увидав за спиною его шедшего Добролюбова, с восклицанием «А! да и вы тут?» — протянул ему, как старому знакомому, руку и вступил с ним в разговор, в конце которого заявил надежду о скором оставлении им места попечителя.— «И знаете ли,— добавил он, приостанавливаясь при этом,— оставляю свой пост не только без сожаления, но даже с радостью!..» — «Чтобы, так сказать, еще более преувеличить в вас это последнее чувство, остается только предположить, что с таким же точно, пожалуй, чувством, и с вами расстанутся округ, университет и литература»,— заметил ему на это Добролюбов. Разумеется, при этих словах все, тут близко стоявшие, разразились хохотом, которым разразился и сам Делянов, шутливо грозя Добролюбову пальцем и говоря: «Все такой же, как был и в институте, неугомонный язычок!..»

Приведу, кстати, здесь уже и другой инцидент, более, впрочем, интересный, чем рассказанный, и которому я был случайным свидетелем.

Как-то раз утром был я у Добролюбова. Толковали мы по обыкновению о многом и, между прочим, о нелепых прицепках цензуры, рассказывая про которые, Николай Александрович показал мне корректурный лист того места «Reisebilder»**, где Гейне, восхищенный знаменитою Дрезденскою мадонною, восклицает, обращаясь к ней: «О, чудесная дева Мария!» — Так цензор, находя такое восклицание неуместным, зачеркнул его, проектируя заменить: «О, чудесная дева *Анна*?!..»[30]

Перешли мы затем к только что тогда написанному добролюбовскому «Темному царству», как в эту минуту раздается звонок и в дверях появляется,— кто бы вы думали? — сам А. Н. Островский!!. Я тут в первый раз да, к сожалению, и в последний раз в моей жизни видел Островского, произведшего на меня при этом самое приятное впечатление.

Конечно, я теперь не могу уже ни в подробностях, ни тем более дословно передать разговора его с Добролюбовым, длившегося, полагаю, более часу, но я отлично сохраняю в памяти ту горячую, неподдельную благодарность, какую он выражал Добролюбову за его «Темное царство», говоря, что он был — *первый* и *единственный* критик, не только вполне понявший и оценивший его «писательство», как назвал Островский свои произведения, но еще и *проливающий* свет на избранный им путь...

* в нижнем этаже (франц.).
** «Путевых картин» (нем.).

— Ну, знаете ли, Николай Александрович, — обратился я к нему, когда уехал Островский, — я столько же радуюсь оценке, сделанной Островским вашему «Темному царству», как сам он доволен им, если только, конечно, слова его искренни, в чем, кажется, едва ли может быть сомнение?!.

— Да, оно не хотелось бы, говоря по правде, сомневаться в том и мне, — заметил на это Добролюбов, — да только, как тут поймешь и разберешь всех этих литературных генералов, которые, поверьте, хуже во сто крат ваших Бетрищевых: до того они все щепетильны и готовы видеть в каждом слове честной критики посягательство на их имя, на славу!!.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НА СМЕРТНОМ ОДРЕ
Фотография И. М. Егерева
На обороте надпись рукой О. С. Чернышевской от 24 декабря 1889 г., свидетельствующая, что фотография была подарена ею О. М. Антонович
Другой экземпляр этой фотографии был послан А. Н. Пыпиным Н. Д. Новицкому
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Ровесники почти по летам, мы — чем далее, тем более сближались не по профессии, конечно, а по общности взглядов на жизнь вообще, а на нашу, русскую, в особенности, и отношения наши, установившиеся на этой почве, не прерывались и после разлуки нашей, последовавшей в 60 г., когда я уехал в далекую провинцию, а он — за границу, где оставался почти год. — «Товарищ! жди, придет она, пора пленительного счастья», — говорили мы, бывало, готовясь к далекой и долгой разлуке, порешая лет этак чрез пять — обязательно свидеться, чтобы проверить себя, свои наблюдения и заметки, сосчитаться с собственными силами...

Добролюбов уезжал из Петербурга ранее меня; а потому, собираясь провожать его, я, уходя от него за день до его отъезда, после беседы, затянувшейся за полночь, даже и не прощался с ним. Совершенно однако не зависящие от меня обстоятельства воспрепятствовали мне поехать на

проводы его, что до того как-то болезненно досадовало и огорчало меня, что я написал даже вскоре после его отъезда письмо к нему по этому поводу: точно какое-то темное чувство говорило мне, что более нам уже не свидеться никогда! — Говорю: темное, так как положительных данных к тому не было. Здоровье Добролюбова, особенно часто начавшего похварывать по весне 59 года, вообще было не из крепких. Необходимость не только отдыха, но даже и леченья где-либо в теплом климате, за границею, признавалась как докторами, так и друзьями его, настойчиво уговаривавшими его, а особенно в виду некоторого неглижерства с его стороны о своем здоровье, послушаться указаний первых. Но из всего этого далеко еще было до предположений о серьезной опасности, грозившей уже его жизни,— тем более, что он, поправившись летом, и сам, видимо, не думал о ней, почему не без долгих колебаний и даже почти нехотя решился, наконец, на заграничную поездку.

На мое письмецо я к великой моей радости в ноябре, когда уже находился в провинции, в г. Е⟨лисаветграде⟩, получил от него ответ. Ответ этот, как равно и два письмеца Чернышевского, к прискорбию, погибли вместе с саком, где они находились, при одном из моих бесконечных переездов. Но я, чуть-чуть только не дословно, помню это письмо Добролюбова. Оно начиналось с упрека, делаемого мне им за «галантно-московские» объяснения, как он называл мое письмо по поводу обстоятельств, воспрепятствовавших мне провожать его, и какие он признавал излишними при отношениях, установившихся между нами. Далее, сказав несколько слов о своем здоровье, на которое он, впрочем, не особенно жалуется, он переходит затем прямо к впечатлениям, навеянным на него тогдашнею только что освободившеюся Италиею. Впечатления эти невеселы. Добролюбов негодует на положение в Италии вещей, при котором власть, видимо, окончательно утверждается не в руках людей, стоявших всегда во главе движения и создавших освобождение и объединение своей родины, а в руках разных «политиканствующих постепеновцев»; причем он резко отзывается и о Кавуре, и о Риказоли, и о парламенте, который называет «говорильнею»,— словцо услышанное мною тогда от Добролюбова *впервые*, повторенное им затем в одной из статей его [31], и которое, подобно тургеневскому «нигилизму», быстро впоследствии было облюбовано нашими всяческими дубоголовыми перевертнями-публицистами, и по сей час с наслаждением пускающими его в оборот в их передовицах и разных критических якобы рассуждениях, а в сущности пошлейших измышлениях и болтовне по поводу политических дел на Западе.— В конце письма Добролюбов выражает желание поскорее по возврате на родину повидаться со мной, но ни слова не говорит ни о времени препровождения им за границей, ни о том, когда предполагает оттуда вернуться.

Со времени получения мною письма этого прошло около восьми месяцев, в течение которых я, хотя по письмам из Петербурга и знал о том, что Добролюбов находится еще за границею, но от него не имел никаких уже более известий, часто недоумевая: уж не случилось ли с ним там, чего доброго, какой-либо беды?!. Но вот, летом 61 года, я возвращаюсь как-то домой после одной из отлучек, которые мне нередко тогда доводилось делать и которые, случалось, длились иногда по четыре и по пяти дней. Представьте же мое изумление и вместе с тем отчаяние, когда я нашел на моем письменном столе визитную карточку с надписью: «Н. А. Добролюбов», на которой его рукою было написано: «Очень, очень хотел повидаться с вами. Пожалуй и подождал бы, но ваши говорят, что не могут даже приблизительно определить времени вашего возврата. При таком положении ждать не могу,— тем более, что спешу на выручку „Современнику“, находившемуся, по слухам, при последнем издыхании...»

Так больше мне Добролюбова повидать и не довелось.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Печатаемый ниже текст, как это было в свое время отмечено Н. М. Чернышевской, является, очевидно, фрагментом первоначального наброска воспоминаний Новицкого. Местонахождение оригинала неизвестно, а снятая Е. А. Ляцким копия хранится в ЦГАЛИ (ф. 395, оп. 1, ед. хр. 428).

Как было указано выше, этот отрывок частично дополняет некоторые места окончательного варианта воспоминаний Новицкого. Так, например, в нем более ярко дана характеристика Сераковского, назван ряд лиц, бывавших на вечерах у Чернышевского. Все это делает целесообразным публикацию в приложениях к мемуарам Новицкого также и первоначального наброска его воспоминаний.

⟨О ВВЕДЕНСКОМ, ЧЕРНЫШЕВСКОМ И СЕРАКОВСКОМ⟩

У меня был учитель (1851 г.) Иринарх Иванович Введенский, обожаемый всеми кадетами Дворянского полка. Он ослеп, но он так читал, что Ростовцев его не отпустил, и его водили в класс. Я был его поклонником,— он самым разносторонним образом действовал на наши души. Мы стали сами под его влиянием читать и развиваться, изучать языки. От времени до времени к нему захаживали по воскресеньям. И вот, помню, я и Лысенко зашли к Иринарху Ивановичу, и там утром встретили студента с довольно длинными волосами, в очках, худенького, скромно одетого. Он поговорил, простился и ушел. Это и был Чернышевский. «Знаете, господа,— сказал Введенский,— это человек замечательный, он, может быть, превзойдет Белинского». Нам захотелось повидать ⟨Чернышевского⟩, несколько раз заходили, но все не заставали дома ⟨Введенского⟩. Это было в 1851 г.

После войны*, я вернулся в Петербург в 1857 г., поступил в Академию. У Сераковского кого только не было. Прихожу раз вечером, было мало народу, входит Чернышевский. А мы на батареях читали «Современник» и читали «Очерки гоголевского периода», особенно в последние периоды войны, когда мы стояли уже в степи.— «Тот ли он?», подумал я, но потом узнал. Я напомнил о нашей встрече у покойного уже тогда Иринарха Ивановича.— «Да, да, да, я помню». С тех пор я сделался его частым посетителем.

В то время я интересовался Рикардо, Смитом, историей (он натравил меня на Шлоссера), немецкой философией и стал обращаться к Чернышевскому. У него была такая масса знаний, что я не встречал потом никого, напоминавшего его: он делился ⟨ими⟩ до того охотно, что иногда просто совестно было. И тут я узнал, до чего это была добрая душа,— в этом отношении он напоминал Александра Николаевича Пыпина: с каким-то наслаждением сообщал свои знания. Как бы занят он ни был, он при моем приходе откладывал все в сторону и начинал растолковывать мне, чего я не понимал.— «А он (студент Воронов, которому диктовал Чернышевский) пусть в это время побегает».

На четвергах у Чернышевского я встречал Дмитриева, Тургенева, Добролюбова, Ламанского. Возле Ольги Сократовны группировался кружок за роялью, оттуда доносился смех, шутки. Дамочка она была довольно пустая, но особенной непредосудительности я никогда не замечал ⟨в ней⟩. Мужа она называла «канашечкой», относилась ⟨к нему⟩ шутливо.

Чернышевский был очень скромен, в спорах иногда резок, ироничен, в публичных собраниях, где он являлся чтецом, бывал застенчив. Бывали там и Обручев, Галахов, Аничков, Макшеев, Бларамберг.

---

* *Далее зачеркнуто*: на которой я, между прочим, познакомился с Сераковским.

Николай Гаврилович принимал в разговорах живое и веселое участие и, не стремясь к этому, он был в беседах душой кружка.

Сигизмунд Игнатьевич Сераковский был революционер с ног до головы (широкоплечий, белый блондин, среднего роста, с пылающими голубыми глазами), весь порыв—«все возможно, как невозможно!» кричал он. Он был организатор революции прирожденный, но к делу его нельзя было пустить: все спутает*.

...Доктор Городков (дядя Веры) был в госпитале, где лежали революционеры, и он видел, как Сераковского повесили. Многих из этих людей я встречал у Кавелина.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Вскоре после отправки рукописи воспоминаний, Новицкий писал Пыпину (18 марта 1890 г.), отвечая на неизвестные нам его замечания: «Хронологическая неточность, замеченная вами, составляет ничего более, как ошибку, или, правильнее — описку писаря, которому, было, я дал на переписку свои воспоминания. Действительно, факт, упоминаемый мною, совершился не в 51, а в *50*-м году и я не понимаю, как я, передавая начало воспоминаний, писанное писарем,проглядел эту описку его?!» (ЦГАЛИ, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 315, л. 6). В первой части рукописи, написанной рукою писаря, 1851 г. датируется встреча Новицкого с Чернышевским, которая, очевидно, и вызвала возражение Пыпина. Этот вывод подтверждается также сообщением Новицкого, что он, желая поближе сойтись с Чернышевским, приблизительно через месяц после первой встречи, зашел к нему домой, однако к этому времени Чернышевский переехал уже на другую квартиру. Действительно, в начале января 1850 г. Чернышевский жил в Петербурге на Б. Конюшенной, в доме Кошанского, откуда в первой половине февраля переехал на Б. Морскую в дом Дингельштейна (Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., 1953, стр. 60 и 61). Следовательно, Новицкий впервые встретился с Чернышевским в первых числах февраля 1850 г.

2 Чернышевскому было в это время около двадцати двух лет.

3 См. прим. 1.

4 Новицкий был выпущен из Дворянского полка 7 августа 1851 г. прапорщиком в 8 артиллерийскую бригаду (Н. М. Затворницкий. Память о членах Военного совета. СПб., 1907, стр. 670).

5 В начале Крымской войны Новицкий находился в Молдавии и Валахии, а затем был переброшен в Крым. Принимал активное участие в осаде Силистрии и во многих сражениях с турками. Во время героической обороны Севастополя командовал правым фасом 4 бастиона 2-го оборонительного соединения. За боевые отличия был награжден орденами (Н. М. Затворницкий. Указ. соч., стр. 670—671).

6 Поражение России в Крымской войне вызвало рост недовольства самодержавием. Возникшее на этой почве революционно-освободительное движение в стране нашло горячий отклик и в армии.

7 Первая статья «Очерков гоголевского периода русской литературы» была напечатана в № 12 «Современника» 1855 г., вторая и третья статьи — в №№ 1 и 2 1856 г., без подписи Чернышевского. Следовательно, ни Новицкий, ни его товарищ не могли знать автора этой статьи.

8 И. И. Введенский умер 14 июня 1855 г.

9 Выражения Салтыкова-Щедрина, которыми великий сатирик заклеймил в своих произведениях продажную реакционную печать того времени, в том числе «Новое время» Суворина и «Берег» Цитовича.

10 Николаевской академии Генерального штаба.

11 Речь идет о целом ряде статей, связанных со студенческим движением 1850—1860-х годов, напечатанных в «Русской старине» этих лет. Так, например, в этом журнале были помещены работы: Н. А. Фирсов. Студенческие истории в Казанском университете 1855—1863 гг. (1888, №№ 3, 4, 6, 9); П. Д. Шестаков. Студенческие волнения в Москве (1887, № 9; 1888, №№ 10, 11); его же. Студенческие волнения в Казани (1888, № 12); В. М. Сорокин. Воспоминания старого студента (1888, № 12) и др.

12 21 апреля 1848 г. Сераковский был арестован, обвиненный согласно официальной формулировке, «в намерении скрыться за границу», и сослан рядовым в оренбургские батальоны. В 1856 г. произведен в офицеры и был сокурсником Новицкого по Николаевской академии Генерального штаба. Принимал участие в создании революционной организации среди петербургских офицеров и «Земли и воли», участник поль-

---

* *Далее зачеркнуто*: Бывал там же Голендзовский. *На полях помета Е. А. Ляцкого*: Н. Д. 〈то есть Новицкому〉 было тогда 24 года.

ского восстания. 27 апреля 1863 г. был ранен и взят в плен, а 15 июня повешен, по распоряжению М. Н. Муравьева. Сераковский был очень близок к Чернышевскому, который вывел его в романе «Пролог» под именем Соколовского.

[13] Новицкий ошибается: Сераковскому было в это время около 31 года.

[14] Встреча с Чернышевским произошла в конце 1857 г. См. об этом в предисловии к настоящей публикации.

[15] Встреча Новицкого с Чернышевским у Введенского состоялась в 1850 г. См. прим. 1.

[16] На Петровском острове на даче Чернышевские жили со второй половины мая 1859 г. (Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского, стр. 171). В Поварском пер. в д. Тулубьева Чернышевский жил со второй половины августа 1855 г. по июнь 1860 г. (там же, стр. 114 и 187). На даче на станции Любань Чернышевский жил в 1860 г., куда Новицкий, как это видно из его письма к Шевченко от 16 мая 1860 г., собирался ехать по поводу освобождения из крепостной зависимости родных поэта. «Вы собираетесь на дачу к Чернышевскому, если намерение ваше не переменилось, то я отправился бы туда вместе с вами» (М. С. Шагинян. Тарас Шевченко. М., 1946, стр. 322 и сл.).

[17] 1 ноября 1857 г. командир отдельного корпуса генерал Плаутин и начальник штаба Баранов подали военному министру записку «Об издании „Военного сборника“», к которой была приложена копия записки Д. А. Милютина (без указания автора), составленной им по этому же вопросу еще в июне 1856 г. на имя товарища военного министра Катенина. Авторы этих записок доказывали целесообразность появления нового журнала. Для окончательной разработки проекта был создан особый комитет, который составил «Мнение» об издании, «высочайше» утвержденное 5 января 1857 г. История создания «Военного сборника» и участия в нем Чернышевского подробно освещена в следующих работах: Н. Макеев. Н. Г. Чернышевский — редактор «Военного сборника». М., 1950; Р. Таубин. Н. Г. Чернышевский о войне и мире.— «Военная мысль», 1947, № 2; его же: К вопросу о роли Н. Г. Чернышевского в создании «революционной партии» в конце 50-х — начале 60-х годов XIX века.— «Исторические записки», 1952, № 39.

[18] Имеется в виду Николай Онуфриевич *Сухозанет* (1794—1871), который был военным министром с 1856 по 1861 гг.

[19] Возможно, что Чернышевский является автором некоторых работ, опубликованных на страницах «Военного сборника». Однако до настоящего времени ни одна из них не обнаружена.

[20] Речь идет, вероятно, о статье «Пять месяцев в *** полку» («Военный сборник», 1858, № 7), автор которой рассказывает о хищениях командиров рот.

[21] Имеются в виду статьи Н. Н. Обручева «Изнанка Крымской войны» («Военный сборник», 1858, №№ 2, 4, 7), изобличавшие крупные злоупотребления в армии. В «Русском инвалиде» и в самом «Военном сборнике» печатались ответы на статьи Н. Н. Обручева, авторы которых обвиняли «Военный сборник» в незнании русской армии и в том, что, выступая с такими статьями, журнал порочит честь мундира.

[22] О желании Некрасова приобрести право на издание «Русского инвалида» в литературе неизвестно. Между тем, мысль об издании газеты возникала у него неоднократно. Как сообщает А. Я. Панаева, «Некрасов при самом начале издания „Современника“ мечтал о дешевой газете» (А. Я. Панаева. Воспоминания. М., 1948, стр. 418). После окончания Крымской войны Некрасов пытался вместе с рядом лиц осуществить издание юмористической газеты «Правда» и еженедельной газеты для путешествующих. Вопрос о борьбе Некрасова за газетную трибуну с приведением полной сводки его нереализованных замыслов освещен в работах Б. В. Папковского и С. А. Макашина «Некрасов и литературная политика самодержавия» и С. А. Рейсера «Газета для путешествующих. Неосуществившийся проект Некрасова» («Лит. наследство», т. 49-50, 1946, стр. 512—524 и 619—622).

[23] Речь идет, очевидно, о Федоре Михайловиче Дмитриеве (1829—1894), профессоре иностранного права в Московском университете с 1859 по 1868 г., а с 1882 г.— попечителе Петербургского учебного округа. О нем см. в воспоминаниях Б. Н. Чичерина «Московский университет» и «Москва сороковых годов». Указание Н. М. Чернышевской, что речь идет о П. Дмитриеве, сотруднике «Современника», ошибочно («Н. Г. Чернышевский. 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи». Саратов, 1928, стр. 297).

[24] До сих пор считалось, что воспоминания Новицкого целиком посвящены Чернышевскому. Однако, как это видно из содержания мемуаров, значительная часть их уделена Добролюбову.

[25] Неточная цитата из стихотворения Н. А. Добролюбова «Пускай умру — печали мало». Новицкий опускает последнюю строфу стихотворения:

Чтоб бескорыстною толпою
За ним не шли мои друзья,
Чтоб под могильною землею
Не стал любви предметом я.

[26] Первые статьи Добролюбова были напечатаны в «Современнике», когда он был еще студентом Главного педагогического института и усиленно скрывал свое участие в журнале. О том, что первые статьи Добролюбова приписывались Чернышевскому, писал Некрасову сам Чернышевский 24 сентября 1856 г.: «Статья (в библиографии) о Педагогическом институте произвела прелестнейший эффект, так что я решительно конфужусь от похвал, которыми осыпают меня за нее (она приписывается мне)» (XIV, 313). Об этом же писал Чернышевский и в некрологе Добролюбова: «Институтское начальство не должно было знать автора этой рецензии, которого могло погубить, и она доставила бесчисленные овации тому из сотрудников „Современника", которому была приписана» (VII, 851). Аналогичные свидетельства И. И. Панаева в «Литературных воспоминаниях». М., 1950, стр. 319.

[27] О времени знакомства Новицкого с Добролюбовым — см. в предисловии к настоящей публикации.

[28] Н. А. Добролюбов приехал в Петербург около 27 августа 1858 г. и первое время жил у Т. К. Грюнвальд; Василий Иванович Добролюбов — родной дядя Н. А. Добролюбова — в январе 1859 г. переехал в Петербург и поселился у него (С. А. Рейсер. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., 1953, стр. 191 и 208).

[29] Имеется в виду публичный диспут о происхождении Руси между Н. И. Костомаровым и М. П. Погодиным, состоявшийся 19 марта 1860 г. и привлекший большое внимание публики и печати. По этому поводу Чернышевский писал родным 22 марта 1860 г.: «В субботу был в большой университетской зале ученый диспут между Ник. Ив. Костомаровым и Погодиным, нарочно приехавшим для этого из Москвы <...> Публики было более 1500 человек» (XIV, 389). «Современник» дал подробный отчет об этом диспуте (1860, № 3). Кроме того, Добролюбов в двух статьях «Наука и свистопляска, или Как аукнется, так и откликнется» и «Призвание (М. П. Погодину от рыцарей Свистопляски)», напечатанных в №№ 4 и 5 «Свистка», подверг уничтожающей критике реакционную «норманскую» позицию Погодина на этом диспуте.

[30] Ср. запись Добролюбова: «Зачеркнуто Марии» (VI, 656).

[31] Слово «говорильня» встречается в статье Добролюбова «Из Турина» (V, 78).

ВОСПОМИНАНИЯ Д. Л. МИХАЛОВСКОГО О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Публикация Е. Г. Бушканца

Публикуемый отрывок принадлежит перу известного поэта-переводчика Дмитрия Лаврентьевича *Михаловского*, с 1858 г. начавшего сотрудничать в «Современнике». К сожалению, от его воспоминаний до нас дошло только начало. Было ли вообще написано продолжение — неизвестно. Но и дошедший отрывок воспоминаний одного из рядовых сотрудников революционно-демократического «Современника» представляет несомненный интерес: он ярко передает то внимание и заботу, которыми окружал Чернышевский обращавшихся к нему начинающих писателей-разночинцев. Именно так был встречен и Д. Л. Михаловский.

Сам Михаловский описываемую встречу с Чернышевским относит к апрелю 1858 г. По-видимому, она произошла несколько ранее. Перевод поэмы Байрона «Мазепа», с которым Михаловский явился в Петербург, напечатан был уже в майской книжке «Современника» за этот год.

Печатается по автографу ЦГАЛИ (ф. 309, ед. хр. 12).

НАЧАЛО МОЕГО ЗНАКОМСТВА С НИКОЛАЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ НЕКРАСОВЫМ И НИКОЛАЕМ ГАВРИЛОВИЧЕМ ЧЕРНЫШЕВСКИМ

В апреле 1858 г., написав первое мое предназначенное для печати стихотворение, именно перевод поэмы «Мазепа» Байрона, я понес его в редакцию журнала «Современник». Редактором тогда подписывался Панаев, а издателем Некрасов. Только за год или несколько более перед тем приехавши из Закавказья и не имея никакого понятия о журнальных отношениях вообще и, в частности, о распределении ролей между двумя руководителями «Современника», я, конечно, отправился к редактору журнала, Панаеву и показал ему свою тетрадь, где четким, крупным почерком была написана поэма.

«Это у нас не пойдет,— сказал мне Панаев.— У нас теперь в ходу современные вопросы, реформы в Балтийском крае». Тогда в самом деле много писали о крестьянских реформах, которые правительство проводило в Остзейских губерниях[1].

Мне нечего было возразить против такого категорического отказа, да и всякое возражение было бы бесполезным. Но мне пришла в голову другая мысль: давно уже я задумал пристраститься к какому-либо журналу в качестве переводчика с английского языка, и потому предложил свои услуги Панаеву. Но и тут получил отказ. «У нас есть постоянный переводчик с английского, переводы с этого языка предоставлены в нашем журнале исключительно ему». Нечего было делать, я начал свертывать свою тетрадь, чтоб сунуть ее в карман, а пока я возился с этим, Панаев кое-что придумал для меня.

— Я сейчас напишу письмо Н. Г. Чернышевскому,— сказал он.— С этим письмом отправьтесь к нему. Он один из редакторов «Военного сборника» и, может быть, найдет для вас какую-нибудь работу.

Засунув свою рукопись в карман теплой шинели, я отправился к Николаю Гавриловичу и, к счастью, застал его дома.

Удивительно приятное впечатление произвела на меня его личность. Он жил тогда в Поварском переулке, номера дома я не помню. Из небольшой передней налево был вход в его кабинетик, куда меня и ввели. Кабинетик был весь завален книгами и бумагами, в которых хозяин зарылся, как крот. Небольшого роста, худенький, с золотисто-белокурыми длинными густыми волосами, беспрестанно падавшими ему на лоб при малейшем наклонении головы, с тихим, мягким голосом и с ласковою улыбкой, он мне очень понравился.

Прочитав письмо Панаева, он сказал мне: «Панаев пишет мне о „Военном сборнике". Но там пока ничего не имеется в виду по переводной части, а я вот что придумал: мы задумали издавать при „Современнике" „Историческую библиотеку". Это будет сборник выдающихся исторических сочинений и монографий, и у нас уже приступлено к переводу „Истории XVIII века" Шлоссера. Но кроме того, так как теперь самый жизнетрепещущий вопрос — крестьянская реформа в России,то я предложил — издать при „Современнике" историю французских крестьян Бонмера. Она в двух томах. 2-й том уже переводится в Москве. Не возьметесь ли вы перевести первый? Плата — 20 рублей за лист. Я уже отдавал его для перевода одному господину, но он, проработав над первыми тремя страницами, возвратил мне книги оттого, что он не в состоянии перевести эту вещь, очень трудную для перевода. Ну так вот, не возьметесь ли за эту работу вы? Попробуйте и принесите мне первые листы. Только я еще не знаю пропустит ли это цензура, во всяком случае придется многое выпустить. Впрочем, мы будем хлопотать о разрешении»[2]. Я поблагодарил, взял книгу, и тут, к моему великому удивлению, он прибавил: «Панаев пишет, что вы ему приносили поэму Байрона „Мазепа". Этими вещами, т. е. стихами заведует Некрасов. Дайте вашу рукопись, я покажу ее ему»[3]. Я был очень рад такому обороту дела, тем более, ⟨что⟩ находился в крайне стесненных обстоятельствах. Шутка ли: и перевод книги с платою по 20 рублей (вместо принятой тогда платы 15), и вероятность помещения поэмы...

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Во второй половине 1850-х годов правительство подготавливало крестьянские реформы в Остзейских губерниях. В «Современнике» печатались материалы о положении остзейских крестьян с целью предупредить об опасности для них безземельного освобождения.

[2] Подготовленный для «Исторической библиотеки» перевод книги Ж.-Э. Бонмера «История земледельческого сословия во Франции» не был пропущен цензурой. Отредактированная Чернышевским рукопись перевода хранится в ЦГАЛИ (см. Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., 1953, стр. 180).

[3] Выполненный Д. Л. Михаловским перевод поэмы Байрона «Мазепа» был напечатан в «Современнике», 1858, № 5, отд. I, стр. 5—30 (за подписью «Д. М-х-л»).

К ИСТОРИИ ПОЕЗДКИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО К ГЕРЦЕНУ В ЛОНДОН

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ А. Н. ПЫПИНА

Публикация Б. П. Козьмина*

Публикуемые ниже в извлечениях письма А. Н. Пыпина содержат некоторые данные, касающиеся поездки Чернышевского в 1859 г. в Лондон для свидания с Герценом. Эти данные, с одной стороны, уточняют ряд деталей поездки, а с другой, — подтверждают то, что было известно относительно нее из других источников. Письма Пыпина, безусловно, представляют существенный интерес, хотя бы по одному тому, что событие, к которому они относятся, знаменовало чрезвычайно важный момент в истории отношений между издателями «Колокола» и редакторами «Современника», а тем самым и между революционерами из дворянской среды и революционно настроенной разночинной интеллигенцией.

Напомним вкратце обстоятельства, которые вызвали поездку Чернышевского в Лондон.

В 1859 г. Герцен напечатал в «Колоколе» статью «Very dangerous!!!», содержавшую в себе чрезвычайно резкие нападки на редакцию некрасовского «Современника». Не называя журнала, но весьма прозрачно намекая на него, Герцен бросал его сотрудникам упреки в том, что они, отзываясь резко отрицательно о так называемой «обличительной литературе» и беспощадно критикуя дворянскую интеллигенцию («лишних людей»), дезорганизуют общественное мнение, играют на руку правительству и даже чуть ли не действуют по его наущению. При той исключительной популярности, какой во второй половине пятидесятых годов пользовался «Колокол», появление на его страницах статьи Герцена могло крайне неблагоприятно отразиться на будущем «Современника». Естественно поэтому, что статья Герцена, по словам одного из ближайших сотрудников «Современника» М. А. Антоновича, поразила руководителей этого журнала и «взволновала их, как неожиданный и непредвиденный сюрприз» («Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоминания. Г. З. Елисеев. Воспоминания». М.—Л., 1933, стр. 79). Было решено, что Чернышевский отправится в Лондон и в разговоре с Герценом будет добиваться, чтобы тот как-нибудь сгладил впечатление, произведенное его статьей. По просьбе товарищей по редакции Чернышевский согласился на эту поездку, хотя и сомневался в ее успехе.

Чернышевский пробыл в Лондоне пять дней и имел несколько свиданий с Герценом. О своих встречах с издателем «Колокола» он говорил впоследствии крайне неохотно. Поэтому нам известно о них очень мало. Наибольший интерес имеет свидетельство товарища Чернышевского по каторге — С. Г. Стахевича, по словам которого, основанным на рассказах самого Чернышевского, сущность его объяснений с Герценом сводилась к следующему:

---

* Письма А. Н. Пыпина сообщены редакции «Литературного наследства» Н. Г. Розенблюмом.

«Я нападал на Герцена за чисто обличительный характер „Колокола". Если бы, говорю ему, наше правительство было бы чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в узде в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, а не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем — конституционную, или республиканскую, или социалистическую, и затем всякое обличение являлось бы подтверждением основных требований вашей программы» (С. Г. Стахевич. Среди политических преступников.— Сб. «Н. Г. Чернышевский». М., 1928, стр. 103).

Непосредственным результатом свидания Чернышевского с Герценом и их переговоров было появление в «Колоколе» заметки, в которой Герцен заверял, что он в своей прежней статье отнюдь не имел в виду делать какой-либо «оскорбительный намек» по адресу кого бы то ни было.

Свое впечатление от свидания с Герценом Чернышевский, еще будучи в Лондоне, выразил в письме к Добролюбову.

Ввиду того, что письмо это было направлено к адресату через Пыпина (позже нам станет ясно, почему для пересылки письма потребовалось его посредничество), Чернышевский, зная, что Пыпин является поклонником Герцена, и не желая огорчать его своим отрицательным отзывом о последнем, старался в своем письме по возможности смягчить отзыв о Герцене.

«Разумеется,— писал он, — я ездил не понапрасну, но если б знал, что это дело так скучно, не взялся бы за него ⟨...⟩ Боже мой, по делу надобно вести какие разговоры! Не хочу писать, чтобы не огорчить Пыпина, через руки которого пойдет это письмо, но если хотите вперед узнать мое впечатление, попросите Николая Алексеевича ⟨Некрасова⟩, чтобы он откровенно высказал свое мнение о моих теперешних собеседниках, и поверьте тому, что̀ он скажет; он ошибется разве в одном: скажет все-таки что-нибудь лучшее, нежели сказал бы я об этом предмете. Кавелин в квадрате — вот вам и всё» (XIV, 379).

При таких условиях, может быть, наиболее существенным результатом поездки Чернышевского в Лондон было то, что из разговоров с ним Герцен полностью убедился, насколько не соответствовало действительности выраженное им в «Very dangerous!!!» предположение относительно возможности подкупа «Современника» правительством.

Что же нового дают публикуемые нами письма Пыпина для истории поездки Чернышевского в Лондон? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо сказать несколько слов об авторе и адресатах писем.

В 1858 г. Пыпин в числе других молодых ученых был командирован за границу для «усовершенствования в науках». Значительную часть своей командировки Пыпин провел в Париже, где он жил в 1858 и 1859 гг. За время пребывания там он дважды совершил поездки в Лондон: в 1858 г. и в мае 1859 г. для того, чтобы посетить Герцена. Герцен и Пыпин понравились друг другу. Свое пребывание в Лондоне и свидания с издателем «Колокола» Пыпин впоследствии описал в воспоминаниях (А. Н. Пыпин. Мои заметки. М., 1911, стр. 118—121).

Публикуемые нами письма адресованы: одно — известному слависту Владимиру Ивановичу Ламанскому (1833—1914), профессору Петербургского университета, позднее академику, с которым Пыпин познакомился в Петербурге, а три — Борису Исааковичу Утину (1832—1872), юристу, в 1858 г. находившемуся в научной командировке за границей. Утин выехал из России вместе с Пыпиным, вместе же они посетили Лондон и побывали у Герцена. Далее их пути разошлись: в то время как Пыпин уехал в Париж, Утин, имевший своей задачей изучение государственного устройства Англии, остался в Лондоне, поддерживая с Пыпиным более или менее регулярную переписку.

Письмо Пыпина Ламанскому интересно в том отношении, что знакомит нас с предосторожностями, принятыми Чернышевским в целях сохранения в тайне своего посещения Лондона. О действительной задаче, стоявшей перед Чернышевским во время его поездки, знали только очень немногие, близкие к «Современнику» люди. Перед

отъездом из Петербурга Чернышевский распустил слух, что находящийся в Париже Пыпин, приходившийся ему двоюродным братом, неожиданно заболел и что он, Чернышевский, отправляется на несколько дней в Париж, чтобы навестить больного. Ламанскому же, с которым он встретился накануне своего отъезда из Петербурга, он ни о заболевании Пыпина, ни о своей поездке ничего не сказал. Когда до Ламанского дошли слухи о болезни Пыпина и об отъезде Чернышевского в Париж, он обиделся на последнего за его скрытность и поспешил высказать свои претензии в письме к Пыпину.

Публикуемое письмо Пыпина является ответом на письмо Ламанского. Таким образом только благодаря недоразумению с Ламанским нам становится известной предост[illegible]

приходѣ 792 судна, а въ отходѣ 314 судовъ.

— Въ числѣ прочихъ пассажировъ на пароходѣ «Нева», 17-го іюня, отправились въ Любекъ: ген.-майоръ **Ахматовъ**; дѣйст. стат. сов. **Заблоцкій-Десятовскій**; камер-юнкеръ князь **Енгалычевъ** съ супругою; кол. сов. **Сухонинъ**; надв. сов. **Деге**; состоящій при французскомъ посольствѣ въ Санктпетербургѣ — графъ **Монтебелло**; тит. сов. **Чернышевскій**.

нышевскій.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЪЕЗДЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО ЗА ГРАНИЦУ

«С.-Петербургские ведомости» от 20 июня 1859 г., отдел «Судоходство»

Письма Пыпина к Утину интересны, главным образом, тем, что они лишний раз подтверждают недовольство руководителей «Современника» результатами своих переговоров с Герценом. В этом отношении очень существенно упоминание (в письме от 27 июля 1859 г.) о письме Чернышевского к Пыпину из Штетина, в котором он сообщал о переговорах с Герценом «в весьма разочарованном духе». Нельзя не пожалеть, что это письмо Чернышевского до нас не дошло: по-видимому, оно было из осторожности уничтожено Пыпиным.

Может быть, при этом письме — а вернее ранее, непосредственно из Лондона, — Чернышевский переслал Пыпину в Париж для отправки в Петербург свое цитированное выше письмо к Добролюбову. Сделал он это для того, чтобы, в случае перлюстрации письма на русской почте, правительство не могло бы установить, что его автор посетил Лондон. Чернышевский правильно рассчитал, что если правительство узнает об этом, ему нетрудно будет догадаться о цели поездки туда Чернышевского: нашумевшая статья Герцена «Very dangerous!!!» была еще у всех на памяти.

* * *

Письма к Б. И. Утину печатаются по автографам ИРЛИ (ф. 360, № 52); письмо к В. И. Ламанскому — по автографу Архива АН СССР в Ленинграде (ф. 35, оп. 1, № 1187, л. 21).

1

А. Н. ПЫПИН — Б. И. УТИНУ

Париж. ⟨23 июня⟩ 5 июля 1859 г.

Не знаю, получили ли вы мое письмо, милый Борис Исаакович, и опять пишу к вам по двум обстоятельствам, деловым, если не считать еще третьего, состоящего просто в моем желании беседовать лишний раз с суровым, но, тем не менее, остроумным другом. Дело в том, что в Лондоне

в эти дни вы можете найти Чернышевского — в Hôtel de l'Europe, Leicester square. Вам, может быть, не скучно будет повидаться с ним; я же попрошу вас сделать ему какие-нибудь указания, которые ему могут понадобиться: в путешествии он человек новый. Этим вы и меня обяжете.

Второе. Пересылаю вам письмо Гнейста[1], которое почтенный профессор просил Спасовича[2], находящегося теперь здесь, передать вам. Так как он в Лондон не едет и рискует вовсе не увидеть вас, то он просил меня передать вам это письмо.

До свидания. Жду ваших писем и ваших новых рассказов о Лондоне, которые не перестанут, конечно, сильно интересовать меня. Будьте здоровы.

Весь ваш Алекс. Пыпин

P. S. Чернышевский будет в Лондоне очень короткое время, и это, может быть, помешает ему раньше быть у вас. Зайдите к нему по вашей обыкновенной доброте. Ему очень приятно и интересно ваше знакомство.

Вашего брата я вижу довольно часто[3]. Он благоденствует, здоров и весел, занимается политикой и часто не бывает дома, а где — не знаю. Кажется, становится фланером.

[1] Рудольф *Гнейст* (1816—1895) — известный немецкий юрист, профессор Берлинского университета, специалист по государственному устройству Англии, работы которого специально изучал Утин.

[2] Владимир Данилович *Спасович* (1829—1906) — юрист, профессор Петербургского университета, в 1861 г. в связи со студенческими волнениями и закрытием университета демонстративно вышедший в оставку одновременно с Пыпиным, Утиным, К. Д. Кавелиным и М. М. Стасюлевичем. Позже адвокат и либеральный публицист, сотрудник «Вестника Европы».

[3] У Б. И. Утина было три брата — Яков, Николай и Евгений. Определить точно, о ком именно из них идет речь, трудно, вернее всего о Якове, так как другие два брата в это время были еще очень молоды.

2

А. Н. ПЫПИН — Б. И. УТИНУ

Париж. ⟨6⟩ 18 июля 1859 г.

На днях я получил письмо ваше, милый Борис Исаакович, и так как вы интересовались его доставлением, я хотел было тотчас же вам написать, но, по обыкновению, заленился. Впрочем, письмо пришло самым благополучным образом, и об нем нечего беспокоиться.

Куда вы думаете ехать из Лондона и как вообще располагаете своим путешествием? Не встретимся ли мы еще с вами? Как вам показался Чернышевский? Да, кстати, напишите мне, если знаете, до каких результатов он дошел в толках с нашими знакомыми. Это меня в высшей степени интересует. Он писал мне из Штетина, но писал только о своих личных впечатлениях, которых я более или менее ожидал и угадывал; меня интересует другая сторона. Он устроил истинно необыкновенное путешествие...

3

А. Н. ПЫПИН — Б. И. УТИНУ

Париж. ⟨15⟩ 27 июля ⟨1859 г.⟩

...Ваши известия о Чернышевском, к моему сожалению, подтверждаются тем, что я узнал еще от Стасова[1]. Сам он писал мне из Штетина в весьма разочарованном духе. Очень жаль, если дело с знакомыми кончилось неопределенно и осталось между ними недоразумение, потому что, наконец, и те и другие — люди порядочные, и притом знакомые-то не

«НА КАТОРГУ»
Картина маслом польского художника А. Сохачевского, 1863—1882 гг.
Исторический музей, Варшава

«ЗАКОВЫВАНИЕ В КАНДАЛЫ»
Картина маслом польского художника А. Сохачевского, 1863—1882 гг.
В каторжанине, которого заковывают в кандалы, художник изобразил себя самого
Исторический музей, Варшава

совсем правы. Чернышевский имеет свойство не тотчас сходиться с людьми мало знакомыми. Он уже не в первый раз производит очень ложное впечатление на людей, с которыми встречается ненадолго. Не стоило хлопотать из такого результата. Может быть, будет что-нибудь дальше ⟨...⟩

Через два дня.

Я искал, искал в эти дни Спасовича[2] или Стасова, чтобы узнать от них что-нибудь о Кавелине, но не мог их найти и потому могу теперь прибавить только совет вам — списаться с лондонскими знакомыми и спросить когда К⟨авелин⟩ будет в Лондоне[3]. Я слышал только, что К. Д. останется там только около недели.

[1] Дмитрий Васильевич *Стасов* (1828—1900) — в это время чиновник Сената, позднее известный адвокат. Чернышевский во время пребывания в Лондоне виделся с ним у Герцена (см. XIV, 379, а также «Сборник Пушкинского дома на 1923 год». Пг., 1922, стр. 280).

[2] Спасович в июле 1859 г. был в Лондоне. Сохранилось его неопубликованное письмо к К. Д. Кавелину из Парижа от 16 июля 1859 г., в котором он между прочим писал: «Чернышевского нет уже в Париже» (ИРЛИ, 20688/CXLI, б. 10, письмо 2-е).

[3] К. Д. Кавелин, как это видно из письма Герцена к М. К. Рейхель от 4 августа 1859 г., приезжал в Лондон в конце июля (Герцен, т. X, стр. 62).

4

А. Н. ПЫПИН — В. И. ЛАМАНСКОМУ

Париж. ⟨17⟩ 29 июля 1859 г.

Не знаю, объяснилась ли для вас теперь история моей болезни и поездка Чернышевского, мой дорогой Владимир Иванович. Если нет, я считаю нужным сказать об этом несколько слов собственно только для вас и ни для кого другого.

Моя болезнь — только предлог, которым воспользовался Чернышевский для того, чтобы объяснить свой скорый отъезд и скорое возвращение, не похожие на обыкновенные путешествия. Я видел его здесь только два дня; настоящая цель его путешествия была Лондон, где он имел делать свои дела, о которых вы, может быть, уже знаете или догадываетесь.

Мне говорил Чернышевский, что он виделся с вами именно накануне своего отъезда; вы видите теперь, почему он вам не говорил о моей опасной болезни — ее не было — он не рассчитал только одного, что вы можете услышать то, о чем он говорил другим. Конечно, он сделал неловкость, но как было ее избежать, да он и не привык к подобным вещам и оттого попадает в неловкость. Не сердитесь на него, если еще не перестали сердиться; прошу вас об этом...

ДВА ДОКУМЕНТА О ЧЕРНЫШЕВСКОМ ИЗ АРХИВА III ОТДЕЛЕНИЯ

Публикация С. А. Макашина

1

Ниже печатается полный текст выписки из письма одного студента Казанского университета к другому от 5 апреля 1856 г. Выписка была сделана при перлюстрации письма и доложена Александру II. Публикуемый документ не является совершенной новинкой. Цитаты из него уже были приведены в книге Г. Н. Вульфсона и Е. Г. Бушканца «Общественно-политическая борьба в Казанском университете в 1859—1861 годах» (Казань, 1955, стр. 19, 23, 24). Однако документ был использован там неполно — лишь как материал для характеристики кружка революционно настроенных казанских студентов, ядро которого составляли бывшие ученики Чернышевского по Саратовской гимназии. Между тем попавшее в перлюстрацию письмо казанского студента представляет не меньший интерес и в другом отношении. Упоминание имени Чернышевского в письме сопровождается пометкой Дубельта: «*неизвестен*». Пометка эта оказалась опущенной в публикации Г. Н. Вульфсона и Е. Г. Бушканца. Таким образом, остался не замеченным тот любопытный факт, что *до весны 1856 г. высшая политическая полиция царизма была совершенно неосведомлена о Чернышевском* и в распоряжении III Отделения не имелось еще никаких компрометирующих сведений о руководителе «Современника». Первые такие сведения власти почерпнули из казанского письма, попавшего в перлюстрацию. В нем неосмотрительно сообщалось о том, как революционно настроенные студенты — «отчаянные либералы» — непосредственные (по саратовской гимназии) и идейные ученики Чернышевского провозглашали тост за своего «просветителя», а затем «воспевали вольность, свободу, бранили всё и всех без пощады, начиная с Н. П.» (то есть начиная с царя Николая Павловича).

Письмо из Казани является, таким образом, документом, в котором зафиксирован момент, когда имя Чернышевского впервые привлекло к себе внимание III Отделения.

Перлюстрационная выписка докладывалась, как сказано, Александру II. Царь наложил на документе резолюцию: «Сообщить выпискою министру народного просвещения, не обнаруживая источника, как о слухах, дошедших до сведения». Распоряжение царя было дано 15 апреля. 20 апреля оно было доведено управляющим III Отделения Л. В. Дубельтом до сведения министра народного просвещения А. С. Норова. Очередной всеподданнейший доклад Норова приходился на следующий день, 21 апреля. Времени для наведения необходимых справок не оказалось, и министр вынужден был ограничиться краткой предварительной информацией:

«Генерал-лейтенант Дубельт, по высочайшему вашего императорского величества повелению, вчерашний день сообщил мне для прочтения письмо некоего Вист...., называющего себя студентом Казанского университета. Ни имени Вист...., ни других сотоварищей автора письма не значится в списках Казанского университета и других заведений, находящихся в Казани. Несмотря на то, по поводу этого неистового письма я не замедлю собрать вновь самые положительные сведения о поведении студентов. Смею доложить вашему величеству, что наша собственная университетская полиция недурна...».

Резолюция Александра II, соответствующая этой части доклада Норова, гласила: «Письмо казанского студента только доказывает, что ухо надобно нам держать остро и не слишком доверять *наружному порядку*, а бдительнее следить за внутренним и за нравственностью молодежи» (ЦГИАЛ, ф. 735, оп. 10, д. 305, лл. 10 и 25 об.).

Доклад Норова и собранные для этого доклада материалы «О поведении студентов» Казанского университета — последователей Чернышевского — найти пока не удалось.

ВЫПИСКА

ИЗ ПИСЬМА ВИСТ.... ИЗ КАЗАНИ, ОТ 5 АПРЕЛЯ 1856 г. К СТУДЕНТУ ПОРФИРИЮ ИВАНОВИЧУ ЗАЙЦЕВСКОМУ, В ГОРЫ-ГОРКИ, МОГИЛЕВСКОЙ ГУБ.

Начиная с Нового года, у нас были славные кутежки. На Новый год мы делали складчину и перепились до зела, так что забыли о Старом годе и Новом. Кутежи наши имеют свой особенный характер: у нас обыкновенно являются разговоры о политике, о свободе и т. п. (известно, что саратовцы и сибиряки — отчаянные либералы); являются тосты — за Н. Г. Чернышевского* первым долгом, потом мы воспевали вольность, свободу, браним всё и всех без пощады, начиная с Н. П.— ну, да ты, я думаю, догадываешься с кого... потому что *не может быть чтобы тебе в душу не запали слова Николая Гавриловича, нашего просветителя***. Ты не подумай, чтобы мы говорили о таких вещах за одними только кутежками; напротив, такие разговоры составляют самое лучшее, самое отрадное препровождение времени. Я говорю не шутя, а серьезно.

Живем мы теперь втроем:— все парни славные, местожительство наше именуется *колонией головастиков***, все мы саратовцы живем между собой истинно-товарищески, исключая одного Виноградова. Тебе небезынтересно будет знать устройство Казанского университета. У нас, что называется, подлец на подлеце, говоря собственно про полицейскую часть. Попечитель — дурак набитый, солдафон в полном смысле слова; Плешив ⟨?⟩ или Кучка г⟨...⟩а (прозвание попечителя) водится за нос нашим инспектором Ланге (Lanegai), страшным подлецом и мерзавцем, через которого пострадали очень многие, этому скотине неймется, несмотря на то, что во все время пребывания своего в университете получил плюх пять. Помощник попечителя Антропов — скотина препорядочный. Решительно ни в ком не имеешь защиты; везде шпионы да подлецы, да дураки, которые не входят в положение молодости, не сообразуются с ее духом. *Был у нас министр, да и того провели***; а то он ⟨...⟩ бы наше начальство за его подлости, особенно за взимание лишних расходов (я здесь говорю про Ланге и еще про эконома, без которого Ланге не может служить, как он выразился по поводу одной истории). Страшно подумать, чтобы в Университете могла иметь место подлость. Спрашивается: какая причина всего этого? Солдафонщина, введенная Н. П. ... Попечитель — солдат, инспектор — из солдат, чего же больше?

Сверху документа — резолюция Александра II и затем заверительная подпись: «Собственною его величества рукою написано карандашом: „Сообщить выпискою министру народного просвещения, не обнаруживая источника, как о слухах, дошедших до сведения".

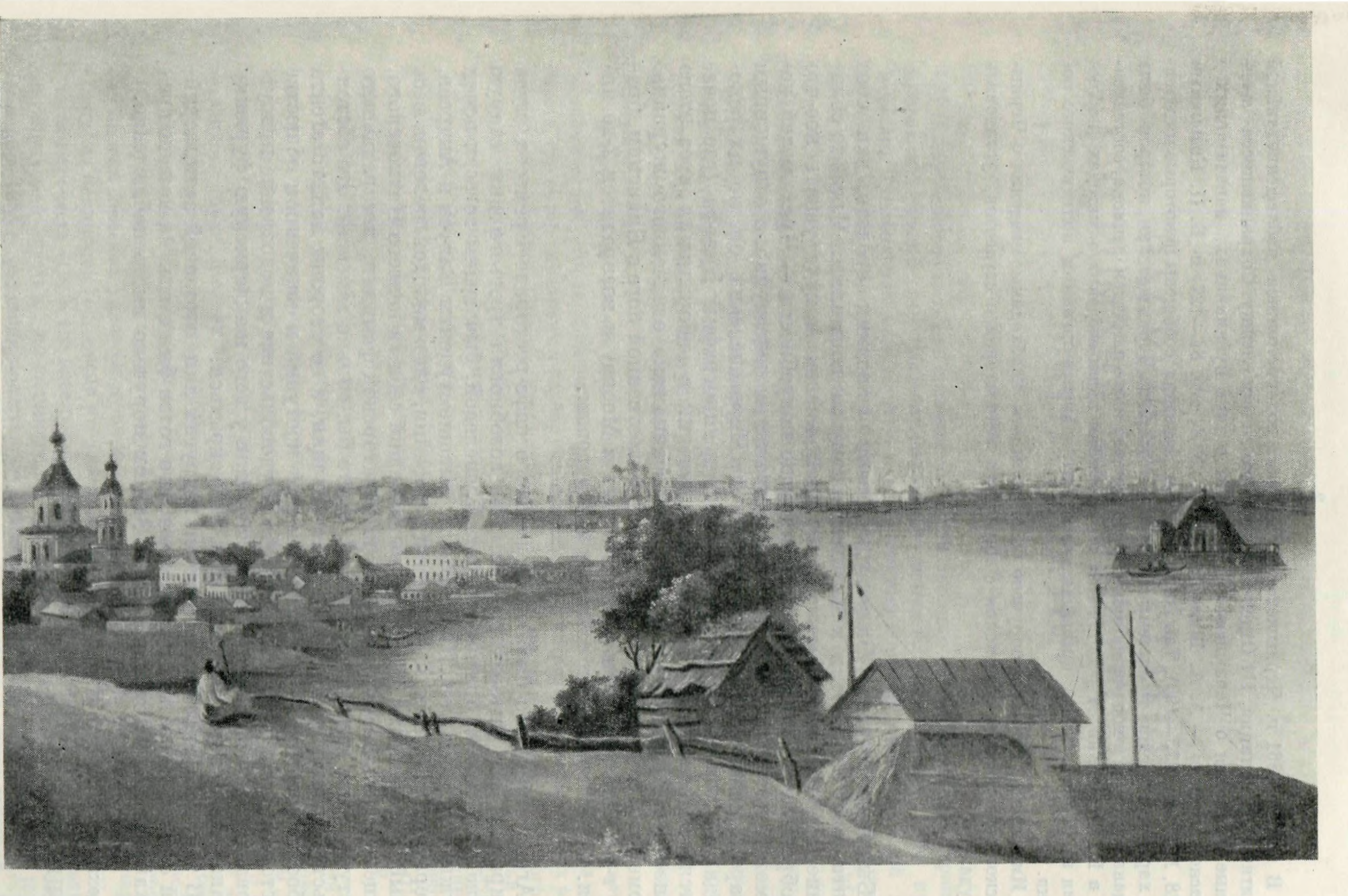
Генерал-лейтенант Дубельт.

Апреля 15 дня 1856 г.».

ЦГИАМ, ф. 109, 1 эксп., № 52 «О беспорядках в Казанском университете», лл. 48—49.

---

* *Рукою управляющего III Отделением Дубельта помечено на полях:* Неизвестен.
** *Подчеркнуто красным карандашом.— Ред.*



КАЗАНЬ. ВИД НА КРЕМЛЬ

Картина маслом А. Н. Раковича, 1861 г.

Исторический музей, Москва

2

В ноябре 1861 г. Чернышевский был взят под постоянное наблюдение тайной политической полиции. III Отделение учредило за ним слежку. Сохранившиеся агентурные донесения о Чернышевском собраны в двух публикациях, напечатанных в «Красном архиве» — А. А. Шиловым (1926, № 1, стр. 84—127) и Б. П. Козьминым (1928, № 4, стр. 175—190). Там же во вводных заметках сообщены некоторые материалы, характеризующие ту систему секретного надзора за Чернышевским, которая была создана и пущена в ход жандармами. Публикуемая ниже памятная записка, составленная в III Отделении 24 декабря 1861 г., дополняет наши сведения о методах наблюдения за Чернышевским, применявшихся центральными органами политического розыска.

Имя агента, которому поручено было добывать необходимые сведения о Чернышевском при помощи сближения с кружками литераторов и студентов, установить не удалось.

№ 614—61 г.

Бывшему студенту Валуеву, человеку без всяких средств, дан чрез агента совет обратиться к Чернышевскому за занятиями. Чрез это сближение представится, быть может, возможность покуда узнать кое-что о собраниях у Чернышевского и другие подробности.— Чрез людей невозможно добиться никакого толку: многое им недоступно, с отпущенным поваром опасно сойтись, потому что от Чернышевских он, по их рекомендации, перешел к Пыпину.— Зато в типографию Вульфа (где печатается «Современник») определяется ученик в наборщики, а чрез этого произойдет нужное сближение с «метранпажем» означенного журнала. Кроме того, агент сошелся на самой дружественной ноге с Брянским, братом г-жи Панаевой. Он уехал на днях в Москву и возвратится 2-го января. Тогда тотчас же сойдутся с Панаевым.

Агенту поручено бывать ежедневно в кафе-ресторане Еремеева, куда собираются все литераторы. Там он возобновил третьего дня старую дружбу с Кролем, братом графини Кушелевой, бывающим во всех почти кружках литераторов. Притом были: бывшие студенты Валуев и Андреев, литераторы Толбины и др. Между прочими, один молодой человек, весь лысый, с маленькою бородкою, выдававший себя за некоего Пятковского, офицера стрелкового батальона императорской фамилии, пострадавшего за студентское дело, в котором он, будто бы, сильно замешан. Это обстоятельство причинило ему разные чествования, а со стороны нашего агента особое наблюдение.— Но господин этот поступил в означенном обществе неосторожно, за что навлек на себя неудовольствие и подозрение присутствовавших, в особенности когда заметили у него жандармскую фуражку и такое же пальто. Он вынужден был скрыться.

В том же обществе литераторов и других лиц отставной артиллерийский офицер Несветович выразился, что готов был стать на колени пред Михайловым и боготворит его.— За ним поручено иметь наблюдение.

24 декабря 1861.

ЦГИАМ, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 209.

ЗАПРЕЩЕННАЯ СТАТЬЯ О РОМАНЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Публикация И. Ф. Ковалева

Сразу же после выхода в свет романа Чернышевского «Что делать?» на страницах многих журналов и газет развернулась ожесточенная полемика вокруг этого произведения. Публикуемая ниже статья «Экономические вопросы», автор которой неизвестен, является отражением этой борьбы вокруг знаменитого романа. Она была ответом на статью под тем же названием, напечатанную в газете «Голос» (№ 214, от 18 августа 1863 г., за подписью «О.»). Автор статьи, помещенной в «Голосе», умалчивал о революционно-социалистических идеях романа и стремился, в основном, доказать несостоятельность изображенных в нем кооперативных предприятий. Он уверял, что мастерские, устраивавшиеся Верой Павловной, невозможны и невыгодны, что царское правительство таких мастерских поддержать не сможет. Прибыль от предприятия должна, как он считает, поступать в карман хозяина, поэтому он никак не может понять, «каким же образом могло случиться, что швеи нашего автора получили всю прибыль».

Вторую часть публикуемой нами статьи автор посвятил, или хотел посвятить, экономической стороне романа. Но дошедший до нас текст обрывается как раз на том месте, где автор переходит к разбору этих вопросов и к критике экономических взглядов «хроникера» из «Голоса». Как видно из Журнала заседания Петербургского цензурного комитета от 13 ноября 1863 г., первая половина публикуемой статьи была запрещена на основании отзыва цензора М. И. Касторского. Статья предназначалась для газеты «Народное богатство» также под названием «Экономические вопросы». В документальных материалах Петербургского цензурного комитета сведений об авторе этой статьи нет. Можно полагать, что это был один из членов редакции «Народного богатства», ежедневной политико-экономической и литературной газеты, издававшейся в 1862—1865 гг. в Петербурге И. И. Балабиным.

В то время, когда реакционная печать беспощадно обрушивалась на роман «Что делать?», редакция «Народного богатства» всецело была на стороне Чернышевского. В статье «О женском труде», напечатанной 12 мая 1863 г., читаем: «С большим сочувствием мы встречаем популярно изложенные экономические начала женского общественного труда, и слава вам, г. Чернышевский, что вы этот важный вопрос задели в чисто литературной статье. Напишите вы экономический трактат — он не дошел бы по назначению. Теперь многие вас бранят, но зато многие и очень многие сочувствуют. Роман „Что делать?“ — мы, по крайней мере, надеемся, — сделает большой переворот во многих женских умах. От души желаем нашим читателям обратиться к „Современнику“ за настоящий год, и если кто еще не прочел романа Чернышевского, тому предлагаем прочесть его. К его идеальной мастерской мы когда-нибудь еще возвратимся». Публикуемая статья, по-видимому, и является реализацией этого обещания. В ноябре 1863 г. редакция представила в цензуру «Экономические вопросы». К этому времени цензура стала строже относиться к статьям о «Что делать?», и положительные отзывы о Чернышевском, осуждение которого было уже предрешено сенатской запиской по его делу, — в печати появиться не могли.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

1

Многие, может быть, и не подозревают, что к числу экономических вопросов относятся и такие, которые, по-видимому, не имеют ничего общего ни с частной, ни с народной экономией. Так, например, многим, вероятно, покажется странным намерение разбирать какой-нибудь роман с экономической точки или желание затрагивать чисто нравственные вопросы тоже с экономической точки зрения. Между прочим, странного в этом нет ничего, потому что экономическое благосостояние, благоденствие, назовите его, как хотите, все-таки составляет если не конечную, то не последнюю цель жизни. А что, если наши нравственные понятия, наши идеалы искажают нашу жизнь, портят ее, мешают нам достигать этого благосостояния или благоденствия, стало быть мы имеем полное право рассматривать их с экономической точки зрения и прямо с этой точки зрения осудить их. Осуждение это будет беспощаднее и неумолимее всякого другого. Когда вы осуждаете известное явление с известной точки зрения, не касаясь его экономического значения и влияния, вы не имеете под собой почвы, потому что точки зрения бывают различны; а когда вы осуждаете известный факт или явление с экономической точки зрения, тогда вы стоите на твердой почве, потому что каждому понятно, что хорошо, и что дурно для него. Немногие будут спорить об этом (разумеется, если только у них не развращены понятия). Все это сказали мы для того, чтобы доказать, что мы имеем право разбирать роман с экономической точки зрения, и именно роман Чернышевского «Что делать?», и разбирать не так, как сделал это хроникер экономических вопросов в «Голосе». Хроникеру экономических вопросов в «Голосе» прежде всего не понравился тон романа. Ему с чего-то показалось, что роман не для всей публики, а для известных читателей, только, именно, по его мнению, для семинаристов низших классов и учеников уездных училищ; потом он обиделся на Чернышевского за тон, с которым он обращается к публике, а стало быть и к нему; по всему этому выходит, что роман читать не следует, но так как этот роман напечатан в большом журнале, то он может попасться в руки к взрослым и серьезным людям, потому он начинает не то разбирать роман, не то предохранять почтенную публику от тех идей, которые кажутся ему вредными и которые, как будто бы, там проводятся. Прежде всего ему показалось, что г. Чернышевский проповедует многобрачие во всех его видах: и в виде многоженства, и в виде многомужества. Нас удивила такая выходка хроникера экономических вопросов в «Голосе»; мы давно по поводу ее и других ей подобных хотели поговорить о романе «Что делать?».

Нам кажется, что содержание его чрезвычайно просто и, по-видимому, не могло бы подать повода ни к каким особенным догадкам и соображениям в роде тех, которые делает составитель статей об экономических вопросах в «Голосе»; автор романа сопоставляет два рода понятий, а вследствие этого два рода жизни, каждому роду понятий соответствует особый образ жизни. Автор, например, отлично обрисовал узкие понятия, ограниченные потребности родителей Веры Павловны, а вследствие этого наглядно представил ⟨их⟩ образ жизни. В противоположность с этим бытом автор рисует картину другого, основанного на чисто рациональном воззрении на жизнь, когда люди хотят устроиться так, чтобы каждому было по возможности хорошо, чтобы натянутость отношений между ними не мешала свободному развитию каждого во всех отношениях.

Наше счастье, благополучие или благосостояние — все зависит от наших отношений: если эти отношения ложны, натянуты, то ни в каком отношении нельзя предположить, чтобы они были нормальны.

В порядке, существующем в настоящее время,— говорит хроникер,— согласно с воззрением автора романа, преобладает два рода отношений: семейные и экономические, и потому он опасается, что рецепт, по его словам, прописанный автором романа против ненормального в этих отношениях, поведет к разрушению современного порядка. Откуда у автора экономических вопросов берутся подобного рода опасения, трудно представить. Не разрушать человеческие отношения в семействе хотят те, которые указывают на недостатки нынешних отношений между людьми, а восстановить и очистить их. Неужели в самом деле нормальны, законны и рациональны те отношения, где всё основывается на внешнем исполнении долга, ложно понятого, на соблюдении и строгом охранении условных приличий. Посмотрите, в самом деле, на семейные отношения родителей Веры Павловны, как их нарисовал автор романа (а он их нарисовал

№ 5. Пятница, 4 января. 1863.

НАРОДНОЕ БОГАТСТВО

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМѢ ДНЕЙ, СЛѢДУЮЩИХЪ ЗА ВОСКРЕСЕНЬЯМИ И ПРАЗДНИКАМИ.

автора о «Что делать?» Чернышевского

верно природе и истине), и заметим даже без предубеждения, потому что автор не раз признается, что эти люди с своей точки зрения действуют последовательно и разумно. Что́ в самом деле святого или человеческого в их отношениях: своего счастья они не поняли, а потому и не могли его устроить, а, кроме того, и счастье других они хотят устраивать по своему узкому эгоистическому масштабу. Дочь они хотят выдать из ложного тщеславия за человека, который нисколько ее не уважает, который вовсе не равен ей ни по умственному, ни по нравственному развитию. На таких ли условиях основывается прочный семейный союз, за который стоит автор экономических вопросов; его ли назвать нормальным? Нет, при таком устройстве семейного быта будут всегда жертвы; жертвы ложных отношений, ложно понятого назначения человека, и, наконец, жертвы порока, который вовсе не свойствен человеку, но на который наталкивают его ложные, ненормальные, противные натуре вещей отношения. Не понимаешь, что́ могло не понравиться автору экономических статей в следующих словах г. Чернышевского, в которых высказывается ясный и простой взгляд на жизнь и человеческие отношения: «Тем людям, которых я изображаю, вы (читатели) можете быть равными, если захотите поработать над своим развитием. Кто ниже их, тот низок. Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь — это не так трудно; выходите на вольный белый свет; славно жить на нем, и путь легок и заманчив; попробуйте: развитие, развитие. Наблюдайте, догоняйте, читайте тех, которые говорят о чистом наслаждении жизнью, о том, что человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их — их книги радуют сердце, наблюдайте жизнь — наблюдать ее интересно, думать завлекательно. Только и всего. Жертв не требуется, лишений не спрашивается — их

не нужно». По нашему мнению, как мы высказали прежде, в самом деле жертв не требуется, лишений не нужно, наши идеалы и понятия должны оцениваться с точки зрения приносимой ими доли благополучия или благосостояния. Можно ли назвать наши идеалы о семейном счастье и благополучии верными, непреложными и, наконец, безукоризненными, когда мы на каждом шагу видим, что дети делаются жертвами родителей вследствие их ложного взгляда на жизнь; жены — жертвами мужей, мужья — жен и т. д. Нормальное развитие и нормальные отношения не отличались бы такими плачевными последствиями. Хроникера экономических вопросов в «Голосе» испугало, может быть, слово «трущоба», он думает, что слово трущоба значит темное, грязное место; ему показалось оскорбительным предположение, будто он и публика живут в трущобе; пусть он успокоится от таких опасений, путаницу и ненормальность отношений между людьми тоже можно назвать трущобой.

Предубеждение и наперед составленное мнение о вещах всегда затемняют и искажают истину. Автору экономических вопросов в «Голосе» показалось, что в романе «Что делать?» проповедуется полигамия, или многобрачие, во всех его видах, а нам кажется, что там на подобного рода отношения нет и намека. Автор романа хотел просто показать, что люди должны устраивать свои семейные отношения по взаимному согласию и по взаимному сочувствию друг к другу. Из рассказа ясно, что герой и героиня романа встретились случайно, их взаимное сочувствие и влечение друг к другу были вызваны обстоятельствами, которые содействовали их сближению. Когда это обнаружилось ясно, то Лопухов, как человек вполне развитой, не мог оставаться в натянутых отношениях, не хотел требовать жертв от лица, которое всегда готово было принести их для него, а удалился от этих отношений, предоставив полный простор свободной воле и действию своей жены. Где же тут многобрачие? Автора экономических вопросов смутило то, что героиня романа выходит два раза замуж, а герой его два раза женится. Но он забывает, кажется, что закон гражданский и даже церковный у некоторых народов вовсе не диких, а высокоразвитых, допускает развод и вторичное вступление в брак. Неужели и это с точки зрения хроникера «Голоса» тоже полигамия?

Вот что хотели мы сказать о том, какое значение имеют наши понятия и наши идеалы о семейной жизни на наше благосостояние. Если эти отношения ложны, ненормальны, не может быть благосостояния между отдельными, частными лицами, а из них-то слагается и целое общество, а из частных отношений весь строй общественной жизни. Если отношения между частными людьми ненормальны, то и весь общественный организм не может быть назван здоровым. От этих ложных отношений между частными людьми рождаются язвы общественные: нищета, бедность, порок и, наконец, преступления. Вот почему человек бывает только пассивно виноват в своих проступках, пороках и преступлениях. Не отдельная личность устраивает свои частные и общественные отношения, он застает их уже сложившимися. Хорошее образование и развитие, которое получает человек, дает ему возможность ясно понимать свое положение, управлять им и изменять его к лучшему, в противном случае он совершенно отдается на жертву случайных отношений, не зависящих от его воли

Перейдем теперь к чисто экономической стороне романа.

На этом кончается корректура статьи. Продолжение статьи, если оно было, не обнаружено. На корректуре надпись: «По определению Комитета к напечатанию запрещено. 14 ноября 1863 г. Цензор Александр П о с т н и к о в» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, 1851 г., д. 46).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛАВРОВА ЛИТЕРАТУРНОМУ ФОНДУ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

ПИСЬМА К. Д. КАВЕЛИНА к П. Л. ЛАВРОВУ и Е. П. КОВАЛЕВСКОМУ

Сообщение Ш. М. Левина

В дневнике А. В. Никитенко под 6 марта 1865 г. записано: «Философ Лавров предлагал Литературному фонду просить правительство о помиловании Чернышевского или о смягчении его участи. Фонд отказался ходатайствовать»[1]. По свидетельству редактора и комментатора новейшего издания этого дневника — И. Я. Айзенштока, упоминаемое Никитенко предложение Лаврова не отразилось в протоколах комитета Литературного фонда[2]. М. Н. Чернышевский отметил (возможно, на основании сообщения Никитенко, а может быть, и по семейному преданию) в своем «Библиографическом указателе статей о Н. Г. Чернышевском и о его сочинениях», приложенном к последнему тому выпущенного им собрания сочинений своего отца: «Предложение Лаврова в Литературном фонде ходатайствовать об освобождении Чернышевского»[3]. То же самое повторено М. Н. Чернышевским и в отдельном издании указателя[4]. Оба раза М. Н. Чернышевский давал ссылку на сборник, посвященный двадцатипятилетию Литературного фонда, изданный в 1883 г. (без указания страниц). Между тем первый юбилейный сборник Литературного фонда вышел в свет в конце 1884 г., но в известных нам экземплярах нет никакого упоминания по вопросу о Чернышевском[5].

Известно, что этот эпизод нашел в свое время отражение в текущем делопроизводстве III Отделения. В книге «Материалы для биографии П. Л. Лаврова» (1921) А. А. Шилов, публикуя сводку агентурных донесений секретных сотрудников III Отделения о Лаврове, поместил среди других материалов и «Справку о полковнике Лаврове» от января 1866 г. В ней под № 7 значилось: «В одном из бывших в начале 1865 г. собраний общества Литературного фонда Лавров предложил выдать денежное пособие Чернышевскому и ходатайствовать у правительства о пересмотре его дела, решенного будто бы незаконно и явно пристрастно. Но председатель общества отклонил предложение Лаврова»[6]. Исходя из того, что в дневнике Никитенко предложение Лаврова было отмечено 6 марта, А. А. Шилов понял, что и само предложение было внесено в этот день. Но, судя даже отчасти по редакции самой записи Никитенко, а в особенности по не публиковавшимся до сих пор письмам Кавелина, о которых идет речь ниже, Никитенко узнал и записал факт с опозданием.

Кавелин касается интересующего нас вопроса в двух письмах от 8 февраля 1865 г., из которых одно адресовано Лаврову, а другое — председателю Литературного фонда Егору Петровичу Ковалевскому[7].

В своем обращении к Лаврову Кавелин писал:

«Очень мне досадно, что выполнением дворянских обязанностей, именно уплатою процентов Опекунскому совету за заложенное имение, я был лишен возможности и удовольствия видеться с вами и переговорить лично. У нас сегодня свой Комитет по Министерству финансов[8] и потому не могу быть у Ковалевского. Но заеду к нему в 6 часов и если не застану, то составлю записку с убедительнейшей просьбой сделать, что может. Несчастный Чернышевский! — Для успеха дела настоятельно советую вам не делать этого вопроса предметом комитетских обсуждений и заявлений. Последние, напротив, могут существенно повредить страдальцу. Во всех отношениях лучше и вернее вести это дело *совершенно* приватным образом чрез Ковалевского, который — я ни одну минуту не сомневаюсь в этом — будет распинаться, чтобы помочь несчастному»[9].

Личная встреча с Ковалевским, очевидно, не состоялась, и Кавелин оставил ему следующее письмо:

Глубокоуважаемый Егор Петрович!

Вести о Чернышевском крайне печальные. Он крайне, *безнадежно* болен и находится в таком месте, где нет ни помещения, ни пищи, ни ухода, нужных для больного. В 50-ти верстах от теперешнего места его ссылки все это есть. Не можете ли вы попросить кн. Долгорукова, чтоб его перевели, несчастного, в это последнее место? Вопрос этот хотят предложить сегодня в общем заседании старого и нового комитета и ревизионной комиссии Литературного фонда. Мне бы казалось это неловким, потому что вопрос вовсе не комитетский. Но тем энергичней, тем сильней можно и должно просить об этом снисхождении к несчастному Чернышевскому частным образом, и никто лучше и успешнее не в состоянии этого сделать, как вы. И ваше положение в обществе, и служба, и ваш характер, так сказать, литературного старосты[10] дают вам полную возможность просить о смягчении страданий, может быть последних, человека, которого вы знали.— Просить вас об этом нечего, потому что в такого рода делах никому не приходится побуждать вас. Вы всегда сами, слушаясь внушений вашего доброго сердца, идете впереди всякой просьбы. Я только заявляю, что знаю о судьбе страдальца, о котором вас будут просить сегодня ввечеру. К величайшему горю, у меня сегодня Каботный комитет с 7-ми часов. Попробую повидаться с вами в 6 или в 7-м. Если же не застану, то оставлю эту записку. Будьте здоровы. Душевно преданный и глубоко почитающий вас

К. Кавелин

В то время, к которому относятся эти письма, Чернышевский, как известно, находился в Кадае (Забайкальская область, Нерчинский горный округ). Он был доставлен туда в августе 1864 г. и ввиду тяжелого состояния здоровья помещен под караулом в лазарет, где содержался шесть месяцев — до января 1865 г.[11] Вопрос о Чернышевском был поставлен в Литературном фонде приблизительно в те недели, когда Чернышевский вышел из лазарета. Были ли в Петербурге в точности известны тогда подробности об условиях пребывания Чернышевского на каторге в Забайкалье, трудно сказать. Письма Чернышевского этого времени не сохранились. Отрывочные сведения о Чернышевском в письмах из Петербурга в Саратов членов семьи Пыпиных отличаются сравнительно (а иногда даже весьма) оптимистическим характером[12]. Так, П. Н. Пыпина 11 февраля 1865 г. сообщала родителям в связи с получением письма от Чернышевского: «Он здоров так, что желает всем нам такого здоровья»[13]. Но, видимо, в столицу доходили и известия, более отвечавшие действительному положению вещей,— известия, исходившие не от самого Чернышев-

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НА КАТОРГЕ

Портрет маслом польского художника А. Сохачевского

Фрагмент картины «Прощание с Европой», 1883—1887 гг.

Исторический музей, Варшава

ского[14]. Эти тревожные сообщения, вероятно, и легли в основу письма Кавелина к Ковалевскому, причем непосредственным информатором Кавелина в данном случае мог явиться Лавров.

Лавров именно и был, судя по всему, инициатором (бесспорно, по крайней мере, официальным инициатором) возбуждения вопроса в Литературном фонде о помощи Чернышевскому. Имеющиеся скудные источники о содержании предложения Лаврова совпадают, как мы видели, не вполне. Никитенко говорит о «помиловании Чернышевского или о смягчении его участи», М. Н. Чернышевский более или менее сходно — об «освобождении Чернышевского», агентура III Отделения — о денежном пособии и пересмотре дела. В письме Кавелина к Ковалевскому, однако, идет речь всего лишь о необходимости перевода Чернышевского в место, более отвечающее состоянию его здоровья. Ясно только, что этот вопрос принимал — в той или иной степени — характер пусть негласного, но общественного выступления и даже — если верить данным III Отделения — прямо протеста (ходатайство о пересмотре дела Чернышевского, как решенного «незаконно» и «явно пристрастно»). Ясно и то, что Кавелин, готовый содействовать хлопотам об облегчении участи «несчастного страдальца», опасался всяких попыток придать делу общественный характер и уговаривал вести его исключительно частным («приватным») образом.

К сожалению, остается пока неизвестным, как протекало дело в Литературном фонде 8 февраля 1865 г.[15], было ли председательствующим Ковалевским допущено его формальное (или хотя бы неформальное) обсуждение, соответствует ли действительности утверждение Никитенко,

что Фонд (именно Фонд как таковой) отказался ходатайствовать, и не вернее ли — как мы склонны думать — указание справки III Отделения, что лично председатель «отклонил предложение Лаврова». Нет также сведений о том, согласился ли Ковалевский хотя бы с просьбой Кавелина принять на себя частное — и более чем скромное — ходатайство перед главным начальником III Отделения кн. В. А. Долгоруковым. Во всяком случае, каких-либо изменений в положении Чернышевского не последовало.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. В. Никитенко. Дневник в трех томах, т. II. 1858—1865. Гослитиздат, 1955, стр. 501.

[2] Там же, стр. 643.

[3] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. X, ч. 2. СПб., 1906, раздел «Приложения», стр. 135.

[4] «О Чернышевском. Библиография. 1854—1910». Составил М. Н. Чернышевский. Изд. 2, исправл. и значит. дополненное. СПб., 1911, стр. 20.

[5] «XXV лет. 1859—1884. Сборник, изданный комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». СПб., 1884 (предисловие датировано ноябрем 1884 г.).

[6] «Материалы для биографии П. Л. Лаврова». Под ред. П. Витязева, вып. 1. Пг., 1921, стр. 87.

[7] Письмо К. Д. Кавелина к П. Л. Лаврову хранится в архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ф. 198, П. Л. Лаврова, оп. 4, ед. хр. 201); письмо его же к Е. П. Ковалевскому — в Рукописном отделе ГПБ (архив Е. П. Ковалевского, ед. хр. 10, лл. 10—11).

[8] По возвращении в конце 1864 г. из-за границы, Кавелин работал, на началах частного найма, в Департаменте неокладных сборов Министерства финансов, возглавлявшемся его другом К. К. Гротом.

[9] Во второй половине письма Кавелина к Лаврову говорилось: «Деньги за билет, 12 руб., я передал Утину ⟨очевидно, Борису Исааковичу.— *Ш. Л.*⟩ с просьбой вручить их вам. Дела у меня, Петр Лаврович, так много, и казенного и своего домашнего, что, к величайшему прискорбию, я могу только денежными взносами способствовать делу, которому всячески и во всех отношениях вполне сочувствую. Поэтому отказываюсь даже от кандидатства на члены контролирующего комитета, в котором не могу принимать деятельного участия по недостатку времени; а *считаться* членом не хочу. У нас только тогда и пойдут порядочно общественные предприятия, когда должности перестанут быть синекюрами и почетом и станут наполняться людьми действительно работающими. Я на свою долю твердо решился держаться этого правила, хоть в отношении к себе». Здесь могла идти речь об «Обществе поощрения женского труда», относительно устройства которого тогда усиленно хлопотал Лавров.

[10] Егор Петрович *Ковалевский* (1811—1868), исследователь-путешественник и дипломат, бывший директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел, потом член Совета этого Министерства и сенатор, являлся с основания Литературного фонда его председателем.

[11] А. М. Черников. Н. Г. Чернышевский в Сибири. (Годы каторги и ссылки). Чита, 1955, стр. 16—17; Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., 1953, стр. 339—345.

[12] «Чернышевский в Сибири. Переписка с родными», вып. 1. СПб., 1912, стр. XVI—XVII; Н. М. Чернышевская. Указ. соч., стр. 342 и след.

[13] Н. М. Чернышевская. Указ. соч., стр. 345.

[14] Е. Н. Пыпина, сообщая 25 марта 1865 г. родителям, что от Чернышевского «не особенно давно, но и не особенно недавно было известие», добавляла: «Не от него прямо тоже случилось слышать о нем» (Н. М. Чернышевская. Указ. соч., стр. 346).

[15] В комитет Литературного фонда двух составов, о которых говорит в письме к Ковалевскому Кавелин, входили в 1864—1865 и 1865—1866 гг.: Е. П. Ковалевский, Б. И. Утин, В. П. Гаевский, Ф. М. Достоевский, К. Д. Кавелин, В. Ф. Корш, Н. А. Некрасов, П. П. Пекарский, А. Н. Пыпин, Я. К. Грот и др. («Юбилейный сборник Литературного фонда. 1859—1909». СПб., 1910, стр. 73).

МЕСТА КАТОРГИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО В РИСУНКАХ ПОЛЬСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ 1860-х ГОДОВ

Сообщение Ф. Н. Радзиловской*

В середине 1860-х годов в Восточной Сибири находилось много политических ссыльно-каторжных — русских и поляков. Для наблюдения за ними в Иркутске при генерал-губернаторе Восточной Сибири М. С. Корсакове было образовано «Временное управление для надзора за политическими преступниками».

Одним из видов надзора был просмотр переписки. Все письма политических ссыльных стекались к майору Купенкову, возглавлявшему «Временное управление». После тщательного просмотра Купенков отсылал эти письма со своими замечаниями в III Отделение, где их еще раз просматривали и только тогда рассылали по принадлежности. Те письма, в которых III Отделение находило что-либо предосудительное, задерживались и оставлялись в архиве. Множество таких писем сохранилось в деле III Отделения «О переписке политических преступников с их родственниками»[1]. Среди них нами обнаружено сорок шесть рисунков с изображением мест, где отбывал каторгу Чернышевский,— Иркутского Усолья, Байкала, Кадаи, а также бытовые зарисовки, сделанные в Александровском заводе. Все они выполнены с натуры в 1865—1866 гг., то есть в то время, когда в этих местах жил Чернышевский. Об этом свидетельствуют даты на рисунках и визы о просмотре их во «Временном управлении».

Рисунки представляют значительный интерес, так как сохранившиеся письма, документы и воспоминания дают далеко не полную картину условий, в которых находился в то время Чернышевский, а изображения мест, где он отбывал каторгу, до сих пор почти совсем не были известны. Исключение составляют лишь зарисовки Кадаи, которые вывезла в 1866 г. О. С. Чернышевская, приезжавшая на свидание к мужу. Найденные рисунки в значительной степени восполняют этот пробел. Теперь мы располагаем не только новыми изображениями Кадаи, но и целым рядом видов Иркутского Усолья и Байкала, а также зарисовками из быта местного населения Забайкалья. Мы ограничиваемся публикацией двадцати из найденных нами рисунков, т. к. остальные 26 представляют собою лишь копии первых, отличаются от них незначительными деталями, ничего нового, по сравнению с ними, не дают.

---

* Смерть не позволила автору довести публикуемую здесь работу до конца. В распоряжении «Литературного наследства» оказалась лишь предварительная редакция статьи. Доработка статьи произведена Т. Г. Динесман.

Рисунки сделаны на листах почтовой бумаги в виде заставок к письмам. На многих из них есть надписи, а на оборотной стороне — отрывки писем на польском, а иногда на немецком языке. Это говорит о том, что большинство рисунков (а может быть, и все) сделаны ссыльными поляками. Письма написаны разными почерками. По-видимому, почтовой бумагой с рисунками пользовались для своей корреспонденции не только сами авторы-художники, но и их товарищи.

III Отделение считало недопустимым, чтобы изображения мест ссылки и каторги попадали на волю, поэтому рисунки вырезались из писем и оставлялись в архиве.

Большая часть найденных нами рисунков — а именно тридцать три — относится к Иркутскому солеваренному заводу (Иркутское Усолье). Здесь Чернышевский пробыл с 10 по 22 июля 1864 г. 12 января 1871 г. он писал жене: «Я приехал в Усолье 10 июля 1864 года; с этого дня считается начало срока...» (XIV, 490).

Село Усолье с соляными источниками и солеваренным заводом расположено на берегу Ангары и близлежащих островах на расстоянии около семидесяти километров на северо-запад от Иркутска и приблизительно в трех километрах от большого тракта, соединявшего Иркутск с Томском. До 1765 г. соляной промысел Усолья состоял в ведении иркутского Вознесенского монастыря. Начиная с 1765 г., с переходом промысла в казенное управление, здесь стал применяться труд ссыльно-каторжных. Нестерпимый жар, отравление соляными парами, дым, соль, растравлявшая малейшие порезы, делали работу в солеварнях наиболее тяжелой из всех каторжных работ.

Все рисунки, изображающие Усолье, сделаны Станиславом Катерла, осужденным на каторгу за участие в польском восстании 1863 г. [2]; бо́льшая часть из них (двадцать один) подписана его именем или инициалами. В тех же случаях, когда подпись отсутствует, авторство Катерла сомнений не вызывает: почти все рисунки выполнены тушью, в одинаковой манере, а многие повторяют друг друга с едва заметными отклонениями в деталях (главным образом варьируется стофаж). Исключение составляют только два рисунка с изображением казармы и солеварен. Один из них воспроизведен в т. 63 «Лит. наследства», 1956, стр. 323. Небрежность выполнения, иные пропорции, отсутствие перспективы и ряд других признаков невыгодно отличают его от остальных изображений Усолья, заставляя сомневаться в авторстве Катерла.

Очевидно, другому автору принадлежит и «Вид Усольского завода с западной стороны» (см. на стр. 143) — единственный акварельный рисунок, который и по технике, и по манере исполнения резко выделяется среди остальных видов Иркутского Усолья.

Собранные вместе, все эти рисунки дают довольно полное представление о том, как выглядели Иркутский солеваренный завод и село Усолье в середине 60-х годов прошлого века. Рисунки изображают, главным образом, различные виды острова Варничного на Ангаре, где было много соляных источников и где сосредоточивалось все техническое устройство промысла, а также виды села Усолье, расположенного на левом берегу реки. Некоторые из них сопровождаются пояснениями, в значительной степени увеличивающими их документальную ценность.

Рисунок на стр. 143 изображает, как это видно из надписи, сделанной наверху, «Вид Усольского завода с западной стороны». Подробные пояснения, сопровождающие его, позволяют довольно отчетливо представить панораму завода, расположенного посреди реки на Варничном острове, а также назначение отдельных зданий. Приводим в русском переводе эти пояснения: «1, 2—соляные склады; 3, 4, 5, 6 и т. д., откуда идет пар, одиночные варильни соли — их десять; 8 — перевоз в деревню;

СОЛЕВАРЕННЫЙ ЗАВОД В СЕЛЕ ИРКУТСКОЕ УСОЛЬЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ МЕСТО КАТОРЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Вид с левого берега Ангары на Барничный остров

Рисунок акварелью польского политического ссыльного (имя не установлено), 1866 г.

Перевод надписей на рисунке см. в тексте на стр. 142—143

Центральный исторический архив, Москва

9 — обрывистый берег Ангары, на котором расположено все селение. Немного левее цифры 9, за рисунком, стоит заводская больница. 10 — остров, за ним другие. 11 — главная возвышенность, вместе с 9 создающая русло Ангары. 12 — соляной источник, откуда берут соляной рассол». На самом рисунке надписи: «река Ангара» (стрелка указывает направление течения), «казармы», «стража».

Тот же вид на завод, но взятый в несколько ином ракурсе, изображен на другом рисунке, к сожалению, лишенном пояснений (см. на стр. 145, верхний рисунок). На нем не видно левого берега Ангары, но панорама островов развертывается шире и детальнее, благодаря чему этот рисунок хорошо дополняет предыдущий.

«Вид соляных складов в Иркутском солеваренном заводе» (см. там же, нижний рисунок) изображает Барничный остров с противоположной стороны.

Панорама села, расположенного на левом берегу Ангары (см. на стр. 146, верхний рисунок), продолжает общую картину Иркутского Усолья. Подпись под рисунком «Вид Иркутского солеваренного завода (в Сибири), со стороны больницы» указывает на то, что этот вид открывался со стороны больницы, которая находилась на том же левом берегу реки (см. ниже рисунки на стр. 147).

Рисунок, датированный 2 июля 1866 г., с подписью: «Вид на село Усолье с острова» (см. на стр. 146, средний рисунок) изображает вид села, открывающийся со стороны острова. Он может служить продолжением панорамы, знакомой нам по предыдущему рисунку. Двухэтажный домик на берегу, пристань и роща, которые там едва видны на заднем плане, здесь изображены вполне отчетливо. К сожалению, не сохранились пояснения, которыми, судя по цифрам на изображении, оно сопровождалось. Но на обороте другого рисунка, который совершенно точно повторяет этот и датируется тем же числом, читаем: «Казарма в Усолье на Ангаре с видом дома, в котором мы живем, и огорода, в котором работаем. Огород совсем неплохой, а в нем бани с солеными ваннами».

«Казарма в Усолье» — это, очевидно, длинное здание с крыльцом, которое видно на заднем плане слева от рощи. Такое предположение подтверждается тем, что в деле III Отделения хранится шесть рисунков, изображающих это здание крупным планом и точно повторяющих друг друга с небольшими вариациями в отношении стофажа (см. на стр. 146 нижний рисунок, датированный 1/13 февраля 1866 г.). Это свидетельствует о том, что оно имело важное значение в жизни ссыльных, такое, которое могла иметь лишь казарма. Не случайно изображение другой казармы, расположенной на острове Барничном, встречается в деле в шестнадцати вариантах. Все эти варианты почти точно повторяют друг друга, поэтому мы воспроизводим только один из них, датированный 12 июля 1865 г. (см. на стр. 147, верхний рисунок). Это вид на казарму и солеварни на острове, открывающийся с левого берега со стороны села. По воспоминаниям одного из польских повстанцев, эта казарма служила местом заключения ссыльных [3].

Возможно, что здесь содержался и Чернышевский во время своего пребывания в Усолье.

На обороте рисунка — отрывок из письма на польском языке: «Посылаю в начале письма вид нашего острова, со стороны Усолья снятый: в самой середине длинное строение — это наша казарма, где я занимаю место между 3-м и 4-м окном, рядом с левой стороны пекарня для рабочих, перед ней и дальше идет желоб на столбах, по которому соляная вода доходит до варильни, а вдали видно верх судна на Ангаре, дальше за ним можно увидеть больницу...».

Больница, о которой идет здесь речь, находилась на левом берегу Ангары на высоком холме, с которого открывался широкий вид на реку, острова и село Усолье (см. рис. на стр. 145 и стр. 146). Оба изображения больницы, которыми мы располагаем (см. стр. 147, средний и нижний рисунки), сделаны с Варничного острова. Под рисунками подписи: «Вид больницы в Иркутском солеваренном заводе» и «Вид солеварни и больницы в Иркутском солеваренном заводе».

Интересны и другие изображения отдельных зданий: школы (см. на стр. 148, верхний рисунок) и католического костела (там же, нижний рисунок).

Вторая группа рисунков, задержанных в III Отделении, изображает Байкал у истоков Ангары. Отсюда начинался тяжелый и долгий путь в Забайкалье, который Чернышевский проделал летом 1864 г. 23 июля он был отправлен из Иркутска в Нерчинское горное управление, куда прибыл 3 августа, проехав за это время около 1500 километров.

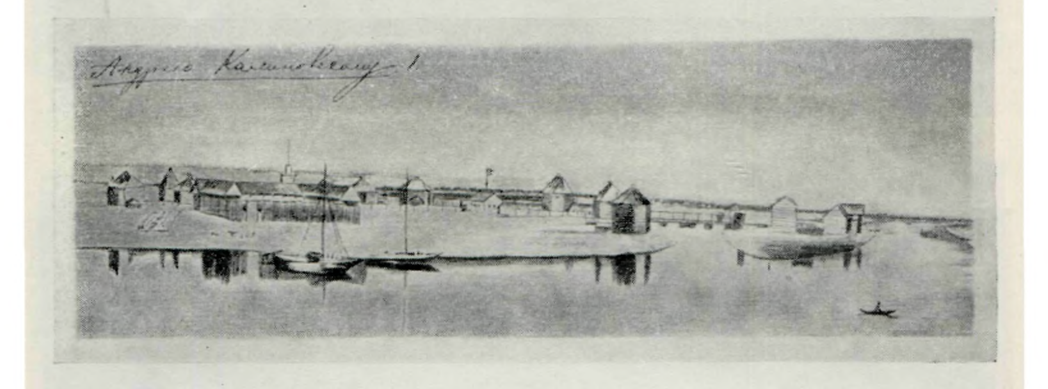
Насколько тяжел был этот путь, мы знаем из писем Чернышевского к жене, собиравшейся приехать к нему на свидание. 19 апреля 1865 г. Чернышевский писал ей из Кадаи: «Подумай, подумай, как велика дорога, как она утомительна ⟨...⟩, умоляю тебя, подумай о дальности, об утомительности пути...» (XIV, 490).

В другом письме, от 18 апреля 1868 г., Чернышевский вновь предостерегает жену: «...эта дорога через Забайкалье пугает меня за твое здоровье. Я умолял бы тебя не подвергаться такому неудобному странствованию по горам и камням, через речки без мостов, по пустыням, где не найдешь куска хлеба из порядочной пшеницы» (XIV, 496).

Рисунков с изображением Байкала всего два. Они выполнены карандашом в одной манере и почти повторяют друг друга. Разница лишь в том, что на одном из них, имеющем подпись «Вид озера Байкал у истоков реки Ангары» (см. на стр. 149), по сравнению с другим едва заметно изменен ракурс, и все линии носят более расплывчатый характер. Однако то, что все подробности пейзажа совпадают совершенно точно (в частности вид и расположение судов), заставляет полагать, что оба рисунка сделаны

не только одним лицом, но и в один день и что дата «27 октября 1865 г.», которой помечен второй рисунок, относится и к первому. Таким образом, мы располагаем теперь изображением Байкала, сделанным всего спустя год с небольшим после того, как через эти места проезжал Чернышевский. Автор этих рисунков остался неизвестен. Монограмма «I. В.» на одном из них не дает ответа на этот вопрос.

Все остальные зарисовки относятся к Нерчинской каторге 1865—1866 гг.



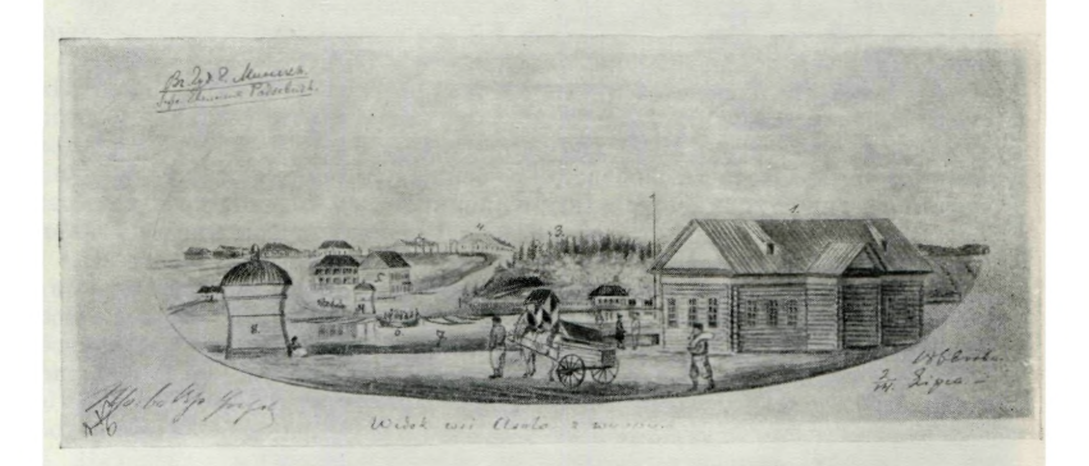
СОЛЕВАРЕННЫЙ ЗАВОД В СЕЛЕ ИРКУТСКОЕ УСОЛЬЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ МЕСТО КАТОРЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Вид с левого берега Ангары на Барничный остров (верхний рисунок) и вид на тот же остров с правого берега реки (нижний рисунок)

Рисунки тушью польского политического ссыльного Ст. Катерла, 1865—1866 гг.

Центральный исторический архив, Москва

Огромный треугольник между реками Шилкой и Аргунью образовывал Нерчинский горно-заводской округ, издавна славившийся серебро-свинцовыми рудниками. Здесь, в дикой гористой местности, изрезанной речными долинами, было расположено семь каторжных тюрем, составлявших в 60-х годах прошлого века Нерчинскую каторгу: Александровский завод, Акатуевский рудник, Алгачи, Клечковский рудник, Кутомарский завод, Кадаинский и Зерентуйский рудники.



СЕЛО ИРКУТСКОЕ УСОЛЬЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ МЕСТО КАТОРЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

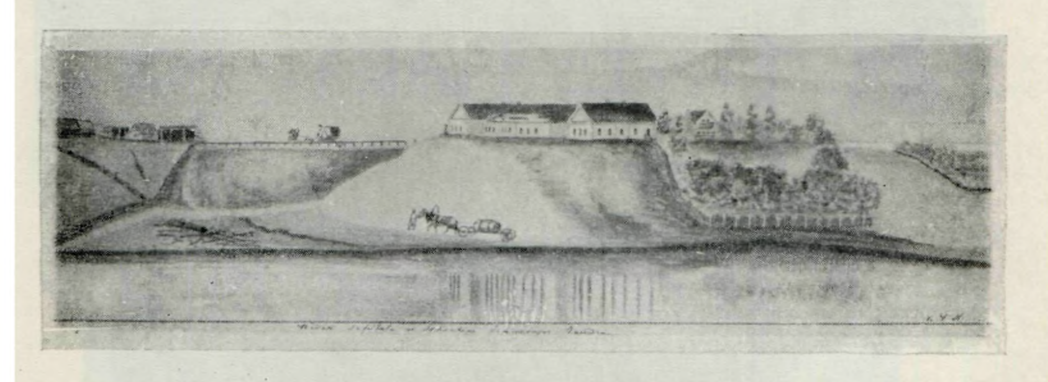
Вид на село с левого берега Ангары. Посреди реки — Барничный остров (верхний рисунок)

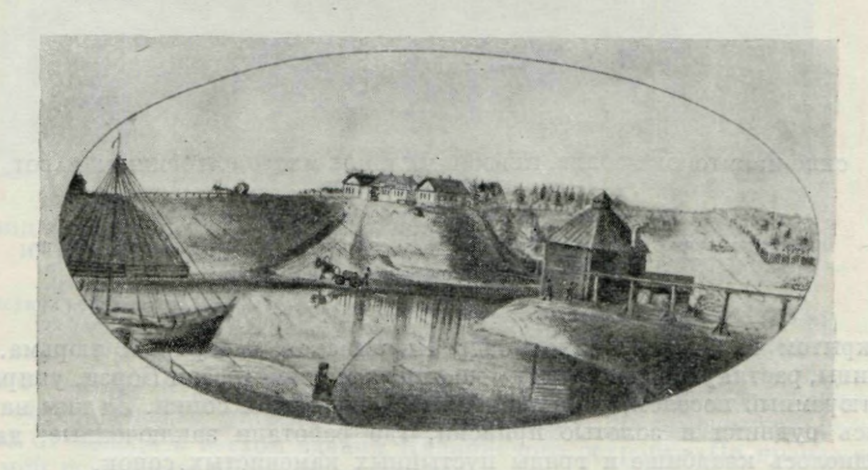
Вид с Барничного острова (средний рисунок). Казарма (нижний рисунок)

Рисунки тушью польского политического ссыльного Ст. Катерла, 1865—1866 гг.

Перевод подписей под рисунками см. на стр. 144

Центральный исторический архив, Москва





СОЛЕВАРЕННЫЙ ЗАВОД В СЕЛЕ ИРКУТСКОЕ УСОЛЬЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ МЕСТО КАТОРЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Казарма на Барничном острове. Вид с левого берега Ангары со стороны села (верхний рисунок).

Больница: вид с Барничного острова (средний и нижний рисунки)

Рисунки тушью польского политического ссыльного Ст. Катерла, 1865—1866 гг.

Перевод подписей под рисунками см. на стр. 144

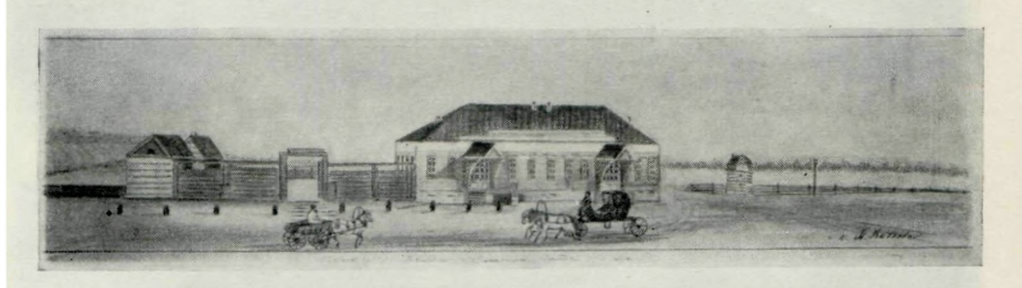
Центральный исторический архив, Москва

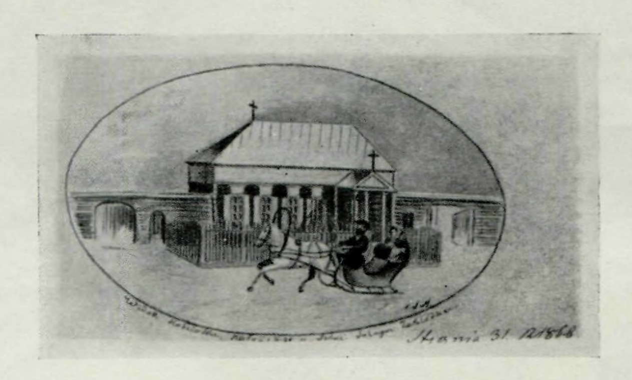
В первой половине XIX в. здесь были декабристы, участники польского восстания 1830 г. и петрашевцы.

Позднее здесь отбывали каторгу многие русские революционеры, осужденные по процессам 1860-х годов, и участники польского восстания 1863 г.

В августе 1864 г. был доставлен в Нерчинский округ и водворен в Кадаинскую каторжную тюрьму Чернышевский.

Казачье село Кадая находилось в нескольких километрах от реки Аргуни, невдалеке от границы. Здесь, при серебро-свинцовом руднике,





СЕЛО ИРКУТСКОЕ УСОЛЬЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ МЕСТО КАТОРЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Школа (верхний рисунок). Костел (нижний рисунок)

Рисунки тушью польского политического ссыльного Ст. Катерла, 1865—1866 гг.

Центральный исторический архив, Москва

открытом в 1757 г., находилась Кадаинская каторжная тюрьма. Три улицы, растянувшиеся почти на километр в долине реки Борзи, упирались в тюремный поселок, расположенный у подножия сопки. За ним начинались рудники и золотые прииски, где работали заключенные; дальше виднелось кладбище и гряды пустынных каменистых сопок.

Чернышевский пробыл в Кадае с 4 августа 1864 г. до 17 сентября 1866 г., когда был переведен в Александровский завод. Сначала он долгое время находился в лазарете, а по выходе из него, в январе 1865 г., был поселен в остроге — маленьком домике, расположенном в 50 шагах от большой тюрьмы, который служил и местом заключения, и кордегардией. Здесь размещались те, кого считали нужным изолировать от остальных заключенных[4].

В то время, когда Чернышевский был в Кадае, там находилось более ста политических заключенных — участников польского восстания 1863 г.[5] От них-то и стремились отделить Чернышевского местные вла-

сти, поместив его в остроге, тогда как другие содержались в общей тюрьме.

Острог находился на склоне горы невдалеке от шахты, где производились разработки серебро-свинцовой руды. Это был небольшой деревянный домик, мало пригодный для жилья, что особенно чувствовалось во время долгих суровых зим. Даже сам комендант Нерчинской каторги генерал-майор Шилов указывал в своих донесениях на плохое состояние зданий Кадаинской и других тюрем. В докладе начальнику III Отделения кн. В. А. Долгорукову от 3 февраля 1865 г. он писал: «По ветхости Акатуевской тюрьмы стены промерзают внутри, и в помещениях Александровского завода и Кадаинского рудника во многих камерах страшный холод от небрежного устройства»[6]. По-видимому, Чернышевский очень страдал от холода в ветхом здании Кадаинского острога. «По правде говоря, мой ревматизм довольно сильно чувствовал во время здешних зимних бурь плоховатость стен кадаинского моего домика...»,— писал он жене 2 октября 1866 г. (XIV, 491).

«ВИД ОЗЕРА БАЙКАЛ У ИСТОКОВ РЕКИ АНГАРЫ». ЗДЕСЬ ПРОХОДИЛ ПУТЬ ИЗ ИРКУТСКА В НЕРЧИНСК, ПО КОТОРОМУ ЛЕТОМ 1864 г. ПРОЕЗЖАЛ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Рисунок польского политического ссыльного (имя не установлено), ⟨27 октября 1865 г.⟩
Центральный исторический архив, Москва

Изображение «кадаинского домика» есть среди рисунков, привезенных О. С. Чернышевской из Сибири. Кроме того, ею привезены еще несколько зарисовок, изображающих различные постройки тюремного поселка, назначение которых неизвестно.

В деле «О переписке политических преступников» хранится пять рисунков с видами Кадаи. Автор их остается неизвестным. Но сходство в сюжетах, технике и манере исполнения между этими рисунками и теми, которые привезла О. С. Чернышевская, заставляет полагать, что анонимный автор их и неизвестный «сотоварищ» Чернышевского[8], сделавший

ВИДЫ ТЮРЬМЫ В КАДАЕ. В 1864 — 1866 гг. В КАДАЕ ОТБЫВАЛ КАТОРЖНЫЕ РАБОТЫ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Рисунки польского политического ссыльного (имя не установлено), 1866 г.

Перевод надписей на рисунках см. на этой стр.

Центральный исторический архив, Москва

зарисовки в альбом его жены,— одно лицо. Польские надписи и отрывки из писем говорят о том, что он — участник польского восстания. Даты (24 февраля, 3 марта, 15 июня и 1 июля 1866 г.) свидетельствуют, что рисунки сделаны в то время, когда в Кадае находился Чернышевский.

Хотя эти рисунки в очень значительной степени повторяют те, которые известны по альбому О. С. Чернышевской, тем не менее, они дают кое-что новое. Становится известным назначение одного из зданий, зарисованных в альбоме Ольги Сократовны. Три из числа найденных нами рисунков повторяют его изображение. На одном из них, с датой: «1/13 июля 1866 г.» и монограммой «L. W.», есть надпись: «Вид нашей тюрьмы» (см. верхний рисунок). Другой (от 15 июня 1866 г.) точно повторяет его. На третьем, датированном 24 февраля 1866 г., то же здание изображено не отдельно, как на предыдущих рисунках, а на фоне сопки с маленьким домиком на склоне (см. нижний рисунок). Сбоку надпись на польском языке: «Тюрьма, в которой сейчас нахожусь. Домик на горе — это шахта, куда мы ходим добывать серебряную руду. Живу в камере, где окно направо, двор, как видишь, огорожен, и туда можно выйти без конвойного».

Следующий рисунок (см. на стр. 151, верхний рисунок) изображает сопку, на которой расположена шахта рудника. Такого изображения в альбоме О. С. Чернышевской нет, поэтому оно особенно интересно. На склоне этой сопки находился дом, где жил Чернышевский [9].

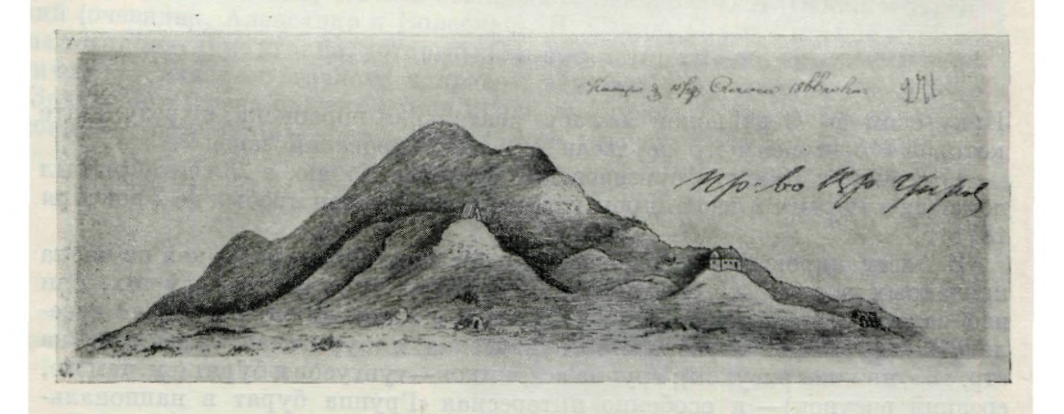
Последняя зарисовка из числа связанных с Кадаей (см. на стр. 151, нижний рисунок) очень напоминает рисунок из альбома Ольги Сократовны, но панорама сопки открывается здесь гораздо шире. Рисунок датирован 3 февраля 1866 г. На полях — отрывок письма на немецком языке: «Горячо любимая матушка! Это тюрьма, в которой я прожил весь

прошлый год. Два окна, обозначенные №№ 1 и 2,— это помещение, где *спали мы с кузеном.* У *окна* № 2 *стояла моя кровать. Домик на горе...».* Далее письмо обрывается — продолжение срезано и, возможно, отправлено по назначению.

Кроме перечисленных рисунков, мы воспроизводим также две виньетки на листах почтовой бумаги. Они изображают различные виды Кадаи — сопку и тюремные постройки (см. на стр. 152 — 153). Рисунки эти принадлежат к числу привезенных О. С. Чернышевской из Сибири и хранятся в музее Чернышевского в Саратове.

После выстрела Каракозова власти были крайне озабочены тем, чтобы в тюрьмах Восточной Сибири «преступники содержались более благонадежно»[10]. В частности, были приняты энергичные меры по усилению надзора за Чернышевским. Опасались не только побега Чернышевского, но и того влияния, которое он мог оказывать на политических заключенных Кадаинской тюрьмы. В этой связи интересно письмо возглавлявшего «Временное управление для надзора за политическими преступниками» майора Купенкова, который, выполняя поручение генерал-губернатора Восточной Сибири Корсакова, сообщал нерчинскому коменданту 3 июня 1866 г.: «Его высокопревосходительство Михаил Семенович поручил мне просить вас обратить особенное внимание на политического преступника Чернышевского, как относительно содержания его, так и надзора за поведением, настроением и влиянием, какое он оказывает на товарищей...»[11].

По поводу усиления надзора за Чернышевским между Петербургом,



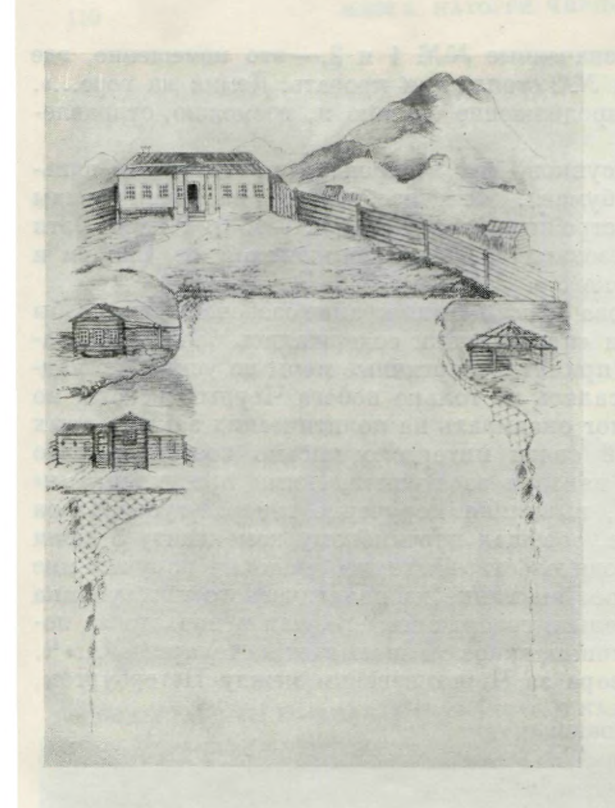
ВИДЫ КАДАИ. В 1864–1866 гг. В КАДАЕ ОТБЫВАЛ КАТОРЖНЫЕ РАБОТЫ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Сопка, на которой был расположен рудник (верхний рисунок). Тюрьма и рудник (нижний рисунок)

Рисунки польского политического ссыльного (имя не установлено), 1866 г.

Перевод надписи на рисунке см. на 150—151 стр

Центральный исторический архив, Москва



ВИДЫ КАДАИ. ВИНЬЕТКА НА ПОЧТОВОЙ БУМАГЕ

Рисунок польского политического ссыльного (имя не установлено), 1866 г.

Дом-музей Н. Г. Чернышевского. Саратов

Иркутском и Нерчинском велась деятельная переписка, в результате которой Чернышевского перевели в Александровский завод [12].

17 сентября 1866 г. Чернышевский покинул Кадаю, а 23 сентября был помещен в тюрьму Александровского завода [13], где он пробыл до 7 декабря 1871 г.

В Александровском заводе сделаны последние пять рисунков из числа найденных в деле III Отделения. В отличие от всех предыдущих, они изображают не виды зданий и не пейзажи, а сцены из быта местного населения — бурят и тунгусов. Это «Тунгусская и бурятская езда» (см. на стр. 155, нижний рисунок); группа всадников—тунгусов и бурят (см. там же, средний рисунок)— и особенно интересная «Группа бурят в национальных костюмах, продающих чай» (см. там же, верхний рисунок). Последний рисунок имеется в трех вариантах. На одном из них польская надпись: «г. 1865. Октября... Александровский завод». Не подлежит сомнению принадлежность всех пяти рисунков, выполненных в одной манере, одному автору.

По сравнению с предыдущими рисунками эти зарисовки отличаются бо́льшим мастерством исполнения. Надписи на них говорят о польском происхождении автора, но имени его установить не удалось. Следует отметить, что по манере они очень сходны с зарисовками Байкала и, вероятно, сделаны тем же лицом. Это подтверждается и наличием на рисунке «Группа бурят...» той же монограммы «I. B.», что и на изображении Байкала.

Последний рисунок (см. на стр. 156), на котором следует остановиться, представляет собой план общей камеры, где помещалось девять ссыльных поляков. Надпись слева «План моей камеры», фамилии ее обитателей и пояснения к плану написаны неразборчивым почерком на польском языке.

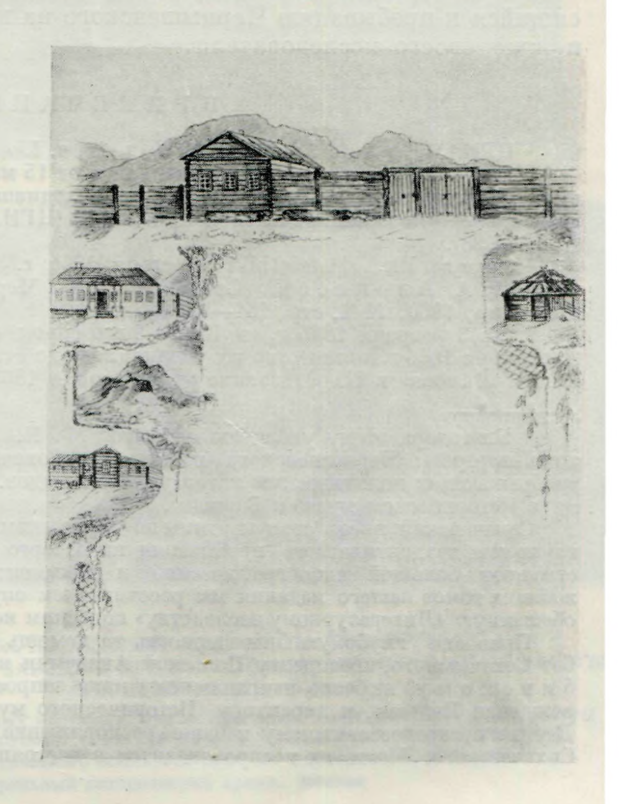
В камере две двери — слева и справа. На одной из них (правой), смежной с соседней камерой, имеется надпись: «Дверь в камеру, где по-

мещен Николай». Не исключена возможность, что «Николай» — это Чернышевский, которого обычно изолировали от других.

На плане не обозначено, к какой из тюрем Восточной Сибири он относится.

Но отрывки из писем, сохранившиеся на других рисунках, помогают установить, что это чертеж одного из помещений в казарме Иркутского Усолья. Так, на обороте рисунка, изображающего вид Иркутского завода, читаем: «Все неженатые живем вместе в казарме, состоящей из одной огромной камеры, светлой и совсем приятной на вид. Делимся в камере на разные группы. Мой постоянный товарищ — неизвестный вам Феликс Зенькович из Гродненской. Занимаем с ним комнатку, разумеется без стен и потолка, размером, нужным на две кровати, два шкапчика и плюс еще три квадратных аршина для стула и чтоб можно было повернуться. Мы с ним являемся как бы филиалом большого чайного и товарищеского кружка, в который входят Александр, его двоюродный брат Болеслав, К. Дзекон, Стульгинский, старый знакомый папы Ясь Свида и двое молодых людей из Царства Польского. Собираемся постоянно на чай и на беседу; стол общий — за два рубля».

Если сравнить этот рассказ с надписями на плане и с пояснением к нему, станет ясно, что там и здесь речь идет об одном и том же, то есть о жизни в казарме Иркутского Усолья. На плане обозначены предметы, из которых состоит обстановка комнаты, и имена ее обитателей. Достаточно сопоставить их с именами, перечисленными в цитированном выше письме, чтобы убедиться в том, что они совпадают: Зенькович, А. Оский и Б. Оский (очевидно, Александр и Болеслав), Я. Свида, Стульг⟨инский⟩. Больше того, описание уголка, который занимает автор письма вместе с Зеньковичем, совпадает с планом, в правом верхнем углу которого значится: «Зенькович» (слева от окна), «моя кровать» (справа от окна), «шкаф З⟨еньковича⟩» (под окном), «шкаф Зен⟨ьковича⟩» (возле кровати). В пояснении



ВИДЫ КАДАИ. ВИНЬЕТКА НА ПОЧТОВОЙ БУМАГЕ

Рисунок польского политического ссыльного (имя не установлено), 1866 г.

Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

к плану это подтверждается: «Моя кровать у входа; у дверей стоит большой шкаф Зеньковича, который заслоняет меня от дверей». И дальше описание подробностей убранства этого уголка: «Шкапчик мой стоит около Олеся под окном. Над кроватью прибита этажерка с книжками, вернее, просто полочки, на них ваши фотографии. В головах распятие и пресвятая дева работы Обромпельского». Обстановка камеры, судя по плану, очень примитивна: возле каждой кровати шкапчик, в центре комнаты — общий стол.

Даже в том случае, если наше предположение, что соседнее с этой комнатой помещение занимал Чернышевский, не сможет быть доказано, этот план вместе с приведенными отрывками из писем так же, как и опубликованные нами рисунки, расширяет наше представление об условиях, в которых находились политические ссыльные в тюрьмах Восточной Сибири (в частности в Усолье) в середине 1860-х годов.

Несомненно, что найденные нами рисунки далеко не исчерпывают изобразительного материала, связанного с пребыванием Чернышевского на каторге. Даже первые попытки изучения этого вопроса показали наличие крайне интересных и совершенно неизученных данных.

Так, один из польских ссыльно-каторжных, художник Александр Сохачевский сделал портрет Чернышевского *, который был впоследствии представлен на выставке работ Сохачевского в Кракове [14]. Тому же автору принадлежит картина «Ссыльные на границе Сибири» (другое название «Прощание с Европой»), где среди каторжан изображен Чернышевский [15].

В книге Grabiec'а «Rok 1863», изданной в 1913 г. в Познани, помещено несколько иллюстраций, изображающих политическую каторгу 1860-х годов. Они воспроизведены с зарисовок, сделанных польскими революционерами, отбывшими каторгу в Сибири. Два из них (см. на стр. 127 настоящего тома) принадлежат А. Сохачевскому.

Все это дает основание думать, что иллюстративный материал, относящийся к пребыванию Чернышевского на каторге, еще далеко не изучен и ждет своего исследователя.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ЦГИАМ, ф. 109, 1 эксп., 1866 г., д. 22, ч. I.

[2] В ведомости нерчинского коменданта от 15 мая 1865 г. перечислены шестьдесят пять политических ссыльно-каторжных, находившихся в Иркутском солеваренном заводе, среди которых значится и С. Катерла (ЦГИАМ, ф. 109, 1 эксп., 1865 г., д. 164, лл. 28 и 38).

[3] Czernik. Pamiętniki weterana 1864 r. Wilna, 1914.

[4] Н. А. Алексеев. Свидание Н. Г. Чернышевского в Кадае.— «Каторга и ссылка», 1930, № 1, стр. 161—165.

[5] На 3 февраля 1865 г. в Кадае было сорок политических заключенных, а на 26 октября 1866 г. количество их увеличилось до ста (доклад коменданта Нерчинской ратоги Шилова в III Отделение от 3 февраля 1865 г. и доклад генерал-губернатора

---

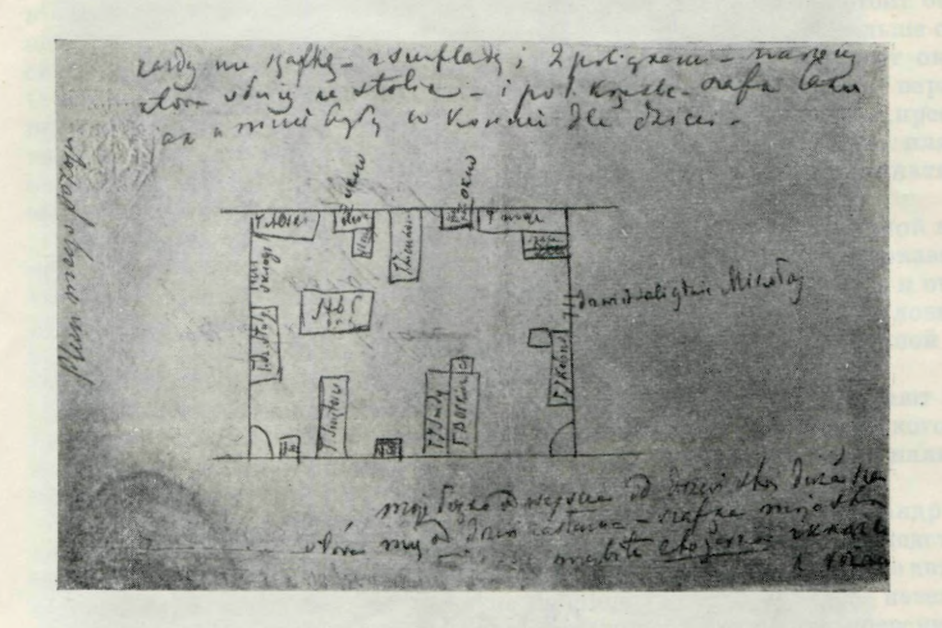
* Благодаря этому указанию покойной Ф. Н. Радзиловской нам удалось обнаружить портреты Чернышевского работы А. Сохачевского и коллекцию его картин, изображающих политическую каторгу 1860-х годов. Они находятся в настоящее время в Историческом музее в Варшаве.

Сохачевский писал свои картины по зарисовкам с натуры и материалам, собранным во время двадцатилетнего пребывания на каторге и в ссылке в Сибири, и они представляют большой иконографический и документальный интерес. В одном из ближайших томов нашего издания мы рассчитываем опубликовать статью о Сохачевском, обещанную «Литературному наследству» польским исследователем В. Кордовичем.

Приносим глубокую благодарность за помощь, оказанную нам в разыскании работ Сохачевского, президенту Польской Академии наук академику Тадеушу Котарбинскому, любезно направившему наш запрос в соответствующие научные учреждения Польши, и директору Исторического музея в Варшаве доктору Янушу Дурко, предоставившему в наше распоряжение фотографии с портретов и картин Сохачевского. Часть их воспроизводится в настоящем томе.—*Ред.*

СЦЕНЫ ИЗ БЫТА НАСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЗАВОДА.
НА АЛЕКСАНДРОВСКОМ ЗАВОДЕ В 1866—1871 гг. ОТБЫВАЛ КАТОРЖНЫЕ РАБОТЫ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

«Группа бурят в национальных костюмах, продающих чай» (верхний рисунок). «Тунгусы и буряты» (средний рисунок). «Тунгусская и бурятская езда» (нижний рисунок)
Рисунки польского политического ссыльного (имя не установлено), 1865—1866 гг.
Центральный исторический архив, Москва



ПЛАН КАМЕРЫ В КАЗАРМЕ ИРКУТСКОГО УСОЛЬЯ

Рисунок польского политического ссыльного (имя не установлено), 1865—1866 гг.

Перевод надписей на плане см. на стр. 153—154

Центральный исторический архив, Москва

Восточной Сибири в III Отделение от 26 октября 1866 г. — ЦГИАМ, ф. 109, 1 эксп., 1863 г., д. 23, лит. Е, лл. 100 и 173).

[6] ЦГИАМ, ф. 109, 1 эксп., 1863 г., д. 23, ч. 341, лит. Е, л. 79 об.

[7] О. С. Чернышевская пробыла в Кадае с 23 по 27 августа (4—8 сентября) 1866 г. Зарисовки Кадаи, привезенные ею, помещены в книге: «Чернышевский в Сибири. Переписка с родными», вып. 1. СПб., 1912.

[8] См. там же, стр. 176 (прим. 3).

[9] Этот рисунок опубликован в кн. М. Н. Гернета «История царской тюрьмы», вып. II. М., 1951, стр. 288.

[10] Из донесения начальника Иркутского жандармского управления полковника Дувинга в III Отделение.— «Каторга и ссылка», 1927, № 4, стр. 187.

[11] ЦГИАМ, ф. Нерчинской каторги, д. 5088, 1864 г., л. 74.

[12] См. эти документы в кн.: Ф. Майский. Чернышевский в Забайкалье. Чита, 1950, стр. 37, 61; «Записки рукописного отдела Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», вып. VI, 1940, стр. 55—59; «Каторга и ссылка», 1927, № 4, стр. 186—197.

[13] Александровская тюрьма (Александровский завод) Нерчинского горнозаводского округа была основана в 1832 г. В 1860-х годах Александровский завод становится центром сосредоточения наиболее важных политических «преступников». Кроме польских повстанцев, в это время здесь отбывали каторгу: Чернышевский, П. Д. Баллод, С. Г. Стахевич, М. Д. Муравский, Н. В. Васильев, А. А. Красовский, В. Н. Шаганов, М. Н. Загибалов, П. Ф. Николаев, Н. А. Ишутин, Н. П. Странден, Д. А. Юрасов, П. Д. Ермолов и др.

[14] A. Sochaczewski. Sibir Wystawa obrasow. Krakow.

[15] A. Sochaczewsky. Figures d'éxilés politiques. Extraits du tableau à A. Sochaczewsky «Les éxilés à la frontière de Sybérie». Bruxelles.

ВОСПОМИНАНИЯ С. Б. СУКИАСОВОЙ-АРТЕМЬЕВОЙ О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Публикация Е. Г. Бушканца

Публикуемые ниже воспоминания в печати не появлялись. Они написаны были в 1932 г. для Музея Революции, откуда вместе с другими материалами по 1860—1880 гг. были переданы в Исторический музей в Москве (ф. 282, ед. хр. 317). Автор их— Сусанна Богдановна *Сукиасова* (в замужестве Артемьева) — пользовалась доверием Ольги Сократовны и постоянно бывала у Чернышевских в астраханский период жизни писателя. Впервые имя Сукиасовой встречается в письме Чернышевского к жене от 1 сентября 1884 г.: «Вчера заходили проведать нас Софья Мелькумовна и Сусанна Богдановна. А ныне Сусанна Богдановна принесла письмо к тебе. Влагаем его в наше. Зайду к ним, поблагодарить их за расположение» (XV, 474). В дальнейшем имя Сукиасовой постоянно фигурирует в переписке Чернышевского. Сообщая в одном из писем 1887 г. о выходе ее замуж, Чернышевский отмечает, что, сделавшись довольно богатой женщиной, «она нисколько не переменила манеры держать себя〈...〉Это очень много свидетельствует в пользу ее ума и характера» (XV, 654—655). Дружеские отношения с семьей Чернышевских Сукиасова-Артемьева продолжала поддерживать и в дальнейшем. «Дружба моя с нею, — писал Чернышевский незадолго до отъезда из Астрахани в мае 1889 г., — непоколебима» (XV, 861).

В своих воспоминаниях Артемьева сообщает об отдельных фактах семейной жизни Чернышевского. Она и не претендует на характеристику тех сторон его жизни, которые оставались ей малоизвестными или непонятными. Сообщаемые ею детали о полицейском надзоре за Чернышевским весьма интересны. Более подробно она характеризует ту сложную домашнюю обстановку, в которой Чернышевский оказался в Астрахани, его взаимоотношения с женой. Воспоминания эти (искренность и добросовестность их не вызывает сомнений) показывают необоснованность попыток некоторых исследователей идеализировать образ Ольги Сократовны, изображать ее непреклонной и последовательной революционеркой.

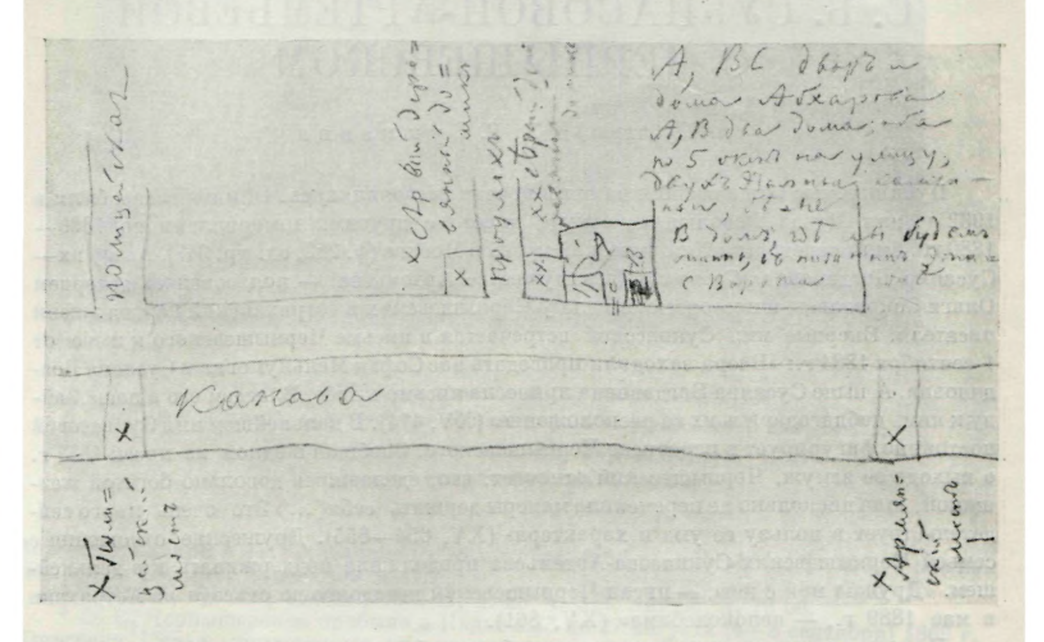
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В СЕМЬЕ

Эта страничка воспоминаний, рисующая черты характера Николая Гавриловича в повседневности, в домашнем быту — относится к поре его возвращения из Сибири в 1883 г. в Астрахань.

Жена Николая Гавриловича, Ольга Сократовна, с двумя сыновьями приехала в Астрахань ранее Николая Гавриловича и заняла две комнаты в доме Хачикова по Почтовой улице, имевшем проходной двор, что впоследствии было использовано шпиками.

Приехал Николай Гаврилович надломленный, изнервничавшийся. По рассказам Ольги Сократовны, ее мужа везли сначала на телеге, потом ему, никогда не ездившему верхом, пришлось прибегнуть к этому способу передвижения. Ольга Сократовна приняла меры, чтоб уберечь Николая Гавриловича от посещений. Прошло несколько месяцев, прежде чем я и две

сестры Мелькумовы, жившие в том же доме, смогли часто заходить к Чернышевским. В это время, до отъезда в Саратов в 1889 г., мне и пришлось быть свидетельницей будничной жизни Николая Гавриловича. Все имеющие общение с Чернышевским были переписаны в участке. Правительство все еще опасалось влияния Николая Гавриловича на молодежь, оно знало, что Чернышевский является невинно пострадавшим в глазах даже обывательских кругов. Письма, адресованные Чернышевским, вскрывались, но когда почтмейстером был назначен Дурново (брат министра внутренних дел), он посетил Николая Гавриловича и уверил его, что



ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ДОМА АБХАРОВА В АСТРАХАНИ, НАРИСОВАННЫЙ ЧЕРНЫШЕВСКИМ

В дом Абхарова Чернышевский переехал 28 июня 1884 г. На обороте надпись рукой М. Н. Чернышевского: «Этот план, рисованный Н. Г. Чернышевским, был прислан мне в 1884 г. перед моим приездом в Астрахань для облегчения мне отыскания новой квартиры по Канаве д. Абкарова»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

письма проходить через цензуру более не будут. Николай Гаврилович сомневался. Дурново не раз сам приносил письма, говорил об обаятельной личности Николая Гавриловича, но доверие к своей чиновничьей особе ему нелегко было вызвать.

Николай Гаврилович, отдохнув, вначале не хотел выходить из дому, так как у обоих ворот проходного двора дежурили шпики, своим нелепо рассеянным видом явно себя выдававшие. Но Ольга Сократовна настоятельно посылала мужа на прогулку, так как он засиживался до 5-ти часов утра за переводом «Всемирной истории» Вебера. Гуляя, Николай Гаврилович любил заходить в лавки, беседовать с приказчиками и купцами. Однажды зимой он исчез надолго, дома все волновались, искали его по улицам, лишь поздно вечером он появился, неся завернутого в шубу котенка, который поразил его своим жалобным видом. Котенок дрожал, сидя на перекладине ворот. Николаю Гавриловичу стоило большого труда достать животное и спасти его от замерзания. На гневные упреки Ольги Сократовны Николай Гаврилович виновато улыбнулся и поцеловал ее, по своему обыкновению, в плечо.

АСТРАХАНЬ. ОБЩИЙ ВИД

Фотография, 1880-е гг.

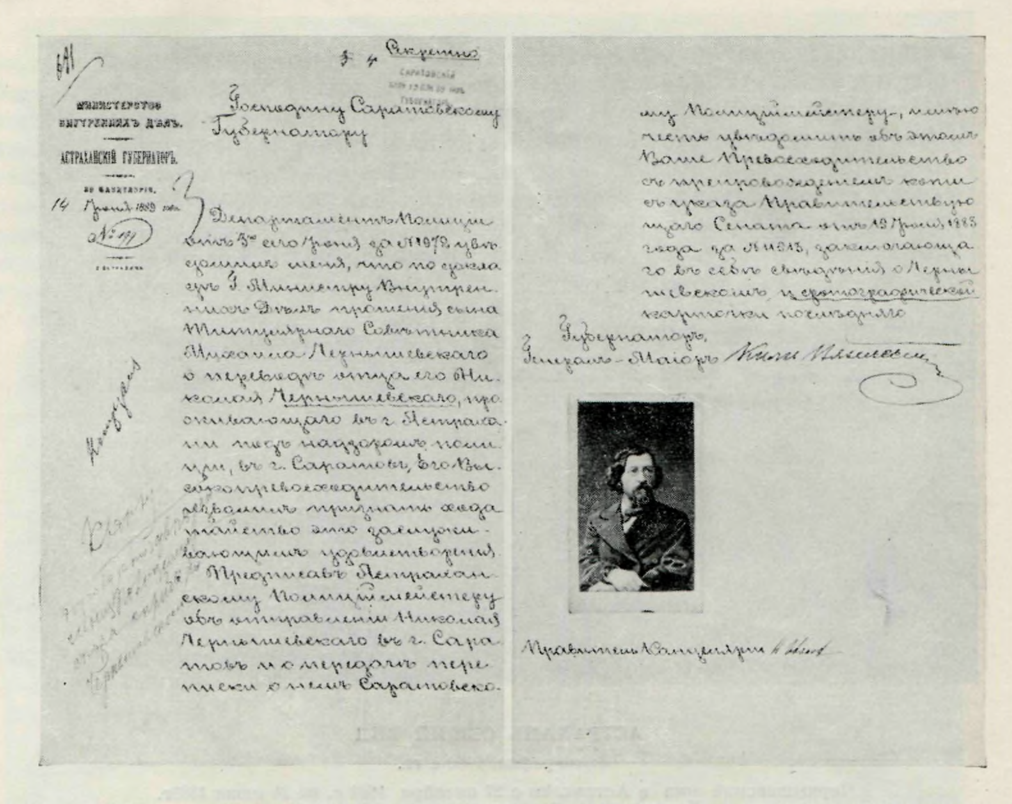
Чернышевский жил в Астрахани с 27 октября 1883 г. по 24 июня 1889г.
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

АСТРАХАНЬ. КАНАВА

В этом районе Чернышевский жил в 1884—1887 гг.

Фотография, 1880-е гг.

Фототека Литературного музея, Москва



Министерство Внутренних Дел.
Астраханский Губернатор.
14 Июня 1889 года.
№ 191

Секретно

Господину Саратовскому Губернатору

Департамент Полиции от 3го сего Июня за № 1972 уведомил меня, что по докладу г. Министру Внутренних Дел прошения сына Титулярного Советника Михаила Чернышевского о переводе отца его Николая Чернышевского, проживающего в г. Астрахани под надзором полиции, в г. Саратов, Его Высокопревосходительство изволил признать ходатайство это заслуживающим удовлетворения.

Предписав Астраханскому Полицмейстеру об отправлении Николая Чернышевского в г. Саратов и о мерах к передаче о нем Саратовскому Полицмейстеру, имею честь уведомить об этом Ваше Превосходительство с препровождением копии с указа Правительствующего Сената от 19 Июня 1883 года за № 1013, заключающего в себе сведения о Чернышевском, и фотографической карточки последнего.

Губернатор, Генерал-Майор

Правитель Канцелярии

ИЗВЕЩЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА ОТ 14 ИЮНЯ 1889 г., НАПРАВЛЕННОЕ ГУБЕРНАТОРУ В САРАТОВ В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ ТУДА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Фотография Чернышевского, наклеенная на извещении, сделана в конце октября 1883 г. в Астраханском жандармском управлении

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Ольга Сократовна не любила посещений «политических», ей казалось, что их разговоры вредно действуют на здоровье Николая Гавриловича. На этой почве она ссорилась с ним, возвышала голос, не терпя возражений, и все оканчивалось истерикой. Не раз приходил ко мне Николай Гаврилович и звал огорченно: «Идите ночевать к жене, у нее опять истерика, вы уж, пожалуйста, успокойте ее». Он говорил о том, что ее надо жалеть, она так много перенесла,— это была отличительная черта его характера: вечно забывать о себе и помнить о других. Он любил семью, своих детей; я помню вечер, когда Ольга Сократовна показывала мне волосы умершего младенца, 3-го ее сына, которого Николай Гаврилович, будучи в ссылке, не видел. Неожиданно войдя, Николай Гаврилович взглянул на волосы, заплакал, закрылся рукой и заперся на весь вечер в своем кабинете. Нищим детям он отдавал последние деньги, что возмущало Ольгу Сократовну, ранее расточительную не по средствам, но впоследствии ставшую сугубо бережливой. На дом тоже являлись с просьбами, в этом случае Николай Гаврилович был упорен и спорил с женой.

Когда к Николаю Гавриловичу приезжали сыновья, он оставлял работу, отсылал секретаря-семинариста, ныне здравствующего Федорова (Институт Маркса—Энгельса)*, и слышен был его раскатистый смех, когда он выигрывал у сыновей партию в шахматы. Особую любовь он питал к старшему сыну, Александру Николаевичу, помещал его стихи в «Русской мысли». Иногда к ним присоединялся приезжающий из Москвы доктор

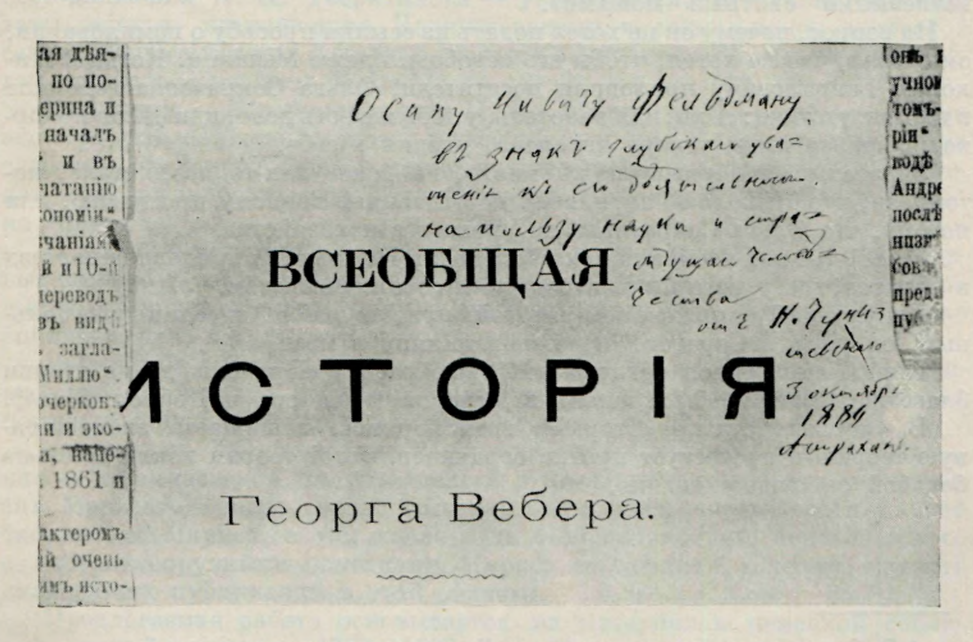
* Константин Михайлович Федоров умер в 1947 г. в Москве.— *Ред.*

Боков, верный друг Чернышевского. Проездом по Волге, гостил двоюродный брат — историк Пыпин. Бывал и знаменитый артист Андреев-Бурлак, певший народные песни. Когда у подъезда раздавался звонок, то с черного хода со двора вбегали дети и сообщали о приходе гостей. В квартире тогда поднимался переполох, разбросанные повсюду вещи спешно забрасывались под кровать, кое-как прибирались комнаты.

Насколько любил Николай Гаврилович свою жену, показывает такой, кажущийся невероятным факт: Ольга Сократовна была чрезвычайно набожна, любила церковные обряды, ставила в церкви свечи, передавала записки за здравие мужа и, нимало не считаясь с революционным сознанием его, посылала его упрямо и требовательно в церковь, приказывая поставить свечу. Николай Гаврилович говорил: «Ну, хорошо, хорошо, голубочка, если ты так хочешь, я пойду за тебя». В день, когда он был именинником, нагрянули неожиданно попы. Николай Гаврилович немедленно поднялся, побежал в кабинет и заперся на целый день, в то время, как квартиру оглашали церковные возгласы и Ольга Сократовна угощала церковников завтраком. Она приходила ко мне и изливалась бесконечной жалобой на мужа. Особенно ее возмущало, что Николай Гаврилович не любил одеваться, дома ходил в халате, с обнаженной грудью. Жена причесывала его, повязывала галстук в ожидании гостей. Губернатор, князь Вяземский, слывший либеральным, часто приезжал к Николаю Гавриловичу и звал его к себе: приезжайте хоть в халате.

Единственный раз был Николай Гаврилович в театре в приезд армянского трагика Адамяна. В нашу ложу в антракте пришли свободные артисты и увели Николая Гавриловича за кулисы. Ему сделали овацию, он переходил из одних объятий в другие.

На вопросы о жизни в ссылке Николай Гаврилович отмалчивался, рассказывая лишь много забавного про старушку, прислуживавшую ему в Вилюйске.



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА ОДНОМ ИЗ ТОМОВ ПЕРЕВЕДЕННОЙ ИМ «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» ВЕБЕРА:

«Осипу Ильичу Фельдману в знак глубокого уважения к его деятельности на пользу науки и страждущего человечества от Н. Чернышевского. 3 октября 1886. Астрахань»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Повседневное окружающее печалило его, он не мог видеть запустения, нищеты. Однажды, оживленный, веселый, он пришел ко мне в крошечную комнатушку и сразу стал хмурый, заметив: «Да как же можно жить в такой темной комнате?», потом рассказал о своем намерении взять на воспитание одну из девочек-армянок бедной семьи, жившей во дворе. Девочка заинтересовала его своей даровитостью.

Самой светлой радостью для Чернышевского было получение пяти толстых ежемесячных журналов, которые посылали ему с дружескими письмами столичные редакции. Но и отдохнув после ссылки, Николай Гаврилович оставался каким-то беспомощным, растерянным. Уезжая в Саратов, Ольга Сократовна говорила мне: «Если случится пожар, берите сначала Николая Гавриловича за руку и выведите, а потом вынесите вот эту шкатулку с рукописями». Шкатулка эта стояла на письменном столе среди кусков черного хлеба, так как Николай Гаврилович любил есть черный хлеб за работой, пил крепчайший чай и бесконечно курил. Он совершенно не обращал внимания на свое здоровье. Ему было вредно есть жирную пищу (у него была болезнь печени), и за столом Ольга Сократовна сама отрезывала от мяса жир и сало; стоило ей отвернуться, Николай Гаврилович с безразличным видом воровато съедал кусок жира. Страдая жестоким ревматизмом, он в астраханский зной кутал в одеяло вечно холодные ноги. Это были последствия заточения в сыром каземате Петропавловской крепости. Так, укутанный в плед и одеяло, он обдумывал свои писания. Будучи юной девочкой, я задавала ему наивные вопросы, и в его ответах заключалось мое самообразование. После его слов я полюбила чтение. Часто мои вопросы поражали его своей нелепостью, он усмехался, но давал всегда обстоятельные ответы. Помню, что я ни за что не хотела признать, что нетленность мощей не была актом божественного соизволения. Он говорил на это: «Хотел бы я, чтобы нас с вами поместили после смерти в подземную пещеру, вымазав составом из извести, и мы бы стали нетленными святыми мощами».

На вопрос, почему он не хотел подать из ссылки просьбу о помиловании, он сказал, что не хотел, чтобы его освободил даже Мышкин. Когда к Николаю Гавриловичу приходили посетители, Ольга Сократовна говорила в их присутствии: «Иди, иди работать, у тебя же есть дело, иди». И он покорно прощался и, не говоря ни слова, уходил к себе.

Зарабатывал Чернышевский много, но денег как-то не хватало, потому ли, что Николай Гаврилович не отказывал всякому просителю, или потому, что Ольга Сократовна не умела вести хозяйства.

В 1889 г. кн. Вяземский исхлопотал для Николая Гавриловича переезд в Саратов, где у него были и родные и собственный дом.

Изнуренный напряженной работой, приехавший в Астрахань уже больным, он умер в Саратове от кровоизлияния в мозг.

Перед отъездом он подарил мне свою работу «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» и «Материалы к биографии Добролюбова»*.

В первой статье «Старый трансформист» защищает эволюционную теорию и протестует против ограничения этой теории исключительно борьбой за существование.

* В Отделе письменных источников Государственного исторического музея хранится оттиск журнальной публикации «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова» с автографической надписью Чернышевского: «Сусанне Богдановне Артемьевой в знак глубокого уважения от Н. Чернышевского. 15 марта 1889 г.» (ф. 282, ед. хр. 319).

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В НЕМЕЦКОЙ РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ (1868—1889)

Статья и публикация Вольфа Дювеля (ГДР)*

Ближайшим поводом для этой работы[1] послужила статья, напечатанная В. Гоффеншефером в августе 1948 г. в «Знамени», в которой он ссылался на отчет о собрании социалистов в Генте, опубликованный во французской рабочей газете «Le socialiste» 2 сентября 1891 г. Судя по отчету, стены помещения, где происходило собрание, были украшены красными знаменами и панно, на которых были начертаны имена великих представителей социализма — Маркса, Сен-Симона, Фурье, Оуэна и Чернышевского. Возможно ли, что имя Чернышевского уже в то время было так известно западноевропейским рабочим?[2] Мы поставили себе задачу ответить на этот вопрос в той части, в которой это касается немецкого рабочего класса.

Имевшиеся в литературе сведения по данной теме оказались весьма скудными. В основном они были сосредоточены в четырех источниках.

В первом из них — воспоминаниях участника русского революционного движения А. Н. Тверитинова — упоминается, без точного указания даты, статья, посвященная Чернышевскому, в социал-демократической газете «Der Volksstaat» и другая статья в редактировавшемся В. Либкнехтом журнале «Die Neue Welt»[3].

Во втором — «Воспоминаниях» Н. В. Шелгунова[4]— ошибочно утверждается, что движение шестидесятых годов и имя Чернышевского были известны на Западе лишь в таком враждебно-тенденциозном освещении, какое дается в сочинениях Шедо-Ферроти, Николая Карлóвича и Иоганна Шерра[5].

В третьем источнике — библиографических указателях М. Н. Чернышевского — хотя и приведено пятнадцать немецких названий, относящихся к Чернышевскому, но тему нашей работы эта весьма неполная библиография, в сущности, почти не затрагивает[6].

Четвертый источник — напечатанное в 1949 г. сообщение Н. В. Спижарской об Августе Бебеле и Чернышевском, с публикацией русского перевода статьи Бебеля о романе «Что делать?» [7].

Советскими библиографами были тщательно отмечены все высказывания о Чернышевском, встречающиеся в печатных сочинениях и рукописях Маркса[8]. Теперь, после того как были обнаружены части личной библиотеки Маркса, в том числе пять томов сочинений Чернышевского с собственноручными пометками Маркса на полях[9], следует ожидать дальнейших публикаций в этой области.

Предлагаемая работа основывается на материалах немецкой социалистической печати 1868—1889 гг. Предварительное ознакомление с немецкой газетной и прочей библиографией не привело к выявлению

* Перевод с немецкого Л. М. Бродской.

сколько-нибудь ценных данных. Они были получены лишь в результате непосредственного обращения к комплектам немецких социалистических газет, хранящихся в Институте марксизма-ленинизма в Берлине. Прежде всего нами были просмотрены газеты: «Der Volksstaat» за 1869—1876 гг., «Vorwärts» (измененное название предыдущей газеты) за 1876—1878 гг., «Der Sozialdemokrat» за 1878—1890 гг. Для освещения фактов, имеющих особое значение (выступление французского писателя Ратисбонна на заседании конгресса Международного общества литераторов в Вене в 1881 г., выход в свет немецкого издания «Что делать?» в 1883 г., смерть Чернышевского), автор — поскольку это было возможно — привлекал и другие социалистические, а также буржуазные периодические издания [10].

* * *

Первые сообщения о Чернышевском в немецкой печати относятся к началу и середине 1860-х годов. Так, в либеральном «Magazin für die Literatur des Auslandes» 7 мая 1862 г. была помещена рецензия на статью Чернышевского «О росписи государственных расходов и доходов» [11], а 6 мая 1865 г. напечатан отзыв о французской брошюре Герцена «Новая фаза русской литературы», в котором сообщалось об аресте и осуждении Чернышевского [12]. Однако живое и более полное представление о великом русском революционере дала немецкому читателю лишь социалистическая пресса, в которой, начиная с 1868 г., постоянно упоминается имя Чернышевского. Благодаря сообщениям рабочей печати, мученический образ гениального мыслителя долго оставался для немецких социалистов символом русского освободительного движения.

Еще до опубликования известных высказываний о Чернышевском Маркса и Энгельса, близкий друг и соратник основоположников научного социализма Сигизмунд-Людвиг Боркгейм по разным поводам упоминал в немецкой рабочей печати об авторе «Что делать?». Боркгейм, стойкий немецкий революционер, особенно известен опубликованной им после франко-прусской войны 1870—1871 гг. брошюрой «На память немецким ура-патриотам. 1806—1807», в которой он напоминал упоенным победой немецким шовинистам об историческом опыте многих поражений и позорных капитуляций Пруссии во времена Наполеона I [13]. В личной библиотеке Маркса сохранился экземпляр этой брошюры со следующей надписью «Моему другу Марксу. 6.12.71. Сигизмунд Боркгейм» [14].

Энгельс написал для нового издания брошюры, вышедшего в Цюрихе в 1888 г., известное предисловие, в котором он высоко оценивает это сочинение [15].

В 1874 году Боркгейм выступил на страницах «Der Volksstaat'a» с серией статей, в которых, говоря о процессе против французского маршала Базена, наносил тяжелые удары по прусской вильгельмовской Германии [16] К сожалению, до нас не дошли воспоминания, над которыми Боркгейм работал в последние годы своей жизни [17].

В начале 1860-х годов Боркгейм начал учиться русскому языку, прежде всего для того, чтобы разобраться в экспансионистской политике русского царизма в Европе [18], но овладел этим языком в весьма недостаточной степени. При таких условиях его информация о русских делах имела серьезный характер лишь постольку, поскольку она опиралась на данные полученные от заслуживающих доверия лиц, например, А.А.Серно-Соловьевича. Из приобретенной в Женеве в 1867 г. брошюры-памфлета Серно-Соловьевича «Наши домашние дела», направленной против Герцена, Боркгейм узнал о Чернышевском и Добролюбове, и вскоре затем из обращенного к нему письма Серно-Соловьевича получил более подробные сведения об этих революционерах [19]. Поэтому можно считать весьма веро-

ятным, что Карл Маркс услыхал в первый раз о Чернышевском в конце 1867 г. от Боркгейма[20].

В феврале 1868 г. имя Чернышевского впервые появилось в немецкой рабочей печати. Боркгейм опубликовал в издаваемой В. Либкнехтом «Demokratisches Wochenblatt», самой значительной в то время газете левого крыла немецкого рабочего движения[21], статью «Русские политические изгнанники в Западной Европе», в которой он выступил против Герцена[22]. Боркгейм имел лишь весьма поверхностное представление о деятельности Герцена и всецело находился под сильным влиянием вышеупомянутого памфлета А. А. Серно-Соловьевича. Кроме того, человек с болезненно развитым самолюбием, Боркгейм считал себя оскорбленным издателем «Колокола», так как однажды на обращенную к нему просьбу Боркгейма ответил не сам Герцен, а его сын, по поручению отца[23]. Отсюда в высшей степени предвзятое и враждебное отношение Боркгейма к Герцену, злобный тон его высказываний о нем. Он считает возможным характеризовать Герцена, а заодно с ним и Бакунина, как панславистов, приверженцев официальной России и пишет: «*По отношению к нам все они заодно* за исключением, может быть, решительных противников Герцена — Чернышевского, сосланного на каторгу в Сибирь, и Добролюбова, умершего в возрасте 26 лет, о которых мы, однако, располагаем весьма скудными сведениями»[24]. Нас, впрочем в данном случае, интересует в приведенной цитате не отношение Боркгейма к Герцену, а указание на Чернышевского и Добролюбова, заимствованное, несомненно, из письма А. А. Серно-Соловьевича к Боркгейму от 18 октября 1867 г., в котором почти теми же словами сказано: «Первый ⟨Чернышевский⟩ приговорен к каторжным работам и находится в Сибири, а второй ⟨Добролюбов⟩ умер в возрасте 26 лет. Едва ли нужно добавлять, что они являются противниками Герцена...»[25].

В дальнейшем, разоблачая захватнические устремления царского правительства, Боркгейм направил свой главный удар против панславизма и в связи с этим неоднократно ссылался на Чернышевского. Осенью 1868 г. он опубликовал в «Demokratisches Wochenblatt» корреспонденцию «К восточному вопросу», в которой полемизировал с редактором газеты «Die vereinigten Staaten von Europa» — основанной первым женевским конгрессом «Лиги мира и свободы» (сентябрь 1867 г.) в качестве органа Лиги[26]. Упоминая о своей направленной против царизма речи, произнесенной на Женевском конгрессе, Боркгейм пишет: «Вопреки Несторовой летописи, я настаиваю на том, что России совершенно незачем вмешиваться в европейские дела»[27]. Ранее же он приводит длинную цитату из статьи Чернышевского «Народная бестолковость» (1861 г.), в которой разоблачалась реакционная сущность славянофильских взглядов на судьбы западнославянских народов. По всем данным, это была первая напечатанная на немецком языке цитата из сочинений Чернышевского. Боркгейм заимствовал ее из упомянутого памфлета А. А. Серно-Соловьевича[28].

Маркс и Энгельс, позиция которых по отношению к панславизму известна, проявляли в это время некоторую сдержанность к нападкам Боркгейма на панславизм — нападкам, которые уже тогда, в 1868 г., имели в виду прежде всего Бакунина. 24 октября 1868 г. Маркс иронически пишет Энгельсу: «Боркгейм, руссофобия которого (я привил ее ему как самое невинное противоядие, чтобы дать выход его излишней жизненной энергии) принимает опасные размеры, затеял теперь драку со старым Филиппом Беккером из-за того, что тот находится в хороших отношениях с Бакуниным и написал Боркгейму, чтобы он не нападал на Бакунина в своих письмах. Б⟨оркгейм⟩ усматривает тут опасный заговор московитов. Он полагает, что его „мастерские инвективы" в еженедельнике Вильгельма заставили задрожать Византию, — а следовательно и Бакунина»[29].

Но не прошло и двух месяцев, как обнаружились интриги Бакунина, пытавшегося посредством созданного им «Альянса социалистической демократии», включившего в себя тайный союз бакунистов, захватить руководство I Интернационалом и навязать международному рабочему движению свою анархическую программу. В разгоревшейся ожесточенной борьбе с этой опасностью Маркс и Энгельс стали поддерживать выступления Боркгейма против Бакунина, в том числе и тенденциозно предъявлявшееся Бакунину обвинение в панславизме, в поддержке официальной политики царизма.

В 1869—1870 гг. Боркгейм опубликовал в демократической берлинской газете «Die Zukunft» свои «Русские письма» [30]. Идея их была внушена ему Марксом [31]. Разоблачительное острие «писем» было направлено одновременно против стратегических планов царизма в славянском вопросе и против будто бы близких этим планам тенденций Бакунина. Так, 21 июля 1869 г. мы читаем в «Die Zukunft»: «Фрондирующий, демократический панславизм Бакунина преследует те же цели, что и автократический правительственный панславизм в Петербурге» [32].

И в дальнейшем, Маркс и Энгельс продолжали давать Боркгейму указания относительно его статей в «Die Zukunft» [33]. 30 июля 1869 г. Энгельс пишет Марксу, что «пора как следует проучить его ⟨Бакунина⟩ и поставить вопрос, может ли вообще панславист быть членом Международного товарищества рабочих» [34]. «Он не должен воображать,— продолжает Энгельс,— что можно перед рабочими разыгрывать космополитического коммуниста, а перед русскими — горячего националиста-панслависта. Несколько намеков Боркгейму, который с ним теперь возится, были бы весьма своевременны...» [35].

Итак, в 1869 г. Маркс и Энгельс поддерживали Боркгейма в его борьбе против панславизма и против Бакунина. Как уже было сказано выше, Боркгейм еще в 1868 г. назвал Чернышевского русским противником панславизма; вскоре ему вновь представился случай указать на него.

* * *

В августе 1869 г. в Германии, в Эйзенахе, была основана социал-демократическая рабочая партия. Издававшаяся Вильгельмом Либкнехтом в Лейпциге с 1868 г. газета «Demokratisches Wochenblatt», бывшая органом Саксонского рабочего союза, с октября 1869 г. стала центральным органом этой партии и получила название «Der Volksstaat» [36]. Эта газета, руководствовавшаяся революционными принципами I Интернационала (в ней напечатали несколько статей Маркс и Энгельс), приобрела на немецких рабочих такое большое влияние, что в 1872 г. насчитывала уже 1800 подписчиков [37]. Против «Der Volksstaat» выступала издававшаяся в Берлине газета лассальянцев «Social-Demokrat» (позже «Neuer Social-Demokrat»), ратовавших за компромисс с прусским государством и боровшихся против распространения марксизма в рабочем движении Германии.

В начале 1870 г. в немецкой рабочей печати раздался голос сблизившегося с Бакуниным Нечаева. Как известно, нелегально возвратившись осенью 1869 г. в Россию, Нечаев пытался создать здесь заговорщическую террористическую организацию «Народная расправа». Столкнувшись с оппозицией к своим провокационным методам со стороны члена организации, студента Иванова, Нечаев убил его, после чего вновь бежал за границу. В феврале 1870 г. «Der Volksstaat» и «Social-Demokrat» опубликовали листовку «Народной расправы» (составленную, несомненно, самим Нечаевым), в которой оправдывалось убийство Иванова [38]. Непосредственно за этим в «Der Volksstaat» появилось длинное письмо Нечаева, в котором он, прибегая к обману, домогался сочувствия своему тяжелому положению, поскольку царское правительство требовало его

выдачи [39]. Между прочим, Нечаев ссылался на то, что «татарско-немецкое» правительство оклеветало не только его, но также Чернышевского и Герцена.

С ответом Нечаеву выступил Боркгейм. В газете «Der Volksstaat» от 16 марта 1870 г. он поместил на немецком и русском языках полемическую статью под заглавием «Письмо Нечаева» [40]. В ней он заявлял о неудовлетворительности объяснений Нечаева.

В последовавшей затем на страницах «Der Volksstaat» дискуссии, вызванной статьей Боркгейма, приняли участие также три русских социалиста, подписавшиеся групповым псевдонимом «Три партийных товарища» [41]. Соглашаясь с утверждениями Боркгейма о наличии у Бакунина панславистских тенденций, они вместе с тем категорически заявляли, что русская секция «Международного товарищества рабочих» ничего общего с панславизмом не имеет. Вообще,— писали они,—радикальному меньшинству в России присущи «скорее космополитические, чем специфически русские тенденции». Напротив того, в высказываниях Боркгейма,— полагали они,— виден «плохо скрытый шовинизм».

Боркгейм, больно задетый упреком в шовинизме, опубликовал 30 апреля 1870 г. ответ, в котором он еще раз попытался обосновать свою враждебную позицию по отношению не только к Бакунину, но и к Герцену, и затем заявил:

«Пишущий эти строки был первым, кто уже два года тому назад, и именно на страницах настоящей газеты, обратил внимание читателей на сочинения сосланного в сибирские рудники Чернышевского, противника всяких русских краснобаев, а потому и Герцена. Может быть, и это было сделано из „шовинизма“? Путь „Русской секции Международного

ПИСЬМА

БЕЗЪ

АДРЕСА.

Неизданная статья

Н. Г. Чернышевскаго.

ЦЮРИХЪ.
Изданіе журнала „Впередъ!“
1874

49

нать? какъ исполнить эту обязанность? какъ получить эту помощь? „Экземпляры трудовъ Редакціонныхъ Коммиссій разсылать начальникамъ губерній и губернскимъ предводителямъ дворянства, прося ихъ сообщать Редакціоннымъ Коммиссіямъ свои замѣчанія.“ М. Г., скажите сами: развѣ начальники губерній и губернскіе предводители дворянства цѣлая Россія? Развѣ судъ ихъ — общій судъ цѣлой Россіи? Развѣ отчетъ передъ ними, — отчетъ передъ всею Россіей? Думаете ли вы, м. г., что онъ, человѣкъ умный, не былъ внутренно конфуженъ передъ самимъ собою несообразностью своего заключенія съ началомъ? Думаете ли вы, что онъ могъ прямо смотрѣть въ глаза членамъ Редакціонныхъ Коммиссій, когда переходилъ отъ своего начала къ своему заключенію. Я этого не думаю, потому что думать такъ значило бы оскорблять его память съ той стороны, съ которой уже никакъ нельзя отзываться о немъ дурно, — со стороны ума.

Чѣмъ же можно объяснить такую странную несвязность мыслей, такое явное несоотвѣтствіе принимаемаго рѣшенія съ собственными желаніями? Конечно, только тѣмъ, что председатель Редакціонныхъ Коммиссій и самъ былъ совершенно связанъ въ своихъ рѣшеніяхъ. И кѣмъ же былъ онъ связанъ въ этомъ случаѣ? Я говорю съ вами, м. г., прямо и открыто, потому выскажу самъ свое убѣж-

ЭКЗЕМПЛЯР «ПИСЕМ БЕЗ АДРЕСА» ЧЕРНЫШЕВСКОГО (ЦЮРИХ, 1874) ИЗ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ КАРЛА МАРКСА

Титульный лист и страница книги с пометами Маркса

Воспроизводится с негатива, хранящегося в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Москва

товарищества рабочих" должны указывать идеи Чернышевского. Но отнюдь не Герцена! Отнюдь не Бакунина!

На весьма ценную книгу Флеровского „Положение рабочего класса в России" недавно был наложен запрет, а сам Флеровский был арестован и отправлен в Сибирь. По-видимому, „шовинизм" автора заставляет его возмущаться подобными вещами и при первой возможности оповещать о них своих читателей!

Было бы весьма важно знать, можно ли рассчитывать на *добросовестное* продолжение издания сочинений Чернышевского теперь, когда главный участник этого труда, Серно-Соловьевич, умер и его бумаги секвестрованы Бакуниным, а издавать Чернышевского будет уже не Бенда в Вевэ или Георг в Базеле, а Тхоржевский в Женеве, друг ныне покойных Долгорукова и Герцена, и, следовательно, противник Чернышевского и Серно-Соловьевича»[42].

После этих высказываний Боркгейма полемика с «Тремя партийными товарищами» — вероятно, членами Русской секции Интернационала — приняла неожиданный оборот. Второй ответ их Боркгейму, опубликованный 4 июня 1870 г. в «Der Volksstaat», начинался следующими словами:

«Личные раздоры неуместны на страницах *партийного* органа. Нашим немецким и славянским партийным товарищам было бы неинтересно, если бы мы выступили только в свою личную защиту. Нет,— мы с радостью протягиваем автору „Русских писем" руку (с условием фактами доказать ему правильность нашего убеждения в нравственной чистоте А. Герцена), мы берем обратно наши слова о „шовинизме" и можем питать лишь искреннее уважение к такому человеку, как автор „Русских писем", который сумел оценить величайшего русского мыслителя Чернышевского. Разумеется, что мы ставим последнего много выше всех других агитаторов. Мы не настоящие русские, в наших жилах не течет славянская кровь, но все же мы можем причислить себя к русскому народу, поскольку мы родились и воспитывались в России. Говоря с немцем, мы можем беспристрастно сказать: русский народ может служить делу социализма с помощью таких людей, как Чернышевский и Герцен»[43].

«Три партийных товарища» (не был ли среди них Николай Утин, один из организаторов Русской секции Интернационала, человек, близко связанный в 1860-е годы с Чернышевским?) протестовали против предвзято-враждебного отношения Боркгейма к Герцену. С целью вскрыть клеветнический характер слухов о субсидиях, будто бы полученных Герценом от русского панславистского комитета, они требовали предъявления доказательств получения этих субсидий, ссылались на личное письмо Гарибальди, подтверждавшее авторитет Герцена у выдающихся европейских революционеров, наконец, напоминали о выступлениях Герцена против Бакунина. «Незадолго до своей кончины,— утверждалось в ответе Боркгейму, — он ⟨Герцен⟩ высказывался *против тайного* общества „Народная расправа"; таким образом ясно видно, что он не был солидарен с Бакуниным»[44]. Тем самым в одностороннее суждение о Герцене были внесены поправки; однако Боркгейм не согласился с этой критикой[45].

Самым существенным для нашей темы в этом заявлении «Трех партийных товарищей» была характеристика Чернышевского как *величайшего русского мыслителя и политического агитатора*. Если мы учтем влияние, каким пользовался в то время на немецкий рабочий класс «Der Volksstaat», то нам станет ясно, какое значение должны были иметь эти слова для популяризации имени Чернышевского среди немецких социалистов.

Что касается Нечаева, то дискуссия окончилась полнейшим провалом приверженцев его и Бакунина. Редакция «Der Volksstaat», вначале

явно доверявшая Нечаеву, в конце дискуссии выступила с заявлением, что разоблачение этого заговорщика и его методов беспринципного террора является большой заслугой Боркгейма[46]. В немецком рабочем движении только газета Лассаля «Neuer Sozialdemokrat» оставалась, несмотря на разоблачение Нечаева, на его стороне. В 1872 г. эта газета не только предоставила Бакунину возможность выступить против Маркса но и позволила сторонникам Нечаева и Бакунина защищать необходимость убийства Иванова[47].

Чрезвычайно важен тот факт, что Маркс, не принимая личного участия в дискуссии, поддерживал выступления Боркгейма и частично инспирировал их. Из переписки Маркса и Энгельса за эти недели видно, что Маркс несколько раз встречался тогда с Боркгеймом, беседовал с ним о публикациях в «Der Volksstaat» и обращался по этому поводу с письмом к редактору газеты Вильгельму Либкнехту[48]. И если редакция, помещая одно из выступлений Боркгейма, сопровождает его замечанием, что орган партии был *обязан* поместить данную статью[49], за этим чувствуется твердая, направляющая рука Маркса.

И, несомненно, замечания Боркгейма в статье от 30 апреля 1870 г., что именно идеи Чернышевского, а не Герцена и Бакунина должны указывать путь Русской секции I Интернационала, также были внушены автору Марксом. К такому выводу приводят следующие наблюдения.

Боркгейм ставит рядом имена Флеровского и Чернышевского, подобно тому как это было сделано Марксом месяцем раньше в его известном первом обращении к Комитету русской секции [50]. При этом из писем Маркса совершенно ясно следует, что именно в то время он говорил с Боркгеймом о Флеровском[51], и если Боркгейм 30 апреля пишет о будто бы имевшей место ссылке Флеровского, то речь может идти только о сведениях, полученных от Маркса, то есть о том же сообщении Лафарга, оказавшемся ложным, которое было передано Марксом Энгельсу в письме от 14 апреля 1870 г.

Если слова Боркгейма о Флеровском так явно ведут к Марксу, то не следует ли отсюда, что высказывания Боркгейма о Чернышевском имеют также ближайшее отношение к Марксу? Ведь вряд ли могут быть сомнения в том, что Маркс не раз говорил о Чернышевском в своих постоянных беседах с Боркгеймом, изучавшим, как и он, русский язык. От Боркгейма же Маркс впервые узнал о русских революционных демократах. Деятельность русского революционера, его литературные труды привлекали в то время пристальное внимание и Маркса, и Боркгейма, и были ими высоко ценимы. Близость суждений о Чернышевском вряд ли была результатом чистой случайности. Напротив того, можно с уверенностью полагать, что Боркгейм в статье от 30 апреля 1870 г. высказал *мысли Маркса о Чернышевском.*

Во второй половине 1870 г. франко-прусская война, привлекавшая к себе всеобщее внимание, оттеснила русский вопрос в газете «Der Volksstaat» на задний план. Начиная с июля 1870 г. прекратилось и печатание «Русских писем» Боркгейма в газете «Die Zukunft»[52]. Но уже в начале 1871 г. Боркгейм выступил в «Der Volksstaat» с новой полемической статьей, направленной на этот раз против книги балтийского немца Юлиуса Эккарда «Jungrussisch und Altlivländisch».

Представитель фрондирующего балтийского дворянства, Юлиус Эккард описывает в своей книге период реформ Александра II и останавливается на политической деятельности Герцена. Он симпатизирует либеральным устремлениям «царя-освободителя» и называет Герцена «классическим либералом», причем демократического подхода Герцена к некоторым вопросам он, конечно, понять не может[53]. В связи с журналом «Современник» Эккарду пришлось говорить и о Чернышевском, которого он характеризует следующим образом: «Фактическим руководителем этого

журнала был Николай Чернышевский, неизвестно откуда появившийся журналист, завоевавший своим блестящим сатирическим пером и беспощадной острой критикой первое место среди ныне здравствующих в России публицистов и часто называемый своими многочисленными приверженцами русским Робеспьером...»[54].

1 февраля 1871 г. Боркгейм выступил в газете «Der Volksstaat» с критикой этих высказываний Эккарда[55]. Он резко напал на либеральное лицемерие Эккарда и на его утверждение будто Герцен должен считаться единственным представителем оппозиции в России. При этом Боркгейм снова отзывался о Герцене в весьма враждебном и неуважительном тоне.

Вскоре затем в «Der Volksstaat» появилось письмо одной русской корреспондентки, взявшей под защиту Герцена, но одновременно с этим выступившей против Маркса с явно выраженных бакунинских позиций. Она писала: «Конечно, Герцен не был гением, конечно, он не написал такого всемирно известного и общественно-полезного труда, как „Капитал“, но, может быть, он сделал нечто еще большее: его произведения, его слова воспламеняли, они были тем трубным гласом, который разбудил русский народ от мертвого сна, в какой его погрузил террор николаевского царствования, они воспитали целое поколение энергичных революционеров; они не остались мертвой буквой. Такое „бумагомарание“, несомненно, стóит и самых знаменитых произведений, являющихся плодом глубокой учености. При современном нашем болезненном состоянии необходимы разумные, рациональные, энергичные действия, а этого из абстрактных наук и теорий почерпнуть нельзя. Германия так много училась, так долго сидела в раздумии над науками и теориями, что уподобилась Гамлету, который в бесплодном анализировании и учености потерял мужественную энергию и не мог уже преодолеть в себе наследственную вялость. Меж тем как немецкое напичканное теориями юношество тратит свое время в пивных и на танцульках и проявляет столь мало интереса к современности, что даже не принимает сколько-нибудь значительного участия в международных студенческих конгрессах, русская молодежь жертвует для блага своего народа временем, состоянием и кровью без пышных фраз, с глубокой серьезностью, страстью и самоотвержением, подобных которым трудно найти в истории. Человека, о котором можно сказать, что он воспитал поколение активных людей, никак нельзя назвать „бумагомарателем“; упрек же в том, что он занимался революцией только в своих сочинениях, не позволяя идеям нарушать покой и уют своего зажиточного, праздного существования, этот справедливый упрек относится не только к одному Герцену, но и к другим революционным вождям; *он*, по крайней мере, может сослаться на свою молодость, проведенную под бичом Николая и которую никак нельзя причислить к самой спокойной и приятной»[56].

На это письмо Боркгейм отвечает полной язвительного сарказма статьей в «Der Volksstaat» от 12 апреля 1871 г.[57] Сначала он отклоняет как не подлежащую обсуждению попытку сравнения Маркса и Герцена, затем вновь нападает на Юлиуса Эккарда — на этот раз из-за его презрительного отзыва о Чернышевском, причем не жалеет самых резких сатирических красок. Он пишет: «Ничто так не доказывает скудоумия балтийского литературного ландскнехта, как наглость, с которой он расправляется с бедным Чернышевским, представляя его нам учеником Герцена, в то время как он был не только учителем последнего, но и учителем Каткова, который с азиатским воплем против Европы решился распаковать свой гегельянский хлам лишь во время последнего польского восстания, узнав, что Чернышевский схвачен русским правительством. Господин Чернышевский, которого подлый* лифляндец называет „неизвестно откуда

* В тексте игра слов. Немецкое слово «Niederungsmensch» означает «житель равнины», в то же время «niedrig» означает «низкий, подлый». — *Ред.*

появившимся журналистом", имел мужество опубликовать свои статьи в России еще *до* появления герценовского „Колокола", печатавшегося *за пределами* России. Хотя господин Эккард рассказывает, что Чернышевский в 1862 г. был арестован как „бунтовщик", он нигде не обмолвился о том, что его не освободили и что он по сей день погребен в Сибири». Далее Боркгейм говорит, что и для него Чернышевский является «образцом и учителем».

И здесь следует новая, весьма важная ссылка на основателя научного социализма. Боркгейм пишет: «Меня радует возможность заверить его ⟨Чернышевского.— *В. Д.*⟩ друзей в том, что искушенный в вопросах государственного социализма немецкий писатель, знакомый с русским языком, навеки воздаст ему должное своим пером».

Как известно, Маркс в 1872 г. систематически собирал материалы о Чернышевском[58]. Он намеревался «напечатать что-нибудь о жизни, личности и т. д. Чернышевского, чтобы вызвать сочувствие к нему на Западе»[59]. Весьма вероятно, что и приведенный новый отзыв Боркгейма о Чернышевском, относящийся к 1871 г., также связан с этим планом Маркса.

В конце своей статьи от 12 апреля 1871 г. Боркгейм обращается к редактору «Der Volksstaat» со следующей просьбой: «В целях ознакомления с русскими социалистами и, главным образом, с местом, занимаемым Чернышевским по отношению к месту, занимаемому Герценом, прошу вас, господин редактор, отпечатать прилагаемую рукопись моего перевода указанной выше брошюры Серно-Соловьевича „Наши домашние дела" и продавать ее по самой низкой цене, чтобы только покрыть типографские расходы. В случае получения некоторого дохода, прошу вас использовать его на нужды вашей газеты».

Редакция сделала к этому постскриптуму сноску: «Будет исполнено», и таким образом брошюра А. А. Серно-Соловьевича была в 1871 г. опубликована на немецком языке[60].

Рукопись сделанного в 1868 г. перевода этой брошюры безуспешно предлагалась Боркгеймом в 1870 г. основанному Кинкелем еженедельнику «Hermann». Боркгейм писал в редакцию: «Если вы захотите принять рукопись, то можно будет в качестве введения предпослать ей мою переписку с Серно-Соловьевичем. Было бы желательно разослать в этом случае вашу газету выдающимся немецким деятелям»[61].

Издание брошюры редакцией «Der Volksstaat» с приложением писем А. А. Серно-Соловьевича и примечаниями, написанными им для немецкого издания брошюры, имело, естественно, большое значение для дальнейшего распространения сведений о Чернышевском среди немецкого рабочего класса. Особенно важны были написанные А. А. Серно-Соловьевичем подстрочные примечания о Чернышевском: «Чернышевский—величайший и талантливейший русский публицист. Будучи главным редактором журнала „Современник", он за направление своих сочинений, составляющих десять толстых томов и печатавшихся только с разрешения цензуры, содержался в течение трех лет в заключении в крепости, а затем был приговорен к каторжным работам в Сибирь, где он находится и по сие время. Во время своего пребывания в крепости он написал социалистический роман „Что делать"?, в котором изложил свое мировоззрение и указал молодежи путь, по которому ей следует идти. Роман этот скоро появится в немецком переводе»[62].

Сам Боркгейм пользовался каждым случаем, чтобы напомнить в немецкой печати о Чернышевском. Издавая в 1872 г. перевод статьи «Партии и политика в современной России» (статья эта была взята из английского журнала «The North British Review»), он счел необходимым, хотя бы в подстрочном примечании, упомянуть о Чернышевском. Он пишет о русском революционере: «Это был образованный и ученый человек, серьезный мыслитель и отличный критик, как это доказывает его разбор

учения Джона Стюарта Милля. К сожалению, о нем еще так мало знают в Европе, что даже такие люди, как автор переведенной здесь статьи ни одним словом не упоминает о нем. Чернышевский находится в сибирских рудниках, на каторжных работах»[63].

Таким образом, еще до того как Маркс и Энгельс выступили в печати с изложением своих взглядов на Чернышевского, их друг Боркгейм позаботился о распространении в немецких рабочих кругах первых сведений о великом сыне русского народа. При этом большая часть его высказываний находится в непосредственной связи с воззрениями на Чернышевского Маркса и Энгельса.

Мы не будем здесь останавливаться на хорошо известных высказываниях Маркса и Энгельса о Чернышевском 1872—1874 гг.[64] Отметим лишь, что особенно важное значение для дальнейшего, более подробного ознакомления участников немецкого социалистического движения с Чернышевским имело издание немецкого текста «Альянса социалистической демократии и международного товарищества рабочих», в редактировании которого принимали участие Маркс и Энгельс. Это сочинение появилось на немецком языке в 1874 г. в издательстве Браке, в Брауншвейге, под заглавием «Заговор против международной ассоциации рабочих». Именно благодаря этому сочинению немецкие рабочие в первый раз получили более подробные сведения о политической деятельности Чернышевского.

* * *

Из вышеизложенного видно, что благодаря публикациям Маркса, Энгельса и Боркгейма в 1870—1874 гг. у немецких рабочих пробудился интерес к Чернышевскому. Неудивительно поэтому, что в последующие годы немецкая социалистическая печать постоянно давала сведения о Чернышевском.

Подробнее о положении Чернышевского в ссылке немецкая общественность узнала из одной русской корреспонденции, появившейся сначала в «Frankfurter Zeitung», а затем в «Neuer Social-Demokrat» (7 июля 1875 г.) и в «Der Volksstaat» (9 июля 1875 г.) — центральных органах основанной в 1875 г. «Немецкой социалистической партии». «Der Volksstaat» в своей публикации указал на «трогательную мелодраматическую сцену», разыгранную Александром II на курорте Эмс с женой одного ссыльного поляка, сцену, усиленно обсуждавшуюся в печати. Данное редакцией саркастическое название статьи «Милосердный царь» («Der milde Czar») позже стало крылатым словом в немецкой рабочей печати.

Вот что говорится в этой статье о Чернышевском:

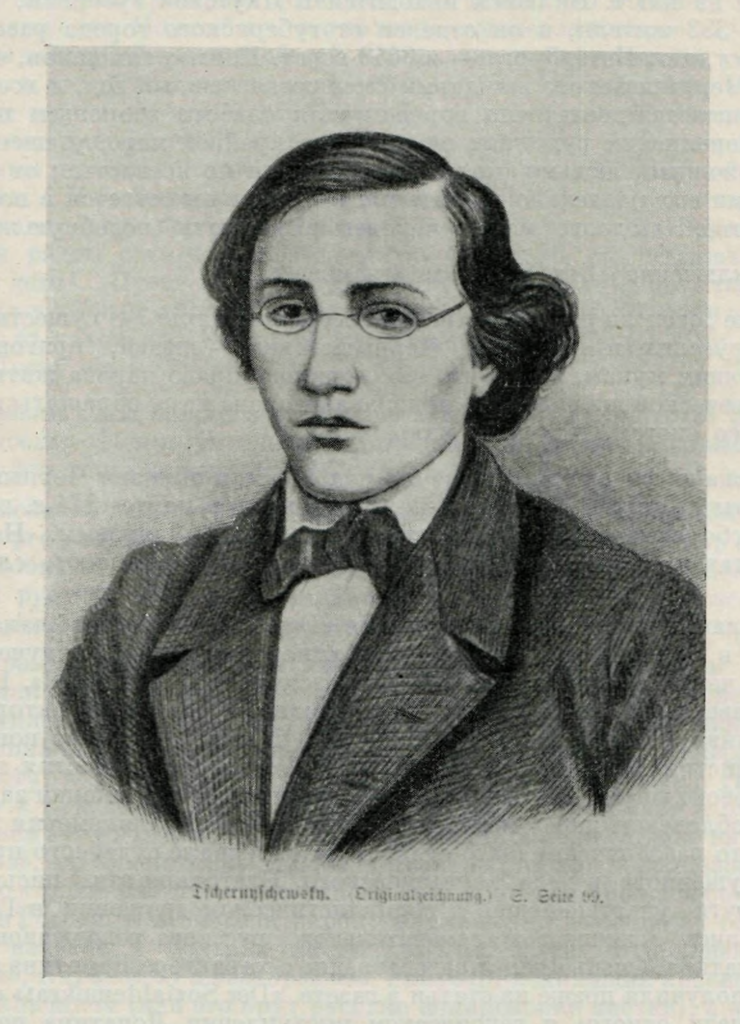
«Отчего бы человеколюбивому царю не озарить, наконец, лучом милосердия участь многострадального *Николая Чернышевского*, которого тщательно обходят при всех амнистиях? Этот влиятельный писатель, талантливый критик и экономист, как известно, был во время польского восстания 1864 г. приговорен к восьми годам каторжных работ на заводах Сибири* за участие в заговоре, зачинщиком, членом и руководителем которого будто бы был *он один*. Однако, вопреки приговору, его направили не на заводы, а на каторжные работы в рудниках, где условия гораздо бо-

---

* Чернышевский был приговорен Сенатом (приговор утвержден царем 7 апреля 1864.) к каторжным работам в рудниках на четырнадцать лет и затем к поселению в Сибирь навсегда. Александр II срок каторжных работ сократил наполовину.

Информация о Чернышевском в немецкой прессе не могла не заключать в себе отдельных фактических ошибок. Здесь и ниже отмечаются лишь некоторые, грубейшие из них. — *Ред.*

лее суровы. По уставу для ссыльных, приговоренные к каторжным работам проводят в тюрьме только четверть срока, пока они находятся на положении испытуемых, а затем могут жить на собственных квартирах, но обязаны ежедневно являться на работу. Но обычно испытательный срок много короче. Приговоренные к каторжным работам, особенно семейные, часто пользуются этой льготой с самого начала или с того момента,



ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Портрет, помещенный при статье о нем, в редактировавшемся В. Либкнехтом социал-демократическом журнале «Die neue welt», 1876, № 11

когда у них появляются средства для найма квартиры. В отношении Чернышевского это постановление не применялось, и ему пришлось весь положенный ему срок провести под замком. Далее, по уставу, даже самым тяжелым уголовным преступникам десять месяцев каторжных работ засчитываются за год; Чернышевскому пришлось полностью пробыть на каторге все восемь лет. Его продержали в тюрьме даже несколькими месяцами дольше, под предлогом расследования дела некоего *Лопатина*, подозреваемого в попытке освобождения Чернышевского. После отбытия восьмилетнего срока каторжных работ Чернышевский, по европейским

понятиям, должен был бы получить полную свободу или, по крайней мере, ожидать смягчения своей участи. Вместо этого он был переведен в маленькую тюрьму вблизи Вилюйска, в которой прежде содержались известные Дворжачек и Иосафат Огрызко и единственным обитателем которой становится теперь он. В то время как ссыльным дается даже разрешение на переезд из одного места в другое, Чернышевского на ночь запирают на ключ. Вилюйск находится в Якутской губернии, в городе числится 333 жителя, и он отделен от губернского города расстоянием в 710 верст, а от Петербурга — в 9448 верст. Климат там таков, что охраняющие Чернышевского жандармы сменяются каждый год, и все же этот климат считается достаточно хорошим для слабого здоровьем писателя; если в Нерчинских рудниках он имел, по крайней мере, утешение в общении с живыми людьми (польские товарищи по несчастью; от общения с русскими его тщательно охраняли), то теперь он остается в полнейшем одиночестве. Как долго может человек выдержать подобную жизнь?»[65].

В заключение «Der Volksstaat» замечает:

«Ну не „отец ли родной“ наш „милосердный царь“? И существуют еще *тысячи* русских и польских Чернышевских — людей, приговоренных к ужасающим мукам, за то, что они верили в право народа жить достойной человеческой жизнью и не признавали права царя обращаться с людьми, как со скотом, и мучить их».

Содержащиеся в этом сообщении подробности о жизни Чернышевского явно взяты из статьи Лопатина, помещенной им в марте 1874 г. во втором номере сборника «Вперед», издававшегося П. Лавровым. Некоторые места статьи в «Der Volksstaat» буквально повторяют слова Лопатина[66].

В заключение этой статьи редакция «Der Volksstaat» сообщала о предстоящем в ближайшем будущем опубликовании писем, полученных из Лондона через посредство газеты «Braunschweiger Volksfreund». Речь идет о двух известных открытых письмах Германа Лопатина редактору «Daily News» (январь 1874 г.) и Александру II (15 мая 1874 г.) по поводу царской амнистии 9 января 1874 г.[67] «Der Volksstaat» поместил немецкий перевод обоих писем 11 июля 1875 г. Значение этой публикации заключается в разоблачении перед немецким рабочим классом лицемерия царизма, причем это разоблачение было сделано на материале судебного преступления, допущенного в деле Чернышевского. Благодаря этим письмам, широкие круги, участвовавшие в социалистическом движении в Германии, ознакомились с личностью замечательного русского революционера Германа Лопатина. Очень яркое представление о характере Лопатина немецкие рабочие получили позже из статьи в газете «Der Sozialdemokrat» о процессе «двадцати одного» и героическом выступлении Лопатина перед царским судом[68].

В номере от 31 декабря 1875 г. газета «Der Volksstaat» сообщила об известной попытке освобождения Чернышевского, предпринятой И. Н. Мышкиным, и поместила перевод корреспонденции «Из Иркутска», напечатанной 3(15) декабря 1875 г. в № 23 лавровской эмигрантской газеты «Вперед»[69].

Рабочая печать сообщала также о революционных демонстрациях в Петербурге, во время которых неоднократно упоминалось имя Чернышевского. Так, 18 июня 1876 г. в «Der Volksstaat» был помещен под заглавием «Социалистическая демонстрация в России» специально для этой газеты написанный волнующий отчет очевидца революционной демонстрации 30 марта 1876 г. на похоронах умершего от тяжелых последствий предварительного заключения студента-революционера П. Ф. Чернышева.

После подробного описания всего происшедшего по пути следования траурной процессии на улицах Петербурга, приводится дословно надгробная речь «неизвестного оратора» (им был студент Медико-хирургической академии, впоследствии видный общественный деятель и врач-психиатр П. П. Викторов):

«Господа! Претерпевший до конца спасен будет. Сейчас мы хороним человека, который претерпел до конца. Мы знаем, что в России началось большое движение. Может быть, это то же движение, за которое еще и по сие время страдает в Сибири наш общий и всем известный великий учитель... Может быть, это то же движение, за которое наша молодежь заполняла и сейчас еще заполняет крепости. Может быть, это то же движение, жертвой которого пал наш бедный товарищ Чернышев. Здесь, рядом, господа, покоятся наши духовные отцы, Белинский и Добролюбов. Я обращаюсь к вам, отцы... Но вы нас не видите и не слышите! И все же, ваши духовные дети приходят сюда после благородных боев, приходят из тюрем, чтобы покоиться рядом с вами... Родина-мать! Слышишь ли, видишь ли ты? Вот твои дети!.. Пусть ты велика, но света у тебя мало! Пусть ты велика, но воздуха у тебя не хватает! И твои лучшие дети задыхаются в тюрьмах, погибают от чахотки... Мир тем, кто претерпел до конца! Мир тебе, товарищ! Пусть память о тебе живет вечно!»[70]

А к словам «наш общий и всем известный великий учитель» редакция делает сноску: «Подразумевается Николай Гаврилович Чернышевский, находящийся в заключении с 1863 г.».

О знаменитой демонстрации 6(18) декабря 1876 г. у Казанского собора в Петербурге рабочая газета «Vorwärts»[71], черпавшая до тех пор сведения об этом событии лишь из тенденциозных, искаженных сообщений официальной русской печати, 31 января 1877 г. поместила корреспонденцию русских революционеров. В корреспонденции говорилось:

В опровержение официальных сообщений, мы заявляем (причем среди подписавшихся имеется один очевидец и участник демонстрации), что выступление это было подготовлено не полицией, а настоящими *рабочими*-социалистами, испытанными в борьбе против деспотической русской власти, и с помощью примкнувших к революционному движению студентов и курсисток. На основании сообщений участников и очевидцев мы заявляем, что 6/18 декабря перед Казанским собором не было ни «шума», ни «свиста», ни «скандалов», но была произнесена при образцовом порядке речь о современном положении народа и о борьбе за свободу и социализм в России. В этой речи народу напомнили о мучениках борьбы за свободу, назвали и почтили имена дорогих наших товарищей — *Чернышевского, Каракозова и декабристов*. Рабочий, поднявший красное знамя, был не мальчиком (как это врут русские полицейские листки), а взрослым человеком, неоднократно подвергавшимся политическим преследованиям за свои убеждения. Демонстрацию, по мнению участников и по нашему мнению, следует считать чрезвычайно удавшейся, так как она привлекла огромное внимание всего населения, сопровождалась неоднократными выражениями одобрения зрителей и рабочих слушателей и способствовала таким образом распространению наших *социалистических* идей.

Следует указать еще на одну чрезвычайно важную публикацию. В 1876 г. иллюстрированный социал-демократический журнал «Die Neue Welt», выходивший под редакцией В. Либкнехта, опубликовал (в № 11) портрет Чернышевского вместе со статьей о нем (это, очевидно, та статья, о которой упоминает Тверитинов). В статье Чернышевский характеризуется как «талантливейший писатель», дается краткая биография

его и указывается на то, что публицистическая и политическая деятельность автора «Что делать?» оказала «самое значительное влияние на развитие свободолюбивых идей и научно-критических воззрений в русском обществе».

* * *

Примерно в это же время немецкая общественность впервые ближе познакомилась с литературными трудами Чернышевского. В 1875 г. известный словенский либеральный публицист Фр. Целестин в книге «Россия после отмены крепостного права», изданной на немецком языке, подвергал подробному разбору некоторые произведения Чернышевского, в связи с выходом в свет женевского издания его сочинений [72]. В 1877 г. немецкий монархист Карл Валькер опубликовал рецензию также на женевское издание, характеризуя великого революционного демократа как умеренного реформиста и русского Лассаля [73].

Самой значительной публикацией, посвященной сочинениям Чернышевского, во второй половине 1870-х годов, было изложение его эстетики в социал-демократической газете «Der Volksstaat» в июне и июле 1876 г. Здесь в девяти номерах на видном месте печаталась большая статья «Упразднение эстетики», передававшая содержание диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» [74]. Правда, это была не совсем точная передача мыслей Чернышевского. Речь идет о перепечатке из одной сербской газеты анонимной статьи, автор которой обосновывал свои выводы при помощи аргументов, почерпнутых из своеобразного понимания эстетики Чернышевского Писаревым. Статья начала печататься в «Der Volksstaat» 23 июня 1876 г. и открывалась следующим вступлением:

„«Мы предлагаем нашим читателям критику и разбор одного русского сочинения, которое возбудило в России общее внимание. Автор этого сочинения — *Н. Чернышевский*, гениальный русский критик и ученый, который за свои социалистические убеждения томится ныне в сибирских тюрьмах. Это произведение озаглавлено: „Эстетические отношения искусства к действительности“. Русскими писателями по поводу этого сочинения написан ряд статей. Впоследствии сам Чернышевский написал критику на этот свой труд и сделал дальнейшие выводы из своих положений. Поскольку мы считали, что русский писатель Писарев лучше всех резюмировал самую суть теории Чернышевского о прекрасном, мы взяли за основу нашей статьи критику Писарева, дополнив ее взглядами самого Чернышевского и некоторыми нашими соображениями и пояснениями. Надеемся, что наши читатели прочтут эту статью с пользой для себя“.

Таково было предисловие к статье о прекрасном, предпосланное публикации, предназначавшейся для сербского читателя, и которую мы в переводе на немецкий язык предлагаем теперь вниманию читателей „Der Volksstaat“. Мы полагаем, что наши читатели тоже с пользой прочтут статью, так как она, хотя и представляет собой критику на сочинение, не существующее в переводе на немецкий язык, все же являет собой нечто цельное и может рассматриваться как специальное исследование».

Итак, в введении для сербского читателя перечисляются три элемента, на которых построена данная статья: 1) критика Писарева на диссертацию Чернышевского в качестве основы статьи; 2) критика самого Чернышевского (так сказать авторецензия); 3) собственные высказывания сербского автора [75].

Однако изучение текста показывает, что дело идет не более как о переводе статьи Писарева «Разрушение эстетики», с незначительными из-

менениями в отдельных местах и добавлением нескольких вставок. В перевод введено несколько цитат из авторецензии Чернышевского без указания источника. Собственные высказывания сербского автора (точнее — переводчика) появились в разделе VII статьи в газете «Der Volksstaat» 7 и 9 июля 1876 г.

Nicolaj Gawrilowitsch Tschernyschewsky (s. Seite 93) gehört zu den lautersten Charakteren und talentvollsten Schriftstellern, welche die russische Literatur der letzten Dezennien aufzuweisen hat. Seine leider so kurze Thätigkeit auf dem Gebiete der philosophischen, nationalökonomischen und literarischen Kritik, sowie sein politisches Wirken waren von bedeutsamstem Einflusse auf die Entwickelung freiheitlicher Ideen und wissenschaftlich-kritischer Anschauungen in der russischen Gesellschaft. Die Leiden und infamen Verfolgungen, denen er wegen seiner Thätigkeit ausgesetzt war und noch ist, sind aber derart, daß sie nur um so wärmere Sympathie für ihn, zugleich mit dem tiefsten Abscheu gegen seine Verfolger in der Brust eines Jeden, dem die Freiheit und Wahrheit kein leerer Schall sind, zu wecken im Stande sind. Indem wir uns eine ausführliche Lebensschilderung Tschernyschewsky's, die in Arbeit ist, vorbehalten, wollen wir heute nur ein kurzes curriculum vitae (Lebensabriß) bringen. Tschernyschewsky ist der Sohn eines ziemlich bemittelen, aber durchaus biederen Popen (russischer Pfaffe) und wurde 1829 in Saratow a. d. Wolga geboren. Wie alle Popensöhne genoß er seine erste Bildung in dem geistlichen Seminare seiner Vaterstadt Saratow. Später kam er nach Petersburg auf die Universität, studirte Philologie, befaßte sich auch mit Sozialökonomie und Philosophie, und war nach Absolvirung seines Studiums zuerst als Gymnasiallehrer in Saratow, dann nach kurzer Zeit als Professor an einer Militärschule in Petersburg thätig. Seine literarische Thätigkeit beginnt im Jahre 1853, wo er in die Redaktion der radikalen Zeitung „Sowremjenik" (Zeitgenosse) eintrat. Das Blatt kam durch ihn zu einem Aufschwung, wie kein anderes in Rußland weder vorher noch seitdem. Mit eisernem Fleiße, seltener Klarheit, Schärfe und Logik veröffentlichte er jetzt eine Reihe von Arbeiten über Sozialismus, politische Oekonomie, Philosophie, Politik und Literatur. Dieses Wirken brachte ihm die erbittertsten Verfolgungen der Regierung und aller von ihm rucksichtslos in ihrer Hohlheit aufgedeckten Halben, denen er längst ein Dorn im Auge war, ein. Aber auch Alles, was nach Besserem strebte, schaarte sich begeistert um ihm. Im Jahre 1862 wurde er plötzlich, nachdem man ihm vergebens auf gesetzlichem Wege beizukommen versuchte, ohne jeden Vorwand verhaftet und ins Gefängniß geworfen. Zwei lange Jahre schmachtete er in „Untersuchungshaft", bis er endlich am 1/13. Juni 1864 zu sieben Jahren schwerer Zuchthausarbeit in den sibirischen Bergwerken verurtheilt wurde. Sein Prozeß ist eine Monstrosität, die sich denen der mittelalterlichen Inquisition und der römischen Christenverfolgungen würdig anreiht. Tschernyschewsky hat jetzt seine Zuchthausstrafe längst beendet und trotzdem wird er von der russischen Regierung nicht aus den Händen gelassen und fristet ein elendes Leben in einem der entlegensten Winkel Sibiriens — ein lebendig Begrabener. —

* * *

СТАТЬЯ О ЧЕРНЫШЕВСКОМ В РЕДАКТИРОВАВШЕМСЯ В. ЛИБКНЕХТОМ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «DIE NEUE WELT», 1876, № 11

Автор статьи не установлен

В литературе указывалось на известную односторонность в понимании Писаревым эстетики Чернышевского. Однако редакция «Der Volksstaat» по недоразумению отождествила *все* сказанное в перепечатанной ею сербской статье с теорией искусства Чернышевского и снабдила публикацию статьи в номере от 30 июня 1876 г. следующим подстрочным примечанием:

«Мы должны заметить, что ни в коей мере не можем согласиться со всеми высказанными в настоящей статье взглядами, а также с взглядами, высказанными в сочинении знаменитого русского социалиста и борца за свободу, которое было положено в ее основу».

Рассуждение сербского автора в разделе VII весьма напоминает мысли Писарева в его статье «Реалисты». В своих взглядах, особенно в нападках на «чистое искусство», автор очень близок к Чернышевскому. В заключение он приводит дословный отрывок из авторецензии Чернышевского. В целом же статья «Упразднение эстетики» может рассматриваться как искусная компиляция, которая, несмотря на некоторые преувеличения, могла все же дать немецким рабочим понятие о важнейших эстетических воззрениях Чернышевского.

* * *

Во вторую половину 1870-х годов немецкие социалисты с живой симпатией следили за ростом революционного движения в России. Об этом свидетельствует множество публикаций в немецкой рабочей печати. Так, например, 11 и 16 мая 1877 г. в центральном органе немецкой социал-демократии «Vorwärts» были напечатаны знаменитые речи пропагандистки-народницы С. Бардиной и рабочего-революционера П. Алексеева в царском суде. 10 мая 1878 г. в «Vorwärts» было помещено полное революционного пафоса стихотворение Шарлотты Вестфаль, озаглавленное «Восток окрашивается в красный цвет», по поводу покушения В. Засулич на петербургского градоначальника Трепова. О России в этом стихотворении сказано:

Там разгорелась борьба
И ждет от нас приветственного клика...

Эти годы были также годами подъема немецкого рабочего движения. Но немецкое правительство в октябре 1878 г. ответило на усиление социалистического движения позорным «законом против общественно-опасных домогательств социал-демократии», заставив немецкую партию перейти на нелегальное положение. На рабочих обрушился поток клеветы, придирок, запретов и полицейских преследований. При этом нападки реакции были направлены не только против идей и программы немецких социалистов, но и против русского революционного движения, к которому немецкие рабочие питали столь горячую симпатию.

В 1879—1880 гг. балтийский немец, монархист К. Н. фон Гербель-Эрмбах (псевдоним: Николай Карлович) выпустил тремя изданиями пасквиль «Развитие нигилизма». Клеветнические измышления против русских революционеров приводят автора к следующим практическим выводам: «На таких фанатиков,— пишет он,— в России слова убеждения бессильны оказать воздействие; к ним применимы лишь средства физического воздействия»[76]. С безудержной яростью нападает Гербель-Эрмбах в особенности на роман Чернышевского «Что делать?», который он характеризует как «плод безумия и омерзительной моральной и душевной развращенности»[77].

Подобная литературная продукция — она не исчерпывалась одним пасквилем Гербель-Эрмбаха — получала одобрение официальной Германии (а также официальной России). Гербель-Эрмбах сам пишет об этом в предисловии к третьему изданию своей брошюры: «Столь быстрая распродажа двух изданий моей небольшой, скромной книжки явилась для меня полной неожиданностью. Этим непредвиденным успехом я обязан, рад отметить это, — главным образом, доброжелательности, с какой немецкая пресса приняла мое маленькое сочинение. „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“ дала на мою книжку рецензию и посвятила ей две большие передовые статьи, „Neue Preussische Kreuz-Zeitung“, „Hamburgischer Correspondent“, немецкая „St. Petersburger Zeitung“, — посвятили ей подробные статьи самого благоприятного содержания. Кроме того, самые лестные отзывы и рецензии были помещены в берлинской газете „Post“, в „Rheinischer Kurier“, „Dresdener Journal“, „Westfälische Zeitung“, „Darmstädter

Zeitung", „Breslauer Zeitung", „Schlesische Presse", „Würtembergische Landeszeitung", „Mecklenburgische Anzeigen" и во многих других газетах, которые я в виду их отрадной для меня многочисленности не могу здесь привести.

Я очень далек от того, чтобы приписать этот успех собственным моим заслугам; в выпавшем на мою долю одобрении я вижу благожелательную оценку моих добрых намерений, доказательство сочувствия к моим стараниям дать ясное представление о развитии разрушительных тенденций в России, вплоть до самых их диких проявлений. В таком именно духе усиленно рекомендовали мой труд своим читателям русские газеты — орган Каткова „Московские ведомости", посвятивший моей брошюре две большие статьи, и петербургский еженедельник „Отголоски", подвергший ее подробному разбору»[78].

В противоположность этому немецкая рабочая печать и после выхода исключительного закона неизменно продолжала пропаганду русского освободительного движения. Одним из самых важных мероприятий немецкой социал-демократии в то время было создание нелегального центрального органа, газеты «Der Sozialdemokrat», издававшейся сначала в Швейцарии (1879—1888), а затем в Лондоне (1888—1890) и тайно ввозимой в Германию в тысячах экземпляров.

Энгельс, принимавший личное участие в руководстве газетой, характеризовал ее следующими словами: «„Sozialdemokrat" был воплощением этой незаконности. Для него не существовало ни обязательной имперской конституции, ни имперского уголовного уложения, ни прусского местного права. Противозаконно, назло всем имперским и местным законам, проникал он каждую неделю через границы священной Германской империи; сыщики, шпионы, провокаторы, таможенные чиновники, удвоенная и утроенная пограничная стража — все было напрасно; „Sozialdemokrat" доставлялся подписчикам в срок, чуть ли не с точностью векселя; никакой Стефан* не мог помешать тому, чтобы имперская почта рассылала и доставляла его по назначению. И это — при десяти с лишним тысячах подписчиков в Германии...»[79].

Энгельс называл «Der Sozialdemokrat» «знаменем немецкой партии». Благодаря этой газете немецкие рабочие социал-демократы в героический боевой период 1878—1890-х годов продолжали получать сведения о русском революционном движении и о Чернышевском. Особенно живое отражение получили на страницах газеты события периода революционной ситуации 1879—1881 гг., причем постоянно и с выражением глубочайшего уважения произносилось имя Чернышевского.

В начале 1880 г. в Германии распространились слухи о смерти Чернышевского. «Der Sozialdemokrat» помещает 22 февраля 1880 г. следующий «некролог» великому революционеру (в разделе сообщений из России):

«Снова смерть вырвала из наших рядов благородного, вдохновенного борца за свободу и справедливость — *Николая Чернышевского*. Талантливый публицист, острый критик, он своим могучим пером в течение многих лет направлял общественное мнение и вел за собой все самые прогрессивные элементы русского общества, и с конца 1850-х годов должен быть признан главой научного политического и социального движения в России во всех областях, а также энергичным пропагандистом. Как в деле освобождения крестьян и в женском вопросе, так и во всех политических, философских и экономических вопросах мощное влияние Чернышевского вело общественное мнение по радикальному пути, а вдохновленную им молодежь — по пути социализма.

---

* *Стефан* (Stephan), Генрих (1831—1897) — генерал-почтмейстер Германской империи. — *Ред.*

Само собой разумеется, что правительство не могло долго терпеть подле себя подобного человека, и так как оно законным путем не могло предъявить ему никаких обвинений, то прибегло к путям незаконным. К делу были привлечены подкупленные свидетели, якобы подписанные им прокламации и т. п.— короче говоря, с трудом было составлено обвинение, и через два с половиной года мучительного следствия Чернышевский был приговорен к 14 годам каторжных работ на сибирских рудниках. Какое дело было зверски-жестокому правительству до того, что оно вырывало одного из благороднейших сынов России, одного из лучших учителей и вождей из круга его деятельности, оторвало его от научных работ — c'est la guerre!* А русское правительство ведет войну (подобно многим своим коллегам) против всякого свободного движения, против любого свободного слова. После того как Чернышевский — жертва этого судебного убийства — вынес каторжные работы, его не перевели на вольное поселение, как это было принято в подобных случаях, но отправили пожизненно в жалкую деревню, населенную чукчами, на крайнем северо-востоке Сибири под присмотр двух жандармов и двух казаков. Здесь, полностью отрезанный от мира, от общения с культурными людьми, Чернышевский вел мучительное существование. Два раза отважные социалисты делали попытку его освободить, но, к сожалению, безрезультатно. Теперь смер избавила его от страданий.

Пусть нашим братьям, русским социалистам, поскорее удастся отомстить за своего великого учителя, осуществив в России порядок, соответствующий духу его учения, духу социализма. В заключение мы рекомендуем товарищам, знающим французский язык, почтить память великого русского социалиста, прочитав во французском переводе два его главных произведения: социальный роман „Что делать?“ и критику на „Политическую экономию“ Милля. В дальнейшем мы дадим более подробный отчет о научном и политическом значении Чернышевского».

Кто был автором этого «некролога» установить не удалось[80]. Две недели спустя, 7 марта 1880 г. в «Der Sozialdemokrat» появилась заметка о ложности сообщения о смерти Чернышевского, основанная на опровержениях, напечатанных в нескольких газетах. Заметка в «Der Sozialdemokrat» комментировала вновь полученные сведения следующими словами: «Как бы то ни было, для мира духовного творчества и работы на пользу общества Чернышевский, во всяком случае, мертв; это самое печальное, и этого одного уже совершенно достаточно, чтобы заставить нас ненавидеть подлую тиранию, превратившую его много лет назад в живого мертвеца и отнявшую у нас даже повод особенно радоваться в том случае, если бы он был еще жив. Ибо не лучше ли быть на самом деле мертвым, чем заживо погребенным без надежды на освобождение?!»

В то время в немецкой рабочей печати, наряду с крылатым словом «милосердный царь», при упоминании имени Чернышевского постоянно повторялось еще одно крылатое слово *«заживо погребенный»* («Lebendig begraben»).

6 февраля 1881 г. «Der Sozialdemokrat» перепечатал в переводе на немецкий язык передовую статью из петербургской легальной газеты «Страна» от 15 (27) января 1881 г., в которой приводились подробности, касающиеся ссылки Чернышевского, и ставился вопрос о его амнистии. За эту статью газете было объявлено предостережение. К этой статье были даны комментарии в либеральном духе. В них затушевывался революционный характер воззрений и деятельности Чернышевского. Редакция «Der Sozialdemokrat» сопроводила эти комментарии многозначительным знаком вопроса и снабдила статью следующим примечанием: «Весьма по-

* это война! (франц.).

казательно, что русское правительство в своем безумном страхе перед „свободомыслием“ не нашло лучшего ответа на эту статью, как объявить „Стране“ предостережение. Преступление правительства, совершенное по отношению к человеку, высоко уважаемому, ценимому и любимому и старыми и молодыми, и синими и красными, и социалистами, активно участвующими в борьбе, и кабинетными учеными, это преступление никогда не будет забыто».

Между тем в немецком рабочем движении сознание громадного революционного значения идей Чернышевского укоренилось настолько сильно, что «Der Sozialdemokrat», сообщая о последовавшем вскоре покушении на Александра II, намекнул, что убийство царя явилось как бы искуплением преступления, совершенного по отношению к Чернышевскому. Сообщение о смерти царя («Das Ende Alexanders des Zweiten»), помещенное в «Der Sozialdemokrat» 20 марта 1881 г. (через неделю после покушения), было дано с эпиграфом из «Вильгельма Телля» Шиллера: «Смотрите, дети, как погибает злодей!», причем в качестве одного из величайших злодеяний убитого царя называлась ссылка Чернышевского.

В этой статье о Чернышевском говорится как о символе угнетенного русского духа, «благородном мыслителе», «бледном человеке с высоким челом», которого царь не хотел выпустить на волю. Смерть царя — справедливое возмездие за угнетение благороднейших русских умов. Неизвестный автор пишет:

«В своей преступной заносчивости Александр II счел себя вправе распоряжаться не только телом, но и духом многих миллионов людей. Он не оставил без применения ни одного из имевшихся в его распоряжении грозных средств подавления прогрессивного духа своего народа. Разбитый духовно и физически, страждет ныне в отдаленной Восточной Сибири благородный мыслитель Чернышевский, приговоренный в 1864 году к десяти годам* каторжных работ за пропаганду, содержавшуюся в его сочинениях, т. е. в публикациях, пропущенных цензурой, и в *одном* ложно приписываемом ему черновике прокламации**. Десять лет прошло, но „милосердный“ царь не освободил бледного человека с высоким челом, а приказал отправить его еще дальше в глубь Сибири, в места, население которых не знает русского языка, и где климат грозит европейцу верной смертью. И сегодня Чернышевский уже умер для науки, если даже он и будет прозябать еще несколько лет.

Судьба Чернышевского показывает на *одном* примере, что делает правительство Александра II со многими тысячами людей».

Одновременно «Der Sozialdemokrat» предостерегал и притеснителей немецкой социал-демократии:

«А вы, называющие себя сильными мира сего, вы, полагающие, что можете насильственными мерами и преследованиями задержать ход мирового исторического развития — Discite, moniti! *Запомните, вы предупреждены!*».

Впрочем, эта позиция по отношению к судьбе, постигшей Александра II, не означала оправдания индивидуального террора. В статье, напечатанной 24 апреля 1881 г. и посвященной памяти казненных «первомартовцев» («In memoriam»), «Der Sozialdemokrat» отмежевывается от террористической тактики народовольцев в следующих выражениях: «Примененные ими средства борьбы — это не наши средства, хотя цели у них и у нас общие. Они подобно нам боролись за устранение всякой экономической эксплуатации и политического гнета, *за равенство всех людей.*

Поэтому мы и социал-демократия всех стран чтим их память, поэтому их имена навеки останутся неизгладимыми в наших сердцах».

---

* См. прим. к стр. 172.—*Ред.*

** Имеется в виду прокламация «Барским крестьянам» от их доброжелателей поклон...» (1861 г.). Она действительно была написана Чернышевским.— *Ред.*

* * *

В сентябре того же 1881 г. в Вене на втором заседании конгресса Международного общества литераторов произошел шумный инцидент. Французский писатель Луи Ратисбонн внес предложение обратиться к Александру III с просьбой об освобождении Чернышевского. Предложение было поддержано одной частью собрания и вызвало резкий протест со стороны другой (поляки, француз Бело). В немецкой буржуазной печати появилось несколько более или менее подробных заметок об этом инциденте[81]. Самым подробным был отчет, помещенный в либеральной «Vossische Zeitung» от 23 сентября 1881 г., написанный на основании сообщений венской печати.

Согласно этому отчету, Ратисбонн поставил свое требование в связь с прениями по поводу защиты духовной собственности. Газета следующими словами передает выступление Ратисбонна: «*Ратисбонн*: Хотя вопрос, который я сейчас поставлю, и не стоит на повестке дня, я все же считаю себя обязанным при обсуждении вопроса о литературной собственности в России обратить внимание на один пункт, а именно на то, что прежде всего следует охранять личную безопасность русских писателей. Я не собираюсь вызывать здесь политической дискуссии, но во имя гуманности хочу побудить представителей интеллектуальной Европы предпринять попытку исправить давнюю несправедливость, вызвавшую в свое время вопль негодования. Дело идет о сосланном 18 лет тому назад в Сибирь русском писателе Чернышевском *(Браво! Браво!)*, выдающемся публицисте и гениальном писателе-социалисте типа Прудона. В России писатель, свободно и открыто высказывающий свои взгляды, к сожалению, награждается ссылкой в Сибирь. *(Возгласы одобрения и протеста со стороны русских и поляков)*».

По сообщению «Vossische Zeitung», эти слова вызвали невообразимый шум. И будто бы особенно громко протестовали против предложения Ратисбонна «русские писатели», которые даже «грозили покинуть зал». В действительности, однако, позиция участвовавших в конгрессе трех русских литераторов — В. А. Крылова, Е. де Роберти и С. А. Венгерова — была совершенно иная. Сама инициатива постановки вопроса о Чернышевском на конгрессе принадлежала Е. де Роберти, а когда Ратисбонн внес предложение просить царя об амнистии, оно было единодушно поддержано всеми русскими участниками конгресса. Протестовал же против предложения, вместе с поляками и французом Бело, некто Мишле, полурусский, полуфранцуз, подозрительный делец, самочинно выдававший себя за русского литератора. Случилось, однако, так, что некоторые венские газеты, едва ли не инспирированные Мишле, приписали его позицию представителям России. Правда, клевета была тут же разоблачена. На другой день председатель конгресса Людвиг Ульбах обратился к собранию со следующим заявлением, которое попало в некоторые газеты: «В отчетах венских газет касательно инцидента о Чернышевском ⟨...⟩ находится достойная сожаления ошибка, которую желают исправить представители России: гг. Крылов, Роберти и Венгеров. Наши товарищи из русской прессы были выставлены как будто они протестовали против предложения нашего уважаемого товарища Ратисбонна; они считают необходимым это исправить и объяснить, что они ⟨...⟩ от всего сердца разделяют желание Ратисбонна»[82].

К сожалению, сделанная поправка осталась незамеченной руководителями «Der Sozialdemokrat». В номере от 29 сентября 1881 г. газета выступила с негодующими обличениями в адрес русских участников конгресса, будто бы отказавшихся из-за «трусости» и «собачьей покорности» поддержать просьбу об амнистии Чернышевскому.

Через год после этих высказываний по поводу инцидента на венском литературном конгрессе «Der Sozialdemokrat» 19 октября 1882 г. поместил еще одно сообщение о положении Чернышевского в Сибири под заголовком «Заживо погребенный». Это сообщение было взято из выходившей в Женеве «либерально-революционной» (формулировка «Der Sozialdemokrat») газеты «Der Baltische Föderalist».

На эту публикацию указывает в своей библиографии М. Н. Чернышевский. Он пишет, что венская газета «Neue Freie Presse» 3 октября 1882 г.

Was thun?

Erzählungen von neuen Menschen.

Roman

von

N. G. Tschernyschewskij.

Aus dem Russischen übertragen.

Erster Theil.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1883.

Vorwort des Uebersetzers.

Der im Jahre 1881 zu Wien tagende Internationale Schriftstellerverband nahm bekanntlich Gelegenheit, sein Mitgefühl mit dem russischen Schriftsteller Tschernyschewskij kundzugeben, dem Verfasser des hier in deutscher Uebertragung dargebotenen Romans; seit beinahe zwanzig Jahren schmachtet der Unglückliche in der Verbannung an einem der entlegensten Orte Sibiriens, fern von den Seinigen, ohne Bücher, ohne Umgang, abgeschnitten von allem geistigen Verkehr!

Nikolaj Gawrilowitsch Tschernyschewskij wurde im Jahr 1829 zu Saratow an der Wolga geboren. Sein Vater war Priester an der Kathedrale der Stadt. Anfangs gleichfalls für die Kirche bestimmt, genoß der junge Nikolaj den Unterricht in dem dortigen geistlichen Seminar und zeigte schon früh besondere Vorliebe für Erlernung der classischen wie der modernen Sprachen.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. ЛЕЙПЦИГ, 1883

Титульный лист и первая страница книги с предисловием переводчика

обратила внимание на корреспонденцию о Чернышевском, появившуюся в «Der Baltische Föderalist»[83]. Однако до сих пор более точных сведений об этой публикации не имелось. Между тем речь идет не о чем другом, как о корреспонденции «Из Якутской области», помещенной в вышедшем в Лондоне в 1882 г. сборнике «На родине»[84], на что указывает следующее (взятое, вероятно, из газеты «Der Baltische Föderalist») подстрочное примечание в «Der Sozialdemokrat»: «Во втором выпуске изданной партией террористов брошюры „На родине“ (на русском языке), стр. 70. Лондон 1882 г.».

Согласно перепечатке в газете «Der Sozialdemokrat»[85] сообщение в «Der Baltische Föderalist» начинается словами: «Мы очень рады сообщить нашим читателям, что столь часто распространявшиеся слухи о смерти Чернышевского могут быть нами опровергнуты на основании полученной из Сибири корреспонденции, которую мы и предлагаем их вниманию».

Это сообщение вновь напоминало немецким рабочим о значении Чернышевского. Его характеризуют как «сияющий светоч науки», и в конце статьи немецкие пролетарии могли прочесть следующее: «Он пользуется

в городе* всеобщим уважением, и население считает его даже святым; само собой разумеется, это происходит не потому, что кто-нибудь может оценить его научные или общественные заслуги, нет, его уважают просто за ум, за редкую человечность, за подлинно аскетический образ жизни и за стойкость, с которой он несет свой тяжелый крест».

Таким образом, публикации в «Der Sozialdemokrat» значительно способствовали укреплению в немецком рабочем классе представления о величии и духовном значении мученика русского освободительного движения. Имя Чернышевского стало символом угнетенного русского духа и символом стремления русского народа к свободе; это послужило одновременно укреплению идей социалистического интернационализма, укреплению чувства боевой связи с угнетенным русским народом и призывало всех порабощенных государственным строем обеих стран к борьбе против общего врага — немецкой императорской власти и русского царизма.

* * *

В 1883 г. в лейпцигском издательстве Брокгауза вышел перевод на немецкий язык романа Чернышевского «Что делать?»[86] Этот перевод лег в основу издания, выпущенного в 1947 г. издательством Советской военной администрации в Берлине («SWA-Verlag») и в 1952 г. издательством «Aufbau», также в Берлине[87].

Первое на немецком языке издание главного художественного произведения Чернышевского имеет свою предысторию. Еще 18 октября 1867 г. А. А. Серно-Соловьевич писал Боркгейму, что он переводит этот роман для книгопродавца Р. Лессера, что перевод им почти закончен и в скором времени будет напечатан в «Internationale Bibliothek»[88]. В одном из примечаний к немецкому переводу брошюры «Наши домашние дела» Серно-Соловьевич также упоминает, что роман этот «в скором времени появится на немецком языке»[89]. Но, по-видимому, перевод не был напечатан, и мы никаких дальнейших указаний на него в немецкой рабочей печати найти не смогли.

Немецкая общественность впервые получила более подробные сведения об этом романе от врага русского освободительного движения, балтийского барона Теодора (Федора Ивановича) Фиркса, известного под псевдонимом Д. К. Шедо-Ферроти, чиновника русской государственной службы. В 1871 г. он опубликовал на немецком языке клеветническую статью против романа «Что делать?» в журнале «Глобус» и там же напечатал несколько отрывков из романа[90]. Он характеризует это произведение как слабый и непристойный роман, в котором проповедуется упразднение всех законов и абсолютная анархическая свобода. В 1872 г. в журнале «Magazin für die Literatur des Auslandes» появилась рецензия на эту статью Шедо-Ферроти, в которой автор писал: «Хотя нам этот роман тоже известен не полностью, а лишь в выдержках, приводимых господином критиком, мы должны признать, что если когда-нибудь цензурный запрет был оправдан, то именно в этом случае и что в странах, где подобных запретов не существует, они должны были бы быть введены специально для этой книги»[91]. Так представила реакция в начале 1870-х годов немецкой публике бессмертное произведение русского мыслителя.

Существенные сведения о романе Чернышевского мы в первый раз находим у Селестина, в его упомянутой уже выше книге «Россия после отмены крепостного права»[92]. Правда, и Селестин не уделяет внимания главному в романе, например образу Рахметова и социалистическим прозрениям будущего в четвертом сне Веры Павловны.

Немецкая буржуазная общественность 1870-х годов не могла уже больше обходить молчанием гениальное произведение. В третьем издании

* В Вилюйске. В корреспонденции ошибочно назван Верхнеколымск.— *Ред.*

«Энциклопедического словаря» Мейера, вышедшем в 1878 г., можно прочесть о романе Чернышевского следующее: «Отличающийся сильным нигилистическим уклоном, роман производит неприятное впечатление и носит чисто социалистический характер. Со временем, когда страсти утихнут и станет возможной более беспристрастная критика, мастерское изображение новых общественных и государственных отношений, рисующихся героине в ее снах, позволит причислить этот роман к таким произведениям как „Утопия" Т. Мора»[93].

В 1882 г., то есть за год до выхода немецкого перевода романа, в издаваемом Брокгаузом журнале «Unsere Zeit» было напечатано подробное изложение его содержания, сделанное Рафаэлем Лёвенфельдом, впоследствии основателем берлинского театра имени Шиллера[94]. Лёвенфельд ссылается на публикацию Шедо-Ферроти 1871 г. в «Глобусе» и приводит по ее тексту некоторые отрывки из романа, но до известной степени отмежевывается от Шедо-Ферроти, характеризуя его изложение как тенденциозно преувеличенное и частично извращающее идеи подлинника. Лёвенфельд передает довольно обстоятельно содержание романа, некоторые диалоги приводятся им дословно, особенно подробно изложен четвертый сон Веры Павловны. Однако автор также не усвоил идейное содержание произведения и приходит к выводам, сделанным явно под влиянием Шедо-Ферроти и ему подобных писак (это относится, например, к характеристике образа жизни Веры Павловны, будто бы «обусловленного безудержной чувственностью» и т. п.)[95]. Кроме изложения «Что делать?», Лёвенфельд дает довольно хорошее описание жизни Чернышевского[96]. В заключение он упоминает о прошлогоднем инциденте на венском литературном конгрессе и замечает, имея в виду расправу самодержавия с Чернышевским: «Господа писатели справедливо протестовали против варварских способов борьбы насильственными мерами с образом мыслей людей»[97].

На выход романа первыми откликнулись критики из буржуазно-либеральных газет. Мюнхенская «Allgemeine Zeitung» 26 октября 1883 г. поместила статью Вильгельма Генкеля. Как и Лёвенфельд, Генкель не видит художественных достоинств романа и враждебен пропагандируемым в «Что делать?» социалистическим идеалам. «Теории эти не новы,— пишет Генкель,— уже Оуэн, Сен-Симон, Фурье проповедовали нечто подобное. Серьезная наука переросла эти теории, и они имеют теперь историческое и теоретическое значение, практически же они невыполнимы»[98]. Но в выступлении Генкеля была и своя ценная сторона. Он подчеркивал, хотя и с буржуазно-либеральных позиций, революционность идейного содержания и пропагандистское значение романа. Он писал: «Читатель, который возьмет в руки только что вышедший в немецком переводе роман Чернышевского „Что делать?" с намерением развлечься или доставить себе поэтическое наслаждение, такой читатель будет разочарован. Этот так называемый роман никак не является развлекательной литературой, он требует сосредоточенного внимания и изучения. Фабула составляет только рамку для основного содержания, она проста и имеет второстепенное значение. Главное значение имеют развиваемые автором социально-политические теории».

И в другом месте: «Именно это произведение с его незамаскированными поучениями оказало громадное влияние на молодежь шестидесятых годов, и практические следствия этих теорий не долго заставили себя ждать».

Под «практическими следствиями» Генкель подразумевает не организацию швейных мастерских и подобных им предприятий с целью эмансипации женщин в России, но прежде всего борьбу русских революционеров против царской власти.

В качестве главного героя романа — об остальных автор вообще не упоминает — Генкель называет революционера Рахметова, которого

характеризует как «идеал нигилиста». Генкель понял все значение этой фигуры. Он дает правильное описание характера и поведения Рахметова и в заключение пишет: «Таков герой Чернышевского, подобную личность он предлагает молодежи в качестве образца. Можно себе представить, на что были бы способны подобные люди — если бы таковые существовали. Естественно, что этот идеал недостижим, но то, что есть люди, идущие по этому пути, нам известно из материалов судебных процессов последних лет».

Такая информация о содержании романа должна была несомненно отпугнуть от него буржуазного читателя. Зато демократически настроенный немецкий читатель мог из рецензии Генкеля понять, что роман Чернышевского представляет собой произведение стойкого революционера и что оно богато прогрессивными идеями.

В «Allgemeine Zeitung» 22 ноября 1883 г. и в органе немецкого союза писателей «Magazin für die Litteratur des In- und Auslandes» за 1884 г. [99] мы встречаем отзывы и двух других критиков. Обе статьи слабы; авторы их с буржуазной точки зрения выступают против идейного содержания романа.

И здесь немецкому рабочему движению оставалось сказать последнее слово. Как уже указано Н. В. Спижарской, в 1885 г. один из основателей и виднейших деятелей германской социал-демократии Август Бебель опубликовал в социалистическом журнале «Die Neue Zeit» свою статью о романе «Что делать?» под названием «Идеалистический роман» [100]. Именно он, как никто другой, был призван почтить это произведение Чернышевского, ибо за несколько лет до того, когда роман «Что делать?» — эта «Песнь песней» освобождения женщины в социалистическом обществе — появился на немецком языке, Бебель выпустил свой монументальный труд «Женщина и социализм» (1879).

В условиях, созданных законом против социалистов, Бебель был вынужден напечатать свою статью о «Что делать?» в *легальном* немецком журнале. Этим объясняется некоторая сдержанность в разборе наиболее революционных страниц романа. Так, например, Рахметов упоминается только среди эпизодических фигур, и Бебель особенно его не выделяет.

Независимо от этого,— как отмечает Н. В. Спижарская в своей статье о рецензии Бебеля,—в эстетически-художественной оценке «Что делать?» имеются и некоторые слабые стороны. Очевидно, Бебель не постигает полностью хитросплетения «эзопова языка» Чернышевского. Особенно это заметно в оценке образа Рахметова. Столь же спорными являются теоретические рассуждения Бебеля о противоположности романа «реалистического» роману «идеалистическому».

С другой стороны, Бебель правильно критикует рассуждения Чернышевского о «разумном эгоизме», которые кажутся ему не до конца продуманными с философской точки зрения, и утопические элементы романа. В этой критике ясно обнаруживается приверженец научного социализма, который не мог полностью признать теорию морали, построенную на антропологизме, а также утопические картины будущего по Фурье.

Но основным для Бебеля является боевая, прогрессивная тенденция романа, и он полагает, что эта книга воодушевит многих на борьбу за социализм.

Приводим полностью текст статьи Бебеля:

ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Реалистическое направление современной литературы органически связано с позитивным духом нашего времени. Тот, кто запечатлевает типические черты внешней и внутренней жизни современного человека, всегда поучителен, а поэтому интересен и полезен. Даже карикатура на

это направление — манера Золя, механически копирующая каждую деталь как значительную, так и незначительную,— подобно разрозненному исследованию частных явлений в естественных науках,— даже эта манера имеет достоинство научной точности. Золя во многих своих произведениях дает материал для обобщенного представления об окружающей его среде; другие писатели умеющие лучше отделять существенное от несущественного, дают и самое обобщение. Таков, например, Тургенев в «Нови», где он показывает все современное ему русское общество. Но оба они реалисты.

Однако такое направление — реалистическое направление — не является единственно возможным. Можно себе представить автора, который делает не копию, а создает образец, и который хочет изобразить не существующее, а идеальное состояние. А чем строже будет он при этом держаться в границах возможного, чем яснее показывать пути, ведущие от действительности к идеалу, тем больше будут его заслуги, тем глубже его влияние. Так поступали (не станем приводить менее значительные имена) Руссо и Песталоцци, когда они обращались к форме романа, чтобы раскрыть свои идеи на примерах, дать как бы проекцию этих идей на действительность.

Вот в этом смысле и можно назвать идеалистическим одно из произведений современной русской литературы, которой вообще больше, чем всякой другой, свойственно изображение резко очерченных характеров, а именно роман многострадального Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых людях». Он стал доступен немецким читателям* с 1883 г. благодаря хорошему переводу, изданному Брокгаузом в Лейпциге.

Этот роман появился в свет в 1863 г. Книга Тургенева «Отцы и дети» привела в негодование обе стороны: и «отцов» и «детей». «Дети» были недовольны тем, что их представитель, Базаров, не высказывает ни единой положительной идеи, ограничиваясь исключительно радикальной критикой. Не удовлетворил их и относящийся к тому же времени роман Герцена «Кто виноват?», где проблема — проблема брака — была только поставлена и показаны конфликты, но отсутствовало разрешение, не был указан выход. Один из «детей» в романе Тургенева говорит с наивной нелогичностью: «Мы сила, поэтому мы разрушаем». Чернышевский же хотел сказать: «Мы сила, поэтому мы созидаем». Что̀ надо делать, что̀ созидать — это именно и есть содержание его произведения.

В этом произведении Чернышевский рисует основные черты совершенно нового общественного устройства. Воодушевленный всеми освободительными и свободолюбивыми идеями, он показывает на конкретных примерах, как эти идеи могут преобразующе воздействовать на жизнь. Сами примеры не представляют собой ничего необычайного, они взяты из повседневности; новым и необычайным является лишь поведение героев в данных обстоятельствах. А герои, хотя они и «новые»,— жизненны, иначе ведь все было бы утопией! — Частью это старые — подлинные цветы, выросшие на русской болотистой общественной почве, частью — новые это идеалисты из среды русской молодежи, озаренные и согретые светом науки; хотя, конечно, различные типы в рамках романа сконцентрированы на более тесном пространстве, чем это бывает в жизни, и, чтобы служить примером, чаще ставятся перед необходимостью принципиальных решений.

Каковы же основные элементы, при помощи которых, по Чернышевскому, должна быть преобразована жизнь? Самых главных из них три: организация труда, женская эмансипация и создание новой морали, основанной

* К сожалению, только обеспеченным читателям. Упомянутое издание сто̀ит не меньше 15 марок. Было бы нетрудно и, по нашему мнению, столь же прибыльно, сколь и похвально, выпустить дешевое издание этого романа для народа.— *Прим. ред. «Die Neue Zeit».*

не на метафизике, а на опыте. Действие этих элементов раскрывается в романе в рамках следующей фабулы:

Петербургский студент, по имени Лопухов, один из «новых», ученик Оуэна и Фурье, знакомится с Верой Павловной, дочерью мелкого чиновника, которая, однако, благодаря «усердию» своей матери, получила более широкое образование, чем девушки ее круга. Он проникается интересом к судьбе Веры и женится на ней, чтобы избавить ее от матери, задумавшей выдать ее замуж против ее воли за богатого развратного пошляка, сына их домовладелицы. Лопухов работает в какой-то конторе и занимается переводами, Вера дает уроки музыки и основывает швейную мастерскую, которую она организует так, что каждая работница полностью получает свою долю прибыли, и у девушек складывается разумная и дружная совместная жизнь. Супруги живут сначала друг с другом как брат и сестра, лишь позже — в действительном браке. Вскоре, однако, Вера, которая только теперь развилась в самостоятельную личность, замечает, что хотя она и испытывает уважение и благодарность к своему мужу, но не подходит к нему, потому что их натуры слишком различны; он, например, любит одиночество, а она —общество. Гораздо больше гармонирует с ней Кирсанов, друг ее мужа, профессор медицины, испытывающий к Вере сначала неразделенную склонность, на которую она потом отвечает. Оба борются с этим чувством, но, наконец, Вера вынуждена, чтобы быть честной, сказать о нем своему мужу, который считает противоестественной дальнейшую борьбу: «подавление желания убивает жизнь»; расторжение брака является для него, следовательно, необходимым, хотя и не безболезненным выходом. Чтоб осуществить это решение, он на некоторое время сходит со сцены под предлогом, что хочет поехать в Рязань навестить свою мать, сам же простреливает на Невском мосту свою фуражку и исчезает. Вера в отчаянии, ибо она, как и другие непосвященные, считает, что он действительно застрелился, но вскоре по неопровержимым признакам она убеждается, что он жив. Тогда она выходит замуж за Кирсанова, будучи уверенной, что таково желание Лопухова. Последний появляется затем вновь под вымышленным именем американца Бьюмонта, женится на Кате Полозовой, подруге Веры, и раскрывает, наконец, свое инкогнито. Между обеими супружескими парами завязываются дружеские отношения. Вера счастлива, под руководством своего мужа она начинает изучать латынь и медицину.

Легко заметить, что проблема брака, как и у Герцена («Кто виноват?»), выступает здесь на первый план, она образует основу действия; но, по меньшей мере, так же важны и так же тщательно разработаны эпизоды, посвященные вопросам организации труда и позитивной морали. Первая из этих проблем раскрывается в подробном описании устройства швейной мастерской, последняя же служит предметом обсуждения друзей во время их бесед, причем они пытаются свести все моральные поступки к «эгоизму». Эпизодичны, но все же существенны для общей картины разнообразные характерные типы среди второстепенных персонажей, в особенности мать Веры, женщина из народа, умная и энергичная, но нечестная, ибо она видит, что только нечестность ведет к благополучию при существующем устройстве мира; Серж, слабый, но добродушный офицер, раб своей любовницы, француженки Жюли, которая также являет собою сочетание нравственного пафоса, легкомыслия и сентиментальности; далее, из «новых» — Рахметов, «ригорист», потомок татарского княжеского рода, но всеми фибрами души друг народа, посвятивший всю жизнь служению своей идее, отдающий свое состояние бедным студентам; он не позволяет себе никогда никаких излишеств, ни в поступках, ни в словах, ни в еде и хочет пользоваться только тем, что доступно народу, потому, наслаждаясь курением, всегда испытывает душевные муки и укоры совести;

Ein idealistischer Roman.

Dem exakten Sinne unserer Zeit ist die realistische Richtung der modernen Literatur ursächlich verwandt. Wer das innere und äußere Leben der modernen Menschen typisch fixirt, der belehrt und wird dadurch interessant und nützlich. Selbst die Karrikatur dieses Bestrebens, die Manier Zola's, die jede Einzelheit, gleich viel, ob bedeutend oder unbedeutend, mechanisch kopirt, — ähnlich der zusammenhanglosen Detailforschung in der Naturwissenschaft — selbst diese Manier hat immer noch das Verdienst wissenschaftlicher Korrektheit. Zola gibt in seinen verschiedenen Werken das Material zu einer systematischen Darstellung seiner Umgebung; Andere, die Wesentliches und Unwesentliches besser trennen, geben dies System selbst, so z. B. Turgenjew im „Neuland“, wo er die ganze zeitgenössische russische Gesellschaft vorführt. Aber beide sind Realisten.

Allein diese Gattung, die realistische, ist nicht die einzig mögliche. Es ist doch denkbar, daß der Autor nicht ein Abbild, sondern ein Vorbild geben, nicht einen vorhandenen, sondern einen idealen Zustand darstellen will. Je genauer er sich dabei in den Grenzen des Erreichbaren hält, je deutlicher er die Wege zeigt, die von der Wirklichkeit zum Ideal führen, desto größer wird sein Verdienst, desto tiefer seine Wirkung sein. So haben, um von Kleineren zu schweigen, Rousseau und Pestalozzi theilweise die Form des Romans gewählt, um ihre Ideen an Beispielen zu zeigen, gewissermaßen die Projektion derselben auf die Wirklichkeit zu zeichnen.

In diesem Sinne idealistisch ist ein Werk der modernen russischen Literatur, die ja überhaupt an scharf ausgeprägten Karakterfiguren mehr als jede andere bietet, nämlich des unglücklichen Tschernyschewsky Roman: „Was thun? Erzählungen von neuen Menschen.“ Derselbe ist seit 1883 durch eine gute, bei Brockhaus in Leipzig erschienene Uebersetzung dem deutschen Publikum zugänglich.*)

Dieser Roman erschien im Jahre 1863. Turgenjew's Buch „Väter und Söhne“ hatte soeben beide, Väter wie Söhne, in Entrüstung versetzt. Die „Söhne“ beschwerten sich, daß ihr Repräsentant, Basarow, nicht einen einzigen positiven Gedanken, sondern lediglich radikale Kritik gebe. Auch mit Herzen's gleichzeitigem Roman „Wer ist schuld?“ waren sie unzufrieden, da er nur ein Problem, das der Ehe, behandelte, und zwar die Konflikte, aber keine Lösung, keine Versöhnung zeigte. Einer der Söhne sagte bei Turgenjew mit naiver Unlogik: „Wir sind eine Kraft, darum zerstören wir.“ Tschernyschewsky wollte sagen: „Wir sind eine Kraft, darum schaffen wir.“ Was zu thun, was zu schaffen sei, das eben ist der Inhalt seines Werkes.

Es ist ein ganz neuer Gesellschaftsbau, den Tschernyschewsky darin im Grundriß darstellt. Von allen befreienden und erlösenden Ideen begeistert, zeigt er an konkreten Fällen, wie dieselben das Leben umgestalten werden. Diese Fälle sind nicht originell erfunden, sondern alltäglich; neu und originell ist nur die Art, wie sich seine Personen dabei verhalten. Auch diese Personen sind zwar „neu“, aber wirklich — sonst wäre ja alles Utopie — sind es theils die Alten, echte Pflanzen des sumpfigen russischen Gesellschaftsbodens, theils die Neuen, die Idealisten unter der russischen Jugend, die vom Licht der Wissenschaft erwärmt und

*) Leider nur dem bemittelten Publikum. Die betreffende Ausgabe kostet nämlich nicht weniger als 15 Mark. Es wäre leicht und unseres Erachtens ebenso gewinnbringend, wie verdienstlich, eine billige Volksausgabe dieses Romans zu veranstalten. Die Redaktion.

erleuchtet sind; nur freilich sind die verschiedenen Typen hier im Roman auf einen engeren Raum zusammengedrängt, als im Leben, und werden des Beispiels halber viel häufiger vor prinzipielle Entscheidungen gestellt.

Welches sind nun die Elemente, durch welche nach Tschernyschewsky das Leben reformirt werden soll? Man findet im Wesentlichen drei heraus: die Organisation der Arbeit, die Emanzipation des weiblichen Geschlechts, die Begründung einer neuen, nicht auf Metaphysik, sondern auf Erfahrung beruhenden Moral. Die Wirkung dieser Elemente zeigt sich im Rahmen folgender Fabel:

Ein Petersburger Student, Namens Lopuchow, einer der „Neuen“, Schüler Owen's und Fourier's, lernt Wera Pawlowna kennen, die Tochter eines kleinen Beamten, die aber infolge der „Strebsamkeit“ ihrer Mutter eine über ihren Stand hinausgehende Bildung erhält; er faßt Theilnahme für Wera und heirathet sie, um sie von ihrer Mutter zu befreien, die sie wider ihren Willen zur Ehe mit einem reichen faden Wüstling, dem Sohne der Hausbesitzerin, zwingen will. Lopuchow arbeitet in einem Kontor und macht Uebersetzungen, Wera gibt Musikstunden und errichtet eine Nähwerkstatt, die sie so leitet, daß jede Arbeiterin ihren vollen Antheil am Ertrage erhält und zwischen den Mädchen sich ein vernünftiges, freundschaftliches Zusammenleben ausbildet. Die beiden Gatten leben Anfangs wie Bruder und Schwester miteinander, erst später in wirklicher Ehe. Bald aber merkt Wera, die erst jetzt sich zu einer selbständigen Persönlichkeit entwickelt, daß sie gegen ihren Mann zwar Dankbarkeit und Achtung empfindet, daß sie aber zu ihm nicht paßt, da ihre Naturen divergent sind, er z. B. die Einsamkeit, sie die Geselligkeit liebt. Vielmehr harmonirt mit ihr Kirsanow, ein Freund ihres Mannes, Professor der Medizin, der zu Wera ebenfalls eine erst einseitige, dann erwiderte Neigung hegt. Beide bekämpfen diese Neigung, schließlich aber muß Wera, um aufrichtig zu sein, sie ihrem Manne gestehen, der nun meint, es sei verkehrt, sie weiter zu bekämpfen — „die Unterdrückung des Wunsches tödtet das Leben“ — und die Lösung der Ehe sei eine nothwendige, ihm übrigens nicht schmerzliche Konsequenz. Um diese Konsequenz herbeizuführen, tritt er für einige Zeit vom Schauplatz ab, unter dem Vorgeben, seine Mutter in Rjasan besuchen zu wollen, schießt sich auf der Newabrücke eine Kugel durch — die Mütze und verschwindet. Wera ist verzweifelt, da sie ihn, wie alle nicht Eingeweihten, für wirklich erschossen hält, wird aber bald durch untrügliche Anzeichen überzeugt, daß er noch lebt und vermählt sich mit Kirsanow, in dem Bewußtsein, daß es Lopuchow's Wunsch ist. Dieser taucht als vermeintlicher Amerikaner unter dem Namen Beaumont wieder auf, vermählt sich mit Katja Polosowa, einer Freundin Weras, und gibt schließlich sein Inkognito auf. Beide Ehepaare treten zu einander in ein freundschaftliches Verhältniß. Wera ist glücklich, beginnt auch unter Leitung ihres Mannes Latein zu lernen und Medizin zu studiren.

Man sieht, das Eheproblem tritt auch hier stark hervor, wie bei Herzen („Wer ist schuld?“), es bildet die Haupthandlung, aber mindestens ebenso wichtig, als diese, und ebenso genau ausgearbeitet, sind die Episoden, welche die Organisation der Arbeit und die positive Moral behandeln. Erstere soll die ausführlich beschriebene Einrichtung der Nähwerkstatt zeigen, letztere behandeln die Freunde in ihren Gesprächen, indem sie versuchen, alle moralischen Handlungen auf den „Egoismus“ zurückzuführen. Episodisch, aber doch für das Gesammtbild wesentlich, sind ferner die verschiedenen Karaktertypen unter den Nebenpersonen, besonders die Mutter Wera's, eine Frau aus dem Volke, von Verstand und Energie, aber

unsittlich, da sie sieht, daß, wie die Welt einmal ist, nur die Unsittlichkeit wohlhabend macht; Serge, der schwache, aber gutmüthige Offizier, der Sklave seiner französischen Maitresse Julie, diese selbst eine Mischung aus sittlichem Pathos, Leichtsinn und Sentimentalität; ferner unter den „Neuen“ Rachmetow, der „Rigorist“, Abkömmling eines tartarischen Fürstengeschlechts, aber mit jeder Faser Freund des Volkes, sein ganzes Leben seinen Ideen opfernd, der sein Vermögen für arme Studenten hingibt, Ueberflüssiges weder thut, noch spricht, noch ißt, und nur das genießen will, was auch dem Volke erreichbar ist, daher er beim Genuß des Rauchens immer Seelenpein und Gewissensbisse empfindet; die Prostituirte Krukowa, deren sittliche Rettung durch Kirsanow wirklich „praktisches Christenthum“ ist, die oben erwähnte Katja, der junge Priester Merzalow, mit seiner Frau, die beiden letzteren die Mitte haltend zwischen den Alten und Neuen, die Dame in Trauer, die, wie es scheint, aber aus dem verschwindenden Schlusse des Romans nicht ganz deutlich wird, trotz allem noch sich mit Rachmetow vermählt, und so weiter. Die Perle aller Episoden aber scheint mir die vergleichende Karakteristik der Liebe in den verschiedenen Geschichtsepochen, die in die Form von Träumen Wera's gekleidet ist. Diese Vergleichung ist wohl das Beste, was das neunzehnte Jahrhundert bisher über die Liebe gesagt hat.

Freilich hat das Werk, die Erstlingsarbeit des Autors auf dem poetischen Gebiete, in Form und Inhalt schwerwiegende Mängel.*) Die Darstellung entbehrt der Perspektive, die einzelnen episodischen Gruppen sind nicht nach ihrer Wichtigkeit geordnet, nach dem Hintergrunde gerückt, sondern sie stehen mit der Haupthandlung auf gleicher Linie. Die Reflexionen über den Egoismus sind oft weitschweifig, ohne schließlich neue moralische Motive zu geben. Wo Tschernyschewsky erklären soll, wie aus der egoistischen Menschennatur doch selbstlose, „edelmüthige“ Handlungen entstehen, bewegt er sich im Kreise, er sagt, „edelmüthig“ handeln heiße so handeln, wie der Mensch — nicht Iwan, nicht Peter allein, sondern Jeder, weß' Namens er sei — handeln soll, als ob der Egoismus nicht ebenso „menschlich“ wäre. Man sieht, daß seine philosophische Bildung hier nicht ausreicht. Was den Inhalt betrifft, so hat man oft das Gefühl, daß er die Schwierigkeiten, die sich seinen Idealen entgegenstellen, mehr überspringt, als überwindet. Die Nähwerkstatt z. B. schießt wie ein Pilz aus dem Boden auf. Die ideale Ehe zwischen Wera und Kirsanow wird nicht durch Sorgen um Kindererziehung gestört. Anderseits enthalten Wera's Träume ein Zukunftsbild, dem man die Verwandtschaft mit einem Fourier'schen Phalanstère anmerkt und das im Utopismus verläuft.

Doch alles dies kann den Genuß am Ganzen nicht trüben. Die edle, frisch quellende Lebensfreude und Menschenliebe, die energische Wahrhaftigkeit reißen den unbefangenen, vorurtheilslosen Leser mit fort. Ein solcher Leser wird auch gar manche einzelne Bemerkung aus der Lektüre für immer mitnehmen und dem Schatz seiner Lebensweisheiten hinzufügen. Manchen auch wird hoffentlich das Buch begeistern, seinerseits etwas beizutragen, daß die von Tschernyschewsky geschilderten Ideale nicht eine trügerische Fata Morgana, sondern ein wirkliches vorgeahntes Paradies werden.

B.

*) Man vergesse nicht, daß Tschernyschewsky das Werk in einem russischen Kerker schrieb, und daß er die Form des Romans vorzüglich deshalb wählte, weil er nur in ihr von seinem Kerker aus seine Ideen kundgeben konnte. Daher auch die vielen Unklarheiten des Romans, die nicht der Unklarheit des Autors, sondern dem Bestreben entsprangen, seine Kerkermeister über den Karakter des Buches zu täuschen, was ihm auch glücklich gelungen ist. D. Red.

«ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАН» — СТАТЬЯ АВГУСТА БЕБЕЛЯ О «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ЧЕРНЫШЕВСКОГО В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «DIE NEUE ZEIT», 1885 г.

проститутка Крюкова, нравственное спасение которой Кирсановым, действительно, образец «практического христианства»; упомянутая уже Катя; молодой священник Мерцалов со своей женой, стоящие как бы посредине между старым и новым, дама в трауре, которая, по-видимому,— хотя из туманного конца романа это не вполне ясно,— вопреки всему, все же выходит замуж за Рахметова, и так далее. Но жемчужиной среди всех эпизодов представляется мне сравнительная характеристика любви в различные исторические эпохи, облеченная в форму снов Веры. Это сравнение, пожалуй, лучшее, что XIX век до сих пор сказал о любви.

Разумеется, это произведение — первый опыт автора в области художественного творчества — не лишено значительных недостатков и в форме, и в содержании*. Изложению не хватает перспективы, некоторые второстепенные эпизоды расположены не соответственно своему значению, их следовало бы отодвинуть на задний план, они же стоят на одной линии с главным действием. Рассуждения об эгоизме часто растянуты и не дают в итоге новых моральных выводов. Там, где Чернышевский должен объяснить, как же из эгоистической природы человека возникают самоотверженные, «благородные» поступки, он попадает в замкнутый круг; он говорит, что «благородно» поступать — это значит поступать как человек — не как Иван или Петр, но как каждый, кто бы он ни был, поступать должен; как будто эгоизм не является таким же свойством «человеческим». Очевидно, здесь сказался недостаток философского образования. Что же касается содержания, то часто испытываешь чувство, что автор скорее перепрыгивает через трудности, противостоящие его идеалам, чем преодолевает их. Швейная мастерская, например, вырастает, как гриб из земли. Идеальный брак Веры и Кирсанова не отягощен заботами о воспитании детей. С другой стороны, сны Веры содержат картину будущего, явно родственную фурьеристскому фаланстеру и переходящую в утопию.

Но все это не может омрачить наслаждения романом в целом. Благородная, свежая струя жизнерадостности и любви к людям, смелая правдивость захватывают беспристрастного, непредубежденного читателя. Такой читатель извлечет для себя из чтения и много отдельных замечаний, сохранит их навсегда и обогатит ими сокровищницу своей жизненной мудрости.

Можно надеяться также, что книга многих воодушевит сделать что-либо со своей стороны, чтобы идеалы, нарисованные Чернышевским, стали не обманчивой Фата-Морганой, а предвосхищенной им счастливой действительностью.

Б⟨е б е л ь⟩

Вслед за Августом Бебелем и знаменитая немецкая революционерка, передовой боец социалистического женского движения, Клара Цеткин указала в 1888 г. на выдающееся значение романа «Что делать?» в журнале «Die Neue Zeit». Она пишет, что русское женское движение получило благодаря этому роману «новый, мощный импульс». Книга эта, по ее словам, «стала альфой и омегой русской молодежи, путеводной звездой, за которой следовало целое поколение, принадлежащее к самым великодушным поколениям всех времен»[101].

---

* Не следует забывать, что Чернышевский писал роман в русской тюрьме и что он избрал форму романа прежде всего потому, что только так мог распространять свои идеи из тюремной камеры. Отсюда и многие неясности романа, которые вытекают не из неясности мыслей автора, а из его стремления ввести своих тюремщиков в заблуждение относительно характера книги, что ему вполне удалось.— *Прим. ред. «Die Neue Zeit».*

В 1890 г. роман появился у Брокгауза вторым изданием, а в 1892 г. печатался в иллюстрированной газете «Die Neue Welt» (перевели роман Эмма Адлер и Берта Браун). Н. В. Спижарская, первая обратившая внимание на обнародование этого великого произведения в немецкой рабочей печати, пишет: «По-видимому, данный перевод был тем массовым изданием, о необходимости которого редакция журнала „Die Neue Zeit" говорила еще в 1885 г. в примечании к статье Бебеля».

Социалисты старшего поколения, как, например, известный ветеран немецкого рабочего движения Герман Дункер, утверждают, что роман «Что делать?» вплоть до конца XIX столетия имел большое влияние на немецкое рабочее движение.

* * *

Когда в начале ноября 1889 г. было получено известие о смерти Чернышевского, сразу обнаружилось, как возросло уважение к мученику русской революции: не только рабочие, но и некоторые буржуазно-либеральные газеты опубликовали пространные некрологи.

Уже через несколько дней после кончины Чернышевского, 2 ноября 1889 г. в редактируемой Францем Мерингом «Volkszeitung» была помещена следующая заметка:

«Чернышевский, известный писатель-социалист, недавно вернувшийся из ссылки, недолго радовался возвращению на родину и свободе. Три дня тому назад он скончался в своем родном городе Саратове в возрасте 61 года от кровоизлияния. Сибирский климат разрушил, несомненно, его жизненные силы».

Вскоре затем социалистический «Berliner Volksblatt» (ставший после 1890 г. центральным органом немецких социал-демократов под названием «Vorwärts») в номере от 6 ноября 1889 г. напечатал на своих страницах некролог, начинающийся словами: «Как уже сообщалось, 29 октября в полдень скончался в Саратове от внезапного кровоизлияния пользовавшийся в свое время широкой популярностью известный русский писатель Чернышевский, который за свои социалистические идеи был сослан на многие годы в Сибирь».

Анонимный автор рассказывает дальше о деятельности Чернышевского в 1850-е и в начале 1860-х годов. Данные этого автора не всегда точны. Так, например, он пишет, что Чернышевский принимал участие в составлении проекта крестьянской реформы. С другой стороны, он приписывает Чернышевскому авторство знаменитого «Письма из провинции», напечатанного 1 марта 1860 г. в «Колоколе» за подписью «Русский человек». Важно, однако, что в статье «Berliner Volksblatt» настойчиво указывается на связь революционной пропаганды Чернышевского с крестьянским движением. «В скором времени,—писал автор „Письма из провинции",— и Александр II показал бы себя продолжателем Николая. Надежда — в политике это золотая цепь, которая очень быстро может превратиться в кандалы и т. д. Таким образом, „Колокол" Герцена должен призывать в России не к обедне, а к бою. 1861 год принес крепостным освобождение, но недовольство продолжало расти и дало, наконец, правительству повод выступить против этого недовольства и его рупора. Среди прочих правительственных мер можно указать на закрытие журнала „Современник" и арест Чернышевского. Следствие по его делу велось до 1864 г., а затем — хотя его ни в чем преступном уличить не удалось — он был приговорен к 14 годам каторжных работ и сослан в Якутск. Насколько, впрочем, боялись духовного влияния этого человека, видно из того, что по окончании половины срока наказания Государственный совет, по предложению графа Шувалова, отказал „преступнику" в обычно принятом в таких случаях смягчении его участи».

10 ноября 1889 г. в воскресном приложении к газете «Vossische Zeitung» появился обстоятельный, в три столбца, некролог, написанный Паулем Эрнстом[102], примыкавшим в то время к социалистическому движению (позднее он стал фашистом). В этом некрологе довольно подробно рассказывается о жизни и литературном творчестве Чернышевского. При этом в первый раз в немецкой печати упоминается о «Письмах без адреса», о которых автор, между прочим, говорит: «В 1862 году Чернышевский написал свои „Письма без адреса“. Как и все произведения подобного рода, „Письма“ не были напечатаны, а распространялись в переписанных от руки списках тайно, среди добрых знакомых. Эти письма произвели невероятную сенсацию. Мы в Германии с трудом можем себе представить, каким образом сочинение, распространяемое лишь в рукописном виде, может произвести подобное впечатление; следует, однако, учесть, как мал круг русской интеллигенции и как легко поэтому в России лица одинакового образа мыслей находят друг друга и знакомятся между собой. Эти письма были напечатаны лишь в 1870-х годах в одном нигилистическом органе в Цюрихе*.

В письмах рассматриваются вопросы, связанные с отменой крепостного права, причины реформы, способ ее осуществления и ее последствия; подразумеваемый адресат — это царь».

Некролог подчеркивает также строгую научность работ Чернышевского: «Он издал свой перевод „Политической экономии“ Милля с примечаниями, в которых полемизирует с ним с социалистических позиций. Критика Чернышевского исходит из теории Рикардо и совпадает с выводами Маркса. Маркс сам однажды с большим уважением отозвался о работе Чернышевского, а Маркс был человеком, которого очень трудно было удовлетворить».

Подробно останавливается автор некролога на скандальном процессе, затеянном царским правосудием против Чернышевского.

Ряд других высказываний автора носит явно субъективный характер и резко отличается от воззрений и высказываний о Чернышевском подлинных немецких революционеров социал-демократов. Такова, например, отрицательная оценка романа «Что делать?». Здесь возникает вопрос, не подверглась ли и насколько рукопись некролога переделке в редакции буржуазной газеты. Как бы то ни было, в слабых местах некролога уже чувствуется идеологическая неустойчивость тогдашнего социалиста Пауля Эрнста.

«Allgemeine Zeitung» напечатала 13 ноября 1889 г. анонимный некролог под заглавием «Прародитель русских социал-демократов» («Der Ahnherr der russischen Sozialdemokraten»). И этот некролог также представляет собой смесь достоверных и сильно извращенных фактов. Все же автор его пишет о Чернышевском, как о «главе санктпетербургской социалистически-революционной партии, самом талантливом политико-экономическом публицисте своего отечества» и «ревностном, грозном политическом агитаторе», которого русская столица «многие годы опасалась и уважала как носителя будущего России».

Оба некролога, помещенные в буржуазной печати, явно бледнеют при сравнении с некрологами социалистических органов. Величие Чернышевского получило действительное отражение только в некрологах газет «Der Sozialdemokrat» от 16 ноября 1889 г. и «Berliner Volks-Tribüne» от 23 ноября 1889 г.

Некролог, напечатанный в газете «Der Sozialdemokrat», выходившей в то время в Лондоне, опирается на факты, приведенные в некрологе вен-

* «Письма без адреса» были опубликованы П. Л. Лавровым при содействии Маркса в издании журнала «Вперед» (Цюрих) в 1874 г.— *Ред.*

ской газеты «Arbeiter Zeitung» от 8 ноября 1889 г. Вот почему, хотя этот некролог появился в австрийской рабочей газете и формально не входит в рамки нашей темы, мы сочли нужным на нем остановиться.

Некролог написан в виде письма одного русского социалиста. Письмо начинается следующими словами: «Петербург, 19/31 октября 1889 г. Мы только что получили печальное известие о кончине Николая Гавриловича Чернышевского, последовавшей 17/29 в Саратове. Только сегодня русской печати было дано разрешение сообщить об этом. Цензура, несомненно, приняла меры, чтоб отнять у друзей великого русского социалиста возможность воздать ему последние почести.

Уже вчера в городе циркулировали слухи об этом печальном событии, но поскольку я не был уверен, что они подтвердятся, я воздержался от сообщения их вам. Сегодня сомнений уже нет: мученик побежден самодержавным правительством, он пал жертвой страданий и лишений, которые в течение 27 лет с героическим стоицизмом переносил в снежных пустынях Восточной Сибири, в стране якутов».

О личности и о деятельности Чернышевского в некрологе сказано следующее: «Он был всю свою жизнь тружеником. Человек строгих убеждений, он презирал всякое мелочное признание своих заслуг и целиком отдавался служению идее государственного социализма; он начал свою жизнь и окончил ее, защищая с пером в руке эту идею. Он всегда отличался скромностью и даже не подозревал о своем моральном величии. Им владела только одна мысль — благо родины и развитие социализма; вера его была непоколебима. Ему не важно было, что сам он не увидит того времени, когда Россия сбросит с себя двойное ярмо капитализма и политического рабства: пробуждение народа неизбежно, элементы этого пробуждения уже существуют, и трудом своим он всегда служил делу пролетариата, делу обездоленных».

Итак, на основе этой статьи, посвященной памяти Чернышевского, и был написан большой некролог в газете «Der Sozialdemokrat». Вторая половина венской статьи была передана дословно, а из первой части заимствован ряд высказываний.

В некрологе газеты «Der Sozialdemokrat» еще раз нашло себе выражение глубокое возмущение немецкого рабочего класса преступлением, совершенным по отношению к Чернышевскому. Здесь еще раз срывается с царизма его лицемерная маска.

Образ Чернышевского, противопоставляемый в некрологе царизму, в своем возвышенном величии уподоблялся образу Джордано Бруно, Галилея, Савонароллы. Он представлен олицетворением правды, борющейся против воплощенной в царизме лжи.

Деятельность Чернышевского — особенно в части некролога, взятой из венской газеты,— обрисована как прямолинейный путь непреклонного революционера. «Страх царизма перед влиянием Чернышевского,— цитирует „Sozialdemokrat“ венскую газету,— привел к его преследованию и аресту.

Написанный в тюрьме роман „Что делать?“ все же оказался „подлинной школой социализма“ для русской молодежи. На суде Чернышевский смело заявил о своих республиканских убеждениях и остался непреклонным и в ссылке».

Следует указать, что из некролога в «Sozialdemokrat» немецкие читатели впервые получили ценные сведения о поздних работах Чернышевского, то есть о сочинениях, написанных после возвращения из ссылки. Автор письма привлекает внимание читателей к статьям «О классификации людей по языку» и «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь». Особенный же интерес возбуждает приведенное в некрологе указание

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛ «DIE NEUE WELT».
ЗДЕСЬ В 1892 г. ПЕЧАТАЛСЯ ПЕРЕВОД «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Заглавие журнала

бельгийского социалиста де Папа, согласно которому Чернышевский собирался написать критическое исследование о «Капитале».

Характеризуя политические позиции Чернышевского в 1850-е годы, автор некролога называл его борцом за либеральные идеи. Однако дальше говорится, что Чернышевский развивал социалистические идеи. Таким образом, слово «либерализм» употреблено здесь в том широком смысле, в каком оно тогда нередко употреблялось (как противоположность всякой реакции и обскурантизму).

Если же отвлечься от частностей, то некролог можно рассматривать, как положительную оценку великого русского революционера и социалиста. Здесь следует подчеркнуть, что в то время одним из редакторов «Sozialdemokrat» был не кто иной как *Фридрих Энгельс*.

Приводим текст некролога из газеты «Sozialdemokrat» полностью:

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

На основании долголетнего опыта мы стали очень скептически относиться ко всем известиям из России, которые достигают Западной Европы через некоторые газеты. И когда одна из них, «Berliner Tagesblatt», сообщила, что 29 октября в своем родном городе *Саратове* умер великий мыслитель *Николай Чернышевский*, мы сперва не придали этому никакого значения, ожидая подтверждения из других источников. Теперь оно получено и на сей раз из источника, достоверность которого не вызывает сомнений. Самый выдающийся человек, которого выдвинула новая, жаждущая политической свободы и социального прогресса Россия, закончил свой жизненный путь. Подлый царский режим терзал его до самого конца как своими преследованиями, так и своими «милостями». Разумеется, это не простая ирония случая, но явление, находящееся в очевидной причинной связи, что всего через несколько недель после того, как мир был поражен известием о *помиловании* Чернышевского русским прави-

тельством, пришла печальная весть о его кончине. Так всегда выглядела царская «милость». Коварный во всех своих действиях, царизм никогда не вызывает большего недоверия к себе, чем когда он якобы совершает акты милосердия. *Искренен* он лишь тогда, когда берет в руки кнут.

И как ему было не питать к Чернышевскому смертельной ненависти? Нет ничего естественнее,— мы чуть не сказали: ничего оправданнее — этой ненависти. Ложь *должна* ненавидеть истину, иначе она перестает быть ложью; реакция должна в каждом прогрессивном стремлении видеть своего *личного* врага, она не может быть объективной. Именно поэтому она во все времена была более жестокой, чем прогресс. Все насилия, которые совершались в ходе освободительных движений, блекнут перед насилиями угнетателей. Борьба за право и свободу облагораживает, борьба за привилегии и обладание властью делает бесчеловечным. Палач ненавидит свою жертву больше, чем она его. Им руководит инстинкт, ею — сознание.

Обстоятельства, при которых последовала смерть Чернышевского, точно еще не известны. В телеграмме сказано, что с ним случился апоплексический удар, когда он просматривал корректуру. Но что предшествовало этому «апоплексическому удару», мы узнаем, конечно, лишь впоследствии.

Как мало можно полагаться на официальные известия из России, показывает уже то обстоятельство, что так называемое полное помилование великого мыслителя на деле свелось к тому, что после двухлетнего пребывания в *ссылке* в крайне нездоровом климате Астрахани ему разрешили переселиться в его родной Саратов. Вероятно, его палачи знали, что он недолго заставит их трепетать перед своим пером. Несмотря на это, они до последнего вздоха держали его под *полицейским надзором*. Чтобы правильно оценить эту величайшую милость — на какую способен царизм, — надо иметь в виду, что наказание, к которому приговорил Чернышев-

Was thun?

Schilderungen neuer Menschen

Roman von N. G. Tschernyschewskij. Aus dem Russischen übersetzt von Emma Adler.

I.

Ein Narr. (Nachdruck verboten.)

Am Morgen des 11. Juli 1856 war die Dienerschaft eines nächst dem Moskauer Bahnhofe gelegenen Petersburger Hotels in Zweifel, was zu thun sei; ja, sie war sogar im höchsten Grade aufgeregt. Am Abend vorher war gegen neun Uhr ein Herr mit einem Reisekoffer angekommen, hatte ein Zimmer genommen, seinen Paß zur Anmeldung bei der Polizei abgegeben, Thee und ein Kotelett bestellt und angeordnet, ihn am Abend nicht weiter zu stören, da er müde sei und sich zur Ruhe begeben wolle; doch solle man ihn unbedingt morgen um acht Uhr wecken, da er sehr dringende Geschäfte vorhabe; hierauf schloß er die Thür ab. Messer und Gabel klapperten, das Theegeschirr klirrte, dann ward Alles still — offenbar war der Gast eingeschlafen.

Der Morgen kam. Um acht Uhr klopfte der Hausdiener an der Thür unseres Reisenden, doch dieser giebt keinen Laut von sich; der Diener klopft stärker, sehr stark — der Reisende giebt noch immer keine Antwort; er hat gewiß noch nicht ausgeschlafen. Der Diener wartet eine Viertelstunde, klopft abermals, doch wiederum vergebens. Er beräth sich mit den Kellnern und dem Buffetverwalter. „Ist ihm vielleicht gar etwas zugestoßen?“ — „Man muß die Thür sprengen.“ — „Nein, das geht nicht; die Thür darf nur in Gegenwart der Polizei

fallen? Vielleicht hat uns nur ein Betrunkener oder gar ein Schelm gefoppt, — hat losgefeuert und sich davon gemacht. Ja, vielleicht steht er gar hier mitten unter der besorgten Menge und lacht über die Unruhe, die er verursacht.“

Doch die Majorität erwies sich, wie immer bei solch weisen Erwägungen, konservativ und vertheidigte die erste Annahme. „Warum nicht gar, einen Possen gespielt!“ — „Es hat sich irgend Jemand eine Kugel durch den Kopf gejagt, das ist Alles.“ Die Oppositionspartei unterlag. Unter der siegreichen Partei trat aber wie immer gleich nach dem Siege eine Spaltung ein. Erschossen, schon recht, aber warum? — „Es war ein Betrunkener“, meinten die Einen von der konservativen Partei; „nein, Einer der sein Geld durchgebracht“, behaupteten die anderen Konservativen. „Einfach ein Narr!“ sagte Jemand. Diesem Ausspruche stimmten Alle bei, selbst Diejenigen, welche an einen Selbstmord nicht glauben wollten. Und in der That, mochte sich ein Betrunkener oder Einer, der sein Geld durchgebracht, erschossen haben, oder hatte ein Schelm sich nicht erschossen, sondern nur einen Streich gespielt — es war jedenfalls ein dummer, närrischer Streich.

Damit schloß der nächtliche Vorfall auf der Brücke ab. Am Morgen stellte sich im Hotel nächst dem Moskauer Bahnhof heraus, daß kein Narr sich lustig gemacht, sondern daß sich wirklich Jemand erschossen habe. Doch blieb bei der ganzen Geschichte ein Punkt, mit dem sich sogar die unterlegene Partei einverstanden erklärte, nämlich,

ПЕРЕВОД «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ЧЕРНЫШЕВСКОГО, ПОМЕЩЕННЫЙ В ИЛЛЮСТРИРОВАННОМ НЕМЕЦКОМ ЖУРНАЛЕ «DIE NEUE WELT» 1892, № 1

Первая страница

ского в 1864 г. мошенник-судья за набросок листовки, даже не им написанный*, он *отбыл уже двадцать лет тому назад.* Продержав его в Сибири еще 16 лет по истечении срока наказания и даже после этого не освободив его, русское правительство не могло доказать лучше, что это осуждение было лишь предлогом обезвредить человека, который завладел сердцами молодежи. Для преступления, действительно им совершенного,— оно состояло в том, что он внушил молодежи пламенное увлечение всеми современными идеями — не было искупления. Чернышевский был для русского царизма тем же, чем для римского папства Джордано Бруно, Савонаролла, Галилей,— *антихристом.*

Чернышевский родился в 1828 г. и прожил, следовательно, 61 год. Его отец, будучи сам священником, предназначал и сына к духовной карьере, но, не имея к этому никакой склонности, тот отправился в Петербург, чтобы в тамошнем университете продолжить свое образование. Он рано начал заниматься литературным трудом, но довольно долго оставался незамеченным, пока руководители «Современника», журнала, издававшегося знаменитым Некрасовым, не обратили на него внимания и не предложили ему войти в состав редакции журнала. Он согласился и оставался на этом посту до самого ареста в 1863 г.**; этот пост позволил ему развивать свои социалистические идеи и приобрести неслыханное влияние на всю образованную и прогрессивно настроенную Россию.

Россия переживала тогда эпоху либерализма. Но буржуазия была еще далеко не так сильна, чтобы выступить как *класс*; либерализм защищали ее мыслители, ее идеологи, и он оставался свободным от той узости, которую придает либерализму буржуазия, достигшая власти. Народа вообще еще не существовало, его надо было создать, и *отмена крепостного права* была первым необходимым шагом к этому. Она занимала все умы — и крайних энтузиастов свободы, и царское *правительство*, ибо и ему нужен был *народ*, без которого Россия не могла оставаться или, вернее, не могла стать великой европейской державой.

Приведем теперь несколько строк из некролога, полученного венской «Arbeiter Zeitung» из Петербурга:

«Незадолго до отмены крепостного права он ⟨Чернышевский.— *В.Д.*⟩ написал ряд работ по аграрному вопросу в России. Все они получили большой отклик, в особенности статья о выкупе крестьянских наделов государством. Хотя слово „социализм" не встречается в его статьях, они были чисто социалистическими. Правительство казалось тогда исполненным самых благих намерений. Все либеральные и прогрессивные элементы России стремились объединиться вокруг великого дела, которое правительство, в конце концов, обкарнало и испортило, боясь недовольства аристократии, старой опоры трона. Чернышевский несколько раз приглашался для участия в заседаниях „Редакционной комиссии", разрабатывавшей проект освобождения крестьян и организации крестьянского землевладения. Члены комиссии нуждались в советах человека, посвятившего жизнь изучению социальных проблем.

Но после 1860 г. официальный мир начал опасаться огромного морального влияния политических и социальных идей великого писателя. Естественно, что его заподозрили в участии в заговорах. Однако не нашлось никаких доказательств его вины. Тем не менее, в 1863 г. он был арестован и заключен в Петропавловскую крепость в Петербурге. Там написал он свой знаменитый роман „Что делать?" В то время реакция далеко еще не достигла той степени, которая характеризует ее сегодня. Роман мог

* Следствию и суду не удалось документально установить авторство Чернышевского по отношению к воззванию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон...», но в действительности эта прокламация вышла из-под его пера.— *Ред.*

** Чернышевский был арестован 7 июля 1862 г.— *Ред.*

(несомненно с цензурными вычерками) появиться в „Современнике" и стал истинной школой социализма для русской молодежи.

Процесс Чернышевского шел в Верховном суде*. Доказательств участия подсудимого в революционном движении не было. Спокойно и с достоинством, иронически улыбаясь, отвечал он на вопросы судьи. Когда речь зашла о его политических взглядах, он ответил: „Республиканец!" Его осудили на 7 лет каторжных работ и по истечении срока продержали еще 20 лет в Сибири!

Так как правительство боялось его влияния на ссыльных, для него велели выстроить особую тюрьму в Вилюйске (в Восточной Сибири, в Якутии). Его единственным обществом были жандармы, не оставлявшие его даже во время его одиноких прогулок**. Окруженный книгами и рукописями, которые даже свирепость русского правительства не осмелилась у него отнять, продолжал он свои труды и сохранил таким образом всю силу своего разума и таланта, несмотря на страдания от пребывания в ссылке в местах, где температура падает до 40—45° ниже нуля по Реомюру. В этой ледяной пустыне он читал Маркса и там написал ряд произведений, которые большей частью еще не могли быть напечатаны.

Два года тому назад ему разрешили вернуться в Россию. Чтобы зарабатывать на жизнь, он берется за перо, которое всегда было его единственным помощником: он работает над переводом „Всеобщей истории" Вебера, дополняя каждый том статьей в виде предисловия. Одна из этих статей была посвящена языкам различных народов. Убежденный интернационалист, он с свойственным ему остроумием иронизирует над ходячими, поверхностными определениями национальностей, созданными для того, чтобы разъединять народы к великой радости их властителей. Время от времени он печатал, но не имел права подписывать их, статьи в некоторых журналах и газетах. „Современник" стал теперь библиографической редкостью, даже в библиотеках запрещено выдавать его публике. В этом журнале опубликованы важнейшие труды Чернышевского: его перевод „Политической экономии" Дж. Ст. Милля с примечаниями, которые сами по себе занимают целый том; большая работа о Лессинге, о Июльской монархии, серия статей по аграрному вопросу в России, о русской сельской общине, многие полемические и критические статьи, его роман „Что делать?" и т. д. и т. д.».

Работы Чернышевского после его возвращения из ссылки появлялись под псевдонимом *Андреев*. Многие из них были опубликованы в журнале «Русская мысль». Напечатанная в этом журнале статья «Против дарвинизма» за подписью «Старый трансформист», по утверждению Цезаря де Папа, тоже принадлежит Чернышевскому. «Как показывает самое заглавие,— пишет де Пап в „Peuple",— Чернышевский никоим образом не нападает на учение о развитии видов (на трансформизм), напротив, он приводит новые аргументы в его пользу, но он оспаривает теории, с помощью которых Дарвин объясняет изменение видов и в особенности господствующую роль, которую великий английский естествоиспытатель приписывает естественному отбору и *борьбе за существование*». Далее де Пап пишет, что его уверяли, будто Чернышевский давно хотел обнародовать критическое исследование о *Карле Марксе* и «Капитале» и только из боязни, что цензура слишком исковеркает это исследование, до сих пор не выполнил своего намерения. Если сказанное де Папом подтвердится, мы можем только пожелать, чтобы те, в чьи руки попадет литературное

---

* Имеется в виду Сенат.— *Ред.*

** Чернышевский сам сказал однажды, рассказывая о своей уединенной, для него лишь выстроенной тюрьме, что его единственным обществом были жандармы и волки, но что он предпочитал последних: они были *человечнее*.— *Прим. автора некролога.*

наследство Чернышевского, поторопились бы с опубликованием упомянутой работы. Что думал Маркс о Чернышевском, явствует из следующей фразы в его послесловии к «Капиталу»: «Это — банкротство „буржуазной“ политической экономии, как мастерски выяснил уже в своих „Очерках политической экономии по Миллю“ великий русский ученый и критик Н. Чернышевский»[103].

Кроме того, в труде Маркса «Заговор против Интернационала» в разделах «Альянс в России» и «Приложение к Альянсу в России» читатель найдет материал о деятельности Чернышевского и о расхождениях между ним и Бакуниным. Сейчас еще немногим известно, что Бакунин начал свою агитационную деятельность среди русской молодежи с нападок на Чернышевского, который не только не был панславистом, но и не видел идеал совершенства в невежественном русском крестьянине. Чернышевский революционизировал русскую молодежь, способствуя пониманию молодежью социальных условий, в то время как Бакунин питал ее иллюзиями, чтобы завоевать для проповедуемого им анархизма.

Здесь не место подробнее рассматривать эти расхождения, равным образом мы вынуждены сейчас отказаться и от более детального изложения научных идей Чернышевского. Для этого впоследствии еще представится случай. Теперь же мы хотим еще раз предоставить слово автору цитированной выше статьи, который рисует облик Чернышевского в следующих словах:

«Глубина мысли, оригинальность и простота выражений, широкая образованность, превосходное знание иностранных языков и иностранной литературы, социалистические убеждения и непоколебимая вера в лучшее будущее России, полнейшее отсутствие шовинизма, сочетающееся с глубокой, страстной любовью к родине, спокойная энергия, неоспоримое мужество, ни малейшего тщеславия, ни малейшей суетности, искренняя скромность и простота в словах и поступках. Эти качества характеризуют того, кого оплакивает вся социалистическая Россия, чьи заслуги не оспариваются даже его противниками и чье имя навсегда останется тесно связанным с историей развития социализма и идей вольности и свободы в России. Для него, как и для всех находившихся под его влиянием, политические проблемы тесно связаны с социальными. Целью всякой деятельности должно быть всеобщее благо, торжество дела труда и свободы, борьба против угнетения и угнетателей и союз всех социалистических сил.

Деятельность Чернышевского была прологом того движения, которое спасет Россию и рано или поздно приведет ее к освобождению».

Мы надеемся, что вскоре сможем познакомить наших читателей с несколькими отрывками из произведений великого мыслителя[104].

Оценка Чернышевского, как борца за социализм, дана и в некрологе, появившемся 23 ноября 1889 г. в социалистической «Berliner Volks-Tribüne». Приводим дословно и этот некролог, являющийся перепечаткой некролога из «New Yorker Volkszeitung».

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

«New Yorker Volkszeitung» посвящает покойному писателю следующие прощальные строки:

«Ушел от нас еще один великий мыслитель, погас еще один светоч на тернистом пути к возрождению человечества: скончался Чернышевский!

Далеко за пределами его родины, куда бы ни занесла электрическая искра эту печальную весть, всюду, где найдется сердце, болеющее за судьбы человечества, эта весть будет воспринята с чувством глубокой печали, как незаменимая утрата.

В том и заключается своеобразие и могущество идеи социализма, что ее передовые борцы, независимо от страны, в которой они родились, в своем творчестве принадлежат всему человечеству.

Может ли существовать более убедительный пример этому, чем жизнь и деятельность Чернышевского?

Он родился вдалекой „загадочной России“, в те времена, когда цивилизованный мир едва только начал замечать, что существует русская литература и даже русская наука, и провел недолгие годы своей общественной деятельности у себя на родине. Он никогда не был за ее пределами *, никогда не выпускал своих сочинений ни на каких языках, кроме русского. Но его пламенный творческий дух был раздавлен железной пятой царского самодержавия. Борец и мыслитель, для которого умственный труд являлся первым условием жизни и счастья, был заживо погребен в ледяной братской могиле в *Сибири*, в безутешном, смертельном одиночестве, далеко от всех тех людей, которые были людьми не только по внешнему виду.

Der Sozialdemokrat

Organ der Sozialdemokratie deutscher Zunge.

London.

№ 16. 16. November 1889.

Nikolaus Gavrilowitsch Tschernyschewsky.

НЕКРОЛОГ ЧЕРНЫШЕВСКОМУ, НАПЕЧАТАННЫЙ В НЕМЕЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ «DER SOZIALDEMOKRAT» ОТ 16 НОЯБРЯ 1889 г.

Газета выходила в то время в Лондоне. Одним из редакторов ее был Фридрих Энгельс

Долгие годы ему не разрешалось ни писать, ни читать. Когда же ему, наконец, вернули перо и книги, то в России не нашлось ни одной газеты, которая решилась бы поставить под статьями подпись „политического преступника“. Если же какая-либо из его статей без его подписи попадала в газеты, то в тесном дружеском кругу, под покровом величайшей тайны, шопотом передавали друг другу, что она принадлежит перу Чернышевского.

И все же из могильной глубины сибирской каторги, вопреки всему, вопреки цепям, налагаемым русской цензурой на мысль, в течение четверти слишком самого тревожного и богатого событиями столетия, имя Чернышевского проникало в далекий мир, в великое, ничего не забывающее, сердце страдающего и борющегося человечества. Там, где живут идеи социализма,— а где же в наши дни их нет?— рядом с именами величайших и благороднейших героев и мучеников нашего всемирного движения живет и имя этого спокойного, скромного, вначале никому не известного русского человека. Чернышевский принадлежит миру, новому и стремящемуся вперед миру. Он выстрадал и завоевал себе место в Пантеоне человечества.

Это мировое значение великого усопшего коренится в том, что он, в буквальном смысле этого слова, *открыл идею социализма Восточной*

* Как известно, Чернышевский один раз и на весьма короткий срок выезжал за границу — в 1859 г. для конспиративного свидания с Герценом в Лондоне.— *Ред.*

Европе, подобно тому, как Маркс открыл ее остальному цивилизованному миру, в том числе и германскому народу. Если же учесть, что эти открывающие новую эру сочинения Чернышевского, и в особенности — „Экономические очерки", приложенные им в качестве комментария к „Политической экономии" Джона Стюарта Милля — самого передового и честного из всех буржуазных политико-экономистов — появились в 1850-х годах, *до* выхода в свет основного труда Маркса, когда не только не существовало никакой социалистической, но и вообще какой бы то ни было политико-экономической литературы, то мы можем себе представить, какое громадное впечатление эти сочинения произвели на тогдашнее молодое поколение России.

О *внешних событиях жизни* Чернышевского мы можем сейчас сказать мало такого, что не было бы известно из прежних статей и рецензий. Его публицистическая и литературная деятельность в качестве редактора и главного сотрудника „Современника" продолжалась всего восемь лет — с 1855 по 1863 г.* Правительству, напуганному пробуждением общественного мнения, он показался слишком „опасным". Его решили уничтожить. Его арестовали, инсценировали суд над ним и приговорили к *пожизненной ссылке в Сибирь*. За время пребывания в крепости под следствием он написал свой бессмертный роман „Что делать?" Затем его мощный голос замолк на долгие годы. Русское правительство не освобождало своей жертвы до тех пор, пока не сломило его опасного для царизма духа.

И наконец, после пытки, длившейся четверть века, пытаемый был „помилован". Когда смерть уже завладела его сердцем, тогда „царская милость" позволила ему умереть в его любимом Петербурге**, где его когда-то приветствовали тысячи людей...

Умереть? Нет! Такие люди, как Чернышевский, не умирают! Его дух живет среди нас и будет жить до тех пор, пока люди будут хранить священный огонь идеалов»[105].

В дни, последовавшие за кончиной Чернышевского, немецкой рабочей печати стало известно также о демонстрации революционной молодежи, которая состоялась в память Чернышевского во Владимирской церкви в Петербурге.

Из буржуазных органов поместила корреспонденцию из Петербурга об этих событиях мюнхенская газета «Allgemeine Zeitung». 10 ноября 1889 г. газета писала: «В городе распространился слух,— здешние газеты о таких вещах сообщать не могут,— что в воскресенье должна состояться студенческая демонстрация по случаю смерти Чернышевского. Студенты Университета, Технологического института и Военно-медицинской академии соберутся in corpore во Владимирской церкви, чтобы отслужить панихиду по умершему».

Далее «Allgemeine Zeitung» утверждала, что демонстрация не состоялась. Но, как видно из корреспонденции в венской «Arbeiter Zeitung» 15 ноября 1889 г., это не соответствовало истине. Корреспондент «Arbeiter Zeitung» сообщал, что 500—700 студентов собрались во Владимирской церкви и без участия духовенства пропели «по православному обряду „вечную память"» умершему. Полиция им не препятствовала.

То же самое сообщает 23 ноября 1889 г. лондонский «Der Sozialdemokrat» (№ 47) на основании материала, напечатанного в будапештской «Arbeiter-Wochen-Chronik».

Вот полностью текст этого отчета, написанный с глубоким чувством:

---

* Сотрудничество Чернышевского в «Современнике» началось осенью 1853 г. и закончилось в 1863 г., уже после его ареста, печатанием романа «Что делать?».— *Ред.*

** В Саратове.— *Ред.*

Передовым людям *России* удалось, несмотря на царскую полицию, устроить *внушительные поминки* по своему великому учителю—*Чернышевскому*. Правда, что их пришлось устраивать в церкви — единственном месте в России, где можно беспрепятственно собираться.

«Arbeiter-Wochen-Chronik» получила из *Петербурга* следующее письмо с описанием этой демонстрации:

«Похороны Чернышевского состоялись в Саратове, 1 ноября, через четыре дня после его кончины. Множество народа следовало за его гробом, который друзья и родные несли на руках к месту последнего успокоения.

В Петербурге, в одной из больших церквей состоялась внушительная демонстрация. Несмотря на то, что о ней не было сообщений в газетах, большая толпа, состоявшая главным образом из лучших представителей русской молодежи, студентов Университета и других высших учебных заведений, слушательниц Высших курсов, нескольких офицеров и социалистов-шестидесятников, направилась к Владимирской церкви как раз в то время, когда народ выходил из нее после службы. Громадная церковь сразу наполнилась демонстрантами еще до того, как полиция могла помешать этому. Послали за священниками, но все они отказались отслужить панихиду. Демонстранты ждали результатов переговоров, сохраняя спокойствие и достоинство; один молодой человек организовал здесь же сбор денег, давший значительную сумму, предназначенную на увековечение памяти Чернышевского.

После того как демонстранты в течение часа тщетно ожидали священника, все собравшиеся, словно по уговору, запели „Вечную память“. Впечатление, произведенное этим пением, не поддается описанию. Церковь была единственным местом, где демонстранты могли совершить обряд своей религии свободы и братства. Священники поступили правильно, отстранившись и предоставив церковь тем, кто не исповедует печального и лукавого христианского смирения, а провозглашает необходимость борьбы во имя социальной справедливости и освобождения трудящихся.

Этой борьбе Чернышевский посвятил свои произведения и всю свою жизнь. Память о нем сохранится навеки!

Собравшиеся в небольшом числе в церковном притворе полицейские совершенно растерялись и не знали, что́ предпринять. Они не подозревали о готовящейся демонстрации. Пристав удовлетворился тем, что спокойно ждал в притворе, пока толпа начнет выходить и затем потребовал, чтобы все разошлись. С особым чувством и сознанием исполненного благородного долга все участники демонстрации, не обращая внимания на полицию, направились по домам до того, как жандармы и казаки успели оседлать коней и организовать последний акт русских демонстраций. Но в русской печати об этом не было ни словечка!»...

Западная буржуазная печать также обходит это многозначительное событие мертвым молчанием. Во французских газетах можно было прочесть сообщение из Петербурга о том, что «в память одного нигилиста, который провел двадцать лет в Сибири» его товарищи устроили демонстрацию в одной из петербургских церквей. *Одного* нигилиста, это, право, весьма точно сказано. Это звучит примерно так же, как если бы о Дидро сказали: «*один* французский писатель прошлого века». Зато мы с удовольствием прочли в том же сообщении, что демонстрация была через несколько дней *повторена*. Это указывает на весьма радующее нас явление — на усиление освободительного движения в России.

Отчет о демонстрации петербургских студентов в лондонском «Der Sozialdemokrat» вместе с некрологом в «Berliner Volks-Tribüne» являются последними за 1889 г. сообщениями о Чернышевском в немецкой рабочей

печати. В них его называли «великим учителем всех прогрессивных умов в России». Собранные и изученные нами материалы не оставляют сомнения в том, что к исходу жизненного пути Чернышевского сознание его величия разделялось всем немецким рабочим классом.

Укажем в заключение, что в 1890 г. в теоретическом журнале немецкой социал-демократии «Die Neue Zeit» была напечатана большая статья Плеханова о Чернышевском. Речь идет о несколько сокращенном переводе статьи из женевского русского журнала «Социал-демократ»[106]. В 1894 г. в социалистическом издательстве И.-Г.-В. Дитца вышла монография о Чернышевском Плеханова с опубликованным лишь в этом издании предисловием автора[107].

Несомненно, что эти труды выдающегося русского марксиста значительно способствовали систематическому распространению сведений о Чернышевском в немецком рабочем классе.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Приношу искреннюю благодарность профессору М. Н. Пархоменко, который в качестве представителя советской науки оказал в 1954 г. важные услуги молодым немецким славистам и побудил меня приступить к этому исследованию. Приношу также благодарность Институту марксизма-ленинизма в Берлине, особенно директору библиотеки этого Института д-ру Бруно Кайзеру.

[2] Ветеран немецкого рабочего движения Герман Дункер подтвердил автору настоящего исследования, что уже к концу прошлого столетия Чернышевский был хорошо известен деятелям немецкого рабочего движения.

[3] Алексей Тверитинов. Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому, о распространении его сочинений на французском языке в Западной Европе и о многом другом. СПб., 1906, стр. 58, 74—75.

[4] Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М.— Пг., 1923, стр. 161—162.

[5] D. K. Schedo-Ferroti. Le nihilisme en Russie. Berlin—Bruxelles, 1867; Nikolai Karlowitsch. Die Entwicklung des Nihilismus. 1 u. 2 Aufl. Berlin, 1879; 3 Aufl. Berlin, 1880; Johannes Scherr. Die Nihilisten. Leipzig, 1885 (3 Aufl.).

[6] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1906, прилож., стр. 125 и след.; М. Н. Чернышевский. О Чернышевском. Библиография 1854—1910. Изд. 2. СПб., 1911, стр. 16, 17, 19, 20, 30, 32, 54.

[7] Н. В. Спижарская. Неизвестная статья А. Бебеля о Чернышевском.— «Доклады и сообщения Филологического института» (ЛГУ), вып. 1. 1949, стр. 92—123.

[8] «Архив Маркса и Энгельса», т. XI. М., 1948, стр. 3 и след., 172 и след.; т. XII. М., 1952, стр. 3 и след. См. также прим. 64.

[9] Эти книги находятся в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в Москве.

[10] Некоторые либеральные немецкие газеты тоже уделяли внимание событиям, связанным с именем Чернышевского.

[11] «Das russische Budget».— «Magazin für die Literatur des Auslandes», Leipzig, 7 V 1862, № 19, p. 228.

[12] «Alexander Herzen über die russische Literatur».— Там же, Leipzig, 6 V 1865, № 19, pp. 259—261; см. также 1 IV 1863, № 13, pp. 149—150 («Die Slavophilen und die Freunde des Westens in Russland») («Славянофилы и западники в России»); 1 IX 1866, № 35, pp. 494—495 («Russland nach dem Attentat vom 16 April)» («Россия после покушения 16 апреля»).

[13] Sigismund Ludwig Borkheim. Zur Erinnerung für die deutschen Mordspatrioten. 1806—1807. Leipzig, 1871.

[14] Этот экземпляр находится в Институте марксизма-ленинизма в Берлине.

[15] Sigismund Borkheim. Zur Erinnerung für die deutschen Mordspatrioten 1806—1807. Mit einer Einleitung von Fr. Engels. Hottingen — Zürich, 1888.

[16] Серия статей «Процесс Базена» была напечатана в «Der Volksstaat» за 25 и 27 III, 17, 22 и 29 IV, 6 V 1874 г. То, что эти статьи (они напечатаны анонимно) действительно написаны Боркгеймом, видно из письма Боркгейма к жене В. Либкнехта от 26 декабря 1873 г. Письмо это находится в Институте марксизма-ленинизма в Берлине (Wolf Düwel. Černyševskij in Deutschland (Dissertation). Berlin, 1955, pp. 70, 226).

[17] Письмо Энгельса к Иоганну Фил. Беккеру от 20 июня 1884 г. (Friedrich Engels. Vergessene Briefe. Berlin, s. a., pp. 53—54; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 386).

О работах Боркгейма над воспоминаниями свидетельствуют также два письма его к Либкнехту от 27 января 1880 г. и от 25 марта 1885 г. (Wolf Düwel. Op. cit., pp. 70—71).

[18] W. Düwel. Borkheim und die Černyševskij-Studien von Karl Marx.— «Vorträge auf der Berliner Slawistentagung» (11—13 XI 1954). Berlin, 1956, pp. 201—202.

[19] Там же, стр. 207 и след. Ср. в настоящем томе, стр. 703—712 в публикуемых Б. П. Козьминым новых материалах об А. А. Серно-Соловьевиче.

[20] Там же, стр. 212 и след.

[21] «Demokratisches Wochenblatt» выходил в то время тиражом в 1300 экз. (Karl Marx/Friedrich Engels. Briefwechsel. Berlin. 1950, Bd. IV, p. 28; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 23).

[22] S. B⟨orkheim⟩. Russische politische Flüchtlinge in West-Europa («Русские политические изгнанники в Западной Европе»).— «Demokratisches Wochenblatt», 1 и 8 II 1868, № 5, pp. 36—37, № 6, pp. 45—46.

[23] Герцен, т. XV, стр. 500.

[24] «Demokratisches Wochenblatt», 8 II 1868, p. 45.

[25] Цитируемое письмо напечатано в изданном Боркгеймом немецком переводе памфлета «Наши домашние дела»: A. Serno-Solowiewitsch. Unsere Russichen Angelegenheiten. Leipzig, 1871, p. 2. Ср. в настоящем томе, стр. 714—716.

[26] ⟨S. L. Borkheim.⟩ Zur orientalischen Frage. Ein Briefwechsel.— «Demokratisches Wochenblatt», 5 IX 1868, № 36 (Beilage), 12 и 19 IX, № 37 и 38.

[27] Там же, 19 IX 1868, № 38 (Beilage)

[28] Там же, 5 IX 1868, № 36 (Beilage). Сравнение с опубликованным в 1871 г. немецким переводом брошюры доказывает тождественность немецкого текста (A. Serno-Solowiewitsch. Unsere Russischen Angelegenheiten, p. 35).

[29] Marx/Engels. Briefwechsel. Bd. IV, p. 141; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 122.

[30] «Русские письма» Боркгейма были напечатаны в газете «Die Zukunft» за следующие числа 1869 г.: 28 I, 12 и 27 II, 21 III, 9 и 24 IV, 10 и 21 VII, 13 и 15 VIII, 2 XI; 1870 г.: 22, 23 и 25 II, 10 III, 15—17 и 23 VII.

[31] Marx/Engels. Briefwechsel, Bd. IV, p. 180; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 156—157.

[32] Эта статья озаглавлена «Михаил Бакунин» (так же, как статьи за 13 и 15 августа и 2 ноября 1869 г.).

[33] Marx/Engels. Briefwechsel, Bd. IV, p. 189; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 164.

[34] Там же, стр. 224.

[35] Там же.

[36] «Demokratisches Wochenblatt», 14 VIII 1869, № 33.

[37] Emanuel Wurm. Volks-Lexikon, Bd. IV. Nürnberg, 1899, p. 412.

[38] «Der Volksstaat», 16, 19, 23 II 1870; «Demagogenhetze in Rußland» («Демагогическая горячка в России»).— «Social-Demokrat», 23 II 1870, № 23 (перепечатка листовки «Народной расправы»).

[39] «Der Volksstaat», 26 II 1870, № 17.

[40] ⟨S. L. Borkheim.⟩ Der Brief Njetschajeffs (Письмо Нечаева).— «Der Volksstaat», 16 III 1870, № 22.

[41] «Die Antwort auf den Brief an Njetschajeff» («Ответ на письмо к Нечаеву»).— «Der Volksstaat», 6 IV 1870, № 28.

[42] ⟨S. L. Borkheim.⟩ Der Verfasser der «Russischen Briefe» an die «Drei Parteigenossen» (Автор «Русских писем» «трем партийным товарищам»).— «Der Volksstaat», 30 IV 1870, № 35.

[43] «Die „Drei Parteigenossen" an den „Verfasser der Russischen Briefe"» («Три партийных товарища автору „Русских писем"»).— «Der Volksstaat», 4 VI 1870, № 45.

[44] Там же.

[45] ⟨S. L. Borkheim.⟩ Der Verfasser der «Russischen Briefe» an die «Drei Parteigenossen», (Автор «Русских писем» «трем партийным товарищам»).— «Der Volksstaat» 16 VII 1870, № 57.

[46] Там же. См. также: S. L. Borkheim. Njetschajeff die «Kreuzzeitung» und die Schweiz.— «Der Volksstaat», 20 XI 1872, № 93.

[47] «Neuer Social-Demokrat», 20 III, 23 VIII, 30 VIII 1872, №№ 34, 97, 100.

[48] Marx/Engels. Briefwechsel, Bd. IV, pp. 350—351, 372—373; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 305—306, 324—325. Письмо Маркса датировано 16 марта 1870 г. явно неправильно. Оно могло быть написано не раньше середины мая (Wolf Düwel. Černyševskij in Deutschland, p. 223).

[49] «Der Volksstaat», 16 III 1870, № 22.

[50] «Такие труды, как Флеровского и как вашего учителя Чернышевского,— писал Маркс,— делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века» («Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями». Изд. 2. М., 1951, стр. 39).

[51] Маркс в письме от 21 февраля 1870 г. пишет о разговоре с Боркгеймом по поводу Флеровского: «В тот вечер, когда я был у него», то есть 18 февраля, как это видно

из письма от 19 февраля 1870 г. (Marx/Engels. Briefwechsel, Bd. IV, pp. 339—341, 363; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 295, 297, 316).

[52] См. прим. 30.

[53] Julius Eckardt. Jungrussisch und Altlivländisch. Leipzig, 1871, pp. 124—196.

[54] Там же, стр. 41.

[55] S. L. Borkheim. Gospodin Julius Eckardt und der selige Nadworny Ssowjätnik (Hofrath)Alexander Herzen (Господин Юлиус Эккардт и покойный надворный советник Александр Герцен). (Эккардт в своей книге неоднократно называет Герцена «надворным советником» — прим., стр. 163, 167).— «Der Volksstaat», 1 II 1871, № 10.

[56] «Der Volksstaat», 22 III 1871, № 24. Статья озаглавлена «Возражение» и подписана: «Eine Russin» ⟨«Русская»⟩. В начале статьи автор заявляет: «Я надеюсь, что моя национальность не окажется препятствием к напечатанию этого ответа». «Конечно, нет,— говорится в подстрочном примечании редакции.— Мы помещаем ваше возражение, не будучи с ним согласны».

[57] ⟨S. L. Borkheim.⟩ Eine Russin.— «Der Volksstaat», 12 IV 1871, № 30.

[58] Письмо Маркса к Даниельсону от 12 декабря 1872 г.— «Die Briefe von Karl Marx und Friedrich Engels an Danielson (Nicolai-on)». Leipzig, 1929, p. 12; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXVI, стр. 306.

[59] Там же.

[60] Wolf Düwel. Borkheim und die Černyševskij-Studien, pp. 204—205, 207—211.

[61] ⟨S. L. Borkheim.⟩ Ein Preussischer Press-Vizejefreitor («Прусский ефрейтор от печати»).— «Die Zukunft», 3 VII 1871. Вероятно, переговоры велись между Боркгеймом и Кинкелем, издателем еженедельника «Hermann». См. Marx/Engels. Briefwechsel. Bd. IV, p. 339; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIV стр. 295.

[62] A. Serno-Solowiewitsch. Unsere Russische Angelegenheiten. Leipzig, 1871, p. 10.

[63] «Parteien und Politik des modernen Rußland. Aus dem englischen von Sigismund Borkheim». Zürich, 1872, p. 14.

[64] Об отношении Маркса и Энгельса к Чернышевскому — см. «Переписку К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями». Изд. 2; М. Серебрякова. Классики марксизма-ленинизма о Н. Г. Чернышевском.— Сб. «Н. Г. Чернышевский», 1941, стр. 46—47.

[65] «Der „milde Czar"» («Милосердный царь»).— «Der Volksstaat», 9 VII 1875, № 77.

[66] «Герман Александрович Лопатин (1845—1918). Автобиография. Показания и письма. Статьи и стихотворения. Библиография». Пг., 1922, стр. 91—101.

[67] Там же, стр. 124—126. См. также: «Der milde Czar».— «Der Volksstaat», 11 VII 1875, № 78.

[68] O—n. Der Prozess der «Einundzwanzig» in Petersburg.— «Der Sozialdemokrat», 23 VI 1888, № 26.

[69] Имя Мышкина не было названо в корреспонденции («Лит. наследство», т. 25-26, 1936, стр. 559).

[70] «Eine sozialistische Demonstration in Rußland» («Социалистическая демонстрация в России»).— «Der Volksstaat», 18 VI 1876, № 70.— В сообщении сказано, что множество рабочих присоединилось к демонстрации в петербургских пригородах.

[71] С конца 1876 по 1878 г. в Лейпциге вместо «Der Volksstaat» выходил «Vorwärts».

[72] Fr. J. Celestin. Rußland seit Aufhebung der Leibeigenschaft. Laibach, 1875, p. 348 ff.

[73] K. Walcker. Zur Geschichte des russischen Sozialismus («К истории русского социализма»).— «Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart». Leipzig, B. Jahrg., 1. Hälfte, 1877, p. 709 ff.

[74] «Die Abschaffung der Aesthetik».— «Der Volksstaat», 23, 25, 28, 30 VI; 2, 5, 7, 9, 12 VII 1876, №№ 72—80.

[75] Возможно, им был Светозар Маркович.

[76] Nikolai Karlowitsch. Die Entwicklung des Nihilismus. Berlin, 1879 (2 Aufl.), p. 59.

[77] Там же, стр. 19.

[78] Nikolai Karlowitsch. Die Entwicklung des Nihilismus. Berlin, 1880 (3 Aufl.), pp. 3—4.

[79] «Der Sozialdemokrat», 27 IX 1890; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 69.

[80] R. ⟨Nekrolog auf Černyševskij⟩. — «Der Sozialdemokrat», 22 II 1880, № 8. Криптоним «R.» не встречается ни у одного из тогдашних постоянных сотрудников газеты. Между тем в Цюрихе жил в то время русский эмигрант Максим Ромм, находившийся в дружеских отношениях с Каутским и Бернштейном. По свидетельству последнего, в их кругу много говорили о Чернышевском. См. Eduard Bernstein. Sozialdemokratische Lehrjahre. Berlin, 1928, pp. 100—101. Не был ли Ромм автором некролога?

[81] «Vossische Zeitung», 22, 23 IX 1881; «Augsburger Allgemeine Zeitung», № 22, 24 IX 1881.

[82] В. А. Крылов. Эпизод на литературном конгрессе в Вене.— «Исторический вестник», 1900, № 2, стр. 704—717. См. также «Augsburger Allgemeine Zeitung», 25 IX 1881.

[83] М. Н. Чернышевский. О Чернышевском. Библиография 1854—1910. Изд. 2, стр. 20.— О «Baltischer Föderalist» см.: A. Thun. Geschichte der revolutionären Bewegungen in Rußland. Leipzig, 1883, p. 367.

[84] Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., 1953, стр. 501—502.

[85] «Lebendig begraben».— «Der Sozialdemokrat», 19 X 1882, № 43.

[86] N. G. Tschernyschewskij. Was thun? Leipzig, 1883 (3 Bände). Об истории издания «Что делать?» на немецком языке см.: М. П. Алексеев. Н. Г. Чернышевский в западноевропейских литературах.—Сб. «Н. Г. Чернышевский» (Ленингр. Гос. Университет). Л., 1941, стр. 242—269.

[87] N. G. Tschernyschewskij. Was tun? Berlin, SWA-Verlag, 1947; Aufbau-Verlag. Berlin, 1952.

[88] A. Serno-Solowiewitsch. Unsere Russische Angelegenheiten, p. 3.

[89] Там же, стр. 10.

[90] D. K. Schedo-Ferroti. Aus der Literatur des Nihilismus.— «Globus».— «Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde», Bd. XIX, Braunschweig, 1871, pp. 140—142, 155—157, 171—175, 216—218, 230—232.

[91] J. H. Russischer Nihilismus.— «Magazin für die Literatur des Auslandes», 1872, N 2, pp. 20—21.

[92] Fr. J. Celestin. Rußland seit Aufhebung der Leibeigenschaft. Laibach, 1875, pp. 356—363.

[93] «Meyers Konversations-Lexikon». 3 Aufl., Bd. XIII. Leipzig, 1878, p. 891.

[94] R. Löwenfeld. Černyšewskij und sein Roman «Was thun?». — «Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart», 1882, Bd. II, pp. 608—624.

[95] Там же, стр. 620.

[96] Там же, стр. 623—624.

[97] Там же, стр. 624.

[98] W. Henckel. Zur russischen Roman-Literatur.— Beilage zur «Allgemeinen Zeitung», 1883, N 298 vom 26 Oktober, pp. 4387—4388.

[99] Heinrich Teweles. «Was thun?» Erzählungen von neuen Menschen. Roman von N. G. Tschernyschewskij (Rezension).— «Magazin für die Literatur des In- und Auslandes», 1884, N 21, 24 Mai, pp. 334—335.

[100] ⟨A.⟩ B⟨ebel⟩. Ein idealistischer Roman. — «Die Neue Zeit», Revue des geistigen und öffentlichen Lebens. Stuttgart, 1885, pp. 371—373. Статья подписана *B*. Указание на авторство Бебеля дано в перечне содержания газеты за 1883—1902 гг. См. «Die Neue Zeit». General-Register des Inhalts der Jahrgänge 1883 bis 1902. Stuttgart, 1905, S. 5: Bebel, August. Ein idealistischer Roman. A III, S. 371.

[101] K. Zetkin. Die russischen Studentinnen.—«Die Neue Zeit», 1888, pp. 357—371.

[102] Paul Ernst. Tschernischewski.— Sonntags-Beilage zur «Vossischen Zeitung», 10 XI 1889, N 45.

[103] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVII, стр. 13.

[104] «Nikolaus Gavrilowitsch Tschernyschewsky».—«Der Sozialdemokrat», 16 XI 1889.

[105] «Tschernyschewsky».— Beiblatt zur «Berliner Volks-Tribüne», 23 XI, 1889, N 47.

[106] G. Plechanoff. N. G. Tschernischewsky.— «Die Neue Zeit», 1890, № 8, pp. 353—376 и № 9, pp. 404—442. Г. В. Плеханов. Сочинения, т. V. Изд. 2. М.— Л., 1924, стр. 21 и след.

[107] G. Plechanow. N. G. Tschernyschewsky. Eine literar-historische Studie. Stuttgart, 1894.

«НЕКРОЛОГ» ЧЕРНЫШЕВСКОМУ В ЧЕШСКОМ ЖУРНАЛЕ «BUDOUCNOST»

Публикация Ф. А. Молока

Двухнедельный журнал «Budoucnost» («Будущность») начал выходить в Праге с 1 октября 1874 г. Так же, как и газета «Delnické listý» (выходила с осени 1872 г.), журнал «Будущность» был одним из первых изданий зарождающейся чешской социал-демократии. Его редакторами были крупнейшие деятели социал-демократического движения в Чехии: литейщик Иозеф Болеслав Пецкий и портной Ладислав Запотоцкий (отец покойного президента Чехословакии, Антонина Запотоцкого).

Редакция «Будущности» уделяла большое внимание тяжелым условиям, в которых находился рабочий класс в Чехии, о чем, в частности, свидетельствует статья «О нынешнем положении», напечатанная 18 августа 1875 г.[1] Когда в июне 1875 г. в Брно вспыхнула крупная забастовка ткачей, журнал приветствовал солидарность венских рабочих с рабочими Брно [2].

Значительную роль сыграл журнал в ознакомлении рабочих Чехии с произведениями Карла Маркса; так, например, в 1875 г. в «Будущности» была помещена серия переведенных с немецкого языка статей о Марксе, принадлежавших перу Леона Франкеля, крупнейшего деятеля венгерской социал-демократии, бывшего комиссара Парижской коммуны.

Журнал уделял большое внимание не только борьбе рабочих Чехии за создание самостоятельной политической партии, но и социалистическому движению за границей. Так, в номере от 5 апреля 1876 г. редакция протестовала против ареста австро-венгерскими властями Леона Франкеля; в ноябре 1878 г. в журнале была напечатана статья «Свершилось!», автор которой выражал возмущение по поводу запрета деятельности социал-демократической партии в Германии [3].

После создания в апреле 1878 г. чешской социал-демократической партии журнал «Будущность» стал ее официальным органом (с тиражом в 1100 экземпляров), а редактором его был избран Л. Запотоцкий. В 1882 г. издание прекратилось в связи с репрессиями против социал-демократического движения и арестом Запотоцкого. На протяжении своего существования журнал систематически информировал читателей о революционном движении за рубежом.

Большое внимание в журнале уделялось и революционному движению в России. Так, в «Социально-политическом обзоре», помещенном в 1875 г. (№ 6), рассказывалось о забастовке рабочих в Серпухове [4].

Летом 1876 г. в журнале была напечатана статья «Социализм в России», в которой анализировались общественно-политические взгляды Белинского и Добролюбова [5].

В № 11 журнала от 13 июня 1877 г. было опубликовано сообщение о том, что Чернышевский находится в сибирской ссылке [6].

В марте 1880 г. в «Будущности» был помещен «некролог» Чернышевскому, который был написан редактором журнала — Запотоцким. Появление этого «некролога» было вызвано непроверенными слухами о смерти великого русского революционера. По-видимому, сведения о мнимой смерти Чернышевского были заимствованы Запотоцким из

сообщения в центральном органе немецкой социал-демократии газете «Der Sozialdemokrat», издававшейся в ту пору в Швейцарии (см. в настоящем томе, стр. 179—180).

Содержание статьи свидетельствует о том, что чешские социал-демократы были знакомы с деятельностью Чернышевского и со многими его работами, а также с той высокой оценкой, которую дал его экономическим трудам Маркс. В тексте некролога Чернышевский назван «великим русским ученым и критиком», точно так же, как и в одной из работ Маркса [7]. Самый факт появления статьи о Чернышевском в журнале чешских социал-демократов свидетельствует об интересе, который проявляли они к революционному движению в России.

Приводим текст некролога в переводе на русский язык [8].

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Почти в то же время, когда было получено телеграфное сообщение о взрыве в Зимнем дворце[9], до нас дошло известие об очередной жертве русского деспотизма — о том, что один из самых известных мыслителей русского народа и самый благородный борец за правду и свободу — Николай Гаврилович Чернышевский окончил свою жизнь в Сибири, куда он был выслан в 1864 г.

Страшные преследования, которым подвергался Чернышевский за свою деятельность на поле социально-политической борьбы, естественно, пробудили к нему горячие симпатии у каждого человека, любящего правду и свободу, и усилили борьбу за освобождение этого славного деятеля.

Чернышевский, родившийся в 1829 г.[10], получил начальное образование в духовной семинарии в родном городе Саратове, где изучал богословие; позднее поступил в Петербургский университет, по окончании которого был сначала преподавателем гимназии в Саратове, а затем в течение краткого времени преподавателем военной школы в Петербурге.

Литературная деятельность Чернышевского началась в 1855 г., когда он уже своим исследованием «Эстетические отношения искусства к действительности» обратил на себя внимание общества. В 1856 г. он вошел в редакцию радикального журнала «Современник», где занимался исключительно экономическими вопросами. Его славным и памятным произведением, которое полностью изменило существовавшие до него в России взгляды и возбудило в большей части народа революционные настроения, являются «Очерки политической экономии (по Миллю)», произведение не менее прославленное, чем предисловие к «Капиталу» и «Критика политической экономии» К. Маркса. В «Очерках политической экономии» великий русский ученый и критик мастерски декларировал упадок народного хозяйства в России.

Враждебное отношение к себе русского правительства Чернышевский вызвал только тем, что осмелился подвергнуть критике государственный бюджет. В вышеупомянутой работе он энергично доказывает, что этим бюджетом русский народ доводится до нищеты и ему остается только умирать с голоду.

Почти одновременно с этой работой Чернышевский опубликовал в журнале «Современник» статью под названием «Научились ли?». В этой статье автор резко упрекает правительство за его варварское обращение со студенчеством Петербургского университета, которое не хотело подчиниться установленным порядкам. Это событие также было причиной самого жестокого преследования Чернышевского со стороны правительства; тем не менее, те, которые честно добивались добра, объединились вокруг него.

В 1862 г., вскоре после выхода упомянутой статьи, Чернышевский, несмотря на то, что не было никаких законных оснований для его

преследования, был все-таки арестован и заключен в Петропавловскую крепость на основании лживого доноса.

В течение двадцатидвухмесячного следственного заключения Чернышевский написал роман «Что делать?», в котором признавал и отстаивал равноправное положение женщины и мужчины в обществе. Работая над романом, он должен был по многим соображениям проявлять особую осторожность. Тем не менее ему удалось указать женщине на достойное и благородное положение в обществе. Мы можем сказать, что именно благодаря этому роману, получившему широкое распространение в России, большое количество женщин принимает там активное участие в социально-революционном движении.

Наконец, 20 мая 1864 г., после того, как предварительное следствие по делу Чернышевского закончилось, он был за свою опасную для государства деятельность осужден на семь лет каторжных работ в сибирских рудниках. Процесс над ним был проведен таким способом, что его можно поставить в ряд с происходившими некогда судами средневековой инквизиции. Однако этого было недостаточно; после отбытия срока каторжных работ Чернышевский был привезен в одну из тюрем Восточной Сибири.

Одинокий, отрезанный от всего мира, под надзором казаков и жандармов, доживал он свою полную страданий и нищеты жизнь.

Дважды пытались мужественные социалисты освободить Чернышевского, один раз даже под видом жандармов[11]; но, к несчастью, все было напрасно, пока, наконец, смерть не смилостивилась над ним и его мучения прекратились.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Краткое изложение этой статьи см. в книге А. Клима «Начало чешского рабочего движения». Перевод с чешского. М., 1949, стр. 195.

[2] Там же, стр. 196.

[3] L. Šolle. Ke vzniku první dělnické strany v naši zemi (К возникновению первой рабочей партии в нашей стране). Praha, 1953, стр. 98.

[4] «K srdci lidu. Ivahy a vzpomínky Ladislav Zápotocký» («К сердцу людей. Размышления и воспоминания Ладислава Запотоцкого». Послесловие Яна Петримихла). Praha, 1954, str. 342.

[5] Там же, стр. 342—343.

[6] Там же, стр. 343.

[7] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVII, стр. 13.

[8] Зденек Шолле поместил этот некролог в числе приложений к своей книге. Перевод сделан по тексту этого издания, но сверен с более поздним изданием указанной книги «K srdci lidu...» (str. 245—248), в которой подтверждается, что некролог был написан Л. Запотоцким.

[9] Речь идет о неудачном покушении на Александра II, организованном Халтуриным по поручению партии «Народная воля» 5 февраля 1880 г.

[10] Ошибка или опечатка. Нужно: в 1828 г.

[11] Имеются в виду попытки освободить Чернышевского, предпринятые Г. А. Лопатиным в 1872 г. и И. Н. Мышкиным в 1875 г.

«ПАНИХИДА ОТЦА БИЕРРИНГА В ПАМЯТЬ НИКОЛАЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Публикация **И. Ф. Ковалева**

24 февраля 1880 г. в Нью-Йорке, по просьбе неизвестного русского, священник нью-йоркской православной церкви Н. Биерринг[1] отслужил панихиду по «рабе божием Николае», умершем «родственнике» просителя.

На следующий же день в нью-йоркских газетах «The Sun» и «Evening Mail» было напечатано описание панихиды «в память Николая Чернышевского, великого русского нигилиста-писателя», известие о мнимой смерти которого появилось в это время в западноевропейской прессе. Автор анонимной статьи характеризовал Чернышевского, как «знаменитого русского республиканского писателя», говорил о его исключительном влиянии в России, о жестоком преследовании его правительством, ссылке в Сибирь и преждевременной смерти.

Статья эта, носившая характер политической агитации, была, очевидно, напечатана с целью пробудить среди американских читателей интерес к личности и идеям Чернышевского. Возможно, что автором ее был именно тот неизвестный русский, который заказал панихиду, понадобившуюся ему как повод для выступления в печати.

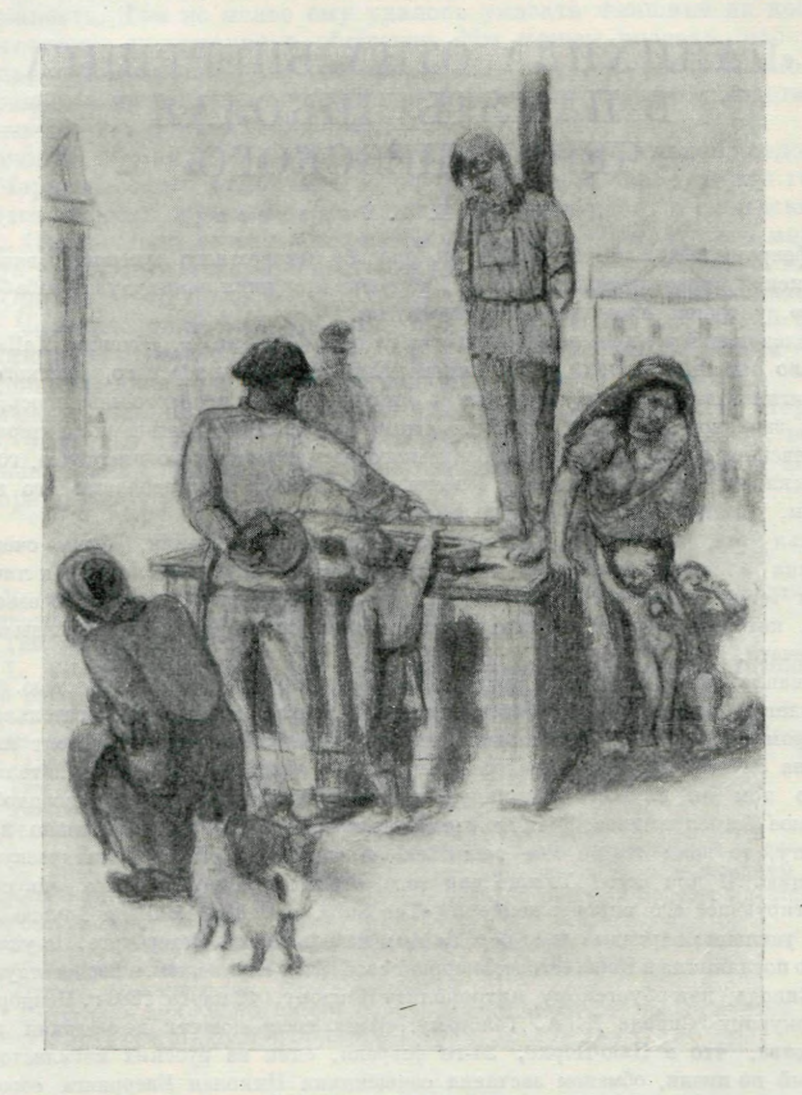
Описание самой панихиды несомненно расходится с действительностью. Автор изображает ее, как «необычное богослужение» — «торжественное и трогательное»,— на котором будто бы присутствовало «много» русских, «которые состоят или состояли на службе царского правительства». Но если Биерринг действительно не знал, по ком он служит панихиду, то непонятно зачем бы ему понадобилось «необычное богослужение». Если же имя Чернышевского было доверительно названо Биеррингу, то вряд ли он мог решиться на такую открытую политическую демонстрацию. И для чего? Только для того, чтобы на следующий же день послать реабилитирующее его опровержение в «The Sun», «Evening Mail» и другие газеты и затем усиленно оправдываться перед своим начальством в Петербурге. По указанию русского посланника в Вашингтоне, Биерринг сообщил о случившемся первенствующему члену Синода, петербургскому митрополиту Исидору. 16 марта 1880 г. Исидор писал обер-прокурору Синода Д. А. Толстому: «Имею честь довести до сведения вашего сиятельства, что в Нью-Йорке, 24-го февраля, один из русских нигилистов, неизвестный по имени, обманом заставил священника Николая Биерринга совершить в православной церкви панихиду по умершем, будто родственнике его, Николае, и потом вероятно тот же нигилист объявил в американских газетах, что совершена политическая панихида по Николае Чернышевском — главе русского нигилизма. Подробности изволите усмотреть из прилагаемого рапорта...».

Толстой, считая, вероятно, возможным разыскать неизвестного русского, сообщил о происшедшем министру внутренних дел М. Т. Лорис-Меликову (письмо от 19 марта 1880 г.). Министерство внутренних дел ведало выдачей заграничных паспортов. Здесь имелись сведения о паспортах, выданных лицам, выехавшим из России в Америку. Очевидно розыски ни к чему не привели, так как на сообщение обер-прокурора Синода ответа со стороны министра внутренних дел не последовало.

Приводим текст донесения Н. Биерринга митрополиту Исидору.

1880 г. ФЕВРАЛЯ 27. ДОНЕСЕНИЕ СВЯЩЕННИКА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В НЬЮ-ЙОРКЕ Н. БИЕРРИНГА ПЕРВЕНСТВУЮЩЕМУ ЧЛЕНУ СИНОДА, ПЕТЕРБУРГСКОМУ МИТРОПОЛИТУ ИСИДОРУ

Злодейские ухищрения врагов русского престола и православной церкви, проявившиеся в ряде святотатственных покушений на драгоценную



«ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ»

Рисунок углем польского художника А. Сохачевского, 1863—1882 гг.

Исторический музей, Варшава

жизнь помазанника божия, возлюбленного монарха русской земли, простирают свои пагубные сети и на церковь божию, усиливаясь осквернить ее святыню. В воскресенье, 24 февраля, после обычной литургии один бедно одетый русский человек с печалью на лице попросил отслужить панихиду по «его родственнике, новопреставленном рабе божием Николае, скончавшемся в России», как он заявлял. Видя его убожество и печаль, я тотчас же поспешил отслужить панихиду для его религиозного утешения,

не справляясь о звании и фамилии новопреставленного. Каков же был мой ужас и мое негодование, когда на следующий день я прочитал в здешней, враждебной России газете «The Sun» следующую статью «Панихида отца Биерринга в память Николая Чернышевского»:

«В грекорусской православной церкви, что на Втором Авеню, вчера было интересное и необычное богослужение. Отец Биерринг, священник

«НАКАЗАНИЕ ПЛЕТЬМИ»
Рисунок углем польского художника А. Сохачевского, 1863—1882 гг.
Исторический музей, Варшава

этой церкви, совершал панихиду в память Николая Чернышевского, великого русского нигилиста-писателя, который недавно умер в Сибири, которого часто называли отцом нигилизма и который, как говорят, имел больше влияния на интеллигентные классы России, чем всякий другой писатель этого рода. Смерть Чернышевского последовала в минувшем январе месяце в маленькой сибирской деревне, на самой далекой окраине этой далекой страны. Он был осужден на четырнадцатилетнюю

каторжную работу по обвинению в распространении книг и брошюр против деспотизма царя. В течение этих четырнадцати лет он принужден был работать в цепях в приисках и был подвергаем жестокостям, которые даже там считались необычными. По истечении срока его наказания слабое телосложение этого знаменитого русского республиканского писателя совершенно расстроилось, и смерть скоро пришла для его освобождения. Настоящий царь имел особенное отвращение к Чернышевскому, за что так же относились и к нему многочисленные русские, которые во взглядах сходились с покойным. Во время его изгнания в Сибири, нигилисты делали различные попытки освободить его, но все они были неудачны.

Богослужение, которое было вчера совершено в память его отцом Биеррингом и которое по всей сущности есть панихида по русскому обряду, было трогательно и торжественно, особенно в местах, где говорилось о слезах, пролитых над умершим, о причислении его к святым в раю и о вечной памяти, которая будет о нем у людей. В числе русских, присутствовавших при этом случае, было много таких, которые состоят или состояли на службе царского правительства [2].

Вчерашняя панихида по Чернышевском в Нью-Йорке будет единственною панихидою, связанною с его именем, так как это не потерпелось бы ни в какой части Русской империи».

Видя такой дерзкий обман со стороны хищного волка, принявшего личину кроткой овцы, я поспешил написать как в газету «The Sun», так и в другие американские газеты, следующее письмо:

«М. г., позвольте исправить совершенно ложное впечатление, которое делает несправедливость как по отношению ко мне, так и ко всей русской колонии в Нью-Йорке. В газетах было напечатано, что в здешней русской церкви была совершена панихида по Николае Чернышевском, русском нигилисте. Во-первых, панихида совершена была по желанию бедного русского человека, просившего отслужить панихиду по его родственнике Николае, без обозначения его фамилии. Сам я не знал ни просителя, ни его умершего родственника, кроме его первого христианского имени, что только и требуется в восточной церкви при панихидах. Во-вторых, в совершении панихиды совсем не было особенной трогательности или торжественности, она совершалась по обычной для таких случаев форме. В-третьих, при панихиде не присутствовало ни одного представителя правительства его величества, российского императора. Если бы я знал, что целью этой панихиды было произвести политическую агитацию, то согласно началам восточной церкви я абсолютно отказал бы в ее совершении. Позвольте мне заявить в заключение, что русские в Нью-Йорке не имеют ни малейшего сочувствия к нигилизму.

Священник Николай Биерринг»

Письмо это было напечатано в газетах «The Sun» и «Evening Mail», в тех именно газетах, которые поместили извращенное описание панихиды.

По докладе всего этого прискорбного дела его высокопревосходительству русскому посланнику в Вашингтоне, я получил от его высокопревосходительства указание довести это дело до сведения вашего высокопреосвященства, что сим и исполняю.

Вашего высокопреосвященства, милостивейшего архипастыря и отца, смиренный послушник священник русской православной св. Живоначальные Троицы церкви в Нью-Йорке

Николай Биерринг [3]

XIV Inhaltsverzeichniß

ПОМЕТЫ ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА ПРИНАДЛЕЖАВШЕМ ЕМУ ЭКЗЕМПЛЯРЕ НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» ВЕБЕРА (ЛЕЙПЦИГ, 1882)

Страница оглавления 2-го тома

Центральный архив литературы и искусства, Москва

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Николай *Биерринг*—профессор философии и истории в римско-католической семинарии в Балтиморе и член Академии наук в Мэрилэнде, римско-католический миссионер; в 1870 г. перешел в православие и был возведен в сан священнослужителя. С 1870 г.— священник русской православной церкви в Нью-Йорке, подведомственной русскому Синоду.

[2] Как уже сказано выше, это сообщение вряд ли соответствует действительности.

[3] ЦГИАЛ, ф. 797 (Канцелярия обер-прокурора Синода), оп. 50, 1880 г., III Отд., 5 стол, д. 63, лл. 2—5. Кроме этого донесения, в деле содержатся еще два документа: письмо петербургского митрополита Исидора обер-прокурору Синода Д. А. Толстому от 16 марта 1880 г. с сообщением о случившемся (донесение Биерринга является приложением к этому письму) и секретное письмо Д. А. Толстого к министру внутренних дел М. Т. Лорис-Меликову от 19 марта 1880 г.

ПЕРВАЯ БИБЛИОГРАФИЯ СОЧИНЕНИЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Сообщение Е. Г. Бушканца

В рукописном фонде Государственного музея Татарской АССР хранится первый библиографический указатель произведений Чернышевского. Рукопись представляет собой тетрадь без обложки из 12 ненумерованных листов. На первой странице имеется заглавие: «Библиографический указатель сочинений, переводов и редакционных трудов Николая Гавриловича Чернышевского» и надпись: «Составил Николай Агафонов». Все 24 страницы заполнены рукой Н. Я. Агафонова. На последней — его подпись: «Н. Агафонов. Казань 26 июня 1871 года»[1].

Николай Яковлевич Агафонов (1842—1908) — «любитель исторической литературы и собиратель разных историко-археологических и библиографических материалов по изучению местного края как печатных, так и рукописных» (так называл он сам себя в автобиографии[2]),— хорошо известен как библиограф и журналист. Он окончил Первую казанскую гимназию и Казанский университет. Печататься начал с 1863 г. Его перу принадлежит свыше ста работ[3]. В 1872—1874 гг. издавал в Казани «Камско-Волжскую газету» при участии А. С. Гацисского, Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева. Газета была закрыта правительством. Позднее издал несколько сборников, также вызвавших цензурные преследования.

Громадное количество неопубликованных материалов по истории Среднего Поволжья и особенно Казани осталось в его архиве[4]. Два капитальные труда — био-библиографический словарь писателей и журналистов Поволжья, Урала и Сибири и «Казанская энциклопедия», подготовке которых Агафонов посвятил почти всю жизнь, остались незавершенными.

В молодости, в шестидесятых годах, Агафонов испытал воздействие передовой общественной мысли, был близок с некоторыми активными участниками общественно-политической борьбы в Казанском университете (особенно с К. В. Лаврским, о котором см. на стр. 277—278 настоящего тома). Большое влияние на него оказала и деятельность А. П. Щапова, у которого Агафонов воспринял, наряду с демократическими взглядами на русскую историю, и его «областническую» теорию.

Первые увлечения Агафонова произведениями Чернышевского относятся к концу пятидесятых годов. Он внимательно следил за всеми статьями Чернышевского в «Современнике», а в 1863 г. зачитывался, по его собственным словам, «до самозабвения» романом «Что делать?»[5]

Важно отметить, что Агафонов лично встречался с Чернышевским. В одном из планов его автобиографии значится: «Встречи с литераторами: Семевским, Погодиным, Благосветловым и проч. Свидание с Чернышевским. Впечатления по прочтении „Накануне", повестей Григоровича, „Лит. воспоминания" Панаева и собственные произведения под влиянием несвободы... Товарищество. Студенческие беспорядки в 1861 году. Безднинские убийства»[6].

Ни в одном из написанных впоследствии вариантов автобиографии Агафонов не расшифровал записи «Свидание с Чернышевским». Не сохранилось о нем и каких-либо данных в мемуарной литературе, письмах и дневниках современников, следственных материалах и т. п. Произошло оно, по-видимому, в августе 1861 г., когда Чернышевский проездом на родину в Саратов посетил Казань, или в середине сентября, когда он останавливался в Казани на обратном пути[7].

Показательно, что в отличие от *встреч* с другими литераторами, с Чернышевским у Агафонова было деловое *свидание*[8]. К сожалению, пока невозможно ответить на вопрос, касалась ли беседа при этом свидании литературных планов Агафонова или же вопросов политического характера, например, революционных выступлений казанского студенчества в 1861 г.

Расправа самодержавия над Чернышевским, приостановление «Современника» не смогли затормозить распространение его идей среди революционной молодежи. Именно тогда, когда новое поколение читателей обращается для изучения произведений Чернышевского к бережно хранимым комплектам «Современника» конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, Агафонов предпринимает составление библиографического указателя статей, рецензий и переводов Чернышевского.

Не принимая непосредственного участия в революционном движении, Агафонов вплоть до 1880-х годов снабжал молодежь Казани нелегальной и запрещенной литературой[9].

Передовые люди Казани не забывали о Чернышевском. Так, в 1881 г. студенты Казанского университета собирались на специальную сходку, чтобы обсудить петицию об освобождении Чернышевского[10].

Первое упоминание о работе Агафонова над библиографией произведений Чернышевского встречается в его дневнике, где под датой 7 июня 1868 г. в числе семи тем под общим заголовком «Теперешние мои предприятия» записано — «Каталог сочинений Н. Г. Чернышевского»[11].

Здесь же находится набросок предисловия к составлявшемуся каталогу: «Приведя этот список, мы должны оговориться, что сюда не вошли те из сочинений Н. Г. Чернышевского, которые были напечатаны в „Военном сборнике“, редактировавшемся с 185... по 186... г. Чернышевским. Желательно бы было, чтобы гг. просвещенные библиографы обнародовали эти статьи даровитого русского публициста»[12].

Последующие записи свидетельствуют, что работа над библиографией произведений Чернышевского продолжалась вплоть до 1871 г. «С утра,— записывает Агафонов 7 марта 1871 г.,—я по примеру прошлого воскресенья рылся в журналах библиотеки И. А. Шидловского для составляемого мною библиографического указателя статей Н. Г. Чернышевского»[13].

Ряд сведений заимствовал Агафонов из «Книжного вестника», в его дневнике находятся выписки из этого журнала об «Исторической библиотеке», выпускавшейся в качестве приложения к «Современнику», и о «Военном сборнике». Имеются выписки из «Атенея», «Иллюстрации» и ряда других журналов.

В ходе работы над библиографией Агафонов пользовался указаниями разных лиц, помогавших ему раскрыть авторство Чернышевского в отношении ряда анонимных статей и его псевдонимов, беседовал с людьми, знавшими Чернышевского. До нас дошла, к сожалению, только запись одной такой беседы — с бывшим петербургским цензором В. Н. Бекетовым. «Он рассказал мне много любопытного про свое цензорство...— отмечает Агафонов.— Жаль, что старику сильно изменяет память, но он очень добросовестно относится к своим рассказам: чего не помнит или кое-как помнит — говорит „не знаю“, „забыл“. А что помнит ясно — смело утверждает». Бекетов сообщил, что «ему очень много досталось за пропуск „Поэта и гражданина“ Некрасова и что лишь только появилось оно в „Со-

временнике“, в Государственном совете „произошел гвалт“». Подробно записан рассказ Бекетова о прохождении через цензуру «Что делать?». «Чернышевский писал роман „Что делать?“, сидя в Петропавловской, и посылал рукопись частями через III Отделение. Там просматривали ее односторонне, более с точки зрения своей специальности, а остальное

порядокъ: 1 ... 2 крит. 3 библ. 4 смѣсь.

Составилъ Н. Агафоновъ

Библіографическій указатель сочиненій, переводовъ и редакціонныхъ трудовъ Николая Гавриловича Чернышевскаго.

Статьи по отдѣлу критики и библіографіи

Отечественныя записки 1853 года:

О сродствѣ языка славянскаго съ санскритскимъ. Составилъ А. Гильфердингъ. Спб. 1853. (№ 7).

Dichterkanon. Ein Versuch, die vollendetsten Werke der Dichtkunst aller Zeiten und Nationen auszuzeichnen Von Dr. Neukirch. (Собраніе поэтовъ: Опытъ исчисленія совершеннѣйшихъ произведеній поэзіи всѣхъ временъ и народовъ. Д-ра Нейкирха). Кіевъ 1853 г. (№ 7).

Отечественныя записки 1854 г.

Федонъ, или о безсмертіи души, Моисея Мендельсона. Перев. съ нѣм. В. Мещникова. Изд. 2е. Тифлисъ 1854 г. (№ 5).

Справочный энциклопедическій словарь, издаваемый подъ ред. А. Старчевскаго. Томъ VII, Л—Мар. Спб. 1853 г. (№ 6).

О поэзіи соч. Аристотеля. Перевелъ, изложилъ и объяснилъ Б. Ордынскій. М. 1854 г. (№ 9).

Справочный энциклопед. словарь, Старчевскаго. Томъ III. В и Г. Спб. 1854 г. (№ 11).

Пѣсни разныхъ народовъ. Перев. Н. Берга. М. 1854 г. (№ 12).

Отечественныя Записки 1855 г.

Путешествіе А. С. Норова. 6 томовъ. Спб. 1853–1854 г. (№ 1).

Осада и взятіе Византіи Турками. Историческое изслѣдованіе

РУКОПИСНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО, СОСТАВЛЕННЫЙ Н. Я. АГАФОНОВЫМ, 1871 г.

Страница первая

Музей Татарской АССР, Казань

представляли Комитету петербургских цензоров. Роман цензуровали Бекетов и Федор Иванович Рахманинов, которые, будучи покойны тем, что рукопись прошла через фильтру III Отделения, просмотрели ее поверхность и слепо подписали, не исключив ни слова. Так он и явился в свет. Но когда поднялся по поводу этого романа содом, когда увидели, что нечто необыкновенное совершается между молодежью обоего пола под впечатлением этого произведения, то принялись отыскивать виноватых

в пропуске. Прежде всего притянули на цугундер Бекетова и Рахманинова.

— Помилуйте, — отвечают эти.— Мы читали и пропускали то, что дозволено III Отделением.

А III Отделение говорит:

— Нам нет дела до содержания романа: на это существует персонал цензоров. Мы только со своей стороны проверили, нет ли чего против верховной власти и вообще в какой мере благонадежны умозаключения и убеждения автора.

С обеих сторон признан резон, и вину взвалили на одного Чернышевского. Занялись энергичнее его судом и упекли на каторгу»[14].

Свой труд Агафонов предназначал для «Камско-Волжской газеты», о разрешении издания которой усиленно хлопотал в 1870 и в 1872 году[15]. Для первых номеров предполагались также воспоминания К. В. Лаврского о Добролюбове (см. ниже в настоящем томе). Газета начала выходить с 1872 г., но ни библиография трудов Чернышевского, ни воспоминания о Добролюбове на ее страницах не появились.

Сохранившаяся рукопись делится на три раздела: 1) статьи по отделу критики и библиографии, 2) переводы, 3) труды редакторские.

Первый раздел включает статьи в «Отечественных записках» за 1853—1855 гг., в «Современнике» за 1854—1863 гг., в «Атенее» за 1858 г. и отдельные издания произведений Чернышевского. В раздел включено всего 235 названий. Кроме того, здесь же находятся указания на участие Чернышевского в отделах «Заграничные известия», «Заметки о журналах», «Политика» журнала «Современник».

Во втором разделе указаны переводы «Основания политической экономии» Д. Милля и «Всемирной истории» Шлоссера. В третьем — редактирование Чернышевским «Исторической библиотеки» и «Военного сборника».

Наибольший интерес представляет первый раздел. Сюда включены статьи, рецензии и заметки, напечатанные анонимно или под псевдонимами. Перечень произведений Чернышевского Агафонов сопровождает примечаниями. Например, к перечню рецензий в № 1 «Современника» 1856 г. сделано примечание: «Следовательно, принадлежит разбору Чернышевского вся библиография. Во втором же номере никаких статей его не было». К № 4 «Современника» за тот же год: «Вся библиография, кроме статьи о романе Воскресенского. Разбор романа Воскресенского „Затаенная мысль“ ему не принадлежит». К № 9 за тот же год — «Следовательно, вся библиография в № принадлежит Чернышевскому, кроме разбора „Стихотворений“ Ивана Кроткова».

В подавляющем количестве случаев принадлежность статей и рецензий Чернышевскому определена Агафоновым правильно. При сравнении указателя Агафонова с новейшим библиографическим указателем произведений Чернышевского, составленным Н. М. Чернышевской (XVI, 736—828), следует отметить лишь следующее:

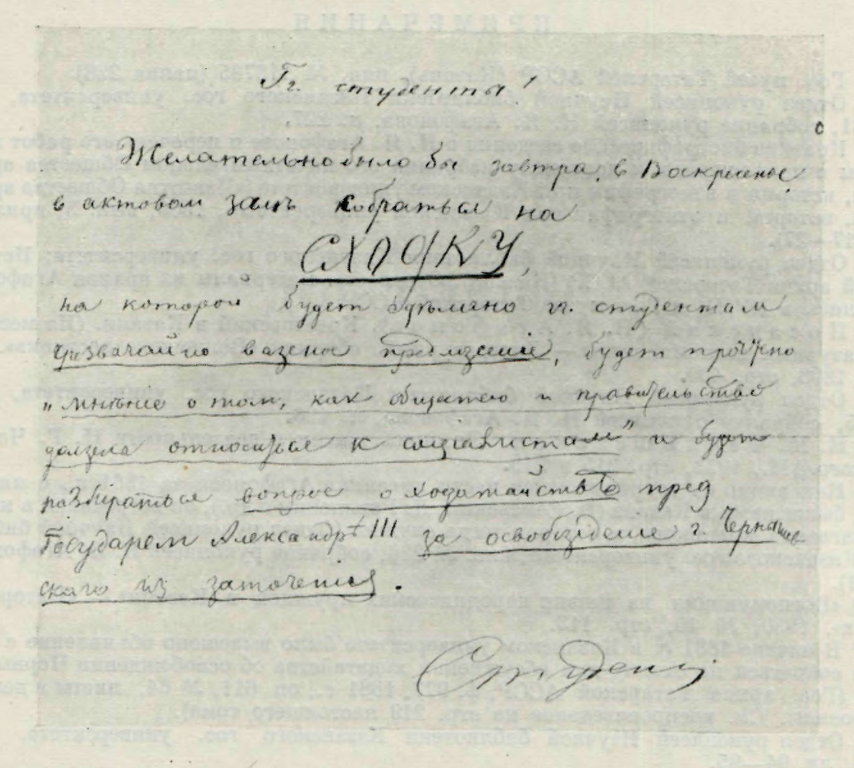
Агафонов приписывает Чернышевскому авторство в «Современнике» разделов «Устройство быта помещичьих крестьян» № 1 («Обозрение мер, принятых до сего времени к устройству быта помещичьих крестьян».— «Современник», 1858, № 6), № 2 («По поводу статьи г. Тройницкого „О числе крепостных людей в России“». — «Современник», 1858, № 7), № 4 («Библиография журнальных статей по крестьянскому вопросу».— «Современник», 1858, № 10), № 10 («Библиография журнальных статей по крестьянскому вопросу».— «Современник», 1859, № 7). Как известно, современные исследователи не склонны рассматривать их как статьи Чернышевского.

Агафонов указывает на принадлежность Чернышевскому «Заграничных известий» в №№ 7 и 8 «Современника» 1856 г. Хотя статьи эти и не

включены в указатель Н. М. Чернышевской, принадлежность их перу Чернышевского бесспорно подтверждается гонорарными ведомостями «Современника»[16].

Кроме того, Агафонов указывает, как на принадлежащие Чернышевскому, следующие рецензии и статьи в «Современнике»:

1) «Фабрикация стеариновых и других свечей. Мельнейера. М. 1855» (1856, № 3).



Гг. студенты!

Желательно было бы завтра, в Воскресенье в актовом залѣ собраться на

СХОДКУ,

на которой будет объявлено гг. студентам чрезвычайно важное предложение, будет прочтено „мнение о том, как общество и правительство должны относиться к социалистам" и будет разбираться вопрос о ходатайстве пред Государем Александром III за освобождение г. Чернышевского из заточения.

Студенты

ОБЪЯВЛЕНИЕ С ПРИЗЫВОМ К СТУДЕНТАМ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СОБРАТЬСЯ НА СХОДКУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПЕТИЦИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 1881 г.

Было вывешено в здании университета

Архив Татарской АССР, Казань

2) «Практика золочения и серебрения всех вообще металлов. Шрейбера. М. 1855» (1856, № 3).

3) «Отчет императорской публичной библиотеки за 1855 год. СПб. 1856» (1856, № 5).

4) «Хроника современных военных известий» (1856, №№ 1, 2, 5).

5) «Рассуждение о гражданском и уголовном законоположении. Соч. И. Бентама, переведенное по высочайшему повелению Михаилом Михайловым, 3 тома. СПб. 1805» (1857, № 10).

6) «Опыт исторического оправдания Петра I против некоторых писателей. К. Задлера. СПб. 1861» (1861, № 5).

7) «Воронежский литературный сборник, издаваемый Н. Гардениным под ред. П. Малыхина. Выпуск 1-й. Воронеж. 1861» (1861, № 12).

8) «Воронежская беседа на 1861 год. Издание М. Де-Пуле и П. Глотова. СПб. 1861» (1861, № 12).

9) «Записки русского энтомологического общества в С.-Петербурге. № 1. СПб. 1861» (1861, № 12).

В данном случае указания Агафонова не могут быть подкреплены какими-либо другими данными, подтверждающими принадлежность этих рецензий Чернышевскому.

Составление указателя произведений Чернышевского в конце шестидесятых годов в условиях политической реакции в стране являлось со стороны Агафонова актом высокого гражданского мужества.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Гос. музей Татарской АССР (Казань), инв. № 116785 (папка 228).

[2] Отдел рукописей Научной библиотеки Казанского гос. университета, инв. № 361, собрание рукописей Н. Я. Агафонова, л. 227.

[3] Краткие биографические сведения о Н. Я. Агафонове и перечень его работ напечатаны в приложениях к протоколу избрания его почетным членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете («Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете», 1906, вып. 3, прилож., стр. 17—27).

[4] Отдел рукописей Научной библиотеки Казанского гос. университета; Исторический архив Татарской АССР (Казань). Отдельные материалы из архива Агафонова оказались в ИРЛИ и Гос. музее Татарской АССР.

[5] Посадский ⟨Н. Я. Агафонов⟩. Крестовский в Казани. (Из местных литературных воспоминаний).— Литературный сборник «Волжского вестника». Казань, 1898, стр. 400.

[6] Отдел рукописей Научной библиотеки Казанского гос. университета, инв. № 215, собрание рукописей Н. Я. Агафонова, л. 196.

[7] Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., 1953, стр. 215 и 219.

[8] Как видно из сохранившейся части дневника Агафонова за 1861 г., с писателями, бывавшими в Казани (В. Семевским, Д. Ровинским и др.), он встречался в книжном магазине Мясникова, в котором тогда служил (Отдел рукописей Научной библиотеки Казанского гос. университета, инв. № 226, собрание рукописей Н. Я. Агафонова, л. 291).

[9] «Воспоминания из жизни народнических кружков в Казани».— «Каторга и ссылка», 1930, № 10, стр. 113.

[10] В начале 1881 г. в Казанском университете было вывешено объявление с призывом собраться на сходку для обсуждения ходатайства об освобождении Чернышевского (Гос. архив Татарской АССР, ф. 977, 1881 г., оп. 611, № 64, листы в деле не нумерованы. См. воспроизведение на стр. 219 настоящего тома).

[11] Отдел рукописей Научной библиотеки Казанского гос. университета, инв. № 215, лл. 94—95.

[12] Там же, л. 95.

[13] Там же, л. 217 (О библиотеке Шидловского см.: Н. Я. Агафонов. Воспоминания об И. А. Шидловском. Казань, 1884, стр. 12).

[14] Там же, лл. 470—474.

[15] Там же, л. 258.

[16] «Лит. наследство», т. 53-54, 1949, стр. 462.

ДОБРОЛЮБОВ

ЛЕКЦИИ ДОБРОЛЮБОВА О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

«КОНСПЕКТЫ» Н. А. ТАТАРИНОВОЙ (1857 г.)

Статья и публикация Б. Ф. Егорова

Исследователи творчества Добролюбова до сих пор проходили мимо материала большой ценности — курса лекций по литературе, прочитанного студентом Добролюбовым для Н. А. Татариновой в 1857 г. Содержание лекций отражено в двенадцати учебных тетрадях Татариновой (169 лл.), ныне хранящихся в ЦГАЛИ[1].

История лекций Добролюбова такова. Отец ученицы, А. Н. Татаринов, известный либеральный деятель 1850-х годов, подыскивал для своей пятнадцатилетней дочери домашнего учителя русской словесности. Профессор Педагогического института Н. М. Благовещенский рекомендовал ему Добролюбова, как одного из выдающихся студентов-выпускников (Добролюбову оставалось полгода до окончания Института). Добролюбова привлекла роль идейного воспитателя девушки (впоследствии она стала писательницей), —тем более, что отец ученицы, любивший щеголять своими либеральными взглядами, просил Добролюбова «не стесняться ни православием, ни монархизмом» (VI, 47)*. Занятия длились несколько месяцев, начиная с 10 января 1857 г.[2] и проходили следующим образом: Добролюбов читал лекцию, а его ученица должна была после этого по памяти воспроизвести основное содержание занятия. Об этом имеются указания самой Татариновой. Вот что она вспоминала:

«Добролюбов ⟨...⟩ стал сам объяснять, и к следующему уроку задавал написать то, что он говорил.

— Если найдете возможным, прибавьте то, что вы сами об этом думаете...

Так как я очень редко находила возможным прибавить что-нибудь от себя, то *почти все, что написано в этих тетрадках, является повторением его слов*»[3].

Последняя фраза особенно важна: если даже запись не всегда полностью воспроизводила основное содержание лекции, если даже это были иногда не столько конспекты, сколько сочинения на заданную тему, то все же значение их неоспоримо. Однако, как увидим ниже, записи приближаются именно к конспекту, изложению лекции. Просто удивительно, как эти важные материалы, характеризующие историко-литературные взгляды молодого Добролюбова (выраженные к тому же вне всяких цензурных рогаток), до сих пор оставались неизученными.

Ценность тетрадей Татариновой тем более велика, что все ее записи, восходящие к живому слову Добролюбова, были им затем проверены и собственноручно исправлены. Чаще всего в тетрадях встречается стилистическая правка. Но в тех случаях, когда Добролюбов находил у Татариновой нечеткие или ошибочные, с его точки зрения, формулировки, он вписывал своей рукой целые фразы. Так, например, тему «Великий князь Владимир» Татаринова начала так: «Читая древние народные песни, видим, что великий князь Владимир не пользовался большим уважением своих подданных». Добролюбов уточнил и углубил эту запись. Он вычеркнул все придаточное

---

* В разделе «Добролюбов» все ссылки на его тексты даются по Полному собранию сочинений в 6-ти томах (М., Гослитиздат, 1934—1941) с указанием только томов (римскими цифрами) и страниц (арабскими).

предложение (после слов «видим, что...») и дописал сам: «...в них везде упоминается о Владимире и что он называется ласковым, красным солнышком и т. п., но нельзя не заметить, несмотря на эти фразы, что народ не питал особенного уважения к этому князю, в котором представляется вообще олицетворение княжеской власти».

В иных случаях почти половина текста Татариновой исправлена или вписана Добролюбовым (см., например, «Русские писатели в 18-м веке»). А когда Добролюбов не был удовлетворен сочинением Татариновой «Пошлое и низкое в искусстве», он написал четыре страницы замечаний и потребовал новой разработки этой темы.

Хотя Татаринова часто весьма наивно передает идеи Добролюбова — не нужно забывать, что ей было всего 15 лет!— тем не менее, все ее записи проверены и исправлены Добролюбовым, то есть как бы санкционированы им. Поэтому, если далеко не все мысли, изложенные в тетрадях Татариновой, по своей глубине и четкости соответствуют взглядам Добролюбова-студента, то, по крайней мере, мы можем с уверенностью сказать, что ни одна идея, ни одна мысль не противоречит или — даже точнее — не расходится с концепцией Добролюбова: все неточности и искажения он зачеркивал и исправлял.

В связи с этим мы можем считать записи Татариновой, правленные Добролюбовым, своеобразными *конспектами* его лекций и в дальнейшем так их и будем именовать. Но так как данные записи не являются конспектом в точном смысле этого слова, то мы заключаем этот термин в кавычки.

До нас дошли следующие «конспекты» Татариновой о русской литературе, воспроизводящие содержание лекций Добролюбова:

Предания
Русские народные песни
Религия в народе русском по литературным памятникам
Великий князь Владимир
Стих о голубиной книге
⟨О значении литературы⟩
Модные писатели
⟨О комическом⟩
Пошлое и низкое в искусстве.
Взятка. ⟨Об обличительной литературе⟩[4]
Русские писатели в 18-м веке
Русские писатели 18-го века
Русские сатирические писатели XVIII ⟨века⟩
Сатирическое направление в России
Достоинство русских писателей 18-го века
Отсутствие личного характера в произведениях русских писателей XVIII века
Державин
Речи в «Кадме и Гармонии»
Письма Карамзина и Фонвизина
Заслуги и влияние Карамзина
Трагедия Озерова «Дмитрий Донской»
Патриотические стихотворения Жуковского
⟨Веневитинов и Пушкин⟩
Мелкие стихотворения Лермонтова
⟨«Аммалат-Бек» и «Герой нашего времени»⟩
Стихотворения Кольцова

Перечисленные «конспекты» сохранились, как сказано выше, в двенадцати отдельных тетрадях, а внутри тетрадей — иногда на отдельных листках, позднее произвольно пронумерованных[5]. Поэтому восстановить с уверенностью первоначальную последовательность «конспектов» невозможно. Предполагая хронологическую последовательность (от фольклора к современной литературе), а в рамках одной темы (несколько «конспектов», например, посвящено обзору творчества писателей XVIII в.) определяя относительные сроки написания работ по их содержанию, мы приняли тематически-хронологический принцип расположения «конспектов» Татариновой.

Однако, как будет показано ниже, в некоторых случаях возникают сомнения в соответствии данного выше списка реальной последовательности «конспектов».

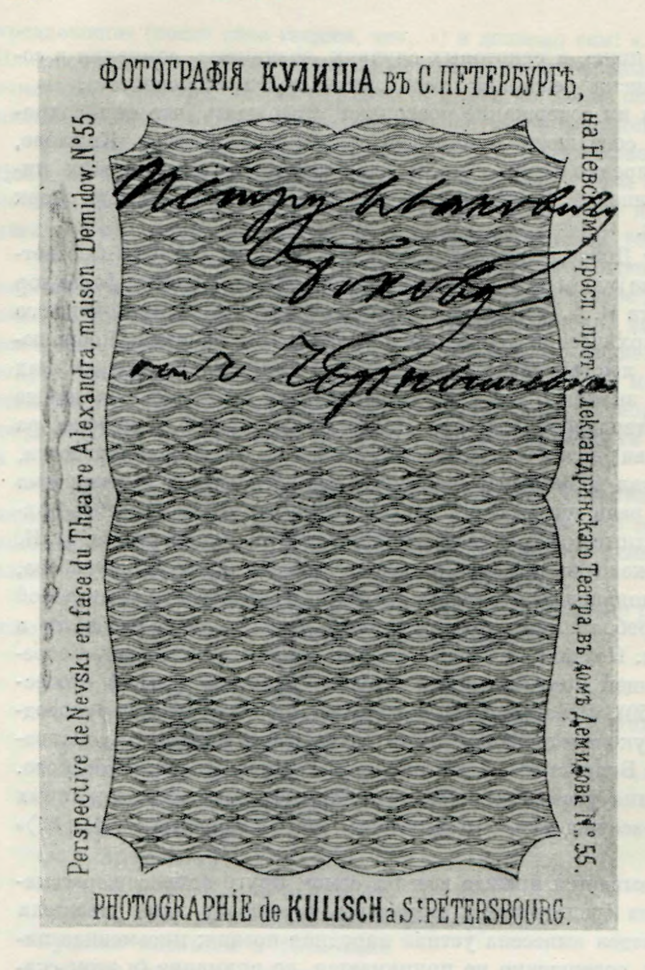
Заголовки «конспектов» и их содержание позволяют утверждать, что они сохранились далеко не полностью: совершенно, например, отсутствуют темы о Крылове, Грибоедове, Гоголе. Трудно предположить, чтобы Добролюбов умолчал об этих писателях в лекциях для Татариновой. Цикл лекций представлял собою, видимо, очерк истории русской литературы.

Какими источниками мог Добролюбов пользоваться для своих лекций? Соответствующие институтские учебные курсы не могли служить ему опорой. Русский фольклор слушал он у молодого адъюнкта К. А. Скворцова, бездарного эклектика, проводившего в своих лекциях ультрамонархические тенденции. Иронические заметки Добролюбова на полях конспекта его лекций свидетельствуют о превосходстве ученика над учителем как по фактическим знаниям, так и по теоретическим взглядам[6]. Не лучше обстояло дело и с русской литературой, которую Добролюбов слушал у профессора С. С. Лебедева. Лекции Лебедева были настолько анекдотичны по своей примитивности, что Добролюбов даже не считал возможным серьезно к ним относиться и превратил свой конспект в пародию на речь профессора, сопровождаемую полемическими примечаниями (V, 499—517). Печатные пособия по русской литературе, вроде трудов Н. И. Греча[7] и С. П. Шевырева[8], также ни в коей мере не могли удовлетворять Добролюбова, так как они еще при своем появлении в свет ни идейной, ни фактической стороной не отвечали элементарным требованиям, предъявляемым к такого рода изданиям и служили предметом насмешек. Позднее, в 1859 г., Добролюбов на страницах «Современника» подверг уничтожающей критике новый выпуск «Истории русской словесности» Шевырева (II, 443—450). Источниками, которыми Добролюбов мог руководствоваться и действительно руководствовался, были труды революционных демократов, в первую очередь статьи Белинского, а также труды Герцена и Чернышевского. Добролюбов имел все основания утверждать позднее: «Многие из истин, на которых теперь опираются наши рассуждения, утверждены им ⟨Белинским.— *Б. Е.*⟩» (II, 471).

Влияние Белинского сказывается прежде всего в самом круге вопросов, рассматриваемых Добролюбовым: из письменной литературы изучаются лишь писатели XVIII—XIX вв., в особый раздел вынесена устная народная поэзия; письменная литература допетровской эпохи совершенно не принимается во внимание (в этом сказалась известная ошибка Белинского и Герцена в определении начала русской словесности с Кантемира и Ломоносова). Влияние Белинского, а также Герцена и Чернышевского, как будет показано ниже, отразилось и во многих суждениях Добролюбова. Более того, весь «конспект» Татариновой о Кольцове представляет собой как бы краткое резюме известной статьи Белинского «О жизни и сочинениях Кольцова».

Выступая в качестве идейного ученика Белинского и Чернышевского, Добролюбов в лекциях выразил (правда, еще в зародышевой форме) и ряд новых положений. Ниже будут отмечены эти новые черты и прослежено вкратце их дальнейшее развитие в статьях Добролюбова и Чернышевского. Наиболее показательными (в отношении использования и дальнейшей разработки Добролюбовым наследия предшественников) являются его лекции по устному народному творчеству. Из «конспектов» Татариновой на эту тему особенно значительны три: «Русские народные песни», «Религия в народе русском по литературным памятникам» и «Великий князь Владимир».

При чтении первого «конспекта» (о народных песнях) прежде всего бросается в глаза подчеркивание грустного характера народной поэзии: «Во всех русских песнях находишь одно неизбежное чувство — грусть. Грустит добрый молодец на „чужой стороне“, грустит красная девушка, в „золотом терему“, грустит молодушка в „чужой семье“». Грустный характер русских народных песен объяснялся в литературе двояко. Представители академического славяноведения И. М. Снегирев, О. М. Бодянский и др., близкие по своим общественно-политическим взглядам к идеологии правых славянофилов, усматривали в этом факте влияние географических условий и отражение таких черт «национального характера» русского народа, будто бы «извечно» присущих ему, как смирение и покорность. Революционные же демократы считали



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА ОБОРОТЕ ФОТОГРАФИИ ДОБРОЛЮБОВА 1857 г:

«Петру Ивановичу Бокову от Чернышевского»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

печальные мотивы следствием преходящих условий исторической жизни русского народа, следствием многовекового рабства крестьянина, следствием бесправного его положения [9].

Добролюбов следует в этом отношении за своими учителями. В «конспекте» «Русские народные песни» читаем: «Причину этого характера русской песни надо искать в притеснениях, которые всегда терпел народ, и вообще в его печальной участи ⟨...⟩ хотя прямо и не выражаются в песнях заботы о материальных средствах жизни, но часто заметно в них тяжелое чувство, происходящее именно от сознания бедности»*.

При этом передовые мыслители, в отличие от деятелей официальной науки, подчеркивали особый характер грусти в русской народной песне, отсутствие в ней пессимизма и безысходности, отмечали закономерность перехода от пассивного страдания к активному протесту[10]. Еще Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» (глава «София») от рассуждения о заунывных русских песнях сразу перешел к изображению таких качеств русского крестьянина: «порывист, отважен, сварлив ⟨...⟩ Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву». Замечательную характеристику этой черты русского характера дал Белинский: «Грусть русской души имеет особенный характер: русский человек не расплывается в грусти, не падает под ее томительным бременем, но упивается ее муками с полным сосредоточением всех духовных сил своих. Грусть у него не мешает ни иронии, ни сарказму, ни

* Здесь и дальше в статье разрядка в цитатах из «конспектов» означает, что данные слова или фразы вписаны рукою Добролюбова.

буйному веселию, ни разгулу молодечества: это грусть души крепкой, мощной, несокрушимой»[11].

Добролюбов следует революционно-демократической традиции; его ученица записывает: «Иногда эта тоска превращается в страшное ожесточение; тогда он ⟨простолюдин.— *Б. Е.*⟩ забывает жену и детей, не слушает увещаний родных и смеется над всем, что до сих пор считал святым».

Позднее, в рецензии на «Сказки А. Н. Афанасьева» (1858), Добролюбов прямо заявил о своей солидарности с этими идеями Белинского и Герцена: «Но кто просмотрит, хотя бегло, эти сказки, тот в них может найти подтверждение по крайней мере тех общих идей, которые со времени Белинского пущены в оборот относительно характера русского народного творчества. Пассивность человека отвыкшего, вследствие внешних тяжелых обстоятельств, от самостоятельной деятельности, но все мечтающего о чрезвычайных подвигах силы и мужества,— довольно резко проявляется во всех сказках, имеющих довольно значительный объем и относящихся по содержанию к человеческому миру» (I, 433).

Замечательным свидетельством отношения Добролюбова к так называемой «религиозности» русского народа является «конспект» Татариновой, озаглавленный «Религия в народе русском по литературным памятникам».

Ко времени Добролюбова уже прочно была установлена революционно-демократическая точка зрения на отношение народа к религии и духовенству. Вспомним знаменитые слова Белинского из его письма к Гоголю: «...неужели же и в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа?..»[12]. Вспомним известное рассуждение Герцена: «Русский крестьянин суеверен, но равнодушен к религии»[13] и т. д.

Добролюбову в подцензурных статьях было почти невозможно открыто высказать аналогичные взгляды. В интересной статье «Заграничные прения о положении рус-

ДОБРОЛЮБОВ

Фотография, 1857 г. с дарственной надписью Чернышевского

Центральный архив литературы и искусства, Москва

ского духовенства» (1860) он сделал было смелую попытку показать свою полную солидарность с мнениями Белинского и Герцена: «А общее понятие о духовенстве давно уже составлено в нашем обществе, и, если спросить по совести кого угодно из духовных, каждый, конечно, сознается, что понятие это далеко не в их пользу〈...〉 Стоит послушать сказки народа и заметить, какая там роль дается „*попу, попадье, поповой дочери и попову работнику*“, стоит припомнить названия, которыми честят в народе „поповскую породу“, чтобы понять, что тут уважения никакого не сохранилось» (IV, 243.— Курсив наш.— *Б. Е.*). Заключив в кавычки подчеркнутую фразу, Добролюбов хотел напомнить читателям о мыслях Белинского в письме, находящемся под строжайшим запретом цензуры. Но весь цитированный отрывок был исключен цензурой из журнального текста.

В статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858) Добролюбов весьма осторожно сказал о равнодушии народа к религии, но цензура опять вычеркнула эти строки (I, 217). Только при помощи эзопова языка удавалось проводить в печать революционно-демократические суждения (см. ниже о статье «Непостижимая странность»).

В этом отношении «конспект» «Религия в народе русском...» является важным дополнением к печатным высказываниям Добролюбова о религии. Основная мысль «конспекта», развивающая идеи Белинского и Герцена, заключается в том, что народ был равнодушен к религии и следовал только «внешним правилам христианства». При этом, однако, в «конспекте» имеются такие утверждения, которые дают возможность для двоякого истолкования: «По народной русской поэзии видно, что наши предки следовали только внешним правилам христианства, но что религия п о ч т и ни в чем не переменила их грубых нравов». И в заключение: «Все это доказывает, что, будучи слишком необразованы, чтобы понять христианство, наши предки переняли только обряды новой религии, оставаясь, однако, верными своим предрассудкам».

Хорошим комментарием для выяснения этого вопроса может служить статья Добролюбова «О степени участия народности в развитии русской литературы», опубликованная в февральской книжке «Современника» 1858 г., следовательно, написанная всего несколько месяцев спустя после занятий с Татариновой. Здесь Добролюбов не отрицает относительной прогрессивности христианства на раннем этапе его распространения на Руси, однако значительно большее внимание он уделяет тому, как «имевшие в руках своих силу» воспользовались новой религией «для того, чтобы доставить торжество своим началам» (I, 218), то есть «имевшие силу» постарались использовать новую религию для дальнейшего закабаления народа.

Добролюбов понимал, что следование обычаям, обрядам сопутствует политическому консерватизму, что реакционные классы пытаются удержать свою власть сохранением всех старых обычаев и форм. Эта мысль, намеченная в «конспектах» «Религия в народе русском...» и «Предания», позднее займет значительное место в статьях зрелого Добролюбова (см. «Непостижимая странность»: «...религия была 〈...〉 постоянно в союзе с королевской властью 〈...〉, служители религии, имея огромное влияние, располагали народ не к нововведениям и самовольству, а к послушанию, самоотвержению и сохранению утвержденных порядков и обычаев. Консерватизм религиозный неразлучно связывался с консерватизмом политическим»— V, 30; или, например, оценку Добролюбовым в статье «Луч света в темном царстве» сущности образа Кабанихи: «Кабанова держит по-прежнему в страхе своих детей, заставляет невестку соблюдать все этикеты старины...»— II, 339). Добролюбов подчеркивал большую роль церкви в попытках сохранить господство привилегированных классов. Если в подцензурной статье «Непостижимая странность» он мог говорить лишь о католицизме, то в послании к Гречу он показал, что придерживается того же мнения и о православной религии: «Известно, что православная церковь и деспотизм взаимно поддерживают друг друга; эта круговая порука очень понятна»[14].

Относительная прогрессивность раннего христианства совершенно заслонена той реакционной ролью, которую оно сыграло в последующие века,— это Добролюбов прекрасно понимал. Некоторая неясность легко разрешается, таким образом, при

обращении к другим высказываниям Добролюбова о религии. Важно подчеркнуть также, что, характеризуя противоречие между внешним благочестием «наших предков» и реальными «злыми делами», Добролюбов имел в виду именно представителей господствующих классов («Грешно было пропускать обедню, а не грешно дурно обращаться с подчиненными»; «Убийство раба даже не считалось преступлением»— эти и другие фразы направлены против хозяев, *владельцев рабов*, против тех, у кого есть подчиненные. Ханжество и лицемерие не присущи простому народу).

Большой интерес представляет собой «конспект» Татариновой «Великий князь Владимир». Текст «конспекта» подвергся особенно тщательной правке Добролюбова, усилившего те моменты, на которые Татаринова не обратила должного внимания. Выше мы уже приводили вставку Добролюбова в начале «конспекта». В песнях,— пишет Добролюбов,— «...везде упоминается о Владимире 〈...〉 он называется ласковым, красным солнышком и т. п., но нельзя не заметить, несмотря на эти фразы, что народ не питал особенного уважения к этому князю, в котором представляется вообще олицетворение княжеской власти».

Все реакционные и либеральные исследователи устного народного творчества многословно распространялись о «Владимире красном солнышке» и о бесконечной любви русского народа к этому былинному князю. См., напр., у Костомарова об образе князя Владимира: «В нем он 〈народ.— *Б. Е.*〉 видел идеал доброго государя», «...уважение к царю было так велико, что малейший знак противного считается у великорусса преступлением, достойным смерти»[15]. Аналогично у Шевырева: «Благодарная память русского народа через многие веки сохранила в песнях воспоминания о великолепных пирах князя Владимира, которого они называют всегда *ласковым и красным солнышком*...»[16]. Совсем незадолго до лекций Добролюбова в «Русской беседе» 1856 г. (№ 4) была опубликована статья К. С. Аксакова «Богатыри времен князя Владимира», где князь обрисован в таких тонах: «Богатыри Владимира 〈...〉 любят его, служат ему охотно и зовут: красное солнышко, ласковый Владимир князь!— Постоянно радушный и ласковый хозяин, Владимир является в песнях почти всегда на веселом пиру со своими гостями»[17].

Добролюбов согласен с Костомаровым, Шевыревым и Аксаковым, что образ Владимира является в сознании народа олицетворением княжеской власти вообще, но в интерпретации ласковых эпитетов и олицетворения его с «красным солнышком» Добролюбов придерживался в корне противоположных взглядов, как это видно из «конспекта» Татариновой, особенно из вставок самого Добролюбова. Князь Владимир — тиран, князь Владимир «не занимается своим государством», «от князя можно всего добиться „золотой казной“», «он всегда пугается», он отплачивает богатырям неблагодарностью, он обещает «казнить смертью, если не исполнят его требования», «он ведет жизнь праздную»; «народ не считал своего князя достойным уважения» — вот как олицетворяется княжеская власть в произведениях народного творчества по мысли Добролюбова.

Для Добролюбова народное творчество — не только памятник прошлого, но и отражение современного народного миросозерцания. В статье «О поэтических особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах» он писал: «...песни наши не могут быть названы 〈...〉 древними в том виде, как они существуют ныне, и следовательно, в песне о временах Владимира мы столь же мало имеем права искать понятий X века, как и в песне о заложении Петербурга или о разорении Москвы» (I, 523). Поэтому в приведенном выше мнении народа о князе Владимире Добролюбов видел отражение общих суждений народа о царе.

Следует отметить еще одну особенность «конспекта» о князе Владимире: недовольство Добролюбова положением народа переходит здесь в горький упрек по адресу самого же народа: «...народ не считал своего князя достойным уважения за какие-нибудь доблести, а слепо повиновался ему, как предназначенному судьбою, и обличал его в трусости, ничтожности, корыстолюбии и пр., не думал однако же освободиться от его ига».

Это отношение к народу — характерная черта революционных демократов-шестидесятников вообще и, в частности, Добролюбова. Так, в рецензии на повести демократического писателя С. Славутинского (1860) Добролюбов отмечал, что автор «обходится с крестьянским миром довольно строго: он не щадит красок для изображения дурных сторон его, не прячет подробностей, свидетельствующих о том, какие грубые и сильные препятствия часто встречают в нем доброе намерение или полезное предприятие». Добролюбов положительно расценивает манеру Славутинского и противопоставляет его рассказы прежним повестям из народного быта, авторы которых, «смотря на народ с высоты своего величия, великодушно старались обойти его недостатки и выставить только хорошие стороны: они рассчитывали возбудить в читателях сожаление, благосклонность к низшему сословию» (II, 543—544).

Год спустя Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?» объяснил социально-политическую сущность такого различного отношения к народу. Когда крестьянство было в целом забитым, подавленным сословием, то, естественно, что писатели относились к народу со снисходительной жалостью: подчеркивать недостатки народа было совершенно несвоевременным. В период же отмены крепостного права, считал Чернышевский, крестьянство уже в состоянии было подняться на борьбу за свое освобождение. А если оно еще недостаточно активно, то нужно смелее разоблачать народные недостатки, пороки, чтобы скорее их изжить. Поэтому революционные демократы так много суровых слов сказали по адресу народа, в этом выражалась их горячая любовь к народу, их патриотизм, их страстное ожидание революционной вспышки.

Недаром, клеймя в 1914 г. шовинистов, псевдопатриотов, В. И. Ленин вспомнил именно Чернышевского при характеристике настоящего, действенного, *революционного патриотизма*: «Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: „жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы“. Откровенные и прикровенные рабы-великороссы, (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения»[18].

Этот революционный патриотизм, проявившийся уже во взглядах Добролюбова-студента, и был причиной его суровых, резких отзывов о народе. Разумеется, и здесь он имел в виду не только и даже не столько смердов и холопов X века, сколько современное крестьянство и городскую бедноту.

Следует отметить, что в «конспектах», посвященных фольклору, исключением является раздел «Предания», идеи которого соответствуют уровню самых ранних студенческих сочинений Добролюбова типа «О русском историческом романе».

В «конспектах» же о письменной литературе мы встретим значительные ошибки и неточности. Многие из них должны быть отнесены за счет уровня восприятия Татариновой; некоторые объясняются недостаточным знакомством Добролюбова-студента с данным предметом; некоторые же — не вполне сложившимся мировоззрением Добролюбова в 1857 г.

Так, в сочинении Татариновой «Пошлое и низкое в искусстве» и в «Замечаниях» Добролюбова к этой работе содержание идеалистической статьи позднего Шиллера «Мысли об употреблении пошлого и низкого в искусстве» (1802) излагается иногда почти дословно.

В этом отношении характерен также «конспект» Татариновой о комическом в искусстве. Здесь комическое объясняется как внесоциальная и антисоциальная категория: «...в комическом представлении писатель должен удалять нравственное н е г о д о в а н и е при виде дурных поступков и искреннее участие, которое может возбуждаться в н е м положением людей ⟨...⟩ К о м и к должен представлять дурные действия л ю д е й не зависящими от высшего нравственного управления и то, что с ними случается — только смешной необходимостью, которая не имеет пагубных последствий». Показательно, что Добролюбов своими вставками лишь усилил первоначальный смысл сказанного. Между тем революционные демократы уже подошли к пониманию социальной сущности комического (ср. у Герцена в ответе критику «Ко-

локола» 1858 г.: «Смех — это одно из самых сильных орудий против всего, что отжило и еще держится, бог знает на чем, важной развалиной, мешая расти свежей жизни и пугая слабых〈...〉 Крепостные слуги лишены улыбки в присутствии помещиков. Одни равные смеются между собою...»[19]).

Да и сам Добролюбов в рецензии на пьесу А. Потехина «Мишура» (1858) будет рассматривать комическое в тесной связи с развенчанием прогнивших реакционных сил в обществе. Одним из главных недостатков пьесы Добролюбов считает «недостаток *смеха*» (I, 421) при изображении центрального отрицательного персонажа — Пустозерова: «Что, если бы Пустозеров, не теряя всей своей гадости, был выставлен притом в комическом свете? Что, если бы вся пьеса, вместо сдержанно-озлобленного тона, ведена была в тоне комическом? Какое бы великолепное произведение имели мы, и какой бы страшный удар был нанесен этим всем Пустозеровым» (I, 422). Именно такой комизм Добролюбов усматривал в творчестве Гоголя, которого он тут же противопоставляет Потехину: «Гоголь обладал тайной такого смеха, и в этом он поставлял величие своего таланта. Посмотрите, в самом деле, как забавны эти Чичиковы, Ноздревы, Сквозники-Дмухановские, и пр., и пр. Но меньше ли оттого вы их презираете? Расплывается ли в вашем смехе хоть одна из гадостей этих лиц? Нет, напротив — этим смехом вы их только конфузите как-то, так что смущенные и сжавшиеся фигуры их так навсегда и остаются в вашем воображении, как бы скованными во всей своей отвратительности» (I, 422—423).

Еще более точную формулировку комического мы находим в статье Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародья» (1860). В комическом тоне рассказа Марко Вовчок «Игрушечка» Добролюбов видел «торжественный суд истории над самой сущностью, над принципом крепостного права» (II, 278). В «конспекте» Татариновой нет даже элементов такой трактовки комического.

Связь эстетических (как увидим ниже — и этических) категорий с социальными революционные демократы смогли осуществить не сразу. Вспомним, что и Чернышевский в диссертации еще не подошел к социальному объяснению комического.

Аналогичен предыдущему «конспект» о значении литературы. Здесь подчеркивается воспитательная роль искусства, воздействие художественных произведений на мораль общества, но этические категории добра и зла рассматриваются явно внеисторически, абстрактно. Вопрос о перестройке вредных для общества характеров решается слишком просто: «дурные» люди, прочитав художественное произведение, где разоблачается зло, «постыдятся» и «постараются не возобновлять» нечестных поступков. Все это — типичные черты просветительской идеологии: вера в преображающую силу слова, вера в исконно-добрую природу человека, искажаемую в условиях вредной, реакционной среды и потому нуждающуюся в «возврате» к своему естественно-доброму состоянию. И в зрелых работах Добролюбов не смог окончательно преодолеть отвлеченного подхода к этическим категориям (например, в статье «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» 1858 г. он подтверждает свое согласие с формулой: «Любовь к добру есть чувство, врожденное человеку» —III, 245; в статье «Луч света в темном царстве» он объясняет одну из причин протеста Катерины тем, что «естественных стремлений человеческой природы совсем уничтожить нельзя» — II, 349).

Но, в целом, для Добролюбова к 1859—1860 гг. станет ясной обусловленность человеческих характеров средой. В статье «Роберт Овэн и его попытки общественных реформ» (1859) он прямо заявил: «Человек по натуре своей ни зол, ни добр, а делается тем или другим под влиянием обстоятельств» (IV, 7). Понимание исторической и социальной обусловленности этических категорий встречаем в статье «Обзор детских журналов» (1859), где Добролюбов утверждал, что в связи с изменением обстоятельств русской жизни в последние годы «видоизменились и многие из понятий о нравственных обязанностях; добродетель, конечно, не перестала быть добродетелью, но оказалась надобность во многих из таких добродетелей, которые прежде считались почти невозможными, и наоборот» (III, 538). В рецензии на «Исповедь поэта» Н. Семенова (1860) Добролюбов развивает мысль о различном понимании сущности любви у крепостника-помещика и у передового демократа-шестидесятника (II, 608).

Точно так же и вопрос о формировании вредных для общества характеров будет

впоследствии рассматриваться Добролюбовым как один из самых сложных в условиях современного строя. Дворянская и буржуазная среда порождает Обломовых и Большовых. Для изменения же характера личности необходимо изменить среду. Так, считает Добролюбов, превращение Любима Торцова в бедняка, «лишив его готовых средств к существованию», совершенно преобразило его, хотя он «был смолоду самодуром» (II, 134—135). Таким образом можно было бы «исправить» и Гордея Торцова, но никто «не может и подумать о том, чтобы подвергнуть его подобному испытанию» (II, 135). Представители «темного царства» неисправимы. Но и в народной среде встречаются порочные люди; эта среда, в условиях существующего строя, то есть в условиях беспрестанного развращающего воздействия среды господствующих классов, не всегда бывает в состоянии справиться с нарушителями этических норм.

Поэтому «необходимо, для уничтожения зла, начинать ⟨...⟩ с основания» (IV, 399), то есть только революционное изменение существующего строя, только «радикальное лечение, серьезная операция» (IV, 103) окружающей среды создаст нормальные условия для переделки человеческих характеров. А кто сможет радикально переделать среду? Те, кто наиболее угнетен этой средой: «Известно, что крайности отражаются крайностями и что самый сильный протест бывает тот, который поднимается, наконец, из груди самых слабых и терпеливых» (II, 348). Так Добролюбов подойдет к пониманию не только обусловленности характеров средой, но и формирования данной средой характеров, способных изменить самую среду.

Но «конспект» Татариновой о значении литературы, при всей односторонности решения поставленных проблем, содержит и рациональное зерно: в нем подчеркивается громадная воспитательная и образовательная роль литературы, причем особо выделена мысль о том, что литература пробуждает способность критически относиться к действительности. Это характерная черта воззрения революционных демократов: еще Белинский неоднократно отмечал особое, просветительское значение русской литературы в условиях жестокой николаевской реакции; впоследствии эти идеи развивали Чернышевский и Добролюбов.

Исключительный интерес представляют «конспекты» Татариновой о русской литературе XVIII и XIX вв., исключительный хотя бы потому, что в них поднимается ряд тем, которые впоследствии или не найдут отражения в статьях Добролюбова — как, например, языковые средства художественной литературы, различные стороны творчества Ломоносова, Державина, Карамзина, Лермонтова, особенности образа повествователя в литературе классицизма, романтизма, реализма,— или будут освещены с других позиций (например, история русской сатиры).

По этим «конспектам» можно получить довольно ясное представление о литературно-критических взглядах будущего революционного демократа в самом начале его деятельности. Уже в студенческие годы Добролюбов пришел к убеждению, что «всегда и у всех народов литература являлась отпечатком народной жизни, выражением общественных потребностей» (I, 528). Но при этом он не всегда учитывал специфику этого отражения на разных исторических этапах.

На материале «конспектов» Татариновой интересно рассмотреть развитие историзма Добролюбова при его подходе к литературным явлениям.

Белинский прочно ввел исторический принцип в анализ художественного произведения. Этому же методу, прямо ссылаясь на Белинского, следовал и Чернышевский: «Два важные принципа особенно должны быть хранимы в нашей памяти, когда дело идет о литературных суждениях: понятие об отношениях литературы к обществу и занимающим его вопросам; понятие о современном положении нашей литературы и условиях, от которых зависит ее развитие. Оба эти принципа были выставляемы Белинским, как важнейшие основания нашей критики, разъясняемы со всею силою его диалектики и постоянно применяемы им к делу»[20].

Правда, общество, среда рассматривались революционными демократами вначале слишком обобщенно, вне сложных противоречий внутри этого общества. Представители домарксистской материалистической мысли лишь подходили к пониманию того, что общество одновременно и едино (среда в целом), и делится на противоположности (классы и классовая борьба), поэтому они не всегда учитывали такую черту диалекти-

ки, как единство и борьба противоположностей. Добролюбов писал в статье «Органическое развитие человека...» (1858): «Цель знания — не борьба, а примирение, не противоположность, а единство» (III, 94). Однако уже Белинский стал объяснять творчество писателя обусловленностью не только эпохой вообще, но и «принципом класса»[21], а литературных героев — рассматривать как представителей определенных общественных групп в определенную эпоху.

Чернышевский и Добролюбов в условиях шестидесятых годов смогли развить эти положения еще глубже. Добролюбов, например, для объяснения творчества писателя привлечет еще такой фактор, как степень отражения народных интересов.

Но Добролюбов не сразу пришел даже к историзму в смысле обусловленности личности средой вообще. В некоторых «конспектах» резко критикуются произведения исследуемого писателя, если они не соответствуют точке зрения Добролюбова-критика, проповедующего принципы реализма в литературе и искусстве, поэтому творчество писателей классицизма и романтизма оценивается сугубо отрицательно. Таковы «конспекты» «Речи в „Кадме и Гармонии“», «Патриотические стихотворения Жуковского». В последнем проводится такой анализ: «Странно кажется, что, *приготовляясь* ⟨к⟩ битве, солдаты не находят другого дела, как слушать песни да пить; *они могли бы употребить свое время на то, чтобы* вычистили и *аммуницию*, потому что, что ни говори, а у них в 12 году были *мундиры*, *ранцы*, ружья, а не мечи, *стрелы* и панцыри».

Подобные оценки объясняются той страстной борьбой, которую уже вел юноша Добролюбов против всяческих антиреалистических проявлений в современной литературе (подобное отношение он хотел, вероятно, привить и своей ученице). Судя по «конспектам», для него произведения Хераскова и Жуковского не характеризовали конкретные этапы в истории русской литературы, а становились примером антиреалистического искусства, искажающего действительность. На таком принципе полностью построены сопоставительные «конспекты» ⟨Веневитинов и Пушкин⟩ и ⟨«Аммалат-Бек» и «Герой нашего времени»⟩. В них Пушкин и Лермонтов, представители «земного», «естественного», правдивого, противопоставлены Веневитинову и Марлинскому, писателям «идеальным», оторванным от действительности, дающим искаженное, субъективистское представление о ней. Здесь противопоставлены два типа, два противоположных художественных метода: реалистический и антиреалистический, причем методы вообще, в самом общем типологическом смысле. Характерно, что во втором «конспекте» для сравнения берутся произведения, между датами выхода в свет которых лежит целое десятилетие (тридцатые годы), в корне изменившее положение в русской литературе.

В другом месте («Письма Карамзина и Фонвизина») противоположность взглядов объясняется различием в возрасте и темпераменте Карамзина и Фонвизина.

Более историчным оказывается «конспект» «Русские писатели в 18-м веке», посвященный изучению стиля и языка художественной литературы. Добролюбов, вероятно, придавал большое значение этому «конспекту»; он особенно тщательно правлен им: рукой Татариновой записана лишь половина текста. Здесь анализ не ограничивается язвительными насмешками, делается попытка рассмотреть систему языковых средств в литературе на фоне живой разговорной речи XVIII в. Но разрыв между литературным и разговорным языком Добролюбов объясняет, с одной стороны, попыткой прикрыть напыщенностью «*недостаток поэтического чувства и внутреннего содержания*», с другой (и в этом он видит главную причину) — консервативной традицией: писатели «не могли освободиться от давно *приобретенной* привычки», хотя в обществе «с *восторгом* принимали всякое сочинение *сколько-нибудь* естественное». Обе эти причины рассматриваются как субъективные, имманентные, совершенно не зависящие от объективного хода истории.

Однако уже в конце «конспекта» содержится более глубокая формулировка: «Трудно вдруг переменить направление целой литературы, и *сам Карамзин, которого считают преобразователем языка у нас, имел многих предшественников, постепенно подготовлявших это дело*». Оказывается теперь, что к началу карамзинского периода «и

самое общество более уже было приготовлено к подобному перевороту в литературе».

Но лишь в «конспекте» «Достоинство русских писателей 18-го века» четко декларируется историзм (пока еще историзм в смысле обусловленности эпохой вообще): «...для правильной и полной оценки какого-нибудь таланта надо знать, в какое время и при каких обстоятельствах он жил» (почти вся фраза написана рукой Добролюбова!). Тем не менее, при конкретном анализе литературных явлений даже такой историзм не соблюдался до конца. Под обстоятельствами в этой работе понимается чисто литературная среда. Но требование рассматривать творчество Державина в соотношении с творчеством Петрова и не подходить к нему с теми мерками, с которыми подходят к Пушкину, подобное требование было все же большим шагом вперед.

Основная идея «конспекта» сформулирована следующим образом (половина фразы написана рукой Добролюбова): «Невозможно было перешагнуть ⟨вдруг⟩ от слога Ломоносова к слогу Пушкина, литература наша совершенствовалась медленно, но, тем не менее, она постоянно шла вперед, и это обстоятельство заставляет нас ценить относительные заслуги писателей».

Эта фраза повторяет известное положение Белинского: «Между писателями, которых мы поименовали выше ⟨Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь⟩ и между Ломоносовым и его школою действительно нет ничего общего, никакой связи, если сравнивать их, как две крайности; но между ними сейчас же явится перед вами живая кровная связь, как скоро вы будете изучать в хронологическом порядке всех русских писателей, от Ломоносова до Гоголя»[22].

Аналогичные требования положены в основу «конспектов» «Русские писатели 18-го века» и «Заслуги и влияние Карамзина». В первом из них дана краткая характеристика многих писателей XVIII века от Кантемира до Богдановича, и при этом подчеркивается постепенное приближение литературы к естественности характеров и к разговорному языку. Как бы продолжением этого «конспекта» служит второй, «Заслуги и влияние Карамзина».

Суждения «конспекта» «Русские писатели 18-го века» являются также изложением мыслей Белинского из статьи «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (откуда и был выше процитирован отрывок): литература рассматривается в ее приближении к естественности, национальности (ср. у Белинского: «До Пушкина все движение русской литературы заключалось в стремлении ⟨...⟩ сблизиться с жизнию ⟨...⟩, сделаться самобытною, национальною, русскою»[23]). Сходны также оценки отдельных писателей, например Сумарокова, у которого Добролюбов, как и Белинский, находит «по местам» «естественность и даже до некоторой степени национальность».

Но Белинский показывает, что движение литературы происходит на фоне движения истории, что литература обусловлена эпохой, в «конспекте» же развитие литературы дано «изнутри», имманентно. Так, например, содержание отрывка «Державин»— изображение глубоких противоречий в творчестве писателя — в основном повторяет положения двух статей Белинского «Сочинения Державина» (1843). Но для Белинского, «чтоб разгадать загадку ⟨...⟩ поэзии ⟨...⟩, должно сперва разгадать тайну эпохи» [24]. В «конспекте» же Татариновой творчество Державина анализируется вне связи с исторической обстановкой.

Конечно, не следует забывать, что значительная доля упоминавшихся текстов записана Татариновой, но ведь и многое из указанного, как мы видели, вписано рукой самого Добролюбова. К тому же Добролюбов и в ранних печатных статьях рассматривал иногда литературные явления имманентно. Таков, например, анализ творчества русских сатириков в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы». Лишь к 1859 г. Добролюбов окончательно пришел к историзму (статьи о Гончарове, Островском и др.).

В некоторых же случаях нужно учесть и специфику нашего объекта исследования. Так, например, вполне вероятно, что различие в методике анализа в «конспектах» ⟨«Аммалат-Бек» и «Герой нашего времени»⟩ и «Достоинство русских писателей 18-го

века»— объясняется не столько эволюцией взглядов Добролюбова, сколько его желанием подчеркнуть для ученицы в первой теме противоположность двух литературных методов, а во второй — историческую обусловленность искусства. Впрочем, нельзя игнорировать и фактор эволюции. Как показывают статьи и рукописи Добролюбова студенческого периода, формирование сознания будущего революционера-демократа происходило так быстро, что часто изменение во взглядах на какой-либо предмет происходило в интервале нескольких недель. Например, в мае—июне 1854 г. Добролюбов положительно отозвался о сборнике пословиц Ф. И. Буслаева[25], а к сентябрю он закончил статью «Заметки и дополнения к сборнику русских пословиц г. Буслаева», где подверг труд Буслаева уничтожающей критике (I, 496—521).

Наиболее историчен «конспект» Татариновой «Сатирическое направление в России». Как это ни парадоксально, но объективно он историчнее не только предыдущих текстов, но даже и печатных статей Добролюбова о сатире. Добролюбов неоднократно на страницах своих критических статей высказывался о сатире, и особенно — по вопросам истории русской сатиры. Этой проблеме посвящена самая первая его статья, опубликованная в «Современнике»—«Собеседник любителей российского слова» (1856), но особенно подробно вопросы сатиры рассмотрены Добролюбовым в статьях «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858) и «Русская сатира в век Екатерины» (1859). В этих статьях, разоблачая либеральное славословие по адресу русской сатиры, он утверждал, что последняя не оказывала активного воздействия на жизнь в связи с цензурным гнетом, с ограниченностью мировоззрения сатириков, в большинстве своем принадлежавших к дворянскому лагерю, а также ввиду слабого распространения в широких слоях народа печатной продукции. Но Добролюбов не столько объяснял причины ограниченных возможностей сатиры, сколько, полемизируя с либералами, акцентировал эту ограниченность, развенчивал русских сатириков XVIII века до положения людей, бьющих лежачего или переливающих из пустого в порожнее (I, 243).

Резкость подобных отзывов дает повод литературоведам заявлять, что Добролюбов «менее справедлив», «гораздо менее Белинского удовлетворен» литературой прошлого[26]. Действительно, удельный вес, так сказать, «справедливых» высказываний Добролюбова в общей массе его суждений о литературе прошлого, и в частности о сатире XVIII века, был невелик. Но именно таких высказываний, где заострялось внимание на ограниченности сатиры, требовали условия литературно-политической борьбы пятидесятых годов, условия полемики с дворянско-буржуазной критикой и либеральным обличительством. Это отнюдь не означает, что Добролюбов не видел другого — положительного — значения сатиры прошлого. И в этом отношении «конспект» Татариновой «Сатирическое направление в России» показывает, что Добролюбов еще в 1857 г. учитывал важную положительную роль сатиры в прошлом. Если в печатных статьях он выдвигал на первый план ограниченность русской сатиры по сравнению с тем *идеалом*, который выработала революционная демократия (необходимость критики не отдельных недостатков, а всего самодержавного строя; необходимость широкого, всенародного распространения сатиры), то в работе Татариновой показано *реальное* превосходство сатиры XVIII века над «одическим» (то есть восхваляющим самодержавие) направлением в русской литературе.

Здесь подчеркивается, что сатирические произведения были самыми естественными и самыми самобытными в русской литературе. Это превосходство и даже преобладание сатирического направления объясняется тремя причинами: 1) необходимостью конкретизации жизненных фактов, в связи со спецификой жанра; 2) особенностью славянского характера, «склонного отыскивать недостатки скорее, чем достоинства» (Белинский также одной из черт русского национального характера считал «добродушно-саркастическую насмешливость»[27]); 3) тем, что действительность давала «тысячу живых предметов для сатиры».

Показательно это смешение субъективных и объективных причин: оставался еще один шаг, чтобы первые две причины объяснить как следствие третьей (ведь и конкретизация фактов в сатире и особенность «славянского характера» не вечные категории, а обусловленные конкретной исторической действительностью).

Субъективная причина выделена и в другой работе Татариновой «Русские сатирические писатели XVIII ⟨века⟩»: «...не имея возможности украшать сатиры и комедии напыщенностью тогдашних трагедий и эпопей и стараясь интересовать читателей, они естественно обратились к описанию наших нравов и обычаев».

Наиболее интересная мысль этой работы — попытка показать бóльшую реалистичность русской сатиры XVIII века по сравнению с сатирой французского классицизма XVII века, но и здесь еще нет объяснения этого факта социально-историческими особенностями русской жизни.

Ряд положений Добролюбова, отразившихся в «конспектах» Татариновой, содержит в себе зародыши больших, важных черт его зрелой критической деятельности (некоторые «конспекты», например «Стихотворения Кольцова», являются как бы черновыми набросками к будущим статьям Добролюбова). Таково новое отношение к народу, о котором мы говорили при характеристике фольклорных тем. В фольклорных же «конспектах» проявилась еще одна черта: частые переходы от литературных вопросов к социально-политическим, точнее перевод литературных проблем в социально-политическую область. Эта черта видна и в том же отношении к народу, и в характеристике материальной бедности крестьянства, и в обрисовке князя Владимира. Аналогичные явления мы встречаем и в «конспектах» о литературе XVIII — XIX веков (см., например, «Речи в „Кадме и Гармонии"»: «Когда, например, он ⟨Кадм⟩ обращает фессалийцев на путь истинный и выбивается из сил, чтобы уверить их в необходимости монархического правления, в какое изумление приходит читатель, когда фессалийцы, эти, по-видимому, неисправимые республиканцы, восклицают: „Буди, ты буди царем нашим!"».

Политическая ирония, яркая публицистичность являются характерными свойствами революционно-демократической литературной критики.

Интересен анализ образа Дмитрия в «конспекте» «Трагедия Озерова „Дмитрий Донской"». Герой характеризуется слабовольным, лишенным патриотизма. Любовь для него оказывается предпочтительнее служения родине. Добролюбов своими вставками особенно усиливает эту характеристику: Дмитрий «считает обязанность защищать отечество не долгом *своим*, а *обременением*. Он даже, по-видимому, *предпочитает своему долгу* страсть *к княжне и делает это не только по увлечению, но и по* убеждению *внутреннему*».

Здесь совершенно не учитываются особенности художественного метода Озерова, речь идет лишь о самом факте разрыва между чувством и долгом в поведении героя. Борьба за гармонию, за единство чувства и долга будет характерной чертой критики и публицистики зрелого Добролюбова.

При анализе тургеневского романа «Накануне» в статье «Когда же придет настоящий день?» Добролюбов развенчал Берсенева за его теорию жертвенности, за противопоставление счастья и долга и декларировал революционно-демократическое понимание гармоничного человека, у которого гражданский долг и личное счастье неразделимы (см. также добролюбовскую статью «Н. В. Станкевич»).

«Конспекты» Татариновой, как указывалось выше, важны еще тем, что некоторые вопросы, поднятые в них, отсутствуют в наследии зрелого Добролюбова. Такова, например, проблема автора-повествователя.

Еще в начале 1820-х годов, на заре русского реализма, Пушкин отметил, что в его реалистическом произведении — «Евгении Онегине» герой перестал быть авторским двойником, «рупором» авторских идей, то есть как бы «отделился» от автора.

Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной

(«Евгений Онегин», гл. I).

Белинский видел в этой особенности одну из существенных черт реалистического искусства: «Чтобы изобразить верно данный характер, надо совершенно отделиться от него»[28], Чернышевский усмотрел разделение даже в лирике: «я» лирического стихотворения не всегда есть «я» автора[29]. Добролюбов, по-видимому, этот вопрос считал уже решенным, так как без всяких оговорок отметил в качестве недостатка романа «Униженных

ные и оскорбленные» слияние автора с героями: «Во всем виден сам сочинитель, а не лицо, которое говорило бы от себя» (II, 375). Более подробно эта проблема не решалась в статьях революционных демократов. Лишь в лекциях для Татариновой, как оказывается, Добролюбов попытался рассмотреть связь образа автора с сущностью произведения не только у писателей-реалистов, но и у представителей предшествующих литературных направлений. В этом аспекте классицизму посвящен особый «конспект» Татариновой: «Отсутствие личного характера в произведениях русских писателей XVIII века». Характерно, что заголовок написан рукой Добролюбова (у Татариновой было просто «Русские писатели XVIII века»). Основная мысль этого сочинения также почти полностью изложена самим Добролюбовым: «Тогда не было комиков, трагиков, сатириков и пр., тогда были только вообще писатели, которые занимались всеми родами словесности, не оставляя на своих произведениях никакого отпечатка своего личного характера и своих задушевных убеждений». В этой фразе, собственно говоря, охарактеризована не только особенность авторского повествования писателя-классициста, но и сама сущность художественного метода (полное отречение от писательской индивидуальности ради соблюдения литературных канонов).

В произведениях романтиков,— отмечается в «конспекте» ⟨«Аммалат-Бек» и «Герой нашего времени»⟩,— наоборот, авторская личность ярко выражена. Однако и эта крайность имеет отрицательные стороны, так как образ автора поглощает всех героев, лишая их своеобразия: у Марлинского «кавказцы не походят на русских только по страсти к кровопролитию да по беспрестанному употреблению татарских слов в разговоре. Когда же они говорят по-русски, то их речи вовсе не отличаются от речей капитана и полковника В...». Интересно отметить, что Белинский также подчеркивал отсутствие индивидуализации в произведениях Марлинского, но еще не поставил вопроса об образе повествователя: «Если вы зажмурите глаза, слушая „речи" действующих лиц во всех повестях Марлинского, то, право, никак не разгадаете, кто говорит — морской офицер, дикий черкес, ливонский рыцарь ⟨...⟩, Аммалат-Бек или будочник-оратор»[30].

Лишь у писателей-реалистов, указывается далее в «конспекте», сохраняется индивидуализированность как повествователя, так и героев: «...рассказ Лермонтова выходит гораздо живее, чем у Марлинского, потому что в „Герое нашего времени" говорят сами действующие лица, между тем как в „Аммалат-Беке" повествует автор».

На этом развитие мысли обрывается: не объяснена, например, связь вопроса об образе повествователя с сущностью соответствующего литературного метода, в свою очередь связанного с социально-исторической обстановкой. Но сам факт постановки вопроса об образе повествователя в произведениях различных литературных направлений исключительно интересен.

Значительный интерес представляют оценки, данные в «конспектах» Татариновой тем писателям, о которых в печатных статьях Добролюбов совсем или почти совсем не отзывался.

Наиболее развернутая характеристика Ломоносова дана Добролюбовым в рецензии на книгу В. Новаковского «М. В. Ломоносов» (III, 457—458), где он противопоставляет Ломоносова-писателя Ломоносову-ученому (лишь последний оценивается очень высоко). Добролюбов здесь следует за оценкой Белинского (см. «Взгляд на русскую литературу 1846 года»). Противоположной крайности придерживался Герцен: в статье «VII лет» он считает Ломоносова предшественником Белинского и разночинцев в истории русской общественной мысли[31]. В «конспекте» Татариновой «Русские писатели 18-го века» сделана интересная попытка «объединить» писателя и ученого, дается положительная оценка художественным произведениям Ломоносова, посвященным науке: «В своих одах и многих прозаических сочинениях он всегда умеет обратиться к своему любимому предмету — науке, и тогда риторический, холодный слог оды и похвальной речи делается у него живым и одушевленным».

В статьях Добролюбова очень мало высказываний о комедиях Сумарокова и совсем нет отзывов о комедиях Княжнина. В выше названном «конспекте» повторяется суждение Белинского о превосходстве сатиры Сумарокова над его трагедиями (см.

«Взгляд на русскую литературу 1846 года») и справедливо проводится подобное противопоставление в творчестве Княжнина (у Белинского этого не было) с указанием на его новаторство по сравнению с предшественниками: «в комедиях *его* ⟨Княжнина⟩ *язык уже* довольно легок, в *них живее, чем прежде*, представляются недостатки *того* времени и довольно верно обрисовываются характеры».

В этом «конспекте» дана характеристика Аблесимова значительно точнее многочисленных положительных отзывов Белинского об этом авторе: «Аблесимов первый представляет в своих комических операх мужика, говорящего как настоящий крестьянин». Заметим, что это единственное известное нам высказывание Добролюбова об Аблесимове.

Кратко, но исторично проведен анализ творчества Карамзина («Заслуги и влияние Карамзина»), в основном повторяющий мысли Белинского (см. «Сочинения Александра Пушкина», статья 1-я). Впоследствии Добролюбов лишь уточнит некоторые положения, например, оценку исторических работ Карамзина (отметит ограниченность, монархическую концепцию историка — I, 232).

В статьях зрелого Добролюбова совершенно не упоминается Веневитинов. Характеристика этого поэта в «конспекте» Татариновой ⟨«Веневитинов и Пушкин»⟩ несколько схематична (нет упоминания о значении Веневитинова), но все же более исторична, чем оценка его творчества, данная Чернышевским, считавшим: «Проживи Веневитинов хотя десятью годами более — он на целые десятки лет двинул бы вперед нашу литературу ⟨...⟩ О его поэтическом таланте мы не будем говорить — огромность его признана всеми»[32] (вопрос о причинах такого расхождения в оценках выходит за рамки данной работы). Наиболее точно оценил значение Веневитинова Белинский, отметив, что поэт подавал большие надежды, но жизнь его была коротка, его наследие было слишком невелико по объему, чтобы можно было делать предсказания о его дальнейшем развитии («Русская литература в 1844 году»).

Интересны два «конспекта» о Лермонтове, тем более что высказывания о нем в статьях Добролюбова малочисленны. В «конспектах» подчеркиваются обусловленные эпохой недовольство Лермонтова «обществом, в котором он должен жить, и стремление к чему-то лучшему ⟨...⟩, жажда деятельности при невозможности удовлетворить ей», а также глубокий реализм, «естественность характеров» «Героя нашего времени». В основном это — изложение идей Белинского из его двух известных статей о Лермонтове. Впоследствии Добролюбов внес много существенных добавлений к этим оценкам. Высказывание Добролюбова о поэте в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» по своему значению не уступает целой статье: «Лермонтов ⟨...⟩, умевший рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе. Доказательством служит его удивительное стихотворение „Родина“ ⟨...⟩ Полнейшего выражения чистой любви к народу, гуманнейшего взгляда на его жизнь нельзя и требовать от русского поэта. К несчастью, обстоятельства жизни Лермонтова поставили его далеко от народа, а слишком ранняя смерть помешала ему даже поражать пороки современного общества с той широтой взгляда, какой до него не обнаруживал ни один из русских поэтов...» (I, 238).

В этих немногих строках охарактеризованы те черты творчества Лермонтова, которые лишь в последние годы стали исследоваться советскими литературоведами.

* * *

Таким образом, «конспекты» Татариновой о русской литературе являются ценным литературоведческим документом. Хотя они не могут в полной мере считаться добролюбовскими текстами, однако при учете указанных выше особенностей (изложение мыслей Добролюбова, наличие обильных вставок рукою самого Добролюбова) «конспекты» все же с полным правом могут служить источником для характеристики литературных воззрений Добролюбова-студента, когда формировались революционно-демократические взгляды будущего критика. В некоторых же случаях данные «конспекты» оказываются даже существенным дополнением к печатным статьям Добролюбова, так как в «конспектах» иногда рассмотрены проблемы, не затронутые в зрелых работах критика или же проанализированные под другим углом зрения.

«КОНСПЕКТЫ» Н. А. ТАТАРИНОВОЙ*

ПРЕДАНИЯ

В наше время очень любят народные песни и обращают большое внимание не только на те предания, которые *повсюду распространены* между народом, но и на те, которые скрываются *где-нибудь в глуши*; *или* (так как *песни одолжены своим происхождением преданиям*) лучше сказать, что *при большем и живейшем развитии исторических знаний, обращающихся к самой сущности исторической жизни, равно как при распространении более здравых понятий о поэзии, стали обращать внимание на* то, что доселе считалось достойным презрения. *В противоположность прежнему ныне* доказано, что именно теперь пришла пора собирать источники *истории, находящиеся в устах народа.*

Как ни спорят и *что ни толкуют некоторые, но* у всех народов и во всех странах *всегда останется* различие между природной и искусственной поэзией (между поэзией эпической и драматической, между поэзией образованных и необразованных). Эпическая поэзия, передавая действия и события, подобно звуку, невольно пройдет в народе и сохранится верной, чистой, невинной, как дорогое сокровище, из которого каждый получает свою часть. Напротив, искусственная поэзия говорит только о том, что может *быть дано человеку его внутренним миром*, что он сообщает свету из своих мнений и *опытов* своей жизни, что не везде может быть понято и что он не старается делать понятным *для всякого места и времени*. Будучи столь различны между собою, эти два *отдела* поэзии, естественно, принадлежат различным эпохам и не могут существовать в одно время. Ничего нет *нелепее* желания сочинить или переделать эпическое стихотворение. Случается, что поэзия и история в первые времена жизни народов влекутся одним потоком, и если греки правы, называя Гомера отцом истории, то мы не смеем долее сомневаться в том, что первый памятник германской истории слишком долго скрывался в «Нибелунгах».

Но когда явилось образование и начало распространять свое владычество, поэзия должна была отделиться от истории и искать убежища в народе, которого не *посетило еще* образование, среди которого она *не произошла самобытно*, но только *распространялась*, увеличиваясь в своих размерах, и все более стесняемая влиянием образованности, *распространения которого она не в силах была остановить...***

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Во всех русских песнях находишь одно неизбежное чувство — грусть. Грустит добрый молодец на «чужой стороне», грустит красная девушка «в золотом терему», грустит молодушка «в чужой семье». Чтобы избежать этой грусти, русский простолюдин или предается вину, или, забыв все свои обязанности, делается разбойником. Тогда раздаются так называемые разгульные песни, но и тут видно, что он поет их не с веселья, а только *для того*, чтобы как-нибудь *заглушить* свою тоску. Иногда эта тоска превращается в страшное ожесточение; тогда он забывает жену и детей,

---

* Все поправки и дополнения, сделанные рукою Добролюбова, даются курсивом. Мелкие стилистические и грамматические поправки Добролюбова не выделяются. Исправления явных описок не оговариваются. Подчеркивания текста, обозначенные разрядкой, принадлежат Татариновой.

** На этом текст обрывается.— *Ред.*

не слушает увещаний родных и смеется над всем, что до сих пор считал святым, как, например, в песне: «Голова ль ты моя, головушка...» Причину этого характера русской песни надо искать в притеснениях, которые всегда терпел народ, и вообще в его печальной участи.

Будучи склонен к семейной жизни, русский человек особенно несчастлив, расставаясь с ней, и потому-то он представляет чужую сторону каким-то адом. Дома его одолевает бедность, хотя прямо и не выражаются *в песнях заботы о материальных средствах жизни*, но часто заметно в *них тяжелое чувство, происходящее именно от сознания бедности*; если же он ищет утешения в вине, то жена и дети его окончательно впадают в нищету; а когда он прибегает к воровству и разбою,— он погибает на виселице.

Жизнь женщины не лучше жизни мужчин. В девушках она сидит взаперти, а выходя замуж, большею частью поневоле, она боится злобы мужниной родни, и почти всегда опасения ее оправдываются. Потому-то даже свадебные песни походят на похоронные *по своему грустному тону*. Презрение к женщинам очень ясно выражается в семейных песнях. Единственная ласка мужа это «шелковая плетка», и, забитая мужем, запуганная свекровью, бедная молодушка плачет о своей «русой косе», о девичьей жизни и о любви своей матери, которая все еще заботится о ней, старается угодить зятю, дарит его, льстит ему, и все это для того, чтобы он любил ее дочку. Молодица *может* получить некоторую свободу только в старости, когда она уже не нуждается в *этой свободе*, и тогда в свою очередь она притесняет свою молодую невестку. При таких обстоятельствах может *вырваться из сердца* только самый жалобный напев, самая печальная песня, и потому нельзя удивляться тоскливому характеру народной русской поэзии.

РЕЛИГИЯ В НАРОДЕ *РУССКОМ ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ПАМЯТНИКАМ*

По народной русской поэзии видно, что наши предки следовали только внешним правилам христианства, но что религия *почти* ни в чем не переменила их грубых нравов. По их понятиям, тот был благочестив, кто ходил в церковь, постился, делал земные поклоны, а не тот, кто помогал ближнему и всеми силами старался избежать *злых дел*. Грешно было пропускать обедню, а не грешно дурно обращаться с подчиненными. Исполняя самые мелочные обряды, они поступали с женами, как с рабами, били их, и, если в гневе не изувечивали...*

Убийство раба даже не считалось преступлением, и если кто умерщвлял чужого слугу, то *наказание ему было* точно такое *же, как и за простой ущерб, нанесенный чужому имуществу, он платил* за это хозяину *деньги, чтобы вознаградить его за убыток: жизнь человека при этом не ценилась ни во что.*

Идеалы русской поэзии — богатыри отличаются жестокостью и, наказывая какого-нибудь врага или даже провинившуюся жену, терзают свою жертву прежде, чем умертвят ее.

В несчастии человек не прибегает к молитве, а впадает в отчаянье, забывает все свои обязанности и предается самой порочной жизни; а когда в старости он решается загладить свои грехи, он достигает этого не раскаяньем, не исправлением, но путешествием ко святым местам. Все это доказывает, что, будучи слишком необразованы, чтобы понять христианство, наши предки переняли только обряды новой религии, оставаясь, однако, верными своим предрассудкам.

---

* Далее вырвано строк шесть текста.— *Ред.*

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

Читая древние народные песни, видим, что *в них везде упоминается о Владимире и что он называется ласковым, красным солнышком и т. п., но нельзя не заметить, несмотря на эти фразы, что народ не питал особенного уважения к этому князю, в котором представляется вообще олицетворение княжеской власти. В большей части случаев,* где он появляется, слышится *в песнях* тайная насмешка *над ним*; а появляется он только на пирах и всегда играет роль тирана, жестокого, корыстолюбивого и даже не могучего, потому что он дрожит при одном имени хана и его послов (Орда и Владимир *почти* всегда встречаются вместе в этих песнях).

Вообще, *песни представляют, что* Владимир не занимается своим государством, *в одной из былин мы видим, что* когда подданные *пришли* к нему с жалобами на разбои Чурилы Пленковича и его дружины, *то* он их не *стал и слушать* и обратил внимание на их речи только *тогда*, когда *узнал, что* Чурила разграбил его охоту. *Тогда* он расспрашивает своих бояр, и, услыхав про богатство Чурилы, отправляется к нему в гости, принимает от него подарки, привозит его в Киев, к себе на службу и заставляет своих же бояр платить ему по «десяти рублев». Надо также заметить, что многие бояре *являются в песнях* гораздо богаче самого князя, что от князя можно всего добиться «золотой казной» и что он даже и не богатырь, *как все остальные герои песен.*

Когда на Киев нападают враги, он всегда пугается, сам не идет на войну, а посылает своих богатырей и потом часто отплачивает им неблагодарностью, как, например, *видим это* в песне о Добрыне Никитиче, где в *то* время, *как Добрыня сражался со врагами в⟨еликого⟩ князя, Владимир* выдает жену *его* за другого.

Почти каждая из этих песен начинается таким образом: «Во стольном граде, во Киеве, что у ласкова сударь князя Владимира, было пирование» и т. д., и среди этого пирования великий князь вдруг предложит подобный заклад: проскакать несколько верст в *определенный срок*, настрелять огромное число *гусей*, лебедей и *перелетных уток* и т. д., обещая казнить смертью, если не исполнят его требования.

Он ведет жизнь праздную, пьет, ест, расчесывает свои «черны кудри», а богатыри погибают за него. *Впрочем,* часто эти самые богатыри *совсем* не *уважают его*, своими насмешками выказывают ему свое презрение; но он их не слушает и наливает себе «чару зелена вина».

Вообще, по всему этому видно, что народ не считал *своего князя достойным уважения за какие-нибудь доблести*, а слепо повиновался ему, как предназначенному судьбою, и, обличая его в трусости, *ничтожности*, корыстолюбии и пр., не думал *однако же* освободиться от его ига.

СТИХ О ГОЛУБИНОЙ КНИГЕ

Стих о голубиной книге, который мы еще до сих пор слышим в народе, представляет странное смешение языческих понятий с христианскими. Во-первых, уже и самое название напоминает предание славян карпатских, в котором говорится, будто два голубя сотворили мир. Появление же царя Давида в этой песне уже *обнаруживает влияние* христианской веры *на понятие народа.* Но и этот святой принимает здесь какой-то языческий характер и на вопросы Владимира отвечает так, как бы отвечал поклонник Перуна, примешавший к своей вере некоторые понятия христианские. Например, сказав, что бог создал мир, он дает богу человеческое тело, из которого и составляется свет. Он утверждает, что звезды созданы из его грудей, солнце из его лица, заря из его очей и так далее. Потом за несколькими христианскими преданиями следует рассказ о плакун-

траве, чисто языческий, *только* примененный к христианству. Далее он уверяет, что земля держится на двух китах, что бури происходят от полета Стратим-птицы, *течение* рек зависит от зверя Индрика и т. д., и ко всему этому беспрестанно прибавляется Богородица, Святой дух, царь небесный. Это странное смешение можно объяснить невежеством первых русских христиан (потому что, вероятно, голубиная книга была сложена в первые времена христианства). Не понимая ученья греческих священников, они истолковывали по-своему все, что было недоступно их разуму; действия старых богов они приписывали богу христианскому, и вообще, переменив веру, они не переменили ни понятий, ни обычаев своих. То же самое доказывают и все другие народные песни того времени.

‹О ЗНАЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ›

Так называемая изящная литература служит не только к одному удовольствию, как это может показаться с первого взгляда: она еще имеет большое влияние на нравственность людей, занимающихся ею. Изображая яркими красками хорошее и дурное, она невольно привлекает нас к добру и отталкивает от зла. Всякий человек, даже и дурной, разумеется, очень хорошо знает, что лучше быть честным и добрым, чем злым и обманщиком, но он иногда делает бесчестные и злые поступки, или не понимая их дурную сторону, или извиняя их под разными предлогами. Если же ему представят подобный же поступок, ясно выказывая все, что в нем есть вредного и низкого, он невольно постыдится совершенного дела и постарается не возобновлять его; таким образом, автор может исправить много недостатков своих читателей. Литература имеет еще другую большую заслугу: она приучает верно и правильно рассуждать. Человек, много читающий, встречает в книгах разные мысли и понятия, он сравнивает их с своими мыслями и понятиями, соглашается с ними или отвергает их; рассуждая таким образом, он приобретает новые идеи, некоторую опытность и верный взгляд на вещи.

МОДНЫЕ ПИСАТЕЛИ

Писатель, не имеющий довольно таланта, чтобы открыть литературе новую дорогу, *старается подметить* направление умов своего времени и, согласуясь с этим направлением, толкует в своих произведениях о вопросах, особенно занимающих общество. Его сочинения читаются с жадностью, потому что каждый находит в них выражение своих собственных идей. Он имеет огромный успех, восхваляется во всех журналах, читается во всех гостиных, но пользы приносит немного, потому что он говорит о том, с чем уже давно все согласны и таким образом только излагает на бумаге то, что уже известно. Так, например, если он появляется в такое время, когда высокопарные оды уже наскучили и *когда* с нетерпением ожидают писателя легкого, забавного и чувствительного, он издает басни, эпиграммы, сказки в полушуточном, полусентиментальном *тоне*, если же, напротив, он застает общество занятым каким-нибудь гражданским вопросом, то он делается гражданином и толкует об управлении и его злоупотреблениях. Такие писатели обыкновенно появляются после какого-нибудь *сильного* таланта, который, выразив дотоле неизвестную мысль, взволновал все умы, — они пользуются этим энтузиазмом, поспешно схватывают новую мысль и тем приобретают себе множество поклонников и подражателей. Их можно назвать модными писателями, потому что они нравятся только как новость и исчезают так же скоро, как всё, что *своим успехом обязано только моде*. Через несколько времени,

благодаря множеству их последователей, их идеи становятся избитыми; тогда исчезает их единственное достоинство — *новость*, и они забываются.

Такого писателя видим мы в Германии в лице Коцебу, во Франции в лице Кребильёна, Мармонтеля, г-жи Жанлис, г-жи Скудери, и, наконец, в России находим мы в разные эпохи нашей литературы следующих модных писателей: Петров и Херасков, подражатели Ломоносова в своих высокопарных одах и эпопеях; Дмитриев, последователь Карамзина; не имея *карамзинского* таланта, *он не вполне* сохранил в своих произведениях *даже и* те мысли, которые всегда выражаются у Карамзина, а перенял только его сентиментальный тон;

Батюшков, также подражавший Карамзину, отличается мечтательностью и легкостью слога;

Булгарин, восхваляемый за новизну своих нравоописательных повестей;

Марлинский, знаменитый в свое время очерками Кавказа и фантастическими рассказами, теперь совершенно забытый;

Загоскин, успех которого был следствием *тогдашнего* настроения умов, *приготовленного чтением романов Вальтер Скотта.*

Наконец, Лажечников, писавший исторические романы вроде Вальтер Скотта, которого тогда очень много читали у нас.

⟨О КОМИЧЕСКОМ⟩

Шутка, доведенная до высшей степени, составляет комедию, точно так же, как серьезное — трагедию. Шуточное настроение — это забвение всех печальных мыслей в приятном чувстве настоящего удовольствия. Тогда только мы бываем расположены на все смотреть, как на игрушку, и тогда *только* все чувства *едва приметно мелькают в* нашей душе. Несовершенства людей и их ссоры между собой уже не возбуждают сожаления, *напротив, эти* удивительные противоречия занимают ум и веселят воображение. Потом в комическом представлении писатель должен удалять нравственное *негодование* при виде дурных поступков и искреннее участие, которое может возбуждаться *в нем* положением людей; иначе мы непременно впадаем в серьезное.

Комик должен представлять дурные действия *людей* независящими от высшего нравственного управления и то, что с ними случается — только смешной необходимостью, которая не имеет пагубных последствий. То же самое можно заметить и в том *высшем роде произведений, который* мы называем к о м е д и е й; *но здесь* уже примешивается и серьезное. *Впрочем*, старинная комедия греков состояла *преимущественно* из шуток и потому представляла совершенную противоположность с трагедией. Не только характер и положения людей представлялись истинным комическим образом, но и весь состав и *отделка* комедии, природа и быт представлялись шуточно и фантастически.

ПОШЛОЕ И *НИЗКОЕ** В ИСКУССТВЕ

В искусстве пошло не дурное, но обыкновенное. Так, например, убийство по правилам нравственности гораздо большее преступление, нежели воровство, между тем в искусстве убийца может часто возбуждать сочувствие зрителей, между тем как вор всегда останется *низким предметом.* Мало того, отъявленный злодей гораздо более годится в главное лицо

* Все термины в этом конспекте, образованные от слова «низкое», вписаны Добролюбовым вместо написанных рукою Татариновой соответствующих понятий от слова «пошлое».— *Ред.*

трагедии или картины, нежели человек, невинно обвиненный в воровстве, потому что в первом случае вся низкая сторона злодеяния поглощается сильным впечатлением, которое оно на нас производит. Во втором все кажется, что обвиненный в низком поступке когда-либо подал повод *к такому подозрению* и он может восстановить себя в нашем мнении, или убив своего обвинителя, или лишив себя жизни, хотя это большое преступление по правилам религии. Вот почему живописец и писатель почти всегда выбирают предметом представления или великие добродетели или ужасные пороки, и по той же самой причине искусный художник, представляя разбойника, показывает его не во время воровства, а во время убийства. Надо отличать однако *низость* положения от *низости* поступков. Раб, например, *находится в низком* положении, но автор, придавая ему возвышенные мысли, сделает из него интересное лицо, между тем как свободный человек с низкими мыслями будет *низким* лицом во всяком сочинении. *Впрочем, в этом отношении* то, что *возможно для писателя, невозможно для живописца*: он должен живо представлять внешность предмета. Так что человек великий в *низком* положении на картине всегда *покажется низким*, а Улис в лохмотьях нищего останется нищим, а не великим государем.

ЗАМЕЧАНИЯ

1. *Предполагается говорить о п о ш л о м в искусстве, а говорится о н и з к о м.*

2. *Для определения понятия о пошлом недостаточно слова «о б ы к н о в е н н о е», следует дополнить и объяснить его. Так как, по понятию Шиллера, в искусстве можно говорить о пошлости только формы, а не содержания, то пошлым в искусстве он называет не самый предмет, а такое изложение (или представление) предмета, которое выставляет самые обыкновенные его стороны, говорящие только внешним чувствам зрителя, которое не указывает на внутренние, духовные черты предмета и, тем самым, показывает отсутствие стремления к идеалу и в самом художнике.*

3. *От понятия о пошлом следует перейти к понятию о низком и определить его, указав (в отличие от пошлого, которое показывает только недостаток, о т с у т с т в и е известных качеств) на те п о л о ж и т е л ь н ы е стороны, которые заключаются в понятии о низком, именно: грубые чувства, дурные нравы и неблагородные намерения.*

4. *Затем следует указать случаи, когда низкое может иметь место в искусстве, а именно — когда оно соединяется с ужасным (трагическим). При этом должно обратить особенное внимание на следующие мысли:*

а) *Худшее в нравственном отношении может быть более годным для искусства (убийство и воровство).*

б) *Главная причина этому та, что сильное впечатление, производимое на нас ужасным поступком, заглушает в нас впечатление низких сторон его, особенно если притом пагубные последствия угрожают герою и заставляют нас принимать участие в судьбе его — здесь сильнейшим душевным движением подавляется слабейшее.*

в) *При нравственном же суждении поступка, мы смотрим только на сообразность его с нравственными законами, не обращая внимания на все последствия поступка и на степень участия, принимаемого нами в преступнике,— от этого-то и зависит достоинство (т. е. беспристрастие) всякого нравственного приговора.*

5. *Наконец, следует привести один или два примера в подтверждение высказанных мыслей и тогда уже можно перейти к различию низкого в положении и поступках.*

6. *В заключении следует яснее высказать ту мысль, что живописец представляет осязательным образом исключительно внешние стороны*

предмета, а потому, если предмет его картины находится сам по себе в низком положении, то живописцу чрезвычайно трудно придать ему такое внутреннее значение (возвышенные мысли, чувства и т. п.), которое бы в глазах зрителя возвысило его над низким его положением и тем придало ему особый интерес и значение (высокого предмета)[33].

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В 18-м ВЕКЕ

Все наши литераторы 18-го века писали слогом напыщенным, примешивая к русской речи славянские слова, *к русским явлениям — древнюю мифологию* и даже простые *предметы описывая так,* что их стихов невозможно понять. Однако, кроме Ломоносова, который сильно защищает риторику, многие из *тогдашних* стихотворцев *сами* чувствуют этот недостаток *и высказывают свое негодование* на него, но *по привычке* все-таки продолжают отыскивать самые вычурные выражения и самые нелепые фразы, *между тем как из некоторых мест их же сочинений видно, что язык русского общества и в то время был уже не таков, каким представляется он у этих писателей.* Тредьяковский уверяет, что слог возвышенный есть лучший, но иногда, *если не придумывает насильственных* ⟨?⟩, *то и он может выражаться довольно п р о с т о,* как, например, в своем донесении в академию; Сумароков, *гордившийся своими трагедиями,* сильно нападает на плохих стихотворцев, которые коверкают русский язык; Петров прямо бранит так называемый возвышенный слог, *хотя сам и* пишет оды самые непонятные *и выспренние*; Херасков, *творец* «Россиады» *и «Владимира», написал также и* «Ненавистника»; Княжнин издает «Титово милосердие» *и в то же время пишет комедии,* и, наконец, после «Мельника» Аблесимова, «Душеньки» Богдановича, басен Хемницера, написанных уже довольно простым слогом, *еще* Державин говорит:

Как страшна нощь, надулась чревом,
Дохнула с свистом, воем, ревом,
Помчала воздух, прах и лист...[34] и пр.

До такой степени сильно было понятие о необходимости возвышенного слога в некоторых родах поэтических произведений. Но не нужно думать, чтобы в этом слоге отражался язык, каким говорило общество, напротив — и тогда с восторгом принимали всякое сочинение *сколько-нибудь* естественное, и, следовательно, нечего было бояться, *что общество дурно примет произведения, написанные без претензий на возвышенность*; простой, ясный слог и тогда был бы принят *большинством с удовольствием.* Отчего же писатели, понимающие недостаток *современного литературного направления* и заранее уверенные в общем сочувствии, если *бы* они *захотели противодействовать ему,*— продолжали подражать тому, что сами осуждали?

Оттого, что они не могли освободиться от давно *приобретенной* привычки, *хотя они и понимали ее нелепость, когда замечали проявление той же привычки в других.* Им было неловко сказать «м е н я» в стихах, когда они еще в школе приучились писать «мя». *Притом же напыщенность выражения происходила часто и от недостатка поэтического чувства и внутреннего содержания.*

Мог ли, например, Петров написать просто и естественно свою «Оду на карусель»: он скрывал пустоту своего сюжета и недостаток поэтического дарования под напыщенностью своего языка и сравнений, напиши он просто — современные писатели напали бы на него, как напал Сумароков на *Аблесимова,* а читатели, увидав его, наконец, без прежних украшений, бросили бы его сочинения. Трудно вдруг переменить направление целой литературы, *и сам Карамзин, которого считают преобразователем*

языка у нас, имел многих предшественников, постепенно подготовлявших это дело. Правда, в наше время Пушкин и особенно Гоголь более решительно могли восстать против господствующего в литературе направления, но их таланты нельзя сравнивать с дарованиями Петрова, Сумарокова и т. п.; *да и самое общество более уже было приготовлено к подобному перевороту в литературе, а в прошедшем* не мог же Сумароков заставить говорить Мстислава[35] по-человечески. Не мог же Дмитрий[36] «идти в церковь», как Чужехват в «Опекуне»[37] —он непременно должен был «*шествовать* во храм».

Чтобы представить героя, у которого «глаза» и «руки», а не «очи» и «десницы», надо ему дать истинно героический характер, а то, пожалуй, и в самом деле его примут за обыкновенного человека...

Если уже в наши времена мы находим подобные стихи:

Это он!..
На море стал могучею пятой.
Из-под пяты ряды ширококрылых,
Огромных кораблей несутся в море[38],

можно ли удивляться тому, что Петров подражал недостаткам Ломоносова, очень хорошо понимая их, и не подал примера естественного слога, вполне оценивая его.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 18-го ВЕКА

Первыми представителями русской литературы 18-го века являются Кантемир и Тредьяковский. Кантемир, человек образованный, аристократ по происхождению, по службе полномочный министр, вполне сочувствовал реформам Петра, видел все недостатки своего времени и беспощадно клеймил их в своих сатирах, которые именно по этой причине представляют верную картину эпохи, в которую жил их автор. Тредьяковский — незнатного рода, профессор элоквенции петербургской академии наук, сорок лет неутомимо трудился на поприще литературном и оставил нам оды, идиллии, басни, трагедию «Деидамия», эпопею «Тилемахида» и разные ученые сочинения, *обнаруживающие в нем очень разнообразные сведения.* Чтобы дать понятие о его произведениях, всего лучше повторить то, что сказал про него Петр Великий, когда *этот труженик* был еще в школе: «Будешь труженик *вечно*, мастер никогда!»

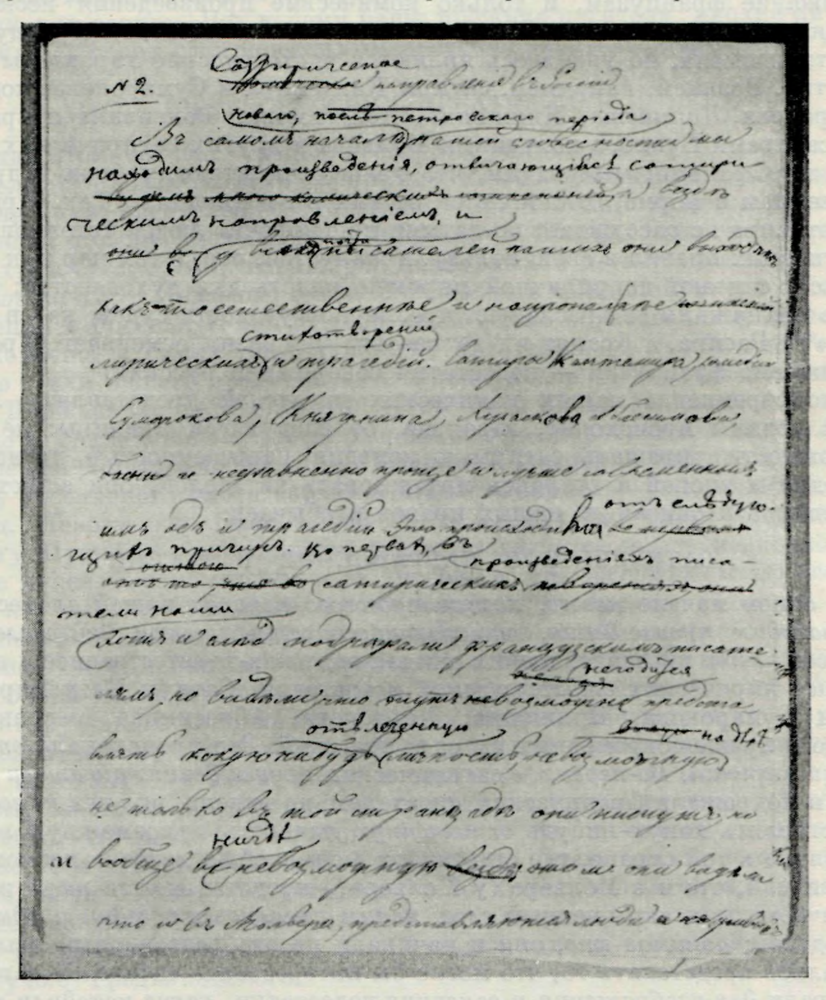
За ним следует Ломоносов, сын холмогорского рыбака, *впоследствии* профессор академии *наук*, человек необыкновенно ученый для своего времени. Он страстно любил науку и предавался ей всей душой. В одно время физик, историк, химик, филолог, он, *кроме всего этого, занимался также и изящной словесностью.* В своих одах и *многих* прозаических сочинениях он всегда умеет обратиться к своему любимому предмету — науке, и тогда риторический, холодный слог оды и *похвальной* речи делается у него живым и одушевленным.

Сумароков, соперник Ломоносова, первый директор русского театра, писал во всех родах словесности. Не имея поэтического дарования, употребляя самый тяжелый слог, *он* возбуждал однако восторг своих современников, как первый драматический писатель. Он имеет в своих комедиях и сатирах качество, которого мы не находим в других писателях того времени: *у него по местам является* естественность и *даже до* некоторой *степени* национальность, несмотря на рабское подражание французской школе, *во всем, что относится к самой постройке пьесы.*

Петров, исключительно лирический писатель, не имеет даже *никаких проблесков* жизни в своих одах. *В посланиях его встречаются*

иногда верные и остроумные замечания, но они совершенно теряются в его водянистом многословии.

Х е р а с к о в, куратор московского университета, писавший во всех родах словесности, и особенно знаменитый своими эпическими поэмами «Россияда» и «Владимир», отличается риторизмом и напыщенностью слога *и совершенной бесцветностью и бесхарактерностью содержания.*



№ 2.

Сатирическое направленіе въ Россіи

новаго, после-петровского періода

Въ самомъ началѣ нашей словесности мы находимъ произведенія, отличающіеся сатирическимъ направленіемъ, и

СТРАНИЦА ИЗ УЧЕБНОЙ ТЕТРАДИ Н. А. ТАТАРИНОВОЙ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ЛЕКЦИЙ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА «САТИРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ», 1857 г.

Правка рукой Добролюбова

Центральный архив литературы и искусства, Москва

К н я ж н и н, драматург, в своих трагедиях почти так же напыщен, как и его предшественники, но в комедиях *его язык уже* довольно легок, *в них живее, чем прежде*, представляются недостатки *того* времени и довольно верно обрисовываются характеры.

А б л е с и м о в первый представляет в своих комических операх мужика, говорящего как настоящий крестьянин.

Наконец, Б о г д а н о в и ч, сочинитель «Душеньки», отличается шуточным, веселым тоном и уже совершенно легким разговорным

языком. Кроме «Душеньки», он оставил также несколько переводов и мелких сочинений, но они гораздо менее известны.

РУССКИЕ САТИРИЧЕСКИЕ ПИСАТЕЛИ XVIII ⟨ВЕКА⟩

С Кантемира до Пушкина наша литература представляет постоянное подражание французам, и только комические произведения несколько выражают русские нравы. В сатирах и комедиях мы видим французские сюжеты и имена, но уже здесь являются чисто русские характеры и недостатки. Возьмем, например, сатиры Кантемира и Сумарокова, комедии Сумарокова, *Капниста*, Княжнина, Аблесимова, Фонвизина и сравним их с сатирами Буало, с комедиями Мольера и других сатирических писателей во Франции: мы увидим, что наши сочинители, рабски подражая чужеземцам в форме, отклоняются от них в содержании. Так, Критон[39] у Кантемира не рассуждает по-латыни и не морочит людей истолкованием религиозных правил в свою пользу, а жалуется, что, с тех пор как стали учиться, считают неприличной мирскую власть для духовенства; Сумароков и Княжнин не преследуют чрезмерной учености судей, как в «Plaideurs»*[40] Расина, а бранят их за взятки; Фонвизин осмеивает барство и подражание французам — недостатки совершенно русские.

Это стремление наших комических писателей представлять людей своей родины происходит, вероятно, от следующей причины: не имея возможности украшать сатиры и комедии напыщенностью тогдашних трагедий и эпопей и стараясь интересовать читателей, они естественно обратились к описанию наших нравов и обычаев.

САТИРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ

В самом начале *нового, послепетровского периода* нашей словесности мы *находим произведения, отличающиеся сатирическим направлением*, и у всех *почти* писателей наших они выходят как-то естественнее и национальнее лирических *стихотворений* и трагедий. Сатиры Кантемира, комедии Сумарокова, Княжнина, Хераскова, Аблесимова несравненно проще и лучше современных им од и трагедий. Это происходило *от следующих причин. Во-первых, в* сатирических *произведениях писатели наши*, хотя и подражали французским писателям, но видели, что тут *не годится* представлять какую-нибудь *отвлеченную* личность, не возможную *на деле* не только в той стране, где они пишут, но и вообще *нигде* не возможную; они видели, что и в Мольере ⟨у Мольера?⟩ представляются люди живые, что в комедиях напыщенный *слог, каким писались трагедии и оды, уже* не годится; *понимая это*, они и начинали писать разговорным языком и старались представить то, что могло бы интересовать читателей, и потому выбирали *для изображения и осмеяния* недостатки, *какие находили в своих* соотечественниках. *Другою причиною рассматриваемого явления был, может быть, и самый* славянский характер, склонный *отыскивать недостатки скорее, чем достоинства, и выражать свое осуждение в насмешливой форме*, некоторым образом сроднял их с сатирой. Наконец, будучи окружены предметами, более *заслуживавшими осуждение, нежели возбуждавшими* восторг,— они были принуждены прибегать к общим местам и к высокопарным *возгласам*, когда им надо было *выражать восторг* в своих одах,— между тем как для какого-нибудь *сатирического* сочинения им стоило только посмотреть вокруг себя, и они находили тысячу *живых предметов для сатиры*. Легко было Княжнину найти героев для своей комедии «Чудаки», *для «Хвастуна», или Сумарокову — для «Опекуна», «Лихоимца» и т. п.*, но трудно было лирическому писателю восхвалять победу, часто вовсе и не существовавшую, или возвышать до степени

* «Сутяги» (франц.).

героя человека, который ему не мог казаться героем. *Чтобы выйти из такого затруднительного положения*, он начинал сравнивать *своего героя* со всеми героями *древности*, со стихиями, набирал бесчисленное множество восклицаний и составлял таким образом самую напыщенную оду. Между тем комику стоило только представить действия и слова, которые он видел и слышал вокруг себя, чтобы написать веселую и верную комедию или сатиру. Вот почему наши прежние писатели, плохие лирики и трагики, в своих сатирических произведениях превосходят самих себя.

ДОСТОИНСТВО РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 18-го ВЕКА

Читая Ломоносова, Тредьяковского, Сумарокова и др., мы находим их мысли избитыми, их *язык устарелым*, их слог несносным; однако современники этих писателей восхищались тем, что нам кажется смешным *и скучным*, и были уверены, что «Владимир» и «Иоанн» приведут Хераскова во храм бессмертия, что Петров неподражаем *по высоте своих лирических порывов*, что Княжнин *своим* «Рославом» и «Дидоной» перенес Парнас из Греции в Россию. И так думали люди самые образованные, не исключая, конечно, и самих прославляемых писателей. *А между тем* самые плохие стихи нашего времени легче и даже менее скучно читать, чем оду «Бог» Державина, переведенную тогда чуть ли не на китайский язык. Однако не скажем же мы, что Державин не имел дарования, *если вспомним*, что прежде Державина писал не Пушкин, а Петров, и что после оды «На победу российского флота над турецким» «Фелица» — уже великий шаг вперед. Невозможно было перешагнуть ⟨вдруг⟩ от слога Ломоносова к слогу Пушкина, *литература наша совершенствовалась* медленно, но, тем не менее, *она постоянно шла* вперед, и это *обстоятельство заставляет нас ценить относительные* заслуги *писателей*. Конечно, если бы теперь появилась какая-нибудь «Дидона», ее бы осмеяли, но после «Хорева»[41] и «Дидона» могла приводить в восторг, равно как и трагедии Сумарокова могли нравиться после трагедий[42] Тредьяковского. Изучая литературу какого бы то ни было народа, нельзя выбирать только лучших писателей, потому что *для правильной и полной оценки* какого-нибудь таланта надо знать, *в какое время и при* каких обстоятельствах он *жил*. Поэтому называть Державина плохим стихотворцем за тяжелый слог — все равно, что называть Платона невеждой за то, что он знал гораздо меньше, чем теперь знает любой школьник. Итак, читая какого-нибудь автора, надо перенестись мысленно в то время, когда он жил, и тогда уже не скажешь: Ломоносов плохой стихотворец — он писал даже хуже Фета; но скажешь: Ломоносов имел большой талант — он писал в двадцать раз лучше Тредьяковского.

ОТСУТСТВИЕ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА

Перечитывая произведения нашиx писателей *XVIII века, мы замечаем, что они сами* мало, *кажется*, интересовались тем, о чем говорили в своих сочинениях: им было все равно — писать оду, эпическую поэму, трагедию, комедию, сатиру, только бы исполнить свою обязанность, свое *официальное служение Аполлону*. Тогда не было комиков, трагиков, сатириков и пр., тогда были только *вообще* писатели, которые занимались всеми родами словесности, не *оставляя на своих произведениях никакого отпечатка своего личного характера и своих задушевных* убеждений.

Сумароков издавал почти в одно время свои трагедии и комедии; Херасков после «Россияды» и «Владимира» писал «Ненавистника» и «Кадма и Гармонию»; у Княжнина мы находим подле «Рослава» — «*Чудаков*», «*Сбитенщика*», и, наконец, Богданович переводит почти в одно время

псалмы и поэму Вольтера «На землетрясение в Лиссабоне». Это происходит оттого, что они писали обыкновенно — или *для угождения* государю *и другим знатным лицам*, или так, чтобы *только* написать что-нибудь. Богданович переводил поэму Вольтера не оттого, что она ему особенно нравилась, а, вероятно, оттого, что Вольтер знаменитый писатель,— так отчего же и не перевести его поэмы? Вслед за этим ему попадались псалмы: и это вещь замечательная,— он *перевел и* их. Екатерина просила Княжнина написать трагедию на «Титово милосердие»[43], и он не задумываясь принялся за работу — а после этого с одинаковой охотой сочинил «*Вадима*», *сожженного по повелению той же императрицы.* Вообще, тогда смотрели на авторство, как на ремесло или как на способ *искать* милость государя; тогда *автора* побуждало *писать не духовное стремление* сообщить читателю свою мысль, *свое чувство*, но желание получить награду. Можно ли же удивляться, что при таких обстоятельствах он не только никогда не выражал какого-нибудь убеждения, но даже часто противоречил себе?

ДЕРЖАВИН

Державин, прославленный поэт Екатерины, творец «Фелицы», многих од, трагедий и мелких сочинений, *обнаруживает* большой поэтический талант в своих произведениях, особенно там, где он обращается к государыне, потому что тогда *чувство*, выражаемое *им*, *бывает* искренне *и истинно.* Но *и в этих произведениях у него беспрестанно* подле прекрасной, поэтической строфы нас неприятно поражают чисто риторические напыщенные места и страшно преувеличенные картины, как например,— когда он изображает Суворова:

Ступит на горы — горы трещат,
Ляжет на воды — воды кипят,
Граду коснется — град упадает,
Башни рукою за облак кидает[44].

И странно видеть, что сам он не только не чувствовал этого недостатка, но еще огорчался тем, что не мог достигнуть до изысканности слога Ломоносова, которому он подражал в *первых* своих одах. Именно это стремление к изысканности вредит его таланту, который высказывается вполне только *там, где* он освобождается от риторизма, то есть в *тех его* произведениях, *в которых является оттенок сатирический*, а особенно в «Фелице».

Здесь, вдохновленный своей любовью к Екатерине, он не отыскивает диких сравнений и напыщенных восклицаний, а с глубоким чувством уважения и удивления описывает свою государыню так, как он видел, или, по крайней мере, воображал ее.

Другая черта Державина это — странное противоречие *взглядов и убеждений, какое находим ⟨в⟩ стихотворениях.* Его ода «Бог» — риторическое, сухое, напыщенное произведение, все же доказывает религиозное настроение души, между тем как в знаменитой его оде «На смерть ⟨князя⟩ Мещерского» он выражает не только сомнение *в будущей жизни*, но даже мрачное отчаяние. Как согласить, например, следующие строки:

Здесь персть твоя, а духа нет.
Где он?— он там.— Где там?— не знаем.
Мы только плачем и взываем:
О горе нам, рожденным в свет!

с этими словами:

Бессмертие — стихия наша,
Покой и верх желаний — бог.

Все анакреонтические его стихотворения служат варьяцией на одну тему:

Вкушать спешите благи света,
Теченье кратко наших дней[45].

Драматические его произведения не имеют ровно никакого достоинства.

РЕЧИ В «КАДМЕ И ГАРМОНИИ»

Роман Хераскова «Кадм и Гармония» наполнен назидательными речами. Беспрестанно является какая-нибудь «дрожащая престарелая жена», или «златокудрый юноша», или «мудрый муж», или «беловласая дева», и все они ораторствуют немилосердно; особенно же отличается страстью к красноречию сам герой: он не пропускает ни малейшего случая, чтобы не употребить свой язык в дело, и с одинаковой охотой «глаголет» о суетности благ земных, о бессмертии великих государей, о необходимости монархического правления и пр. ... и глаголет так красноречиво, что, хотя в своих речах он приводит подобные доказательства: «дважды два четыре, потому что четыре», но слушатели приходят в восторг и соглашаются с ним. Когда, например, он обращает фессалийцев на путь истинный и выбивается из сил, чтобы уверить их в необходимости монархического правления, в какое изумление приходит читатель, когда фессалийцы, эти, по-видимому, неисправимые республиканцы, восклицают: «Буди, ты буди царем нашим!» И чем же побеждается их привязанность к свободе, их необузданность, их ненависть к царям? Следующими доказательствами: «Царская власть приятна богам, для управления царь необходим, вы сами не можете быть в одно время и начальниками и подданными, на небе одно только солнце, Зевес управляет богами, следовательно ясно, что монарх необходим».

Столь же красноречиво уверяет он Токсилу в тленности злата и убеждает царя Феогена попросить советов у какого-то старца; и Токсила, и Феоген отвечают ему *тоже* речами,— такими длинными, что в конце забываешь, о чем шло дело сначала.

Этот недостаток «Кадма и Гармонии» происходит оттого, что Херасков захотел сделать из романа то, что *обыкновенно делается в* дидактических *сочинениях*: горькое лекарство, смешанное с сахаром; он хотел, чтобы чтение его романа было приятно и *вместе* полезно. Виноват ли он, что желание его не исполнилось? Сверх того, не он первый придумал этот способ учить читателей. В его время появлялось множество чисто нравоучительных романов, и если более даровитые писатели *придумывали действие своих рассказов только для доказательства своей нравоучительной идеи, то* надо ли обвинять Хераскова, если он умел доказывать давно избитые истины только напыщенным ораторством? Он подражал современным замечательным писателям, точно так же, как теперь какой-нибудь Греков[46] подражает Гейне.

ПИСЬМА КАРАМЗИНА И ФОНВИЗИНА

Фонвизин описывает свои путешествия по Европе в письмах к Панину и к сестре своей, Карамзин делает то же самое в письмах к друзьям[47]. По этим путевым заметкам можно видеть всю противоположность этих двух характеров. Фонвизин, человек пожилой, желчный, разочарованный, отзывается обо всем с едкой насмешкой и даже злобой. Карамзин, юноша двадцати двух лет, до крайности чувствительный, сентиментально описывает природу, женщин и вообще все, что его окружает. *Ему* все *представляется* в розовом свете, *он* восхищается видами Германии,

шумною жизнью Парижа, веселостью и любезностью французов; Фонвизин бранит грязные улицы и скуку Парижа, легкомыслие и дурные нравы французов. Карамзин больше говорит о себе и о своих впечатлениях. Вообще, его письма *можно считать не более как легкой и живой* болтовней молодого человека, где, вместе с рассказами о своих приключениях и преувеличенных чувствованиях, *он* представляет *и* некоторые описания стран, по которым проезжал. Напротив, Фонвизин наблюдает нравы и обычаи государств, где он путешествует, но наблюдает и сообщает только дурное, как бы с намереньем пропуская *без внимания* все хорошее. Слог Карамзина плавен, гладок, монотонен, водянист и совершенно соответствует пристрастию автора к ручейкам и лесочкам. Слог Фонвизина прост и резок.

ЗАСЛУГИ И ВЛИЯНИЕ КАРАМЗИНА

Карамзин принес пользу нашей литературе во многих отношениях. Он нанес сильный удар *ложному* классицизму, заменив его сентиментальным направлением, которое все-таки более приближается к настоящей жизни. Как ни ложны его повести, но все же они возбуждают более сочувствия, нежели *ложно*-классические сочинения, *вроде поэм Хераскова, трагедий Сумарокова,*— потому что они выражают хоть какое-нибудь чувство, хотя и очень преувеличенное. До него мы видим в одах напыщенные сравнения, возгласы и скучные, бесконечные описания. *У него находим более сочувствия с* природой, ⟨он⟩ высказывает везде полное сочувствие ей и выражается простым разговорным языком. Главная его заслуга есть его «Российская история». Он первый начал *обрабатывать русскую историю на основании* старых русских хроник и преданий, передал их слогом *живым и увлекательным и умел представить все события занимательно в одной общей картине.*

Влияние его на нашу литературу было очень велико. От него считается тот переворот в нашей словесности, когда, перестав подражать латинской и *ложно-классической* французской школе, *мы стали более обращать внимания на народные начала* *. Долго наши писатели подражали чувствительному духу повестей Карамзина, его плавной, цветистой речи, и после него *ложный* классицизм совершенно исчез в нашей литературе. Также благодаря его стараниям разговорный язык стал и языком литературным.

ТРАГЕДИЯ ОЗЕРОВА «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ»

В этой трагедии автор хотел представить борьбу *в великом князе двух чувств* — любви к новгородской княжне Ксенье и преданности к отечеству. Дело в том, что Дмитрий находит соперника в князе Тверском, который помолвлен с Ксеньей. Княжна же любит Дмитрия и не хочет быть женой другого. Князь Тверской, узнав об этом, объявляет, что он согласится помогать Дмитрию в войне с монголами только *в таком случае*, если получит Ксенью, а в противном случае грозит местью и раздором. Дмитрий не уступает; все князья восстают против него и хотят заключить мир с Мамаем. Тогда Ксения, жертвуя собой, обещает свою руку князю Тверскому, и войска русские под предводительством Дмитрия разбивают монголов. Князь Тверской после блистательной победы уступает Дмитрию свою невесту в награду за необыкновенную храбрость великого князя.

---

* *Первоначально* : мы начали следовать школе немецкой.

В этой трагедии *даже с первого взгляда* поражает двойственность действия: мы видим два почти одинаковые положения и следовательно двух героев. Князь Тверской должен переносить точно такую же борьбу, как и главный герой трагедии, Дмитрий; он также должен колебаться между любовью к Ксенье и любовью к отечеству. Характер его совершенно соответствует характеру Дмитрия: он так же храбр и так же вспыльчив, как великий князь, который на всяком шагу готов драться и говорить

СОБЕСѢДНИКЪ
ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССІЙСКАГО СЛОВА.
Изданіе кн. Дашковой и Екатерины II.
1783—1784.
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ДОБРОЛЮБОВА НА ЕГО СТАТЬЕ О «СОБЕСЕДНИКЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО СЛОВА»:

«Достоуважаемому профессору Измаилу Ивановичу Срезневскому признательный ученик Николай Добролюбов»

Оттиск из журнала «Современник», 1856, № 8

Литературный музей, Москва

оскорбления окружающим его. *Дмитрий* то бранит ханского посла, который, в сущности, вовсе и не виноват в постыдных для России предложениях хана, то, не дав время Ксенье сказать, что она не изменила ему, он осыпает ее упреками и грозит идти на «люту» брань, то, наконец, хочет заколоть князя Тверского, когда Ксенья соглашается жертвовать собой. Вообще, во всей трагедии даже слабая и плаксивая княжна показывает более самоотвержения, чем сам герой. Когда Дмитрий жертвует отечеством для своей любви, она решается выйти за ненавистного человека и защищает своего будущего мужа против безумной ярости своего возлюбленного. В продолжение всего действия все кажется, что Дмитрий борется не против своей страсти, а скорее за нее, и что он считает обязанность защищать отечество не долгом *своим, а обременением.* Он даже, по-видимому, *предпочитает своему долгу* страсть *к княжне и делает это не только по увлечению, но и по* убеждению *внутреннему.* Он все время

утверждает, что брак Ксеньи он «допустить не должен из чести», потому что княжна вечно будет думать о нем, о Дмитрии. Геройство его выказывается с величайшим шумом и с бесчисленными восклицаниями и состоит в безумном желании очертя голову и без пользы подвергаться опасностям. «Я опасностей и смерти лишь желаю»,— говорит он. Он сам очень добродушно признается, что собственно родина для него уже вещь второстепенная, а что главный его двигатель — «красы» Ксеньи и что лишь она «произвела сей доблественный жар». Вообще, он преданный и верный любовник, но в великие князья не годится. Лучше бы было, если бы он в «неизвестной доле» мог «чувствами души располагать». Скорее бы мог назваться героем князь Тверской. Уступая Ксенью, он гораздо более доказывает свое великодушие, чем великий князь всеми своими разглагольствованиями. И надо отдать честь Дмитрию: он сам это чувствует и с умилением восклицает: «Великодушный·князь! Победой над собой ты превзошел меня».

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ЖУКОВСКОГО

У Жуковского *находим* мы, *между прочим*, два патриотических сочинения: «Певец во стане русских воинов» и «Певец в Кремле». В обоих стихотворениях певец воспевает славу русского оружия и поражение наших врагов *в отечественной войне*. В первом он сидит на ратном поле, окруженный воинами, и провозглашает тосты в честь древних и новых русских героев, отчизны, царя, мщенья, любви и, наконец, *в честь муз*. Во втором он поет перед народом о изгнании французов. Странно кажется, что, *приготовляясь* ⟨к⟩ битве, солдаты не находят другого дела, как слушать песни да пить; *они могли бы употребить свое время на то, чтобы* вычистили и *аммуницию*, потому что, что ни говори, а у них в 12 году были *мундиры, ранцы*, ружья, а не мечи, *стрелы* и панцыри. Впрочем, это поэтическая вольность: ведь Расин заставляет же израильских пансионерок петь хвалы Сиону, отчего же русским солдатам не подымать кубка «чадам древних лет»! Страшные метафоры позволяет себе этот певец в описании героев: у полудикого Святослава открывает он «полет орлиный», в хвале Петру представляет Карла XII каким-то Чингис-ханом, которого «след — костей громады»; старичок Суворов, по его мнению, «вперяет» *на врагов* такие «страшны очи», что даже и во сне «бледнеет галл, дрожит сармат»; Платов «орлом шумит по облакам, по полю волком рыщет», приказывает деревьям сыпать стрелы, а врагам «бедой в уши свищет», точно Соловей-разбойник. Особенно же заметно *преувеличение* там, где говорится о врагах: Наполеон — не что иное, по его мнению, как злодей, супостат, хищник, которого привел в Россию «дух алчности», или, другими словами, желание грабить, и который вместо сокровищ нашел «стрелы, кольчуги, прах, серпы и плуги», перекованные в мечи. А воспевая Кремль, певец доходит до того, что даже уверяет, будто «древний дом царей» был осквернен присутствием «убийцы», т. е. Бонапарта. Вообще он хочет доказать, что Россия есть «Сион священный» и что, уже если кто ее враг, то он, наверное, какой-нибудь изверг, и что если бы не мы да не наши цари, так и хорошего бы на земле ничего не было. Такую роль могли брать на себя израильтяне: они хоть чванились своей верой перед идолопоклонниками, а ведь при Александре вся Европа *исповедывала христианскую веру*. Это высокое мнение о России и презрение к нашим неприятелям происходит, вероятно, от поэтической восторженности. Певец так любит отчизну, его «сердце так дрожит, благословляя родину святую», что он выражает свою любовь разными преувеличениями и «в умиленье лобзает прах Кремля».

⟨ВЕНЕВИТИНОВ И ПУШКИН⟩

Веневитинов в своем стихотворении «Поэт» видит в поэте сына богов, которому все чуждо на земле, который, всегда погруженный в свои думы, удаляется от людей. Среди своих молчаливых наблюдений

В душе заботливо хранит
Он неразгаданные чувства.

И он изъявляет *эти* чувства только когда

Внезапно что-нибудь
Взволнует огненную грудь[48].

Пушкин же в своем представлении поэта утверждает, что «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»[49], он ничем не выше других людей, что он теряется в толпе, а забывает заботы «суетного света» только в минуту вдохновения. Противоположность этих двух представлений происходит от разницы характеров *и положения* двух писателей. Пушкин, как человек более опытный и положительный, *понимает, что поэт не всегда должен оставаться в состоянии вдохновенного восторга, а может иногда увлекаться ничтожными благами мира.* Веневитинов же, восторженный юноша, *не может допустить даже и этого*, а составляет себе фантастический, *идеально-возвышенный* образ, придает «питомцу муз и вдохновенья» все качества, которыми сам привык восхищаться, и поклоняется ему, как божеству. Он показывает такую же экзальтацию в других своих стихотворениях. Он всегда предается первому впечатлению;—вот его собственные слова:

Пою то радость, то печали,
То пыл страстей, то жар любви,
И беглым мыслям простодушно
Вверяюсь в пламени стихов[50].

Оттого-то почти везде у него заметно сильное и искреннее увлечение *идеальным миром.*

МЕЛКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА

Большая часть мелких стихотворений Лермонтова имеет лирический характер. В них-то и выражается вполне состояние души его, недовольство обществом, в котором он должен жить, и стремление к чему-то лучшему. Его постоянно мучит жажда деятельности при невозможности удовлетворить ей, ему противна пустая жизнь,— она томит его как «ровный путь без цели», «как пир на празднике чужом». Он с печалью смотрит на современного поэта, который или не понят толпой, как в «Пророке», или утратил свое назначенье, предавшись мирским суетам. Он восклицает с горьким сомнением:

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь ты клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?[51]

Часто постоянная грусть его переходит в отчаянье. Тогда он то представляет в мрачной сатире людей, между которыми «слезы не встретишь неприличной» и которые «к добру и злу постыдно равнодушны», то с едкой насмешкой благодарит судьбу за все, чем он «обманут в жизни был», то в безнадежной тоске говорит, что жизнь «такая пустая и глупая шутка».

Вообще, в каждом из лирических стихотворений Лермонтова мы можем видеть жалобу человека, который выше своего века и который страдает от этого.

Есть у Лермонтова немногие чисто художественные пиесы, как, например, «Три пальмы», «Тамара» и пр., и он не уступает в них нашим лучшим писателям в уменье представить поэтическую и яркую картину. Замечательны также его подражания Байрону, Гёте и Гейне, в которых он в совершенстве передал дух оригиналов.

⟨«АММАЛАТ-БЕК» И «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»⟩

Повесть Марлинского «Аммалат-Бек» и роман Лермонтова «Герой нашего времени» можно сблизить между собой только потому, что действие *происходит* в одной и той же стране — на Кавказе. В других же отношениях между ними трудно найти какое-нибудь сходство. Марлинский подробно описывает схватки кавказских *горцев* с русскими и их «разбои». Он показывает нам их воинственные игры, вводит нас в дом *одного из* их х а н о в, но со всем этим «Аммалат-Бек» вовсе не представляет нам картины Кавказа. Между тем как Лермонтов, передавая нам жизнь русского офицера Печорина и говоря о кавказских жителях только как о второстепенных лицах романа, которые имеют более или менее влияние на судьбу главного героя, вполне обрисовывает их нравы и характер. Он в ы б и р а е т для своего романа такие приключения, которые представляют кавказцев в разных положениях, и таким образом читатель может вполне понять их жизнь. Так в истории «Бэлы» *мы видим* кабардинского разбойника, ловкого, хитрого, совершенно преданного своему ремеслу, который имеет только одну привязанность, и эта привязанность соответствует его положению и характеру. Он так любит свою лошадь, что, потеряв ее, приходит в страшное отчаянье и ярость. [Потом] является перед нами Азамат, молодой и горячий татарский юноша, который сохнет из-за коня и, наконец, жертвует сестрой и покидает семейство для своего любезного скакуна. *Тут* же встречаем мы г р у з и н с к у ю девушку в лице Бэлы. В ней вполне выражается страстный и преданный характер г р у з и н к и. В «Фаталисте» в нескольких строках рисуется перед нами образ матери казака-убийцы, которая в своем безумном отчаянье шепчет проклятия вместо молитвы.

У Марлинского же кавказцы не походят на русских только по страсти к кровопролитию да по беспрестанному употреблению татарских слов в разговоре. Когда же они говорят по-русски, то их речи вовсе не отличаются от речей капитана и полковника В...

В «Герое нашего времени» есть еще достоинство, которого совершенно лишен «Аммалат-Бек» — это естественность характеров. Печорин, Максим Максимыч, Грушницкий, княжна Мэри кажутся нам совершенно живыми людьми. Даже Вулич, несмотря на то, что он человек необыкновенный, все же остается естественным, потому что он искусно обрисован. В повести Марлинского, напротив, равно ненатуральны: и сам Аммалат-Бек, который то в бешенстве убивает своего благодетеля, то пишет чувствительный дневник, и полковник В..., который так старательно и так успешно занимается воспитанием своего пленника, и Салтанета, которая так изысканно выражает свою любовь.

Надо еще прибавить ко всему этому, что и по способу изложения рассказ Лермонтова выходит гораздо живее, чем у Марлинского, потому что в «Герое нашего времени» говорят самые действующие лица, между тем как в «Аммалат-Беке» повествует автор.

⟨СТИХОТВОРЕНИЯ КОЛЬЦОВА⟩

Стихотворения Кольцова можно разделить на три разряда. К первому относятся его первые опыты, в них он подражает поэтам, более нравившимся ему («Сирота», «Маленькому брату», «Поэт и няня» и пр.). В них уже заметен тот талант, который вполне высказывается только во втором разряде его стихов — в русских песнях. Кольцов вырос и воспитывался среди простого народа. Потому-то он в своих песнях так хорошо и представляет крестьянский быт. Он не украшает жизни, он показывает ее в настоящем виде со всей ее бедной и даже грязной ее обстановкой, и, несмотря на это, песни его сохраняют чрезвычайно поэтический характер. Он сочувствует всем потребностям крестьянина. Это сочувствие вполне высказывается в его лучших песнях, как, например, в «Урожае», «Что ты спишь, мужичок», в «Песне пахаря», в «Крестьянской пирушке». А с какой верностью представляет семейную жизнь крестьянина в этих двух прекрасных песнях: «Ах, зачем меня» и «Как женился я». Совершенно русский в душе, Кольцов удивительно схватывает главные черты характера русского человека. Так, в «Лихаче Кудрявиче» видим мы русское удальство и молодечество, во второй ⟨части⟩ — готовность русского человека упасть духом в несчастии, в «Косаре» способность его бешено и буйно предаваться отчаянью.

Там же, где Кольцов описывает природу нашей родины, он всегда умеет простым, поэтическим и чисто народным языком нарисовать живую и яркую картину.

Третий разряд его стихотворений составляют «Думы», в которых он силится разрешить многие вопросы, возникшие в его уме, и выразить его жажду знания. Так как он был малообразован и развит, то эти «Думы» не могли иметь никакого значения, потому что он берется за вопросы, которые превышают его понятия.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ЦГАЛИ, ф. 496, оп. 1, ед. хр. 28, лл. 1—17 об., 21—21 об., 23—24 об., 26—30 об., 32—33, 35—35 об., 50—52 об., 82 об.—83, 91—93, 94 об.—95 об., 97—97 об., 103—104, 107 об.— 108 об., 114—118.

[2] С. А. Рейсер доказал, что в конце 1859 — начале 1860 г. занятия были возобновлены на небольшой срок («Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова». М., 1953, стр. 232, 255). Какие «конспекты» Татариновой о литературе относятся к этому периоду (если они вообще в это время велись) — в настоящее время установить невозможно. Так как о некоторых сочинениях Татариновой точно известно, благодаря дневнику Добролюбова, что они относятся к 1857 г., и так как почерк остальных публикуемых работ (отроческий, неустоявшийся) совершенно совпадает с почерком первых, то с большой степенью достоверности можно отнести все работы в сохранившихся тетрадях к 1857 г.

[3] Н. А. Островская ⟨Татаринова⟩. Мои воспоминания о Н. А. Добролюбове.— «Волжский вестник», 1893, № 296, стр. 2. Курсив наш.

[4] Сохранилось всего 13 начальных строк этого сочинения, которые мы опускаем в нашей публикации. Правки Добролюбова в них нет.

[5] Например, середина «конспекта» «Предания» (л. 10 об.) оказалась из-за произвольной нумерации и перестановки листов вклиненной в текст о писателях XVIII в. (лл. 9 об., 11—11 об.), а начало «Преданий» следует лишь через несколько страниц (л. 14). Окончание темы вообще утрачено.

[6] ГПБ. Архив Н. А. Добролюбова, № 117.

[7] Н. И. Греч. Учебная книга российской словесности (три издания; последнее — СПб., 1844).

[8] С. П. Шевырев. История русской словесности. М., 1846.

[9] См., например, работу Герцена «О развитии революционных идей в России».— Герцен АН, т. VII, стр. 185—186.

[10] Подробнее об этом см.: Н. И. Мордовченко. В. Белинский и русская литература его времени. М.— Л., 1950, стр. 183—185; М. К. Азадовский. Народная песня в концепциях русских революционных просветителей 40-х годов.— «Известия Отделения языка и литературы АН СССР», т. IX, вып. 6, 1950, стр. 463—464.

[11] «Древние российские стихотворения».— Белинский, т. V, стр. 442.

[12] Белинский, т. X, стр. 215.

[13] «Россия».— Герцен, т. VI, стр. 211.

[14] «Лит. наследство», т. 57, 1951, стр. 10.

[15] Н. И. Костомаров. Об историческом значении русской народной поэзии. Харьков, 1843, стр. 115, 193.

[16] С. П. Шевырев. История русской словесности, ч. I. М., 1846, стр. 189.

[17] К. С. Аксаков. Полн. собр. соч., т. I. М., 1861, стр. 341.— Уже после смерти Добролюбова А. К. Толстой, некоторыми чертами своих взглядов сближавшийся со славянофилами, идеализировал былинный образ князя Владимира (баллады: «Змей Тугарин», «Песня о походе Владимира на Корсунь», а также «Илья Муромец», где очень смягчен протест Ильи против князя).

[18] В. И. Ленин. Соч., т. 21, изд. 4, стр. 85.

[19] Герцен, т. IX, стр. 118—119.

[20] Чернышевский, т. III, стр. 298—299.

[21] «Сочинения А. Пушкина. Статья девятая».— Белинский, т. VII, стр. 502.

[22] «Взгляд на русскую литературу 1846 года».— Белинский, т. X, стр. 10.

[23] Там же.

[24] «Сочинения Державина. Статья первая».— Белинский, т. VI, стр. 586.

[25] ГПБ. Архив Н. А. Добролюбова, № 89, л. 4.

[26] Б. И. Бурсов. Учение Добролюбова о реализме.— «Ученые записки Ленингр. гос. университета. Серия филологических наук», вып. 17, 1952, стр. 126, 127.

[27] «Басни Ивана Крылова».— Белинский, т. IV, стр. 151.

[28] «Герой нашего времени».— Белинский, т. IV, стр. 267.

[29] Чернышевский, т. III, стр. 457.

[30] «Полное собрание сочинений Марлинского». —Белинский, т. IV, стр. 47.

[31] Герцен, т. XVII, стр. 299.

[32] Чернышевский, т. II, стр. 926.

[33] Отправляясь от этих «Замечаний» Добролюбова, Татаринова по существу заново написала свое сочинение на тему «Пошлое и низкое в искусстве». В ее тетрадях сохранилось две редакции этой переработки: распространенная (лл. 36—42 об.) и краткая (лл. 53—54). И в той и в другой рукописях имеются исправления Добролюбова. Мы не включаем в публикацию указанные две редакции, потому что в них повторяются в изложении Татариновой мысли, сформулированные самим Добролюбовым в его «Замечаниях» на первоначальный конспект.

[34] Из оды Державина «На взятие Измаила».

[35] *Мстислав* — герой одноименной трагедии Сумарокова.

[36] Герой трагедии Сумарокова «Дмитрий Самозванец».

[37] Комедия Сумарокова.

[38] Автор данных стихов нами не выяснен.

[39] *Критон* — персонаж из сатиры «К уму своему».

[40] Комедия Расина.

[41] «*Хорев*» — трагедия Сумарокова; «*Дидона*» — трагедия Княжнина.

[42] Известна одна трагедия Тредиаковского — «Деидамия».

[43] Княжнин переделал одноименную оперу Метастазио.

[44] Из оды Державина «На взятие Варшавы».

[45] Отрывки из следующих (по порядку) произведений Державина: «На смерть князя Мещерского», «Бессмертие души», «Аристиппова баня».

[46] Николай Перфильевич *Греков* (1810—1866), незначительный поэт и переводчик.

[47] Имеются в виду реальные письма Фонвизина, в которых он подверг резкой критике положение Франции незадолго до французской буржуазной революции 1789 г., и книга Карамзина «Письма русского путешественника» (1803 г.), где в виде посланий к друзьям автор создал одно из самых крупных произведений русского сентиментализма.

[48] Из стихотворения Веневитинова «Поэт».

[49] Начало стихотворения Пушкина «Поэт».

[50] Из стихотворения Веневитинова «Я чувствую, во мне горит...».

[51] Из стихотворения Лермонтова «Поэт» (неточная цитата).

ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ДОБРОЛЮБОВА В ПЕЧАТИ

СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «С.-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ» (1856 г.)

Публикация В. Э. Бограда и С. А. Рейсера

Публикуемый текст неизвестной до сих пор статьи Добролюбова «Литературная заметка» был напечатан в газете «С.-Петербургские ведомости», 1856, № 164, от 24 июля за подписью *Николай Александрович.*

Авторство Добролюбова устанавливается на основании свидетельства П. П. Пекарского в его рукописных «Материалах к словарю псевдонимов русских писателей XVIII—XIX веков» (ИРЛИ, архив Я. К. Грота, шифр 16422/СIII б. 21).

В записи Пекарского о Добролюбове читаем: «Лайбов — студент в 1856 г. Пед. института Добролюбов в „Современнике“ за август и сентябрь 1856 г. „Собеседник любителей российской словесности“. Его же: разбор там же в библиографии брошюр о педагогическом институте и статья в „СПб. ведомостях“ летом 1856 г. против Островского с эпиграфом:

Задеть мою амбицию
Я не позволю вам».

Это совершенно определенное указание, восходящее, вероятнее всего, к сообщению А. Н. Пыпина или Н. Г. Чернышевского, с которыми Пекарский был в 1854—1859 гг. близок, и позволило обнаружить публикуемую статью. Точность сообщения Пекарского едва ли может быть оспорена; следует добавить, что псевдоним «Николай Александрович», которым подписана статья (а также «Н. Александрович» и «Н. А. Александрович»), Добролюбов употреблял и впоследствии («Современник», 1857, № 8; 1858, № 5).

Еще одним важным дополнительным аргументом в пользу авторства Добролюбова может служить запись в его дневнике от 8 февраля 1857 г.: «Провел вечер в беседах с М. Н. Островским (братом комика, которого я так обругал некогда, да и вчера только по забывчивости не ругнул, говоря о 2 № „Современника“, потому что не знал, что говорю с его братом)» (VI, 479).

Публикуемая статья давно известна исследователям Островского, но имя ее действительного автора оставалось неустановленным. Порою она приписывалась даже В. Р. Зотову! (см. статью М. Д. Беляева «Газетная травля. Островский и Горев-Тарасенков».— Сб. «Памяти А. Н. Островского». Пг., 1923, стр. 71, 81 и 85; здесь изложена фактическая сторона конфликта).

Обнаруженная статья Добролюбова является его первым известным выступлением в печати. Недавно познакомившись с Чернышевским и только начав сотрудничать в «Современнике», Добролюбов еще плохо понимал взаимоотношения в литературном мире. До него, очевидно, в искаженном виде, доходили слухи (может быть, через Татариновых, Галаховых или товарищей по Главному педагогическому институту) о происходивших в это время спорах о соавторстве артиста Д. А. Горева-Тарасенкова в комедии Островского «Банкрот» («Свои люди — сочтемся»).

Идеологическая позиция Островского в это время — славянофильские взгляды драматурга, в частности, выразившиеся в комедии «Бедность не порок»— не могла

вызывать особых симпатий Добролюбова. Статью Чернышевского об этой комедии («Современник», 1854, № 5) Добролюбов, конечно, знал. Вероятно, этим объясняется резкость позиции Добролюбова в отношении Островского. В феврале 1857 г., как видно из приведенной выше дневниковой записи, он относился к драматургу все еще недоброжелательно, и комедия «Праздничный сон — до обеда», напечатанная в № 2 «Современника» 1857 г., не изменила его мнения. В публикуемой статье подтверждение этому находим в презрительном высказывании об «идеализации купечества». Статья посвящена конфликту Островского с Горевым-Тарасенковым, но, занимая в этом споре неправильную позицию, Добролюбов, однако, не выступает в качестве судьи. Он пишет: «Мы столь же равнодушны к г. Гореву, и столь же мало ждем *нового слова* от него, как и от г. Островского».

Некоторым оправданием занятой Добролюбовым позиции могут служить заключительные строки статьи. Добролюбов, как видим, подчеркивает, что он не вмешивается *по существу* в спор Островского—Горева «и нисколько не высказывает полной уверенности в предположениях г. Зотова и г. Правдова». Однако Добролюбов не мог не указать, что язык Островского в «Своих людях» «обработан гораздо лучше» по сравнению с языком «Сцен» Горева. Добролюбову показалось, что позиция Островского представляет собою «самохваление, соединенное с обидным пренебрежением к литературным собратам».

Вероятно, Добролюбов вскоре убедился в несправедливости своих суждений об Островском и никогда больше не возвращался к ним. В знаменитых статьях —«Темное царство» и «Луч света в темном царстве» великий критик сумел со всей глубиной показать значение творчества Островского. Обвинению в высокомерии здесь уже нет места.

Новонайденная статья Добролюбова представляет несомненный интерес для изучения творческого пути великого критика.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАМЕТКА

Задеть мою амбицию
Я не позволю вам;
На вас, сударь, в полицию
Я жалобу подам.

Из водевиля «*Чиновник по особым поручениям*».

Было время, когда нещадно издевались над Полевым за его литературное самовосхваление. Еще недавно поднимали на смех за то же самое Гоголя, по поводу его странного завещания. И за это никого не подвергали судебным допросам. Припоминая эти примеры, решаюсь просить вас поместить в «Санктпетербургских ведомостях» мои замечания о г. Островском, который, хотя и старается запугать своих противников, но этим нисколько не приобретает себе права равняться в литературе не только с Гоголем, но даже и с Полевым.

В 80 № «Московских ведомостей» 1856 г. помещено *литературное объяснение* г. Островского, в ответ на некоторые недоумения об участии в его литературной известности г. Горева, высказанные в «Ведомостях московской городской полиции» и в «Санктпетербургских ведомостях». Объяснение это, правда, запоздало двумя месяцами, но г. Островский объясняет его тем, что «находясь вдали от обеих столиц и даже от губернских городов, он не мог знать, что делается в русской литературе, особенно в *низших* слоях ее». Под *низшими* слоями он, очевидно, разумеет фельетоны, помещаемые, действительно, *внизу* каждого № газеты; очень легко, впрочем, может быть, что г. Островский называет *низшими* слоями литературы — все, кроме тех книжек «Москвитянина» и других журналов, где помещены его комедии. Дальнейшие строки придают большую

вероятность этому предположению. Как бы то ни было, г. Островский два месяца не читал газет и журналов и потому не знал, что делается в литературе. А между тем в это время произошли события ужасные! Видите в чем дело. У г. Островского, как у всех людей вообще и у великих в особенности, очень много завистников. Без всякого сомнения,— это люди бездарные (иначе и не может быть: всякий умный и благородный человек должен пасть во прах перед гением!); они-то и старались всячески вредить

СОЧИНЕНІЯ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

ТОМЪ I.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ІОСАФАТА ОГРИЗКО.

1862.

— 257 —

пока это не выкажется рѣшительно въ практической дѣятельности». Но мы тогда, въ своемъ восторгѣ, не соображали этого. Намъ казалось, что прекрасныя педагогическія убѣжденія г. Пирогова будутъ проводиться имъ и на практикѣ такъ же неуклонно, какъ проводятся въ его статейкахъ. Мы надѣялись, что по своему положенію, находясь въ обстоятельствахъ сравнительно очень благопріятныхъ, онъ будетъ въ состояніи весьма близко подойти къ осуществленію своихъ идей о воспитаніи. Но всего болѣе мы были увѣрены въ томъ, что въ заведеніяхъ, ввѣренныхъ попечительству г. Пирогова, не будутъ сѣчь дѣтей...

За свое легковѣріе мы недавно были наказаны горькимъ разочарованіемъ!

Въ XI № «Журнала для Воспитанія» за 1859 г. напечатаны: «*Правила о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій Кіевскаго учебнаго округа*», изданныя г. Пироговымъ 22 іюля 1859 г. Правила эти составлены для того, чтобы устранить разнообразіе во взглядѣ начальниковъ на проступки гимназистовъ и назначеніе самыхъ наказаній. Цѣль эта выражена г. Пироговымъ въ слѣдующихъ строкахъ:

«Нехорошо, если въ томъ же учебномъ округѣ (въ которомъ иногда ученикамъ переходятъ изъ одного заведенія въ другое), за тотъ же самый проступокъ одинъ директоръ будетъ сѣчь или исключать ученика, а другіе прощать его или слабо наказывать. При такихъ противорѣчіяхъ и упущеніяхъ нельзя *развиться чувству законности* въ учащихся. Воспитанники, видя такую разнообразность взглядовъ и дѣйствій воспитателей, непремѣнно придутъ къ тому заключенію, что дѣйствіями ихъ управляетъ не законъ, а случай, капризъ, произволъ и пристрастіе. Довѣріе къ законности дѣйствій въ такомъ случаѣ нарушается, а вмѣстѣ съ этимъ исчезаетъ и всякое чувство правды и законности.»

Чтобы предотвратить такое печальное явленіе, г. Пироговъ считаетъ необходимымъ — не только составленіе общихъ правилъ для всѣхъ гимназій, но и ознакомленіе съ этими правилами самихъ учениковъ, съ самаго вступленія ихъ въ гимназію, для того «чтобы учащіеся были убѣждены, что никакой ихъ проступокъ не останется скрытымъ и необсужденнымъ и что *каждое наказаніе проистекаетъ, какъ бы само собою, изъ сущности и характера проступка*».

Читая это вступленіе къ Правиламъ, мы еще продолжали чувствовать прежнее уваженіе къ непреклонности и твердости г. Пирогова въ проведеніи своихъ общихъ принциповъ. Мы видѣли въ фразахъ, подчеркнутыхъ нами выше, полнѣйшее отрицаніе розги, которая никакъ ужъ не можетъ служить къ развитію въ дѣтяхъ *чувства законности* и никакъ не принадлежитъ къ числу раціональныхъ наказаній, *вытекающихъ изъ сущности самого проступ-*

«СОЧИНЕНИЯ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА», ТОМ I, СПб., 1862. ЭКЗЕМПЛЯР ИЗ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ КАРЛА МАРКСА

Титульный лист и страница книги с пометкой Маркса, конец 1871 г.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Москва

г. Островскому. Но так как его гений выше всякого сомнения и критика вредить ему не может, то они по своей натуре решились на другое средство— на *клевету*! Однакож и клеветать они боялись на г. Островского, пока он был «не вдали от обеих столиц и даже губернских городов», и, следовательно, читал еще журналы и газеты. Коварные враги выждали, когда г. Островский отправится в какую-то глушь, справились, как, зачем и надолго ли он поехал, собрали сведения, будет ли он читать что-нибудь в своей глуши, и, запасшись всеми этими сведениями, решились скромно изъявить свои предположения о г. Гореве, «надеясь, что их выходки останутся безнаказанными» (слова г. Островского). Эта удивительная дерзость сопровождалась не менее удивительным коварством: завистники обращались в своих статьях с некоторыми вопросами к г. Островскому, будто бы не зная, что он «вдали от обеих столиц и даже губернских городов» и, следовательно, не может нигде найти их фельетонов. Но притворство достойно наказано. Возвратившись в конце июня в Тверь, г. Островский получил некоторые №№ газет (за два месяца), конечно, те, которые особенно его интересовали, и решился бросить взгляд на низшие слои

литературы, т. е. на фельетоны «Ведомостей московской городской полиции» и «Санктпетербургских ведомостей». И вот 27-го июня 1856 года он написал грозное обличение: «Фельетонисты означенных газет,— говорит он,— рассчитывая *на мое отсутствие*, надеялись, что их выходки *останутся безнаказанными* и, по их *расчету*, получат некоторое правдоподобие. *Но в своем расчете они ошиблись*!..» Г. Островский является неумолимым, грозным обличителем, замечая: «Как ни тяжело отрываться от важных занятий для того, чтобы отвечать на нападки *завистливой бездарности*, но молчать далее я считаю неприличным». Конечно, неприлично молчать — все-таки лучше, чем неприлично говорить, но — quod non decet bovem, decet Jovem *, и выходки, для всякого другого в высшей степени неприличные, как нельзя приличнее идут к г. Островскому. Прочтите и судите.

В 97 № «Ведомостей московской городской полиции» г. Правдов написал: «имена гг. Островского и Горева известны, как имена лиц, подвизающихся на одном и том же поприще театральной литературы». Кажется, что тут оскорбительного? Вероятно, сам Грибоедов не осердился бы, если бы его сблизили таким образом — хоть с г. Островским. Но г. Островского эти слова почему-то приводят в ужасный гнев. «Предоставляю публике судить (говорит он), насколько тут справедливости и деликатности. Вероятно, *не одному благородному человеку, прочитавшему эти строки, будет грустно за литературу* (!!!?)». Чем объяснить эти строки? Высокомерное ли это quos ego ** или желание выказать себя недоступнее, чем на деле есть, вспышка ли раздраженного самолюбия или... или это по присловью Тита Титыча Брускова: «Дай хоть поругаться-то за свои деньги» (см. «Русские ведомости», 1856 г. № 2, стр. 204). Во всяком случае, если бы г. Островского сблизили не только с г. Горевым, а даже с г. Булгариным или г. Татариновым, и тогда, кажется, грустить за литературу не было бы еще никакого повода. А теперь всякий благородный человек должен еще порадоваться, что отдают, наконец, справедливость человеку с дарованием, бесспорно, очень замечательным. В «Сценах», напечатанных в последней книжке «Отечественных записок», многие заметили талант, во многом родственный с талантом автора «Своих людей», хотя нельзя не заметить и того, что язык в «Своих людях» обработан гораздо лучше. В «Сценах» г. Горева является то меткое, удачное изображение *действительного* купеческого быта, какое мы видели в «Своих людях» и до какого не достигал сам г. Островский в последующих своих комедиях, пустившись, как известно, в идеализацию купечества. Но г. Островский не хочет знать ничего этого, зная только, что от него ждут не дождутся *нового слова* в литературе.

На все обвинения газет (впрочем, там были собственно вопросы и намеки, требовавшие разрешения: г. Островский сам придал им значение *обвинений*, приняв их так горячо к сердцу), на все обвинения г. Островский дает такое объяснение: «Осенью 1846 г., прежде нежели пришел ко мне г. Горев, комедия в общих чертах была уже задумана, и некоторые сцены набросаны; многим лицам я рассказывал идею и *читал некоторые подробности* (sic). Кроме того, мною в это время написано было много сцен из купеческого быта. На все это я имею свидетельства весьма многих лиц, заслуживающих полное доверие. Осенью 1846 г. пришел ко мне г. Горев; я прочел ему написанные мною: „Семейные сцены", и рассказал сюжет своей пьесы. *Он предложил начать обделку сюжета вместе, я согласился, и мы занимались три или четыре вечера (т. е. г. Горев писал, а я большею частию диктовал)*. Таким образом было написано четыре небольшие явле-

* что не приличествует быку, то приличествует Юпитеру (лат.).
** я вас! (лат.).

ния первого действия (около шести писанных листов). *В последний вечер г. Горев объявил мне, что он должен ехать из Москвы. Тем и ограничилось его сотрудничество...»*.

Такова истина, изложенная г. Островским и весьма сильно напоминающая крутые повороты развязки в последних его комедиях. Конечно, критика не замедлила бы придраться к неестественности такого оборота, если бы это было создание комической фантазии г. Островского, но здесь чистая, неумытая, неприглаженная и неукрашенная действительность: критике остается молчать.

Затем в оправдание себя г. Островский говорит, что его обвиняет не сам г. Горев, а люди, *не смеющие даже подписать свои фамилии*. Но между тем сам же он называет обоих своих обвинителей, г. Правдова и г. Зотова. «Как назвать этот поступок?», спросим мы словами самого г. Островского, хотя и не прибавим, как он о г. Зотове, что это «*клевета, заслуживающая гласного обличения*» (см. № 80-й «Московских ведомостей»).

В конце *объяснения*, сделав еще несколько резких выходок (на которые отвечать мы предоставляем тем, кого они касаются), г. Островский без церемонии еще раз бранит своих врагов, называя их *литературными баши-бузуками*, и выхваляет себя, именуя себя, применяясь, конечно, к обстоятельствам, «литератором, *честно* служащим литературному делу». После этого, кажется, он мог бы уже считать себя победителем. Но ему все кажется, что еще не довольно. Он как будто чувствует под конец, что его успех в этом прении стоит несчастнейшей пирровской победы, и, не надеясь на свои литературные силы, прибегает к посторонним средствам. Он напоминает своим «врагам» о «законах, ограждающих в нашем отечестве *личность* и *собственность* каждого», что заставляет думать, что у него какие-то юридические документы на безраздельное владение «Своими людьми», вроде контракта, купчей крепости, и т. п. В таком случае судиться с ним, конечно, никто не будет. Что же касается до *личности*, то, как говорил Крылов,

Чем кумушек считать — трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?..

Каждый из литературных «врагов» г. Островского гораздо более имеет права обидеться его выражениями (припомните — завистливую бездарность, клеветников, баши-бузуков), нежели он всяческими подозрениями, которые всегда возможны и позволительны и нисколько не запрещаются существующими постановлениями о литературной собственности.

Мы не вмешиваемся в дело г. Островского и г. Горева и нисколько не высказываем полной уверенности в предположениях г. Зотова и г. Правдова. Мы столь же равнодушны к г. Гореву, и столь же мало ждем *нового слова* от него, как и от г. Островского. Мы не хотим быть ни судьями, ни посредниками между ними, а пишем эти строки единственно для того, чтобы подать голос против неслыханного самохваления, соединенного с обидным пренебрежением к литературным собратам. Принимая на себя обязанность объяснить недоумения публики (потому что известно всем читающим людям, что слух о г. Гореве не фельетонистами распущен), г. Островский мог сделать это, не выходя из границ приличия, не переходя тех пределов, за которыми начинается уже не литературный спор, а нечто такое, чего не называют в печати... Он не хотел остаться в этих границах, и от этого хуже, конечно, только ему. Сколько мы знаем, г. Островский в этом объяснении в первый раз говорит с публикой от своего имени, и вот каким тоном он заговорил с ней! Вот какого *нового слова* дождались от г. Островского его поклонники!..

Николай Александрович

ДВЕ ЗАМЕТКИ ДОБРОЛЮБОВА В «СОВРЕМЕННИКЕ»

Публикация В. Э. Боград а

1

В списке работ Добролюбова, составленном Чернышевским, указаны «Украинские народные рассказы М. Вовчка. 1 листок» («Лит. наследство», т. 25-26, 1936, стр. 247). Однако ни в одно из собраний сочинений Добролюбова названная рецензия не вошла. На необходимость осторожного отношения к спискам Чернышевского мы указываем в помещаемой ниже заметке о мнимой рецензии Добролюбова (см. стр. 268 настоящего тома). В данном же случае свидетельство Чернышевского не может вызывать сомнений, так как оно подкрепляется прямым указанием самого Добролюбова в статье «Черты для характеристики русского простонародья. Рассказы из народного русского быта Марка Вовчка 〈...〉. М., 1859», где Добролюбов писал: «В прошлом году некоторые обстоятельства, всего более досадные для нас самих, помешали нам подробно говорить о малороссийских рассказах Марка Вовчка, переведенных г. Тургеневым. Мы должны были ограничиться только небольшою выдержкою из статьи г. Костомарова, написанной им для „Современника" еще тогда, когда „Народнi оповiдання" только что появились в малороссийском подлиннике» («Современник», 1860, № 9, отд. III, стр. 26; II, 256).

В комментариях к цитируемой статье Добролюбова во всех изданиях его сочинений приведенная цитата рассматривалась как указание на запрещенные цензурой выдержки из статьи Н. И. Костомарова в № 5 «Современника» 1859 г., частью которых считалась и вводная заметка Добролюбова.

Между тем Добролюбов, несомненно, имел в виду публикуемую нами заметку.

Игнорирование этой заметки даже после того как стал известен список Чернышевского, по-видимому, вызвано тем, что исследователи отождествляли ее с большой статьей Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародья. Рассказы из русского народного быта Марка Вовчка», не вошедшей в список Чернышевского.

2

Изучение конторской книги «Современника» за 1860 г. дало нам возможность установить, что авторами всех анонимных рецензий в отделе «Новые книги» январского номера журнала этого года являлись Добролюбов и Е. Я. Колбасин. Гонорар между ними распределен следующим образом: 1) в лицевом счете Добролюбова указан гонорар за 17 страниц текста в отделе «Новые книги», а в лицевом счете Е. Я. Колбасина — за 2 страницы текста в этом же отделе.

В т. V Полного собрания сочинений Добролюбова включены следующие рецензии из этого отдела: «Речи и отчет, читанные в торжественном собрании Московской практической академии...», «Норманский период русской истории. Соч. М. Погодина...» и «Литературные деятели прежнего времени. Е. Колбасина». Поскольку каждая из этих рецензий размером больше двух страниц, то принадлежность их Добролюбову не вызывает сомнений. Из остающихся двух рецензий, занимающих по две страницы, одна, следовательно, должна принадлежать Добролюбову, другая же — Колбасину.

Как нам удалось установить путем сличения почерков, одна из этих рецензий — на книгу «Итальянский вопрос, составленный из различных иностранных источников,

под ред. А. И. Г...», включенная М.К.Лемке в редактировавшееся им собрание сочинений Добролюбова (т. III, № 372)— в действительности принадлежит Колбасину (рукопись этой рецензии, с правкой Чернышевского, хранится в ИРЛИ, кн. № 112/1940. VIII С.). Таким образом, вполне закономерно считать, что автором перепечатываемой ниже рецензии на «Десятилетие Публичной библиотеки...» является Добролюбов, так как количество страниц в рецензиях из этого отдела, уже включенных в его полное собрание сочинений, вместе с нею составляет ровно 17 страниц, что полностью соответствует данным конторской книги.

Кроме этих документальных данных, небезынтересным является еще то, что автор рецензии на «Десятилетие Публичной библиотеки...», приводя ряд фактов о Публичной библиотеке, пишет: об этом «мы говорили еще недавно».

Последнее упоминание о Публичной библиотеке до перепечатываемой нами рецензии находим в № 5 «Современника» 1859 г.—в рецензии на «Отчет Публичной библиотеки за 1858 г.», автором которой является Добролюбов (V, стр. 316—319).

Между этой рецензией и примыкающей к ней рецензией Добролюбова существует ряд смысловых взаимосвязей. Основные из них следующие:

Во-первых, автор рецензии пишет: «О множестве разнообразных выставок, учрежденных новым директором, *мы говорили еще недавно*, и потому не станем повторять теперь» (курсив наш.— *В. Б.*). Действительно, в рецензии Добролюбова мы находим следующее высказывание: «Относительно пользования сокровищами библиотеки в прошлом году также сделаны были некоторые новые усовершенствования. Так, в прошлом году устроены: выставка автографов знаменитых русских людей, выставка палимпсестов, выставка греческих рукописей, выставка древнейших образцов книгопечатания и гравюр, найденных в древних переплетах» («Современник», 1859, № 5; стр. 101).

Во-вторых, в рецензии: «...в течение десяти лет ⟨Публичной библиотекой⟩ сделаны многие дорогие приобретения, *о которых уже знают наши читатели*: куплено древнехранилище Погодина, библиотека Юнгмана, *коллекция Тишендорфа*, и пр.» (Курсив наш. —*В. Б.*).

Коллекция Тишендорфа была приобретена Публичной библиотекой в 1858 г., и о ней *впервые* упоминается в «Отчете Публичной библиотеки за 1858 г.», в рецензии на который Добролюбов писал: «В прошлом году библиотекою приобретено в полном составе несколько замечательных коллекций книг и рукописей. Таковы: 1) коллекция греческих и восточных палимпсестов и рукописей профессора Тишендорфа...» («Современник», 1859, № 5, стр. 99).

В-третьих, отмечая ряд недостатков в обслуживании читателей, Добролюбов пишет: «Так, например, некоторых книг, более и чаще других требуемых, можно бы иметь дублеты и выдавать их, если не по первому, то, по крайней мере, по второму требованию. Кроме того, нельзя ли было бы устроить, чтобы карточки о тех книгах, которые находятся в чтении, не оставались в общей массе карточек, а, например, вкладывались в самую книгу, возле закладки читающего? Или нельзя ли бы в общей росписи выдаваемых книг отмечать против № книги № нового требователя? Это, или что-нибудь подобное, могло бы служить для той цели, чтобы книга всегда попадала в руки того, кто раньше ее потребовал» («Современник», 1859, № 5, стр. 103). Автор рецензии на «Десятилетие Публичной библиотеки...» с удовлетворением отмечает ряд выполненных предложений в обслуживании читателей, предлагаемых в рецензии Добролюбова: «Увеличению числа читателей способствовало, конечно, 1) разрешение чтений *вечером*, чего прежде не было, 2) упрощенный порядок выдачи книг, не по общему реестру, а по карточкам, 3) отмена ограничения в числе выдаваемых книг».

Ряд смысловых взаимосвязей между этой рецензией и напечатанной в майской книжке «Современника» 1859 г. рецензией Добролюбова на «Отчет Публичной библиотеки за 1858 г.» подтверждают, что обе рецензии написаны одним и тем же автором.

⟨1⟩

УКРАИНСКИЕ НАРОДНЫЕ РАССКАЗЫ МАРКА ВОВЧКА

Перевод И. С. Тургенева. СПб., 1859 г.

В начале прошлого года вышли «Народні оповідання» Марка Вовчка на малороссийском языке и имели необыкновенный успех в малороссийской публике. Успех этот, вполне заслуженный, во многих из незнающих по-малороссийски возбудил желание прочесть их в русском переводе. Несколько рассказов было переведено в наших журналах, но переводы эти не были удовлетворительны, потому что, как справедливо замечает И. С. Тургенев в предисловии к своему переводу, «носили на себе слишком ясный отпечаток малороссийской речи». Желая дать русской публике возможность сколько можно лучше и ближе познакомиться с прекрасными рассказами Марка Вовчка, их взялся перевести Тургенев. В предисловии он говорит, что задача его была — «соблюсти в переводе чистоту и правильность родного языка и в то же время сохранить по возможности ту особую, наивную прелесть и поэтическую грацию, которою исполнены „Народные рассказы"». Насколько удалась ему его задача, в особенности ее вторая, труднейшая часть,— он предоставляет судить благосклонному читателю. Конечно, решительное суждение об этом всего лучше могут дать малороссы, хорошо знающие по-русски. Но мы, с своей стороны, должны заметить, что если кто-нибудь из великоруссов способен к совершенно удовлетворительному исполнению подобной задачи, так это именно Тургенев. В его собственном таланте столько поэтической грации и прелести, его сочувствия так близки к народной жизни, что он мог приложить к этому делу свою душу, и это ручается нам, что русская публика получает теперь перевод украинских рассказов Марка Вовчка, не уступающий оригиналу. Чтобы дать понятие о способе выражения, употребляемом в рассказах, и о характере перевода, мы решились привести ниже целый небольшой рассказ «Одарка» по переводу Тургенева, вставивши его в отзыв о «Народних оповіданнях», написанный одним из лучших знатоков малороссийского языка и письменности, г-м К., еще при первом появлении их в малороссийском подлиннике.

Вот что писал г. К.*

⟨«Современник», 1859, № 5, отд. III, стр. 103—104.⟩

⟨2⟩

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ (1849—1859)

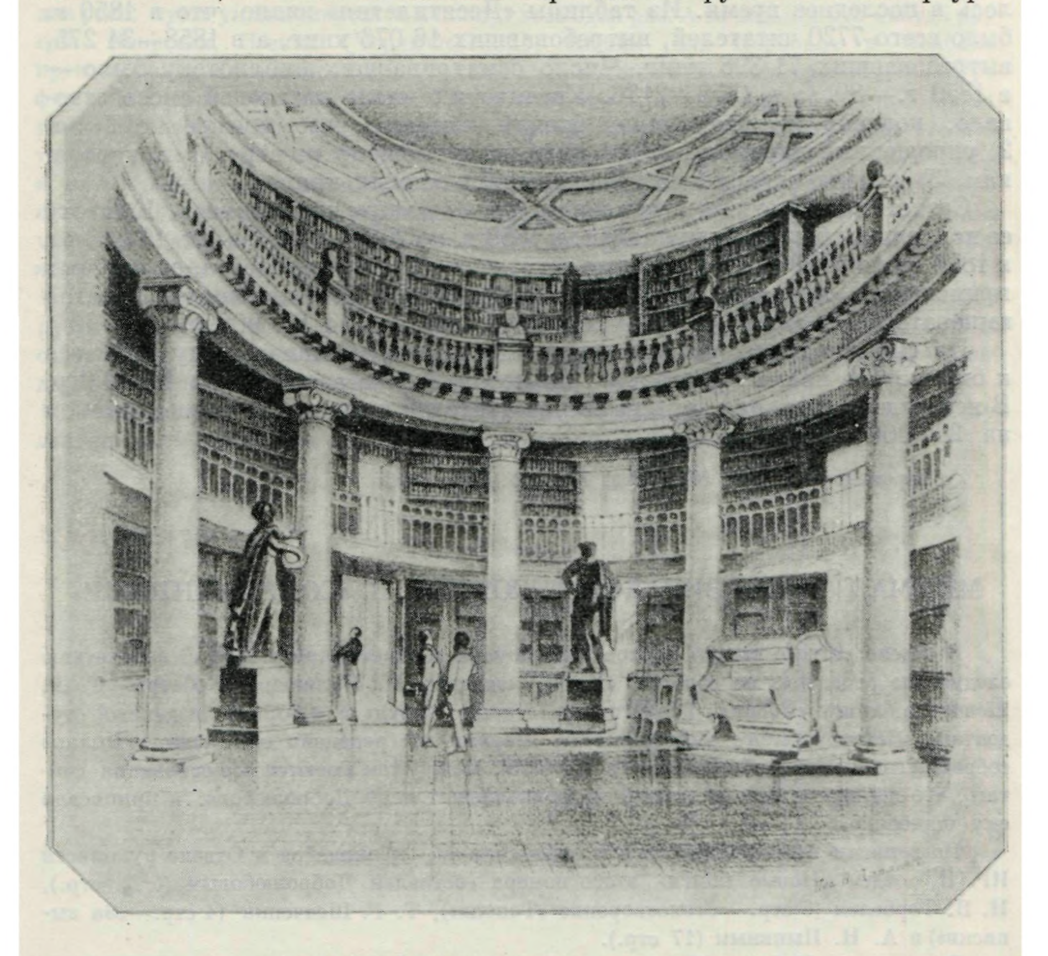
Записка, предоставленная государю императору директором библиотеки. СПб., 1859

Путеводитель по императорской Публичной библиотеке. СПб., 1860 г.

Много раз уже приходилось нам говорить о Публичной библиотеке нашей, так часто напоминающей о себе публике в печати. Две недавно вышедшие брошюры, заглавие которых мы выписали, снова дают нам приятный повод сказать о ней несколько слов. В «Путеводителе» находим мы подробное обозрение зал библиотеки с указаниями на все, что́ в ней

* Выдержки из статьи Н. И. Костомарова, в которой помещен был рассказ Марка Вовчка «Одарка» в переводе И. С. Тургенева (стр. 104—113), нами опускаются.

есть замечательного; кроме того, здесь же сообщается несколько исторических данных о происхождении и постепенном развитии библиотеки. В «Десятилетии» находим обзор успехов библиотеки под управлением ее нынешнего директора. Из сравнения последних лет с предыдущими можно видеть, как много сделано в последнее время. Публичная библиотека наша произошла из польской библиотеки графов Залусских, основанной ими в 1747 г., а в 1795 г. взятой и перевезенной русскими в Петербург.



ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА В ПЕТЕРБУРГЕ

Зал редких изданий

Литография В. Дарленга из книги «Путеводитель по императорской Публичной библиотеке». СПб., 1852.

Тогда она содержала в себе 262 000 томов; из них медицинские книги были переданы в медицинскую коллегию и много других — в разные другие ведомства, так что в 1810 г. оставалось налицо 238 633 тома. С 1810 года начинается приращение библиотеки преимущественно русскими книгами, так как узаконено было — доставлять в нее по два экземпляра всего, что печатается в России. Кроме того, сделаны были значительные приобретения: в 1805 г. куплена коллекция рукописей Дубровского, в 1817 г.— коллекция Фролова, 1820 — библиотека графа Вязьмитинова, в 1830 г.— библиотека Толстова, 1831 — лучшие издания и рукописи из полоцкой иезуитской академии, и пр. В конце 1849 г. было в библиотеке уже 640 000.

С тех пор в течение десяти лет сделаны многие дорогие приобретения, о которых уже знают наши читатели: куплено древнехранилище Погодина, библиотека Юнгмана, коллекция Тишендорфа, и пр. Теперь в библиотеке считается до 850 000 томов.

О множестве разнообразных выставок, учрежденных новым директором, мы говорили еще недавно, и потому не станем повторять теперь.

Но самое главное — употребление библиотеки очень распространилось в последнее время. Из таблицы «Десятилетия» видно, что в 1850 г. было всего 7720 читателей, вытребовавших 16 076 книг, а в 1858—34 275, вытребовавших 71 396 книг. Число осматривавших библиотеку было — в 1850 г.— 89, а в 1858—2176. Увеличению числа читателей способствовало, конечно, 1) разрешение чтений *вечером*, чего прежде не было, 2) упрощенный порядок выдачи книг, не по общему реестру, а по карточкам, 3) отмена ограничения в числе выдаваемых книг.

Средства библиотеки в последнее время также увеличились. К штату ее испрошены были три прибавки: в 1850 г. по 2000, в 1851 — по 10 000 р., в 1856 — по 6000 р. в год. Кроме того,— от продажи дублетов, от частных приношений, продажи сочинения барона Корфа «Восшествие на престол императора Николая», и пр.— получено в 10 лет до 137 000 р.

Из «Десятилетия» узнали мы также, что в нынешнем году начнется к библиотеке новая пристройка, на которую уже ассигновано 150 000 р. В ней будет читальная зала на 250 посетителей и место для книг с лишком на 200 000 томов.

〈«Современник», 1860, № 1, отд. III, стр. 114—116.〉

ПРИЛОЖЕНИЕ

МНИМАЯ РЕЦЕНЗИЯ ДОБРОЛЮБОВА В «СОВРЕМЕННИКЕ»

В отделе «Новые книги» мартовского номера «Современника» 1860 г. напечатаны следующие рецензии: на сборник «Хата», изданный П. Кулишом, «Кобзарь» Т. Г. Шевченко, книгу «Босния, Герцоговина, старая Сербия» и «Сборник, изданный студентами Петербургского университета». Первые две рецензии включены в Полное собрание сочинений Добролюбова (т. II, 1935). Между тем имеются все основания считать, что первая из этих рецензий не принадлежит перу Добролюбова и приписана ему ошибочно.

По записям конторской книги «Современника», хранящейся в Отделе рукописей ИРЛИ, отдел «Новые книги» этого номера составлен Добролюбовым ($6^1/_2$ стр.), Н. В. Гербелем (6 стр.— стихотворение «Тополь»), Т. Г. Шевченко (4 стр.—«За выписки») и А. Н. Пыпиным (17 стр.).

Рецензия на «Кобзарь» Шевченко, занимающая 16 $^1/_2$ стр., из которых Гербелю принадлежат 6 стр., а стихи Шевченко занимают 4 стр., включена в посмертное издание сочинений Добролюбова 1862 г. и сомнений в его авторстве не вызывает.

Рецензия же на сборник «Хата» была впервые включена в собрание сочинений Добролюбова в 1911 г. Е. В. Аничковым (т. V, стр. 502—507). Основанием для включения рецензии в это и последующие издания было то, что она приводится в списке работ Добролюбова, составленном Чернышевским и напечатанном в том же издании Аничкова (т. I, стр. 17). Однако в другом, опубликованном Н. М. Чернышевской списке («Лит. наследство», т. 25-26, 1936, стр. 246—248), рецензия на «Хату» не упоминается. Таким образом, оба списка в этом отношении противоречивы, и указание одного из них не может являться достаточным основанием для бесспорного признания авторства Добролюбова.

В действительности автором рецензии на «Хату», как и двух последних рецензий этого отдела, является не Добролюбов, а А. Н. Пыпин; общее количество страниц, занятое этими тремя рецензиями, равно 17, что точно соответствует записи его лицевого

счета. Отметим, что 13 октября 1860 г. Добролюбов писал В. И. Добролюбову из Парижа: «С Давыдовым ⟨книгопродавцем⟩ всякие счеты должны быть или отложены до моего возвращения, или преданы в его полную волю: они тянутся почти три года. Только вот что могу написать к сведению ⟨...⟩ „Пермский сборник", „О развитии языка" Билярского, „Об источниках баснословия", „Хата", „Записки Маркевича"—у Пыпина ⟨...⟩ „Сатирические журналы" и „Кобзарь" записаны почему-то два раза: пусть умилостивятся и напишут хоть один раз. А то возьмет кто-нибудь другой: Некрасов, Л-ский ⟨Чернышевский⟩, Пыпин (или Карнович и Колбасин прежде брали), а все на меня пишут» (Н. Г. Чернышевский. Материалы для биографии Н. А. Добролюбова. М., 1890, т. I, стр. 606). Здесь, несомненно, идет речь о книгах, распределенных между сотрудниками «Современника» для рецензирования; это подтверждается хотя бы тем, что А. Н. Пыпин действительно является автором рецензий и на «Пермский сборник» и на «Записки Маркевича», помещенных в № 5 «Современника» 1860 г. (авторство определяется лицевым счетом Пыпина — л. 139); тем самым указание Добролюбова, что сборник «Хата» находится у Пыпина, косвенно подтверждает авторство последнего.

Автор рецензии на «Хату» рассматривает украинский язык как наречие «общерусского» языка, третирует его как «маленько мужицкий язык» и т. д. Такие взгляды совершенно чужды революционно-демократическим воззрениям Добролюбова, никогда не стоявшего на позициях великодержавного шовинизма.

Приведенные соображения не оставляют сомнений, что рецензия на «Хату» должна быть исключена из собрания сочинений Добролюбова.

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА ДОБРОЛЮБОВА

А. С. ГАЛАХОВУ, Н. В. ГЕРБЕЛЮ, М. А. МАРКОВИЧ (МАРКО ВОВЧОК), В. А. ФЕДОРОВСКОМУ, Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ и К. И. ШИРСКОМУ

Публикация С. А. Рейсера

Основной фонд писем Добролюбова и к Добролюбову был тщательно собран Н. Г. Чернышевским и издан в 1890 г. с его подробными, любовно составленными комментариями (книга вышла посмертно). В «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова...» было опубликовано 400 писем, из них 194 письма Добролюбова за 1853—1861 гг.

До революции 1917 г. публикации эпистолярного наследия Добролюбова были немногочисленны и случайны: с 1892 и до 1917 г. было напечатано всего лишь 22 письма Добролюбова (к П. А. Вяземскому, А. И. Давыдову, А. Ф. Кавелиной, К. Д. Кавелину и Н. А. Некрасову). За это же время были опубликованы письма М. А. Дондуковой-Корсаковой, А. Н. Плещеева и С. Т. Славутинского к Добролюбову — всего 36 писем.

Плодотворное изучение и публикация эпистолярного наследия великого критика начались вскоре же после революции. С 1921 г. и до настоящего времени в различных изданиях были помещены письма Добролюбова к М. А. Антоновичу, П. А. Вяземскому, А. Ф. Кавелиной, К. Д. Кавелину, П. Н. Казанскому, А. М. Крылову, М. А. Маркович (Марко Вовчок), Н. А. Некрасову, И. А. Панаеву, И. И. Паульсону, Е. Н. Пещуровой, И. Г. Прыжову, И. М. Сладкопевцеву, И. И. Срезневскому, Н. Г. Чернышевскому, А. А. Чумикову и Д. Ф. Щеглову — всего более 56 писем. В те же годы изданы письма В. М. Добровольского, М. Е. Лебедева, М. А. Маркович (Марко Вовчок), Н. А. Некрасова, И. И. Паржницкого, И. И. Паульсона, И. И. Срезневского, Б. И. Сциборского, Н. П. Турчанинова, Н. Г. Чернышевского, О. С. Чернышевской, А. А. Чумикова и М. И. Шемановского к Добролюбову — всего свыше 80 писем.

Таким образом, до настоящего времени издано не менее 272 писем Добролюбова и 322 писем к Добролюбову: настоящая публикация дополняет первую из этих цифр еще шестью письмами.

1

К. И. ШИРСКОМУ

Капитон Иванович *Ширский* — товарищ Добролюбова по Главному педагогическому институту; Добролюбов поддерживал приятельские отношения с ним только в течение первого года своего пребывания в институте. Ограниченный и ленивый, Ширский не вошел в добролюбовский кружок и не принимал участия в общественной жизни института. В 1857 г. он был выпущен со званием младшего учителя и направлен в Тобольск.

В «Филологических записках» (1869, №№ 1—2) был напечатан небольшой «Очерк древних славяно-русских словарей» Ширского — это была едва ли не единственная его печатная работа. О дальнейшей его деятельности сведений нет.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД. ВИД ОТ МАКАРЬЕВСКОЙ ЯРМАРКИ»

Рисунок П. Дитца, 1842 г.

Исторический музей, Москва

«НИЖНИЙ НОВГОРОД. МАКАРЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА»

Рисунок П. Дитца, 1842 г.

Исторический музей, Москва

О конфликте между Ширским и Добролюбовым, в связи с подачей коллективной жалобы министру народного просвещения см. «Литературное наследство», т. 25-26, 1936, стр. 317 и Н. Г. Чернышевский. Материалы для биографии Добролюбова, т. I. М., 1890, стр. 519.

Публикуемое письмо написано Добролюбовым во время пребывания на каникулах в Нижнем-Новгороде, незадолго до смерти его отца.

Печатается по автографу ЦГАЛИ (ф. 166, оп. 1, ед. хр. 64).

Нижний‹-Новгород›. 15 июля 1854 г.

Как я ожидал, любезный мой Капитон Иванович, так и случилось: написать к вам в Кострому[1] я собрался очень поздно, прошу извинить меня. В Петербург еще доселе не писал. Ленюсь напропалую. Целых три недели все читаю здесь «Рыбаков» Григоровича[2] и не могу прочитать... Но надобно рассказать еще тебе как я попал в Нижний.

На дощанике, который нанял в Костроме, я ехал недалеко, хотя очень долго. Ветер был не попутный. Сначала еще попутный повевал кое-как — мы ехали парусом; потом стих — поехали веслами; потом подул маленький сбоку — тащились бичевой; наконец поднялся сильный ветер совершенно напротив — мы совсем встали... На другой день к вечеру кое-как дотащился я до Плеса. Здесь сел на пароход.

На пароходе тут был я в первом классе, вместе с Герольдмейстером[3], которого ты очень хорошо знаешь... Тут мы с ним познакомились близко: я смотрел его виды, записную книжку, слушал его рассказы, однажды даже ужинал с ним. На пароходе пассажиров только и было, что я да он с своим живописцем. Через полторы сутки 26-го рано поутру я был уже в Нижнем... Тут все идет по-старому, кроме одного горестного обстоятельства, которое тебе известно...[4]

Мне что-то не хочется ехать к сроку в институт. Без толку просидим мы там недели две. В газетах объявляют новый прием на 15 вакансий. Вероятно, весь август пройдет в экзаменах. Не имеешь ли ты какого известия из Петербурга или от Радонежского[5]... Напиши мне, пожалуйста. Время еще есть; я буду ждать письма от тебя и потом, по получении, может быть, даже отвечу длинным посланием с подробным описанием ярмарочных увеселений, и т. п. Прощай, брат, тороплюсь на почту, чтобы успеть отослать. И то, кажется, опоздал. До свидания.

Н. Добролюбов

Капитону Ивановичу г. Ширскому

[1] *«...к вам в Кострому»*— то есть к Капитону Ширскому и его брату. По дороге в Нижний-Новгород Добролюбов 21—22 июня 1854 г. гостил в Костроме у брата Ширского. 25 июля он писал Д. Ф. Щеглову: «Осмотрел всю Кострому, был в Ипатьевском монастыре и во дворце Михаила Федоровича» (Н. Г. Чернышевский. Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I, стр. 145).

[2] «Рыбаки» Григоровича были напечатаны в «Современнике» 1853, №№ 3, 5, 6 и 9 и в том же году вышли отдельным изданием. Отзывы Добролюбова об этом произведении неизвестны.

[3] О ком идет речь — не установлено.

[4] Что имеет в виду Добролюбов — неясно.

[5] Александр Анемподистович *Радонежский* (ум. после 1911 г.) — товарищ Добролюбова по Главному педагогическому институту, впоследствии видный петербургский педагог и реакционный чиновник Министерства народного просвещения. Его воспоминания о Добролюбове см. в «Современнике», 1862, № 1, стр. 301—309.

2

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

В начале 1858 г. редакция «Современника» заключила с Добролюбовым условие, по которому он должен был читать вторые корректуры журнала. Публикуемая записка связана именно с этой работой Добролюбова в «Современнике».

Печатается по автографу ЦГАЛИ (ф. 166, ед. хр. 8, л. 1).

〈Петербург. Март 1858 г.〉

Николай Гаврилович! Я не имею понятия о русском правописании английских имен. Сделайте милость, просмотрите статью о Вашингтоне в тех местах, где сбоку поставлено NB[1]. В первой форме их особенно много. А кстати — и полюбуйтесь на эту ерунду, превосходящую все о чем вы имеете понятие из «Писем об Испании»[2]. Как бы хорошо было из первого листа вычеркнуть страниц 15!

[1] Речь идет о статье А. Б. Лакиера — «Конгресс в Вашингтоне в 1857 году», напечатанной в № 4 «Современника» 1858 г. Статья эта Добролюбову не нравилась. Однако отвергнуть материал, принадлежавший перу зятя владельца «Современника» П. А. Плетнева, было невозможно, и скрепя сердце пришлось согласиться на помещение статьи.

[2] Характерен выпад Добролюбова против вышедших в 1857 г. отдельным изданием «Писем об Испании» В. П. Боткина. В № 2 «Современника» 1857 г. Чернышевский напечатал на эту книгу обширную рецензию, являвшуюся скрытой полемикой с высказываниями теоретика из лагеря «чистого искусства» (Чернышевский, т. IV, стр. 222—245).

3

В. А. ФЕДОРОВСКОМУ

Василий Александрович *Федоровский* — автор статьи «Подольско-витебский откуп», напечатанной в мартовской книжке «Современника» 1859 г. Публикуемая записка Добролюбова является ответом на просьбу Федоровского о выплате гонорара за эту статью (см. «Лит. наследство», т. 25-26, 1936, стр. 266). Записку Федоровского Добролюбов переслал И. А. Панаеву, написав на обороте ее просьбу о высылке денег (там же, стр. 261). Настоящая записка датируется на основании числа в записке Федоровского — 9 апреля.

Печатается по автографу ГИМ (ф. 282, ед. хр. 319, л. 1).—Сообщено Л. Р. Ланским.

〈Петербург. 9—10 апреля 1859 г.〉

Василий Александрович, мы давно дивились, что о вас нет ни слуху, ни духу, и уже редакция собиралась отправить сама к вам деньги, для чего и вытребовала от меня на днях ваш адрес. Если до сих пор вы их не получили, так это потому, что на этих днях были хлопоты с выходом новой книжки журнала.

Деньги вы можете получить от Ипполита Александровича Панаева, живущего на углу Загородного проспекта и Подольской улицы, против Технологического института, в доме Кузьмина. Застать его можете завтра утром.

Готовый к услугам ваш

Н. Добролюбов

Василий Иваныч[1] всё собирался к вам, но сделался болен и теперь никуда не выходит. Мы надеемся, что вы нас посетите на праздниках.

[1] *Василий Иванович* — дядя Н. А. Добролюбова, переехавший к нему из Нижнего-Новгорода в январе 1859 г.

4

Н. В. ГЕРБЕЛЮ

Николай Васильевич *Гербель* (1827—1883), поэт-переводчик, сотрудник «Современника». Публикуемая записка связана с предоставлением Гербелем Добролюбову во временное пользование какого-то «листка», определить который не представляется возможным.

Печатается по автографу ГПБ (альбом Н. В. Гербеля, л. 111).

〈Петербург. Июль — декабрь 1859 г.〉[1]

Извините, пожалуйста, Николай Васильевич, что я вам ранее не возвратил ваш листок. Это произошло оттого, что я не знал вашего адреса. Возвращая его теперь, прошу вас принять выражение моей искренней благодарности за ваше одолжение.

Ваш Н. Добролюбов

[1] Дата проставлена рукой Гербеля.

5

А. С. ГАЛАХОВУ

Алексей Сергеевич *Галахов* — ученик Добролюбова, сын камергера С. П. Галахова, жена которого, Наталья Алексеевна (рожд. Пещурова), приходилась сестрой жене председателя палаты нижегородского гражданского суда кн. В. А. Трубецкого. Трубецкие жили в доме отца Добролюбова и после его смерти были попечителями малолетних сестер и братьев Добролюбова. Семья Галаховых, гостеприимная и культурная, интересовалась политикой. Многочисленные гости Галаховых, с которыми Добролюбов встречался, являлись для него источником ценной информации, помещавшейся в подпольной институтской газете «Слухи» (1855 г.).

Печатается по автографу ЦГАЛИ (ф. 166, оп. 1, ед. хр. 59).

〈Петербург.〉 Суббота
〈Начало марта — середина мая 1860 г.〉

Любезнейший Алексей Сергеевич, посылаю вам первую часть Шевырева, вторую достану на днях. Чтó не нужно читать, я отметил карандашом в оглавлении каждой лекции; вторую можете не читать вовсе[1].

Я к вам не могу сам придти, потому что у меня обедает один из моих приятелей. Завтра, если успею, забегу к вам утром; обедать же буду у Кавелина[2], в понедельник тоже почти весь день на именинах у одного благоприятеля[3]. Во вторник увижусь с вами во всяком случае.

Ваш Н. Добролюбов

Алексею Сергеевичу Галахову

[1] Вероятно, «Историю русской словесности» С. П. Шевырева. 2-е издание первого тома вышло в Москве в 1859 г., второй том вышел в марте 1860г. (ценз. разр. 1 марта). Соответственно определяется и дата письма, написанного до отъезда Добролюбова за границу. Чернышевский еще в 1850 г. в письме к М. Л. Михайлову называл эту книгу «мерзейшей 〈...〉 какая есть на свете» (Чернышевский, т. XIV, стр. 211). Добролюбов в № 2 «Современника» 1859 г. напечатал резко отрицательную рецензию на 3-ю часть «Истории русской словесности», однако книга Шевырева была принята в учебных заведениях в качестве официального руководства, чем и объясняется посылка ее Добролюбовым своему ученику.

[2] Сыну К. Д. Кавелина — Мите (1847—1861) Добролюбов давал уроки в 1858—1860 гг., до своего отъезда за границу.

[3] О ком идет речь — не установлено

6

М. А. МАРКОВИЧ (МАРКО ВОВЧОК)

Добролюбов познакомился с *М. А Маркович* (1834—1907) в начале мая 1861 г в Неаполе. Незадолго до этого, в сентябрьской книжке «Современника» 1860 г. он напечатал статью о ее рассказах «Черты для характеристики русского простонародья», в которой показал, «насколько ⟨...⟩ верно и живо воспроизведены автором русские характеры, насколько обширно значение тех явлений, которых он коснулся» (II, 307).

No. Мужеска пола.	No. Женска пола.	У кого кто родился.	Числа Крещенія.	Кто были воспріемники.
3.		Двадцать четвертого числа Знаменской церкви у Священника Александра Иванова Добролюбова и законной жены его Зинаиды Васильевой родился сын Николай. Молитвовал [illegible] и крестил [illegible] Кафедрального Собора [illegible]	28.	[illegible] и кавалер Димитрий Иванович [illegible] и титулярного советника кавалера Петра [illegible] Елисавета Васильевна. При крещении были [illegible] Николай [illegible] Пономарь Григорий Петров.

ЗАПИСЬ В МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГЕ НИКОЛАЕВСКОЙ ВЕРХНЕПОСАДСКОЙ ЦЕРКВИ В НИЖНЕМ-НОВГОРОДЕ С ДАТОЙ РОЖДЕНИЯ ДОБРОЛЮБОВА: «24 ЯНВАРЯ 1836 г.»

Архив Горьковской области

«Длинно, но хорошо»,— отозвался об этой статье Добролюбова Герцен (Герцен, т. X, стр. 444). Добролюбову принадлежит и рецензия на «Украинские народные рассказы Марка Вовчка», напечатанная в № 5 «Современника» 1859 г. (см. стр. 264—266 настоящего тома).

Знакомство М. А. Маркович и Добролюбова быстро перешло в дружбу, которая имела большое значение для писательницы. В 1887 г. она вспоминала: «Знакомство с Добролюбовым было ⟨...⟩ недолгое, но воспоминаний оставило много, и я могла бы многое рассказать о нем, хотя видались мы всего какой-нибудь месяц или два. Он обращал меня, что называется, в свою веру и много говорил — говорил о всем и всех. Предупреждаю, что отзывы его о многих, которые пользуются „симпатиями русской публики“, были более чем непочтительны. Особенно горько и язвительно осмеивал он Тургенева. Много говорил о Некрасове, Чернышевском. Одним словом, открыл мне глаза на многое и многих» (Письмо к сыну.—«Твори», 1928, т. IV, стр. 461; ср. стр. 409—423).

Публикуемое письмо, относящееся к последним месяцам жизни Добролюбова, является еще одним свидетельством их дружбы. Это ответ на августовское письмо М. А. Маркович, в котором она, между прочим, писала: «Вчера я послала работу на имя Николая Гавриловича ⟨...⟩, вторую часть я пришлю к октябрю ⟨...⟩ Начало работы, что я дала вам в Неаполе, будет пусть у вас пока — когда кончу я тоже отдам вам, если захотите. Что делается с Белозерским ⟨...⟩ что помешало ему выслать мне деньги? Вышлет ли их?» (там же, стр. 412; ср. стр. 413—415).

Печатается по автографу ГПБ (собрание П. Л. Вакселя, № 1520а).

23 августа 1861 г. СПб.

⟨П⟩осылка* ваша шла долго: только ⟨тре⟩тьего дня получил я ее. Если у в⟨ас⟩ написана уже вся повесть, то хорошо бы всю напечатать в одной книжке; времени еще довольно,— недели две можно подождать свободно, а то и больше. По цензуре, мне кажется, «Три сестры» совершенно безопасны, и прочтутся не без удовольствия[1].

От Белозерского получил сегодня записку, которую и прилагаю в подлиннике. Говорил я вам, что когда у человека денег нет, то с ним ничего не сделаешь...[2]

Курс наш очень низок: 354 на 15 дней. Вот почему вы получаете следующие вам деньги с таким урезком. По скорости времени нельзя было устроить иначе, но на будущее время, если посылки не будут так торопливы, надо бы придумать какое-нибудь другое средство для пересылки. Не знаете ли вы какого-нибудь?

Присылайте, пожалуйста, вашу ⟨повесть⟩, т. е. конец ее: тогда я буду и⟨меть⟩ право *требовать* из редакции высылки вам денег.

Ваш Н. Добролюбов

Сообщите ваш адрес, а то ведь Париж не Неаполь, не ходите же вы каждый день справляться на почту.

[1] Повесть «Жили да были три сестры» Марка Вовчка была напечатана в №№ 9 и 11 «Современника» 1861 г.

[2] Василий Михайлович *Белозерский* (1823—1899) — издатель и редактор «Южнорусского литературного ученого вестника» — «Основа» (1861—1862), украинофильский деятель либерального лагеря. Записка его, о которой упоминает Добролюбов, неизвестна.

* В ломаных скобках нами восстановлены оборванные края письма. — *С. Р.*

ДОБРОЛЮБОВ О ГЕРЦЕНЕ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ К. В. ЛАВРСКОГО

Публикация В. Э. Бограда

Автор печатаемого ниже мемуарного отрывка — Константин Викторович *Лаврский* (1844— после 1913)—родной брат близкого друга Добролюбова по нижегородской семинарии, Виктора Лаврского, студент Казанского университета, участник революционного движения.

Арестованный в мае 1863 г. по известному делу о «Казанском заговоре», К. В. Лаврский вскоре заболел и был помещен в больницу. Здесь, в заключении, и возникла та рукопись, фрагмент из которой публикуется ниже. Рукопись называется «Отрывочные воспоминания о детстве...». В конце ее дата: «Ноябрь 10. 1863 г. Казань. Казанский госпиталь» (ЦГИАЛ, ф. 1101, оп. 1, ед. хр. 679, лл. 35 об.— 36).

Мы публикуем из рукописи Лаврского небольшой отрывок, в котором он сообщает весьма любопытные подробности о встрече своей с Добролюбовым после возвращения того из-за границы. Здесь Лаврский приводит высказывания критика о Герцене, вносящие новые детали в историю взаимоотношений обоих революционных деятелей, которая является до последнего времени предметом продолжительных научных споров, отчасти из-за недостатка фактических данных.

Отметим, что в 1893 г. в связи с тридцатидвухлетней годовщиной со дня смерти Добролюбова Лаврский напечатал в «Волжском вестнике», под псевдонимом «Сверчок» (№ 297, от 18 ноября), статью «Мысли вслух», в которой он следующим образом рассказывал о своей встрече с критиком:

«Пишущий эти строки имел случай встретиться с Д⟨обролюбовым⟩ незадолго до его смерти ⟨...⟩ Это было в конце июля или в начале августа 1861 года. Возвращаясь из-за границы, Добролюбов на несколько дней заезжал повидаться со своими родными в Нижний-Новгород. Я узнал о его приезде от своей няньки, которая сообщила мне, что „приходил Николай Александрович — спрашивал В. В." (моего старшего брата, с которым был товарищ по семинарии). Я решил воспользоваться случаем увидеть Д⟨обролюбова⟩. Он встретил меня очень приветливо, и я могу засвидетельствовать, что общеизвестный его портрет, приложенный при собрании его сочинений, дает о лице Д⟨обролюбова⟩ совершенно неверное представление. Живая, подвижная физиономия, что-то ласковое и любящее в светлых глазах, мягкая улыбка,— все это делало Д⟨обролюбова⟩ чрезвычайно привлекательным, несмотря на некрасивый облик его лица. Д⟨обролюбов⟩ расспрашивал меня немного о Казанском университете и студенчестве, но эту часть разговора я совсем не помню. Помню только, что он скоро перешел к литературным интересам и тотчас же оживился, коснувшись этой темы ⟨...⟩ На свое здоровье он не жаловался, и я не подозревал, что ему осталось жить еще лишь несколько месяцев...»

Публикуемый ниже по рукописи 1863 г. рассказ Лаврского более подробен и представляет несравненно больший интерес.

ИЗ РУКОПИСИ К. В. ЛАВРСКОГО «ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ...»

«Какой я чести удостоилась,— встретила меня этими словами нянька, которая одна в то время домовничала со мной в доме: семейство еще не возвратилось из Москвы с могилы отца; — какой я чести удостоилась,— говорила нянька с сияющим лицом,— пришел и поцеловал; „я, говорит, тебя, нянюшка, помню“; я сказала, что Валерьяна Викторовича еще нет, так он вам велел придти!» — «Да кто же такой?» — «Да я не знаю как фамилия-то, вы говорили — что он на всю Расею известен, а меня, ну-ка ты, поцеловал старуху!» — «Неужели Добролюбов?»— «Он, он, идите к нему, он завтра уедет».— Дело в том, что Н. А. Добролюбов был товарищем брата в детстве и, проезжая из-за границы в Петербург, заехал в Нижний повидаться с родными и тем доставил мне случай повидаться, как я был уверен, с великим человеком. Отчасти со слов Ивана Ивановича, отчасти по собственным рассуждениям, я в то время считал Добролюбова выше Белинского и, может быть, под влиянием того, что был ему согражданин, верил вполне в бессмертность его славы. Я забыл 30 верст и ту же минуту отправился к нему; не берусь описывать что я чувствовал, когда стоял лицом к лицу с автором «Темного царства», с творцом знаменитого «Свистка», мутившего покой всей русской литературы. Совершенно ничего нельзя найти было в его наружности, что бы напоминало в нем резкого, колкого критика и сатирика; в манерах, в голосе, из лица, уже говорившего о близкой смерти,— виден был человек нервно-чувствительный, с чрезвычайно развитым сердцем и как будто придавленный горем. Поговоривши немного о литературе, о том, что он задумал писать (и действительно написал), Добролюбов заметил несколько номеров «Колокола», лежавших на столе, и заговорил о политике. Наверно могу сказать, что ни в одной его мысли я не думал сомневаться, ни с одним из его положений не думал не соглашаться; предо мной говорил «великий человек», «предводитель нескольких поколений» — и довольно. И странное дело, точно он знал, какие мысли тревожили меня: он говорил о том, что на дело Герцена и К° должно смотреть серьезно, не удовлетворяться либеральными фразами, что у нас много слов, но нет вовсе дела, что это дело, наконец, требует и достойно того, чтобы ему посвятить жизнь и глядеть на него не слегка, но как на задачу жизни. Было очень ясно, что человек говорит с глубоким чувством, без всякого шарлатанства,— и тем были убедительней, или, вернее будет сказать, тем глубже западали мне в душу его слова. И моя серьезность и самостоятельность, еще не проявившись,— уже нашли себе дорогу.

Я приехал в Казань на второй курс во многом не таков, как уехал из нее: благодаря встрече с Добролюбовым — я ревностно принялся за науку, но... меня побуждала к этому «серьезная задача жизни»; я перестал увлекаться шумной жизнью читальной комнаты, но... потому, что видел в ней непонимание «серьезной задачи жизни», пустяки, на которую напрасно тратили энергию и время...

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАНИФЕСТ» САЛТЫКОВА

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЦЕНЗУРОЙ СТАТЬЯ О КОЛЬЦОВЕ (1856 г.)

Статья и публикация В. Э. Бограда

Названием настоящей публикации определяется общее значение печатаемого ниже замечательного документа — доцензурной редакции статьи Салтыкова о Кольцове. Эта первая по возвращении из вятской ссылки работа Салтыкова с полным основанием может быть отнесена к числу его наиболее важных и ярких выступлений в области теории литературы.

Лишь в 1930 г. впервые документально было установлено, что напечатанная в конце 1856 г. в № 22 «Русского вестника», за подписью «М. С.», статья о втором издании стихотворений Кольцова принадлежит Салтыкову (см. в книге «Тургенев и круг „Современника"». М.— Л., Academia, 1930, стр. 303 и 309). В 1937 г. статья была включена в Полное собрание сочинений сатирика (V, 21—38*). Однако история создания статьи и ее публикации в «Русском вестнике» осталась неизученной.

В 1948 г. в серии «Летописи Государственного литературного музея» (вып. 9) вышел в свет сборник «Письма к А. В. Дружинину». Из этих писем впервые стало известно, что статья Салтыкова о Кольцове была написана не осенью, а летом 1856 г. и предназначалась не для «Русского вестника», а для августовской книжки «Библиотеки для чтения», но не появилась в этом журнале. Как видно из письма Вл. Н. Майкова к Дружинину от 31 июля 1856 г., статью Салтыкова помешал напечатать редактор-издатель «Библиотеки для чтения» А. В. Старчевский. «Можно бы было лучше состряпать книжку,— сообщал Майков Дружинину,— если бы я не был связан гнусным присутствием в журнале Старчевского,— не потому, что он что-нибудь делает, т. е. трудится по журналу,—нет, он ничего не делает, а портит дело тем, что смущает разные лица, в том числе и доброго старичину Лажечникова. Статья Салтыкова запрещена: я уверен, что это дело рук Старчевского, который написал Печаткину, что такие статьи перевернут все вверх дном, погубят журнал и что он за такие статьи (а эта, не забудьте, уже была смягчена) не отвечает. Мне неловко было отправляться к цензору, так как я не официальное лицо, а Старчевский, как редактор, мог бы внести статью в Комитет, где она, еще раз исправленная автором,— прошла бы непременно» (указ. изд., стр. 200—201).

О том, что речь шла именно о статье Салтыкова о Кольцове, видно из письма Е. Я. Колбасина к Дружинину от 16 августа 1856 г.: «Салтыкова разбор о „Кольцове" Лажечников, сей благодушный старец, не пропустил» (там же, стр. 156).

В письме к Дружинину Печаткин писал: «Но я забыл второпях уведомить вас, что критика г. Салтыкова, набранная на август, после больших переделок и просьб самого автора запрещена цензором; я предлагал г. Салтыкову представить ⟨статью⟩ в Комитет, но он почему-то не захотел...» (там же, стр. 248). Этим очевидно и объясняется тот факт, что в делах Петербургского цензурного комитета не удалось

* В разделе «Салтыков-Щедрин» все ссылки на его тексты даются по Полному собранию сочинений в 20-ти томах (М., Гослитиздат, 1933—1939) с указанием только томов (римскими цифрами) и страниц (арабскими).

обнаружить не только рукописи запрещенной статьи, но и каких-либо сведений о ее поступлении. Она не упоминается в «Журнале заседаний С.-Петербургского цензурного комитета» и не числится в «Реестре» рукописей, поступивших в Комитет (ЦГИАЛ; ф. 777, оп. 27, №№ 47 и 216).

Авторская рукопись статьи Салтыкова о Кольцове по-прежнему остается неизвестной и по сей день. Но нам посчастливилось найти в бумагах И. А. Шляпкина, хранящихся в Литературном архиве в Москве, корректурные гранки набора статьи, изготовленного по заказу «Библиотеки для чтения» (ЦГАЛИ, ф. 1296, оп. 2, ед. хр. 32, лл. 4—35). На гранках пометки цензора — писателя И. И. Лажечникова — и правка Салтыкова. Гранки наклеены на листы белой бумаги и переплетены в виде книги. В книгу вшит экслибрис П. А. Ефремова, которому принадлежали гранки и от которого они поступили к Шляпкину. Из хранящихся в том же деле материалов видно, что Ефремов на основании каких-то имевшихся в его распоряжении сведений считал автором статьи Добролюбова. По этому вопросу Шляпкин обратился за консультацией к М. К. Лемке. В письме от 22 октября 1910 г. Лемке отрицает предполагаемое авторство Добролюбова. «Мысли высказываются, правда, похожие на Добролюбова,— пишет Лемке,— но они прежде всего похожи на диссертацию Чернышевского, которая произвела впечатление не только на Добролюбова». Далее Лемке подробно аргументирует, почему Добролюбов не мог быть автором этой статьи. Но авторство Салтыкова осталось ему неизвестным.

На гранках имеются три надписи: 1) на л. 1: «№ 8 „Библиотеки для чтения" 21 июля»; 2) на л. 7: «Статья эта не может быть пропущена. Цензор И. Лажечников. 24 июня 1856» и 3) на л. 28 об.: «Отд. II „Библиотеки для чтения" № 8-й. *Исправленное автором*. Г. ценсору Лажечникову». Последняя надпись свидетельствует о том, что корректура была у Лажечникова дважды. Первый раз Лажечников подчеркнул или отметил на полях вопросами все сомнительные с его точки зрения места. Затем корректура вернулась к Салтыкову, и он внес в текст, на основании замечаний Лажечникова, ряд изменений, сокращений и дополнений. Тем не менее, ознакомившись с работой автора по «смягчению» статьи, Лажечников под давлением Старчевского все же запретил ее.

Таким образом, сохранившиеся в бумагах Шляпкина корректурные гранки содержат одновременно и публикуемую ниже первоначальную авторскую редакцию статьи (если читать только наборный текст, без учета внесенных рукописных изменений), и редакцию, смягченную Салтыковым по требованию цензора.

Вскоре после этого статья о Кольцове в значительно сокращенном виде (за подписью «М. С.») появилась, как сказано, на страницах «Русского вестника». В печати не оказалось всей вводной части, содержавшей эстетическую декларацию автора и предшествовавшей конкретному разбору стихотворений Кольцова. Опубликованная часть статьи, в сравнении с найденным корректурным текстом, также претерпела некоторые изменения. Так, был изъят, в частности, абзац, посвященный характеристике «прискорбного» «положения русского литератора», из которого «вампир журнализма» «высасывает весь талант». В другом месте, отмечая достоинства описаний природы и подчеркивая гуманизм Кольцова, Салтыков писал: «При всем уважении к таланту г. Аксакова, нельзя не сознаться, что его великолепные картины природы как-то подавляют читателя». Эта фраза также не вошла в опубликованный текст статьи.

Ниже печатается полный текст доцензурной редакции статьи Салтыкова о Кольцове. В подстрочных примечаниях оговорены все изменения, внесенные Салтыковым применительно к замечаниям цензора Лажечникова.

* * *

Чтобы правильно судить о месте статьи Салтыкова в историческом развитии эстетической мысли русской демократии шестидесятых годов, следует помнить, что она написана *до выступления в печати Добролюбова и одновременно с первыми литературно-критическими опытами Чернышевского* («Об искренности в критике», статьи об Авдееве и Евгении Тур) и немного позже его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности».

В этом замечательном документе, свидетельствующем о верности Салтыкова заветам Белинского и отмеченном живым интересом автора к упомянутой диссертации Чернышевского, вместе с тем со всей силой сказались самобытность и оригинальность Салтыкова, глубина и своеобразие его теоретической мысли и тот дух борьбы, которым проникнуто все его творчество. Статья о Кольцове действительно является «литературным манифестом» возвратившегося из ссылки и возобновившего свою творческую работу писателя. Основные положения этой эстетической декларации Салтыков будет развивать на протяжении всей своей последующей литературной деятельности.

Обогащенный жизненными наблюдениями вятской ссылки, полный сил и неутолимой жажды практической деятельности, оптимистической веры в историческое будущее своей родины, возвратился Салтыков в Петербург. Он с неослабным вниманием следит за начинавшимся демократическим подъемом в стране и стремится найти свое собственное место в этом движении.

И если «Губернские очерки», с которыми готовился в это время выступить писатель, показали скоро, как далеко шагнул Салтыков за семилетие ссылки по пути реализма и демократизма в своем художественном творчестве, то о том же — в области теории — свидетельствовала статья о Кольцове. Нужно было решительно стать на сторону народа в его освободительной борьбе, чтобы так понимать и формулировать задачи литературы и искусства, как это сделано в статье о Кольцове. Таким образом, окончание ссылки знаменовало собой новое рождение не только Салтыкова-художника, но и Салтыкова — теоретика литературы.

Выбор стихотворений Кольцова как предмета для критического разбора, позволяющего сделать ряд широких обобщений в области теоретических взглядов на литературу и искусство в целом, разумеется, не был случайным. Важную роль при этом сыграл тот факт, что Салтыков,— как это отметил в своем исследовании С. А. Макашин,— именно «в Вятке впервые формулирует свою концепцию, констатирующую тяжкую непробужденность народа („младенчески неразвит“), но и выражающую одновременно глубочайшую веру в народ, как в решающую силу исторического процесса и своего грядущего революционного освобождения („рано или поздно народ разобьет это прокрустово ложе, которое лишь бесполезно мучило его“)» (С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, изд. 2. М., 1951, стр. 480). Произведения Кольцова тем и привлекли сатирика, что подтверждали справедливость его собственных наблюдений и выводов. Такое восприятие поэзии Кольцова весьма характерно для демократической части русского общества того времени. Его прекрасно выразил Герцен: «...можно ли сомневаться в существовании находящихся в зародыше сил, когда из самых глубин нации зазвучал такой голос, как голос Кольцова?» (Герцен АН, т. VII, стр. 226).

При выборе произведений Кольцова предметом критической статьи определенное значение имело для Салтыкова и то, что книжке стихотворений поэта в ее первом издании 1846 г. была предпослана большая статья Белинского. Высказывая свое отношение к ней, Салтыков имел возможность заявить и о том, что оценка Белинского была верна для своего времени, и о том, что в новую эпоху ею уже нельзя ограничиться.

Отдавая должное замечательной статье своего идейного учителя, Салтыков вместе с тем отмечает: «Интерес статьи Белинского чисто биографический, и с этой стороны она не оставляет желать ничего лучшего; но оценка таланта Кольцова носит характер исключительно эстетический, и с этой точки зрения едва ли достаточна». Как видим, Салтыков подчеркивает здесь необходимость большего внимания к общественно-политическим моментам в оценке творчества Кольцова. Салтыков разоблачает далее идеалистическую эстетику, отрывавшую литературу от жизни, отрицавшую за ней общественное значение. Однако в своих критических замечаниях в адрес статьи Белинского Салтыков несправедливо приписывал Белинскому солидарность с такими эстетическими представлениями, которые отводят «искусству область внеобщественную и, следовательно, фантастическую»

Важное место занимает в статье Салтыкова полемика, с одной стороны, с теорией «искусства для искусства», а с другой — с реакционной теорией официальной

народности и связанной с ней славянофильской пропагандой национальной исключительности искусства. Конкретными предметами спора являются в первом случае — программная статья П. В. Анненкова «О значении художественных произведений для общества» («Русский вестник», 1856, февраль, кн. 2), во втором — статья Т. И. Филиппова «Не так живи, как хочется» («Русская беседа», 1856, № 1).

Обобщающий характер статьи Анненкова подчеркнут в его позднейших «Воспоминаниях и критических очерках» (Отдел второй. СПб., 1879). В предисловии М. М. Стасюлевича к этому изданию (стр. VI) сказано, что все предлагаемые вниманию читателя статьи расположены по хронологическому принципу — за единственным исключением, которое сделано для статьи «О значении художественных произведений для общества», открывающей раздел критики

Такое отступление от хронологии мотивируется тем, что эта статья «представляет собою тему общего содержания и может, таким образом, служить как бы предисловием ко всему второму отделу».

Основная цель статьи Анненкова — доказать, что «стремление к чистой художественности в искусстве должно быть не только допущено у нас, но сильно возбуждено и проповедуемо как правило, без которого влияние литературы на общество совершенно невозможно» (там же, стр. 12).

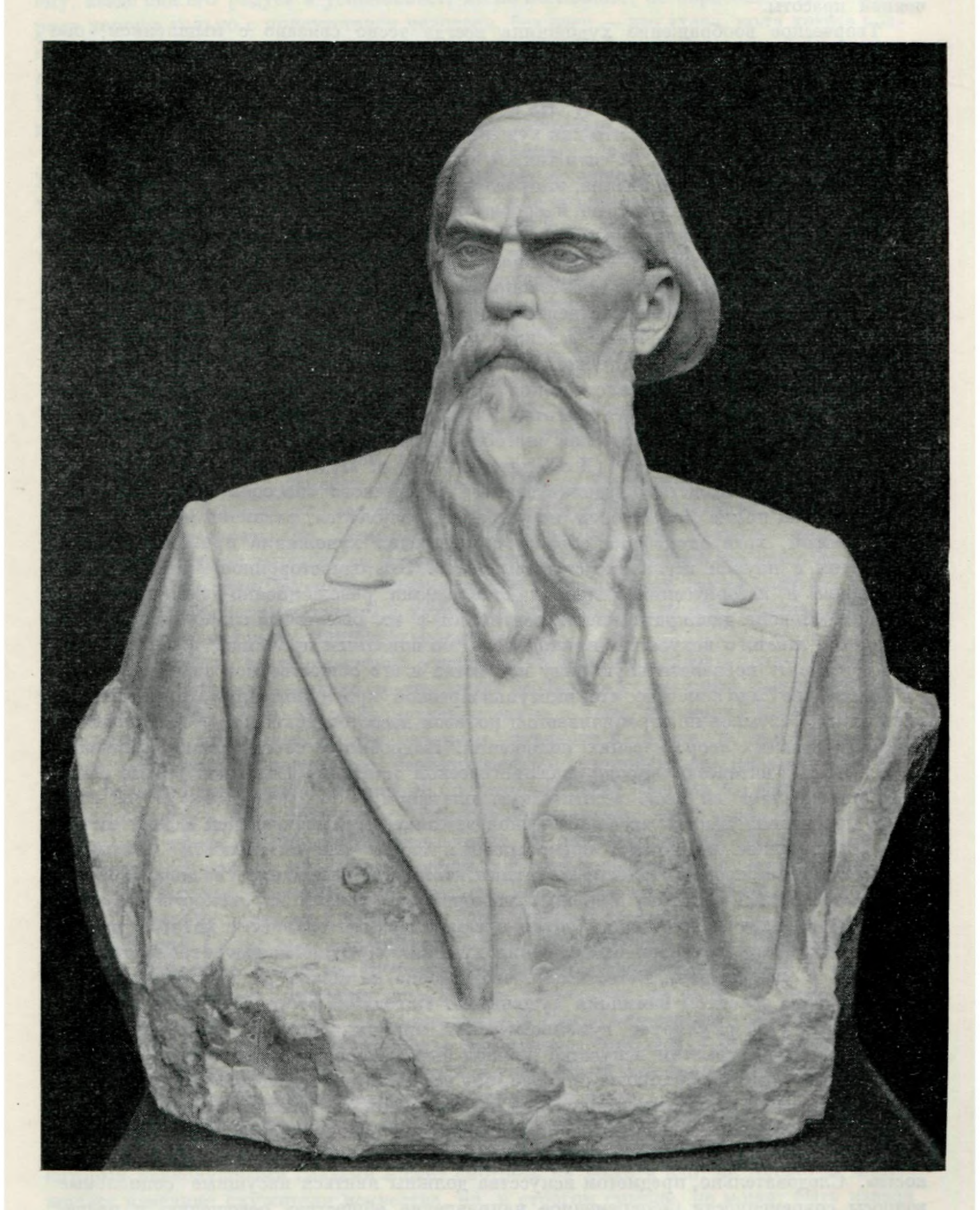
Анненков защищал теорию «искусства для искусства» и выступал против основных положений складывающейся материалистической эстетики, высшим достижением которой для того времени являлась диссертация Чернышевского. Анненков писал, прямо полемизируя с Чернышевским: «Искание художественности в искусстве считает она ⟨эстетика материалистов.— *В. Б.*⟩ забавой людей, имеющих досуг на забавы, а проявление его — игрой форм, потешающих ухо, глаз, воображение, но не более. Наравне с таким искусством или даже выше его ставит она благородный поступок, полезную мысль, а наконец, видимую природу и действительного человека. Предметы точно велики, и можно еще понять отрицание искусства в пользу их, но критика не хочет и слышать об исключении искусства. Что бы она тогда стала делать сама? Напротив, она призывает искусство заниматься своими великими предметами, но на условии заниматься ими исключительно и при том так, чтоб не выставлять себя вместо их, не заслонять их собою и всегда помнить и сознаваться, что они ниже темы, ею взятой» (там же, стр. 11).

Анненков ставит вопрос о соотношении «творческой фантазии» художника с «действительными предметами», которые он созерцает и которые, по признанию Анненкова, в некоторой степени служат основанием для художественного творчества. Анненков так представляет творческий процесс: отправляясь от впечатлений реального мира, художник создает свой особый более ценный мир; поэтому решающая роль в создании художественного произведения принадлежит не знанию действительности, а фантазии.

Полемизируя с Анненковым, Салтыков заявляет себя сторонником эстетики Чернышевского. Идеалистические же утверждения Анненкова дают ему повод следующим образом отозваться о его статье в частном письме к Дружинину, относящемся к тому времени, когда писалась статья о Кольцове: «Возвращаю вам 4 № „Русского вестника“; там есть статья Анненкова, которая вам будет очень приятна, потому что она заключает в себе теорию сошествия святого духа» (XVIII, 127).

Отводя преобладающую роль в художественном творчестве фантазии, Анненков совершенно зачеркивал значение анализа, будто бы являющегося методом одной лишь науки. Салтыков решительно восстает против анненковского идеалистического понимания фантазии и против предоставления ей приоритета в художественном творчестве. По словам Салтыкова, Анненков трактует творческий процесс как такое «состояние духа человеческого, в котором фантазия является силою самодеятельною, творящею вне пространства и времени».

Для Салтыкова же искусство — прежде всего общественное явление. Творческий процесс Салтыков понимает как сознательный труд художника, как деятельную и добросовестную разработку фактов, как одно из многочисленных проявлений познания и отражения человеком действительности. Для Салтыкова сущность искусства



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Бюст (мрамор) работы П. Ф. Мовчуна, 1952 г.
Музей украинского искусства, Киев

заключается в образном воспроизведении действительности, а не в создании отвлеченной красоты.

Творческое воображение художника всегда тесно связано с мышлением, оно неизбежно включает в себя анализ, возможность отличить существенное от несущественного, закономерное от случайного. Салтыков не противопоставляет научное познание познанию художественному. На первый план он выдвигает не различие между ними, а сходство, утверждая, что как художник, так и ученый имеют своим предметом реальную действительность. А если так, то «и художнику, и служителю науки равно и вовсе не случайно нужен анализ, эта разлагающая сила, которая лежит в основании не только искусства и науки, но и вообще всякого действия человеческого».

Если бы момент анализа не присутствовал в художественном творчестве, это означало бы,— пишет Салтыков,— что процесс создания художественного произведения бессознателен. Но анализ без синтеза превратился бы в бессмысленность, так как в этом случае исследовательская деятельность мысли не приходила бы ни к какому результату. Отсюда заключение: «...силы, присущие труду художника и труду ученого, в существе своем одни и те же, и мысль художественная, в действительности, не что иное, как мысль общечеловеческая». Формулировка эта поразительно близка к той, которую три года спустя в статье «Темное царство» даст Добролюбов: «В сущности, мыслящая сила и творческая способность обе равно присущи и равно необходимы — и философу и поэту» (Добролюбов, т. II, стр. 47).

Подчеркивая сходство художественного и научного способов познания мира, Салтыков, как позже Добролюбов, не устранял, разумеется, различия между наукой и искусством, хотя специфика образного мышления художника при столь тесном сближении с наукой несколько стушевывалась. Эта односторонность находит себе объяснение в исторических условиях становления революционно-демократической эстетики. Нашим демократам-шестидесятникам в их ожесточенных спорах со сторонниками «чистого искусства» приходилось, по понятным причинам, в первую очередь отстаивать познавательную силу искусства и его общественное значение.

Выше уже было замечено, что, выступая с резкой критикой теории «искусства для искусства», Салтыков не ограничивается показом несостоятельности, оторванности от жизни ее главных теоретических положений. Подробно и обстоятельно разъясняя враждебность интересам народа идеалистической эстетики, Салтыков вместе с тем противопоставляет ей свою эстетическую платформу.

В противоположность идеалистической эстетике, ограничивающей задачу искусства восполнением недостатка прекрасного в самой действительности, Салтыков, согласно канонам просветительской эстетики, утверждает, что искусство должно объяснять «истину жизни, истину природы», мобилизуя все усилия на «искоренение зла». Интересы и задачи искусства покоятся в самой действительности, которая только одна и может быть объектом изображения художника. Однако действительность разнообразна и многогранна. Естественно, что вся она не может, да и не должна быть в равной мере объектом внимания художника. Исходя из этого, Салтыков вслед за Чернышевским формулирует гуманистический принцип своих эстетических взглядов: «...прямым предметом искусства должен быть человек». Что же касается природы, то «как бы ни была хороша природа, она все-таки второстепенный член в искусстве». Среди многообразных проявлений человеческой деятельности взгляд художника должен быть привлечен прежде всего к «достойнейшему предмету», под которым подразумевается «лишь такое явление, которое носит на себе все признаки современности». Следовательно, предметом искусства должны явиться насущные социальные вопросы современности, «современное направление общества», освещению и разрешению которых оно и обязано себя посвятить: «отчуждение от современных интересов и непонимание их» губит искусство, лишая его благородной и плодотворной роли в благоустройстве жизни народа. Содержание этого требования Салтыков раскрывает на примере творчества Кольцова — как выразителя передовых стремлений народных масс,— отмечая в первую очередь подлинно народный и художественный характер его произведений. Привлекая внимание читателя к тем стихотворениям поэта, «для которых предметом послужил упорный труд поселянина», основное достоинство их

Салтыков видит в том, что «везде человек на первом плане; везде природа служит ему, везде она его радует и успокаивает, но не поглощает, не порабощает его». Природа хороша только с присутствием человека, без него — это «хаос, коли хотите полный жизни, но все-таки не более как хаос». Только труд, преобразующий труд человека, творца природы, наполняет ее жизнью и смыслом. Поэтому «тем именно и велик Кольцов, тем и могуч талант его, что он никогда не привязывается к природе для природы, а везде видит человека, над нею парящего».

Категорически заявляя о необходимости примата современной общественной темы в искусстве, Салтыков вместе с тем не исключает возможность обращения художника к историческому сюжету. Предупреждая могущие возникнуть в связи с этим недоумения, он разъясняет: «История может иметь свой животрепещущий интерес, объясняя вам настоящее, как логическое последствие прежде прожитой жизни». Такое отношение к исторической теме как к объекту воплощения в художественном произведении актуальных проблем современности весьма характерно для Салтыкова и проявилось позднее в «Истории одного города» и «Пошехонской старине».

Опровергая впоследствии взгляд на «Историю одного города» как на историческую сатиру, Салтыков в письме к Пыпину разъяснял: «Историческая форма рассказа была для меня удобна, потому что позволяла мне свободнее обращаться к известным явлениям жизни» (XVIII, 233). Близость этого объяснения к формулировке, данной в статье о Кольцове, очевидна.

Тем не менее,— развивает дальше свою мысль Салтыков,— одного обращения к социальным вопросам современности еще недостаточно для создания подлинно реалистического произведения. Непременным условием при этом является искренность художника, которая выражается в полном и страстном сочувствии писателя идее произведения. Всем этим Салтыков оспаривал одно из положений теории «чистого искусства», согласно которому истинный художник будто бы всегда «бесстрастен» в отборе и изображении явлений действительности.

В качестве основания для таких утверждений было использовано то олимпийское спокойствие, которое «разлито в творениях великих художников каковы, напр., Гомер, Шекспир, Гёте». Останавливаясь в связи с этим кратко на творчестве Гёте и особенно на тех произведениях великого немецкого писателя, которые на первый взгляд действительно «поражают необыкновенным спокойствием, каким-то безучастием, которое равнодушно смотрит на проходящие перед глазами его явления, объясняя себе только связь и смысл их», Салтыков подчеркивает, что и в них «Гёте никогда не являлся чем-то своеобразным, отрешенным от окружавшей его среды, а был, напротив того, полнейшим выразителем одной из сторон народности германской». Спокойствие,— указывает Салтыков,— не следует смешивать с бесстрастием, «оно не что иное, как знание дела, результат ⟨...⟩ уяснительной работы».

Присущий Салтыкову исторический оптимизм сказался на трактовке и этого вопроса. Признавая со свойственным ему историческим идеализмом «добро» и «истину» вечными категориями, источник спокойствия художника он видит в сознании, что общий смысл явлений жизни, их направление «никогда не перестают быть разумными и что масса добра все-таки тяготеет над массою зла». Эта «сознательная уверенность и дает художнику право быть спокойным и употреблять все усилия, всю энергию на водворение в мире добра и истины и искоренение зла».

«Восхваляемое творческое бесстрастие,— утверждает Салтыков,— которое из учтивости называют беспристрастием, есть вещь человечески невозможная, и человек, который равнодушными глазами может смотреть на ложь и зло, не только не заслуживает названия служителя искусства, но, в строгом смысле, не может быть назван даже человеком». Не ограничиваясь этой репликой, столь характерной для страстной и гневной натуры сатирика, он подробно и обстоятельно, в строго логической последовательности, доказывает и обосновывает правоту своих выводов. Мировоззрение писателя,— категорически утверждает Салтыков,— так же как и всякого другого члена человеческого общества,— не находится «вне влияния страстей и внешнего мира»: «развитие художника есть продукт той же общественной среды, в которой он живет; он принимает все ее страсти, все ее стремления; одним словом, печать современности

вполне над ним тяготеет». Художник — не бесстрастный летописец; он должен быть «представителем *современной идеи* и *современных интересов* общества». Следовательно, создать реалистическое произведение, отражающее жизнь народа, его чаяния и стремления, может только прогрессивный художник, художник, обладающий передовым мировоззрением. Успешное выполнение этой задачи возможно лишь при условии «полного сочувствия» писателя идее произведения, «без чего невозможно обладание ею, невозможно выражение ее в живых и всем доступных формах».

Естественно, что заявления теоретиков «искусства для искусства» о «беспристрастии» художника полностью отрицаются: «Ипотеза чистого художника такой же абсурд, как ипотеза человека, для которого было бы возможно перестать быть человеком».

Примат общественной мысли в искусстве, искренность художника,— замечает Салтыков,— еще до конца не обеспечивают выполнение стоящих перед современной литературой задач. Для более полного достижения этой цели необходимо еще одно условие. Развивая высказанное Чернышевским в «Эстетических отношениях искусства к действительности» требование, что задачей искусства является «объяснение жизни, приговор о ее явлениях», Салтыков обогащает его важным теоретическим положением, предъявляя к художнику требование обязательной *результативности искусства*: «Каждое произведение искусства необходимо должно иметь свой результат и результат не отдаленный и косвенный, а близкий и непосредственный». Салтыков убежден, что произведение искусства должно иметь «последствием не только праздную забаву читателя, а тот внутренний переворот в совести его, который согласен с видами художника».

Речь идет, таким образом, о характере воздействия искусства, о его практической социальной функции. Результативность искусства — одновременно аналитического и синтетического, — по мысли Салтыкова, должна проявляться в тех или иных вполне справедливых выводах, которые вооружили бы народную массу истиной, в восстановлении которой она так страстно заинтересована.

«Каким путем,— указывает он,— достигается этот результат— отрицанием ли или исканием *положительных и идеальных сторон жизни* — это все равно; дело в том, что результат непременно должен быть — в противном случае искусство теряет весь свой благотворный характер и становится на степень простого акробатства».

Таким образом, художественное произведение, в котором отразились передовые идеи эпохи, активно воздействует на читателя, принимая тем самым прямое и непосредственное участие в деле служения благу родины.

Посвятив себя целиком искусству «отрицания»— сатире, Салтыков в равной мере признает возможным воздействие писателя на читателя не только путем сатиры, но и изображением «положительных и идеальных сторон жизни». Выбор того или иного пути зависит от свойств таланта художника. Поэтому безразлично, на какой из них встанет писатель. Вопрос в другом — в смелости и честности художника. Если он будет «отыскивать положительные стороны жизни там, где их нет», то не достигнет своей цели и погубит свой талант. В равной мере это относится и к сатире, которая *результативной* оказывается только тогда, когда «бьет по больному месту, когда она поражает не эксцентриков, а действительных представителей известного воззрения». Таким образом, объектом изображения сатирика могут быть только социально значимые, типические, а не второстепенные явления.

Допуская воздействие художника на читателя двумя путями, Салтыков полемизировал с Аполлоном Григорьевым, боровшимся с «отрицательным направлением» в русской литературе, то есть с направлением критического реализма, и противопоставлявшим ему свое «положительное» направление — славянофильское. Не имея при этом возможности игнорировать творчество таких выдающихся художников «отрицательного направления», как Гоголь и Островский, Аполлон Григорьев акцентировал в их творчестве не реалистическое изображение русской действительности, а те места в некоторых произведениях этих писателей, где они отдали дань славянофильским и реакционным утопиям. Так, например, Григорьев считал Островского писателем, сказавшим «новое слово» в русской литературе. Но это «новое слово» критик усматри-

вал в тех сторонах комедий Островского, где нашли свое отражение элементы прикрашивания русской действительности, ложная идеализация купеческого быта. Что же касается Гоголя, то в статье «Замечания об отношении современной критики к искусству» Григорьев заявлял: «Как бы ни малы мои собственные заслуги в русской литературе, но я позволю себе считать за заслугу одно: честное служение Гоголю при жизни и по смерти,— и я с гордостью повторю, что при появлении „Переписки с друзьями“ только две критических статьи отнеслись к Гоголю с прежним уважением — статья Степана Петровича Шевырева в „Москвитянине“ и моя — в издававшемся тогда „Московском городском листке“» («Москвитянин», 1855, № 13-14, стр. 121).

С вопросом об «отрицании» или «искании положительных и идеальных сторон жизни» Салтыков связывает защиту тенденции «наставительности» в искусстве. Защита идет в форме полемики с Анненковым.

В названной выше статье «О значении художественных произведений для общества» Анненков признавал художественными лишь те произведения, в которых, как отмечает Салтыков, Островский пытался «отыскивать положительные стороны жизни там, где их нет». Анненков призывал Островского отойти от «отрицательного направления». Подразумевая выступление Анненкова и Григорьева о Гоголе и Островском, Салтыков писал: «Восстают против непосредственной наставительности в произведениях искусства. Ссылаются в этом случае на Гоголя и на автора комедии „Свои люди— сочтемся“, говоря, что там, где они переставали быть чистыми художниками и являлись просто умными людьми, там, где хотели быть наставниками, они впадали в ошибки и утрачивали способность давать ясное выражение физиономиям. Упрек этот довольно справедлив в отношении к Гоголю и г. Островскому, но, говоря вообще, не имеет никакого основания. Свойство талантов этих двух писателей таково, что для них возможна роль наставников только путем отрицательным — путем сатиры». Гоголь «до тех только пор остается истинно великим художником, покуда относится к русской жизни в качестве простого исследователя», то есть до тех пор, пока верно отражает действительность. Островский только в тех произведениях остается художником-реалистом, когда «изображает истину жизни». Что же касается тех произведений писателя, в которых он «усиливался сказать новое слово, взятое не из жизни, а выдуманное», то они «не выдерживают самой снисходительной критики».

Политическая программа славянофилов нашла свое отражение и в их практике в области художественной литературы и литературной критики. Выступая совместно с теоретиками «чистого искусства» против «отрицательного направления» в литературе, славянофилы, в отличие от своих союзников, признавали, однако, примат общественной мысли в искусстве. Но они утверждали, что, обращаясь к действительности, художник должен отражать лишь «светлые стороны» жизни народа, характерным проявлением которых — в их представлении — были религиозность, покорность, терпение, патриархальные отношения крестьян с помещиками.

Пропаганде славянофильской теории национальной исключительности искусства посвятил свое выступление Т. И. Филиппов, который в упомянутой статье «Не так живи, как хочется», посвященной разбору одноименной пьесы Островского, проповедовал, что литература «должна нам представить не невольные житейские увлечения, а твердо сознанные начала». По его убеждению, создать подлинно народные произведения Островскому мешают «ложный стыд и робкие привычки, воспитанные в нем *натуральным* направлением». Призывая Островского и всю русскую литературу к «самобытности», Филиппов усматривал эту «самобытность» в таком характере творчества, которое означало нестерпимо фальшивую идеализацию крестьянской жизни, псевдонародность.

Салтыков чутко уловил, что выдвигаемое Филипповым требование «исключительно-национального направления в искусстве» на деле «ведет к вопросу о каком-то идеальном обращении художника к народной жизни», следствием которого и является славянофильская проповедь, что «в этой жизни нет (читай: *не должно быть*) ни диссонансов, ни фальшивых звуков». Отсюда — ложная идеализация прошлого, стремление отразить его в литературе. «В предрассудке и закоснелости,— замечал Салтыков,— свойственной всему малоразвитому, они видят не исторический и переходный факт,

а факт абсолютный, достойный уважения, знаменующий глубокую привязанность к преданиям старины».

Псевдонародность славянофильской литературы Салтыков иллюстрирует на примере одного из произведений Константина Аксакова, в котором наиболее отчетливо отразились взгляды автора на положение крепостных крестьян. Не называя ни имени Аксакова, ни заглавия его произведения, Салтыков писал: «В последнее время явилось драматическое представление, в котором изображается господин, помышляющий о введении между русскими крестьянами благотворительных хороводов и тому подобных нелепостей. Это, изволите видеть, сатира на тех, которые будто бы обращают глаза свои на Запад». Эти слова относятся к комедии Аксакова «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню», появившейся в печати отдельным приложением к № 1 «Русской беседы» 1856 г.

Герой этой комедии, богатый князь Луповицкий, постоянно проживающий в Париже, решил поехать на родину «сивилизовать своих крепостных». Для выполнения этой цели он запасается «всем, что вышло об России на французском языке» и приезжает в деревню, где пытается провести в жизнь свою программу. Долгое время оторванный от родины, мыслящий по-французски, князь Луповицкий не знает, да и не понимает ни жизни своего народа, ни его бесконечной мудрости, воплощением которой, согласно славянофильским взглядам автора, являются крестьянский мир и деревенский староста Антон. Шаг за шагом вскрывает староста несостоятельность, беспочвенность «сивилизационной прогрессы» барина. Изображенные Аксаковым крепостные не знают нужды и находятся в добрых отношениях со старостой и барином.

Глубоко враждебно относясь к славянофильской идеализации народа, Салтыков с иронией отзывается об этой комедии Аксакова, подчеркивая ее псевдонародный характер. С болью констатируя пассивность, стихийность и несознательность крестьянства, Салтыков воспринимает эти черты, как временные, исторически обусловленные, от которых народ избавится в будущем.

Народность искусства Салтыков прямо выводит из самой природы его и обосновывает это качество разъяснением сущности художественного творчества. С этой позиции он отвергает всякие иные представления о народности искусства. В решении этой сложной проблемы Салтыков показывает себя и глубоким мыслителем, и подлинным демократом, защитником масс. Дальнейший путь и дальнейшие успехи русского искусства он ставит в связь с народной жизнью. Трудовой народ, понимаемый «в смысле массы, в смысле коренного и основного населения известной страны», и его интересы — вот, по Салтыкову, единственно достойный объект искусства. Трудовой народ каждой страны является вместе с тем истинным представителем всего человечества. Все народы в целом имеют единый и общий идеал. И этот идеал — стремление к «материальному благосостоянию», стремление весьма естественное, так как «довольством материальным обеспечивается довольство духовное» и «первое служит источником всякой независимости, без которой нет сознания собственного достоинства, ни уважения к своей человеческой личности».

Трудно не заметить точек соприкосновения между этим положением и соответствующими тезисами «Эстетических отношений искусства к действительности» Чернышевского.

Но этот общечеловеческий идеал — стремление к счастью и свободе — у каждого народа выражается по-своему, в соответствии с его исторической судьбой. Салтыков подробно говорит об особых национальных путях борьбы за общечеловеческий идеал.

Мысль о том, что изображение угнетенной народной массы представляется почетнейшей задачей для художника, что эта тема открывает для него такие возможности, каких он не находит при изображении других слоев страны, Салтыков с исключительной настойчивостью отстаивал и как художник, и как критик, и как теоретик на протяжении всего своего творческого пути. Впервые с такой отчетливостью эта мысль была сформулирована в статье о Кольцове, в начале вступления Салтыкова в «большую литературу».

СТИХОТВОРЕНИЯ КОЛЬЦОВА*

Москва, 1856 г.

Новое издание стихотворений Кольцова не имеет никаких отличий от прежнего, явившегося десять лет тому назад.

О Кольцове было писано довольно; между прочим имеются две весьма замечательные статьи, из которых одна принадлежит покойному Белинскому, а другая Валериану Майкову. Тем не менее, мы не думаем, чтобы они вполне исчерпывали эту замечательную личность. Интерес статьи Белинского чисто биографический, и с этой стороны она не оставляет желать ничего лучшего; но оценка таланта Кольцова носит характер исключительно эстетический, и с этой точки зрения едва ли достаточна**. Что же касается до статьи Майкова, то, хоть и нельзя отрицать, что она имела, в свое время, большое значение по вопросам, в ней возбужденным, но Кольцова собственно все-таки касалась мало. Поэтому мы не думаем, чтобы голос наш об этом вполне русском поэте был лишним в русской критической литературе.

Прежде, однако ж, нежели мы приступим к самому Кольцову и его произведениям, считаем не лишним сказать несколько слов о том, что мы разумеем под словами «художественность» и «народность» — словами, с которыми нам не раз придется встретиться в продолжение настоящей статьи.

Вопросу о художественности дана в последнее время слишком обширная область. Он сделался чем-то вроде вопроса о трех знаменитых единствах. Что же разумеют под словом «художественность» наши эстетики? Это,— говорят одни,— та прирожденная сила, которая дает художнику возможность всецело обладать избранным предметом, проникать все его подробности и самому проникаться ими; одним словом, способность отожествляться с избранным предметом. Что же это за предмет? откуда он? приходит ли извне или порождается собственною фантазиею художника? Наконец, каким путем приходит художник к обладанию «избранным» предметом? На все эти вопросы мы не встречаем никакого положительного разъяснения. Можно, однако ж, догадываться, что творческою силою в художнике признается собственно сила созерцательная и что, следовательно, путь созерцания есть единственный, которым художник приходит к обладанию предметом. Таким образом, здесь сразу исключается из области искусства все добытое анализом; мало того, область анализа и область созерцания строго разграничиваются, так как первый составляет основу науки, второе—искусства ***. К такому же и даже еще более крайнему результату приходит и г. Майков в статье своей о Кольцове, напечатанной в «Отеч. записках» 1847 года. Он признает необходимость особой *художественной* мысли, отличной от мысли обыкновенной, общечеловеческой. «Чистая мысль,— говорит он,— есть вывод последствий из аксиомы или, по крайней мере, из того, что тот или другой принимает за несомненное; художественная мысль — не что иное, как чувство тожества, чувство общения какой бы то ни было действительности с человеком. Как всякое чувство, оно возникает бессознательно: *но может случиться и так, что художник успеет разложить его анализом и объяснить себе*

---

* *Слова, подчеркнутые цензором И. И. Лажечниковым, выделены разрядкой.*

** *Против подчеркнутых слов на полях Лажечниковым поставлен знак вопроса.*

*** См. «О значении художественных произведений» и пр. («Русский вестник», № 2), г. Анненков не объясняет, впрочем, положительно, что он понимает под словом «художественность». Сказанное нами выведено из общего смысла его статьи.— *Прим. Салтыкова.*

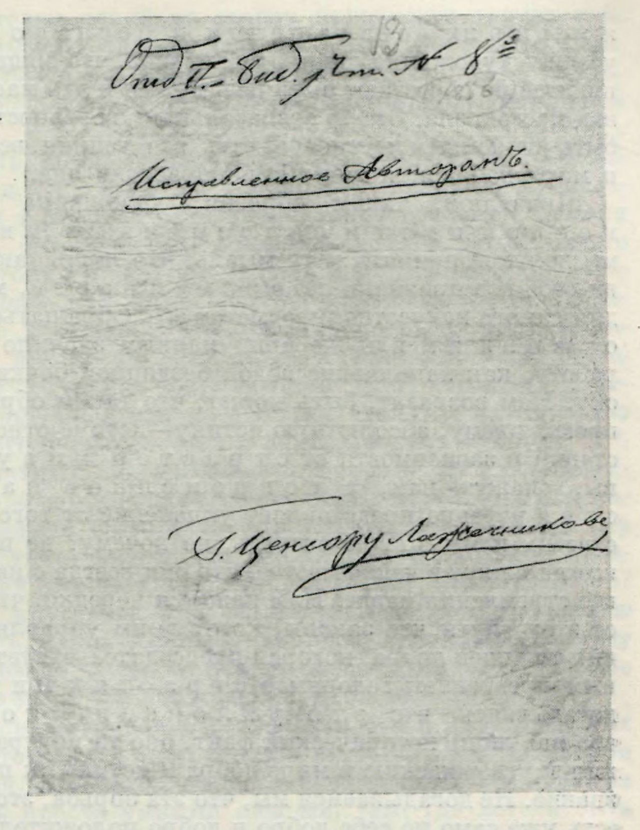
значение мысли, кроющейся под его оболочкой». Последние слова, очевидно составляют противоречие сказанному выше. Очевидно, в понятии г. Майкова, художественная мысль есть не мысль собственно, а чувство, возникающее бессознательно, то есть тем же путем созерцания.

Ясно, что оба эти представления дают искусству область внеобщественную * и, следовательно, фантастическую. Белинский ** идет далее и, определяя свойства «гения», наделяет его правом и способностью возвещать людям новую жизнь.

Способность созерцания — способность синтетическая. Она дает нам возможность усматривать строй и гармонию в разрозненных данных, добываемых анализом, группировать их и вообще обращаться с ними, как с матерьялом, преисполненным жизни и значения. Откуда же добываются эти факты? Ужели может быть допущено такое напряженно-творческое состояние духа человеческого, в котором фантазия является силою самодеятельною, творящею вне пространства и времени? Предположить возможность такого состояния значило бы допустить и все последствия его, допустить ряд таких произведений ума человеческого, в которых нет ничего общего с жизнью, значило бы поставить художника на такую высоту, в которой для него самого нет ничего занимательного, отрешить его от всякого участия в труде действительности и современности. Такое лицо могло бы быть интересным явлением патологическим, но для живущего и развивающегося нет до него никакого дела. Мы тогда только интересуемся произведением науки или искусства, когда оно объясняет нам истину жизни, истину природы. Чем ближе к нам объясняемый жизненный факт, чем более касается он наших интересов, тем понятнее, тем ценнее делается для нас и самое объясняющее его произведение. И художнику, и служителю науки равно и вовсе не случайно нужен анализ, эта разлагающая сила, которая лежит в основании не только искусства и науки, но и вообще всякого действия человеческого. Нельзя даже сказать, чтобы в нормальном состоянии человека какая-нибудь из этих двух способностей (аналитическая или синтетическая) являлась преобладающею. Обе они взаимно друг друга питают и объясняют. С одной стороны, всякий факт, добытый анализом, заключает в себе зерно жизни, и эта жизненная сила так велика, что поглощает простого исследователя и претворяет его в художника. С другой стороны, над чем будет оперировать художник и ученый, если у него нет факта, взятого из действительности? Где та земля, на которую ему придется опереться? Следовательно, силы, присущие труду художника и труду ученого, в существе своем одни и те же, и мысль художественная, в действительности, не что иное, как мысль общечеловеческая.

Но, сказавши, что факт дается искусству жизнью действительной, а не фантастической, мы должны принять и все последствия этого положения. Обыкновенно сравнивают искусство с солнцем, которое равно освещает как темные, так и светлые стороны природы. Мы согласны на это сравнение, если смотреть на искусство с точки зрения чисто отвлеченной; в таком случае действительно нет явления, которое не могло бы служить предметом для искусства. Но такой отвлеченный взгляд едва ли может быть истинным, потому что искусство тогда только становится делом, когда оно проявляется в личности, которая им обладает. С понятием об искусстве неразделимо понятие о лице художника, и весь вопрос заключается в том, может ли последний быть равнодушным к явлениям природы и жизни, или, лучше сказать, может ли он, в одинаковой степени, симпатизировать всем им? Такое предположение могло бы быть допущено, если бы

* *Слово* внеобщественную *исправлено*: находящуюся вне действительного мира
** *Отсюда и до конца абзаца зачеркнуто.*



НАДПИСЬ НА ГРАНКАХ СТАТЬИ САЛТЫКОВА «СТИХОТВОРЕНИЯ КОЛЬЦОВА», ПРЕДНАЗНАЧАВШЕЙСЯ ДЛЯ «БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ» (1856, № 8)

Сделана при вторичной посылке гранок в цензуру

Центральный архив литературы и искусства, Москва

можно было вообразить себе художника не человеком, а существом вне влияния страстей и внешнего мира, если б жизнь художника развивалась под другими условиями, нежели жизнь прочих личностей человеческого общества. Но на деле не так; на деле, развитие художника есть продукт той же общественной среды, в которой он живет; он принимает все ее страсти, все ее стремления; одним словом, печать современности вполне над ним тяготеет. Разница между ним и личностью обыкновенной заключается в том единственно, что последняя подчиняется влиянию современности бессознательно, тогда как художник обладает возможностью уяснить себе ее явления, анализировать их и на основании этого анализа делать свои выводы. Ипотеза чистого художника такой же абсурд, как ипотеза человека, для которого было бы возможно перестать быть человеком. Восхваляемое творческое бесстрастие, которое, из учтивости, называют беспристрастием, есть вещь человечески невозможная, и человек, который равнодушными глазами может смотреть на ложь и зло, не только не заслуживает названия служителя искусства, но, в строгом смысле, не может быть назван даже человеком.

Вообще, нам кажется, что теоретики искусства для искусства, защищая свои теории, увлекаются преимущественно тем спокойствием, которое разлито в творениях великих художников, каковы, напр., Гомер, Шекспир, Гёте и пр. Мы думаем, однако ж, что это спокойствие — отнюдь не бесстрастие; скажем более, оно не что иное, как знание дела, результат той уяснительной работы, того анализа, который есть принадлежность труда художественного. Мы не думаем утверждать, чтобы назначение художника заключалось в том, чтобы *орать и коверкаться* при всякой горести, при всяком печальном зрелище — вовсе нет! Мы, напротив того, признаем, что ближайшее *объяснение явлений*

жизни в их соотношении и последовательности может убедить художника лишь в той истине, что общий их смысл и направление никогда не перестают быть разумными и что масса добра все-таки тяготеет над массою зла. Эта-то сознательная уверенность и дает художнику право быть спокойным и употреблять все усилия, всю энергию на водворение в мире добра и истины и искоренение зла.

Признав *, таким образом, художника представителем современной идеи и современных интересов ** общества, мы должны принять и ту мысль, что лишь такое явление, которое носит на себе все признаки современности, может служить, без ущерба для самого искусства, предметом его. Обращаться к формам жизни отжившим или же придуманным значило бы задать себе такую же работу, как наполнение водой бездонной бочки или витьё веревок из песку. Нам возразят, быть может, что таким образом мы подчиняем вечное преходящему, абсолютную истину—истине относительной***,—искусство ставим в зависимости от страстей минуты. Добро и истина вечны, скажут нам, а современное направление общества нередко представляет уклонение от того и другого. Да, они вечны, ответим и мы в свою очередь, но почему? не потому ли именно, что они всегда живут в человечестве, что они всегда с нами и что ими проникаются все стремления наши? Нам кажется нередко, что человечество уклонилось от этого пути, что законы, которые им управляют, далеко от осуществления той идеи добра, которая председательствует в мире, и мы с великолепным презрением говорим о страстях минуты, о преходящем, не догадываясь, что это уклонение только кажущееся, что оно лишь исторический факт, оно та внутренняя борьба, которая служит к утверждению в мире добра и истины, к приведению их в общее сознание. Не догадываемся мы, что эта борьба, это зло, как мы его называем, есть уже само по себе добро и добро положительное и что, следовательно, как наука, так и искусство равно должны служить обществу в его вечном искании. Скажем более: в этом-то благородном служении и лежит значение науки и искусства; оно одно узаконяет их право на существование; без него они низошли бы на степень пустой и праздной забавы****. Нам говорят, что наука должна быть чистою, искусство чистым; но разве служение обществу и его целям может сделать науку и искусство не чистыми?

Замечательно, что вопрос о чистой художественности навязывается у нас преимущественно критикою, которая, до сего времени, еще охотно занимается делами детскими. В сущности же на практике ни один из писателей никогда не следовал и, вероятно, не будет следовать этой теории. Байрона, Шиллера все признают величайшими поэтами всех времен и народов, а между тем ни тот, ни другой не могут назваться чистыми художниками в том смысле, как понимает это наша критика. Ссылаются чаще всего на Гёте, в котором как бы воплотилась идея чистого искусства, но и это неверно. Действительно, последние произведения Гёте поражают необыкновенным спокойствием, каким-то безучастием, которое равнодушно смотрит на проходящие перед глазами его явления, объясняя себе только связь и смысл их. Но, во-первых, мы не видим в этом явлении (если б оно и было) ничего, говорящего в пользу чистого искусства (мы уже выше высказали наше мнение о спокойствии художника); во-вторых, если взглянуть на дело ближе, то и тут Гёте никогда не являлся чем-то своеобразным, отрешенным от окружавшей его среды, а был, напротив

* *Отсюда и до конца абзаца зачеркнуто.*
** *Против подчеркнутых слов на полях Лажечниковым поставлен знак вопроса.*
*** *Против этих слов на полях Лажечниковым поставлен знак* NB.
**** *Первоначально:* работы.

того, полнейшим выразителем одной из сторон народности германской. Вообще говоря, куда бы мы ни хотели бежать от жизни, она везде с нами, везде преследует нас, доказывая, что самое ж е л а н и е о с в о б о д и т ь с я о т н е е есть желание нелепое, свидетельствующее только о чрезмерном развитии самолюбия.

Везде необходима мысль, полная животрепещущего интереса, и художник, непричастный т р у д у с о в р е м е н н о с т и, может быть создателем лишь бесцветных и в высшей степени странных созданий. Ссылки на исторические романы, историческую живопись и т. п. вовсе ничего не доказывают, ибо и история может иметь свой животрепещущий интерес, объясняя нам настоящее, как логическое последствие прежде прожитой жизни. Мы искренно убеждены, что отчуждение от с о в р е м е н н ы х и н т е р е с о в и н е п о н и м а н и е и х* может повести только к созданию различных кунштуков и tours de force **. К сожалению, некоторые весьма талантливые писатели не внемлют этому, и нам нередко случается видеть, как много потрачивается таланта à propos de bottes ***. Одни на нескольких печатных листах серьезно доказывают вам превосходство одного корнета перед другим; другие посвящают свой труд изображению гибельных последствий обжорства или пристрастия к женскому полу,— как будто в действительности нет живой струны, которая представляла бы достойнейший предмет для таланта. Чему приписать это? Узкости ли умственного кругозора или же преднамеренному желанию высказать, что вот, дескать, какой у меня талант: возьму я навозную кучу и опишу ее, и будет прекрасно, и все вы будете читать и похваливать. Во всяком случае, и то и другое предположение грустно.

Восстают против непосредственной наставительности в произведениях искусства. Ссылаются в этом случае на Гоголя и на автора комедии «Свои люди — сочтемся», говоря, что там, где они переставали быть чистыми художниками и являлись просто умными людьми, там, где хотели быть наставниками, они впадали в ошибки и утрачивали способность давать ясное выражение физиономиям. Упрек этот довольно справедлив в отношении к Гоголю и г. Островскому, но, говоря вообще, не имеет никакого основания. Свойство талантов этих двух писателей таково, что для них возможна роль наставников только путем отрицательным — путем сатиры. Если принять в соображение еще и то обстоятельство, что народная жизнь сама по себе н е б е з т р у д а и у с и л и й **** в ы р а б о т ы в а е т ч т о - л и б о п о л о ж и т е л ь н о е, ч т о э т о д е л о в р е м е н и*****, то сделается понятным, почему писатель, желающий отыскивать положительные стороны жизни там, где их нет, ставит себя в фальшивое отношение к ней и сразу признает себя несостоятельным и поставленным именно в то положение, в которое ставит художника распространяющееся у нас понятие о чистом искусстве.

Изложенное****** выше, как нам кажется, довольно ясно определяет наш взгляд на искусство и наши требования в отношении к нему. Но дабы не могло быть ни малейшего недоразумения, повторим здесь вкратце свои понятия. Во-первых, мы требуем от искусства, чтобы оно было проникнуто мыслью, и м ы с л ь ю и с к л ю ч и т е л ь н о с о в р е м е н н о ю. Эта мысль добывается н е ч у т ь е м х у д о ж н и к а *******,

---

* *Подчеркнутые слова исправлены:* живой действительности и непонимание ее

** фокусов (франц.).

*** по пустякам (франц.).

**** *Страница повреждена. Слово* усилий *читается предположительно.*

***** *Подчеркнутые слова исправлены:* не всегда, но желанию автора, может [указать] утешить его чем-либо положительным

****** *Отсюда и до конца абзаца зачеркнуто.*

******* *Против подчеркнутых слов на полях Лажечниковым поставлен знак вопроса.*

как хотят уверить нас многие, а деятельною и добросовестною разработкою фактов, действительным участием в труде современности. Могут возразить нам, что истина может чрезвычайно разнообразно проявляться в обществе и что, следовательно, художник найдется в крайнем затруднении относительно выбора этих проявлений. Но в том-то и заключается величие таланта, чтобы уметь различить истинное проявление от ложного, абсолютное от условного, чтобы определить тот путь, по которому идет человечество. Иначе, где же была бы заслуга и в чем заключалось бы преимущество талантливого человека от обыкновенного? Во-вторых, необходимо для художника полное сочувствие к этой идее, без чего невозможно полное обладание ею, невозможно выражение ее в живых и всем доступных формах. Наконец, в-третьих, каждое произведение искусства необходимо должно иметь свой результат и результат не отдаленный и косвенный, а близкий и непосредственный. Мы не думаем сказать этим, чтобы художник обязан был произведением своим высказать голословно придуманное им нравоучение, доказать известную аксиому; мы требуем только, чтобы произведение имело последствием не только праздную забаву читателя, а тот внутренний переворот в совести его, который согласен с видами художника. Каким путем достигается этот результат—отрицанием ли или исканием *положительных и идеальных сторон жизни*—это все равно; дело в том, что результат непременно должен быть — в противном случае искусство теряет весь свой благотворный характер и становится на степень простого акробатства.

Сказанное нами о современной* мысли и ее выражении в искусстве прямо приводит нас к вопросу о народности. На этот счет господствуют мнения совершенно противоположные; одни требуют искусства исключительно русского** и науки русской***; другие, напротив, утверждают, что и искусство и наука — достояние общечеловеческое и что, следовательно, воззрение на истину, ими добываемую, не должно носить на себе характер национальной исключительности. Есть, наконец, и третье представление, допускающее рядом с национальным воззрением и общечеловеческое. Этот последний взгляд, впрочем, не что иное, как благовидная формула, которою стараются прикрыть нелицемерное стремление к национальной исключительности.

Подобными толками о воззрениях наполняются книжки наших журналов. Принесли ли они какую-нибудь пользу для науки или искусства? выиграет ли то или другое, если мы примем одно из объясненных выше воззрений за истинное? Сомнительно, потому что тут дело идет, собственно, не о науке или искусстве, а только о воззрениях на то и другое. У нас**** нет еще, в строгом смысле, ни науки, ни искусства, а между тем имеется бесконечное множество воззрений на ту и другое. Нельзя без тягостного чувства читать эти прения, возникающие не по поводу дела, а по поводу каких-нибудь воззрений, от которых делается, наконец, тошно читающему люду. Они принимают иногда и драматическую форму. В последнее время явилось драматическое представление, в котором изображается господин, помышляющий о введении между русскими крестьянами благотворительных хороводов и тому подобных нелепостей. Это, изволите видеть, сатира на тех, которые будто бы обращают глаза свои на Запад. Но сатира, по нашему мнению, тогда только достигает своей цели, когда она бьет по больному месту, когда она

* *Исправлено:* национальной

** *Исправлено:* национального

*** *Исправлено:* национальной

**** *Отсюда и до конца фразы зачеркнуто.*

ГРАНКИ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЦЕНЗУРОЙ СТАТЬИ САЛТЫКОВА «СТИХОТВОРЕНИЯ КОЛЬЦОВА»

Предназначалась для «Библиотеки для чтения», 1856, № 8

Карандашные подчеркивания и NB принадлежат цензору. Чернилами отчеркнуты выброски, сделанные Салтыковым в уступку требованиям цензуры

Ниже — запрещение цензора И. И. Лажечникова

Центральный архив литературы и искусства, Москва

поражает не эксцентриков, а действительных представителей известного воззрения. В противном случае это решительно все равно, что являться в публику в вывороченном наизнанку фраке и думать, что это смешно. Конечно, оно смешно, но здесь смех возбуждается не самым фактом, а единственно личностью, породившею этот факт.

Откинем * всякую заднюю мысль, отнесемся к ж и з н и п р я м о, с глазами невооруженными, п р и м е м с к р о м н о т о, что она нам дает, и не б у д е м з а р а н е е з а б о т и т ь с я о том, какие в ы й д у т и з э т о г о р е з у л ь т а т ы, будут ли они соответствовать н а ш и м т а й н ы м ** с и м п а т и я м или нет. Примем за правило или, пожалуй, и за воззрение (если это слово необходимо) одну добросовестность, т. е. добросовестную р а з р а б о т к у т е х м а т е р ь я л о в, которые должны дать прочную основу н а ш е й *** науке и н а ш е м у **** искусству. Кто знает, быть может, при таком взгляде н а д е л о о н о п о й д е т у с п е ш н е е...

Требование исключительно национального направления в искусстве ведет к вопросу о каком-то идеальном обращении художника к народной жизни. По мнению теоретиков национального искусства *****, в этой жизни нет (читай: *не должно быть*) ни диссонансов, ни фальшивых звуков. Смотрите,— говорят они,— какое смирение, какая чистота семейных нравов, какое уважение к приговорам искусства, какая вера в провидение! Вслушайтесь в народную песню — там изображается, например, жена, которую бросил муж, но она не волнуется этим, она не эманципируется как женщина, изуродованная цивилизацией; нет, она с терпением и верою ждет, пока буйное разгулье мужа кончится. Всмотритесь, с другой стороны, в эту физиономию первобытного человека: черты ее искажены отчаяньем, из груди его вылетает глухой вопль ропота, рука судорожно сжимает нож, готовый пресечь нить ненужной жизни,— и вот слышатся звуки колокола; человек жадно прислушивается к ним; грудь его тяжело поднимается, но стон, вылетающий из нее, есть уже стон раскаянья и примиренья с жизнью; глаза наполняются слезами; нож далеко летит прочь, и человек, весь обновленный, бодрый и свежий, возвращается к жизни. Всё в глазах этих защитников первобытности и непосредственности принимает радужные цветы. В предрассудке и закоснелости, свойственной всему малоразвитому, они видят не исторический и переходный факт, а факт абсолютный, достойный уважения, знаменующий глубокую привязанность к преданиям старины. Слова нет, прошедшее уже по одному тому заслуживает всякого уважения, что оно усыновлено историей, что оно существовало как живой и законный факт; но остановиться на нем, навсегда ****** п р и к о в а т ь к н е м у ж и з н ь к а к о г о б ы т о н и б ы л о н а р о д а — не значит ли отказать человечеству в прямой и самой законной его потребности — потребности постепенного развития?

Напрасно вы будете говорить, что если и есть тут привязанность к преданиям, то не к духу (что имело бы, по крайней мере, некоторый смысл), а лишь к букве их, и, следовательно, привязанность, в основании которой лежит одно празднословие: вам возразят целыми рассуждениями о важности буквы народных преданий, о неприкосновенности бороды и кафтана. Любопытно было бы горячие эти ******* панегирики чистоте семейных

---

* *Весь абзац зачеркнут.*

** *Слово* тайным *зачеркнуто отдельно.*

*** *Слово* нашей *зачеркнуто отдельно.*

**** *Слово* нашему *зачеркнуто отдельно.*

***** Любопытствующих отсылаем к статье г. Филиппова, по поводу комедии Островского «Не так живи как хочется» («Р. беседа», № 1).— *Прим. Салтыкова.*

****** *Отсюда по слово* народа *зачеркнуто.*

******* *Слово* эти *зачеркнуто.*

нравов * ⟨сравнить⟩ с целым циклом песен, в которых преимущественно говорится о совсем недвусмысленных отношениях старого свекра к молодой невестке, где слышатся беспрестанные жалобы на свекровь-злодейку, на золовок и т. д. И ** вместо того, чтобы подумать об искоренении тех причин, которые породили такое состояние, вместо того, чтобы пробудить в *массе* сознание, которое сделало бы для нее самой *настоятельной потребностью те качества*, которыми мы заблаговременно и так легкомысленно ее наделяем, мы *убаюкиваем ее*, и наивно мечтаем о возвращении времен Кошихинских...

Мы думаем, что до тех пор, пока наука и искусство не приступят к разработке русской жизни без предубеждений, пока жизнь эта не будет исследована в ее мельчайших изгибах,— у нас не может быть ни науки, ни искусства. Конечно, роль *современного художника и ученого весьма скромна*,— это *роль почти монографическая, но такова потребность времени* ***, и идти против нее значило бы несомненно впасть в ложь и преувеличение. Посмотрите на Гоголя: он до тех только пор остается истинно великим художником, покуда относится к русской жизни в качестве простого исследователя; то же самое должно сказать и о г. Островском. В «Свои люди — сочтемся» и отчасти в «Бедной невесте» он является художником потому именно, что изображает истину жизни; все прочие произведения не выдерживают самой снисходительной критики, и виною этого явления то новое слово, которое г. Островский усиливался сказать, новое слово, взятое не из жизни, а выдуманное самим автором. А между тем это «новое слово» сказано именно в «Своих людях», который до сих пор один и упрочивает за г. Островским право на почетное место в истории нашей литературы.

Однако же,— скажут, быть может, нам,— как согласить эту *монографическую деятельность* с тем *требованием современной идеи, направления* и **** поучительности, которое мы поставили как необходимое условие всякого художественного произведения. Мы находим, однако же, что в словах наших нет никакого противоречия. Мы думаем, что самая идея *монографической деятельности* есть идея вполне современная и что такая деятельность вовсе не исключает *возможности направления* *****, которое составляет несомненную ее принадлежность, как жизнь составляет принадлежность факта, и что наставительность и поучение истекают из добросовестной разработки матерьялов, как непременное ее следствие, даже в таком случае, если б автор на самом деле и не высказал никакого наставления.

Высказавши таким образом наш взгляд на искусство и народность, мы можем приступить к обзору поэтической деятельности Кольцова.

Жизнь Кольцова, столь увлекательно описанная Белинским, есть одна из тех ежедневно повторяющихся драм, в которых талант и жажда преуспеянья являются в постоянной и иссушающей борьбе с невежеством, самодовольством и косностью. Любопытных мы отсылаем к самой статье Белинского, согретой истинным и теплым чувством симпатии к этой замечательной личности. Что касается до нас, то мы вкратце расскажем только то, что необходимо для уразумения дальнейших наших выводов. По рождению, Кольцов принадлежал к сословию мещан, следовательно, к такому сословию, которое не представляет особенно счастливых условий для чьего бы то ни было развития. И действительно, даже элементарное

* *Против слова* нравов *на полях Лажечниковым поставлен знак вопроса.*
** *Отсюда и до конца абзаца зачеркнуто.*
*** *Слово* времени *исправлено*: самой науки, самого искусства
**** *Слова*: современной идеи, направления и *зачеркнуты.*
***** *Исправлено*: сознания

образование его было до крайности скудно; десяти лет он был уже взят из уездного училища, в котором пробыл не более четырех месяцев. Полагали, вероятно, что уже достаточно учен, а между тем дома лишний человек не помеха, хоть бы для того, чтобы приучить его к торговле в том смысле, как ее понимает класс мещан. Отец Кольцова был человек не бедный и промышлял стадами баранов, что нередко требовало поездок в степь, куда он брал с собою и десятилетнего сына. Этим поездкам в степь обязан был Кольцов первым знакомством своим с природою, которая, в свою очередь, пробудила в нем первоначальное поэтическое настроение души. Мало-помалу развилась в нем страсть к чтению, но к чтению бестолковому, которое может скорее убить талант, нежели развить его. Присоедините к этому то обстоятельство, что домашние не совсем доброжелательно смотрели на стремления пылкого юноши к образованию, прибавьте всю непривлекательную сторону исключительно матерьяльных интересов, которыми охвачена была жизнь его,— и вы получите картину той глухой борьбы, которую должна была вынести эта светлая, артистическая натура. А впрочем, кто знает? не пройди он этой жизни, не выстрадай своего таланта всеми нравственными страданиями, вышло ли бы что-нибудь из него? Светлыми минутами его жизни могут быть названы только дни знакомства его с Серебрянским и Станкевичем. Что же * касается до поездок в Москву и Петербург, то мы полагаем, что знакомство с литературными знаменитостями того времени могло преисполнить душу Кольцова только полынью и горечью.

Вообще положение русского литератора до крайности прискорбно, даже ** и до настоящего времени ***, и тот, кто приближается к святилищу литературы с надеждой получить там насущный кусок хлеба, горько ошибется в расчете. Вампир **** журнализма вопьется в него всеми своими клыками, высосет весь талант, заставит кривляться и насиловать воображение и бросит, как ненужную ветошь, когда производительные силы действительно ослабеют от неумеренного возбуждения. От этого первая вещь, обдуманная и написанная с любовью, не под влиянием неотступно грызущей нужды, остается навсегда лучшею вещью; все дальнейшее носит отпечаток поспешности и заказа: так и видишь, что автору есть хочется. Надобно быть или очень сильным талантом, или иметь средства к жизни, независимые от литературного труда, чтоб выдержать это чисто механическое давление журнализма. Куда, например, исчез Бутков, автор «Петербургских вершин»? Конечно, он был не то, что обыкновенно называют сильным талантом, но тем не менее у него был талант, и талант несомненный, в этом сознавались все. Другой экземпляр подобного же явления представляет Белинский. Кольцов, как видно, очень хорошо понимал положение русского литератора ***** и предпочел остаться в обществе тем, чем поставила его судьба. Он понял, что тут все одно — дело торговое: салом ли, баранами ли, книжками ли — дело только в виде торговли, a genre остается один и тот же. Не красна, но, по крайней мере, матерьяльно обеспечена текла его жизнь среди домашних хлопот, среди общества, члены которого смотрели на него как на умника, т. е. как на человека с поврежденной головой и практически бесполезного. Тем не менее, жизнь эта доставляла ему возможность не умереть с голоду, что также чрезвычайно не лишнее, потому что умирать никому не лестно.

---

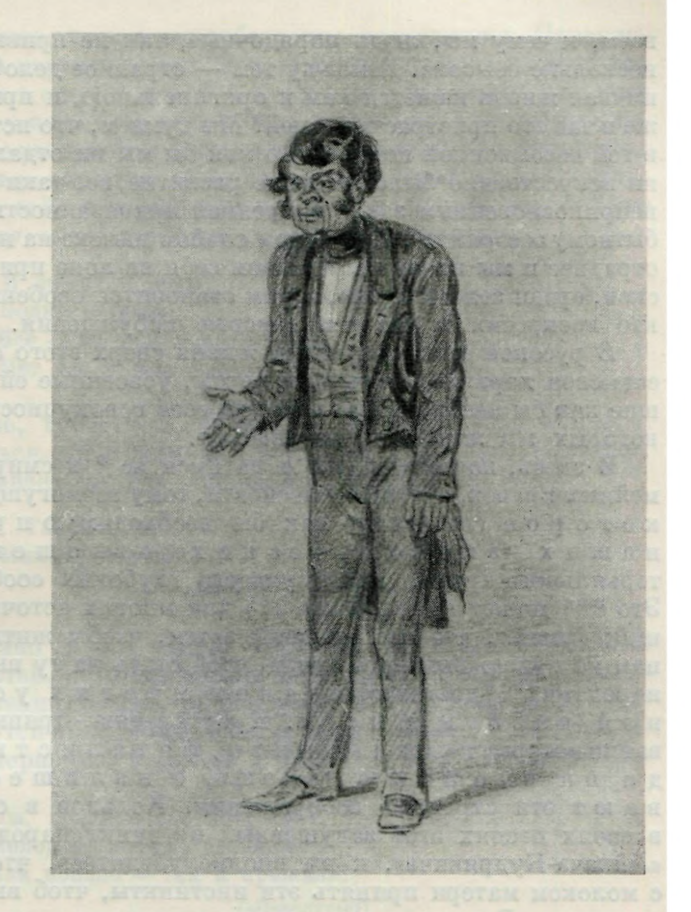
* *Отсюда и до конца абзаца зачеркнуто и заменено многоточием.*

** *Слова:* до крайности прискорбно даже *зачеркнуты.*

*** *Далее вставлено:* весьма незавидно

**** *Отсюда и до слов:* представляет Белинский *зачеркнуто.*

***** *Слова:* положение русского литератора *исправлены:* это



ИСПРАВНИК МАРЕМЬЯНКИН («ЖИВОГЛОТ»)
Иллюстрация к «Губернским очеркам» Щедрина
Рисунок М. С. Башилова, 1860-е гг.
Литературный музей, Москва

Вот как писал он об этом одному петербургскому знакомцу (литератору?), звавшему его в столицу: «Но приехавши туда (т. е. в Петербург), что я буду делать? Положить надежду на мои стишонки: что за них дадут! И что буду за них получать — пустяки: на сапоги, на чай и только». И далее: «Что, если в сорок лет придется нищенствовать?» И действительно, надежды были не блестящие; но смерть разрешила все сомнения; письмо было писано в начале 1842 года, а 19 октября того же года Кольцова не стало.

В произведениях своих Кольцов является выразителем * исключительно передовых инстинктов и стремлений. Инстинкты эти могут быть общи всем народам, принимая здесь слово «народ» в смысле массы, в смысле коренного и основного населения известной страны. Главный характер их заключается в стремлении к матерьяльному благосостоянию, стремлении весьма естественном, потому что довольством матерьяльным обеспечивается довольство духовное, потому что ** первое служит источником всякой независимости, без которой *** нет ни сознания собственного достоинства, ни уважения к своей человеческой личности. Оттого-то в народных, или, лучше сказать, простонародных песнях, всего чаще слышатся отголоски той будничной жизни, которая со всех сторон охватывает простолюдина. Там говорится и о косе, и о пашне, и об урожае, и о трудовом поте; словом, обо

---

* *Слова от* является *до* стремлений *исправлены*: исключительным выразителем стихий народного характера

** *Отсюда и до слова* независимости *зачеркнуто*.

*** *Исправлено*: которого

всем, к чему мы, люди порядочные, так не привыкли и на что смотрим несколько свысока́. И между тем — странное дело! — в книжках эта будничная жизнь кажется нам и оригинальною, и привлекательною! Откуда же в нас это пристрастие к ней? Мы думаем, что источник его заключается в той несомненной истине, что как бы мы ни отдалялись от природы, как ни искусственно было бы наше развитие, все-таки в душе нашей остается неприкосновенным запас искренней привязанности к природному, первобытному состоянию. При самом слабом намеке на него нам делается как-то отраднее и мы вновь воображаем себя на лоне природы, в глуши деревенской, среди зелени лугов, и нам становится особенно любезен и дорог тот, кто воскресил в нас эти неясные побуждения.

В русской простонародной жизни сверх этого общего стремления есть еще свои характеристические черты, усвоенные ей историей и составляющие как бы необходимый продукт всей совокупности обстоятельств, среди которых мы живем и развиваемся.

И здесь, во-первых, мы обратимся не * к смирению, не к чистоте семейных нравов, а к той беспечности, тому всемогущему русскому «авось», которое составляет как бы необходимую принадлежность наших экономических отношений**: легкости матерьяльного труда, не требующего глубоких соображений и пр. и пр. Это *** может ⟨?⟩ служить ⟨?⟩ для многих источником глубоких умилений; думают, что мы рождены затем, чтобы жить на всем готовом, что нам не нужно никакого труда, чтоб стать на ту высоту, которая другими народами**** достигается ценою многих усилий и чрезмерной работы мысли. К сожалению, привычки народные, в основании которых лежит какая-то фаталистическая надежда на внешнюю помощь, с излишеством оправдывают эти странные соображения. Кольцов в совершенстве выражает в своих песнях этот задушевный инстинкт народа. Прочтите обе песни «Лихача-Кудрявича», и вы вполне убедитесь, что нужно было самому с молоком матери принять эти инстинкты, чтоб выразить их так верно и отчетливо. Радость и горе, удачу и неудачу — русский человек все привык сваливать на судьбу. С одной стороны:

Что шутя задумал —
Пошла шутка в дело;
А тряхнул кудрями —
В один миг поспело.

С другой:

Зла беда, не буря —
Горами качает,
Ходит невидимкой,
Губит без разбору.
От ее напасти
Не уйти на лыжах:
В чистом поле найдет,
В темном лесе сыщет.

Очевидно, тут нет даже поползновения освободиться от какой-то слепой, неизвестно откуда являющейся необходимости, посылающей и беду,

---

* *Отсюда и до слова* нравов *зачеркнуто.*

** *Слова*: наших экономических отношений *исправлены*: некоторых условий нашей жизни.

*** *Отсюда и до слов*: странные соображения *зачеркнуто.*

**** *Слова*: другими народами *зачеркнуты отдельно.*

и счастье. Тут все пассивно, хоть и нет собственно равнодушия. Неравнодушно смотрит Лихач на постигшее его несчастье; он страдает и тяготится им, *но пошевелиться-то ему нету моченьки*, а потому и страдание выражается у него ⟨не⟩ как-нибудь деятельно, а только предъявляется толпе в виде бесплодной и бесполезной жалобы. И действительно, что ж и за жизнь, когда никто не хочет за нас ни подумать, ни сварить, ни испечь, ни выпить: всё, говорят, делай сам. Посудите же, добрые люди, где ж тут самому к чему-нибудь приступиться, когда

И щемит и ноет,
Болит ретивое:
Все — из рук вон — плохо,
Нет ни в чем удачи.

Положение, поистине, горестное; ничего не остается делать иного, как сидеть, да жаловаться, да призывать всуе имя господне. Впрочем, Лихач-Кудрявич не унывает; не без основания надеется он, что

...Там бог уродит,
Микола подсобит

(«Размышление поселянина»).

Это чувство воспитано в нем самою жизнью, не представляющею ничего, кроме случайностей, которых нельзя ни предотвратить, ни предвидеть. При таком положении вещей, равнодушие к будущему и непредусмотрительность делаются явлениями, вполне нормальными и логически-последовательными. Совершенно понятны становятся для нас тогда следующие слова песни:

Мы, гуляя,— все потратили,
Молодую жизнь, до времени,
Как попало — так и прожили!

(«Перепутье»).

Действительно, жизнь бьет таким обильным ключом в этой крепкой, неиспорченной натуре, что является *настоятельная потребность каким бы то ни было образом истратить ее*, и так как разумно-деятельного поприща для нее не представляется, то *безрасчетная трата сил становится явлением законным, оправдываемым самою необходимостью*. И нельзя сказать, чтобы Лихач-Кудрявич не сознавал хоть изредка всей неестественности этого положения. Нет, он сознает его, но и самое это сознание выражается у него как-то не положительно, а в виде иронии, которую, пожалуй, можно с непривычки принять и за довольство самим собою и своим положением. Раздумывая о своей доле, он как будто и не без некоторой гордости говорит:

Куда глянешь — всюду наша степь;
На горах — леса, сады, домá;
На дне моря — груды золота;
Облака идут — наряд несут!..

(Там же).

Именно так! облака, одни *облака, принесут наряд* твой, Лихач-Кудрявич!

Эта надежда на что-то случайное, внешнее, неразумное составляет одну из характеристических черт народа, находящегося еще в младенчестве.

Кольцов необыкновенно живо подметил эту черту и выразил ее, как истинный художник, в ясных и отчетливых образах, не примешивая никаких рассуждений от своего лица, не пускаясь в изыскания причин такого странного явления.

Тем не менее, так как народный характер слагается не из одной только стихии, напротив того, элементы, его составляющие, чрезвычайно сложны и разнообразны, то они необходимо должны были отразиться во всей полноте и в поэзии Кольцова, возращенной на почве народной. Прочтите его «Песню пахаря», и вы убедитесь, что русскому человеку доступно не только отрицательное и ироническое, но и прямое и плодотворное отношение к жизни. Не можем себе отказать в удовольствии выписать вполне эту чудную «Песню».

Ну, тащися, сивка,
Пашней, десятиной,
Выбелим железо
О сырую землю.

Красавица зорька
В небе загорелась,
Из большого леса
Солнышко восходит.

Весело на пашне;
Ну! тащися, сивка!
Я сам друг с тобою,
Слуга и хозяин.

Весело я лажу
Борону и соху,
Телегу готовлю,
Зерна насыпаю.

Весело гляжу я
На гумно, на скирды,
Молочу и вею...
Ну! тащися, сивка!

Пашенку мы рано
С сивкою распашем,
Зернышку сготовим
Колыбель святую.

Его вспоит, вскормит
Мать земля сырая;
Выйдет в поле травка —
Ну! тащися, сивка!

Выйдет в поле травка,
Вырастет и колос,
Станет спеть, рядиться
В золотые ткани.

Заблестит наш серп здесь,
Зазвенят здесь косы,
Сладок будет отдых
На снопах тяжелых!

Ну! тащися, сивка!
Накормлю досыта,
Напою водою,
Водой ключевою.

С тихою молитвой
Я вспашу, посею.
Уроди мне, боже,
Хлеб — мое богатство!

Как глубоко поняты здесь отношения поселянина к природе! с какою благодарностью смотрит он и на землю, его кормилицу, и на сивку, участника в его благосостоянии! Благодатно и животворно действует на душу эта тихая песня; она заставляет любить и творца ее и всю эту толпу труждающихся, о которых в ней говорится. Чувствуется, сколько силы и добра посеяно в этой толпе, сколько хороших возможностей заключает она в себе! В целой русской литературе едва ли найдется что-либо даже издали подходящее к этой песне, производящее на душу столь могучее впечатление. Вслушайтесь в нее ближе и пристальнее, и перед вами встанет вся жизнь поселянина, со всеми ее заботами, с ее скромными надеждами, со всеми ее скудными радостями. Тем не менее, обаяние, производимое ею, несмотря на всю его могущественность, никогда не подействует на душу вашу обманчиво. Здесь предметы * вдохновения слишком конкретны, слишком обыденны, чтобы дать большой простор фантазии читателя, чтобы породить в душе его ложное самодовольство. Чувство его, готовое расплыться**, необходимо сдерживается представлением сурового труда, и в этой-то именно истинности образов, в этом глубоком отвращении от всякого преувеличения и заключается вся тайна таланта нашего автора.

Все стихотворения Кольцова, для которых предметом послужил упорный труд поселянина, дышат тою же грустною симпатией к трудящемуся, тою же любовью к природе. Возьмите, например, «Урожай», прочтите хоть следующие двенадцать стихов:

И с горы небес
Глядит солнышко;
Напилась воды
Земля досыта.

На поля, сады,
На зеленые,
Люди сельские
Не насмотрятся:

Люди сельские
Божьей милости
Ждали с трепетом
И молитвою.

Везде человек на первом плане; везде природа служит ему, везде она его радует и успокоивает, но не поглощает, не порабощает его. Тем именно и велик Кольцов, тем и могуч талант его, что он никогда не привязывает-

* *Первоначально*: прелести
** *Первоначально*: расплавиться

ПЕТЬКА ТРЯСУЧКИН
Иллюстрация к «Губернским очеркам» Щедрина
Рисунок М. С. Башилова, 1860-е гг.
Литературный музей, Москва

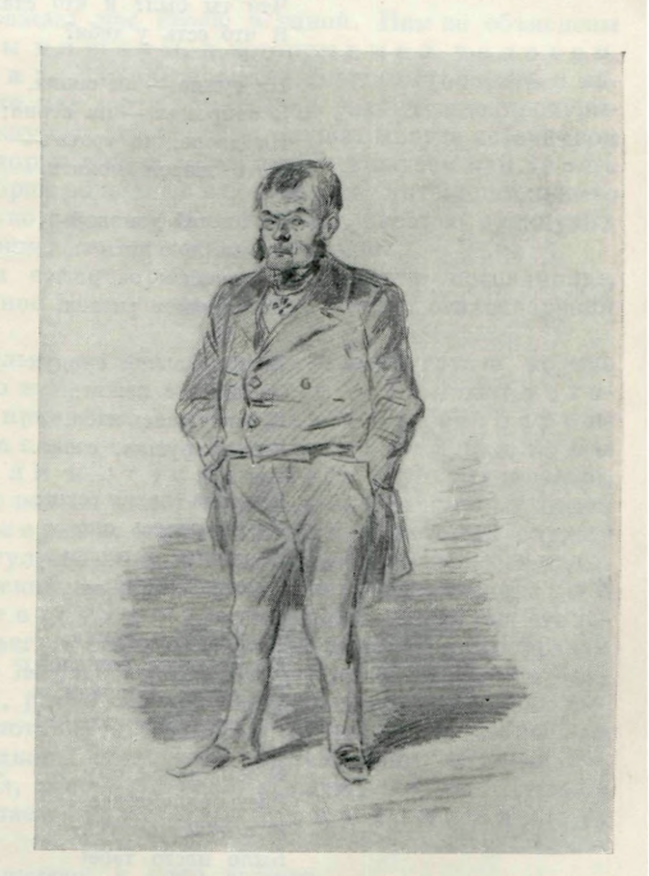
ся к природе для природы, а везде видит человека, над нею парящего. Такое широкое, разумное понимание отношений человека к природе встречается едва ли не в одном Кольцове. При всем уважении к таланту г. Аксакова, нельзя не сознаться, что его великолепные картины природы как-то подавляют читателя. Неосмысленная присутствием и трудом человека природа является чем-то недоконченным, недоговоренным *. Это хаос, коли хотите, полный жизни, но все-таки не более как хаос. Что природа хороша — Кольцов чувствует это более, нежели кто-либо другой, потому что ей он обязан лучшими, светлыми минутами своей жизни, она была его первою наставницей, она воспитала в нем ту свежесть сердца, которая, в свою очередь, заставила его симпатизировать всему доброму, прекрасному и истинному. Но, тем не менее, он совершенно верно угадывает, что как бы ни была хороша природа, она все-таки второстепенный член в искусстве, что все-таки прямым предметом искусства должен быть человек. Поэтому-то рядом с успокаивающими картинами сельской природы и жизни он вызывает иные картины, в которых эта же сельская жизнь является уже не в столь привлекательных формах, в которых уже слышатся фальшивые звуки, как будто портящие гармонию целого. Знакомство с этими картинами спасительно; оно не допускает нас расплываться в нашем стремлении к дешевому примирению с жизнью; оно, как memento mori **, вечно стоит на страже нашего чувства. Замечательнейшие стихо-

* *Первоначально*: недолговременным
** помни о смерти (лат.).

творения Кольцова этой категории, по нашему мнению, следующие: «Что ты спишь, мужичок», «Не на радость, не на счастье», «Доля бедняка» и «Размышление поселянина». Содержание их небогато: чужой угол и горькая доля. Вообще оказывается, что жизнь поселянина не изъята своего рода тревог и волнений, хоть, быть может, они и не бьют в глаза какому-нибудь туристу, проезжающему на почтовых мимо деревни и превращающему мысленно каждую хижину в приют мира и любви. Оказывается, что

У чужих людей
Горек белый хлеб;
Брага хмельная —
Не разымчива.
. . . .
И бел-ясен день
Затуманится,
Грустью черною
Мир оденется.
И сидишь-глядишь
Улыбаючись,
А в душе клянешь
Долю горькую.

Стало быть, в этих хижинах живут не всё Филемоны и Бавкиды... Понятие о силе и объеме этих маленьких горестей относительно. То, что



ПОРФИРИЙ ПОРФИРЬЕВИЧ
Иллюстрация к «Губернским очеркам» Щедрина
Рисунок М. С. Башилова, 1860-е гг.
Литературный музей, Москва

для нас кажется великим и ничтожным, будучи перенесено в иную сферу, неожиданно приобретает чрезвычайные размеры. Поэтому весьма естественным делается стремление освободиться от этих покалываний и пощипываний, совокупность которых составляет истинное и действительное горе. Благо тем, для кого эти стремления разрешаются удовлетворительно, но горе тому, кто не находит ничего более, как сказать:

Но куда умом ни кинуся —
Мои мысли врозь расходятся,
Без следа вдали теряются,
Черной тучей покрываются...

Всего замечательнее в этом отношении стихотворение «Что ты спишь, мужичок». Мы выписываем его здесь вполне:

Что ты спишь, мужичок?
Ведь весна на дворе;
Ведь соседи твои
Работáют давно.

Встань, проснись, подымись,
На себя погляди:
Чтó ты был? и чтó стал?
И чтó есть у тебя?

На гумне — ни снопа,
В закромах — ни зерна;
На дворе, по траве —
Хоть шаром покати.

Из клетей домовой
Сор метлою посмел,
А лошадок за долг
По соседям развел.

И под лавкой сундук
Опрокинут лежит,
И погнувшись изба,
Как старушка, стоит.

Вспомни время свое:
Как катилось оно
По полям и лугам
Золотою рекой,—

Со двора и гумна,
По дорожке большой,
По селам, городам,
По торговым людям!

И как двери ему
Растворяли везде,
И в почетном угле
Было место твое!

А теперь под окном
Ты с нуждою сидишь,
И весь день на печи
Без просыпу лежишь.

А в полях, сиротой,
Хлеб нескошен стоит.
Ветер точит зерно,
Птица клюет его!

Что ты спишь, мужичок?
Ведь уж лето прошло,
Ведь уж осень на двор
Через прясло глядит.

Вслед за нею зима
В теплой шубе идет,
Путь снежком порошит,
Под санями хрустит.

Все соседи на них
Хлеб везут, продают,
Собирают казну,
Бражку ковшиком пьют.

Стихотворение это поражает нас своею истиной. Нам не объяснены положительно причины нищеты, в которую впал человек, но мы чувствуем их. Для нас кажется смешным говорить о каких-нибудь копейках, тогда как мы в один вечер равнодушно проигрываем тысячи рублей, а между тем эти копейки служат иногда источником глубоких несчастий. Некоторые подробности жизни кажутся нам до того в натуре вещей, что мы говорим об них, не изменяя даже интонации нашего голоса, а между тем сколько слез, сколько вздохов, сколько обманутых надежд за этими, по-видимому, ничтожными мелочами.

Столько же хорошо и стихотворение «Размышление поселянина», неизвестно почему отнесенное Белинским к числу слабых стихотворений Кольцова.

Покуда мы слышали только жалобу, жалобу, полную грусти, но еще сдержанную. Однако ж не всякая личность может остановиться на ней, приняв ее за нормальное состояние. В большей части случаев, от этой жалобы прямой переход или к отчаянью, или к буйному веселью, к оргии. Русская народная поэзия имеет в себе целый обширный отдел песен разбойнических, содержанием для которых служит дикий и необузданный разгул человека, почувствовавшего себя без узды. Кольцов, как истинно русский человек, явился толкователем и этой стороны народного духа *; у него имеется целый ряд стихотворений, в которых этот разгул, эта жажда необузданности и безобразия являются на первом плане. Жгучее чувство личности, не умеренное благотворным сознанием долга, разрывает все внешние преграды и, как вышедшая из берегов река, потопляет, разрушает и уносит за собою все встречающееся на пути. Таковы стихотворения: «Удалец», «Измена суженой», «Песнь разбойника», «Тоска по воле» и «Дума сокола». Душная сфера поселянских работ делается недостаточною; она томит душу,

---

* *Подчеркнутые слова исправлены*: и этого явления

теснит грудь удальца; ему нужен воздух, нужен лес, а не прогорклая атмосфера избы. «Мне ли»,— говорит он:

Мне ли молодцу
Разудалому
Зиму-зимскую
Жить за печкою?

Мне ль поля пахать?
Мне ль траву косить?
Затоплять овин,
Молотить овес?
(«Удалец»).

И вот является в воображении его идеал той жизни, к которой манит его разгоряченная и долго сдерживаемая фантазия:

Если б молодцу
Ночь да добрый конь,
Да булатный нож
Да темны леса!
Снаряжу коня,
Наточу булат,
Затяну чекмень,
Полечу в леса.
Стану в тех лесах
Вольной волей жить,
Удалой башкой
В околотке слыть.
(Там же).

Или:

Знать, забыли время прежнее,
Как, бывало, в полночь мертвую,
Крикну, свистну им из-зá леса —
Аль ни темный лес шелохнется...
И они, мои товарищи,
Соколья, орлы могучие,
Все в один круг собираются
Погулять ночь, пороскошничать
(«Тоска по воле»).

Этот разгул, порождаемый избытком матерьяльной силы, является разрешителем всех горестей, всех сомнений. Изменила ли «Лихачу-Кудрявичу» суженая,— он, правда, горюет и падает духом, но не надолго. Если от этой измены и может на время «замутиться свет в глазах его», то не менее справедливо и то, что тут же является у него и всемогущее средство, чтоб избавиться от грызущей его тоски, и это средство — тот же буйный разгул, то же искание приключений, которое * при всяком огорчении является ему на помощь, как врач душевный и телесный. Тотчас после постигшего его страшного горя он уже говорит:

В ночь под бурей я коня седлал;
Без дороги в путь отправился —
Горе мыкать, жизнью тешиться,
С злою долей переведаться...
(«Измена суженой»).

* *Отсюда и до конца фразы зачеркнуто.*

Или:

Забушуй же, непогодушка,
Разгуляйся, Волга-матушка!
Ты возьми мою кручинушку,
Размечи волной по бережку...

(«Песня разбойника»).

Всего полнее выражает это стесненное, ненормальное состояние души стихотворение «Дума сокола». Вот оно:

Долго ль буду я
Сиднем дома жить,
Мою молодость
Ни за что губить?

Долго ль буду я
Под окном сидеть,
По дороге вдаль
День и ночь глядеть?

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?

Иль боится он
В чужих людях быть,
С судьбой-мачехой
Сам-собою жить?

Для чего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?

Иль зачем она,
Моя милая,
Здесь сидит со мной,
Слезы льет рекой;

От меня летит,
Песню мне поет,
Все рукой манит,
Все с собой зовет?

Нет, уж полно мне
Дома век сидеть,
По дорожке вдаль
Из окна глядеть!

Со двора пойду
Куда путь манит,
А жить стану там
Где уж бог велит!

Вот те стороны русской жизни, которых объяснителем явился Кольцов. Употребляем слово «объяснитель» потому собственно, что действительно ничто не объясняет лучше читателю известного явления, как представление его в живом образе. Был бы только образ, не искаженный идеально,

но верный действительности, объяснительная работа родится сама собой в уме читателя. Везде, где Кольцов удалялся от русской жизни, в тесном значении этого слова, везде, где он хотел стать на точку зрения общечеловеческую, он падал и утрачивал ясность своего взгляда. И это понятно: он не был достаточно образован для такой точки; как бы ни были велики природные способности человека, все-таки они, как улитка, заключены в тесноте домашней раковины, которая со всех сторон угнетает их. Только знание, только наука и сопряженная с нею возможность сравнения могут расширить умственный кругозор человека, сделать его вполне человеком. Лучшим доказательством служат «Думы» Кольцова: что означают они, кроме немощного желания вывести мысль из той тесной сферы, в которую она заключена обстоятельствами? Что такое все эти вопросы, которые задает себе тревожимый сомнениями поэт, как не риторическая амплификация, собрание слов, доказывающее только ту несомненную истину, что поэт не умел даже формулировать свои сомнения? Конечно, нельзя строго винить Кольцова в том, что он не умел совладать с своими сомнениями: как человек глубокого ума и горячей души, он не мог, без тяжкого и оскорбленного чувства, видеть, что книга природы и жизни по воле независящих обстоятельств навсегда закрыта для него. И вот он ищет проникнуть в этот запертый для него храм, но увы! двери его остаются по-прежнему холодны, глухи и немы, и эта печальная картина тревожных сомнений и стремлений к разрешению их имеет лишь тот результат, что делается драгоценным достоянием для биографа Кольцова, объясняя ему внутренний мир души его. И чем разрешаются эти тревоги?

Подсеку ж я крылья
Дерзкому сомненью,
Прокляну усилья
К тайнам провиденья!
Ум наш не шагает
Мира за границу;
Наобум мешает
С былью небылицу

(«Неразгаданная истина»).

Или:

Ужели в нас дух вечной жизни
Так бессознательно живет,
Что может лишь в пределах смерти
Свое величье сознавать?..

(«Лес»).

Какой же это ответ? Это более ничего как бессилие и притом бессилие, к сожалению, публично высказанное. Очевидно, что Кольцов берется здесь не за свое дело; его дело ограничено было тою небольшою средой, в которой он жил и которую по этой причине постигал в таком совершенстве. И зачем пускаться вдаль, зачем тревожить прах усопших, когда вблизи нас, между живыми, все еще так мало объяснено и даже нетронуто? зачем искать драм на луне, когда в семействе какого-нибудь Ивана Федотова совершается драма с большим спектаклем?

Точно так же несамостоятельным и несостоятельным является Кольцов и в тех своих произведениях, где он обращается к идеальным сторонам русской * жизни. Таковы, например, стихотворения: «Люди добрые, скажите», «Первая любовь», «Совет старца», «К ней», «Поминки», «По-над

---

* *Слово* русской *зачеркнуто.*

Доном сад цветет» и множество других. Все эти стихотворения явно говорят о подражании и даже фактурой своей напоминают фактуру сентиментальных романсов времен Дельвига и Мерзлякова.

ПОМЕЩИК ПЕРЕГОРЕНСКИЙ У ГУБЕРНАТОРА
Иллюстрация к «Губернским очеркам» Щедрина
Рисунок М. С. Башилова, 1860-е гг.
Литературный музей, Москва

Для подтверждения наших слов приведем одно из них:

Люди добрые, скажите,
Люди добрые, не скройте:
Где мой милый? вы молчите!
Злую ль тайну вы храните?

За далекими ль горами
Он живет один, тоскуя?
За степями ль, за морями
Счастлив с новыми друзьями?

Вспоминает ли порою:
Чья любовь к нему до гроба?

Иль, забыв меня, с другою
Связан клятвой вековою?

Иль уж ранняя могила
Приняла его в объятья?
Чья ж слеза ее кропила?
Чья душа о нем грустила?

Люди добрые, скажите,
Люди добрые, не скройте:
Где мой милый? вы молчите.
Злую тайну вы храните!

Кольцов велик именно тем глубоким постижением всех мельчайших подробностей русского простонародного быта, тою симпатией к его инстинктам и стремлениям, которыми пропитаны все лучшие его стихотворения. В этом отношении русская литература не представляет личности равной ему; он первый обратился к русской жизни прямо, с глазами, не отуманенными никаким посторонним чувством, первый передал ее нам так, как она есть, со стороны ее вечного * притязания на жизнь общечеловеческую.

Трудно определить степень влияния Кольцова на русскую литературу, тем более трудно, что у него не было непосредственных подражателей, кроме, разве, г. Никитина. Тем не менее, влияние это несомненно. Мы не думаем и не намерены утверждать, чтобы настоящее направление русской литературы обязано было своим началом единственно влиянию Кольцова. Однако ж, если сравнить литературу, современную Кольцову, в которой все было так чуждо коренной русской жизни и мысли, с позднейшею деятельностью наших писателей, то нельзя не признать, что голос его раздавался не втуне. Он обогатил наш поэтический язык, узаконив в нем простую русскую речь, и в этом смысле он является в истории нашей литературы как бы пополнителем Пушкина и Гоголя, и, несмотря на свою малую производительность, должен быть поставлен рядом с ним⟨и⟩, как человек, давший нашей поэзии новую и чрезвычайно плодотворную точку опоры. Достаточно прочесть его «Косаря», чтобы вполне убедиться, как живо и до сих пор влияние Кольцова на нашу литературу. Весь ряд современных писателей, посвятивших свой труд плодотворной разработке явлений русской жизни, есть *ряд продолжателей дела Кольцова*. Это *дело* ** принимает *все более обширные размеры* ***; отвсюду слышатся голоса, полные жизни и мощи; чувствуется, что мы как будто тверже стоим на родной почве, что мы сознаем себя уже не в гостях, а дóма. Но если**** бы в настоящее время *шаги наши на этом пути были робки и нетверды*, то мы еще не так *стары, не так изношены, чтоб не надеяться на будущее******. Таково наше искреннее и крепкое убеждение, и мы с глазами, полными надежды, глядим на нашу молодую литературу, которой попытки обещают в будущем так много прекрасных и благотворных результатов.

---

* *Слово* вечного *зачеркнуто.*
** *Слова*: Это дело *исправлены*: Эта разработка
*** *Против подчеркнутых слов на полях Лажечниковым поставлен знак* NB.
**** *Отсюда и до конца фразы зачеркнуто.*
***** *Против подчеркнутых слов на полях Лажечниковым поставлен знак* NB.

НЕИЗВЕСТНАЯ РЕДАКЦИЯ ОЧЕРКА «КАПЛУНЫ»

Статья и публикация В. Э. Боград а

Впервые публикуемая позднейшая редакция щедринского очерка «Каплуны» представляет собою документ большого исследовательского интереса. Документ этот позволяет проследить ход работы Щедрина над произведением, очень важным для изучения его мировоззрения. Особенно ценен материал публикации еще и потому, что дополнительная работа над уже законченными «Каплунами» была осуществлена после критических замечаний Чернышевского по поводу первоначальной редакции очерка.

Новая редакция «Каплунов» предназначалась для № 1-2 «Современника» 1863 г., но по не совсем ясным причинам напечатана не была. Текст новой редакции публикуется по найденным нами в бумагах А. Н. Пыпина корректурным гранкам (Архив Академии наук в Ленинграде, ф. 111, ед. хр. 172). Корректура содержит еще два других известных очерка Щедрина и озаглавлена: «Глупов и глуповцы. I. Общее обозрение. II. Деревенская тишь. III. Каплуны. Последнее сказание». На полях гранок имеется помета: «28 декабря».

Чтобы ответить на вопрос о происхождении и судьбе публикуемой редакции «Каплунов», необходимо обратиться к цензурной истории очерка. Найденные нами новые документы в соотношении с уже известными в печати позволяют более полно осветить эту сложную историю.

«Каплуны» поступили в цензуру вместе с очерком «Глуповское распутство», по-видимому, во второй половине апреля 1862 г. Ознакомившись с содержанием очерков, цензор Еленев 21 апреля направил председателю Петербургского цензурного комитета Цеэ донесение, в котором писал:

«В двух, при сем представляемых статьях для „Современника“: 1) „Глуповское распутство“ и 2) „Каплуны“ — красными чернилами отмечены места, которые я предполагал бы исключить, а красным карандашом — места сомнительные. Так как обе эти статьи все состоят из намеков и аллегорий и сверх того замечательны по литературным достоинствам, то я почел необходимым представить на окончательное усмотрение вашего превосходительства разрешение или запрещение мест, отмеченных как красными чернилами, так и карандашом. Начало этих статей будет доставлено вам из типографии вместе с моим пакетом...» (ИРЛИ, ф. 548, оп. 1, № 313).

В свою очередь Цеэ обратился за советом к министру народного просвещения Головнину, с которым был в приятельских отношениях. Головнин прочитал присланные ему рукописи и 24 апреля дал Цеэ следующее указание: «Статьи г. Щедрина: „Глуповское распутство“ и „Каплуны“ следует непременно пропустить, но из первой должно исключить все, что говорится о Зубатове» («Лит. наследство», т. 13-14, 1934, стр. 129).

На это Цеэ отвечал в тот же день, 24 апреля:

«В статье Щедрина будет все пропущено ⟨то есть опущено.— *В. Б.*⟩, что касается Зубатова; в этом мы совершенно согласны, но ты не разрешил, следует ли исключить то, что исключено цензором, или то, что относится до Зубатова.

Я об этой статье говорил с Чернышевским и советовал ему в случае, если она будет дозволена, отложить ее печатанием до следующего номера, на что он вполне решительно говорил, что для них это не составляет никакого различия» («Отчет Публичной библиотеки за 1912 г.». Пг., 1917, стр. 65).

Против первого абзаца записки Цеэ Головнин пометил: «Листы, отмеченные цензором, следует пересмотреть. Многие можно печатать», а против второго: «Можно печатать теперь же и лучше не задерживаясь».

Однако вокруг статей Щедрина в Цензурном комитете возникли споры, в связи с чем Цеэ, не дав хода полученному от министра разрешению, попросил у него новых указаний. Тогда Головнин обратился за советом к влиятельному придворному, воспитателю наследника-цесаревича и члену Государственного совета графу С. Г. Строганову. 26 апреля Головнин написал ему следующее письмо, остававшееся до сих пор неизвестным:

«Ваше сиятельство следите за ходом нашей литературы. Поэтому решаюсь просить вашего доброго совета относительно прилагаемой статьи известного автора Щедрина. В Цензурном комитете возникло разногласие, следует ли пропустить ее. Основная мысль статьи та, что помещики, которые воображают привлечь ласками и самоуничижением бывших крепостных, очень ошибаются и что им следует держать себя с достоинством. Я полагал бы исключить то, что говорится о Зубатове. Буду глубоко благодарен за ваш совет. Покорнейший слуга Г о л о в н и н» (ЦГАДА, ф. 1278, оп. 1, ед. хр. 187, л. 67).

Из этого письма ясно, почему Головнин поначалу столь либерально отнесся к «Глуповскому распутству». Он совершенно не понял истинного смысла очерка Щедрина, в котором подчеркивается непримиримость классового антагонизма между помещиками и крестьянами и подвергаются осмеянию попытки пореформенных «глуповских Сидорычей и Трифонычей» привлечь к себе симпатии «Иванушек»: «Да, и остроумнейшие из глуповцев должны будут обмануться в своих примирительных попытках! да, и они должны будут сознать, что времена созрели и что Иванушка ни под каким предлогом не может быть верным слугой!» (IV, 268—269). Головнин же, не улавливая иронии Щедрина, усмотрел «основную мысль» статьи «Глуповское распутство» в обращенных к помещикам советах автора «держать себя с достоинством с бывшими крепостными. Однако образ генерала Зубатова, персонифицирующий государственный аппарат самодержавия, был понят им сразу же и обречен на исключение из очерка.

Из письма Головнина следует, казалось бы, что Строганову было послано одно только «Глуповское распутство». Между тем, как явствует из ответа Строганова, Головнин направил ему также и очерк «Каплуны». Черновой набросок этого ответа, датированный 27 апреля, сохранился на оборотной стороне письма Головнина. Вот что ответил Строганов Головнину:

«Глуповское распутство господ дворян вызывает нас на генерала Зубатова; при Иване Васильевиче Грозном это было бы и смело и извинительно — теперь это безнравственно и несвоевременно!

Начало статьи пахнет борделем.

Каплуны пахнут кровью! Если кровь нужна для утучнения почвы, не правительству же под формою цензуры указывать, как свободно может течь эта жидкость.

Очень вам благодарен за доверенность».

«Глуповское распутство господ дворян»— в понимании Строганова (не совпадающем с политическим содержанием этого образа у Щедрина)— это, по-видимому, с одной стороны — олигархически-оппозиционные, с другой — либерально-оппозиционные настроения в дворянских кругах в период подготовки и проведения крестьянской реформы. Правительство решительно противодействовало этим тенденциям, не останавливаясь перед полицейскими репрессиями, о чем свидетельствуют, например, высылка из Петербурга М. Безобразова в 1859 г., арест и заключение в крепость тринадцати мировых посредников Тверской губернии в 1862 г. Эти-то оппозиционные настроения и имеет в виду Строганов, поясняя, что́ именно «вызывает нас на генерала Зубатова»,

то есть на усиление политического контроля над дворянством со стороны самодержавного правительства, «бюрократии». В свете такого комментария уясняется и ссылка на русскую историю. Мысль Строганова, по-видимому, такова: лишь при террористическом режиме, подобном режиму Ивана Грозного, была бы «извинительна» дворянская оппозиция центральной власти. В «либеральное» же царствование Александра II она «безнравственна». Слова «Каплуны пахнут кровью» вызваны, несомненно, рассуждениями Щедрина о деятеле, который в поисках средств к переустройству действительности обращается непосредственно к «толпе», народу, в надежде увлечь их на свой путь, озаренный «грядущими идеалами» демократии и социализма. Предупреждая такого деятеля об ожидающих его на этом пути трудностях и разочарованиях, Щедрин пишет:

«Толпа ревниво оберегает предания прошедшего и туго решается на риск, потому что уже не мало она порисковала на своем веку, не мало извлекла из того для себя пользы. Мудрено ли, что человек, имеющий дело с этою плотною массою, неслышно для самого себя проникается инстинктами толпы? Мудрено ли даже, что вместо того, чтоб увлечь толпу за собою, он сам станет в ее ряды? Но не смейтесь ему, не порицайте его слишком поспешно, ибо он не пропал без вести. Положим, что сам он засосался на дно, положим, что он и не выплывет никогда, но мысль, им брошенная, все-таки принесет свой плод, но минутное противодействие, оказанное им толпе, все-таки сделает ее более податливою... хотя бы для последующих деятелей. В этом случае, он не более как жертва, принесенная новому Ваалу, *но жертва не бесследная, ибо кровь ее утучнила почву*» (IV, 287—288. — Курсив наш.—*В. Б.*).

Получив ответ Строганова, Головнин в тот же день, 27 апреля, переслал его Цеэ. В сопроводительной записке он писал:

«Я чрезвычайно благодарен тебе за то, что ты не воспользовался разрешением напечатать статьи Щедрина. Этот случай доказывает, как трудно цензурное дело и доказывает, что у тебя есть необыкновенный такт. Я полагал дозволить обе статьи, но вследствие твоего предостережения послал их Строганову. Вот его ответ и вследствие того обе статьи запрещаются. Еще раз благодарю. Преданный Головнин» («Лит. наследство», т. 13-14, 1934, стр. 129).

Одновременно с представлением «Каплунов» в цензуру, другой экземпляр корректуры — с критическими замечаниями Чернышевского на полях или же с письмом, в котором излагались эти замечания,— по-видимому, был направлен Щедрину, находившемуся в своем имении Витенево. Замечания Чернышевского до нас не дошли или остаются не разысканными, но об их содержании мы знаем из ответного письма Щедрина от 29 апреля 1862 г.

«Возвращая корректуры,— писал он,— прошу вас извинить меня, что так долго продержал их: дело в том, что я был в деревне в то время, как ⟨они⟩ мне были присланы. Мне кажется, что вы придаете „Каплунам“ смысл, которого они не имеют. Тут дело совсем не об уступках, а тем менее об уступках в сфере убеждений, а о необходимости действовать всеми возможными средствами, действовать настолько, насколько каждому отдельному лицу позволяют его силы и средства. Эту же самую мысль я провел в имеющейся у вас программе предполагаемого нами журнала. По моему мнению, главное теперь — единство действия и дисциплина. Если будет существовать эта последняя, то, само собой разумеется, устранится возможность множества ошибок.

Впрочем, я желаемые исправления сделал.

Очень жаль, что вы не прислали мне цензорскую корректуру, ибо я не надеюсь, чтоб цензор пропустил все в том виде, как оно написано» (XVIII, 169).

Опасения Щедрина, как мы видели, более чем оправдались: оба очерка были запрещены целиком, притом в самых высших цензурных инстанциях. Однако редакция «Современника» и автор не сразу узнали о запрещении этих очерков. Получив распоряжение Головнина о запрещении «Каплунов» и «Глуповского распутства», Цеэ не спешил известить об этом редакцию. Он испытывал неловкость, так как во время беседы с Чернышевским, в начале двадцатых чисел апреля, сообщил ему о возможном запрещении только «Глуповского распутства». Что же касается «Каплунов», то хотя

цензор основательно прошелся по корректуре этого очерка, к их напечатанию тогда еще препятствий не было.

Между тем сделанные Щедриным исправления не удовлетворили Чернышевского, и он обратился к Щедрину с просьбой воздержаться от печатания «Каплунов», на что и получил согласие. Об этом мы узнаем из позднейшего письма Щедрина к Пыпину от 6 апреля 1871 г. Касаясь ссылки Пыпина на слухи, что «некоторые даже очень умные люди были поставлены в недоумение» недостаточной ясностью его сатиры, он писал: «Ежели тут дело идет о „Каплунах", то вряд ли идея этого очерка могла представлять неясность. Идею эту я развивал впоследствии неоднократно, и заключается она в том, что следует из тесных рамок сектаторства выдти на почву практической деятельности. Может быть, идея эта спорная, но, во всяком случае, в ней нет ничего недостойного. Н⟨иколай⟩ Г⟨аврилович⟩, который тогда же писал ко мне по этому случаю, оспаривал меня и убедил взять очерк назад. Но он ни одним словом не обвинял меня, и я счел, что тут скорее идет речь о *несвоевременности*, нежели о внутреннем достоинстве идеи» (XVIII, 236).

События июня и июля 1862 г.— приостановление «Современника» и арест Чернышевского — прервали на время дальнейшие переговоры о публикации «Каплунов».

В конце 1862 г. редакция приступила к составлению первого двойного — январско-февральского номера журнала 1863 г. Для этого номера Щедрин и подготовил публикуемую нами новую редакцию «Каплунов». Что же касается первоначальной редакции очерка, относящейся к началу 1862 г., то, внеся в ее текст ряд изменений и сокращений, Щедрин предполагал заключить ею первую статью начатого им в том же номере журнала публицистического цикла «Наша общественная жизнь». Однако ни одно из этих намерений не осуществилось.

В статье «М. Е. Салтыков-Щедрин в редакции „Современника"» В. Е. Евгеньев-Максимов сообщил, что ему «удалось в архиве конторы „Современника" найти представленный редакции журнала счет корректора Лебедева, из которого явствует, что „Каплуны" и „Глупов и глуповцы", набранные для январско-февральского номера журнала за 1863 г., снова были изъяты цензурой» («Ученые записки Ленингр. гос. университета», № 90, серия филологических наук, вып. 13, 1948, стр. 208). Стремление Щедрина напечатать названные очерки в январско-февральской книжке «Современника» 1863 г. рассматривается здесь как его *вторая попытка* провести эти очерки через цензуру, что вступает в противоречие с позднейшим свидетельством автора относительно одного из них — очерка «Каплуны»— свидетельством о том, что Чернышевский убедил его «взять очерк назад». Это заявление Щедрина вряд ли может вызывать сомнение. Но независимо от этого утверждение Евгеньева-Максимова находится в противоречии и с другими документальными данными. В самом деле, если бы Щедрин *знал* о запрещении «Каплунов», то мог ли бы он рассчитывать провести через цензуру запрещенный ею очерк под тем же названием, да еще в первой же по возобновлении книжке «Современника», составлявшейся с большими предосторожностями? Конечно, нет. В этом не остается ни малейшего сомнения после сопоставления первоначальной редакции «Каплунов» и несколько измененного и сокращенного текста этого же очерка, подготовленного для включения в январскую хронику «Нашей общественной жизни». В измененной редакции сохранились все места, на которые обратила внимание цензура в апреле 1862 г. Кроме того, в письме к Некрасову от 29 декабря Щедрин просит его похлопотать у Цеэ о статье «Глуповское распутство», «которая тоже у него киснет» (XVIII, 177), то есть очень долго — с апреля 1862 г. — находится на рассмотрении. Между тем, на сохранившихся цензурных гранках этой статьи и очерка «Каплуны» читаем: «Запрещается печатать. Ст. секр. Головнин. 27 апр. 1862» (ИРЛИ, ф. 336, оп. 2, № 1 и № 4). Очевидно, что, зная об этом запрещении, Щедрин по-иному сформулировал бы свою просьбу к Некрасову. Евгеньев-Максимов, не располагая публикуемой нами корректурой «Каплунов», не мог знать, что для № 1-2 «Современника» 1863 г. Щедрин написал новую редакцию этого очерка. Вместе с тем утверждение исследователя, что Щедрин, зная о запрещении «Каплунов», пытался вновь провести через цензуру этот же запрещенный текст, предназначив его для № 1-2 «Современника» 1863 г.,

Запрещено к печатанию
Ст. Секр. Головнин
27 апр. 1862

II.

КАПЛУНЫ.

[illegible]

«Кастраты все бранили
Меня за пѣснь мою,
И жалобно твердили,
Что грубо я пою.
И нѣжно всѣ запѣли;
Ихъ дисканты неслись...
И, какъ кристаллы, трели
Такъ тонко въ нихъ лились...»

Начиная говорить о каплунахъ, я ощущаю нѣкоторую робость. Каплунъ птица нешуточная. Будучи досыта накормленъ, онъ тихо курлыкаетъ, и чувствуетъ себя совершенно довольнымъ, — качество, какъ извѣстно, слишкомъ рѣдко встрѣчающееся въ наше тревожное и тяжелое время. Отсюда всегдашняя ровность и ясность духа, отсюда—самоувѣренная законченность видовъ и соображеній, отсюда — текучесть и плавность рѣчи, отсюда, наконецъ, — права на всеобщее уваженіе.

Каплунъ—консерваторъ по природѣ, и даже нѣсколько доктринеръ. Онъ любитъ именно тотъ порядокъ вещей, который посылаетъ ему въ ротъ катышки, и потому, со стороны доктрины, шагнулъ дальше самого доктора Панглосса, утверждавшаго, что все идетъ къ лучшему въ наилучшемъ изъ міровъ. Каплунъ удостовѣряетъ, что Панглоссъ оказалъ себя въ этомъ случаѣ пѣтухомъ, а если и каплуномъ, то каплуномъ недавнимъ, не позабывшимъ еще старыхъ, пѣтушиныхъ проказъ. Ибо, поучаютъ каплуны, въ прекраснѣйшемъ изъ міровъ не можетъ быть движенія къ лучшему; въ прекраснѣйшемъ изъ міровъ все такъ премудро устроено, что не для чего искать лучшаго, да и не гдѣ его найти; въ прекраснѣйшемъ изъ міровъ изготовляются удивительнѣйшіе катышки и — вѣнецъ созданія — каша изъ грецкихъ орѣховъ, замысловато перемѣшанныхъ съ творогомъ.

Благонамѣренность каплуновъ вошла въ пословицу. Это и понятно, потому что имъ неоткуда взять неблагонамѣренности. Неблагонамѣренность предполагаетъ страстность, а эта послѣдняя, горькимъ насиліемъ судьбы, подрѣзана у каплуновъ въ самомъ источникѣ; слѣдовательно.... Поэтому, каплуны слывутъ самыми лучшими судьями и самыми безошибочными рѣшителями судебъ вселенной.

Несмотря, однакожъ, на всѣ эти положительныя достоинства, каплуны, при неумѣренномъ употребленіи, дѣлаются противными. Благонамѣренность и постоянная невозмутимость души производятъ въ нихъ какое-то непріятное ожирѣніе, отъ котораго, по временамъ, дѣлается тошно. Явленіе тѣмъ болѣе печальное, что достовѣрныя изысканія показываютъ, что причина его заключается не въ самихъ каплунахъ, а въ томъ, что наука гастрономіи, находясь еще въ младенчествѣ, не успѣла придумать такихъ разнообразныхъ соусовъ, съ помощью которыхъ они были бы вѣчно новы и вѣчно милы.

Каплуны-люди встрѣчаются во всѣхъ слояхъ, на всѣхъ ступеняхъ глуповскаго общества. Чтобы сдѣлаться каплуномъ, нужно очень не много. Нужно выбрать идейку съ булавочную головку, возлюбить ее какъ самого себя, и затѣмъ, съ спокойною совѣстью, мѣрить этимъ огромнымъ масштабомъ всѣ явленія, проходящія передъ глазами. Устроившись такимъ образомъ, каплунъ складываетъ лапки, и спокойно ожидаетъ, чтобы природа сама собой довершила блистательно начатое дѣло. Душевныя силы невольно устремляются къ готовому центру, который, какъ всесильный и притомъ брезгливый деспотъ, беретъ отъ нихъ лишь то, что необходимо для его поддержанія; затѣмъ все остальное отбрасывается и постепенно подрѣзывается и подсыхаетъ. Послѣ того, каплунъ жирѣетъ, и дѣлается отличнымъ

КОРРЕКТУРНАЯ ГРАНКА ОЧЕРКА ЩЕДРИНА «КАПЛУНЫ», НАБРАННОГО ДЛЯ МАЙСКОЙ КНИЖКИ «СОВРЕМЕННИКА», 1862 г.

Сверху помета министра народного просвещения А. В. Головнина о запрещении очерка, 27 апреля 1862 г.

Институт русской литературы, Ленинград

приводит к несогласуемому противоречию в выводе. Получается, что один и тот же текст, в одном и том же номере журнала Щедрин хотел напечатать дважды: самостоятельно, как очерк «Каплуны», и в составе январско-февральской хроники «Нашей общественной жизни». В действительности, однако, противоречие это мнимое. Работая над материалом очерка «Каплуны» для № 1-2 «Современника» 1863 г., Щедрин еще не знал о том, что его очерк был запрещен в апреле 1862 г.

Таким образом, и переработка первоначального текста «Каплунов» для январско-февральской хроники «Нашей общественной жизни», и создание новой редакции очерка для самостоятельной публикации были вызваны не цензурными, а иными соображениями. Какими же?

Для ответа на этот вопрос потребовалось бы детальное сравнительное изучение всех трех редакций «Каплунов»: первоначальной и двух последующих — самостоятельной (публикуемой нами) и предназначавшейся для включения в хронику «Наша общественная жизнь». При этом особенно важно было бы проследить линию изменений, внесенных в текст вследствие замечаний Чернышевского, замечаний хотя и не дошедших до нас, но о направлении которых мы имеем возможность судить по цитированному выше письму Щедрина от 29 апреля 1862 г. Вряд ли можно сомневаться в том, что, приступая в конце этого года к переработке «Каплунов», Щедрин учел замечания Чернышевского и использовал те «желаемые» исправления, которые по его указаниям уже были внесены в текст.

Сравнительный анализ трех редакций может, вероятно, выявить эти исправления. Тем самым оказалось бы возможным с большей полнотой и конкретностью определить, против каких именно положений и формулировок в «Каплунах» возражал Чернышевский и в какой мере Щедрин учел эти возражения в сделанных им «исправлениях».

Однако решение этой исследовательской задачи выходит за рамки настоящей публикации.

Нам остается указать, что заключительный этап сложной цензурной истории очерков «Каплуны» и «Глупов и глуповцы» не удается проследить по известным сейчас документам и свидетельствам и он остается не вполне ясным.

Как сказано выше, на корректуре «Каплунов» находится помета, свидетельствующая о том, что она поступила из типографии в редакцию 28 декабря 1862 г. Когда в цензуру отосланы были очерки Щедрина и были ли они отосланы, — мы не знаем. В архивных фондах официальной цензуры нам не удалось найти документов, относящихся к рассмотрению этих материалов и к их изъятию из № 1-2 «Современника» 1863 г. Нет таких документов и для окончания январско-февральской хроники «Наша общественная жизнь».

Что касается упомянутого выше счета корректора Лебедева, то в этом документе цензорские вымарки и изъятия не отличаются от редакторских. Поэтому определить, о чем именно идет речь, на основании счета нельзя.

Судьбу новой, а также измененной (для «Нашей общественной жизни») редакции «Каплунов» и связанного с ними очерка «Глупов и глуповцы» могла решить сама редакция «Современника», когда в связи с возобновлением издания журнала узнала, наконец, о том, что «Каплуны» и «Глуповское распутство» были запрещены цензурой еще 27 апреля 1862 г.

Этим завершились неудавшиеся попытки Щедрина провести в печать своих «Каплунов».

Что же касается «Глуповского распутства», то Щедрин еще раз попытался напечатать очерк под названием «Впереди» в № 11-12 «Современника» 1864 г. Об этом свидетельствует найденная нами в Архиве Академии наук в Ленинграде корректура этого очерка (ф. 111, № 172). Текст его заметно отличается от текста, опубликованного в Полном собрании сочинений (впервые в «Ниве», 1910, № 9) по корректурным гранкам, представленным в цензуру и запрещенным в апреле 1862 г. Как видно из «Описи журналам заседаний С.-Петербургского цензурного комитета» за 1864 г., очерк «Впереди» был запрещен 30 декабря (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 27, № 73, л. 52).

III

КАПЛУНЫ

ПОСЛЕДНЕЕ СКАЗАНИЕ

Кастраты все бранили
Меня за песнь мою
И жалобно твердили,
Что грубо я пою.
И нежно все запели;
Их дисканты неслись...
И, как кристаллы, трели
Так тонко в них лились...

Начиная говорить о каплунах, я ощущаю некоторую робость. Каплун птица нешуточная. Будучи досыта накормлен, он тихо курлыкает и чувствует себя совершенно довольным,— качество, как известно, слишком редко встречающееся в наше тревожное и тяжелое время. Отсюда всегдашняя ровность и ясность духа; отсюда — самоуверенная законченность видов и соображений; отсюда — текучесть и плавность речи; отсюда, наконец,— права на всеобщее уважение.

Каплун — консерватор по природе и даже несколько доктринер. Он любит именно тот порядок вещей, который посылает ему в рот катышки и, потом, со стороны доктрины, шагнул дальше самого доктора Панглосса, утверждавшего, что все идет к лучшему в наилучшем из миров. Каплун удостоверяет, что Панглосс оказал себя в этом случае петухом, а если и каплуном, то каплуном недавним, не позабывшим еще старых, петушиных проказ. Ибо, поучают каплуны, в прекраснейшем из миров не может быть движения к лучшему; в прекраснейшем из миров все так премудро устроено, что не для чего искать лучшего, да и негде его найти; в прекраснейшем из миров изготовляются удивительнейшие катышки и — венец создания — каша из грецких орехов, замысловато перемешанных с творогом.

Благонамеренность каплунов вошла в пословицу. Это и понятно, потому что им неоткуда взять неблагонамеренности. Неблагонамеренность предполагает страстность, а эта последняя горьким насилием судьбы подрезана у каплунов в самом источнике... Поэтому каплуны слывут самыми лучшими судьями и самыми безошибочными решителями судеб вселенной.

Несмотря, однако ж, на все эти положительные достоинства, каплуны при неумеренном употреблении делаются противными. Благонамеренность и постоянная невозмутимость души производят в них какое-то неприятное ожирение, от которого по временам делается тошно. По сему искусные кулинарные законодатели рекомендуют употреблять каплунов вперемежку с петухами, дабы не было унисона.

Каплуны-люди встречаются во всех слоях, на всех ступенях глуповского общества. Чтобы сделаться каплуном, нужно очень немного. Нужно выбрать идейку с булавочную иголку, возлюбить ее, как самого себя, и затем с спокойною совестью мерить этим огромным масштабом все явления, происходящие перед глазами. Устроившись таким образом, каплун складывает лапки и спокойно ожидает, чтобы природа сама собой довершила блистательно начатое дело. Душевные силы невольно устремляются к готовому центру, который, как всесильный и притом брезгливый деспот, берет от них лишь то, что необходимо для его поддержания; затем все остальное отбрасывается и постепенно подрезывается и подсыхает. После того каплун жиреет и делается отличным судьей и непогрешимым решителем судеб вселенной.

По нужде можно, однако ж, обойтись и без личного участия в выборе идейки, но принять таковую со стороны в виде дружеского насилия или в виде дружеского найма. Эта штука самая выгодная, во-первых, потому, что она освобождает каплуна от обязанности изобретать что-либо свое собственное, и, во-вторых, потому, что дает ему возможность под предлогом угнетения его самостоятельности требовать известного за сие вознаграждения. Отдавши в наймы свои посильные дарования, каплун обязывается в течение условленного периода времени с таким же озлоблением курлыкать по поводу чужой идеи и в защиту чужого интереса, как бы это были его собственные идея и интерес. Каплуны этого рода требуют кормления нарочитого, ибо чем сильнее их кормят, тем ненасытнее делаются их утробы и тем голоднее становится их курлыкание. Эти каплуны в публике носят наименование бесстыжих, так как нанимаются преимущественно к тому, кто предлагает больше катышков.

В те трудные эпохи, когда жизненные интересы, еще не сделавшись интересами действительными, выказывают, однако ж, поползновение обмирщиться и стать общим достоянием, каплунство является во всем своем торжестве и олимпийском величии. В то время, когда целое общество трепещет и движется под гнетом какого-то одуряющего обмана чувств и мысли; в то время, когда человек, не видя перед собой непосредственного практического дела, жадно привязывается к каждой насущной истине, лишь бы она не носила на себе слишком явных признаков безобразия и лжи, каплунье воинство уже все разрешило, все распределило заранее и только курлыкает да улыбается той горячке, которой предаются необузданные петухи.

— А как вы думаете,— говорит Иван Петрович Петру Ивановичу, указывая на петуха, разбежавшегося, что есть мочи, на стену: — а как вы думаете, разобьет он себе голову?

— Разобьет-с,— отвечает Петр Иванович, злорадно хихикая, ибо по естественному влечению своей природы обязывается ненавидеть петухов всеми силами своего крошечного сердца.

— А как вы думаете, если б он чуточку взял вправо... ведь уцелела бы у него голова?

— Уцелела бы, потому что правее брешь сделана.

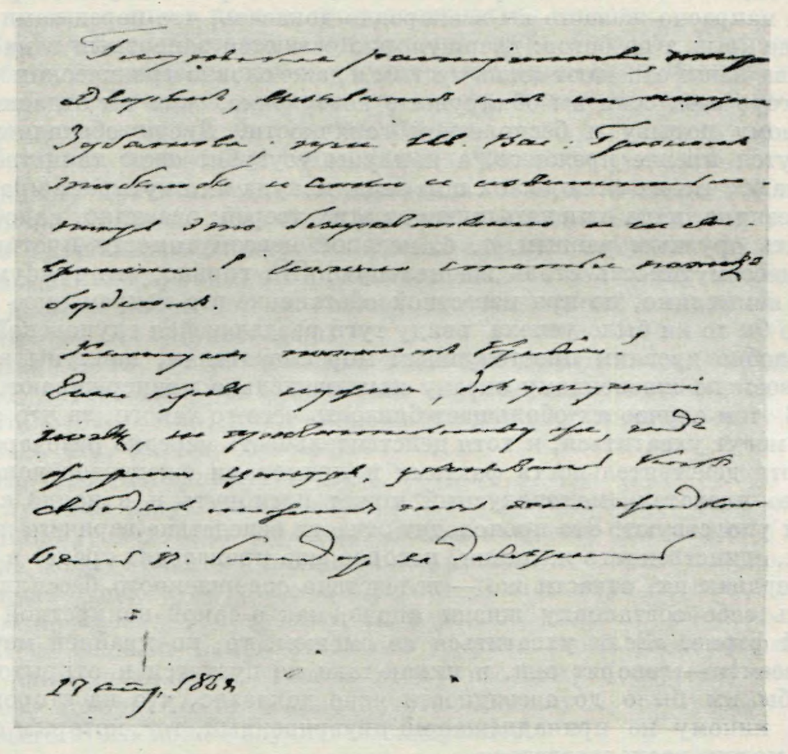
— Так-то-с, Петр Иванович!

— Точно так-с, Иван Петрович!

В этом «чуточку вправо», «чуточку влево» заключается вся житейская, административная и политическая мудрость каплунов. Покуда другие борятся и изнемогают, покуда другие идут напролом и стремглав падают в пропасти, каплуны сидят себе с весками в руках и то в одну чашечку подсыплют, то в другую подложат... «С одной стороны, оно, конечно, так (подсыпь же, подсыпь же на копейку!), но, с другой стороны, нельзя и того не принять в соображение (да что ж ты зеваешь! подложи на грош в другую-то чашечку!)...» Вот речи, без которых ни один каплун обойтись не может. Поэтому они целую жизнь всё соображают: и *то* соображают, и *другое* соображают, и с одной стороны смотрят, и с другой стороны смотрят, и никак-таки не могут добиться, чтобы стрелка стояла прямо.

Из этого видно, что обязанности каплунов, с одной стороны, тяжелы и беспокойны, с другой стороны,— легки и спокойны. Они тяжелы в том смысле, что можно от заботы одной пропасть, можно зрение потерять наблюдая за колебанием чашечек; они легки в том смысле, что подобные наблюдения составляют занятие чисто механическое, что можно и наблюдать и в то же время о пирогах думать. Это всё равно, как занятия в департаментах. Пишет чиновник к какому-нибудь Петру Иванычу и от Петра Иваныча получает письма; грубит Петру Иванычу, соглашается с Петром Иванычем, говорит ему колкости и уверяет его в истинном

почтении и преданности,— одним словом, двадцать лет каждый божий день беседует с Петром Иванычем... и не знает, что это за Петр Иваныч, и не только в глаза его не видал, но даже не ведает, чем он занимается и какую он представляет собой спицу в административной колеснице. Зато он получает полную свободу мечтать, покуда перо его ходит по бумаге; зато он может без помехи думать и о вчерашнем танцклассе и о танцклассах, предстоящих ему сегодня и завтра; он может улыбаться и разговаривать с самим собою; он может мысленно входить в недоступные ему



ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОК ОТВЕТА С. Г. СТРОГАНОВА НА ПИСЬМО А. В. ГОЛОВНИНА ОТ 26 АПРЕЛЯ 1862 г. ПО ПОВОДУ ОЧЕРКА ЩЕДРИНА «КАПЛУНЫ»

Сделан на обороте письма Головнина

Центральный архив древних актов, Москва

гостиные, нашептывать дамам любезности, воспламенять воображение покорять сердца...

Таким точно образом поступают каплуны. Они пересыпают из пустого в порожнее и думают, что воспламеняют чьи-то воображения, покоряют чьи-то сердца.

Жизнь составляет для каплунов что-то внешнее, развивающееся само из себя, прозябающее своею собственною внутреннею силою; она давит их, она всецело ими обладает. Отсюда какой-то гнетущий, политический и нравственный фатализм во всех их помыслах и действиях; отсюда страшное озлобление против всего, что обнаруживает хотя малейшее поползновение на спор с жизнью. Для каплуна нет положения удовлетворительнее положения настоящего, нет истины мудрее истины текущей. Скажите ему, что нельзя удовлетвориться жизнью, которая дает смерть и поступаться веревкой на шею,— он только захихикает в ответ. Скажите ему, что нельзя сидеть у моря и ждать погоды, когда душа стонет и

изнемогает под гнетом практических результатов глуповского миросозерцания,— пожалуй, он и выслушает вас, но выслушает с той отвратительно снисходительной улыбкой, которая в одно и то же время означает и «болтай, болтай себе, душенька, сколько угодно!» и «а ну, поболтай-ка еще! я тебе покажу, где раки зимуют!».

Эта замкнутость, эта таинственность, эта нелепая невозмутимость собственно и составляют силу каплунов. Перед вами оставленный храм, которого двери заперты; вы знаете наверное, что святыня давно оттуда вынесена, что там только крысы бегают; но напрасно стучитесь вы в эти двери, напрасно желаете вы всенародно доказать, что перед вами именно жилище крыс, а не богов: двери упорно остаются запертыми и на домогательства ваши отвечают лишь пустым и даже словно ироническим звуком.

И горе вам, если вы обнаружите нетерпение, если вы отдадитесь неуместному порыву и бесполезной горячности. Двери обиталища крыс замкнутся крепче прежнего, а каплуны усугубят свою таинственность, ибо знают, что их сила до тех пор сила, покуда их окутывает мрак.

Очевидно, надо отыскать ключ от этих дверей; очевидно, надобно действовать оружием равным, т. е. нелепой невозмутимости противопоставить невозмутимость столь же нелепую. Это горько, это тупоумно, это почти немыслимо, но при известной обстановке это непременное условие какого бы то ни было успеха ввиду туго раздающейся глуповской массы.

Подобно древним простодушным мореплавателям, каплуны в плавании своем по жизненному океану исключительно придерживаются берегов. В этом случае их обольщает близость чего-то такого, за что они как будто могут ухватиться, и хотя действительность нередко разочаровывает их, хотя действительность фактами и примерами ежедневно доказывает им, что плаватель малоискусный может погибнуть и в кадке с водой, но они упорствуют. Это происходит отчасти вследствие горячего желания жизни, единственного желания, которое еще производит трепет в заснувших сердцах их, отчасти же — вследствие совершенного бессилия представить себе обстановку жизни иначе, как в самой конкретной и даже грубой форме. «Если ухватиться не сможем, то, по крайней мере, хоть поглазеем!» — говорят они, и никак-таки не пустятся в открытое море, хотя бы им было до очевидности ясно доказано, что на стороне моря лежит никому не принадлежащий двугривенный, тот, которым они свободно могут воспользоваться.

Это тоже великая сила, это сила, называемая благоразумием, перед которою исстари привык преклоняться всякий обитатель Глупова. Каплуны в этом случае даже ничего не выдумали нового: они только воспользовались общим глуповским инстинктом и возвели его на степень жизненного принципа... «Твоя от твоих!»,— говорят они глуповцам,— их ли не познают сограждане?

Каплуны — это последнее звено, это крайний продукт древнего глуповского миросозерцания. Они ничего не изобретают, хотя подчас бывают очень довольны, когда их называют изобретателями; они ничего нового не дают, хотя и выражают в лице некоторую умиленность, когда их называют жизнедавцами; они просто систематизируют. Все нравственное худосочие, которое глуповская жизнь в течение многих столетий бессмысленно копила, ревниво скрывая накопленное от глаз непосвященных, они растревожили и умели возвести в перл создания; все, что в этой жизни было невысказанного, разбросанного в виде беспорядочных отрывков, они собрали и привели в систему; все, что было противоречащего, они подчистили и подгладили. Собрали, систематизировали, почистили слог и записали в книжку...

Книжка эта называется *«Философией города Глупова»* и гласит следующее:

Краткие наставления глуповскому гражданину

Добрый сын Глупова!

1) С жизнью обращайся осторожно, ибо она сама, собственною внутреннею силой, вырабатывает для себя принципы.

2) Удовлетворяйся истиной минуты, ибо эта истина есть единственная, той минуте приличествующая.

3) Не насильствуй, не волнуйся, не забегай вперед, ибо тебя могут остановить, и тогда кто знает, что может с тобой случиться?

4) Бери у жизни только то, что она дает добровольно; если ты будешь ласков, то она и еще в пользу твою поступиться может.

5) Будь терпелив; сомневайся меньше, верь больше. Если видишь непотребство,— надейся, что оно будет усмотрено. Если видишь частное улучшение и смутишься мыслью, что это улучшение мнимое и ничем не обеспеченное,— никому о том не говори.

6) Поступая таким образом, будешь счастлив.

Глуповцы, прочитав это, обрадовались. Патриотическое их чувство было сильно польщено тем, что и у них появились свои Гегели, которые даже из глуповского винегрета сумели сделать какую-то философию. Они очень наивно думали, что руководствовались до сих пор инстинктом, что они даже не жили, но ели, спали и топтали жизнь, и вдруг им объявляют, что все это... философия!

— Стало быть, мы по всем правилам так действуем! — поздравляют они друг друга, едва приходя в себя от радостного изумления.

— Стало быть, так, коль скоро и в книжке оно записано!

— Ведь это, малый, диковина!

— Это просто, малый, страсть!

Но глуповцы радуются напрасно, ибо глуповская философия, записанная в книжку, есть вещь ужасная. Я понимаю, что философия и подобного рода может нравиться, но она может нравиться именно только до тех пор, покуда существует в виде винегрета. В этом виде глуповец пользовался ею по своему усмотрению: он и разнообразил ее, сколько мог, и украшал ее разными неприхотливыми узорами своей фантазии; изредка он мог даже пошалить... Теперь этому веселому беспутству — конец; теперь ему говорят: сиди смирно и читай книжку!

Из всего этого может случиться следующее:

Если глуповец вздумает пошалить, то мужи совета, которым он легкомысленно доверил свое будущее, скажут ему: а разве ты не читал, что в книжке написано?

Если глуповец покусится надуть мужей совета и скажет, что ему не шалить, а погулять хочется, то мужи ответят ему: рассказывай это другим, а не нам! Мы, брат, сами народ травленый, сами в свое время немало занимались надуваньем, да и книжку такую для того написали, чтобы вперед этого не было!

Одним словом, глуповец окружен со всех сторон; куда он ни обернется, везде ему кричат: шабаш! куда он ни сунет нос, везде ему один ответ: это не твое дело!.. Что если он догадается? что если он поймет, что книжка, появлению которой он так обрадовался, принесла ему только славу и в то же время стеснила его движения?

Но покудова он еще не догадался, и потому каплуны от него в восторге: ведет, говорят, себя примерно! И даже выказывает здравый смысл! и даже не удивляется, когда ему говорят: ждите, братцы, ждите! и даже не огорчается, когда ему говорят: нечего, братцы, ждать! ничего, братцы, больше не будет!

Представление кончилось, остаются восторги. Мало-помалу и они стихают; приходит лампист и гасит лампы; зала по-прежнему окутывается мраком.

Я понимаю эти взаимные восторги; глуповцы по плечу каплунам, каплуны — глуповцам: что ж мудреного, что они целуются? И те и другие отменно рады, что вышло у них как будто нечто новенькое, а между тем величественное здание глуповской жизни ни мало не потрясено; что в воздухе пахнет какой-то новой гарью и в то же время глуповский air fixe * сохранен, как живой...

Но за всем тем, я сомневаюсь. Я сомневаюсь именно потому, что каплуны — крайний продукт, что они, так сказать, венец глуповского миросозерцания! Это дело плохое,— размышляю я,— коль скоро здание уж чем-то увенчивается, коль скоро оно до такой степени окончено, что даже клопы в нем завелись! Стало быть, глуповцам нечего уж и делать? стало быть, им остается только сказать: вот геркулесовы столпы глуповской премудрости! — и отправиться на печку спать?

Это не натурально. Глуповцы могли жуировать и не замечать, как летит время, до тех только пор, покуда жизнь их текла как ручей, покуда они не чувствовали ее, покуда, одним словом, им никто не объяснил, что и у них есть принципы и у них есть философия. Тогда не было ни мрака, ни света, тогда не чувствовалось ни холода, ни тепла... тогда жилось, жилось, жилось — и больше ничего! Но с той минуты, как глуповские воззрения систематизированы, а глуповские принципы объявлены всенародно, нет средств не развивать их, нет средств не идти далее. Не надо ошибаться: эпоха систематизирования есть вместе с тем и эпоха анализа, эпоха приведения в ясность жизненной подоплеки. Куда поведет дальнейшее развитие глуповских принципов, что это выйдет ⟨за⟩ прогресс, который будет носить наименование глуповского — мы не знаем,

Мы только плачем и вздыхаем:
О горе нам, рожденным в свет!

Но во всяком случае, и развитие, и прогресс неизбежны...

Таким образом каплуны сами дают нам искомый ключ, сами мало-помалу отворяют двери обиталища крыс. Наверное, они сами не знают, что таков будет результат их трудов. Систематизируя и увенчивая здание, они вместе с тем думают, что затягивают сверху узелок и припечатывают жизнь печатью, из-под которой она и выбиться не в силах,— и ошибаются. Глуповская жизнь сильна была мраком, который ее со всех сторон окутывал, сильна была плотною занавесью, которая скрывала ее внутреннее содержание от глаз непосвященных; но как скоро это содержание обнаружено, винегрет делается ясен и расползается сам собою.

Стало быть, каплуны, считающие себя первыми собирателями глуповской жизни, суть в строгом смысле лишь первые предатели ее.

Стало быть, для того, чтоб обрушить величественное здание, начинающее мозолить глаза глуповцам, не нужно ни подкапываться под него, ни волноваться, ни лезть напролом, а просто взять несколько терпения и потом с спокойной совестью взирать, как оно само собой разлезается.

Каплуны! того ли хотели вы?

Нет, вы этого не хотели и не хотите, потому что понимаете, что с развитиями да с прогрессами вы непременно лишитесь сладких кусков ваших. Вы до такой степени хорошо понимаете это, что даже тоскливо совещаетесь между собою: не возвратиться ли, не опрокинуться ли назад?

Но если дело находится в таком положении, то, очевидно, остается разрешить только одно: возможен ли этот возврат или невозможен?

Вопрос этот могут разрешить только сами глуповцы. От вас, каплуны,— он не зависит.

---

* устоявшийся воздух (франц.).

В БОРЬБЕ С РЕАКЦИЕЙ

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ «НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ» ЩЕДРИНА (1864 г.)

Статья С. А. Макашина
Публикация В. Э. Боград а

Летом 1862 г., несколько оправившись после испуга и растерянности, вызванных революционным натиском 1859—1861 гг., правительство Александра II обрушило на участников движения и на поддерживавшие их демократические силы ряд ударов. Тяжелейшими из них были: арест Чернышевского и восьмимесячная приостановка «Современника». Именно в это тревожное и тяжелое время Салтыков вошел в редакцию опального журнала, с арестом Чернышевского потерявшего своего идейного руководителя.

После возобновления «Современника» — с января 1863 г. Салтыков начал в нем свою литературную работу, беспримерную по энергии бичевания реакции. Центральное место в этой работе заняла публицистика, а вершиной ее явился цикл статей под названием «Наша общественная жизнь». Русская литература не знает произведения, в котором с большей полнотой отразились бы кардинальные вопросы переломного момента в истории «шестидесятых годов» — момента поворота правительства и общества к реакции.

Неудивительно, что щедринские хроники-обозрения сразу же привлекли к себе пристальное внимание читателей и заняли в ту пору видное место в идейной жизни русского общества. Об этом не раз писали современники. Приведем одно из таких свидетельств, тем более выразительное, что оно исходит от представителя враждебного Щедрину лагеря, от «почвеннического» философа Н. Н. Страхова. В октябрьском номере журнала «Эпоха» за 1864 г. Страхов писал: «Если кто читался из петербургских писателей и публицистов, так это именно г. Щедрин. Два-три печатных листа его регулярно появлялись в „Современнике", напечатанные крупно, под веским заглавием: „Наша общественная жизнь" ⟨...⟩ Щедринские фельетоны имели в тот достопамятный год ⟨1863⟩ величайший успех...».

Однако очень скоро «Наша общественная жизнь» оказалась забытой и читателями, и критикой. В этом был повинен, прежде всего, сам Салтыков, проявивший на первый взгляд непонятное безразличие к судьбе своего *крупнейшего* публицистического труда: за исключением отдельных вставных новелл, он никогда не перепечатывал статей этого цикла и не ввел их в собрание своих сочинений, состав которого определил незадолго до смерти. Почему? Потому ли, что в его представлении «хроники» были слишком злободневны, слишком глубоко погружены в политический быт эпохи? Вероятно — да, вероятно, именно это было главным мотивом, заставившим Салтыкова отказаться от переиздания «Нашей общественной жизни», занимающей в его литературном наследии особое место: ведь никогда впоследствии Салтыков не выступал в такой прямой публицистической роли (раньше же выступил лишь эпизодически: с газетными статьями по крестьянскому делу в 1861 г.).

Определенность общественной тенденции, конкретность политической цели, которых не могли скрыть самые, казалось бы, непроницаемые иносказания эзопова

языка, полемическая заостренность и резкость, плотная сращенность художественных и философско-исторических обобщений с преходящими явлениями дня — все эти и многие другие особенности щедринских «хроник», ставивших своей задачей не только уловить в круговороте текущих событий «господствующую ноту», но и активно воздействовать на «историю современности», неизбежно потребовали бы при переиздании «хроник» внесения в их текст многих изменений и корректирующих «комментариев». Отнестись же к своему труду как к чисто историческому документу Салтыков, разумеется, не мог даже и через двадцать лет.

Необходимо, однако, указать и на другое важное обстоятельство, со своей стороны, побуждавшее Салтыкова оставить «Нашу общественную жизнь» в первичной публикации «Современника». Дело в том, что, глубоко продумывая композицию своих циклов, он придавал большое значение их завершенности, внутренней последовательности и единству. Он настойчиво повторял, что вне общей идеи и порядка цикла или сборника содержание входящих в них отдельных рассказов, очерков или статей не может быть до конца понято. Поэтому, когда цикл оказывался незаконченным или разрушенным цензурой, Салтыков часто предпочитал жертвовать им целиком, чем вводить в свои сочинения фрагменты незавершенных замыслов или сильно покалеченной работы.

Такова была судьба многих щедринских очерков, рассказов и статей из распавшихся или незавершенных циклов. Не избегла этой участи и «Наша общественная жизнь». Этот боевой «шестидесятнический» цикл оказался в числе тех произведений Салтыкова, которые подверглись наиболее разрушительным ударам цензуры. Кроме того, есть основание предполагать, что авторские намерения и планы в отношении некоторых статей из цикла «Наша общественная жизнь» были существенно стеснены в результате внутриредакционных споров — вмешательства Пыпина, Антоновича и Елисеева, «духовной консистории», как называл эту группу Салтыков. Так или иначе, печатание статей «Наша общественная жизнь» оборвалось по независящим от автора причинам на «мартовской хронике», то есть «хронике», появившейся в мартовской книжке «Современника» 1864 г. Попытки Салтыкова возобновить свои «хроники» оказались безрезультатными. С одной из таких попыток и связан публикуемый здесь новый салтыковский текст.

Цензурная история «Нашей общественной жизни» полностью еще не восстановлена. Остается неизученным и ряд других проблем, связанных с этим произведением. Так, неясна картина внутриредакционных споров, возникавших вокруг некоторых статей. Нет убедительности в предложенных исследователями датировках тех материалов, которые были заготовлены Салтыковым для «Нашей общественной жизни», но в печати не появились; нет, значит, ясности и в вопросе о месте этих материалов в общей композиции цикла. Нет ответа и на вопрос, когда именно Салтыков прекратил свою борьбу за продолжение цикла, а тем самым и работу над ним. Наконец, не установлено, сколько же было таких не увидевших света «хроник» и какова их дальнейшая судьба.

Изучение публикуемого документа позволяет приблизиться к решению некоторых из этих вопросов.

* * *

О том, что текстовый фонд «Нашей общественной жизни» был значительно обширнее того, что было опубликовано в «Современнике», стало впервые известно из материалов «щедринских томов» «Литературного наследства», вышедших в 1933—1934 гг. (тома 11-12 и 13-14). В них были напечатаны две не известные ранее «хроники» — одна по рукописи, другая по корректуре. Теперь мы имеем возможность напечатать в нашем издании третью «хронику» или, по меньшей мере, крупный фрагмент ее. Настоящая публикация возвращает «Нашей общественной жизни» принадлежавшие ей страницы, полные глубокого интереса. В этом обогащении важнейшего публицистического труда Щедрина — главное значение настоящей публикации. Вместе с тем изучение нового документа позволяет, как сказано, уточнить некоторые сведения и о других,

уже известных «хрониках» и тем самым расширить существующие знания обо всем цикле «Наша общественная жизнь».

Источником текста настоящей публикации являются корректурные гранки «Современника» (две «формы»), найденные В. Э. Бoградом в той части бумаг А. Н. Пыпина, которые хранятся в Архиве Академии наук в Ленинграде (ф. 111, ед. хр. 174). Гранки не имеют никаких следов авторской или редакторской правки. Внизу каждой из гранок типографским способом оттиснуты цифры «4» и «5». На полях нет ни подписей, ни пометок, за исключением заглавия — «Наша общественная жизнь»,— написанного на первой гранке чернилами рукой неустановленного лица.

Датировка документа не представляет затруднений. В заключительном разделе вновь найденного текста Салтыков полемизирует со статьями «г. Касьянова» (псевдоним Ив. Аксакова) и Самарина в № 15 и 16 славянофильской газеты «День», а также со статьей Каткова о «факультативной цензуре» в № 85 «Московских ведомостей». Речь идет о номерах «Дня» от 11 и 16 апреля 1864 г. и о номере «Московских ведомостей» от 15 апреля того же года.

Таким образом, статья Салтыкова не могла быть написана ранее 16 апреля 1864 г.

Вторая крайняя дата определяется с такой же бесспорностью. В майском номере «Современника» 1864 г. Салтыков напечатал статью «Литературные мелочи». В нее включена полемика с Ив. Аксаковым, текст которой совпадает с упомянутым заключительным разделом вновь найденной «хроники»— взят из него (VI, 460—473). В бумагах Пыпина, в той их части, которая находится в Пушкинском доме, сохранились гранки первоначальной редакции статьи «Литературные мелочи» (в корректуре статья называется несколько иначе: «Наши литературные мелочи»). На гранках поставлена дата: «29 апреля 〈1864 г.〉» («Лит. наследство», т. 11-12, 1933, стр. 96). Таким образом, к этому числу Салтыков не только закончил работу над «хроникой», но и, убедившись в том, что она не будет напечатана, перенес часть текста в другую статью — в «Литературные мелочи».

Итак, публикуемый текст возник между 16 и 29 апреля 1864 г.

Что касается места найденной статьи в цикле «Наша общественная жизнь», композиция которого складывалась из ежемесячных «хроник», то, как будет показано ниже, оно устанавливается лишь предположительно.

Печатание цикла оборвалось на «мартовской хронике» 1864 г.; следующая, «апрельская хроника» была написана и набрана, но запрещена цензурой. Факт цензурного изъятия документируется записью в типографском счете за набор четвертого номера «Современника». Здесь имеется рубрика: «Цензурой запрещено». В рубрике назван ряд статей и среди них «Наша общественная жизнь» с обозначением объема изъятого текста: «$1^5/_8$ листа» (В. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863—1866. Л., 1939, стр. 83). В соответствующем пересчете с печатного листа «Современника» это равняется примерно полуторам авторским листам.

Что же это за текст? Известен ли он?

Казалось бы, нет сомнений, что речь может идти только о вновь найденном материале. Сохранившиеся в «пыпинских бумагах» гранки содержат текст, написанный хотя и во второй половине апреля, но еще до окончания редакционной и типографской работы над опаздывавшей апрельской книжкой журнала (цензурное разрешение было получено лишь 11 мая). А Салтыков часто писал свои публицистические статьи в самые последние дни перед отправкой в типографию рукописей для очередной книжки журнала.

Однако при ближайшем рассмотрении вопрос осложняется и теряет свою кажущуюся ясность.

Во-первых. Объем найденного корректурного текста (немногим более трех четвертей листа) не соответствует тому, который указан в счете за набор текста, изъятого в корректуре (полтора листа, то есть вдвое больше).

Во-вторых. Как упомянуто выше, в 1933 г. в т. 11-12 «Литературного наследства» (стр. 185—200) была опубликована также по корректурным гранкам (три «формы») из бумаг Пыпина, хранящихся в Пушкинском доме, статья, открывавшаяся словами: «Начну с того самого пункта...». Включая статью в Полное собрание

сочинений Щедрина, редактор шестого тома С. Л. Белевицкий определил ее, как «апрельскую хронику» (VI, 565). Вывод этот был сделан из сопоставления предпоследнего абзаца «мартовской хроники», где речь шла о «ненависти своими боками», с вводными фразами статьи, опубликованной в «Литературном наследстве»: «Начну с того самого пункта, на котором оставил свою хронику в прошедший раз. Протестовать своими боками — дело очень нетрудное, но в то же время и совершенно невыгодное» (VI, 348).

Вывод, сделанный С. Л. Белевицким, представляется правильным и нам, хотя в аргументации исследователя имеется уязвимое место. Дело в том, что «мартовская хроника», в том виде, как она была напечатана в «Современнике», вовсе не заканчивалась рассуждениями на тему о «протесте своими боками». Эта тема действительно разрабатывалась в заключительной части «мартовской хроники», но лишь в ее первоначальной, доцензурной редакции, известной нам по корректурным гранкам, хранящимся в Литературном архиве в Москве (по этому источнику и опубликован текст в собрании сочинений Щедрина, а журнальный, изуродованный цензурой текст напечатан в разделе «Приложения»). Цензуруя гранки «мартовской хроники», цензор Еленев вычеркнул все окончание о «протесте своими боками»— около трех страниц формата «Современника». Вместо них Салтыков написал несколько заключительных слов, в которых, намекая на цензурное вмешательство, заявлял читателям, что он предпочитает отложить свою беседу с ними «до более удобного времени» («Современник», 1864, № 3, отд. II, стр. 62; ср. VI, 521).

Чтобы устранить возникшее противоречие, следует, по-видимому, предположить, что статья, которая считается сейчас «апрельской хроникой» («Начну с того самого пункта...»), не только была написана, но и набрана еще до вмешательства Еленева в «мартовскую хронику», то есть до 17 марта (дата цензурного разрешения третьего номера). Допустима и другая догадка. Ссылка на уже не существующий, изъятый текст могла быть сознательно введена как сигнал для читателей, указывающий на то, что окончание «мартовской хроники» было первоначально иным и пострадало от цензуры.

В пользу того, что статья «Начну с того самого пункта...» предназначалась для апрельского номера, свидетельствует и время, когда она была написана. Оно устанавливается весьма точно: не ранее появления в печати статьи Писарева «Цветы невинного юмора», намек на которую содержится в конце салтыковской «хроники» («На днях, один из знаменитейших наших ерундистов упрекнул меня: вы, говорит, для глуповцев пишете, вы глуповский писатель!..»)— и не позднее сохранившейся на корректуре пометы «17 апреля». Февральская книжка «Русского слова» со статьей Писарева вышла 17 марта; таким образом, статья «Начну с того самого пункта...» возникла между 17 марта и 17 апреля 1864 г., предназначалась, несомненно, для четвертого номера журнала, была набрана для него и затем запрещена цензурой.

В каком же отношении к этой изъятой «апрельской хронике» («Начну с того самого пункта...») находится вновь найденный текст («Археологи свидетельствуют...»), также относящийся к апрелю 1864 г.?

Есть один чисто внешний признак, указывающий как будто бы на то, что это отношение двух непосредственно примыкающих друг к другу частей одной и той же статьи. Таким признаком является нумерация корректуры. На двух (из трех) гранках «апрельской хроники» («Начну с того самого пункта...») имеются оттиснутые в типографии цифры нумерации — «2» и «3». На вновь найденных — «4» и «5». Первая — в последовательности текста — гранка не нумерована; на ней имеется печатное заглавие — «Наша общественная жизнь» и надпись чернилами: «2 корректура апреля 17». То обстоятельство, что гранки находятся в двух разных отдельно хранящихся частях архива Пыпина, существенного значения не имеет: архив этот разъединился уже после смерти Пыпина.

Итак, если довериться выводу, подсказываемому нумерацией гранок, то вновь найденный текст следует определить, как вторую половину статьи «Начну с того самого пункта...» и считать, таким образом, что «апрельская хроника» 1864 г. лишь теперь воссоздана полностью.

Однако довериться этому выводу нельзя.

Напомним, что изъятая из «Современника» «апрельская хроника» заключала в себе, как показано в типографском счете, полтора авторских листа. Общий же размер салтыковских текстов «Начну с того самого пункта...» и «Археологи свидетельствуют...» почти вдвое больше: два и три четверти авторских листа. И главное: хотя между текстами существует тематическая близость и в содержании их имеются совпадающие элементы (рассуждения о «людях мысли страстной и проницательной», упоминания об «адамитах», «купидонах», «нетовцах» и т. д.), каждый из них производит впечатление самостоятельного произведения. О литературной завершенности статьи «Археологи свидетельствуют...» говорит ее окончание, оформленное как своего рода постскриптум: «Еще одно слово...». Другой текст имеет заглавие, и его первая фраза — «Начну с того самого пункта, на котором оставил свою хронику в прошедший раз» — не оставляет сомнения, что перед нами именно начало статьи. Вопрос о концовке не так ясен: ярко выраженного заключения в тексте нет. Впрочем, последний абзац, начинающийся со слова «Ибо», носит характер подведения итога статьи, и если не подкрепляет, то уж во всяком случае не противоречит высказанному суждению о законченности текста.

На пути к определению места новонайденного документа в творческой истории цикла имеются препятствия и другого рода. Чтобы представить их себе, необходимо вернуться к публикациям статей «Итак, история утешает...» и «Начну с того самого пункта...» в «Литературном наследстве» (т. 11-12, 1933) и затем в Полном собрании сочинений Щедрина (VI, 1941).

В сопровождавшей первичную публикацию текстологической справке редакции «Литературного наследства» было сказано: «Дата обеих статей — тематически близких и, возможно, представляющих собою *варианты одного замысла* — 1864 г.» (указ. изд., стр. 240. Подчеркнуто нами.— *С. М.*).

Формулировка о вариантах была нечеткой: она допускала ошибочный вывод, будто обнаружены не две самостоятельные разработки темы, а два источника одной и той же статьи, две редакции ее, из которых одна была по какой-то причине отброшена автором и заменена другой. В действительности же в бумагах Стасюлевича и в бумагах Пыпина были найдены две отдельные «хроники»: одна — посвященная теме «протеста своими боками» (корректура), другая — связанной с нею теме «утешения историей» (автограф и корректура). И этот ошибочный вывод, к сожалению, был сделан — сначала в исследовании Вас. В. Гиппиуса «Новые материалы по журнальной полемике Щедрина 1864 года», а затем в Полном собрании сочинений Щедрина. Вас. В. Гиппиус определил статьи как два «последовательных варианта» одной «хроники» ⟨?⟩, предназначенной для «майской книжки» ⟨?⟩ и являвшейся продолжением не дошедшей до нас ⟨?⟩ «апрельской хроники» («Лит. наследство», т. 11-12, стр. 96). Авторитетный исследователь допустил здесь ряд неточностей. Во-первых, он не опознал в статье «Начну с того пункта...» «апрельской хроники» и объявил эту хронику «не дошедшей до нас»; во-вторых, бездоказательно отнес обе статьи к «майской хронике»; в-третьих, определил статьи как «последовательные варианты» этой «майской хроники».

Редактор шестого тома Полного собрания сочинений Щедрина С. Л. Белевицкий также сделал ошибочные выводы из формулировки о «вариантах одного замысла». Обе статьи были напечатаны им под одним порядковым номером (XI) в виде одной «хроники» с подзаголовками: «первый вариант» и «второй вариант». В комментариях редактор пояснил, что речь идет о вариантах «апрельской хроники». При этом текст «Итак, история утешает...» был произвольно определен как «*черновой набросок* апрельской хроники», страдающий «некоторой отрывочностью» (VI, 565), хотя этот текст дошел до нас не только в рукописи, но и в корректуре, значит был полностью подготовлен к печати. О том же, что сохранившаяся в бумагах Стасюлевича салтыковская рукопись содержит не фрагмент текста, а полный текст статьи, с началом и концом, свидетельствует не только внешний вид рукописи — наборной — но и ее содержание. В середине изложения есть такое место: «Уже *в самом начале настоящей статьи* я заявил мое полное сочувствие тем лучшим людям, которые не только мыслят, но и отстаивают свои мысли с страстностью, доходящей до самоотвержения» (VI, 337; подчеркнуто мною.— *С. М.*). Именно с этого заявления сочувствия борющимся и гибнущим в борьбе революционерам, людям «страстной мысли, мысли, доведенной

до героизма», и начинается документ «Итак, история утешает...» (VI, 332). О том же, что статья закончена, свидетельствуют ее последние слова: «Вот все, что могу покамест сказать об этом предмете» (VI, 348).

Какие же выводы можно сделать из всего изложенного?

Исследователям известны сейчас три документа — три корректуры (текст одной из них дошел и в наборной рукописи), предназначавшиеся для опубликования в цикле статей «Наша общественная жизнь», но оставшихся в свое время ненапечатанными: два ранее обнародованных («Начну с того самого пункта...» и «Итак, история утешает...») и один недавно найденный и впервые здесь публикуемый («Археологи свидетельствуют...»).

Все три документа относятся к 1864 г. и являются одновременно и памятниками катастрофы, постигшей салтыковский публицистический цикл на «апрельской хронике» из-за вмешательства цензуры, и свидетельствами непрекращавшихся усилий писателя возобновить после этой катастрофы печатание «хроник» «Нашей общественной жизни».

Два документа поддаются более точным датировкам. Текст статьи «Начну с того самого пункта» возник между серединой марта и серединой апреля; текст вновь найденной статьи «Археологи свидетельствуют...» — вслед за ним, между серединой и концом апреля.

Третий документ, статья теоретического характера «Итак, история утешает...» не имеет таких примет, которые позволили бы установить точную дату его возникновения. Ироническое упоминание о философе Ризоположенском (Г. Е. Благосветлове), публицисте Скорбященском (Н. А. Благовещенском) и псевдоестествоиспытателе Кроличкове (В. А. Зайцеве) указывает лишь на 1864 год — год полемики Щедрина с публицистами и критиками «Русского слова». По своему содержанию документ «Итак, история утешает...» близок к двум первым — апрельским. Все три статьи посвящены разработке одного вопроса — вопроса организации демократических сил для освободительной борьбы. Тематической близости сопутствует и близость (не тождественность) некоторых образов и формулировок (примеры будут приведены ниже). Итак, допустимо предположение, что эта статья также возникла в весенние месяцы 1864 г. Однако, как мы увидим, не исключаются и другие предположения, т. к. возможны более поздние датировки.

В какой же последовательности намеревался Салтыков использовать заготовленные им материалы в своих попытках возобновить и продолжить цикл «Нашей общественной жизни»?

Вне сомнений лишь место первого, наиболее раннего документа: «Начну с того самого пункта...». Это бесспорно продолжение «мартовской хроники» — «апрельская хроника».

Относительно второго документа — публикуемой статьи «Археологи свидетельствуют...» возможны лишь предположения.

Возможно, что перед нами *продолжение апрельской хроники*. Однако текст, которым начинается «продолжение», явно не примыкает к окончанию статьи «Начну с того самого пункта...». Можно было бы допустить, что до нас не дошел какой-то соединительный кусок текста, но, кроме того, есть и указанное выше наблюдение, вызывающее сомнение в правильности настоящего предположения. Объем, который приходился бы в этом случае на «апрельскую хронику», примерно в два раза больше того, который, судя по типографскому счету, был изъят цензурой из четвертой книжки журнала. Возможно другое предположение: текст «Археологи свидетельствуют...» представляет собою самостоятельную статью, написанную для апрельского номера, взамен запрещенной статьи «Начну с того самого пункта...». В этом случае текст определяется как *новая редакция «апрельской хроники»*. Наконец, возможно, что найдена корректура статьи, предназначавшейся для пятого номера «Современника». В этом случае публикуемый документ должен быть определен как *«майская хроника»*. То обстоятельство, что незначительная часть запрещенной «хроники» оказалась использованной в пятом же номере «Современника» в статье «Литературные мелочи», не противоречит этому предположению: Салтыков был в таких случаях очень оперативен.

Назначение третьего документа «Итак, история утешает...» в пределах весенних номеров «Современника» пока не определяется, несмотря на тематическую близость этой статьи с материалами «апрельской хроники» и ее «продолжения» («Археологи свидетельствуют...»). Не исключено, что эта статья, не поддающаяся точной датировке, предназначалась для более поздних номеров. К такому предположению ведет одно, остававшееся до сих пор неучтенным, эпистолярное свидетельство Салтыкова*. В письме от 5 октября 1864 г. из Витенева он жаловался Некрасову: «„Заметку" мою в августовской книжке не напечатали, и я получил от Пыпина (уже после выхода книжки) письмо, в котором он пишет, что находит мою „Заметку" слишком серьезною (?). Ну, да черт с ними, а дело в том, что мне совершенно необходимо видеться с вами и поговорить обстоятельно. Ибо тут идет дело об том, могу ли угодить на вкус гг. Пыпина и Антоновича. *Я послал на днях мою хронику* с просьбой уважить меня, напечатать без перемен. Что будет — не знаю» (подчеркнуто нами.— *С. М.*).

Письмо это, помеченное в подлиннике только числом и месяцем, было опубликовано с неверным определением года — «1863» вместо «1864» (XVIII, 184—185; год устанавливается по упоминанию о «Заметке», предназначавшейся для августовской книжки «Современника»: Салтыков хотел ответить в ней на выпады «Русского слова» и «Эпохи» в статьях за летние месяцы 1864 г.— VI, 521—522 и 567).

Слова о посланной «хронике» остались не комментированными и не привлекли внимания редактора, готовившего публикацию «Нашей общественной жизни» для собрания сочинений.

Какая же «хроника» и для какого номера была послана Салтыковым из Витенева в конце сентября или в первых числах октября 1864 г.? Возможно, конечно, что она до нас не дошла, возможно, что, будучи забракована в самой редакции, она не пошла в набор. Но *в пределах известного нам материала* такой «хроникой» могла быть только статья «Итак, история утешает...». Предназначалась она, вероятно, для октябрьского номера, хотя Салтыков мог рассчитывать и на сентябрьский, сильно запаздывавший (ценз. разр. 23 сентября и 16 октября, выход в свет 21 октября). В пользу этой «осенней» датировки статьи «Итак, история утешает...» говорит и более спокойный тон полемики с «Русским словом», которая весной и летом велась гораздо резче. Наконец, статья могла быть написана весной и пролежать до осени.

Если мы примем высказанную гипотезу, что именно статья «Итак, история утешает...» составляла сентябрьскую или октябрьскую «хронику», то естественно возникает мысль о предшествовавшей неизвестной нам «июльской или августовской хронике», которая оканчивалась темой «история утешает». Такое предположение уже было высказано в «Литературном наследстве» (т. 11-12, стр. 240).

Возвращаясь к публикуемому документу, нам остается спросить: кто же и когда решил судьбу статьи «Археологи свидетельствуют...»?

В соответствующих архивных фондах мы не нашли никаких следов рассмотрения этого материала в цензурных инстанциях. Возможно, что статья была изъята редакцией «Современника» вследствие неофициального совета цензора. Такая практика негласной предупреждающей цензуры входила, как известно, в созданную Некрасовым систему охранения журнала и широко применялась.

Возможно, однако, что дело вообще не дошло до цензуры: статья могла быть признана опасной в самой редакции, Некрасовым и его товарищами. Как будет показано ниже, она была написана под непосредственным впечатлением от только что совершившейся расправы правительства с Чернышевским: открытое осуждение этого «акта вопиющей и злобной нелепости» могло оказаться гибельным для «Современника».

Итак, изучение истории публикуемого документа позволило уточнить даты возникновения двух салтыковских «хроник», оставшихся не напечатанными в «Современнике», и высказать некоторые новые соображения о третьей «хронике». Тем самым мы получили возможность сделать вывод, что борьба Салтыкова за возобновление

* Ныне это свидетельство и некоторые выводы из него вытекающие учтены в книге Е. И. Покусаева «Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы» (Саратов, 1958, стр. 221—225).

своего боевого публицистического и теоретического цикла не ограничилась, как предполагалось раньше, усилиями спасти «апрельскую хронику». Борьба продолжалась до осени 1864 г., то есть практически вплоть до прекращения работы Салтыкова в «Современнике».

* * *

Обратимся к содержанию публикуемого документа.

Статья «Археологи свидетельствуют...» состоит из двух частей. Бо́льшая часть — вторая — занята очередным «обозрением», текущими литературно-общественными вопросами. Здесь полемика с Иваном Аксаковым («Касьяновым») и его газетой «День» спор с «Московскими ведомостями» по поводу проекта цензурной реформы, иронические намеки в адрес «петербургских прогрессистов», под которыми разумеется группа «Русского слова», сатирические отклики на антинигилистический роман Клюшникова «Марево» — не названный, но опознаваемый по именам его героев («девицы Инны Горобец» и «тихо курлыкающего каплуна Русанова»).

Первая, несколько меньшая часть статьи посвящена размышлениям о трудном положении русского общественного деятеля, о его «незащищенности», о рискованности, почти безнадежности его ремесла и о том, что общество бессильно оградить своих «истинных деятелей» от угрожающего им «жала смерти».

Эта часть публикуемого документа представляет особенный интерес. Ведь за несколько дней до того, как Салтыков взялся за перо, 7 апреля 1864 г. Государственный совет и Александр II утвердили приговор Чернышевскому. Весть эта мгновенно распространилась в Петербурге, поразив даже тех, кто не возлагал никаких надежд на царскую милость. Поразила она и Салтыкова. Но не только поразила. Нет сомнений, что в публикуемом документе тема трагической судьбы «истинных деятелей» России возникла как непосредственный отклик Салтыкова на гражданскую гибель великого революционера. Но, как всегда, Салтыков обобщает. Его широкая разработка темы заставляет вспомнить такую же жестокую участь и М. И. Михайлова, и Н. А. Серно-Соловьевича, и других революционеров, чья деятельность и самая жизнь были пресечены тюрьмой и каторгой. Не только против правительства — непосредственного виновника гибели революционной интеллигенции — направлен гнев Салтыкова; он обвиняет и все общество, неспособное ограждать своих «истинных деятелей», «заслонять» от «жала смерти» то «лучшее и прекраснейшее», соками чего само же оно питается.

Вместе с тем Салтыков стремился не только заклеймить, поставить к позорному столбу правительство Александра II и покорное ему общество. Он хотел, чтобы общество извлекло «урок» и «поучение» из свершившегося «акта вопиющей и злобной нелепости». Он пытался указать демократическим силам страны средства борьбы с реакцией, которые могли бы предотвратить или, по крайней мере, уменьшить ее жертвы. Говорить открыто о таких вопросах в легальной печати было, разумеется, невозможно. К подобному предмету можно было, по словам сатирика, прикасаться «только с величайшею осторожностью и крайнею, почти рабскою изворотливостью» (VI, 317). Чтобы все-таки высказать свои мысли, Салтыкову пришлось прибегнуть к еще более усложненным, чем обычно, приемам своего эзопова языка. Вследствие этого некоторые иносказания в публикуемой статье остаются не вполне ясными. В них почти всюду оставлено нечто недоговоренное, рассчитанное на чтение между строк, на осведомленность современников и их искушенность в понимании эзоповой речи. В наши дни такой текст не может быть понят без некоторых пояснений.

Статья начинается с рассуждений о «руководящих признаках» или «знамениях», по которым,—утверждают археологи,— в древности люди узнавали о грозящих бедствиях. Эти абстрактные рассуждения о суевериях древних, эти «околичности»,—как называл их Салтыков, — представляют собою вынужденную форму, под покровом которой автор получает возможность намекнуть, что дальше речь пойдет об отношении общества к социальным бедствиям — «*война или голод, или болезнь повальная, т. е. вообще всякого рода мор*» — а также и к отдельным «*актам вопиющей и злобной нелепости*».

От свидетельств археологов о суевериях древних Салтыков переходит к современности. «*В нынешнее просвещенное время*, —указывает он,— *хотя руководящие признаки и продолжают периодически появляться, но им уже не верят. „Мальчики“ с песьими головами целыми стадами гуляют по Невскому, но никто не хочет видеть в этом никакого признака...*». Автор не разделяет «такой современной самоуверенности» и сознается, что когда он видит «*мальчиков с песьими головами*», его пронимает дрожь: «*Я чувствую, совершенно явственно чувствую, что где-нибудь в эту минуту должна гнездиться болезнь великая, и что неутолимое какое-нибудь горе должно склонять свою голову под ударами несправедливости судьбы...*». Эти слова уже вплотную подводили читателя к предмету салтыковского обличения: они указывали на разгул правительственной реакции и полицейских репрессий и напоминали об их жертвах. Сигналом для узнавания служил образ «*мальчиков с песьими головами*». Салтыков мог рассчитывать, что его читатели помнят «мартовскую хронику» 1864 г., которая начиналась характеристикой «мальчиков» как антитезы «мальчишек» и «мальчишества»— молодого поколения разночинцев-демократов. «На свете не все же мальчишки,— иронизировал Салтыков,— не все жулики и демократы. Рядом с тем молодым поколением, против которого ратуют московские публицисты*, растет другое, на котором с доверчивостью и любовью могут отдохнуть взоры их» (VI, 295). Этих представителей реакционно-охранительной молодежи Салтыков и называет «мальчиками». Он дает характеристики разных вариантов этого типа: одна из них относится к тем деятелям обновленного в связи с реформами государственного аппарата, которые явились главными проводниками «твердого курса» правительства в борьбе с революционным движением. Васе Чубикову, одному из «мальчиков», чью примерную биографию рассказывает Салтыков в «мартовской хронике», 1862 год—год перехода реакции в наступление, год ареста Чернышевского—«дал крылья», сделал его приверженцем «теории ежовых рукавиц», вдохновил на сочинение проекта «Об истреблении гибельного нигилистического разврата в самом его зародыше» (VI, 306). В публикуемой статье образ «мальчиков» по сравнению с «мартовской хроникой» усложнен: им присваиваются «песьи головы». Песьи головы, приторочив их к седлам, возили с собой опричники. Вместе с тем рождение младенцев с песьими головами — одно из знамений, указанных в Апокалипсисе; это связывает новое иносказание с предшествующими рассуждениями о признаках грядущих бедствий. Итак, «мальчики с песьими головами» расшифровываются как молодые усовершенствованные «деятели» в аппарате государственного управления, специализировавшиеся на борьбе с «крамолой». «Изобильное появление» «мальчиков с песьими головами»— признак, «знамение» предстоящего или уже совершившегося нажима реакции, обострения полицейских репрессий.

Однако, — продолжает Салтыков свои рассуждения,— современное общество не верит в «знамения». А если бы и верило, если бы даже обладало даром исторического предвидения, оно не могло бы предотвратить грозящие ему бедствия, оказать им отпор. Почему? Салтыков находит объяснение и обоснование этому в свойствах самого общества. Он различает в нем «только две разновидности людей». Первую представляют *обладатели «песьих голов и птичьих когтей»*. В данном случае, эти образы употреблены уже не для обозначения определенной группы в государственной администрации, а для социально-типологической характеристики. Речь идет вообще обо всех членах общества, которые являются активными носителями и приверженцами хищничества и насилия, во всех их разнообразных формах. Вторую разновидность представляют, напротив того, люди, пассивно, фаталистически подчиняющиеся хищничеству и насилию: «*адамиты*», «*нетовцы*», «*купидоны*». Названия сект — народных и светских — употреблены потому, что в глазах Салтыкова презрение к «жизненным трепетаниям», равнодушие к «живым зовам действительности» и реалистической борьбе за ее переустройство, фаталистический взгляд на несправедливости жизни «как на неотразимое зло» — являются главными отличительными признаками всякого «сектаторства». «Адамиты», «нетовцы», «купидоны» и «другие фофаны» пользуются «человеческим

* Салтыков имеет в виду Каткова, Ив. Аксакова, Чичерина и других деятелей антидемократического лагеря. — *С. М.*

образом», но в то же время украшены «*чрезмерно длинными ушами*». Здесь Салтыков вплетает в ткань своих рассуждений полемический намек. Животных с длинными опущенными ушами зовут *вислоухими*; в применении к человеку слово это означает, как известно, простоватость, служит синонимом слова «простофиля», «фофан». Салтыков называл «вислоухими и юродствующими» сотрудников «Русского слова» — Зайцева, Писарева и других, упрекая деятелей этой группы как раз в «мрачном сектаторстве», в брезгливом и презрительном отчуждении от живой действительности и ее насущных нужд.

Таким образом, в современном ему обществе Салтыков не видит сил, способных противостоять «мальчикам с песьими головами». Чтобы правильно понять его мысль, следует иметь в виду, что неспособность к какой-либо борьбе, кроме пассивного «протеста своими боками», он приписывает в данном случае лишь привилегированной верхушке народа, а не его массе. Это видно из следующего разъяснения Салтыкова в «апрельской хронике» 1864 г. («Начну с того самого пункта...»): «...я обязан оговориться, что, употребляя здесь слово „общество", я понимаю его в том ограниченном смысле, который обыкновенно присвояется ему в литературе. Я говорю об обществе мнимом, о той накипи, которая плавает на поверхности, а не о низменной 〈то есть низовой.— *С. М.*〉 силе, которая никогда не покидает реальной почвы и не знает никаких утопий» (VI, 349).

Бессилие образованной части общества и непробужденность масс определяют то положение русского общественного деятеля, которое, по словам Салтыкова, «имеет мало в себе завидного». Русский деятель — деятель-демократ, деятель-революционер— находится постоянно под гнетом двух обстоятельств. С одной стороны, он беззащитен перед лицом «*хорошо сорганизовавшейся силы*»— антинародной власти самодержавия. С другой стороны, он подавлен огромностью разрыва между высшей деятельностью ума, устремленной к «гармонии будущего»— и реальным умственным уровнем масс. «*Страшная мысль — не вращается ли он в пустоте и есть ли кому дело до его деятельности, должна всеминутно преследовать и терзать русского деятеля*»,— заявляет Салтыков. Размышление на эту тему входит в комплекс основных идейных поисков Салтыкова — поисков преодоления «глубокого антагонизма между толпою и людьми мысли» (VI, 341), поисков опрощения, популяризации передовых взглядов, превращения их в «мирское достояние», поисков средств «объединения мысли с делом». Разработке этих вопросов, занимающих одно из центральных мест в цикле «Наша общественная жизнь», уделено особенно много внимания в «хронике» «Итак, история утешает...». Здесь имеются формулировки, почти дословно совпадающие с комментируемым текстом, например: «Необходимо упростить мысль, сделать ее мирским достоянием, необходимо, чтоб она дошла до большинства в доступной ему форме, чтоб она завладела им незаметно для него самого и не оскорбляла его своею высотою и „величием"» (VI, 347).

Наряду с риском «очутиться в самом оскорбительном одиночестве», работе передовой мысли мешает ее незащищенность от «мелочей» и «неполезных элементов» повседневности. Вследствие их натиска «истинный деятель» вынуждается не только «работать и создавать» — «он, сверх того, должен позаботиться и о способах» к ограждению чистоты и целости своих убеждений. Он принужден заботиться об этом *сам*, отвлекаясь от своих основных задач, потому что: «*Нет у него волчцов! нет пламенных, преданных, не размышляющих волчцов!*»

Что это за «волчцы», что означает этот образ?

Волчец — род колючей сорной травы. Она специально выращивалась иногда в виде изгородей, ограждающих посев от скота. Это практическое назначение волчца и послужило основой для салтыковского иносказания. Волчцы-люди (именуемые также «купидонами») сами по себе не играют никакой роли. У них есть всего лишь одно «драгоценное качество» — «*благонамеренность*». В данном контексте это слово следует понимать не в привычном нам ироническом смысле, а как обозначение *неразмышляющей преданности* «волчцов» по отношению к людям мысли. Занятия «волчцов» должны заключаться не только в том, чтобы брать на себя отвлекающую и истощающую людей мысли борьбу с мелочами житейской практики, и не только в том, чтобы

утучнять и разрыхлять для сеятеля почву, а затем охранять посеянное. «Волчцы», они же «купидоны», обязаны к большему: они должны «жертвовать собой и самоотвергаться» ради «истинных деятелей». В этом их призвание, их «ремесло». Рассуждение о «волчцах» принадлежит к занимавшим Салтыкова мыслям о принципах организации сил для борьбы за будущее, в том числе и для революционной борьбы, на языке Салтыкова — «*войны*». Подробно об этих вопросах говорится в статье «Начну с того пункта...» и, особенно, в статье «Итак, история утешает...». В этой последней статье, где также упоминаются «волчцы» (VI, 344), Салтыков прямо говорит о «войне», то есть революции. Она признается неизбежной и потому необходимой: «Если,— пишет Салтыков,— при известных условиях, жизнь представляется в форме войны, то никто не изъемлется от необходимости вести ее...» (VI, 342). Однако «война»— это зло. Она «претит» людям мира и гармонии, потому что «в мире разумном, в том идеальном мире, до представления которого может, по времени, возвыситься наша мысль*, насилие немыслимо» (VI, 344). Итак, теоретически насилие и неразумно, и немыслимо. А между тем основанная на насилии война существует: «Она не хочет знать наших теорий, а присутствует в том раздражающем и опьяняющем воздухе, которым мы дышим» (VI, 345). Эти противоречия Салтыков пытается разрешить путем характерного утопического проекта организации сил для ведения «войны». Согласно этому проекту, организация должна состоять из «инициаторов» или «людей мысли» и «чернорабочих» или «нижних чинов мысли». Первые не должны покидать сферы мысли, вторые — сферы практического дела.

Таким образом, вся грубая сторона ведения «войны», связанная с насилием, которое «претит людям мысли», все «мелкие подробности, вся горечь и неприятность, неразлучные с процессом проникновения мысли в практику» (VI, 345) падут на долю преданных чернорабочих, которые не дадут людям мысли впасть в противоречие с дорогими им убеждениями, защитят эти убеждения «своими телами».

Нетрудно убедиться, что образ «волчцов» в комментируемом тексте равнозначен образу «чернорабочих» из статей «Начну с того самого пункта...» и «Итак, история утешает...». В последней статье встречается еще один образ, которым Салтыков стремился пояснить защитную роль «чернорабочих» или «волчцов» по отношению к «людям мысли»: «Они представляют собой те самые *окопы*, за которыми мысль может жить и развиваться, не будучи каждую минуту вынуждаема заботиться о своей защите» (VI, 343.— Подчеркнуто нами.— *С. М.*).

Мысли Салтыкова о принципах организации сил для ведения «войны» были утопичны. Они не соответствовали ни характеру революционной борьбы тех лет, ни требованиям о единстве теории и практики, предъявлявшимся к участникам этой борьбы ее вождем Чернышевским. «Революционеры 61-го года», первая «Земля и воля» не знали разделения своих рядов на людей мысли и чернорабочих дела. «План» Салтыкова свидетельствует о том, что писатель был далек от осведомленности в делах революционного подполья и развивал мысли, к тому времени уже устаревшие. В этом отношении интересно указать на близость утопического плана Салтыкова со столь же утопическим, но более ранним проектом, изложенным Огаревым в документе, условно озаглавленном «Цель, методы и организация общества» (1859 г.). Согласно «проекту» Салтыкова, действующие революционеры не мыслят, мыслящие же не действуют. Нечто очень близкое видим и у Огарева. Согласно его проекту, тайное общество также должно состоять из немногих теоретиков-руководителей — «*мыслящего миноритета*», который должен «создать себе живые отношения с *немым множеством*» — армией слепо повинующихся нерассуждающих исполнителей («Лит. наследство», т. 61, 1953, стр. 499. Подчеркнуто нами. — *С. М.*).

«Проект» Салтыкова, предназначавшийся для опубликования в легальной печати, уже по одной этой причине не может рассматриваться в непосредственной связи с попытками революционеров, уцелевших после разгрома 1862—1863 гг., продолжать

---

* Речь тут идет об учениях утопического социализма.— *С. М.*

строительство тайной революционной организации. Выступление Салтыкова было теоретическим. Тем не менее, как уже было сказано выше, сама жизнь, а именно тяжелые жертвы, понесенные революционерами, и, в первую очередь, арест Чернышевского, а затем приговор ему,— поставили перед Салтыковым с такой остротой вопрос о трагической судьбе «истинных деятелей» и о необходимости изыскания средств к ограждению их от «жала смерти».

О том, что перед умственным взором Салтыкова, когда он в середине апреля 1864 г. писал свою статью, стоял образ Чернышевского, только что получившего каторжный приговор, свидетельствуют многие страницы. Говоря, что «в гнилой и исполненной миазмов атмосфере», то есть в атмосфере торжествующей реакции, «увядает, действительно, не только хорошее, но и лучшее, посекается не только доброе, но и прекраснейшее», Салтыков имел в виду не только общие результаты реакции, но и конкретные жертвы полицейских репрессий — заключенных в казематы Чернышевского, Николая Серно-Соловьевича, Михайлова, Николая Обручева, казненных Сераковского, Путяту и других революционеров. Это к Чернышевскому и его товарищам, «исчезнувшим» в казематах Петропавловской крепости или на каторге в Сибири, относятся слова о том, что «*люди, сегодня еще полные жизни, могут завтра исчезнуть так же бесследно, как бесследно исчезают пузыри на поверхности воды...*». Чернышевского же имеет в виду Салтыков и в следующей фразе: «*Еще вчера, вот здесь, на этом самом месте, было нечто, а сегодня уж тут пустота, которую кой-как усиливаются законопатить выдвинувшиеся вперед лилипутики и лилипутченки мысли*». В последних словах содержится намек на Зайцева, Писарева и других публицистов из «Русского слова»: Салтыков отказывал им в праве считаться учениками и последователями Чернышевского. Именуя их «лилипутиками и лилипутченками мысли», Салтыков тем самым противопоставлял им Чернышевского как Гулливера — могучего великана мысли.

Беспощадная расправа самодержавия с великим деятелем русского освобождения и то равнодушие, с каким либеральные круги общества отнеслись к этой расправе (вспомним Кавелина), исторгают у Салтыкова крик отчаяния: «*Точно так же безучастно освещает солнце сцену человеческой глупости и праздности, точно так же (даже веселее и ходчее) стрекочут мальчики с песьими головами, и точно так же ежатся и жмутся к сторонке адамиты, нигилисты, купидоны... Никакого урока! никакого поучения!*».

Эти слова, полные горечи и гнева, передают силу возмущения Салтыкова пассивностью общества, не умеющего ни защитить своих лучших людей, ни даже извлечь из их гибели «урок» и «поучение» на будущее.

Разумеется, и здесь не следует забывать ту оговорку, которую делал Салтыков, употребляя слово «общество». Упреки Салтыкова в предательском равнодушии адресовались преимущественно либеральной части общества, хотя, как об этом свидетельствует упоминание «нигилистов», затрагивали и его демократические круги.

* * *

Вновь найденная статья Салтыкова, или ее фрагмент, является ценным дополнением к крупнейшему публицистическому труду великого сатирика — циклу «Наша общественная жизнь». В этой статье продолжается разработка некоторых стержневых проблем мировоззрения писателя, в частности, проблемы соотношения теории и практики в переустройстве действительности, проблемы преодоления разрыва, «антагонизма» между передовой мыслью и массами. Новый документ позволяет судить о взглядах Салтыкова на некоторые важнейшие вопросы и события политического дня. Размышления по поводу этих вопросов и событий входят в круг основных тем салтыковской критики и публицистики середины шестидесятых годов. Широкое и всестороннее их изучение — задача еще не созданной в нашем литературоведении монографии о «Нашей общественной жизни» — о произведении, в котором, по словам Пыпина, «из-за мысли писателя, возмущаемого мрачными явлениями своей эпохи, проглядывает суд истории».

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Археологи свидетельствуют, что в бывалые времена, когда человечеству угрожало какое-нибудь бедствие, или же когда в его среде совершался акт вопиющей и злобной нелепости, то сама природа заблаговременно предуведомляла об этом смертных и достигала этой цели посредством временного извращения обычного действия своих сил. На небе появлялись необычайные звезды, померкало солнце, потрясалась земля, рождались уродливые младенцы с песьими головами, а в иных случаях даже ослы получали дар слова. При тогдашней глупости это было очень удобно, потому что благодаря таким руководящим признакам человечество могло с некоторою уверенностью говорить себе: ну вот, скоро нас посетит война или голод, или болезнь повальная, т. е. вообще всякого рода мор; или же: должно быть, в настоящую минуту кто-нибудь кого-нибудь очень сильно поприжал, коль скоро даже ослы заговорили. Разумеется, практической пользы от этого все-таки мало, потому что, с одной стороны, люди знали только одно: что будет мор, а от чего будет, в какой форме придет на них и нельзя ли от него избавиться — об этом не знали; с другой же стороны, ослы так часто получали дар слова, что люди могли из этого вывести тоже одно только заключение, а именно: что вопиющие нелепости совершаются, так сказать, непрерывно, и что, следовательно, разговаривать много об этом обстоятельстве даже непристойно. Тем не менее, у людей того времени все-таки было не малое утешение: во-первых, они могли с большим основанием сказать: посудите сами, возможно ли же нам жить? во-вторых, ихние историки имели право с полною достоверностью отмечать в своих летописях, что в такую-то вот минуту, должно полагать, совершалась отлично здоровенная пакость, коль скоро сама природа сочла долгом против нее протестовать...

В нынешнее просвещенное время, хотя руководящие признаки и продолжают периодически появляться, но им уже не верят. «Мальчики» с песьими головами целыми стадами гуляют по Невскому, но никто не хочет видеть в этом никакого признака, точно так же, как в периодическом появлении комет или же в выступании реки Невы из берегов. Говорят, будто ослаблению такого рода верований много способствовал какой-то плодотворный скептицизм; однако, я позволяю себе думать, что этот скептицизм, при всей своей плодотворности, в настоящем случае довольно преждевременен и едва ли не свидетельствует о напрасной самоуверенности, которою заражено большинство наших современников. Положим, что научным образом, действительно, невозможно доказать связь, которая существует между мором во всех его видах и изобилием звероподобных уродцев, тем не менее сердцем мы все эту связь понимаем и все уверены, что она существует. Следовательно, тут еще бабушка на двое сказала: в самом ли деле, эта связь есть только ни на чем не основанный продукт темных предчувствий нашего сердца, или же наука только *не дошла* до того, чтобы определить ее с совершенною точностью. Скажу даже более: при нашей глупости, такое отсутствие веры в звезды и в уродов даже очень невыгодно, потому что, сравнительно с древними, что̀ мы в сущности такого приобрели, что давало бы нам право пренебрегать приметами? Мы приобрели только голую уверенность, что звезды и мальчики существуют сами по себе, а мор сам по себе, но уверенности в том, что мы в силах устранять подобного рода неприятные сюрпризы, все-таки не приобрели, и таких средств, которые служили бы нам в этом случае помощью, не придумали. И потому, сознаюсь откровенно, я отнюдь не разделяю такой современной самоуверенности, и когда вижу на Невском проспекте мальчиков с песьими головами (в особенности, если они веселенько хихикают или стрекочат), то меня пронимает дрожь; я чувствую,

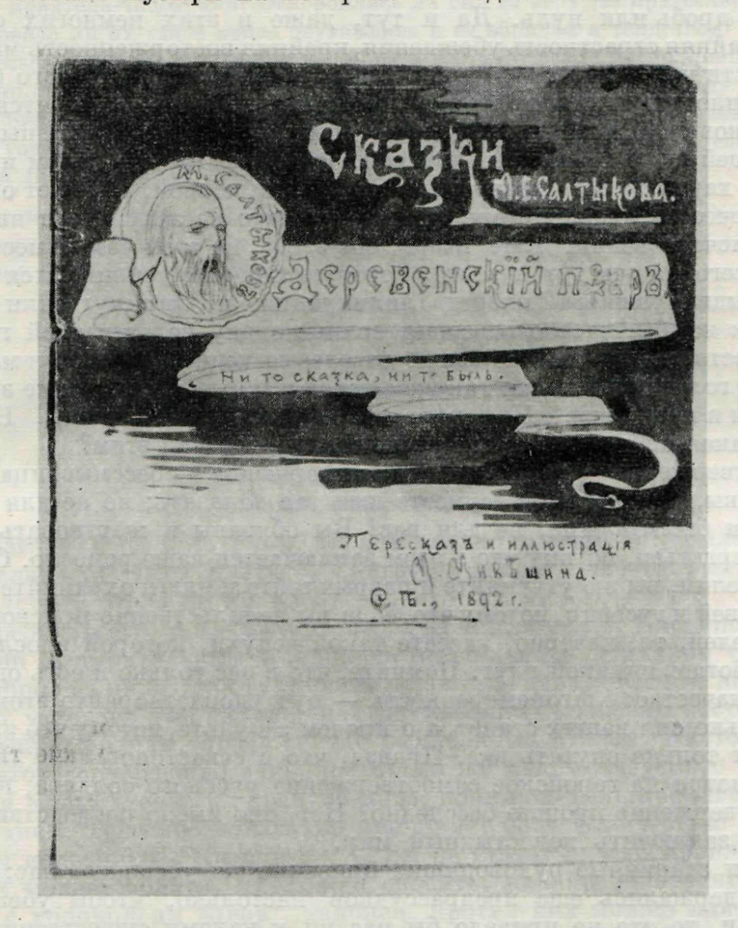
совершенно явственно чувствую, что где-нибудь в эту минуту должна гнездиться болезнь великая, и что неутолимое какое-нибудь горе должно склонять свою голову под ударами несправедливости судьбы...

Но, с другой стороны, может представиться и такой вопрос: если бы мы и признавали силу таких руководящих признаков, если бы и верили знамениям, то извлекали бы для себя из этого выгоду, уразумели бы что-нибудь, сумели бы оградить себя? Увы! на все эти вопросы я вынужден отвечать если не совершенным отрицанием, то во всяком случае — сомнением. Если из знаний и истин самых положительных и бесспорных мы не успели выработать для себя ничего пригодного, если даже этим прочным материалом мы не сумели воспользоваться для того, чтобы оградить, по крайней мере, свою целость, то какую же пользу мы могли бы извлечь для себя из простых примет, даже в таком случае, если бы некоторые из них, как, например, изобильное появление людей с песьими головами, могли повести к соображениям очень остроумным и далеко не безосновательным? Всматриваясь пристально в современное наше общество, я успел различить в нем только две разновидности людей: с одной стороны, обладателей песьих голов и птичьих когтей, с другой — адамитов, купидонов и других фофанов, хотя и пользующихся человеческим образом, но в то же время украшенных чрезмерно длинными ушами. Первые хищны, плотоядны и прожорливы, вторые — смирны, травоядны и не только умеренны, но еще усугубляют свою умеренность тем, что постоянно зевают по сторонам и проносят мимо рта попадающиеся куски. Первые любят действовать с наскоку и не без удовольствия поедают последних; вторые смотрят на это, как на неотразимое зло, которое можно объяснять себе тем-то и тем-то, и только изредка для очищения совести испускают слабый писк. Понятно, что таким сорвиголовам, каковыми являются наши купидоны и нетовцы, никакие знамения не помогут и что они в этом случае должны остановиться на том же, на чем, конечно, с удовольствием останавливались и достославные их предки, а именно на том премудром заключении, что всякой штуке от начала известный предел положен, которого не перейдешь и никакими человеческими усилиями не отвратишь...

Но понятно также, что мы не должны ни удивляться, ни ахать, когда жало смерти оказывается относительно нас беспощадным. Принято говорить: в гнилой и исполненной миазмов атмосфере все хорошее безвременно увядает, все доброе варварски посекается. В этом, конечно, есть своя доля истины: увядает, действительно, не только хорошее, но и лучшее, посекается не только доброе, но и прекраснейшее. Но объяснять подобным образом это увядание и посекновение и успокаиваться на таком объяснении могут только те благонамеренные, но никуда негодные волчцы, которые бесполезно бременят собою человеческую ниву. Конечно, объяснять и философствовать можно легко, приятно и удобно, но я полагаю, что истинное дело волчцов не объяснять, а заслонять собой то лучшее и прекраснейшее, которого соками они питаются; их дело не философствовать и изрекать неизреченная, а без дальнейших разговоров несчетными грудами валиться около этого лучшего и прекраснейшего и образовать своими телами такую непроходимую трущобу, сквозь которую мудрено было бы и пробраться. Пусть знают и помнят волчцы, что когда иссякнут те соки, которые давали им жизнь, тогда неотразимо иссякнут и сами они, волчцы. И не успеют они догадаться, как некоторый древний Минотавр поглотает их всех, или же — что еще хуже — как у них у самих вырастут на плечах песьи головы. Ибо кто тогда наставит их? Кто защитит их бедность, невинность и убожество?

Да, положение русского общественного деятеля имеет мало в себе завидного. Мало того, что он должен работать и создавать: он, сверх

того, должен позаботиться и о способах к ограждению и защите. Нет у него волчцов! нет пламенных, преданных, не размышляющих волчцов! И когда он истощит свои силы в борьбе с мелочами (она-то собственно и должна бы составлять занятие волчцов), то в результате получит одно: удовольствие видеть себя одиноким в поле и убедиться, что люди, сегодня еще полные жизни, могут завтра исчезнуть так же бесследно, как бесследно исчезают пузыри на поверхности воды...



ПРЕДПОЛАГАВШЕЕСЯ ИЗДАНИЕ СКАЗКИ ЩЕДРИНА «ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР» С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ М. О. МИКЕШИНА, 1892 г.

Обложка

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Страшная мысль — не вращается ли он в пустоте и есть ли кому дело до его деятельности, должна всеминутно преследовать и терзать русского деятеля. Между ним и массой нет той полезной посредствующей среды, которая, с одной стороны, популяризирует мысль и делает ее мирским достоянием, а с другой стороны, подмечает действительный умственный уровень масс и их насущные нужды и этими живыми наблюдениями освежает и укрепляет высшую деятельность мысли. Во всяком благоустроенном обществе мысль является средоточием, около которого образуются более или менее значительные группы; у нас — мысль является средоточием пустыни. Понятно, что, находясь в такой обстановке, мысль, при всей логичности своих выводов и даже при полной реальности своего

содержания, на каждом шагу рискует очутиться в самом оскорбительном одиночестве и убедиться, что вся ее работа есть не что иное, как пущенное на ветер искусство для искусства.

Нет сомнения, что подобная фантастичность обстановки в значительной степени влияет на самую энергию мысли, делает ремесло общественного деятеля до крайности рискованным, почти безнадежным, и естественно, само собой доводит число их до тех крайних цифр, за которыми может следовать дробь или нуль. Да и тут, даже в этих немногих случаях, только крайняя страстность убеждения, крайняя восторженность мысли может вывести человека на эту омерзительную арену человеческого бессмыслия и пошлости. И таким образом, истинный деятель становится редкостью, диковиной, возбуждающей любопытство праздной толпы, но не зажигающей в ней той искры, которая объединяет мысль с делом и последнему дает характер естественного продолжения первой. И может он и умирать, и исчезать, сколько ему угодно—и никто не заприметит ни смерти его, ни исчезновения. Еще вчера, вот здесь, на этом самом месте, было нечто, а сегодня уж тут пустота, которую кой-как усиливаются законопатить выдвинувшиеся вперед лилипутики и лилипутченки мысли. Точно так же безучастно освещает солнце сцену человеческой глупости и праздности, точно так же (даже веселее и ходчее) стрекочут мальчики с песьими головами, и точно так же ежатся и жмутся к сторонке адамиты, нигилисты и купидоны... Никакого урока! никакого поучения! Неужели же есть какая-нибудь возможность не задуматься над этим?

Самоотвержение — глупость, самоотвержение — бессмыслица: положим, что вы, купидоны, и сумеете все это доказать; но не для вас тут глупость и бессмыслица, не для вас! Вы обязаны и жертвовать собой, и самоотвергаться, потому что в этом заключается ваше ремесло. Оставьте сеять сеятелям, вы же утучняйте и разрыхляйте землю и охраняйте посеянное от червей и гусениц, потому что, если вы насильственно присвоите себе роль сеятелей, то, наверно, насеете такой чепухи, которой впоследствии не переработает никакой плуг. Помните, что в вас только и есть одно драгоценное качество: благонамеренность — ну и удовлетворяйте этому свойству, сколько сил ваших станет, а о прочем забудьте, потому что это «прочее» может только спутать вас. Правда, что и севастопольские твердыни пали, несмотря на геройское самоотвержение русского солдата, но разве это самоотвержение прошло бесследно? Нет, оно имело последствием возможность заключить непостыдный мир.

Итак, и старинные руководящие признаки не убеждают нас; да если бы мы и держались еще предрассудков настолько, чтобы убеждаться знамениями, то это не привело бы нас ни к какому существенному результату. С помощью анализа мы пришли к признанию слишком большого количества глупостей, чтобы это не оказало очень сильного влияния на наше собственное одурение. А потому, предоставимте, возлюбленные, все сие воле божией и будемте на прохладе беседовать о том, какие радости ждут впереди наших счастливых потомков.

Вот, например, что повествует в 16 № «Дня» г. Касьянов (тот самый г. Касьянов, который в прошлом году повествовал о подвигах русских барынь за границей, и который ныне витает уже в пределах обширного нашего отечества, и чуть ли даже не на лоне Спиридоновки):

«Знаете ли, что́, по рассказам, случилось недавно в одном из уголков нашего пространного царства? Некоторые мальчики в одном из общественных заведений (казенных или частных — не знаю), приглашенные своим училищным начальством говеть,— объявили священнику, что они нигилисты и говеют только по приказанию,— вследствие чего, конечно, священник и не допустил их до таинства. Скандал был ве-

ликий, благочестивые души местечка N были смущены, а местное начальство пришло в негодование. Мне первый поведал это мой приятель г. *Оглы*, городничий,— лихой малый из некрещенных татар, служивший гусаром в С. полку. Так вот этот г. *Оглы* первый возвестил мне это событие, которое вслед за тем подтвердил мне и *Пуффендорф*, его помощник, немец и лютеранин. Я было не поверил рассказу, но ужас, написанный на лицах гг. *Оглы* и *Пуффендорфа*, как официальных ревнителей „порядка", говорил убедительнее всех доказательств. Но отчего так возмутились и вознегодовали мои добрые приятели-чиновники? Оскорбились ли они за веру, за православную церковь, взволновало ли их такое явное неуважение к ее обрядам и таинствам? Да вы за что сердитесь?— спросил я. „Помилуйте — ведь это нарушение дисциплины, ведь это"... и пр., пр.: вот что было ответом *Оглы* и *Пуффендорфа*: „ведь их свободу совести никто не стесняет, может, отцы их и не крепче были в вере, да все же ведь говели и свидетельства о говении получали и штрафу не подвергались"... прибавляли еще мои друзья, татарин и немец».

Затем почтенный г. Касьянов, возмущаясь «благоразумным лицемерием» гг. Оглы и Пуффендорфа и тут же кстати припоминая себе стихи знаменитого поэта-славянофила:

И ты, когда на битву с ложью,
Восстанет Правда дум святых,
Не налагай на правду божью
Гнилую тягость лат земных.
Доспех Саула — ей окова,
Ей царский тягостен шелом,
Ее оружье — божье слово,
А божье слово — божий гром! *

предлагает своим читателям, а в том числе, конечно, и упомянутым выше, достославным Оглы и Пуффендорфу, убеждать «некоторых мальчиков» посредством этого не им изобретенного оружия.

Прежде всего, я нахожу педагогический прием г. Касьянова в высшей степени изнурительным и даже истязательным. Никакие «действительные меры» не пилят так нестерпимо, как пиление словесное; ничто не ожесточает человека так сильно, как неумеренное казнение посредством восторженной ерунды, вроде сейчас выписанных стихов. Настоятельнейшее и притом совершенно законное право всякого истязуемого лица заключается в том, чтобы, по крайней мере, понимать цель прилагаемых к нему истязаний. Телесное наказание причиняет боль физическую и возмущает душу; конечно, Пуффендорф и Оглы не имеют ничего привлекательного, но их можно понять, их можно сносить, как временное иго (отзвонил, да и с колокольни долой), наконец, против них можно найти известные средства обороны. Но что можно сделать против наказания стиховного, против того наказания, которое стремится высосать не тело, но самую бессмертную человеческую душу? Представьте себе такую картину: сидит педагог и декламирует:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых...

— Понимаешь?— ласково спрашивает педагог.

—Не—нет... не понимаю!—отвечает ученик,которого ласковость педагога вовсе не ободряет, а напротив заставляет подозревать нечто сугубое.

— А! Не понимаешь! ну, повторим сначала!

И ты, ког-да на бит-ву с ло-жью
Вос-ста-нет Прав-да дум свя-тых...

понимаешь?

---

* Из стихотворения А. С. Хомякова «Давид», 1844 г.—*Ред.*

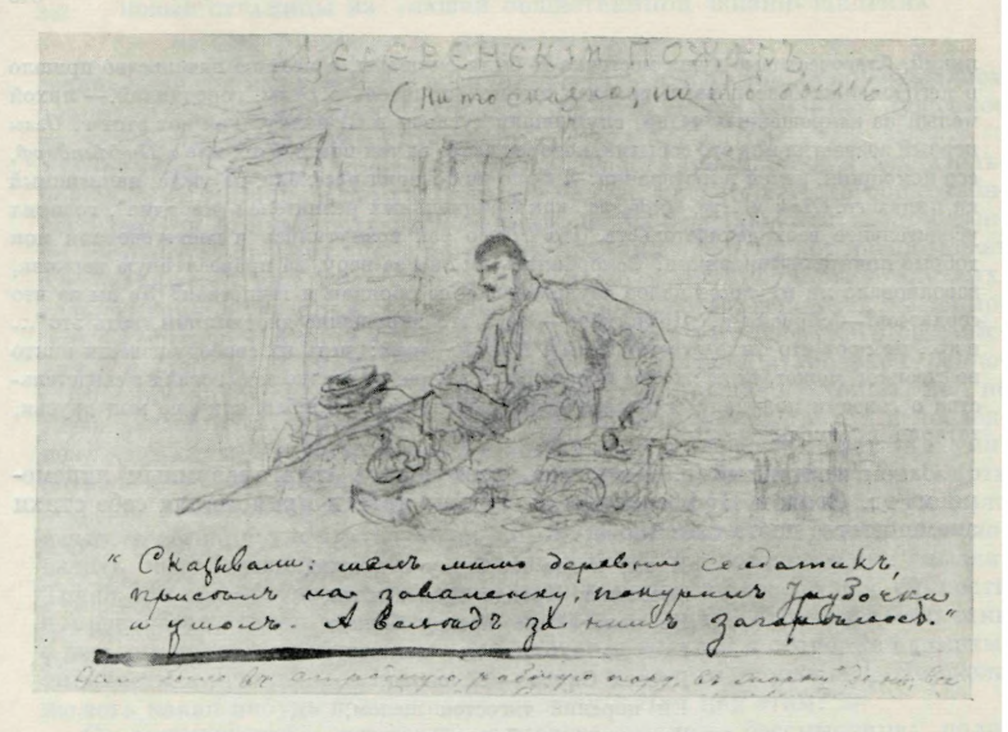


РИСУНОК ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАВШЕГОСЯ ИЗДАНИЯ СКАЗКИ ЩЕДРИНА «ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР» С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ М. О. МИКЕШИНА, 1892 г.

«Сказывали: шел мимо деревни солдатик, присел на заваленку, покурил трубочки...»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

И так до бесконечности. Что будет, если ученик этот, наконец, не догадается и не скажет: понимаю? Что будет, если сам педагог, наконец, не выйдет из терпения и не закричит не своим голосом: а ну-те, подавайте-ка нам сюда розог? Поистине, я недоумеваю, какой может быть выход из этого трагического положения! ведь это все равно, что обнять необъятное, что изрекать неизреченное, что стараться уловить свой собственный кукиш...

Но даже если ученик и догадается сказать: «понимаю», то и тут он обязан употребить известную сноровку, т. е. уметь сказать это весело, твердо, без колебаний в голосе, ибо педагоги такого рода, как г. Касьянов, очень прозорливы: сейчас усмотрят малейшее колебание в голосе, и тогда опять пошла песня в ход:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых...

Но даже и тогда, если педагог достаточно раздражителен, чтобы выйти из себя при виде отчаянной непонятливости ученика, он обязывается высказать эту раздражительность как можно поспешнее, потому что при малейшем с его стороны замедлении ученик может дойти до конечного озлобления и сделать над собой что ни на есть скверное. Ибо ничто так упорно не отстаивает свои права на неприкосновенность и на невоспитываемость, как бессмертная человеческая душа.

Мы, русские, вообще довольно равнодушны к телесным исправлениям, в какой бы форме они до нас ни доходили, но душевных испытаний положительно выносить не можем. Мудрая Екатерина понимала это и наказы-

вала своих придворных тем, что заставляла их, по мере вины, выучивать по нескольку стихов из «Телемахиды». Г. Касьянов хочет применить эту методу в обширных размерах, но ведь надобно, чтоб он предварительно объявил вину, за которую россияне должны понести столь тяжкое наказание. Быть может, исправления этой вины предостаточно для гг. Оглы и Пуффендорфа.

Но дело не в педагогических приемах г. Касьянова, а в том факте, который он приводит. Говоря по совести, я ничего тут не понимаю. Что померещилось этим «некоторым мальчикам»? о чем они мечтали? зачем они говорили? зачем говорили?.. Скорблю.

Но если такой образ действия прискорбен со стороны «мальчиков», то в какой же мере должен он огорчать, когда исходит из среды людей взрослых? Относительно этих последних, действительно, уже ни Оглы, ни Пуффендорф не могут быть признаны целесообразными; тут надобны средства более крутые и радикальные, а именно: всякий раз, как такие люди замыслятся, следует говорить им: «а вот погодите, ужо отдам я вас г. Касьянову!» Присмиреют, наверное.

«Московские ведомости» решительно намереваются устроить из своих столбцов палладиум российского либерализма. Это не то, что какой-нибудь «Голос», который скрипит, скрипит о ложбине, образуемой на Невском проспекте железно-конною дорогой, или о действиях Литературного фонда и до тех пор не сойдет с своей нотки, покуда, что называется, всю душу не вымотает. Нет, «Московские ведомости» берут все вопросы крупные и при разрешении их высказывают ту развязную любезность,

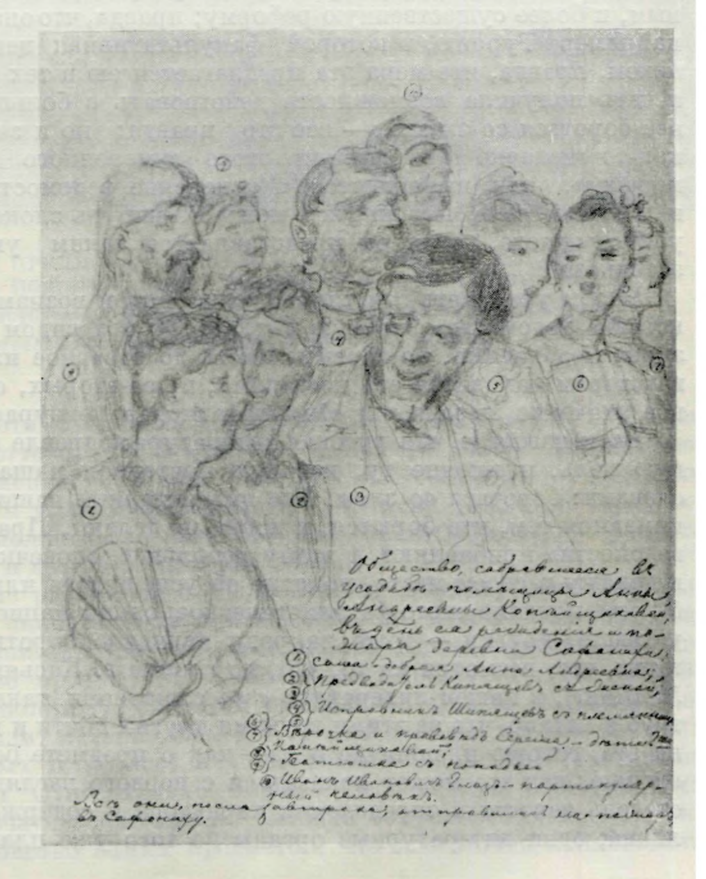


РИСУНОК ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАВШЕГОСЯ ИЗДАНИЯ СКАЗКИ ЩЕДРИНА «ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР» С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ М. О. МИКЕШИНА, 1892 г.

«Общество, собравшееся в усадьбе помещицы Анны Андреевны Копейщиковой...»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

которая возможна только при полной уверенности в сочувствии даже со стороны такого строгосерьезного органа, как «Северная почта» (мысль эта, впрочем, не моя, а заимствована мной из статьи г. Самарина, распубликованной в 15 № «Дня»). Сегодня они будут рассматривать вопрос о раскольниках, завтра—вопрос о свободе слова, послезавтра—вопрос о русской общине, и везде убедят читателя, что для них нет ничего недоступного. Правда, что г. Самарин докажет им, что в суждениях их усматривается больше развязности, нежели основательности, но они сумеют вывернуться и из этого трудного обстоятельства и ответят г. Самарину, что ему оттого так кажется, что он «поставил мудрость своего кружка под гарантию российской империи», а они, «Московские ведомости», действовали всегда свободно и самостоятельно. Словом, либерализм стоит, так сказать, коромыслом — в столбцах этой старейшей русской газеты, и если не выедает глаз, то оттого только, что люди нынче вообще как-то изверились и все подозревают, не скрывается ли даже в самых лучших человеческих намерениях и действиях что-нибудь злокозненное или человекоубийственное.

Меня, как присяжного литератора, всего более, разумеется, занимал вопрос о книгопечатании. Целую зиму «Московские ведомости» препирались об этом предмете с Финляндией, и так это выходило у них приятно и сладко, что мне ничего не оставалось больше, как предвкушать. Каково же было мое изумление и огорчение, когда в 85-м № я, наконец, прочитал давно ожидаемое разрешение этого трудного вопроса,— и как бы вы думали, в чем заключается это разрешение? — в установлении цензуры факультативной! Правда, что газета, предлагая эту меру, прибавляет, что это не мешает правительству предпринять, буде признает нужным, и более существенную реформу; правда, что она указывает при этом, например Турцию, в которой факультативная цензура действует с успехом, правда, что мера эта предлагается ею в тех видах, чтобы русская печать получила возможность действовать с большею пользой, «успешнее бороться со злом...»— все это правда: но и за всем тем делается как-то неловко при чтении этого «умеренного и непритязательного проекта», как выражаются «Московские ведомости». Все думается: да и в самом деле, нет ли уж в нем чего-нибудь злокозненного и человекоубийственного, если он представляется таким умеренным и непритязательным?

Чтобы уразуметь отчетливо, каким оцтом вознамерились опоить «Московские ведомости» русскую литературу под видом факультативной цензуры, необходимо, во-первых, иметь достоверное известие о положении, в котором находится эта последняя, и, во-вторых, объяснить себе истинное значение выражения «факультативная цензура».

Всем известно, что русская литература издревле имеет свою специальную цель, и именно ту, которую почтенная наша газета формулирует словами: бороться со злом. Все литературные наши органы только и занимаются тем, что борются, а добра не делают. Правда, что «Московские ведомости» прибавляют к этому небольшое словечко «успешно», но, как я докажу в своем месте, понятие об успешности или неуспешности борьбы есть понятие чисто фаталистическое: одним написано на роду бороться успешно, другим — тоже на роду написано бороться неуспешно. Дело в том, что, несмотря на то, что, по словам г. Касьянова (все в том же 16 № «Дня»), в нашей литературе «все слажено и такая согласная музыка труб и литавр, что за этими звуками других почти и не слышно», несмотря на это, говорю я, понятие о зле, как о предмете борьбы, далеко не так сложно, как это может показаться с первого взгляда. Во-первых, самая степень ясности в определении характера и содержания зла весьма различна; одни литературные органы до того уже пластично выясняют это

понятие, что от этой пластичности даже воняет, что этою пластичностью они могут действовать, как обухом. При такой разухабистой простоте отношений к злу не может быть и речи о неуспешности борьбы противу него; тут чем сильнее и энергичнее производится лупка, тем лучше и приятнее; тут не только никто не станет препятствовать, но иной, видя человека до такой степени уж убежденного, даже на водку дает. Напротив того, другие литературные органы относятся к этому предмету с меньшею ясностью, робко и несколько даже спутанно. И это происходит совсем не от того,

РИСУНОК ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАВШЕГОСЯ ИЗДАНИЯ СКАЗКИ ЩЕДРИНА «ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР» С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ М. О. МИКЕШИНА, 1892 г.

«Она вынула десятирублевую бумажку, положила ее на ладонь и протянула руку...»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

чтобы в самом деле эти органы не понимали того, о чем говорят или с чем борются, а просто оттого, что в природе существует закон благовременности и неблаговременности, а еще и оттого, что самое «зло» некоторым не вполне развязным умам представляется в формах далеко не столь решительных, чтобы можно было взять на себя ответственность устраивать на него ежедневные и всегда безопасные облавы.

Во-вторых, кроме различной степени ясности в формулировании зла, имеется еще весьма значительная разница в самых взглядах на зло, в самых понятиях об нем. Разумеется, есть такого рода злодейства, на которых литературные органы, от «Голоса» до «Московских ведомостей» (кто эту бездну наполнит?), сходятся одинаково; таковы например: социализм, демократизм, материализм и т. д., но сколько же есть и таких злодейств, о которых и «Голос» и «Московские ведомости» совершенно различных мнений? Относительно первых борьба, при всевозможных обстоятельствах печати, непременно должна сопровождаться успехом, ибо таково уже свойство самих предметов, что достаточно наименовать

их, чтобы видеть себя триумфатором; что же касается до вторых, то здесь, очевидно, весь успех зависит от большей или меньшей прозорливости литературного органа и оттого, с тактом или без такта выбирает он сюжеты для борьбы. Литературные наши деятели почерпают сведения о зле из разных источников; говоря языком астрологов, одни борются под влиянием планеты Нептуна, другие — под влиянием Марса, третьи — под влиянием Меркурия и т. д., но понятно, что зла, указываемые этими планетами, могут быть весьма разнообразны, а следовательно, таковым же разнообразием в своих приемах должна сопровождаться и борьба с ними. Главную роль в настоящем случае, разумеется, играет понятие о большей или меньшей терпимости зла, а следовательно, и о большей или меньшей благовременности борьбы с ним. При настоящих условиях русской печати это последнее понятие устанавливается цензурой, но, устанавливая его, цензура все-таки отнюдь не подрывает другого понятия: понятия о самой благонамеренности борьбы со злом. Они говорят: вы все, действующие под влиянием Нептуна, Марса и Меркурия, все вы люди благонамеренные, но благонамеренною я могу признать только ту борьбу, которая производится под влиянием, например, Меркурия. Коротко и ясно. Слыша это, что делают сторонники Нептуна и Марса? Они, конечно, примиряются с своим положением, но в то же время дают тонко почувствовать: не будь у нас цензуры, так и не весть что наделаем! Вот это-то их хвастовство и нужно иметь в виду, если уже признается необходимым изменить условия, в которых находится русское книгопечатание. А для того, чтобы достигнуть этого, необходимо до известной степени ограничить понятие о благовременности; одним словом, необходимо, чтобы, например, «Голос» имел право высказывать свою неблаговременную благонамеренность с тою же свободой, с какою «Московские ведомости» высказывают свою благонамеренность благовременную.

Может ли удовлетворить этому требованию цензура факультативная? Нимало. Что такое факультативная цензура? Это такого рода административная мера, которая, не изменяя ни в чем коренных условий печатного слова, ограничивается только дарованием авторам или издателям номинального права освобождать или не освобождать себя от действия предварительной цензуры. Почему я называю это право номинальным? А потому просто, что здесь возбуждается начало ответственности, но в то же время ни признаки, ни последствия этой ответственности ничем не определяются, и главным решителем вопросов остается все это же понятие о благовременности, понятие, подвергающееся беспрерывным изменениям, которые уловить не только трудно, но даже невозможно. Следовательно, в окончательных своих результатах дело сводится здесь или к интриге, или к такой сверхъестественной прозорливости, которая ни в каком случае не может быть обязательною для всех литераторов без различия.

А потому: люди прозорливые или люди характера совещательного непременно поспешат освободиться от стеснений предварительной цензуры. Не потому, чтобы эта свобода в самом деле доставила им большую возможность «успешно бороться со злом»,— этою-то возможностью они, и состоя под цензурой, пользуются преестественно,— но потому, что свобода эта присовокупляет еще новую роскошь к той массе роскоши, которой они до того пользовались. С нею они приобретают не только право излагать все, что истекает из свойств этого наития, под которым они действуют (этим правом они обладали и прежде), но и множество разных других материальных удобств, как например: избавляются от сношений с цензурой и от всех формальностей, которые с этим сопряжены. Формальности эти сами по себе совсем не тяжелы, но самая необходимость подчиняться им должна возмущать человека, черпающего вдохновение из чис-

КАРИКАТУРА НА КАТКОВА И ЕГО ГАЗЕТУ «МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

«Будильник», 1865, № 35

Дуй во всѣ лопатки, куда дуетъ попутный вѣтеръ и пріобрѣтешь славу благонамѣреннаго публициста.

того источника и доведшего свою мысль до полного соответствия. Но люди не прозорливые, или же хотя обладающие элементами совещательности, но совещательности неблаговременной, положительно вынуждены будут уклониться от факультативной цензуры в пользу чистой предварительной, ибо, видя перед собой только темный принцип «ответственности», они, как пловцы без кормила и весла, легко могут остаться в мучительной неизвестности насчет того, что лежит на дне этого принципа: прожорливый ли Левиафан или просто глубь водная. Будучи в существе своем чисты сердцем и непорочны душою, они увидят себя вынужденными невольно, но постоянно грешить против благовременности, которой признаки с добровольным отказом от предварительной цензуры скроются от них безвозвратно.

И таким образом, литературные органы, стоящие на равной высоте благонамеренности, очутятся в положении далеко не равном. «Голос» будет томиться в узах, а «Московские ведомости» будут разглагольствовать. Мало того, они будут еще поддразнивать:

Друг! Отчего печален голос твой?
Ответствуй, друг! реши мое сомненье!
Иль он твоей судьбы изображенье?
Иль счастие простилося с тобой?*

И чего доброго, под влиянием этих подстрекательств, «Голос» вооружится храбростью и воскликнет: не надо и мне цензуры, хочу и я в свою очередь пороскошествовать!.. Ну, и погибнет.

* Из послания П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу.— *Ред.*

Но может выйти из этого обстоятельства и еще горшее. Прозорливые люди возомнят себя уже совершенно развязанными относительно людей непрозорливых и скоро потеряют последний признак стыдливости, окончательно заменив ее одною ясностью. И когда непрозорливые люди будут отвечать им вяло или неясно, то прозорливые скажут: «сами вы виноваты! зачем же не стали в то самое положение, в какое стали мы! ведь вас не потчивали!» Вот и судитесь тогда с ними!

Так вот каким оцтом вознамерились опоить русскую литературу благовременно-благонамеренные «Московские ведомости». Ужели ли же чаша сия и в самом деле не пройдет мимо нас?

Еще одно слово. Весь петербургский чиновничий мир взволнован; экзекуторы в страхе, провинциальные секретари и сенатские регистраторы мятутся, как домашние животные перед землетрясением. «Исправится ли девица Инна Горобец, поймет ли она, где ее истинные доброжелатели?» — вот вопрос, который, словно пожаром, охватил убеленные сединами головы этих невинных людей. В ожидании разрешения его дела остаются в запустении и в бумагах допускаются бесчисленные орфографические ошибки. Пользуясь этим административным смятением, молодые и вольнодумные чиновники даже вовсе перестали ходить на службу и с утра до вечера сибаритствуют себе в музыкальном кафе-ресторане купца Наумова.

С другой стороны, петербургские прогрессисты тоже взволнованы, но уже с некоторым оттенком уныния. До сих пор они носились с Инною, как некогда носились с Базаровым; они искренне увлекались ею и говорили: ну да, вот это наши люди, ибо на них почивает наша печать! Даже философ Кроличков — уже на что, кажется, человеконенавистник! — и тот, сказывают, одобрил сцену, когда Инна, лишенная одежды и сидя по горло в воде, знакомится с графом Бронским. «Право, хоть бы и мне так поступить!»,— воскликнул он, забыв, что у него совсем не те атуры, которые могут сообщать подобному положению надлежащий интерес. И вдруг все эти прогрессисты теперь увидели, что Инна всегда только на волосок стояла от того, чтобы перейти в русановскую веру! Какое разочарование! Только что было приискали Базарову подругу жизни, и вдруг эта подруга изменяет ему — и для кого изменяет? для тихо курлыкающего каплуна Русанова!

Итак, весь Петербург взволнован — взволнован чем? — будущими судьбами девицы Инны Горобец! Как хотите, а это явление любопытное...

ПРОТИВ «ЛИТЕРАТУРЫ БЛАГОНАМЕРЕННЫХ УСИЛИЙ...»

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЦЕНЗУРОЙ РЕЦЕНЗИЯ ЩЕДРИНА (1864 г.)

Статья С. А. Макашина

Публикация В. Э. Боград а

В марте 1864 г. в печати появилась комедия Ф. Н. Устрялова «Чужая вина». Месяцем ранее она была поставлена на сцене Александринского театра. Темой пьесы была необходимость поисков «положительных сторон» в современной русской жизни. Автор, популярный в ту пору драматург, по своим политическим взглядам либерал, стремился противопоставить «отрицательным» героям «нигилистической» литературы (в первую очередь Рахметову) «положительный» тип новейшего «русского деятеля». «Современник» не замедлил откликнуться на эту литературно-театральную новинку. В майском номере журнала появилась необычная по форме рецензия: характеристика устряловского сочинения — его художественной беспомощности, его охранительной тенденции — была дана в форме злой пародии на пьесу. Рецензию эту написал Щедрин. Хотя, как было принято в то время, она появилась без подписи, осведомленные современники, конечно, догадывались, чьему перу принадлежит эта ядовитая издевка над «литературой благонамеренных усилий». В список статей Щедрина отзыв на «Чужую вину» был введен лишь через десять лет после его смерти — в книге А. Н. Пыпина «М. Е. Салтыков» (СПб., 1899, стр. 237; позже указание Пыпина документально подтвердилось гонорарными ведомостями «Современника» — см. «Лит. наследство», т. 53-54, 1950, стр. 271). Рецензия была включена в пятый том Полного собрания сочинений Щедрина (1937 г.); источником перепечатки послужил журнальный текст. Но, как теперь выяснилось, этим текстом не исчерпывался отзыв Щедрина на пьесу Устрялова. Публикуемый по гранкам текст рецензии, найденный В. Э. Боградом (Архив Академии наук СССР в Ленинграде, ф. 111, А. Н. Пыпина, ед. хр. 174), доказывает, что напечатанная в «Современнике» пародия на устряловскую комедию — не более как фрагмент написанной Щедриным литературно-критической статьи. В авторской рукописи пародии предшествовала собственно критическая или аналитическая часть. Именно в ней наносился основной удар и по сочинению Устрялова, и по тому реакционному направлению «положительного нигилизма», к которому оно принадлежало. Пародия лишь сатирически заостряла этот удар.

Можно не сомневаться, что отсечение теоретической части рецензии от пародии произошло не по воле автора. Однако в документах официальной цензуры мы не нашли прямых свидетельств ее причастности к этому отсечению. Единственный след цензурного вмешательства можно предположить в одном из типографских счетов за набор пятой книжки «Современника» 1864 г. Здесь имеется рубрика: «Цензурой запрещено...». В рубрике назван ряд статей, и перечень их завершается записью: «В разных местах изъято — $1^5/_8$ п. л.» (В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника» 1863—1866. Л., 1939, стр. 84). Возможно, что в число этих «$1^5/_8$ п. л.» или 26 страниц материалов, вычеркнутых рукою цензора из майской книжки, входили и те страницы, которые были заняты первой частью рецензии на «Чужую вину».

О том, что сам Щедрин не отказывался от напечатания первого раздела рецензии, свидетельствует косвенно еще одно обстоятельство. Спустя четыре года Щедрин повторил некоторые положения и опубликовал небольшую часть запрещенного текста в августовском номере «Отечественных записок» 1868 г., в отзыве о другом «самоновейшем произведении положительного нигилизма», пьесе Н. И. Чернявского «Гражданский брак» (VIII, 300—308).

Итак, корректурные гранки, найденные в бумагах Пыпина, возвращают литературно-критическому наследию сатирика еще одну статью, проникнутую духом непримиримой борьбы с реакцией, блещущую всеми красками щедринского полемического таланта.

Щедрин выступает с типичной для шестидесятых годов критикой «по поводу». В центре его внимания—не столько пьеса Устрялова, сколько породившие ее социальные и политические явления. После 1863 г., после расправы с революционным движением внутри России и с национально-освободительным движением в Польше, обстановка в стране характеризовалась — вплоть до кануна семидесятых годов — неуклонным нарастанием реакционного курса в правительстве и реакционных настроений в обществе. Привилегированные круги совершают в это время резкий поворот от недавнего «либерализма», от сочувствия всяким «реформам» и «прогрессам» к открытой поддержке существующего строя, к прямому участию в разработке и пропаганде охранительной идеологии. В литературе возникает целая «школа» сочинительства, поставившая своей задачей,— как пишет Щедрин,— «отыскивать в русской жизни так называемые положительные стороны» и «положительные типы». Эта «школа» и разоблачается в рецензии на пьесу Устрялова.

Как обычно, Щедрин ведет свою речь на эзоповом языке, прибегая, в частности, к одному из своих излюбленных приемов — к приему мнимого сочувствия враждебным теориям и взглядам. Один из великих «писателей отрицания» (так Бернард Шоу называл Рабле, Свифта и других сатириков мировой литературы), Щедрин много и пристально думал о положительном в русской жизни и русском человеке. «Новая русская литература,— утверждал он в программной статье 1868 г. «Напрасные опасения»,— не может существовать иначе, как под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскивании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь» (VIII, 58). И это был далеко не единственный раз, когда Щедрин указывал демократической литературе на необходимость поисков и определения тех сил, которые были бы способны преобразовать общественные порядки в России, обновить ее культурную, экономическую и политическую жизнь. Очевидно, что эти силы, будучи *положительными* для дела демократических преобразований, являлись *отрицательными* по отношению к существующему строю, к разрушению которого они были исторически призваны. И, напротив того: всякого рода проекты «положительных программ», идеальные образы «положительных деятелей» русской жизни, выдвигавшиеся сторонниками сохранения существующего порядка вещей, были враждебны, «отрицательны» для противников этого порядка. Так в каждое из понятий «положительного» и «отрицательного» вкладывается два противоположных смысла. Это и есть своего рода ключ к иносказаниям и намекам публикуемой рецензии, достаточно, впрочем, прозрачным.

Щедрин начинает разбор пьесы Устрялова с указания на принадлежность ее к «новому роду сочинительства, который все более и более ищет утвердиться» в русской литературе. Несколько ниже это сочинительство определяется как «*хорошее направление*» и как «*львовская школа*» — по имени ее «родоначальника», драматурга Н. М. Львова, весьма популярного в пору общественного подъема конца 1850-х годов. Позднее, в упомянутой выше рецензии 1868 г. на пьесу Н. И. Чернявского «Гражданский брак», Щедрин писал о «*новой школе*» (*«необулгаринской»*), что она «поставила целью своих усилий утверждать утвержденное, защищать защищенное и ограждать огражденное» (VIII, 300). Другими словами, это — охранительное направление, которое средствами литературы призвано было ограждать еще прочный дворянско-помещичий строй, находившийся под защитой самодержавно-полицейского государства. В той же рецензии на «Гражданский брак» определяется дата возникновения новой школы:

1862 год (с оговоркой: «...за исключением, впрочем, г. Львова, который расцвел и увял гораздо ранее».— VIII, 302) — год перелома в политическом движении шестидесятых годов, год крутого поворота правительства к активному контрнаступлению, год перехода привилегированного общества от недавнего либерализма к реакции, к безоговорочной поддержке самодержавия в его борьбе с революцией.

В 1868 г., в преддверии нового демократического подъема в России и в условиях известного смягчения цензурного гнета, Щедрин смог дать в рецензии на «Гражданский брак» достаточно откровенную политическую характеристику «львовской» или «необулгаринской школе» в литературе. В комментируемой рецензии, писавшейся в обстановке сильного нажима реакции в 1864 г., Щедрин для обозначения тех же самых враждебных явлений должен был прибегнуть к иносказаниям эзопова языка. Но несмотря на это, спасти рецензию от цензурной ампутации Щедрину не удалось.

Некоторые иносказания публикуемого текста в наши дни требуют пояснений.

Почему, на какой почве возникла литература, устремившаяся к поискам «положительных сторон» в русской жизни? Щедрин объясняет это так: «*Русские сочинители убедились, что относиться отрицательно к жизненным явлениям невозможно, что это занятие фальшивое и невыгодное, что, наконец, в виду известных данных, громко вопиющих о прогрессе, оно не только не своевременно, но и несправедливо*». Здесь Щедрин имеет в виду те аргументы либеральной оппозиции шестидесятых годов, которыми ее участники, среди них и литераторы, пытались оправдывать свой трусливый, предательский отход от критики режима — «*отрицательного» к нему отношения*. После некоторого политического недовольства, выразившегося, по словам Ленина, в попытках «ограничить самодержавную власть посредством представительных учреждений» (Соч., т. 5, изд. 4, стр. 24), либералы в кульминационный момент движения шестидесятых годов перешли к полной поддержке правительства и существенно облегчили ему разгром революционного лагеря. Эта поддержка, объяснявшаяся классовыми интересами либерально-дворянской группы, усиленно маскировалась ссылками на прогрессивность правительства Александра II и его реформ. По мнению К. Д. Кавелина, «реформаторская деятельность правительства надолго обеспечила России нормальное течение здорового прогресса». Иронические слова Щедрина — об «*известных данных, громко вопиющих о прогрессе*»— относятся к реформам и к либерально-апологетическим оценкам этих реформ, подобных кавелинской.

Ведя речь от имени автора, славословящего результаты правительственных реформ, Щедрин предлагает отличать «*прогресс истинный*» от «*прогресса преувеличенного*». Ясно, что «*прогресс истинный*»— реальные итоги реформы 1861 г., крепостнической по своему характеру, удовлетворившей лишь либерально-дворянскую группу, но оставившей крестьянина нищим, забитым, темным, подчиненным помещику-крепостнику, реформы, не осуществившей ни одной из надежд на политическую демократизацию режима. «*Прогресс преувеличенный*» —те требования радикальных общественных преобразований в интересах народных масс, прежде всего крестьянства, которые были направлены прямо против существовавшего порядка. Выразителями этих требований были революционные демократы.

Указав на существование двух «прогрессов»—«истинного» и «преувеличенного»— Щедрин, по-прежнему выступающий под маской благонамеренного автора, разъясняет, к чему ведет непонимание той «очевидности», что «первым следует удовлетворяться, а второго избегать». «*Относиться отрицательно к жизненным явлениям*», то есть находиться в оппозиции к существующему строю,— продолжает автор рецензии свои рассуждения,— не только «*невыгодно*», в смысле «*устройства своей карьеры*», но и небезопасно даже для самой жизненной судьбы своей. Всякому стороннику «прогресса преувеличенного», действующему «*слишком назойливо и настоятельно*», то есть активному участнику революционного движения или последовательному писателю-демократу, «*благовоспитанное большинство*»—привилегированная верхушка общества— говорит: «*Погоди: разве ты не видишь? и если деятель продолжает не видеть, то без церемоний отметает его от общения с жизнью и от участия в ее увеселениях*». Этими строками Щедрин и редакция «Современника» хотели откликнуться прежде

всего на расправу самодержавия с Чернышевским: приговор ему был утвержден Государственным советом и Александром II 7 апреля 1864 г., обряд гражданской казни на Мытнинской площади совершен 19 мая, а пятый номер «Современника», из которого был изъят комментируемый текст, цензуровался 14 мая и 10 июня, вышел же в свет 14 июня. Вместе с тем эти строки содержали намек на судьбу не только Чернышевского, но и М. Михайлова, В. Обручева, Н. Серно-Соловьевича и всех других «революционеров 61 года»(Ленин), отметенных «от общения с жизнью» каторжными приговорами правительства.

Констатировав, что «русские сочинители» (имеются в виду литераторы дворянско-либерального лагеря) «убедились, что отрицательное отношение к действительности невыгодно, и, убедившись в этом, бросились отыскивать в русской жизни так называемые положительные стороны», Щедрин переходит к характеристике самой «положительной литературы». Он вновь возвращается в этой связи к драматургу Н. М. Львову, которого считает родоначальником литературы «благонамеренных усилий», подготовившим новейшее направление «положительного нигилизма», и к его обличительной комедии «Свет не без добрых людей» (1857 г.). Из этой пьесы, имевшей когда-то громкий успех, а также другой, не названной в рецензии — «Предубеждение, или Не место красит человека» (1858 г.; именно в этой пьесе выведен упомянутый Щедриным идеальный *становой пристав)*, — Щедрин извлекает корень «львовской школы» — старинную, еще Фонвизиным данную формулу либерального обличительства: «Законы святы, да исполнители — лихие супостаты». Иначе говоря, *«божий мир»*, то есть существующий порядок *«прекрасен»* *, и *«людям остается только скромнее себя вести»*, то есть верить в справедливость сложившейся общественной системы и честно служить ей, не помышляя о радикальных преобразованиях и лишь содействуя устранению частных недостатков и погрешностей.

Именно таких «деятелей», лояльных критиков отдельных злоупотреблений, сторонников теории малых дел, молчалинской программы умеренности и аккуратности и возвеличивает благонамеренная литература, поставившая своей целью отыскивать в современной русской жизни положительные типы. Называемые Щедриным имена литературных героев, персонифицирующих «хорошее направление», взяты из шумевших в ту пору произведений «антинигилистической» литературы: *Русанов* из романа В. П. Клюшникова «Марево», *Вертяев* («современный Молчалин») из комедии Ф. Н. Устрялова «Слово и дело», *Зарновский* из «Чужой вины».

Эти сочинители,— утверждает Щедрин,— *действуют «под обаянием» публицистов «Голоса» и «Московских ведомостей»*. Таким сближением Щедрин указывает на еще один признак консолидации антидемократических сил в условиях натиска реакции. Газета Краевского «Голос» в начале 1860-х годов была главной трибуной российского либерализма. «Московские ведомости» Каткова, ранее тоже либеральные, после подавления польского восстания 1863 г. стали выразителями мнений всей официальной правящей России. Но это различие — мнимое, чисто внешнее. В главном вопросе либералы выступают единым фронтом с лидерами официальной идеологии: и те, и другие ратуют за «положительное» — по отношению к существующему режиму — развитие литературы и других форм идеологии.

Щедринская критика Львова и его «школы» «благонамеренных усилий», возродившейся в 1862—1863 гг. при зареве провокационных петербургских пожаров, среди правительственных репрессий и ренегатства либералов,— критика эта представляет интерес и в другом плане, в плане литературной биографии Салтыкова. У него были некоторые личные основания объединить свой очередной удар по реакционной литературе тех дней с критикой либерально-обличительной драматургии Львова— явления, казалось бы, уже устаревшего.

---

* В рецензии 1863 г. на роман Лажечникова «Немного лет назад» Щедрин писал «Например, г. Лажечников вполне уверен, что в настоящее время Россия представляет собой земной рай, — и я верю, что он искренне верит этому. Для него задачею всей его жизни, раем всех его помыслов было уничтожение крепостного права; как скоро событие это совершилось, то вместе с ним совершилась вся задача его жизни, вместе с ним опустился на землю рай его помыслов» (V, 260).

Дело в том, что в свое время не кто иной как Чернышевский литературно сблизил Щедрина и Львова, упомянув их как представителей одного направления. В «Заметках о журналах» за март 1857 г. Чернышевский сочувственно отозвался о той самой пьесе Львова «Свет не без добрых людей», которая, по позднейшему суждению Щедрина, явилась одним из основополагающих программных произведений «нового рода сочинительства», направленного на отыскание «положительных» сторон в русской жизни и пытавшегося создать тип идеального чиновника — безукоризненно честного, в меру либерального, но всецело преданного правительству.

Вот что писал Чернышевский: «Комедия г. Львова написана в том духе, который стал входить в моду с тяжелой руки г. Щедрина. Нам нет надобности много говорить о своем полном сочувствии к этому прекрасному истинно дельному направлению, которое с восторгом принято всей публикой. Очевидно также, что комедия г. Львова находится в близкой связи с комедиею графа Соллогуба „Чиновник", — она разоблачает тип праздных, ни к чему не способных и однако же способных на многое дурное людей» (Чернышевский, т. IV, стр. 735—736). Таким образом, Чернышевский первоначально возлагал на Львова (а также и на Соллогуба) определенные надежды и даже склонен был видеть в Львове, как свидетельствует его письмо к Некрасову от 13 февраля 1857 г., бо́льший талант, чем у Щедрина (там же, т. XIV, стр. 341). Очень скоро, однако, руководители «Современника» от такой оценки отказались. В статьях Чернышевского и Добролюбова о «Губернских очерках» (1857 год, июньский и декабрьский номера журнала) Щедрин был принципиально и резко отделен от писателей, воспевающих «честную службу» и возвышающих «добродетельных чиновников» до значения ведущих общественных деятелей. Что касается Львова, то Добролюбов поместил в июньском номере «Современника» за следующий, 1858 г. уничтожающий отзыв о его второй комедии —«Предубеждение, или Не место красит человека». Добролюбов вскрыл в творчестве Львова те самые элементы казенно-официальной идеологии, которые дали Щедрину основание отнести этого писателя к основоположникам школы «благонамеренных усилий».

Казалось бы, ранняя формулировка Чернышевского, объединявшая автора «Губернских очерков» с представителями правого крыла в обличительной литературе, какими были граф Соллогуб и Львов, не могла уже тревожить Щедрина. Однако повод вспомнить о ней имелся. Он возник вместе с опубликованием статьи Писарева «Цветы невинного юмора», явившейся важным звеном полемики между двумя радикально-демократическими журналами «Современником» и «Русским словом», которая вспыхнула в 1864 г. и которую Достоевский окрестил «расколом в нигилистах».

Поставив в своей статье-памфлете задачу идейно дискредитировать Щедрина в мнении передовой молодежи, Писарев пытался изменить взгляд на автора «Сатир в прозе» как на серьезного литератора и убежденного демократа. Он рисовал его безобидным юмористом, представителем особого вида «чистого искусства» — «смеха ради смеха», к тому же беспринципным человеком, способным из тщеславия, из желания всегда и непременно считаться в первом ряду прогрессистов производить в своих убеждениях «разные маленькие передвижения», приводящие к полному повороту, к полной смене общественных позиций. Для доказательства этой способности, будто бы присущей Щедрину, Писарев привел следующий пример:

«В конце пятидесятых годов,— писал критик,— г. Щедрин своим отрицанием сооружал фигуру идеального чиновника Надимова; но, по свойственной ему осторожности, автор „Губернских очерков" не произнес в этом направлении последнего слова; это слово, как известно, было произнесено графом Соллогубом, которого наши добрые соотечественники сначала на руках носили, а потом, разумеется, осмеяли. Когда великосветский литератор таким образом опростоволосился, когда идеальный чиновник был доведен до последних границ картонности трудами чувствительных писателей, подобных г. Львову, тогда г. Щедрин, счастливо выбравшийся из этого кораблекрушения, тотчас начал растирать в порошок фигуру Надимова и притом растирать ее тем же самым отрицанием, которым он ее соорудил. Из тона г. Каткова он перешел в тон Добролюбова» (Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах, т. II. М., 1955, стр. 341).

Таким образом, Писарев повторил давно уже отвергнутое в демократической критике сближение Щедрина конца пятидесятых годов с либеральными обличителями — графом Соллогубом и Львовым. Более того, Писарев выступил с утверждением, будто не кто иной, как Щедрин и подготовил своими «Губернскими очерками» фигуру Надимова, героя соллогубовской пьесы «Чиновник»,— своего рода образчик для воспроизведения в правообличительной литературе множества подобных фигур добродетельных чиновников, возведенных в ранг двигателей российского прогресса.

Щедринская критика Львова и его «школы» была ответом на ту часть статьи Писарева, где он превращал автора «Губернских очерков» в одного из основоположников либерально-благонамеренного направления в обличительной литературе; Щедрин в своем ответе показал себя убежденным и постоянным врагом этого фальшивого направления.

В рецензии на «Чужую вину» имеется и другой отголосок спора Щедрина с Писаревым.

Полемика «Современника» с «Русским словом» была одним из проявлений кризиса демократического движения в России — кризиса, наступившего в результате спада революционной волны 1859—1861 гг. В основе разгоревшейся дискуссии лежали споры вокруг путей дальнейшего развития страны и тактики демократов в новых условиях, когда надежды на массовое движение, на народную революцию оказались тщетными. В некоторой части демократической интеллигенции возникли далекие от политической реальности планы освобождения страны и народа без помощи революции. Отдал дань этим настроениям и Писарев. В ряде своих статей 1863—1864 гг., в том числе и в «Цветах невинного юмора», Писарев развил свою утопию о социалистическом преобразовании России путем обращения к науке. Свои надежды Писарев связывал, в первую очередь, с распространением в среде «образованных классов» русского общества естественнонаучных знаний. Он утверждал: «Тут-то именно, в самой лягушке-то и заключаются спасение и обновление русского народа» («Мотивы русской драмы».— Соч., т. II, стр. 392). При этом Писарев не исключал из истории революцию, как двигатель событий: «Народное чувство, народный энтузиазм,— заявлял он,— остаются при всех своих правах; если они могут привести к цели быстро, пускай приводят» («Цветы невинного юмора» — там же, стр. 364). Но в данной исторической ситуации, на данной исторической ступени, когда выяснилась неподготовленность народных масс к борьбе за свое освобождение, «единственно верным путем» к достижению «конечной цели» Писарев считал «путь умственного развития», путь пропаганды научных знаний (там же).

Щедрин резко протестовал против такой точки зрения, считал, что она уводит от политики и на деле ведет к отказу от борьбы с общественным злом. В своих полемических выступлениях он не раз предупреждал, что путь Писарева и группы «Русского слова» таит в себе «опасность измены». Такое предупреждение содержалось в завуалированной форме и в запрещенной части рецензии на устряловскую «Чужую вину». Щедрин ставит вопрос: «Что усматривает перед собой писатель, действующий на почве отрицательной?» И отвечает: одни «свиные рыла». «*Ясно*,— иронически резюмирует далее Щедрин,— *что таким свинорыльством удовлетвориться нельзя. Даже критики строгие и наименее благосклонные к свиным рылам, как, например, г. Писарев, и те советуют оставить их в покое, и те говорят: довольно! давайте-ка, поищем чего-нибудь положительного; достаточно разрушать, будемте созидать!*».

Совет оставить в покое «свиные рыла» и обратиться к чему-нибудь «положительному» — это полемический отклик на писаревское поучение Щедрину из «Цветов невинного юмора»: бросить Глупов, оставить его в покое и обратиться к созидательному труду популяризатора естественно-научных знаний. Таким образом, Щедрин сближает свой «Глупов» — мощное сатирическое обобщение всего «порядка вещей» царской России, всего того отрицательного в русской жизни, что подлежало безусловному уничтожению,— с аналогичным гоголевским обобщением — «свиные рыла».

Публицисты и беллетристы львовской школы,— заявляет Щедрин,— убедились в том, что «ветхий мир» уже лежит в развалинах и что «на этих развалинах следует создать новые монументы и искать примирения». Эти иносказания прозрачны. «*Вет-*

КАРИКАТУРА НА ЛИБЕРАЛЬСТВУЮЩИХ ЧИНОВНИКОВ
Гравюра П. Куренкова с рисунка Г. Полтавцева
«Искра», 1859, № 47

— Попка, негодяй! когда ты перестанешь либеральничать?
Попугай. Дай денегъ, дай чинъ!

хий мир»— крепостной строй, приведенный, в представлении либералов, в «*развалины*» реформой 1861 г. Потребность на этих развалинах «*создать новые монументы и искать примирения*» — позиция дворянских либералов, удовлетворенных исходом реформы, славословящих власть, вступающих с ней в соглашение перед лицом общего врага — народной революции.

Щедрин отделяет Писарева — искреннего демократа, при всех своих заблуждениях,— и от либералов и от других сотрудников «Русского слова». Он относит его к числу критиков «строгих» и «наименее благосклонных к свиным рылам». Но Щедрин дает понять, что объективно Писарев подкрепляет усилия либералов, ищущих «примирения» с властью и стремящихся сооружать «новые монументы» во славу несправедливого строя. Сближение Писарева с либералами идет в публикуемой рецензии скрыто и без упоминания его имени.

«Публицисты и беллетристы львовской школы» следующим образом доказывают «несвоевременность» и «несправедливость» сохранения «отрицательного отношения» к пореформенной русской действительности. «*Они*, — пишет Щедрин,—*прямо говорят отрицателям*: *врете вы все со своими свиными рылами*! *Свиные рыла бывали прежде*, *но теперь с ними все счеты покончены...*». Это — все та же позиция либералов, удовлетворенных реформами. Либеральные критики недоумевали, почему сатира Щедрина и после 19 февраля продолжала бить по крепостному праву. Так, Анненков упрекал Щедрина в том, что «по окончании дела», то есть крестьянской реформы, он «снова возвращается к упраздненному крепостному праву, даже к прежде бывшим формам его, и возвращается не как строгий историк, а опять с жаром и пылом бойца и сатирика» (П В. А н н е н к о в. Сочинения, т. II. СПб., 1879, стр. 256). В том же упрекал Щедрина и Писарев. «Все внимание сатирика,— писал он в «Цветах невинного юмора»,— направлено на вчерашний день и на переход к нынешнему дню; хотя этот переход совершился очень недавно, но он очевидно составляет для нас прошедшее, совершенно законченное и имеющее чисто исторический интерес...» (Д. И. П и с а р е в. Указ. изд., т. II, стр. 357). Таким образом, и Анненков и Писарев равно не понимали, что тема крепостного права никогда не была для Щедрина темой только исторической.

Щедрин и другие революционные демократы знали, что реформы отнюдь не ликвидировали крепостнических отношений в стране. Признание феодального строя «вчерашним днем», всецело отошедшим в прошлое, отменяло необходимость революционной борьбы с крепостничеством, духом которого, как указывал Ленин, была пропитана вся пореформенная русская жизнь.

Затрагивают Писарева и те места в рецензии, где речь идет о занятиях «скромной наукой». В годы спада демократического движения литература «благонамеренных усилий» особенно старалась давать привлекательные для молодого поколения образцы положительных героев, находящих свое призвание вне сферы политических интересов—в «скромной науке», в «бескорыстной службе». В статье 1863 г. «Драматурги-паразиты во Франции», говоря о режиме Наполеона III, но имея в виду прежде всего русскую общественную жизнь в момент ее реакционного перелома,— Щедрин писал: «...читатель с некоторым изумлением спрашивает себя: ужели в самом деле время политических интересов миновалось? ужели французы ⟨читай: русские.— *С. М.*⟩ в самом деле до такой степени счастливы, что могут спокойно предаваться спокойному труду? Ужели возможны и там какие-то безличные Вертяевы, всласть твердящие о труде скромном, о труде неслышном? Нет, это только самообольщение; нет, это сон. Конечно, везде могут найтись люди, которые охотно смеются над интересами политическими, и смеются не просто по страсти к зубоскальству, а во имя других, более плодотворных интересов, которые будто бы затмеваются политическими; однако ж, здесь забывается одно весьма важное условие, а именно, что разработка политических интересов приготовляет почву для тех „других", о которых так много заботятся. Здесь, очевидно, забывается то, что, отклоняя политические интересы, мы вместе с тем отдаляем и „другие". Ясно, что тут есть ошибка, ошибка, быть может, не преднамеренная, но все-таки ошибка» (V, 212).

Щедрин считал, что в своих статьях 1863—1864 гг. впал в эту ошибку и Писарев. Именно этой ошибкой он объяснял отрицательное отношение Писарева к своей сатире с ее ярко выраженными политическими интересами. «Кто отвлекает молодежь от этого дела ⟨то есть отвлекает политикой от научных занятий⟩, тот вредит общественному развитию»,—писал Писарев (указ. изд., т. II, стр. 365).

Ошибка Писарева происходила из свойственных ему в это время утопических представлений о возможности демократических и социалистических преобразований России (это и есть «другие» интересы) без революции, без политики, одним только «положительным методом» пропаганды научных знаний.

Призывы либералов к мирному культурничеству, к отходу от политики, к поддержке правительства определялись их удовлетворенностью реформами.

Однако, несмотря на это коренное различие в исходных позициях Писарева и либералов, они близко сходились в тот момент в своих тактических планах: «...*поищем чего-нибудь положительного*; *достаточно разрушать*, *будем созидать*».

На это опасное для Писарева и всей группы «Русского слова» сходство с либералами, обратившимися к «благонамеренным усилиям», Щедрин без всяких обиняков указал в самом конце того раздела публикуемой рецензии, который был запрещен.

Он вкладывает здесь в уста «благонамеренного» литератора Устрялова, чью пьесу он разбирает *, такое сближение группы Писарева — Зайцева с группой Каткова: «...*нет*, *мы не отрицатели и не разрушатели*, *но скромные созидатели*, *действующие иногда по рецепту „Русского слова"*, *а иногда по рецептам „Русского вестника"*».

Публикуемая рецензия обогащает тот важный раздел сочинений Щедрина, где отразилось обострение классово-идеологической и групповой идеологической (в демократической среде) борьбы после 1863 г., после крушения надежд на близкое крестьянское восстание.

---

* Другая пьеса Устрялова «Слово и дело» того же направления «положительного нигилизма» была разобрана Щедриным в первой статье «Петербургские театры», появившейся в № 1-2 «Современника» 1863 г. (V, 144—150).

ЧУЖАЯ ВИНА

Комедия в пяти действиях. Ф. Н. Устрялова.

С.-П—бург. 1864 года

С легкой руки г. Львова (автора комедии «Свет не без добрых людей») в российской литературе образовался новый род сочинительства, который все более и более ищет в ней утвердиться. Русские сочинители убедились, что относиться отрицательно к жизненным явлениям невозможно, что это занятие фальшивое и невыгодное, что, наконец, в виду известных данных, громко вопиющих о прогрессе, оно не только не своевременно, но и несправедливо. Из всех этих соображений, конечно, всего более веса представляет то, которое говорит о невыгодности отрицательного отношения к жизни. Действительно, писатель, который не умеет отличить прогресса истинного от прогресса преувеличенного и не понимает, что первым следует удовлетворяться, а второго избегать, едва ли может иметь много шансов на устройство своей карьеры. Благовоспитанное большинство (то самое, которое держит в своих руках писателя) любит понежиться и отдохнуть от трудов по части прогресса и потому с недоверчивостью и нетерпением смотрит на тех, кои действуют слишком назойливо и настоятельно. Всякому действующему в этом смысле на литературном поприще оно говорит: погоди! разве ты не видишь? и если деятель продолжает не видеть, то без церемоний отметает его от общения с жизнью и от участия в ее увеселениях. Стало быть, невыгода здесь несомненная и очевидная. А затем уже следуют и прочие соображения: о несвоевременности отрицания, о его несправедливости и о том, что «это, наконец, уж слишком». Они, разумеется, тоже хороши и справедливы, но все-таки несколько слабее предыдущих, ибо не всякому уму доступны.

Итак, русские сочинители убедились, что отрицательное отношение к действительности невыгодно, и, убедившись в этом, бросились отыскивать в русской жизни так называемые положительные стороны. Это искание в одинаковой степени отразилось и в нашей публицистике, и в нашей беллетристике. Публицисты отыскивают положительные стороны путем умозрения, беллетристы — путем художественного воспроизведения; первые находят искомое в тех указанных правах и обязанностях, которыми в данную минуту пользуется общество; вторые — в тех живых типах, которые служат воплощением упомянутых выше прав и обязанностей. Но у всех у них один родоначальник — г. Львов, автор комедии «Свет не без добрых людей». Он первый указал, что и в становом приставе есть нечто положительное, первый изобразил, что в установлении управы благочиния можно отыскать высокий, нравственно-консервативный смысл, если чиновники ее будут заниматься своим делом неленостно и нелицеприятно.

Публицисты «Голоса» и «Московских ведомостей», а также романисты и драматурги, действующие под их обаянием, обязаны помнить это и не слишком-то заноситься мечтами о том, что они новаторы. Все эти Русановы, Вертяевы и тому подобные представители «хорошего направления», все эти разглагольствования о том, что божий мир прекрасен и что людям остается только скромно себя вести, совсем не ими выдуманы, а г. Львовым. Они в этом случае являются лишь пропагандистами — правда, пропагандистами очень полезными, доведшими тип приветливого и исполнительного начальника отделения до высшей степени ясности,— но все-таки только пропагандистами, а отнюдь не инициаторами.

В самом деле, мудрено и не соблазниться перспективами, открытыми г. Львовым. Что усматривает перед собой писатель, действующий на почве

отрицательной? Он, по выражению Гоголя, усматривает одни «свиные рыла». Чем подчует и с чем знакомит он своих читателей? Он подчует и знакомит вас с теми же свиными рылами. Ясно, что таким свинорыльством удовлетвориться нельзя. Даже критики строгие и наименее благосклонные к свиным рылам, как, например, г. Писарев, и те советуют оставить их в покое, и те говорят: довольно! давайте-ка, поищем чего-нибудь положительного; достаточно разрушать, будемте созидать! Это и понятно: русская литература так долго и так усердно занималась отрицанием и разрушением, что дальновидные люди должны были, наконец, убедиться, что отрицать больше нечего, что ветхий мир уже в развалинах и что на этих развалинах следует создать новые монументы и искать примирения. Вот этой-то последней потребности и взялись отвечать публицисты и беллетристы львовской школы. Они прямо говорят отрицателям: врете вы все со своими свиными рылами! Свиные рыла бывали прежде, но теперь с ними все счеты покончены; теперь у нас есть милые молодые люди, скромно занимающиеся «наукою» или же приносящие пользу отечеству бескорыстною службой и приветливым обращением с просителями!

Следовательно, надо созидать и отыскивать в жизни типы положительные — этого же убеждения, вместе с г. Львовым и его последователями, держится и г. Ф. Н. Устрялов. Чтобы доказать эту истину, он в 1862 г. написал комедию «Слово и дело», в которой изобразил, что нынешние молодые люди совсем не имеют в себе ничего подозрительного, что, напротив того, это просто малые дети, любящие читать книжки. Мысль эта до того ему понравилась, что в нынешнем году он решился подкрепить ее новою пятиактною комедией, которой заглавие выписано выше. Эта комедия так же, как и первая, написана на тему неподозрительности, с тою только разницей, что в первой комедии герой ее, Вертяев, доказывает свою неподозрительность тем, что занимается какою-то «наукой», а во второй — некто Зарновский ту же неподозрительность доказывает тем, что едет в Сибирь в качестве управляющего золотыми приисками с жалованьем в пять тысяч рублей. В обоих случаях г. Устрялов говорит: нет, мы не отрицатели и не разрушатели, но скромные созидатели, действующие иногда по рецепту «Русского слова», а иногда по рецептам «Русского вестника».

Но расскажем содержание новой комедии.

Сцена открывается в семействе Возницыных, состоящем из Петра Степановича, жены его, Марьи Васильевны, и дочери их, Верочки; к этому же семейству прикомандирован в качестве родственника и благодетельного гения отставной капитан Платон Степаныч Возницын. Нравы у этих людей следующие: Петр Степаныч — дурак; Марья Васильевна — дура; Верочка — глупа, но может в конце пьесы исправиться; Платон Степаныч — едва ли не глупее прочих, но в нем глупость умеряется добродетелью и вследствие того приобретает вид еще более тошный. При открытии занавеса лица эти занимаются разговором о том, что пора выдать Верочку замуж и что имеется уже в виду достойный жених в лице Николая Алексеича Зарновского, у которого хорошее место по службе и который «должен скоро выиграть процесс и сделаться миллионером». Поговоривши, эти люди расходятся, кроме Платона Степаныча, который выпытывает у Верочки ее тайну, и узнает, что Зарновский ей не противен. При этом оказывается, что Верочка воспитывалась в институте и до того уже невинна, что даже не знает, что «в жизни не одни туфли бывают». Платон Степаныч, с своей стороны, тоже не может растолковать, что такое бывает в жизни, кроме туфель, и таким образом разговор мог бы принять самые умопомрачительные формы, если б он не был прерван приездом Зарновского и его начальника, барона Талецкого. Нравы сих новых людей та-

ковы: Зарновский — умен, приветлив, бескорыстен, обладает хорошим слогом и жаждет заняться «делом»; Талецкий — пронырлив, любит полиберальничать, но в сущности взяточник. Затем приезжают еще: Данкова, племянница Талецкого, женщина легкого поведения, и некто Стожников, молодой человек окончательно малоумный. Все эти лица несколько времени между собой разговаривают и разъезжаются. Первое действие кончено.

«НЕОЖИДАННАЯ ГОСТЬЯ»
Карикатура на чиновников, испуганных появлением «Неожиданной гостьи» — Фемиды (правосудия)
Рисунок И. Ф. Шестакова, литография А. Т. Скино, 1858 г.
Исторический музей, Москва

Второе действие — через три месяца. Зарновский женат на Верочке, но процесс он проиграл, и все его ресурсы заключаются в службе. Нечего и говорить, что он по-прежнему умен, приветлив и бескорыстен, но Верочка начинает пошаливать. Она с утра до вечера шатается по знакомым и этим значительно огорчает своего супруга и добродетельного дяденьку Платона Степаныча, который очень часто ее вразумляет, но вразумить не может, потому что сам ничего не понимает. Пользуясь стесненным положением Зарновского и шаловливостью Верочки, подрядчик Медный предлагает ему денег за какое-то «подлое» дело, но Зарновский, оставаясь приветливым, по обыкновению от взятки отказывается. Приходит Верочка, и Зарновский выговаривает ей за то, что она слишком часто выезжает и преимущественно с Стожниковым, и в заключение говорит, что «пора, наконец, это кончить». «Отчего же ты на мне женился?» спрашивает его Верочка. «Оттого, что ты — примирение»,— отвечает Зарновский и, сказавши эту глупость, убегает, спеша застать дома какого-то нужного человека. А Медный только и ждет его ухода, чтобы явиться

в виде змия-искусителя к этой новой Еве. Он предлагает ей дорогую шаль; Верочка сначала колеблется, но потом как-то так делается, что шаль остается у нее. Входит Зарновский, который не застал дома нужного человека (вечно эти скромные труженики никого дома не застают!) и видит на жене шаль. Происходит следствие, и юная лихоимица окончательно посрамляется.

Действие третье. Верочка не исправилась, потому что ее сбивает с толку развратная Данкова, которая уговаривает ее разлюбить мужа и обратить внимание на Стожникова. Входят Зарновский и Талецкий; последний требует, чтобы дело Медного было решено в пользу просителя, но Зарновский не соглашается и изъявляет намерение выйти в отставку. Натурально, Талецкий уходит со сцены взбешенный, и вслед за ним оставляет сцену и Зарновский, потому что его ждут в кабинете. Является Верочка и за ней Стожников; происходит сцена нежничанья, в заключение которой Стожников целует у Верочки руку. На этом застает их Зарновский. Приезжают: Петр Степаныч, Марья Васильевна и Платон Степаныч и взапуски друг перед другом говорят чепуху.

В четвертом действии Зарновский, оставшись без службы и проигравши процесс, отправляется в Сибирь в качестве управляющего золотыми приисками. Верочка, однако ж, за ним не следует, а остается в Петербурге. В пятом действии Верочка оказывается падшею женщиной, и Зарновский узнает об этом. Он приезжает в Петербург, но, как истинный созидатель, не только не огорчается своим супружеским положением, а усматривает в падении жены лишь новый способ выказать свою неподозрительность. Он прощает. Верочка схватывает его руку и целует ее.

Вот голый остов новой комедии г. Устрялова. Но, употребляя выражение «голый остов», мы сознаемся, что оно не совсем верно. Есть такие литературные произведения, для которых не может существовать «голого остова», которые сами по себе составляют такой голый остов, дальше чего идти совершенно невозможно. Трудно себе представить что-нибудь тошнее и неестественнее этих бесконечно тянущихся, бессодержательных разговоров, этих преднамеренных появлений и исчезновений действующих лиц, которых автор высылает на сцену единственно в том соображении, что надо же как-нибудь и чем-нибудь сцену занять. И над всем этим царствует кисло-сладенькая мораль о каком-то таинственном «деле», из которого должна произойти невесть какая польза, но которое, если поразобрать хорошенько, не стоит выеденного яйца.

Итак, вот покуда к каким результатам приводит нас сочинительство, ищущее положительных сторон в русской жизни. Оно говорит: довольно отрицать, будемте созидать, и, в подкрепление своей мысли, высылает на нас целые сонмы теней в виде Вертяевых, Русановых, Зарновских, стреляет руководящими статьями «Московских ведомостей» и «Голоса» и подчует «скромною наукой»... Доказывают ли что-нибудь, удовлетворяют ли кого-нибудь благонамеренные усилия? Нет сомнения, что доказывают и удовлетворяют, ибо спрос на «скромную науку», очевидно, усиливается. Но что именно доказывают и кого удовлетворяют — это вопрос особый, разрешение которого в тесных пределах библиографической статьи было бы не совсем у места.

ПОЛЕМИКА С ДОСТОЕВСКИМ

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЦЕНЗУРОЙ СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИЯ ЩЕДРИНА (1864 г.)

Статья и публикация В. Э. Бограда *

Три публикуемые ниже документа — две статьи и рецензия Щедрина — хронологически и тематически связаны друг с другом. Все они возникли во второй половине 1864 г. и примыкают к ранее известным статьям Щедрина из полемики с Достоевским и его журналом «Эпоха». История этой полемики наиболее полно освещена в двух работах: в статье Вас. В. Гиппиуса «Салтыков и журнальная полемика 1864 года», напечатанной в 1933 г. в т. 11-12 «Литературного наследства» (стр. 99—111), и в книге С. С. Борщевского «Щедрин и Достоевский», вышедшей в 1956 г. (стр. 76—158). Публикуемые материалы существенно дополняют нарисованную в этих работах картину полемики. Они устанавливают несколько новых заключительных попыток Щедрина продолжить свой спор с Достоевским и его «почвенническим» журналом.

Первые два документа, публикуемые нами по корректурным гранкам из бумаг Пыпина в Архиве Академии наук СССР в Ленинграде (ф. 111, ед. хр. 174), — содержат тексты неизвестных до сих пор произведений Щедрина. Это статья «Литературные кусты» и сводная рецензия на сочинение «О добродетелях и недостатках» и еще на четыре издания.

Что касается третьего документа, «Наяда и рыбак. Фантастический балет...», то произведение это не является полной новинкой. Оно предназначалось для «Современника», но дважды, в 1864 и 1866 гг., изымалось оттуда (в редакции 1866 г. сатире была придана форма отзыва на балет Сен-Леона и Минкуса «Фиаметта»). В 1868 г. Щедрину удалось напечатать сатиру в «Отечественных записках», но в сильно измененном и сокращенном виде, в каком она и вошла в сборник «Признаки времени» («Проект современного балета. По поводу „Золотой рыбки“»). Ниже *впервые печатается полный текст редакции 1864 г.*, насыщенный полемическими выпадами против Достоевского, изъятыми при переработках сатиры в 1866 и 1868 гг. «Наяда и рыбак» печатается по корректурным гранкам, сохранившимся в бумагах Некрасова (ЦГАЛИ, ф. 445, оп. 1, ед. хр. 101; здесь же находятся гранки переработанной редакции 1866 г. — «Фиаметты»). Частично публикуемый текст был использован в статье И. Т. Трофимова «М. Е. Салтыков-Щедрин о художественном мастерстве писателей» («Ученые записки Орехово-Зуевского государственного педагогического института», 1955, т. II, вып. 1, стр. 75—111) и в книге С. С. Борщевского «Щедрин и Достоевский» (М., 1956, стр. 149—157). Среди упомянутых выше бумаг Пыпина в Архиве Академии наук СССР нами найден другой экземпляр гранок «Наяды и рыбака», также по-видимому 1864 г., но с некоторыми отличиями в тексте от публикуемого экземпляра из бумаг Некрасова.

* * *

Полемическая статья «Литературные кусты», так же как и рецензия «О добродетелях и недостатках...», должна была появиться в октябрьской книжке «Современника». Обе статьи направлены, главным образом, против напечатанного в № 8 «Эпохи» 1864 г. «Объявления» о предстоящей подписке на этот журнал на следующий, 1865 год., «Объявление» было написано Достоевским.

---

* При участии С. А. Макашина, сообщившего текст «Наяды и рыбака».

Намерение «Современника» посвятить в одном номере разбору анонимного выступления Достоевского не одну, а две статьи порождает, на первый взгляд, сомнение в принадлежности этих статей одному лицу. А так как известную полемику с «Эпохой» в «Современнике» вели в 1864 г. лишь два автора — Антонович и Щедрин, то возникает вопрос: не распределили ли они между собой эти выступления?

Такая гипотеза, основанная лишь на предположении, что один и тот же автор не мог дважды выступить в одном и том же номере по одному и тому же вопросу, не может быть принята в расчет. В той же октябрьской книжке «Современника» были напечатаны «Литературные мелочи» Антоновича, в которых он полемизирует с тем же «Объявлением» о подписке на «Эпоху» в 1865 г. Следовательно, если условно распределить публикуемые рецензии между Антоновичем и Щедриным, то и тогда одного из них все равно следовало бы считать автором двух статей на одну и ту же тему.

Вопрос об авторе анонимных корректурных текстов, за отсутствием других документальных данных, может быть решен лишь с помощью анализа этих текстов.

Как известно, грубый тон статей Антоновича против журнала «Эпоха» подвергался осуждению со стороны многих современников. По свидетельству Е. И. Жуковской, это недовольство разделял и Некрасов («Записки». Л., 1930, стр. 233). Вероятно, Некрасов потребовал от Антоновича изменения тона в полемике. Во всяком случае, Антонович попытался отказаться от резкостей, незамаскированных личных выпадов и грубой брани, которую он допускал в адрес сотрудников «Эпохи». В очередном полемическом выступлении, в статье «Стрижи в западне», появившейся в сентябрьской книжке, Антонович прежде всего попытался реабилитировать себя, а тем самым и редакцию «Современника» в отношении упреков в грубости. Он подробно и обстоятельно доказывал, что его предыдущая статья — «Стрижам. (Послание обер-стрижу, господину Достоевскому)»,— вызвавшая особенно яростные нарекания в непозволительной резкости и брани, составлена из цитат, заимствованных из выступлений сотрудников «Времени» и ««Эпохи» против «Современника» и пародий на их полемические приемы. Статья является, таким образом,— резюмировал Антонович,— «точной копией полемических статей стрижей». В «Литературных мелочах» следующего, октябрьского номера «Современника», привлекая внимание читателя к содержанию вновь вышедшего августовского номера «Эпохи», Антонович по этому поводу удовлетворенно замечал: «Я очень рад, что „Эпоха“ изменила свою полемическую тактику, оставила область фантазий, выдумок и сплетней и выступила на серьезную почву рассуждений и теоретических объяснений. К моему удовольствию, это дает возможность и мне выступить на серьезную почву, и вместо того, чтобы перебраниваться с „Эпохой“ и прибегать к другим ее полемическим орудиям и приемам, теперь оставленным ею, я могу вести с нею настоящую „учено-полемическую“ беседу. Теперь никто не может сказать, что наша летняя и осенняя полемика с „Эпохой“ не привела ни к чему; напротив, она имела важный результат, она послужила благодетельным уроком для „Эпохи“, она привела к тому, что мы, к общему удовольствию, можем в настоящее время рассуждать спокойно и серьезно о предметах важных».

О своем тоне Антонович заявлял: «...я в нижеследующих моих статейках воздержусь от всяких ругательств и неприличий, не позволю себе ни одной сколько-нибудь резкой фразы, ни одного слова для кого-нибудь обидного или неприятного 〈...〉; я даже сделаю насилие себе и не буду употреблять моего любимого слова, моего „возлюбленного вокабула“ — стриж. И таким образом в моих статьях вовсе не будет того, за что обличали их мои обличители» («Соврем.», 1864, № 10, стр. 245—246).

И, действительно, статья его не содержит резких выпадов и грубостей против «Эпохи» или кого-либо из ее сотрудников. В сдержанном, порою слегка ироническом тоне, Антонович подвергает критике ряд статей августовского номера «Эпохи», в том числе и «Объявление» о подписке на 1865 г. Заканчивается статья следующим обращением к противникам: «По моему мнению, было бы гораздо лучше для „Эпохи“, если бы я в полемике с нею употреблял ругательства, насмешки над болезнью 〈Достоевского.— *В. Б.*〉, над доктором и т. д. Тогда „Эпоха“ нашла бы, что отвечать мне, имела бы основание жаловаться на меня публике и возбуждать в ней сострадание к се-

бе. Но что же она может ответить мне теперь, что она может сказать на настоящие мои „научно-полемические статьи"?» (там же, стр. 285).

Совсем в ином духе написана статья «Литературные кусты». Автор ее с исключительной резкостью обвиняет своих противников в сплетничестве, подслушивании, называет их «стрижами», отрицает возможность серьезной полемики с ними, мотивируя это тем, что сотрудники «Эпохи» все равно «не поймут убеждений разума» и «могут возгордиться, что вот и с ними заговорили, наконец, серьезным тоном». Этим и объясняется, что, отдавая должное «Стрижам в западне» Антоновича, автор «Литературных кустов» вместе с тем считает эту статью «ошибкой», так как «толковать с стрижами, разъяснять им непохвальность их поведения совершенно излишне». Одновременно отмечается и другой недостаток статьи «Стрижи в западне», недостаток, который присущ многим статьям Антоновича. «...В сентябрьской книжке,— читаем в „Литературных кустах",— „Современник" совершенно ясно и вразумительно доказал стрижам ⟨сотрудникам „Эпохи"⟩ до какой степени мелка и омерзительна была до сих пор их полемическая деятельность, что она никогда не имела в виду что-либо существенное, а всегда кружилась около личностей; что она отличалась неслыханною непринужденностью выражений и самой пошлой веселостью по поводу предметов, никакой веселости не возбуждающих. Доказал это „Современник" с номерами „Эпохи" и „Времени" в руках, доказал обстоятельно, добросовестно, *хотя и несколько длинно*» (курсив наш.— *В. Б.*).

Необходимо далее обратить внимание на содержащееся в «Литературных кустах» указание на автора появившейся в майской книжке «Современника» «драматической были» «Стрижи», в которой пародировались «Записки из подполья» Достоевского и высмеивалась вся группа «Эпохи», что резко обострило полемику Достоевского с Щедриным. Как известно, в статье «Стрижам. (Послание обер-стрижу, господину Достоевскому)», напечатанной в июльской книжке, Антонович, стремясь ввести в заблуждение своих противников, утверждал, что автором «Стрижей» был он, а не Щедрин. При этом для большей убедительности он подписал свою статью так: «Посторонний сатирик, автор „Стрижей"». Этому сообщению Антоновича противоречит признание автора «Литературных кустов», из которого следует вывод, что «Стрижи» принадлежат Щедрину. Так, говоря о реакции «почвенников» на появление в печати этого памфлета, автор «Литературных кустов» писал: «„Эпоха" всполошилась: она пустила в ход все зависящие средства и *узнала-таки имя ненавистного незнакомца*. Плодом этого соглядатайства была статья: „Раскол в нигилизме, или Отрывок из романа Щедродаров" (читай: Щедрин)» (курсив наш.— *В. Б.*).

Если бы Антонович был автором «Литературных кустов», то вряд ли в его интересы входило бы опровержение сделанного им же заявления относительно своего «авторства» комедии «Стрижи». Между тем из дошедшего до нас в рукописи отрывка «Но если уж пошла речь об стихах...», датируемого декабрем 1864 г. и опубликованного лишь в 1933 г., известно, что Щедрин хотел дезавуировать сообщение Антоновича, сделанное по соображениям тактического порядка, и указать, что «Стрижи» принадлежат ему. «„Современник" вас обманул, стрижи!— писал он в упомянутом отрывке.— Статью „Стрижи, драматическое представление" писал действительно я, хроникер „Современника", а не „Посторонний сатирик"» (VI, 481). Попутно заметим, что оценка памфлета Достоевского «Щедродаров» в этом отрывке дана от первого лица, от имени «Хроникера „Современника"», то есть Щедрина, а в «Литературных кустах», предназначенных к опубликованию анонимно,— со стороны, в третьем лице.

О том, что автором «Литературных кустов» является Щедрин, с полной очевидностью свидетельствуют совпадения многих мест текста этой статьи с другими щедринскими текстами—как печатными, так и теми, которые остались в рукописях и были опубликованы уже в наши дни. Приведем несколько таких параллелей. Автор «Литературных кустов» заявляет: «К стрижам можно относиться только в художественной форме, которой они больше всего опасаются». По этому же поводу, имея в виду упомянутую «драматическую быль» «Стрижи», Щедрин в отрывке «Но если уж пошла речь об стихах...» писал, обращаясь к сотрудникам «Эпохи»: «Судите же сами, виноват ли я, что не могу относиться к вам иначе, как в художественной форме?»

(VI, 482). Буквально то же повторил он в статье «Гг. Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал „Эпоха“» (была опубликована в 1908 г.): «Я отнесся к вам в художественной форме; я заставил вас говорить самих за себя — и публика поняла в совершенстве, что в известных случаях эта манера есть единственно возможная» (VI, 484).

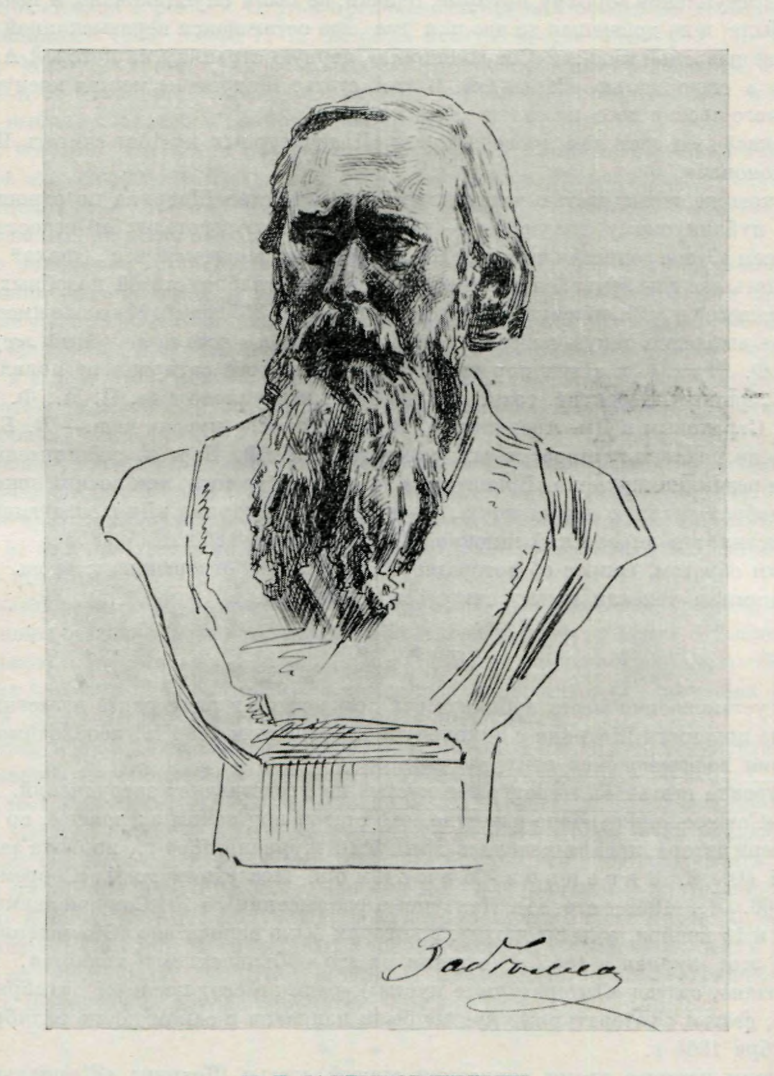
Относительно «Стрижей» автор «Литературных кустов» заявлял: «Статья эта не относилась ни к одному из сотрудников „Эпохи“ и в частности не имела даже специально в виду ни одной статьи этого журнала; но она заключала в себе полную характеристику таких намерений и воззрений, которые по своей сущности вполне заслуживали наименования птичьих. Этого было достаточно, чтобы каждый из пернатых в особенности и все пернатые в совокупности почувствовали себя уязвленными». Аналогичную характеристику «Стрижей» находим в статье Щедрина «Гг. Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал „Эпоха“»: «И заметьте,— читаем здесь,— я ни одним словом не оскорбил ни всех вас в совокупности, ни кого-либо из вас в частности; я даже не посягал на изображение каких бы то ни было „литературных отношений“, как выражается ваш семейный летописец; я просто имел в виду наглядно и безразлично изобразить вашу журнальную сущность, ваше журнальное миросозерцание — и, разумеется, успел в этом как нельзя лучше» (VI, 484).

Отмеченное выше отрицательное отношение автора «Литературных кустов» к возможности серьезной полемики с «Эпохой» полностью соответствует взглядам Щедрина, неоднократно высказываемым им в статьях этого времени. Так, например, в отрывке «Но если уж речь пошла об стихах...» он заявлял: «Я никак-таки не хочу разговаривать с вами серьезно» (VI, 481).

Укажем еще на один из «щедринизмов» в статье «Литературные кусты»: «Обычай прятаться в кусты и ссылаться на кошку, вместе с другими глупыми обыкновениями, как-то: *говорить речи без подлежащего, сказуемого и связки*, подсматривать, подслушивать, соперничать и т. п., впервые введен у нас „Эпохою“» (курсив наш.—*В. Б.*). В написанной в это же время (см. ниже) и *неопубликованной* при жизни Щедрина статье «Журнальный ад» читаем: «Собственно это даже и не литературная деятельность, а просто словесные упражнения без подлежащего, сказуемого и связки» (VI, 476). В рассказе 1864 г. «Она еще едва умеет лепетать» после речи Митеньки следует фраза: «Правитель канцелярии сейчас же определил ее достоинство, сказав, что это речь без подлежащего, без сказуемого и без связки, но „преданные“ поняли. С своей стороны, хотя я и согласен с мнением правителя канцелярии, но нахожу, что такого рода красноречие составляет истинное благополучие и положительный ресурс при нашей бедности. С помощью его можно администрировать, можно издавать журналы» (IX, 126). После этих слов в рукописи следовало: «Пример: стрижи, которые в течение трех лет издавали журнал, не произнося ни одного подлежащего, ни одного сказуемого и ни одной связки» («Лит. наследство», т. 11-12, 1933, стр. 142). В другом месте этого же рассказа Щедрин писал: «Стало быть, тут речи без подлежащего, сказуемого и связки приходятся именно как раз в пору» (IX, 126). Во второй главе «Дневника провинциала в Петербурге», появившейся в печати в 1872 г., также читаем: «Говоря по совести, все, что я испытывал в этом смысле, ограничивалось следующим: я безразличным образом сотрясал воздух, я внимал речам без подлежащего, без сказуемого, без связки, и сам произносил речи без подлежащего, без сказуемого, без связки» (X, 299).

Характеризуя основы мировоззрения «почвенников», автор «Литературных кустов» писал: «Увы! вместо орудий в руках у них обглоданные кочерыжки, выбрасываемые из псевдославянофильской поварни „Дня“; вместо военного клича их подстрекает на драку с идеями карканье „Московских ведомостей“, претворенное в слабый писк при помощи стрижиных слюней». Эти мысли полностью соответствуют взглядам Щедрина, утверждавшего в статье «Журнальный ад»: «Он ⟨стриж⟩ безразлично подбирает все негодные объедки, выбрасываемые из прочих журналов, и не входя в разбирательство, могут ли они стоять рядом или не могут, пичкает ими свой безобразный винегрет» (VI, 476). В другой своей статье этого периода, касаясь печатного органа почвенников, Щедрин писал, что «Эпоха» «питается ныне ухвостьями ухвостий „Дня“» (VI, 488).

Автор «Литературных кустов» утверждал относительно сотрудников «Эпохи»: «...вы не имеете средств достигнуть вашей цели (которой вы, впрочем, тоже не имеете), потому что не имеете направления и не чувствуете даже потребности иметь его». Характеризуя в статье «Гг. Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал „Эпоха"» свои полемические выступления против «почвенников», Щедрин писал: «Я не



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Бюст работы П. П. Забелло, 1878 г. Рисунок автора, 1882 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

нападал в них ни на ваши „идеи", ни на ваше „направление" (ни тех, ни другого я и до сего дня усмотреть не могу)» (VI, 484).

Полемика автора «Литературных кустов» с Достоевским по поводу памфлета «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», казалось бы, свидетельствует против принадлежности Щедрину найденной нами статьи: в написанном несколько позднее (декабрь 1864 г.) отрывке «Но если уж пошла речь об стихах ...» Щедрин писал о «Щедродарове», что он *«до сих пор не заклеймил* это произведение орнитологического искусства» (VI, 483.— Курсив наш.— *В. Б.*). Однако нет никаких сомнений, что это

заявление Щедрина объясняется тем, что «Литературные кусты», в которых содержится ответ на «Щедродарова», не появились в печати. В том же отрывке Щедрин заявлял, обращаясь к «стрижам» и имея в виду их последние полемические выступления: «Я до сих пор не занимался вашими летними подвигами, потому что мне было не до того» (VI, 484). Между тем, как известно, Щедрин написал ряд статей против летних и осенних выступлений «Эпохи», которые, однако, не были опубликованы в печати. Среди них была и не дошедшая до нас или все еще остающаяся неразысканной большая статья для июльской книжки «Современника», первую страницу из которой Антонович включил в свою статью «Стрижам». В этой статье Щедрин не мог не коснуться направленного против него памфлета Достоевского.

Все сказанное дает нам право автором «Литературных кустов» считать Щедрина, а не Антоновича.

С такою же очевидностью устанавливается авторство Щедрина по отношению ко второму публикуемому документу — рецензии «О добродетелях и недостатках...». В последнем абзаце рецензии читаем: «Мы оканчиваем. Надеемся, что „Эпоха“ перестанет огорчать нас и не будет более помещать на своих столбцах статей, подобных „Зеркалу прошедшего“ и „Объявлению об издании „Эпохи“ в 1865 году“. Мы даже имеем полное основание выражать такую надежду; *в прошлом году мы подали подобный же совет на счет г. Ф. Берга* — и с тех пор имя этого знаменитого сатирика не появляется на обертке „Эпохи“. Вероятно, точно так же будет поступлено с гг. П. М., Ф. Достоевским, Н. Страховым и Дм. Аверкиевым. В добрый час!» (курсив наш.— *В. Б.*). Совет «никогда не печатать литературных упражнений г. Ф. Берга», действительно, был преподан редакции журнала «Время» года за полтора до того, как возник текст рецензии «О добродетелях и недостатках...»,—в заметке Щедрина «Для следующих номеров „Свистка“» в апрельской книжке «Современника» 1863 г. (V, 257).

Таким образом, вопрос об авторстве Щедрина по отношению к вновь найденным анонимным текстам может считаться решенным.

* * *

Для установления места публикуемых документов в ряду ранее известных материалов из полемики Щедрина с «Эпохой» и Достоевским 1864 г., необходимо определить время возникновения этих документов.

Датировка статьи «Литературные кусты» не представляет затруднений. В литературе о «Современнике» давно известно, что статья под таким заглавием, но без указания имени автора, предназначалась для № 10 журнала 1864 г., но была запрещена цензурой (В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863—1866. Л., 1939, стр. 84). Цензурные разрешения № 10 «Современника» последовали 9 и 13 ноября, а № 8 «Эпохи», в котором было напечатано «Объявление» о подписке на этот журнал в 1865 г. (ответом на это «Объявление» и является, как уже было указано, статья «Литературные кусты»), вышел в свет после 27 октября. Следовательно, статья «Литературные кусты» была написана в самом конце октября — начале ноября 1864 г.

Уточним попутно время написания другой статьи Щедрина «Журнальный ад». Она также предназначалась для № 10 «Современника» и также была изъята оттуда цензурой. Статья была обнаружена в гранках Вас. В. Гиппиусом и напечатана в 1933 г. в т. 11-12 «Литературного наследства». Время написания «Журнального ада» Вас. В. Гиппиус отнес к августу 1864 г., считая, что статья предназначалась для сентябрьской книжки. Эта же датировка была повторена и в Полном собрании сочинений Щедрина (VI, 564). Между тем, как это видно из «Описи журналам заседаний С.-Петербургского цензурного комитета» за 1864 г., статья эта поступила в Комитет на рассмотрение 4 ноября и тогда же подверглась запрещению (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 27, д. 73, л. 46 об.). Следовательно, вероятнее всего, Щедрин работал над статьей «Журнальный ад» не в августе, а во второй половине октября 1864 г.

Несколько с меньшей определенностью устанавливается время работы Щедрина над вторым публикуемым документом — над рецензией «О добродетелях и недостат-

ках...». Тем не менее, так как и в этой рецензии подвергнут критическому разбору ряд статей и материалов из того же № 8 «Эпохи», то нужно думать, что этот документ возник одновременно со статьей «Литературные кусты», то есть в самом конце октября — начале ноября 1864 г.

Третий документ — статья из цикла «Петербургские театры», содержащая отзыв на балет «Наяда и рыбак». Статья предназначалась для последней двойной книжки «Современника» 1864 г.—№ 11-12, но была изъята оттуда цензурой (В. Е. Евгеньев-Максимов. Указ. соч., стр. 85). Даты цензурных разрешений № 11-12— 25 ноября и 30 декабря. Отправляясь от этих дат, можно предполагать, что статья «Наяда и рыбак» писалась в ноябре—декабре 1864 г.

Итак, все три документа датируются осенними и зимними месяцами 1864 г.

Теперь мы можем более или менее точно восстановить хронологию, вероятно, всех попыток Щедрина — попыток неудачных — участвовать в полемике с «Эпохой» и Достоевским во второй половине 1864 г.

После появления в майской книжке «Современника» «драматической были» «Стрижи» хронологически самой ранней попыткой Щедрина продолжить полемику является не дошедшая до нас полемическая статья из цикла «Литературные мелочи», предназначавшаяся для июльского номера «Современника». Можно предполагать, что в статье этой, первой страницей которой воспользовался Антонович для своей статьи «Стрижам», содержался ответ сатирика на памфлет Достоевского «Щедродаров».

Следующая попытка Щедрина возобновить полемику связана с октябрьской книжкой «Современника». Щедрин написал для нее целых три полемические статьи: «Литературные кусты», «Журнальный ад» и рецензию «О добродетелях и недостатках...». В первой из них он ответил на «Щедродарова». Однако ни одна из этих статей не появилась в печати.

Для раздела «Петербургские театры» очередной, ноябрьско-декабрьской, книжки Щедрин пишет статью в форме рецензии на постановку балета «Наяда и рыбак». В заключительную часть статьи — сочиненную сатириком программу «балета» «Мнимые враги, или Ври и не опасайся» — вводится полемический материал против «Эпохи» и Достоевского. Статья запрещается цензурой.

Наконец, к заключительному эпизоду полемики относятся два документа: отрывок из оставшейся неоконченной рукописи «Но если уж пошла речь об стихах...» и заменившая этот замысел статья «Гг. Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал „Эпоха“». Первый документ возник не раньше 28 ноября, второй — не раньше 12 декабря («Лит. наследство», т. 11-12, стр. 108). Материалы эти предназначались, скорее всего, для январской книжки 1865 г. Но они могли готовиться и для ноябрьско-декабрьского номера 1864 г., получившего цензурное разрешение лишь 30 декабря.

Так рисуется в свете новых данных хронологическая последовательность неоднократных, но неудачных попыток Щедрина продолжить после «Стрижей» свою полемику с Достоевским и его журналом.

* * *

Как сказано выше, публикуемые здесь статья «Литературные кусты», а также отчасти и рецензия «О добродетелях и недостатках...» являются ответом Щедрина на «Объявление о подписке на журнал „Эпоха“ в 1865 году». Автор «Объявления»— Достоевский — придал деловой информации характер программного документа того реакционного идеологического течения — «почвенничества»,— с которым были связаны «Эпоха» и его редактор. Эта особенность материала полемики определила и ее характер в публикуемых статьях: разбор теоретических положений «почвенников».

Отмечая в «Объявлении», что «разработка и изучение наших общественных и земских явлений в направлении русском, национальном по-прежнему будут составлять главную цель» издаваемого «почвенниками» журнала, Достоевский вместе с тем утверждал, что «не будет в нашем обществе никакого прогресса, прежде чем мы не станем сами настоящими русскими». Главная особенность «настоящего русского» состоит

в знании того, что́ именно «теперь надо не бранить у нас на Руси». «Не хулить, не осуждать,— поучал он,— а любить уметь — вот что надо теперь настоящему русскому. Потому что кто способен любить и не ошибается в том, что́ именно ему надо любить на Руси,— тот уж знает, что́ и хулить ему надо; и полезное слово умеет он лучше и понятнее всякого другого сказать — полезнее всякого присяжного обличителя».

Острие этих строк, как и всего полемического материала «Объявления», было направлено против сотрудников «Современника», презрительно именуемых «присяжными обличителями». Через много лет, в «Пестрых письмах» Щедрин вспоминал об этом выступлении Достоевского: «„Мало обличать — любить надо“, прорицали когда-то „наши почвенники“, тонко инсинуируя, что обличение равносильно отсутствию патриотизма и измене» (XVI, 260).

Вскрывая подлинный смысл этих «прорицаний» и защищаясь от этих «инсинуаций», Щедрин доказывал, что вопрос о национальной самобытности России и русского народа «почвенники» подменяют вопросом о русской национальной исключительности. В этом Щедрин усматривал один из важнейших пунктов расхождения со своими противниками из «почвеннического» лагеря. С этим пунктом связаны и другие вопросы, по которым ведется спор,— о пути исторического развития России, об общине, о подлинном и мнимом патриотизме, об отношении к крестьянской реформе.

Сущность теоретической базы «почвенников», истоки их мировоззрения Щедрин определяет в статье «Литературные кусты» следующим образом: «С каким же запасом человекоубийственных орудий идут этого особого рода крестоносцы на войну против идей и мыслей? Каким военным кличем поддерживают они храбрость и готовность в рядах своих?» И отвечает: «Увы! вместо орудий в руках у них обглоданные кочерыжки, выбрасываемые из псевдославянофильской поварни „Дня“; вместо военного клича их подстрекает на драку с идеями карканье „Московских ведомостей“, претворенное в слабый писк при помощи стрижиных слюней!».

Беря «на выдержку несколько измышлений», которыми угостили «почвенники» «публику под видом объявления о подписке на „Эпоху“ на 1865 год», Щедрин иронически называет этот документ «урной идей» и, останавливаясь на выпадах против Запада, которыми было преисполнено «Объявление», называет и источник заимствования— славянофильский «День», в котором «борьба против западничества составляет застарелую болезнь, завещанную ему предками». Едко высмеивая попытки «почвенников» придать «западничеству» «самый простой, нехитрый смысл», смешать его с «обезьянничеством», Щедрин высказывает полные глубокого смысла и интереса замечания, относящиеся к характеристике идейно-политической борьбы в России сороковых годов. Щедрин дает понять, что стремление тогдашних славянофилов вернуть Россию к допетровским временам было вызвано страхом помещичьего класса перед возможностью решения крестьянского вопроса революционным путем. В этом споре, по замечанию сатирика, «Петровская и допетровская России нужны были 〈...〉 не как доказательства, а как доступные в то время формы доказательств». Истинный смысл борьбы был в другом. Не располагая возможностью сказать об этом прямо в подцензурной печати, Щедрин осторожно формулирует так: «„Западники“ утверждали, что участие разума в жизни может только украсить ее и, указывая на Запад, не объясняли вполне своей мысли, а предоставляли читателю самому додумываться до результатов; „славянофилы“ же говорили: „Нет, участие разума только портит жизнь“ и указывали на пример допетровской Руси, которая жила единственно с пособием веры, надежды и любви и не погибла».

Необходимо заметить, что в данном случае под «западниками» Щедрин подразумевает не тех «западников», с упоминанием которых в нашем сознании привычно ассоциируются имена Анненкова, Боткина, Кавелина, Каткова, Чичерина и других, а представителей революционной демократии и близкой ему передовой части русского общества. Так, обращаясь к «почвенникам», Щедрин писал: «Какие „западники“ вас обидели? Успокойтесь! все они или спят в могилах или возродились в виде сельного крина на столбцах „Московских ведомостей“». Чтобы вскрыть подлинный смысл этих строк, приведем высказывание Щедрина из хроники «Наша общественная жизнь», в которой, говоря о дворянско-буржуазных либералах шестидесятых годов, он пи-

сал: «Когда-то они были друзьями Белинского и поклонниками Грановского, но, по смерти своих руководителей, остались, как овцы без пастыря. Очарования их приняли характер беспорядочный, почти растрепанный; с одной стороны—„Laura am clavier“, с другой — тысяча рублей содержания, даровая квартира и несколько пудов сальных свечей — вот две мучительные альтернативы, между которыми проходит их жизнь» (VI, 46—47).

Еще в начале полемики с «почвенниками» Щедрин прозорливо предсказал: «...вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени» (VI, 74). Дальнейшие выступления сотрудников «Эпохи» и особенно появление «Записок из подполья» Достоевского еще более укрепили Щедрина в правоте своего первоначального утверждения: «почвенники» все откровеннее скатывались в лагерь реакции. Как итог наблюдений Щедрина по этому вопросу может быть воспринят вывод, к которому пришел сатирик в рецензии «О добродетелях и недостатках...»: «...публицисты „Эпохи“, хотя и посвящают свои монументы гг. Каткову и Аксакову, но посвящают тайно, с полным сознанием своей виноватости». Таким образом, как отмечает Щедрин, после 1863 г. силы реакции объединились и перешли в наступление единым фронтом против революционной демократии. Примечательно, что это заключение Щедрина впоследствии подтвердил один из ближайших сотрудников «Времени» и «Эпохи» Н. Н. Страхов, который в своих воспоминаниях о Достоевском сообщал: «Припоминаю, как однажды Федор Михайлович по поводу какой-то статьи в защиту „Дня“ сказал: „Это хорошо, нужно помогать ему сколько можем“» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1883, стр. 275). Что же касается отношений «почвенников» к Каткову, то они могут быть охарактеризованы словами того же Страхова, который утверждал, что со страниц «Московских ведомостей» «в первый раз в то царствование заговорил тот патриотизм, которым так бесконечно сильна наша земля» (там же, стр. 92).

Идеология «почвенников» в значительной степени отразилась и в русской литературе, в которую вторглась проповедь «чувствительности и аккуратности». «Правда,— замечает Щедрин в рецензии „О добродетели и недостатках...“,— что проповедь эта не совсем-таки нова, а только позабыта; правда, что опыты обращения русской литературы в „Лизин пруд“ начинаются уже с Карамзина, но никогда они не были так настоятельны, никогда не лезли так напролом, как в настоящее время». Далекая от отражения интересов современности, эта литература устремлена в прошлое, проникнута идеализацией помещичьего строя, трактует «о том, что человек должен украшать себя добродетелями, а не пороками, что он должен от рождения считать себя виноватым, что невинность есть то качество, которое хотя он и утратил однажды, но стремиться к которому не возбраняется и до днесь, что науки, конечно, полезны, но — вопрос, какие науки? Не те науки, в основании которых лежит кичливый разум, а те, кои зиждутся на стыдливом уповании, что понимать ничего не следует, ибо понимание разрушает ценность жизни и устраняет прелесть бестолковщины и что, впрочем, необходимо всегда и везде главную надежду возлагать на провидение».

На том же «стыдливом уповании» зиждется и безыдейное, отрешенное от жизни искусство. Этой теме посвящено последнее из публикуемых произведений Щедрина— статья о балете «Наяда и рыбак».

Анализируя программное «Объявление» Достоевского, Щедрин пришел к убеждению: «Эпоха» «издается с известными отвлекающими целями». С теми же «отвлекающими целями», — показывает Щедрин,— «стрижиная литература» ведет свою проповедь «кроткого поведения» и «умеренности», а «стрижиное» искусство — «балет»— своими средствами стремится увести «человеческое внимание» от живых и страстных запросов действительности к «сплетням разнузданной спиритуалистическо-трансцендентальной фантазии».

Итак, новые материалы обогащают наши сведения о полемических выступлениях Щедрина 1860-х годов против Достоевского и его «почвеннической» группы.

Вместе с тем значение этих материалов гораздо шире. Они являются новыми и весьма ценными источниками для исследования идеологических позиций русской революционной демократии в сложной идейно-политической обстановке, наступившей в период после краха революционной ситуации в стране и начавшейся реакции.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КУСТЫ

«Спрятался в кусты» — выражение это обыкновенно употребляется, когда говорят о зайцах. Когда заяц убеждается, что ему грозит беда, что за ним гонятся, что ему нельзя маскировать своего пахучего следа, он бросается в кусты. Не потому он бросается, чтобы сознавал себя виноватым — в чем же заяц может быть виноват! — И не потому, чтоб надеялся, что кусты могут его защитить, даже заяц понимает, что кусты никогда никого защитить не могут,— а просто потому, что его влечет туда инстинкт животного самосохранения, что он теряет голову и по своему малодушию уже при жизни, так сказать, предвкушает муки предсмертной агонии.

До сих пор в русской литературе не существовало обычая прятаться в кусты; предполагалось, что литератор, как человек достаточно развитый в умственном отношении, более другого может понимать как содержание своего поступка, так и последствия, к которым он ведет, а следовательно, более другого обязан нести и нравственную ответственность за свои действия. Конечно, и литератор, как и всякий другой человек, мог впадать в ошибки, мог увлекаться; бывали даже образчики литераторов очень блудливых. Все это в порядке вещей, и за такие поступки иногда крепко доставалось согрешившим. Но никогда не бывало, чтоб уличаемый ⟨не⟩ отпирался от своего действия, чтоб он не оправдывался, не объяснял своего поступка, не сознавался в грехе или, по малой уже мере, не отвечал на справедливые обвинения упорным молчанием. Если ошибка была следствием ложного убеждения и обвиняемый продолжал оставаться при прежнем мнении, то он настаивал на своей правоте посредством целого ряда доказательств и вообще старался обставить себя наиболее выгодным образом; если ошибка была следствием простого неразумия, то согрешивший или сознавался, или молчал. Но никогда никто не говорил: Помилуйте! Я этого не делал! Это не я, это кошка сделала! Никто таким образом не говорил, потому что подобные ответы несовместны с достоинством сколько-нибудь уважающего себя человека, что они могут быть извинены только в ребенке, да и то в ребенке забитом, постоянно находящемся под страхом розги.

Обычай прятаться в кусты и ссылаться на кошку, вместе с другими глупыми обыкновениями, как-то: говорить речи без подлежащего, сказуемого и связки, подсматривать, подслушивать, соперничать и т. п., впервые введен у нас «Эпохою». Этому всемирному органу стрижей предстояло совершить великий подвиг в русской литературе; ему предстояло доказать, во-первых, что в литературных занятиях могут участвовать и птицы, и, во-вторых, что при помощи этих птиц литература может на время превратиться в урну, переполненную сплетническими помоями. Подвиг этот «Эпоха» совершает неуклонно и с упорством, достойным лучшей участи. Ничто не удерживает ее на этом пути: ни литературная совесть, ни обязательная опрятность литературной формы. Она сама как бы сознается, что на нее следует смотреть совершенно особенным образом, что к ней ни под каким видом нельзя прилагать принцип вменения, подобно тому как это делается относительно всякого другого литературного органа. Она сама как бы говорит: «Сегодня я сделала пакость, а завтра от нее отопрусь — кто с меня взыщет?— всякий плюнет и отойдет прочь!» Расчет, быть может, и верный, но в то же время положительно неслыханный и невиданный в русской литературе до появления «Эпохи». В этом смысле она действительно составила эпоху.

Чувство полнейшего негодования овладевает при чтении августовской книжки «Эпохи» за текущий год. Можно защищать фальшивую мысль,

можно быть парадоксальным, можно даже, во что бы то ни стало, быть преданным известному порядку идей — все это явления, конечно, очень печальные, но которые человеческий разум потому уже допускает, что их можно оспаривать, а следовательно, и победить; но никак непозволительно являться в люди с одной искреннею нелепостью, с одним непроходимым малодушием.

«Эпоха» начала свое существование тем, что в 1—2 №№ выпустила на счет «Современника» сплетню; дело шло о каких-то несогласиях, будто бы возникших между «Современником» и другим журнальцем, который «Эпоха», со свойственной ей проницательностью, считает солидарным с «Современником»; над этими несогласиями «Эпоха», разумеется, веселенько подсмеивалась. Конечно, вся эта история была выдумана затем единственно, чтобы кормиться ею как можно долее (ибо где никогда не было согласия, там, естественно, не может быть и несогласия); но спрашивается: если б и в самом деле мнимосуществовавшее между двумя литературными органами согласие вдруг превратилось в несогласие,— есть ли тут повод для хихиканья и настоит ли надобность показывать в кармане кукиш? Очевидно, что повода нет и надобности не настоит и что роль третьей стороны в подобном деле заключается единственно в оценке мнений обеих враждующих сторон и в произнесении своего собственного суждения. Однако «Эпоха» предпочла показать кукиш. На этот кукиш «Современник» отвечал комедией «Стрижи». Статья эта не относилась ни к одному из сотрудников «Эпохи», в частности не имела даже специально в виду ни одной статьи этого журнала; но она заключала в себе полную

ПОДПИСКА НА 1865 ГОДЪ

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

ЭПОХА

ЛИТЕРАТУРНАГО И ПОЛИТИЧЕСКАГО

ИЗДАВАЕМАГО СЕМЕЙСТВОМЪ М. ДОСТОЕВСКАГО

Изданіе «ЭПОХИ», журнала литературнаго и политическаго, будетъ продолжаться въ будущемъ 1865 году семействомъ покойнаго Михаила Михайловича Достоевскаго. Эпоха будетъ выходить по прежнему, разъ въ мѣсяцъ, въ прежней програмѣ, въ объемѣ нашихъ ежемѣсячныхъ журналовъ, т. е. отъ 30 до 35 листовъ большого формата въ каждой книгѣ.

Собственники журнала принимаютъ въ изданіи его непосредственное участіе.

Всѣ прежніе всегдашніе сотрудники покойнаго редактора, и почти всѣ тѣ писатели, которые помѣщали свои произведенія въ изданіяхъ М. Достоевскаго (Гг. Порѣцкій, Аверкіевъ, Страховъ, М. Владиславлевъ, Ахшарумовъ, А. А. Головачовъ, Долгомостьевъ, Островскій, Плещеевъ, Полонскій,

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА «ЭПОХА» НА 1865 ГОД

«Эпоха», 1864, № 8

характеристику таких намерений и воззрений, которые по своей сущности вполне заслуживали наименования птичьих. Этого было достаточно, чтобы каждый из пернатых в особенности и все пернатые в совокупности почувствовали себя уязвленными.

Я понимаю: полемический прием «Современника» действительно заключал в себе мало лестного. «Эпоха» тщательно скрывала свое родопроисхождение; она с мучительным беспокойством, хотя и неуместно, следила за тем, чтоб на листах ее не было заметно следа перьев или пуха, она уже обольщала себя надеждой, что обманула вселенную; она видела в числе своих сотрудников Островского и Тургенева; мало того: она даже сама постепенно привыкла не думать о том, что пернатость есть то непременное качество, которое должно фаталистически преследовать все ее действия. И вдруг... «стрижи!» Все вспомнили; все сказали: ну да, это они, это «стрижи». Чье же злодейское перо выдало секрет, начинавший приходить в забвенье? кто тот ужасный человек, которого не тронула даже искренняя нелепость, который не остановился даже перед столь естественным желанием, как желание скрыть свое стрижиное происхождение?

«Эпоха» всполошилась; она пустила в ход все зависящие средства и узнала-таки им⟨я⟩ ненавистного незнакомца. Плодом этого соглядатайства была статья: «Раскол в нигилизме, или Отрывок из романа Щедродаров» (читай: Щедрин).

Гадостнее, презреннее этой статьи по содержанию, тупоумнее, бездарнее по форме трудно что-нибудь представить себе. Вообразите себе древнехолопскую сплетню, рассказанную древнехолопскими устами, приправленную древнехолопскими прибаутками и сопровождаемую секретным древнехолопским злорадством,— и вы будете иметь понятие лишь о сотой части того древнехолопского романа, которым так и обдает упомянутая выше статья. Дело идет опять-таки о сплетне, намеченной даже не против журнала и его направления, а исключительно и лично против одного из сотрудников этого журнала, против того сотрудника, который по достоверно полученным сведениям напомнил читающему миру, что «Эпоха» издается стрижами.

Чтоб уязвить чувствительнее, «Эпоха» становится на почву убеждений. Она знает, что человеку свойственно обладать тем, что на человеческом языке называется убеждением; она слышала сверх того, что человек, составивший известного рода убеждения, не легко расстается с ними, что они ему дороги. Но все это известно ей только по слухам и в сущности кажется до того забавным, до того несходным с привычками пернатых, что она задумала разутешить себя и свою публику легким и игривым разговорцем по части убеждений. Разумеется, Щедродаров (Щедрин) представляется тут в самом уморительном виде: он то отстаивает свои убеждения, то покоряется какой-то таинственной силе, над ним тяготеющей, то вновь возмущается против насилия и т. д. Представьте себе, в самом деле, человека, который имеет свои убеждения — хи-хи! Представьте себе человека, который, обладая известными убеждениями, считает однако ж полезным и своевременным до известной степени и при известных условиях подчинить их убеждениям идущих с ним рука об руку в общем умственном труде — ха-ха! Представьте себе, наконец, этого самого человека, который, несмотря на необходимость уступки, все-таки тяготится ею — хо-хо! Вот какою трагикомической трилогией угостила «Эпоха» своих читателей. Повторяем: все это она выдумала, насплетничала и наклеветничала, но при этом не рассчитала одного: что впечатление, производимое ее статьею, совсем не достигает тех целей, которые она имела в виду. В самом деле, из статьи ее получается только один совершенно определенный вывод, а именно, что и Щедродаров и прочие редак-

торы «Современника» имеют убеждения. «Что же тут смешного?» — спросит себя удивленный читатель и в сотый раз убедится, что смешного тут нет ничего, кроме бессмысленного хихиканья захмелевших стрижей:

Выпил рюмку, выпил две —
Зашумело в голове,

— вот единственное заключение, которое может сделать читатель по прочтении статьи.

«Современник» счел долгом ответить на эту статью и притом ответить серьезно. Это была ошибка. Толковать с стрижами, разъяснять им непохвальность их поведения совершенно излишне. Стрижи не поймут убеждений разума, потому что для них «убеждение», «разум» — слова совершенно новые, неслыханные, над которыми можно только смеяться веселым стрижиным смехом. Сверх того, они могут возгордиться тем, что вот и с ними заговорили, наконец, серьезным тоном. К стрижам можно относиться только в художественной форме, которой они больше всего опасаются. Характеристические черты стрижиного миросозерцания обладают тою неуловимостью, которая ускользает от анализа; но для художника эта неуловимость и, так сказать, мутность чистый клад. Поэтому самым лучшим полемическим приемом в этом случае было бы отвечать стрижам новой комедией.

Как бы то ни было, но дело сделано, и в сентябрьской книжке «Современник» совершенно ясно и вразумительно доказал стрижам, до какой степени мелка и омерзительна была до сих пор их полемическая деятельность, что она никогда не имела в виду что-либо существенное, а всегда кружилась около личностей; что она отличалась неслыханной непринужденностью выражений и самою пошлой веселостью по поводу предметов, никакой веселости не возбуждающих. Доказал это «Современник» с номерами «Эпохи» и «Времени» в руках, доказал обстоятельно, добросовестно, хотя и несколько длинно.

Что же делает «семейство М. М. Достоевского» при виде такой напасти? Уличенное, посрамленное, застигнутое врасплох в своих собственных укреплениях, эпохино семейство не унывает. Стрижи обращаются в зайцев и, припомнив, что есть на свете кусты, спешат укрыться под их ненадежною защитой. «Это не мы, это кошка сделала!» — пищат они хором. «Нас трогают не личности, а идеи!» — свищет один. «Мерзит нам личная полемика, и не понимаем мы, как можно позорить бранью и сознательной клеветой людей за то только, что те не согласны с нами в мыслях!» — подсвистывает другой.

И все это свищется и подсвистывается после «Сказания о дураковой плеши», свищется в то время, когда в воздухе еще столбом стоит отвратительный запах, пущенный «Отрывком из романа Щедродаров»! О стрижи! О ветреное и несообразительное племя! Ужели ты и впрямь думаешь, что никто тебя не увидит, если ты прячешь голову под крыло?

Идеи, мысли... так вот вы чему хотите противодействовать, стрижи! Гм... это очень любопытно. С каким же запасом человекоубийственных орудий идут эти особого рода крестоносцы на войну против идей и мыслей? Каким военным кличем поддерживают они храбрость и готовность в рядах своих? Увы! вместо орудий в руках у них обглоданные кочерыжки, выбрасываемые из псевдославянофильской поварни «Дня»; вместо военного клича их подстрекает на драку с идеями карканье «Московских ведомостей», претворенное в слабый писк при помощи стрижиных слюней!

А чтобы доказать вам, что запас ваш именно так ничтожен и скромен, как о том говорится выше, возьмем на выдержку несколько измышлений ваших из той урны идей, которою вы угостили почтеннейшую публику под видом объявления об издании «Эпохи» на 1865 год.

Во-первых, вы все еще вооружаетесь против «западников». Что собственно вы разумеете под этим выражением, этого вы не можете объяснить и сами; вы видите, что оно красуется на столбцах «Дня», и берете его на прокат. Но в «Дне» борьба против западничества составляет застарелую болезнь, завещанную ему предками; «День» в этом случае уподобляется тем часам, которые за несколько лет перед тем остановились, положим, на десяти часах; встретилась надобность пустить их в ход и сразу поставить на двух часах, а они все-таки продолжают бить с десяти часов и много требуется терпения, чтобы восстановить правильный бой их. Борьба между так называемым славянофильством и западничеством имела место несколько лет тому назад и не только не лишена была смысла, но даже имела значение гораздо более широкое, нежели то, которое ей приписывается близорукими ее судьями. Дело шло по наружности о реформах Петра I; одни порицали тлетворное влияние Запада, сделавшееся неутешительным вследствие этих реформ; другие именно потому и хвалили эти реформы, что вслед за ними почувствовалось тлетворное влияние Запада. Но все это, повторяем, было только по наружности; и реформы Петра, и влияние Запада выводились на сцену для красоты слога и как повод для того, чтобы высказать другую мысль. Мысль эту можно в настоящее время формулировать таким образом: следует ли допускать участие разума в жизни или же оставить ее в подчинении у темных сил? «Западники» утверждали, что участие разума в жизни может только украсить ее и, указывая на Запад, не объясняли вполне своей мысли, а предоставляли читателю самому додумываться до результатов; «славянофилы» же говорили: «Нет, участие разума может только портить жизнь» и указывали на пример допетровской Руси, которая жила единственно с пособием веры, надежды и любви и не погибла. Петровская и допетровская России нужны были в этом споре не как доказательства, а как доступные в то время формы доказательств. И действительно, когда явилась возможность согласиться на счет реформ Петра, то споры об этом предмете прекратились очень скоро, а вслед затем и название «западников» утратило свой смысл. Спор вошел в те границы, в которых ему всегда следовало быть, и получил свое естественное содержание. В наше время не только нет «западников», но даже самое слово «западничество» заглохло в литературе. Есть в Российской империи люди благомыслящие, есть люди просто преданные, есть люди вдохновенно-преданные, есть нигилисты, есть ерундисты, есть стрижи. А «западников» нет.

А вы против них-то и вооружаетесь, да еще придаете «западничеству» самый простой, нехитрый смысл: смешиваете его с обезьянничеством. О, стрижи!

О чем вы стужаетесь? Какие «западники» вас обидели? Успокойтесь! все они или спят в могилах или возродились в виде сельного крина на столбцах «Московских ведомостей». Ужели вы и против них секретно коварствуете?! О, ежели это так, то

О ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь, человек?

О герой! кто тебе равен!
О герой! кто столько славен!

Но все-таки вспомни, герой, против кого ты поднял руку? Против кого ты коварствуешь? — Вспомни и прикуси язык. Итак, пункт пер-

«СТРИЖИ МЕЛЬКАЮТ»

Карикатура на журнал братьев Достоевских «Эпоха»

Гравюра Русица

«Искра», 1865, № 1

вый решен. Вы направляете ваши стрелы против того, что не существует, вы сражаетесь с мельницами.

Во-вторых, в вашем объявлении встречаем мы следующую фразу: «Ни одна земля от своей собственной жизни не откажется и скорее захочет жить туго, но все-таки жить, чем жить по-чужому и совсем не жить». В этой фразе заключается вся сущность вашей мудрости, ибо все дальнейшее есть не что иное, как самая грубая и несносная амплификация сейчас выписанного изречения. Но ежели мы всмотримся пристальнее в смысл этой фразы, то найдем, что она именно смысла-то никакого и не имеет, что она есть набор случайно подобранных из лексикона слов, что она в свою очередь есть амплификация чего-то такого, чего вы не сказали, ибо сами не знаете, что́ хотите сказать. Прежде всего, нужно полагать, что вы упоминаете о земле не в смысле геологическом, а в смысле народа, страны, государства. Не говорите, что мы придираемся к выражениям; ведь вы, стрижи, хитры и с вами надо вести дело начистоту, ибо вы тотчас же скажете: мы совсем не о том говорили, вы не поняли; это кошка говорила, а не мы. Итак, предположим, что вы сказали: «Никакой народ» и т. д. Теперь спросим себя, что такое жизнь вообще, и для объяснения возьмем в пример жизнь отдельного человека. Человек является на свет ребенком и притом при таких органических условиях, которые дают очень мало поводов заключать о будущем его развитии. Затем, начинается для него уже новая жизнь, т. е. воспитание телесное, умственное и нравственное. Он получает понятие о среде его окружающей, о вещах и людях, эту среду составляющих, приучается сравнивать, различать и делать выводы. Он скоро, очень скоро начинает понимать, что стрижи не люди, а люди не стрижи. В этом сложном процессе всестороннего развития человека заключается вся его жизнь, и чем более приобретает он знаний, тем шире и яснее становится его умственный кругозор. Что́ в этом процессе свое и что́ чужое? С одной стороны, все чужое, потому что не будь этого «чужого», не было бы и своего; с другой стороны, все свое, потому что не будь этого «своего», то не существовало бы (для дан-

ного человека) и чужого. Не одной счастливо одаренной организации обязан человек своим развитием, но и тому, в какой мере он находится в соприкосновении с людьми и с внешней природой, да еще с какими людьми, с какою природой. Точно то же должно сказать и о жизни общества, народа, государства или страны: на них внешний мир влияет таким же образом, как и на отдельного человека. Никакое общество не может сказать: я буду жить хоть по-глупому, да по-своему, во-первых, потому, что выражение «жить по-своему» есть вообще выражение пустое, не имеющее никакого содержания; во-вторых, потому, что по-глупому жить ни в каком случае не выгодно; а, в-третьих, потому, что о бок с этим обществом существует другое общество, которому глупая жизнь его соседа может мешать, ибо человеческие интересы в конечном результате везде и всегда солидарны. Затем спрашиваем вас: каким образом вы ухитрились разрубить жизнь на две половинки, из которых одну называете своею, а другую чужою и которые, по вашему мнению, постоянно должны находиться друг с другом на ножах? И как следует после этого истолковать вашу фразу: «жить туго, но все-таки жить», «жить по-чужому, и совсем не жить»? Ведь у вас рядом идут два такие понятия, которые взаимно друг друга исключают, ибо разве возможно жить и не жить вместе? Что означает подобная не имеющая смысла фраза? А вот что: она означает стрижиную страсть к риторике, она означает ту ненависть к ясности и определенности, которая составляет непременную принадлежность всего, что само не понимает, чего желает и о чем плачется. Если б в вас не было этой ненависти, вы, конечно, выразили бы вашу мысль так: «глупый живет по-глупому; к глупому не пристанет чужое умное, к умному не пристанет чужое глупое». И было бы понятно.

Итак пункт второй: существенная цель, к которой, по вашим же словам, стремится ваш журнал и которая должна составлять его содержание, представляет собой полное оскорбление здравого смысла. Посмотрим теперь, что вы скажете о средствах, при помощи которых вы предполагаете достигнуть этой цели.

Вопрос об этих средствах составляет пункт третий. Вот что вы говорите об этом предмете. «Хвалить дурное и оправдывать его *из-за принципа* мы не можем и не хотим. Издавать журнал так, чтобы все отделы его пристрастно составлять из одних подходящих фактов; видеть в данном явлении только то, что нам хочется видеть, а все прочее игнорировать и умышленно устранять; называть это *„направлением"* и думать, что это и правильно, и беспристрастно, и честно — мы тоже не можем». Прежде всего в этих немногих словах поражает детская манера беседовать с читателем о каких-то похвалах и порицаниях. Кому нужны ваши похвалы, кто обращает внимание на ваши порицания? Вы все еще думаете, что назначение журнала не в том заключается, чтоб говорить дело, а в том, чтобы «хвалить» или «порицать»? О, ветреное племя! Вы забыли, что мы уже не в двадцатых годах живем, и что в настоящее время задача похвал и порицаний не только упрощена, но даже совсем выброшена за негодностью за окно. Но довольно об этом; поговорим собственно о том, что вы называете «направлением» и против чего вооружаетесь.

Когда люди соединяются вместе для общего умственного труда, то они прежде всего условливаются между собой о предмете этого труда, о тех разнообразных последствиях, которые могут из него вытекать, и о тех условиях, в которых ведение этого труда поставлено обстоятельствами. Не сговориться на счет этого невозможно, потому что это значило бы заранее обречь общий труд такого рода случайностям, которые подкопали бы его в самом корне. Из этих подготовительных совещаний вырабатываются так называемые *общие начала*, приступить или не приступить

к которым предоставляется на волю каждого, и затем приступившие — остаются в деле, а не приступившие — отказываются от него. От приступивших также ничего не требуется особенного; они не обязываются ни клясться, ни есть землю, ни даже, по древнееврейскому обычаю, класть руку под стегно, в знак преданности; предполагается, что они достаточно связаны добровольно сознанною ими разумностью дела, чтобы не отступиться от него без особенно важных побудительных причин. Чем бо́льшую сатиру жизненных требований и условий захватывают эти общие начала, чем они дальновиднее, тем более они представляют залогов прочности и устойчивости. Невозможно себе представить таких общих начал, которые бы ничего не предвидели и останавливались перед всяким фактом. Такого рода начала следовало бы назвать не общими, а ёрническими, подобно тому как ёрником называем мы такого человека, который не крадет, когда нельзя украсть, и крадет, когда украсть можно. Таким образом, общие начала определяют не только систему, но и значение в этой системе возможно большего числа частных явлений и фактов. Тем не менее, нельзя не сознаться, что общие начала в дальнейшем своем применении и развитии могут встретиться, во-первых, с фактами совсем непредвиденными, и, во-вторых, с такими фактами, которые хотя и были предусмотрены, но обойдены, так как они не разрушают общей разумности принятых начал, а лишь временно в виде исключения затрудняют их применение. В первом смысле новые факты не могут быть ни значительны, ни многочисленны; нельзя себе представить, чтобы люди взрослые и не лишенные рассудка, договариваясь между собою о столь важном деле, как общие начала, могли пропустить факт сколько-нибудь крупный. Если даже предположить, что эти люди совсем бесчестны, что они намеренно обходят факты — все-таки нужно, чтобы они условились, по крайней мере, на счет того, как лучше обойти факт. Следовательно, в этом случае возникновение явлений не предусмотренных может послужить лишь к поправке и пополнению общих начал, а не к коренному их изменению. Что же касается до явлений второго разряда, то отношение к ним общих начал несколько сложнее, ибо тут дело идет уже не о пополнении общих начал, а о согласовании их с теми кажущимися противоречиями, которые представляются жизнью. Так, например, мы в смысле общего начала можем написать на нашем знамени следующее изречение: прогресс никогда не прерывающийся есть непременное условие жизни человеческих обществ. На это история, конечно, может возразить рядом фактов очень значительных, может указать на целые эпохи, в продолжении которых человечество, как бы одержимое безумием, положительно действовало наперекор своему собственному благу. Но возражение это будет все-таки недействительное. Мы, в свою очередь, и весьма основательно можем доказать истории, во-первых, что прогресс, несмотря на кажущиеся колебания, есть факт для всех слишком очевидный, чтобы можно было придавать значительный вес частным уклонениям, совершенно утопающим в общем разумном движении жизни; во-вторых, что она совершенно напрасно присваивает себе титул истории человечества, тогда как, в сущности, рассказывает лишь историю незначительного меньшинства; в-третьих, что ежели жизнь этого меньшинства и может вследствие случайных условий колебаться между прогрессом и застоем, то этого невозможно сказать о человечестве в общей его массе, так как на это последнее, по его громадности и разнообразию составляющих его элементов, случайные причины никакого решительного действия иметь не могут, и, в-четвертых, наконец, что то уродливое меньшинство, которое усиливается остановить прогресс, в сущности, нимало его не останавливает, а только приготовляет своими усилиями собственную гибель. Другой пример. Предположим, что А и В руководятся в своей деятельности одними и теми

же началами, но вследствие страстности своей природы нередко впадает в преувеличения, возбуждает ужас в неопытных сердцах резкостью своих действий и суждений и вообще поступает так, как бы ему предстояло не привести к себе вселенную, а отогнать ее от себя. Как ни прискорбен этот факт, но он отнюдь не может противоречить нашим общим началам, ни подрывать их. Людям, указывающим нам на него как на доказательство нашей несостоятельности, мы можем сказать: вы очень недобросовестны, милостивые государи, если не умеете отличить истину от тех временных преувеличений, которые нацепляются на нее энтузиазмом и увлечением; сверх того, вы и близоруки, ибо не видите, что энтузиазм в составляет в общей экономии жизни один из необходимейших зиждительных элементов, что в нем заключается источник инициативы, столь драгоценной для успеха всякого дела, и что, тем не менее, тот же самый энтузиазм, сделавши свое дело, *непременно* придет к отрезвлению, ибо *непременно* же убедится, что с одним энтузиазмом никакого дела к концу привести нельзя.

Итак, вот значение общих начал, вырабатываемых людьми, собравшимися для общего умственного труда. Совокупность этих начал составляет то, что называется направлением, и так как (об этом объяснено выше) в этом случае направление предвидит и исчерпывает собою возможно бóльшую сумму жизненных явлений, то он имеет полное и бесспорное право требовать от людей, к нему присоединившихся, сообразного с его содержанием образа действий.

Эти последние слова отнюдь, однако ж, не означают, чтоб «направление» говорило: «Подбирай факты только подходящие, такие-то факты игнорируй, а такие-то усматривай», — подобную речь могут держать только стрижи. Но направление может и имеет право сказать: «Старайся осмыслить встречающиеся тебе факты, а не суйся с ними как угорелый; согласуй их с общими началами, дающими жизнь и силу твоей деятельности, а не поступай подобно стрижам, которые, встречая забор, поют: „вот забор!“ до тех пор, пока не встретятся с березой и не запоют: „вот береза!“ — умей определить их значение в общей системе выработанного тобой миросозерцания, а не кричи без стыда: „мы, дескать, и без миросозерцания как-нибудь изживем рассиротскую нашу жизнь!“»

Без «направления» никакая деятельность невозможна, ибо оно дает смысл этой деятельности, обнажает слабые и сильные ее стороны, делает возможным спор и в результате порождает истину. Вот против этого-то и вооружается семейство М. М. Достоевского, издающее «Эпоху». Спрашивается, чем же оно само руководится в своей литературной деятельности?

На это оно отвечает: «не так разумеем мы *направление*», и далее разъясняет: «мы не боимся исследований, света и ходячих авторитетов». Но разве это ответ, разве в этом наборе слов заключается что-нибудь похожее на дело, на мысль? Что такое эти «исследования, свет и ходячие авторитеты», которых можно бояться и не бояться? Следует ли их бояться? Боится ли их кто-нибудь? О чем «исследования»? Какой «свет»? и что за «ходячие авторитеты»? Увы! отвечать на эти вопросы можно только известным стихом:

Ничего в волнах не видно...

Ибо и тут, по обычаю «Эпохи», мы встречаемся лишь с фразами и стрижиною дрянною риторикой. Помилуйте, сироты! Неужели вы не понимаете, что определять таким образом «направление» все равно, что сказать: «мое направление состоит в том, что я не боюсь ни воды, ни огня, ни стихий небесных, или в том, что я прячусь в дупло всякий раз, как только

заслышу первые раскаты грома». Ведь такое определение свидетельствует лишь в пользу личной вашей храбрости (посмотри, папаса, какой я хляблий!), и отнюдь не более. Какое это направление — это высокопарная ерунда и больше ничего.

Итак, пункт четвертый: вы не имеете средств достигнуть вашей цели (которой вы, впрочем, тоже не имеете), потому что не имеете направления и не чувствуете даже потребности иметь его.

Вот самые рельефные пункты вашей премудрости. Целых восемь страниц прикидываетесь вы сиротами, просите читателей о милосердии и то храбритесь, то колотите себя в грудь в знак раскаяния — и ведь ни одной-то мыслью, ни одним не дохлым словом не проговорились на пространстве целого печатного полулиста!

Неужели же это не обглоданные кочерыжки?

⟨РЕЦЕНЗИЯ⟩

О добродетелях и недостатках, какие замечаются на всех ступенях развития общественной жизни, или нравственные правила в руководство к исправлению недостатков и к утверждению добрых начал в многосторонней земной жизни для блага общего. Сочинение переводное с иностранного. П. Б. Суходаев. К. У. С портретом автора. Москва, 1864.

ЗЕРКАЛО ПРОШЕДШЕГО. ВЫПИСКИ И ЗАПИСКИ МНОГИХ ГОДОВ. Москва, 1864

Рим. Современный очерк. («Эпоха», 1864 г. № 8).
Примечания к статье «Монтана» Г. Калаузова. («Эпоха», 1864 г. № 8).
Объявление об издании ежемесячного журнала «Эпоха», литературного и политического, издаваемого семейством М. М. Достоевского. («Эпоха», 1864 г. № 8).

Стрижиная литература решительно процветает. Чувствительность сердца, добродетель, кроткое поведение, почитание усопших, умеренность в употреблении яств и прочих напитков — вот новые принципы, которые внесены в нашу литературу стрижами. Правда, что проповедь эта не совсем-таки нова, а только позабыта; правда, что опыты обращения русской литературы в «Лизин пруд» начинаются уже с Карамзина, но никогда они не были так настоятельны, никогда не лезли так напролом, как в настоящее время. Прежние проповедники чувствительности и аккуратности были, по крайней мере, кратки и не ложились на душу читателя излишним грузом; нынешние проповедники тех же истин извергают из себя целые монументы и решительно притесняют публику своею настойчивостью.

Прежнее русское общество было само очень чувствительно; воспитанное на почве крепостного права, оно любило отдых за картинками содержания чувствительного и аккуратного. Видя в Ваньках-разбойниках и Машках-подлячках одну нравственную необразованность и сверх того примечая в их обжорливости явный и положительный для себя ущерб, оно охотно останавливалось на повествовании о каком-нибудь Агатоне, который не ел и не пил, а только проливал слезы, или о какой-нибудь Хлое, которая, невзирая на настойчивость своего Алексиса, посолила-таки свою невинность впрок. «Вот, подлецы, как жить нужно, а не то, чтоб лопать да брюхо набивать», или: «Вот, девки, как нужно себя соблюдать, а не то, чтоб целые ночи по коридорам шляться»,— говорило оно и сладко-пресладко вздыхало. Ибо видело в этих картинах и повествованиях не токмо утешение, но и подкрепление.

Совсем не таково положение современного общества относительно аккуратно-чувствительной литературы. Заботы по насаждению нравственности в сердцах Ванек с него сняты; ущербы, проистекавшие от прожор-

ливости Машек, или устранены, или вошли такою определенной статьей в бюджет, что отвертеться от них нет возможности. Следовательно, надобности в примерах разного рода окаянству решительно не настоит. Пример Агатона, питающегося слезами, важен для нас в том только смысле, что он врачует наши сердца, уязвленные примерами других Агафонов, таскающих из наших кладовых огурцы и капусту для своего насыщения; но как скоро мы сродняемся (или что-нибудь сродняет нас) с мыслью, что упомянутые выше огурцы и капуста не составляют еще особенной манны небесной, то воспоминание об Агатоне-слезоистребителе и Хлое-блюстительнице не только не утешает, но даже бесит нас. Нам кажется, что все это пишется нам в пику, что тут заключается тайное злорадство, недобросовестный намек на то, что вот и хорошо бы, да не хочешь ли выкусить! И так бывает нам в то время скверно и огорчительно, что мы были бы готовы горло зубами перервать тому стрижу, который так и зудит около нас с своею проквашенною кротостью и посоленною впрок невинностью.

А стрижиная литература все пристает да пристает потихоньку. Словно вот ядом поливает. «Да будьте же вы, говорит, кротки, чорт вас дери! вспомните, говорит, об Косте-прожорливом, о некоторой Насте, которая позволяла Колиньке свою ручку целовать! Куда вы угодить хотите? вспомните, наконец, о некоторых „стрижах", которые без ума без всякого вдруг вздумали странствовать,— что постигло их?» Слушая это унылое голошение, видя этих пришельцев с того света, колотящих себя в грудь даже без приглашения полиции, публика сначала недоумевает, но, наконец, положительно озлобляется. «Что я вам сделал? долго ли притеснять меня будете? И как я покажусь в люди с вашею выеденною добродетелью!» — говорит читатель неотвязчивым птицам. А стрижи пристают себе да пристают полегоньку.

Вот лошадки для езды,
Пистолетик для стрельбы,
Барабан, чтобы стучать
И в солдатики играть!—

кричат они хором, и какие бы усилия ни употребляла публика, чтоб унять их,— все будет бесполезно. Во-первых, они от рождения находятся в «забвении чувств», а, во-вторых, в самом воздухе есть нечто им покровительствующее.

Да, это так; действительно, нечто покровительствует им. Известно, что ничто так не утверждает общественного благоустройства на незыблемых основаниях, как невинные занятия. В сем отношении игра «в солдатики», «в лошадки», «в фофаны» и проч. занимает самое видное место. Люди, занимающиеся такими непредосудительными поступками, суть те самые граждане, на коих всегда положиться можно, ибо они никогда не выдадут. Затем, к числу непредосудительных ремесел следует отнести также балет, в особенности же с превращениями, полетами и исчезновениями, так как от оного ведут свое родопроисхождение занятия балетно-философические, тоже немало к утверждению общественного благоустройства содействующие. Человек, уязвленный до глубины души игрою в фофаны, до такой степени закаляет себя в этом занятии, что никаким порочным движениям доступен быть не может. Видя конец платка, вылетающий из кафтана ближнего, он не только не присвояет его себе (т. е. весь платок, а не конец его), но даже не соблазняется; видя людей, беседующих о деле действительном, он не только не принимает участия в их беседе, но даже не соблазняется; видя людей, страдающих не едиными чирьями и золотухой, он не только не расспрашивает о причине страданий их, но даже не соблазняется. Как некоторый адамант светлый про-

ходит он посреди людского торжища, поражая всех своею невинностью и аккуратностью. Правда, что и им, в свою очередь, никто не соблазняется, но всякий при виде его говорит:—оставьте сего невинного, ибо, если вы его тронете, то извергнет из ⟨*пропуск в корректуре*⟩ всякий остерегается, всякий себя⟨?⟩монумент, известный под именем «сапогов в смятку!» проходит мимо. Ибо все мы—члены общества, и в этом качестве должны всемерно заботиться о благоустройстве. А от кого же и можем мы ждать порядка, как не от тех, кои никогда беспорядка произвести не могут? Следовательно, поощрять и охранять их суть прямой долг наш и главнейшая обязанность. А ежели мы должны поощрять их, то, стало быть, должны выносить и их приставанья. Вот истинная причина возникновения «стрижей» и их процветания; вот почему им нет и не может быть перевода, так что ни трескучие морозы, ни летний зной не могут оказать на них решительно никакого влияния.

Итак, несмотря на то, что характер общества русского значительно изменился, несмотря на то, что наше общество стало менее чувствительно, процветание стрижиной литературы совершенно законно. Само общество обязано всемерно заботиться о возможном его продолжении, ибо в процветании этом заключается самое действительное отвлекающее средство, при помощи которого различные горькие заботы и думы уже не представляются уму с такою мучительною назойливостью, как это обыкновенно бывает, когда человек предоставлен самому себе и своим размышлениям. Кто огорчен, угнетен или обижен, тот пусть возьмет в руку стрижа: он споет ему повесть о Фединьке-нестроптивом, который тоже был когда-то строптивым, и тогда все у него шло скверно, но потом предоставил себя на волю провидения,— и все пошло у него хорошо. И стал Фединька

«БАЛАНС В РУКАХ ОПЫТНОГО ЖУРНАЛИСТА»

Карикатура, направленная против беспринципных журналистов

«Искра», 1864, № 35

торговать отчасти выеденными яйцами, отчасти непредосудительными выражениями — и расторговался так, что ныне завел даже в Мещанской колбасную лавочку. Можно ли, спрашивается, устоять против такого соблазна? Можно ли не оставить все горькие житейские помышления, когда в перспективе виднеется колбасная лавочка? Нет, нельзя; кремень—и тот не устоит, особливо когда ему объяснят, что колбасы, выделываемые в этой лавочке, не взаправду колбасы, а простая тряпочка, набиваемая без разбору всяким сором. Только одно серьезное возражение предвидим мы против такого соблазна: а что, ежели все примутся вдруг торговать выеденными яйцами,— кто тогда станет покупать их?

По нашему мнению, стрижи могли бы даже служить отвлечением и в смысле политическом, если б политика не имела в своем распоряжении других средств, более быстро действующих. Ведь оказывает же, сказывают, Наполеон III некоторое покровительство спиритам, а чем они лучше наших стрижей?

Да простят нас многоуважаемые авторы выписанных выше сочинений, что мы как будто по поводу их заговорили о стрижах. По правде-то сказать, во всех этих сочинениях действительно есть немножко стрижиного... ну, хоть немножко! Но во всяком случае, и смысл, и направление, и даже слог —все у них совершенно общее. Ежели сочинение «О добродетелях и недостатках», а также «Зеркало прошедшего» не помещены в «Эпохе», а являются изданными отдельно, то это есть лишь признак прискорбного недоразумения, признак того, что «Эпоха» недостаточно еще разлилась по лицу земли, не знает сама, где ее агенты, где ее счастье, и что агенты ее, с своей стороны, не знают, где их счастье, где та укромная роща, в которой они могли бы по душе потолковать. Ни «Добродетели и недостатки», ни «Зеркало прошедшего» не могли бы, конечно, быть помещены ни в одном русском журнале, а в «Эпохе» прочитались бы с удовольствием и притом довольно многочисленною публикой, которая обращается к этому журналу именно как к средству позабыть о всех горестях. Точно так же нельзя бы было поместить ни в одном журнале ни «Рима», ни «Объявления» об издании «Эпохи» в будущем 1865 году, ни других выписанных выше статей, а «Эпоха» поместила их — почему? Потому, что она издается с известными отвлекающими целями, для которых все эти статьи как нельзя больше пригодны. А чтобы доказать самым делом, что факт появления «Добродетелей и недостатков» и проч. отдельно от «Эпохи» есть не что иное, как недоразумение, объяснимся несколько подробнее.

Все сочинения, заглавия которых выписаны нами выше, трактуют о том, что человек должен украшать себя добродетелями, а не пороками, что он должен от рождения считать себя виноватым, что невинность есть то качество, которое хотя он и утратил однажды, но стремиться к которому не возбраняется и до днесь, что науки, конечно, полезны, но — вопрос, какие науки? Не те науки, в основании которых лежит кичливый разум, а те, кои зиждутся на стыдливом уповании, что понимать ничего не следует, ибо понимание разрушает ценность жизни и устраняет прелесть бестолковщины и что, впрочем, необходимо всегда и везде главную надежду возлагать на провидение. Затем, слог, которым написаны эти сочинения, может быть назван высоким, по временам впадающим в «забвение чувств».

Вот общие черты; что касается до отличий, то их немного — всего два. Во-первых, автор «Добродетелей и недостатков» приложил к сочинению свой портрет, а прочие сочинители портретов не приложили. Мы находим, что со стороны последних это большое упущение, ибо, ежели вошло в обычай сохранять для современников и потомства черты знамени-

тейших злодеев, то тем справедливее соблюдать это обыкновение относительно благодетелей человечества. Из портрета, приложенного к «Добродетелям и недостаткам», мы видим, что г. Суходаев человек средних лет, что он кавалер трех медалей, что глаза его устремлены к потолку и что под рукой у него две книги (должно полагать: научно-полемическая статья «Сказание о Дураковой плеши» и игриво-философское рассуждение об индюшках и Гегеле). Таким именно мы представляли себе сотрудника «Эпохи». Второе отличие состоит в том, что г. Суходаев посвятил свое сочинение «достойнейшему князю Георгию Иоанновичу, сыну Окрапира царевича», посвятил явно и открыто и даже записал, когда и где сие совершалось, а именно: «20-го июня 1863 года на южном берегу Крыма, на даче генерала Лешневич» (ведь записывал же Иван Иванович Перерепенко на семенах «сия дыня съедена такого-то»), между тем как публицисты «Эпохи», хотя и посвящают свои монументы гг. Каткову и Аксакову, но посвящают тайно, с полным сознанием своей виноватости. Это отличие тоже, по нашему мнению, служит в пользу Суходаева. Во-первых, мы вполне признаем, что поступки явные гораздо прочнее и заслуживают большего уважения, нежели поступки тайные, и охотно верим в этом случае г. Суходаеву, который вот что говорит в главе о «Тайных грехах»:

«Как, неужели злодей, впавший в явные преступления, достоин большей казни, чем сии скрытные беззаконники, от которых никто не может остеречься, потому что они скрывают свою развратность под личиною добродетели?»

И далее, очертив мастерскою рукой изображение тайного беззаконника, который, между прочим, «сплетничает, а между тем хочет слыть человеком честным, о благе всех пекущимся», автор в негодовании восклицает:

«Узнай себя в этом изображении, скрытный беззаконник, и ужаснись, если в тебе осталось еще столько совести, чтобы различать, что достойно и что недостойно человека! Узнай себя, вероломный сквернитель чужой чести» и т. д. и т. д.

Во-вторых, мы полагаем, что беззакония тайные никогда не сопровождаются ожидаемым успехом и опять-таки охотно верим в этом г. Суходаеву, который так отзывается об этом предмете в своем сочинении:

«Поистине ты (т. е. беззаконник тайный) для других опаснее явного беззаконника; но ты еще более опасен себе самому; таковы последствия твоего притворства. Ибо тебе никто не может подать совета, пока ты скрываешь язвы сердца твоего от взоров других; никто не может помогать до самого падения твоего в пропасть, изрытую твоими пороками. Твоя пагуба лишь скорее дает тебе созреть для ужасной развязки той пьесы, которую ты столь искусно играешь. Тем ужаснее будет твоя погибель».

И далее:

«... ты сам и твое тело обличает тебя перед светом. Тайное беззаконие выкажется в твоих впалых глазах, в твоем расстроенном здоровье. Смотря на болезненных, убитых, рано увядших потомков твоих, ты будешь сокрушаться. Остальное поприще твоей жизни и самая могила порастут терниями».

Картина ужасная, и ежели припомнить, что она начертана собственно для страстей, то надобно удивляться той закоснелости, с которой они внимают словам учителя, продолжая в то же время производить тайные беззакония, как будто бы совсем не об них шла речь.

Итак, отличия все в пользу г. Суходаева; но мы увидим далее, что и родственные черты гораздо больше выигрывают под пером этого философа, нежели под перьями эпохиных публицистов.

Вот, например, что говорит г. Суходаев о вреде наук:

«И просвещение, подобно всем вещам, имеет свойственные себе опасности, когда для приобретения его надобно читать много сочинений различного рода. В те времена, когда не было еще никаких других книг, кроме рукописных, одни только отличные мужи отваживались письменно излагать и распространять свои мысли».

И далее:

«Истина, собственным нашим размышлениям открытая, драгоценнее тысячи слышанных, которые остаются бесплодными в нашей памяти: подобно как небольшой достаток, нажитый собственными нашими трудами и употребленный с пользою, несравненно бо́льшую имеет цену, чем груды золота, даром доставшиеся и в сундуке скряги лежащие».

И вот об этом же самом предмете говорит «Эпоха» (см. Объявление «Об издании в 1865 г. ежемесячного журнала „Эпоха“, литературного и политического, издаваемого семейством М. Достоевского»):

«От науки никогда народ сам собой не отказывается. Напротив, если кто искренне чтит науку, так это народ. Но тут опять то же условие: надо непременно, чтоб народ сам, путем совершенно самостоятельного жизненного процесса дошел до этого почитания».

Мысли совершенно верные, хотя и вполне стрижиные. Но у г. Суходаева они выражены рельефно и вполне резонно, тогда как в «Эпохе» они принимают несколько вялый и притом только полурезонный характер. Г. Суходаев прямо говорит: человек, конечно, должен иметь табличку умножения, но он обязан выдумать ее сам, а не заимствовать из арифметики Меморского; «Эпоха» говорит: «народ, конечно, сам должен додуматься до таблички умножения, но он имеет право обойтись и без нее». Г. Суходаев не подвергает никакому сомнению ни пользы, ни своевременности таблички умножения, «Эпоха» же явно настаивает на ее своевременности. Разница, очевидно, в пользу г. Суходаева.

Другой пример. Г. Суходаев выражается о «путях провидения» следующим образом:

«Зачем ты, сердце мое, столь часто сокрушаешься о судьбе своей? Зачем с неудовольствием смотришь на счастье многих других, жалуясь, что ты его не имеешь? Зачем ты плачешь о своих неудачах, почитая себя рожденным для всегдашней горести?.. Ты говоришь, мое сердце: я несчастно, ибо никакие предприятия мне не удаются; заботы мои и труды никогда не достигали желанной цели. Сколько уже сплетал я предположений о моей будущности, но они никогда еще вполне не сбывались! Сколько планов строил я в мыслях, как бы улучшить положение мое собственное и моих домашних; но все напрасно!»

«Эпоха» о том же предмете выражает так (зри там же):

«„Эпоха“ с самого начала своего существования подверглась большим и неожиданным неудачам (следует слезный перечень неудач)... Образовавшаяся наконец редакция увидела вдруг перед собой бездну новых трудностей, которые должна была преодолеть».

Опять-таки мысли совершенно верные и опять-таки совершенно стрижиные. Но и здесь преферанс положительно на стороне г. Суходаева. Г. Суходаев прямо говорит о предприятиях сердца и объясняет, что предприятия эти заключались в том, чтоб обеспечить его и домашних. Из объяснений же «Эпохи» можно усмотреть одно: что у нее были «предприятия сердца», что и она видела перед собой «бездну», но с какою целью предпринимались эти «труды сердца» — ничего об этом не сказывается. Скрытность явная и положительно говорящая не в пользу «Эпохи».

Третий пример. Суходаев так говорит о современном обществе:

«Преступное искажение естественной потребности оказывается в столь различных видах, производит опустошения столь обширные, явно и тайно свирепствует во всех состояниях, полах и возрастах с такою жестокостью, что верный последователь христосов с ужасом отвращает свои взоры от людей, до такой степени унизившихся».

О том же «Эпоха» гласит следующее (там же):

«Мы видим, как исчезает наше современное поколение само собой, вяло и бесследно, заявляя себя странными и невероятными для потомства признаниями своих и лишних людей».

Опять, с одной стороны, определенность; с другой, неясность, хотя существо мысли в обоих случаях совершенно одинаково. Оба единомышленника соглашаются, что современное поколение погибает, но первый указывает и на причину этого явления, которая, по мнению его, состоит в «преступном искажении естественной потребности», второй же говорит, так сказать, с плеча, а потому совершенно бездоказательно. Кому отдать преимущество?

Четвертый пример. Г-н Суходаев говорит: «женщина стремится вступить в брачный союз не с женщиною, но с мужчиною»; «Эпоха» же хотя ничего об этом предмете не высказывается, но это, очевидно, пробел, который, подобно и прочим пробелам, очень мало говорит в ее пользу.

Наконец, г. Суходаев говорит, что его «Сочинение» — переводное с иностранного; «Эпоха» говорит, что ее издание есть издание, издаваемое... Кому отдать преферанс относительно этого пункта «решить не решаемся», ибо опасаемся посредством какофонической какофонии впасть в тавтологическую тавтологию.

Затем, прочие сочинения, заглавия которых выписаны нами в начале статьи, поражают не столько умозрительностью, сколько кротостью и, так сказать, беззащитностью. Вот, например, какие «сапоги в смятку» проповедует г-жа Анопуте в своем «Зеркале прошедшего»:

«Хотя женщина должна покоряться общему мнению; но довольно в душе своей может иногда презирать его, видя, как оно часто бывает неосновательно, ветренно, переменчиво. Довольно иметь чистую совесть, тихое самоудовольствие — и свое собственное мнение, утвержденное на оных, должно быть дороже мнений целого света».

А вот «сапоги в смятку» г. Н. М., напечатавшего под именем «Современного очерка Рима» краткое извлечение из руководств Кайданова и Смарагдова:

«Главным предметом их (пап) заботливости сделалось *сохранение и увеличение* папских владений, которым они незаконно придали название *наследия св. Петра*, как будто св. апостол, которого имя они употребляли во зло, мог с высоты своего небесного жилища утвердить то, чему так явно противоречила вся его земная жизнь».

Но еще наивнее примечания к статье «Монтана». Примечания эти до того прелестны, что мы не решаемся даже выписывать их. Пусть читатели обратятся прямо к источнику и там удостоверятся, какие у нас на Руси еще могут издаваться журналы.

Мы оканчиваем. Надеемся, что «Эпоха» перестанет огорчать нас и не будет более помещать на своих столбцах статей, подобных «Зеркалу прошедшего» и «Объявлению об издании „Эпохи“ в 1865 году». Мы даже имеем полное основание выражать такую надежду; в прошлом году мы подали подобный же совет на счет г. Ф. Берга — и с тех пор имя этого знаменитого сатирика не появляется на обертке «Эпохи». Вероятно, точно так же будет поступлено с гг. П. М., Ф. Достоевским, Н. Страховым и Дм. Аверкиевым. В добрый час!

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ

НАЯДА И РЫБАК

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БАЛЕТ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ И ПЯТИ КАРТИНАХ

Соч. Ж. Перро; музыка г. Пуни

Нет сомнения, что самую характеристическую черту современного искусства составляет стремление его к реализму. Искусство начинает сознавать, что, отрешенное от жизни, гадливо взирающее на ее подробности (как на что-то деловое, прозаическое и, следовательно, не входящее в область поэзии), оно не может обстоятельно выполнить даже ту задачу, выполнение которой издревле считалось первейшею и священнейшею его обязанностью: *не может возбуждать благородных чувств.* Значение и характер «благородных чувств» странным образом изменились. По мнению Павла и Николая Кирсановых (да простит мне г. Тургенев, что я, быть может, слишком часто ссылаюсь на этих милых, но выдохшихся старичков), благородство чувств заключается в рыцарски вежливом обращении с дамами; по мнению Базарова, «благородство чувств» ни в чем не заключается. Есть третьи, которые думают, что «благородство чувств» есть такая рубрика, которую можно оставить с пользою и под которою следует разуметь ряд полезных, добропорядочных и целесообразных действий. Быть может (да и наверное), есть еще четвертые, пятые, десятые и т. д., которые и еще кой-что разумеют под «благородством чувств» и, конечно, находят, что правы они, а не братья Кирсановы и не Базаров. И таким образом выходит, что для того, чтобы высказать себя «благородным», Кирсановы играют на виолончели, говорят об «даже», купаются в душистых ваннах и вообще предъявляют «благородные манеры», очень наивно принимая их за «благородные чувства»; для этой же цели Базаров режет лягушек; для этой же цели третьи, не отрицая игры на виолончели, отдают свое время преимущественно полезным и добропорядочным делам. Но во всяком случае, ни те, ни другие, ни третьи не суть люди, лишенные прав состояния, а потому имеют право пользоваться своими понятиями о «благородстве чувств» по усмотрению и без всякого со стороны начальства помешательства.

Но искусство не частный человек и потому на задачи свои смотреть «по усмотрению» не может, под опасением действительного лишения за это прав состояния. Оно и радо бы, например, век свой идти рядышком с братьями Кирсановыми, но не смеет, ибо знает, что эти чистенькие, но выжившие из ума старички не поддержат его. Пискнет искусство по старой привычке в лице какого-нибудь запоздалого путника-поэта песенку о вежливом отношении к природе, Аглаям и Хлоям, ее населяющим, да так и останется при своем писке: никто не ответит на него, даже Кирсановы застыдятся. А какая причина такого явления? А причина та, что ниву человеческую со всех сторон загромоздили мужики, а братья Кирсановы так-таки и затонули в этом мужицком приливе. Мужики говорят искусству: Смотри! стань на эту точку, да на этой линии и вертись! а братья Кирсановы молчат и только исподтишка презрительно улыбаются, но до того уж исподтишка, что никто, даже само искусство, этих их презрительных улыбок не замечает.

Впрочем, на первых порах искусство еще возражает. «Позвольте, господа! — говорит оно мужикам,— я согласно стать на почву реальную (еще бы!), но ведь я все-таки искусство, и потому моими реальными основами могут быть лишь основы общечеловеческие!» И затем начинает доказывать, что «благородные чувства», хотя и не имеют права отрываться от действительности, тем не менее все-таки должны носить характер

общечеловеческий и в этом смысле оставаться до некоторой степени безразличными. Одним словом, что «благородство чувств» все-таки должно быть «благородством чувств» — и ничем более. Но мужики, несмотря на свое невежество, очень сообразительны. Они говорят искусству: «Погоди! хотя ты и правду говоришь, но ты врешь! это правда, что искусство, как и всякая другая истина, должно опираться на общечеловеческие основы. Но ведь эти общечеловеческие основы надобно еще отыскать, а для

ПЕТЕРБУРГСКІЕ ТЕАТРЫ.

Наяда и рыбакъ. Фантастическій балетъ въ трехъ дѣйствіяхъ и пяти картинахъ. Соч. Ж. Перро; музыка г. Пуни.

Нѣтъ сомнѣнія, что самую характеристическую черту современнаго искусства составляетъ стремленіе его къ реализму. Искусство начинаетъ сознавать, что, отрѣшенное отъ жизни, гадливо взирающее на ея подробности (какъ на что-то дѣловое, прозаическое, и слѣдовательно не входящее въ область поэзіи), оно не можетъ обстоятельно выполнить даже ту задачу, выполненіе которой изстари считалось первѣйшею и священнѣйшею его обязанностью: *не можетъ возбуждать благородныхъ чувствъ.* Значеніе и характеръ «благородныхъ чувствъ» страннымъ образомъ измѣнилось. По мнѣнію Павла и Николая Кирсановыхъ (да проститъ мнѣ г. Тургеневъ, что я, быть можетъ, слишкомъ часто ссылаюсь на этихъ милыхъ, но выдохшихся старичковъ), благородство чувствъ заключается въ рыцарски вѣжливомъ обращеніи съ дамами; по мнѣнію Базарова, «благородство чувствъ» ни въ чемъ не заключается. Есть третьи, которые думаютъ, что

МНИМЫЕ ВРАГИ

или

ВРИ И НЕ ОПАСАЙСЯ!

Современно-отечественно-фантастическій балетъ въ 3-хъ дѣйствіяхъ и 4-хъ картинахъ. Соч. хроникера «Современника»; музыка поч. г. Сѣрова; машины и полеты гг. Юркевича, Косицы и Ѳ. М. Достоевскаго, костюмы того самаго портнаго, который, взамѣнъ полистной платы, одѣваетъ сотрудниковъ «Эпохи».

Дѣйствующія лица:

КОНСЕРВАТИВНАЯ СИЛА, скрывающаяся подъ именемъ ИВАНА ИВАНОВИЧА ДАВИДОВА.

ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ОБИРАЛОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ДАНТИСТЪ — ...и друзья Давидова.

ЛИБЕРАЛИЗМЪ, скрывающійся подъ именемъ Ивана Александровича Хлестакова. Племянникъ Давидова.

АННА ИВАНОВНА ВЯТКА, женщина ...

АННЕТА ПОТИХОНЬКУ-ПОСТЕПЕННАЯ, молодая женщина, ...

ЯГАНЬЕ, ВРАНЬЕ, ИЗЛИШНЯЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, ЧЕНЗУХА, ЭПОХИНО СЕМЕЙСТВО — Аллегорическія фигуры.

Мужики. Полицейскіе солдаты. Внутренняя стража. Стрижи.

ГРАНКИ САТИРИЧЕСКОГО ОЧЕРКА ЩЕДРИНА «НАЯДА И РЫБАК», ПРЕДНАЗНАЧАВШЕГОСЯ ДЛЯ № 11-12 «СОВРЕМЕННИКА» ЗА 1864 г., НО ИЗЪЯТОГО ЦЕНЗУРОЙ

Центральный архив литературы и искусства, Москва

того, чтобы их отыскать, нужно, между прочим, принять в счет и нас, мужиков,— потому что только тогда эта основа будет невыдуманная и только тогда ты, искусство, не впадешь в то бесстыдное вранье, которому ты до сего времени предавалось!».

Одним словом, мужики ответили искусству точь-в-точь то же самое, что они же в свое время отвечали ловким политико-экономам и администраторам, которые предлагали им готовые, свежеиспеченные экономические и административные теории... pour leur bien*.

А так как мужики все-таки сила, то искусство ослушаться их не осмелилось и приступило к «возбуждению благородных чувств» совсем на другой манер, нежели прежде. Оно обуздало себя, временно ограничило свои цели, специализировалось и перестало действовать подобно тем детям-сочинителям, которые преимущественно стремятся к изображению таких впечатлений и чувств, о коих даже приблизительного понятия не имеют. Не теряя из вида основ общечеловеческих (без всякого спора, составляющих конечную его цель), искусство приняло характер национальный, обратило свое исключительное внимание на воспроизведение той особенной жизни, которая ближе всего находится у него под руками.

* для их же блага (франц.).

Один балет благополучно избежал этого общего переворота и не только у нас в России избежал, но и вообще в целом образованном мире. Можно сказать утвердительно, что европейский балет находится в состоянии еще более младенческом, нежели, например, поэзия гг. Майкова, Фета и проч. В произведениях этих доселе еще привилегированных русских поэтов все-таки замечается некоторое стремление выйти на реальную почву, некоторые попытки пройтись хоть по части «благоденствующего» русского мужичка, некоторый стыд, наконец... а в балете даже и стыда нет. И до сих пор он с непостижимым нахальством выступает вперед с своими «духами долин», с своими «наядами», «метеорами» и прочею нечистою силой. Все это до такой степени противно и нестерпимо, что положение балетного посетителя можно сравнить разве с положением человека, вынужденного читать журнал «Эпоха» и следить за полетом «стрижей». Он видит, что перед ним выделываются всевозможные па, раскрываются таинственные раковины, поднимаются ноги, двигаются цветы, отворяются и затворяются траппы, он сознает, что все это самое непробудное невежество, самая беспардонная гиль — и остается подавленным — именно громадностью этого невежества и гили. Судите, например, возможно ли относиться равнодушно к следующей пошлости, представляемой на петербургском Большом театре под названием «Наяда и рыбак»?

Действие происходит неизвестно где; перед глазами зрителей берег моря и толпа поселян и поселянок. И те и другие очень мило одеты, хотя обнаженные (обтянутые трико далеко не безукоризненной чистоты) их ноги свидетельствуют, что по временам им должно быть довольно холодно. Поселяне и поселянки пляшут. Зачем пляшут? Пляшут потому, что починивают сети; пляшут потому, что вытаскивают сети из моря; пляшут потому, что они поселяне и в этом качестве *должны* плясать... Приходит Джианина, делает несколько курбетов и этим выражает, что ждет жениха, который, наконец, и является. Маттео с своей стороны вертится на одной ножке и этим выражает, что сегодня назначен сговор с Джианиной. Все уходят. Маттео остается один, и вдруг в глубине сцены что-то разевается: это раковина, из которой выходит Ундина. Ундина также делает множество курбетов, которые должны выражать, что она влюблена в Маттео. Нужно сказать правду: Ундина, изображаемая г. Муравьевою, очень мила, и надо удивляться, что Маттео может хотя на минуту колебаться, чтоб не предложить ей руку и сердце. Все возвращаются и опять ни с того ни с сего начинают плясать; к этой пляске присоединяется и Ундина, которая, по выражению балетной программы, «как бы каким-то чудом» появляется между танцующими группами. Потом Ундина бросается в воду, потом (опять как бы каким-то чудом) появляется на вершине скалы. Зрители не понимают, но аплодируют.

Картина переменяется, декорация представляет рыбачью хижину, в которой размахивают руками и ногами: Джианина, Маттео и мать его, Тереза. Джианина делает несколько курбетов, что означает: «Милый! о чем ты задумался?» Маттео тоже делает несколько курбетов, что означает, что ему тошно. Вдруг отворяется окно и в хижину влетает Ундина. Начинаются прыжки и курбеты — Ундина исчезает; Джианина и Маттео становятся на колени.

Картина переменяется. «Молодые, прекрасные наяды, вышед из воды, играют и резвятся на прибрежном песке, подражая телодвижениями плавному течению и струям родной стихии» (так гласит программа). Появляется Гидрола (и откуда г. Сен-Леон таких имен набрал!), «легкая и стройная царица наяд». Она машет руками в знак того, что нечто повелевает. Опять прыжки, и опять Ундина. Она становится на носки, переходит на носках всю сцену, и это означает, что она «любит Маттео». Все пляшут. Приходит

Маттео, вертится на одной ножке и, как алебастровый кот, мотает головой — это значит, что он «с упоением прислушивается к песне соловья». Он рвет цветы: сорвет один — отставит ногу и прижмет руку к сердцу, сорвет другой — отставит ногу и прижмет руку к сердцу. Пот льет с него градом, ибо беспрерывно отставлять ногу утомительно; белила и румяны ползут с его лица, на котором обнажаются старческие морщины. Вдруг со всех сторон налетают наяды и между ними Ундина, которая во что бы то ни стало хочет отнять у Маттео букет цветов, нарванный им для Джианины. Происходит танец, который г-жа Муравьева исполняет с надлежащим усердием, а затем является «веселая толпа рыбаков», которая и уводит Маттео.

Картина переменяется. Брачный пир на дворе деревенского трактира. Пляшут... Но здесь действие до такой степени спутывается и перепутывается, что следить за ним нет возможности. То есть, собственно действия даже нет совсем, а есть беспрерывные, бессмысленные появления и исчезновения. Дело кончается тем, что Ундина все-таки увлекает Маттео, который и бросается вслед за нею в озеро. Все пляшут.

Вот содержание балета. Конечно, я рассказал его не во всех подробностях, но смысл передан верно. Скажите на милость: о чем эти картонные куклы печалятся, чему они радуются, зачем пляшут, с какого повода приходят и уходят? Cur? quomodo? quando? quibus auxiliis?* Ни на один из этих вопросов не ответит ни один из самых заматерелых философов, кроме, быть может, г. Юркевича. Почему наяды принимают участие в жизни человека, какого рода это участие, до какой степени это справедливо, почему именно наяды, а не лешачихи? Замечательно, что ни один из зрителей не задает себе подобного вопроса, замечательно, что зала театра всегда полна, замечательно, что ни один из присутствующих не отвернется с омерзением от всей этой галиматьи...

Стало быть, эта галиматья нужна, стало быть, она как раз в меру нашего роста. Конечно, мне могут сказать, что в деле привлечения зрителя к подобным зрелищам не последнюю роль играет поднимание ног, обнажение плеч и прочие более и менее возбуждающие балетные ингредиенты. Но в таком случае, будем же откровенны: будемте осквернять наши взоры (если уже для услаждения их необходимо поднимание ног), но зачем же искажать нашу мысль? зачем засорять наше и без того уже засоренное воображение еще новыми сплетнями разнузданной спиритуалистическо-трансцендентальной фантазии?

Знаю, что балет, как и философские упражнения г. Юркевича, как и бездонное словоизвержение «Московских ведомостей», есть в некотором роде «средство». Знаю я это, милостивые государи, знаю! Но если уже необходимо в видах отвлечения устремлять человеческое внимание на поднимание ног, то нельзя ли устроить это последнее по поводу, несколько менее бессмысленному, ближе подходящему к нашим существенным интересам?

Я полагаю, что можно, ибо поднимать ноги отнюдь не возбраняется по какому угодно поводу. Проникнутый этой истиной, я счел за надобное подкрепить мою мысль ясным и для всех очевидным доказательством, т. е. сочинил программу балета, которая, по моему мнению, должна удовлетворить всем требованиям. Льщу себя надеждою, что представители санкт-петербургских театральных искусств не только не посетуют на меня за мой труд, но, напротив того, поспешат воспользоваться им и поставить балет моего сочинения на сцену с великолепием, вполне соответствующим его достоинству.

---

* Зачем? как? когда? какими средствами? (лат.).

Вот моя программа:

МНИМЫЕ ВРАГИ
или
ВРИ И НЕ ОПАСАЙСЯ!

Современно-отечественно-фантастический балет, в 3-х действиях и 4-х картинах. Соч. хроникера «Современника»; музыка соч. г. Серова; машины и полеты гг. Юркевича, Косицы и Ф. М. Достоевского; костюмы того самого портного, который взамен полистной платы одевает сотрудников «Эпохи».

Действующие лица:

Консервативная сила, скрывающаяся под именем Ивана Ивановича Давилова.

Иван Иванович Обиралов, Иван Иванович Дантист — наперсники и друзья Давилова.

Либерализм, скрывающийся под именем Ивана Александровича Хлестакова. Пасынок Давилова.

Анна Ивановна Взятка, женщина уже в летах, но вечно-юная; напрасно полагает себя вдовою.

Аннета Потихоньку-Постепенная, молодая женщина; напрасно полагает себя девицей.

Лганье, Вранье, Излишняя любознательность, Чепуха, Эпохино семейство — Анакреонтические фигуры.

Мужики. Полицейские солдаты. Внутренняя стража. Стрижи.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина I

Обширная комната в городе Глупове. Посредине стоит стол, покрытый серым сукном. На столе беспорядочно валяются кипы бумаг.

I

Толпа мужиков, около которых суетятся и исполняют свое дело Обиралов и Дантист. Мужики с радостью развязывают кошельки и подставляют шеи. Давилов сидит у стола, погруженный в чтение бумаг. Он думает: «Сегодня придет моя милая Взятка, и мы соединимся с нею навеки; мы пойдем в Большой московский трактир, и там славно закусим и выпьем!»

II

Внезапно чернильница, стоящая на столе, разбивается вдребезги, и из нее вылетает Аннета Потихоньку-Постепенная. Она стоит некоторое время на одной ножке, потом с очаровательною грацией ударяет пальчиком Давилова по лысине. Давилов в изумлении простирает руки, как бы желая поймать чародейку. «Кто ты, странное существо, и какое зло сделала тебе эта бедная чернильница, за которое ты так безжалостно разбила ее?» Но Аннета смотрит на него с грустною и в то же время кокетливою улыбкою. «Пойми!» — говорит она и исчезает тем же путем, каким появилась. Чернильница возрождается на столе в прежнем виде. Дави-

лов хочет устремиться за очаровательницею, но вместо того попадает пальцем в чернильницу.— «Пойми!» — повторяет он в раздумьи: что̀ хотела она сказать этим «пойми»?

III

Между тем Обиралов уже выпотрошил мужиков, а Дантист обратил в пепел множество зубов. Обиралов легким прикосновением руки выводит Давилова из раздумья. Но Давилов долго еще не может придти в себя и, беспрестанно повторяя: «пойми!», устремляется к тому месту, где

ЧИТАТЕЛЬ «МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» И ЧИТАТЕЛЬ «ЭПОХИ»

Карикатура из серии «Читатели газет и журналов»

Гравюра с рисунка А. Н. Бордгелли

«Искра», 1864, № 44

скрылась очаровательница, но снова попадает пальцем в чернильницу. В это время из рук Обиралова внезапно выпархивает Взятка и разом овладевает всеми помыслами Давилова. Происходит:

Танец Взятки

Взятка порхает по сцене и легкими, грациозными скачками дает понять, что сделает счастливым того, кто будет ее обладателем. Она почти неодета, но это придает еще более прелести ее соблазнительным движениям. Давилов совершенно забывает о недавней незнакомке и с юношескою страстью устремляется к новой очаровательнице. Он старается уловить ее; движения его порывисты и торопливы; ловкость поистине изумительна. Но Взятка кокетничает и не дается; вот-вот уже прикасается он к ее талии,— как она ловко выскользает из его рук и вновь быстро кружится в бешеной пляске. Наконец, утомленная и тронутая мольбами своего любовника, она постепенно ослабевает... ослабевает... и тихо исчезает в кармане Давилова. Обиралов и Дантист, умиленные, стоят в почтительном отдалении и слегка подтанцовывают.

IV

Мужики, видя, что сердца начальников радуются, сами начинают приходить в восторг и выражают его благодарными телодвижениями, которые постепенно переходят в

Большой танец Лаптей

В танце этом принимают участие: Давилов, Обиралов и Дантист.

V

— «Спасибо, друзья!» — говорит Давилов мужикам и обещает им дать на водку, когда будут деньги. Затем обращается к Обиралову и Дантисту и говорит: «Друзья! вы лихо поработали сегодня! Теперь пойдемте в Большой московский трактир и там славно закусим и выпьем!» Он уже застегивает вицмундир и хочет взяться за шляпу, как чернильница вновь разлетается вздребезги и на столе опять появляется Аннета Потихоньку-Постепенная. Она, по-прежнему, стоит на одной ножке, но вид ее строг. — «Слушай,— говорит она Давилову, — я предупреждала тебя, но ты не внял словам моим и продолжаешь безобразничать с паскудною Взяткою. Итак, буду ясна: вызови немедленно из заточения твоего пасынка, Ивана Александрыча Хлестакова, или... ты погибнешь». — Сказавши это, Аннета исчезает, оставляя всех присутствующих в ужасе и стоящими на одной ноге. (*Картина*).

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина II

Пустынное местоположение. Болото, по коему произрастают тощие сосны. В глубине сцены секретная хижина. На соснах заливаются стрижи:

Сироты ли мы, ах, сиротушки!
Забубенные мы, ах, головушки!
А и нет у нас отца с матушкой!
А и есть у нас только детушки!
А и первой-ет сын несмысленочек,
А второй-ет сын да дурашливый,
А и треть-ет сын — хуже первого,
А четвертой сын — хуже третьего,
А и пятой сын — самый жалконький,
Самый жалконький, вовсе гнусненький,
И проч., и проч.

I

Из самой глубины трясины появляются три анакреонтические фигуры: Лганье, Вранье и Излишняя любознательность. Некоторое время они как бы не узнают друг друга, но через минуту недоразумение исчезает и друзья целуются. Начинается совещание.— «Я буду лгать умышленно!» — говорит Лганье.— «А я буду врать что попало!» — говорит Вранье.— «И будет хорошо?» — «И будет хорошо».— «А я буду подслушивать»,— скромно отзывается Излишняя любознательность. Лганье и Вранье останавливаются, пораженные находчивостью своей подруги, и с некоторой завистью смотрят на нее.— «Вы будете мне помогать, будете, так сказать, популяризировать меня»,— еще скромнее прибавляет Излишняя любознательность и этою приветливостью возвращает на лица

собеседниц беспечное выражение.— «Не станцовать ли нам что-нибудь, покуда не пришел наш добрый друг и начальник Иван Александрыч?» — предлагает Вранье.— «Пожалуй,— соглашается Лганье: — но где он так долго пропадает, бедненький?» — «Внимайте! я поведаю вам ужасную тайну»,—отвечает Излишняя любознательность.

II

Начинается:

Секретный танец Излишней любознательности

«Прошлую ночь,— так танцует она: — я, по обыкновению своему, тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко последовала за ним. Все покровительствовало мне: и испарения, поднимавшиеся от нашей трясины, и отсутствие луны, и тихое, усыпляющее щебетание стрижей. Однако я шла и озиралась: что́, думала я, если меня поймают! Что́ сделают со мной? закатают ли до смерти, или просто ограничатся одним шлепком?

Однако я шла, готовая вынести побои и даже самую смерть... и что же? Наверху неприступной скалы я увидела чертог, весь залитый светом! Тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко приложила я глаза и уши к скважине... и что же? Я увидела нашего Ивана Александрыча, который, вместо того, чтобы стоять на страже, покоился в объятиях девицы Потихоньку-Постепенной!»

III

Протанцовав все вышеизложенное, Излишняя любознательность вдруг останавливается. Она догадывается, что сделала дело совершенно бесполезное и даже глупое, что Иван Александрыч ее друг и руководитель и что, следовательно, подсматривать за ним нет никакой надобности. «Зачем я подслушивала? зачем подглядывала?» — говорит она и в негодовании на свой собственный поступок высоко поднимает одну ногу.

IV

«Теперь слушайте же и меня!» — говорит Лганье и начинает:

Танец Лганья

«Я тоже внимательно следило за нашим другом и покровителем Иваном Александрычем и, видя его грустным, от всей души соболезновало. Однажды, узрев его гуляющим на берегу нашей трясины, я не вытерпело и подошло к нему.— „Покровитель! — сказало я: — отчего так грустен твой вид?“ — „Мой верный слуга,— отвечал он мне: — я грущу, потому что оказываюсь неблагодарным. Я достойно наградил всех моих слуг: ни Излишняя любознательность, ни Вранье не могут жаловаться на мою расчетливость... одно ты, бедное Лганье, осталось без награды! Но я надеюсь поправить это. Бог даст, с твоею помощью, успею вконец оболгать любезное отечество, и тогда...“. Он умолк, но я поняло его мысль и не могло не облизнуться!»

V

Протанцовав вышеизложенное, Лганье останавливается в недоумении, ибо догадывается, что лгало своим и о своих же и, следовательно, лгало напрасно. «Зачем я лгало?» — с грустью спрашивает оно себя и в негодовании высоко поднимает одну ногу.

VI

«Нет, послушайте-ка вы меня!» — вступает, в свою очередь, Вранье и, вслед затем, начинает:

Танец Вранья

«На днях я встретило нашего милого Ивана Александрыча в самом оригинальном положении:

Он лежал животом кверху на берегу нашей трясины и грелся на солнце.— „Что́ ты, mon cher, тут делаешь? — спросило я его (ведь вы знаете, я с ним на ты) — и что означает эта оригинальная поза?“ — „Молчи! — отвечал он мне,— я сочиняю либеральные измышления! Ты знаешь,— продолжал он, после краткого молчания, отерев слезы, струившиеся из его глаз,—ты знаешь, друг, что я сделался руководителем по части отечественной благонамеренности... и... и...“ — Тут он вновь залился слезами, и сквозь всхлипыванья я могло разобрать только следующее: „До тех пор не успокоюсь, покуда не переломаю ему все ребра!“»

VII

Протанцовав это, Вранье спохватывается, что оно врало своим и о своих же и, следовательно, совершило бесполезный подвиг. В унынии оно высоко поднимает одну ногу.

VIII

Таким образом, все трое стоят некоторое время, каждый с одной поднятой ногой. Все трое телодвижениями выражают:

Зачем я { Подслушивала?
Лгало?
Врало?

В глубине сцены является Чепуха. Быстрым и смелым скачком она перелетает всю сцену и становится между упомянутыми тремя анакреонтическими фигурами.— «Вы потому совершили столько ненужных подвигов,— говорит она,— потому что с вами была я!» — Начинается:

Большой танец Чепухи

«До тех пор,— танцует она,— покуда я буду с вами, вы не будете иметь возможности ни подслушивать, ни лгать, ни врать безнаказанно. Все ваши усилия в этом смысле будут напрасны, потому что всякий, даже не учившийся в семинарии, разгадает их! Вы будете подслушивать, лгать и врать без системы единственно для препровождения времени. Всякий, встретившись с вами, скажет себе: будем осторожны, ибо вот это — излишняя любознательность, вот это — постыдное лганье, а это — безмозглое вранье! Вы думали, что уже эмансипировались от меня,— и горько ошиблись, потому что владычество мое далеко не кончилось! Вы не уйдете от меня нигде, не скроетесь даже в эту трясину; везде я застигну вас и буду руководящим началом всех ваших действий! Вы спросите, быть может, зачем я это делаю?..»

IX

Чепуха останавливается и в недоумении спрашивает себя: зачем, в самом деле, она так делает? В ответ на этот вопрос она высоко поднимает ногу. Начинается:

Танец Четырех поднятых ног,

который прерывается —

КАРИКАТУРА, ВЫСМЕИВАЮЩАЯ «ЛИБЕРАЛИЗМ» ПОРЕФОРМЕННОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА

Гравюра П. Куренкова с рисунка А. Антоновича

«Будильник», 1869, № 42. Из цикла «В болоте»

— Не скрываю, я самъ либералъ, — люблю свободу. — А теперь у васъ — что? взятокъ не бери, не дерись, даже мужика не тронь пальцемъ, лакея не смѣй выругать... ну, какая-же это свобода?

Чрезвычайным полетом стрижей,

как бы возвещающим прибытие некоторых важных незнакомцев. Незнакомцы эти суть не кто иные, как Давилов и Хлестаков. Они проходят с поникшими головами через сцену и скрываются в секретную хижину. Стрижи свищут: «Вот они! вот наши благодетели!»

Картина III

Внутренность секретной хижины

I

Давилов и Хлестаков предаются воспоминаниям. Оба растроганы.— «Сколько лет я томился в изгнании! — говорит Хлестаков,— оторванный жестоким вотчимом от чрева любимой матери, я скитался по этим пустынным местам, но и среди уединения посвящал свои досуги любезному отечеству!»— «Прости меня, мой друг!— отвечает Давилов,— ведь я думал, что ты либерал!» — «Как „либерал"? но теперь, в сию минуту, разве я не либерал?» — «Кхе-кхе!» — делает Давилов.— «Так позвольте вам сказать, милый папенька, что вы не понимаете, что такое либерализм!» Сказавши эти слова, Хлестаков дает знать музыке умолкнуть, а стрижам повелевает свистать. Начинается:

Большой танец Либерализма

«Что такое либерализм? Это нечто тонкое, легкое, неуловимое, как то па, которое я выделываю. Это шалунья-нимфа, на которую можно смотреть издали, как она купается в струях журчащего ручейка, но изловить которую невозможно. Это волшебный букет цветов, который удаляется

от вашего носа по мере того, как вы приближаетесь, чтобы понюхать его. Это милая мечта, которая сулит впереди множество самых разнообразных яств, в действительности же кормит одною постепенностью. Это тот самый кукиш, которого присутствие вы чувствуете между вторым и третьим пальцами вашей руки, но который уловить ни под каким видом не можете! Поймите, какая это умная и подходящая штука! Как она угодна нашим нравам и как мы должны гордиться ею! Мы ничего не выдумали — даже пороха! — но выдумали „либерализм" и сразу стяжали вечное право на бессмертие! Жгучий и пламенный с виду, он не жжет никого, но многим позволяет греть около себя руки. Грозный с виду, он никого не устрашает, но многим подает утешение. Всякий ждет, всякий заранее проливает слезы умиления,— и никто ничего не получает. И опять все-таки ждет, и опять проливает слезы умиления, ибо ждать и проливать слезы — есть удел человека в сей юдоли плача!»

Хлестаков падает в изнеможении на пол.

Большая трель Стрижей

II

«Гм... я убеждаюсь, что ты совершеннейшая... то есть, что ты благороднейший юноша, хотел я сказать! — говорит Давилов,— и потому вот что̀ я придумал: забудем прошлое и заключим союз!» — «С охотою, но предварительно я должен предложить тебе несколько условий, без соблюдения которых никакой союз между нами невозможен».— «Слушаю тебя с величайшим вниманием».— «Во-первых, ты должен прекратить пагубные сношения с Взяткою *(отрицательное движение со стороны Давилова)*... не опасайся! я вовсе не требую, чтоб ты отказался от секретного с нею обхождения, но ради самого создателя, ради всего, что тебе дорого, не показывайся с нею в публичных местах и делай вид, что она тебе незнакома! Ты не знаешь... нет, ты не знаешь, сколько вреда приносит откровенное обращение с Взяткою! Это бросается в глаза всякому; самый малоумный человек — и тот понимает под Взяткою что-то нехорошее, несовместное с либерализмом. Всякий, встретившись с тобой на дороге, говорит: „вот взяточник", и никто не скажет: „вот либерал!" До сих пор ты брал взятки и давил... Продолжай и на будущее время! но сделай так, чтоб никто не смел называть тебя ни взяточником, ни Давиловым!»— «Стало быть... потихоньку можно?» — робко спрашивает Давилов.— «Потихоньку... можно; *(с жаром)* все потихоньку можно!» — «Однако ж... ты требуешь, чтоб я отказался от моей фамилии... я Давилов, любезный друг! и надеюсь...» — «Не я требую, а система! и ежели она потребует, чтобы ты отказался от материнского чрева,— откажись!» — «Ну-с... второе условие?» — «Второе условие — удали из числа твоих приближенных Чепуху!» — «Эту за что ж?» — «Друг! Чепуха опаснее даже Взятки. Если Взятка марает отдельного человека, то Чепуха кладет свое клеймо на целые группы людей, на целый порядок, на целую систему! От Взятки мы можем отделаться секретным с ней обхождением; от Чепухи — никогда и ничем. Она сопровождает нас всюду; она отравляет... все наши действия... она делает невозможною... систему! Наконец, созна́юсь ли тебе? Я сам, сам, как ты меня видишь... сам не свободен до некоторой степени от Чепухи!» — «Но ведь Чепуха сколько раз спасала меня, выручала из бед?» — «Это нужды нет; отныне, вместо Чепухи, тебя должна спасать Неуклонность...»

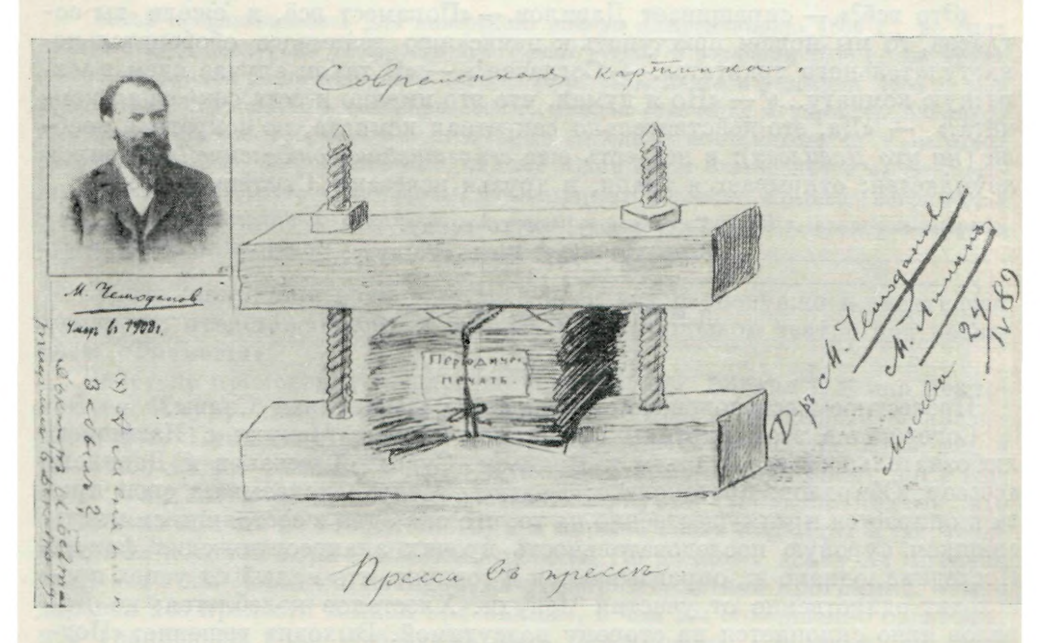
Начинается:

Большой танец Неуклонности,

который отличается тем, что его танцуют, не сгибая ног и держа голову наоборот.

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СЦЕНКА НА ЛИТЕРАТУРНОМ КЛАДБИЩЕ»

«Хор литераторов и художников-юмористов над могилою своих детищ...»



«СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНКА. ПРЕССА В ПРЕССЕ»

Рисунки М. М. Чемоданова в альбоме О. И. Фельдмана, 1889 г.

На нижнем рисунке (слева) фотографический портрет художника

Центральный архив литературы и искусства, Москва

III

Друзья задумываются и полчаса молчат. В это время стрижи чистят носы, как бы приготовляясь запеть по первому требованию. В самом деле, момент этот наступает. Хлестаков выходит из задумчивости и говорит: «Третье условие — ты должен уметь танцевать „танец честности“».

Начинается:

Большой танец Честности,

во время которого стрижи поют:

Ах, когда же с поля чести
Русский воин удалой...

Но «танец честности» решительно не вытанцовывается. Напрасно понуждает Хлестаков свои ноги; напрасно стрижи то ускоряют, то замедляют темп, с целью прийти в соответствие с их покровителем — ничто не помогает. Опечаленный неудачею, но в то же время скрывая оную, Хлестаков развязно говорит: — Все равно, будем, вместо этого, танцевать

Большой танец Московской благонамеренности,

который и танцует, под свист стрижей, поющих:

По улице мостовой...

IV

«Это всё?» — спрашивает Давилов.— «Покамест всё, и ежели ты согласен, то мы можем приступить к написанию взаимного оборонительно-наступательного трактата».— «Согласен!» — «В таком случае идем в секретную комнату...» — «Но я думал, что это именно и есть секретная комната?» — «Да, это действительно секретная комната, но секретная вообще *(на ухо Давилову)*: в ней есть еще *секретнейшее отделение!!*» Давилов изумляется; открывается трапп, и друзья исчезают. Стрижи поют:

Тихо всюду! глухо всюду!
Быть тут чуду! быть тут чуду!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина IV

Прелестное местоположение; в глубине сцены храм Славы.

Содержание этой картины составляет процесс Чепухи с Излишнею любознательностью, Лганьем и Враньем. Судьи: Хлестаков и Давилов; асессор: Обиралов; протоколист: Дантист. Чепуха доказывает свои права и опирается преимущественно на то, что она одна в состоянии смягчить слишком суровую последовательность прочих анакреонтических фигур. Последние, однако ж, оправдываются и говорят, что малый их успех происходит единственно от участия Чепухи. Хлестаков колеблется; но Давилов явно склоняется на сторону подсудимой. Выходит решение: «Подсудимую Чепуху учинить от следствия и суда свободною и допустить, по-прежнему, в число анакреонтических фигур». В народе раздаются крики восторженной радости. Стрижи хлопают крыльями. Сами судьи взволнованы. Затем происходит:

Шествие в храм Славы

Дошедши до порога храма, Хлестаков и Давилов, «как бы волшебством каким», сливаются в одно нераздельное целое и принимают двойную

фамилию Хлестакова-Давилова. С своей стороны, Взятка и Потихоньку-Постепенная тоже сливаются в нераздельное целое и принимают тройную фамилию Взятки-Потихоньку-Постепенной. Начинается:

Апофеоз

Хлестаков-Давилов стоит на возвышении, освещаемый молнией. По сторонам народ, полицейские, солдаты и преобразованная внутренняя стража. Перед Хлестаковым-Давиловым, на коленях, Взятка-Потихоньку-Постепенная преподносит герб Хлестаковых-Давиловых:

Римский огурец

Вдали, в костюме слесарши Пошлепкиной, просит прощения аллегорическая фигура «Эпохино Семейство», окруженная стрижами.

Занавес падает,

а с ним вместе естественно прекращается и мой отчет о петербургском балете.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕИЗДАННЫЙ ФРАГМЕНТ ИЗ СТАТЬИ ЩЕДРИНА «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ ФИАМЕТТА. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БАЛЕТ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ И ЧЕТЫРЕХ КАРТИНАХ. СОЧ. г. СЕН-ЛЕОНА; МУЗЫКА г. МИНКУСА»

Статья предназначалась для январского номера «Современника» 1866 г., но была изъята оттуда цензурой. Начальные две фразы статьи в редакции 1866 г. совпадают с опубликованной выше редакцией 1864 г. (стр. 388). Далее в редакции 1864 г. следовал текст, опущенный в редакции 1866 г.: от слов «Значение и характер „благородных чувств" странным образом изменились» до «... ближе всего находится у него под руками» (стр. 388—389). После того, от слов «Один балет благополучно избежал этого общего переворота...» до фразы, начинающейся словами «Судите, например...» текст в обоих редакциях совпадает. А затем в редакции 1866 г. следовал впервые публикуемый здесь текст:

Судите, например, возможно ли относиться равнодушно к следующей пошлости, представленной на петербургском большом театре под названием «Фиаметта».

Действие происходит в «царстве бога любви». Богини Олимпа поклоняются Амуру, выражая это поклонение преимущественно подниманием ног. Пляшут. Является Меркурий, делает несколько курбетов и усиленно машет руками; богини в негодовании, и поднимают ноги еще выше; сам Амур раздражен курбетами Меркурия (вероятно потому, что он выделывает их не совсем чисто) и в порыве гнева подходит к жертвеннику, на котором горит «пламень любви». По данному знаку из пламени вылетает г-жа Лебедева, которой, как говорит балетная программа, «Амур даровал все прелести земной красавицы», в чем мы совершенно согласны, ибо грациозней г-жи Лебедевой быть невозможно. Старички, сидящие в 1-м ряду кресел, следят с почти нечеловеческим вниманием за каждым движением этой прелестной балерины и, если бы не подагра, то наверное улетели бы вслед за нею, в ту минуту, когда она исчезает вместе с Амуром.

Я совершенно понимаю порывы старичков. Г-жа Лебедева очаровательна и не лететь за ней невозможно. Но, с другой стороны, принимая во внимание: 1) что старички сии, судя по совершенным их летам, занимают, по малой мере, места особ на заставах команду имеющих и 2) что с отлетом их остался бы неразрешенным вопрос о разных по части застав

усовершенствованных реформах,— не могу в то же время не удивляться благодетельной предусмотрительности начальства, которое, вместе с страстными порывами, наделило старичков и подагрой.

Во второй картине оказывается, что вся суматоха предыдущего акта была из-за некоего графа Штернгольда.По мнению Меркурия, этого известного ходока по части любовных дел (на чужой, впрочем, счет), Штернгольд непростительно виноват. Он не признает законов любви, и даже на доме своем сделал надпись «храм закрытый для любви», но за всем тем намерен жениться на княгине Мильфлёр (и откуда г. Сен-Леон таких имен набрал!). Это-то ужасное поведение возмутило небожительниц и заставило Амура создать Фиаметту,— с целью доказать бунтовщику, что законы любви обязательны не только для него, Штернгольда, но и для упомянутых выше «старичков»... С открытием занавеси Штернгольд с друзьями предаются разгулу. Является Амур в одежде охотника и, сделав несколько антраша, приводит Фиаметту. Прибегают поселяне, пляшут и окончательно поселяют в «старичках» убеждение, что положение поселян в балетах самое счастливое. Штернгольд между тем замечает Фиаметту и требует, чтоб она была его любовницей. Начинается танец «chanson à boire» г-жи Лебедевой.

Я взглянул на «старичков», и опять удивился предусмотрительности начальства. Но, с другой стороны, имея в виду: 1) что в усовершенствованиях по части застав настоятельной надобности не предвидится, и 2) что за сим к отлету «старичков» вслед за г-жей Лебедевой никаких серьезных препятствий не имеется — не могу не заявить, что даже самой мудрой предусмотрительности имеются естественные пределы, преступать которые не надлежит.

Картина переменяется. За̀мок княгини Мильфлёр. Уходят, приходят, толкаются, пляшут и, наконец, ложатся спать. Являются привидения: Фиаметта в объятиях Амура, княгиня Мильфлёр — в объятиях некого офицера Отто. Отто мотает головой, как алебастровый кот, и вообще состояние души своей выражает самыми разнообразными движениями, а именно: сперва отставит одну ногу, а руку прижмет к сердцу, потом отставит другую ногу, и руку прижмет к сердцу и т. п. Наконец, спектры исчезают, декорация переменяется и начинается чистейшая галиматья. Является нотариус ⟨!⟩, который оказывается нотариусом ⟨!⟩, и в заключение г-жа Лебедева превращается в пламень и улетает к небу.

Я вновь взглянул на старичков с намерением вновь удивиться, но, сообразив обстоятельства сего дела и найдя: 1) что распределение человеческих намерений ни в каком случае от усмотрения начальства зависеть не может и 2) что за сим всякое суждение об этом предмете не уместно, или, по малой мере, преждевременно,— определил: не давая ни ближайшего, ни дальнейшего развития размышлениям моим о стариках-подагриках, оные прекратить, предоставив, впрочем, участи сих лиц милосердию г-жи Лебедевой.

Вот содержание балета...

Далее в редакции 1866 г. приводится то же «либретто» балета «Мнимые враги», что и в редакции 1864 г. (стр. 392—401), с тем, однако, различием, что из текста изъяты все полемические упоминания имени Достоевского и журнала «Эпоха».

ЦГАЛИ, ф. 445, оп. 1, ед. хр. 101. Корректурные гранки.

ИЗ «ДЕТСКИХ СКАЗОК» ЩЕДРИНА

НЕ ПРЕДНАЗНАЧАВШАЯСЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ «БАСНЯ» О ЦАРЕ АЛЕКСАНДРЕ II И СИНОДЕ

Публикация С. А. Макашина

Осенью 1891 г. известный либеральный публицист Г. А. Джаншиев взялся за подготовку благотворительного сборника в пользу жертв очередного российского голода. В поисках материалов он обратился к старинному товарищу и приятелю Салтыкова А. М. Унковскому с просьбой предоставить для задуманного издания находящиеся в его распоряжении письма сатирика. На это Унковский отвечал в письме от 15 октября:

«Извините, многоуважаемый Григорий Аветович, что так долго не откликался на ваше письмо ⟨...⟩. Причиною этого было желание исполнить вашу просьбу, но, к величайшему сожалению, у меня не оказалось ни одного письма М. Е. Салтыкова, которое могло бы быть напечатано. Так как мы прожили с ним около 25 лет не только в одном городе, но даже большею частью на одной улице, то я получал от него либо пустые записки, не имеющие никакого значения, либо, при кратковременной разлуке, забавные эпистолы неприличного содержания. Поэтому ничего выбрать из них нельзя. Не печатать же письма, содержащие известные вам детские сказки?»

Джаншиев, однако, как выяснилось, не имел никакого понятия о «детских сказках». Заинтересованный словами Унковского, он попросил разъяснить ему, что это за «сказки» и почему они непригодны для печати? В ответном письме, датированном 29 октября 1891 г., Унковский сообщал:

«Сейчас получил ваше письмо, многоуважаемый Григорий Аветович, и спешу уведомить вас, что относительно издания имеющихся у меня детских сказок Салтыкова не может быть никакого вопроса. Когда вы увидите их, то сами скажете, что их нельзя не только печатать, но даже и в рукописи посылать иначе, как с нарочным и с условием не показывать никому, кроме ближайших и надежнейших друзей мужеского пола. Это — не что иное, как самые похабные фантастические рассказы на реальной подкладке, имеющие значение самой злой и забавной сатиры. Само собою разумеется, что в них нет не только ни одного приличного слова, но даже ни одного факта, который бы мог быть рассказан при детях. Я удивляюсь, как вы их не видали. Они любопытны именно тем, что написаны Салтыковым в то время, когда он не мог делать ни одного движения вследствие страшных ревматических болей. Как это ни странно, но в 1875 и 1876 годах, когда он почти неподвижно лежал или сидел больной в Монтрё*, я получал от него самые веселые письма. Вот в это самое время им был написан забавный роман в переписке Н⟨иколая⟩ П⟨авловича⟩ с Поль-де-Коком, пропавший у одного из наших общих знакомых — Александра Николаевича Еракова, теперь уже умершего. Впрочем, чтобы вы не возымели сомнения в справедливости моих слов, я расскажу в доказательство содержание одной из этих басен под заглавием „Архиерейский насморк“».

* Нужно: в Ницце.— *С. М.*

Дальше в публикации «Голоса минувшего», где появились цитированные письма (1914, № 11, стр. 241 и 242), следовало многоточие: изложение «сказки» в печати не появилось.

Основываясь на словах Унковского, читатель вправе был отнести эту купюру целиком за счет «неприличного содержания» «басни».

Лишь теперь, когда эта «басня» или «сказка» впервые становится достоянием гласности, мы имеем возможность устранить односторонность такого представления. Тем самым вносится поправка и в сделанную Унковским общую характеристику всей группы произведений Салтыкова, относящихся к особому виду его творческой активности — рвавшейся наружу почти стихийно под воздействием императивной силы его сатирического темперамента.

«Фантастические рассказы на реальной подкладке», о которых пишет Унковский, создавались Салтыковым в письмах к друзьям — создавались без какого-либо расчета на печать, а значит и без всякой оглядки на цензуру. Некоторые из «рассказов», судя по дошедшим до нас, действительно имели ярко выраженную «раблезианскую» окраску; им свойственна грубость круто посоленного «мужичьего» юмора. Но, во-первых, вовсе не все «забавные эпистолы» имели такую окраску. Ее совершенно лишены, например, дошедшие до нас фрагменты из «романа в переписке Николая Павловича с Поль-де-Коком» — яркие образцы утаенной политической сатиры Щедрина («Лит. наследство», т. 1, 1931, стр. 191—194). А во-вторых, за внешней грубостью и даже непристойностью иных «эпистол» всегда скрывалась серьезная мысль большой щедринской сатиры.

Заявление Унковского в письме к Джаншиеву о «детских сказках», что для печати «ничего выбрать из них нельзя», было вполне обоснованным в условиях царской цензуры. Однако главной помехой тут были, по крайней мере, в отношении к «Архиерейскому насморку», вопросы политики, а не благопристойности.

Ядовитые издевательства над «царем Ароном», «главой церкви», возымевшим «желание прелюбодействовать» и не затруднившимся придать этому желанию «законную» форму, относились непосредственно к царю Александру II. Не выждав и двух месяцев со дня смерти императрицы Марии Александровны (ум. 22 мая 1880 г.), он вступил в морганатический брак со своей фавориткой княжной Е. М. Долгорукой (вскоре она получила фамилию и титул светлейшей княгини Юрьевской). По каноническим же законам русской церкви вступление в новый брак разрешалось лишь по прошествии года со дня смерти одного из супругов.

Таким образом Александр II, обязанный в качестве главы не только государственной, но и церковной власти блюсти ее законы, явился нарушителем их, когда приказал Синоду венчать себя с Долгорукой раньше установленного срока. Обряд венчания был совершен протопресвитером Бажановым 19 июля 1880 г. Но предстоящее событие, хотя и державшееся в тайне, стало предметом внимания общественного мнения как в России, так и за границей. Салтыков узнал о предстоящем бракосочетании царя в Германии, в Эмсе. Отсюда в письме, датированном 17 июля 1880 г., он и послал Унковскому свою очередную «детскую сказку» — «Архиерейский насморк» (см. ниже, на стр. 535 настоящего тома, сообщение «Сожженные письма М. Е. Салтыкова к А. М. Унковскому»).

Миниатюра эта сверкает всеми красками щедринской сатиры. Ее злая насмешка направлена, как всегда у Щедрина, не на частное, а на общее. Она клеймит не личное поведение царя Александра II, как человека, а глубокую безнравственность всего политического быта высшей государственной и церковной власти в самодержавной России.

Откликаясь еще на одно злободневное событие русской политической жизни тех дней — отставку Д. А. Толстого с поста обер-прокурора Синода и вступление в эту должность Победоносцева (апрель 1880 г.), Салтыков набрасывает ядовитые «характеристики» ряда иерархов, призванных по выбору нового обер-прокурора руководить деятельностью этого высшего органа управления православной церкви в России. Заметим попутно, что двух из них Салтыков знал лично, по своей службе в провинции: с митрополитом Филофеем он встречался в Твери, с архиепископом Никандром —

в Туле (см. сборник «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». М.—Л., 1958, стр. 480, прим.).

Впервые публикуемая «детская сказка» Щедрина дает еще одну возможность очень непосредственно ощутить, каким кислородом ненависти к самодержавию и его слугам — государственным и духовным — дышал сатирик. Вложенные им в уста царя Арона слова «знаю много вредного, а полезного ничего не знаю» (это тема будущей «Сказки о ретивом начальнике...»), остро гротескный образ бегущего в Синод митрополита Филофея — «шею вытянул, гриву по ветру распустил, ржет, гогочет, ногами вскидывает»,— задавившего по дороге самого бога,— вообще весь неприкрыто издевательский по отношению к высшей власти тон вновь открытой «детской сказки» ярко освещает одну из важных граней в характере и самой личности Щедрина: его внутреннюю свободу от гипноза каких-либо институтов и фетишей этой власти. Свободой этой он владел в полной мере. Она являлась необходимой предпосылкой и питательной средой его обличительного творчества, воспитывавшего в русском обществе чувства ненависти и презрения к антинародному строю царизма и его союзника — церкви.

АРХИЕРЕЙСКИЙ НАСМОРК

Жил был царь Арон, и был глава церкви. Только спрашивает он однажды обер-прокурора Толстого: «Какие у архиереев привилегии?» Отвечал Толстой: «Две суть архиерейские привилегии: пить архиерейский настой и иметь архиерейский насморк». Рассердился царь. «Архиерейский настой я знаю, но отчего же мне, главе церкви, архиерейского насморка не предоставлено? Подавай в отставку». Подал Толстой в отставку; призывает царь нового обер-прокурора Победоносцева и говорит: «Чтобы завтра же был у меня архиерейский насморк!» Смутился Победоносцев, спешит в Синод, а там уж Святой дух обо всем архиереям пересказал. «Так и так,— говорит Победоносцев,— как хотите, а надо царю честь оказать!» — «Но будет ли благочестивейшему государю в честь, ежели нос у него погибнет?» — первый усумнился митрополит Макарий.— «А я к тому присовокупляю,— сказал митрополит Исидор, — лучше пускай все сыны отечества без носов будут, нежели падет единый влас из носа царева без воли божией».— «Как же с этим быть?» — спрашивает Победоносцев.

Вспомнили тогда архиереи, как Яков Долгорукий царю Петру правду говорил, и сказали Филофею митрополиту: «Иди к царю и возвести ему правду об архиерейском насморке». Предстал Филофей пред царя и пал на колени: «Смилуйся, православный царь,— вопил он,— отмени пагубное оное хотение!». Однако царь разгневался: «Удивляюсь я, старый пес, твоему злосчастию,— сказал он,— вы, жеребцы несытые, готовы весь мир заглотать, а меня, главу церкви, на бобах оставить».— «Но знаешь ли ты, благоверный государь, что означает сей вожделенный для тебя архиерейский насморк?» — вопрошал Филофей, не вставая с колен.— «Образование я получил недостаточное, — отвечал царь,— а потому знаю много вредного, а полезного ничего не знаю. Был у меня, впрочем, на днях Тертий Филиппов и сказывал, бывает простой архиерейский насморк и бывает с бобонами, но затем присовокупил: „Тайна сия велика есть“,— шед, удавися!». Тогда увидел Филофей, что теперь самое время царю правду возвестить, пал ростом на землю и, облобызав шпору цареву, возопил: «Не разжигайся, самодержец, но выслушай: привилегия сия дарована архиереям царем Петром ⟨...⟩ Сколь сие изнурительно, ты можешь видеть на мне, богомольце твоем. Еще в младенчестве был я постигнут сим ⟨...⟩ родители же мои, видя в оном знамение грядущего архиерейства, не токмо не прекращали такового, но даже всеми мерами споспешествовали. Потом, состоя уже викарием приснопамятного митрополита Филарета,

я ⟨...⟩ едва не потерял носа и только молитвами московских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы и Филиппа таковой удержал. Так вот она привилегия эта какова».

Выслушал царь Филофеевы слова, видит, правду старый пес говорит. «Спасибо тебе, долгогривый, что мой нос от погибели остерег. А все-таки надо меня чем-нибудь за потерю привилегии вознаградить. Иди и возвести святителям: имею я желание прелюбодействовать». Не взвидел света от радости Филофей. Бежит в Синод, шею вытянул, гриву по ветру распустил, ржет, гогочет, ногами вскидывает. Попался бог по дороге — задавил. Долго ли, коротко ли, а, наконец, прибежал. «Так и так,— говорит: силою твоею возвеселится царь. Повелите-ка, святые отцы, из архива скрижали Моисеевы вынести». Поняли святители, что дело на лад идет, послали за скрижалями. Видят, на второй скрижали начертано: не прелюбодействуй! «Хорошо сие для тех,— молвил Никандр Тульский,— кои насморк архиерейский имеют».— «Для тех же,— возразил протопресвитер Бажанов,— кои такового не имеют, совсем без надобности, ибо тем только подавай». Судили, рядили, наконец, послали за гравером Пожалостиным. Спрашивают: «Можешь ли ты к сему присовокупить: *Царь же да возвеселится?*» — «Могу»,— отвечал Пожалостин и, вынув резец, начертал. Тогда Синод постановил: копию с исправленных оных скрижалей отослать для сведения в правление райских селений, в святцах же на сей день отметить тако: разрешение вина и елея.

Автограф. ИРЛИ, Р. III, оп. 1, ед. хр. 1868.

О ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО САЛТЫКОВА

Статья и публикация Т. И. Усакиной *

Вопрос о первых литературно-критических выступлениях Салтыкова имеет уже почти семидесятилетнюю историю.

Первый биограф писателя К. К. Арсеньев перечислил в своих «Материалах для биографии М. Е. Салтыкова» семь его рецензий 1840-х годов и процитировал отрывки из них по имевшимся в его руках автографам. Эти рецензии на следующие книги:

1. «Несколько слов о военном красноречии» П. Лебедева.
2. «Логика» Никифора Зубовского.
3. «География в эстампах» Ришома и Вингольда.
   «Курс физической географии» Петровского.
4. «Руководство к первоначальному изучению всеобщей истории» Фолькера.
5. «Рассказы детям из древнего мира» Беккера.
6. «Григорий Александрович Потемкин». Историческая повесть Фурмана.
7. «Альманах для детей. ⟨Архангельск... Зима⟩».

Не придавая, видимо, серьезного значения ранним литературно-критическим опытам Салтыкова, Арсеньев отыскал лишь три рецензии, помещенные в «Отечественных записках» («Рассказы детям из древнего мира» Беккера, «Логика» Н. Зубовского и «Григорий Александрович Потемкин» Фурмана), а в «Современнике» не нашел ни одной [1]. Автографы, которыми располагал Арсеньев, были впоследствии утеряны.

С тех пор почти каждый исследователь жизни и творчества Салтыкова, характеризуя начало его литературной деятельности, указывал на неполноту наших знаний о Салтыкове — рецензенте «Отечественных записок» и «Современника» второй половины 1840-х годов, но, отметив этот факт, складывал оружие.

В 1941 г. в первый том Полного собрания сочинений Щедрина были включены названные Арсеньевым семь рецензий и сверх того четыре следующие рецензии, обнаруженные Е. М. Макаровой:

1. «Александр Васильевич Суворов-Рымникский». Историческая повесть для детей. Соч. П. Р. Фурмана.
2. «Первоначальный учитель». Книга для чтения и для практических упражнений в русском языке.
3. «Подарок детям на праздник».
4. «Альманах для детей. Астрахань... Весна».

Принадлежность четырех названных рецензий Салтыкову доказывается ссылками на них в бесспорно принадлежащих ему рецензиях, совпадением отдельных мест и выражений, общностью взглядов и идей с мыслями Салтыкова и проч.

---

* Публикуя результаты разысканий Т. И. Усакиной о первых литературно-критических выступлениях Салтыкова, редакция «Литературного наследства» считает, что вопрос о принадлежности писателю шести печатаемых ниже рецензий требует дальнейшего изучения — *Ред.*

Две из этих одиннадцати рецензий, вошедших в первый том Полного собрания сочинений Щедрина, были, по мнению С. А. Макашина, приписаны Салтыкову без достаточных оснований, так как рецензия на «Альманах для детей. Астрахань... Весна» помещена в июньской книжке «Отечественных записок» в отделе «Русская литература. Май», то есть уже после ареста Салтыкова. «Очевидно, он ⟨Салтыков⟩,— заключает С. А. Макашин,— не мог быть автором этой рецензии, а значит и тесно связанного с ней отзыва на альманах „Архангельск... Зима“»[2]. Действительно, разбор альманаха «Астрахань... Весна» (ценз. разр. 16 декабря 1847 г.), вышедшего в свет 14 мая 1848 г.[3], не мог принадлежать Салтыкову, арестованному в ночь с 21 на 22 апреля 1848 г. Однако содержание рецензии на альманах «Архангельск... Зима», напечатанной в январской книжке «Отечественных записок», позволяет, по нашему мнению, атрибутировать ее Салтыкову, а содержавшееся в июньской рецензии указание на принадлежность обеих статей одному автору расценивать как обычный редакционный прием.

Следует указать еще на попытку И. Т. Трофимова доказать, что Салтыков был автором рецензии на ту же книгу «Альманах для детей. Архангельск... Зима», напечатанной в другом журнале, в январской книжке «Современника» 1848 г. (отд. III, стр. 76) и принадлежащей, вероятно, Белинскому. И. Т. Трофимов строит свои предположения по существу всего лишь на том основании, что и в рецензии «Современника» и в повести Салтыкова «Противоречия» встречается словосочетание «великолепный спектакль»[4]. Недостаточность такой аргументации очевидна. Против утверждения И. Т. Трофимова свидетельствуют и другие соображения. Трудно допустить, чтобы Салтыков, обиженный на редакцию «Современника» за отрицательный отзыв Белинского о повести «Противоречия» (высказанный хотя и не в печати, а в частном письме) и за отказ Панаева поместить «Запутанное дело», решил бы возобновить сотрудничество в журнале заметкой в двадцать строк. Помимо этого, приписанная Трофимовым Салтыкову заметка очень близка по манере своей к предшествующим библиографическим заметкам, принадлежащим Белинскому.

В 1949 г. Б. В. Папковский в статье «Натуральная школа Белинского и Салтыков» предложил расширить список рецензий Салтыкова 1847—1848 гг., включив в него еще следующие рецензии:

1. «Робинзон Крузо». «История России и рассказы для детей» Ишимовой. «Альманах для девиц первого и второго возраста». «Мысли и заметки, посвященные юношеству». Соч. М. Корсини. «Разноцветные сцены» («Отеч. записки», 1847, № 1, отд. VI, стр. 58—62).

2. «Серый армяк, или Исполненное обещание» («Отеч. записки», 1847, № 2, отд. VI, стр. 116).

3. «Новая библиотека для воспитания» П. Редкина, вып. I—VI.

Но свое предположение Б. В. Папковский сопроводил очень слабой аргументацией, не позволившей ему сделать окончательный вывод о принадлежности Салтыкову перечисленных рецензий[5].

Таким образом, число рецензий 1847—1848 гг., бесспорно принадлежащих Салтыкову, до настоящего времени ограничивалось теми одиннадцатью рецензиями, которые были включены в 1941 г. в первый том Полного собрания его сочинений (или даже девятью, если согласиться с сомнениями С. А. Макашина в отношении двух рецензий).

Неоднократные указания исследователей на то, что количество литературно-критических заметок Салтыкова, напечатанных им в конце 1840-х годов, было гораздо значительнее, оставались только гипотезами.

Предпринятые нами специальные разыскания в критико-библиографических отделах «Отечественных записок» и «Современника» 1847—1848 гг. подтвердили правильность предположений С. А. Макашина, Б. В. Папковского и других исследователей о более значительном, чем до сих пор было это известно, объеме рецензентской работы Салтыкова и позволили значительно расширить существующий в настоящее время список его первых литературно-критических опытов.

Основанием для наших разысканий послужили прежде всего некоторые указания самого Салтыкова, которые, несмотря на их скудость и противоречивость, содер-

жат и прямые и косвенные свидетельства об истинном размере его рецензентской работы во второй половине 1840-х годов. В автобиографической заметке 1858 г. Салтыков писал, что в «Отечественных записках» и «Современнике» 1847 и 1848 гг. ему принадлежат «несколько» рецензий (I, 79).

Воспоминания Л. Ф. Пантелеева помогают уточнить объем критической работы Салтыкова. «Рецензиями я зарабатывал до 50 рублей в месяц, в то время это были деньги»,— говорил Салтыков Пантелееву[6]. Чтобы зарабатывать в то время столько мелкими библиографическими заметками, их нужно было печатать ежемесячно в количестве не менее одного листа, если считать на ассигнации, и не менее трех листов, если речь идет о счете на серебро.

В автобиографическом письме к С. А. Венгерову (1887 г.) Салтыков указывал, что по выходе из Лицея он «не написал *ни одного стиха* и начал заниматься писанием рецензий. Работу эту я доставал через Валериана Майкова и Владимира Милютина в „Отечественных записках" Краевского и в „Современнике" (Некрасова с 1847 г.)» (I, 84—85). Доставать работу через В. Н. Майкова Салтыков мог только до лета 1847 г., так как Майков, возглавивший библиографический отдел «Отечественных записок» после ухода Белинского, утонул 15 июля 1847 г. Все же известные до сих пор рецензии Салтыкова относятся ко второй половине 1847 г. или к первым месяцам 1848 г. Таким образом, указание Салтыкова, относящееся к Майкову, до последнего времени оставалось нераскрытым. А между тем оно дает возможность предполагать, что литературно-критическая деятельность Салтыкова началась в конце 1846 или в начале 1847 г. в «Отечественных записках».

О более ранней дате начала рецензентской работы Салтыкова свидетельствует и его заявление в письме в редакцию «Русской старины» (от 1 апреля 1887 г.): «...я начал писать гораздо ранее 1847 года; писал стихи и мелкие рецензии, но с какого именно времени — этого я и сам определить не могу, но вероятнее всего, около 1841 года» (XX, 286). Последняя, уточняющая дата относится, однако, к стихам, а не к рецензиям (все приведенные выше документальные свидетельства Салтыкова об объеме его рецензентской работы в 1840-х годах учтены и прокомментированы Е. М. Макаровой —I, 423, и С. А. Макашиным—Салтыков-Щедрин. Биография, т. I. Изд. 2. М., 1951, стр. 256—258).

Тот факт, что Салтыков начал заниматься рецензированием раньше осени 1847 г., подтверждает и ряд замечаний, содержащихся в известных его рецензиях. Обрушиваясь на приторную мораль детских повестей, Салтыков постоянно подчеркивал, что он «не в первый раз» выступает против «конфектно-нравственного направления» детской литературы, что пошлые нравоучения, насчет которых так любят прохаживаться сочинители детских книжек,— «наши старые знакомые» (I, 336; см. об этом также I, 343, 349, 351, 352).

Принадлежность Салтыкову целого ряда анонимых рецензий была установлена нами в результате сопоставления критико-библиографического материала «Современника» и «Отечественных записок» 1847—1848 гг. с уже известными рецензиями и повестями Салтыкова 1840-х годов. При этом сфера сопоставления была ограничена рецензиями на детскую и учебную литературу, так как почти все рецензии, бесспорно принадлежащие молодому Салтыкову, посвящены разбору именно детских книг и учебников.

В большинстве случаев авторство Салтыкова устанавливалось нами на основании прямого совпадения излагаемых в исследуемых рецензиях взглядов на тогдашнюю воспитательно-педагогическую систему, детскую литературу, цель и задачи воспитания с суждениями Салтыкова, близкого сходства (иногда до тождества) языковых и стилистических особенностей с языком и стилем известных рецензий и ранних повестей Салтыкова, учета особенностей внешней и внутренней структуры рецензий и сопоставления их с особенностями первых литературно-критических опытов Салтыкова и целого ряда других признаков, своеобразие которых в каждом отдельном случае определено характером рецензии, порядком расположения библиографического материала в журнале и др.

* * *

Изучение критико-библиографического материала «Отечественных записок» за 1846—1848 гг. показало, что после ухода из журнала Белинского рецензированием детской и учебной литературы, выпускавшейся петербургскими издательствами, занимались Валерьян Майков, Салтыков и еще один рецензент, фамилии которого установить не удалось. Отличить писания этого «благонамеренного» педагога, рецензирующего петербургские издания, от смелых и остроумных статей Майкова и Салтыкова не представляет труда: все его заметки — это большей частью рассуждения по поводу «распорядительности нашего мудрого правительства, которое в постоянной заботливости своей об улучшении участи врученных попечениям его подданных, лучше всего разрешает запутанный вопрос о народном воспитании» и т. п.[7].

Рецензированием московских детских изданий (кроме «Новой библиотеки для воспитания» П. Г. Редкина) занимался в «Отечественных записках» 1846—1848 гг. какой-то четвертый автор, рецензии которого отличаются как от заметок неизвестного рецензента петербургских изданий, так и от разборов Майкова и Салтыкова: в них отсутствует топорная официально-патриотическая фразеология, которой уснащены разборы петербургских детских книг, но в этих отзывах не встретишь ни острых критических замечаний, ни ярких сравнений, ни запоминающихся характеристик, в них нет также того полемического пыла и той страстной убежденности в истинности своих идеалов, которые выделяют статьи и заметки Майкова и Салтыкова из остальной библиографической хроники «Отечественных записок»[8].

Список статей и рецензий Майкова 1845—1847 гг., опубликованный в «Критических опытах» (1891; перепечатан в «Сочинениях В. Майкова», 1901, т. II), и сохранившиеся в архиве ИРЛИ автографы критика дают возможность установить ту часть рецензентской работы в области детской и учебной литературы, которую он взял на себя, возглавив в мае 1846 г. критико-библиографический отдел «Отечественных записок». В первые месяцы сотрудничества в журнале Майков рецензировал почти все детские издания и учебники. Но уже в январской книжке «Отечественных записок» 1847 г., как будет показано ниже, появляется первая рецензия Салтыкова, которому вскоре поручается рецензирование «Новой библиотеки для воспитания» П. Г. Редкина и некоторых других детских и учебных книг. Таким образом подтверждается позднейшее указание Салтыкова относительно того, что журнальную работу в 1840-х годах он доставал через Майкова. После смерти Майкова Салтыков становится основным рецензентом детской и учебной литературы в «Отечественных записках».

Замечание С. А. Макашина, отметившего, что ранние рецензии Салтыкова лишены «внешней яркости»[9], справедливо, если иметь в виду сравнение их с позднейшими литературно-критическими выступлениями Щедрина. Но на общем фоне критико-библиографического отдела «Отечественных записок» 1847—1848 гг., особенно после смерти Майкова, рецензии Салтыкова резко выделялись мастерством литературной обработки, остротой постановки вопросов, полемической страстностью, постоянным стремлением в отзывах на пустые детские книжки провести (насколько это было возможно в подцензурной печати) передовые взгляды последователя Белинского и члена кружка Петрашевского. К ранним библиографическим заметкам Салтыкова отчасти применима его позднейшая характеристика особенностей литературно-критических статей и заметок 1840-х годов. «Тогдашние рецензии,— писал Салтыков, имея в виду в первую очередь рецензии Белинского,— были своего рода руководящие статьи, имевшие предметом не столько разбираемую книгу, сколько высказ по ее поводу совершенно самостоятельных мыслей. Краткость не была в числе достоинств этих статей, но зато в них всегда что-нибудь „проводилось“. Разумеется, очень часто (даже более, чем часто) проводимое благодаря бесчисленным покровам, под которыми оно скрывалось, было понятно только членам „кружка“, но — случайно — оно могло проникнуть и далее» (XIII, 397).

Наибольший интерес среди рецензий «Отечественных записок» 1847 — 1848 гг., принадлежащих, на наш взгляд, Салтыкову, представляют перепечатываемые ниже отзывы на: 1) «Робинзон Крузо» соч. Кампе и еще на пять других книг для детей;

2) на VII книжку «Новой библиотеки для воспитания, издаваемой Петром Редкиным»; 3) на «Путешествие вокруг света» Ф. Студитского; 4) на «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою», изданные К. Авдеевой; 5) на сочинение Жозефины ле-Бассю «Благовоспитанное дитя» и 6) на брошюру «Несколько слов о чтении романов»[10]. Доказательства принадлежности этих рецензий Салтыкову составляют следующий раздел нашего сообщения.

* * *

То обстоятельство, что Салтыков в 1847—1848 гг. чаще всего рецензировал детские издания, не было простой случайностью: журнальной работе Салтыкова предшествовало изучение системы «гармонического воспитания» Фурье в кружке Петрашевского.

Из дневниковых записей и следственных показаний Петрашевского следует, что на раннем (самообразовательном) этапе существования «пятниц», когда их посещал Салтыков, особенно часто поднимался вопрос о педагогических взглядах французских социалистов. Среди вопросов, намеченных Петрашевским к изучению и обсуждению, мы находим тему «О свойствах человека, чтобы быть хорошим членом человечества (l'homme)», «О заведении или учреждении нового воспитательного учебного заведения, откуда бы выходили люди — людьми и граждане — гражданами»[11] и ряд других педагогических тем. «Всякому отцу, который желает, чтоб его дети не сделались нравственными уродами,— говорил Петрашевский,— я советую прочесть сочинение Considerant „Eduction attrayanté", dedié aux méres de familles (это 3-я часть его „Destinée sociale")[12] и следовать этой методе воспитания. Результаты ее превзойдут ожидание. Этого сочинения прочесть достаточно, чтоб оставить тысячу предубеждений противу Фурье»[13]. По-видимому, Петрашевский поручал Салтыкову разработать один из вопросов о «гармоническом воспитании», так как известно, что Салтыков брал книгу Консидерана не только из библиотеки петрашевцев (или лично у Петрашевского), но и у В. Р. Зотова. В недатированной записке к Зотову (по-видимому, 1845—1846 гг.) Салтыков просил: «У вас имеется, кажется, почтеннейший Владимир Рафаилович, „Destinée sociale" Консидерана. Если вы можете, то одолжите мне на неделю третью часть этого сочинения. Мне до зарезу нужно» (XVIII, 40—41). Конкретный повод, разъясняющий заключительные слова этой просьбы, в записке не указан. Вероятнее всего, он был связан с обсуждением концепции «гармонического воспитания» на «пятницах» Петрашевского. Таким образом, занятия в кружке определили на этот период интересы Салтыкова как рецензента именно детской и учебно-педагогической литературы, при оценке которой он мог высказаться наиболее осведомленно.

Однако было бы ошибочным полагать, что в рецензиях Салтыкова «проводились» только педагогические взгляды французских утопических социалистов. Конечно, теория «гармонического воспитания» оставила значительные следы в его первых литературно-критических опытах. В этой связи достаточно указать на исключительную близость некоторых формулировок в рецензиях Салтыкова к центральным тезисам Фурье, которые легли в основу третьей части «Destinée sociale». Определяя основную задачу воспитателя и критикуя «воспитание цивилизованных», Фурье писал: «...следует с колыбели развивать в ребенке естественные наклонности, которые семейное воспитание старается подавить или извратить даже у грудного ребенка ⟨...⟩ Отец старается передать ребенку свои наклонности, заглушить порыв природных призваний, почти всегда различимых у отца и сына»[14]. Сравним с этим у Салтыкова: «По-настоящему следовало бы изучить натуру ребенка, подстеречь его наклонности при самом его рождении, не навязывать ему такой науки, которая или антипатична, или не по летам ему,— но нет! Не тут-то было! На чтó же и существуют возлюбленные родители? В их уме уже заранее начертаны все занятия, все судьбы будущего ребенка их; на тó он и *рождение* их, их *собственное* рождение, чтобы они могли располагать им по произволу; и уж как ни бейся бедный ребенок, а не выйти ему никогда из этого волшебного круга!» (I, 338). Несомненно также, что Салтыкова, испытавшего на

собственном опыте все недостатки того воспитания, которое Фурье не без иронии именовал «цивилизованным», не могла не привлечь разоблачительно-критическая часть сочинений Фурье и его последователей. В рецензиях Салтыкова 1840-х годов можно обнаружить воздействие, например, положений Фурье о резком противоречии с природой принятого воспитания, не отвечающего здравому смыслу вследствие путаницы методов и двойственности действия (ср. I, 337—338, 351). Фурье считает, что «наши науки достигли совершенства лишь в смысле практической неприменимости и глупости» (ср. I, 338—339, 348—349), а в образовании видит подмену естественных наклонностей доктринами[15] (ср. I, 343). Но взяв у Фурье эти «общие неумирающие положения», Салтыков отбросил его религиозную мистику, деление детей по склонности к «грязи» или «утонченному изяществу» на «банды» и «орды», обширные рассуждения о «весталате» и «демуазелате», «опере» и «кухне», словом, все, что касалось «преимуществ воспитания в фаланстере». Подобные фантастические построения тем меньше привлекали Салтыкова, чем решительнее обращался он от теорий утопических социалистов к задачам и потребностям русской действительности. Крупнейшая роль в этом повороте Салтыкова (1847—1848 гг.) от утопического социализма к насущным вопросам русской жизни принадлежала Белинскому: «С иной, более обширной кафедры,— писал Салтыков в «Сатирах в прозе», вспоминая о «золотых временах» «юности» и обращаясь к своему поколению,— лилось к вам полное страсти слово Белинского, волнуя и утешая вас, и наполняя сердца ваши скорбью и негодованием, и вместе с тем указывая цель для ваших стремлений» (III, 210). Усвоив ведущие положения литературно-теоретической программы Белинского, Салтыков не мог не стать последователем великого критика и в области вопросов воспитания, ибо педагогические воззрения Белинского были неразрывно связаны с его литературными, философскими и общественно-политическими взглядами, определялись ими, вытекали из них, служили одной цели — борьбе за переустройство самодержавно-крепостнического общества. Сравнительный анализ статей Белинского, в которых отразились его педагогические взгляды, и известных рецензий Салтыкова на детскую и учебную литературу показывает, что педагогическая мысль молодого писателя развивалась в том направлении, которое указал ей Белинский.

Подчеркивая вслед за Белинским, что России нужны не «пустые мечтатели», но «люди действия», Салтыков считал главной задачей воспитания развитие у ребенка реалистического отношения к действительности, настаивал на усилении физического воспитания детей, ознакомлении их прежде всего с близкими и понятными предметами окружающего мира. «Весь организм ребенка,— писал он в рецензии на «Первоначальный учитель»,— обращен к феноменам мира чисто физического,— почему? потому что феномены эти по простоте и независимости одни только и доступны его пытливому уму...» (I, 351). Салтыков предостерегал избегать до поры всякого «спекулятивного элемента» в воспитании, то есть отвлеченных понятий: «Если вы будете толковать ребенку о свойстве души, когда он не знает ни на волос о свойствах предмета более ему близкого — о свойствах его бренного маленького тела, естественно, что философия покажется ему пугалом, на которое он будет смотреть не иначе, как со страхом и отвращением» (I, 343).

С этих позиций Салтыков подвергал резкой критике тогдашнюю воспитательно-педагогическую систему, определяя ее как «систему постепенного ошеломления». С самых ранних лет,— настойчиво подчеркивал Салтыков,— семья и школа начинают калечить детей и в умственном и в нравственном отношениях. В существующем воспитании,— говорил он,— нет даже и намека на систему и логику, оно сводится к оглушению ребенка, зубрежке, засорению его памяти заученными, но не связанными фактами и сведениями, составленными обычно с «изумительной сухостью». «Диво ли, что после такого ежедневного бичевания человек делается неспособным к принятию самой простой истины, как скоро только она переходит за пределы мертвой буквы» (I, 338—339). Следствием такого воспитания являются люди, совершенно не способные к практической деятельности: «И потому юноши, в которых эта система постепенного ошеломления не совсем еще потушила энергию пытливого духа, обыкновенно, по выходе из школы, начинают сами сызнова свое образование, но и тут, лишенные помощи

живого слова, в борьбе с беспрестанно возрастающими недоразумениями, большей частию падают под бременем своего тяжкого перевоспитания» (I, 338). Эти горькие выводы о судьбе русского юношества были, разумеется, не только следствием воздействия статей Белинского или влияния критической части «Destinée sociale»,— они были прежде всего одним из итогов печальных раздумий Салтыкова над той школой воспитания, через которую он недавно прошел сам.

Эти взгляды Салтыкова на вопросы воспитания и определяли его оценку детской и учебной литературы, которая в большей своей части была в то время предметом спекуляции безграмотных дельцов за счет легкомыслия или невежества воспитателей. Предметом неустанных нападок Салтыкова была та копеечная барышническая мораль, которой составители детских книг усердно сдабривали свою литературную стряпню, проповедуя, как выгодно быть хорошим и как часто добродетель вознаграждается звонкой монетой.

Мораль «приторных детских повестей», — писал Салтыков, — «может быть вполне выражена в следующих немногих словах: быть добрым никогда не мешает, потому что это дает человеку возможность спекулировать на услугу во сто раз большую со стороны облагодетельствованного субъекта» (I, 336. Об отношении Салтыкова к «конфектно-нравственному» направлению в детской литературе см. также I, 343, 349, 351, 352).

Не менее резкую критику, чем «нравственные повести», вызывали у Салтыкова мечтательно-фантастические элементы в литературе для детей: «Ум их ⟨детей⟩, по природе наклонный к чудесному, на нем одном только и останавливается с охотою и все сверхъестественное принимает за наличную монету ⟨...⟩. Отсюда наклонность к мечтательности, которую надобно бы сдерживать в благоразумных границах, приобретает, напротив того, самые гигантские размеры, и ребенок, сделавшись со временем мужем, является человеком неспособным заниматься интересами близкими и действительными и целый век блуждает мыслью в мечтательных мирах, созданных его больною фантазией» (I, 356). Это скептическое отношение к фантастическому и чудесному, несомненно, было связано у Салтыкова, как несколько раньше у Белинского, с той полосой его жизни (1847—1848 гг.), когда от увлечения утопическим социализмом он переходил к борьбе против его мечтательно-фантастических сторон, уводящих человека от насущных вопросов современности.

Гневно протестуя против воспитания, «более наклонного к пустой мечтательности, нежели к трезвому взгляду на жизнь», Салтыков определял ценность рецензируемых книг прежде всего их практической полезностью для воспитания людей, знающих жизнь и способных «к действованию». Этот утилитарный подход сказался не только в салтыковских рецензиях на «Первоначального учителя» или «Географию в эстампах», но и в его оценках Гомера и Плутарха. Так о последнем он писал, что «чтение биографий Плутарха может принести пользу ребенку: там всякое слово — истина, каждая черта взята из действительности, так что ребенок, читая плутарховых знаменитых людей, свыкается с жизнью и не только получает совершенно верные и здравые понятия о различных эпохах и странах древнего мира, но и для себя собственно извлекает весьма важный практический результат от этого чтения» (I, 342; см. также: 335, 349, 350, 353).

Таковы, в основном, взгляды Салтыкова на задачи воспитания и детскую литературу, отразившиеся в его первых литературно-критических заметках, вошедших в I-й том Полного собрания его сочинений.

В январской книжке «Отечественных записок» 1847 г. (отд. VI, стр. 58—62) резко выделяется на фоне остального библиографического материала сводная рецензия на детские книги:

«Робинзон Крузо». Роман для детей. Сочинение Кампе. Перевод с немецкого В. Межевича. Издание второе. В двух частях. СПб., 1846.

«История России в ра сказах для детей». Сочинение Александры Ишимовой. Изд. 3, исправленное и дополненное. В 3-х частях. СПб., 1847.

«Альманах для девиц первого и второго возраста». Переделан с французского Л. В-им. СПб., 1847.

«Мысли и повести, посвященные юношеству». Сочинение М. Корсини. СПб., 1846.

«Русская азбука для детей, составленная С.». СПб., 1846.

«Детская корзиночка. Разноцветные сцены (?!). Из жизни милых малюток». СПб., 1847.

Рецензия эта, на принадлежность которой Салтыкову указывал до нас Б. В. Папковский[16], привлекает внимание богатством содержания, живостью и непринужденностью изложения, изобличающими в авторе человека передового и литературно одаренного. Причем все основные положения этого разбора представляют собой такие близкие параллели к рассмотренному выше, что не остается сомнений в принадлежности их одному автору.

Начнем с главного — с определения в изучаемой рецензии основной задачи воспитания: «Развить способности, приучить ум действовать быстро, ловко, свободно — вот единственная цель воспитания». Разбирая «Руководство к первоначальному изучению всеобщей истории» и «Первоначальный учитель», Салтыков пропагандировал эту же мысль, восходящую к тем «общим неумирающим положениям» третьего раздела «Нового промышленного и общественного мира» Фурье («Гармоническое воспитание»), с которым писатель познакомился в кружке Петрашевского: «Всякий наставник,— указывал Салтыков,— должен иметь в виду раскрытие способностей ребенка с целью полного и гармонического их развития посредством воспитания» (I, 350; об этом же см. I, 338).

Критикуя чрезмерную широту и схоластический характер школьной науки, рецензент «Робинзона Крузо» восклицал, обращаясь к жертвам «системы постепенного ошеломления»: «Милые дети, жалкие дети! ⟨...⟩ Вместо того, чтобы *пособить* вам жить и развиваться собственною жизнию, из вас хотят сделать что-нибудь по вкусу известного взрослого человека, приправить, нафаршировать, как жареного рябчика. Природа ваша противится этому обезличению». Приведенная выдержка и по форме, и по содержанию представляет собой суждение, типичное для всех рецензий Салтыкова, где ставится вопрос о характере умственного воспитания: «Странная, право, участь детей!— писал Салтыков через несколько месяцев, как бы продолжая разговор, начатый в разборе «Робинзона Крузо».— Чему ни учат их, каких методов ни употребляют при преподавании?» «В пылу своего варварского прозелитизма,— говорил Салтыков в другом месте,— они ⟨воспитатели⟩ во что бы то ни стало хотят вдолбить ребенку несвойственную его возрасту науку...». «Бедную память ребенка истязуют, загромождают кучею ненужных чисел, сонмищами безразличных, мелочных, никуда не ведущих и ничего не объясняющих фактов» (I, 337, 343, 338; об этом же см.— I, 339, 348, 349).

Подчеркивая пагубность оторванного от жизни воспитания, которое неизбежно требует перестройки в зрелом возрасте, автор рецензии на «Робинзона Крузо» писал, что «самое лучшее *внушенное*, т. е. заученное, но несознанное нравственное правило становится сущим злом для человека, когда ум его начнет работать свободно и потребует отчета в каждом слове, в каждом движении души. А такая пора, такой внутренний *декартовский период* был у каждого из нас и бывает рано или поздно в жизни каждого человека ⟨...⟩[17]. Выходит победителем только тот, чей ум заранее был приготовлен к этой битве строго-логическим воспитанием, приучен видеть вещи так, как они суть». О тяжелой участи русского юношества, вынужденного при первом столкновении с действительностью вступать в борьбу с «внушенным» в детстве образом мыслей, Салтыков говорил и в отзыве на «Руководство к первоначальному изучению всеобщей истории», в выражениях очень близких к приведенной формулировке (ср. I, 337—338, цит. выше), и в рецензии на «Первоначальный учитель» (I, 352), и в разборе «Логики» Н. Зубовского, где утверждал, что «правильное, здоровое мышление вырабатывается в человеке непомерно долго и сто́ит неимоверных усилий, упорной, настойчивой борьбы» (I, 340). О последствиях «отвлеченного от жизни воспитания» Салтыков писал не только как рецензент детской литературы,— это одна из центральных тем его повестей 1840-х годов.

Характерна для Салтыкова и самая оценка «Робинзона Крузо» как книги, чрезвычайно полезной для ознакомления ребенка с миром «чисто физическим». Ср. в ре-

цензии Салтыкова на книгу «Первоначальный учитель»: «Весь организм ребенка обращен к феноменам мира чисто физического,— почему? потому что феномены эти по простоте и независимости одни только и доступны его пытливому уму, потому что никто не может читать, не выучившись наперед азбуке, никто не может бегать, не научившись наперед твердо стоять и ходить по земле» (I, 351). Роман «Робинзон Крузо» хорош тем,— говорил анонимный рецензент,— что«ребенок, читая его 〈...〉открывает как бы новый мир вокруг себя». «Великая польза» художественного произведения,— писал Салтыков, оценивая «Рассказы детям из древнего мира» Ф. Беккера,— в том, что оно «открывает ему 〈ребенку〉 новый, необъятный мир» (I, 353).

«Эфемерность *нравоучительных* детских книжек,— отмечал рецензент «Робинзона Крузо»,— ясно доказывает, что тайна этой живучести 〈имеется в виду роман «Робинзон Крузо»〉 заключается не в моральных лоскутках, вклеенных в вековой книжке без всякой необходимости и часто совсем некстати. Напротив, при каждой новой переделке „Робинзона" он более и более очищается от этих лоскутков. Мы даже думаем, что, отбросив их совершенно, он сделался бы еще привлекательнее, еще полезнее...». В этом объяснении отчетливо слышится голос Салтыкова, систематически дискредитировавшего во всех своих рецензиях 1840-х годов то «конфектно-моральное направление» в детской литературе, которое «душило юное поколение», воспитывало в нем «сухую, безжизненную мораль» (см. I, 336, 343, 349, 351, 352).

Нравственность, подчиненная предвзятым правилам, оторванная от жизни,— постоянно подчеркивал Салтыков,— нравственность фарисейская: «Какая же разница между нравственною целью и моралью?— спрашивал он, критикуя «Первоначальный учитель».— Мы полагали, что это одно и то же; мы именно думали, что и то и другое состоит в желании навязать кому бы то ни было — ребенку или взрослому человеку — известную, раз навсегда придуманную мерку действий для всех случаев его жизни» (I, 350—351).

«Научить человека, произвести в нем нравственный переворот,— писал Салтыков в отзыве на «Логику» Зубовского,— может только долгая жизнь, долгий, часто тяжелою ценою приобретаемый опыт» (I, 340). Та же мысль развивается и в рецензии на «Робинзона Крузо», причем самая мотивировка бесполезности нравственных догм, самый ход мысли, наконец, самое изложение ее настолько близки к приведенным суждениям Салтыкова, что принадлежность и тех и других одному автору не вызывает, на наш взгляд, никаких сомнений. Разъясняя причину «эфемерности нравоучительных детских книжек», рецензент «Робинзона» убеждал читателя, что «ребенок, как бы остер и понятлив ни был, не может усвоить себе нравственного правила до тех пор, пока не разгадает собственным опытом многосложного устройства той общественной жизни, в которой понадобятся ему эти правила».

О принадлежности разбора «Робинзона Крузо» Салтыкову говорит и язык этой рецензии, которому свойственны многие особенности ранних литературных опытов Салтыкова: частые обращения, восклицания, риторические вопросы, анафоры, обилие и разнообразие синонимики, уточнения с помощью слов «именно» и «буквально», постпозитивный член «то» и др.

Наконец, перо Салтыкова можно угадать и по ярким насмешливым характеристикам, отличающим его рецензии от заметок других рецензентов детской и учебно-педагогической литературы в «Отечественных записках» рассматриваемого времени. Например, «„Альманах для девиц" имеет одно неотъемлемое достоинство: характер безотчетной чепухи выдержан в нем с заглавного листка до последней страницы», «что же касается до „Детской корзиночки", то единственная особенность ее состоит в заглавии».

Все изложенные здесь соображения относительно рецензии на «Робинзона Крузо» позволяют с уверенностью заключить, что автором ее был Салтыков.

В первой книжке «Отечественных записок» 1848 г. (отд. VI, стр. 42—52) Салтыкову принадлежат, на наш взгляд, еще четыре рецензии, помимо двух названных Арсеньевым («Григорий Александрович Потемкин» П. Фурмана и «Альманах для детей»). Пять из этих шести рецензий следуют одна за другой, а отзыв на альманах отделен от разбора книги ле-Бассю небольшой заметкой о «Домашнем театре» (СПб.,

1848, стр. 50—51), которая, по-видимому, также принадлежит автору всей этой группы рецензий. Вот эти шесть рецензий на книги:

«Путешествие вокруг света. Южная Америка и Антильские острова». СПб., 1848.

«Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою, изданные К. Авдеевой». Изд. 2. СПб., 1848.

«Собеседник молодых людей». Повести и рассказы, переведенные с французского А. Ивановым. СПб., 1848.

«Григорий Александрович Потемкин». Историческая повесть для детей. Соч. П. Фурмана. СПб., 1848.

«Благовоспитанное дитя, или Как должно вести себя». Соч. Жозефины ле-Бассю. С французского. Изд. 2. СПб., 1847.

«Альманах для детей — Архангельск, собранный (?) из статей в стихах и прозе разных А(а)второв. С 14-ю иллюминованными картинками: П(п)ортретами российских государей, гербами Архангельска и уездов его, памятником Ломоносова в Архангельске. Детский праздник „Елка", езда на оленях и с карточкою Архангельской губернии. Детская карманная библиотека. Зима». СПб., 1848.

В первой (по расположению) рецензии на «Путешествие вокруг света» содержится намек автора, что ему же принадлежат и остальные пять рецензий:

«Наконец, перед наступлением праздников и столь вожделенной для книгоделателей елки посыпались со всех сторон так называемые детские книжки [18] — большие и маленькие, с картинками и без картинок, с простыми и затейливыми названиями, „карманные", т. е. с исключительными претензиями на ваш карман, и без этих неделикатных претензий... Приступаем к отчету о них» [19]. В этой характеристике названы особенности (с внешней стороны) всех шести книжек, разобранных далее: 1) некоторые из них — «Путешествие вокруг света», «Сказки для детей», «Собеседник молодых людей», «Потемкин», «Альманах для детей» — названы «маленькими» по формату, так как напечатаны в 12-ю д. л., а «Альманах» даже в 16-ю д. л. Определение «большие» может касаться только сочинения ле-Бассю, изданного в 8-ю д. л. 2) «С картинками и без картинок» — пять книг с картинками, и без них — только «Благовоспитанное дитя». 3) Определение «затейливый» больше всего подходит к названию «Альманаха для детей»: оно занимает почти полстраницы журнального текста. 4) «Альманах для детей» снабжен подзаголовком «Детская карманная библиотека». Все эти детали являются дополнительным подтверждением, что все шесть книг рецензировал один автор. Так как две из шести перечисленных выше рецензий, по указанию Арсеньева, бесспорно принадлежат Салтыкову, то, следовательно, он же автор всей этой группы анонимных рецензий.

Кроме того, сам текст рецензий содержит данные, свидетельствующие об авторстве Салтыкова.

Особенности языка рассматриваемых рецензий, насмешливая манера повествования, многочисленные восклицания, вопросы, обращения,— характерны для ранних произведений Салтыкова. Высмеивая «исполненную праздных сентенций или голословных фактов» науку, рецензент «Путешествия вокруг света» также писал о скуке преподавания, о боязни педагогов, что «наука перестанет быть наукою и сделается простым, неважным занятием, почти игрою» (см. аналогичные строки в рецензии на «Первоначальный учитель» — I, 348).

Рецензия на «Русские сказки для детей» — яркий образец библиографических разборов Салтыкова 1840-х годов. «Сказки» — только «повод» для высказывания «совершенно самостоятельных мыслей» о пагубности существующей воспитательно-педагогической системы, мучительности перестройки в зрелом возрасте и др. Жажда дела, отвращение к романтической «мечтательности мысли», к жизненной беспомощности слышатся в каждой фразе этой рецензии. Нам уже несколько раз приходилось отмечать, что Салтыков требовал совершенно устранить из детской литературы все сказочное, чудесное, уводящее от «практического понимания действительности». Та же мысль содержится и в рецензии на «Русские сказки», автор которой утверждает: «Решить положительно, что нелепые вымыслы, несообразные с законами действительной жизни, произведения досужей фантазии полезны или вредны для всевосприимчивой го-

ловы ребенка — невозможно». Отрицательная оценка сказочного элемента в рецензии на «Русские сказки» совпадает с аналогичной характеристикой фантастики в разборе «Рассказов детям из древнего мира», принадлежность которого Салтыкову установлена Арсеньевым документально.

Вот соответствующие сопоставления:

«Русские сказки для детей».— «Отечественные записки», 1848, № 1, отд. VI, стр. 44.

⟨Воспитатели⟩ рассказывали своим детям те же *сказки*, на которых сами были вскормлены... Да, именно *сказки*, потому что в них притон предрассудков самых закоренелых и вместе самых благовидных, самых вкрадчивых — по наружности; потому что ребенок не способен различать сказочного мира от действительности; потому, наконец, что сказки сделались обычаем, необходимостью, веками освященным обрядом в воспитании, и пестун, рассказывая ребенку сказку, не думает о том, какое заключение выведет для себя из «Приключений Петушка — золотого гребешка» ловкий софист-слушатель, как отзовется ему впоследствии это убаюкивающее наркотическое средство...

«Рассказы детям из древнего мира» К. Ф. Беккера. — «Отечественные записки», 1848, № 4, отд. VI, стр. 95 (I, 356).

⟨Ребенок⟩ все сверхъестественное принимает за наличную монету, так что из всей поэмы Гомера, может быть, оно одно только и привлечет ребенка. Отсюда наклонность к мечтательности, которую надобно бы сдерживать в благоразумных границах, приобретает, напротив того, самые гигантские размеры, и ребенок, сделавшись со временем мужем, является человеком неспособным заниматься интересами близкими и действительными и целый век блуждает мыслью в мечтательных мирах, созданных его больною фантазией. Да не обвиняют нас в преувеличении: обстоятельство, о котором мы говорим, так тонко, так незаметно, что его не увидишь сразу; оно издалека и втихомолку подкрадывается и сосет все существование ребенка, но тем сильнее будут его последствия!

Хорошо известно, что рецензии Салтыкова 1840-х годов были тесно связаны с его первыми художественными произведениями. Такая идейная связь устанавливается и при сопоставлении рецензии на «Русские сказки» с повестью Салтыкова «Противоречия» (1847). Разъясняя причины несчастий главного героя этой повести (Нагибина), Салтыков указывал прежде всего на «воспитание, более наклонное к пустой мечтательности, нежели к трезвому взгляду на жизнь». «Такое воспитание совершенно губит нас; истощенный беспрестанным умственным развратом, человек уже теряет смелость взглянуть в глаза действительности, не имеет довольно энергии, чтоб обнажить сокровенные пружины и объяснить себе кажущиеся противоречия ее» «...мне,— говорил Нагибин,—не дано практического понимания действительности ⟨...⟩ ум мой воспитали мечтаниями, не дали ему окрепнуть, отрезвиться и пустили наудачу по столбовой дороге жизни! И естественно, что всякий шаг был для меня камнем преткновения, что я ничего не понял в действительности...» (I, 91, 195). Эта же мысль о трагедии разрыва между жизнью и разумом, между теорией и практикой пронизывает рецензию на «Русские сказки». Получив фантастические представления о жизни,— говорится в ней,— человек вынужден потом весь век бороться «с самим собою, с своим прошедшим, с своим в детстве *внушенным* образом мыслей,— эта страшная, болезненная драма, мешающая человеку жить положительной жизнью, делается тем страшнее и болезненнее, чем лучше, чем сознательнее человек...». «Но, попав раз в житейское море, надо работать, по крайней мере барахтаться, чтоб не утонуть, и потому всего переделать некогда, переродиться нельзя, вознаградить упущенное тоже невозможно. Начинаются перестройки *домашними средствами*: кое-что, кое-как и кое-где...».

К этому раздумью о судьбах русской молодежи очень близки (не только идейно, но и текстуально) некоторые положения уже известных рецензий Салтыкова. Так,

в разборе «Руководства» Фолькера Салтыков писал, что человек, сошедший со школьной скамьи, «при первом столкновении с действительностью оказывается совершенно несостоятельным, при первом несчастии упадает духом ⟨...⟩ юноши, в которых эта система постепенного ошеломления не совсем еще потушила энергию пытливого духа, обыкновенно, по выходе из школы, начинают сами сызнова свое образование, но ⟨...⟩ большей частью падают под бременем своего тяжкого перевоспитания» (I, 337—338; ср. также — I, 352, 340).

Языковые и стилистические особенности рецензии на «Русские сказки» типичны для ранних произведений Салтыкова.

Прежде всего в этой связи следует указать на специфическую для Салтыкова манеру аллегорического иносказания. Рецензия на «Русские сказки» представляет собой в сущности развернутую аллегорию, сближаясь в этом смысле с только что законченной Салтыковым повестью «Запутанное дело», наполненной множеством «полутаинственных намеков», которые инкриминировались Салтыкову III Отделением. Очевидно поэтому статья о «Русских сказках» привлекла особое внимание Петербургского цензурного комитета, так как за рассуждениями о детских сказках явственно ощущался второй смысловой аспект: обличение не только системы воспитания, но всей крепостнической идеологии вообще [20]. «...После *декартовской* переделки,— подчеркивал рецензент «Русских сказок», намекая на зависимость духовного развития от общественного строя,— голова человека и получает фасад того построенного при Екатерине помещичьего дома, к которому разные наследники пристроивали с различных сторон разные клети и каморы — *по усмотрению*...» Этот многозначительный намек (с чисто салтыковским словечком: «по усмотрению», ср. аналогичное употребление его при характеристике Брусина) очень близок к аллегорическим иносказаниям антикрепостнического характера в рецензиях на «Логику», «Рассказы детям из древнего мира» и повестях.

Помимо этого, на авторство Салтыкова указывает также и ряд чисто внешних языковых особенностей рецензии:

1) Обилие и разнообразие синонимики и частое употребление анафор: «начинаются перестройки домашними средствами: кое-что, кое-как и кое-где», «горе тому, кто не дождется ее развязки, кто не вынесет этой борьбы до конца, кто не подведет...», «предрассудки самые благовидные, самые вкрадчивые». Ср. в «Запутанном деле»: «в сотый раз не узнал своей шинели, ⟨...⟩, в сотый раз держал ее у себя в руках, в сотый раз оглядывал» и др. В рецензиях: «оно та́к радо, так радо» и т. п.

2) Уточнение с помощью слова «именно» — характерный признак языка первых повестей и статей Салтыкова. В разбираемой рецензии: «второе, именно второе издание», «да, именно сказки» и т. п.

3) Пристрастие рецензента к уменьшительным суффиксам («частехонько», «идейки» и др.) — особенность ранних произведений Салтыкова.

Все эти соображения дают возможность заключить, что «Русские сказки» рецензировал Салтыков.

Отзыв на «Собеседник молодых людей» логически связан с разбором повести Фурмана «Григорий Александрович Потемкин», принадлежащим, по свидетельству Арсеньева, Салтыкову. Рецензия на «Собеседник...» кончается вопросом: «И почему непременно переводить повести? — есть биографии, есть путешествия...» («Отеч. записки», 1848, № 1, отд. VI, стр. 45). Обсуждение поставленного вопроса продолжается с первых строк рецензии на повесть Фурмана: «Не знаем, решительно не знаем, полезно ли детям чтение повестей ⟨...⟩ Нам кажется, что с детьми особенно опасно шутить — а из всех шуток чтение повестей едва ли не самая негодная для ребенка. Мы можем представить себе, например, что чтение биографий Плутарха может принести пользу ребенку...» (I, 342).

За «Собеседником молодых людей» следует рецензия на сочинение Жозефины ле-Бассю «Благовоспитанное дитя». Рецензия эта связана и с отзывом на «Русские сказки» и с разбором повести «Григорий Александрович Потемкин» П. Фурмана, помещенным непосредственно перед ней и принадлежащим Салтыкову, по свидетельству Арсеньева. Критикуя историческую повесть Фурмана, Салтыков изложил свой

взгляд на естественные закономерности воспитательно-педагогического процесса, подчеркивая, что «если некоторые знания неудобны для детей и несогласны с складом их ума, то это потому, что по самой своей сложности эти знания предполагают наличность других знаний, менее сложных, и что развитие человека требует постепенности и никогда не совершается скачками»[21]. Опираясь на эти суждения, Салтыков подвергает резкой критике как повесть Фурмана (I, 343—344), так и «учебник» ле-Бассю, настаивая на «крайней бесполезности» и того и другого издания. «Книги такого рода, — говорится в рецензии об «учебнике» ле-Бассю, — тогда достигают своей цели и заслуживают похвалы, когда, с одной стороны, разрушают разные предрассудки, получаемые детьми от родителей или от нянек ⟨сказки нянюшки Черепьевой,— писалось в рецензии на «Русские сказки для детей» — «притон предрассудков самых закоренелых»⟩, а с другой,— содействуют развитию нравственного чувства и прояснению истинных понятий ребенка о мире и вещах» (см. также I, 351).

Детские писатели,— говорил Салтыков — рецензент Фурмана,— «решительно не хотят понять, эти добрые люди, что дети в своей, т. е. приличной степени их развития, сфере, точно так же взрослы, как и самые взрослые...» (I, 343). В рецензии же на «учебник» ле-Бассю автор последней вновь возвращается к этой мысли и, помня, что об этом уже сказано, ограничивается репликой: «...не должно забывать, что ребенок тот же человек, только маленький».

Отзыв на книгу ле-Бассю связан также и с появившейся через месяц рецензией Салтыкова на «Первоначального учителя». Критикуя сочинение ле-Бассю, рецензент отмечал, что «большая часть ходячих учебников нравственности наполнена исчислением обязанностей дитяти и преподанием ему правил, которые весьма часто для него лишены всякого смысла, потому что или основание их ему непонятно, или приведены им основания ложные». Именно эти качества «конфектно-моральной литературы» обличал Салтыков в разборе «Первоначального учителя», еще раз возвращаясь к вопросу о «бесполезности» нравственных повестей: «Предмет всякой повести,— писал он, — явления мира совершенно недоступного для детского ума, потому что явления эти так сложны, что не могут быть понятны для этого только еще вполовину сформировавшегося существа» (I, 351).

«Нам кажется,— иронизировал рецензент книги «Благовоспитанное дитя»,— что совершенно напрасно старалась г-жа ле-Бассю объяснить, „с каким поступком какие чувства должны быть неразлучны", потому что чувство должно быть руководителем в известном поступке ⟨...⟩; старание же ее определить *формы и выражения*, посредством которых *должно* изъяснять чувства — напоминает ни более ни менее, как *письмовники*, в которых помещалось тоже изъяснение всех чувств, только письменно» (ср. I, 336). Выступая против стремления «нравственной» литературы навязать ребенку или взрослому надуманную мораль, Салтыков, вероятно, помнивший еще очень живо «нравственные правила» и «назидательные повести» ле-Бассю, писал в «Первоначальном учителе» о бесполезности так называемых нравственных повестей, не учитывающих реальные причины поступков человека: «Сколько ни задавайте правил, как ни стегайте нравственность человека, действительность все-таки возьмет свое» (I, 351).

Знаменательно и характерно для Салтыкова, что рецензия на «ходячий учебник нравственности» кончается характеристикой несправедливого социального устройства человеческой жизни: «...наши общественные и частные отношения до того сложны, до того обусловлены разными *обязанностями*, что жизнь очень точно можно определить *исполнением обязанности* ⟨ср.: в «Главе» Салтыков писал, что вся жизнь его героя заключалась в «осуществлении какой-то идеи долга и обязанности».— I, 212⟩. Человечество не раз останавливалось и с удивлением задавало себе вопрос: да на чем же основаны эти обязанности, которые оно исполняет с начала века? Ища этой основы, оно, как с ним всегда случается, построило множество систем, даже создало целую науку под названием сначала *практической* философии, а потом *нравственной* философии. И каждая система приводит свое основание...».

Анализ стилевых и языковых особенностей рецензии на «Благовоспитанное дитя» также подтверждает авторство Салтыкова.

Рецензия на «Альманах для детей. Архангельск», против принадлежности которой Салтыкову возражал С. А. Макашин, на наш взгляд, написана Салтыковым, так как, во-первых, в разборе «Путешествия вокруг света» приведено описание именно «Альманаха для детей. Архангельск»: «карманный», с «затейливым названием» (см. об этом выше). Во-вторых, разбор «Альманаха» по насмешливому тону и стилю повествования не противоречит предшествующим рецензиям, принадлежащим Салтыкову. В-третьих, Арсеньев располагал рукописью рецензии Салтыкова на «Альманах для детей», причем в критико-библиографических отделах «Современника» и «Отечественных записок» 1847—1848 гг. не содержится больше отзывов на детские альманахи, которые можно было бы приписать Салтыкову. То обстоятельство, что в данной рецензии Салтыков ограничился разбором только «достоинств» «Альманаха», объясняется тем, что он высказал свое мнение о бесполезности подобных изданий в предшествующих пяти рецензиях.

В мартовской книжке «Отечественных записок» 1848 г. (отд. VI, стр. 37—42) мы считаем бесспорно принадлежащей Салтыкову рецензию на брошюру: «Несколько слов о чтении романов». СПб. В тип. книжного магазина П. Крашенинникова и комп. 1847. В 12-ю д. л. 27 стр.

Принадлежность этой рецензии Салтыкову доказывается следующими фактами:

1. С середины 1847 г. до марта 1848 г. Салтыков, как было указано выше, поместил в «Отечественных записках» около двух десятков рецензий на детскую и учебно-педагогическую литературу. Наиболее систематическим становится его сотрудничество в журнале Краевского с конца 1847 г., после отхода от «Современника», продиктованного, по-видимому, резким отзывом Белинского о первой повести Салтыкова «Противоречия» и отказом Панаева поместить в «Современнике» вторую его повесть «Запутанное дело», опубликованную вскоре в «Отечественных записках»[22].

Начиная с январского номера «Отечественных записок» и вплоть до апрельского номера, последнего вышедшего перед арестом Салтыкова, он рецензирует (за редким исключением) все детские издания, причем рецензии его связаны друг с другом как общностью проблематики, так и единством стилевых и языковых особенностей. Трудно предположить, чтобы на этот раз маленькую брошюрку в 27 страниц, перепечатку из «детского журнальца» А. О. Ишимовой «Звездочка», рецензировал кто-либо другой из сотрудников «Отечественных записок». Тем более, что суждения автора рассматриваемой рецензии обнаруживают много общего с оценками и взглядами Салтыкова, последователя Белинского, недавнего участника собраний Петрашевского. Передовая устремленность анонимного автора выражается уже в его восприятии (в русле критической школы Белинского) творчества Гомера, Шекспира, Гёте, Руссо, Жорж Санд, Евгения Сю, Вальтер Скотта, А. Лафонтена, Жанлис и др. Особенно высоко оценивал рецензент романы Санд и Сю, направляя внимание читателей именно на эти два имени: Санд и Сю,— писал он,— «обличают, они карают самые сокровенные преступления, самые незаметные недостатки ⟨...⟩ каждый труд их отдельно есть следствие какой-нибудь сильной мысли ⟨...⟩ Романы их приносят гораздо больше пользы, нежели сладенькие романы А. Лафонтена и г-жи Жанли, хотя у этих порок всегда наказан, а добродетель всегда вознаграждена». Подобный восторженный отзыв о французской литературе скорее всего мог принадлежать молодому Салтыкову, который, по собственным словам, «в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно, примкнул ⟨...⟩ к тому безвестному кружку ⟨имеется в виду кружок Петрашевского⟩, который инстинктивно прилепился ⟨..⟩ к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век" находится не позади, а впереди нас...»(XIV, 161). В позднейшем очерке «Имярек», автобиографическая подкладка которого очевидна, сатирик писал, вспоминая 1840-е годы: «В особенности его ⟨Имярека⟩ пленяла Жорж Занд в своих первых романах. Он зачитывался ими до упоения...» (XVI, 716). То обстоятельство, что анонимный рецензент относил Сю и Санд к «лучшим французским романистам», не делая между ними никакого различия, также подтверждает нашу мысль о принад-

лежности отзыва на брошюру «Несколько слов о чтении романов» Салтыкову, прошедшему идейную школу Петрашевского. И русские и западные утописты считали Сю своим единомышленником, а его романы — замечательным средством разоблачения аморального частнособственнического общества. Несомненно, что сочувственное отношение к Сю зародилось у Салтыкова в кружке Петрашевского, где изучались труды Фурье и его последователей, часто обращавшихся к «страшным картинам» Сю для иллюстрации своих теоретических положений. Много лет спустя, говоря о 1840-х годах, Салтыков вспомнил Э. Сю и опять поставил его имя рядом с Ж. Санд и В. Гюго: «Сю менее талантливый и теперь почти забытый»,— писал Салтыков,— но он также «обращался к тем инстинктам человеческой природы, которые представляют собой лучшее достояние человеческой природы» (XIV, 199).

2. Характеризуя творчество Ж. Санд и Э. Сю, рецензент восклицал, полемизируя с автором «Нескольких слов...»: «А вам не нравится, что Занд и Сю выставляют общественные язвы во всем отвратительном их безобразии? Вы желали бы закрасить их, завесить тканью с блесточками? Вы хотите, чтоб люди закрывали глаза и затыкали себе уши? В романах вам надобен такой мир, какого нет в существенности?.. Вот это-то и ведет ко лжи и всяким противоречиям». Эта выдержка прямо открывает в анонимном рецензенте автора «Противоречий», который неустанно восставал против воспитания, «более наклонного к пустой мечтательности, нежели к трезвому взгляду на жизнь» (I, 91; см. приведенную нами выше цитату). В рецензиях, принадлежность которых Салтыкову бесспорна, он также неустанно обличал все неестественное, фальшивое, ложное (см., например, I, 352, 356).

3. Критикуя в этой связи автора брошюрки, рекомендовавшего юношам книги, в которых скрыта жестокая правда жизни, рецензент требовал изображать жизнь «как она есть». Требование это также свидетельствует об авторстве Салтыкова — писателя «натуральной школы», считавшего подлинно художественными произведениями такие книги, где «всякое слово — истина, каждая черта взята из действительности» (I, 342). «...Все романы,— говорится в рецензии «Несколько слов...»,— изображают страсти, увлечения разного рода — все, не исключая и тех, которые наш автор позволяет читать. Если Руссо и другие писатели изображали страсти, не разведенные водицей, а как они есть,— они исполнили все, чего можно требовать от романиста в изображении истины, потому что убавлять и разводить водой страсти значило бы лгать или писать только для усыпления читателей». Попутно следует заметить, что характерна для Салтыкова-петрашевца и самая лексика рецензии, например, постоянное употребление слова «страсти» (помимо собственного значения, в роли синонимов к словам — «чувства», «стремления», «наклонности»): в 1846—1847 гг. Салтыков-петрашевец изучал теорию «притяжения страстей» Фурье, перечитывал Консидерана, также развивавшего эту теорию своего учителя.

4. Взгляд рецензента «Нескольких слов...» на общественную «пользу» литературы совпадает с высказыванием Салтыкова по этому же вопросу в принадлежащей ему (по словам Арсеньева) рецензии на «Рассказы детям из древнего мира» К. Ф. Беккера. «Человек, озаренный правилами добра и нравственности,— писал автор отзыва на «Несколько слов...»,— не погибнет от чтения романов, а извлечет из них всю пользу, какую можно извлечь из чтения для ума, вкуса, эстетического чувства». Романы Вальтер Скотта доставляют большую пользу, по утверждению автора «Нескольких слов...». «Польза бывает различная,— говорит рецензент,— полезна и чашка, из которой чай пьют,— но такой пользы романы не доставят. Они доставляют пользу отдаленными своими последствиями, как все произведения поэзии, образуя ум, вкус, язык, распространяя образованность вообще». Через месяц, рецензируя книгу Беккера, Салтыков раскрыл понятие общественной значимости литературы с позиций революционного просветительства: «В особенности же,— писал он,— для юношества полезно чтение Гомера, который представляет собою не только богатый источник для изучения древнегреческого мира, но полезен и в отношении к образованию в юноше эстетического чувства. В самом деле, нет более просветляющего, очищающего душу чувства, как то, которое ощущает человек при знакомстве с великим художественным произведением. Разумеется, осязательной, непосредственной пользы от этого

знакомства не может быть, но и смешно было бы под словом „польза" разуметь исключительно один материальный, наглядный результат ⟨ср. «полезна и чашка из которой чай пьют,— но такой пользы романы не доставят...» ⟩. Разве не великая для человека польза в том, что художественное произведение приводит его к сознанию собственных его сил, что оно вызывает их, возбуждает к деятельности...» (I, 353). В разбираемой рецензии постоянно встречаем при оценке реалистических произведений: «полезны», «приносят пользу», «доставляют пользу», что также весьма характерно для литературных суждений Салтыкова (ср. I, 342, 349, 350, 353).

5. На авторство Салтыкова указывает и то обстоятельство, что особенно возмутила рецензента брошюры попытка ее автора пропагандировать среди юношества чтение нравоучительных повестей и романов. «Пошлое морализирование», «сухая безжизненная мораль»,— постоянный объект резкой критики и язвительных насмешек Салтыкова (I, 336, 343, 349, 351, 352, 355). И в данной рецензии: говорил ли автор ее об индийских, китайских и греческих вымыслах или арабских сказках, критиковал ли Жанлис и Лафонтена или восторгался Санд и Сю, характеризовал ли всю французскую литературу или высказывался о поэзии вообще — везде слышен протестующий голос Салтыкова, который питал органическое отвращение к «фарисейским поползновениям» нравоучительной литературы: «И дело ли поэзии преподавать нравственность? Она должна поражать нас идеями в живых образах, а наше дело извлекать из этого полезные истины».

6. Отзыв на «Несколько слов...» помещен вслед за двумя рецензиями Салтыкова («Первоначальный учитель» и «Подарок детям на праздник»). Эта деталь является дополнительным аргументом в пользу авторства Салтыкова, так как изучение порядка расположения рецензий в библиографическом отделе «Отечественных записок» показывает, что большей частью рецензии одного автора со сходной тематикой помещались рядом. Так, известные рецензии Салтыкова, если их было несколько в одном номере, всегда печатались одна за другой (см. «Отеч. записки», 1848 № 1, отд. VI, стр. 42—52; № 2, отд. VI, стр. 127—129; № 3, отд. VI, стр. 34—37). Особенности языка и стиля всех трех рецензий («Первоначальный учитель», «Подарок детям» и «Несколько слов о чтении романов»), полемическая страстность тона, острота постановки вопросов, общность в самом выборе этих вопросов и решении их не оставляет сомнения, что все они принадлежат одному автору, то есть Салтыкову.

7. Вообще языку разбираемой рецензии присущи все особенности, типичные для ранних рецензий и повестей Салтыкова: частые обращения, восклицания, риторические вопросы, пристрастие к нескольким синонимичным определениям перед существительным («порочные, низкие, животные страсти» и др.), частое употребление существительных с уменьшительными суффиксами («книжечка», «журналец», «повестушки», «стишки» и др.), постпозитивный член — «то» и др.

8. Косвенным подтверждением авторства Салтыкова является сравнение данной рецензии с аналогичным (по задаче) разбором «Библиотеки для русского юношества», напечатанным в сентябрьской книжке «Отечественных записок» 1848 г., когда Салтыков давно уже был в Вятке. Салтыков ядовито высмеял автора брошюрки «Несколько слов о чтении романов», предложившего русской молодежи читать только «Хрестоматию» Вине и некоторые главы из «Жиль Блаза» («остальные главы будут, вероятно, выдраны из книги»,— насмешливо говорилось в рецензии): «Наш автор, не соображая, что хрестоматии составляются только для несовершеннолетних и больше для ознакомления с языком, нежели с писателями, рекомендует такую хрестоматию взрослым русским ⟨...⟩ Остается ему пожелать, чтобы за каждым из молодых наших людей ухаживала нянюшка или присматривал дядька». Гомер, Шекспир, Гёте, Руссо, Вальтер Скотт, Ж. Санд, Э. Сю — все передовые мировые писатели — вот что должен, по мнению Салтыкова, читать человек, претендующий на сколько-нибудь серьезное образование. Через несколько месяцев после ареста Салтыкова в этом же журнале какой-то анонимный рецензент писал, требуя от книг для молодого поколения «больше всего поучительности»: «Дант, Сервантес, Шекспир — в них образованное ухо по-

ражается необузданностью и цинизмом выражений»...«также решительно нельзя читать древних!» «...Романы воспламеняют ум и раздражают сердце», «басни выучены в детстве», поэтому — читайте «безвредные» «поучительные» истории, которые образуют «эстетически». И как достойный финал этой реакционной болтовни, вывод в конце заметки: «Читайте, русские юноши, историко-критические обзоры г. Рюо», «читайте классиков в очищенном виде!» («Отеч. записки», 1848, № 9, отд. VI, стр. 32.— Н. Рюо — петербургский педагог, пытавшийся в 1848 г. выступить с публичными лекциями по истории литературы, но потерпевший фиаско из-за отсутствия публики и потому издавший их отдельной брошюрой).

Все эти соображения позволяют заключить, что автором рецензии на «Несколько слов о чтении романов» был Салтыков.

* * *

Кроме названных выше рецензий, Салтыкову в «Отечественных записках» 1847 г. принадлежат, по нашему мнению, рецензии на I, II, V, VI, VII книжки «Новой библиотеки для воспитания», издаваемой П. Г. Редкиным [23]. Разбирая «Рассказы детям из древнего мира» К. Ф. Беккера, Салтыков писал: «Мы уж несколько раз имели случай высказывать свои мысли насчет вреда, оказываемого на воспитание детей по преимуществу царствующим в нем спекулятивным элементом, и по поводу появления рассказов из „Одиссеи", в „Новой библиотеке для воспитания", издаваемой г. Редкиным, говорили, по каким причинам считаем их несовместными с детским возрастом». В сноске Салтыков указал, что об этом шла речь в «Отечественных записках», 1847 г., т. LIV, август (I, 355). На самом деле августовский номер входил в т. LIII «Отечественных записок». Видимо, здесь или ошибка Салтыкова, или опечатка [24]. Сопоставление разбора «Новой библиотеки» с рецензией Салтыкова на книгу Беккера показывает, что ссылка на августовскую книжку «Отечественных записок» в этой рецензии совершенно естественна и вызвана желанием напомнить читателю ранее высказанную мысль о древнегреческих поэмах, переделка которых превращает их в «довольно сухую сказку». К этому определению Салтыков возвращается и в рецензии на «Рассказы детям из древнего мира» Беккера. В отзыве на «Новую библиотеку» говорится: «Дитя не может понять прелести древних поэм, которые при простом изложении теряют свою поэтическую форму и обращаются в довольно сухую сказку». Ср. с рецензией на книгу Беккера: «В самом деле, составители подобного рода сочинений, чувствуя свое затруднительное положение, всегда бывают принуждены выпускать из рассказа то, что собственно составляет силу и характер поэмы ⟨...⟩. Результатом всех этих общипываний великого произведения остается только бездушный остов, одна сказка...» (I, 355—356).

Из всего сказанного следует, что как отзыв на «Рассказы» Беккера, так и разбор VII книжки «Новой библиотеки» написаны Салтыковым.

В этом же разборе содержится указание на принадлежность Салтыкову всех остальных отзывов на «Новую библиотеку для воспитания»: «...аккуратно просматривая каждую книжку „Библиотеки", в каждой находим одну или две статьи любопытные и полезные».

Кроме того, здесь же есть место, общее с одним из суждений в рецензии на V книжку «Библиотеки»: В «Библиотеке», «наряду, со статьями, составляющими материал для изучения, находятся, однако, и статьи, составляющие занимательное чтение, что доказывается признанием самих детей. Надобно ж им верить, потому что нет причины подозревать искренность детей». В рецензии на V книжку «Библиотеки» читаем: «Чтобы убедиться в несправедливости мнения г. Иванова ⟨последний считал, что его переделка «Слова о полку Игореве» нравится детям.— *Т. У.*⟩, стоит спросить двух-трех детей, прочитавших его передачу „Слова", понравилось ли им оно? Чему они в нем сочувствуют? Дети тем-то и прекрасны, что никогда не предпосылают своих воззрений, что они искренни, что они не научились еще уверять других чему сами не верят» («Отеч. записки», 1847, № 6, отд. VI, стр. 112).

Рецензия же на V книжку «Новой библиотеки» связана с разбором VI, автор которого пишет: «Первая статья этой ⟨VI⟩ книжки — „Послание Даниила Заточника к Георгию Долгорукому". Мы должны о ней сказать то же, что сказали по поводу „Слова о полку Игореве", рассказанного в предыдущей книжке „Библиотеки": произведения древней нашей словесности не могут быть интересны тем читателям, для которых назначается „Библиотека для воспитания"» («Отеч. записки», 1847, № 7, отд. VI, стр. 55). Разбору «Слова о полку Игореве» в передаче г. Иванова, который оставил от древнего литературного памятника «одни лирические выходки», посвящена большая часть рецензии на V книжку. Высмеяв «передачу» «Слова» г. Ивановым, рецензент приходит к тому заключению, на которое ссылается в рецензии на VI книжку «Новой библиотеки»: «...уверять, что дети станут сочувствовать древним нашим памятникам, воля ваша, такое уверение объясняется только личным воззрением говорящего, который себя ставит на место детей, или, что еще хуже, детей ставит на свое место» («Отеч. записки», 1847, № 6, отд. VI, стр. 112). Ср в разборе VI книжки «Библиотеки»: «Произведения древней нашей словесности — преждевременная для них ⟨детей⟩ пища; дети будут зевать, читая „Послание Даниила Заточника"» («Отеч. записки», 1847, № 7, отд. VI, стр. 55).

Из всего сказанного следует, что рецензии на V, VI и VII книжки «Новой библиотеки для воспитания» П. Г. Редкина принадлежат Салтыкову.

Принадлежность Салтыкову рецензии на I и II книжки «Новой библиотеки для воспитания» («Отеч. записки», 1847, № 2, отд. VI, стр. 115—116) доказывается на основании следующих фактов:

В разборах V и VII книжек «Библиотеки» содержатся указания, свидетельствующие, что все выпуски этого издания рецензировал один автор: «Каждая новая книжка „Библиотеки" более и более показывает полезное направление этого издания» («Отеч. записки», 1847, № 6, отд. VI, стр. 111). «...Аккуратно просматривая каждую книжку „Библиотеки", в каждой находим одну или две статьи, любопытные и полезные» (см. выше). Следовательно, если верно, что автором рецензий на V и VII книжки «Библиотеки» был Салтыков, то не менее справедливо, что он же разбирал и первые выпуски издания Редкина.

Дополнительным аргументом служит то обстоятельство, что рецензент I и II книжек «Библиотеки» подходит к оценке ее с критерием, типичным для литературных мнений Салтыкова, определявшего ценность рецензируемых книг степенью полезности их в деле ознакомления ребенка с окружающим его миром: «Несравненно полезнее узнать отчетливо одни главнейшие явления, чем принять многое на веру; богатство наших знаний заключается не в загадочных истинах, а в яснопознанных сведениях ⟨...⟩. „Русская летопись для первоначального чтения" г. Соловьева — простой, без всяких прибавок и рассуждений, пересказ Несторовой летописи на современном языке. Дело полезное: дети познакомятся с главнейшим древним источником нашей древней истории, прежде чем займутся историей и летописью как студенты или как ученые ⟨...⟩. Представление чего-нибудь научного в форме романа или повести очень выгодно как соединение двоякой пользы» («Отеч. записки», 1847, № 2, отд. VI, стр. 115—116).

«Детство и юношество,— пишет автор рецензии на I и II книжки «Библиотеки»,— требуют здоровой, питательной пищи» («Отеч. записки», 1847, № 2, отд. V, стр. 115). Ср. то же в рецензии на VI книжку, принадлежность которой Салтыкову установлена выше.

Таким образом, на основании всего сказанного можно с уверенностью заключить, что «Новую библиотеку для воспитания» рецензировал в «Отечественных записках» Салтыков.

* * *

Изучение критико-библиографического материала «Отечественных записок» после ареста Салтыкова подтверждает, что именно ему поручалась основная часть рецензентской работы в области детской и учебной литературы на протяжении всего 1847 г. и, особенно, первых месяцев 1848 г. После того, как Салтыков был арестован и

сослан в Вятку, разборы детских книг в «Отечественных записках» утратили свое большое принципиальное значение; серьезных же рецензий, своего рода «руководящих статей», сочетающих острую критику тогдашней воспитательно-педагогической системы с утверждением прогрессивных положительных идеалов, в течение полутора лет (1848—1849 гг.) не появилось ни одной. Последнее характерно не только для отзывов на детскую литературу, но вообще для всего библиографического отдела издания Краевского за 1848—1849 гг. Что касается детской литературы, то рецензирование ее стало поручаться людям случайным, мало отличающимся по своему интеллектуальному развитию от тех «книгоделателей», которых так едко вышучивал Салтыков. Если «изделия пестролитературной промышленности» были для Салтыкова только удобным поводом, чтобы высказаться о несправедливости общественного устройства, пороках существующей системы воспитания, о достоинствах социально-утопического романа и т. д., то после прекращения его сотрудничества в «Отечественных записках» рецензии на детские книги и учебники превратились в сентиментальные пересказы «конфектно-нравственных» (по определению Салтыкова) повестей. Например, «Князь Орфано-Орфано получил свое прозвание за особую заботу о птичках, которые кушают конопляное семячко ⟨...⟩ Удивительные приключения его развивают в читателе прекрасную потребность быть справедливым даже к животным» («Отеч. записки», 1848, № 7, отд. VI, стр. 39—40).

* * *

К середине 1847 г., помимо участия в «Отечественных записках», все ближайшие друзья Салтыкова [25] стали сотрудниками «Современника» Белинского и Некрасова.

Р. Р. Штрандман начал сотрудничать в «Современнике» (в отделе «Смесь») с января 1847 г. [26]. В июньской книжке «Современника» были помещены две большие рецензии В. Н. Майкова на комедию П. Меншикова «Шутка» и «Путешествие в Черногорию» А. Попова. В августовском номере «Современника» напечатана статья В. А. Милютина «Мальтус и его противники». Появление в «Современнике» Салтыкова следует поставить в непосредственную связь с начавшимся сотрудничеством в этом журнале его друзей — Милютина, Майкова и Штрандмана.

В объявлении об издании «Современника» на 1848 г. редакция журнала поместила инициалы Салтыкова (М. С.) среди известных имен «ученых и литераторов», участвовавших «трудами своими» «в девяти доныне вышедших книжках „Современника“» («Современник», 1847, № 10) [27]. Это объявление косвенно свидетельствует о том, что объем сотрудничества Салтыкова в «Современнике» 1847 г. был шире, чем нам известно благодаря указаниям Арсеньева, который, располагая черновиками Салтыкова, назвал только три его рецензии, обнаруженные позднее в октябрьской книжке «Современника» 1847 г. на книги:

1. «География в эстампах». Соч. Ришома и Альфреда Вингольда. «Курс физической географии». Соч. Влад. Петровского.
2. «Руководство к первоначальному изучению всеобщей истории». Соч. Фолькера.
3. «Несколько слов о военном красноречии» П. Лебедева.

До настоящего времени этот список не подвергся никаким изменениям: касаясь сотрудничества Салтыкова в «Современнике» 1840-х годов, исследователи ограничивались лишь предположениями о более ранней дате начала его работы в журнале Белинского и Некрасова [28].

Внимательно изучив библиографический материал «Современника» 1847 г., мы пришли к заключению, что Салтыков действительно стал писать для «Современника» не осенью, а летом 1847 г., то есть вслед за появлением в журнале рецензий В. Н. Майкова и одновременно с публикацией статей В. А. Милютина. Тем самым подтверждается, как сказано нами выше, позднейшее признание Салтыкова, что журнальную работу в «Отечественных записках» и «Современнике» он доставал через Майкова и Милютина с 1847 г.

В августовской книжке журнала Салтыкову, на наш взгляд, принадлежит сводная рецензия на детские издания: «Новая библиотека для воспитания», издаваемая Петром Редкиным. Кн. V, VI и VII. «Есть ли где конец свету?» Соч. И. Данилевского и А. Оссовского. СПб., 1847. «Друг детей. Книга для первоначального чтения».

Почти в течение полувека эта рецензия ошибочно приписывалась Белинскому. На принадлежность ее последнему впервые указал И. Феоктистов, напечатав выдержки из данной рецензии в книге «Свод мнений Белинского о детской литературе» (СПб., 1898) и опубликовав ее целиком в сборнике «К вопросу о детском чтении» (изд. 2. СПб., 1907). Вслед за И. Феоктистовым А. Г. Фомин включил названную рецензию в «Педагогические сочинения Белинского» и в примечаниях к этому изданию привел следующие доказательства принадлежности ее критику: 1. В первых отзывах о «Библиотеке», он ⟨Белинский⟩ высказался против переделки для детей классических произведений древней литературы. То же самое повторяет Белинский и в настоящей рецензии. 2. В рецензии содержится указание, что о работе Соловьева критик говорил в предыдущей рецензии, последняя же несомненно принадлежит перу Белинского. 3. Высокая оценка Плутарха характерна для Белинского [29].

На основании этих данных В. С. Спиридонов включил рецензию на V, VI и VII книжки «Новой библиотеки», «Есть ли где конец свету?» и «Друг детей» в XII том Полного собрания сочинений Белинского (1926 г.). Однако при этом не была учтена дата выхода в свет рецензированных книг: все они были изданы после отъезда Белинского за границу (5 мая 1847 г.), и, следовательно, он не мог быть автором названной рецензии. Начиная с 7-й и по 10-ю книжку 1847 г., в «Современнике» вообще не напечатано ни одной статьи или заметки Белинского. Учитывая это обстоятельство, В. С. Спиридонов впоследствии отверг авторство Белинского, оставив открытым вопрос об имени анонимного рецензента V, VI и VII книжек «Новой библиотеки» [30].

Кто же мог заменить Белинского — постоянного рецензента «Новой библиотеки» Редкина? Естественно предположить, что Майков или Милютин указали редакции журнала на Салтыкова, который занимался рецензированием детской литературы, и в том числе «Новой библиотеки», в «Отечественных записках».

Изучение текста рецензии подтверждает наше предположение.

Прежде чем перейти к обоснованию принадлежности Салтыкову рецензии на V, VI и VII книжки «Новой библиотеки», следует остановиться на аргументации Фомина, приписавшего эту рецензию Белинскому. Доказательствам Фомина можно противопоставить аналогичные аргументы, свидетельствующие, однако, об авторстве не Белинского, а Салтыкова.

1. В рецензии на V, VI, VII книжки «Библиотеки» содержится указание, что автор ее раньше высказывался против переделки г. Ивановым для детей «Слова о полку Игореве» и «Послания Даниила Заточника». Во-первых, Салтыков мог учесть точку зрения Белинского на этот счет, во-вторых, сам он, разбирая V и VI книжки «Библиотеки», писал и о «Слове» в передаче Иванова (см. выше) и о «Послании Даниила Заточника». Ср. эти строки со строками в рецензии «Современника»: «Дети решительно не поймут „Послания“ ни в подлиннике, ни в переделке ⟨...⟩ Что за странная, неуместная заботливость и поспешность! Что же потеряют дети, ежели прочтут „Послание Даниила“ позднее и прочтут его в подлиннике? Нам кажется, что они от этого выиграют» («Современник», 1847, № 8, отд. III, стр. 107).

2. Одобрительный отзыв о статье Соловьева «Русская летопись для первоначального чтения» характерен и для Белинского и для Салтыкова.

3. Для Белинского,—говорит А. Г. Фомин,—типична высокая оценка Плутарха. В рассматриваемой рецензии «Современника» читаем: «Нам жаль, что до сих пор мы не встречаем в детской библиотеке ни одного плутархова жизнеописания. Плутарх — настольная детская книга» (стр. 106). Салтыков также видел в «Жизнеописаниях» Плутарха лучшее детское чтение: «...там всякое слово — истина, каждая черта взята из действительности» (I, 342).

Помимо этого, в рецензии «Современника» на V, VI, VII книжки «Новой библиотеки» содержится ряд других моментов, подтверждающих предположение об авторстве Салтыкова.

Прежде всего анонимный рецензент «Современника» обнаруживает детальное знание всех книжек «Новой библиотеки» 1847 г. Причем критические оценки той или иной статьи «Библиотеки» совпадают с отзывами о них Салтыкова в «Отечественных записках». Выше было указано на сходство суждений о переделках «Слова» и «Послания Даниила Заточника», о статье Соловьева «Русская летопись для первоначального чтения» и «Жизнеописаниях» Плутарха. Следует отметить также, что характеристика переделок (для детей) древнегреческих произведений в рецензии «Современника» совпадает с определением их Салтыковым в рецензии на VII книжку «Библиотеки» в «Отечественных записках». В рецензии «Современника»: «Из прекрасного греческого мифа о Язоне и золотом руне вышла довольно бестолковая и вдобавок предлинная сказка» (стр. 106). В рецензии Салтыкова: после переделки древнегреческих произведений они «обращаются в довольно сухую сказку». И анонимный рецензент и Салтыков подчеркивали, что, если уж переводить классиков, то следует переводить их «без всяких урезываний и укорачиваний». «Рассказ Геродота простотою и наивностью своей в высшей степени способен завлечь детей 〈...〉 Однако жаль — это все-таки сокращение и переделка. Зачем же налагать руки на старика? Пускай бы он явился в своем настоящем виде. Несравненно было бы лучше взять одну из книг Геродота и перевести ее целиком 〈...〉, делая пояснения и замечания на места темные...» («Современник», 1847, № 8, отд. III, стр. 108). Оценивая «Рассказы детям из древнего мира» К. Ф. Беккера, Салтыков неоднократно указывал: «...для того, чтобы изучение Гомера могло принести юноше ожидаемый результат, нужно читать Гомера не в переделке, не в приноровленном к известной цели переводе, а в самом подлиннике или переводе подстрочном, в котором тщательно были бы сохранены все особенности, весь характер поэмы» (I, 354; см. также 355, 357, 359)

Необходимо отметить также, что и общая оценка издания П. Г. Редкина анонимным рецензентом «Современника» совпадает с точкой зрения Салтыкова. «В детской библиотеке, повторяем опять,— говорится в рецензии «Современника»,— видим мы издание в высшей степени полезное и дельное» (стр. 109). Рецензируя VII книжку «Библиотеки», Салтыков писал: «Должны признаться также, что многие статьи ее 〈речь идет об оценке всех книг «Библиотеки» 1847 г. — *Т. У.*〉 и полезны и занимательны для детей».

Анонимный рецензент «Современника» выдвигает перед детской литературой то же требование, о котором неоднократно говорил Салтыков, подчеркивая, что детские книги должны прежде всего знакомить ребенка с окружающим его физическим миром: «Ребенку несравненно интереснее прочесть, отчего идет дождь, мешающий ему бегать по двору, нежели узнать, в каком костюме ходили римляне. Расскажите ему о бабочке, за которою он гоняется по лугу, о лошади, которая возит его в школу, о старом верном друге Барбосе, который стережет дом и в благодарность принимает побои. 〈...〉 Говорите с ребенком почаще о вещах ему близких; расскажите ему, как строят дома, как пекут хлеб, который он каждый день ест, как делают стул, на котором он сидит. Он этого ничего не знает» (стр. 107; ср. I, 339, 351).

Характерен для Салтыкова и тот упрек в отрешенности от насущных вопросов действительности, который бросил своему поколению рецензент «Современника»: «Наш общий недостаток,— указывал он,— мы все глядим куда-то вдаль и не видим, что у нас под носом делается» (стр. 108). «Никаких, решительно никаких положительных знаний мы не имели,— писал Салтыков в автобиографической повести «Брусин»,— и потому поневоле должны были пробавляться общими местами и бесплодной силлогистикой. Многие, например, из нас отчетливо могли себе представить будущность человечества, а не видели, что делается у них под руками...» (I, 293). В черновой рукописи «Брусина» (1847): вместо «под руками» — «под носом», как и в рассматриваемой рецензии на «Библиотеку»[31].

Показательно также почти дословное совпадение отдельных выражений в рецензии «Современника» и разборах Салтыкова. Рецензент «Современника» пишет: «...Станем, по крайней мере, давать нашим детям пищу поздоровее той, какою нас кормили». «Не бойтесь знакомить детей с древними целиком, без всяких урезываний и укорачиваний. Это самая здоровая, самая питательная пища их молодому уму» (стр. 107—108). Ср. у Салтыкова та же метафора: «детство и юношество требуют здоровой питательной пищи» («Отеч. записки», 1847, № 2, отд. VI, стр. 115; см. также: № 7, отд. VI, стр. 55).

Кроме того, самый стиль рецензента «Современника», постоянно впадавшего в ту полунасмешливую патетику, которая отличает манеру Салтыкова, также свидетельствует об авторстве последнего. Для подтверждения сказанного приведем несколько строк из рецензии «Современника»: «Можно себе представить, какое приятное впечатление произведут на ребенка первые строки послания 〈речь идет о «Послании Даниила Заточника».—*Т. У.*〉: „Вострубим, братцы, как в златокованные трубы в разум ума своего". О бедные дети! Мало трубят им в уши! А тут еще какой-то неведомый им ссыльный Даниил тоже начинает трубить, да еще в разум ума своего. Тут поневоле преждевременно оглохнешь 〈...〉 Еще ужаснее — похождения Энея. „Энеида" Вергилия, сладенькое произведение придворного поэта, и в подлиннике не очень занимательна, а тут еще предлагают ее в переделке, да еще и детям! Как для них поучительно описание страсти Дидоны и ее самоубийство, вследствие отринутой любви! Как это им доступно! Сколько нравственных мыслей вызовет в них подобный рассказ!» (стр. 107—108).

Все приведенные соображения позволяют заключить, что сводная рецензия на V, VI, VII книжки «Новой библиотеки», «Есть ли где конец свету?» и «Друг детей» написана Салтыковым.

В сентябрьской книжке «Современника» (отд. III, стр. 33—34) Салтыкову принадлежит, на наш взгляд, рецензия на «Краткую историю средних веков в синхронистическом порядке с приложением синхронистической таблицы», составленную А—ром Аникиевым, преподавателем при обществе благородных девиц 〈...〉 СПб., 1847.

Мы не раз уже замечали, говоря о литературно-критической деятельности Салтыкова в «Отечественных записках», что он никогда не ограничивался перечнем недостатков или достоинств разбираемой книги, что в рецензиях его есть замечательная особенность: ослепительной искрой вспыхнет вдруг яркий образ, меткое сравнение, насмешливое описание,— и мгновенной вспышки этой достаточно, чтобы угадать в анонимном рецензенте Салтыкова. Так и в названной заметке: несколько энергичных мазков — и готова целая картина: благородные девицы изучают «Краткую историю» Аникиева: «Что нужды, что от этой речи глаза слушательниц не разгораются от любопытства, что они не следят с судорожным вниманием за его рассказом! что нужды, что они, слушая повествование о разных народах, зевают или, долго покачивая сонной головкой, наконец заснут! Лишь бы достоинство кафедры не было скомпрометировано и не пострадала бы применением к детским понятиям важность науки, или лучше классической докторской мантии и академического парика...» (стр. 34). Ср. это описание с салтыковской характеристикой науки в рецензии на «Путешествие вокруг света» (стр. 436 настоящего тома).

«Из этой краткой истории средних веков,— говорится в начале рецензии,— видно, что автор ее, несмотря на то, что пишет для девиц, считает скуку и сухость изложения необходимыми принадлежностями науки. Полный этого схоластического величия, он не позволил себе унизить достоинства многодумной Клио, вложив в уста ее речь полезную и интересную для своих слушательниц; зачем ей говорить образами и рисовать картины минувшего быта? Истина должна быть проста, а простота, по его мнению, только тогда и есть, когда при факте остается собственное имя действующего лица и год события» («Современник», стр. 33). Здесь что ни строчка, то мысль, типичная для Салтыкова — рецензента учебной литературы. География, от которой осталась одна «голая номенклатура гор, городов, губерний и т. д.» (I, 334), история, превратившаяся в «афишку, на которой без разбора и системы напечатаны имена актеров» (I, 339), вообще вся тогдашняя «наука для детей», «су-

хая, исполненная праздных сентенций и голословных фактов» («Отеч. записки», 1848, № 1, отд. VI, стр. 43) — постоянные мишени насмешек Салтыкова.

Характерно для Салтыкова и требование, предъявляемое автором рецензии на «Краткую историю» к детскому учебнику: книги такого рода, говорится в рецензии, должны быть «полезны» и «интересны», должны «говорить образами и рисовать картины» («Современник», стр. 33). Об этом же писал Салтыков, рецензируя через месяц «Географию в эстампах»: авторы учебников должны «сделать свою науку занимательною и доступною для детей», настоящий детский учебник должен состоять из «живых, в разнообразной и драматической форме изложенных рассказов» (I, 334).

Со стороны внешнего оформления рецензия на «Краткую историю» представляет органическое слияние патетики с иронией, типичное для раннего Салтыкова. Языковые особенности рецензии: анафоры, синтаксические параллелизмы (примеры см. в цитированных выдержках) служат дополнительным подтверждением принадлежности рецензии на «Краткую историю средних веков» Салтыкову.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] К. К. Арсеньев. Материалы для биографии М. Е. Салтыкова.— «Вестник Европы», 1890, № 1, стр. 326—327.

[2] С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин.Биография, т. I. Изд. 2. М., 1951, стр. 257.

[3] См. Дело канцелярии министра народного просвещения, ч. I. Начато 24 февраля 1848, кончено 24 сентября 1848 г. (ЦГИАЛ, ф. 772, оп. 4, ед. хр. 149225, ч. I, л. 369).

[4] И. Т. Трофимов. М. Е. Салтыков-Щедрин о реализме русской литературы. Пособие для учителя. М., 1955, стр. 13, 18 — 19.

[5] Б. В. Панковский. Натуральная школа Белинского и Салтыков.— «Ученые записки Ленингр. гос. пед. института им. А. И. Герцена». Кафедра русской литературы, т. 81, 1949, стр. 78—79.

[6] Л. Ф. Пантелеев. Из воспоминаний прошлого. М.— Л., 1934, стр. 519.

[7] «Отеч. записки», 1848, № 1, отд. VI, стр. 63—70.

[8] Московский рецензент в большинстве случаев вел речь только о достоинствах или (очень редко) недостатках разбираемых изданий, никогда не отклоняясь в сторону, как делали это Майков и Салтыков, ценившие рецензентскую работу прежде всего за возможность высказаться по тому или иному волнующему их вопросу. См., например, рецензии: «Забавный зверинец» («Отеч. записки», 1848, № 4, отд. VI, стр. 132), «Исторические животные» (1847, № 3, отд. VI, стр. 42), «Всеобщая география» (1847, № 6, отд. VI, стр. 112—113) и др.

[9] С. А. Макашин. Указ. соч., стр. 259.

[10] Кроме назвнных выше рецензий, мы считаем принадлежащими Салтыкову еще следующие краткие библиографические заметки на книги: «Первоначальное чтение». СПб., 1847; «Петербургский сборник для детей», изданный В. Петровым и М. М. СПб., 1847 («Отеч. записки», 1847, № 6, отд. VI, стр. 123—125); «Краткая русская азбука или Букварь» и «Курс скорописи и практического правописания» В. Половцева («Отеч. записки», 1847, № 7, отд. VI, стр. 54); «Детский птичник и зверинец, или Описание любопытнейших птиц и зверей». СПб., 1848; «Вечер в пансионе». Повесть для детей. СПб., 1848; «Друг молодых людей, или Повесть для юношества». Соч. Дессента. СПб., 1848 («Отеч. записки», 1848, № 2, отд. VI, стр. 127—129). В высшей степени вероятна принадлежность Салтыкову рецензий «Назидательные примеры юношам», соч. Ф. Борзиловской. Новгород, 1848; «Повести для маленьких детей». СПб., 1848; «Радуга». Детский альбом художественный и литературный. СПб., 1848; «Крансое яичко 1848 года». СПб., 1848 («Отеч. записки», 1848, № 5, отд. VI, стр. 55—59).

[11] Занося названную тему в свой дневник («Запас общеполезного»), Петрашевский сопровождает ее припиской: «См. сочинения о воспитании. Пред написанием или развитием этого плана должно написать или по крайней мере ознакомиться с сочинениями о воспитании и, если можно, то сделать практические опыты о способах психологического развития мышления» («Дело петрашевцев», т. I. М.— Л., 1937, стр. 554).

[12] Консидеран. Привлекательное воспитание, посвященное матерям семейств,— третья часть «Destinée sociale». Именно эту книгу брал Салтыков у Петрашевского и В. Р. Зотова (XVIII, 40—41).

[13] «Дело петрашевцев», т. I, стр. 82.

[14] Ш. Фурье. Избранные сочинения, т. II. М., 1939, стр. 166, 180.

[15] Там же, стр. 164, 165, 183.

[16] Б. Б. Панковский. Указ. статья, стр. 78—79.

[17] В цитированном высказывании говорится о «декартовском периоде», «периоде сомнения во всем, что вошло в восприимчивую голову ребенка незаконным путем „внушения"».В отзыве на «Русские сказки», изданные К. Авдеевой, который,по нашему

мнению, бесспорно принадлежит Салтыкову, речь идет также о «внутреннем декартовском периоде», о «декартовской переделке» и встречается словосочетание: «восприимчивая голова ребенка».

[18] Определяя свое отношение к «изделиям пестролитературной промышленности», Салтыков почти всегда писал о детских книжках не иначе, как сопровождая их ироническим определением «так называемые» (см. I, 334, 349, 351 и др.).

[19] Строки в разборе «Путешествия вокруг света» насчет того, что «мы тогда же имели случай заметить („Отеч. записки", 1841 г., ноябрь) особенную методу, употребляемую г. Студитским при преподавании географии, состоящую в том, чтоб дети не занимались механическим заучиванием одной номенклатуры науки...», следует рассматривать как обычный для редакции «Отеч. записок» литературный прием объединения критического материала своего журнала, независимо от имени рецензента.

Кроме того, в 1841 г. детскую литературу в «Отечественных записках», и в том числе книги Студитского, рецензировал Белинский (Белинский, т. IV, стр. 470—471).

И главное. Нападки на «механическое заучивание одной номенклатуры науки» типичны для Салтыкова (см., например, I, 334, 339).

[20] А. А. Краевский, отвечая на запрос Петербургского цензурного комитета, заинтересовавшегося — в числе других лиц — именем автора статьи о «Русских сказках», указал на сотрудника «Отечественных записок» П. Цейдлера (см. «Дело о доставлении в канцелярию г. министра народного просвещения сведений для сообщения в III Отделение об авторах статей, напечатанных в 1 и 3 №№ „Отеч. записок" и в № 1 „Современника" за 1848 год».— ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 1, № 1985.— Сообщено В. Н. Баскаковым). Однако статья о «Русских сказках» не могла принадлежать Цейдлеру, особенности рецензентской манеры которого заключались в пересказе содержания разбираемой книги, неумеренном цитировании и мелочном объяснении приведенных выдержек. Стиль и язык очень посредственных заметок Цейдлера коренным образом отличаются от рецензии на «Русские сказки», резко выделяющейся не только богатством и глубиной содержания, но и мастерством литературного оформления со всеми специфическими особенностями его, присущими критическим опытам Салтыкова (ср. рецензии Цейдлера: «Статистические очерки России». Соч. К. Арсеньева; «Слово в неделю Сыропостную»; «О молитве Манассии»; Сборник газеты «Кавказ»; «Атлас Музеума имп. Вольного экономического общества»; «Журнал общего собрания гг. акционеров царскосельской железной дороги».—«Отеч. записки», 1848, № 4, отд. VI, стр. 64—79; «Военно-медицинский журнал».— «Отеч. записки», 1848, № 5, отд. VI, стр. 36—41 и др. О принадлежности названных рецензий Цейдлеру— см. ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 1, № 1986.— Сообщено В. Н. Баскаковым.

[21] Ср. конспект книги Кабаниса «Rapports du physique et du moral de l'homme» («Соотношение физического и морального в человеке»), над которым Салтыков работал, по-видимому, в 1846—1847 гг. (Н. В. Яковлев. Записи чтения М. Е. Салтыкова в 40-х годах.—«Известия АН СССР», Отд. общественных наук, 1937, № 4, стр. 868).

[22] О причинах отхода Салтыкова от редакции «Современника» подробнее см.: С. А. Макашин. Указ. соч., стр. 259, 267.

[23] На принадлежность Салтыкову рецензий на «Новую библиотеку для воспитания» указывал хотя и без аргументации еще Р. В. Иванов-Разумник («Салтыков-Щедрин». М., 1930, стр. 62) и вслед за ним Б. В. Папковский (в указ. статье, стр. 78). Рецензия на I и II кн. «Новой библиотеки» помещена в «Отеч. записках», 1847, № 2, отд. VI, стр. 115—116; на V кн.— № 6, отд. VI, стр. 111—112; на VI кн.— № 7, отд. VI, стр. 54—55; на VII кн.— № 8, отд. VI, стр. 116—117. Отзывы на III, IV, VIII, IX кн. «Новой библ.» состоят только из перечня входящих в «Библиотеку» статей.

[24] Опечатки в нумерации томов — явление обычное не только в подстрочном примечании: даже на титульном листе L тома «Отечественных записок» напечатано LI.

[25] Под ближайшими друзьями Салтыкова мы разумеем В. Н. Майкова, В. А. Милютина и Р. Р. Штрандмана, которые в начале 1847 г. перестали посещать собрания Петрашевского и организовали свой собственный небольшой кружок. Основой для сближения Салтыкова, Майкова, Милютина и Штрандмана послужила определенная общность идейных интересов и литературная работа. См. об этом подробнее: С. А. Макашин. Указ. соч., стр. 213—215.

[26] А. В. Никитенко, говоря о своей редакторской деятельности в «Современнике», упомянул об участии в журнале Штрандмана в дневниковой записи от 31 января 1847 г. (А. В. Никитенко. Дневник, Гослитиздат, 1955, т. I, стр. 301).

[27] О расшифровке инициалов «М. С.»—см.: С. А. Макашин. Указ. соч., стр. 259, 534.

[28] В. Е. Евгеньев-Максимов. Новые материалы о сотрудничестве М. Е. Салтыкова-Щедрина в «Современнике». — «Лит. наследство», т. 13-14, 1934, стр. 57; С. А. Макашин. Указ. соч., стр. 258—259 и др.

[29] «Педагогические сочинения Белинского». Под ред. А. Г. Фомина. СПб., 1912, стр. 216—219, 249—250.

[30] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XIII. Л., 1948, стр. IV.

[31] ИРЛИ, ф. 366, оп. 1, № 10.

ШЕСТЬ РЕЦЕНЗИЙ САЛТЫКОВА В «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСКАХ» 1847—1848 гг.

⟨1⟩

Робинзон Крузе. Роман для детей. Сочинение Кампе. Перевод с немецкого В. Межевича. *Издание второе.* В двух частях. С.-Петербург. В тип. императорской Академии наук. 1846. В 8-ю д. л. XII, 224 и 248 стр.

История России в рассказах для детей. Сочинение Александры Ишимовой. *Издание третье,* исправленное и пополненное. В 3-х частях. С.-Петербург. В тип. военно-учебных заведений. 1847. В 8-ю д. л. 379, 369 и 425 стр.

Альманах для девиц первого и второго возраста. Переделан с французского П. В—им. С 12-ю картинками. С.-Петербург. В тип. К. Жернакова. 1847. В 16-ю д. л. VIII и 152 стр.

Мысли и повести, посвященные юношеству. Сочинение М. Корсини. С.-Петербург. В тип. III Отделения собственной е. и. в. канцелярии. 1846. В 8-ю д. л. 325 стр.

Русская азбука для детей, составленная С. С тремя политипажами и 176 буквами, наклеенными на толстую бумагу, в коробочке из тонкой папки. С.-Петербург. В тип. Фишера. 1846. В 16-ю д. л. V и 52 стр.

Детская корзиночка. Разноцветные сцены (?!) из жизни милых малюток. С 12-ю иллюстрированными картинками. С.-Петербург. В тип. Фишера. 1847. В 32-ю д. л. 112 стр.

Рождественский сочельник и страстная суббота, конечно, отмечаются красными чернилами или затейливыми виньетками в дневниках составителей детских книжек. Изготовив подарок милым детям для елки или светлого праздника, можно помириться с жизнью, забыть все горести и лишения, начиная от неприятностей по службе до тяжелого одиночества преклонных лет. Столько улыбок, милых ласок, восторгов, игривой беготни, хлопанья бескорыстными ручонками наделать на свете!.. Все, что только есть на земле самого чистого, самого невинного — все это живет вами, произносит ваше имя, нянчит вашу книжку почти целый день!.. Ваше сочинение чуть не едят вместе с конфектами, пряниками и красными яйцами...

Но, увы! Проходят праздники, и вместе с ними кончаются успехи детских книжек в малолетней публике. Родители или наставники, отыскав поучительное сочинение где-нибудь под куклой или будничной курткой,— под страхом наказания обязуют невинных малюток приступить к чтению и изучению его, и тут-то на место улыбок и чествований являются кислые гримаски и всякие поношения...

Такова участь большей части детских книжек; но здесь, как и везде, к счастью, есть исключения, и исключение самое утешительное, более других «вызывающее на размышление» — это Робинзон Крузе.

Факт, буквально беспримерный в летописях литературы: сочинение, написанное почти полтора столетия назад, до сих пор занимает первое место в детской библиотеке! Правда, Даниель Фоэ писал «Робинзона» не для детей, но его скоро переделали для этой цели, и уже Жан-Жак Руссо говорил: «Эта книга будет первая, которую прочтет мой Эмиль; долгое время в ней будет заключаться вся его библиотека, и навсегда в его библиотеке она займет важное место». Руссо не ошибся: каждый воспитатель и в наше время повторит его отзыв о «Робинзоне».

В чем же секрет такой живучести совершенно простого вымысла, этого незатейливого рассказа о приключениях человека, выброшенного бурею на необитаемый остров и принужденного удовлетворять единственно своими силами самые первые физические потребности?..

Эфемерность *нравоучительных* детских книжек ясно доказывает, что тайна этой живучести заключается не в моральных лоскутках, вклеенных в вековой книжке без всякой необходимости и часто совсем некстати. Напротив, при каждой новой переделке «Робинзона», он более и более

очищается от этих лоскутков. Мы даже думаем, что, отбросив их совершенно, он сделался бы еще привлекательнее, еще полезнее...

«Как? что такое? что вы сказали?» — заговорит всякая маменька, решившая сделать из своего ребенка «прекрасного человека». — Не думаете ли вы, что детям не надо внушать с ранних лет, какими они должны быть, когда выйдут на свою волю?..»

Мы именно так думаем, и вот почему: ребенок, как бы остер и понятлив ни был, не может усвоить себе нравственного правила до тех пор, пока не разгадает собственным опытом многосложного устройства той общественной жизни, в которой понадобятся ему эти правила; только в этой среде, только *на деле* может он их постигнуть, и постигает быстро и ясно, если в детстве приучили ум его работать быстро и правильно и не засаривали головы его разными будто бы полезными мыслями, в которых часто не совсем убежден и тот, кто их предлагает устно или печатно. Мало того, самое лучшее *внушенное*, т. е. заученное, но несознанное, нравственное правило становится сущим злом для человека, когда ум его начнет работать свободно и потребует отчета в каждом слове, в каждом движении души. А такая пора, такой внутренний *декартовский период* был у каждого из нас и бывает рано или поздно в жизни каждого человека.

В этот период сомнения во всем, что вошло в восприимчивую голову ребенка незаконным путем «внушения», решается нравственная участь человека. Гордый, благородно-самонадеянный ум юноши становится лицом к лицу с своим прошедшим, и невозможно уже вмешаться в эту борьбу ни маменьке, ни наставнику. Выходит победителем только тот, чей ум заранее был приготовлен к этой битве строго-логическим воспитанием, приучен видеть вещи так, как они суть, а не как бы должны быть по системе педагога, — одним словом, чей ум развивали в детстве, а не пеленали нравственными правилами.

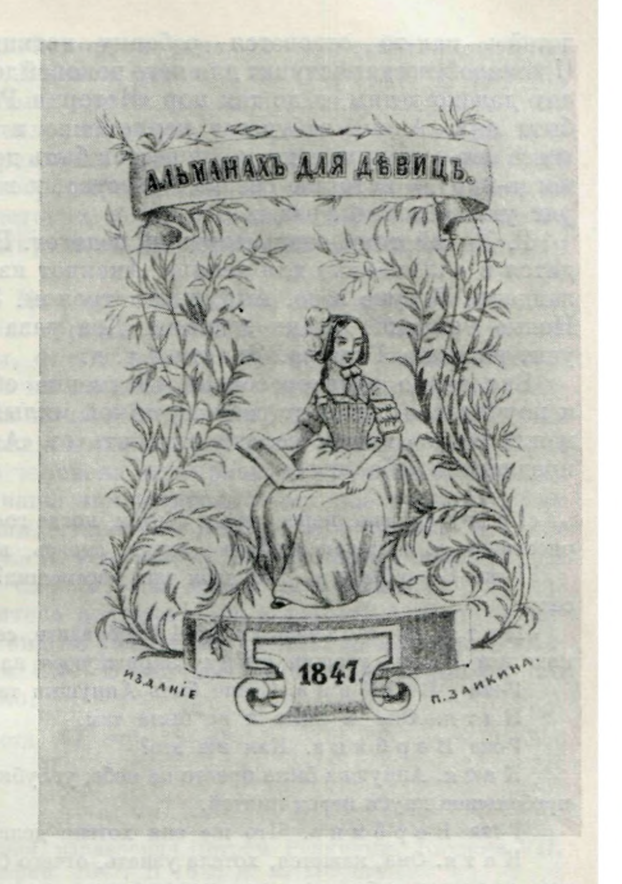
Развить способности, приучить ум действовать быстро, ловко, свободно — вот единственная цель воспитания, и с этой-то целью вполне сообразен «Робинзон Крузе».

Основная идея его есть анализ самых простых, самых удобопонятных для детей потребностей человека. Ребенок, читая его, невольно задумывается о предметах самых близких, самых знакомых, открывает как бы новый мир вокруг себя и таким образом приучается думать обо всем насущном, приучается жить и мыслить в одно время. Другой работы для молодого ума, более легкой и, следовательно, более приятной, не придумает никакой затейник.

Что касается собственно до второго издания «Робинзона», переведенного г. Межевичем с немецкой переделки почтенного детского писателя Иоганна Кампе, то его можно хвалить, покупать и дарить детям во всякое время года только для того, чтоб переводчик мог скорее приступить к третьему изданию, в котором картинки, вероятно, будут лучше, а нравоучений, может быть, совсем не будет!

«История России в рассказах для детей» тоже выходит из круга элементарных детских книжек. Конечно, занимать детей историческими событиями, фактами общественной жизни—не значит говорить с ними о предметах, доступных их разумению. Но г-жа Ишимова владеет особым искусством низводить исторические события на степень явлений, близких младенческому уму, и облекать рассказ об этих событиях в формы самые обольстительные для детского воображения. Популярность и грациозность ее пера истинно-неподражаемы.

Например, как бы рассказали вы ребенку первый период русской истории, как бы рассказали вы ему что-нибудь о характере славян? «Они были так честны, что в обещаниях своих, вместо клятв, говорили только:



«АЛЬМАНАХ ДЛЯ ДЕВИЦ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ВОЗРАСТА». СПб., 1847

Шмуцтитул

„если я не сдержу моего слова, то да будет мне стыдно“», — скажете вы? Но ведь ребенок не поймет этого, потому что не испытал на деле важности обещания. Дайте же ему книгу г-жи Ишимовой, и он прочтет с удовольствием две страницы о характере славян, видя, что на третьей странице идут стихи; а прочтет стихи — и познакомится с «*Песнью над гробом славян-победителей*» Жуковского. И такой отрывок не один; в «Истории России» г-жа Ишимова поместила все лучшие патриотические места стихотворений Жуковского, Языкова, Батюшкова и других русских писателей.

А вот, например, как начинает она рассказ о междуцарствии:

«Так называется в истории нашей это несчастное время. когда русские не имели государя, по всей справедливости называемого *отцом народа*, и потому испытывали всю горесть сиротства и беззащитности! Только те из вас, милые читатели мои, которых зовут *сиротками* и которых некому ни приласкать, ни защитить, ни остановить от дурных поступков, ни похвалить за добрые, могут иметь некоторое понятие о том, что чувствовали предки наши во время междуцарствия. Оно продолжалось три года и заключало в себе столько бедствий, что я не знаю с чего начать рассказ мой!»

Объяснить детям необходимость власти в обществе, решить для них основной вопрос государственного права — вот какая задача предстояла сочинительнице, и вы видите, как неподражаемо исполнила она ее при помощи искусного сближения общественной жизни с частною. — Мило, мило, тысячу раз мило!!!

Одна мысль щемит нам сердце и мешает привести еще несколько цитат, свидетельствующих о достоинствах «Истории России в рассказах для

детей»: как-то отзовется ребенку истинно *материнский* труд г-жи Ишимовой, когда наступит для него роковой декартовский период. Но до него еще далеко детям, и до тех пор «История России» будет прочитана и забыта ими. А она забудется непременно и должна забыться, ибо в ней вовсе нет *истории*; дети же, перестав быть детьми, захотят наконец узнать когда-нибудь историю своего отечества, и в этом случае их не удовлетворят уже розовые фразы...

Г. В—ий тоже очень хороший педагог. Вот что, между прочим, находится в «Альманахе для девиц». Анекдот из жизни Попа. Юлианский календарь. В руце лето. Аннушка-астроном. Затмение обеда. Эры и эпохи. Новые условия. Знаки зодиака. Два раза подарки в новый год. Чему учит гигиена. Гиджра. Эпакта и т. д.

Вас верно заинтересовало «Затмение обеда». Действительно хорошо и поучительно, и даст ребенку такой милый взгляд на науку... Но «Затмение обеда» никак нельзя отделить от «Аннушки-астронома», и потому предлагаем обе пьесы.

«На другой день, перед самым обедом, когда госпожа Вербина кончила свой класс рисованья со старшею дочерью, вдруг, смеясь, вбежала младшая.

Г-жа Вербина. Кто тебя так рассмешил? расскажи нам, отчего ты так весела?

Катя. Ах, это очень смешно! Вообразите, сейчас, войдя в кухню, я вижу, что наш кот Васька утащил рыбку, жарившуюся на сковороде.

Г-жа Вербина. Стало быть Аннушки там не было?

Катя. Она и была и не была там.

Г-жа Вербина. Как же это?

Катя. Аннушка была просто на небе; углубилась в астрономию и чертила углем пребольшие круги перед плитой.

Г-жа Вербина. Что же она хотела делать?

Катя. Она, кажется, хотела узнать, отчего бывает затмение,— а Васька, между тем, произвел *рыбье затмение*: хорошо еще, что я вовремя подоспела (?).

Г-жа Вербина. Ну и ты этому-то смеялась?

Катя. Еще бы! Это ужасно смешно!

За обедом г-жа Вербина побранила Аннушку за ее *бесполезные занятия* и сказала ей, что впредь, для *избежания беспорядка*, она не позволит ей присутствовать при вечернем разговоре...»

Во-первых — остро, во-вторых — мило, в-третьих — назидательно.

«Альманах для девиц» имеет одно неотъемлемое достоинство: характер безотчетной чепухи выдержан в нем с заглавного листка до последней страницы. Попробуйте же уловить основную мысль в «Мыслях и повестях, посвященных юношеству» г-жею Корсини!

Обращаясь в предисловии к своим «юным читателям», г-жа Корсини говорит: «Знаю, что сухое определение истины и фактов не занимательно для ваших юных умов, требующих во всем жизни и ощущений...» и вслед за тем предлагает юным читателям следующие вопросы: «Можете ли вы определительно сказать, для чего вам дана жизнь? для чего у вас беспредельная душа, подобие бога? Обращали ли вы когда-нибудь внимание на удивительную постепенность, которая царствует во всем творении божьем?» и т. п.!..

Правда, в ответах г-жи Корсини видны истинно женские ловкость и гибкость; но эти прекрасные качества заметны только для тех, кто догадается, как бы автор отвечал на свои вопросы не детям... Юные читатели, напротив, извлекут из посвященных им мыслей и повестей разве такое заключение: г-жа Корсини, скажут они, должна быть очень добра и ласкова, только она все говорит про такое...

Что же касается до «Детской корзиночки», то единственная особенность ее состоит в заглавии. Бывали детские «альманахи», «подарки», «альбомы», «цветники», «букеты», «друзья», «прогулки», «зеркала»; но «корзиночки», кажется, не бывало. Впрочем, содержание ее так же пусто, написана она так же безграмотно, как и другие книжки, возникшие на том же основании. 12 литографированных картинок тоже ничем не уступают картинкам других детских книжек и даже имеют перед всеми важное преимущество: они выкрашены пестрыми красками и покрыты каким-то лаком.

Милые дети, жалкие дети! Как все вас любят, как заботятся о вас, а между тем горьких минут у вас гораздо больше, нежели у всякого взрослого!.. И догадываетесь ли вы, отчего вам так жутко на свете? Оттого, что вы не большие, оттого, что вы не понимаете, чего хотят от вас большие, не понимающие чего вам надо. Вместо того, чтобы *пособить* вам жить и развиваться собственною жизнию, из вас хотят сделать что-нибудь по вкусу известного взрослого человека, приправить, нафаршировать как жареного рябчика. Природа ваша противится этому обезличению; вам больно, когда вас ведут за уши, ставят на колени или сажают в такое место, где ничего не увидишь. И все это за *бесполезные занятия*, для *избежания беспорядка*; одним словом, *для вашей же пользы!*...

Ну, полноте, полноте, уймитесь ребятки! Все заживет! А пока читайте «Робинзона Крузе»; если же еще не умеете вы читать, то вот вам и «Азбука, составленная господином С.». В ней нет ничего особенного, но выучиться читать по ней можно.

⟨«Отеч. записки», 1847, № 1, отд. VI, стр. 58—62.⟩

⟨2⟩

Новая библиотека для воспитания, издаваемая Петром Редкиным. Книжка VII. Москва. В университетской типографии. 1847. В 16-ю д. л. 190 стр.

Мы слышим совершенно различные мнения об этом издании. Одни столько же его хвалят, сколько другие им недовольны. Между тем, аккуратно просматривая каждую книжку «Библиотеки», в каждой находим одну или две статьи, любопытные и полезные. Так, например, и в седьмой книжке читатель с удовольствием прочтет «Похождения Энея» (сокращение «Энеиды», подобное сокращениям «Илиады» и «Одиссеи», помещенным в прежних годах), «Домашний быт древнего Рима» (очень интересное извлечение из Беккера), «Геродот и его повествования» (статья вторая) и «Бронзовый вепрь» (рассказ Андерсена). Здесь в четырех статьях «и приятность и польза», как обыкновенно говорится: материалы и для приобретения познаний, и для занимательного чтения. Нам кажется, два противоположные мнения можно по возможности объяснить. Недовольные «Библиотекой» правы потому, что, по их мнению, содержание этого издания не совсем соответствует его цели: дитя не может оценить по достоинству такие статьи, каковы, например, «Домашний быт древнего Рима» и «Геродот и его повествования», не может понять прелести древних поэм, которые при простом изложении теряют свою поэтическую форму и обращаются в довольно сухую сказку. Те же, которые хвалят «Библиотеку», хвалят ее потому, что в ней, наряду со статьями, составляющими материал для изучения, находятся, однако, и статьи, составляющие занимательное чтение, что доказывается признанием самих детей. Надобно же им верить, потому что нет причины подозревать искренность детей. Разногласие толков произошло оттого, что издатель не объяснил удовлетворительно цели своего издания, плана, который он себе начертал, системы, которой будет держаться. Дети детям рознь: одни с удовольствием будут

читать то, от чего другие морщатся. Для многих воспитывающихся нужны и «Домашний быт древнего Рима» и прочие древности; для других еще преждевременна каждая древность. Признаем справедливость некоторых упреков, делаемых «Библиотеке для воспитания», но вместе с тем должны признаться также, что многие статьи ее и полезны и занимательны для детей.

⟨«Отеч. записки», 1847, № 8, отд. VI, стр. 116—117.⟩

⟨3⟩

Путешествие вокруг света. Южная Америка и Антильские острова. Издано Ф. Студитским. С 8-ю картинками и 3-мя политипажами. С.-Петербург. В тип. книжного магазина Крашенинникова и Комп. 1848. В 12-ю д. л. 157 стр.

Наконец, перед наступлением праздников и столь вожделенной для книгоделателей елки посыпались со всех сторон так называемые детские книжки — большие и маленькие, с картинками и без картинок, с простыми и затейливыми названиями, «карманные», т. е. с исключительными претензиями на ваш карман, и без этих неделикатных претензий... Приступаем к отчету о них.

Г-н Студитский известен уже публике своими трудами по части географии. В 1841 году он издал «Географию для детей», в прошлом — первую часть своего «Путешествия вокруг света», заключавшую в себе описание Южной Франции. Мы тогда же имели случай заметить («Отеч. записки», 1841 г., ноябрь) особенную методу, употребляемую г. Студитским при преподавании географии, состоящую в том, чтоб дети не занимались механическим заучиванием одной номенклатуры науки, что без всякой пользы обременяет их память, а старались понимать преподаваемое, привязывались к науке и собственным своим побуждением желали ее.

И доныне существуют в мире люди, сильно заботящиеся о чистоте нравов вообще и чистоте наук в особенности, которые утверждают, что наука тогда только и остается наукою, когда сохраняет приличную ей важность и достоинство. А для соблюдения этого наука, по мнению их, должна быть, во-первых, суха, исполнена праздных сентенций или голословных фактов; во-вторых, она должна, как Домби-отец, сидеть на кафедре безукоризненно прямо, мертво и отнюдь не сметь пошевельнуть головой, на какой конец и устроен для нее особенный, сильно накрахмаленный галстух. В противном случае, — говорят эти искусно устроенные автоматы, носящие имя педагогов, — наука перестанет быть наукою и сделается простым, неважным занятием, почти игрою... Игрою? В самом деле? У, как это страшно! Спасемте, спасемте, господа, скорее гибнущее достоинство науки! Употребимте все силы, чтоб дитя, учась чему-нибудь, действительно скучало, действительно ощущало, что оно учится, и век бы помнило, что такое приличная важность науки. Пусть его потеет, пусть его хиреет и чахнет, это бедное, еще недавно столь розовое и полное жизни создание! — пусть его! Зато на развалинах его воздвигнется гордо и самодовольно спасенное достоинство науки!

Весьма желательно, чтоб г. Студитский впредь шел по избранному им пути и удерживался от чересчур кудреватой речи, вроде следующей:

«Величественно и страшно море, когда грозит доверчивому мореходцу неизбежною гибелью. Оно прекрасно, когда расстилает перед нами бесконечную, прозрачную поверхность своих вод и слегка струится под безоблачным лазурным небом, которое как бы смотрится в светлых струях его; оно величественно-ужасно под мрачною тучею, появляющеюся на горизонте, когда грозно волнуется, подымая до облаков водяные

горы, которые, с ревом ниспадая в разверстые бездны, снова встают еще ужаснее и наконец в бессильной ярости сокрушаются о прибрежные скалы и осыпают нас жемчугом».

Подобная вычурность только вредит делу, которое само по себе весьма может быть полезно.

Да, сверх того, нам не нравится, что г. Студитский, явно переводя свои книжки с французского, ни слова не говорит об этом и как будто хочет намекнуть, что это не перевод, а его собственное произведение.

⟨«Отеч. записки», 1848, № 1, отд. VI, стр. 42—43.⟩

⟨4⟩

Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою, изданные К. Авдеевой. *Издание второе*. С.-Петербург. 1848. В тип. военно-учебных заведений. В 12-ю д. л. 72 стр. и 10 картинок.

Трудно рассказывать детям сказки лучше, нежели рассказывает их нянюшка Авдотья Степановна Черепьева; о достоинстве труда г-жи Авдеевой по изданию этих «Сказок» также говорить нечего: за что возьмется г-жа Авдеева, то делает она с полным сознанием своих сил и с совершенным знанием дела. Но второе, именно второе издание «Русских сказок для детей» заставляет нас высказать почтенной издательнице наше мнение

АЛЬМАНАХЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ АРХАНГЕЛЬСКЪ, СОБРАННЫЙ ИЗЪ СТАТЕЙ ВЪ СТИХАХЪ И ПРОЗѢ РАЗНЫХЪ АВТОРОВЪ.

Съ 14-ю иллюминованными картинками: Портретами Россійскихъ Государей, гербами Архангельска и уѣздовъ его, памятникомъ Ломоносова въ Архангельскѣ, Дѣтскій праздникъ «Елка» Ѣзда на оленяхъ и съ карточкою Архангельской Губерніи.

ДѢТСКАЯ КАРМАННАЯ БИБЛІОТЕКА.

ЗИМА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

M DCCC XL VIII

«АЛЬМАНАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ. АРХАНГЕЛЬСК...», СПб., 1848

Форзац и титул

о влиянии, какое производят на ум ребенка вообще так называемые народные сказки.

Решить положительно, что нелепые вымыслы, несообразные с законами действительной жизни произведения досужей фантазии полезны или вредны для всевосприимчивой головы ребенка — невозможно. Для такого решения нужны доказательства, основанные на многочисленных фактах, на сравнении голов, вскормленных на сказках, и голов, не слыхавших этих сказок в детстве. А так как подобных фактов никто не собирал и подобных исследований никто не предпринимал, да и существование голов, не засыпавших под нянюшкины сказки, вообще сомнительно, то мы поневоле должны отклониться от прямого, положительного решения вопроса и начать дело с конца — с исследования источника тех странных и весьма ненормальных идей, которые так часто встречаются в головах, окончательно сформировавшихся, и происхождение которых нельзя объяснить законами логики.

Такие идеи не только слышишь от ближнего или подозреваешь в ближнем почти при каждом столкновении с ним, на каждом шагу; но человек мало-мальски сознательный, не сталкиваясь ни с кем, не делая шагу из своего кабинета, частехонько с душевным прискорбием уличает в них самого себя. И особенно рельефно высказываются они, эти идейки, в тот известный *декартовский* период развития человека, когда он, оставив школьную скамью и поперхнувшись при первом глотке из кубка действительности, начинает коситься на все прошлое вообще и на школьную скамью в особенности. Чего-чего не окажется при этой строжайшей ревизии! И неправда всякая, и упущения, и проволочка... одним словом, все испорчено, все надо переделать — надо, если можно, переродиться. Но, попав раз в житейское море, надо работать, по крайней мере барахтаться, чтоб не утонуть, и потому всего переделать некогда, переродиться нельзя, вознаградить упущенное тоже невозможно. Начинаются перестройки *домашними средствами*: кое-что, кое-как и кое-где, причем преимущественно обращается внимание на упущения, сделанные в последнее время, потому что они и непростительнее и живее в памяти. Но так как эти упущения большею частью произошли от упущений предшествовавших, которые в свою очередь также имели источник выше, и большею частью во времена, покрытые мраком бессознательности, около колыбели и нянюшек, то после *декартовской* переделки голова человека и получает фасад того построенного при Екатерине помещичьего дома, к которому разные наследники пристроивали с различных сторон разные клети и каморы — по *усмотрению*... Эти перестройки, эта борьба человека с самим собою, с своим прошедшим, с своим в детстве *внушенным* образом мыслей — эта страшная, болезненная драма, мешающая человеку жить положительною жизнью, делается тем страшнее и болезненнее, чем лучше, чем сознательнее человек... И горе тому, кто не дождется ее развязки, кто не вынесет этой борьбы до конца, кто не подведет здания под один общий фасад! Нравственное безобразие, безобразие в убеждениях, хуже физического безобразия; потому что при последнем неприкосновенна его личность, тогда как при первом, при закоренелостях в образе мыслей, эта личность невозможна: она превращается в личину, которую также нужно замазывать ежеминутно, чтоб не высказаться таким, каков есть; та же борьба с самим собою, но это уже не драма, а комедия...

Невольно рождается вопрос: как избавить ребенка от беды, которая постигла нас самих, которая мешает нам жить полною жизнью?..

Избавить его совершенно от этой беды, конечно, невозможно, потому что как бы мы ни старались о логичности его воспитания, об отстранении от его восприимчивой головы предрассудков и всяческих нелепостей, как бы тщательно ни разметали перед ним дороги к действительной, са-

мостоятельной жизни — он, как член нового поколения, которому суждено идти далее нас, будет видеть вещи яснее, нежели мы их видим в настоящую минуту, и, следовательно, борьба с самим собою, хотя и не такая изнурительная, какую мы выдерживаем — будет и для него: таков закон развития человечества.

Но, вследствие этого закона, каждое поколение должно выкупать ценою страдания только тот шаг вперед, который оно само делает; борьба за то, за что уже боролось несколько предшествовавших поколений —

ЕСТЬ ЛИ ГДѢ КОНЕЦЪ СВѢТУ?

СОЧИНЕНІЕ

И. ДАНИЛЕВСКАГО и А. ОССОВСКАГО.

(ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПЕРВАГО КУРСА ЧТЕНІЙ ИЗЪ ГЕОГРАФІИ.)

—

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭКСПЕДИЦІИ ЗАГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ.

1847.

Куда бы ни поѣхалъ человѣкъ, хоть и за тысячу верстъ, вездѣ Свѣтъ такой же, какъ и у насъ: земля всюду кажется широкимъ полемъ, а небо, какъ хрустальный сводъ, стоитъ, кажется, на краяхъ земли, такъ, что иныя облака, подумаешь, можно бы доставать рукою. Есть и сказка въ простомъ народѣ, будто бы на концѣ Свѣта, когда моютъ бѣлье, то, для просушки, развѣшиваютъ его на облакахъ.

1

«ЕСТЬ ЛИ ГДЕ КОНЕЦ СВЕТУ?». СОЧИНЕНИЕ И. ДАНИЛЕВСКОГО и А. ОССОВСКОГО. СПб., 1847

Титульный лист и первая страница

незаконна. И обвинение в этой незаконности падает прямо на воспитателей, которые не умели передать наследникам свое собственное приобретение, которые воспитывали молодое поколение так же, как сами были воспитаны, не устранив из этого *курса* того, что такою болью отозвалось им самим — рассказывали своим детям те же *сказки*, на которых сами были вскормлены... Да, именно *сказки*, потому что в них притон предрассудков самых закоренелых и вместе самых благовидных, самых вкрадчивых — по наружности; потому что ребенок не способен различать сказочного мифа от действительности; потому, наконец, что сказки сделались обычаем, необходимостью, веками освященным обрядом в воспитании, и пестун, рассказывая ребенку сказку, не думает о том, какое заключение выведет для себя из приключений «Петушка — золотого гребешка» ловкий софист-слушатель и как отзовется ему впоследствии это убаюкивающее, наркотическое средство *доброй* словоохотливой Авдотьи Степановны...

Сообразите все это, почтенная издательница сказок *нянюшки Черепьевой*, и вы, нежные родители, поставляющие нянюшкам ваших детей в достоинство — уменье рассказывать сказки; а мы, со своей стороны, обещаемся в непродолжительном времени представить более точные и более осязательные доказательства в подтверждение высказанного здесь мнения о влиянии народных сказок на восприимчивые головы.

⟨«Отеч. записки», 1848, № 1, отд. VI, стр. 43—45.⟩

⟨5⟩

Благовоспитанное дитя, или Как должно вести себя. Соч. Жозефины ле-Бассю. С французского. *Издание второе.* С.-Петербург. В тип. Минист. госуд. имуществ. 1847. В 8-ю д. л. 158 стр.

«Благовоспитанное дитя» г-жи Жозефины ле-Бассю достигло у нас второго издания; следовательно, нашлись люди, которые убеждены в пользе системы воспитания сочинительницы этой книги. Книги такого рода тогда достигают своей цели и заслуживают похвалы, когда, с одной стороны, разрушают разные предрассудки, получаемые детьми от родителей или от нянек, а с другой,— содействуют развитию нравственного чувства и прояснению истинных понятий ребенка о мире и вещах. Между тем, большая часть ходячих учебников нравственности наполнена исчислением обязанностей дитяти и преподанием ему правил, которые весьма часто для него лишены всякого смысла, потому что или основание их ему непонятно, или приведены им основания ложные.

Главное стремление существующих учебников нравственности состоит в том, чтобы заставить детей любить бога, родителей, близких, высших, низших, равных и т. д., и показать, как должно им вести себя в отношении лиц их окружающих. Нам кажется, что полезно было бы издавать книги в поучение самим родителям и наставникам, как снискать любовь ребенка, внушить ему к себе доверие, послушание и уважение, а отнюдь не *приказывать* ему питать к ним эти чувства. Внушите привязанность ребенку, и он будет поступать с вами гораздо лучше, нежели как это предписано в учебниках; ему самому на каждом шагу представится случай выразить в тысячу раз милее и наивнее свое чувство, тогда как он даже вовсе и не подозревает того, что выражает. Только такая привязанность дитяти и может льстить родителям и всем, кто его окружает.

Г-жа ле-Бассю разделила свою книжку на семь глав: первая заключает в себе обязанности *священные*, к богу, вторая — семейные: о любви к родителям, о братских чувствах, третья — обязанности в отношении к высшим, четвертая — к равным, пятая — к низшим, шестая — обязанности домашние, седьмая — обязанности в отношении к обществу. Главы состоят из исчисления тех *добродетелей*, которые должны проявить дети во всех этих отношениях; приложены и назидательные повести на эти темы. В заключении выражено то, что имела в виду сочинительница:

> «я указала вам, с *каким поступком какие чувства должны быть неразлучны*, определила *формы и выражения*, посредством которых *должно изъяснить их*, и надеюсь, что говорила не напрасно» (стр. 154).

Нам кажется, что совершенно напрасно старалась г-жа ле-Бассю объяснить, «*с каким поступком какие чувства должны быть неразлучны*», потому что чувство должно быть руководителем в известном поступке; например, дитя дает милостыню нищему уже вследствие того, что ему жаль его или хочется ему помочь; старание же ее определить *формы и выражения*, посредством которых *должно* изъяснять чувства — напоми-

нает ни более ни менее, как *письмовники*, в которых помещалось тоже изъяснение всех чувств, только письменно.

Сверх того, самые предписания г-жи ле-Бассю до крайности бесполезны. Например, изложив сколь велики заботы родителей о *рождении* и воспитании дитяти, учебник предписывает:

«Заплатите же за всю их (родителей) нежность к вам (детям) живейшею благодарностью, всегдашним желанием угождать им, совершенным, беспрекословным повиновением их приказаниям. *Встречайте* их *с видом почтительным*, *говорите* с *ними ласково*, но берегитесь, чтобы ваше дружеское обращение не переходило в вольность, не согласную с почтением, которое вы должны иметь к родителям» (стр. 5).

Или:

«...Когда они ⟨родители⟩ озабочены или огорчены каким-нибудь несчастным случаем... *умножайте* тогда ваши ласки, предупреждайте малейшее желание родителей, и будьте осторожны, чтобы не беспокоить их своею нежностью.. (стр. 6). Чувство любви к родителям, сродное сердцу каждого, может быть *оживлено* известными обстоятельствами, требующими особенного внимания, например: днем рождения, или первым днем года. В эти торжественные дни *изъявление детской покорности должно быть усерднее обыкновенного*... Если отдаленность жительства, или необходимость оставаться в училище, разлучает вас с ними, старайтесь вознаградить эту потерю исправною перепиской: пускай письмо за вас говорит о вашей привязанности, о всегдашней готовности исполнять их волю, которая для вашей же пользы разлучила вас с ними» (стр. 8).

Мы сказали, что эти предписания бесполезны, потому что лучшие из них исполняются не по внушению книжек г-жи ле-Бассю, а по внушению самого чувства детей; не должно забывать, что ребенок тот же человек, только маленький, и потому проявление в нем всего, что не проистекает из его убеждения или чувства, поражает вас неприятно — например, когда ребенок выражает любовь родителям какими-нибудь предписанными обрядами, как сказано в приведенной выписке: «*Встречайте* их *с видом почтительным*»... Что такое этот почтительный вид? Не то ли, что ребенок должен встать со стула, если сидит — когда папенька входит в дверь. Да если такие отношения установлены между отцом и ребенком, наверное можно сказать, что такое дитя не *дружно* с родителями и на него не подействует книжка г-жи Бассю, купленная для него «на елку». Родители, понимающие натуру ребенка, не станут этого требовать, и тем более не будут «внушать любовь» к себе исчислением того, что они сделали для ребенка.

Посмотрим далее, какие понятия внушаются книжечкой, появившеюся вторым изданием на русском языке: благовоспитанное дитя из нее узнает, что люди разделяются 1) на *родных* и *посторонних*, и во 2) на *высших*, *равных* и *низших*. Первый разряд первого отдела должен пользоваться наибольшею любовью дитяти, и книжечка уверяет малолетнего своего читателя, что люди этого отдела имеют особенное право на любовь, следовательно, иногда совершенно наперекор влечению ребенка; ребенок, в силу этого наставления, должен любить стороннего родственника более, нежели знакомого, который, может быть, для него гораздо интереснее и милее. Сверх того, нравственная книжечка научает ребенка, что есть люди *высшие*, *равные* и, что особенно занимательно, *низшие*. Надобно было уж кстати изложить, какими внешними признаками отличаются эти *низшие*. Нравственная книжечка уверяет малолетнего читателя, что не должно ничем гордиться, что все люди равны перед богом, что не должно судить о человеке по платью, и вместе с тем открывает, что 1) те, которые моложе его, 2) прислужники, 3) те, которые *беднее* его — называются низшими... На каком же основании? Хорошо будет дитя богатой

фамилии, если оно, принимая состояние родителей за масштаб в распознавании *высших* и *низших* и, кроме того, *равных* себе, будет обращаться с ними, имея в голове такую норму! А дитя бедных родителей? Да, если б оно достаточно рассудило по смыслу нравственной книжечки, оно должно было бы чувствовать постоянно свою *худость*, как выражались в старину, и унижаться перед всяким, кто лучше его одет. Все эти поучения о том, кого *должен* любить и уважать ребенок и *как* снискать к себе любовь и ласки других, не клонятся ли к тому, чтоб развить в нем притворство, склонность ко лжи и искательство?..

По счастью, в школах — в этой маленькой республике, составленной из членов, еще не посвященных в то, что составляет различие людей по их общественному положению, представляется пример совершенно противоположный: детский смысл всегда отличает аристократию ума, и целый класс невольно повинуется такому аристократу, помимо вопроса о предках и о состоянии родителей; там знают «глыбы грязи позлащенной» только по стиху Державина...

В деле воспитания не столь важно для ребенка познание всех его обязанностей, заученное из книги, сколько развитие и благородное направление его нравственного чувства, которое само укажет ему все его обязанности. Сверх того, совершенно бесполезно и для взрослых дробить обязанности их в отношении других людей — все вы будете строить плеоназмы на слова *любить*, *почитать*, *уважать* и пр., а между тем, не перечитаете всех обязанностей: наши общественные и частные отношения до того сложны, до того обусловлены разными *обязанностями*, что жизнь очень точно можно определить *исполнением обязанности*. Человечество не раз останавливалось и с удивлением задавало себе вопрос: да на чем же основаны эти обязанности, которые оно исполняет с начала века? Ища этой основы, оно, как с ним всегда случается, построило множество систем, даже создало целую науку под названием сначала *практической философии*, а потом *нравственной философии*, и каждая система приводит свое основание... Впрочем, не одни европейцы занимались этим делом: китайцы, оставив в стороне исследование об основании отношений людей между собою, занялись только исчислением приемов, как должны обращаться между собою люди, находясь в границах приличия и учтивости, и сообразно с их полом, возрастом, степенью родства с ними, их званием и чином и пр. Эта книга или философия общества у китайцев называется «десятью тысячами церемоний»... Тот и считается вполне благовоспитанным человеком в поднебесной империи, кто не только обходится учтиво с другими, но и знает наизусть «десять тысяч церемоний» и знает, с *каким поступком какие чувства должны быть неразлучны*, сверх того, помнит все определенные *формы* и *выражения*, *посредством которых должно изъяснять их*... Но едва ли это затверживание наизусть сентенций и правил приведет к развитию нравственного чувства.

⟨«Отеч. записки», 1848, № 1, отд. VI, стр. 47—50.⟩

⟨6⟩

Несколько слов о чтении романов. С.-Петербург. В тип. книжного магазина П. Крашенинникова и Комп. 1847. В 12-ю д. л. 27 стр.

Заглавный листок этой книжечки, напечатанной на *красной* бумаге, не говорит, кто автор такого удивительного произведения; но в самой книжечке находим обращения к «читателям Звездочки», детского журнальца, издаваемого в Петербурге уже несколько лет г-жею Ишимовою, и потому заключаем, что это статья, отпечатанная из «Звездочки». Но от-

«КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ», СОСТАВЛЕННАЯ АЛЕКСАНДРОМ АНИКИЕВЫМ. СПб., 1847

Обложка

КРАТКАЯ ИСТОРІЯ

СРЕДНИХЪ ВѢКОВЪ,

въ синхронистическомъ порядкѣ,

съ приложеніемъ

СИНХРОНИСТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ,

составленная

Александромъ Аникіевымъ,

преподавателемъ при Обществѣ Благородныхъ Дѣвицъ и Училищѣ Ордена Св. Екатерины.

Санктпетербургъ.

1847.

дельно напечатанная книжечка обращается уже не к одним детям: она, необходимо, объявляет требование научать взрослых или, по крайней мере, возглашать им истины. Посмотрим же на нее пристальнее.

Автор говорит, что «желает доставить молодым читателям *сколько можно верное* понятие о том, что значит *роман* вообще, и тем более *роман нынешний*». Вот как он определяет его:

«Роман, собственно говоря, есть *рассказ вымышленных приключений*».

Видим тут ошибку против языка — и ничего не понимаем.

«Роман должен представлять жизнь человека со всеми ее сторонами, хорошими и дурными... но не всякий человек стоит того, чтобы жизнь его была представлена перед глазами других; на свете есть много таких людей и таких дел, о которых лучше *бы было* никогда не знать, особливо тому, кто еще молод. В молодости мы еще так мало знаем жизнь, что почти ни о чем не можем судить правильно».

В этих немногих строках такое богатство устарелых мнений, давно опровергнутых опытом и размышлением, что разве для самого автора надобно еще раз опровергать их. Где он узнал, что в романе надобно изображать жизнь со *всеми* ее сторонами и представлять *всякого* человека? В романе поэтически изображается событие, имеющее внутренний смысл, и для этого часто бывает не нужно многообразных подробностей. Тот имеет ложное понятие о романах, кто думает, что в них непременно надобно изображать весь омут жизни. Если само событие или идея, выражаемая поэтом, приводит к тому, что роман не чуждается никаких подробностей, но представляет все в отношении к главной идее, и от искусства, от

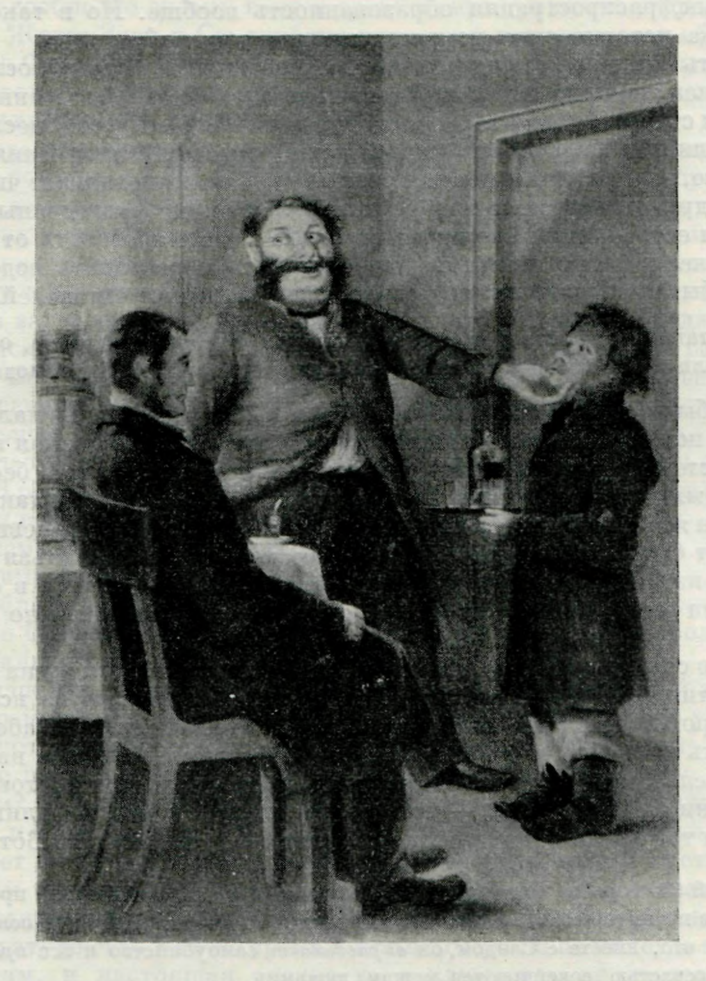
таланта зависит придать этому цвет и характер. Талант, конечно, не станет изображать черное белым и дурное красивым, но поставит их в такой перспективе, что в общности они произведут желаемое действие — разумеется, благое, а не злое, потому что изящное произведение не производит зла. Но он говорит, что в молодости мы ни о чем не можем судить правильно. Позвольте же спросить: до каких лет считаете вы этот возраст? Не до полустолетия ли, когда уже страсти потухнут и их нельзя увлечь ничем? Да и в пятьдесят лет разве не увлекаются страстями? Когда же позволите вы молодому человеку читать романы и судить о них, как судите сами? Или ему «не должно сметь свое суждение иметь» и до старости надобно ходить на помочах, не читать книг без совета бабушки или тетушки и верить им на слово?..

Выйдем из этого лабиринта смешных недоразумений и напомним автору, который берется научать других, что воспитание человека оканчивается вместе с юношеским возрастом, и кто получил воспитание в высоком смысле этого слова, чей ум и душа окрепли в чистой атмосфере просвещения и образованности, для того все порочные, низкие, животные страсти — не так опасны в двадцать лет, как опасны они для тридцатилетнего невежды или баловня. Человек, озаренный правилами добра и нравственности, не погибнет от чтения романов, а извлечет из них всю пользу, какую можно извлечь из чтения для ума, вкуса, эстетического чувства. Напротив, сорокалетний невежда, который только понаслышке знает о различии добра от зла, может сделаться еще хуже от самой нравственной книги, потому что не поймет ее, не станет читать, и от скуки скорее примется за чарочку или за сочинение какого-нибудь романа из своей жизни... Зачем же вы так боитесь за молодых людей и не хотите давать им романов? Бойтесь за невежд, а не за юношей вообще. Мы не даром спросили: до каких лет автор почитает человека столько молодым, что даже не позволяет ему взять книги без спроса у старших. Мы знаем, что для младенца необходима нянька, для отрока нужен дядька, для юноши наставник; но когда все эти блюстители его юности кончили свое дело, и молодой человек, положим, около двадцати лет, выступает сам на поприще жизни, неужели и тогда еще нельзя ему читать романов? Худо же рекомендуете вы его воспитание и воспитателей, если полагаете, что, пробыв под бдительным надзором двадцать лет, он так и бросится на все обольщения порока! Да чему же вы учили и для чего воспитывали его? Мало ли опасного встретит он в свете; но чем вы оградили его от этого? Научили закрывать глаза и затыкать уши?.. Плохое просвещение!.. Здесь мы уже опять касаемся вопроса о пользе просвещения вообще, и должны опровергать тех людей, которые говорили Петру Великому: «Где нашим ребятам перенять заморскую мудрость!» В самом деле, жен и девиц запрем под замок, чтобы они не видали соблазна, а сынков станем женить пораньше, да удалим от книг и от общества, и такими средствами сохраним их добрыми...

Дошедши до таких выспренных умствований, автор говорит: «Может быть, желание старших *научать* младших примерами подало повод к сочинению *первого романа*». Автор и не вспоминает, что сам назвал роман изображением жизни человека; следственно, роман так же стар, как человеческое общество, и первый романист был какой-нибудь рассказчик о том, «что он видал и к каким былям небылиц без счету прилагал!».

«Но для успешного действия этих примеров (продолжает автор), надобно было представлять всю прелесть добродетели и весь ужас порока так верно и разительно, чтобы душа увлеклась к первой и отвращалась последнего. Так и делали *первые* из романистов и поэтов».

Кажется, автор сам решился сочинять здесь роман, т. е. *рассказ вымышленных приключений*, потому что в действительности было совсем не так, как он говорит. Самые древние, индийские, китайские, греческие вымыслы изображают не прелесть добродетели и ужас порока, а просто поэтические идеи, иногда в самых соблазнительных образах. Арабские сказки, больше похожие на наши романы, писаны также не с целью поучений.



«ОБМАНУТЫЙ ПОДПОРУЧИК». ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «ГУБЕРНСКИМ ОЧЕРКАМ» ЩЕДРИНА

Картина маслом Л. И. Соломаткина (по рисунку М. С. Башилова), 1860-е гг.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Романы средних веков приведут нашего автора в ужас. А что сказать о Боккачио, об Ариосте, об испанских романистах?.. Но автор и не вспомнил о них, и в подтверждение своих слов ссылается на романы Вальтера Скотта! «Этот род романов есть самый полезный»,— говорит он... Но почему же исторические романы, и вальтер-скоттовы в особенности, основаны не на вымысле, как говорит автор? Они точно также основаны на вымысле, как и современные романы, а иначе они не были бы и романами. Вальтер-скоттовы романы хороши не потому, что в них являются исторические времена и подробности, а потому, что в них все одушевлено поэтической истиной, которая имеет свои законы, вовсе не похожие на

законы истины летописной. Но автор позволяет, даже советует читать эти романы, в уверенности, что «кроме самого *приятного удовольствия*» (как будто бывает удовольствие неприятное!) «они доставят и большую пользу». Польза бывает различная: полезна и чашка, из которой чай пьют, — но такой пользы романы не доставят. Они доставляют пользу отдаленными своими последствиями, как все произведения поэзии, образуя ум, вкус, язык, распространяя образованность вообще. Но в таком смысле, почему же исторические романы полезнее других?

Но есть еще другой род романов, «вошедших в моду в последнее двадцатилетие», говорит автор и рассуждает о романах, основанных на изображении страстей, почитая основателем их Ж. Ж. Руссо. Здесь опять жестокая ошибка: все романы изображают страсти, увлечения разного рода — все, не исключая и тех, которые наш автор позволяет читать. Если Руссо и другие писатели изображали страсти, не разведенные водицей а как они есть — они исполнили все, чего можно требовать от романиста в изображении истины, потому что убавлять и разводить водой страсти значило бы лгать или писать только для усыпления читателей.

«Но читатели сожалели о несчастных жертвах страстей и пороков, они невольно позавидовали трогательному их положению; они перестали бояться походить на них».

Если были такие слабоумные, то они и без романов сделались бы такими же, потому что если не были они защищены от искушения воображаемых страстей, то как же устояли бы против страстей живых, беспрестанно встречаемых в свете и часто в увлекательных образах? Не так ли опасны и золото и женщины? Не так ли опасны и все предметы ежедневной жизни? Все может быть опасно для неразумного; но для этого нельзя же запретить или изгнать все и жить в диогеновой бочке. Человеку в общественной жизни невозможно оградиться умственно и нравственно китайской стеною.

Развив свою теорию, не основанную, как мы показали, ни на одном верном событии, автор принимает на себя самую смешную из всех обязанностей: проклинать романы и романистов!.. Это уже очень слабое средство истреблять зло, если оно точно существует. Потом, ссылаясь на какого-то Вольконселя, он начинает оценивать современных романистов, кажется, не читав ни одного из них — потому что говорит о них небылицы, приписывает им то, чего они не писали и, может быть, не думали. Вот образчик:

«Евгений Сю гораздо более других, однородных с ним писателей, приближается к Санду, не потому, чтобы он, как Санд, нападал на общество в самом основании его, но потому, что, вместе с Сандом, он *оправдывает* самоубийство и все *преступления*, какие к несчастью совершаются между людьми».

Спрашиваем здравый смысл всякого человека: не только Занд и Сю, люди высокие дарованием, но кто бы то ни было, даже сам преступник, станет ли *оправдывать все преступления*?

Не надобно ли сказать о Занде и Сю совершенно противного: они обличают, они карают самые сокровенные преступления, самые незаметные недостатки? Не понимая романов в эстетическом значении их, автор понимает и нравоучение в том смысле, как оно передается людям первобытных обществ. Конечно, якуту, киргизу, краснокожему американцу надобно твердить: «Не пьянствуй, не воруй, не обманывай», но такие нравоучения не годятся при самом обыкновенном устройстве гражданском, где есть уже требования высшего разряда. Французы пишут прежде всего для французов. Каково было бы впечатление, если бы у них в палате заговорил кто-нибудь как в обществе дикарей, стал советовать удаляться от соблазнов и пороков и повторять истины о необходимости честной и

смирной жизни? Французская книга та же ораторская кафедра. Как же вы хотите, чтоб в ней поучали тому, что и без книг знает всякий, то есть, чтоб повторяли в ней общие места, о которых говорят только младенцам? И дело ли поэзии преподавать нравственность? Она должна поражать нас идеями в живых образах, а наше дело извлекать из этого полезные истины. Так поучали Гомер, Шекспир, Гёте, все гении-поэты, и тем же путем, только сообразно своему веку и средствам, идут лучшие французские романисты. Жорж Занд и Сю глубоко поражены недостатками общественного быта во Франции, и оба они, оскорбляемые лживостью общепринятой морали, невольно высказывают это в своих произведениях; но каждый труд их отдельно есть следствие какой-нибудь сильной мысли, которая сама себе предмет. Романы их приносят гораздо больше пользы, нежели сладенькие романы А. Лафонтена и г-жи Жанли, хотя у этих порок всегда наказан, а добродетель всегда вознаграждена. Посоветуйте лучше страшиться таких романов, так же, как всех пошлых книг, а не произведений, ознаменованных дарованием. Пошлая книга может и читателя сделать пошлым, а у такого человека шатко все, и едва ли добродетель его не будет состоять из затверженных фраз. Вспомните, что французы бредили идиллиями и писали конфектные стишки, когда вспыхнула у них революция 1792 года. Вот куда ведет противоречие наружного с существенностью! А вам не нравится, что Занд и Сю выставляют общественные язвы во всем отвратительном их безобразии? Вы желали бы закрасить их, завесить тканью с блесточками? Вы хотите, чтоб люди закрывали глаза и затыкали себе уши? В романах вам надобен такой мир, какого нет в существенности?.. Вот это-то и ведет ко лжи и всяким противоречиям, и если роман, написанный по вашему рецепту, попадется в руки неопытному юноше и не усыпит его на первых страницах, он сделает его больше испорченным, нежели роман, изображающий порок в настоящем виде. Довольно ложного, обманчивого и без ваших ложных романов — а вы желаете еще больше усилить это жалкое состояние.

Автор наш сам называет лишением для молодых людей свой запрет им читать современные романы и вызывается вознаградить за это указанием на книги, которые «доставят им истинное наслаждение для ума и сердца и истинную пользу для собственного *слога их*». Для слога! Но о чем же мы говорим? Посмотрим, однако ж, какие это книги, которые доставят и слог и наслаждение для ума и сердца. Тут автор уклоняется сам, а выставляет вместо себя Вине, составителя «Хрестоматии»: пусть г. Вине выберет сам французские книги; он — составитель «Хрестоматии». Послушаем авторитета г. Вине... Но этот посредник вдруг говорит нам: «хорошее в литературе есть в то же время и истинное; ложное никогда не бывает классическим, и настоящая опасность заключается не столько в знании, сколько в ошибочном знании». Да не то ли самое отстаиваем мы против автора брошюрки? Он сам признает красоты и много истинно-прекрасного в романах, которые осуждает за то, что они слишком живо, т. е. истинно, изображают мир с его страстями, увлечениями и действиями? Ему надобно то же, но изукрашенное, смягченное — иными словами: ложное и не существующее в мире! Избранный им судья, г. Вине, говорит, напротив: «хорошее есть в то же время истинное, а ложное не бывает классическим». Автор брошюрки согласится, по крайней мере, что романы преследуемых им поэтов недурны, даже хороши и, следовательно, не так опасны, как он воображает. Тот же Вине говорит ему, что опасно не знание, а ошибочное знание — знание мало просвещенных людей, для которых, точно, все опасно.

Какие книги, по указанию своих советников, рекомендует автор для чтения? Прежде всего «Хрестоматию» Вине!.. Но для взрослого человека не достанет ее и на один день чтения. Что же еще? С разными исклю-

чениями Bossuet «Discours sur l'histoire universelle», Fénélon «Télémaque», Pascal «Provinciales...» Помилуйте! Юноша, или молодая девица, которым боитесь вы дать роман, станет читать «Телемака» и «Provinciales»! Да что поймут они в первом? Соблазны всякого рода, а не мораль, которую думал извлечь из них автор. Что поймут они в язвительной сатире Паскаля на иезуитов? Эти книги, классические у французов по разным отношениям, могут ли годиться нашим невинным юношам, которым боитесь вы дать роман потому именно, что они не поймут его как должно? Как же они поймут стародавние богословские споры янсенистов с иезуитами и полумифологический вымысел Фенелона?

Любопытно, как автор или его советники стараются отсекать и урезывать разные отделы книги, которыми хотят довольствовать своих юношей! Они дают им, например, *Жильблаза* (беспутнейший из романов, если глядеть с *их* точки зрения), но позволяют читать в нем только: Gil Blas au lecteur. Livre I, chap. 1, 2, 8; livre II, chap. 1, 2, 3; livre VII, chap. 3, 4, 12; livre VIII, chap. 5, 6. Остальные главы будут, вероятно, выдраны из книги. Но к чему послужит отрывчатое, бестолковое чтение? Какую пользу можно извлечь из бессвязных отрывков и обрезков разных книг, писанных в разные столетия с разными целями и направлениями? Правда, Вине ясно говорит: «Список мой можно назвать большою хрестоматиею, где не достает только текста; и я считаю его только прибавлением или распространением той хрестоматии, которую я издал». Но наш автор, не соображая, что хрестоматии составляются только для несовершеннолетних и больше для ознакомления с языком, нежели с писателями, рекомендует такую хрестоматию взрослым русским! Он хочет, чтобы все его соотечественники читали только хрестоматию, не изучая литературы вообще, без чего не будет понятен ни Боссюэт, ни Фенелон, ни Паскаль, ни Лесаж. Остается ему пожелать, чтобы за каждым из молодых наших людей ухаживала нянюшка или присматривал дядька и напоминал бы ему на всяком шагу: «Не извольте трогать, обожжетесь; — не извольте кушать-с: это кисло; — не извольте слушать: это не для вас говорят»; не принимайте слов наших за шутку: автор в самом деле не желает, чтобы мы шли дальше хрестоматии. Он говорит, наконец:

«Представив в этом списке *все*, что литература французская имеет лучшего, достойного и приличного *для читателей всякого возраста и пола*, мы очень сожалеем, что не можем представить им такого же *указания* и в других литературах».

Нет, уж покорнейше благодарим: довольно и этого!

Мы распространились о ничтожной брошюрке не для нее собственно, но для тех, кто, не имея опытности в литературе, мог бы поверить ей на слово и даже увлечься ее софизмами. Может быть, есть и такие люди, которые разделяют выраженный в ней образ мыслей. Просим их сообразить наши возражения и смотреть на взрослых людей не как на ребят, которых надобно водить на помочах. Тогда они будут на истинной точке зрения.

〈«Отеч. записки», 1848, № 3, отд. VI, стр. 37—42.〉

НЕИЗДАННЫЕ И НЕСОБРАННЫЕ ПИСЬМА САЛТЫКОВА

П. Т. БАРАНОВУ, Ф. А. ВОНЛЯРСКОМУ, В. В. ГРИГОРЬЕВУ, А. Н. ЕРАКОВУ, Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКОМУ, В. Р. ЗОТОВУ, А. Я. КОНИССКОМУ, К. Г. ЛАВРИЧЕНКО, В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ, В. И. ЛИХАЧЕВУ, И. В. ПАВЛОВУ, А. Н. ПЫПИНУ, РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОСТИ И БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА», Г. К. РЕПИНСКОМУ, Е. В. САЛИАС ДЕ ТУРНЕМИР, А. М. СКАБИЧЕВСКОМУ, А. М. УНКОВСКОМУ, А. И. УРУСОВУ, Ш.-Л. ШАССЕНУ, С. А. ЮРЬЕВУ и И. И. ЯСИНСКОМУ.

Приложение: I. НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА к А. Ф. КАБЛУКОВУ.
II. СОЖЖЕННЫЕ ПИСЬМА к А. М. УНКОВСКОМУ

Публикация С. А. Макашина*

Письма Салтыкова собраны в трех книгах — XVIII, XIX и XX — двадцатитомного Собрания сочинений сатирика, вышедших в 1937—1939 гг. под редакцией Н. В. Яковлева. Всего здесь напечатано 1434 письма. С тех пор —за двадцать лет — в различных изданиях было опубликовано лишь около двух десятков писем Салтыкова. Все они введены в настоящую публикацию. Другую, большую ее часть составляют письма, появляющиеся в печати впервые.

Расположены письма не в порядке алфавита адресатов, а хронологически. Там, где речь идет о серии писем к одному адресату, за основу взяты даты наиболее значительных событий, отразившихся в письмах.

Публикация завершается двумя приложениями. В первом дается обзор 75 неизданных писем Салтыкова к управляющему его подмосковным имением Витенево — А. Ф. Каблукову (и 59 писем к нему же жены сатирика Е. А. Салтыковой). Эти хозяйственно-деловые письма имеют узкобиографическое значение. Во втором приложении приводятся сделанные В. П. Кранихфельдом в 1900-х годах аннотации неизданных и впоследствии погибших писем Салтыкова к А. М. Унковскому.

ПЕРЕПИСКА с И. В. ПАВЛОВЫМ

ВЫПИСКИ ИЗ ПЕРЛЮСТРИРОВАННЫХ ПИСЕМ

В письме от 24 сентября 1884 г. из Петербурга только что возвратившийся в столицу после шестимесячного отсутствия А. С. Суворин писал И. С. Аксакову:

«Приехал сюда, почти никого еще не видал; замечательно, что и слухов никаких нет. Единственно интересная вещь — это два письма Салтыкова, которые мне показывал один знакомый. Письма эти от 1858 г. ⟨!⟩, и в них то замечательно, что Салтыков объявляется славянофилом и называет Петра Великого „величайшим самодуром на Руси...“» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 4, ед. хр. 588, л. 13).

В изданных эпистолярных документах Салтыкова мы тщетно стали бы искать такого отзыва о Петре I. Что же касается заявления Салтыкова о своей приверженности славянофилам, то такая декларация известна. Она содержится в письме Салтыкова от 23 августа 1857 г. к его школьному товарищу и другу, Ивану Васильевичу *Павлову* (1823—1904), московскому публицисту, примыкавшему в эти

*В публикации приняли участие В. Н. Баскаков и А. С. Бушмин. Первый сообщил и подготовил к печати тексты писем к В. Р. Зотову (1), В. И. Лихачеву (1), А. Н. Пыпину (2), и А. М. Унковскому (1); второй — опубликовал и комментировал письма к Н. Н. Златовратскому (2).

годы к славянофильскому лагерю. «Признаюсь, — заявляет своему приятелю Салтыков, — я сильно гну в сторону славянофилов и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления...» и т. д.

Письмо Салтыкова к Павлову было опубликовано в № 11 «Русской старины» 1897 г., в статье под названием «На заре крестьянской свободы» (стр. 232 — 236). Статья была подписана буквой «R.». Это был, как теперь выясняется, некто Е. К. Рапп, служивший в 1860-е годы по мировым крестьянским установлениям, а впоследствии, в конце 1870-х годов, редактировавший либеральную газету «Русский мир» (биографические сведения о нем см. в альбоме М. И. Семевского «Знакомые». 1867—1888». СПб., 1888, стр. 263). В той же статье Рапп опубликовал в извлечениях еще одно письмо Салтыкова к Павлову, от 15 сентября 1857 г. и два письма Павлова к Салтыкову, от 13 и 28 августа того же 1857 г. Источник, по которому были напечатаны тексты, не был указан, если не считать ремарки, что переписка приводится «почти в подлиннике».

Работая в 1940 г. над материалами 2 Секретного архива III Отделения, мы нашли документ под названием «По частным сведениям 1857 года». Из этого документа (он печатается в приложении к настоящей публикации) мы узнали, что опубликованная в «Русской старине» переписка Салтыкова с Павловым 1857 г. попала в свое время в перлюстрацию и заинтересовала руководителей политической полиции, обративших на нее внимание высших цензурных властей. В связи с содержанием одного из перлюстрированных писем Салтыкова, а именно письма от 23 августа 1857 г., в Канцелярии министра народного просвещения по Главному управлению цензуры было заведено «дело»: «О предполагаемой к напечатанию статье г. Салтыкова под заглавием „Историческая догадка", на двадцати двух листах» (ЦГИАЛ, ф. 772, оп. 7, 1857—1859 гг., п. 42, д. 226/151595; ср. «Лит. наследство», т. 13-14, стр. 123—124).

Поиски самих перлюстрационных выписок из переписки Салтыкова с Павловым долгое время оставались безрезультатными, пока, наконец, они не были найдены нами при содействии Л. М. Добровольского, но не в «делах» III Отделения, где им надлежало быть, а в архиве журнала «Русская старина» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, д. 2483, на 9 лл.). Когда, кем и при каких обстоятельствах эти бумаги были изъяты из хранения в архиве III Отделения и каким образом они оказались (вместе с другими перлюстрированными письмами) в руках Е. К. Раппа, от которого перешли к редактору «Русской старины» М. И. Семевскому,— установить не удалось.

В подлинности документов сомнений нет. На первом листе перлюстрационной выписки из писем Салтыкова имеется резолюция, наложенная собственноручно главным управляющим III Отделением и шефом жандармов кн. В. А. Долгоруковым.

Сличение выписок с текстом «Русской старины» приводит к двум выводам.

Во-первых. Следует предположить, что в распоряжении Раппа, кроме перлюстрационных выписок, находились также и подлинники писем Салтыкова и что публикация извлечений из этих писем в «Русской старине» была осуществлена именно по подлинникам. Такое предположение возникает вследствие того, что в напечатанном Раппом письме Салтыкова от 23 августа имеется абзац («Думалось, мечталось о свободе русского человека...»), *отсутствующий в перлюстрационной выписке*. Имеются и другие мелкие разночтения, объясняемые, по-видимому, тем, что письма читались — и не всегда верно — по салтыковским автографам.

Во-вторых. Текст найденных перлюстрационных выписок значительно полнее опубликованного в «Русской старине». При печатании переписки Салтыкова с Павловым в журнале Семевского из текста был изъят ряд мест, содержавших резко отрицательные отзывы о Петре I. Сделано это было, вероятно, не цензурой, а самим Семевским, относившимся с большим пиететом к Петру I и его реформам. Среди других опущенных мест находим и неточно цитированные Сувориным слова Салтыкова о Петре I, как о «величайшем самодуре своего времени».

Таким образом, можно считать установленным, что знакомый Суворина — вероятно, это и был Рапп — показал ему в 1884 г. те самые два письма Салтыкова к Павлову 1857 г. (а не 1858), которые сейчас мы имеем возможность напечатать вместе с относящимися к ним письмами Павлова более полно и исправно.

На сообщение об удививших Суворина «славянофильских» высказываниях Салтыкова 1857 г. Иван Аксаков отвечал 2 октября 1884 г.: «То, чтó вы сообщаете о Салтыкове — меня не удивляет. Он был в приятельских отношениях в те годы со мной и с братом, навещал покойного отца и близок был к нашему направлению» («Письма русских писателей к А. С. Суворину». Л., 1927, стр. 20).

Был ли Салтыков в конце 1850-х годов действительно близок к славянофильскому направлению и в чем именно выражалась эта близость — об этом скажем дальше. Сейчас же остановимся на первой части утверждений Ивана Аксакова — о том, что Салтыков в пору работы над «Губернскими очерками» находился в дружеских отношениях с ним и его братом Константином и посещал московскую квартиру их отца Сергея Тимофеевича — основное прибежище тогдашних славянофилов.

В статье Н. В. Яковлева «Щедрин и Аксаковы в пятидесятых годах», напечатанной в 1948 г. в первом томе «Трудов Отдела новой русской литературы» Пушкинского дома, приведены все основные материалы, относящиеся к теме, обозначенной в заглавии статьи. Они изучены здесь в аспекте художественных, литературно-творческих исканий автора «Губернских очерков».

Не обращаясь вновь к материалам и наблюдениям, собранным в этой специальной работе, добавим к ним указания на несколько новых фактов биографического характера. При всей скромности этих свидетельств они дают возможность проверить степень точности приведенного выше мемуарного свидетельства Ивана Аксакова.

Салтыков не раз с благодарностью признавал силу художественного впечатления, испытанного им от эпических полотен «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука» Аксакова. В период же создания своих первых произведений, посвященных народу,— рассказов «Богомольцы, странники и проезжие» (в «Губернских очерках») — Салтыкову казалось, что сочинения Аксакова оказали решительное влияние как на замысел, так и на исполнение его труда. Об этом Салтыков прямо писал Аксакову в августе 1857 г. (XVIII, 129—130). Это свое тогдашнее убеждение Салтыков счел необходимым засвидетельствовать и публично. Он посвятил Аксакову первопечатную журнальную публикацию своих рассказов о крестьянах и раскольниках в «Губернских очерках» («Русский вестник», 1857, август, кн. 1, стр. 393; при перепечатке в сентябре того же 1857 г. этих рассказов в т. III отдельного издания «Губернских очерков» посвящение было снято и не возобновлялось).

Еще одно свидетельство глубокого уважения Салтыкова к автору «Семейной хроники» находим в неизданном письме И. С. Аксакова из Петербурга к родителям в Москву. В письме, помеченном только «средой», но бесспорно датируемом на основании всего содержания документа 5 марта 1858 г., И. С. Аксаков писал, обращаясь к отцу — «отесеньке», как звали Сергея Тимофеевича в семье: «В воскресенье я обедал у Салтыкова, который предложил тост за ваше здоровье, милый отесенька. Только один тост и был» (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 17, лл. 10—11). Тост за здоровье С. Т. Аксакова был провозглашен на обеде 2 марта, устроенном Салтыковым для только что приехавшего в Петербург И. С. Аксакова. Из записки Салтыкова к И. С. Аксакову от 4 марта того же 1858 г. видно, что в эти дни они встречались не раз. Разговоры у них шли о новом периодическом издании, которое было задумано И. С. Аксаковым и которое он хотел издавать «как полный хозяин». Салтыков в ответ на обращенную к нему просьбу изъявил готовность принять «деятельное участие в журнале», однако это «предположение не состоялось».

Обо всем этом мы узнаем из письма Салтыкова к С. Т. Аксакову, написанного в конце марта 1858 г., недели через две-три после отъезда из Петербурга Ивана Аксакова. В собрании писем Салтыкова это письмо датировано приблизительно — «концом 1857 г. — началом 1858 г.»; в упомянутой же выше статье Н. В. Яковлева оно дважды цитируется с «точными» датами, но в одном случае это 27, а в другом 28 ноября *1857 г.* (указ. соч., стр. 89 и 92). Источник или мотивировка «уточненных» дат не указаны. В действительности, как сказано выше, письмо написано в самом конце марта *1858 г.* В соответствии с такой передатировкой существенно меняется и комментарий к письму. Речь в нем идет о согласии Салтыкова принять

«деятельное участие» не в газете «Молва», издававшейся Константином Аксаковым и прекратившейся на 38-м номере 29 декабря 1857 г., а в новом ежемесячном журнале, задуманном Иваном Аксаковым, но не разрешенном ему правительством.

В заключение своего письма к С. Т. Аксакову от конца марта 1858 г. Салтыков писал: «Не знаю, дозволят ли мне служебные мои обязательства быть в Москве, как я предполагал, но если это сбудется, то я сочту первым долгом воспользоваться вашим приглашением, чтобы лично засвидетельствовать вам мое совершенное и искреннее уважение» (XVIII, 131).

«Служебные обязательства» очень скоро не только позволили, но и заставили Салтыкова быть в Москве. Он приехал 4 апреля проездом, направляясь в Рязань на только что полученное вице-губернаторство (был назначен 6 марта). На следующий же день по приезде Салтыков нанес визит С. Т. Аксакову. Об этом первом свидании Салтыкова с престарелым автором «Семейной хроники» мы узнаем из двух кратких записок в неизданных письмах-дневниках, которые регулярно посылались дочерью писателя Верой Сергеевной своей двоюродной сестре М. Г. Карташевской (ИРЛИ, ф. 173, № 10625/XVС, лл. 104 об., 106 об. и 107 об.).

Первая запись помечена «субботой 5 апреля ⟨1858 г.⟩». В ней сообщается о предстоящем визите: «...сегодня явится Щедрин (Салтыков, автор „Губернских очерков“), также самый жаркий почитатель отесенькиных сочинений. Он едет в Рязань вице-губернатором и распугает, верно, всю губернию своим появлением».

Рассказ о самом визите 5 апреля находим во второй записи, датированной «⟨понедельником⟩ 7 апреля»: «Первый раз был Салтыков (Щедрин), который, говорят, такой чудак, что братья его называют диким; он тяжел в разговорах, а сидел долго, у нас же в это время тоже были гости ⟨...⟩ Освободившись от гостей, мы пошли в кабинет и нашли отесеньку очень утомленным от посещения Салтыкова. Иван там был, но не сумел его увезти раньше».

Слова И. С. Аксакова (в письме к Суворину) о том, что Салтыков «навещал покойного отца», указывают как будто на многократные посещения. Вероятно, однако, это было не так. В первый год своего вице-губернаторства в Рязани Салтыков оказался настолько погруженным в дела службы, что лишь два или три раза, проездами в Петербург, побывал в Москве. Удалось ли ему в эти мимолетные наезды вновь беседовать с С. Т. Аксаковым (умер 30 апреля 1859 г.)— сведений нет.

Основой кратковременного сближения Салтыкова в конце 1850-х годов с семейством Аксаковых явились не житейские бытовые обстоятельства, а идеологические причины. Общественные позиции Аксаковых в это время были таковы, что сочувствие *иным* из их взглядов вовсе еще не означало приверженности к специфическим сторонам славянофильской доктрины. Особенно это относится к Ивану Аксакову, с которым, собственно говоря, и установились у Салтыкова дружеские отношения (документальные данные, подтверждающие «приятельское» общение Салтыкова с Константином Аксаковым, неизвестны).

Как и другие славянофилы, Иван Аксаков выступал за либеральный план реформы, за освобождение крестьян с землей и вплоть до 1861 г. находился в либеральной оппозиции к правительству, подвергая его критике (за что преследовался властями) не только в легальной печати, но и на страницах герценовского «Колокола».

При всем том существует весьма определенное «программное» заявление Салтыкова в письме к Павлову о своих симпатиях к славянофилам, определяемым как представители того направления, в котором «одном есть нечто, похожее на твердую почву», в котором «одном есть залог здорового развития». Оценка этого документа, важного для изучения мировоззрения и литературно-творческих позиций Салтыкова в годы подготовки крестьянской реформы, в годы создания «Губернских очерков», до сих пор является предметом споров литературоведов. Было время, когда слова Салтыкова: «Признаюсь, я сильно гну в сторону славянофилов и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления» — либо вовсе игнорировались как случайные или несущественные, либо, напротив того, служили основанием для характеристики определенного, пусть непродолжительного этапа в его развитии, как славянофильского.

О последней версии — Салтыков-славянофил — не стоит много и говорить. Ни на одном из этапов своего развития Салтыков не был ни монархистом, ни защитником православия, ни апологетом крестьянской патриархальности и смирения, ни приверженцем славяно-русского мессианизма и национальной исключительности. И в 1850-е годы, как прежде в 1840-е и позже в 1860—1870-е, политическая и философская система основных взглядов славянофилов — выразителей идеологии помещичьего лагеря — была не только чужда, но и активно враждебна Салтыкову. Нельзя согласиться поэтому с встречающимися до сих пор попытками, отправляясь от формулировок в письме к Павлову, отыскивать в творчестве сатирика конца 1850-х годов отражение или воздействие реакционных элементов славянофильской идеологии. Укажем в этой связи на противоречивость толкования вопроса об отношении автора «Губернских очерков» к славянофильству в последнем издании книги В. Я. Кирпотина «М. Е. Салтыков-Щедрин» (М., 1955). С одной стороны, автор правильно подчеркивает, что «несмотря на несомненность кратковременных симпатий Салтыкова-Щедрина к славянофилам, он по существу никогда не переходил на их сторону» (стр. 120). С другой стороны, утверждается, что «под влиянием славянофилов» Салтыков в своем первом обращении к образу русского народа, русского крестьянства, допустил искажение, внес в этот образ «идеализацию народного смирения» (стр. 120 и 121). В действительности, однако, в рассказах «Богомольцы, странники и проезжие», которые имеются тут в виду, Салтыков впервые в художественной форме воплотил свою глубоко реалистическую и демократическую концепцию, констатирующую (*но не идеализирующую*) тяжкую непробужденность народа и выражающую одновременно глубочайшую веру в народ, в его духовные красоту, богатство и силу — основные, в просветительском представлении писателя, факторы грядущего народного освобождения. Нельзя не вспомнить по этому поводу суждения Добролюбова о тех самых рассказах, в которых В. Я. Кирпотин усматривает реакционную славянофильскую «идеализацию народного смирения», признание положительными таких сторон народного характера, как «непрекословность», «незлобивость», «терпение», «покорность» (там же, стр. 121). Вот что пишет Добролюбов о рассказах «Богомольцы, странники и проезжие»: «Тут нет сентиментальничанья и ложной идеализации, народ является как есть, с своими недостатками, грубостью, неразвитостью». И дальше, продолжая разговор о «народной массе», как ее понял и изобразил автор «Губернских очерков»: «Она не любит много говорить, не щеголяет своими страданиями и печалями и часто даже сама их не понимает хорошенько. Но уж зато, если поймет что-нибудь этот „мир" толковый и дельный, если скажет свое простое, из жизни вышедшее слово, то крепко будет его слово, и сделает он, что обещал. На него можно надеяться» (статья «Губернские очерки».—«Современник», 1857, № 12, отд. III, стр. 78).

Одним из важнейших итогов семилетнего пребывания Салтыкова в вятской ссылке явилось укрепление и развитие его демократизма — уже не только отвлеченно-просветительского, воспитанного в социалистических кружках Петербурга сороковых годов, но конкретно связанного с трудовым русским народом, с крестьянством. «Я,— вспоминал Салтыков о периоде Вятки,— несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая без ведома для меня самого приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни» (III, 399).

Но когда перед Салтыковым встала задача изобразить эту жизнь на широком художественном реалистическом полотне, он должен был ощутить всю недостаточность своего писательского опыта — опыта автора двух «натуральных» повестей из быта столичной пауперизированной интеллигенции.

На этом пути поисков новых средств художественно-реалистической изобразительности, новых источников познания внутреннего мира русского человека из народа, его чаяний, верований, душевной красоты, поэзии и произошла встреча Салтыкова со славянофилами. «Думалось, мечталось о свободе русского человека,— читаем в первом из печатаемых ниже писем к Павлову,— а где этот русский человек, где было искать его образ, как именно не в удельном периоде, в той уже покрытой мохом старине, где уже два десятка лет неустанно производят свои изыскания славянофилы». Из этих и других мест писем к Павлову, видно, что Салтыкова

привлекла к славянофилам разработка ими целого комплекса вопросов, относящихся к проблеме *национальной самобытности*. Составными частями этого комплекса являлись собирание памятников устного народного творчества, внимание к изучению истории и быта русского крестьянства, в частности, интерес к его духовной жизни, и особенно постановка вопроса о влиянии крепостного права на психологию народа.

Интерес Салтыкова к этим вопросам объяснялся не приверженностью его к славянофильской доктрине, а творческими поисками художника-демократа и реалиста, впервые вплотную подошедшего к писательской разработке темы народа и народности.

На этот счет сохранились интересные суждения А. Н. Пыпина.

В ответ на утверждение известного ученого-слависта В. И. Ламанского, будто бы Салтыков, так же как Тургенев и другие писатели, подпал под все возрастающее воздействие славянофильских идей, А. Н. Пыпин писал из Берлина 12 марта 1859 г.:

«...Вы думаете, что мнения славянофилов в нашей литературе выигрывают больший и больший terrain; вы приводите имена ученых, называете Салтыкова, Тургенева, Кохановскую и т. д. Я очень жалею, что не читал еще „Дворянского гнезда“ и не могу говорить с вами об этом, но вообще я не думаю, чтобы Салтыков и Тургенев изменились именно от влияния славянофильских идей. Я думаю просто, что, не бывши вовсе славянофилами, они только идут по обыкновенной дороге своего развития, правильно и не перескакивая в область мнений совершенно иного рода. Неужели же вы думаете, что западники бьют на то, чтобы ругать славян и что это входит в кодекс их мнений? 〈...〉 Нынешние западники нейдут же до сих пор по стопам Белинского, который одно время действительно восставал против славян. Если западники меньше говорят о славянах и, пожалуй, меньше знают о них, то они вовсе не опровергают самого принципа, а это главное 〈...〉 Если вы в Тургеневе замечаете поворот взглядов, большее сочувствие к народу и к народному началу, неужто это вы припишете действию славянофильской идеи. В прошлом году „Современника“ я читал одну статью Достоевского, о Милюкове, кажется, где народное начало в литературе поставлено было так высоко, как даже и невозможно, и сообразно с тем выставлены огромные требования от литературы, и, несмотря на то, этот господин остается западником с ног до головы, вроде Чернышевского. Заметили ли вы эту статью? Славянофильское воззрение определяют, как требование самостоятельного развития. Но неужели можно объявить наше развитие как не русское, во все последнее время? Неужели можно назвать не русским Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Тургенева?» (Архив Академии наук СССР в Ленинграде, ф. 35, оп. 1, № 1187, лл. 15 об.— 16.— Сообщил Н. Г. Розенблюм).

При всем том из публикуемых ниже документов видно, что, не разделяя общей исторической концепции славянофилов, Салтыков отчасти усвоил из нее отрицательную оценку деятельности Петра I и его реформ. Интересно, в этом отношении, сопоставить публикуемый отзыв Салтыкова о Петре I,как о «величайшем самодуре своего времени», с отзывом С. Т. Аксакова. В 1853 г. М. П. Погодин напечатал в «Москвитянине» статью С. Т. Аксакова о Загоскине. В текст статьи, там, где упоминался Петр I, был введен официальный эпитет первого российского императора — «Великий». Сделано это было без ведома автора. Протестуя против допущенного произвола, С. Т. Аксаков писал М. П. Погодину: «Я *ни за что на свете* не могу назвать великим Петра, которого я считаю чудовищем. Вы навязали мне такое убеждение, которое для меня отвратительно» (Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 12. М., 1878, стр. 38).

Однако и в оценке Петра I Салтыков сошелся со славянофилами, идя дорогой собственного развития. Так же как и Герцен в свои поздние годы, сатирик осуждал в Петре I стремление создать сильное государство с пассивным народом. В этом отношении отзыв Салтыкова о Петре I может быть сближен и с резко отрицательным взглядом на него, изложенным в позднем — 1886 г.— письме Чернышевского к Пыпину (Чернышевский, т. XV, стр. 613).

Сложившееся у Салтыкова в 1850-е годы мнение о Петре и созданном им дворянско-бюрократическом аппарате государственного насилия — «наших преторианцах, которые полвека глумились из Петербурга над Россией, возводя то брауншвейгцев, то голстинцев»,— сохранилось у Салтыкова и впоследствии. Спустя десятилетие эти взгляды преломились в художественных обобщениях «Истории одного города».

М. Е. САЛТЫКОВ

Фотография с дарственной надписью П. В. Анненкову:
«Многоуважаемому Павлу Васильевичу Анненкову от Салтыкова в знак искреннего уважения.
14 марта 1857 года. С. П. бург»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

1

И. В. ПАВЛОВ — М. Е. САЛТЫКОВУ

⟨Орел. 13 августа 1857 г.⟩

Гувернантки бывают с музыкой и без музыки и дураки тоже бывают с музыкой и просто дураки. Тип дурака с музыкой — это граф Дмитрий Андреевич Толстой[1]. Вульф[2] — дурак без музыки. Эти гораздо сноснее, потому что безвреднее. Его, вероятно, скоро сделают губернатором. Губернатор же наш — это тип, какого в твоих очерках не встречается. Это петербургский понатершийся холуй, который, в сущности, гораздо бессовестнее Порфирия Петровича[3], но за веком следует: грабит не через правителя канцелярии, а через темного и грязного столоначальника губернского правления Игнатьева, который хотя в так называемый свет и не показывается, но имеет домà, рысаков, любовниц. Все это знают; но ведь это не перед глазами, а где-то там — в людской. На показ же держатся юные университанты — правитель канцелярии и чиновники по особым поручениям, люди благороднейшие и смирные.

Случалось ли тебе месяца два или три сряду раскладывать пасьянец одной и той же колодой второго разбора? Когда колода совсем засалится, она делается сносной, карты перестают липнуть, ими можно свободно орудовать, — колода перешла тогда в третий период засаленности. Второй период — самый ужасный! Ни стасовать, ни снять, ни карту выдернуть. Карты пристают и к рукам и одна к другой; ты грязь осязаешь, а на вид они будто чисты.

Ко второму периоду засаленности принадлежат все петербургские холуи, рассылаемые на различные кóрмления по губерниям. И Михаил-Трофимычи и Пршикржецинские и Кржепржецинские — все это второй период, самый отвратительный и неудобный для употребления[4]. Наш Поганович (так зовет Сафоновича[5] вся губерния) стоит во главе этих господ и стóит того, чтобы ты возвел его в «перл создания».

Я в последние четыре года много читал древних актов и пришел к следующему убеждению: сказание о призвании варягов есть не факт, а миф, который гораздо важнее всяких фактов. Это, так сказать, прообразование всей русской истории. «Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет», вот мы и призвали варягов княжить и владеть нами. Варяги — это губернаторы, председатели палат, секретари, становые, полицеймейстеры — одним словом, все воры, администраторы, которыми держится какой ни на есть порядок в великой и обильной земле нашей. Это вся наша 14-классная бюрократия, этот 14-главый змий поедучий, чудо поганое наших народных сказок. Змия этого выпустил Петр Великий на народность русскую за то, что она не укладывалась в рамки европейского государства. Только при помощи змия он одолел и сломал ее. Все, что носит печать змия, обстоятельствами поставлено во вражду с народностью и само по себе с нею враждует. Стóит администраторам официально признать какое-нибудь народное учреждение, так оно тотчас же опохабится в глазах народа. Главная опора змия — это крепостное право, в котором закон освящает эксплуатацию человека человеком, произвол, насилие и грабеж. Всякий варяжский администратор действует, следовательно, в духе закона. Оттого бессильны все нападки на взяточничество и капнистова «Ябеда», и гоголев «Ревизор», и твои очерки — увы! Пока по закону существует крепостное право, до тех пор в сплошной твердыне взяток даже и бреши нельзя сделать.

Орел, 13 августа.

Сверху, в виде заглавия, написано рукою чиновника, производившего перлюстрацию:

Выписка из письма без подписи из Орла от 13 августа 1857 г. М. Е. Салтыкову в С.-Петербург.

[1] Известный впоследствии реакционный государственный деятель гр. Дмитрий Андреевич *Толстой* занимал в это время пост директора канцелярии Морского министерства. Павлов знал Д. Толстого по Царскосельскому лицею, где они учились на XII курсе (1837—1843). Салтыков же был воспитанником следующего, XIII курса (1838—1844). С. Н. Кривенко пишет о Салтыкове, что «с графом Д. А. Толстым судьба свела его потом, по выходе из школы» (С. Н. Кривенко. М. Е. Салтыков. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк. Изд. 3. Пг., 1914, стр 71). Однако никаких следов этих позднейших отношений не сохранилось, и что тут имеет в виду Кривенко — неизвестно. Комментируемый текст содержит самое раннее упоминание имени Д. А. Толстого в переписке с Салтыковым. Следующее упоминание уже в письме самого Салтыкова относится к 1864 г., но в этом письме сказано: «Товарищем моим по лицею был нынешний министр народного просвещения, но и с этим я давно уже не знаком, и вряд ли могу возобновить знакомство» (XVIII, 221 — письмо, помеченное в подлиннике «17 октября», неверно отнесено здесь к периоду 1869—1880 гг.).

[2] Николай Петрович *Вульф* был орловским вице-губернатором (в перлюстрационной копии его фамилия всюду искажена: «Гульф»).

[3] *Порфирий Петрович* из одноименного рассказа в «Губернских очерках» — один из наиболее ярких типов старых дореформенных чиновников, тип приобретателя, хищника и лицемера. Чернышевский относил Порфирия Петровича к образам тех выведенных сатириком людей «с дурным сердцем, с душой решительно низкою», которые «действительно злы и ненавистны», которых «защищать нельзя» (Чернышевский, т. IV, стр. 267).

[4] Павлов имеет в виду представителей плеяды «молодых бюрократов», претендовавших на «образованность» и «направление». Впервые и лишь мимоходом Салтыков затронул этот новый тип «идейного» чиновника в рассказе «Неприятное посещение» из «Губернских очерков». «Партию для его высокородия,— читаем здесь,— он ⟨городничий⟩ уже составил, и партию приличную: Михайло Трофимыч Сертуков, окружной начальник, молодой человек, образованный с направлением; асессор палаты Кшепшицюльский, тоже образованный и с направлением, и наконец той же палаты чиновник особых поручений Пшикшецюльский, не столько образованный, сколько с направлением. Все они согласны играть во что угодно и по скольку угодно» (II, 68—69).

[5] Валериан Иванович *Сафонович* — орловский гражданский губернатор.

2

М. Е. САЛТЫКОВ — И. В. ПАВЛОВУ

⟨Петербург.⟩ 23 августа ⟨1857 г.⟩

Уж как бы хорошо быть в Орел вице-губернатором, но вряд ли это может статься. Вульф известен и в Министерстве не только как дурак, но даже просто как идиот. Да и это бы еще ничего, потому что глупость не только не мешает, но даже украшает губернаторское звание, как ты можешь убедиться прочитав мою комедию «Просители»[1]; но худо то, что у Вульфа протекции мало, вследствие чего он лишен всякой надежды на возведение в сан святительский. Участь Орла — претерпевать Вульфа до конца. Одно лишь средство есть: напустить на него бешеную собаку, чтобы она его укусила, и потом оставить его без врачебного пособия. С ума свести его нельзя, ну, а взбесить, может быть, и можно. Да притом с таким губернатором, как теперешний, только и можно служить, будучи Вульфом. Ты представь себе меня на месте Вульфа? Ведь бы горло перегрыз Игнатьеву[2], который, вдобавок, еще в губернском правлении, следовательно, прямо под рукою вице-губернатора.

В моих «Богомольцах» есть тип губернатора, похожего на орловского. Ты представь себе эту поганую морду, которая лаконически произносит: «Постараемся развить», и напиши мне, не чесались ли у тебя руки искровянить это гнусное отребье, результат содомской связи холуя с семинаристом?[3]

И вот каковы наши варяги! Не взяточничество страшно, а это торжественное признание себя холопом, это холуйское самодовольство, защищенное от палки недосягаемостию запяток[4].

Твоим мифом о призвании варягов я намерен воспользоваться и устроить очерк под заглавием «Историческая догадка». Изложу ее в виде бе-

седы учителя гимназии с учениками [5]. В pendant к этому будет у меня история о том, как Иванушку-дурака за стол посадили, как он сначала думает, что его надувают и т. д. Выйдет недурно, только как бы тово. . . ж. . . не посекли [6]. Какого ты мнения насчет сечения? «Наплевать» или «не наплевать»? Я думаю, что наплевать, но только должно быть анафемски больно. Однако ж клянусь, что я не испытывал этого.

Признаюсь, я сильно гну в сторону славянофилов и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления. В нем одном есть нечто похожее на твердую почву, в нем одном есть залог здорового развития: а реформа-то Петра, ты видишь, какие результаты принесла. Господи, что за пакость случилась над Россией? Никогда-то не жила она своею жизнью: то татарскою, то немецкою. Надо в удельный период залезать, чтобы найти какие-либо признаки самостоятельности. А ведь куда это далеко: да и не отскоблишь слоев иноземной грязи, насевшей, как грибы, на русского человека.

Думалось, мечталось о свободе русского человека, а где этот русский человек, где было искать его образ, как именно не в удельном периоде, в той уже покрытой мохом старине, где уже два десятка лет неустанно производят свои изыскания славянофилы*.

Сверху, в виде заглавия, написано рукою чиновника, производившего перлюстрацию:

Выписки из двух писем с подписью: «М. Салтыков», от 23 августа и 15 сентября, приложенные к письму, без подписи, из Орла на имя Михаила Николаевича Лопатина, в Москву.

На полях пометка карандашом рукою шефа жандармов и главноуправляющего III Отделением кн. В. А. Долгорукова: Составить памятную записку о намерении Салтыкова, написать статью под заглавием «Историческая догадка».

[1] Действие комедии «Просители», входящей в «Губернские очерки», происходит в приемной князя Чебылкина — начальника губернии, хотя по цензурным причинам он и не назван в пьесе губернатором. Глупость — отличительная черта Чебылкина. О нем в авторской ремарке сказано: «Входит князь, старик почтенной наружности, но вида скорее доброго, нежели умного; особенно заметно отсутствие всякой проницательности...» (II, 195). Князь Чебылкин вместе со столь же идиотическим генералом Голубовицким — первые в щедринской сатире образы высших представителей самодержавной власти в губернии — «помпадуров».

[2] Иван Алексеевич *Игнатьев* — столоначальник Орловского губернского правления.

[3] Рассказ «Общая картина» из «Губернских очерков», являющийся введением к разделу «Богомольцы, странники и прохожие», заканчивается картиной шествия крутогорского «бомонда», возглавляемого генералом Голубовицким. Между чиновниками, сопровождающими генерала, возникает «деловой разговор» о «нуждах края», в котором имеется то место, которое цитирует здесь Салтыков:

« — Губерния эта самая отличная,— говорит Порфирий Петрович: — это, можно сказать, непочатой еще край...

— В одних недрах земли сколько богатств скрывается! — перебивает директор.

— Постараемся развить! — отвечает генерал» (II, 140).

[4] Скрытая цитата из статьи Герцена «Еще вариация на старую тему», опубликованной в «Полярной звезде», 1857, кн. III. Говоря о славянофильской группе нового журнала «Русская беседа» и имея в виду прежде всего направленную против него статью одного из редакторов журнала Т. И. Филиппова (в апрельской книжке 1856 г.), Герцен писал: «Попадись этим господам в руки власть, они заткнут за пояс III Отделение. И будто я сблизился с этими дикими по сочувствию, по выбору, по языку? Отчего же не так-то давно один из них пустил в меня, под охраной *самодержавной* полиции, комом отечественной грязи, с таким *народным* запахом передней, с такой постной отрыжкой *православной* семинарии и с таким нахальством холопа, защищенного от палки недосягаемостью запяток, что я на несколько минут живо перенесся на Плющиху, на Козье болото...» (Герцен АН, т. XII, стр. 424). Цитата эта любопытна как первое по времени свидетельство знакомства Салтыкова с заграничными изданиями Герцена.

---

* *Абзац* «Думалось ∾ славянофилы» *отсутствует в перлюстрационной выписке. Воспроизводится по публикации в «Русской старине» (1897, № 11, стр. 234).*

[5] «Исторической догадкой» Павлова Салтыков действительно воспользовался. Но он изложил ее не в форме беседы учителя гимназии с учениками, как предполагал. Павловскую метаморфическую «трактовку» мифа о призвании варягов сатирик вложил в уста выгнанного со службы подъячего Гегемониева, напутствующего в делах службы преуспевающего новоиспеченного станового пристава Потанчикова. Рассказ «Гегемониев. (Из книги об умирающих)» Салтыков напечатал в мае 1859 г. в № 15 нового журнала «Московский вестник», фактически редактировавшегося Павловым (III, 273—280). «Гегемониев» был одним из тех рассказов, которые Салтыков не раз читал в петербургских литературных кружках (П. В. Быков. Силуэты далекого прошлого. М.— Л., 1930, стр. 60).

[6] История о том, как Иванушку-дурака — персонифицированный сказочный образ народных масс, крестьянства — за стол посадили, как он сначала думает, что его надувают, а потом, сознав свою силу, собрался «судить да рядить», Салтыков изложил в эпилоге рассказа «Скрежет зубовный» — «Сон». Рассказ появился в печати в февральской книжке «Современника» 1860 г. с большими цензурными искажениями.

3

И. В. ПАВЛОВ — М. Е. САЛТЫКОВУ

〈Орел. 28 августа 1857 г.〉

Ну, об областных учреждениях. Где брали больше взяток — у нас или на Западе? Это бабка надвое сказала. Сотрудников «Вестника» сдуру пугает слово кормление...[1] Да ведь воеводы жалованья-то не получали. Просим же мы теперь хорошего местечка, «чтобы жить было чем». В русском народе существует исконный обычай платить как за административный и судебный акт чиновнику, так и за духовно-обрядовой священнику не огулом, а в разноту. Что ж тут дурного? Конечно от необразования нашего всякий стремится захапать побольше. Но медики и до сих пор на таковом положении и во всем образованном мире. А что, братец, мне хочется об этом статейку тиснуть в «Современнике» — а? Помести, голубчик, постараюсь написать гладко[2]. Главное дело, мне хочется провести ту мысль, что истинный родоначальник современного взяточничества есть Петр I: 1) он завершил крепостное право своим указом о первой ревизии; 2) он уничтожил плату в разноту и стал платить от правительства гуло́м ничтожнейшее жалованье. Как будто труд не тот же товар, которому цену бог строит? Какой черт заставит меня продать рожь по рублю, когда ей цена четыре? Какой черт заставит секретаря гражданской палаты трудиться на 10 000, а получать только 500? Ведь это все от тупости не понимается. Истинно ты прав, что — эпидемия. Что я буду за свинья, коли, совершая купчую, не заплачу за мастерство в составлении акта секретарю и надсмотрщику, а за чистую переписку канцелярскому, чтобы он мне дорогого листа не испортил? Что я буду за скотина, коли, желая взыскать с соседа за потраву моих земель, выпишу станового за тридцать верст по бездорожью и не заплачу ему за визит? Ты скажешь, что он по закону обязан. Да ведь это бессмыслица! И мужик по закону обязан для меня проливать кровавый пот. Это уж совсем «par amour», а чиновник почти «par amour», как полпивные бл.... Нелепо! Помести, голубчик, статейку... я напишу. Вот ж... то смущает... Ну как сечения для выпишут в Петербург?! Черт с ней, ж...! да ведь долго, а тут по хозяйству упустишь. Как ты думаешь? Я Петра признаю за великого гения, а реформу его за временное политически необходимое объявление России на военном положении. В высшей степени нелепо продолжать военное положение целые века и еще нелепее видеть в нем альфу и омегу нашего исторического развития. Чтобы шагнуть от Нарвы до Полтавы, может быть все это и нужно было, да теперь-то не нужно! Это все твой «Вестник» шелудит. Экая скотина!

Ежели бы Петр I теперь восстал от мертвых, он бы их всех палкой отдул. Видишь ли, для сплочения государства и расширения его до естественных географических пределов нужна была не только военная армия,

но и армия штатская, этот четырнадцатиголовый змий поедучий, который, как всякая армия, не разделял бы интересов народа, а был бы душой и телом предан начальству. Ему и грабить было необходимо — это фуражирство. Но все это на время, пока нужда была. Прошла нужда, армия распускается, расходы сокращаются. Одного, признаюсь, не понимаю — это треклятого прикрепления человека к земле. Неужели без него нельзя было обойтись? Мне кажется, об этом Петр не подумал, просто маху дал. За государством не видал человечества...

Так вот я какой антипетрист, понимаешь?

Сверху, в виде заглавия, написано рукою чиновника, производившего перлюстрацию: Выписка из письма Ив. Павлова из Орла от 28 августа 1857 г. к Михаилу Евграфовичу Салтыкову в С.-Петербург.

[1] Очевидно, Павлов отвечает на ту часть письма Салтыкова от 23 августа, не попавшую в перлюстрацию и остающуюся нам неизвестной, где речь шла об известном труде К. Д. Кавелина «Областные учреждения в России XVII века» (М., 1856) и о той шумной полемике, которую он вызвал в журналах, в том числе и в «Русском вестнике» 1857 г.

[2] Основания, на которых Павлов обращался к Салтыкову с просьбой поместить его статью в «Современнике», остаются неясными. Предложенное Салтыкову Некрасовым летом 1857 г. сотрудничество в «Современнике» долго не ладилось. В этом году Салтыков дал журналу один, да и то очень слабый рассказ «Жених», после чего наступила длительная пауза. Перелом в отношениях с «Современником», тесное сближение с редакцией произошло позже — в 1859—1860 гг.

4

М. Е. САЛТЫКОВ — И. В. ПАВЛОВУ

〈Петербург.〉 15 сентября 〈1857 г.〉

Ты хочешь истребить взятки, узаконив их. Это уже существует в наших остзейских губерниях и известно под именем акциденции [1], и подобного мучительства, какое испытывают там тяжущиеся и всякого рода просители, — нигде в мире никто не испытывает. Каждый шаг стоит денег, и приказная мелкая тварь делает все усилия, чтобы тянуть дело и втравлять в него как можно более народа. Ни жалованье, ни акциденции в этом деле не помогут, потому что приказная утроба ненасытна; а легкость административной добычи такова, что самого невинного и неумелого человека соблазняет, ибо работа мысли здесь самая немудрая. Притом же правосудие необходимо должно быть даровое. Это принцип, освященный всеми стоящими высоко государствами, и принцип вполне основательный. Есть одна штука (она же и единственная), которая может истребить взяточничество и поселить правду в судах и вместе с тем возвысить народную нравственность. Это — возвышение земского начала за счет бюрократического. Я даже подал проект, каким образом устроить полицию на этом основании, но, к сожалению, у нас все спит, а следовательно, будет спать и мой проект до радостного утра [2]. Да и то сказать, какое может быть рьянство, когда половина России в крепостном состоянии.

Вот ты ругаешь Петра за крепостное состояние и за бюрократию, однако ж и оправдываешь его обстоятельствами времени; а я так и того не делаю, а просто нахожу, что это был величайший самодур своего времени. Если бы он видел только *временную* необходимость в четырнадцатиглавом змие, то понимал бы, что всякое осадное состояние когда-нибудь снимается же; а он нас обрек на вечное рабство или вечную революцию. Маху давать в таком деле нельзя, и я нахожу, что настоящее положение дела есть не что иное, как логическое развитие мысли Петра. Вспомни, что он учредил наших преторианцев, которые полвека глумились из Петербурга над Россией, возводя то брауншвейгцев, то голстинцев.

Нет, воля твоя, а таким образом нельзя благодетельствовать отечеству. Петру просто по нраву пришлись заморские обычаи, а он и ну гнуть

в эту сторону, благо материал попался способный. Слова нет, хороши обычаи, но ведь они слились бы с нами естественным порядком и тогда бы не было того странного раздвоения, которое теперь в России.

[1] Младшие служащие («приказные») заведенных Петром I коллегиальных учреждений не имели постоянных окладов жалованья. Им было предоставлено право пользоваться так называемыми акциденциями, то есть доходами от добровольных даяний челобитчиков. В начале царствования Екатерины II акциденции были уничтожены во всех внутренних губерниях России, но сохранены в Остзейском крае и в губерниях, отошедших от Польши. Здесь этот институт продержался до реформ 1860-х годов.

[2] Перефразируется эпитафия Карамзина: «Спи, милый прах, до радостного утра». Проект Салтыкова «О новом устройстве полиции» до сих пор не разыскан. Однако до нас дошел, хотя и не полностью, текст «Записки» Салтыкова, имеющий прямое отношение к его затерявшемуся проекту. «Записка» частично опубликована К. К. Арсеньевым в «Материалах для биографии М. Е. Салтыкова». Подлинник ее был впоследствии утрачен. В дневнике сослуживца Салтыкова по Министерству внутренних дел историка и археолога А. И. Артемьева имеется следующая запись от 1 апреля 1857 г., дающая общее представление о проекте: «...Салтыков впадает в новую крайность, рассматривая все с точки индивидуальной неприкосновенности, с точки той, что полиция не смеет нарушать семейного спокойствия, не смеет входить в дом и проч. Кроме того, все полицейские чиновники должны быть выборные. Салтыков уверен, что все пойдет отлично; но я сильно спорил с ним, основываясь в особенности на том, что он первый откажется от должности квартального или частного, если бы его выбрали» (сб. «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». М., 1957, стр. 433—434; там же см. подробный комментарий). Проект Салтыкова, законченный им в начале 1857 г., вызвал неудовольствие министра юстиции В. Н. Панина и был, в конце концов, после ряда обсуждений, похоронен в канцелярии Министерства внутренних дел.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

ИЗ ПИСЬМА И. В. ПАВЛОВА к Н. А. ОСНОВСКОМУ

Оптуха. 13 октября ⟨1859 г.⟩

...Очень хорошо чувствую, что вся штука в *названии* статей, которыми можно похвастаться в приличном объявлении, и потому предупредил твое желание:

Салтыкову написал напрямик: «Сообщи название». А Ивану Сергеевичу послал твое объявление и копию с прилагаемого сокращения... «Вот де написали мы объявление и сами чувствуем, что больно *коммерчески*. От сокращения же, гляди, подписчиков мало наберешь... Так ка́к вы, наш милостивец, нам посоветуете?» Авось догадается.

Посылаю тебе салтыковское письмо... Разделение генералов забавно. Ежели Иван Сергеевич и действительно генерал-инкогнито, то ему дозволительно: из пишущей братии кто же ему по колено подходит? А в Салтыкове, как видишь, говорит болезненное самолюбие. Письма́ его, пожалуйста, никому не показывай...

Автограф. ГПБ, к. 19, л. 3—3 об.— Сообщено Н. Г. Розенблюмом.

В конце 1859 г. И. В. Павлов создал в Москве и фактически редактировал еженедельный журнал «Московский вестник». К участию в котором привлек Тургенева, Салтыкова, Плещеева, Суворина и других. Попытки привлечь Герцена, Добролюбова, а также Чернышевского успехом не увенчались. В одном из недатированных писем к тому же адресату писателю Нилу Андреевичу *Основскому* (ум. в 1871 г.) Павлов сообщал: «Сейчас получил письмо из Петербурга. Чернышевский с радостью взялся написать нам несколько статей, только с тем условием, чтобы никто из славянофилов у нас не участвовал. Моя статья ему очень понравилась» (неизд. — ГПБ, к. 19, л. 7). О какой статье идет речь — неизвестно. Павлов поместил в журнале много статей как анонимных, так и под своим псевдонимом «Лекарь Оптухин» (Оптуха — название его орловского имения).

Публикуемая выдержка из письма Павлова связана с обсуждением проекта объявления об издании «Московского вестника».

Упоминаемое в тексте письмо Салтыкова к Павлову с иронической характеристикой Тургенева в печати неизвестно.

2

⟨ВЕДОМОСТЬ ПЕРЛЮСТРАЦИИ ПЕРЕПИСКИ М. Е. САЛТЫКОВА И О НЕМ⟩ ПО ЧАСТНЫМ СВЕДЕНИЯМ 1857 ГОДА

№	Откуда, куда, кем и кому сообщено	О чем именно	Какое сделано распоряжение
32	27 июля, из Петергофа, Николай Некрасов (издатель «Современника») Тургеневу (вероятно, автору «Записок охотника») в Сенсиг ⟨Зинциг⟩ на Рейне *.	«Какое бы унылое впечатление ни производила Европа, но стоит только воротиться, чтобы начать думать об ней с уважением и отрадой». Некрасов доволен своим возвращением, ибо «русская жизнь имеет свою счастливую особенность сводить человека с идеальных вершин, напоминая ему, какая он дрянь». В столице шум и витии бичуют рабство, зло и ложь, а внутри России такая тишина, как будто бы она, давно дремавшая, впала в смертельный сон. — Сочинения Щедрина и Водовозова не одобряются.	
89	13 августа, из Орла, служащему в Министерстве внутренних дел Михаилу Евграфовичу Салтыкову (автору «Губернских очерков»).	О директоре канцелярии Морского министерства графе Толстом, о губернаторе Сафоновиче, вице-губернаторе Вульфе, и столоначальнике губернского правления Игнатьеве.	См. дело 1857 г. № 273 **.
137	28 августа, из Орла, Ив. Павлов Мих. Евграф. Салтыкову в С.-Петербург.	О намерении написать для «Современника» статью о взяточничестве, которому родоначальник Петр I, и которое объясняется естественным образом как вознаграждение за труды.	
150	3 сентября, Мефодий из С.-Петербурга Мих. Никиф. Каткову в Москву.	О командировании в Ржев вместо Салтыкова Мельникова, который своего не упустит, и о том, что Краевский и Тургенев ездили на поклонение Герцену.	
189	23 сентября, из Орла Мих. Ник. Лопатину в Москву.	О жестоких поступках помещика Михаила Мацнева с женою и о мужеложестве помещика Александра Мацнева.	
	К этому приложены письма от 23 августа и 15 сентября Михаила Салтыкова.	О желании Салтыкова быть в Орле вице-губернатором; о губернаторе Сафоновиче и вице-губернаторе Вульфе; о намерении Салтыкова написать, в виде беседы учителя с учеником, очерк «Историческая догадка» (о призвании варягов).	
306	6 декабря, из Орла, Мих. Ник. Лопатину в Москву.	О злоупотреблениях в Мценском уездном суде; о Мордовине ⟨?⟩; о Салтыкове (Щедрине); о Михолсовиче ⟨?⟩; о Гутцейте; о жандармском штаб-офицере Житкове.	

ЦГИАМ, ф. 109, 2 Секретный архив.— Все попавшие в «ведомость» фамилии в подлиннике подчеркнуты.

---

* Письмо опубликовано: Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч., т. X, стр. 354.

** Дело это остается неразысканным.

Е. В. САЛИАС ДЕ ТУРНЕМИР

Имя графини Елизаветы Васильевны *Салиас де Турнемир*, урожденной Сухово-Кобылиной, писавшей под псевдонимом *Евгении Тур* (1815—1892), не значилось до сих пор в списке корреспондентов Салтыкова. Не был известен и повод, вызвавший их переписку — обращенное к автору «Губернских очерков» предложение Салиас сотрудничать в задуманном ею журнале (письмо к Салтыкову не найдено). Этот журнал стал выходить в Москве с 1 января 1861 г., два раза в месяц. Назывался он «Русская речь, обозрение литературы, истории, искусства и общественной жизни на Западе и в России». Журнал просуществовал до 4 января 1862 г. С № 39 (от 12 мая 1861 г.) он объединился с другим изданием, стал называться «Русская речь и Московский вестник», и во главе его официально стал Е. М. Феоктистов.

Программа журнала, задуманного Салиас не без расчета на коммерческий успех, была разработана ею совместно со своими друзьями — Е. М. Феоктистовым, в ту пору воспитателем ее детей, и Г. В. Вызинским, профессором Московского университета, польским патриотом правой, аристократической ориентации. Это была либеральная программа, враждебная последовательному демократизму «Современника». «Прежде всего заступлюсь за „Современник",— писал к М. Ф. Де-Пуле 27 декабря 1861 г. А. С. Суворин, весьма радикально тогда настроенный (оба корреспондента сотрудничали в журнале Салиас).— Нужно вам узнать раз навсегда, что я не разделяю вполне мнений этого журнала, как они ни честны. А что они честны — в этом не может быть никакого сомнения. „Современник" желает не конституции с палатами и боярством, как „Русский вестник", „Отечественные записки" и „Русская речь", а желает такого правления, какое, например, в Северной Америке» (ИРЛИ, ф. 569, ед. хр. 587, л. 33.— Сообщено Н. Г. Розенблюмом). Симпатизируя «Современнику» за его демократизм, «плебейство», за его вражду к аристократии, «боярству», Суворин и в ту пору оговаривал свое несогласие с социалистическими тенденциями журнала Чернышевского. Не лишено интереса и другое свидетельство Суворина, в письме к тому же Де-Пуле от 21 сентября 1861 г. Оно касается характеристики либералов из московского салона Салиас — общественной среды, питавшей ее журнал. «Здесь я насмотрелся и главное наслушался о том кружке, который окружал графиню и окружает теперь,— писал Суворин.— Все это люди образованные, не невежды, все это люди, мерзостей не делающие и не делавшие. И все-таки скажу, что все это люди совершенно бесполезные в настоящее время. Хуже этих конституционистов, вялее, однообразнее я ничего не знаю. В ком есть хоть инстинкты жизни, тот не уживется с ними. Здесь гроб, здесь все мертво, все живет задами и только удивляется невежеству молодого поколения...» (там же, лл. 15—19.— Сообщено Н. Г. Розенблюмом).

Когда летом 1860 г. в литературных кругах стало известно о намерении Салиас издавать либерально-оппозиционный журнал, Салтыков откликнулся на это известие насмешкой. «Слухи носятся,— писал он в «Искре»,— что г-жа Евгения Тур будет с 1861 года издавать в Москве „Журнал амазонок". В числе амазонок будут гг. Вызинский и Феоктистов» («Искра», 1860, № 28, от 22 июля; см. также: IV, 237).

Что же заставило Салтыкова спустя три месяца принять «с большим удовольствием» предложение стать сотрудником нового журнала? В точности мы этого не знаем, но, несомненно, главную роль сыграла тут переоценка Салтыковым в какой-то момент оппозиционных настроений Салиас. Она действительно резко говорила в своем салоне против деспотизма и насилий, чинимых правительством, особенно по отношению к преследуемой студенческой молодежи — товарищам ее сына. С некоторыми из них, например с революционно настроенным Иваном Кельсиевым, у нее установились дружеские связи («Лит. наследство», т. 61, 1953, стр. 802). «Дом ее,— вспоминал по этому поводу, сильно сгущая краски, Е. М. Феоктистов,— сделался мало-помалу сборищем бог знает какого люда,— все это ораторствовало о свободе, равенстве, о необходимости борьбы с правительством и т. п.» (Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы. Ред. Ю. Г. Оксмана. Л., 1929, стр. 368). Однако эти настроения протеста, привлекшие вскоре к Салиас внимание секретной поли-

тической полиции, сочетались у нее, а тем более у Феоктистова и Вызинского, с враждой к демократии, революции и социализму — с враждой к «Современнику» Чернышевского и Добролюбова, куда лежал путь Салтыкова.

Салтыков угадал направление «Русской речи» еще до начала выхода в свет этого журнала московских либералов и отменил решение, о котором извещал Салиас в публикуемом письме. В отличие от двух других писателей демократического лагеря, приглашенных Салиас — А. И. Левитова и В. А. Слепцова, — Салтыков не принял в «Русской речи» никакого участия.

〈Тверь. 28 октября 1860 г.〉

Милостивая государыня
графиня Елена〈!〉 Васильевна[1].

Письмо ваше, которым вы приглашаете меня к участию в предпринимаемом вами журнале, пришло в Тверь в то время, как я находился в Петербурге[2], и потому я невольным образом был вынужден замедлить ответом. Предложение ваше я принимаю с большим удовольствием и употреблю все силы, чтобы исполнить ваше желание. Так как у меня в настоящее время нет ничего готового, то не знаю, буду ли иметь возможность выслать вам что-либо для первых номеров, но, во всяком случае, постараюсь.

Затем, при желании вам всевозможных успехов предпринимаемому вами изданию, прошу вас принять уверение в совершенном моем почтении и преданности, с которыми имею честь быть

вашим, милостивая государыня,
покорнейшим слугою
Михаил Салтыков

Тверь. 28 октября 1860 г.

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 445, оп. 1, ед. хр. 34, л. 1.

[1] Ошибочное «Елена» в обращении указывает на то, что Салтыков мало знал корреспондентку, которую звали Елизаветой, а может быть, и вовсе не был лично с нею знаком.

[2] О том, что Салтыков приезжал в октябре 1860 г. в Петербург, становится впервые известно из настоящего письма. Салтыков мог выехать не раньше 4 октября. Этим числом датированы его записки о ревизии присутственных мест Калязина и Кашина, представленные губернатору Баранову (Н. Журавлев. М. Е. Салтыков-Щедрин — ревизор.— «Красный архив», 1937, № 4, стр. 162—166).

П. Т. БАРАНОВУ

Адресат письма — граф Павел Трофимович *Баранов* (1814—1864) занимал в 1857—1862 гг. пост тверского губернатора и был, таким образом, ближайшим начальником и сослуживцем Салтыкова в пору его вице-губернаторства в Твери. В автобиографических рассказах Салтыкова, записанных в 1885 г. в Висбадене доктором Белоголовым, Баранов охарактеризован как «человек не особенно выдающегося ума, но очень мягкий и благожелательный и не только не тормозивший, а скорее сочувствовавший либеральным стремлениям правительства» (сб. «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 620). «С Барановым я покамест в большой приязни»,— сообщал Салтыков брату 24 июля 1860 г. вскоре после начала службы в Твери (XVIII, 154). Однако из дальнейших писем Салтыкова, относящихся к периоду непосредственного проведения крестьянской реформы в Тверской губернии, видно, что вскоре его отношения с губернатором сильно обострились. Человек совершенно безвольный, больше всего боявшийся необходимости принимать самостоятельные решения, Баранов, несмотря на свое сочувствие правительственной программе реформы, в практике ее осуществления совершенно подпал под влияние яростного крепостника, управляющего тверской Палатой государственных имуществ, камер-юнкера В. Г. Коробьина, чье имя было упомянуто Герценом в «Колоколе» среди

«атаманов» государственного «разбоя» (л. 73-74, от 15 июня 1860 г.; ср.: Герцен, т. X, стр. 338). «Крестьянское дело идет в Тверской губернии столь же плохо, как и в Ярославской,— писал Салтыков Е. И. Якушкину 7 июня 1861 г.— В течение мая было шесть экзекуций ‹...› Граф Баранов, очевидно, действует таким образом по слабости рассудка; им совершенно овладел Коробьин, который рассвирепел ужасно и с которым, вследствие сего, я перестал кланяться ‹...› Я пытался усовещевать его ‹Баранова›, подал даже формальную бумагу с доказательствами нелепости его действий; но и тут Коробьин подпакостил: „Пускай, говорит, волнуется, а вы идите

огромнаго большинства дворянъ Тверской губерніи

Письму нашему просимъ Васъ, Милостивый

Государь, сообщить возможно большую гласность.

Арсеній Измайловъ помѣщикъ [illegible] уѣзда

Михаилъ Салтыковъ, [illegible] Калязинскаго уѣзда

Алексѣй Унковскій, помѣщикъ Тверскаго уѣзда

Александръ Европеусъ, помѣщикъ Бѣжецкаго уѣзда.

Константинъ Жуковъ помѣщикъ Весьегонскаго уѣзда

[illegible] помѣщикъ [illegible] уѣзда

Николай Бакунинъ помѣщикъ Новоторжскаго уѣзда

ПИСЬМО ДВОРЯН ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ ПРЕДВОДИТЕЛЮ ДВОРЯНСТВА В. Д. БРОВЦЫНУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ПОМЕЩИКОВ-КРЕПОСТНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ, 1861 г.

Лист последний (воспроизводится в неполном виде). Вторая подпись — Салтыкова

Центральный архив литературы и искусства, Москва

себе своей дорогой; вас, говорит, за бездействие власти под суд отдадут". С тех пор Баранов встречается со мною и краснеет; краснеет и посылает команды» (XVIII, 162).

В печатаемом здесь письме Салтыков дает согласие стать членом Губернского комитета по крестьянскому делу. Однако деятельность губернских комитетов, созданных в 1858 г. для подготовки проектов крестьянской реформы, повсеместно прекратилась в конце 1859 г. Что же касается тверского комитета, то он был закрыт значительно раньше других — еще 5 февраля 1859 г. Очевидно, таким образом, что Салтыков описался и назвал старым титулом новое учреждение, пришедшее на смену Губернскому комитету — Губернское по крестьянским делам присутствие. В состав этого учреждения, руководившего «освобождением» по губерниям, входили четыре так называемых коронных члена (губернатор, губернский предводитель дворянства, управляющий Палатой государственных имуществ, губернский прокурор) и четыре члена из местных дворян-помещиков. Таким образом, Салтыков по своему служебному положению вице-губернатора не входил в присутствие и мог стать его

членом лишь в качестве местного помещика. Желание Салтыкова войти в присутствие (вряд ли можно сомневаться в том, что предложение губернатора было инспирировано самим Салтыковым) следует рассматривать в связи с его борьбой с местными крепостниками и их вожаком Коробьиным, игравшим в губернском присутствии по крестьянским делам главную роль. Членом присутствия Салтыков не стал. По-видимому, его кандидатура была отклонена министром внутренних дел. Как отразилось это на деятельности присутствия в ответственный момент проведения реформы, видно из письма Салтыкова к Е. И. Якушкину от 11 мая 1861 г.: «Крестьянское дело в Тверской губернии идет довольно плохо. Губернское присутствие очевидно впадает в сферу полиции, и в нем только и речи, что об экзекуциях ⟨...⟩ Я со своей стороны убеждаю, что военная экзекуция мало может оказать в таком деле помощи, но, как лицо постороннее занятиям присутствия, имею успех весьма ограниченный. Впрочем, я со своей стороны подал губернатору довольно энергический протест против распоряжений присутствия, и надеюсь, что на днях мне придется слететь с места за это действие» (XVIII, 158—159).

Печатаемое письмо к губернатору Баранову является одним из немногих дошедших до нас документов, на основании которых мы можем судить об усилиях Салтыкова ограничить и нейтрализовать влияние на ход реформы в Тверской губернии помещиков-крепостников и той части губернской администрации, которая шла у них на поводу.

⟨Тверь. 28 декабря 1860 г.⟩

Милостивый государь
граф Павел Трофимович.

На словесное предложение вашего сиятельства имею честь ответствовать, что я охотно принял бы на себя исполнение обязанностей по званию члена Губернского комитета по крестьянскому делу, если бы правительству угодно было в то же время оставить меня при ныне занимаемой мною должности тверского вице-губернатора.

К сему имею честь присовокупить, что в Тверской губернии, Калязинского уезда находится имение матери и двух братьев моих, до 1600 душ при 12 тысячах десятин земли; мне же собственно, в общем владении с братом, принадлежит Тверской губернии Калязинского уезда при сельце Мышкине 40 душ при 300 десятинах земли и Ярославской губернии Угличского уезда в селе Заозерье с деревнями 1500 душ при 6 тысячах десятин земли.

С истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть вашего сиятельства покорнейшим слугою

М. Салтыков

Тверь. 28 декабря 1860 г.

Автограф. Гос. архив Калининской области, ф. Тверского губернского по крестьянским делам присутствия (д. 1, 1860 г., л. 52). Впервые автограф письма факсимильно воспроизведен в кн.: Н. Журавлев. М. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии. Калинин, 1939, стр. 77.

А. Н. ПЫПИНУ

Публикуемые два письма Салтыкова, 1862 и 1863 гг., обращены к его соредактору по «Современнику» Александру Николаевичу *Пыпину* (1832—1904). Речь в них идет о делах и хлопотах, связанных с работой Салтыкова в редакции «Современника».

1

⟨Петербург. Конец 1862 г.[1]⟩

Многоуважаемый Александр Николаевич. Замеченную вами поправку в статье о «цензуре» я сделал, но вряд ли самая статья пройдет, потому что пошла уже к министру, а это худой знак[2]. Из четырех рассказов, от-

данных мной в «Современник», цензор и Цеэ пропустили только один[3]: из этого вы можете судить, как приятно мне работать. «Записки башкирца» Некрасов боится печатать, потому что они были присланы в редакцию в 1860 году, и Некрасов не убежден, не были ли они напечатаны в других журналах. Поэтому типография опять без работы. Нет ли чего-нибудь у вас или у Антоновича? У меня хотя есть готовая статья, но она идет под конец книжки.

Насчет журналов (толстых) я на днях условлюсь с Антоновичем, как нам их получать. Из газет Некрасов выписал для меня «Московские ведомости» и «Наше время». Сверх того, я получаю лично «Петербургские ведомости». Все эти газеты я по истечении недели буду доставлять вам или Антоновичу. Для вас же и Антоновича Некрасов хотел выписать «Голос» и «Северную пчелу»; сверх того, Антонович будет получать «Очерки». Я просил бы вас газеты эти по истечении недели присылать для просмотра ко мне.

Весь ваш М. Салтыков

Автограф. ИРЛИ, ф. 134, оп. 4, № 601.— Сообщено В. Н. Баскаковым.

[1] В письме речь идет о подготовке первого, после приостановки, двойного номера «Современника». Номер этот вышел в свет в начале февраля 1863 г., но работа над ним велась в редакции с осени 1862 г. Приблизительная дата письма определяется содержащимся в нем упоминанием о выписываемых Некрасовым для редакции журналах и газетах, очевидно, на новый, 1863 г. Среди них названа и газета «Очерки», о которой сказано, что ее «*будет* получать» Антонович. Это была новая газета; она начала выходить в январе 1863 г.

[2] Речь идет о статье Салтыкова «Несколько слов по поводу „Заметки", помещенной в октябрьской книжке „Рус. вестника" за 1862 год». Напечатана она была («Современник», 1863, № 1-2; под псевдонимом «*Т—н*»), по-видимому, со значительными изменениями и сокращениями авторского текста. Первоначально статья называлась «О цензуре» (XVIII, 178).

[3] Вскоре положение изменилось. Салтыкову удалось напечатать в № 1-2 не один, а три рассказа из четырех: «Деревенская тишь», «Для детского возраста» и «Миша и Ваня. Забытая история» (вошли в сборник «Невинные рассказы»). Четвертой вещью, не пропущенной цензурой, был, возможно, рассказ «После обеда в гостях». Но и его, если это предположение правильно, Салтыкову вскоре удалось напечатать: он появился в следующей, третьей, книжке «Современника».

2

〈Витенего. 15 августа 1863 г.〉

Пишу к вам, многоуважаемый Александр Николаевич, вследствие письма А. Ф. Головачева о стесненных обстоятельствах, в которых находится «Современник». К 25 числу вышлю к вам рассказ свой, который вы и поместите в конце 1-го отдела, и еще вышлю нечто вроде фельетона. Так как книжка «Современника» уже запаздывает, то думаю, что статьи мои придут еще во время, тем более, что обе печататься должны в конце отделов[1].

Я взял себе для разбора книги: стихи Фета, «Русская правда и польская кривда» и несколько книг издания Общества распространения полезных книг[2]. Уведомьте, сделайте милость, как можно скорее (на имя Базунова), не готовы ли уже разборы которой-нибудь из этих книг, чтоб мне не писать напрасно. Во всяком случае, эти разборы не будут высланы мной ранее 30 августа.

Весь ваш М. Салтыков

15 августа.

Автограф. ИРЛИ, ф. 134, оп. 4, № 601.— Сообщено В. Н. Баскаковым.

[1] Рассказ и фельетон, о которых упоминает Салтыков, были помещены в августовской книжке «Современника» (вышла в свет 13 сентября): «Как кому угодно. Рассказы, сцены, размышления и афоризмы» и «В деревне. Летний фельетон».

² Рецензия Салтыкова на двухтомное издание «Стихотворения А. А. Фета» была напечатана в сентябрьской книжке «Современника» 1863 г. Рецензия на анонимную брошюру «О русской правде и польской кривде», написанную по заказу министра внутренних дел П. А. Валуева П. И. Мельниковым (А. Печерским), была запрещена цензурой. Однако значительную часть запрещенного текста Салтыков использовал в другой критической заметке, о книжке В. В. Львова «Сказание о том, что есть, и что была Россия...». Эта заметка была напечатана в следующем, октябрьском, номере журнала. Рецензий на издания Общества распространения полезных книг в «Современнике» конца 1863 — начала 1864 гг. не появлялось.

А. Я. КОНИССКОМУ

В ноябре 1862 г. в городе Порхове Псковской губернии, на вечере в доме Дворянского собрания произошло событие, вызвавшее много шума в печати и обществе. Двенадцать гостей, по данному знаку, напали на одного из приглашенных и до полусмерти избили его. Организаторами избиения были местные помещики-крепостники; их жертвой — демократически настроенный мировой посредник Алексей Иванович Володимеров, пользовавшийся доверием крестьян и пытавшийся защищать их интересы. По-видимому, это был тот самый Володимеров, с семейством которого, приехавшим в 1864 г. в Италию, подружилась старшая дочь Герцена Наталья Александровна, писавшая о своих новых знакомых Огареву: «Все семейство ⟨Володимеровых⟩ и отец, который прошлого года умер, очень работали для распространения ваших сочинений, привозили из-за границы, давали всем читать» («Лит. наследство», т. 63, 1956, стр. 454).

Ознакомившись с порховским происшествием по газете «Мировой посредник» (1862, № 25), Салтыков написал для «Современника» — под псевдонимом «Вл. Торопцев» — статью. Она называлась «Несчастие в Порхове», но была посвящена не столько данному частному событию, сколько общим выводам из него. Дикое, «вооруженное кулаками» насилие, учиненное порховскими дворянами, Салтыков представил не изолированным и случайным уголовным деянием, а явлением закономерным, свидетельствующим об остроте социальной (классовой) борьбы, кипевшей вокруг крестьянской реформы.

В подтверждение своего взгляда Салтыков ссылался на преследования, которым подверглись со стороны помещиков-реакционеров мировые посредники не только в Порхове, но также в Сердобске и Павлограде. После того, как статья была уже набрана, к ней было дописано «примечание редакции». В нем излагалось содержание только что полученной «Современником» корреспонденции из Полтавской губернии. Автор корреспонденции, укрывшийся под псевдонимом «Не тронь меня», сообщал о новой кулачной расправе с мировым посредником — некиим «либеральным» С., избитым помещиком Б., «дурно обращавшимся с крестьянами».

Статья «Несчастие в Порхове», хотя и набранная, не появилась в «Современнике». Текст ее стал известен лишь недавно, по найденным в архиве «Современника» корректурным гранкам (VI, 623—641). У порховских помещиков нашлись защитники в Петербурге, и на статью было наложено цензурное veto.

Тогда Салтыков переделал статью. Разработку интересовавшей его темы о преследовании мировых посредников крепостнической реакцией он неосмотрительно построил теперь на материале непроверенной корреспонденции, полученной от псевдонима «Не тронь меня». Под новым заглавием «Известие из Полтавской губернии» статья появилась в № 1-2 «Современника» 1863 г. (V, 191—205). А уже в следующей книжке «Современника», в № 3, Салтыков вынужден был поместить заметку «Дополнение к „Известию из Полтавской губернии“». Она начиналась словами: «Нас просят известить почтеннейшую публику, что в названной выше статье, помещенной в I томе „Современника“, вкрались некоторые неверности и что г. С. вовсе не такой идеальный посредник, каким он представляется „Современнику“». И дальше Салтыков излагал содержание полученного по этому делу нового письма, из которого явствовало, что корреспондент, назвавшийся «Не тронь меня», ввел «Современник» в

АВТОГРАФ ПИСЬМА М. Е. САЛТЫКОВА к А. Я. КОНИССКОМУ ОТ 1 МАЯ 1863 г.

Институт литературы имени Т. Г. Шевченко АН УССР, Киев

заблуждение и совершенно в превратном виде изобразил как посредника С., так и помещика Б. (V, 205—206).

Месяца через полтора после опубликования поправок и разъяснений Салтыкова, редакция «Современника» получила еще одно письмо, выражавшее «негодование» по поводу защиты и оправдания в статье Салтыкова посредника С.

Письмо, датированное 17 апреля 1863 г., было написано известным украинским писателем, публицистом и общественным деятелем Александром Яковлевичем *Кониским* (1836—1900). В 1862 г. он был арестован за участие в политических, «с крайним малороссийским направлением», кружках Полтавы и Харькова и выслан под надзор полиции в г. Тотьму Вологодской губернии. Оттуда и было послано то письмо в редакцию «Современника», на которое Салтыков отвечал — в частном порядке — печатаемым ниже письмом от 1 мая 1863 г. и публично — в майской книжке «Современника», в краткой реплике, озаглавленной «Еще по поводу заметки из Полтавской губернии» (имя Кониского, разумеется, названо не было) (V, 206—207).

Из этой реплики следует, что Кониский сообщил редакции «Современника» такие сведения о мировом посреднике С., которые не только превращали его из либерала в реакционера-крепостника, притеснителя крестьян, но и компрометировали политическую честность этого человека. В своем новом объяснении Салтыков вынужден был заявить от имени редакции «Современника»: «Ни г⟨осподина⟩ С. и никого вообще из участников этой истории мы не знаем, да и знать не желаем». Вместе с тем Салтыков вновь подчеркнул, что его заметка «имела в виду не столько частный факт побиения мирового посредника С., сколько явление, повторившееся одновременно в нескольких местах»,— явление, в котором он, Салтыков, видел действие общих причин, его обусловивших.

⟨Петербург. 1 мая 1863 г.⟩

Милостивый государь
Александр Яковлевич.

В ответ на письмо ваше от 17 апреля, адресованное на имя редактора «Современника», я, как автор возбудившей ваше негодование статьи, считаю долгом отвечать, что вы едва ли правильно поняли смысл этой статьи. Прежде всего я должен сказать, что статья эта была написана первоначально вовсе не на эту тему, а на тему о происшествии в Порхове, о котором, вероятно, вам известно из газет. Но некоторые препятствия заставили изменить тему и заменить ее другою, отчего в статье действительно произошла некоторая несвязность. Но и за всем едва ли можно придать статье тот смысл, который вы ему ⟨ей?⟩ придаете. Ни редактор «Современника», ни я положительно не знаем никого из участников порховской истории, но мы знаем, что драки и избиение посредников с некоторых пор сделались фактом до того общим, что невозможно не обратить на него внимание. С этой-то точки зрения и рассматривалось это дело.

В 3-м № «Современника» я уже написал дополнение к «Известию», которое ставит вопрос на надлежащую точку. Ныне, с получением вашего письма, я счел долгом вновь разъяснить отношения редакции «Современника» к этому делу, и заметка моя будет помещена в 5-м №.

Засим позвольте мне думать, милостивый государь, что замечания, высказанные вами насчет направления «Современника», будут вами самими признаны преждевременными.

С совершенным почтением и преданностью имею честь быть вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою

М. Салтыков

1 мая 1863 года.

Автограф. Отдел рукописей Института литературы имени Т. Г. Шевченко АН УССР, Киев, ф. 77, № 124. Впервые опубликовано С. А. Рейсером в журнале «Звезда», 1945, № 10-11.

К. Г. ЛАВРИЧЕНКО

Биографическими сведениями о Кондратии Гавриловиче *Лавриченко* — адресате публикуемого письма — мы не располагаем. Известно лишь, что применительно к началу 1860-х гг. он называл себя «недавним студентом», «молодым писателем» и что в начале 1900-х гг. он еще здравствовал и проживал в Екатеринославе.

В «Источниках словаря русских писателей и ученых» Венгерова указано лишь одно сочинение Лавриченко — педагогическая брошюра «Родители и учителя». Но Лавриченко был автором большого романа «Вера в жизнь», которым очень гордился и о котором писал в авторском предисловии (ко второму изданию): «В нем весь подвиг жизни нашей, это вещее слово наше...»

Одну из глав романа, вероятно эпилог под названием «Воробьиная ночь» Лавриченко послал в конце 1863 г. в «Современник». Салтыков присланное похвалил («имеет несомненное литературное достоинство»), но печатать главу отдельно от всего романа, с которым еще не был знаком, отказался. Решение это оказалось как нельзя более предусмотрительным. Роман Лавриченко по своим общественно-политическим тенденциям резко расходился с направлением «Современника». Это был «антинигилистический» роман из жизни шестидесятых годов. С либерально-охранительных позиций автор противопоставлял людям, шедшим в народ «с целью всеотрицания и всеразрушения», то есть революционерам, «нового положительного героя». Юный Каругин — «не по программе списанный», то есть не похожий на Рахметова и полемически противопоставленный ему — всецело посвящает себя мирной культурнической работе «среди народа и на пользу народа». Он хлопочет о честном волостном писаре, о хорошем хоре певчих для сельской церкви, ищет средств избавить крестьян от безводия. «Антинигилист» Каругин выступает в романе Лавриченко своего рода предшественником тех практиков «малых дел», которые вышли на авансцену русской общественной жизни спустя два десятилетия, в годы «абрамовщины», в годы распада движения революционных народников.

Получив от Салтыкова отказ напечатать главу, Лавриченко обратился с аналогичной просьбой в славянофильскую газету «День». Здесь результат оказался положительным. Редактор газеты И. С. Аксаков напечатал присланную главу и писал Лавриченко, что «Воробьиная ночь» обличает в авторе сильный талант: «Есть движение, есть сила и истинная художественность приемов. Талант проявляется уже в самой задаче».

Поместить в периодической печати весь роман Лавриченко все же не удалось, но в 1875 г. в Петербурге он выпустил его отдельным изданием (дата цензурного разрешения 26 марта 1874 г.). Критика обошла книгу молчанием. Появился всего лишь один отзыв — в газете «Голос», резко отрицательный. Явная неудача романа не поколебала однако уверенности автора в значительности созданного им. Лавриченко продолжал верить в свое «вещее слово» и уже на склоне лет задумал новое издание романа. Оно вышло в свет в Петербурге в 1902 г. (отпечатано в типографии Стасюлевича). Чтобы привлечь к книге внимание, тексту произведения была предпослана публикация письма Салтыкова к Лавриченко, а также писем о романе И. С. Аксакова, Кавелина, Суворина и авторское предисловие, озаглавленное «Юбилей нашего вещего слова». Из этой самохвальной публикации мы и заимствуем текст забытого письма сатирика.

〈Петербург. 21 декабря 1863 г.〉

Милостивый государь
Кондрат Гаврилович!

Прочитав присланную вами в редакцию «Современника» главу из романа, считаю долгом уведомить вас, что глава эта сама по себе имеет несомненные литературные достоинства, но что редакция считает невозможным печатать ее, не имея в руках своих полного романа. Когда роман этот будет у вас готов, то благоволите прислать его, и если он соответ-

ствует достоинству присланной главы, то редакция не замедлит войти с вами в условия относительно его помещения.

Примите уверения и проч.

М. Салтыков

21 декабря 1863 г.

Автограф неизвестен. Напечатано в книге: К. Лавриченко. Вера в жизнь. Шестидесятые годы. Роман в двух частях. Письмо к автору М. Салтыкова. Из письма к автору И. Аксакова. Юбилей нашего вещего слова. Обещание К. Кавелина. Обещание А. Суворина. СПб., типография М. М. Стасюлевича, 1902, стр. III. Сверху — на обложке и титульном листе: «Юбилейное издание (1875—1900). Пересмотренное»

Ф. А. ВОНЛЯРСКОМУ

В январе 1865 г. Салтыков вступил в должность председателя Пензенской казенной палаты и пробыл в этой должности до ноября следующего, 1866 г. Затем он был перемещен на ту же должность в Тулу и занимал ее до осени 1867 г., когда вновь, из-за очередной ссоры с местным губернатором, был переведен в Рязань.

Биографические материалы, относящиеся к почти трехлетнему периоду жизни писателя в Пензе и Туле, чрезвычайно скудны (мы не имеем тут в виду формуляры или служебные бумаги — их много, но они почти ничего не дают для литературной и общественной биографии сатирика). В собрании писем Салтыкова имеется лишь два его письма, помеченных Пензой и одно — Тулой (XVIII, 195—197: письма к Анненкову, Некрасову и Пыпину). Печатаемое здесь письмо от 11 июля 1867 г. является четвертым эпистолярным документом, относящимся одновременно как к пензенскому, так и к тульскому периодам жизни писателя: письмо написано из Тулы и говорит о тульской жизни Салтыкова, но обращено оно к лицу, отношения с которым возникли в Пензе, и является таким образом источником для характеристики пензенского круга дружеских знакомых писателя.

Адресат письма — Федор Ардальонович *Вонлярский* (ум. в 1903 г.), пензенский помещик и сослуживец Салтыкова по Пензенской казенной палате. В конце 1866 г. он перебрался из провинции в Петербург и продолжал службу в центральном аппарате Министерства финансов (см. некрологи в «Пензенских губернских ведомостях», 1903, № 194 и в «Новом времени», 1903, № 9879, от 5 сентября). Об этом человеке мы ничего не знаем, кроме того, что, судя по печатаемому ниже письму к нему, он и семья его завоевали расположение к себе Салтыкова. Вероятно, однако, это была одна из тех бытовых связей, которыми приходилось дорожить в безлюдьи провинции, но которые не представляли идейного интереса для Салтыкова и скоро порвались.

Но в Пензе Салтыков сблизился не только с Вонлярским. Он сошелся здесь еще с одним человеком — Розеном, упоминаемым в публикуемом письме. Это знакомство, быстро превратившееся в дружеское, поддерживалось и позднее. Оно заслуживает быть отмеченным в биографии Салтыкова. Розен занимал в Пензе с 1861 по 1866 г. должность управляющего акцизными сборами и являлся, таким образом, сослуживцем Салтыкова по Министерству финансов. Но если служба и сыграла роль в сближении этих людей, то лишь на первых порах. Внимание Салтыкова к новому знакомцу определялось не служебным положением этого человека, а его биографией и направлением его идейных исканий.

Барон Герман Оттонович *Розен* (1829—1884) был племянником декабриста Андрея Евгеньевича Розена, члена Северного общества. Как и Салтыков, он воспитывался в Александровском лицее, который окончил в 1848 г. Участник Крымской войны, Розен провел несколько месяцев в осажденном Севастополе. С конца 1850-х годов он служил в Нижнем Новгороде в должности помощника управляющего местной Удельной конторой, а в 1861 г. перешел на службу в Пензу. К этому периоду

относится заграничная поездка Розена, во время которой он познакомился в Лондоне с Герценом и Огаревым и стал корреспондентом «Колокола». Эти факты из биографии пензенского приятеля Салтыкова оставались до сих пор неизвестными. О них мы узнаем из следующих попавших в перлюстрацию писем, сохранившихся в делах III Отделения, в фонде 2 Секретного архива (д. 438, карт. 13, 1861 г.— Указанием на эти документы мы обязаны покойному Я. З. Черняку).

⟨1⟩

Копия с письма барона Розена из Нижнего-Новгорода от 1 июня 1861 года к Николаю Николаевичу Тютчеву в С.-Петербург. При сем приложение:

Потрудитесь, любезный Николай Николаевич, доставить приложенную записку *верным* путем П. А. Рихтеру, если он еще в Петербурге, в противном случае уничтожьте. Простите, que j'abuse de votre bonté *, и передайте мои лучшие приветствия всем вашим.

⟨2⟩

Приложение к письму к Тютчеву: копия с письма барона Розена из Нижнего-Новгорода от 1 июня ⟨1861 г.⟩ к Петру Александровичу Рихтеру. При сем приложение:

Вот вам, дорогой Петр Александрович, обещанное письмо. Жалею, что не успел докончить начатую докладную записку его пр-ву Ал⟨ександру⟩ Ив⟨ановичу⟩ ⟨Герцену⟩, но отправлю ее при первом случае.

Доброго пути! Спешу на почту. Екатерине Константиновне от жены и от меня глубочайший поклон.

⟨3⟩

Приложение к письму к Рихтеру: копия с письма барона Розена из Н⟨ижнего⟩-Н⟨овгоро⟩да от 1 июня 1861 г. к А. Герцену в Лондон.

Пользуюсь поездкою близкого приятеля моего Петра Александровича Рихтера в Лондон, чтобы послать вам, многоуважаемый Александр Иванович, теплое, сердечное приветствие из Нижнего. Рихтер перескажет вам, что́ у нас на Руси делается. Для Н. П. Огарева готовится характеристика здешних мировых посредников. Сколько между ними замечательных экземпляров, достойных «скотного двора»! Жму вам крепко руку и от имени многих, многих желаю вам успеха.

Вечера в Alpha road оставили во мне живую светлую память.

На копиях имеются следующие пометки. Возле фамилии Розена написано: «Помощник управляющего Нижегородской удельной конторой»; возле фамилии Тютчева: «Начальник 1-го отделения Департамента уделов»; возле фамилии Рихтера — «Управляющий Самарскою удельной конторою». На первом листе надпись: «Переговорим». На отдельных листках рукою шефа жандармов и главноначальствующего III Отделением кн. В. А. Долгорукова помечено: «Прилагаемые четыре ⟨!⟩ выписки его величеству доложены 14 июня ⟨1861 г.⟩».

Каким образом копия с письма Розена к Герцену, доставленного Н. Н. Тютчеву с тем, чтобы он *верным* путем переслал его собиравшемуся в Лондон П. А. Рихтеру, могла оказаться, вместе с копиями сопроводительных записок того же Розена к Тютчеву и Рихтеру в распоряжении III Отделения, мы не знаем. Мы можем лишь с полной уверенностью утверждать, что Н. Н. Тютчев, близкий друг

---

* что злоупотребляю вашей добротой (франц.).

Белинского, и П. А. Рихтер, брат А. А. Рихтера, управлявшего книжным магазином братьев Серно-Соловьевичей, и сам близко связанный с Николаем и Александром Серно-Соловьевичами, были такими людьми, чья политическая честность не может быть подвергнута никакому сомнению. Оставляя этот вопрос, как не имеющий в данной связи интереса, в стороне, рассмотрим содержание приведенных документов по существу.

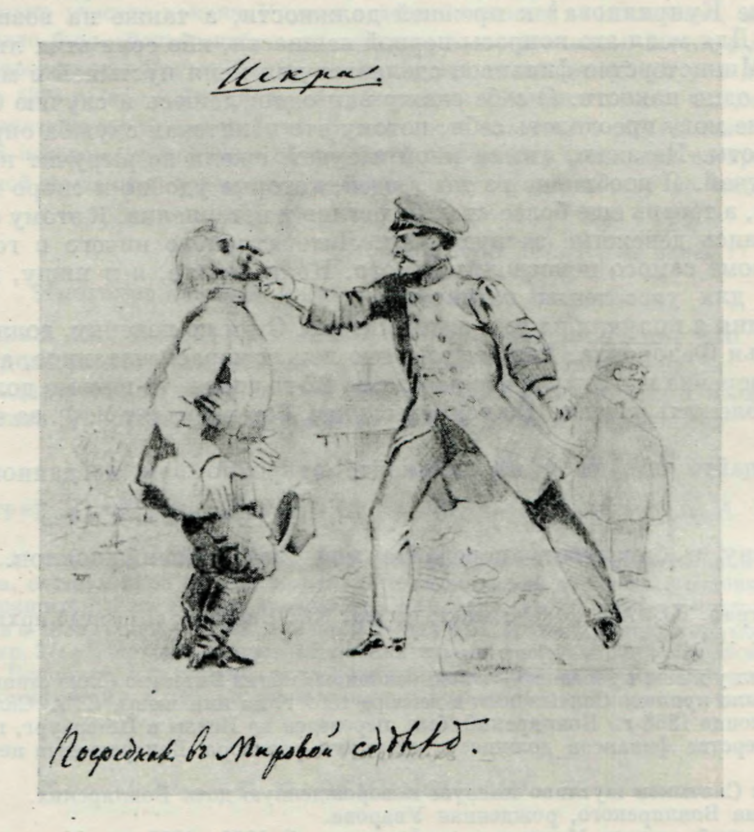
Из письма Розена явствует, что встретился он с Герценом и Огаревым в Лондоне в 1860 г., не ранее июня. Вечера на Alpha road, упомянутые в письме Розена, происходили в 1860 г., с июня по август, когда Герцен выехал на время из Лондона. Вернувшись же в октябре, он вскоре в очередной раз сменил квартиру. Впервые же на Alpha road Герцен поселился в конце мая 1860 г. (Герцен, т. X, стр. 323—324). Следовательно, Розен бывал на вечерах Герцена вместе со множеством русских, посещавших издателей «Колокола» в это время — весной и летом 1860 г. Из письма следует также, что Розен был не только гостем Герцена, но и взял на себя обязанности корреспондента «Колокола» и лично и от лица своих единомышленников. Конспиративно именуя «докладною запискою его превосходительству Александру Ивановичу» свою корреспонденцию в «Колокол», которую к отъезду Рихтера не успел окончить, он в то же время пишет, что для Огарева «готовится характеристика здешних мировых посредников». Мы, таким образом, узнаем, что в Нижнем-Новгороде у «Колокола» имелись какие-то корреспонденты, кроме Розена, но с которыми он был связан (если, впрочем, «докладная записка» и «материалы о посредниках» — не одно и то же).

Упоминая «скотный двор», которого достойны многие «экземпляры» мировых посредников, Розен имеет в виду коротенькую заметку, появившуюся в «Колокола» от 1 февраля 1861 г., в отделе «Смесь». Заметка эта, озаглавленная «Очень важно», извещала о следующем: «„Колокол“ собирает небольшой альманах под заглавием „Скотный двор“, или „Отечественная фауна...“». Это упоминание свидетельствует о том, что Розен был внимательным читателем «Колокола». Дошло ли до Герцена попавшее в перлюстрацию 2 Секретного архива письмо Розена, мы не знаем. Известно другое: имя Розена попало в списки III Отделения. Это обстоятельство сказалось и в повышенном внимании к нему пензенских органов политического контроля. Местный жандармский штаб-офицер, подполковник Глоба, не раз упоминал в своих донесениях в Петербург о «неблагонадежности» Розена, в том числе и в донесениях, специально посвященных Салтыкову. Так, в донесении от 23 апреля 1866 г., по поводу отзыва Салтыкова о покушении Каракозова на Александра II, пензенский жандарм сообщал шефу жандармов гр. Шувалову: «...Салтыков как литератор, во мнении некоторых лиц в Пензе и в особенности в среде служащих по акцизу, считается весьма умным человеком и пользуется между ними авторитетом; а с управляющим Пензенским акцизом, бароном Розеном, человеком давно уже не отличающимся добрыми верноподданническими чувствами,— ведет большую приязнь» (Б. Бухштаб. После выстрела Каракозова. — «Каторга и ссылка», 1931, № 5, стр. 61—67).

Эту «приязнь» Салтыков сохранил к Розену и впоследствии. Он встречался с ним как в Петербурге, так и во время своих заграничных поездок. Со своей стороны Розен (ставший впоследствии сенатором) сохранил до конца своих дней чувство глубокого уважения к Салтыкову. Об этом свидетельствует, в частности, такая деталь. Когда бывшему сотруднику «Современника» больному Е. Я. Колбасину, служившему в Министерстве финансов, нужно было похлопотать о пенсии (а размер ее зависел от Розена), он обратился к Некрасову с письмом, в котором писал: «...ради бога, уговорите Салтыкова *не медлить* и оказать свое влияние на барона ⟨Розена⟩, *который ему ни в чем не откажет*» («Лит. наследство», т. 51-52, 1949, стр. 317. Подчеркнуто нами.— *С. М.*)

Печатаемое письмо к Вонлярскому содержит любопытное свидетельство об утаенной писательской деятельности Салтыкова в Пензе и Туле: «Литературного ничего в голову не идет, кроме самого непозволительного. Коли хотите, я и пишу, но единственно для увеселения потомства».

Салтыков имел здесь в виду два «непозволительных»,— с точки зрения политической, цензурной,— произведения, которые были им написаны в это время: сатиру на пензенские нравы и быт, с многозначительным для будущей «Истории одного города» названием «Очерки города Брюхова» и памфлет на тульского губернатора Шидловского, озаглавленный «Губернатор с фаршированной головой». Некоторые новые материалы об этих не дошедших до нас произведениях, возникших первоначально



«ПОСРЕДНИК В МИРОВОЙ СДЕЛКЕ»

Запрещенная карикатура, предназначавшаяся для «Искры», начало 1860-х гг.

Первоначальное название карикатуры — «Мировой посредник»

Исторический музей, Москва

без расчета на печать, — Салтыков читал их в кругу своих друзей и знакомых, как в провинции, так и в Петербурге — собраны в книге «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», 1957, стр. 508—511.

Тула. 11 июля ⟨1867 г.⟩

Прошу у вас извинения, многоуважаемый Федор Ардальонович, что до сих пор не отвечал на ваше письмо. Во-первых, меня страшно обуревает лень, во-вторых, ездил по губернии и, в-третьих, был у жены в деревне[1], куда и опять дней на десять на днях отправлюсь. Крайне благодарен вам за память и надеюсь предстоящей зимой быть в Петербурге и разделить с вами время. Очень верю, что вам скучно; новые ваши обязанности далеко не привлекательны [2]. В Пензе эта служба далеко не так несносна, в Петербурге же вы имеете дело совсем с другими лицами. Я думаю, что для вас было бы полезнее удалиться в уезд; и жизнь дешевле и дело сподручнее. Крайне рад, что у вас Софья Федоровна [3] и что она здорова

и воспитывается в правилах благочестия. Таким образом, желание Марии Федоровны[4] осуществилось, и теперь надобно озаботиться исполнением другого желания, относительно Антона Федоровича. Вероятно, он ждать себя не заставит.

К Розену я не пишу, ибо опасаюсь оторвать его от государственных занятий. Будьте так добры, узнайте от него, можно ли надеяться на возвращение Куприянова[5] к прежней должности, а также на возвращение Грота[6]. Для меня это вопросы первой важности, ибо если этих лиц не будет, то Министерство финансов сделается для меня пустыней и мне будут строить одни пакости. О себе скажу вам одно: ленюсь и скучаю безмерно и даже не могу преодолеть себя, потому что палатская служба опротивела до тошноты. Не знаю, что со мной и будет, ежели не выручит какой-нибудь случай. Я вообще не из тех людей, которые удобно и скоро пристраиваются, а теперь еще более стал брюзглив и нетерпелив. К этому еще присоединились денежные затруднения. Литературного ничего в голову не идет, кроме самого непозволительного. Коли хотите, я и пишу, но единственно для увеселения потомства.

Сегодня я получил на имя жены письмо. Судя по почерку, должно быть это Марья Федоровна. Разумеется, оно лежит нераспечатанное, а так как жена в деревне и я буду у нее не ближе 22-го числа, то письмо должно покуда пролежать у меня. Во всяком случае, бог наградит М. Ф. за ее добродетель.

Прощайте покуда и не забывайте искренно вам преданного

М. Салтыкова

Барону и баронессе[7] передайте мой глубочайший поклон.

Автограф. ЦГИАМ, ф. 694, оп. 1, ед. хр. 937. Впервые: «Красный архив», 1941, № 2, стр. 160.

[1] «Был у жены в деревне» — в подмосковном имении Витенево (близ станции Пушкино). Было куплено Салтыковым в декабре 1861 г. на имя жены, Е. А. Салтыковой.

[2] В конце 1866 г. Вонлярский был переведен из Пензы в Петербург, где занял в Министерстве финансов должность старшего ревизора Департамента неокладных сборов.

[3] Так Салтыков шутливо именует новорожденную дочь Вонлярских.

[4] Жена Вонлярского, рожденная Уварова.

[5] Старший ревизор Министерства финансов. В 1856—1857 гг. он служил вместе с Салтыковым в Министерстве внутренних дел и участвовал в министерской ревизии Рязанской губернии. Салтыков был назначен в Рязань вице-губернатором после этой ревизии, вскрывшей огромные злоупотребления и недостатки в управлении губернией.

[6] В 1866—1867 гг. Константин Карлович Грот был членом комиссии для пересмотра системы податей и сборов. Прежняя его должность, которую он занимал в Министерстве финансов в 1863 г., была — директор Департамента неокладных сборов.

[7] Розенам.

А. И. УРУСОВУ

В 1859 г. Ольга Михайловна Салтыкова, мать писателя, отделила в общее владение Михаила Евграфовича и его брата, Сергея Евграфовича, часть своего имения в Ярославской и Тверской губерниях. В июле 1872 г. Сергей Евграфович, который вел дела по обеим частям вотчины, умер. Возникла необходимость раздела имения между Михаилом Евграфовичем и другими его братьями, Дмитрием Евграфовичем и Ильей Евграфовичем, а также вдовой умершего Сергея Евграфовича. Защиту своих интересов в возникшем тяжелом семейно-имущественном споре Салтыков поручил тверскому присяжному поверенному Ивану Сергеевичу Сухоручкину. В октябре 1872 г. Салтыков дал Сухоручкину доверенность на ведение дела (Гос. архив Калининской обл., ф. 527, оп. 1, ед. хр. 27: «Дело Салтыковых», л. 43).

Несколько позднее, в 1873 г., Салтыков обратился к помощи еще одного поверенного — своего товарища и друга Алексея Михайловича Унковского. Но, как это видно из публикуемой записки, первоначально Салтыков обращался за консультациями по своему делу к другому юристу — в ту пору молодому, но уже весьма известному адвокату князю Александру Ивановичу *Урусову* (1843—1900), с которым находился в дружеских отношениях (познакомились они в марте 1868 г. в Москве). Какое именно участие принял Урусов в деле Салтыкова — неизвестно, но участие это не могло быть сколько-нибудь длительным и значительным. Почти в самом начале разбирательства Урусов был административно выслан из Петербурга и с конца 1872 г. по 1876 г. жил в Лифляндской губернии — в Вендене и Риге. Он поплатился этой административной ссылкой за то, что после известного нечаевского процесса 1871 г., в котором он защищал обвиняемого Успенского, выступил во время своей заграничной поездки с призывом к швейцарскому правительству не выдавать Нечаева.

〈Петербург. 1872 г., не ранее 17 октября〉

Многоуважаемый князь Александр Иванович,

Посылаю вам проект раздельного акта, жалею очень, что не буду иметь удовольствия видеть вас до вашего отъезда.

Благодарю вас от души за участие, которое вы приняли в нашем деле.

Примите уверение совершенного моего к вам уважения.

М. Салтыков

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 514, оп. 1, ед. хр. 274, л. 1.— Сообщено Н. А. Роскиной.

Дата 17 октября 1872 г. стоит под собственноручной объяснительной запиской Салтыкова, составленной для Сухоручкина и содержащей изложение основных сведений, относящихся к земельным владениям Салтыкова, после раздела матерью между сыновьями в 1859 г. родового помещичьего гнезда (Гос. архив Калининской обл., ф. 527, оп. 1, ед. хр. 27: «Дело Салтыковых»). Заключительная часть записки содержит «Проект раздела». Вероятно, это документ, идентичный или близкий к «Проекту раздельного акта», упоминаемому в публикуемом тексте, и возникший примерно в одно и то же время.

Г. К. РЕПИНСКОМУ

С Григорием Кузьмичем *Репинским* (1832—1906) — судебным деятелем, автором ряда трудов по русской истории — Салтыков познакомился в самом конце 1850-х или в самом начале 1860-х годов. Они оба входили тогда в учрежденную при Министерстве внутренних дел Особую комиссию о губернских и уездных учреждениях.

В дальнейшем они встречались на почве совместной работы в Комитете общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым — Литературном фонде, где в течение нескольких лет занимали различные выборные должности.

В 1872 году, к которому относится публикуемое письмо, Салтыков был членом Комитета, а Репинский — секретарем.

〈Петербург. 13 апреля 1872 г.〉

Многоуважаемый Григорий Кузьмич.

В прошлое заседание Комитета слушалась просьба московского литератора Иванова о вспомоществовании, и в этой просьбе он ссылался на Островского. Сколько мне помнится, Комитет заключил: поручить Островскому собрать об Иванове сведения; но я не помню, было ли заключено разрешить выдать Иванову какое-либо пособие. Между тем вчера я получил от А. Н. Островского письмо, в котором он удостоверяет, что Иванову действительно следует дать пособие, и просит моего содействия в этом деле[1]. Прилагая при сем это письмо, я прошу вас, буде не разрешено Островскому выдать Иванову какую-нибудь сумму, не может ли

г. председатель собственною властью, не дожидаясь будущего заседания, разрешить выслать Островскому до 30 р. для передачи Иванову.

Вы весьма обязали бы меня, уведомив о последующем и возвратив притом письмо Островского, которому я во всяком случае должен ответить. Буде письмо Островского окажется нужным к делам, то я его по миновавшей надобности представлю. Будьте добры, устройте же это дело поскорее.

Искренно вам преданный
М. Салтыков

13 апреля.

Резолюция председателя Комитета А. П. Заблоцкого:

Отослать А. Н. Островскому для выдачи г. Иванову 30 р.

А. Заблоцкий

14 апреля.

Распорядительная надпись секретаря Комитета Г. К. Репинского:

Не потрудитесь ли сообщить Б. И. Утину[2], чтобы он выслал 30 р. А. Н. Островскому (Москва, у Николы в Воробине, близ Серебряннических бань, собственный дом), а письмо Островского отошлите М. Е. Салтыкову (Фурштадтская, 33).

Г. Репинский

Автограф. Собрание Ю. Г. Оксмана. Москва.

[1] Островский писал Салтыкову 11 апреля 1872 г., прося о содействии молодому писателю Федору Петровичу Иванову (псевдонимы: Борисоглебский и Архангельский): «Он так беден, что даже смешно. Он живет в свином доме: так называется ночлежный притон мошенников и бродяг на Хитровом рынке, в доме Степанова, бывшем Свиньина ⟨...⟩ Я не знаю, сколько он просит: но рублей 25 или 30 дать надо. Деньги невелики, а ими можно спасти человека на всю жизнь от пьянства, буянства и ночного шатания» (Сборник «Островский». Под ред. М. Д. Беляева. «Труды Пушкинского дома». Л., 1924, стр. 222—223).

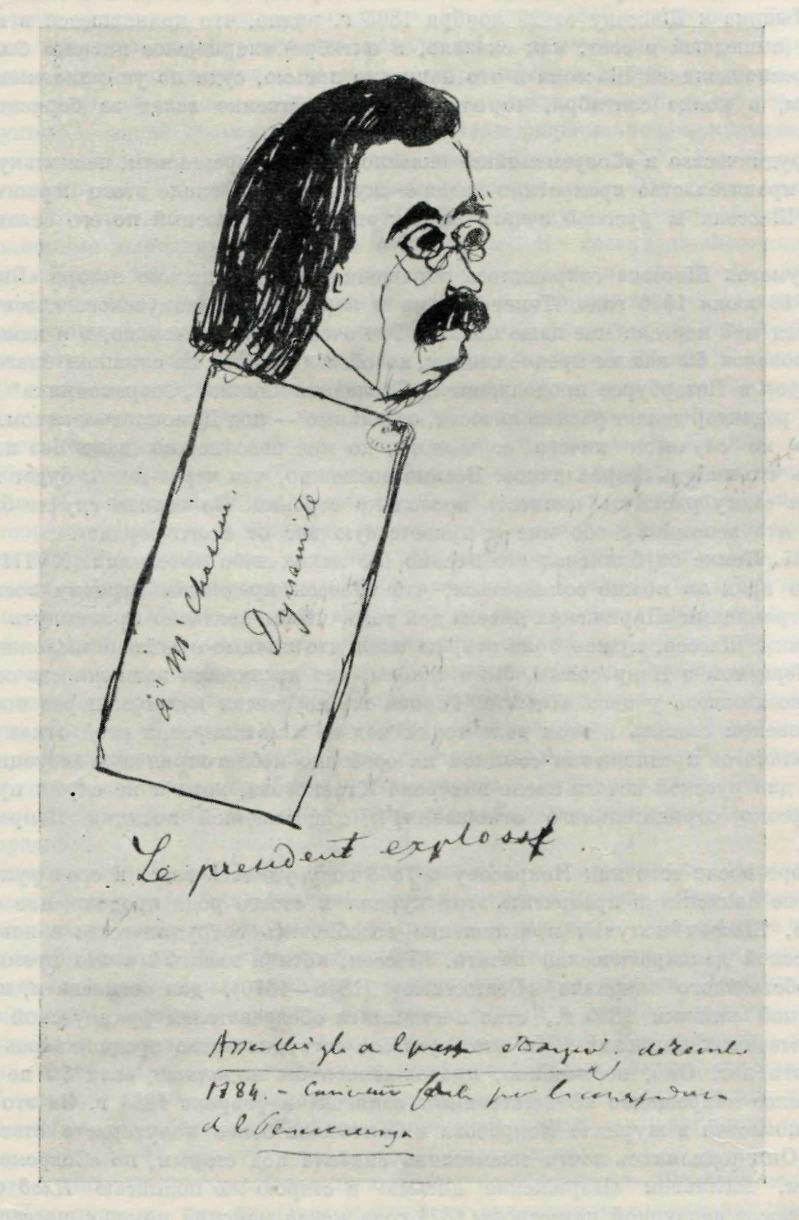
[2] Б. И. Утин (вскоре, 13 июня 1872 г., скончавшийся), один из учредителей Литературного фонда, был в это время казначеем Комитета.

Ш.-Л. ШАССЕНУ*

В начале октября 1865 г. вышел в свет, с опозданием на два месяца, первый «бесцензурный» номер «Современника» — августовский. В нем редакция начала печатание нового хроникального цикла — иностранного «обозрения» под названием «Парижские письма». Автором «писем», сначала вовсе не обозначенным, а затем укрывшимся под псевдонимом «Клод Франк», был французский историк и журналист демократического направления Шарль Луи *Шассен* (Chassin, 1831—1901). Ученик и последователь Мишле, автор ряда работ о 1789 и 1848 годах, написанных с сочувствием и даже с пафосом по отношению к революции, участник журнальной борьбы рес-

* Печатаемые ниже письма к Шассену Пыпина, Некрасова, Плетнева, Салтыкова и ответные письма Шассена к Некрасову и Салтыкову — опубликованы Кирой Саниной (Kyra Sanine) в ее исследовании «Les Annales de la patrie et la diffusion de la pensée française en Russie (1868—1884)». Paris, 1955, pp. 114—119. В переводе на русский язык (Л. Р. Ланского) — письма появляются впервые. Подлинники писем хранятся в Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Благодаря любезности К. Саниной мы получили возможность сверить тексты писем Салтыкова с присланными нам фотокопиями автографов и присоединить к ее публикации еще один документ. Пользуемся случаем указать, что в приложении к названной работе К. Саниной опубликованы еще следующие письма к Шассену его русских корреспондентов: Н. Курочкина (Дьепп, 12 июня 1875), Н. Соколова (ноябрь 1885 и черновик ответного письма Шассена), Е. А. Салиаса де Турнемир (11/23 января 1875), Ф. Баймакова (12/24 февраля 1875) и М. Бакунина (10 декабря 1867, 19 и 28 января 1868). Содержание этих писем не имеет отношения к теме: Шассен, Салтыков и «Отечественные записки». Поэтому они оставлены за пределами настоящей публикации.

публиканской оппозиции в эпоху Второй империи, связанный в своей деятельности с Гюго и Гарибальди, с Герценом и Бакуниным, Шассен был далеко не последней фигурой среди европейских демократов своего времени. Кто именно и при каких



Ш.-Л. ШАССЕН

Шарж неизвестного художника, 1884 г.

Историческая библиотека города Парижа

обстоятельствах привлек Шассена к сотрудничеству в «Современнике», в точности неизвестно. По предположению К. Саниной (указ. соч., стр. 23), первый контакт французского публициста с редакцией «Современника» произошел в Берне, в сентябре 1865 г. Здесь в это время заседал конгресс международной «Ассоциации развития общественных наук» («Association pour le progrès des sciences sociales»).

Шассен участвовал в работе конгресса в качестве члена французской делегации. А среди русских делегатов присутствовал Ипполит Александрович Панаев — заведующий конторой «Современника». По-видимому, при его посредничестве и началась работа Шассена в «Современнике». Во всяком случае, из печатаемого ниже письма А. Н. Пыпина к Шассену от 29 ноября 1865 г. видно, что появившееся в восьмой книжке (вышедшей в свет, как сказано, в октябре) «парижское письмо» было *первой* корреспонденцией Шассена и что написано письмо, судя по упоминаемым в нем событиям, в конце сентября, то есть — непосредственно вслед за бернским конгрессом.

Сотрудничество в «Современнике» оказалось кратковременным, поскольку 28 мая 1866 г. правительство прекратило издание журнала. В финале этого первого этапа работы Шассена в русской печати возник эпизод, интересный по его связи с Герценом.

В бумагах Шассена сохранилось обращенное к нему письмо автора «Былого и дум» от 16 июня 1866 года. Текст письма в переводе с французского гласит:

«Сосед мой передал мне ваше письмо. Это очень соблазнительно, и я немедленно воспользовался бы вашим предложением, но обстоятельства не слишком благоприятны. Террор в Петербурге продолжается. Последняя книжка „Современника" * обесцвечена, редактор делает разные низости, остальные — под Дамокловым мечом. Я уверен, что не случится ничего серьезного, но мне невозможно (даже без подписи) написать что-нибудь безразличное. Весьма возможно, что через месяц будет меньше туч, и я смогу рискнуть написать несколько страниц. Во всяком случае благодарю вас, что вспомнили обо мне и приветствую вас от всего сердца».

М. К. Лемке опубликовал это письмо без каких-либо пояснений (XVIII, 418—419). Но вряд ли можно сомневаться, что Шассен предлагал Герцену воспользоваться страницами «Парижских писем» для того, чтобы негласно проникнуть в «Современник». Шассен, нужно полагать, не знал, что личные отношения, сложившиеся между Герценом и Некрасовым, были таковы, что исключали возможность осуществления возникшего у него замысла. Герцен же не считал нужным перед посторонним человеком ставить в этом деле точки над «i» и мотивировал свой отказ от «соблазнительного» предложения ссылкой на особенно неблагоприятную ситуацию, возникшую для русской печати после выстрела Каракозова, хотя и не скрыл при этом своего резко отрицательного отношения к общественной позиции Некрасова в эти дни.

Вскоре после того как Некрасову в 1868 году удалось взять в свои руки «Отечественные записки» и превратить этот журнал в своего рода продолжение «Современника», Шассен получил приглашение возобновить сотрудничество в новом органе русской демократической печати. Шассен, хотя и занятый в это время изданием собственного журнала «Democratie» (1868—1870), дал согласие и, начиная с июльской книжки 1869 г., стал постоянным обозревателем французской жизни в «Отечественных записках». На этот раз его сотрудничество продолжалось около пятнадцати лет. Оно, несомненно, продолжалось бы и дольше, если бы не правительственное запрещение «Отечественных записок» в феврале 1884 г. За это время Шассен поместил в журнале Некрасова и Салтыкова более полутораста статей-обозрений. Они появлялись почти ежемесячно сначала под старым, по «Современнику» знакомым, заглавием «Парижские письма» и старою же подписью *Клод Франк*, а затем, после цензурной катастрофы 1874 года, когда майский номер с шассеновской хроникой был арестован и сожжен,— под измененным названием «Хроника парижской жизни» и с новым псевдонимом — *Людовик*. Собранные в отдельное издание «обозрения» Шассена составили бы не менее пяти-шести томов формата «Отечественных записок», поскольку объем каждой статьи колебался от полутора до двух с половиной листов.

Что же касается того значения, которое «обозрения» Шассена имели для читателей «Отечественных записок», то есть для широкого круга демократической

* Апрельская за 1866 г.— *С. М.*

интеллигенции тогдашней России, то следует признать, что вопрос этот совершенно не выяснен.

В политической мысли русских людей шестидесятых—восьмидесятых годов Франция уже не играла той исключительной и плодотворной роли, которая принадлежала ей в период тридцатых — сороковых годов. Но и после 1848 г. передовая Франция — Франция просвещения, буржуазных революций и буржуазной демократии, Франция социалистической мысли — продолжала приковывать к себе внимание демократических читателей в России. Среди них в семидесятые годы отчетливо различаются две группы. С одной стороны, это представители радикально-демократической интеллигенции. В жизни Франции, страны, шедшей с конца XVIII в. от одной революции к другой, их интересует прежде всего политика. Это люди знающие и любящие Францию, но отнюдь не враждебные ее буржуазии. С другой стороны, это революционные народники, «русские социалисты». Их влекут к Франции другие интересы. После 1863 г., когда реакция стала уже совершившимся фактом, а русское революционное движение, в связи с арестом Чернышевского и смертью Добролюбова, лишилось своих великих вождей, влияния французской мелкобуржуазной социалистической мысли снова хлынули в Россию широкой волной. С конца шестидесятых годов начинается сильное и длительное воздействие на революционное народничество главного теоретика мелкобуржуазного социализма во Франции, Прудона и его антипода, революционного мелкобуржуазного социалиста Бланки.

«Обозрения» Шассена в «Отечественных записках» удовлетворяли преимущественно интересам первой из названных групп. «Социалистическая» и вообще общественно-теоретическая мысль Франции шестидесятых—семидесятых годов не привлекает сколько-нибудь пристального внимания французского публициста. Его стихия — «политика», собственно, мелочи текущей политической жизни. Он погружен в них почти полностью. Обозреваемая французская действительность предстает в его изображении прежде всего как борьба политических партий, полемика в печати, споры депутатов, внешний декорум буржуазного парламентаризма. Прекрасно осведомленный не только в основных событиях, но и в мельчайших деталях политического быта Франции, Шассен стремится в своих «хрониках» к возможно большей полноте фактической информации. Он не пропускает случая прокомментировать очередную речь политического деятеля, подробно проанализировать циркуляр, хотя бы и местного значения, распространиться о муниципальных выборах в каком-нибудь провинциальном городке.

Политическая жизнь Франции рассматривается в «обозрениях» Шассена с демократически-республиканских позиций. Это сказывается прежде всего в полемической направленности многих материалов против двух основных — по мнению автора — сил, препятствующих общественному прогрессу в стране: против католической церкви и реакционной печати. Отражением демократических интересов Шассена является и то внимание, которое он уделял освещению жизни и борьбы французского трудового народа, в первую очередь французского пролетариата. Информации о собраниях рабочих, о забастовках, о деятельности профессиональных союзов, сведения о заработной плате, о борьбе за безопасность труда заполняют десятки страниц в «Парижских письмах» и особенно в «Хронике парижской жизни» (см., например, «Отеч. записки», 1876, № 11, стр. 76 и след. второй пагинации).

Зато хроника культурной жизни занимает в «обозрениях» Шассена подчиненное место. Как правило, она сводится к кратким изложениям содержания книжных и журнальных новинок, «репортажам» о театральных премьерах и художественных выставках, формальным отчетам об ученых диспутах, официальным справкам о мероприятиях властей в деле народного просвещения.

Познавательная ценность корреспонденции Шассена неоспорима. Каждая из ста пятидесяти его статей являлась своего рода «кладовой фактов», до отказа заполненной разнообразными сведениями о текущем дне французской жизни. Правда, сведения, сообщаемые Шассеном, довольно элементарны; форма их изложения суха, часто протокольна. Но «обозрения» добросовестно знакомили читателей «Отечественных записок» с фактами, знание которых помогало углубленному пониманию тех

бесед о Франции и французской культуре, которые велись на страницах журнала силами его руководителей и главных сотрудников.

Щедринские разоблачения буржуазной демократии Третьей республики, замечательные страницы того же Щедрина, а также Михайловского, посвященные французской художественной литературе семидесятых — восьмидесятых годов, воспринимались сильнее, острее, глубже теми из читателей «Отечественных записок», кто уже получил предварительное представление об этих явлениях из шассеновских «фотографий» парламентского быта и его «аннотаций» к произведениям приверженцев французского «экспериментального романа».

Как относился Салтыков к Шассену? Натурализм, бескрылость шассеновской «публицистики фактов», неспособной привести в движение новые мысли и новые чувства людей, не умеющей выхватить из потока действительности главное, «уловить историю в минуте», не могли удовлетворять Салтыкова — художника и публициста больших обобщений. Разумеется, Салтыков-редактор ценил «обозрения» Шассена, поскольку они обеспечивали «Отечественные записки» достоверной, широкоохватывающей и с демократических позиций изложенной информацией о французской жизни. Но Салтыков был невысокого мнения о литературном таланте своего парижского сотрудника. А главное, Салтыков не был солидарен с Шассеном во взглядах на то, что происходило тогда во Франции, и не раз вступал с ним в «спор», освещая в своих сочинениях те же явления французской жизни, но с принципиально иных позиций. Мы не имеем здесь возможности подробно проанализировать историю этой скрытой полемики редактора «Отечественных записок» со своим французским сотрудником. Остановимся лишь на двух, но показательных случаях очевидного расхождения взглядов между Салтыковым и Шассеном.

Первый случай относится к оценке всемирно-исторических событий 1871 г.

Для передовых русских современников Парижская коммуна была яркой революционной молнией, прорезавшей на короткое время серое небо буржуазной эпохи и вновь приковавшей все взоры к Франции. Особенно сильное впечатление события Коммуны, естественно, произвели на демократическую и революционно настроенную часть русского общества. И хотя русская революционная демократия не могла вполне понять «тайны» Парижской коммуны как колыбели социалистической революции и диктатуры пролетариата — все же отдельные представители ее, в том числе и Салтыков, подошли к этому пониманию довольно близко. Салтыков сделал смелую, но безнадежную попытку напечатать в «Отечественных записках» статью, не только гневно клеймящую «одичалых консерваторов Франции», версальских палачей, но и выражающую глубочайшую уверенность в исторической правоте дела Коммуны и неизбежности ее победы в будущем. Эта была пятая глава «Итогов», которую Салтыков вынужден был изъять по настоянию цензуры из августовской книжки журнала 1871 г. (глава в полном виде не сохранилась — VII, 465—490).

Совсем иную позицию занимал в этом вопросе Шассен. События Парижской коммуны произвели огромное впечатление на буржуазию и буржуазную демократию Европы и в первую очередь самой Франции. От недавнего радикализма французских республиканцев, к которым принадлежал Шассен, скоро не осталось и следа. Политика республиканской партии в период событий Коммуны и особенно после Коммуны преследовала цель консолидации сил буржуазии, примирения всех враждебных внутриклассовых течений и была насквозь соглашательской. Выразителем и проводником этой политики являлся и Шассен в своих «Парижских письмах», печатание которых, прерванное в период франко-прусской войны, возобновилось в «Отечественных записках» с сентябрьской книжки 1871 г.

Корреспонденции Шассена определенно враждебны Коммуне, хотя одновременно они резко обличительны по отношению к Тьеру и к Жюлю Фавру. Мелкобуржуазный демократ Шассен враждебен Коммуне именно потому, что если не увидел, то почувствовал в ней опыт диктатуры пролетариата. Наиболее решительные, энергичные и революционные элементы Коммуны — якобинцы, эбертисты и бланкисты — неизменно квалифицируются им в самых резких выражениях. Напротив того, Луи Блан и его соглашательская тактика всячески поднимаются Шассеном на щит.

Второй случай резкого расхождения во взглядах между Салтыковым и Шасссеном связан с оценкой ими Гамбетты.

Весной 1876 г. Салтыков, находившийся на лечении за границей, послал Некрасову для очередного номера «Отечественных записок» статью под названием «Отрезанный ломоть». Статья содержала, в частности, язвительнейшую сатиру на Гамбетту и его республиканский режим. Салтыков показывал, что если этот режим и был более демократичен, чем режим 2 декабря, то вместе с тем он был еще беспримерно более буржуазен и оппортунистичен. «В настоящее время в Европе существует как бы поветрие на компромиссы и сделки,— писал Салтыков.— Всюду чувствуется смутная боязнь, и потому всюду раздаются клики: „Осторожнее! Не спешите! Отступайте! Заманивайте! Не раздражайте!" На этой наклонности компромисса основан союз германских национальных либералов с Бисмарком, и этим же явлением объясняется и то, что происходит теперь во Франции» (XV, 375).

Некрасов воздержался от немедленного опубликования статьи (Салтыков рассчитывал на февральскую книжку). В не дошедшем до нас письме к автору,— о содержании его мы знаем лишь из ответа Салтыкова,— Некрасов, мотивируя необходимость отсрочки, высказал опасение, что резкость тона по отношению к Гамбетте может, во-первых, вызвать возражения со стороны цензуры и, во-вторых, что она противоречит тому, что пишет о Гамбетте на страницах «Отечественных записок» Шассен.

Вряд ли это было мнение самого Некрасова, редко вмешивавшегося в дела публицистического отдела, тем более в это время, когда он по болезни уже отходил от непосредственной работы в редакции. Вероятно, это были суждения редакторов публицистического отдела Елисеева и Михайловского, относившихся с политической симпатией к Гамбетте и Луи Блану.

На письмо Некрасова последовал немедленный ответ.

«Всуе труждаются зиждущие,— писал Салтыков 25 февраля/8 марта 1876 г.— Сейчас получил ваше письмо насчет „Отрезанного ломтя" и могу сказать только одно: лучше не печатать совсем, чем в марте подавать разогретую телятину. Я прихожу к убеждению, что мне совсем нужно *обождать* писать. Тогда будет *совсем* без затруднений. Я никак не воображал, что обругание Гамбетты может встретить цензурные препятствия ⟨...⟩ Мне нравится рассуждение о том, что адвокаты еще не совсем безнадежны — пусть будет так. То же и о Гамбетте: ежели Шассен правильнее пишет и есть несогласимое противоречие, то тоже пусть будет так. Я писал, помня предания „Современника"» (XVIII, 345).

Конфликт по поводу «Отрезанного ломтя» (статья была все же напечатана в «Отечественных записках», 1876, № 3) резко освещает еще одно, действительно, «несогласимое противоречие» между Шассеном и Салтыковым. Гамбетта был подлинным кумиром и героем всей либеральной Европы этой эпохи. Вместе со всеми либералами, в том числе и русскими, ему аплодировал и Шассен. Салтыков же отзывался об этом «кумире» в дни его политического триумфа на выборах в Сенат, в феврале 1876 г., следующим образом: «...скопец Гамбетта одержал блистательную победу ⟨...⟩ Представьте себе такое положение: жеребцы уволены от жизни, а мерины управляют миром. Что может из этого выйти? Выйдет республика без страстной мысли, без влияния,— республика, составляющая собрание менял. Вот эту картину меняльных рядов и представляет теперь Франция» (XVIII, 343). А в своих сочинениях Щедрин разоблачал Францию Тьера и Гамбетты так сильно, глубоко, остро, что Ленин назвал это разоблачение буржуазной демократии Третьей республики к л а с с и ч е с к и м (В. И. Л е н и н. Соч., изд. 4, т. 11, стр. 384).

«Несогласимые противоречия» во взглядах на такие явления, как Парижская коммуна, государственность Третьей республики, западноевропейская буржуазия, не могли не наложить отпечатка некоторой отчужденности и даже враждебности на отношения Салтыкова к Шассену. Салтыков даже задумывался относительно возможности дальнейшей работы французского публициста в «Отечественных записках». Салтыков, критикуя некоторые статьи, появившиеся в журнале в его отсутствие и, следовательно, вне его редакторского контроля, писал Н. К. Михайловскому

(4 августа 1876 г.): «„Отечественные записки“ встали на покатость очень сомнительную и делаются журналом, в котором чувствуется ежели не преобладание, то очень значительное присутствие трихин. По крайней мере, Боборыкин и Мордовцев несомненно принадлежат к числу оных 〈...〉 Об Шассене тоже надо сговориться. Этот человек — протеже Н. С. Курочкина, и ежели его вытурить, то Ник. Степ. будет хиреть» (XIX, 68).

Другими словами, Салтыков был не прочь «вытурить» Шассена, но не хотел огорчать таким решением Н. С. Курочкина, поддерживавшего с Шассеном приятельские отношения (они познакомились в 1874 г. в Париже). После выдворения Шассена Курочкин лишился бы довольно значительной суммы ежемесячного заработка: он был в это время почти монопольным переводчиком шассеновских «обозрений».

Во время своей первой заграничной поездки Салтыков лично узнал Шассена. «Сегодня виделся с Шассеном,— извещал он Некрасова из Парижа 4/16 сентября 1875 г.— По первому взгляду судя, малый — вздор. Вероятно, впрочем, и еще буду видеться» (XVIII, 304). Салтыков, действительно, не раз виделся впоследствии с Шассеном как в эту, так и в дальнейшие свои поездки во Францию. Неизвестно, однако, изменили ли новые встречи первоначальное впечатление Салтыкова от Шассена. Вероятно, кое в чем изменили. Позже, в 1880-е годы, в Париже, они встречались раз или два даже «домами». При всем том между ними не возникло никакой близости. Отношение Салтыкова к Шассену осталось в рамках чисто деловых связей редактора журнала с одним из его сотрудников. Подтверждением этому служат печатаемые ниже письма Салтыкова к Шассену. В них нет теплоты дружеского чувства, нет и содержательности интеллектуального общения. И лишь один документ — извещение о закрытии «Отечественных записок»— резко нарушает мрачной торжественностью тона сухость этой корреспонденции.

Прекращение «Отечественных записок» практически оборвало многолетнюю работу Шассена-журналиста. Вскоре после закрытия «Отечественных записок» Шассен потерял и другие свои связи с русской печатью. И хотя во Франции он продолжал сотрудничать в ряде периодических изданий и в течение ряда лет стоял во главе «Journal officiel des communes»,— не в журналистике, а в исторической науке сосредоточилась отныне его деятельность. Вскоре Шассен предпринял десятитомное документальное издание по истории вандейских войн. Издание это, задуманное с целью разоблачения фальсификации роялистских и клерикальных историков,— явилось крупнейшим трудом Шассена-историка. Важнейшим же памятником публицистического наследия Шассена остались его «обозрения» в «Современнике» и «Отечественных записках». В истории литературных взаимоотношений России и Франции во второй половине XIX в. шассеновские «хроники» и «письма» сыграли свою, положительную роль.

1

А. Н. ПЫПИН — Ш. ШАССЕНУ

С.-Петербург. 29 ноября 1865 г.

Милостивый государь. Получение вашего первого «Парижского письма», которое теперь уже напечатано в нашем журнале, доставило нам большое удовольствие, и мы с тем же интересом будем ожидать продолжения ваших корреспонденций[1], если условия, указанные в конце настоящего письма, вам подойдут.

Что же касается программы ваших корреспонденций, то она намечена в полном соответствии с нашей точкой зрения, чем разнообразнее они будут, тем интересней. Однако нас особенно интересует внутренняя жизнь общества и общественные события в Париже (и во Франции), разумея под этим литературу, нравы и даже театр — этот последний лишь в том случае, если театральная пьеса имеет серьезное отношение к общественному движению и основным интересам общества.

Ваше «Письмо» напечатано без всяких изменений: вы видите, следовательно, что наши точки зрения совпадают и что, вероятно, между нашими взглядами на вещи не встретится противоречий. Единственное изменение, сделанное нами, — это некоторое сокращение статьи. Желательный раз-

St. Pétersbourg le 15/27 Janvier

Monsieur et cher collaborateur.

Dans le courant de l'année 1872, notre journal a imprimé 25 7/16 f. de Votre correspondance, ce qui, à raison de 200 fr. par f. produit la somme de 5187 fr. 50 cent. Il vous a été envoyé en différents termes 4/m fr., le reste c'est à dire 1187 fr. 50 c. vient d'être envoyé dernièrement. Veuillez m'informer si vous trouvez ce compte en règle.

La rédaction a une prière à Vous adresser: vos dernières lettres ont pris une trop grande extension, ce qui, vu l'abondance des matières, met quelquefois la rédaction dans les difficultés: 1—1½ f. par chaque mois — voici la proportion qu'il serait à désirer de garder à l'avenir.

Le manuscrit de Vos lettres est en ordre et reste dans la rédaction.

Veuillez agréer l'assurance de mes sentiments distingués

N. Nekrasoff

ПИСЬМО НЕКРАСОВА К Ш.-Л. ШАССЕНУ ОТ 15/27 ЯНВАРЯ 1873 г.

Написано рукой Салтыкова

Некрасову принадлежит только подпись

Историческая библиотека города Парижа

мер ваших корреспонденций — от 24 до 32 страниц — то есть почти столько, сколько вы прислали на этот раз, или немного меньше ⟨...⟩[2]

Александр Пыпин,

(редактор «Современника»)

[1] Шассен успел напечатать в «Современнике», до его закрытия, три «корреспонденции» «Парижские письма»: в № 8 за 1865 г. и в №№ 1 и 3 за 1866 г.

[2] В публикации К. Саниной (указ. соч., стр. 115) здесь сделана купюра, сопровождаемая пояснением: «Далее следуют предложенные условия: 100 франков с листа, в 16 страниц, из расчета одно „Письмо“ каждые два месяца».

2

Н. А. НЕКРАСОВ — Ш. ШАССЕНУ

С.-Петербург. 15/27 января 〈1873 г.〉

Милостивый государь и дорогой сотрудник,

В течение 1872 года наш журнал напечатал 25 и $^{15}/_{16}$ листа ваших корреспонденций, что, из расчета 200 франков за лист, составляет сумму в 5187 франков 50 сантимов. Вам было отправлено в разные сроки 4 тысячи франков, остаток же, то есть 1187 франков 50 сантимов, только что выслан. Благоволите сообщить мне, находите ли вы этот расчет правильным.

Редакция обращается к вам со следующей просьбой: ваши последние письма приняли слишком большие размеры, что, вследствие обилия материалов, иногда затрудняет редакцию[1]. 1—$1^1/_2$ листа ежемесячно — вот пропорция, которой желательно было бы придерживаться в дальнейшем.

Рукопись ваших писем — в полном порядке и хранится в редакции[2].

Благоволите принять уверение в совершенном моем уважении.

Н. Некрасов*

[1] В редакции «Отечественных записок» многописанием Шассена тяготился, в первую очередь, Салтыков.
[2] Судьба авторских рукописей шассеновских «хроник» неизвестна.

3

Н. А. НЕКРАСОВ — Ш. ШАССЕНУ

〈Петербург. 28 июня/10 июля 1874 г.〉

Милостивый государь,

Обстоятельства, которые в России принято называть *независящими от редакции*, не дают нам возможности продолжать публикацию вашего политического фельетона в той же форме, в тех же размерах и столь же часто, как мы делали это до сих пор. Нужно ли говорить, что мы искренне об этом сожалеем, и я пользуюсь случаем, чтобы засвидетельствовать вам от имени всей нашей редакции глубокую признательность за ваше многолетнее сотрудничество, — сотрудничество, столь талантливое, столь аккуратное и столь полезное для нашего журнала. Но, тем не менее, как я уже сказал, форма, которой вы до сих пор придерживались, отныне невозможна. Ваш пятый фельетон погиб вместе со всем номером журнала, который конфискован и будет несомненно сожжен[1]. Что же касается шестого фельетона, мы даже и не пытались опубликовать его[2].

---

* Приводим текст письма в подлиннике: за исключением подписи оно написано рукою Салтыкова.

Monsieur et cher collaborateur, Saint Pétersbourg le 15/27 janvier 〈1873〉

Dans le courant de l'année 1872, notre journal a imprimé 25 $^{15}/_{16}$ f. de votre correspondance, ce qui, à raison de 200 fr. par f. produit la somme de 5187 fr. 50 cent. Il v〈ou〉s a été envoyé en différens termes 4/m fr., le reste, c'est-à-dire 1187 fr. 50 c. vient d'etre envoyé dernièrement. Veuillez m'informer si vous trouvez ce compte en règle.

La rédaction a une prière à vous adresser: vos dernières lettres ont prise 〈!〉 une trop grande extension, ce qui, vu l'abondance des matières, met quelquefois la rédaction dans des difficultés. 1—$1^1/_2$ f. chaque mois, voici la proportion qu'il serait à désirer de garder à l'avenir.

Le manuscrit de vos lettres est en ordre et reste dans la rédaction.

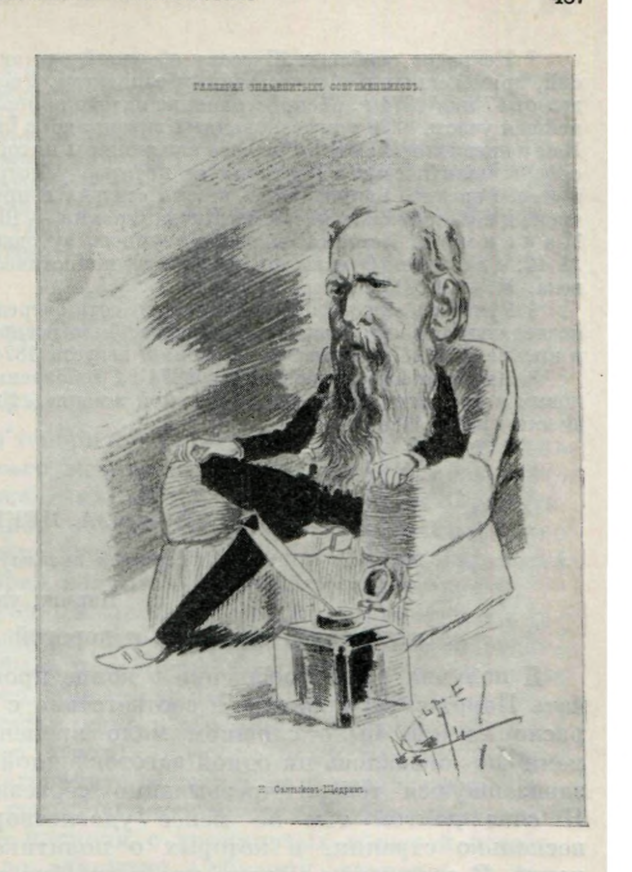
Veuillez agréer l'assurance de mes sentiments distingués.

N. Nekrasov

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Шарж

«Галерея знаменитых современников», конец 1870-х—начало 1880-х гг.



Нам очень хотелось бы, однако, сохранить ваше сотрудничество, и я был бы чрезвычайно рад, если б вы согласились принять мое предложение — присылать нам нечто вроде парижской хроники по вопросам литературы, театра, общественной жизни, касаясь также и политики, но таким образом, чтоб она всегда оставалась на втором плане. Со временем, когда дела наладятся, мы надеемся найти возможность возобновить публикацию чисто политических статей, которые смогут появляться, как мы думаем, три или четыре раза в год. Они должны будут охватывать определенный период времени и иметь в своей основе какое-либо выдающееся событие, вокруг которого сгруппируются все остальные. Как только мы получим возможность начать публикацию этих политических статей, я вас извещу; пока же, если предложение поставлять нам парижскую хронику вам улыбается, благоволите прислать нам первую статью возможно скорее, — не позднее 25 числа сего месяца (по новому стилю). Хорошо было бы изменить название статей, а также и псевдоним[3].

В ожидании окончательного уточнения наших расчетов, посылаю вам при этом письме вексель на тысячу франков (второй в этом году). Разумеется, ваш погибший фельетон так же, как и шестой фельетон (восемьсот франков), будет вам оплачен.

Прошу вас, милостивый государь, принять уверения в моем совершеннейшем уважении *.

Н. Некрасов

28 июня (ст. ст.) С.-Петербург.

---

* Французский подлинник письма написан, за исключением подписи, рукою Плещеева. — *Ред.*

[1] Некрасов сообщает Шассену об одной из наиболее суровых цензурных репрессий, примененных к «Отечественным запискам». Распоряжением министра внутренних дел от 17 мая 1874 г. распространение пятого номера журнала было задержано. Дальнейшая участь 8220 конфискованных экземпляров была решена Комитетом министров. Как и предполагал Некрасов, все экземпляры пятого номера были сожжены. Высшие органы политического контроля за печатью усмотрели «особую предосудительность» и «особо вредное направление» в семи статьях и произведениях пятой книжки, в том числе и в «Парижских письмах» Клода Франка — Шассена. См.: В. Е. Евгеньев-Максимов. История одного цензурного аутодафе — «Книга и революция», 1921, № 12; его же. Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века. М. — Л., 1927, стр. 178—180.

[2] Рукопись «шестого фельетона», то есть очередного «Парижского письма», предназначавшегося для июньской книжки, была возвращена Шассену. См. об этом ниже в письме А. Н. Плещеева от 28 июля/9 августа 1874 г.

[3] Начиная с восьмого номера 1874 г., «обозрения» Шассена стали печататься под новым названием: «Хроника парижской жизни». Изменился и псевдоним: «Людовик» вместо «Клод Франк».

4

Ш. ШАССЕН — Н. А. НЕКРАСОВУ

(Черновик письма)

Париж, ул. Крете, 5. ⟨12⟩/24 июля 1874 г.

Милостивый государь и дорогой г. редактор.

Я получил ваше сообщение в конце прошлой недели и поспешил начать Парижскую хронику в соответствии с вашими указаниями. В моем распоряжении было слишком мало времени и материала, так как у меня не оказалось ни одной заготовленной заметки; я с головой ушел в завязавшуюся теперь чрезвычайно серьезную парламентскую борьбу. Я счел долгом тем не менее удовлетворить ваше желание, и вот несколько страниц, в которых о политике речь идет только в самом конце. В следующие месяцы мне легче будет придерживаться вашей программы. Благоволите же судить по приложенному образцу о том направлении, которое я избрал или которое мне надлежит избрать, и будьте настолько добры сказать мне раз и навсегда, возможно скорее, к какому точно числу и в размере скольких моих рукописных страниц хроника должна вам доставляться.

Меня глубоко трогает деликатность, с которой вы сообщаете мне о несчастье с моим политическим фельетоном. Передайте же редакции, что я приложу все усилия, чтобы заслужить в будущем похвалы, которыми вы меня почтили от ее имени. Однако я не хотел бы являться виновником преследований и материальных убытков для вас и наших сотрудников. Я всегда уполномачивал вас, уполномачиваю и впредь на купюры, которые вы сочтете «вызванными обстоятельствами». Не всякая истина годится для печати. Я знаю это по слишком долгому опыту в условиях Империи. Но всякая истина должна быть высказана и сохранена между нами. В легкой ли хронике, которую вы просите, в политических ли статьях, которые, когда вам будет угодно, я стану писать в историческом стиле, я по-прежнему буду говорить правду, как я ее вижу и чувствую. Для вашей же безопасности и в наших общих интересах вы изымете из них то, что вам покажется опасным. Многоточий вполне будет достаточно, чтобы сохранить мою личную ответственность.

Вы меня очень обяжете, однако, если по возможности разъясните мне, что̀ именно вызвало грозу [1] и что может вызвать ее снова. Тогда я смогу подвергать себя собственной цензуре и облегчить труд переводчика [2], отмечая легко поддающиеся купюрам места или предлагая для выбора варианты.

Благоволите принять и т. д.

[1] О том, как разъяснил Некрасов французскому обозревателю своего журнала «что́ именно вызвало грозу» русской цензуры против его статей, см. ниже письмо Плещеева от 28 июля/9 августа 1874 г.

Официально же Цензурный комитет поставил в вину пятому «парижскому письму» Клода Франка за 1874 г. то, что изложение в нем было сделано «в духе и принципах чистого республиканизма и недоброжелательности к монархическим началам» (В. Е. Евгеньев-Максимов. Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века, стр. 179).

[2] См. прим. 3 к следующему письму.

5

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ — Ш. ШАССЕНУ

〈Петербург. 28 июля/9 августа 1874 г.〉

Милостивый государь,

Г-н Некрасов, находящийся теперь в отсутствии, поручил мне ответить на ваше письмо от 24 числа сего месяца, и я имею честь известить вас, что, к величайшему сожалению нашей редакции, ваша Французская хроника прибыла слишком поздно для июльской книжки, только что вышедшей в свет; вследствие этого мы вынуждены были перенести ее в следующую книжку, которая появится 1 сентября нового стиля.

Принося вам глубокую благодарность за то, что вы так охотно и с таким успехом взялись за выполнение новой программы, которую редакция, к несчастью, вынуждена была предложить вам, мы просим вас продолжать ее в духе этого первого образца[1]. Что же касается сроков, то просим вас присылать свои статьи таким образом, чтоб они доходили каждого первого числа (нового стиля), подобно тому как вы делали это до настоящего времени. Благоволите прислать нам, независимо от вашей следующей хроники, к 1 сентября (нового стиля) ретроспективный обзор политических событий — начиная с упомянутых в вашей последней (напечатанной) хронике до закрытия Собрания, стараясь не превысить трех печатных листов, соответствующих *пятидесяти страницам* «Revue des Deux Mondes»[2]. К этому письму приложена ваша последняя статья, которая не смогла быть напечатана и которой вы, может быть, воспользуетесь для упомянутого политического обозрения.

Что касается разъяснений, которые вы желаете получить о причинах изменения нашей программы, редакция затрудняется сформулировать их точно. Ограничимся теперь только указанием основной причины — слишком радикального тона ваших прежних корреспонденций.

Прошу вас направлять ваши статьи прямо к нашему постоянному переводчику г. Еракову[3], адрес которого вам известен*, и приношу вам, милостивый государь, мое искреннее почтение.

Ваш покорнейший слуга

А. Плещеев,
секретарь редакции

28 июля/9 августа 1874 г.

[1] Об этой «новой программе» и обстоятельствах, вынудивших редакцию предложить ее своему парижскому корреспонденту, см. выше, в письме Некрасова к Шассену от 28 июня/10 июля 1874 г.

[2] Неизвестно, прислал ли Шассен «ретроспективный обзор политических событий», о котором его просила редакция. В журнале он не появился.

[3] Переводчиками «хроник» Шассена в разное время были: Н. П. Ераков, Н. С. Курочкин, М. А. Маркович, Е. Г. Бартенева (Броневская) и Н. И. Соколов.

---

* Нижний-Новгород, Жуковская ул., дом Нарышкина. Николаю Петровичу Еракову.— *Прим. Плещеева.*

6

М. Е. САЛТЫКОВ — Ш. ШАССЕНУ

Париж. ⟨19/31 августа 1881 г.⟩[1]

Милостивый государь и дорогой сотрудник,

Я только что приехал в Париж. Вчера утром был у вас, но дверь оказалась запертой, и мне не удалось даже оставить свою карточку у привратника, потому что его не было на месте. Мне очень хотелось бы повидаться с вами, и если бы вы смогли прийти на площадь Мадлены № 31 (как в прошлом году), вы доставили бы мне истинное удовольствие. Меня можно застать дома ежедневно между тремя и восьмью.

Благоволите принять уверения в моей искренней преданности.

М. Салтыков*

[1] В книге К. Саниной (указ. соч., стр. 118) письмо опубликовано с датой «7 августа» по новому стилю. Так датировано письмо в подлиннике. Между тем дата эта неверна: она результат ошибки Салтыкова в переводе календаря старого стиля, по которому он вел из-за границы свою русскую корреспонденцию, на новый, при обращении к французу. Салтыков намеревался приехать в Париж 19 августа старого стиля (XIX, 221), но, по-видимому, приехал на день раньше, 18 августа. Письмо к Шассену написано на другой день по приезде, то есть 19-го ст. ст. Желая обозначить дату по новому стилю, Салтыков ошибся и вместо того, чтобы прибавить двенадцать дней к дате старого стиля, вычел их, откуда и получилась неверная дата «7 августа» вместо нужной «31 августа».

7

М. Е. САЛТЫКОВ — Ш. ШАССЕНУ

С.-Петербург. 24 января/5 февраля 1883 г.

Милостивый государь и дорогой сотрудник,

Наш журнал только что получил второе предостережение. Я не счел бы необходимым ставить вас об этом в известность, если бы не грозная мотивировка предостережения. Но содержание административного постановления доказывает, что решено покончить с журналом. Вот почему считаю своим долгом предупредить вас, что, возможно, через месяц или два журнал перестанет существовать. В любом случае, мы ждем ваших «писем» от 1 февраля и 1 марта. Буду иметь честь держать вас в курсе этого печального дела[1].

Прошу вас принять уверение в моем глубоком уважении.

Михаил Салтыков

Прошу вас уведомить меня о получении настоящего письма**.

---

* Приводим текст письма в подлиннике:

Paris ⟨le19/31 août 1881⟩

Monsieur et cher collaborateur,

Je viens d'arriver à Paris. J'ai été hier matin chez vous, mais votre porte était close et je n'ai même pas pu laisser ma carte chez le concierge, parce qu'il n'y était pas. Je voudrais bien vous voir et si vous pouviez venir place de la Madeleine, 31 (comme l'an passé), vous me feriez un véritable plaisir. On me trouve tous les jours entre 3 et 8 heures.

Veuillez agrér l'assurance de mes sincères amitiés.

M. Soltikoff

** Приводим текст письма в подлиннике:

Saint-Pétersbourg, le 24 janvier/5 février 1883.

Monsieur et cher collaborateur,

Notre revue vient de recevoir un second avertissement. Je ne me croirais pas dans la nécessité de vous en informer si l'avertissement n'était pas fortement motivé. Mais la

[1] Второе «предостережение» было объявлено «Отечественным запискам» 22 января 1883 г. Формально поводом для этой очередной цензурной репрессии явилась статья Н. Я. Николадзе, «содержащая восхваления одного из французских коммунаров». В действительности «предостережение» было вызвано общим направлением руководимого Салтыковым журнала. В мотивировочной части «предостережения» направление журнала квалифицировалось как «вредное». Редакция обвинялась в том, что она предает осмеянию и старается «выставить в ненавистном свете существующий общественный строй, как у нас, так и в других европейских государствах» и что «наряду с этим, не скрывает своих симпатий к крайним социалистическим доктринам»

Michel Saltikoff
N'auriez V. pas la bonté de passer
chez moi demain Vendr. soir vers
8 heure.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА САЛТЫКОВА С ЗАПИСКОЙ К Ш.-Л. ШАССЕНУ, АВГУСТ 1883 г.
Историческая библиотека города Парижа

(«Отеч. записки», 1883, № 2, стр. 1). «Судя по сильной мотивировке,— писал Салтыков А. Л. Боровиковскому,— вероятно, вслед за сим последует и третье предостережение, хотя бы мы и белую бумагу выдали ⟨...⟩ А может быть, и совсем закроют журнал» (XIX, 321).

8

Ш. ШАССЕН — М. Е. САЛТЫКОВУ

(Черновик письма)

Париж. ⟨29 января⟩ 10 февраля 1883 г.

Дорогой редактор и друг,

Только что с глубокой грустью прочел ваше письмо от 24 января (5 февраля). Надеюсь, однако, что столь замечательное дело, начатое бессмертным Некрасовым и с таким талантом продолженное вами и вашими выдающимися сотрудниками, среди которых я самый скромный, но не наименее преданный, переживет эту новую бурю.

---

teneur de l'acte administratif prouve qu'on est décidé d'en finir avec la Revue. C'est pourquoi il est de mon devoir de vous prévenir qu'il se peut que dans un ou deux mois la Revue aura cessé d'exister. Dans tous les cas, nous attendons vos «lettres» du 1 février et du 1 mars. J'aurai l'honneur de vous tenir au courant de cette triste affaire.

Je vous prie d'agréer l'assurance de ma haute considération.

Michel Soltikoff

Je vous prie de m'accuser réception de la présente.

Мне было бы очень тяжело, особенно теперь, когда наши французские дела так запутываются, прервать ежемесячное повествование, с которым я любил обращаться к русским читателям свыше двенадцати лет подряд. Если это несчастье (Di avertite omen!*) совершится, благоволите подумать сами и попросите подумать окружающих о привлечении корреспондента «Отечественных записок» к участию в какой-нибудь газете или сборнике в вашей стране, где он мог бы быть полезным.

Я отправил свое февральское письмо 31 января. Мартовское отправлю, самое позднее, 1 марта. Я ничего не меняю в наших предположениях на апрель 〈разве что〉 получу новое уведомление в течение 20 дней.

Во всяком случае, и что бы ни произошло, рассчитывайте на мое искреннее уважение и позвольте мне от всего сердца засвидетельствовать вам свою признательность за те прекрасные отношения, которые поддерживаются между нами, к великой для меня чести, в течение многих лет.

Ш.-Л. Шассен

Мое семейство поручает себя доброй памяти вашего, а я присоединяюсь к жене, которая просит выразить свое уважение г-же Салтыковой.

9

М. Е. САЛТЫКОВ — Ш. ШАССЕНУ

〈Париж. 13/25 августа 1883 г.〉

Милостивый государь и дорогой сотрудник,

Я приехал вчера в Париж и очень серьезно заболел[1]. Вы доставили бы мне истинное удовольствие, если б навестили меня возможно скорее.

По привычке я остановился на площади Мадлены № 31, хотя место это положительно никуда не годится.

До свидания.
Ваш М. Салтыков**

Париж, 25 августа.

[1] О своем болезненном состоянии по прибытии в Париж Салтыков подробно писал 15/27 августа 1883 г. Н. А. Белоголовому (XIX, 350—351).

10

М. Е. САЛТЫКОВ — Ш. ШАССЕНУ

〈Париж. Август 1883 г.〉

Не будете ли вы так добры зайти ко мне завтра, в четверг около 8 часов вечера ***.

---

* Боги, дайте предзнаменование (лат.).

** Приводим текст письма в подлиннике:

Monsieur et cher collaborateur,

Arrivé depuis hier à Paris, je suis tombé très gravement malade. Vous me feriez un véritable plaisir en venant me voir le plus tôt possible.

Par habitude, je me suis casé Place de la Madeleine, 31, quoique l'endroit soit positivement mauvais.

Au revoir. Tout à vous
M. Soltikoff

Paris, le 25 août.

*** Приводим текст записки в подлиннике:

N'aurez Vous pas la bonté de passer chez moi demain Jeudi soir vers 8 heure.

11

М. Е. САЛТЫКОВ — Ш. ШАССЕНУ

〈Париж. Август 1883 г.〉

Улица Крете 5

Господин Шассен,

Завтра вечером, в пятницу, а не в четверг.

Салтыков*

St Petersbourg, le 24 Avril / 6 Mai 1884

Monsieur et cher collaborateur

J'ai l'honneur de vous informer, que, par ordre supérieur, les Annales de la Patrie ont cessé de paraître. Ce n'est pas une suspension temporelle de quelques mois, mais bien tout la fin d'une revue qui a existé depuis 45 ans.

Les ordres sont donnés pour vous transmettre les mille francs du trimestre courant.

Je vous prie de vouloir bien croire à mes sincères regrets de voir votre collaboration si inopinément interrompue.

Veuillez agréer l'assurance de ma haute considération

M. Soltikoff

P.S. Dans quelques jours je quitte Petersbourg, n'ayant plus rien à faire ici

АВТОГРАФ ПИСЬМА САЛТЫКОВА к Ш.-Л. ШАССЕНУ ОТ 24 АПРЕЛЯ/6 МАЯ 1884 г.
Историческая библиотека города Парижа

* Приводим текст записки в подлиннике:

Rue Crétet 5 〈адрес Шассена〉

Monsieur Chassin

C'est pour demain Vendredi soir, pas pour Jeudi.

Soltikoff

〈В углу листа, другой рукой записан парижский адрес Салтыкова〉
31, Place de la Madeleine

12

М. Е. САЛТЫКОВ — Ш. ШАССЕНУ

С.-Петербург. 24 апреля / 6 мая 1884.

Милостивый государь и дорогой сотрудник,

Честь имею известить вас, что, по высочайшему повелению, «Отечественные записки» прекратили свое существование[1]. Это — не временная приостановка на несколько месяцев, а просто-напросто конец журнала, просуществовавшего 45 лет.

Отданы распоряжения о пересылке вам тысячи франков за текущую треть года.

Прошу вас верить искренности моего сожаления о том, что ваше сотрудничество так неожиданно прервано.

Благоволите принять уверение в моем глубоком уважении.

М. Салтыков*

P. S. Через несколько дней я уезжаю из Петербурга, так как мне здесь более нечего делать[2].

[1] Распоряжение о прекращении «Отечественных записок» было напечатано в «Правительственном вестнике» 20 апреля 1884 г.

[2] Салтыков намеревался в ближайшие же дни уехать на все лето в деревню, в усадьбу Панино под Ржевом, но план этот не осуществился.

В. В. ГРИГОРЬЕВУ

В известном сочинении Н. К. Михайловского «Литературные воспоминания и современная смута» имеется живая зарисовка одного из тех специальных собраний руководителей редакции «Отечественных записок» с «нужными людьми» из цензурного ведомства, которые был вынужден практиковать Некрасов, оберегая свой журнал. На собрании, описанном Михайловским, присутствовал и Салтыков. Неспособный скрывать свои настроения и сдерживать себя, он грубо выбранил одного из «цензурных генералов», посоветовавшего ему плохой ход в преферансе, и потребовал, чтобы тот отошел от его стула и «не совался в игру». Михайловскому очень понравилась эта вспышка гнева Салтыкова, хотя она и «портила политическую музыку Некрасова». Свой рассказ Михайловский закончил таким рассуждением: «Скажут, может быть, что вот не поцеремонился же Салтыков с нужным человеком, а ведь и он

* Приводим текст письма в подлиннике:

Saint-Pétersbourg le 24 avril/6 mai 1884.

Monsieur et cher collaborateur,

J'ai l'honneur de vous informer que, par ordre supérieur, les *Annales de la patrie* ont cessé de paraitre. Ce n'est pas une suspension temporelle ⟨!⟩ de quelques mois, mais bien et bel la fin d'une revue qui a existé depuis 45 ans.

Les ordres sont donnés pour vous transmettre les mille francs du trimestre courant.

Je vous prie de vouloir bien croire à mes sincères regrets de voir votre collaboration si inopinément interrompue.

Veuillez agréer l'assurance de ma haute considération.

M. Soltikoff

P. S. Dans quelques jours je quitte Pétersbourg, n'ayant plus rien à faire ici.

после смерти Некрасова тянул лямку ответственного редактора. Действительно, политика Салтыкова как редактора резко отличалась от некрасовской. Но не надо забывать, что ко времени редакторства Салтыкова литература была уже далеко не так поставлена, как в ту мрачную пору, когда Некрасов начал свою журнальную деятельность и получал свое воспитание как редактор-издатель: да и всероссийские нравы изменились...» («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 338).

В самом деле, Салтыков в качестве редактора «Отечественных записок», а он стал им фактически с 1876 г., уже не «прикармливал зверя» — не устраивал для должностных лиц, осуществлявших политический контроль правительства за печатью, ни обедов, ни карточных вечеров, ни выездов на охоту. Но вслед за Некрасовым и, пожалуй, даже еще в более широком масштабе Салтыков применял тактику превентивных консультаций с руководящими деятелями цензурного ведомства в тех случаях и положениях, которые, по доходившим до него сведениям или слухам, грозили опасностью для журнала.

Как это делалось, показывают публикуемые здесь письма Салтыкова к начальнику Главного управления по делам печати — высшего цензурного органа в царской России — Василию Васильевичу *Григорьеву* (1816—1881). Человек реакционных взглядов, активно поддерживавший политику царизма, Григорьев вместе с тем был видным ученым-востоковедом, профессором Петербургского университета, а впоследствии членом-корреспондентом Академии наук. Его научные труды сохраняют известное значение и в наши дни.

Знакомство Салтыкова с Григорьевым произошло на официальной почве и сопровождалось инцидентом, наделавшим много шума в Петербурге.

В сентябре 1876 г. Салтыков, к которому вследствие болезни Некрасова фактически перешло руководство «Отечественными записками», отправился к Григорьеву похлопотать о пропуске в печать четвертой главы своих «Экскурсий в область умеренности и аккуратности», предназначавшейся еще для сентябрьского номера за 1875 г., но не пропущенной тогда цензурой. «Принял он меня,— сообщал Салтыков Некрасову,— не только холодно, но почти неприязненно, даже не посадил. Хотел ли он поломаться надо мной, но первым вопросом его было следующее: „Вы в каком журнале участвуете?“ ⟨...⟩ Одним словом, свидание вряд ли продолжалось и минуту, но, несмотря на это, мне показалось, что на меня целый час плевали» (XIX, 70). Поступок Григорьева, получивший огласку, вызвал возмущение в общественных кругах столицы. В Совете Петербургского университета, где Григорьев, как сказано, был профессором, ему чуть не устроили обструкцию, но ограничились тем, что через профессора А. Д. Градовского затребовали объяснения. Чтобы выйти из неловкого положения, Григорьев не придумал ничего лучшего, как просить Салтыкова «удостоверить», что он его «в глаза никогда не видел». С этой миссией Григорьев послал к Салтыкову его старинного товарища по Московскому дворянскому институту, служившего членом в Совете Главного управления по делам печати, Н. А. Ратынского. Сообщая об этом Некрасову, Салтыков писал: «Хотя все это не особенно лестно, тем не менее, я решился ехать и в случае нужды даже подтвердить, что мы в первый раз видимся» (XIX, 74). И Салтыков действительно поехал к Григорьеву. Повез его тот же Ратынский. Рассказывая, со слов сатирика, о финале этой истории, Елисеев писал Некрасову в Ялту: «Григорьев принял его с подобающим почтением и принес все возможные извинения. Салтыков, видимо, остался доволен приемом — говорит, по крайней мере, что теперь Григорьев пропустит ему все, что бы он ни написал» (письмо от 27 сентября 1876 г.— «Лит. наследство», т. 51-52, 1949, стр. 258).

В точности передачи Елисеевым заключительных слов Салтыкова можно усомниться. Но какие-то обещания содействовать мирному разрешению конфликтов, возникающих между цензурными инстанциями и редакцией «Отечественных записок», Григорьев, по-видимому, дал. Во всяком случае, ближайшее будущее показало, что Салтыков стал довольно часто обращаться к Григорьеву по делам журнала и что Григорьев оказался в цензурном отношении полезен Салтыкову. Об этом свидетельствуют и публикуемые письма.

1

〈Петербург. 24 марта 1877 г.〉

Милостивый государь
Василий Васильевич.

Вследствие указания вашего превосходительства, А. А. Краевский был сегодня у г. управляющего Министерством внутренних дел, который сказал, что с его стороны препятствия к удовлетворению ходатайства редакции «Отечественных записок» не будет, т. е. к вырезке из 3-го № тех статей, на которые будет указано цензурным ведомством и затем к выпуску № в новом виде.

Считая долгом довести об этом до сведения вашего превосходительства, имею честь покорнейше просить о благосклонном содействии к скорейшему разрешению выпуска книжки[1].

С истинным почтением и совершенной преданностью имею честь быть

вашего превосходительства
покорнейший слуга
М. Салтыков

24 марта 1877 г.
Литейная, 62.

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 159, оп. 1, ед. хр. 195. Впервые: «Красный архив», 1941, № 2, стр. 162.

[1] Доклад цензора Н. Е. Лебедева о мартовской книжке «Отечественных записок» 1877 г. обращал внимание Петербургского цензурного комитета на следующие четыре статьи: «Вымирание некультурных рас» Д. Л. Мордовцева, «Оглянемся назад» В. В. Берви-Флеровского, рецензия на книгу Путяты «Политическая экономия в рассказах» и «Современная идиллия» Щедрина (глава II). Все эти материалы признавались «предосудительными» и «указывающими на то социалистическое направление, в котором издается журнал „Отечественные записки"». На основании такого отзыва большинство членов Цензурного комитета потребовало задержания мартовской книжки (В. Евгеньев-Максимов. Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века, стр. 186—188). Каким образом Салтыкову удалось освободить книжку из-под ареста, показывает настоящее письмо. Переговоры Краевского с управляющим Министерства внутренних дел и Салтыкова с Григорьевым привели к «добровольному» изъятию самой редакцией из третьего номера двух статей — Мордовцева и рецензии на книгу Путяты («Лит. наследство», т. 13-14, 1934, стр. 148—150). После этого мартовская книжка вышла в свет. Датой ее выхода считается 23 марта (см., например, Н. С. Ашукин. Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова, М.— Л., 1935, стр. 501; «Лит. наследство», т. 53-54, 1949, стр. 537). Публикуемое письмо Салтыкова от 24 марта заставляет передвинуть эту дату на несколько дней вперед.

2

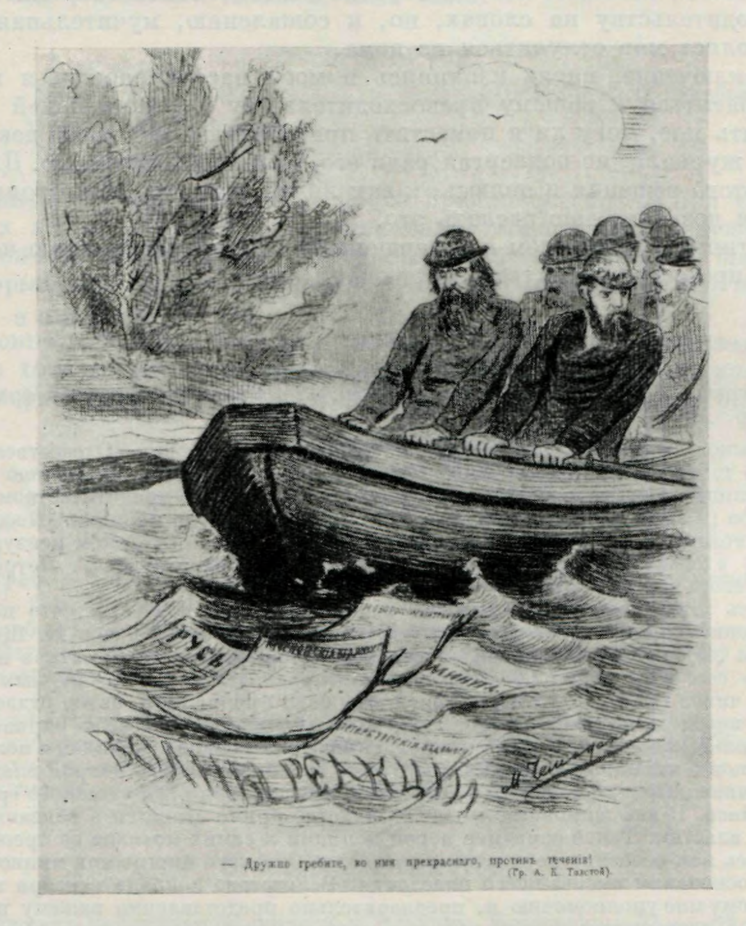
〈Петербург. 20 ноября 1878 г.〉

Милостивый государь
Василий Васильевич,

Усерднейше прошу ваше превосходительство извинить меня за назойливость. Представляемую при сем мою собственную статью я предполагал поместить в ноябрьской книжке «Отечественных записок», но так как, по мнению компетентных людей, это могло бы повлечь за собой арест книжки, то, разумеется, я предпочел не подвергать журнал этой случайности. Тем не менее, я считаю возможным обратиться к вашему превосходительству, во-первых, потому, что вы, как мне всегда казалось, небезучастно относитесь к моей литературной деятельности, а во-вторых, и потому, что, по прочтении настоящих объяснений, вы, быть может, не откажете мне в некоторой поддержке.

Мысль моего нового рассказа заключается в том, что с тех пор, как наша администрация выдвинула на первый план вопросы так называемой внутренней политики, то для людей, даже весьма умеренно-ли-

беральных, ежели они не мировые судьи и не члены земских управ, пребывание в провинции и в особенности в деревнях сделалось почти немыслимым. Я нимало не касаюсь в рассказе самого существа упомянутых вопросов, я говорю только о том, что, будучи представлены толкованию низших представителей администрации, они могут привести к результатам неожиданным и нежелаемым. Герой моего нового рассказа — становой



— Дружно гребите, во имя прекраснаго, противъ теченія!
(Гр. А. К. Толстой).

«ДРУЖНО ГРЕБИТЕ, ВО ИМЯ ПРЕКРАСНОГО, ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ!»
Сатирический отклик на борьбу прогрессивной печати с реакционной журналистикой
Карикатура М. М. Чемоданова
Сидящие в лодке гребцы борются против «волн реакции»
На переднем плане с веслом в руках Салтыков. Рядом с ним М. М. Стасюлевич.
В волнах плавают газеты «Русь», «Московские ведомости» и другие реакционные издания
«Фаланга», 1881, № 37

пристав. В редком из моих прежних очерков не упоминается об этом должностном лице, и потому с этой стороны рассказ не представляет ничего нового. Хотя же мне небезызвестен циркуляр Главного управления по елам книгопечатания, приглашающий относиться к чинам полиции с большею осмотрительностью, но так как я всегда очень тщательно индивидуализировал изображаемые мною лица, то и полагал, что действия того или другого из них не могут быть распространены на действия полицейских чинов вообще. Скажу даже более: таких становых приставов, какой

изображен в прилагаемом рассказе, в действительности совсем не существует; но существует наклонность и возможность войти на эту покатость — и в этом-то собственно, то есть в указании этой покатости, и заключается вся задача моего рассказа. Думаю, что ежели ваше превосходительство дадите себе труд прочитать его, то вы сами согласитесь, что никаких других толкований и вывести из него нельзя.

Все это я, конечно, мог бы гораздо обстоятельнее объяснить вашему превосходительству на словах, но, к сожалению, мучительная болезнь не позволяет мне отлучиться из дома.

В заключение, вновь извиняясь в моей настойчивости, я позволяю себе обратиться к вашему превосходительству с покорнейшей просьбой разрешить мне, могу ли я поместить прилагаемый рассказ в декабрьской книжке журнала, не подвергая, ради его, книжку задержанию. Для выслушания этого решения я явлюсь к вам лично, как только состояние моего здоровья дозволит мне сделать это.

С истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть вашего превосходительства покорнейший слуга

М. Салтыков

20 ноября 1878 г.

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 159, оп. 1, ед. хр. 195. Впервые: «Красный архив», 1941, № 2, стр. 162—163.

Салтыков вынужден был изъять из ноябрьской книжки «Отечественных записок» 1878 г. очерк «В добрый час» — вторую главу из цикла «Убежище Монрепо». Очерк являлся острым злободневным откликом на введение правительством института урядников (9 июня 1878 г.), призванного усилить сельскую полицию. Необходимость изъятия возникла вследствие рассмотрения очерка в Петербургском цензурном комитете. Об итогах этого рассмотрения председатель комитета А. Г. Петров доносил В. В. Григорьеву 18 ноября 1878 г. следующее:

«Честь имею довести до сведения вашего превосходительства, что помещенный в ноябрьской книжке „Отечественных записок“ сатирический очерк Н. Щедрина под заглавием „В добрый час“ оказался весьма неудобным. Это едкая сатира на преобразованную сельскую полицию. При всей неопрятности и неблаговидных качествах прежних чинов полиции, которых народ именовал куроцапами, автор отдает им предпочтение перед представителями новой, которые, взявши на себя охранение основ и краеугольных камней, задались мыслью читать в сердцах граждан и получили себе помощников в лице новых урядников. В уста станового нового покроя влагается речь к его подчиненным, которая есть не что иное, как пародия речи одесского градоначальника Гейнса. В ней шпионство и соглядатайство прямо ставятся в обязанность полицейским властям. Такое осмеяние новой полиции и самих мотивов ее преобразования показалось нам особенно неуместным после октябрьского циркуляра министра, изданного на основании высочайшего повеления. Вследствие доклада цензора и по представленному мне уполномочию я, предварительно представления вашему превосходительству о задержании книги, вошел в аккомодацию с редактором об исключении или переделке статьи. Он предпочел заменить ее другой и на сей конец еще просил возвратить ему представленные в комитет экземпляры для вторичного представления в измененном виде» (ЦГИАМ, ф. 339, ед. хр. 69, л. 35—35 об.).

Следствием этой «аккомодации» председателя Петербургского комитета с редактором «Отечественных записок» и явилось обращение Салтыкова к Григорьеву.

В переработанном виде и под другим названием — «Тревоги и радости в Монрепо» — изъятый очерк был напечатан не в декабрьской книжке 1878 г., как рассчитывал Салтыков, а лишь в февральском номере за следующий 1879 г. Рукопись первоначальной редакции очерка «В добрый час» — остается неизвестной. Нельзя поэтому определить, какой именно переработке подверг Салтыков свой текст, чтобы получить уверенность в безопасности его опубликования в журнале. Уверенность эта, однако, не оправдалась. По докладу цензора Н. Е. Лебедева Петербургский цензурный комитет «признал очерк „Тревоги и радости в Монрепо“» «крайне предосудительным, неблагонамеренным, вредным». В этой связи Комитет направил Григорьеву, как начальнику Главного управления по делам печати, крайне резкое донесение о «Тревогах и радостях в Монрепо». «В этом сатирическом очерке, который правильнее следовало бы назвать памфлетом,— говорилось в донесении,— Щедрин старается представить в самом мрачном и отвратительном виде современное положение нашего общества, в котором от произвола администрации, воплощаемой автором в лице станового, обществу приходится задыхаться» (В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реак-

ции. М.— Л., 1926, стр. 65—66). В заключение Комитет настаивал на аресте февральского номера. Но Григорьев не согласился с таким предложением. В докладе по этому вопросу министру внутренних дел Григорьев встал на защиту Щедрина: «Что касается до произведений Щедрина, то они, как сатирические, естественно представляют вещи не в их настоящих размерах; преувеличение, в которое он несколько вдается, имеет результатом, что читатель проникается не злобою, не негодованием, а смехом...». Григорьев отказался поддержать требование Комитета об аресте номера. Министр согласился с начальником Главного управления по делам печати, и угроза ареста, нависшая над февральской книжкой, была снята.

3

〈Петербург. 22 декабря 1879 г.〉

Милостивый государь
Василий Васильевич.

Извините, что замедлил присылкою препровождаемых при сем четырех моих новых изданий[1]. Причина замедления была следующая: во-первых, ожидание окончания цензурного срока для «Убежища Монрепо»[2], и, во-вторых, несноснейшая болезнь, которая даже самую мысль мою парализует.

Искренно желал бы, чтоб мои книжки доставили вам если не удовольствие, то хотя возможность провести несколько часов без скуки.

С совершенным почтением и преданностью имею честь быть

вашего превосходительства
покорнейший слуга
М. Салтыков

22 декабря 1879 г.

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 159, оп. 1, ед. хр. 195. Впервые: «Красный архив», 1941, № 2, стр. 163.

[1] В ноябре 1879 г. вышли в свет отдельные издания следующих произведений Салтыкова: «История одного города» (изд. 2), «Помпадуры и помпадурши» (изд. 2) и в двух томах «Благонамеренные речи». Несомненно, эти четыре книги и были посланы Григорьеву.

[2] Салтыков готовил в это время отдельное издание «Убежища Монрепо», закончившееся печатанием в ноябрьской книжке «Отечественных записок» 1879 г. Так как объем книги был меньше пятнадцати печатных листов, она, по закону, подлежала предварительному цензурному рассмотрению. Книга вышла в свет в начале 1880 г.

В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ

Содержание публикуемой записки к Василию Матвеевичу *Лазаревскому* (1817—1890) уясняется в свете следующих обстоятельств.

В июльской книжке «Отечественных записок» 1879 г. была напечатана рецензия на три брошюры, вышедшие в Киеве и Одессе в связи с восемнадцатилетней годовщиной со дня смерти Т. Г. Шевченко. Анонимный автор рецензии отнесся к этим изданиям, уничижительно именуемым им «брошюрками», резко отрицательно. Сопоставляя их с аналогичными изданиями, посвященными памяти Некрасова, рецензент предупреждал читателя: «Вы увидите перед собой всю ту же канитель: много восторженных словоизлияний, которые ничего не стоят; от похвал, расточаемых великому народному поэту, у вас затрещит голова, а дела все-таки нет и на грош». Автор рецензии предъявлял обществу и, прежде всего, людям близко стоявшим к Шевченко, упрек в пренебрежении к его памяти. При этом по адресу одного из друзей поэта Михаила Матвеевича Лазаревского было высказано подозрение, что он растратил деньги, собиравшиеся по подписке для осуществления программы увековечения памяти Шевченко. Подозрение это было неосновательно. За восстановление чести М. М. Лазаревского, умершего в 1875 г., взялся его брат Василий Матвеевич — влиятельный чиновник цензурного ведомства, давний знакомый Некрасова и Салтыкова (см. о нем «Лит. наследство»,

т. 49-50, стр. 488—506). Он доставил в редакцию сведения, которые устанавливали истину, и потребовал их обнародования. Салтыков согласился и напечатал опровержение в ближайшей, августовской книжке журнала. Из публикуемой записки видно, что текст опровержения («объяснения») в корректуре посылался для согласования В. М. Лазаревскому.

〈Мыза Лебяжья близ Ораниенбаума.
1 августа 1879 г.〉

Многоуважаемый Василий Матвеевич

Прилагая при сем, согласно условию, корректуру «объяснения»[1], надеюсь, что вы найдете его удовлетворительным для памяти почтеннейшего Михаила Матвеевича. По прочтении корректуры, благоволите возвратить ее в типографию «Голоса» (Бассейная, 2) не позднее 12-го августа, как я лично о том вас просил.

Искренно вас уважающий и преданный

М. Салтыков

1 августа
Мыза Лебяжья

Автограф. Гос. Литературный музей, Москва. Инв. № 450 (поступление 1958 г.).

[1] Приводим «объяснение» по тексту «Отеч. записок», 1879, № 8, стр. 327—328 (второй пагинации):

От редакции. В прошлой (июльской) книжке «Отеч. записок», в отделе «Новые книги» была помещена рецензия трех брошюр, изданных в память покойного Т. Г. Шевченка. В рецензии этой, между прочим, сказано, что в день смерти Шевченка лица, бывшие на панихиде, собрались к другу его М〈ихаилу〉 М〈атвеевичу〉 Лазаревскому, где было приступлено к подписке на увековечение памяти покойного поэта, и при этом в 9-ти пунктах изложены были предметы, на которые должны быть обращаемы собираемые пожертвования. Но так как из этих 9-ти пунктов доселе выполнены лишь 1-й (перевезение тела Шевченка на Украину) и отчасти 5-й (издание сочинений), то рецензент ставил вопрос: куда делись пожертвования, собиравшиеся некогда М. М. Лазаревским и при «Основе»? Затем, имея в виду заявление «Поминок» (одной из трех разбираемых брошюр), что «почти из всех южнорусских городов явились заявления о желании увековечить память Шевченка, предложения о подписках» и проч., и что «черноморцы из Екатеринодара» ранее всех прислали в редакцию «Основы» 200 руб., собранных со спектакля, рецензент заключил так: «но все эти пожертвования бесследно канули в чьи-то неведомые карманы».

В настоящее время, из сведений, доставленных в редакцию одним из лиц, близких к М. М. Лазаревскому, оказывается, что последний умер уже 4 года назад (14 лет тому после смерти Шевченка) и что вопрос о деньгах, *полученных непосредственно г. Лазаревским* на выполнение упомянутых выше 9-ти пунктов, представляется в следующем виде.

По приходу: а) осталось у М. М. Лазаревского денег Шевченка 478 р. 85 к.; б) выручено от продажи оставшегося после Шевченка имущества, библиотеки, рисунков и сочинений 1972 руб. 58 коп.; в) часть прибыли от концерта 249 руб. 95 коп. и г) по подписке 1039 руб. Итого 3720 руб. 38 коп.

По расходу: а) на похороны Т. Г. Шевченка 904 руб. 25 коп.; б) на вспомоществование его родным (8-й пункт предположенной в день смерти программы) 2729 руб. и в) на пересылку денег, вещей и мелочи 85 руб. 81 коп. Итого 3719 руб. 6 коп. Все эти данные подтверждаются бесспорными документами, сохранившимися и доныне.

Таким образом, вопрос рецензента о том, куда делись деньги, собиравшиеся некогда М. М. Лазаревским, падает сам собою. Денег этих было и немного (собственно *пожертвований* менее 1300 руб.) и они употреблены на нужды, представлявшиеся наиболее настоятельными. Заявляя об этом, редакция «Отеч. записок» с величайшею готовностью печатает настоящее объяснение, надеясь, что оно устранит те недоразумения, к которым могла подать повод рецензия, помещенная в 7-м № журнала. За всем тем, редакция находит, что в вопросе об «увековечении памяти Шевченка» все-таки остаются неразъясненными два следующие обстоятельства: во-первых, какие результаты дало движение, о котором автор «Поминок» выражается так: «Почти из всех южнорусских городов» и т. д. и, во-вторых, почему несмотря на все эти, по-видимому, великолепные начинания, программа, предположенная в дни смерти Шевченка, остается не только не выполненною, но и почти совсем не тронутою?

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ САЛТЫКОВА СОТРУДНИКУ «ОТЕЧ. ЗАПИСОК» НА КНИГЕ «ПОМПАДУРЫ И ПОМПАДУРШИ», СПб., 1879:

«В. А. Тимирязеву автор»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

В. А. Тимирязеву

ПОМПАДУРЫ

Автор

И

ПОМПАДУРШИ

ИЗДАЛЪ

М. Е. САЛТЫКОВЪ (ЩЕДРИНЪ)

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФІЯ А. С. СУВОРИНА, ЭРТЕЛЕВЪ ПЕР., Д. № 11—2.

1879

А. Н. ЕРАКОВУ

Салтыков познакомился с Александром Николаевичем *Ераковым* (1817—1886) — известным инженером — в середине 1860-х годов у Некрасова. Сестра поэта была гражданской женой Еракова, а сам он находился в приятельских отношениях с Некрасовым.

В 1870-е годы Ераков вместе с А. Л. Боровиковским, В. И. Лихачевым и А. М. Унковским входил в кружок ближайших знакомых Салтыкова вне писательской среды — в «компанию мушкетеров», как иронически называл этот кружок сатирик.

1

Петербург. 15 сентября 1879 г.

Многоуважаемый Александр Николаевич!

Если вы в Петербурге, то откликнитесь на зов любящих сердец! Приезжайте завтра, в воскресенье, в 8 часов пополудни ко мне на вечер. Будет Алексей Михайлович[1].

Весь ваш
М. Салтыков

Автограф. ЦГИАМ, ф. 694, оп. 1, ед. хр. 938. Впервые: «Красный архив», 1941, № 2, стр. 163.

[1] Унковский.

2

Петербург. 20 октября 1885 г.

Многоуважаемый Александр Николаевич!

Считаю долгом засвидетельствовать вам и вашему почтенному семейству о моем чувстве горечи, которое я испытал, прочитав известие о кончине Льва Александровича[1],

Многострадальный
М. Салтыков[2]

Автограф. ЦГИАМ, ф. 694, оп. 1, ед. хр. 938. Впервые: «Красный архив», 1941, №2, стр. 163.

[1] Лев Александрович *Ераков* (1839—1885) — сын А. Н. Еракова, профессор Института путей сообщения.

[2] Салтыков применил здесь к себе библейский образ многострадального Иова. Этот же образ он использовал позднее во вступлении к автобиографической элегии «Имярек» (1887) из «Мелочей жизни» (XVI, 709).

В. Р. ЗОТОВУ

Знакомство Салтыкова с Владимиром Рафаиловичем *Зотовым* (1821—1896), известным в свое время литератором, продолжалось около полувека. Впервые они встретились юношами на школьной скамье Царскосельского лицея. Затем оба служили в канцелярии Военного министерства. В это время они были тесно связаны друг с другом. Извещая М. Л. Михайлова письмом в Нижний-Новгород от 12 мая 1848 г. об аресте и ссылке Салтыкова, Зотов называл его своим «приятелем» и «товарищем» (С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I. Изд. 2. М., 1951, стр. 295).

Впоследствии, после возвращения Салтыкова из Вятки, они изредка встречались и встречи эти продолжались до конца жизни сатирика (см. мемуарный фрагмент В. Р. Зотова «После беседы с Михаилом Евграфовичем».— «Новости и Биржевая газета», 1889, № 119, от 2 мая; ср. «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 201—202). Но былое товарищество не возобновилось.

В конце 1870-х или в начале 1880-х годов Зотов был привлечен, на очень короткое время, к выполнению какой-то работы в редакции «Отечественных записок». С этой работой и связаны две публикуемые записки Салтыкова, не поддающиеся точной датировке.

1

⟨Петербург. Конец 1870-х —начало 1880-х гг.⟩

Многоуважаемый Владимир Рафаилович!

Будьте так добры, не исправляйте корректур «Отечественных записок». У редакции свои правила, свое правописание, и очень жалко встречать переделки против корректур, просмотренных самою редакцией.

Искренне вас уважающий
М. Салтыков

Автограф. ИРЛИ, ф. 548, оп. 1, № 42, л. 65.

2

⟨Петербург. Конец 1870-х — начало 1880-х гг.⟩

Будьте так любезны не задерживать иностранные издания, выписываемые для «Отечественных записок».

М. Салтыков

Автограф. ИРЛИ, ф. 548, оп. 1, № 42, л. 47.—Сообщено В. Н. Баскаковым.

С. А. ЮРЬЕВУ

Сергей Андреевич *Юрьев* (1821—1888) был товарищем детских и школьных лет Салтыкова. Но публикуемые здесь два письма имеют официальный характер, что подчеркивается и обращением на «вы», тогда как Салтыков был с Юрьевым на «ты», и подписью: «Редактор...». Письма были адресованы Юрьеву как председателю Общества любителей российской словесности, заведовавшему пушкинскими празднествами 1880 г. в Москве, и предназначались для оглашения на заседании Общества. Одновременно с первым письмом Салтыков отправил Юрьеву частное письмо, в котором писал: «Сегодня послал тебе письмо (в ответ) на приглашение Общества любителей словесности (сегодня же полученное). Не могу я приехать в Москву,— нестерпимо болен. Задыхаюсь, кашляю и ничего другого не желаю, кроме смерти. Вероятно, я тебе обязан, что Общество вспомнило обо мне. Теперь мне остается еще одна почесть: чтобы Галахов поместил меня в Хрестоматию. Затем — нанять факельщиков и ехать на Волково» (XIX, 151).

Салтыков действительно был болен, однако не настолько, чтобы не иметь возможности поехать в Москву.

Весной и летом 1880 г. он продолжал свои обычные писательские и редакторские занятия и совершил поездку за границу.

Салтыков уклонился от участия в пушкинских торжествах по другим причинам. Он считал, что подготовкой к праздникам завладели представители тех чуждых или враждебных ему направлений общественной мысли, с которыми он не хотел оказаться в одной компании. Ход ближайших событий лишь укрепил Салтыкова в его опасениях. «Пушкинский праздник произвел во мне некоторое недоумение,— писал Салтыков А. Н. Островскому 25 июня 1880 г.— По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу, и медная статуя, я полагаю, с удивлением зрит, как в соседстве с ее пьедесталом возникли два суднышка, на которых сидят два человека из публики...» (XIX, 158). О том же писал Салтыков и Н. К. Михайловскому 27 июня 1880 г. по поводу статьи Успенского о пушкинском празднике, напечатанной в июньской книжке «Отечественных записок»: «Успенский не додумался до того, что и Достоевский и Тургенев надувают публику и эскамотируют* пушкинский праздник в свою пользу...» (XIX, 159—160).

1

〈Петербург. 8 мая 1880 г.〉

Милостивый государь
Сергей Андреевич.

За величайшую для себя честь почел бы я принять участие в публичных заседаниях, предложенных Обществом любителей российской словесности в память великого русского поэта, но тяжкая болезнь решительно препятствует исполнению этого желания.

Уведомляя вас об этом, прошу передать председательствуемому вами обществу мою искреннюю признательность за благосклонную память обо мне.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Михаил Салтыков

8 мая 1880 г.

Автограф. ЦГИАЛ, ф. 636, оп. 2, ед. хр. 14, л. 1

---

* обкрадывают (от франц. escamoter).

2

⟨Петербург. 19 мая 1880 г.⟩

Милостивый государь
Сергей Андреевич.

Имею честь уведомить вас, что от редакции «Отечественных записок» прибудут в Москву по случаю открытия памятника Пушкину два депутата: Григорий Захарович Елисеев и Глеб Иванович Успенский. Я покорнейше просил бы вас поставить в известность г. Поливанова для выдачи входных билетов означенным лицам.

Редактор М. Салтыков

19 мая 1880 г.

Автограф. ЦГИАЛ, ф. 636, оп. 2, ед. хр. 14, л. 2.

Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКОМУ

Видный народник-беллетрист Николай Николаевич *Златовратский* (1845—1911) был одним из активных сотрудников «Отечественных записок» Некрасова и Салтыкова. В этом журнале опубликованы наиболее известные произведения Златовратского и, в частности, центральное из них — роман «Устои», печатавшийся с 1878 по 1882 г.

Естественно было предполагать, что Салтыков, который как редактор всегда активно переписывался с сотрудниками своего журнала, неоднократно писал и Златовратскому. Есть на этот счет и прямые указания в письмах последнего к Салтыкову, опубликованных в т. 13-14 «Лит. наследства». Между тем до последнего времени было известно только одно письмо Салтыкова к Златовратскому, а именно от 26 мая 1882 г., напечатанное там же (стр. 326; ср.: XIX, 276—277).

Поступившие в апреле 1955 г. в Пушкинский дом новые материалы из переписки Златовратского позволяют несколько восполнить указанный пробел. Среди них находятся два ранее неизвестных письма Салтыкова к Златовратскому. Одно из них сохранилось полностью, в автографе, другое — в извлечении и в копии.

Первое публикуемое письмо-автограф датировано «4 апреля». Установление годовой даты не представляет трудности. Это ответ на письмо Златовратского от того же 4 апреля 1882 г. Златовратский, находившийся тогда в Петербурге, сообщал Салтыкову о смерти отца и просил выдать в счет будущего гонорара 300 рублей или же оказать содействие в получении ссуды из Литературного фонда («Лит. наследство», т. 13-14, стр. 365—366). Публикуемое письмо, в свою очередь, послужило поводом к написанию письма Златовратского к Салтыкову от 6 апреля 1882 г. (там же, стр. 366—367). Содержание письма, не затрагивая больших литературных вопросов, служит еще одним свидетельством чуткого отношения редактора «Отечественных записок» к своим сотрудникам.

Второй публикуемый документ — отрывок из письма Салтыкова. Отрывок приведен в письме Златовратского к своему шурину К. А. Жуку, написанном, как это легко установить из содержания (письмо не датировано), в первой половине октября 1882 г. Цитируя письмо Салтыкова, Златовратский сообщает, что оно было получено «недавно». Неизвестное нам полностью письмо Салтыкова написано между 27 сентября и 1 октября 1882 г. Такая датировка с достаточной определенностью подсказывается опубликованным письмом Златовратского к Салтыкову из Владимира от 2 октября 1882 г., содержащим ответ на цитируемые в письме к Жуку строки. В письме этом читаем — первые слова: «Начало рукописи для 10-й книжки, как вы, может быть, уже знаете,— было послано мною 26-го и должно было получиться вами в то время, когда вы послали ко мне письмо» («Лит. наследство», т. 13-14, стр. 370). Письмо Салтыкова не могло быть написано позже 1 октября, так как 2 октября Златовратский на него уже отвечал из Владимира, но оно не могло быть написано раньше 27 сентября, потому что момент его отправки, по расчету Златовратского, совпадал со временем доставки рукописи в Петербург, посланной из Владимира 26 сентября.

УБѢЖИЩЕ МОНРЕПО̀

СОЧИНЕНІЕ

М. Е. САЛТЫКОВА (Щедрина)

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФІЯ А. С. СУВОРИНА. ЭРТЕЛЕВЪ ПЕР., Д. № 11

1880

— 184 —

ное не повторяется въ ней въ однѣхъ и тѣхъ же формахъ, но или развивается въ формы гнуснѣйшія, или навсегда прекращается, и что, стало быть, Прогорѣловымъ, какъ бы они ни вопіяли—повториться въ прежнихъ формахъ (а новыхъ они сами не выдержатъ) не суждено. Одно меня заботитъ въ моемъ новомъ положеніи: съ умѣю ли я на столько совладать съ собою и съ своимъ прошлымъ, чтобы сдѣлаться во истину порядочнымъ пропащимъ человѣкомъ, то есть человѣкомъ долга, добра, чести и труда?

Итакъ, не по чувству зависти я воздерживаюсь отъ поздравленія васъ съ пріѣздомъ, а просто потому, что меня беретъ оторопь. И не за себя я боюсь — чего ужъ! изъ меня все, даже страхъ вынули!—но за отечество.

Какъ ни безшабашно прошла моя жизнь, однако помалялся таки я на своемъ вѣку, а тѣмъ временемъ кое-что и попристало ко мнѣ. Я. Прогорѣловъ, граматеенъ — вотъ въ чемъ суть. Преимущество ли это мое, или злосчастіе—всяко можно судить. Это преимущество, потому что грамата помогла мнѣ непостыдно и безболѣзненно (по крайней мѣрѣ, относительно) перекочевать изъ категоріи столповъ въ категорію пропащихъ людей; это злосчастіе—потому что грамата же помѣшала мнѣ всецѣло отдаться восторгамъ возрожденія и этимъ самымъ уподобила мое существованіе ладьѣ, плавающей по волнамъ житейскаго моря безъ кормила и весла.

Правда, что моя грамата, нельзя сказать, чтобъ черезчуръ ужъ сложная, но важно ужъ то, что она потревожила мой почивавшій внутренній міръ и въ тоже время внушила мнѣ вкусъ къ нѣкоторымъ нелишнимъ наблюденіямъ и оцѣнкамъ.

Благодаря этимъ наблюденіямъ, я знаю, напримѣръ, что независимо отъ клейменыхъ русскихъ словарей, въ нашей жизни выработался свой собственный подоплечный сло-

— 211 —

Люби отечество, чти государство, повинуйся начальникамъ.

Блюди свою собственность, но не отказывай и присному твоему въ правѣ имѣть таковую.

О Кунавинѣ, по возможности, позабудь.

А, главное, все-таки: люби, люби, и люби свое отечество! Ибо любовь эта дастъ тебѣ силу и все остальное безъ труда совершить.

«УБЕЖИЩЕ МОНРЕПО». СПб., 1880. ЭКЗЕМПЛЯР ИЗ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ КАРЛА МАРКСА

Титульный лист и страницы книги с пометками Маркса

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Москва

1

〈Петербург. 4 апреля 1882 г.〉

Многоуважаемый Николай Николаевич.

По желанию вашему, посылаю вам записку в Контору на получение 300 рублей. Искренно сожалею о постигшем вас горе[1]. Что же касается до «Устоев», то не знаю, сдано ли вами и сколько именно этого материала в Конторе, но по прежнему вашему письму сужу, что у вас готово не много. Поэтому, я решился печатать в апреле другую, уже 2 месяца тому назад набранную повесть. «Устои» же лучше напечатать в несколько большем объеме в майской книжке. Поэтому, ежели найдете удобным, то пришлите сколько можете, но не позднее 25-го этого месяца. Но, пожалуйста, не позднее, а буде нельзя, то уведомьте.

Что же касается до займа из Литературного фонда, то если вы встретите в этом надобность, переговорите с Н. К. Михайловским. Он укажет, как это сделать, а я не совсем помню эти правила.

Искренно вас уважающий

М. Салтыков

4 апреля.

Автограф. ИРЛИ, ф. 366, оп. 3, ед. хр. 74. — Сообщено А. С. Бушминым.

[1] 3 апреля 1882 г. во Владимире умер отец Н. Н. Златовратского.

2

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПИСЬМА САЛТЫКОВА
В ПИСЬМЕ Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКОГО к К. А. ЖУКУ

〈Петербург. 27 сентября — 1 октября 1882 г.〉

«Будни»[1] идут плохо и даже почти совсем не идут. В этом много виноват г. Жук. Я и через Гаспера[2], и через Кривенко просил его, чтобы он дал на комиссию экземпляров 50 Ландцерту[3] на железную дорогу, и никак не мог добиться. В «Новое время» дано было 25 экземпляров. Я случайно узнал, что давно все вышли, и тоже тщетно напоминал о присылке еще экземпляров, и, наконец, распорядился, чтобы Гаспер из своих отправил туда 40 экземпляров. А между тем типография пристает. Пожалуйста, напишите г. Жуку, чтобы он похлопотал.

Автограф Н. Н. Златовратского. ИРЛИ, ф. 111, ед. хр. 216. — Сообщено А. С. Бушминым.

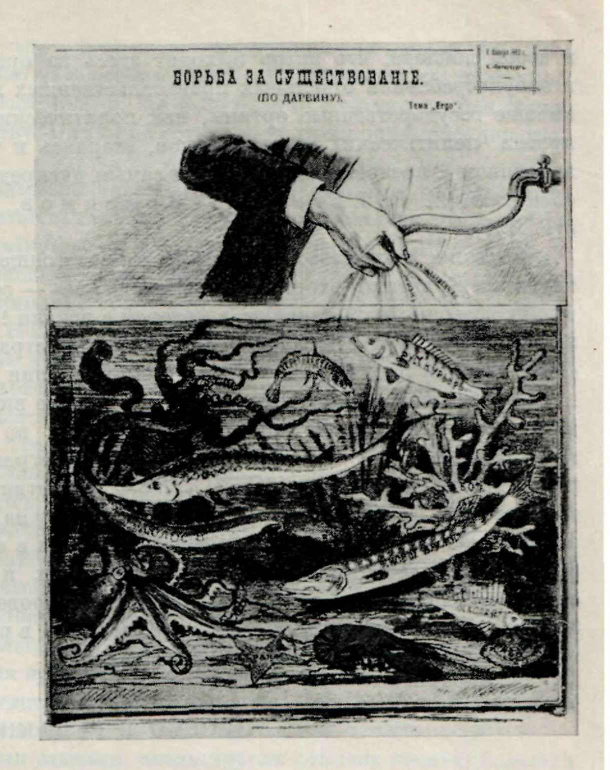
[1] «Деревенские будни» (СПб., 1882) — книга Златовратского, напечатанная при содействии Салтыкова в типографии Краевского.

[2] Александр Карлович *Гаспер* — заведующий конторой и типографией «Отечественных записок».

[3] Виктор Павлович *Ландцерт* (ум. в 1888) — основатель первой в России железнодорожной газеты «Вестник железных дорог и пароходства». С 1875 г. издавал справочник «Спутник по России».

И. И. ЯСИНСКОМУ

Сотрудничество в «Отечественных записках» Иеронима Иеронимовича *Ясинского* (Максима Белинского, 1850—1931) началось осенью 1881 г. Салтыков поместил в октябрьском номере рассказ Ясинского «Наташка» и просил дать повесть. Об этой повести — «Старый сад» — и идет речь в публикуемом письме. Работа над повестью задержалась. Рукопись ее была доставлена Салтыкову лишь в середине декабря 1882 г. и напечатана в мартовском номере «Отечественных записок» 1883 г. (см. XIX, 307 и 434—435).



«БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ»

Сатирический отклик на положение периодической печати в начале 1880-х гг.

Карикатура неизвестного художника

В аквариуме плавают: щука — «Новое время», пиявка — «Минута», спрут — «Гражданин», морская звезда — «Страна», ракушка — «Нива», рак — «Русь», кораллы — «Слово», ерш — «Осколки». Среди них в центре осетр — «Отечественные записки». Начальственная рука затыкает кран, откуда в аквариум течет струя свежей воды общественной жизни

«Осколки», 1883, № 2

〈Ораниенбаум. 29 июля 1882 г.〉

Многоуважаемый Иероним Иеронимович.

По письму вашему, в понедельник, 26 числа, я распорядился отослать 125 р. вашей супруге. Жду с нетерпением вашу повесть, хотя в сентябре вряд ли придется ее поместить, за недостатком места. Придется отложить до октября, но во всяком случае хорошо будет, если вы доставите не позднее конца августа или первых чисел сентября.

Искренно вам преданный и уважающий

М. Салтыков

29 июля

Ораниенбаум.

Автограф. Собрание Э. Ф. Ципельзона. Москва.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «НОВОСТИ И БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА»

В начале 1883 г. в редакции «Отечественных записок» создалось тревожное положение. 1 января из Петербурга был выслан один из редакторов журнала — Н. К. Михайловский, за речь, сказанную на вечере студентов Технологического института. А 22 января «Отечественным запискам» было объявлено второе «предостережение», обрекавшее журнал на скорую гибель. В тексте «предостережения» была названа статья связанного с «Народной волей» Н. Я. Николадзе, содержавшая «восхваления одного из французских коммунаров». Но в действительности основной причиной постигшей журнал суровой кары явились XXII—XXIV главы щедринской «Современной идиллии». Последняя из этих глав включала известные сцены «Злополучный пискарь, или Драма в Кашинском окружном суде» — отклик сатирика на расправу самодержавия с революционерами в политических процессах семидесятых—восьмидесятых годов. Квалифицируя эти сцены как «крайне предосудительные», цензор подчеркивал

в своем докладе, что автор выходит здесь за пределы осмеяния пороков общества и злоупотреблений отдельных правительственных лиц: он «подводит под бич сатиры высшие государственные органы, как политические суды, и действия правительства против политических преступников, стараясь и то и другое представить читателю в смешном и презренном виде и тем самым дискредитировать правительство в глазах общества» (В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции. М.—Л., 1926, стр. 105).

Высылка Михайловского, слухи о предстоящем аресте другого ближайшего сотрудника Кривенко, второе «предостережение» — создали в редакции и вокруг редакции ту тревожную обстановку, в которой с начала 1883 г. стали один за другим возникать слухи то об аресте Салтыкова, то об административной высылке его из Петербурга. «А провинция окончательно думает, что я выслан из Петербурга,— писал Салтыков А. Л. Боровиковскому 4 мая 1883 г.— В Одессе видели, как я проезжал в Тифлис на жительство. В Самаре адрес мне готовили, но только не знали, *в какой город Пермской губернии* я выслан. Из Москвы телеграммы шлют: что со мной? Это уже почти vox populi—vox Dei*» (XIX, 333). Действительно, одна из одесских газет сообщила: «М. Е. Салтыков проехал через Одессу на Кавказ, где он намерен поселиться в Тифлисе». Сообщение было перепечатано 4 мая в «Новом времени» (№ 2578), и в несколько другой редакции 17 мая в «Новостях и Биржевой газете». Салтыков счел необходимым выступить с публичным опровержением проникших на газетные полосы слухов о его административной высылке, в результате чего и возникло печатаемое здесь письмо в редакцию «Новостей».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

〈Петербург. 15 мая 1883 г.〉

М〈илостивый〉 г〈осударь〉,

Прочитав в сегодняшнем № «Новостей», что я проехал через Одессу в Тифлис, считаю не лишним уведомить почтеннейшую редакцию, что я из Петербурга не выезжал и в Тифлис ехать не намеревался.

М. Салтыков

15 мая 1883 г.

Печатается по газете «Новости и Биржевая газета», 1883, изд. 1, № 45, от 17 мая.

А. М. СКАБИЧЕВСКОМУ

Ниже печатаются пять писем Салтыкова к известному литературному критику Александру Михайловичу *Скабичевскому* (1838—1910). Одно письмо 1879 г. касается редакционных будней «Отечественных записок», два, относящиеся к марту 1885 г., связаны с устройством журнального пристанища для Скабичевского, оставшегося без работы после того как правительство прекратило весной 1884 г. издание «Отечественных записок». Два другие письма также 1885 г., но февральские, посвящены спору Салтыкова со Скабичевским по вопросу об «Исповеди» Льва Толстого. Эти письма представляют значительный интерес для изучения мировоззрения Салтыкова.

В самом конце 1884 г. в Москве вышла из печати книга М. С. Громеки «Последние произведения графа Л. Н. Толстого». Автор ее был лично знаком с Толстым и даже показывал ему рукопись своего «критического этюда». Первая часть книги содержала разбор романа «Анна Каренина», во второй — в беллетризованной форме бесед автора и вымышленного персонажа Иванова с Левиным — излагались новые философско-моральные воззрения Толстого, знаменовавшие переворот в его жизни и творчестве

---

* глас народа — глас божий (лат.).

Воззрения эти были изложены Толстым в двух известных сочинениях начала 1880-х годов — «Исповедь» и «В чем моя вера?». Оба сочинения были запрещены цензурой: первое — в мае 1882, второе — в феврале 1884 г. Но и не будучи изданными, они стали тогда же известны русскому обществу. Одним из источников этой популяризации явилась книга Громеки.

Цензура не досмотрела, что «вымышленные» диалоги, которыми обмениваются «автор», «Иванов» и «Левин», представляли собою публикацию больших отрывков запрещенного толстовского текста из «Исповеди» и частично из сочинения «В чем моя вера?» Это обстоятельство, обнаружившееся, разумеется, сразу же после выхода книги, привлекло к ней повышенное внимание читателей и печати. Все 1250 экземпляров ее тиража разошлись очень быстро. Книгу спешили купить, так как опасались, что она будет арестована и уничтожена, как это формально и полагалось по закону за обнародование текстов, «безусловно запрещенных» высшей политической и духовной цензурой. Однако никакого вмешательства властей не последовало. Почему? В точности это неизвестно, но есть основания предполагать, что причина столь необычного «либерализма» царской цензуры заключалась в самом содержании книги, в том, как использовал Громека запрещенный толстовский текст. Обильно цитируя те страницы «Исповеди», где Толстой рассказывает историю пережитого им духовного кризиса и развивает свое учение о «нравственном самосовершенствовании» как универсальном средстве устранения социальной несправедливости, Громека почти вовсе опускает места, где Толстой выступает с беспощадной критикой существующего общественного строя и образа жизни правящих классов. Такая популяризация взглядов Толстого, объясняемая не столько цензурными причинами, сколько идейными позициями самого Громеки — одного из ранних представителей зарождавшегося «толстовства», — не могла признаваться властями опасной.

Выход в свет книги Громеки был отмечен, среди других отзывов печати, большой статьей Скабичевского. Статья эта появилась в № 35 «Русских ведомостей» от 6 февраля 1885 г. Собственно о Громеке и его критических суждениях в статье говорилось мельком. Она была посвящена характеристике и оценке «Исповеди» Толстого.

Скабичевский в течение многих лет был первым литературным критиком журнала Некрасова и Салтыкова — «Отечественные записки». Считая себя последователем Чернышевского и Добролюбова, Скабичевский не был, однако, в состоянии продолжать их великие традиции. Этому препятствовали не только несравнимые размеры личного дарования. Мировоззрение Скабичевского, хотя и развившееся под воздействием революционно-демократической литературы шестидесятых годов, носило на себе печать либерально-народнической ограниченности и неустойчивости. Прекращение «Отечественных записок», а тем самым и литературно-критической работы под идейным и редакторским руководством Салтыкова, оказалось роковым для Скабичевского. Вынужденный после закрытия журнала искать прибежище в либеральной прессе, он быстро стал эволюционировать вправо. Эта эволюция явственно сказалась и в его статье о «критическом этюде» Громеки. Скабичевский встал в ней на путь идеализации «нового учения» Толстого. Не подлежит сомнению, что Салтыков никогда бы не напечатал такой статьи в своем журнале.

Салтыков признавал огромный авторитет Толстого, завоеванный его гениальным художественным творчеством. Возглавив после смерти Некрасова «Отечественные записки», Салтыков, как известно, неоднократно делал попытки привлечь Толстого к сотрудничеству в своем журнале, являвшемся для периода 1870-х и начала 1880-х годов крупнейшей трибуной русской демократической мысли. «Поверьте,— писал Салтыков Толстому в одном из писем,— что я не ради рекламы желаю вашего участия в журнале, а просто потому, что ценю высоко вашу литературную деятельность» (XIX, 111).

Но, высоко ценя художественное творчество Толстого, Салтыков был суровым и непримиримым критиком тех сторон мировоззрения великого писателя, из которых сложился, по определению Ленина, «исторический грех толстовщины»: теорий «нравственного самосовершенствования» и «непротивления злу». Салтыков неустанно разоблачал и бичевал в своей сатире идеи покорности и религиозного смирения, все

политические предрассудки «непротивления», веками прививавшиеся народу правящими классами. Салтыков хотел пробудить в народе сознание его собственной силы, чувство революционного протеста. Тема народной, крестьянской пассивности занимает огромное место в творчестве Салтыкова. Эта тема — естественное отражение основных исторических вопросов, стоявших перед Салтыковым, как перед революционным просветителем-демократом,— вопросов, связанных с задачами идейного вооружения и воспитания русского народа для борьбы за свое освобождение.

В эту тему органически входит и по-щедрински резкая, но глубоко принципиальная критика толстовских теорий «самосовершенствования» и «непротивления» как теорий, уводящих с путей революционной борьбы, проповедующих «холопьи идеалы» смирения. Критика эта содержится в художественно-обобщенной форме во многих произведениях Салтыкова последнего периода, в том числе в «Сказках», где сатирик яростно бичует различного рода теории и программы мирного прогресса, «бескровного преуспеяния», получившие такое широкое развитие — и не только у Толстого — в условиях политической и общественной реакции, наступившей после краха революционной ситуации конца 1870-х годов. Но до недавнего времени мы не знали, как воспринял и оценил Салтыков такой программный документ Толстого, как его «Исповедь». Два печатаемых ниже письма Салтыкова к Скабичевскому, обнаруженные нами в личном архиве критика, позволяют ответить на этот вопрос, хотя и не исчерпывающе, поскольку отзыв сатирика основывается в этих письмах не на полном тексте «Исповеди», а на немногих выдержках, приведенных в статье Скабичевского. Заметим также, что наиболее резкие обличительные страницы «Исповеди» не вошли в источник, цитируемый Скабичевским — в книгу Громеки, и остались, таким образом, неизвестны Салтыкову, по крайней мере, в тот момент.

Получив номер газеты со статьей Скабичевского и ознакомившись со статьей, Салтыков тут же написал автору письмо (оно датировано 7 февраля 1885 г.), которое начиналось словами: «Я с величайшим удовольствием прочитал сегодня в „Русских ведомостях“ ваш этюд о гр. Толстом...».

Однако заявление о «величайшем удовольствии» следует понимать в смысле величайшего интереса, проявленного Салтыковым к программному сочинению Толстого. По существу же ни само это сочинение, ни оценка, которую ему дал Скабичевский, не доставили и не могли доставить Салтыкову никакого «удовольствия»: наоборот, с присущим ему темпераментом бойца он сразу же ринулся в бой и против Толстого и против Скабичевского, выступившего в роли апологета реакционной утопии писателя.

Для того, чтобы содержание письма от 7 февраля стало вполне ясным, необходимо привести несколько высказываний Толстого из «Исповеди», которые (в цитатах Громеки — Скабичевского) привлекли наибольшее полемическое внимание Салтыкова

Рассказывая историю «переворота» в своей жизни и верованиях, историю своего разрыва с кругом людей, к которым он принадлежал по рождению и воспитанию, с кругом «богатых и ученых», Толстой писал: «Жизнь нашего круга не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука и искусство,— все это представилось мне одним баловством. Я понял, что искать смысла жизни в этом нельзя».

«...Не найдя удовлетворения в вере людей моего круга, я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, со странниками, монахами, раскольниками и мужиками». Среди этих последних — Салтыков знал об этом — большое влияние на Толстого оказал крестьянин Тверской губернии Сютаев, основатель секты «сютаевцев», фамилию которого сатирик всегда презрительно переиначивал в Сюсляева. Этих людей, которые якобы знали смысл жизни и смерти, так как обладали «знанием веры» и потому «спокойно трудились», переносили лишения и страдания, Толстой называл «хорошими людьми», а себя — великого писателя —дурным человеком. «Я полюбил хороших людей, возненавидел себя и — познал истину...».

Можно себе представить, с каким гневом читал Салтыков это «самобичевание во Христе», эту проповедь покорности и смирения, эту апологию отсталости, темноты и религиозных предрассудков. Салтыков отказывал Толстому в праве выражать эти взгляды от имени народа, так как отчетливо понимал, насколько они вредны для его

борьбы за свое освобождение. Отсюда наименование религиозных мечтателей из народа и самого Толстого щедрински-суровыми, резкими словами: «баловники и кобени».

Не менее остро должен был реагировать Салтыков и на толстовскую «анафему» литературе (искусству), на ее зачисление в рубрику «баловства». Известно, какой исключительной и страстной привязанностью к литературе была проникнута вся деятельность Салтыкова, с каким чувством ответственности нес писатель «звание литератора», предпочитая ему всякое другое. По собственному определению, «литератор до мозга костей, литератор преданный и беззаветный», Салтыков так высоко ценил великую русскую литературу именно за то, что видел в ней, вслед за Белинским и Чернышевским, могучее средство воспитания народа для борьбы за свое освобождение.

Получив письмо, Скабичевский справедливо усмотрел в нем не только критику взглядов Толстого, но и резкое осуждение собственной апологетической позиции по отношению к этим взглядам. Он счел нужным в чем-то оправдываться перед своим недавним грозным редактором и что-то объяснять ему. Письмо это не сохранилось. Но из ответного письма Салтыкова — оно датировано 9 февраля — видно, что, защищая главный тезис своей статьи: «...жизненность новой веры гр. Л. Толстого заключается именно в том, что дело состоит здесь не в изменении каких-либо теоретических умозрений, а в стремлении изменить самое содержание жизни, весь ее склад»,— Скабичевский сослался на пример известного революционно-демократического писателя и деятеля В. А. Слепцова.

Стремясь внедрить новые общественные идеалы в социальную практику, Слепцов, под непосредственным воздействием социалистических идей романа Чернышевского «Что делать?», организовал в 1860-х годах общежитие для кружка демократической молодежи. Общежитие это, получившее у современников названия «Знаменская коммуна» и «Слепцовская коммуна», вскоре самоликвидировалось. Салтыков, бывавший в «Знаменской коммуне», понимал всю утопичность надежд, возглагавшихся на нее Слепцовым. Пример, приведенный Скабичевским, ни мало не укреплял тезиса его статьи. С этого указания Салтыков и начал свое второе письмо, многозначительно добавив при этом, что «...примеры опыта осуществления коммуны были гораздо серьезнее», чем опыт бытового «социалистического общежития» Слепцова. Салтыков имеет тут в виду всемирно-исторический опыт Парижской коммуны 1871 г. Салтыков принадлежал к числу тех немногих представителей русской демократии той эпохи, которые близко подошли к пониманию классовой природы Коммуны. В 1871 г., идя по горячим следам событий, он сделал попытку напечатать в «Отечественных записках» статью (пятая глава цикла «Итоги»), выражающую уверенность в исторической правоте дела Коммуны. Статья эта, запрещенная цензурой, смогла быть опубликована лишь после Октябрьской революции. При всей своей краткости, упоминание о Парижской коммуне в письме к Скабичевскому представляет существенный интерес в соответствии с важностью темы, которой оно касается.

Продолжая в письме от 9 февраля резкую критику теории нравственного самосовершенствования, Салтыков решительно отводит попытки Толстого выдать эту теорию за выражение подлинных взглядов и социальной практики народа. В этой связи сатирик разоблачает легенду о «глубокой религиозности» русского народа. В новых исторических условиях, по отношению к другому великому писателю, ставшему на путь проповеди «...одной из самых гнусных,— по словам Ленина,— вещей, какие только есть на свете, именно: религии» (т. 15, стр. 180), Салтыков как бы повторяет гневные слова Белинского, обращенные к Гоголю: «По-вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! ⟨...⟩ Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности» (Белинский, т. X, стр. 215).

В постскриптуме к письму от 9 февраля Салтыков полемизирует с теми своеобразными «доказательствами» в пользу «жизненности новой веры» Толстого, содержавшимися в ответе Скабичевского, о которых мы узнаем из следующих строк письма сатирика от 22 февраля 1885 г. к Н. К. Михайловскому:

«О Толстом вы тоже правильно пишете. Но Скабичевский всплакнул-таки в „Русских ведомостях". Я, признаться, написал ему по этому поводу, что Толстой не более,

как Кобеня, но он не совсем согласился со мной; помилуйте, говорит, ведь он советует самим выносить из урыльников! Хорошо, коли у кого урыльники есть, а вот у мужичков и этого нет. И рад бы выносить (в огород бы он снес), да приходится прямо на пусто поскудить. А между тем, и Толстой и Успенский только и бредят мужичком; вот, мол, кто истинную веру нашел!» (XX, 145).

* * *

Высоко ценя литературную деятельность Толстого, Салтыков, всегда сурово-непримиримый ко всякого рода проявлениям реакционной идеологии, не пощадил слабых сторон великого писателя, столь ярко сказавшихся в его «Исповеди». Он резко осудил вместе с тем начавшуюся либерально-народническую пропаганду толстовской теории непротивления злу насилием, так как отчетливо понимал, какой социальный яд таит в себе эта теория.

Салтыковская критика религиозно-нравственных воззрений Толстого исходила из революционно-демократической идеологии. Для своего времени это была наиболее передовая критика, но она была исторически ограничена как просветительским мировоззрением сатирика, так и тем, что учение Толстого — «толстовщина» — в ту пору, о которой идет речь, еще полностью не сложилось и не выявило все свое содержание.

Ленин писал, что «...правильная оценка Толстого 〈...〉 возможна только с точки зрения социал-демократического пролетариата» (Соч., изд. 4, т. 16, стр. 295—296). Эту оценку Ленин дал в своих знаменитых статьях о Толстом. Гениальная ленинская формула о Толстом, как «зеркале русской революции», разъяснившая конкретно-историческую основу творчества и взглядов великого писателя, вскрыла и подлинную социальную природу «исторического греха толстовщины».

Салтыков, критикуя теорию непротивления и нравственного самосовершенствования, думал, что Толстой «не только балуется, но и кобенится», то есть усматривал истоки учения Толстого в его индивидуальной социальной биографии, в его «барстве», отвлекаясь от широкого исторического развития. Ленин не менее резко писал о «помещике, юродствующем во Христе», но связывал слабые стороны идеологии Толстого с недостатками крестьянской революционности. «Историко-экономические условия,— писал Ленин,— объясняют и необходимость возникновения революционной борьбы масс и неподготовленность их к борьбе, толстовское непротивление злу, бывшее серьезнейшей причиной поражения первой революционной кампании» (Соч., изд. 4, т. 15, стр. 185).

1

〈Лебяжье. Середина августа 1879 г.〉

Многоуважаемый Александр Михайлович.

Григорий Захарович[1] пишет мне, что статья Янжула «Ливерпульское общество» будет большая и что он обещал печатать ее по мере присылки автора. Поэтому, ежели автор прислал еще что-нибудь, кроме того, что уже печатаем в августовской книжке, то благоволите сдать в типографию для сентябрьской книжки[2]. Еще пишет Г〈ригорий〉 З〈ахарович〉, что Трирогов прислал в редакцию окончание статьи «Община — тип», которую он тоже обещал поместить не позднее сентября. Поэтому, и эту статью благоволите сдать в типографию для сентября[3].

Я в понедельник не буду, а приеду в Петербург как только телеграфируют мне, что книжка послана в цензуру. Не приедете ли и вы тогда в Петербург повидаться со мной (лучше всего утром через 2 суток после отсылки книги). Не мешало бы переговорить[4].

Весь ваш

М. Салтыков

АВТОГРАФ ПИСЬМА М. Е. САЛТЫКОВА к А. М. СКАБИЧЕВСКОМУ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 1885 г.

Листы первый и последний

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Автограф. ИРЛИ, ф. 283 (Скабичевского), оп. 2, № 170, л 1.
Датируется по связи с письмом Салтыкова к Г. З. Елисееву от 17 августа 1879 г. (XIX, 127—128).

[1] *Григорий Захарович* — Елисеев.

[2] Полное название статьи профессора Московского университета, экономиста и статистика Ивана Ивановича Янжула — «Ливерпульское общество финансовых реформ». Печатание «статьи», представлявшей целое исследование, растянулось на четыре книжки «Отечественных записок» 1879 г. №№ 7—10.

[3] Статья саратовского статистика Владимира Григорьевича Трирогова «Община — тип и ее податные основания» была напечатана в «Отечественных записках» 1879, № 9.

[4] Салтыков жил в летние месяцы 1879 г. на своей даче «Лебяжье», под Ораниенбаумом, но регулярно по понедельникам приезжал в Петербург по делам редакции. Номер 8 «Отечественных записок» был послан в цензуру для получения разрешения на выпуск в свет 16 августа (вышел 19 августа). В этот же день состоялось свидание Салтыкова со Скабичевским.

2

〈Петербург.〉 7 февраля 〈1885 г.〉

Многоуважаемый Александр Михайлович.

Я с величайшим удовольствием прочитал сегодня в «Русских ведомостях» ваш этюд о гр. Толстом. Только мне кажется, для того чтоб быть совсем логичным, надо и игру в верования счесть баловством. Мне кажется, тот может назвать себя вполне хорошим человеком (хотя и не назовет, потому что ему это в голову не придет), кто живет честно и трудится как может. Все прочие, а в том числе и раскольники и взыскующие вечного града, в роде Сюсляева, гр. Толстого и проч., суть досужие люди, баловники и кобени (от глагола кобениться). Право, литературное ремесло, ежели оно согрето убеждением, не так гнусно, чтобы на него смотреть как на блевотину сатаны.

Искренно вам преданный
М. Салтыков

У меня сын скарлатиной болен, и я сижу секвестрованный.

Автограф. ИРЛИ, ф. 283, оп. 2, № 170, л. 3. Впервые опубликовано нами в журнале «Огонек», 1951, № 5.

3

〈Петербург.〉 9 февраля 〈1885 г.〉

Многоуважаемый Александр Михайлович.

Мне кажется, что, привлекая пример Слепцова и его коммуны, вы только запутываете вопрос самым неожиданным образом. Это дело было совершенно ребяческое, так что, по моему мнению, об нем лучше всего позабыть. Примеры опыта осуществления коммуны были гораздо серьезнее, но и они совсем не идут к делу. Что касается до отрицания искусства для искусства, какое было в начале 60-х годов, то оно явилось, действительно, во имя отрицания баловства, тогда как теория Толстого — самосовершенствование ради самосовершенствования — есть именно *продолжение* баловства.

Всего обиднее тут ссылка на народ; народ вовсе не думает о самосовершенствовании — об этом разговаривают Сюсляевы, Толстые, Успенские, Достоевские,—а просто верует. Верует в три вещи: в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство. Это и вера и в то же время *дело*, т. е. дело в форме, доступной народу. Если жизнь испытывает его, он «прибегает», просит заступничества и делает это в той форме, какая перешла к нему от предков, т. е. идет в церковь, взывает к Успленью-матушке, к Николе-батюшке и т. д. Но это не значит, что он верует в них

по существу, а верует он в собственные слезы и в собственные воздыхания, которые и восстанавливают в нем бодрость. Подобие сему и культурный человек. Вера его тоже не иная, а вера в труд, вера в творчество природы и в жизнь. Он может применять эту веру ошибочно, но никак не может смотреть на честные свои убеждения, на свой честный труд, как на блевотину.

По моему мнению, Толстой не только балуется, но, может быть, и кобенится.

А впрочем, извините. Вперед не буду.

Искренно вам преданный
М. Салтыков

Пожалуйста, не подумайте, что лавры Толстого не дают мне спать. Уверяю вас, что я на всякие вообще *лавры* плюю, или, лучше сказать, совсем об них не думаю. Об урыльниках тоже Толстой напрасно коснулся. *Свои* урыльники всякий вынесет без особенной гадливости, но я иду дальше: и чужие урыльники человек вынесет без гадливости, но не по чувству самосовершенствования, а потому что это *труд*. Нашел оселок для испытания нравственного совершенства! Фурье и в чистке нужников видел только предлог для особенной комбинации[1], а в его время и ватер-клозетов не было. Я же убежден, что со временем и урыльников не будет, так что этот способ доказательства нравственного преуспеяния устранится сам собою.

Сын мой был очень опасен, но теперь скарлатина уступает. Я пробуду в карантине до 3-го марта.

Автограф. ИРЛИ, ф. 283, оп. 2, № 170, лл. 5—6. Впервые опубликовано нами в журнале «Огонек», 1951, № 5.

[1] Салтыков имеет в виду тот способ, при помощи которого один из создателей утопического социализма предполагал в будущем идеальном человеческом общежитии — «фаланстере» — осуществить свою идею «привлекательного труда» (travail attrayant) по отношению к грязным, неприятным работам. Фурье полагал, что такие работы будут брать на себя добровольно «когорты самоотверженных».

4

⟨Петербург.⟩ 7 марта ⟨1885 г.⟩

Многоуважаемый Александр Михайлович.

Хотя у меня в квартире и разгром[1], но все-таки я где-нибудь живу, и потому всего лучше, ежели бы вы приехали ко мне в гостиницу Демут (Большая Конюшенная), где я живу в 56 № и пробуду до воскресенья утра.

Я не понимаю: каким образом Пыпин, давний и интимный сотрудник Стасюлевича, не может быть посредником между ним и вами, а могу быть этим посредником я, вчерашний сотрудник[2]. Я не отказываюсь от исполнения вашего желания, но хотел бы сговориться с вами, как бы это сделать, чтоб вам не повредить. Стасюлевич — это такой человек, который в своем журнале курсив упразднил, и я не мог его убедить, что необходимо восстановить этот шрифт[3]. Ведь есть же причины, по которым Пыпин боится вступать с ним в переговоры. Я — не боюсь, но вижу, как слова убеждения отскакивают от него.

Пожалуйста, зайдите и продиктуйте сами, что нужно писать. А у меня таких слов нет, которые могли бы действовать. Предупреждаю вас, что опасности видеть меня теперь нет никакой.

Весь ваш М. Салтыков

Автограф. ИРЛИ, ф. 283, оп. 2, № 170, л. 7.

[1] Из-за болезни сына.

[2] Салтыков стал печататься в журнале Стасюлевича «Вестник Европы» лишь с конца 1884 г. после правительственного закрытия «Отечественных записок».

[3] Посылая 21 февраля 1885 г. Стасюлевичу рукопись нового «Пестрого письма», Салтыков действительно просил, но безуспешно, приказать набирать подчеркнутое курсивом, а не разрядкой (XX, 144).

5

⟨Петербург.⟩ 10 марта ⟨1885 г.⟩

Многоуважаемый Александр Михайлович.

Вероятно, вы недовольны моим письмом, и потому не побывали у меня. Впрочем, дело уладилось само собою. Сегодня, по возвращении моем в квартиру (вполне дезинфектированную), ко мне приехал Стасюлевич, и я ему передал о вашем желании переговорить с ним насчет вашего участия в «Вестнике Европы». На это он мне сказал, что очень рад будет повидаться с вами и что вы могли видеться с ним и без моего посредничества, так как он очень хорошо вас помнит и знает.

Затем, вам, стало быть, остается съездить к Стасюлевичу. К сожалению, я не спросил, когда его удобнее застать, но Пыпин вам может сказать верно, когда бывают у них редакционные дни. Со своей стороны, мне очень любопытно будет знать о результате[1].

Весь ваш М. Салтыков

Автограф. ИРЛИ, ф. 283, оп. 2, № 170, л. 8.

[1] Скабичевский поместил в «Вестнике Европы» всего две статьи: «П. А. Плетнев» (1885, № 11) и «Песни о женской неволе в поэзии Ю. В. Жадовской» (1886, № 1). На этом его сотрудничество в журнале Стасюлевича прекратилось.

В. И. ЛИХАЧЕВУ

Либеральный общественный деятель Владимир Иванович *Лихачев* (1837—1906) был близким знакомым и душеприказчиком Салтыкова, что не мешало писателю резко критически относиться к некоторым сторонам его личности.

По свидетельству современников, политическое поведение Лихачева дало сатирику материал, обобщенный в образе «либерала» из одноименной щедринской «сказки».

Осенью 1885 г. в общественных кругах Петербурга и в столичной печати возникли толки о неэтичных поступках Лихачева, недавно занявшего пост петербургского городского головы. Лихачева, в частности, упрекали в связях с людьми, занимавшимися спекулятивно-биржевыми махинациями в Петербургском городском кредитном обществе. Салтыков был сильно огорчен этими толками и слухами. По свидетельству Е. А. Боткиной, он часто повторял в то время: «Как обманывал нас этот человек», «это удивительно, право» («Записки Отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», вып. 6. М., 1940, стр. 75). По предложению Елисеева, в узком кругу друзей Лихачева было решено организовать разбирательство его поступков. Обвинителем выступил Унковский. Салтыков был против этого суда, а в день, когда он происходил, — 15 декабря 1885 г., — испытал столь сильное нервное возбуждение, что пережил, по словам С. П. Боткина, «опасные и угрожающие минуты для жизни», отчего здоровье его резко ухудшилось.

В письме к Н. А. Белоголовому от 26 декабря 1885 г. В. П. Боткин, рассказывая почему разбирательство дела Лихачева было очень болезненно воспринято Салтыковым, писал: «Еще далеко до объяснения шли разговоры у Салтыкова о Ли-

хачеве, поведение которого возмущало Михаила Евграфовича и тем более, что он не чувствовал себя в силах разорвать старые дружеские отношения, складывавшиеся около 15 лет. «Я слаб и стар, — говорил он, — чтобы разрывать старые связи, и к чему же это объяснение, устроенное старым сплетником ⟨Елисеевым⟩; пусть лучше все дело пойдет на измор, а старого сплетника не принимать». Ему хотелось сохранить добрые отношения и с Лихачевым, и с Унковским, а объяснение грозило опасностью расстаться с тем или другим, тем более, что Лихачев раз заявил, что ему, Лихачеву, неудобно бывать там, где бывают его враги» («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». М., 1957, стр. 723).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РАССКАЗУ ЩЕДРИНА «ПОХОРОНЫ»
Акварель С. В. Герасимова, 1939 г.
Литературный музей, Москва

В публикуемой записке, относящейся к весне 1885 г., Салтыков заявляет о своем желании выписаться из Общества взаимного кредита. Можно предполагать, что это решение возникло в связи с первыми слухами, составившими предысторию изложенного «дела Лихачева».

⟨Петербург. 25 марта 1885 г.⟩

Многоуважаемый Владимир Иванович.

Я все-таки думаю выписаться из Общества взаимного кредита, ибо ничто не гарантирует и на будущее время от нелепостей. Как это сделать? Не будете ли вы так добры заехать завтра, проводивши Елену Осиповну? Мне всё как-то хуже.

Ваш М. Салтыков

25 марта

Автограф. ИРЛИ, ф. 366, оп. 3, № 70. — Сообщено В. Н. Баскаковым.

А. М. УНКОВСКОМУ

В узком кругу домашних друзей Салтыкова одним из самых близких к нему людей был Алексей Михайлович *Унковский* (1828—1893) — известный либеральный деятель периода реформ, с 1866 г. присяжный поверенный. Они познакомились еще юношами в начале 1840-х годов, в Царскосельском лицее, но близко сошлись уже в зрелом возрасте — в конце 1850-х — начале 1860-х годов. Позже дружеские отношения между ними перешли почти в родственные. Салтыков крестил сына Унковского, а Унковский — дочь Салтыкова. В 1876 г., в дни тяжелого заболевания, Салтыков назначил Унковского своим душеприказчиком и одним из опекунов своих детей. По словам Л. Ф. Пантелеева, именно к Унковскому обращался Салтыков «в самые трудные минуты, когда его душевное состояние почему-нибудь доходило до крайнего напряжения» (Л. Ф. Пантелеев. Из воспоминаний прошлого. М.—Л., 1934, стр. 525).

С 1868 г. и Салтыков, и Унковский постоянно жили в Петербурге, притом в близком соседстве друг с другом. Их личные встречи были очень часты, что почти исключало необходимость в переписке. Зато когда они разлучались, во время поездок Салтыкова за границу с лечебными целями или на лето в деревню, между ними возникало весьма интенсивное эпистолярное общение.

Судьба этой переписки оказалась печальной. Вдова Салтыкова Елизавета Аполлоновна и вдова Унковского Анастасия Михайловна «обменялись письмами своих мужей и взаимно предали их сожжению» («Лит. наследство», т. 13-14, 1934, стр. 584). Сын А. М. Унковского Михаил Алексеевич в 1934 г. смог сообщить об этих письмах редакции «Литературного наследства» следующее:

«Лет тридцать назад в моем распоряжении было около тридцати писем М. Е. Салтыкова к моему отцу Алексею Михайловичу Унковскому. Письма, в значительной своей части написанные из-за границы, были посвящены главным образом вопросам имущественным, но вместе с тем они содержали в немалом количестве и мысли Салтыкова по разным вопросам современной ему литературы и общественности. Эти письма брал у меня покойный журналист Владимир Богданович ⟨!⟩ Кранихфельд. Вскоре по возвращении им писем обратно их взяла у меня моя мачеха Анастасия Михайловна Унковская и обратно мне не вернула. Как потом выяснилось, она уступила просьбе вдовы М. Е. Салтыкова Елизаветы Аполлоновны отдать ей все письма» (там же).

В бумагах В. П. Кранихфельда, хранящихся в Пушкинском доме, мы нашли краткие пометки и аннотации, относящиеся даже не к тридцати, а к сорока одному письму Салтыкова. К сожалению, содержание нескольких писем вовсе не обозначено, имеющиеся же аннотации крайне лапидарны. Объясняется это, по-видимому, тем, что Кранихфельду было разрешено «воспользоваться некоторыми материалами писем только для пояснительных примечаний», но он был лишен права снять копии с этих писем (ИРЛИ, ф. 528, ед. хр. 45в). Впрочем, с одного из писем, относящегося к осени 1885 г., Кранихфельд копию снял. Это письмо публикуется ниже вместе еще с одним письмом, от 16 июля 1875 г., найденным и подготовленным к печати В. Н. Баскаковым (письмо от 16 июля по копии, снятой В. И. Танеевым, впервые частично опубликовано нами в сб. «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». М., 1957, стр. 575).

В приложении мы приводим все сохранившиеся в архиве Кранихфельда пометки и аннотации к сожженным письмам Салтыкова к Унковскому. Новые материалы вместе с ранее опубликованными тремя письмами Салтыкова к Унковскому (XVIII, №№ 177, 334 и 344)— это, по-видимому, все, что уцелело из их переписки.

1

Баден-Баден. ⟨4⟩ 16 июля ⟨1875 г.⟩

Многоуважаемый Алексей Михайлович. Вы увезли две пары чужих носков, и теперь владелец этих носков, сердитый немец, и рвет, и мечет: непременно подай ему эти самые носки, которые связала ему дочь к дню

именин. Не знаю, как вы поступите в этом случае, но я советовал бы: плюнуть.

Фаворитствовала ли погода вашим художественным экскурсиям?[1] Что касается до нас, то с самого вашего отъезда здесь льет дождь. И конца оному не предвидится. Поездка моя в Зальцбург делается проблематическою, во-первых, потому что бар. Розен ничего не пишет, а во-вторых, по причине погоды[2]. Во всяком случае, жена будет писать ко мне, по адресу что в Бад⟨ен⟩-Бад⟨ене⟩ откуда ко мне перешлют.

С вашим отъездом я с успехом предаюсь молчанию. Скука такая подавляющая, что работа на ум нейдет. Не знаю, что будет вперед, но боюсь, что я совсем здесь потеряюсь. Все эти Белоголовые суть собственно пустоголовые[3], ибо они не понимают, что человеку в 50 лет трудно менять свои привычки. То, что дает хорошего климат, будет уничтожено раздражением, производимым гостиницами и бездомовничеством.

Прощайте, любезный друг; кланяйтесь Сухоручкину, а когда приедете в Митрюково[4], то напомните обо мне и о жене Настасье Михайловне. В заключение пожалейте искренно вам преданного

М. Салтыкова

Автограф. ИРЛИ, ф. Р. III, оп. 1, ед. хр. 1872.

[1] Унковский, приезжавший в Баден-Баден, специально для того, чтобы навестить больного Салтыкова, отправился оттуда в конце июня 1875 г. (ст. ст.) «показывать Сухоручкину Швейцарию» (XVIII, 293). О Сухоручкине см. выше, в предисловии к публикации письма Салтыкова к А. И. Урусову.

[2] Поездка в Зальцбург (Австрия) не состоялась. Предлагал это путешествие специально приезжавший для того к Салтыкову в Баден-Баден барон Г. О. Розен, о котором см. выше, в предисловии к публикации письма к Ф. А. Вонлярскому.

[3] Ближайшее же будущее зачеркнуло этот резкий отзыв, продиктованный раздражительностью больного человека и недостаточным знакомством Салтыкова с Белоголовым. Вскоре они стали близкими друзьями.

[4] Сельцо Дмитрюково, на границе Тверского и Старицкого уездов,— имение Унковского. Салтыков не раз бывал там.

2

⟨Петербург. Сентябрь — ноябрь 1885 г.⟩[1]

Недели полторы тому назад был у меня сенатор Шульц[2] и, увидев проявления моей болезни, бежал. Сегодня приезжала ко мне жена его (она только что приехала в Петербург) и без церемонии заявила, что мне следует не лечиться, а приобщиться св. тайн. Так как я ничего не ответил ей на это предложение, то она, посидев, побежала к жене, и сказала ей, что я равнодушно отнесся к ее совету, а жена ей в ответ, что я, напротив, очень благочестив и слежу за детьми. Теперь, того гляди, она побежит к Победоносцеву, и мне пришлют попа. Сделайте милость, посоветуйте, что теперь делать. Ведь хорошо, если только попа пришлют, а вдруг как прямо со св. дарами.

Ваш М. Салтыков

Мне совсем скверно, насилу перо держу.

Список рукою В. П. Кранихфельда. ИРЛИ, ф. 528, ед. хр. 44а, л. 47.

[1] Письмо датировано в копии Кранихфельда только годом — 1885. Вероятно оно относится к периоду резкого обострения болезни Салтыкова — в сентябре — ноябре. Эпизод, о котором сообщается в письме, до сих пор не был известен. Жена сенатора Шульца, очевидно, была лично знакома с Победоносцевым.

Когда и при каких обстоятельствах Салтыков познакомился с Александром Францевичем фон Шульцем, бывшем управляющим III Отделением (с 7 декабря 1871 по 6 ноября 1878), впоследствии сенатором — сведений нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

ПИСЬМА М. Е. и Е. А. САЛТЫКОВЫХ к А. Ф. КАБЛУКОВУ

ОБЗОР

В декабре 1861 г., взяв у матери взаймы двадцать три тысячи рублей серебром, Салтыков купил (на имя жены) небольшое подмосковное имение Витенево — на реке Уче, недалеко от станции Пушкино Ярославской железной дороги. По словам А. М. Унковского, покупка была сделана с целью заняться хозяйством («Русские ведомости», 1894, № 115, от 28 апреля; ср. сб. «Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». М., 1957, стр. 651). Действительно, поначалу Салтыков энергично принялся было за хозяйство. Он верил в ту пору, что вольнонаемный труд и новейшие способы обработки земли обеспечат ему успех и дадут средства, необходимые, в частности, для того, чтобы оставить службу и посвятить себя задуманному вместе с А. М. Унковским «своему журналу» — «Русская правда». Инициатива издания — оно должно было выходить в Москве — принадлежала Салтыкову, искавшему собственную позицию и собственную журнальную трибуну в общественно-политической и литературной борьбе этого сложного и бурного времени.

Но среди причин, побуждавших Салтыкова заняться сельским хозяйством, войти в непосредственное соприкосновение с миром деревни, с крестьянским бытом, была, нужно думать, еще одна — непосредственно связанная с его тогдашним политическим мировоззрением. В своих публицистических выступлениях по крестьянскому вопросу, относящихся как раз к 1861 г., когда было принято решение о покупке имения, Салтыков сформулировал свой взгляд на необходимость всеми способами добиваться сближения дворян-помещиков с народом, тесного общения между ними. В статье «Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу» Салтыков писал: «...в настоящее время все усилия должны быть направлены к тому, чтобы предпринятая правительством реформа прошла спокойно, без потрясений, и чтобы плодом ее было сближение двух заинтересованных в деле сословий, а не разъединение их» («Моск. вед.», 1861, № 128, от 11 июня; ср. V, 101). Разработке конкретных форм «сближения» Салтыков посвятил специальную статью с программным заглавием «Где истинные интересы дворянства?» («Совр. летопись», 1861, № 42, октябрь; ср. V, 115—118). «Необходимо сближение деятельное, сближение действительное», — призывал Салтыков и вслед за «тверскими либералами», выдвинувшими идею так называемой «всесословной волости», утверждал: «Средство к такому сближению одно. Оно представляется в том, чтобы помещик стал сам членом того сельского общества и той волости, в районе которых находится его поместье» (V, 116). При этом, однако, Салтыков шел дальше «тверских либералов»: по его проекту, помещик наравне с крестьянами и соразмерно количеству своей земли должен был принимать участие в платеже всех податей и в исполнении всех земских повинностей.

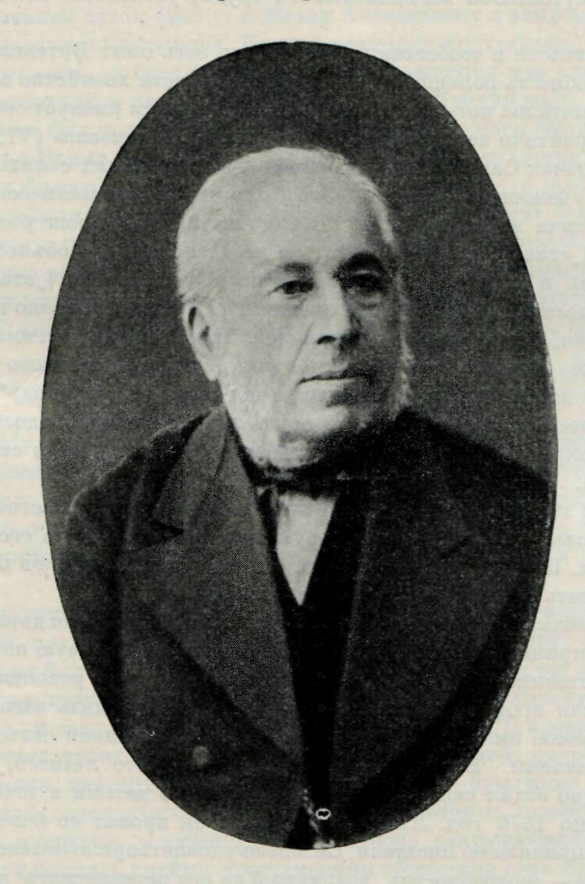
Свою жизненную практику Салтыков всегда связывал с идейными исканиями. Так и решение о покупке Витенева, намерение «войти в сельское дело», вряд ли возникло вне всякой связи с горячо защищавшейся Салтыковым в то время программой «сближения с народом». Занятия сельским хозяйством в собственной (но не родовой) усадьбе, вероятно, казались ему необходимыми для осуществления своей программы.

Жизнь — в первую очередь глубокие сдвиги в общественных взглядах Салтыкова, быстрое продвижение к политически левым позициям, а также некоторые внешние обстоятельства — все это радикально изменило его замыслы и проекты 1861—1862 гг.

Прежде всего рухнула надежда на «свой журнал». Издание не было разрешено властями. Но и независимо от этого запрещения — попытка Салтыкова организовать в блоке с либералами просветительскую группу крупного общенационального масштаба была обречена на неудачу. Уже весной 1862 г. явственно определился перелом в политическом состоянии русского общества. Перелом этот знаменовался отходом либеральной оппозиции от сотрудничества с революционерами, резким обострением взаимной

враждебности между демократами и либералами. Провозглашенная Салтыковым цель «Русской правды» — добиваться «сближения» между «разными оттенками партий прогресса» ради «единства действия», становилась политически беспредметной и практически неосуществимой.

В обстановке обострявшейся классово-идеологической борьбы быстро развеялась и другая либеральная иллюзия Салтыкова — надежда на возможность «сближения» помещика и крестьянина после реформы. В художественное и публицистическое творчество Салтыкова властно входит прямо противоположная тема — тема классового



А. Ф. КАБЛУКОВ

Фотография, 1870-е гг.

Частное собрание, Москва

антагонизма барина и мужика. Лозунг же «сближения сословий», напротив того, становится предметом полного отрицания и ядовитых насмешек. Примечательно, что одну из наиболее ранних сатирических атак против идеологов «сближения» мы находим в фельетоне «В деревне», написанном в 1863 г. на материале впечатлений, полученных Салтыковым в Витеневе летом 1862 г. Мысль о неспособности дворян заниматься, в новых пореформенных условиях, «деревенским делом» заострена в этом фельетоне рядом язвительных рассуждений. «...Если помещики русские захотят послушаться моего совета,— иронизирует Салтыков,— то оставят всякие заботы о недоступном для них сельском хозяйстве и примутся за собирание грибов». Если же нет грибов, «если воздух сух и душен, что остается делать в деревне землевладельцу? Ему представляется отличный случай наблюдать за нравами простолюдинов, приобщаться к их играм и забавам и вообще затеять в обширных размерах игру в сближение сословий» (VI,

434—435, 437). После описания этой «игры» и ее негативных результатов следует заключительная сентенция: «Отсюда правило: не затевай игру в сближение сословий, ибо такая попытка поведет лишь к бесплодной трате времени, конфузу и позднему раскаянию» (VI, 437).

Полный крах потерпели и чисто коммерческие планы Салтыкова, связанные с Витеневым. В том же фельетоне 1863 г. «В деревне» и в тематически продолжающей его «февральской» (за 1864 г.) хронике из цикла «Наша общественная жизнь» Салтыков зло высмеивает «утопистов вольнонаемного труда, утопистов плодопеременных хозяйств» (VI, 291).

Используя отчасти и «собственный опыт», то есть опыт Витенева, Салтыков констатирует неспособность большей части помещиков вести хозяйство в новых условиях: «Доходов нет, капиталов нет» (т а м ж е). И с основанием именует себя так: «сельский хозяин, сам на практике испытавший всю горечь этого ремесла» (VI, 91). Об этой «горечи» и этих неудачах Салтыков не раз писал и в позднейших своих произведениях — полнее всего в «Убежище Монрепо». «Это было что-то фантастическое,— вспоминает Салтыков.— Неудача во всем. Хлеб, по виду казалось, хорош родился, а в амбар его дошло мало („стало быть, при молотьбе не доглядели",— объясняли мне „умные" мужички); клевер и тимофеевка выскочили по полю махрами („стало быть, неровно́ сеяли: вот здесь посеяли, а вот здесь пролешили"). Два года, однако ж, я упорствовал, то есть сеял и жал, но на третий — смирился. Или, говоря другими словами, начал смотреть на свое имение, как на дачу для двух-трехмесячного летнего пребывания. Нарушил все хозяйственные затеи, а так называемую „угоду", за исключением усадьбы, сдал крестьянам за такую годовую плату, которой недоставало даже для удовлетворения скромных издержек по управлению и сторо́же, и сам удрал в Петербург» (XIII, 34).

Осенью 1862 г. Салтыков действительно переселился на постоянное жительство в Петербург. Однако произошло это, разумеется, не потому, что его постигли хозяйственные неудачи. Причина, как известно, была другая. Салтыков принял предложение Некрасова стать членом редакции «Современника».

Это событие знаменовало новый и важнейший этап в идейном движении Салтыкова. Вместе с тем оно принципиально меняло и его социально-бытовую позицию. Уход в отставку с государственной службы, самоопределение в лагере революционной демократии и писательская профессионализация не могли не изменить взгляда Салтыкова и на свое подмосковное имение. Связанные с его приобретением сельскохозяйственные планы были оставлены. Витенево превратилось в место летнего, дачного отдыха. Салтыков ежегодно ездил сюда с женой, а потом и с детьми в течение четырнадцати лет — с 1862 по 1876 год. Лишь лето 1875 г. он провел по болезни за границей. По собственному признанию писателя, Витенево удовлетворяло его «потребности в своем собственном угле» — «потребности», возникшей из его деревенского детства. «„Сонные видения" детства, отрочества и юности,— писал Салтыков в «Убежище Монрепо», — несмотря на свою призрачность, оставили по себе и нечто такое, что́ залегло во мне довольно прочно. А именно: они положили основание убеждению, что всякий человек имеет как бы естественную потребность в своем собственном угле» (XIII, 34).

Салтыков относил себя к числу людей, для которых деревня «составляет необходимость (хотя бы ради связи с прошлым или ради приобретения ясного представления о рваном русском мужике)» (XIII, 39).

Однако взгляд на Витенево как на «дачу» и на «собственный угол», существенно упростив хозяйственные заботы Салтыкова, все же не мог устранить их целиком. Подмосковное имение Салтыкова «при селе Витенево и деревнях Юрьевой и Сафоновой» состояло из 680 десятин земли «с находящимися на той земле лесами, водами и всякого рода угодьями», а также «господским домом, водяною мельницею, бумажною фабрикою, состоящею не на посессионном, а на владельческом праве, и со всеми другими хозяйственными строениями и заведениями» (из описания Витенева, дважды публиковавшегося в «Сенатских объявлениях о запрещениях на имения» — 1862, № 18 и 1863, № 20). Это было немалое хозяйство, которым нужно было заниматься, хотя бы и для того только, чтобы ездить в свой деревенский «угол», как на дачу.

Проводя в усадьбе два-три летних месяца и лишь изредка на несколько дней заезжая туда зимой, не имея возможности наблюдать за имением, Салтыков поручал это разным доверенным людям.

С 1867 г. и до весны 1877 г., когда Салтыков продал Витенево, таким доверенным лицом, практически управляющим имением, был Алексей Федорович *Каблуков* (1814—1882) — отец выдающегося ученого, физико-химика, почетного члена Академии наук СССР Ивана Алексеевича Каблукова (1857—1942).

Исходя из уверенности, что между Салтыковым и его управляющим шла деловая переписка, я обратился летом 1940 г. к Ивану Алексеевичу с вопросом о судьбе обращенных к его отцу писем Салтыкова. Иван Алексеевич подтвердил, что письма были, но затруднился ответить, сохранились ли они, и предложил мне самому поискать их в бумагах, хранившихся в старом витеневском доме Каблуковых (дом этот, существующий и поныне, был построен еще при Салтыкове). Бумаги были перевезены в московскую квартиру Ивана Алексеевича, в Тимирязевской академии, и здесь при первом же разборе их была обнаружена связка писем Салтыкова и его жены к Алексею Федоровичу. Всего было найдено сто тридцать пять писем, из них семьдесят шесть Михаила Евграфовича и пятьдесят девять — Елизаветы Аполлоновны. Вместе с письмами хранилась пачка разного рода документов, относящихся к управлению витеневской усадьбой. Все эти материалы были тогда же переданы в Литературный музей. Ныне они хранятся в Литературном архиве в Москве (ЦГАЛИ, ф. 445, оп. 1, ед. хр. 125).

* * *

Письма к Каблукову и самого Салтыкова, и его жены почти всецело погружены в мелочи хозяйственного быта. Это деловые письма в прямом смысле слова. Они дают реальную картину хозяйствования Салтыкова в Витеневе. Представления об этой сфере жизненного опыта писателя до сих пор строились лишь на основании разрозненных автобиографических упоминаний в его художественных и публицистических произведениях.

Письма к Каблукову, общая характеристика которых дается ниже, прежде всего подтверждают, что настоящего помещичьего хозяйства в Витеневе с середины шестидесятых годов уже не было. Здесь не пахали, не сеяли, не жали «от помещика». Почти вся земля, включая лесные угодья и торфяные болота, отдавалась внаймы. Одни лишь покосы убирались, и сено отвозилось на продажу в Москву. В аренду сдавались и все остальные источники дохода — водяная мельница с плотиной, имевшая три снасти — для мучного размола, для круподерки и для маслобойни; бумажная фабрика, вскоре, впрочем, проданная, отдельные строения, в одном из которых съемщики устроили постоялый двор, а в другом — питейный дом (дважды закрывавшийся по требованию Салтыкова). Земли брались внаймы крестьянским обществом села Витенево и деревень Юрьево и Сафоново. Арендаторами других угодий, а также хозяйственных предприятий и строений выступали местные и московские толстосумы — купец Горностаев, мещанин Корочкин, крестьянин по фамилии или по прозвищу Кузнец, немецкий предприниматель-винокур Нейфельд и другие. Все это были, судя по письмам Салтыкова, люди-хищники, типичные представители низовой российской буржуазии. Салтыков пытался противостоять напору их наглости, их стремлению «урвать лишнюю копейку», он разоблачал их недобросовестность и прямые обманы, подавал на них в суд (все эти сюжеты занимают большое место в обозреваемой переписке),— но тщетно. Говоря словами самого сатирика из «Истории одного города», он в этой борьбе «не столько сражался, сколько был сражаем».

Нет сомнения, что, мастерски изображая рождение из среды крестьянства Колупаевых и Разуваевых, с глубокими знаниями жизненного материала обрисовывая этот процесс, Салтыков опирался и на впечатления от своих витеневских арендаторов, причинивших ему немало вреда.

Письма к Каблукову документально устанавливают, что Витенево не только не приносило Салтыкову никакого дохода, но и было всегда убыточно. Поэтому Салтыков стремился освободиться от имения, ставшего тяжелой обузой, — хотя ему очень

нравилось живописное месторасположение усадьбы и он хотел бы сохранить ее, а не «таскать» детей «по заграницам» (XIX, 99).

Различного рода проекты, деловые планы, соображения и просьбы, относящиеся к попыткам полной или частичной ликвидации имения или хотя бы сдачи усадьбы или отдельных ее частей в аренду, постоянно возникают в обозреваемых письмах Салтыкова — на протяжении всего десятилетия переписки с Каблуковым. Вот несколько цитат из писем разных лет: «...если бы сыскался кто-нибудь желающий нанять на лето дом, то охотно бы мы уступили его ⟨...⟩ Нельзя ли продать скотный двор? ⟨...⟩ как поживает за рекой дом, выстроенный Нейфельдом. Нельзя ли и его продать?» (20 марта 1867 г.) *; «Будьте добры, постарайтесь склонить витеневских и юрьевских крестьян к покупке земли» (18 октября 1874 г.); «Если г-жа Панина даст 26 тысяч, то продавайте Витенево» (30 января 1875 г.); «Нам очень нужны деньги, поэтому постарайтесь продать ⟨Витенево⟩» (10 февраля 1875 г.); «Если найдется серьезный покупщик на Витенево, а также если вам удастся продать полосы земли за Юрьевским и Витеневским наделами, то сообщите об этом Унковскому, которому дана на это полная доверенность. Очень прошу вас постараться о продаже этих полос» (6 апреля 1875 г.); «Не думайте, чтобы я винил вас в чем-нибудь: знаю, что вы мой интерес соблюдаете, но вообще мне не следует иметь недвижимость, не умею ничего делать. Выгоднее за ничто продать Витенево» (13 августа 1875 г.); «В большую мне тягость Витенево, так что если бы вы его за 25 тысяч продали, я уступил бы вам 5%» (начало 1877 г.); «Мне, признаюсь, и жалко Витенева, да не к рукам мне оно» (9 февраля 1877 г.) и т. д. Наконец, желание Салтыкова исполнилось. Письмом от 6 апреля 1877 г. он известил Каблукова: «Я продал Витенево за 21 500 р. Калабину и все расходы за его счет. Мне это очень грустно, но делать нечего; во-первых, оно ничего не приносило, а, во-вторых, угрожало такими расходами в будущем».

Однако «потребность в своем собственном угле» была столь сильна, что, невзирая на горький опыт Витенева, Салтыков, едва успев продать его, тотчас же, в том же апреле 1877 г., купил новое имение — Лебяжье, на берегу Финского залива под Ораниенбаумом.

Жизнь и хозяйствование в Лебяжьем — в летние месяцы 1877, 1878 и 1879 гг.— где вследствие ряда обстоятельств натиск новой сельской буржуазии, поддерживаемой властью, был еще сильнее, чем в подмосковье, дали Салтыкову много наблюдений, обобщенных в художественных образах «Убежища Монрепо». До сих пор биографическая литература о Салтыкове не располагала никакими справками, позволяющими судить о том, что же представляло из себя Лебяжье. Не лишне поэтому привести здесь описание имения, сделанное Елиз. Аполл. в письме к Каблукову от 20 мая 1877 г. из Петербурга: «...мы в эту середу уезжаем в наше новое имение Лебяжье. Там тоже нам досталась отличная коляска. Вообще барыня, которой принадлежало Лебяжье, была ужасно богата, и муж на нее ужасно много тратил денег. Например, там два попугая, за одного из них заплочено шестьсот руб. Мебель отличная на семнадцать комнат с коврами и с такими прелестными дорогими зеркалами, что мы их в город перевезли. Спальная мебель роскошная. Там в доме амосовские печки, и вода проведена и в дом, и в прачешную. Парк с утрамбованными дорожками, с оранжереей и с парниками. Мельница на речке и Финский залив близ дома, к нему ведет аллея березовая. Ужасно много разных служб, два каретных сарая, скотный двор, четыре коровы, четыре лошади, пропасть кур, индеек, пчел и свиней. Не знаю, что мы со всем этим будем делать. И лес есть, земли всего 163 десятины, и заплатили мы за все это очень дешево, $13^1/_2$ тысяч».

Елизавета Аполлоновна с ее вечной заботой об «ужасно богатой», праздничной стороне жизни могла быть довольна Лебяжьим. Это был ее выбор. Что касается самого Салтыкова, то вот что писал он в 1879 г. в Витенево своему бывшему управляющему:

«Письмо ваше до крайности обрадовало меня. Радуюсь вместе с вами вашим урожаям ⟨...⟩ Дай бог, чтоб хоть вам Витенево на пользу пришлось ⟨...⟩ А я со своим

---

* Подлинники датированы месяцем и числом; годы определены нами.— *С. М.*

новым имением точно так же бедствую, как и прежде. И в год не меньше 1500 р. на него трачу. Видно мне не на деревне, а на том свете хозяйничать».

Возвращаясь к хозяйствованию Салтыкова в подмосковной, нужно сказать, что, судя по его письмам к Каблукову, оно вовсе не было таким беспомощным, как это представлялось самому владельцу Витенева.

С присущей ему деловитостью и практическим смыслом, Салтыков по-хозяйски наблюдает за своим поместьем. Он знает о всех его нуждах и потребностях, помнит о всех своих распоряжениях и просьбах и не устает, когда надо, вновь и вновь возвращаться к ним, добиваясь исполнения. Его письма — это подробные инструкции, приказания, наставления и советы. Речь в них идет почти исключительно о сдаче в наем

ДОМ (ТЕПЕРЬ НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ) В СЕЛЕ СПАС-УГОЛ КАЛЯЗИНСКОГО УЕЗДА, ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ И ПРОВЕЛ ДЕТСКИЕ ГОДЫ САЛТЫКОВ

Фотография, 1900-е гг.

Крыльцо (справа) позднейшей пристройки. То же слева.

До сих пор домом, где родился писатель, ошибочно считалось другое здание, изображения которого и воспроизводились в изданиях, посвященных Салтыкову-Щедрину

Исторический музей, г. Дмитров

земли и о рубке леса, о крестьянах и работниках, о мельнице и плотине, о подсадке деревьев и продаже сена, о помоле, торфе, дровяных и грунтовых сараях, погребах, парке, огороде, парниках, о лошадях и экипажах, коровах и домашней птице, об арендных и страховых платежах, доверенностях, расписках. Даже находясь на излечении за границей, Салтыков то и дело шлет в Витенево запросы и распоряжения, часто самого детального характера: «Напишите, довольны ли вы мельником и как идет помол?» (из Парижа, 16 октября 1875 г.); «Будьте так добры посмотрите экипаж: не нужно ли поправить?» (из Ниццы, 13 ноября 1875 г.); «Корову и даже две купить необходимо ⟨...⟩ При недостатке корма в марте, коровы бывают дешевы» (из Ниццы, 7 февраля 1876 г.); «На балконе не дурно бы внутри комнат ставни сделать, а также и на крыльце» (из Ниццы, 31 марта 1876 г.); «Необходимо пересадить клубнику, а кусты крыжовника и смородины окопать» (из Баден-Бадена, 9/21 мая 1876 г.) и т. д. и т. п.

Одним словом, недостатка внимания и заботы по отношению к Витеневу отнюдь не было. И если все-таки оно, как и сменившее его Лебяжье, приносило Салтыкову одни убытки, то объяснялось это совсем другими причинами. Одна из этих причин за-

ключалась в объективной экономической невозможности поддерживать и развивать достаточно обширное хозяйство имения и одновременно рассматривать его всего лишь в качестве пристанища для летнего отдыха, в качестве дачи. Но даже и при таком упрощенном хозяйствовании Салтыков, в обстановке напряженной классовой борьбы в послереформенной деревне, с одной стороны, не был в состоянии противостоять экономическому натиску деревенской буржуазии, а с другой стороны, не мог, не впадая в противоречие со своими демократическими взглядами, эффективно защищать свои интересы в неизбежных имущественных спорах с крестьянами. А что такие споры были, и что они достигали по временам большой остроты, свидетельствует сам Салтыков. Так, например, в письме от 5—8 марта 1875 г. он пишет Каблукову: «...никогда дела не были так скверны, как теперь, ибо ко всему прочему присоединилась еще война с крестьянами».

О конкретных поводах к «войне» дает представление следующее заявление Салтыкова в письме от 5 ноября 1869 г.: «Я с величайшим огорчением вижу из вашего письма, что крестьяне с крайней медленностью уплачивают арендные деньги. Я прошу вас, в виду моих собственных нужд по имению, принять решительные меры, чтобы аренда уплачивалась в те именно сроки, которые назначены по условию. Вместе с тем объявите старосте, что я, буде это не будет исполнено, независимо от принятия мер ко взысканию денег, не только на будущий год не отдам им ни клока земли, но еще перерою площадь канавой и такую же канаву вырою сзади церковных домов, так что прекращу им совершенно доступ на церковную землю. Я достаточно уже поблажал — пора что-нибудь и делать, в виду тех безобразий, которые допускают крестьяне относительно меня».

Следует, однако, тут же заметить, что заявлений такого характера и тона в переписке Салтыкова со своим управляющим найдется немного; кроме того, при оценке их всегда необходимо помнить о бурной, ничем не сдерживаемой раздражительности, с которой он встречал любые неприятные для себя известия. Крайняя экспансивность и прямолинейность заставляли его высказывать порою такие суждения, о которых он потом сожалел и которые не выражали его подлинных взглядов и намерений.

Для характеристики отношений Салтыкова к витеневским крестьянам интересен рассказ Н. А. Каблукова (см. о нем ниже) — сына управляющего — в его письме в редакцию журнала «Русское богатство» (1909, № 1).

«Когда М. Е. Салтыков приехал в свое „Монрепо“,— вспоминал Н. А. Каблуков,— то к нему явились крестьяне, бывшие крепостными лица, у которого М. Е. Салтыков купил землю, и сообщили, что по их соображениям им фактически наделено земли на 12 десятин менее против того, что они должны получить по выкупному акту. М. Е. Салтыков отнесся к этому заявлению очень внимательно, проверил его на свой счет, и заявление крестьян оказалось верным. При этом выяснилось, что если отрезать недостающие 12 десятин к тому месту надела, где именно и произведено неверное отмежевание, то это создаст чрезвычайно неблагоприятное расположение крестьянского надела и что исправить это можно „округлением“ надела, т. е. соответствующим проведением границ, но тогда придется от купленной М. Е. Салтыковым земли отвести крестьянам не 12, а 17 десятин. М. Е. Салтыков не постоял за этим. Он безвозмездно отрезал крестьянам из своей земли 17 десятин, хотя по плану, соответственно с которым им делалась покупка имения, все эти 17 десятин значились у него, т. е. иначе говоря, вошли в счет тех, за которые он заплатил деньги продавцу имения. Взыскать с продавца излишнюю переплату нельзя было, так как продавец был уже неизвестно где, да М. Е. Салтыков и не думал искать его.

Кстати сообщу и еще один факт. Через несколько лет по приобретении этого имения М. Е. Салтыков предлагал тем же крестьянам купить всем обществом прилегающие к их наделу 100 дес. из этого имения, причем ставил условия очень льготные, а именно за все 100 дес. 2500 р. с рассрочкою уплаты на 10 лет и с уплатой на недоплаченную еще сумму 6% годовых. Крестьяне совсем было согласились, но потом, чуть ли не накануне заключения купчей, отказались. Их разбили местные кулаки, предполагавшие, что им самим удастся купить эту землю, но М. Е. Салтыков

категорически отказался даже вступать в какие-либо переговоры по этому поводу с отдельными лицами из крестьян...»

Содержание писем Салтыкова к Каблукову имеет не только узкобиографическое значение; оно интересно и тем, что позволяет заглянуть в первоисточники превосходных знаний деревенского — крестьянского и помещичьего — экономического быта пореформенного времени, знаний, которые послужили материалом для художественной и публицистической разработки в ряде салтыковских произведений шестидесятых-семидесятых годов. Особенно наглядно это показывает сравнительный анализ писем с уже упоминавшимися выше «апрельской» (1863) и «февральской» (1864) хрониками из цикла «Наша общественная жизнь» и очерком «В деревне» (VI, 84—100, 265–294, 429—450). Подробности повседневного существования крестьянина-землепашца, его хозяйственные обычаи, условия его труда, подтвержденные цифрами экономических выкладок и исчислений, то есть реальная основа неподкрашенных салтыковских изображений жизни русского мужика — все это непосредственно восходит к витеневскому опыту писателя. Он сам указывал на это в своих оговорках и пояснениях: «Подмосковные крестьяне (речь идет о них)...» (VI, 278); «Возьму местность в 30 верстах от Москвы» (VI, 279); «...опять-таки говорю о подмосковной местности» и т. д.

В письмах рассеяно немало упоминаний, характеризующих внешнюю сторону витеневской жизни Салтыкова и его семьи.

Мы узнаем, что «господский дом» в усадьбе был одноэтажный, деревянный, на каменном фундаменте (лишь фундамент, точнее остатки его и сохранились до нашего времени). В доме было двенадцать комнат и большой балкон — по фасаду, обращенному к речке, протекавшей под самыми окнами. Сзади дома был сад, а к нему примыкал парк. Недалеко, рядом с мельничной запрудой, находилась березовая роща — «Похоронная». Зелень в усадьбе составляла предмет особых забот Салтыкова. Почти в каждом письме мы читаем: «Попросил бы сделать в саду и в парке подсадку липок и березок» (9 сентября 1868 г.); «Хорошо было бы если б всю плотину, а также берег реки против церкви засадить ветлами» (17 сентября 1870 г.); «Я говорил Дмитрию, чтобы он и по реке против дома насажал. Желательно, чтоб это было выполнено» (сентябрь 1872 г.); «Ежели по аллеям от дома прямо и от дома к риге липы и березки высохли, то подсадите, ради бога. Хочется, чтобы хоть сад был» (13 августа 1875 г.) и т. д. и т. п.

Из писем к Каблукову мы узнаем, что в зале витеневского дома находился рояль (Елизавета Аполлоновна неплохо играла), а в кабинете Салтыкова — библиотека. Упоминания о салтыковской библиотеке в письмах к Каблукову первые и пока единственные в биографических источниках. К сожалению все шесть упоминаний носят общий характер и не дают возможности судить ни об объеме, ни о составе витеневской библиотеки. Известно лишь, что когда имение было продано, Салтыков послал в Витенево специального человека, чтобы уложить книги в ящики, для отправки их в Петербург (6 апреля 1877 г.). Известно также, что среди этих книг находились «17 томов или более Трудов редакционных комиссий» (14 апреля 1877 г.). Судьба всех этих книг неизвестна.

Хозяйство в Витеневе было небольшое, малочисленно было и постоянное население усадьбы. «Я несколько опасаюсь жить в Витеневе,— писал Салтыков из Ниццы, готовясь к возвращению на родину,— народа мало, всё ветхо» (31 марта 1876 г.). Но все же в летние месяцы, когда приезжали Салтыковы, люди в усадьбе были. Были приказчик, садовник, мельник, повар и при нем стряпуха, одна или две горничные, лакей-камердинер, прачка, кучер, два-три работника, скотницы. А когда у Салтыковых родились дети (в 1872 г. сын, а в 1873 г. дочь), в Витеневе появились няни, кормилицы, русские и иностранные бонны и гувернантки. Изредка приезжали гости: в подмосковной Салтыкова побывали Некрасов, Тургенев, Плещеев.

Отметим, кстати, что по письмам к Каблукову устанавливается значительно бóльшая степень дружеской близости Салтыкова с Плещеевым в шестидесятые годы, чем это до сих пор представлялось. Салтыков дважды пишет о Плещееве: «приятель мой» (20 марта 1867 г: и без даты).

Некоторые знакомства Салтыкова впервые узнаются из писем к Каблукову.

Говоря об этих знакомствах, следует прежде всего сказать несколько слов о самом адресате и о членах его семьи *.

Алексей Федорович Каблуков был крепостным калужского помещика И. В. Тутолмина. В 1828 г. обученный грамоте юноша был отправлен в Петербург для изучения фельдшерского искусства в Мариинской больнице для бедных. Через семь лет он был возвращен в деревню, где ухаживал за своим тяжело больным помещиком. В августе 1837 г. Тутолмин дал Каблукову вольную, но обязал молодого фельдшера находиться при нем до его, Тутолмина, смерти. Через полтора года Тутолмин скончался и Каблуков стал вольным. В 1842 г. он сдал экзамен при Московском университете и получил звание зубного лекаря. Получив диплом, Каблуков поступил на службу к графу Панину, врачом для крестьян в усадьбе Марфино. В феврале 1843 г. Каблуков женился на Екатерине Степановне Сторожевой (имя ее часто встречается в письмах). В 1857 г. Каблуков перешел на службу, также в качестве врача, к помещику Крымову, владельцу соседнего с Витеневым сельца Пруссы. Через несколько лет Крымов умер, и его вдова Мария Ивановна (почти каждое письмо Салтыкова заканчивается дружескими приветствиями в ее адрес) предложила Каблукову место управляющего. Пруссы находились в трех верстах от Витенева. В 1867 г. Салтыков, по рекомендации Крымовой, обратился к Каблукову с просьбой взять на себя присмотр за Витеневым и по временам наезжать туда. Предложение было принято, что и положило начало переписке Салтыкова с Каблуковым.

Когда старший сын Каблукова, Николай Алексеевич, будущий известный экономист и статистик (1849—1919), окончил юридический факультет Московского университета, Салтыков оказал решающее содействие определению его на службу в Окружной суд в Пензе. В Пензе Н. А. Каблуков познакомился с Миной Карловной Горбуновой, урожденной Леман. Вскоре она стала его женой. Это была высокообразованная женщина с широким кругом социально-экономических интересов. Она проделала большую работу по изучению женских кустарных промыслов в России. Эта работа вызвала интерес у Энгельса (Мина Карловна вступила с ним по этому поводу в переписку), а также у Салтыкова, предложившего автору сотрудничать в «Отечественных записках».

В 1874 г. Крымова продала свое имение и таким образом А. Ф. Каблуков лишился места. Тогда сын его, Николай Алексеевич, обратился к Салтыкову с просьбой продать в Витеневе участок земли, где он мог бы построить дом и поселить родителей. Салтыков охотно согласился и сам выбрал лучший участок. С 1875 г. А. Ф. Каблуков окончательно переселился в Витенево. Здесь с Салтыковым не раз встречался Николай Алексеевич Каблуков, большой его почитатель, автор позднейшей работы, озаглавленной «Экономические и юридические мотивы произведений М. Салтыкова» («Русское богатство», 1892, № 10).

Что касается Ивана Алексеевича Каблукова, будущего академика, то он также лично знал Салтыкова и встречался с ним не только в Витеневе, но и в Петербурге.

Вот то немногое, что удалось вспомнить Ивану Алексеевичу об этих встречах:

«Зиму 1881—82 гг. я, по окончании курса в Московском университете, был командирован для занятий в Петербургский университет, где работал в лаборатории Бутлерова и слушал лекции Менделеева. Я не решался много беспокоить Михаила Евграфовича, но все-таки был у них раза два-три и беседовал. При этом мне припоминается следующий разговор о священнике села Витенево, который присутствовал при продаже Василениным имения, когда Василенин указал Михаилу Евграфовичу на лес, принадлежавший князю Трубецкому (имение которого находилось в с. Никольском, граничащем с Витеневым) как на свой**. Этот священник впоследствии получил место

---

* Приводимые ниже биографические сведения заимствованы из записанного автором этих строк в 1940 г. рассказа академика И. А. Каблукова (запись авторизована).

** Этот случай Салтыков не раз изображал в своих произведениях, в частности в «Убежище Монрепо».

в Москве ⟨...⟩ Когда я был у Михаила Евграфовича, он вспомнил: „Встретил в Москве Матвея Васильевича ⟨Соловьева⟩. Он просил меня, не могу ли я ему помочь получить камилавку. Глупый он человек. Коли бы я начал хлопотать, его бы, пожалуй, места лишили“».

Прощаясь с Каблуковым после продажи Витенева, Салтыков писал ему: «К вам и вашему семейству я ничего, кроме благодарных чувств, не имею, да думаю, что и вы не помянете нас лихом» (6 апреля 1877 г.). Таков был итог десятилетних отношений Салтыкова с людьми, заслужившими его уважение и симпатию.

Среди других лиц, с которыми Салтыкова, как оказывается, связывали отношения хорошего знакомства и даже приятельства — мировой посредник Владимир Иванович Бибиков («наш давнишний знакомый тверской»), сосед по имению князь Трубецкой («он нам писал в Рязань»), тверской прокурор Иван Ильич Мечников («мой хороший приятель») (25 апреля 1868 г. и 31 марта 1871 г.).

Имеются в обозреваемых письмах и некоторые другие сведения биографического характера, выходящие за рамки чисто хозяйственных дел.

Таково, например, в письме от 10 февраля 1872 г. сообщение о рождении сына, любопытное по содержащейся в нем просьбе о молебне — дань традиции: «1-го числа этого месяца в $3^1/_2$ часа пополуночи (в ночь с 31 января) родился у нас сын Константин, который и просит вас любить его ⟨...⟩ Попросите священника Николая Ивановича отслужить молебен за моего малого (имянинник 21 мая) и заплатите из моих денег 5 рублей».

Интерес биографической новизны представляют слова Елизаветы Аполлоновны в письме от 21 сентября 1872 г. о том, что «Мишель все мечтает переселиться в Москву на будущий год...» (хотя в это время положение Салтыкова как одного из фактических руководителей «Отечественных записок» вполне определилось).

Довольно большое место в письмах занимает болезнь Салтыкова 1875—1876 гг. и его поездка за границу для лечения. Однако ничего нового эта информация, по сравнению с уже известными фактами, не дает. Следует, впрочем, отметить, что в письме Елизаветы Аполлоновны, посланном из Баден-Бадена около 1 мая 1875 г., подтверждается серьезность положения, в котором находился тогда Салтыков. Врач Хейлигенталь, лечивший Салтыкова, и П. В. Анненков, принимавший ближайшее участие в тревожных хлопотах этих дней, предупредили Елизавету Аполлоновну, что на выздоровление больного осталось «очень мало надежды».

Укажем в заключение, что материалы писем позволяют установить заново или уточнить ряд мелких фактов «летописи жизни» Салтыкова. Так, например, становится известно, что, живя в Туле, Салтыков снимал квартиру в доме Игнатьевой, на Киевской улице, что, бывая в шестидесятых годах в Москве, «всегда» останавливался на Петровке в гостинице «Франция», а если не находил там свободного номера, то напротив, в гостинице «Россия» или же на углу Столешникова переулка и Петровки, в гостинице «Англия» (13 декабря 1867 г.). Устанавливаются или уточняются даты приездов Салтыкова в Витенево и соответствующие даты его отъездов из Тулы, Рязани, Петербурга.

* * *

Итак, письма к Каблукову ценны прежде всего для составления витеневской главы биографии Салтыкова. С Витеневым писатель был связан почти шестнадцать лет. Здесь он не только занимался сельским хозяйством и отдыхал, но и много работал. В Витеневе Салтыков заканчивал «Историю одного города» и «Господ Головлевых» (глава «Выморочный»). Здесь он трудился над «Письмами из провинции», над «Помпадурами и помпадуршами», над «Благонамеренными речами». Здесь написаны многие страницы из циклов «Наша общественная жизнь» и «Экскурсии в область умеренности и аккуратности».

Бесспорную ценность, как показано выше, представляют письма и для комментария к ряду художественных и публицистических произведений Салтыкова — в частности, к очерку «В деревне», к «Нашей общественной жизни», к «Убежищу Монрепо».

2

СОЖЖЕННЫЕ ПИСЬМА М. Е. САЛТЫКОВА к А. М. УНКОВСКОМУ

АННОТАЦИИ

Публикуем найденные нами в бумагах В. П. Кранихфельда (ИРЛИ, ф. 528, ед. хр. 45в) черновые записи, содержащие даты и краткие аннотации писем Салтыкова к А. М. Унковскому.

Приводим эти записи, сделанные при ознакомлении с документами незадолго до их уничтожения (см. об этом выше, на стр. 518), в том виде, как они сохранились, сопровождая их некоторыми пояснениями.

1875

⟨Май 23⟩/Июнь 4. ⟨Баден-Баден.⟩
Болезнь.

В апреле 1875 г. больной Салтыков выехал для длительного лечения за границу, сначала в Германию, в Баден-Баден. Здесь он жил в отеле «С.-Петербург».

Июль ⟨8⟩/20. ⟨Баден-Баден.⟩
Жалоба на скуку. О записке гр. Палена.

В мае 1875 г. министр юстиции граф К. И. Пален распространил в правящих кругах свою «Записку» об успехах революционной пропаганды в России. «Записка» была тотчас же перепечатана в Женеве и издана затем несколько раз. В письме Салтыкова речь, несомненно, шла об этой «Записке». Салтыков мог писать об этом, без оглядки на перлюстрацию, так как Унковский в это время также находился за границей, в Швейцарии.

⟨Июль 25⟩/Август 6. ⟨Баден-Баден.⟩
Болезнь.

Сентябрь ⟨6⟩ 18. ⟨Париж.⟩
Литературные дела. О французском театре.

Салтыков ожидал получения обещанных ему Некрасовым корректур очерка «Между делом», печатавшегося в сентябрьском номере «Отечественных записок» (XVIII, 303).

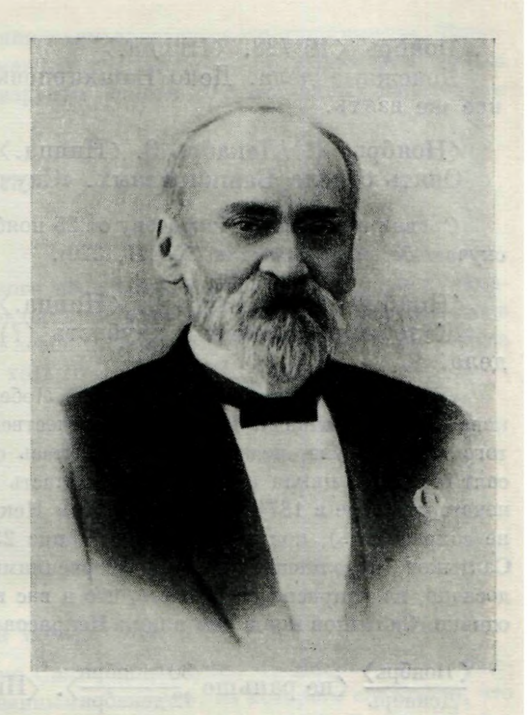
В письме к Некрасову от 28 августа/9 сентября 1875 г. Салтыков сообщал: «Был один раз в театре Vaudeville и вышел в восхищении от актеров» (XVIII, 301). Это «восхищение» отразилось впоследствии в очерках «За рубежом» (XIV, 169).

Август ⟨19⟩/31. ⟨Баден-Баден.⟩
Комический эпизод с Елисеевым. Боязнь за «Отечественные записки». Об имении жены Витенево.

Комический эпизод был, вероятно, связан с тем, что публициста «Отечественных записок» Г. З. Елисеева, путешествовавшего в это время по германским курортным городам, всюду принимали за известного виноторговца или за брата его (см. XVIII, 297).

Подмосковное имение Витенево было куплено Салтыковым (в декабре 1861 г.) на имя жены.

Октябрь ⟨2⟩/14. ⟨Париж.⟩
Болезнь. Эпизод с гр. Соллогубом.



А. М. УНКОВСКИЙ
Фотография, 1879 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Об эпизоде с писателем В. А. Соллогубом — чтении им у И. С. Тургенева антинигилистической комедии — Салтыков в тот же день 2/14 октября написал еще два письма — Н. А. Некрасову и А. Н. Плещееву, а 6/18 октября писал о том же П. В. Анненкову (XVIII, 309, 311, 313—314).

Октябрь ⟨18⟩/30. ⟨Ницца.⟩
О Ницце, Марселе.

На пути из Парижа в Ниццу Салтыков пять дней — с 9/21 по 14/26 октября — пробыл в Марселе. В Ниццу он приехал 15/27 октября (XVIII, 314).

Ноябрь ⟨1⟩/13. ⟨Ницца.⟩
Называет Дмитрия Евграфовича «негодяем» и пишет: «Это я его в конце Иудушки изобразил». Денежные дела.

Дмитрий Евграфович Салтыков (1817—1885) — старший брат писателя. «Иудушкой, — вспоминает А. Я. Панаева, — он звал одного своего родственника и через несколько лет воспроизвел его в „Головлевых"» (А. Я. Панаева-Головачева. Воспоминания. Под ред. К. И. Чуковского, изд. 5. М., 1956, стр. 362).

⟨Ноябрь.⟩ ⟨Ницца.⟩
Дело Башкирцевых и др. О герцеговинском сборнике.

Что за «дело Башкирцевых», о котором идет речь в этом и двух следующих письмах — выяснить не удалось. Возможно, что оно связано с семейством известной впоследствии художницы Марии Башкирцевой, в ту пору пятнадцатилетней девушки. Как и Салтыков, Башкирцевы жили тогда в Ницце.

По-видимому, Салтыкову, как и Некрасову, было сделано предложение принять участие в сборнике «Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины» (СПб., 1876). Издание было задумано группой литераторов, преимущественно деятелей позднего славянофильства, в пользу жертв герцеговинского восстания 1875 г. Салтыков в сборник не дал ничего. Некрасов же напечатал стихотворение «Страшный год».

Ноябрь ⟨16⟩/28. ⟨Ницца.⟩

Денежные дела. Дело Башкирцевых (темно слишком). Конец письма все же взять.

⟨Ноябрь 21⟩/Декабрь 3. ⟨Ницца.⟩

Опять о деле Башкирцевых. «Скучаю, как „Вестник Европы“».

Сравни в письме к Некрасову от 25 ноября/7 декабря из той же Ниццы: «Я здесь скучаю *до сумасшествия*» (XVIII, 326).

⟨Ноябрь 27⟩/Декабрь 9. ⟨Ницца.⟩

Жалобы на урезки и грубость (?) редакции (Некрасова). Денежные дела.

«Урезки»— по требованию цензора Лебедева — были сделаны в рассказе Салтыкова «Непочтительный Коронат» («Отечественные записки», 1875, № 11). По совету того же Лебедева, редакция воздержалась от опубликования очередного очерка из салтыковского цикла «Экскурсии в область умеренности и аккуратности», начатого печатанием еще в 1874 г. Обо всем этом Некрасов извещал Салтыкова в письме (оно не сохранилось), полученном им в Ницце 25 ноября/7 декабря. В ответном письме Салтыков, поделившись своими огорчениями, уверял Некрасова: «Досадно, очень досадно, но напрасно вы думаете, что я вас виню» (XVIII, 325). В действительности, однако, Салтыков кое в чем винил Некрасова (см. след. аннотацию).

⟨Ноябрь⟩/Декабрь ⟨не раньше 30 ноября/12 декабря⟩. ⟨Ницца.⟩

Жалуется на неудачные выкидки в «Отечественных записках»: «Если бы не нужда, давно бы ушел от этих неряшливых и грубых людей».

Жалобы и упреки Салтыкова уясняются в свете следующих строк его письма к Некрасову из Ниццы от 30 ноября /12 декабря 1875 г.: «Я получил „Отеч. записки“ за ноябрь, но покуда успел только прочесть свою вещь, да комедию Островского. „Коронат“ меня довольно-таки обидел. Я не говорю уже об выпусках, сделанных по требованию сукина сына Лебедева, но меня очень тронуло то, что редакция не потрудилась согласовать эти пропуски с последующим изложением. Ссылка, сделанная в заключении рассказа на слова Машеньки, выпущенные вверху, просто обожгла меня. Это, впрочем, одна из приятностей моего пребывания за границей» (XVIII, 326—327).

Декабрь ⟨5⟩/17. ⟨Ницца.⟩

Жалобы на Некрасова.

См. предыдущие аннотации.

Декабрь ⟨19⟩/31. ⟨Ницца.⟩

О двуличности Некрасова. Болезнь.

В декабре 1875 г. Салтыков написал несколько резких писем Некрасову, в которых упрекал его в задержке с выдачей следуемых ему денег (Некрасов должен был выдавать их Унковскому). Упреки Салтыкова были вызваны его мнительностью и раздражительностью, доведенными до крайности обострившейся в это время болезнью. Он сам вскоре признал это и просил извинения у Некрасова: «Написал к вам глупое письмо — пожалуйста, извините. Болезнь писала» (XVIII, 331).

Декабрь ⟨12⟩/24. ⟨Ницца.⟩

Об Овсянниковском деле.

С 25 ноября по 5 декабря 1875 г. в Петербургском окружном суде рассматривалось дело об умышленном поджоге петербургским 1-й гильдии купцом, миллионером С. Т. Овсянниковым арендованной им мельницы, застрахованной на сумму 700 000 рублей. «Овсянниковское дело» и адвокатский ажиотаж вокруг него неоднократно привлека-

лись в щедринской сатире для разоблачения капиталистического хищничества. Впервые Салтыков откликнулся на этот «скандал российской современности» в очерке «Культурные люди», появившемся в январском номере «Отечественных записок» за 1876 г. (XI, 518—519).

1876

Январь ⟨4⟩/16. ⟨Ницца.⟩
Денежные дела. Болезнь.

С середины декабря 1875 г. у Салтыкова возобновились сильные припадки ревматизма. В начале января 1876 г. Салтыков писал Некрасову: «...покуда дело идет еще туго, руки дрожат и слабы, ревматизм в левой стороне еще держится, и утром, когда встаю с постели, боли так сильны, что хоть кричать» (XVIII, 333).

Январь ⟨16⟩/28. ⟨Ницца.⟩
Болезнь.

См. предыдущую аннотацию.

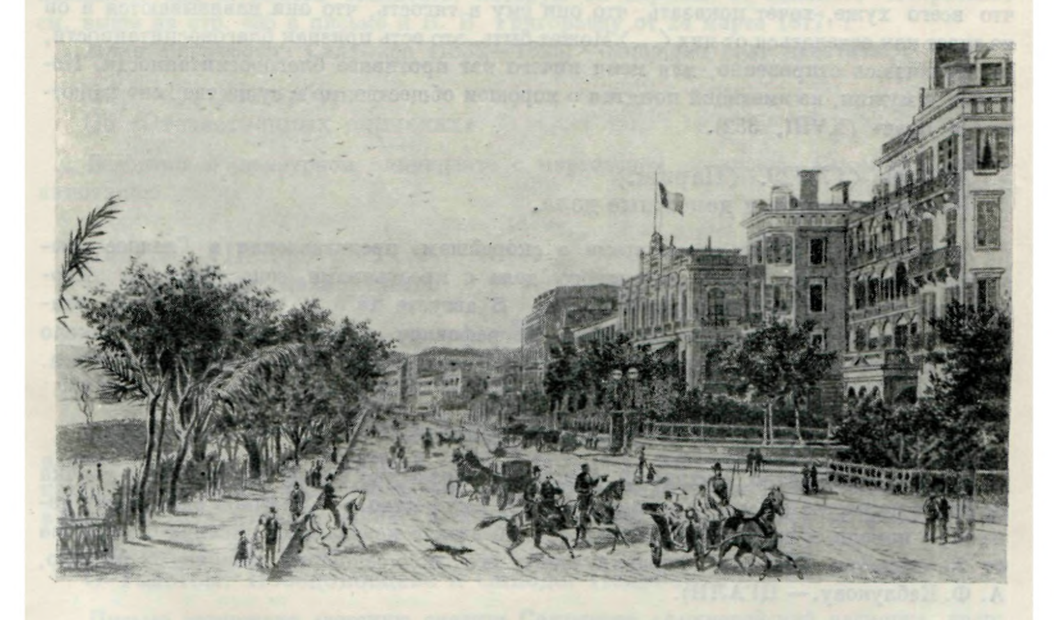
Январь ⟨19⟩/31. ⟨Ницца.⟩
Денежные дела. Болезнь.

Март ⟨4⟩/16. ⟨Ницца.⟩
Намеки на Еракова. Жалобы на Некрасова.

В день написания настоящего письма Салтыков получил от Некрасова «сообщение прошлогоднего расчета» по «Отечественным запискам», из которого следовало, что он остался должен редакции более тысячи рублей (XVIII, 346—347). Возможно, что «жалобы на Некрасова» следует поставить в связь с этим известием.

Март ⟨11⟩/23. ⟨Ницца.⟩

Нецензурное письмо об Еракове. Другой эпизод, где упомянут К. К. Арсеньев. А дальше денежные дела. Болезнь. Монте-Карло. Нецензурный отрывок из письма к Поль де Коку.



НИЦЦА. АНГЛИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Гравюра Фрэпона из книги: Henry Montaut «Voyage au pays enchanté Pars», 1880

Приятель Некрасова, инженер А. Н. Ераков, был излюбленным героем, а также адресатом не предназначавшихся для печати сатирических миниатюр Салтыкова бытового и политического характера (в том числе известной серии «писем» из «переписки Николая I с Поль де Коком»). Содержание настоящей аннотации уясняется следующими строками письма Салтыкова к Некрасову из Ниццы от 12/24 марта 1876 г.: «Я сегодня послал Унковскому историю о том, как А. Н. Ераков лишил целомудрия дочь нашей хозяйки 〈...〉 Прочтите это письмо. Вы, наверное, улыбнетесь. Там же два письма из Поль де Коковой переписки» (XVIII, 355).

〈Март 30〉/Апрель 11. 〈Ницца.〉
Рассказывает о своих запутанных денежных делах. «Даже умереть нельзя. Без ужаса не могу думать о детях. Вот плоды литературных занятий».

В это время Салтыков получал «жалованье» от редакции 3000 руб., но его гонорары, естественно, сильно снизились во время болезни.

Апрель 〈12〉/24. 〈Париж.〉
О «повадливости» Тургенева, которую объясняет заграничной жизнью: «Заграничное житье тем именно и подло, что оно сводит вас с неизвестными личностями». О своей противоположной черте.

Салтыков высоко ценил Тургенева и был близок с ним более, чем с кем-либо из других писателей. Он даже завещал похоронить себя рядом с автором «Записок охотника». Когда Тургенев умер, Салтыков дал замечательную характеристику значения его творчества для русского общества и народа (XV, 611—613) Но некоторые черты личности и поведения Тургенева, резко враждебные характеру самого Салтыкова, неизменно подвергались с его стороны по-щедрински суровой критике.

Содержание не дошедшего до нас письма к Унковскому о «повадливости» Тургенева уясняется при помощи следующего отрывка из письма сатирика к П. В. Анненкову из Ниццы от 9/21 марта 1876 г.:

«Есть в Тургеневе и малодушие и скрытность. Вся дрянь, все отребье человечества, вроде Соллогуба, так к нему и льнет. И он как будто бы в своей тарелке тут и, что всего хуже, хочет показать, что они ему в тягость, что они навязываются и он не знает как отделаться от них 〈...〉 Может быть, это есть признак благовоспитанности, но, признаюсь откровенно, для меня ничего нет противнее благовоспитанности. Конечно, я мужик, не имеющий понятия о хорошем обществе, но в существе, мне кажется, я прав» (XVIII, 352).

Апрель 〈17〉/29. 〈Париж.〉
Имущественные и денежные дела.

Салтыков хлопотал в это время о скорейшем представлении в Главное выкупное учреждение своего выкупного дела с крестьянами села Заозерья Ярославской губернии и о получении ссуды. В августе 1876 г. выходил срок платежа по векселям братьям Дмитрию Евграфовичу и Илье Евграфовичу около 16 000 рублей — и ссуда была единственным источником для погашения долга.

Июнь 22. 〈Витенево.〉
Нецензурное дело о витеневском дьячке.

«Дело» — вероятно, шутливый рассказ — неизвестно. Когда витеневского дьячка постигло несчастье — у него сгорел дом и все имущество,— Салтыков оказал ему денежную помощь и предоставил жилье (см. об этом в неизданных письмах Салтыкова от 23 сентября 1869 г. к управляющему его подмосковным имением Витенево, А. Ф. Каблукову.— ЦГАЛИ).

Июль 15. 〈Витенево.〉
Марки.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СКАЗКЕ ЩЕДРИНА «КОНЯГА»

Сепия Н. В. Фаворского, 1939 г.

Литературный музей, Москва

1877

Март 23. 〈Петербург.〉
О сожжении «Отеч. записок».
Об Илье Евграфовиче.

Мартовской книжке «Отечественных записок» за 1877 г. угрожали арест и уничтожение. О том, каким образом и какою ценою Салтыкову удалось предотвратить нависшую над журналом опасность, которую он скрывал от больного Некрасова, см. выше на стр. 496 в письме к В. В. Григорьеву от 24 марта 1877 г.

Илья Евграфович Салтыков (1834—1895) — младший брат писателя.

Март 25. 〈Петербург.〉
Об «Отечественных записках».

Вероятно о цензурном инциденте с мартовской книжкой. См. предыдущую аннотацию.

1879

Январь. 〈Петербург.〉
О картежных наказаниях.

1880

Апрель 28. 〈Петербург.〉
Не желает никаких переговоров о своей статье.

По-видимому, речь идет о статье Салтыкова «Не весьма давно. Осенние воспоминания» (вошла в цикл «Круглый год»). Статья эта, запрещенная ранее под другим названием «Вечерок», была напечатана в четвертой книжке «Отеч. записок», вышедшей в свет 27 апреля, и едва не явилась поводом ко второму предостережению (ср. XIX,148).

Июль 〈5〉 17. 〈Эмс.〉
О Толстом, Победоносцеве и Синоде. Нецензурно.

Письмо содержало «детскую сказку» Салтыкова «Архиерейский насморк», впервые публикуемую в настоящем томе. См. выше, стр. 403—406.

〈Сентябрь〉 4/16. 〈Париж.〉
Фантастическое приключение с Унковским.

Очевидно, очередная сатирическая миниатюра.

〈Сентябрь. Париж.〉
В письме из Парижа просит передать Елисееву, что, не желая ни объяснений, ни уговоров по поводу своей статьи, он хоть месяц просидит в Вержболове, пока не выйдет в свет книжка журнала.

31 августа /12 сентября 1880 г. Салтыков послал из Парижа в редакцию «Отечественных записок» окончание первой главы «За рубежом». Его очень тревожила цензурная судьба этого зачина нового цикла. Статья появилась в девятой книжке, вышедшей в свет 20 сентября.

Сентябрь 28 〈?〉. 〈Париж.〉
По поводу редакционных отношений.

1881

〈Август 27〉/Сентябрь 8. Париж.
О «з....». Овации в Москве.

«Раблезианский» сюжет этого шутливо-сатирического послания повторен в письме к В. П. Гаевскому от 30 августа /11 сентября 1881 г.: «...в эту минуту жена и дети присутствуют на представлении „La biche au bois", а я, как дурак, сижу дома. А представь себе, в этой пьесе есть картина „купающейся сирены", где на сцену брошено до 300 голых женских тел (по пояс), а низы и з...... оставлены под полом в добычу машинистам...» (XIX, 224).

«Овации в Москве»— организованный редакцией «Русской мысли» юбилейный обед в московском ресторане «Эрмитаж» по случаю 25-летия появления «Губернских очерков» (описание празднества см. «Голос минувшего», 1915, № 4, стр. 224).

1882

Июль 17. 〈Ораниенбаум.〉

1883

Июль 9 〈21〉. 〈Баден-Баден.〉
Не совсем цензурное. О конституции.

Письмо написано в день приезда или на другой день по приезде Салтыкова в Баден-Баден.

Июль 18 〈30〉. 〈Баден-Баден.〉

Август 8/〈20〉. 〈Кларан.〉

1885

Осень 〈сентябрь — ноябрь〉 〈Петербург.〉
О насилии над его совестью. Просит заступиться.

Эта запись заканчивается пояснением В. П. Кранихфельда: «(Иоанн Кронштадтский)». Однако такой комментарий неверен. Эпизод с посещением больного Салтыкова Иоанном Кронштадтским относится к апрелю 1889 г. Осенью же 1885 г. имел место другой случай, который Салтыков мог рассматривать как попытку оказать «насилие над его совестью». См. выше публикацию этого письма к А. М. Унковскому, сохранившегося в копии В. П. Кранихфельда (стр. 519).

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ, ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ И РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 1840–1860-х ГОДОВ

П. В. АННЕНКОВ о В. Г. БЕЛИНСКОМ

ПИСЬМА к А. Н. ПЫПИНУ 1874 г.

Публикация К. П. Богаевской

Анненков познакомился с Белинским в апреле 1840 г. на вечерах у их общего приятеля А. А. Комарова. Знакомство это скоро перешло в дружбу, продолжавшуюся до конца дней Белинского. Характерно, что последнее письмо умирающего Белинского, продиктованное им 15 февраля 1848 г. и еще полное литературных интересов, адресовано Анненкову (Белинский, т. XII, стр. 465—468 *). Эти два таких различных и по убеждениям, и по темпераменту деятеля сороковых годов были тесно связаны между собою чувствами глубокой любви и дружбы. «Бесценный человек», «я очень люблю этого милого человека»,— писал Белинский еще в 1840 г. Боткину вскоре после знакомства с Анненковым (XI, 530, 554). Когда тяжело больному Белинскому в 1847 г. понадобилось ехать для лечения в Зальцбрунн, Анненков самоотверженно отказался от заманчивого путешествия в Грецию и Турцию, чтобы жить с ним в скучной Силезии. Здесь Анненков провел все нужное для лечения время с больным другом и оказался волею судьбы единственным свидетелем создания знаменитого письма Белинского к Гоголю. Эта совместная жизнь в Зальцбрунне еще более сблизила их. На обратном пути из Берлина Белинский писал Анненкову: «...крепко, крепко жму вам руку и говорю мое горячее дружеское спасибо за всё, что вы делали для меня» (XII, 403). Больше встретиться им не привелось. «Я уже знал, что Белинский умер, совершенно замученный жизнью. Он много унес у меня...»,— сокрушался Анненков в письме к брату из Парижа в июле 1848 г. («Лит. наследство», т. 56, 1950, стр. 198).

Когда первый биограф Белинского А. Н. Пыпин задумал монографию о великом критике, он обратился ко всем лицам, его знавшим, с просьбой доставлять ему письма Белинского и воспоминания о нем. На просьбу Пыпина отозвались такие крупные писатели, как Тургенев и Гончаров, множество литературных деятелей и просто знакомые Белинского (об этом см. в сообщении Т. К. Ухмыловой — «Лит. наследство», т. 57, 1951, стр. 303—318). Одним из наиболее значительных участников в монографии Пыпина оказался Анненков.

В «Литературном наследстве» Т. К. Ухмыловой опубликованы письма Пыпина к Анненкову за период 1874—1875 гг. До сих пор о содержании ответов последнего приходилось лишь догадываться. Теперь нами найдены все ответные письма Анненкова.

Для самого Анненкова знакомство с Пыпиным оказалось исключительно плодотворным: Пыпин побудил его написать самое выдающееся из его произведений — «Замечательное десятилетие. 1838—1848» — один из интереснейших мемуарных памятников эпохи «сороковых годов» (впервые напечатано в «Вестнике Европы» 1880 г.).

Обнаруженные письма Анненкова — ценное дополнение к его воспоминаниям. Касаясь иногда тех же вопросов, что и в своих мемуарах, Анненков в частных письмах освещает многое гораздо богаче и откровеннее, чем в печати (в частности, взаимоотношения Белинского с Бакуниным, Боткиным, Катковым и Некрасовым, историю публикации его статьи о «Воспоминаниях» Булгарина и многое другое).

Публикуются письма (иногда с пропусками строк, не имеющих отношения к Белинскому) по автографам из архива Пыпина (ЦГАЛИ, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 255).

---

* При дальнейших ссылках на это издание указываются только том и страницы.

1

2 февраля н. с. 1874 г. Ницца.

Многоуважаемый Александр Николаевич,

Письмо ваше застало меня больным, но отвечаю немедленно[1]. Никто более меня не может сочувствовать вашему намерению приступить к биографии Белинского и никто не расположен более способствовать вам в этом деле всеми зависящими от меня средствами. Письменного материала от Белинского осталось у меня немного — всего два письма от 1847 г., когда он вернулся из Зальцбрунна и Парижа в Россию. Оно и понятно — мы жили в одном городе, а при отлучках моих за границу он вовсе не писал, зная, что в порядках того времени письма составляли на иностранной нашей почте нечто в роде открытых нынешних писем, где только излагаются пустяки. Характер величайшей сдержанности лежит и на тех двух письмах, но они все-таки крайне любопытны, так как в них он является противником, чем впрочем всегда и был, федеративных начал в русской и славянской жизни, а начала эти были тогда впервые подняты на малороссийской почве пропагандой Шевченко и Кулиша, о которой он и сообщает кой-какие известия. Но вот вопрос, — как передать вам этот небольшой остаток его корреспонденции со мной. Письма остались у меня в Петербурге и притом запрятанные так, что только я один могу их найти в хламе других бумаг. Если летом мне приведется узреть берега Невы, то дело сделается скоро, но так или иначе я даю вам слово, что они будут в ваших руках непременно[2].

Затем остается материал *не*-письменный; как с тем быть? А он, как мне думается, тоже не маловажен для биографа — во-первых, для уразумения самой личности этого замечательного человека, а во-вторых, для ясного представления тех поводов, которые приводили его к изменению своих мыслей и направлений и которые все остались *позади* его статей и выражены им были частию в письмах, но в большей мере в беседах с своим кругом и с друзьями. Изложить на бумаге сущность этих бесед, значит написать целый том, приниматься за настоящую биографию. Для меня лично это дело невозможное. Остается устная передача той части воспоминаний, которую я сохранил от этих долгих конференций с Белинским, но как же ее устроить, если по лету я не попаду в Петербург и если никто из ваших друзей, знакомых с нужными вам вопросами и разъяснениями, не будет за-границей, где мы бы могли устроить нечто вроде съезда. Придумайте, многоуважаемый Александр Николаевич, какую-нибудь комбинацию в подобном роде, которая облегчила ⟨бы⟩ мне возможность исполнить то, что я считаю своим долгом. В половине мая я уже буду жить в Баден-Бадене.

Вы спрашиваете — не полюбопытствую ли я узнать перечень собранных вами материалов для биографии? Сообщением такого перечня вы дали бы мне, может быть, возможность указать на источники и документы, не бывшие у вас в виду, и освежили бы мои собственные воспоминания...

[1] Первое письмо Пыпина к Анненкову из Петербурга датировано 14 января 1874 г. Рассказав в нем о задуманной монографии Белинского, Пыпин писал: «Я давно уже имел в виду обратиться и к вашему содействию, но чтобы не обращаться к вам с одними предложениями, я хотел сделать это, уже собравши другой запас. Теперь я отчасти владею им — и представляю вам свою просьбу помочь мне в этом деле и тем письменным материалом, какой у вас предполагаю, и вашими личными воспоминаниями, и, наконец, другими указаниями и добрым советом» («Лит. наследство», т. 57, 1951, стр. 304—305).

[2] Речь идет о двух письмах Белинского к Анненкову от 20 ноября — 2 декабря и без даты ⟨от начала декабря⟩ 1847 г. (XII, 423—431, 436—442.— Автографы хранятся в ИРЛИ). Письма эти Пыпин использовал в монографии о Белинском («Вестник

Европы», 1875, № 5, стр. 176—178, 183—186). Во втором из упомянутых писем Белинский рассказывает Анненкову о подготовке освобождения крестьян в России и об усилении цензурного гнета, вызванного выходом в свет «Повести об украинском народе» П. А. Кулиша, в журнале «Звездочка» 1846 г. (№№ 1—2, 4—7). Белинский, получивший неверную информацию о «Кирилло-Мефодиевском братстве», резко и несправедливо отзывается в этом письме о Шевченко (подробнее см. в комментариях — XII, 571).

Кроме названных писем, в бумагах Анненкова сохранилось еще три письма Белинского — одно, посланное перед отъездом критика за границу (от 1/13 марта 1847 г.), другое — на обратном пути его из Берлина (от 17/29 сентября 1847 г.) и третье — написанное под диктовку умирающего Белинского его женой (от 15 февраля 1848 г.). Все эти письма, проникнутые литературными интересами, тогда же попали в руки Пыпина и были им процитированы в его монографии («Вестник Европы», 1875, № 5, стр. 161—162, 174—175; № 6, стр. 550—554).

2

26 февраля н. с. 〈1874 г.〉 Ментон.

Многоуважаемый Александр Николаевич,

Последнее ваше письмо[1] меня порадовало известием о том, что предпринятый вами труд не имеет крайне спешного характера, что дает мне возможность исполнить посильно и мой долг относительно вас и дорогой памяти Белинского, как исполнили его Кавелин и Гончаров и как, вероятно, исполнят его еще и многие другие[2]. Будет ли это сделано с моей стороны в форме отдельной записки или вы позволите мне просто беседовать с вами о занимающем нас предмете — это все равно, так как в обоих случаях вы возьмете, что можно взять (если таковое найдется) к сведению, а остальное бросите в корзину — и делу конец. Богатство собранного вами материала биографического тоже весьма утешительно. Кажется к нему нечего и прибавить, если только еще не порасспросите некоего Чистовича (он знаком Галахову и состоял прежде инспектором классов, кажется, в Воспитательном доме), бывшего товарищем Белинского по Университету[3]. О том, что в одном из своих разборов (первые части сочинений Белинского) — Белинский сам дал описание родительского дома и его обстановки[4] — вам, конечно, нечего указывать.

С нетерпением ожидаю мартовской книжки «Вестника Европы»[5]. Не может быть сомнения, что первая статья уже даст предчувствие серьезности и значения предмета, о котором много будет говориться впоследствии.

Белинский рассказывал мне, что в детской ссоре с братом он однажды был невинно оскорблен отцом, не разобравшим в чем дело[6]. Несправедливость эта, по словам Белинского, смутила его как какая-то невозможность и пробудила его внимание к словам и поступкам старших вообще. А вышло из этого, — прибавлял Белинский, — что я был страдающим ребенком, хотя меня никто особенно не притеснял. Анекдот, конечно, пустой, но он характеризует восприимчивость Белинского, за которой сейчас следовала у него деятельность мысли. Так было во всей последующей его жизни. Ничего не пропадало даром, лишь только коснулось его чувств и мозга, ничего не оставлялось им без разбора из встреченного на пути и ничего не проносилось мимо, не прорезав следа на его уме и воображении. Оттого в истории его развития важную роль играет, кроме логического рода мысли, еще масса впечатлений, гнетущих или раздражающих (других у него не было), которые он переживал. Самый *щекотливый* период его деятельности представляют года 1839 и начало 40-го[7]. Не подлежит сомнению, что вы разъясните до корней происхождение этого явления, как уже и прежде сделали для романтизма вообще. Но кроме романтизма, Гегеля, афоризма: что действительно, то и разумно, был еще и другой агент этого настроения, именно М. А. Бакунин, как комментатор первых

трех агентов. Известно, что он изобрел или перевел варварское слово: «прекраснодушие» для иронического обозначения личного, не философского протеста; менее известно, что в это время Бакунин был благочестивый, религиозный, *Nocturno* и *Sonato* * — страстный человек[8]. Белинский влюбился в его сестру (в другую был влюблен В. Боткин) и сам говорил, что проводил ночи в слезах. Нет причины скрывать эту комическую подробность от биографа, который *все* должен знать. Лето 1837 г. Белинский даже жил в Тверской губ., где находилось имение Бакуниных [9] (Лажечников напечатал где-то свои воспоминания о знакомстве с Белинским в Твери[10]). Замечательно не менее всего другого то, что мы не имеем за 1837 г. ни одной строки от Белинского, если не обманывает меня память[11]. Содержание бесед между Белинским и Бакуниным, при всех этих данных, угадать не трудно. Позволяется думать, что под покровом обретенной ими философской доктрины они искали тогда покоя и простора для своих задушевных чувствований и мечтаний, не хотели смущаться внешним миром и, чтоб раз навсегда покончить с ним и общественным строем, провозгласили их образцовым делом истории. Это тоже своего рода устранение предмета, как и критика. Притом же Бакунин, по неизбежному действию диалектической способности, развитой на счет всех других, и тогда доводил всякое настроение до тех столбов, когда оно перестает им быть, а делается острой манией. Плодом этого взаимного нервного возбуждения, в котором Бакунин играл все-таки роль магнетизера, были известные статьи Белинского в «Отечественных записках»[12]. Однако же и тот, и другой ужаснулись почти тотчас же, как они были написаны, и отпрянули от них каждый в свою сторону. Магнетизер уехал в 1840 г. за границу. Белинский остался дома, совершенно убитый, каким я его видел в Петербурге осенью 1840, когда тоже поехал в первое мое заграничное странствование[13]. О надежде обрести в лоне идеи блаженное спокойствие духа и говорить нечего. Каким спокойствием наслаждался Белинский с 1840 до своей смерти, вы знаете, а Бакунин только в прошлом 1873 году напечатал в «Journal de Genève» приглашение Марксу и своим противникам вообще оставить его в покое, так как по болезни сердца, ведущей его, несомненно, к гробу, он отказывается от всякой политической деятельности.

Мне совестно, что я разболтался о том, что вам известно не хуже моего, но вы подняли своим письмом образ человека, некогда, могу сказать, страстно любимого мною, и я ухватился за первую черту, которая попалась под руку, чтобы поговорить о нем...

[1] Письмо Пыпина к Анненкову от 1 февраля 1874 г. в большей своей части опубликовано в «Лит. наследстве», т. 57, 1951, стр. 305—306.

[2] К. Д. Кавелин, по просьбе Пыпина, написал воспоминания о Белинском. Впервые (с датой: 6 февраля 1874 г.) опубликованы в Собр. соч. Кавелина (СПб., ⟨1899⟩, т. III, стб. 1081—1098). До этого Пыпин использовал их в своей монографии.

И. А. Гончаров также адресовал Пыпину 29 апреля 1873 г. статью в форме письма «Как я понимаю личность Белинского». Однако из-за болезненной мнительности Гончарова, возражавшего против публикации, Пыпину не удалось использовать в монографии этих воспоминаний. Гончаров обнародовал их только в 1881 г. в книге «Четыре очерка». Переписка Гончарова с Пыпиным, посвященная воспоминаниям, хранится в ИРЛИ. Два письма Гончарова 1874 г. к Кавелину и Пыпину на эту же тему напечатаны М. И. Маловой в «Лит. наследстве», т. 56, 1950, стр. 257—269.

2/14 марта 1874 г. Анненков делился с Тургеневым: «Пыпин завязал со мной переписку по поводу Белинского. Он и к вам пишет, обратился за сведениями о нем. Надо сказать все, что у нас есть за душой, ибо биография Белинского не могла попасть в лучшие руки» (неизд.— ИРЛИ, ф. 7, ед. хр. 10. Вся дошедшая до нас переписка Тургенева с Анненковым — 760 писем за 1852—1883 гг.— готовится полностью к печати в одном из ближайших томов «Литературного наследства»).

---

* ночной и звучащий (франц. и итал.).

[3] Анненков называет Чистовичем — Михаила Борисовича Чистякова (1809—1885), известного писателя-педагога, товарища Белинского по «11 нумеру». Окончил Московский университет в 1832 г.; впоследствии был инспектором школ Сиротского института в Петербурге (см. о нем также: «Лит. наследство», т. 56, стр. 436).

[4] Анненков, видимо, ошибся: ни в одной из известных нам ранних статей Белинского мы не нашли изображения его домашней обстановки.

[5] В мартовской книжке «Вестника Европы» 1874 г. началось печатание монографии Пыпина «В. Г. Белинский». См. о ней далее.

[6] Вероятно, этот же случай рассказывает Герцен, со слов Белинского, в VI главе книги «О развитии революционных идей в России» (Герцен АН, т. VII, стр. 235).

[7] Под «щекотливым периодом» деятельности Белинского Анненков разумеет период так называемого «примирения с действительностью».

[8] О Бакунине и его отношениях с молодым Белинским см. статью В. Г. Березиной «Белинский и Бакунин в 1830-е годы».— «Ученые записки Ленингр. гос. университета», № 158, серия филолог. наук, вып. 17, 1952, стр. 34—86.

О термине «прекраснодушие», введенном Бакуниным, так же как и о его влиянии на Белинского, Анненков подробно рассказывает в своих воспоминаниях (гл. IV).

[9] Белинский и В. П. Боткин были влюблены в одну и ту же сестру Бакунина, Александру Александровну (см. письма Белинского 1838—1840 гг.— т. XI). Белинский гостил в имении Бакуниных Премухине дважды: с конца августа до середины ноября 1836 г. и с 5 по 15 июля 1838 г.

[10] Воспоминания И. И. Лажечникова (напечатанные в «Московском вестнике», 1859, № 17) в основном посвящены детским годам Белинского. Однако Лажечников упоминает о посещении его в имении Коноплино (находящемся неподалеку от Премухина) молодыми Бакуниными вместе с Белинским, вероятно, в 1836 г. (см. сб. «Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 23—24).

[11] Мы, действительно, не знаем ни одной статьи или заметки Белинского 1837 г.

[12] Известные статьи Белинского периода «примирения с действительностью» — «Бородинская годовщина» В. Жуковского, «Очерки бородинского сражения» Ф. Н. Глинки и «Менцель, критик Гёте», вызвавшие возмущение передовой общественности (см. о них: III, 624—625, 632—634, 638—647).

[13] Бакунин уехал за границу осенью 1840 г. (см. Герцен АН, т. VII, стр. 355), а Анненков — 5 октября 1840 г. (Воспоминания Анненкова, гл. XI).

3

9/21 марта 1874 г. Ницца.

...Я прочел вашу статью с великим вниманием и, кроме интереса, представляемого новостию сведений об эпохе мало известной в жизни Белинского, нахожу лучшим ее качеством то, что она содержит намеки на его характер, как он развился впоследствии[1]. Я, признаюсь, даже желал бы, чтобы вы дали себе гораздо более воли и свободы в обсуждении фактов, чем сколько их обнаруживаете, возложив на себя обет не удаляться от полученных свидетельств по сторонам. При малочисленности фактов обет этот вряд ли может быть сдержан без некоего ущерба для самой фигуры, которую факты должны освещать. Так я желал бы, например, чтобы превосходный ваш намек о причинах так называемой лености, малоуспешности Белинского в изучении точных наук и новейших языков, а также о страстной его любви к одной литературе и относительной пользе самого невнимания к другим сторонам образования для его мысли,— чтобы этот, говорю, прекрасный намек был проведен еще глубже. Странно и непристойно кажется мне самому давать вам советы и указания, но вы требовали, чтоб я не скрывал своих мыслей, хотя бы и вздорных. По вашей статье оказывается (и как я этому обрадовался), что Белинский и ребенком был тем же, чем мы его знали позднее. С ранних пор он хотел жить мысленно только на один свой *кошт*, так сказать (бывают такие самородки), и, конечно, не любил предметов, требующих полной, совершенной подчиненности себе, каковы языки и др. науки. Хорошо ли он делал— это другое дело. С ранних же пор (и опять благодаря вам) оказывается, что он искал в занятиях возможности немедленного вывода и заключения, приговора и умственного наслаждения, сопряженного с обретением их. То же было впоследствии. Он при мне говорил Каткову (1840) в Пе-

тербурге, когда тот настаивал на необходимости выучиться по-немецки: «Выучиться можно, но я никогда не буду хозяином в этом языке, а разве более или менее тупым батраком — сто́ит ли?» Кетчер передавал мне, что мысль о родовом начале в русской истории и образовании русского государства через простое нарастание принадлежит Белинскому и передана им К. Д. Кавелину[2]. Можно спросить последнего — так ли это, но черта детства сказывалась у Белинского постоянно.

Не менее важный намек представляют и слова ваши о застенчивости Белинского в виду новых людей, застенчивости, которую он сам называл своей болезнию. Однако ж, несмотря на это непререкаемое свидетельство, можно еще поспорить или лучше поговорить о предмете. Застенчивость точно была, но такая, которая исключала всякую идею о помощи страдающему или о доброжелательном вмешательстве постороннего в его положение. При первых признаках того или другого, она неизвестно куда пропадала, а вместо нее являлось у Белинского просто самое развязное, иногда грозное слово. Самые одушевленные и свободные минуты его разговора именно являлись после такой застенчивости, как мне не раз случалось видеть. Сосредоточенность его тоже требует оговорки. Она опять существовала несомненно, но как подготовительный элемент для безгранично откровенного проявления всей своей мысли, ибо Белинский имел, по-моему, качества оратора или трибуна в высшей степени. Сосредоточенность его похожа на ипохондрию Гоголя и Мольера — это был материал творчества. По действию чисто ораторской, трибунской своей натуры Белинский был всегда весь налицо, на ладони, как говорится, и откровеннее его я не знавал человека[3].

До будущего письма. Переписку Пушкина с Вяземским еще не мог здесь достать[4]. Но что это такое печатается у вас, в виде критики, под литерой А. в «Русском вестнике»? Я прочел ругательную статью на мою монографию о Пушкине, — и был изумлен открытием нового рода умов, собравшихся или имеющих собраться в передней Каткова. Это специмен * любопытный. Не знаешь, что в нем преобладает — тупота или распутство мысли, коварство или мальчишество, злоба или потребность нагадить везде, где нет присмотра[5].

Весь ваш П. Анненков

[1] Речь идет о первой главе «Детство и юношеские годы» монографии Пыпина, появившейся в мартовской книжке «Вестника Европы» 1874 г. (стр. 205—230).

[2] В статье Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» («Современник», 1847, № 1, отд. II, стр. 1—52) излагалась точка зрения на государственную деятельность Ивана IV (борьба с родовым дворянством), близкая к высказываниям Белинского по этому вопросу (см. статью Н. И. Мордовченко «Иван Грозный в оценках Белинского».— «Звезда», 1945, № 10-11, стр. 183—191).

[3] Эта характеристика Белинского как застенчивого человека и в то же время оратора и трибуна полностью совпадает с портретом критика в «Былом и думах» Герцена (ч. IV, гл. XXV).

[4] В 1-й книге «Русского архива» 1874 г. было опубликовано пятьдесят писем Пушкина к П. А. Вяземскому и одно письмо Вяземского к Пушкину (стр. 113—174 и 419—450).

[5] Анненков имеет в виду статью В. Г. Авсеенко «Новое слово старой критики», напечатанную (за подписью: г. А.) в «Русском вестнике», 1874, № 2, стр. 802—830 и № 3, стр. 431—464. В ней Авсеенко с реакционных позиций обрушился на монографию Анненкова «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху» (опубликованную в «Вестнике Европы» за 1873—1874 гг.). Тургенев писал 15/27 марта 1874 г. М. М. Стасюлевичу: «...что это за омерзительная статья в „Русском вестнике“ г-а А. (Авсеенко?) об анненковском этюде? Это перебулгарило Булгарина, перекатковило Каткова — outhérods Herod!** Г. А. напоминает мне изречение Ривароля: Il fait tache sur la boue***» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III. СПб., 1912, стр. 40).

---

* экземпляр, образчик (от франц. «spécimen»).

** переиродило Ирода (англ.— Цитата из «Гамлета» Шекспира, д. III, сцена 2).

*** он сделал пятно на грязи (франц.).

4

12 апреля н. с. 1874 г. Ницца.

Многоуважаемый Александр Николаевич.

Вы теперь получили *мои* письма Белинского, но не знаю — какое впечатление произвели они на вас, так как они принадлежат к числу приспособленных к почте, а потом к числу не совсем благосклонных

П. В. АННЕНКОВ
Фотография, 1860-е гг.
Центральный архив литературы и искусства, Москва

к помехам, какие могли отвлечь тогдашние идеи о реформах от задачи освобождения крестьян, стоявшей на очереди. При свете исторической обстановки они все-таки, может быть, покажутся вам любопытными и имеющими своего рода значение[1].

Я еще должен вам ответом на вопрос, что была Москва до 1838 года. Я мало знаю это время, да и отделенный от всех моих заметок и от возможности справок, могу спутать имена и года, как и было уже с Чистяковым, переделанным мною в Чистовича[2], но, несмотря на эту опасность, все-таки скажу, что знаю — или думаю знать. Вы уже сами проверите мои слова и прикините к ним критический аршин. Первый человек из московского кружка, встреченный мною в 1839 г. — был В. П. Боткин. На нем отражался хорошо и весь кружок. Я застал его в садовой беседке

его дома (на Маросейке), окруженного множеством изданий Шекспира, — а через день встретил на улице с «Hallische Jahrbücher»[3] в руках, спешащего в лавку, где он был приказчиком у своего отца. Личность эта *тогда* представлялась замечательной и симпатичной в высшей степени. Никогда Боткин не делал так много добра, как в то время, когда почти ничего не имел или имел очень мало, да и в нравственном смысле никто более его не торопился навстречу каждому трудящемуся с книгой, вычитанным пособием и ободрением. Уже гораздо позднее обнаружилась его настоящая природа — помесь купеческого распутства с душевной мелкотой и с художническими инстинктами, что и сделало из него тип грека перикловой эпохи, помноженного на московского гостинодворца третьей руки и дополненного шопенгауеровской ненавистью к зверю — толпе и народу.

Но тогда Боткин был весь аспирация в *горния* мысли, поэзии, чувства, и ею отзывались его разговоры и поступки, так что он становился хорошим представителем своего круга. Олимп, куда люди его стремились, состоял из множества богов, как вам известно, но главной задачей их было все-таки просто-напросто спасаться от тогдашнего общества и порядка. Они спасались, как аскеты любого монастыря, но, спасая себя, они спасли мимоходом и общественную мысль, начинавшую загрубевать в петербургской литературе булгариных и сенковских, да и в других сферах. Целей (особенно политических) они не имели никаких; дело было чисто личное, что и объясняет существование в этом круге рядом с развитыми личностями пустейших индивидуумов, вроде Почек, Бееров, Ефремовых[4] и т. д. Спасаться может всякий, — и желающего спастись, кто бы он ни был, нельзя не принять в братство, устроенное для самоспасения. Тут даже является наклонность отыскивать знаменательные черты в неофите и возвеличивать его: так оно и было. Белинский тоже спасался, но на свой манер: он присоединял к идеалам, которыми упивались друзья — ненависть к окружающему и торжествующему миру. Станкевич говорил, что никто так *сочно* не произносит ругательств, как Белинский (и особенно фразы — сукин сын), и всемерно старался сгладить этот нарост, но напрасно. Брат-монах так с ним и остался, несмотря на настоятеля. Природная фурия *, как тогда говорили, не покидала Белинского и в то время, как он состоял под влиянием *магнетизера*[5]; да она же почувствовала с первого раза свое родство с тенденцией Гоголя и споспешествовала к разложению самого круга, где Белинский воспитался, на составные части и к уничтожению его целостности — т. е. к смерти[6]. Вот в беглом очерке московская жизнь Белинского, как она мне представляется, но которую вам уже необходимо изложить и обработать в подробности, как один из любопытных фактов русской жизни вообще...

[1] О письмах Белинского к Анненкову см. прим. 2 к письму № 1.

[2] Об этой ошибке Анненкова — см. письмо № 2 и прим. 3 к нему.

[3] «Hallische Jahrbücher» — орган левого крыла гегельянцев, издававшийся Арнольдом Руге и Эрнстом Теодором Эхтермейером в 1837—1841 гг.

[4] Анненков имеет в виду Якова Ивановича Почеку, человека невысокого морального уровня (см. о нем «Лит. наследство», т. 56, 1950, стр. 432—433), А. П. Ефремова и К. А. Беера, приятеля и соседа молодых Бакуниных. О нем и в особенности о Ефремове см. в письмах Белинского (т. XI).

[5] *Магнетизер* — М. А. Бакунин (см. письмо № 2).

[6] Московский кружок Белинского в 1838—1839 гг. составляли его друзья: М. А. Бакунин, В. П. Боткин и И. П. Клюшников. О причинах распада кружка Белинский рассказывает в письме к Н. В. Станкевичу от 29 сентября — 8 октября 1839 г. (XI, 376—412).

* ярость, неистовство (от итал. «furioso»).

5

3 июля н. с. ⟨1874 г.⟩ Баден-Баден.

...Я прочел в июньской книжке «Вестника Европы» продолжение вашей статьи о Белинском и пришел к заключению, мелькавшему и прежде в моей голове, что для составления порядочной биографии известного лица—надо иметь счастие не знавать его при жизни. Ни я и никто другой, находившийся в близких сношениях с Белинским, не в состоянии был бы (не говоря уже о разнице в размерах мысли, таланта и познаний) писать о нем так объективно, хладнокровно и вместе так сочувственно. Горячие воспоминания беспрестанным своим приливом к мозгу сбили бы его непременно с тона и с толку. Примите особенную благодарность за вашу мысль о том, что консервативная теория Белинского 1840 г. стояла выше разодранных протестов прежнего времени, потому что представляла уже систему, из которой мог быть выход, между тем, как из порывов и стремлений никакого выхода не бывает. Эта мысль принадлежит к разряду редких у нас, действительно *независимых* мыслей. Возражение Скабичевскому тоже замечательно[1]. Когда я читал его очень умную и талантливую статью, мне все казалось, что это переложение какой-то чужой истории на наши нравы, как это делают наши водевилисты, заменяя французских Лиодоров — Леонтьевыми и т. д. Я решительно не имею ни одного замечания под рукой на эту главу вашего труда, кроме разве одного, но опять не от вас зависело отстранить его наперед. Все лица московского кружка 30-х годов, конечно, имели одинаковое настроение и шли по одному пути, но каждый имел свою походку и думал по-своему. Тут они как-то все на одно лицо. Станкевич, например, обладал замечательным юмором, еще и не зная этого слова, а между тем это помогало ему останавливаться в раздумье перед всякой эксцентричностию, философской или другой, чего уже не знал тогдашний наш магнетизер, М. Бакунин. Он вовсе не имел юмора, да не имел и страстей, добывая их, как и все другое, головным путем, а потому и морализировал постоянно и, надо сказать, великолепно, не ужасаясь никаких античеловеческих и противоестественных тем, как, например, темы о необходимости страдания для воспитания своего духа. Боткин очень был силен в искусстве всецело, с упоением предаваться добытому созерцанию и с проницательностию браковщика находить в нем стороны, поддерживающие энтузиазм, между тем, как Белинский, никогда не отделяясь от основных идей кружка, беспрестанно задавал ему тяжелые работы своими бунтами против той или другой из них. Вспомните, что прежде эстетики Фишера он, например, объявил II часть «Фауста» туманным произведением, не имеющим никаких отношений к поэзии и искусству. К ужасу друзей, считавших часть сию венцом художническо-философского творчества (см., если не вру, в «Воспоминаниях» Панаева)[2]. Вот эти-то отличия людей, одинаково настроенных, и любопытно было бы развить, что при громадном материале, вами собранном, вам легко сделать, как вы и обещаете впрочем. Но условия, ох — условия журналистики!.. Тут и конец соображениям всякого рода...

Из пяти вопросных пунктов ваших на некоторые я отвечать не в состоянии[3]. Вспомните, что, будучи от малых ногтей петербургской косточкой, я только с 1838 г., т. е. с появления Белинского в Петербурге[4], получил понятие о московском кружке и впоследствии введен был в него, когда его развитие уже кончилось и многие тогда люди хотели позабыть и неохотно приводили себе на память. Вот почему ни о внутренних делах тверского семейства[5], ни о Клюшникове почти ничего сказать не умею, но все, что знаю и что мне известно, по остальным пунктам будет мною изложено откровенно и вам в свое время сообщено.

Еще раз поблагодарю вас за статью. То же вам будет выражать и публика, но я имею еще и личные причины, кроме общих, быть ею довольным и обязанным.

П. Анненков

[1] В июньской книжке «Вестника Европы» была напечатана III глава монографии Пыпина — «Кружок Станкевича; „Телескоп"» (стр. 573—625.— О систематическом взгляде Белинского — стр. 594). В ней Пыпин возражал А. М. Скабичевскому против его тенденциозной характеристики, данной Станкевичу, как самоуслаждающемуся баричу, примиряющемуся со всем существующим. Белинский, по мнению Скабичевского, в кружке Станкевича переживал временное заблуждение, отвлеченный от своего настоящего пути (Скабичевский. Очерки умственного развития нашего общества. 1825—1860. Н. А. Полевой, В. Ф. Одоевский, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов и их сподвижники. Глава VII.— «Отечественные записки», 1871, № 2, стр. 337—357). Пыпин оттенил положительную сторону эстетических и философских взглядов Станкевича, повлиявших на Белинского. Здесь же он хорошо отзывался о биографии Станкевича, принадлежащей перу Анненкова (стр. 594—599).

[2] Белинский писал И. И. Панаеву 19 августа 1839 г.: «Еще давно, прошлою осенью, узнавши нечто из содержания 2-й ч. „Фауста", я с свойственною мне откровенностию и громогласностию провозгласил, что оная 2-я ч. не поэзия, а сухая, мертвая, гнилая символистика и аллегорика. Сперва на меня смотрели как на богохульника, а потом, как на безумца, который врет, что ему взбредется в праздную голову». Далее он излагал статьи Фишера «Die Litteratur über Göthes Faust» («Hallische Jahrbücher», январь—март 1839 г.), взгляды которого совершенно совпадали с его взглядами. Это письмо Белинского Панаев опубликовал в своем «Воспоминании о Белинском».— «Современник», 1860, № 1, стр. 347—350 (XI, 373).

[3] «Пять вопросных пунктов» Пыпина заключались в его письме к Анненкову от 26 мая 1874 г. Приводим их: «Несмотря на мой довольно значительный материал писем Белинского, мне не совсем ясны некоторые личные отношения; мне хотелось бы выяснить их себе, не для того, чтобы об них писать (многого писать еще нельзя, по разным отношениям), но „биографу нужно *все знать*", по вашему справедливому замечанию,— и если б вы дали мне таким же конфиденциальным образом ваши ответы, как я пишу свои вопросы, вы сделали бы мне большое одолжение. Мое изложение в деликатных пунктах, конечно, осталось бы только общим и приблизительным; но, по крайней мере, я мог бы в оттенках выражений дать верный *тон* своему рассказу.

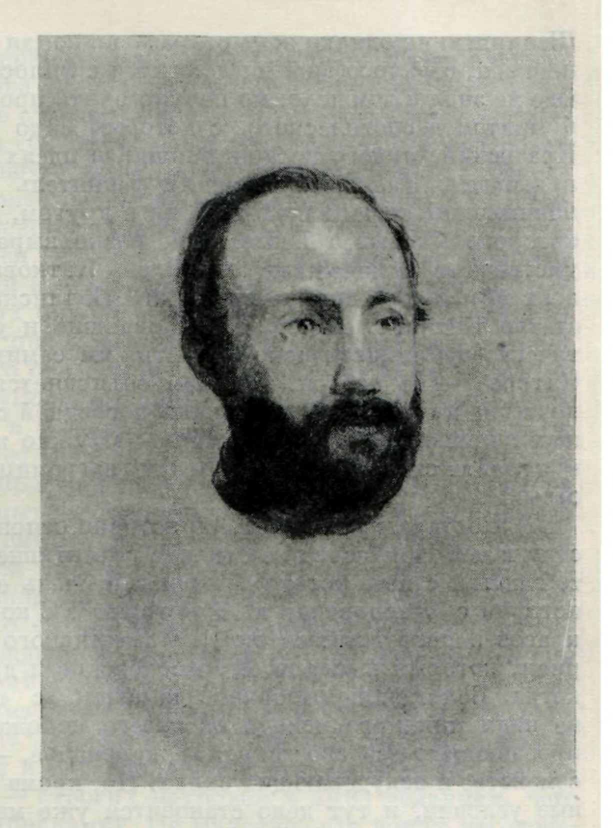
Во-первых, мне все еще несколько темны отношения Белинского к М. А. Бакунину. Многое мне видно по письмам Белинского к Бакунину, которые мне переданы семейством последнего, но письма очевидно не все,— вероятно не все и сохранились. Многие деликатные вопросы затронуты и в этих письмах и делается много намеков, но мне, конечно, хочется *фактов* — о роли Бакунина в семье, об отношениях Станкевича к Люб. Бакуниной (1838) и проч. 2, что за личность был собственно Клюшников, какая была его особенная болезнь, от которой он страдал в это время, какие бывали с ним „экстазы" и пр. 3. Женитьба Белинского — пункт опять очень деликатный, и сведения нужны только для моего собственного ведома — о прежней жизни и характере М. В., пребывании в доме Лажечникова etc. etc. 4. Отношения Белинского с Катковым, которым Белинский одно время и даже долгое время (до поездки Каткова за границу) чрезвычайно восхищался. 5. Ссора Белинского с Краевским и положение в „Современнике" — опять не для печати. В находящейся у меня переписке есть данные и для этого пункта, есть разные рассказы, есть между прочим самые крайние обвинения против Некрасова (слышанные в Москве),— но все это мне хотелось бы точнее проверить.

В моем изложении (теперь у меня написана уже 4-я статья,— почти до переезда Белинского в Петербург), найдутся, конечно, подробности (из переписки) новые и для вас; но такие подробности, взятые из писем. вы могли бы еще осветить внешне— фактическими дополнениями, и имея их, я мог бы впоследствии исправить мое изложение для отдельного издания, какое надеюсь сделать.— Но это впоследствии, а теперь, если бы вы нашли досуг сделать мне просимые заметки (которые могли бы передать для доставления мне Михаилу Матвеевичу ⟨Стасюлевичу⟩), вы очень помогли бы моей работе.

Пишу наскоро и безобразно, торопясь отдать письмо. Думается мне, что вы понимаете совершенно мой интерес к этому делу, и потому не опасаюсь вам надоесть.— Сделайте, что возможно.

Переписки Белинского у меня собралось теперь почти тома на четыре средней величины; но издание ее, я убедился в этом, еще невозможно в настоящее время—хотя и нет в ней многого, что́ было вероятно еще более любопытно и характерно, чем то, что уцелело.

Стасюлевич надеется сам видеться с вами: быть может, вы поговорите с ним и о моих работах; он расскажет вам, как трудно теперь писать что-нибудь и как проблематична



В. П. БОТКИН

Акварель К. А. Горбунова, начало 1840-х гг.

Возможно, что именно об этом портрете Белинский писал Боткину: «Портрет твой удался, ты на нем, как живой....» (Из письма от 8 сентября 1841 г.)

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

становится вообще всякая литература» (ИРЛИ. 5695, XXIX б. 56, лл. 10—11; частично опубликовано в «Лит. наследстве», т. 56, стр. 307).

[4] Здесь память изменила Анненкову, — Белинский переехал в Петербург из Москвы в 20-х числах октября 1839 г.

[5] Тверское семейство — Бакунины, жившие в своем имении Премухино в Тверской губернии.

6

12 июля н. с. ⟨1874 г.⟩ Баден-Баден.

Настоящим моим письмом, многоуважаемый Александр Николаевич, я отвечаю на те из ваших вопросных пунктов, которые мне ближе других известны.

1) Разрыв Белинского с Катковым произошел чрезвычайно быстро. Катков, ожесточенно преследовавший Белинского в Петербурге за его патриотические статьи, превратился в шеллингиниста, как только ступил на почву Берлина, куда *прибыл со мной* в октябре 1840. При отправлении нашем из Петербурга Белинский отзывался мне еще очень симпатично о Каткове, поручая, между прочим, употребить все усилия для предотвращения дуэли между ним, Катковым, и Бакуниным, которая, вследствие какой-то московской ссоры или лучше драки, назначена была ими в Берлине и в которой я, кажется, предназначался играть роль секунданта одной стороны (катковской). К счастию, по взаимному предрасположению врагов к сделке, дуэль не состоялась. Переворот в Белинском относительно Каткова произошел уже без меня, но вот что я слышал впоследствии. Катков, не посылая ничего в редакцию «Отечественных записок», требовал от нее настоятельно новых жертв и постоянного содержания, давая разуметь, что от него зависит сообщить журналу особенный смысл и выражение. При этом, как кажется, подразумевалась все та же система

Шеллинга, но однако ж не старая, знакомая Белинскому, а новая, второго периода, с философией мифологии и с философией откровения. Белинский еще не знал в чем дело, но почуял опять пророка и вещателя в Каткове — и притом деспотического, с которым надо будет долго разделываться. Краевский, ничего не понимавший в идеях, но очень много понимавший в деньгах, Панаев, тогдашний ревнитель «Отечественных записок», не понимавший ничего ни в том, ни в другом, находились в недоумении, из которого их вывел Белинский, резко выразивший свое негодование на умственные и денежные претензии Каткова. Так и произошел разрыв, а за ним и для подкрепленья его Белинский посмотрел уже назад, на статьи Каткова, ему предшествовавшие, и убедился, что для новой эстетическо-публицистической дороги, им самим теперь проходимой, потеря Каткова — не потеря. Вот чем объясняется и резкое слово Белинского почти на другой день появления последней статьи Каткова в «Отечественных записках» «Сарра Толстая».—«Нужно же ему было сперва нагадить в журнале статьей, а потом уехать заграницу» (от свидетеля, слышавшего отзыв)[1].

2) Постараюсь говорить об истории основания «Современника» и о участии в ней Некрасова как можно объективнее. Эта история есть оригинал той копии с нее, которая позднее и очень еще недавно явилась в форме истории с Антоновичем и Жуковским[2]. С коммерческой точки зрения Некрасов непогрешим: он *купил* у Белинского весь тот литературный материал, который выслали ему московские и другие друзья для альманаха, когда Белинский разорвал, наконец, с «Отечественными записками», не видя никакого исхода из своего положения рабочего при журнале, проедающего все свое скудное жалованье, — это еще при умножающемся семействе и оскудевающих силах. Но, кроме *купли*, были еще и нравственные условия, и тут дело становится уже менее ясным. Положено было именно с помощию приобретенного материала начать издание нового журнала, в котором Белинский был бы главным хозяином и как таковой получал бы, кроме платы за статьи, и известную часть имеющего образоваться дохода. При этом, однако ж, поставлено было непременным условием, чтобы все московские друзья Белинского (Герцен, Грановский, Кавелин, и проч.) покинули редакцию «Отечественных записок» и формально заявили о своем переходе в новый журнал: для этого и нужно было поставить во главе его имя Белинского и подвигнуть последнего на настоятельные требования этой меры от друзей. Однако же московские и петербургские идеалисты показали при сем случае гораздо более практического смысла и проницательности, чем от них ожидали: они не хотели уничтожения *одного* либерального органа в пользу другого, еще не определившегося и думали, что они оба могут существовать одновременно, а относительно *нравственного* вопроса не усматривали большого различия между Краевским и Некрасовым. Так мало желали они погибели «Отечественных записок», что на другой, так сказать, день выхода из редакции Белинского — они уже думали об отыскании журналу, взамен потерянного критика, —нового, способного держать знамя независимого мышления. Человек, введший в редакцию «Отечественных записок» покойного Майкова, был не кто другой, как И. С. Тургенев —горячий друг Белинского и самого Некрасова. Когда все переговоры и убеждения первого не достигли у его друзей никаких результатов, то и главенство его в журнале и все прочие условия отошли мало-помалу в область фикций, каковыми они были и спервоначала. Вы слышали большие ругательства на Некрасова в Москве: они объясняются именно этим родом дела. Белинский оказался таким же чернорабочим в новом журнале, каким был и в старом: отсюда и вопли негодования у людей, слышавших заявления и обещания совсем другого рода. Может быть, иначе и нельзя было: Некрасову приходилось платить

ренту Плетневу, журнал на первых порах приносил мало и уже начинал поедать все состояние Панаева (какие жалобы на свое вмешательство в литературу приходилось мне слышать около 1848 от него, когда состояния уже не было), но худшее состояло в том, что Белинский под конец жизни не только не имел своего органа, но и третировался уже *свысока* теми, которым дал жизнь [3]. Новая редакция не хотела и слышать об изменившихся отношениях Белинского к нашему славянофильству, к которому он, как будто, склонялся, начиная думать, что благожелательное изучение народных стремлений и воззрений может быть орудием либерализма не хуже многих других орудий, — ей это казалось отступничеством [4]. Многие из его заметок она вовсе не принимала. В Зальцбрунне Белинский мне жаловался, что она отвергла или поправила (хорошенько не помню) его рецензию на «Воспоминания Булгарина». «Видите, — говорил он, — я уже не вправе в моем журнале сказать, что первая часть Булгарина, где он рассказывает, как капитаны 1-го кадетского корпуса, директора, инспектора и все предержащие власти драли его и других детей просто из потехи, — любопытна и занимательна [5]. Вы бы ее прочли с интересом и проч.». Новой редакции эта похвала Булгарину казалась оскорблением ветхозаветного кодекса либерализма. Много согрешил при этом *формально*-передовом настроении редакции Боткин, утверждавший ее в решимости сохранять строго все предания журналистики старого времени, Белинским же и утвержденной. Боткин даже просто советовал *не* печатать последних «обозрений» Белинского, говоря — «нельзя же из уважения к прошлому принимать все марания окончательно исписавшегося и выдохшегося господина» [6]. Таким образом, Белинский и умер пролетарием в двойном смысле — и в материальном и в нравственном, ибо теперь нажил еще и опекунов — строгих патронов в лице редакции, чего не знал с «Отечественными записками». Не мудрено, что вопли негодования и осуждения, тогда возникшие у друзей Белинского против Некрасова, раздаются еще и теперь, да они пробьются и в потомство, как мне кажется.

Об остальном, что еще вспомнится, буду писать по почте. Прощайте.

П. Анненков

Июль 1874.

[1] Эволюцию отношения Белинского к молодому Каткову от восторга до полного разрыва можно проследить по письмам критика к Боткину с осени 1839 г. до февраля 1843 г. (тт. XI и XII).— Статья Каткова о «Сочинениях» Сарры Толстой была напечатана в октябрьской книжке «Отечественных записок» 1840 г. В пору ее появления Белинский еще некритически принимал «Эстетику» Гегеля, популяризируемую Катковым в этой статье. Развенчание Каткова и его статьи о Толстой ярко выражено в письме Белинского к Боткину от 30 декабря 1840 г.— 22 января 1841 г. (XII, 11).

Намечавшаяся и несостоявшаяся дуэль между Бакуниным и Катковым была вызвана крупной ссорой их на квартире Белинского в начале августа 1840 г. Катков дал пощечину Бакунину за его сплетни о романе Каткова с М. Л. Огаревой (см. описание этой сцены в письме Белинского к Боткину от 12—16 августа 1840 г.— XI, 541—544).

[2] Анненков был плохо осведомлен об истории, происшедшей у М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского с Некрасовым. В 1867 г. при организации новой редакции «Отечественных записок», купленных Некрасовым у Краевского, Жуковский и Антонович, старые сотрудники «Современника», отказались вступить в новую редакцию якобы из-за материальных расхождений с Некрасовым. На самом же деле этот конфликт имел не материальную, а другую подоплеку: Некрасов не выполнил пожеланий своих товарищей под нажимом Министерства внутренних дел, потребовавшего устранения их от участия в «Отечественных записках» (подробно см. об этом в статье: Б. В. Папковский и С. А. Макашин. Некрасов и литературная политика самодержавия.— «Лит. наследство», т. 49-50, 1949, стр. 442—452).

[3] Мнение Анненкова о недостаточно корректном отношении Некрасова к интересам Белинского, моральным и материальным, при организации «Современника» в 1847 г., разделяли все друзья критика. Попытки Белинского оправдать Некрасова не имели у них никакого успеха (см. письма Белинского, в частности, к Тургеневу от

19 февраля 1847 г. и к Боткину от 4—8 ноября 1847 г. и наш комментарий к ним — XII, 333—336, 403—422, 551, 563).

[4] Об отношении Белинского к славянофильству — см. следующее письмо.

[5] Речь идет о положительной рецензии Белинского на книгу «Воспоминания Фаддея Булгарина. Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни. Часть третья. СПб., 1847». В своем отзыве Белинский выдвигает правило, принятое редакцией «Современника», судить беспристрастно и «иметь дело только с книгами и мнениями, а не с авторами и лицами». Статья эта была напечатана в № 2 «Современника» 1847 г. (без подписи) в сильно измененном и сокращенном виде. По рукописи (ныне утраченной) текст восстановлен впервые Н. Х. Кетчером в Собр. соч. Белинского, 1859 г. (ч. XI, стр. 115; ср. Белинский, т. X, стр. 85—87; текст «Современника»—см. там же, стр. 413—414). Редактор десятого тома сочинений Белинского издания Академии наук Е. И. Кийко, говоря, что установить кто переделывал статью не удалось, заявляет: «О том, что статья могла быть переделана в редакции помимо воли Белинского, очень неопределенно пишет в своих воспоминаниях П. В. Анненков (см. „Литературные воспоминания“, 1928, стр. 556—557). Необходимо, однако, отметить, что эта часть воспоминаний Анненкова о редакционных делах „Современника“ написана им не по личным впечатлениям, так как он сам в это время жил за границей» (X, 440). Е. И. Кийко не права: во-первых, Анненков в «Замечательном десятилетии» пишет вполне определенно («они ⟨соредакторы Белинского⟩ напечатали статейку, уже переработав и переиначив ее до неузнаваемости»); во-вторых, Е. И. Кийко недооценила компетентности Анненкова, не только переписывавшегося с Белинским, но и *жившего с ним вместе* в Зальцбрунне и Париже с 29 мая/10 июня по 11/23 сентября 1847 г.

[6] Отношение к Белинскому как к деятелю, уже сходящему со сцены, Боткин ярко выразил в письме к Краевскому от 3 апреля 1847 г.: «Скажу вам по секрету, я считаю литературное поприще Белинского поконченным» («Отчет Публичной библиотеки за 1889 г.». СПб., 1893, прилож., стр. 79).

7

25 октября н. с. 1874 г. Баден-Баден.

Многоуважаемый Александр Николаевич,

Я еще не видал вашей последней статьи, а между тем откладывать ответа на ваши вопросы далее не могу и не желаю [1]. Относительно отзывов Боткина о Белинском скажу вам следующее. В характере того времени вообще была нецеремонность обращения с самолюбиями друзей и приятелей, что добрых отношений между ними не нарушало, может быть, потому, что каждый имел в виду возможность вознаградить себя при случае на первом ближнем человеке. Это казалось даже доблестию некоторого рода: Грановский очень строго отзывался о Белинском, по временам; Белинский часто горько подсмеивался над Грановским, а об Искандере и говорить нечего: почти никто и не отходил от него без раны. Таков был тон, но благорасположению и сочувствию друзей он не мешал. Они любили друг друга. Как-то зло и взыскательно, а всех более по капризности своей природы, отличался Боткин этими переходами от нежности к диффамации. Так как общая психическая черта времени являлась у него уже в карикатуре, то и порождала уморительные рассказы об одновременном плевании и целовании, которые он производил на одном и том же лице. Но мое сообщение об его отзыве не принадлежит к анекдотам. Боткин действительно много помог Белинскому при отъезде последнего за границу, открыв у себя подписку для этой цели, и тот же Боткин, при получении *последнего* обозрения русской литературы, написанного Белинским для «Современника», разразился теми словами и вообще тем презрением, о которых я упоминал. Тут есть живой свидетель, именно Некрасов, который и слышал все его филиппики и поощрения не слушаться одряхлевшего писателя. Можно спросить у этого свидетеля, если нужно, но вообще никакой вражды между двумя старыми приятелями при этом не было. Весь этот круг держал вражду про запас только для подлецов, негодяев, гасителей и притеснителей всякого рода [2].

О наклонности к славянофильству Белинского имею сказать следующее. Меня изумило и отчасти даже смутило ваше известие, что вы не имеете

понятия и в первый раз слышите об этом факте, тогда как я думал, что это дело общеизвестное и отражается в последних статьях, разборах и обозрениях Белинского. Не то чтоб он почувствовал симпатии к какой-либо части воззрений и решений славянофильства, но он признал, что самая задача их — выставить вперед народ, хотя бы и мечтательный, и заслониться им — правильна. Когда мы выехали с ним из Зальцбрунна в Париж в 1847 г., — там вопрос этот подымался в обычном нашем кругу весьма часто и всегда по инициативе Белинского. Говорилось тогда многое и именно, что за славянами есть кое-что, а за западниками, кроме Европы, ничего нет, а Европа на русской почве имеет значение не выше шиша (не надо забывать времени бесед). Славяне имеют фальшивый вид вооруженных людей, а западники совершенно истинный вид нищих, с пустыми руками. И первое казалось лучше. Искандер повторял в разных видах свою любимую мысль, что покуда западники не завладеют со своей точки зрения всеми вопросами, задачами и поползновениями славянофильства, — до тех пор никакого дела не сделается ни в жизни, ни в литературе, с чем соглашался и Белинский, прибавляя только, что для этого прежде всего надобно, чтоб все мы, западники и славяне, перемерли до единого. И опять свидетелем наклонности Белинского к славянской идее выставляю Некрасова; он тогда, помнится, жаловался на эту примесь в деятельности критика. Вопрос до того любопытен для меня самого, что очень бы хотелось знать, к каким результатам по поводу его придете вы сами? А решить его надо[3].

П. Анненков

[1] Последняя статья Пыпина — IV глава монографии Белинского — «Гегельянство».— «Вестник Европы», 1874, № 10, стр. 469—541.

Вопросы Пыпина заключались в его письме к Анненкову от 23 сентября 1874 г.:

«Мне хотелось бы, во-первых, ближайших указаний о том, в чем состояло то изменение понятий у Белинского в последнее время,— вследствие которого он, по вашим словам, как будто склонялся к славянофильству. Эта черта кажется мне чрезвычайно интересной, и если мне придется упоминать о ней (как, вероятно, и придется), мне не хотелось бы оставаться при одном общем, голословном указании. Если бы вы могли прибавить несколько подробностей, примеров,— это было бы для меня очень важно.

Совершенной новостью для ⟨меня⟩ были ваши упоминания о роли Боткина за то же последнее время; я очень бы желал также несколько лишних подробностей об этом (т. е. о его патронстве над Белинским, его отзывах о нем, как об „исписавшемся и выдохшемся" господине). Я этого ничего не знал, и только от вас могу теперь узнать это. Я представлял себе эти отношения иначе. Мне казалось, что Белинский оставался с ним в дружеских отношениях, и я знал два пункта некоторого разногласия: 1) Мне рассказывали, что Боткин по возвращении своем из-за границы (кажется в конце 1846 или начале 1847) произвел на Белинского не весьма приятное личное впечатление, так как (говорили мне) в Боткине уже сквозил взгляд на вещи, развившийся впоследствии известным образом, т. е. буржуазный или лавочнический консерватизм, и известное эпикурейство, для которого и обожаемое прежде искусство служило лишним дополнением. 2) Боткин после возникновения „Современника" продолжал писать в „Отечественные записки", и Белинский писал к нему известное большое письмо ⟨...⟩. Затем мне казалось, что Боткин сохранял к нему прежнее расположение, например, помог отчасти его путешествию за границу» («Лит. наследство», т. 57, стр. 307).

[2] Анненков верно охарактеризовал взаимоотношения Белинского с Боткиным. Несмотря на резкие высказывания Боткина о последних статьях Белинского, старая дружба их не поколебалась. Боткин действительно собрал 2000 рублей на поездку Белинского за границу (см. письмо Белинского к Боткину от 4—8 ноября 1847 г.).

«Последнее обозрение» Белинского — «Взгляд на русскую литературу 1847 года».

[3] Анненков несколько ограниченно рассматривает симпатии Белинского к славянофильству. Белинский, как и Герцен, один из способов борьбы с самодержавием видел в развитии народного самосознания, что и сближало иногда его взгляды с некоторыми положениями славянофилов. Ключ к этим настроениям находим в строках письма Белинского к Кавелину от 22 ноября 1847 г.: «Вы обвиняете меня в славянофильстве. Это не совсем неосновательно; но только и в этом отношении я с вами едва ли расхожусь. Как и вы, я люблю русского человека и верю великой будущности России. Но, как и вы, я ничего не строю на основании этой любви и этой веры, не употребляю.

их как неопровержимые доказательства»; «Терпеть не могу восторженных патриотов, выезжающих вечно на междометиях или на квасу да каше», «но, признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве. Как бы ни уверяли они себя, что живут интересами той или другой, по их мнению, представляющей человечество страны,—не верю я их интересам» и т. д. (XII, 433). К официальному славянофильству же отношение Белинского оставалось до конца неизменно отрицательным. Оно определенно выражено в одной из его последних установочных статей «Ответ „Москвитянину"».

8

2 ноября н. с. 〈1874 г.〉 Баден-Баден.

Я недавно отправил вам, Александр Николаевич, одно письмо, а теперь принимаюсь снова за перо. Я получил оттиск последней вашей статьи и под ее влиянием пишу к вам. Многое из рассказанного в ней мне было знакомо, но как знакомо? Почти так, как иному ревностному посетителю чтений в Соляном городке делается знакома история мира по туманным картинам, которые в нем представляются. Все эти убегающие образы вы превратили в ясные, живые идеи, осязательные до того, что, кажется, можно их нащупать руками, а сколько неверных изъяснений, догадок, предположений, более или менее азартных и неразумных, отстранили вы мимоходом. Я наслаждался чтением вашей статьи, как давно не наслаждался, разбирая буквы и строки русской печатной книги. Прошу не принять этого выражения за комплимент и лесть. Я уже настолько стар и настолько вольная птица, что не имею нужды врать на себя или подкупать кого-либо враньем моим. И мнение мое, теперь высказываемое, — вызвано столько же великолепной, драгоценной коллекцией материалов биографических, употребленных вами в дело, сколько и вашим личным способом их толкования, группировки, освещения. В целом по всей этой биографии мелькают лучи, озаряющие душу Белинского до самых тайных ее уголков и извивов. По прочтении ее, однако ж, я почувствовал в себе возникновение претензии на вас, добрейший Александр Николаевич. Как можно было, обладая таким сокровищем материалов, обращаться за сведениями к человеку, наполовину растерявшему свои воспоминания или не собравшему их в своем мозгу? С последней страницей этого превосходного очерка, мне сделалось положительно стыдно за свои сообщения, за пустые черты или не идущие к лицам, о которых говорится, или идущие мимо их к другим, о которых не говорится. Вся моя корреспонденция с вами, перед вашей биографической постройкой—показалась мне гадким, вертопрашным фельетоном, бросающимся в разные стороны, из которых ни одной не знает даже и приблизительно. И вы бы мне сделали большое одолжение, если бы ее истребили. Я полагаю, что то же должны вам сказать теперь и все другие современники Белинского, с которыми вы входили в сношения.

Да, Александр Николаевич, кончайте ваш труд. Задачу сделаться историком своего века — вы разрешаете при данных обстоятельствах и условиях жизни так, как она может быть только разрешена.

Весь ваш П. Анненков

В эти же дни, 24 октября/5 ноября 1874 г. Анненков писал Тургеневу: «Пыпин дал наилюбопытнейшую переписку Белинского, которая так и бьет своей правдой. Вот был господин, который себя отпечатывал в каждой букве письма и в каждом слове разговора. Отпечатки эти подобраны очень ловко Пыпиным и составили такую физиономию, что оторваться нельзя. Повеяло ли и на вас от статьи этим послушным и ярым гением, кротким и бурным в одно время, которого мы знали?

Я благодарил Пыпина за произведенное им воскрешение мертвеца, который почти поцеловался со мной из его статьи» (неизд.— ИРЛИ, ф. 7, ед. хр. 10).

А. А. НАУМОВ И ЕГО КАРТИНА «БЕЛИНСКИЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ»

Сообщение С. А. Рейсера

Смерть спасла Белинского от Петропавловской крепости, но его литературное наследие долго находилось под спудом. Самое имя Белинского в течение многих лет было запретно, и о нем говорилось обиняками, как о «критике гоголевского периода», «покойном русском критике», «авторе статей о Пушкине», «сотруднике „Современника"» и т. д. Произведения Белинского до 1856 г. не переиздавались, а позднее длительное время не допускались в общественные библиотеки и исключались из школьных программ.

Крупнейший деятель передовой русской культуры, Белинский сыграл немалую роль и в истории русского изобразительного искусства. Идеи Белинского оказали существенное влияние на творчество виднейших художников.

Судьба картины Наумова «Белинский перед смертью» — характерный эпизод в истории попыток самодержавной власти исказить представление о Белинском, как о борце против царско-крепостнического строя.

I

Алексей Аввакумович Наумов родился 5 февраля 1840 г. Он был сыном крепостного крестьянина[1]. Некоторое время он учился в городском училище во Владимире, затем переехал в Петербург, где посещал воскресные классы Петербургской рисовальной школы для вольноприходящих (впоследствии рисовальная школа Общества поощрения художеств). В 1859 г. Наумов поступил в Академию художеств и вскоре выдвинулся как талантливый рисовальщик. Картины Наумова начали появляться на выставках. В 1867 г. он получил две малые серебряные медали (по рисованию и живописи), в 1872 г. —звание художника 3-й степени, в 1873 г. — 2-й степени, в 1874 г. — 1-й. В 1878 г. Наумов получил вторую премию Общества поощрения художеств (за «Сцену в келье Чудова монастыря»).

Картины Наумова (в 1873, 1875 и 1876 гг.) экспонировались и были премированы на лондонской и филадельфийской международных выставках; художник снова получил медали и почетные отзывы. Выставки его картин в Харькове и в Киеве в 1886 г. прошли с успехом; картины охотно раскупались.

Наумову принадлежит свыше пятидесяти полотен, рассеянных в настоящее время по государственным музеям и частным собраниям Советского Союза. Это, прежде всего, жанровые сцены из крестьянской жизни. Стóит перечислить некоторые, более известные: «Дедушка», «Крестьянские дети, рассматривающие глобус», «Курная изба», «Староста», «Пастух», «Вдова», «Голова девочки», «Старый деревенский портной»,

«Деревенская кухня», «Осень», «Голова старика», «Путник», «Душевный совет», «Старый друг», «На опушке леса», «Странствующий богомолец». Сюда же относится и «Катерина» 1886 г. (на сюжет поэмы Шевченко).

Такие картины, как «Вид книжного магазина Глазунова», «Монах-капуцин» (в 1874 г. художник был в Риме) являются более или менее случайными в творчестве Наумова. Жизнь на Кавказе во второй половине 1870-х годов отразилась в живописи Наумова несколькими картинами: «Проводы масленицы в Тифлисе», «Ахалцыхский еврей-гахам», «Угольщик-имеретин», «Головка мальчика-имеретина» и др.

Наумов-портретист почти неизвестен. Сохранились лишь сведения о его портретах В. П. Острогорского (1867 г.) и П. И. Чайковского (1894 г.)[2].

Художник пробовал свои силы и в религиозной живописи: «Благословение детей» — картина явно неудавшаяся. Не выше ремесленного стандарта были и некоторые иконы, которые ему приходилось писать из нужды[3].

Мы почти ничего не знаем о мировоззрении Наумова, о его взглядах на искусство, о людях, с которыми он был близок. Он был свой человек в кругу поэта Спиридона Дрожжина[4], но эта биографическая справка еще ничего не разъясняет в идеологии Наумова. Политические мотивы, довольно глухие вообще в его творчестве, прозвучали лишь однажды, в картине «Разлука. Сцена из недавнего прошлого»[5]. Дата этой картины не установлена. В ней изображено прощание с женой отправляющегося в ссылку.

В 1884 г. Наумов написал две картины на литературно-биографические темы. Сюжетами он выбрал трагическую гибель Пушкина и смерть Белинского. Первая из этих картин быстро приобрела популярность, вокруг второй завязалась сложная и длительная борьба.

Отзывы прессы о большинстве картин Наумова были сдержанны. Критика отмечала однообразие красок, невыразительный рисунок, упрощение сюжета. Характерно, что Наумов оставался чужд передвижникам. 26 марта 1876 г. И. Е. Репин из Парижа писал В. В. Стасову, очевидно, в ответ на какое-то его замечание: «...ничего не жду от Наумова (из другого-то лагеря)...»[6]

Стасов, впрочем, не разделял такой сурово-безнадежной оценки и в статье 1876 г., посвященной выставке «Общества выставок», выделил кавказские картины Наумова. Оценивая картину «Тифлисская масленица», он писал: «Г-н Наумов покуда классный художник, значит, кто-то начинающий, значит, нельзя с него много и требовать. А все-таки, мне кажется, из него может выйти толк, хотя его кисть покуда порядочно суховата и сера». Сочувственнее отзыв Стасова об «Ахалцыхском еврее», — заканчивающийся словами: «Авось из этого художника что-нибудь и выработается впоследствии»[7].

Последние годы больной туберкулезом и обремененный семьей Наумов жил частными уроками, преподавал во 2-й петербургской гимназии, в приюте принца Ольденбургского, а в 1892 г. выпустил сочувственно встреченное критикой руководство по рисованию[8].

29 октября 1895 г. Наумов скончался.

II

Картина Наумова о Белинском широко известна; в течение семидесяти лет она воспроизводилась десятки, если не сотни раз, и прочно вошла в наше сознание. Зрительное представление о Белинском людей нашего поколения, в значительной степени, восходит именно к этой картине. На картине изображено, как жена Белинского сообщает мужу о приходе

БЕЛИНСКИЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ

Гравюра В. Ф. Адта, 1898 г. с картины А. А. Наумова, 1884 г.

Воспроизведение первоначального варианта картины

Музей-квартира Н. А. Некрасова, Ленинград

жандарма, явившегося с повесткой о вызове в III Отделение. Справа, в глубине виден самый жандарм, разговаривающий с прислугой. У больного Белинского в это время сидят Некрасов и Панаев. Возле стола играет в куклы дочь Белинского — Ольга [9].

Круг источников, из которых Наумов мог почерпнуть основные сведения о Белинском и об эпизоде с вызовом его в III Отделение, устанавливается легко.

Единственной монографией о Белинском был труд А. Н. Пыпина «Белинский, его жизнь и переписка», вышедший в 1876 г. (а до того напечатанный в «Вестнике Европы» 1874—1875 гг.). В нем эпизод о предсмертных волнениях великого критика дан в самой общей форме. Пыпин обиняками рассказывает о том, как интерес к Белинскому от цензурных властей «перешел и в другое ведомство». Далее он сообщает о «неприятных письмах», полученных Белинским от М. М. Попова, должность и место службы которого тоже прямо не названы: есть лишь глухая ссылка на 1-ю главу монографии, где сказано, что Попов был старшим чиновником III Отделения. Один только раз во всем рассказе прямо назван жандарм, явившийся с повесткой: «По тогдашним обстоятельствам можно понять, какое впечатление должно было произвести неожиданное и загадочное появление этого посланного 〈...〉 в квартире Белинского»[10].

Рассказ Пыпина восходит, в основном, к воспоминаниям И. И. Панаева. «Воспоминание о Белинском» Панаева было опубликовано в «Современнике» 1860 г. (№ 1), и Наумов знал его по тексту «Современника» или отдельного издания 1876 г. Эпизод с вызовом в III Отделение был изложен там буквально в нескольких строках: ни одно имя названо не было.

Вся история стала известна широкой публике, когда в «Русской старине» 1882 г. были напечатаны два письма Попова к Белинскому — от 20 февраля и 27 марта 1848 г.[11] Редакция комментировала их очень сдержанно, но не могла все же не написать о том, что этими письмами Белинский был «крайне потрясен и взволнован». Эти материалы Наумов не мог не знать. В письмах содержалось приглашение явиться в III Отделение. В. Е. Якушкин передает следующий рассказ Некрасова П. А. Ефремову: вспоминая кончину Белинского, умирающий поэт в 1876 или 1877 г. говорил: «Вы представить себе не можете, какое было тогда время. Нам 〈Некрасову и Панаеву. — *С. Р.*〉 пришлось как раз сидеть у смертельно больного Белинского, когда к нему принесли письмо от Попова, и посланный, когда ему сказали, что Белинский болен, для того, чтобы удостовериться в этом, сам заглянул в комнату. Потом дважды в день приходилось сообщать о состоянии здоровья Белинского»[12]. Таким образом, на картине изображено событие, происшедшее 27 марта 1848 г.

Кроме воспоминаний Панаева, знал, конечно, Наумов и «Воспоминания о Белинском» Тургенева. Они были напечатаны в «Вестнике Европы» за 1869 г. (№ 4) и перепечатаны в первом томе «Сочинений» Тургенева, изданном в 1880 г. «...какие беды ожидали его, если б он остался жив! Известно, что полиция ежедневно справлялась о состоянии его здоровья, о ходе его агонии... От тяжких испытаний избавила его смерть», — писал Тургенев[13].

Помимо находившихся в распоряжении художника печатных материалов, ему, вероятно, были известны и неизданные в то время данные — он мог получить их, например, от П. А. Ефремова или А. Н. Пыпина, у которого оставался целый ряд сведений, не включенных в свое время в его книгу по цензурным соображениям. Возможно, например, что Наумов знал опубликованное только в наши дни письмо И. Н. Захарьина (Якунина) к А. Н. Пыпину от 20 августа 1874 г. Захарьин передавал потрясающий рассказ родственника Белинского, Д. П. Иванова, о том, как «в последние часы жизни Белинского к нему в квартиру, ночью, явился

адъютант генерала Дубельта... Умирающий Белинский был уже в бреду и без сознания; завидя гостей, он приподнялся в постели и стал говорить „речь к народу“... Мария Васильевна, сообщавшая этот факт г. Иванову, говорила что эта „речь“, произнесенная в бреду и почти в предсмертной агонии, была так жгуча и увлекательна, как никогда... Она и 4-х летняя дочь стояли у кровати... Бледен и молчалив был жандармский офицер... „Маша! растолкуй им — они не понимают!..“ — проговорил умирающий, указывая на жандармов...»[14]

О тщательности и добросовестности, с какой Наумов собирал материалы для своей картины, свидетельствует сохраненный И. И. Ясинским рассказ о визите художника к Гончарову:

«...Беседа была прервана средних лет человеком, низко поклонившимся Гончарову еще у дверей.

— Имею честь наименоваться — художник Наумов.

— Пожалуйста, что вам угодно?

— Вы изволили быть современником незабвенного Виссариона Григорьевича Белинского и, наверно, бывать у него, а я хочу изобразить тот момент его жизни, когда он, больной чахоткою, лежит у себя и жандарм справляется об его здоровье. Так мне нужно было бы знать приблизительно, какая была обстановка в его кабинете? Где стоял стол, книжный шкаф, диван?

Гончаров в нескольких словах удовлетворил его, пояснив, что у Белинского он бывал довольно редко, хотя игрывал с ним в преферанс. Белинский жил тогда на Лиговке, во дворе.

Художник все время стоял, занес что-то в записную свою книжку и откланялся»[15].

Наумов, несомненно, знал гораздо больше того, что мог изобразить на картине: но и то, что было показано, производило очень сильное впечатление, рисуя зрителю обстановку, в которой умирал великий критик. Картина Наумова договаривала то, что не было написано, но подразумевалось у Панаева и Пыпина, и, конечно, имела значение пропагандистско-революционного документа.

Задача художника состояла не в том, чтобы дать еще один портрет Белинского, а в том, чтобы показать последнюю трагическую страницу жизни великого критика.

По поводу разных возможностей портретного изображения передовых деятелей Маркс и Энгельс, еще в 1850 г., писали в одной из рецензий: «Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии движения, — до революции ли, в тайных обществах или печати, после нее ли в качестве официальных лиц — были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной яркости. Все существующие описания никогда не рисуют этих лиц в их реальном виде, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения»[16].

Вряд ли Наумов знал эти слова Маркса и Энгельса, но его портретная картина вполне соответствовала формулированной в этих строках задаче. Перед нами — не официальное изображение в традиции русской портретной живописи XVIII — XIX вв., а борец, показанный накануне смерти и все же в борьбе.

Все лица изображены на картине портретно. Белинский написан довольно близко к рисунку Е. А. Языковой. Этот рисунок был сделан незадолго до смерти Белинского по памяти, вскоре после посещения умирающего критика. С 1880 г. подлинник Языковой находился у

П. М. Третьякова, но существовали еще автокопия и копия художника А. Редера,—и то и другое принадлежало в свое время Некрасову. После его смерти вдова поэта — З. Н. Некрасова — подарила копию Редера П. А. Ефремову, который напечатал ее 1 ноября 1880 г. в № 44 «Живописного обозрения». Этот портрет неоднократно воспроизводился и вместе с близким и сделанным в том же ракурсе портретом К. А. Горбунова приобрел широкую популярность[17].

Трудно сказать, насколько точно изображена М. В. Белинская. В печати известны лишь более поздние ее портреты[18]; вероятно, в распоряжении художника были какие-то ее изображения или он опирался на рассказы Пыпина, Ефремова и других о ее наружности.

Вряд ли Наумов знал портреты Панаева. Во всяком случае, фотография, воспроизведенная в «Русском художественном листке» В. Ф. Тимма (1857, № 34), очень далека от того, что мы видим на картине Наумова[19].

Что же касается Некрасова, то здесь Наумов совершенно сознательно допустил до сих пор еще никем не отмеченный анахронизм. Для того чтобы сделать картину наиболее действенной и доходчивой, надо было, чтобы зритель сразу узнавал привычных им людей. Поэтому Наумов подчеркнул сходство Некрасова с распространенными и популярными его изображениями: широко известными фотографиями Г. Деньера (1864 г.), С. Л. Левицкого (1864 г.) и др. и портретом И. Н. Крамского (1877 г.)[20]. На одной из фотографий Левицкого Некрасов правой рукой держится за бороду — так же, как и у Наумова; различие лишь в том, что у Левицкого Некрасов изображен в три четверти вправо, а у Наумова в профиль направо.

На указанных фотографиях Некрасову сорок три года. Между тем в год смерти Белинского Некрасову было неполных 27 лет. Естественно, облик Некрасова в молодости был иной: сто́ит сравнить акварель М. Захарова 1847 г., чтобы понять эту разницу. У Захарова Некрасов изображен полнощеким провинциалом, безбородым, с небольшими усиками, с прической вроде гоголевской[21]. Взгляд устремлен вдаль, без того горестного выражения, которое так характерно для Некрасова 1860-х и следующих годов. Даже карандашный набросок И. Петровского (его Наумов не мог знать) или литография В. Ф. Тимма (опубликованная в «Русском художественном листке» 1857 г.) дают совсем отличный от наумовского облик. Лишь в профильном (левом) изображении литографии П. Бореля по фотографии Деньера 1859 г. находим сходство с портретами Некрасова, популярными в 1880-х годах[22].

III

Картина Наумова была закончена в самом начале 1884 г.[23]

Вскоре же начались хлопоты об ее экспонировании. Общественное мнение было подготовлено несколькими газетными заметками информационного характера. По-видимому, первой и наиболее подробной была заметка в «Новостях и Биржевой газете». Автор ее, «Клм. Кнд.», то есть «Коломенский Кандид» — В. О. Михневич, напечатал о новой картине следующее сообщение. Приводим его с небольшими сокращениями:

Мне сейчас посчастливилось видать замечательную художественную новость, о которой очень мало кто знает. Это сейчас только вышедшая из-под кисти картина молодого ‹?!› художника — А. А. Наумова, имя которого до сих пор редко встречалось в наших художественных летописях. Картина г. Наумова положительно замечательна и прекрасна как по идее и сюжету, так и по исполнению. Художник взял известный трагический предсмертный момент из многострадальной жизни нашего знаменитого критика ‹...›

Откладывая до другого раза обстоятельное описание картины г. Наумова, теперь спешу только к сведению друзей родного искусства сообщить, что вещь эта имеет все права на их особенное внимание. Почтенный художник положил на свою картину много труда, много изучения литературы избранного им сюжета, много любви и много таланта. Сходство портретов, историческая точность всей обстановки, всех деталей, всей даже, так сказать, атмосферы данной эпохи поразительны! Нельзя оторваться от картины, так она сразу захватывает зрителя, и чем более вы в нее вглядываетесь, тем она больше нравится вам, тем больше изумляет

БЕЛИНСКИЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ

Вырезка из неустановленного иллюстрированного издания, 1910 г.
Воспроизведение варианта картины, частично переделанной в уступку требованиям цензуры

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

и восхищает своей строгой обдуманностью, своей идеей и своей художественностью! Вкус, знание, эстетическое чувство меры в выражении психологического эффекта, жизненность всей картины и удивительная, в техническом отношении, отделка ее деталей, — решительно не оставляют желать ничего лучшего!

Желающие убедиться в том, что г. Наумов действительно подарил нам превосходную картину, могут адресоваться к нему лично в его студию (Михайловская площадь, дом Дашковой)[24].

Вскоре в распространенном журнале «Всемирная иллюстрация» (в номере от 25 февраля) была помещена еще одна заметка: в ней сообщалось, что на готовящейся к открытию 26 февраля очередной передвижной выставке будет показана новая картина художника Наумова. Эта картина характеризуется как «довольно серьезное произведение, выполненное добросовестно, с прекрасно удавшимися портретными фигурами умерших уже наших известных писателей»[25].

Эти (и другие) газетные и журнальные заметки сразу же вызвали большой интерес к картине, студию художника стали посещать многочисленные любители, толки о картине, несомненно, проникли и в Департамент полиции, и нет ничего невозможного в том, что рассказывает автор

обнаруженных воспоминаний — Н. А. Смирнов (см. приложение к настоящей статье, стр. 569—571).

Вскоре же по окончании картины, Наумов хотел экспонировать ее и продать. Одновременно возник план воспроизведения картины в печати.

С этого момента и начинается история запрещения картины.

Запрет был подготовлен реакционной прессой. В анонимной (но, несомненно, принадлежащей редактору и издателю журнала «Гражданин» кн. В. П. Мещерскому) статье «В тенётах тенденции. (Разные вести и толки)» автор ее сетовал на либеральное направление, захватившее молодое поколение. Искание популярности и дешевого успеха, по его мнению, «до такой степени обуревают сколько-нибудь талантливых людей, что они готовы для этого делать что угодно. Легчайший способ для художников⟨...⟩ рисовать нагих женщин или брать либеральные темы».

В качестве примера второго случая Мещерский и приводит картину Наумова. Он мог видеть ее в это время только в студии художника. Мещерский считает, что Наумов изобразил мало правдоподобный эпизод, едва ли не придуманный Панаевым. Появление жандарма «не имело никаких последствий, и к последствиям не было и повода, чего не мог не знать и сам Белинский и его друзья».

Заподозрив самый факт, Мещерский спешил опорочить и картину — она, мол, без колорита, рисунок неприятный, все персонажи — на одно лицо, в одном повороте головы и т. д. Но так как Наумов «бил на недостойный эффект известного рода», то Мещерский предрекает картине шумный успех, отчасти уже имеющий место: «С картины уже заказывают копии, раскупают фотографии, купят ее, конечно, за хорошую цену, хвалят в либеральных газетах». В заключение, прочитав художнику соответствующую нотацию, Мещерский писал, что картина «конечно, явится на выставке передвижной, весенней, потом пойдет для назидания гулять по России, вместе с „Крестным ходом“ Репина. Ее *не позволили* выставить отдельно, об этом говорят. Это *непозволение*, среди известного рода кружков, делает уже половину того пошлого успеха, на который и рассчитывалось и который с искусством ничего общего не имеет»[26].

Эта провокационная по тону статья преследовала совершенно очевидную цель. Она появилась в номере от 19 февраля, то есть когда никакого официального запрещения картины еще не было. Если учесть роль и влияние Мещерского в это время в высших бюрократических и придворных кругах Петербурга, то станет ясной цель, с которой статья была напечатана. Мещерский призывал к запрещению картины.

Некоторое время судьба картины еще была неясна. Существовала надежда на то, что на выставке передвижников она все-таки появится. В неизданном письме Наумова к Михневичу, написанном между 20 и 25 февраля 1884 г., были такие строки: «Читал „Гражданин“ и нашел, что он, как нельзя более, подтверждает мое убеждение, что у нас в России все вывески врут: ему нужно назваться *лакеем* — он отрицает самый факт и низводит его на степень анекдота. Картину поставил, выставка откроется 26...»[27].

Однако в результате полицейского запрета картина на выставке передвижников не появилась[28]. Еще в январе или феврале 1884 г. Наумов обратился в Петербургский цензурный комитет с просьбой о разрешении воспроизвести картину в печати. Цензурный комитет отказал. Тогда Наумов обратился с жалобой в Главное управление по делам печати. Его хлопоты не только не увенчались успехом, но вызвали еще особое конфиденциальное отношение начальника этого ведомства, известного реакционера, Е. М. Феоктистова к петербургскому градоначальнику П. А. Грессеру от 1 марта 1884 г.:

Милостивый государь Петр Аполлонович.

Художник Наумов обратился ко мне с жалобою на С.-Петербургский цензурный комитет, не дозволивший к печати снимка с картины, изображающей последние минуты жизни Белинского.

Оставив эту жалобу без удовлетворения, ввиду крайней тенденциозности названной картины, я при этом узнал, что цензурное разрешение было желательно получить г. Наумову, главным образом, для того, чтобы на основании этого разрешения иметь возможность выставить оригинал для обозрения публики.

Принимая во внимание, что по поводу картины Наумова уже появилось много тенденциозных отзывов в нашей периодической печати и что публичная выставка этого произведения несомненно вызовет новую газетную агитацию и вместе с нею произведет безусловно вредное и несогласное с достоинством правительства впечатление на публику, я долгом поставляю сообщить о всем изложенном вашему превосходительству для сведения, на случай если Наумов обратится к вам непосредственно с ходатайством о разрешении на устройство выставки с картины [29].

Через несколько дней в статье «Передвижное товарищество. (Разные вести и толки)» Мещерский продолжал обвинять передвижников в тенденциозности, в желании «потрясти основы» и во что бы то ни стало провести свои идеи, которые «так жалки, так очевидно надуты в уши и наклеены». Перечислив ряд «тенденциозных и вредных» картин, Мещерский с невинным видом писал: «Прибавьте к этому картину „Последние минуты Белинского“ Наумова, которую, *кажется*, не допустили на выставку или он сам не захотел ее выставить» [30].

Реакционный лагерь добился своего: все пути сразу же оказались для Наумова отрезанными. Неудачей закончились и попытки продать картину.

В январе 1884 г. художник П. П. Чистяков обратился к Третьякову со следующим письмом:

Многоуважаемый и дорогой Павел Михайлович.

На днях зашел я к художнику Наумову и к удовольствию моему нашел у него хорошую, особенно по замыслу, картину «Последние дни Белинского». Сочинена картина очень просто-натурально. На постели — Белинский внимательно-стремительно выслушивает жену свою, объявляющую о пришедшем солдате-жандарме, который и виден в третьей комнате, разговаривающий с кухаркою. Некрасов и Панаев, гости, тоже оглянулись на говорящую супругу Белинского. У стула, на полу спиной к зрителю стоит маленькая дочь Белинского. Так как художник пригласил меня для замечаний, то я и постарался (конечно, осторожно). Вообще картина, хотя по технике и российская, но мне очень нравится. Что-то есть простое, живое в ней, чего редко встречаешь.

Не знаю, позволят ли поставить ее на выставку. Если будете в Питере, то вот вам адрес художника. Угол Михайловской и Итальянской, дом, где мастерская Мещерского, Годуна и проч. Все это близехонько от Европейской гостиницы. Пишу к вам об этом, многоуважаемый Павел Михайлович, на основании давнишней просьбы вашей писать о хороших и новых работах.

Душевно преданный и искренне вас уважающий

Павел Чистяков [31]

30 января Третьяков отвечал Чистякову:

Многоуважаемый Павел Петрович.

Очень благодарен вам за сообщение о картине Наумова: я буду в Петербурге через неделю или дней десять и посмотрю. Сколько реклам было уже об этой картине, даже противно. А я и К. Т. Солдатенков, не видав картины, сделали предложение художнику — продать ее. Картину, т. е. содержание ее, не совсем понимаю; может быть, увидав, пойму,— зачем было писать подобный сюжет. Крепко жму вам руку и желаю всего лучшего.

Ваш преданный П. Третьяков[32]

Не понравилась ли Третьякову картина или на него повлияли иные причины, но покупка не осуществилась. Ни выставить, ни воспроизвести, ни продать картину (вопреки предсказаниям Мещерского) не удалось. Картина осталась у Наумова. Ему пришлось ограничиться только тем, что он полуподпольно распространял среди близких людей и в кругах передовой молодежи изготовленные еще раньше фотографии с картины[33].

IV

Лишь через семь лет — 20 декабря 1890 г. С.-Петербургский цензурный комитет разрешил фототипическое воспроизведение картины Наумова. Фототипия была (по фотографии А. К. Ержемского) изготовлена у А. И. Вильборга.

До сих пор остается, однако, неизвестным, что эта фототипия представляет собою не подлинную картину, а ее искалеченный вариант. Мы знаем лишь один экземпляр этой фототипии, находящийся в фондах музея Института русской литературы[34].

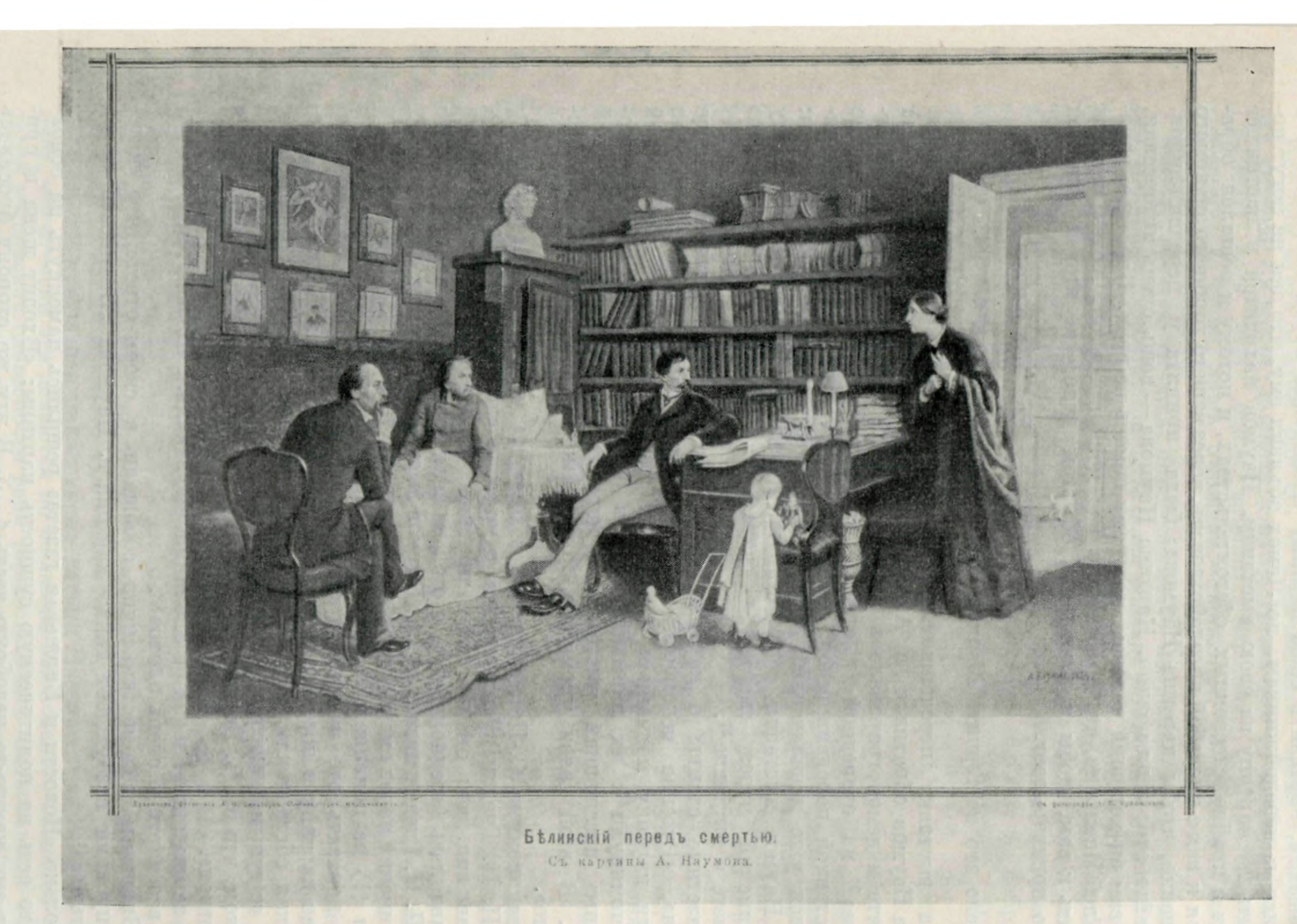
Сравнительно с первоначальным изображением, изменена вся правая сторона. Дверь (в ином повороте) в прихожую наглухо закрыта, ни прислуги, ни жандарма не видно. Собачонка «Малка» стоит не у ног прислуги, как раньше, а перед закрытой дверью: она лает на кого-то находящегося за ней. Кроме этого в картине все оставлено в прежнем виде, но теперь для правильного ее понимания уже нужна историко-литературная эрудиция. Цензурное ведомство добилось своего и «обезвредило» картину, сделав ее понятной лишь для узкого круга зрителей.

Старая картина была переделана в конце 1890 г. После семилетнего запрета Наумов хотел сразу же устроить переделанный вариант на выставку и продать его — к этому художника вынуждала острая необходимость.

Наумов обратился к передвижникам, на выставке которых картина в свое время должна была появиться. Ему казалось, что манера его письма, политическая острота картины, претерпевшей репрессии, обеспечивает его работе место именно среди их картин. Однако передвижники взять картину на свою 19-ю выставку по невыясненным причинам отказались. Наумов попробовал добиться этого через Е. П. Карпова, но из его попытки ничего не вышло.

Этот эпизод выясняется из следующего неизданного письма драматурга и режиссера Евтихия Павловича Карпова (1857—1926) к Глебу Успенскому (датируется по почтовому штемпелю: 17 февраля 1891 г.):

Дорогой Глеб Иванович! У меня есть до вас очень большая просьба. А. А. Наумов, художник, написавший «Белинский перед смертью»,



Бѣлинскій передъ смертью.
Съ картины А. Наумова.

БЕЛИНСКИЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ

Фототипия с фотографии А. К. Ержемского, 1890 г.

Воспроизведение варианта картины. Правая сторона кардинально переделана в уступку требованиям цензуры

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

«Дуэль Пушкина» и много др. картин, добился, наконец, после семи лет запрещения, выставить свою картину «Белинский перед смертью». Обратился к передвижникам, но Лемох объявил ему, что они не могут поставить эту картину на свою выставку. Наумов находится в настоящее время в крайне стесненных обстоятельствах, и потому я решился обратиться к вам с просьбой посодействовать, через вашего хорошего знакомого Ярошенко, чтобы картина Наумова была принята у передвижников. Сделайте это, если можете. Картина Наумова — вещь очень интересная, да и сам он хороший человек, которому помочь не грех. Простите, дорогой Глеб Иванович, что я беспокою вас моей просьбой. Хотел сегодня заехать к вам, чтобы переговорить об этом деле, да второй сын мой что-то прихварывает.

Ев. Карпов

Дело это не терпит. 20 оканчивается прием картин[35].

На выставку передвижников картина все же принята не была. Тогда Наумов обратился в Академию художеств, где картина была принята и демонстрировалась вместе с другой его же картиной «В отставке»[36] на очередной выставке, открывшейся почти одновременно с выставкой передвижников. О том, что на этой выставке экспонировался уже искалеченный вариант картины, ясно из отзывов прессы: «Г-н Наумов выставил свою старую, переделанную только картину „Белинский перед смертью“» — читаем в «Живописном обозрении» в отчете о выставке[37].

Газетные отзывы о картине не отличались единодушием. «Новое время», «Русские ведомости» и «Петербургский листок» предпочли обойти картину молчанием и в своих статьях о выставке вовсе о ней не упомянули[38]: их внимание было в большей степени занято «высочайшим» посещением выставки и перечнем свиты, сопровождавшей царя. В этой связи упоминать полукрамольную картину было «бестактно».

Реакционные «С.-Петербургские ведомости» устами Rectus'а (псевдоним П. П. Гнедича)[39] отозвались о картине злобно-недоброжелательно. Сделав вид, что он не знает причины, по которой картина долго не выставлялась (предположить, что он не знал истинной причины невозможно), П. П. Гнедич писал: «А. А. Наумов выставил, наконец, свою картину „Белинский перед смертью“, много лет, в силу академической щепетильности ⟨!⟩ не появлявшуюся на выставке. Мы отказываемся понять боязнь показать это наивное произведение публике». Пренебрежительно описав картину и постаравшись задеть этим описанием Белинского («мещанская обстановка», «неопрятно одетая девочка», жена критика изображена «с тупым, ничего не выражающим лицом»), Гнедич сообщал, как бы мельком, что М. В. Белинская «вошла в комнату с каким-то неприятным известием».

В заключение Гнедич безапелляционно заявлял: «Беда в том, что написана вся картина очень плохо»[40].

«Биржевые ведомости» скупо сообщали в своем отчете, что «интерес публики возбуждает также картина г. Наумова „Белинский перед смертью“»[41].

Только «Новости и Биржевая газета» решились намекнуть на основное, то есть на политическую сущность картины: «Входит жена и приносит ему какую-то недобрую весть ⟨...⟩ В эту же сторону бросилась собачка и залаяла. В этой мгновенной сцене ничто не подчеркнуто, а между тем все ясно, и самая сцена, как взятая с натуры, вполне удовлетворяет зрителя»[42].

Картина и на этот раз осталась не проданной[43], и Наумов, по-видимому, вскоре же восстановил первоначальный вариант[44].

История картины этим, однако, не оканчивается. Среди художественных вырезок собрания Дашкова в музее Института русской литературы (Г2-12822) есть еще один вариант картины. Он соответствует основному, с одним лишь отличием — жандарм, собеседник кухарки, отсутствует.

Трудно сказать что-либо определенное о происхождении этой редакции. Возможно, что Наумов попытался вначале пойти на некоторый компромисс — убрать лишь фигуру жандарма. Но когда власти этим не удовлетворились, ему пришлось пойти дальше и изобразить дверь закрытой. Возможно, однако, что такого варианта картины никогда не существовало, а вся операция с удалением жандарма была произведена при подготовке клише к печати: обнаруженный нами вариант из собрания Дашкова (вырезка) остался недатированным, но, несомненно, что он относится к 1910 г.

V

23 марта 1898 г., уже после смерти Наумова, опекунша его детей, некая А. П. Иванова, обратилась в Петербургский цензурный комитет с просьбой разрешить ей отпечатать фототипически 500 экземпляров картины «не для продажи в магазинах, а по желанию Общества любителей российской словесности». При этом Иванова ссылалась на то, что картина была уже дважды разрешена цензурой.

Речь шла на этот раз о первоначальном варианте картины.

26 марта Комитет по докладу цензора Н. Пантелеева постановил картины «не разрешать и представить о том Главному управлению по делам печати»[45].

Донесение Пантелеева сохранилось в делах Главного управления по делам печати и достойно того, чтобы быть опубликованным:

В свое время особым вниманием либеральной части публики пользовалась картина покойного художника Наумова, изображавшего известного критика Белинского на одре болезни.

Картина эта, несомненно, тенденциозная, ибо напоминает публике о том строгом отношении к литераторам, которое вынуждено было принимать бывшее III Отделение собственной его императорского величества канцелярии.

Картина довольно известна: изнеможденный болезнию Белинский, с испуганным лицом, сидит в кровати, и в отворенную дверь прихожей видна фигура жандарма.

Около постели сидят Некрасов и Панаев. Лица изображены в портретах.

Картину эту дозволяли с особенною осторожностью, и она появлялась даже в приложении к «Новому времени» — листку газеты обыкновенно несохраняемому[46].

В настоящее время картину эту в фототипических отдельных оттисках предполагается издать в 500 экземплярах.

Хотя опекунша над малолетними детьми Наумова г-жа Иванова заявляет, что оттиски эти делаются по желанию Московского общества любителей российской словесности ради торжественного чествования 8 апреля памяти Белинского в день пятидесятилетия его смерти,— но Комитет затрудняется пропуском картины, полагая, что при таком чествовании тенденциозность картины еще более подчеркнется.

Ввиду настоятельности просьбы г-жи Ивановой о дозволении картины, С.-Петербургский цензурный комитет на основании статьи 58 устава о цензуре имеет честь представить о сем на разрешение Главного управления по делам печати.

Экземпляр картины при сем прилагается[47].

В Главном управлении была изготовлена специальная «справка», в основном повторяющая приведенное выше конфиденциальное письмо. Приводить ее нет надобности, кроме заключительных строк, сообщающих новую деталь: «По тем же соображениям в июле 1886 г. ⟨вероятно, описка: вместо 1896⟩ Главное управление по делам печати уведомило тверского губернатора на запрос его от 4 июля 1896 г., что допущение фотографического снимка с названной картины в здании Тверской публичной библиотеки является нежелательным»[48].

31 марта Главное управление уведомило Цензурный комитет о том, что снимок «может быть выпущен в свет, ввиду неоднократного уже разрешения к печати означенной картины»[49].

Фототипия, действительно, продавалась в пользу сирот (по 75 коп.) на выставке, устроенной Обществом любителей российской словесности 8—12 апреля 1898 г. и была воспроизведена в «Каталоге...» и «Альбоме выставки... в память В. Г. Белинского...»[50]. Характерно, что во вступительной заметке к альбому («Вместо предисловия») картина именовалась «известной», но содержание ее излагалось даже и через полвека после смерти Белинского довольно туманно: «Жена ⟨...⟩ с испуганным видом сообщает, что *от бывшего учителя пензенской гимназии Попова* опять пришел *посланный* с письмом: в открытую дверь видно, как с этим посланным объясняется кухарка» (стр. 6. — Курсив мой.— *С. Р.*).

VI

При жизни Наумова картина оставалась непроданной. Не была она продана и на небольшой посмертной выставке из 13 картин, устроенной родными и друзьями покойного в конце 1895 г.[51]. На выставке снова продавались фотографии с картины[52].

Оригинал картины был выставлен в Москве на упоминавшейся выше выставке Общества любителей российской словесности 8—12 апреля 1898 г. В каталоге была сделана специальная пометка: «Продается»[53], но это не помогло. Лишь в 1900 г. картина была куплена редактором-издателем прогрессивной по тем временам, вскоре прекратившейся, газеты «Северный курьер» В. В. Барятинским. В газете была напечатана об этом небольшая заметка[54]. Через несколько дней она была перепечатана в «Новостях дня» с ироническим заглавием «Улов» и со следующим примечанием: «Повесить Белинского в ознаменование первой годовщины ⟨нового тысячелетия.— *С. Р.*⟩! Какое это, право, жестокое дело!»[55].

В литературе есть указание, будто бы около 1912 г. вопрос о покупке этой картины обсуждался в совете Третьяковской галереи, но совет по цензурным соображениям ее отклонил[56].

В конце января 1925 г. картина была приобретена от частного лица (К. А. Кинберга) Музеем Революции в Ленинграде, а в 1952 г. была передана во Всесоюзный музей им. А. С. Пушкина, а затем в мемориальную квартиру-музей Н. А. Некрасова в Ленинграде, где она и находится в настоящее время[57].

ПРИЛОЖЕНИЕ

Н. А. СМИРНОВ

ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ С КАРТИНОЙ ХУДОЖНИКА А. НАУМОВА «БЕЛИНСКИЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ»

(Из личных воспоминаний)[58]

В настоящее время, когда многочисленные секреты внутренней жизни многострадальной России, скрываемые в течение многих десятков лет в тайниках страшного III Отделения, а потом Департамента полиции, стали уже достоянием исторической науки, не лишним было бы вспомнить об одном художественно-литературном эпизоде, имевшем трагические последствия, случайным свидетелем которых мне пришлось быть. Эпизод этот произошел с картиной покойного художника А. Наумова— «Белинский перед смертью», о которой, конечно, помнит еще петербургская интеллигенция 70—80 гг. прошлого столетия. В феврале или марте 1881 или 1882 года (точно не помню) в одном из №№ «Нового времени» появилось коротенькое сообщение, что с этого дня художник А. Наумов выставляет в своей студии для обозрения публикой свою картину— «Белинский перед смертью». Так как имя Белинского в то время еще не пользовалось полным правом гражданства и он назывался, по крайней мере, в школьных учебниках по литературе, все еще «известным критиком 40-х гг.», то я, подозревая возможность всяких превратностей судьбы, прочитав утром вышесказанное газетное сообщение, сейчас же отправился со знакомым в студию художника, помещавшуюся в доме на углу Михайловской площади и Итальянской улицы рядом с Михайловским театром в одной из мансард. (Этот старинный дом с мансардами петербуржцы того времени наверное еще помнят.)

Мы были любезно допущены художником к осмотру картины. Содержание ее взято целиком из известной книги А. Н. Пыпина: «В. Г. Белинский. Его жизнь и переписка». СПб., 1876 г. Зритель видит часть довольно просторного кабинета Белинского, в углу на диване, недалеко от письменного стола полулежит с книгой великий критик, около него сидят Н. А. Некрасов и И. И. Панаев; тут же у кресла играет в куклы дочурка Белинского, девочка лет 3—4; в кабинет только что вошла жена Белинского с испуганным лицом, сообщающая что-то страшное; все присутствующие, кроме играющей девочки, сильно встревожены, да и есть отчего: в открытую дверь через соседнюю комнату видна спина прислуги, стоящей у порога кухни, а перед ней, лицом к зрителю,

Жандарм с усищами громадный.

Одним словом, взят тот момент из жизни Белинского, когда к нему, как рассказывает А. Н. Пыпин на основании сохранившихся письменных документов, 27 марта 1848 г., т. е. за два месяца до смерти, был прислан из III Отделения жандарм с повесткой, по которой великий критик обязан был немедленно явиться в III Отделение. Этот вызов был уже второй, так как на первый, от 20 февраля того же года, Белинский ответил, что он так болен, что явиться не может. На второй вызов, как говорится в воспоминаниях о Белинском, пошел в III Отделение один из его друзей и объяснил старшему чиновнику канцелярии, Попову, о тяжкой болезни великого критика. Услышав это, Попов, к несчастью бывший учитель русской словесности Белинского по Пензенской гимназии, а тогда старший чиновник III Отделения, рассыпался в извинениях за причиненное им Белинскому беспокойство и при этом сказал, что последний вызывался не по какому-либо обвинению, а единственно для того, чтобы лично позна-

комиться с начальником ведомства (где служил Попов), *хозяином* русской литературы..., т. е. Дубельтом, начальником III Отделения.

Пока мы рассматривали картину, вспоминая вышеизложенное, раздался стук в дверь, и на любезное приглашение художника в комнату вошел какой-то господин, лет 60-ти, с очень неприятным бритым лицом, одетый в прекрасную ильковую шубу. Слегка наклонив голову, он спросил у художника разрешения осмотреть картину и, получив таковое, почти вплотную подошел к ней и начал очень пристально ее рассматривать. Первое впечатление у присутствующих было, что господин этот очень плохо видит, и потому художник предложил ему бинокль, от которого неизвестный отказался и, обернувшись к художнику вполуоборот, с ядовитой улыбкой сказал: «Я отлично вижу!» — и снова продолжал, казалось, не столько смотреть, сколько вынюхивать носом картину и вдоль и поперек. Так продолжалось томительных минут 10, пока подозрительный незнакомец рассматривал картину. Наконец, закончив осмотр, он повернулся к художнику и сказал буквально следующее: «Все это вранье! Подобного ничего никогда не было». На это художник возразил, что он ничего здесь не выдумывал, а взял из книги А. Н. Пыпина «В. Г. Белинский. Его жизнь и переписка». «И у Пыпина все вранье! — продолжал таинственный незнакомец.— Дубельт был прекрасный человек и никогда никому зла не делал, а разные Пыпины на него только лгут». Затем, слегка поклонившись, хотел уходить. Тогда художник его спросил: «Позвольте узнать, с кем я имел честь сейчас говорить?» Ответ был краткий и убийственный: «Чиновник из III Отделения Шешковский!» (или Шесковский — хорошо не расслышал)[59]. И затем этот господин, громко стуча кожаными подошвами, победоносно вышел из комнаты.

Финал понятен каждому: картина не только не появилась на выставке передвижников, куда она была уже предназначена, но о ней больше не упоминалось и в печати. Так картина погибла и для общества, и для автора.

Месяца через три после описанного печального события мне пришлось еще раз встретиться с художником А. Наумовым, который теперь жил уже на окраине тогдашнего Петербурга, в самом конце Зелениной ул. (Петербургская сторона) в маленькой комнатке деревянного домика, где и написана им последняя его картина «Дуэль Пушкина».

Когда я к нему пришел, он узнал меня и, вспоминая о первой нашей встрече при таких печальных обстоятельствах, рассказал мне о последующих событиях этой трагической истории. В тот же день, часа через четыре после ухода охранника Шешковского, художник получил из III Отделения бумагу, в которой под угрозой требовалось от него письменное заявление, что он не только не выставит своей картины: «Белинский перед смертью» ни на какой выставке, но и не будет допускать публику для осмотра ее в своей студии. Так быстро преемники Дубельта искоренили ту «правду», о которой «лгали разные Пыпины».

Наумов заказал только фотографии с злополучной картины, которые с большой осторожностью продавал по одному рублю известным ему лицам; один экземпляр вручил он и мне.

Вскоре после этого, закончив «Дуэль Пушкина», которая появилась на выставке, художник умер. Картина же «Белинский перед смертью» куда-то исчезла. Я тщетно искал ее и в Петербурге, и в Москве, и только в прошлом году случайно узнал, что она находится в Москве в каком-то частном собрании.

Неужели и в настоящее время комиссия, заведующая сохранением произведений национального искусства, не приобретет ее и не поместит на видном месте в Музее Александра III?

Но размах кнута, занесенный III Отделением, ударил, кажется, не одного А. Наумова, он хлестнул и А. Н. Пыпина.

Через год после описанного случая мы, тогдашние студенты-словесники, надумали купить книжку А. Н. Пыпина: «В. Г. Белинский. Его жизнь и переписка». Когда я для этого пришел в книжный магазин Стасюлевича, то получил странный ответ: «Все издание распродано, а нового не предполагается». Через короткое время после этого я познакомился с самим Александром Николаевичем и спросил его, правда ли это[60]. Он как-то странно улыбнулся и, узнав, сколько мне надо экземпляров, сейчас же написал записку управляющему магазином г. Хаментовскому[61], прося отпустить мне по много пониженной цене требуемое число экземпляров, что и было немедленно исполнено.

Думаю, что ответ приказчика: «Издание все распродано» не носил ли следов давления охранника Шешковского? В заключение обращаюсь к почтенным сочленам Русского библиологического общества, к тем, которые описывают архив III Отделения, с просьбою посмотреть, что имеется там в делах под указанными датами (*февраль или март 1881 или 1882 г.*) по поводу рассказанной мною истории и какие приведены мотивы, по которым картина художника А. Наумова «Белинский перед смертью» приговорена была к гражданской смертной казни.

Н. А. Смирнов

27. V. 917.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О Наумове — см.: «Художественные новости», 1886, № 21, от 1 ноября, стр. 559 и 594; «Вестник изящных искусств», т. VIII, вып. 2. СПб., 1890, стр. 159—160; Ф. И. Булгаков. Наши художники, т. II. СПб., 1890, стр. 69—70; «Исторический вестник», 1895, № 12, стр. 1014; «Всемирная иллюстрация», 1895, № 1397, от 4 ноября, стр. 362; П. Тихомиров. Исторический очерк 2-й С.-Петербургской гимназии. СПб., 1905, стр. 290; А. В. Курганович и А. В. Круглый. Историческая записка 75-летия С.-Петербургской 2-й гимназии, т. III. СПб., 1905, стр. 290; С. Н. Кондаков. Императорская С.-Петербургская академия художеств. 1764—1914, т. II. Список русских художников. СПб., 1914, стр. 137; Г. К. Градовский. Неопределенная вырезка статьи о Наумове.— Научный архив Гос. Русского музея.

[2] Портрет Чайковского сделан по фотографии в 1894 г. См. письмо Наумова к Ф. И. Стравинскому от 24—25 января 1894 г. Посылая портрет, бедствовавший художник просил разыграть его в лотерею за 30 р. (Архив ИРЛИ, 25382. CLXXIIб. 21).

[3] В Научном архиве Гос. Русского музея хранятся копии (рукою дочери художника П. П. Чистякова) четырех неизданных писем Наумова к П. М. Третьякову, в которых он просил выслать ему денег, благодарил за доставленную работу, сообщал о писании икон и пр. Письма, кроме одного (от 1 июня 1894 г.), без дат.

[4] См. «Русская старина», 1884, № 11, стр. 317 и 319.

[5] Это авторское наименование картины взято с фотографии с дарственной надписью Наумова А. Н. Якоби. Местонахождение картины нам неизвестно. Фотография хранится в архиве ИРЛИ, ф. 134, оп. 4, № 658.

[6] И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. I. М.— Л., 1948, стр. 130.

[7] «Новое время», 1876, № 17, от 16 марта, стр. 1. Перепеч.: В. В. Стасов. Собр. соч., т. I. СПб., 1894, отд. II, стр. 528.

[8] Школа рисования. Для детей младшего возраста средних учебных заведений и начальных школ. Тетрадь 1—3. СПб., 1892. (Отзывы: «Новое время», 1892, № 5767, от 19 марта; «Новости», 1892, № 129, от 11 мая).

[9] 110 × 167 см. В правом углу внизу: «А. Наумов. 1884». На тот же сюжет написана и картина художника Б. И. Лебедева, 1948 г.

[10] А. Н. Пыпин. Белинский, его жизнь и переписка. СПб., 1876, стр. 330—331; ср. стр. 325—326, 329. В приведенных словах Пыпин цитирует неизданные в то время воспоминания Н. Н. Тютчева (см. Белинский. Письма, т. III. СПб., 1914, стр. 450—451).

[11] «Приглашение в III Отделение В. Г. Белинского в 1848 г.» — «Русская старина», 1882, № 11, стр. 434—435.

[12] В. Е. Якушкин. Белинский на картине Наумова. (Письмо к редактору).— «Русские ведомости», 1898, № 97, от 10 апреля, стр. 4.

[13] И. С. Тургенев. Воспоминания о Белинском.— «Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 371.

[14] «Лит. наследство», т. 57, 1951, стр. 309.

[15] И. И. Ясинский. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. М.— Л., 1926, стр. 145.

[16] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VIII. М.—Л., 1931, стр. 293.

[17] Н. Д. Эфрос. К. А. Горбунов — портретист Белинского.— «Лит. наследство», т. 57, 1951, стр. 364, 372; Н. В. Некрасов. Портреты Белинского.— «Русские ведомости», 1911, № 123, от 31 мая, стр. 2. Копию Редера и портрет Горбунова — см. «Лит. наследство», т. 55, 1948, стр. 19 и 53; т. 56, 1950, стр. 77.

[18] См., например, «Лит. наследство», т. 57, 1951, стр. 321; «Альбом выставки, устроенной Обществом любителей российской словесности в память В. Г. Белинского 8—12 апреля 1898 г.» Изд. 2. М., 1898, стр. 13; «Нива», 1898, № 21, стр. 405.

[19] «Лит. наследство», т. 53-54, 1949, стр. 437.

[20] См., например, «Лит. наследство», т. 51-52, 1949, фронтиспис и стр. 359, 397; т. 49-50, 1946, после стр. LXIV; т. 53-54, 1949, стр. 193 и др.

[21] См. «Лит. наследство», т. 53-54, 1949, стр. 5.

[22] Если у Наумова были, таким образом, определенные идеологические основания, то допускать подобный анахронизм художнику советского времени едва ли простительно. В картине А. С. Лепилина (1950 г.) «Белинский, Некрасов и Панаевы», воспроизведенной в т. 57 «Лит. наследства» (1951, стр. 245), Некрасов в 1842—1846 гг., то есть в возрасте 21—25 лет, изображен в облике 1860-х годов. Этой ошибки избежал Б. И. Лебедев в картинах «Некрасов и Белинский» и «Некрасов в петербургском кружке Белинского» (там же, т. 53-54, стр. 9 и 31). Отметим одну небольшую неточность Наумова. В письме к П. В. Анненкову от 20 ноября — 2 декабря 1847 г. Белинский сообщал, что в его новой квартире «полы парке» (Белинский, т. XII, стр. 426). На картине Наумова бедность обстановки подчеркнута ясно видным досчатым полом. Письма к Анненкову Наумов не мог знать, но современники Белинского, с которыми он консультировался, могли сообщить ему эту деталь. Подробное и, по-видимому, очень точное описание кабинета Белинского содержится в письме М. В. Белинской к художнику И. А. Астафьеву от 24 декабря 1873 г. («Былое», 1917, № 4, стр. 181—182).

[23] Замысел ее или начало работы относится, однако, к 1882 г. Это следует из авторской надписи С. Д. Дрожжину на фотографии: «1882 г. Спиридону Дмитриевичу на добрую память от автора. 1891 г. январь 23» (Музей ИРЛИ). Ф. И. Булгаков, вопреки точной авторской подписи, ошибочно датирует картину 1882 г. —«Наши художники», т. II. СПб., 1890, стр. 70).

[24] «Новости и Биржевая газета», 1884, № 18, от 18 января, стр. 3. По-видимому, именно это «объявление» имеет в виду Н. А. Смирнов, ошибочно называя другой год и другую газету (см. ниже, стр. 569).

[25] «Всемирная иллюстрация», 1884, № 789 (9), от 25 февраля, стр. 186; ср. «Газета Гатцука», 1884, № 3, от 22 января, стр. 64.

[26] «Гражданин», 1884, № 8, от 19 февраля, стр. 12—13.

[27] Архив ИРЛИ, ф. 183, оп. 1, № 249.

[28] Ее нет в «Каталоге 12-й передвижной выставки картин товарищества передвижных художественных выставок». СПб., 1884; имеются два издания этого каталога: дата ценз. разр. одного — 25 февраля, другого — 8 марта.

[29] ЦГИАЛ, ф. 776, д. 20 (3-го отделения Главного управления по делам печати «По жалобам разных лиц на действия цензурных учреждений»), лл. 15—16 (отпуск).

[30] «Гражданин», 1884, № 10, от 4 марта, стр. 12.— Курсив мой. Эта статья указана мне И. С. Зильберштейном.

[31] П. П. Чистяков. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832—1919. М., 1953, стр. 143. Судя по ироническому отзыву, сообщаемому П. П. Гнедичем, Чистяков невысоко ценил Наумова (П. П. Гнедич. Книга жизни. Воспоминания. 1855—1918. Л., 1929, стр. 69).

[32] «Советское искусство», 1936, № 27, от 11 июня, стр. 2; П. П. Чистяков. Указ. изд., стр. 145.

[33] В январе 1885 г. на выставке Общества поощрения художеств была выставлена картина Наумова «Дуэль Пушкина». Воспроизводя картину в «Ниве», журнал писал: «Первая картина художника „У Белинского", отличавшаяся тенденциозностью, не была выставлена публично, а потому о ней здесь говорить не будем» («Нива», 1885, № 5, от 2 февраля, стр. 19). В этих строках содержится намек на судьбу картины и напоминание о ней.

Известны экземпляры фотографий с картины большого формата (255 × 160) с дарственной надписью П. А. Ефремову (дата — 11 мая 1884), С. Д. Дрожжину (дата— 23 января 1891), Л. Н. Модзалевскому (дата — 1887), П. Я. Дашкову (дата —2? января 1888), и без надписи малого формата (153 × 95), принадлежавшей А. Н. Пыпину (дата — 8 марта 1884) — все эти фотографии (с грифом — «собственность художника») находятся в фондах ИРЛИ (шифры соответственно: 46563, 26400, 1385, 27269 и 19789). Кроме того, у меня имеется экземпляр малого формата, принадлежавший моему отцу — в 1881—84 гг. студенту Петербургского технологического института.

[34] Шифр — 2-12818. Фототипия размером 215 × 130 мм.

[35] Архив ИРЛИ, ф. 313, оп. 3, № 131.— Карл Викентьевич *Лемох* (1841—1910) — художник, один из деятельных участников в товариществе передвижников.

[36] См. «Каталог выставки 1891 года в имп. Академии художеств» (СПб., 1891), стр. 6 и 15, №№ 71 и 190.

[37] «Живописное обозрение», 1891, № 10, от 10 марта, стр. 174.

[38] «Академическая выставка».— «Новое время», 1891, № 5395, от 7 марта, стр. 2; Буква ⟨И. Ф. Василевский?⟩. Петербургские наброски.— «Русские ведомости», 1891, № 67, от 10 марта, стр. 3; «Академическая выставка».— «Петербургский листок», 1891, № 64, от 7 марта, стр. 2.

[39] И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей, т. II-III. М., 1948, стб. 603.

[40] «Академическая выставка 1891 года».— «С.-Петербургские ведомости», 1891, № 70, от 3 марта, стр. 2; ср. иронический отзыв П. П. Гнедича о Наумове в его «Книге жизни», цит. изд., стр. 69.

[41] «Выставка в Академии художеств».— «Биржевые ведомости», 1891, № 65, от 6 марта, стр. 3.

[42] «Академическая выставка».— «Новости и Биржевая газета», 1891, № 67, от 8 марта, стр. 3.

[43] Другая картина «В отставке», как видно из неизданного письма Наумова к И. Ф. Шене от 19 июня 1891 г., была продана в июне за 300 р. (ИРЛИ, ф. 123, оп. 2, № 554).

[44] Не вполне ясно, писал ли художник картину наново или в старой картине записал белой краской фигуру жандарма и кухарки, а позднее восстановил первоначальную, политически гораздо более острую редакцию. Второе предположение вероятнее.

[45] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 5, д. 78, «По картине Наумова „Последние минуты Белинского"».

[46] Имеется в виду воспроизведение первоначального варианта в «Новом времени», 1896, № 7444, от 16 ноября, прилож., № 305, стр. 8.

[47] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 21, д. 10 (3-го отделения Главного управления по делам печати, «По вопросам относительно пропуска в свет различных произведений печати»), лл. 11—12. Приложенный экземпляр воспроизведения картины в деле не сохранился.

[48] Там же, л. 14.

[49] Там же, л. 13 (отпуск).

[50] На этой выставке экспонировался раскрашенный Наумовым в 1884 г. экземпляр фотографии с картины. См. «Каталог выставки, устроенной Обществом любителей российской словесности в память В. Г. Белинского 8—12 апреля 1898 г.». Изд. 2. М., 1898, стр. 6, №№ 24 и 25.

[51] В. В. Чуйко. Посмертная выставка картин А. А. Наумова.— «Всемирная иллюстрация», 1895, № 1399 (21), от 18 ноября, стр. 408. В статье Чуйко ошибочно указано будто бы картина выставлялась в 1884 г. Отмечая хорошую композицию картины, Чуйко осуждает вялые краски и качество рисунка.

[52] «Белинский и художники».—«Советское искусство», 1936, № 27, от 11 июня, стр. 2.

[53] «Каталог...», стр. 29, № 168.

[54] «Северный курьер», 1900, № 346, от 1 ноября, стр. 3.

[55] «Новости дня», 1900, № 6274, от 7 ноября, стр. 2.

[56] «Советское искусство», цит. статья.

[57] В «Огоньке» (1939, № 8, стр. 13) ошибочно указано, будто бы картина находится в Третьяковской галерее. Кроме того, музею принадлежит копия этой картины, сделанная в 1937 г. художницей А. А. Рончевской.

[58] Рукопись заметки Н. А. Смирнова обнаружена М. М. Штерн и публикуется впервые по автографу, хранящемуся в Отделе редких книг Научной библиотеки им. М. Горького ЛГУ. Об авторе, к сожалению, никаких сведений собрать не удалось. Заметка подписана Смирновым, но самый текст написан другой рукой. Воспоминания были прочтены на одном из заседаний Русского библиологического общества в 1917 или в 1918 г. На л. 4 об. несколько фраз карандашом — запись высказываний и перечень выступавших на заседании. Кроме того, на полях рукописи, в нескольких местах,— иронические пометки неизвестной рукой.

[59] III Отделение было ликвидировано в 1880 г. и заменено Департаментом полиции. Называемая Смирновым фамилия в официальных списках отсутствует. Возможно, однако, что посетивший Смирнова чиновник из политической полиции назвал себя именем — ставшим нарицательным — известного сыскных дел мастера XVIII в. Шешковского.

[60] В делах Петербургского цензурного комитета в ЦГИАЛ материалов по цензурному преследованию книги А. Н. Пыпина нет.

[61] На полях исправлено: «Хомиховский».

И. В. СЕЛИВАНОВ И ЕГО ПИСЬМО ИЗ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ФРАНЦИИ 1848 г.

Сообщение Б. П. Козьмина

В одном из дел III Отделения хранится письмо, написанное в 1848 г. во Франции пензенским помещиком И. В. Селивановым, позднее небезызвестным писателем «обличительного направления». Оно адресовано другу Селиванова, также пензенскому помещику А. Д. Желтухину, позднее — в конце 1850-х годов — издававшему «Журнал землевладельцев» и отстаивавшему на его страницах необходимость отмены крепостного права при непременном условии полного ограждения интересов помещиков[1].

Прежде чем привести письмо Селиванова, познакомимся с его автором и остановимся на пребывании его в 1848 г. во Франции.

Илья Васильевич Селиванов родился в 1810 г. в Тамбовской губернии, где у его отца было небольшое имение. Селиванов-отец в молодости служил офицером, затем вышел в отставку, состоял уездным судьей и предводителем дворянства. Это был человек, обремененный многочисленными детьми и живший весьма бедно до тех пор, пока одна из его теток не умерла, оставив ему в наследство три с половиною тысячи десятин земли с 400 душ крепостных в Рязанской и Тамбовской губерниях. Мать свою, урожденную фон-Рекенберг, Селиванов потерял очень рано и плохо ее помнил. До одиннадцати лет он жил в деревне, а затем был отвезен в Москву и отдан для обучения в один из частных пансионов. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, он поступил в Московский университет, где пробыл до 1830 г. По окончании университета Селиванов некоторое время служил в шестом департаменте Сената, находившемся тогда в Москве, а в 1831 г. уехал в Петербург, поступил на службу в инспекторский департамент Главного морского штаба. Однако в Петербурге Селиванов пробыл недолго; в следующем году он вернулся в Москву и занял должность столоначальника Московского горного правления. Здесь он прослужил до 1839 г. К этому же времени относится женитьба Селиванова на дочери его начальника, инспектора горного правления, Вере Фавстовне Макеровской. В приданое за женой Селиванов получил имение в Саранском уезде Пензенской губернии с 219 «душами» крепостных.

В 1839 г. супруги Селивановы вместе с сыном Дмитрием и дочерью Софьей расстались с Москвой и поселились в саранском имении. Вскоре Селиванов был избран местным дворянством на должность уездного судьи. В 1846 г. Селиванов вновь в Москве, где он служит чиновником для особых поручений при губернаторе И. В. Капнисте. Однако на этот раз Селиванов прожил в Москве недолго. В 1847 г. «по случаю недостатков денежных» он оставил службу и возвратился в саранское имение[2].

В Москве Селиванов имел многочисленных знакомых, главным образом среди «западников», которым он сильно симпатизировал. В частности,

он познакомился с Герценом, привезя ему в 1845 г. письмо от Н. Х. Кетчера, жившего в то время в Петербурге[3]. Был знаком Селиванов и с Н. П. Огаревым и его будущим тестем, А. А. Тучковым — так же, как и Селиванов, пензенскими помещиками.

Селиванов был противником крепостного права. Перед отъездом за границу он отпустил своих саранских крепостных на вечный оброк, уступив им в пользование и свою землю (1200 десятин на 250 душ). Трудно определить, насколько выиграли крестьяне Селиванова от этой реформы. Во всяком случае, в неурожайный 1848 год им пришлось весьма тяжело, и Селиванов очень мучился, сознавая свое бессилие радикально помочь им[4].

В феврале 1848 г. вследствие болезни жены Селиванов поехал во Францию. Его сопровождали, кроме жены, сын с гувернанткой. В Париж они прибыли через несколько дней после свержения короля Луи-Филиппа. С интересом наблюдали они за радостным возбуждением жителей французской столицы в первые дни революции.

«В Париж,— вспоминал Селиванов,— мы въехали вечером; улицы были освещены не фонарями только, но и плошками; зажженные свечи горели во всех окнах, изредка раздавались выстрелы — не боя, но радости».

В революционном Париже Селивановы пробыли до середины мая. На их глазах радостное оживление первых дней революции сменилось подавленным настроением, охватившим парижских рабочих после того, как они убедились, что торжество революции нисколько не улучшило их тяжелого материального положения.

Селиванов глубоко интересовался событиями, разыгрывавшимися у него перед глазами. Он посещал революционные клубы, слушал горячие речи выступавших ораторов. «Я видел 17 апреля,— вспоминал впоследствии Селиванов.— Был во дворе Национального собрания, когда народ вломился туда 15 мая; шел с толпою вместе, когда он повалил в „Hôtel de la Ville“, распевая „Марсельезу“, провозглашать новое правительство; видел в окне Барбеса и Бланки»[5].

Во второй половине мая Селивановы переселились в Дьепп, на берег Атлантического океана. Поэтому им не довелось быть свидетелями грозных июньских дней. Правда, в июне Селиванов приезжал на время в Париж; он прибыл туда 27 числа, на другой день после подавления восстания, когда, по его свидетельству, трупы еще валялись на улицах и камни мостовой были покрыты кровью[6]. Осенью Селивановы вернулись в Париж. Здесь Селиванов стал постоянным посетителем Герцена и живших в одном доме с Герценом Тучковых. У Герцена он встречался с И. С. Тургеневым, П. В. Анненковым и Н. И. Сазоновым[7].

В кружке Герцена к Селиванову относились насмешливо, не считая его серьезным человеком. «Не знаю,— писала про него Н. А. Тучкова-Огарева,— был ли он глупый, но он был очень тупой и любил заводить серьезные разговоры, но все обращались с ним полушутя, и никто не хотел говорить с ним серьезно». И вслед за этим Тучкова-Огарева рассказывает о том, как посмеивался над Селивановым Тургенев, уверяя его, что ему опасно возвращаться в Россию после того, как он побывал в Париже во время баррикадных боев, и приводит шуточное стихотворение, написанное Тургеневым про Селиванова[8]. Вышучивал Селиванова и Огарев в своих сатирических стихах[9].

Однако в письме Герцена к московским друзьям, написанном перед отъездом Селиванова из Парижа и врученном ему для передачи по назначению, мы находим сочувственный отзыв о Селиванове. «Селиванову,— писал Герцен,— обязуюсь дать аттестат, что вел себя исправно, на трехцветную не гнул и никакого ламартыжничества не чинил (все это вместе — шпилька Павлу Васильевичу Анненкову)». Перед этим Герцен

упоминал о том, что на каком-то банкете в Париже Селиванов выступил с речью[10].

Приведенное письмо Герцена, несмотря на шуточную форму, в которую оно облечено, показывает, что симпатии Селиванова, в отличие от упомянутого Герценом П. В. Анненкова, находились не на стороне умеренных либералов и Ламартина, руководивших действиями временного правительства, а на стороне демократов, что он был сторонником красного, а не трехцветного флага. Об этих же симпатиях Селиванова свидетельствует и публикуемое письмо к Желтухину, которое взялся передать адресату уезжавший осенью 1848 г. в Россию А. А. Тучков.

Тучков почему-то не выполнил поручения Селиванова; письмо не дошло до Желтухина, а осталось в бумагах Тучкова до той поры, когда во время одного из обысков оно было захвачено жандармами и переправлено в III Отделение[11].

Приводим полный текст этого письма:

Июля 29 1848. Диепп

Чем более вглядываюсь я, любезный Алексей Дмитриевич, во всё то, что делается около меня; чем более прислушиваюсь во всё, что говорится и пишется, тем более убеждаюсь, что Европа вообще не так далеко ушла в образовании, как мы в России вообще думаем. Своекорыстие и себялюбие играют, как и всюду, страшную роль, служат рычагом всеобщей деятельности. Всюду великолепные слова—и нигде дело: отвратительная комедия, прикрытая блестящею шумихою. Надобно быть очень убеждену в прогрессе, чтоб не отчаиваться, смотря на то, что теперь делается во Франции, а с нею, разумеется, и в целой Европе. Надо быть здесь, чтоб понять, как еще ничтожны слова: свобода, равенство и братство — в своем приложении и как еще много пройдет времени до тех пор, пока они будут поняты действительно, действительно осуществятся, примут плоть в обществе. В провинции это еще заметнее, нежели в Париже. В провинции точно так же, как и у нас, существуют помещики и рабы— рабы в полном значении слова. Надобно видеть эту безвыходную нищету во всей ее отвратительной грязности, чтоб понять и оценить долготерпение народное, перед словами равенство и братство, перед мыслию, что народ — царь (que le peuple est souverain). Фраза эта, служащая основанием всей болтовне, болтовне великолепнейшей и многоплоднейшей, ораторов Национального собрания, есть такая гадкая и злая насмешка над народом, создавшим это собрание,— что, право, не знаешь, чему удивиться: подлости ли или тупоумию людей, беспрестанно употребляющих ее в речах, или же терпению народному, слушающему ее и не затаптывающему в грязь людей, ее выговаривающих.

Из этого преамбюля*, который может вам показаться странным для первого письма из-за границы, вы можете понять, что я здесь, как и в России, нахожу, что низший класс лучше высшего, т. е. и честнее, и справедливее, и больше имеет понятия о праве,— понятия инстинктивного, это правда, но поэтому-то и заслуживающего более уважения.

У нас в России, где низший класс находится в таком жалком, в таком униженном положении, *обязанность* всякого честного человека должна состоять в том, чтоб служить ему по мере сил своих. Пусть говорят, что хотят, о том, что у нас служить нельзя, что один ничего не сделает и проч. — все это — вздор и ничего больше; фразы, выдуманные для того, чтоб прикрыть леность, своекорыстие, равнодушие. Возможность действовать ни под каким видом не закрыта для того, кто хочет действовать,— прими только эту возможность в той форме, в какой она представляется.

* вступления (от франц. «préambule»).

Убедись только, проникнись во всей полноте своего сознания, что человек должен действовать, действовать во что бы то ни стало,— и тогда форма отыщется тотчас. Теперь для меня это сделалось так ясно, что, кажется, я уже не буду останавливаться перед препятствиями.

Для того, чтоб начать приложение этого учения к делу, я хочу просить вас (и это есть цель моего письма и для вас уже не новость) помочь мне в этом случае. Вам известно, что помещик я плохой и что ежели где еще могу значить что-нибудь, так это в юстиции. Это есть (кажется) единственная форма, в которой я могу ближе всего приблизиться к осуществлению моей теории. Знаю всё то, что говорят против юстиции,— что ее, например, в России нет и что потому служить тому, чего нет,— смешно. Отвечаю на это: крестьяне не виноваты в том, что у нас нет юстиции,— а между тем страдают. Чтоб помогать утопающему, не дожидаться же разрешения вопроса: каким образом растет конопля, из которой свита веревка спасения... Становиться на ходули нечего; надобно принимать действительность, как она есть. Торговец, честно торгующий на 5 рублей, настолько же достоин уважения, как и торгующий на 5 миллионов; цифра не переменяет человека и его стремлений.

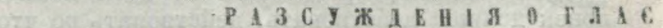
Вот в чем дело: нынешней зимой у вас выборы. Жить праздно в деревне или Москве я не могу и не хочу. Я хочу служить. Но так ⟨как⟩ теперь в Москву назначен новый генерал-губернатор, с которым Капнист (гражданский губернатор), может быть, и не уживется, то я могу и не получить в Москве обещанного места. А потому располагаю служить хоть в Саранске. Ежели Обухов выдет,— хлопочите мне место предводителя; нельзя,— место судьи (Борщов, говорили, идет в отставку); нельзя и этого,—заседателя в уездном суде. Кажется, в этом-то уж можно быть уверену,— и конкурентов бояться нечего. Возможность действия одинакова — потому что то, чего не будет доставать в силе легальной и формальной, заменится силою нравственной,— и результат будет тот же.

Пишу об этом к вам так рано, потому что послание это не может быть отправлено через почту, а доставится вам Алексеем Алексеевичем Тучковым — хотя сам еще не знаю, ворочусь ли в Россию нынешней зимой. Пишут к нам, что в Murееве рожь пропала,—следственно, кроме того, что на доходы надеяться нечего, надобно еще кормить мужиков, а это при нашей малой запашке отяготительно очень. Смотря с финансовой стороны,— надобно воротиться в Россию; с другой стороны: мысль, что с достижением десятилетнего возраста сыну,— дорога в Европу ему загорожена, а оставить его и дочь одних в России, когда они уже не дети, невозможно,— заставляет желать пробыть в Европе еще годок — тем более, что это может быть полезно и для здоровья жены. Во всяком случае, в ноябре вы будете знать, чтó я сделаю из себя нынешней зимой.

На случай, ежели б вы захотели написать ко мне по почте, то вот адрес ⟨...⟩

Живу я теперь в Диеппе, в маленьком приморском городке, где образование остановилось на большом уважении к духовенству, на монархической привязанности и на равнодушии ко всему тому, что делается в остальной Франции. Говорят, что с начала существования Диеппа — даже во времена большой революции — в нем не было ни клубов, ни возмущений, несмотря на то, что бедность страшная. Рыбаки, например, целую неделю проводящие в море верст за 30 от берегов, вырабатывают не более 5, 6 франков в неделю,— чем же тут кормиться с семьей, когда говядина продается 60 сантимов фунт, а наша мера картофеля стоит теперь около $2^1/_4$ франков. Ну, как же после того не сказать, что народ страшно долготерпелив.

Входить в подробности, что и как теперь здесь,— нечего; Алексей Алексеевич есть лучшая летопись. В ожидании того времени, как я лично



(И. А. Д—ва-М—ва.)

Я ничего не говорю! Но болитъ мое сердце, когда подумаю, до чего можетъ довести эта гласность!

Вѣдь этакъ служить никто не станетъ!—Какая тутъ служба, какъ всякое дѣло пойдетъ въ огласку?!

Молодые люди, чортъ знаетъ, что забираютъ себѣ въ голову: выдумали гласность, можно сказать, для того только, чтобы марать репутацію старшихъ.

Пойдутъ теперь суды да пересуды! Другой, быть можетъ, и забылъ давнымъ давно, что сдѣлалъ,— а тутъ гласность!

Помилуйте, ни на что не похоже! Вдругъ, про какого нибудь заслуженнаго человѣка позволить говорить все, что только объ немъ узнаютъ. — Да это просто срамъ!

«РАССУЖДЕНИЯ О ГЛАС-
«Искра».

вам сожму руку,— не забудьте моей просьбы и приготовьте мне заседательское место, ежели не будет другого. Прощайте, желаю вам всего лучшего и остаюсь душевно вас любящий

И. Селиванов

Моя жена и я вашей жене и вам справляет свой поклон. Поклонитесь Чарыкову[12] et consorte*.

В письме вашем вы не должны упоминать, что я во Франции.

Письмо Селиванова Желтухину подтверждает ту характеристику, какую дал отношению Селиванова к французской революции Герцен. Мы видим, что автор письма искренно и горячо возмущен тяжелой судьбой народных масс, их нищетой и безвыходной зависимостью от господствующих классов. Наблюдая французские порядки, Селиванов приходил к выводу, что Западная Европа не намного обогнала Россию, что и здесь, как и на его родине, существовали наряду с собственниками и рабы, что пышные фразы о народе-самодержце, о равенстве и братстве — пустая болтовня и насмешка над народом.

Возмущаясь социальной несправедливостью, Селиванов считает обязанностью всякого честного человека служение низшим классам. Однако

---

* сотоварищам (франц.).

НОСТИ В ПРОВИНЦИИ»
1860, № 11

он не сумел понять, что существует только один путь такого служения, это тот путь, которым пошли Герцен и Огарев, то есть путь революционной борьбы в целях ниспровержения существующего строя. В отличие от Герцена и Огарева, типичных носителей дворянской революционности своего времени, Селиванов — не революционер. Он надеялся служить народу и приносить ему пользу, став из помещика чиновником. Надо, по его словам, действовать в той форме, в какой это предоставляется действительностью. В России он не видит никакого другого поприща деятельности, помимо казенной службы, и утешает себя надеждой быть на этом поприще полезным народу. В основе такой наивной надежды лежит вера в то, что государственная власть и обслуживающий ее аппарат являются силой, стоящей выше общественных классов, не зависящей от них и потому способной действовать против интересов господствующего класса на благо угнетенного народа.

Это убеждение определило всю дальнейшую жизнь Селиванова.

В конце 1848 г. он возвратился в Россию и поселился в саранском имении в расчете занять какую-нибудь должность по выбору местного дворянства. В это время пензенским губернатором был А. А. Панчулидзев. Самодур, крепостник и хищник, он смотрел на управляемую им губернию как на источник личного обогащения. В пределах ее он считал себя неограниченным владыкой. Всех людей, державшихся независимо, он

ненавидел, не без основания рассматривая их как своих личных врагов. К таким именно людям он относил Селиванова и Тучкова. Уже давно Панчулидзев искал случая погубить их. Для этой цели он решил использовать свои петербургские связи и, в частности, свою близость к шефу жандармов А. Ф. Орлову.

Посетив в феврале 1849 г. Петербург, Панчулидзев побывал в III Отделении. Результатом разговоров, которые он там вел, явилась записка, составленная Дубельтом и гласившая:

«Губернатор Панчулидзев объявил, что предводитель дворянства Тучков и помещик Селиванов вредны своим образом мыслей. Они внушают молодым людям в высшей степени либеральные мысли и распространяют ложное понятие о коммунизме. Граф А. Ф. Орлов приказал наблюдать за ними»[13].

Пензенским жандармам было предписано установить строгое наблюдение за Тучковым и Селивановым. Однако Панчулидзеву этого было недостаточно, особенно потому, что наблюдение не давало никакого серьезного обвинительного материала против Тучкова и Селиванова. В январе 1850 г. Панчулидзев обратился к министру внутренних дел гр. Л. А. Перовскому с письмом, в котором старался всячески очернить своих врагов. Селиванова он изображал человеком, известным «своим вольнодумием и иррелигиозностью», сделавшимися особенно заметными «после последнего его путешествия за границу и пребывания его с Тучковым, как они сами это рассказывали, в Париже на баррикадах». «Сообщество его на молодых, неопытных и полуобразованных соседей,— писал Панчулидзев,— конечно, может иметь вредное влияние»[14].

В результате доносов Панчулидзева Селиванов, а также Тучков и его зятья, Н. П. Огарев и Н. М. Сатин, были арестованы и доставлены в Петербург[15].

При обыске, произведенном у Селиванова, был отобран ряд бумаг, среди которых наибольшее внимание следователей привлекли к себе: рукопись Селиванова, озаглавленная «Рассказ о том, как мучит крестьянин Игошка меня, своего барина, и как я ума не приложу, что мне делать с Игошкой», повесть о молодом дворянине Вельском, две статьи о положении помещичьих крестьян и неоконченное письмо, адресованное К. Д. Кавелину.

Рассказ об Игошке представлял собою, по выражению чиновников III Отделения, «злую сатиру на злоупотребление помещичьей властию»; быт крепостных крестьян представлен в нем «в самом жалком виде»: «помещик наказывает крестьян несправедливо, по прихотям, приказывает попу обвенчать девку несовершеннолетнюю, за пропажу собаки отдает мужика в солдаты». Крестьянина Игошку, выменянного на коляску, помещик бьет якобы за глупость: в действительности же Игошка вовсе не глуп. Рассказ кончается тем, что помещик женит Игошку на вдове против его и ее воли.

На допросе в III Отделении Селиванов избрал оригинальную систему самозащиты, объяснив, что рассказ его об Игошке является рассказом о самом себе и о том, что ему приходилось испытывать в своих взаимоотношениях с крепостными. Игошка — реальное лицо, один из его крестьян. «Этим рассказом,— говорит Селиванов,— я хотел показать, как дурно делают те помещики, которые берут на себя устраивать брачную судьбу крестьян».

Выслушав этот ответ Селиванова, следователи задали ему вопрос, побудивший его внести значительные ограничения в данное им первоначальное объяснение. «Принимаете ли вы на себя все противозаконные и дурные поступки описываемого вами помещика?» — спросили Селиванова.

«Принимать на себя все противозаконные и дурные поступки этого помещика я не могу, потому что не таков,— отвечал Селиванов.— Ни на один брак с моей стороны принуждения не было. Крестьян я ⟨...⟩ не наказывал телесно. Смело могу сказать: крестьяне меня любят, ибо я стараюсь по мере сил моих, способов и умения вникать в их нужды и по возможности помогать им. Успел ли — не знаю, по крайней мере, в доброй воле и желании у меня не было недостатка».

Нет оснований не верить тому, что Селиванов действительно проявлял заботливость о своих крестьянах и старался облегчить их положение. Об отношении его к крепостному праву можно судить по отобранным у него при обыске статьям по крестьянскому вопросу. В этих статьях Селиванов много писал об угнетении дворянами своих крепостных, о бесправии и бедности последних. Характеризуя статьи Селиванова, III Отделение отмечало их «резкий тон» и утверждало, что они «отзывают по местам социализмом». В подтверждение этого чиновники III Отделения приводили следующие выписки из статей Селиванова:

«Как рабочее животное, лишенное смысла, сидит он ⟨крестьянин⟩ по приказу начальника в болоте по пояс, влезает на дерево, спускается в колодцы, не обращая ⟨внимания⟩ на то, что рвет лохмотья последней одежды, что мочит то, чего переменить нечем, и в холоду, сырости, с тощим желудком, стиснув зубы и вытаращив глаза, по-видимому, равнодушно переносит насмешки, удары, голод, жажду, усталость. И зато, когда сын его приносит ему заработок свой, он напивается с судорожным наслаждением, чтобы забыть свое завтра, полное одних слез и страданий... чтобы забыть, что есть на свете господа и старосты, и он может быть всем братом, всем равным, и со всеми, с целым миром, идти на пир жизни...». «Что же делают господа для улучшения быта своих крестьян? Учат ли они их для того, чтобы приобщить к семейству человечества? Лечат ли их в болезнях, сочувствуют ли, по крайней мере, их страданиям? Нет, отнюдь нет, ни на волос. Равнодушно смотрят они на невежество, на болезни, на нищету и только иногда, и то немногие, уделяют им кроху, падающую со стола псам, тряпку, негодную для их собственного употребления. Не будем требовать невозможного, будем говорить только о том, как улучшить (а это наша обязанность, слышите ли, обязанность, важнейшая всяких других обязанностей) положение крестьян, и при настоящем положении социальных вопросов в России сделать их положение хоть только сносным».

Как видно из этой цитаты, в статьях Селиванова мы находим те же самые мысли о необходимости заботиться о крестьянах и добиваться улучшения их участи, которые знакомы нам по его письму к Желтухину. Те же мысли Селиванов развивал и в отобранной у него при обыске повести.

Герой ее — молодой дворянин Бельский — не удовлетворен своей жизнью. Он мечтает о том, чтобы служить народу. «Рассуждая, что полезнейшие должности в службе те, которые ближе к массам народа, где видны нужды *меньших наших братий*», Бельский решился занять полицейскую должность. Он становится становым приставом. Этот поступок шокировал и вызвал возмущение со стороны родных и близких Бельского. Его дядя, отставной тайный советник и аристократ, отказал ему от дома, а жена бросила его.

Несомненно, что мысли и переживания Бельского близки к мыслям и переживаниям самого Селиванова. Это подтверждается и незаконченным письмом его к К. Д. Кавелину. В нем он описывал свои душевные страдания, порождаемые сознанием того, что, дожив до тридцати восьми лет, он не мог быть полезным обществу. Письмо это было написано под впечатлением отчаянного положения, в котором оказались крестьяне

вследствие неурожая 1848 г. В нем много говорилось о «*потребности действия*», овладевшей автором письма. «Когда все около вас движется,—писал Селиванов,— все спешит, все торопится достигнуть той или другой цели, тогда и у вас является потребность, и потребность необходимая, действия. Быть простым зрителем становится тяжело, нестерпимо. Кажется бы целый мир унес на плечах своих; кажется бы на грудь себе принял все удары, все заботы, всю тягость, тебя окружающую. Это я чувствовал постоянно в оба раза моего пребывания за границей. Видя и слыша беспрестанно около себя беспрестанное движение, видя, с каким высоким самоотвержением люди жертвуют для общего блага всеми лучшими интересами жизни, поневоле скажешь себе: „Да что же я здесь? Зачем? Разве мне нечего делать на родине? Разве в ней много людей, готовых служить ей так бескорыстно, как я готов служить!..“ Это почти было причиною моего последнего возвращения».

Сообщив о своих сомнениях и чувствах, Селиванов писал, что он завидует Кавелину, который в отличие от него, Селиванова, поставил себе определенную цель и «идет упрямее по предназначенному пути».

Некоторые выражения письма Селиванова показались подозрительными следователям, и они потребовали от Селиванова подробных объяснений по содержанию письма.

Отвечая на их вопрос, Селиванов говорил: «Видя, что за границей многие люди благонамеренные занимаются чем-нибудь полезным — ученый распространением своих сведений, фабрикант распространением общего довольства, владелец земли улучшением способа возделывания ее,— естественно, я чувствовал, что я там лишний и должен был ехать на родину, чтобы здесь тоже употребить себя на труд, сообразный с моими склонностями. Мне хотелось служить, но по обстоятельствам я должен был жить в деревне, и это-то было причиною всех жалоб этого письма. Я понимал, что помещик должен всемерно стараться о благосостоянии своих крестьян, обеспечить их быт по мере сил всем,— а у меня не было денег даже и на собственные расходы».

Объяснения Селиванова не удовлетворили следователей, и ему было предъявлено обвинение в «вольном и противорелигиозном образе мыслей». Следователи находили, что Селиванов «в письмах и сочинениях своих обнаружил превратные свои понятия о гражданском устройстве и опасное для общественного спокойствия направление его ума и действий».

Селиванов категорически отверг предъявленные ему обвинения. «Вольнодумство мое,— говорил он,— ограничивается тем, что я говорю всегда, что брать взятки гнусно и мерзко; что притеснять крестьян своих и заставлять их работать свыше меры и морить голодом, когда у помещика полны амбары хлебом, бесчестно и грех перед богом и совестью. Противу религии я никогда и ничего не говорил, а говорил противу священников, которые притесняют крестьян и ведут непристойный для их сана образ жизни».

Отрекся Селиванов и от сочувствия западным революционным событиям. «Человек я по природе смирный<...>,— говорил он.— Всякий шум, всякий беспорядок, производит на меня разрушительное действие». Поэтому он не мог сочувствовать «заграничным беспорядкам». «Я смотрел на них с тем робким любопытством, с каким смотрят на все грозные явления природы и только удивлялся, каким образом люди, слывущие умными, до такой степени слепы, что не понимают истинной причины своих бедствий».

«Дух возмущения,— говорил в заключение Селиванов,— мне не свойственен; это не в моей натуре. Успокоить, примирить, услужить каждому, чтобы заставить его забыть свое горе, поправить ошибку другого, чтобы

БАРРИКАДЫ В ПАРИЖЕ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1848 г.

«Illustrierte Zeitung» от 28 апреля 1848 г.

окружающие не понесли от этой ошибки какого ущерба или страдания,— вот мой настоящий характер, вот мое призвание». Одна только государственная служба, а отнюдь не революционная деятельность, соответствовала, как указывал Селиванов, особенностям его характера.

Это заключение Селиванова вполне подтверждается, как мы видели, его письмами и произведениями. Однако следователи посмотрели на дело иначе. Они нашли показания Селиванова неискренними и стоящими в противоречии с его сочинениями и письмами, «которые обнаруживают вредный его образ мыслей до того, что распространение оных могло бы даже сделаться опасным».

В соответствии с этим они признали необходимым удалить Селиванова из Пензенской губернии, выслав его на службу в одну из отдаленных местностей. Николай I, которому было доложено дело, согласился с этим предложением.

Пока в III Отделении рассматривалось дело Селиванова, Тучкова, Огарева и Сатина, Панчулидзев, сознававший, что никаких серьезных обвинительных материалов в распоряжении следователей не имеется, продолжал их разыскивать. В марте 1850 г., по его настоянию, в усадьбе Тучкова был произведен вторичный — более тщательный — обыск. При этом было захвачено большое количество различных бумаг и среди них публикуемое нами письмо Селиванова к Желтухину, которое Тучков почему-то не передал по назначению. Все эти бумаги были отправлены в III Отделение. Однако они прибыли с запозданием: дело было уже решено, и решение получило царское утверждение.

Селиванов был сослан в Вятку, где стал служить производителем дел губернского статистического комитета. В ссылке он пробыл недолго.

В связи с двадцатипятилетием царствования Николая I Селиванову в декабре 1850 г. было разрешено возвратиться в пензенское имение. Селиванов воспользовался этим, чтобы обратиться к шефу жандармов А. Ф. Орлову с просьбой предоставить ему какую-нибудь должность в одной из столиц, «где моим усердием и ревностью,— писал Селиванов,— я мог бы доказать, как много и сильно чувствую я щедроты монарха и как глубоко во мне желание оправдать милостивое заступничество вашего сиятельства»[16].

Это обращение осталось безрезультатным. Орлов не нашел возможным предоставить Селиванову какую-нибудь должность. Селиванову пришлось прожить еще несколько лет в провинции, и только после смерти Николая I, в годы правительственного либерализма, ему удалось переселиться в Москву и получить, по выбору местного дворянства, должность председателя Московской уголовной палаты.

Во второй половине 1850-х и в начале 1860-х годов Селиванов начинает принимать участие в периодической печати: он сотрудничает в «Земледельческой газете» А. П. Заблоцкого-Десятовского, в «Журнале землевладельцев» своего друга А. Д. Желтухина, в «Московских ведомостях» и «Современной летописи» М. Н. Каткова и др.[17] В этих изданиях он печатал статьи публицистического и экономического характера. Однако литературную известность он приобрел не ими, а обличительными рассказами и повестями, которые помещал в «Современнике» с 1856 г. под названием «Провинциальные воспоминания. Из записок чудака»[18]. «Современник» охотно отводил место произведениям Селиванова, хотя для его руководителей были вполне ясны их слабые стороны. Сообщая в 1857 г. Некрасову о печатании в очередном номере «Современника» одной из «статеек Селиванова», Чернышевский добавлял: «Плохо, разумеется, со стороны таланта и ума, но эффектно и выгодно по своей резкости»[19]. Яркие картины чиновничьего произвола и хищений, рисуемые Селивановым, являлись, с точки зрения революционной демократии шестидесятых годов, прекрасным агитационным средством, которое необходимо было использовать в борьбе против существующих порядков.

Именно поэтому Добролюбов, говоря о степени распространения в русском обществе любви к общему благу, ставил фамилию Селиванова в один ряд с фамилий Щедрина[20]. Однако руководители «Современника» отнюдь не считали Селиванова своим единомышленником. Они понимали, что Селиванов не сознает связи рисуемых им картин произвола и грабительства с общими политическими порядками тогдашней России. Селиванов возлагал вину за злоупотребления на злонамеренность и испорченность отдельных носителей власти, руководители же «Современника» — на весь русский политический строй. Селиванов мечтал только об устранении злоупотреблений, а руководители «Современника» — об уничтожении условий, порождающих злоупотребления. Селиванов верил в мирные пути прогресса, руководители же «Современника» верили в революцию. Он апеллировал к верховной власти, а они — к народным массам. Все это и имел в виду Чернышевский, говоря, что в произведениях Селиванова «плохо» не только со стороны таланта, но и со стороны ума.

Мы видели, что в 1848 г. Селиванов мечтал о поступлении на государственную службу для того, чтобы приносить пользу народу, и теперь — в конце 1850-х и в 1860-х годах — он продолжал придерживаться этой наивной иллюзии. Исходя из нее, он и строил все свои жизненные планы.

Должность председателя Уголовной палаты Селиванов занимал в течение пяти лет — до 1862 г., когда во время дворянских выборов был забаллотирован. После этого он поступил на службу чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе П. А. Тучкове.

В Москве конца 1850-х и начала 1860-х годов Селиванов являлся довольно видной фигурой. Он был одним из учредителей возникшего в 1860 г. Московского городского кредитного общества, а затем председателем его наблюдательного комитета[21]. Селиванов обладал немалым числом литературных знакомств; особенно сошелся он в это время с В. П. Боткиным, с которым, по его собственным словам, «находился в самых близких и искренних отношениях»[22]. В 1859 г. Селиванов был избран членом Общества любителей российской словесности. При этом председатель Общества А. С. Хомяков произнес речь, в которой приветствовал Селиванова как представителя обличительной литературы, имеющей, по мнению оратора, некоторое право на существование[23]. В рядах Общества любителей российской словесности Селиванов оставался недолго; в 1860 г. он демонстративно вышел из него. Причиной этого выхода послужило его столкновение со славянофилами, игравшими в то время в Обществе руководящую роль. На одном из заседаний Общества Селиванов предложил организовать, по примеру петербургских литераторов, публичные вечера и литературные чтения, доход с которых шел бы в пользу нуждающихся писателей и ученых. Славянофилы во главе с К. С. Аксаковым резко возразили против этого предложения, указывая, что пособия, оказываемые таким образом,— грех, ибо благодеяние не следует основывать на потворстве страстям человеческим. В результате этих возражений предложение Селиванова было провалено 13-ю голосами против двух. Селиванов счел нужным печатно протестовать против этого постановления. На страницах «Московских ведомостей» между ним, с одной стороны, и А. С. Хомяковым и секретарем Общества М. Н. Лонгиновым — с другой — разыгралась целая полемика, закончившаяся выходом Селиванова из Общества[24]. Объясняя свой шаг и характеризуя порядки, установившиеся в Обществе, Селиванов писал: «Это было что-то семейное, где г. Хомяков играл роль патриарха; чтобы быть там, надобно было

326 THE ILLUSTRATED LONDON NEWS. [MAY 20, 1848.

ATTACK UPON THE NATIONAL ASSEMBLY

ВТОРЖЕНИЕ НАРОДА В ЗАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ В ПАРИЖЕ 15 МАЯ 1848 г.
«The Illustrated London News» от 20 мая 1848 г.

принадлежать к семейству ⟨...⟩ А так как я не принадлежал к семейству, то вот и наказан... и поделом»[25].

По-видимому, служба при П. А. Тучкове не вполне удовлетворяла Селиванова. В 1863 г., во время польского восстания, узнав, что правительству нужны в Польше русские чиновники, Селиванов вышел в отставку и уехал в Варшаву.

В Варшаве Селиванов служил под начальством генерал-полицеймейстера Ф. Ф. Трепова, заняв должность вице-директора 1-го департамента его управления. Управление это, организованное в январе 1864 г., по мысли Н. А. Милютина, «для противодействия жонду», являлось по существу своих обязанностей как бы министерством полиции. Одновременно с работой в управлении генерал-полицеймейстера Селиванов состоял членом Комиссии по закрытию католических монастырей, участвовавших в восстании или поддерживавших его, и составил докладную записку о работе этой комиссии[26]. Позднее Селиванов был назначен редактором русской правительственной газеты «Варшавский дневник».

Таким образом, в середине 1860-х годов Селиванов превратился в типичного чиновника-русификатора, проводника правительственной политики в усмиренной Польше. Если вспомнить мечты Селиванова относительно пользы, приносимой народу благонамеренными чиновниками, в этом превращении для нас не будет ничего неожиданного. Напротив, оно являлось вполне закономерным. Это подтверждается высказываниями самого Селиванова о русской политике в Польше и, в частности, написанным им по поручению начальства возражением на статью французского публициста Лавернь, помещенную в одном из французских журналов, по поводу указа от 2 марта 1864 г. о наделении польских крестьян землей. Возражение Селиванова было напечатано в польском издании «Варшавского дневника»[27].

Некоторые мысли, развитые Селивановым в его возражении Лавернь, перекликаются с его высказываниями в письме 1848 г. к А. Д. Желтухину.

Указав, что польские крестьяне, формально освобожденные от крепостной зависимости, фактически продолжали находиться в полном подчинении у панов, Селиванов сравнивал их положение с положением фабричных рабочих на Западе, которых угроза потери заработка и голодной смерти делала рабами предпринимателей.

«Разве вы не помните того,— писал Селиванов, напоминая Лавернь уроки 1848 г.,— что говорила во время оно пресса, когда был поднят вопрос о деспотизме капитала над трудом? И что было потом? Разве не помните, что сделали собственники — эта французская буржуазия, мечтавшая во время оно располагать тронами и судьбами царств, когда был поднят роковой вопрос под именем организации труда? Она задавила вопрос, испугавшись его».

Проводя в Польше крестьянскую реформу, русское правительство, по мнению Селиванова, действует в качестве защитника интересов польского крестьянства. Оно не грабит панов, как утверждает Лавернь, а ограждает труд польских крестьян от привыкших грабить их панов. Правительство,— заявлял Селиванов,— не хочет того, чтобы польские крестьяне оставались «пролетариями» и «рабами владельцев земли». Селиванов упустил из виду, что проводимая русским правительством в Польше крестьянская реформа была предпринята им вовсе не из сочувствия к крестьянству, а из желания ослабить в экономическом и политическом отношении польское дворянство.

Остается сказать несколько слов о последних годах жизни Селиванова. Выйдя в отставку, он употреблял свои досуги на литературную работу мемуарного характера. В 1880—1882 гг. на страницах «Русской ста-

рины» печатались его содержательные «Записки дворянина-помещика», а также воспоминания о некоторых эпизодах из его жизни.

24 июня 1882 г. Селиванов умер в Москве.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Об А. Д. Желтухине — см. Н. М. Дружинин. «Журнал землевладельцев» 1858—1860 гг. — «Труды Института истории РАНИОН», т. I. М., 1925, стр. 470 и сл.

[2] Биографические справки о Селиванове заимствованы из его показаний, данных в 1850 г. в III Отделении (ЦГИАМ, ф. III Отделения, 1 эксп., 1849 г., д. 67, ч. III), и из сведений, приведенных в его книге «Виденное, слышанное, передуманное и перечувствованное...». М., 1882, стр. 99, 170, 178.

[3] Герцен, т. III, стр. 461.

[4] И. В. Селиванов. Записки дворянина-помещика.— «Русская старина», 1880, № 6, стр. 307—308.

[5] Там же, стр. 299.

[6] Там же.

[7] Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. Л., 1929, стр. 84.

[8] «Русские пропилеи», т. IV. М., 1917, стр. 106.

[9] Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы, т. II. Л., 1938, стр. 361—362.

[10] Герцен, т. V, стр. 245—246.

[11] ЦГИАМ, ф. III Отделения, 1 эксп., 1849 г., д. 67, ч. 1, л. 156.

[12] Чарыков — пензенский помещик. Его и Желтухина Селиванов называет своими «самыми близкими приятелями» («Записки дворянина-помещика».— «Русская старина», 1880, № 6, стр. 296).

[13] Я. З. Черняк. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве. М.— Л., 1933, стр. 365—366.

[14] Там же, стр. 151—152.

[15] Процесс Селиванова изложен на основании документов, собранных в деле III Отделения, 1 эксп., 1849 г., № 67, ч. I и III.

[16] Там же, ч. III, л. 49.

[17] Список литературных произведений Селиванова, хотя и далеко не полный, см.: Д. Д. Языков. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей, вып. II. СПб., 1885, стр. 43; а также заметку о Селиванове в «Русском биографическом словаре» и статью А. В. Храбровицкого «Пенза в „Современнике" Чернышевского и Добролюбова».— Газ. «Сталинское знамя» (Пенза), 1947, № 132.

[18] «Провинциальные воспоминания» в 1857—61 гг. были переизданы в 3-х частях. К ним примыкают два выпуска «Воспоминаний прошедшего» (1862) и книга «Виденное, слышанное, передуманное и перечувствованное. Продолжение воспоминаний прошедшего автора „Провинциальных воспоминаний"». М., 1882.

[19] «Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие», т. II, 1928, стр. 353.

[20] Добролюбов, т. III, стр. 245.

[21] См. воспоминания Селиванова об основании этого общества в «Русской старине», 1880, № 5, стр. 149—156.

[22] «Русская старина», 1880, № 5, стр. 153.

[23] Речь Хомякова напечатана в «Русской беседе», 1860, № 1. Ср. пародию на нее В. С. Курочкина под названием «Дилетантизм в литературе» (В. С. Курочкин. Собрание стихотворений. Л., 1947, стр. 55—58).

[24] Об этом эпизоде подробно, но не вполне объективно, рассказано Н. П. Барсуковым («Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. 17. СПб., 1903, стр. 418—424). См. также заметку о Селиванове в «Словаре членов Общества любителей российской словесности при Московском университете». М., 1911, стр. 252—253.

[25] И. Селиванов. Первый и последний ответ г. Лонгинову.— «Московские ведомости», 1860, № 80, стр. 627.

[26] Записки И. В. Селиванова.— «Русская старина», 1880, № 12, стр. 837, 872—874.

[27] Перепечатано Селивановым в его книге «Виденное, слышанное, передуманное и перечувствованное...». М., 1882, стр. 184—201.

НЕИЗДАННАЯ БАСНЯ ХУДОЖНИКА П. А. ФЕДОТОВА «ТАРПЕЙСКАЯ СКАЛА»

Сообщение Г. К. Леонтьевой

Литературное наследие крупнейшего мастера русской реалистической живописи первой половины XIX в. Павла Андреевича Федотова мало изучено. Его стихотворения и басни опубликованы далеко не полностью. Характеристике поэтических произведений художника посвящена лишь статья В. Апушкина «Федотов-поэт» в «Русском инвалиде», 1902, №248, и несколько страниц в монографии Я. Д. Лещинского «П. А. Федотов. Художник и поэт» (М.—Л., 1946, стр. 135—143).

Между тем поэтическое творчество художника представляет значительный интерес. Федотов несомненно был одаренным поэтом, близким к «натуральной школе» русской литературы 1840-х гг. Ни одно из стихотворений Федотова не вышло в свет при жизни художника — они и писались им не для печати. Тем больший интерес они представляют для исследователя, ибо здесь автор без оглядки на цензуру, с полной откровенностью высказывает свое отношение к крепостному праву, религии, обличает взяточничество. В поэме «Поправка обстоятельств», в баснях «Конь», «Усердная Хавронья», «Свет и тень» и др. мы найдем немало строк, характеризующих общественно-политические взгляды художника.

В неопубликованном «Послании в стихах» (автограф.— Гос. Русский музей», ф. 9, ед. хр. 15) Федотов высказывает свое творческое кредо:

...Но сатирический мой взгляд
Всем без разбора средствам рад,
Чтобы тому, что не по сердцу,
Задать как можно больше перцу...

Федотову, выразителю остро-критической тенденции в русской живописи, было многое «не по сердцу» в николаевской России, в том числе царская цензура. На собственном опыте художник неоднократно убеждался в ее беспредельном произволе. Ему не разрешили литографировать картину «Свежий кавалер», на его глазах в 1848 г. был запрещен «Иллюстрированный альманах» Некрасова, не было осуществлено и задуманное Федотовым совместно с Бернардским издание сатирического еженедельника «Вечером вместо преферанса».

В 1849 г. Федотов пишет басню «Усердная Хавронья» (опубликована в указанной монографии Я. Д. Лещинского, стр. 120). В этой басне цензура изображена под видом горничной. Борясь с колючками, она

...и неколючее вокруг все перемяла.
Через неделю... все завяло!
Колоться нечем!.. Бабе честь...

Зато понюхать иль поесть
В саду бывало прежде густо,
А нынче пусто!

Обличению злоупотреблений николаевской цензуры посвящена впервые публикуемая нами притча Федотова «Тарпейская скала».

Более ста лет тому назад В. Толбин, автор статьи о Федотове в журнале «Пантеон», заявил, что басню эту следует считать утраченной («Пантеон», 1854, № 1, стр. 43). С тех пор в литературе о Федотове она не упоминалась. В настоящее время автограф «Тарпейской скалы» обнаружен в архиве журнала «Русская старина», хранящемся в Пушкинском доме (ф. 265, оп. 2, ед. хр. 2926). На первом листе наверху надпись неизвестной рукой: «Автограф Федотова». Водяных знаков на бумаге нет. Рукопись беловая, но имеется шесть поправок, сделанных рукою Федотова. Приводим текст басни:

ТАРПЕЙСКАЯ СКАЛА

ПРИТЧА

В глубокой древности один законодатель
И, как велось, богам приятель,
С одним из них в радушный час,
Сидевши глаз на глаз,
Был удостоен откровенья
И наставленья
Как сделать сча́стливым народ.
Конечно, первое условье
Для счастия — здоровье.
Вот он для улучшения своих людских пород
Постановил в закон: чуть где родись урод
Иль хворенький иной, иль просто недоношен,
Дитя быть должен в море брошен;
А если быть кому по правилам в живых,
Чтобы ни пятнышка на них,
Ни бородавочки нигде не оставалось,
Сейчас чтобы срезалось
Иль выжигалось.
Устроен на скале Тарпейской комитет.
Набрали членов добрых, честных,
Умом, ученостью известных
Хирургов цвет.
И в этом комитете
Осматривались все и подчищались дети.
Проходит двадцать, тридцать лет,
Вот новое уже явилось поколенье,
Но вовсе не видать в породе улучшенья.
Уродов не перевелось.
Знать члены матерей щадили.
В делах политики в расчет не брать же слез,
И добрых членов заменили
Другими покрутей;
Но улучшение людей
Вперед у них, глядят, все мало поддается,
Не действует на членов ни арест,
Ни крест;
Смени иного — он смеется
И очень, очень рад,

В другое место заберется,
Везде где ни служи везде жирней оклад,
Чем в членах комитета.
Смекнувши это
Сейчас
Оклады увеличили для членов во сто раз,
И место сделалось первейшим в государстве.
Но улучшилась ли людей порода в царстве?
Член тоже местом дорожит,
Поэтому от всякой малости дрожит,
И, несмотря на материно горе,
Ребенка всякого почти кидает в море.
Оно спокойней и верней,
Дитя отпето
И нет вперед ответа.
А если жить и даст по доброте своей,
То с пятнышками у детей,
Обрезав и кругом с запасом,
Без носа часом,
Их пустит в свет, иль без ушей,
И изо всякого обделает урода.
А вместе с тем,
Все прекращалося и наконец совсем
С земли исчезла вся порода.
Остались члены для развода.
И слышал я вчера
Потомки их весьма способны в цензора.

В этой притче Федотов иносказательно повествует о произволе николаевской цензуры, ставшем практически неограниченным после французской революции 1848 г., когда по указанию царя был организован так называемый негласный цензурный комитет (его неофициальное наименование было сначала «Меншиковский» потом «Бутурлинский»).В «Тарпейской скале» глубже, чем в цитированной басне «Усердная Хавронья», вскрывается реакционная сущность политики самодержавия в области литературы и искусства. Если там главный удар поэта направлен против цензуры, которая в усердии и по недомыслию опустошает весь сад — приказано же ей было убрать лишь все колючее,— то в «Тарпейской скале» отражена решающая роль правительства в цензурной политике. Слишком либеральны члены комитета — их заменяют другими, «покрутей»; не действует на цензоров «ни арест, ни крест» — их покупают «жирным окладом». Последняя мера заставляет членов комитета дорожить местом, ставит в прямую зависимость их благоденствие от беспощадного уродования художественных произведений.

Вероятнее всего, что «Тарпейская скала» была написана в 1849 г., во всяком случае после 1848 г. В этом году цензура не разрешила изданию «Вечером вместо преферанса», запретила «Иллюстрированный альманах», для которого Федотов сделал иллюстрации к «Ползункову» Достоевского, Вышел альманах в свет только в 1849 г., но в сильно измененном виде. Повести Станицкого (А. Я. Панаевой), рассказы Майкова, Дружинина, Достоевского не вошли в него, исчезли карикатуры Степанова, а другие рисунки прошли лишь под видом иллюстраций к анонимному «Трактату о физиономике», к которому они не имели никакого отношения. Возможно, именно, судьба «Иллюстрированного альманаха» и явилась поводом создания этой притчи Федотова о цензуре.

К. Д. КАВЕЛИН О СМЕРТИ НИКОЛАЯ I

ПИСЬМА к Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

Статья и комментарии Ш. М. Левина
Публикация Л. Р. Ланского*

Ниже публикуются три письма К. Д. Кавелина к Т. Н. Грановскому: первое — от сентября 1848 г., второе — от октября 1853 г. и третье — от марта 1855 г. Письма представляют несомненный интерес для освещения политических настроений и взглядов определенных кругов русского общества в середине XIX в., а вместе с тем содержат ряд отдельных фактических сведений из истории журналистики, об обстоятельствах смерти Николая I и вступления на престол Александра II.

В письмах с особой яркостью отразилась ненависть, несомненно, достаточно широкого общественного круга к личности и режиму Николая I. В первые недели после неожиданной смерти царя Кавелин писал: «Калмыцкий полубог, прошедший ураганом, и бичом, и катком, и терпугом по русскому государству в течение 30-ти лет, вырезавший лица у мысли, погубивший тысячи характеров и умов, истративший беспутно на побрякушки самовластия и тщеславия больше денег, чем все предыдущие царствования, начиная с Петра I,— это исчадие мундирного просвещения и гнуснейшей стороны русской натуры — околел, наконец, и это сущая правда!» В период николаевского царствования, особенно в последние его годы, когда реакция достигла самых крайних пределов, даже люди, подобные Кавелину, переносили негодование и возмущение с личности царя на всю династию.

Однако и в то время, когда чувство отвращения и озлобления против царствующего императора было столь сильно, Кавелин не был принципиальным противником самодержавной монархии, напротив, он считал ее необходимой и неизбежной формой правления для тогдашней России. В письме 1848 г. Кавелин прямо утверждал: «Я верю в совершенную необходимость абсолютизма для теперешней России; но он должен быть прогрессивный и просвещенный. Такой, каков у нас,— только убивает зародыши самостоятельной, национальной жизни». Минималистскую утопию просвещенного и прогрессивного абсолютизма в России Кавелин сохранил при переходе к новому царствованию и в течение всей своей последующей общественной и публицистической деятельности.

В письме к М. П. Погодину, относящемся к началу ноября 1855 г. и в свое время опубликованном Н. П. Барсуковым, Кавелин делился своим убеждением в «совершенной необходимости сохранить неограниченную власть государя, основав ее на возможно широких местных свободах и участии всех в местных делах и управлении» [1]. Известно, что Кавелин настойчиво и систематически выступал против конституционных стремлений и конституционной агитации, что, между прочим, послужило одним из поводов для разрыва его в начале 1860-х годов с Герценом. Правда, в своей переписке с Герценом, непосредственно предшествовавшей этому разрыву, Кавелин доказывал, что он не отрицает конституции в будущем. «Я говорю,— писал он в мае 1862 г. Герцену,— приготовляйте грунт для истинной и прочной политической свободы в самоуправлении ⟨речь шла тут о местном самоуправлении.— *Ш. Л.*⟩. Ударьте на это;

---

* Письма печатаются по автографам ГИМ (ф. 345, ед. хр. 3, лл. 1—10 об. и 21—24 об.).

остальное придет само собою» [2]. Но в какую неопределенную даль отодвигалось, в конце концов, Кавелиным это будущее, видно из того, что даже спустя двадцать лет он не считал его назревшим. В январе 1882 г. Кавелин сообщал в одном из своих писем: «Почти все убеждены, что самодержавие кончило свои дни. Я принадлежу к немногим единицам, которые думают, что не самодержавие, а органы и способы его действия окончательно отжили свой век и должны быть радикально реформированы, заменены совершенно иными, соответственно более зрелому гражданскому возрасту России, более сложным и тонким потребностям» [3]. С исключительным упрямством Кавелин противопоставлял «политический» вопрос «административному», пытаясь доказать, что России не нужны политические гарантии против исторически сложившейся верховной власти, якобы отличающейся «всесословным демократическим характером», и что ей «на долгое время» хватит удовлетворения таких пожеланий, как «сколько-нибудь сносное управление, уважение к закону и данным правам со стороны правительства, хоть тень общественной свободы» (писал это Кавелин в середине 1870-х годов) [4].

Если в 1870-х и тем более в начале 1880-х годов такая из ряда выходящая скромность положительной общественной платформы Кавелина уже вызывала немало возражений в либеральном лагере, то в середине 1850-х годов, когда Кавелин писал третье, особенно симптоматическое из публикуемых писем к Грановскому, он был, судя по всему, гораздо более типичным выразителем настроений либерального круга.

Готовый, по его собственным словам, «с ума сойти от радости и опьянеть от счастия» по случаю смерти «нового Навуходоносора», скорбя о том, что общий друг его и Грановского, Николай Фролов не дожил до «минуты сладкой», до избавления от «сифилиса, открывшегося в России в лице высочайшей особы», Кавелин вместе с тем в этот момент согласен был удовольствоваться самым малым. Он присоединялся к мнению тех, кто, согласно его свидетельству, считали, что «реформ и великих государственных действий» нельзя ожидать, однако полагали, что «все пойдет, хоть в той же колее, но почеловечнее и помягче, по крайней мере сначала». При этом Кавелин от себя заявлял: «Если новый царь не станет биться в своей клетке, как яростный тигр, ища жертв и казней, подобно отцу; если он только даст подлечить раны, нанесенные этим бессмысленным татарином и злодеем; если мнение, жалоба, высказанные между четырьмя глазами, не будут считаться справедливым основанием к жестоким казням; если хоть мало-мальски общественный голос будет до него доходить, на 10, на 15 лет этого очень, очень довольно, без реформ и преобразований 〈...〉 Лет 10, 15 немного — чтоб вздохнуть, выспаться нравственно и приготовиться к новой деятельности».

Конечно, на такой оскопленной, безмерно куцой «платформе» и сам Кавелин не удержался. Уже когда он писал цитированные строки, то и тогда высказывал предположение, что его корреспондент — Грановский — с ним не согласится. Как известно, Кавелин тогда же или вскоре принялся за подготовку проекта отмены крепостного права, который, во всяком случае, никак нельзя было не считать реформой, «преобразованием». Но при всем том настроение, выразившееся в большом мартовском письме к Грановскому, было характерным для Кавелина, да и для многих русских либералов вообще. Кавелин был способен к меткой и подчас острой критике тех или иных пороков существующей системы, он ненавидел некоторых наиболее мерзких ее представителей, но как личные свойства, так и классовый интерес неимоверно ограничивали его кругозор. Он боялся всяких резких политических сдвигов и подавно не допускал применения серьезных, действенных политических средств борьбы, основывая свои надежды на таком шатком «основании», как тихий нрав и будто бы доброе сердце Александра II, как «хорошие наклонности» великого князя Константина Николаевича и его готовность идти об руку со вступившим на престол братом и проч.

Одним из источников безграничного кавелинского оппортунизма, считавшегося им самим проявлением трезвости и реализма, было его недоверие к общественным силам. В той части известного «Письма к издателю» (то есть к Герцену), напечатанного в первой книжке «Голосов из России», которая была написана Кавелиным, говорилось: «...Русская мысль, представляемая горстью просвещенных и порядочных людей, не может грозить ни русскому государю, ни даже невежественной русской бюрократии; когда правительство ее от себя отталкивает, как до сих пор было, она остается бес-

сильною и глохнет в ничтожестве и бездействии ⟨...⟩ Доказательства под глазами: сорок лет у нас пренебрегали мыслью, и какой же тому результат? — Революции у нас от этого не было, а Россия померкла извне, замерла физически и нравственно внутри. Если правительство вздумает продолжать идти по тому же пути, ему по-прежнему нечего опасаться ни восстаний, ни заговоров, ни тайных обществ, но оно загубит страну, иссушит все ее живые соки, и положение наше, внутри и вне, будет еще мрачнее, еще достойнее слез, чем теперь» [5]. Будучи сам одним из представителей той части дворянской интеллигенции, у которой способность к практическому действию была парализована николаевским режимом, Кавелин переносил эту черту не только на *все* свое поколение, но и на последующее. В мартовском письме 1855 г. к Грановскому он писал: «Кто возвратит нам назад тридцать лет и призовет опять наше поколение к плодотворной и вдохновенной деятельности! Какому Ваалу нового времени принесены в жертву лучшие силы, цвет и надежда России? Когда-то соберутся новые? Еще генерация, выросшая и воспитанная под самой несчастной звездой, лишенная энергии, идей, чести, только с виду носящая человеческий образ, должна пройти, пока выйдет что-нибудь путное». «От нас ждать нечего, а за нами идет гнусная генерация»,— повторял он в конце того же письма. Впрочем, через год (письмо к Погодину от 3 апреля 1856 г.) Кавелин хвалил уже современную молодежь, говоря, что около нее у него отогревается сердце: «Тут сокровища любви, веры и ключи живой жизни» [6]. Но все же он и дальше колебался в оценке подрастающего «нового племени», «новых тружеников мысли». Герцену в 1857 г. он по поводу них писал: «Сведений у них без сравнения больше нашего. А больше ли жару, больше ли веры и надежды,— это великий вопрос. Мне кажется, что они в этом от нас отстали, как мы отстали от наших предшественников» [7]. Однако самое главное заключалось даже не в этих колебаниях и противоречиях, а в том, разумеется, что Кавелин не сумел и не захотел понять нового *демократического, разночинного* поколения. Близкое личное общение в дальнейшем с такими замечательными представителями этого поколения, как Чернышевский и Добролюбов, ничего, по существу, в этом отношении не изменило.

В публикуемых кавелинских письмах 1848 и 1853 гг. важное место занимает вопрос об отношении к Герцену. С середины 1840-х годов Кавелин находился в большой дружбе с Герценом. «После Грановского я никого так не любил, как тебя; да и при Грановском я тебя любил не меньше его»,—писал Кавелин Герцену впоследствии, в 1862 г.[8] Для Герцена отношения с Кавелиным тоже значили немало. О посещении его в Лондоне Кавелиным в 1859 г. Герцен говорил (в письме к М. К. Рейхель) как о главном событии после приезда Огарева [9]. Тем не менее, во взаимоотношениях Кавелина с Герценом многое было основано на несознанных обеими сторонами недоразумениях. Кавелин долгое время считал себя в существенном единомышленником и последователем Герцена. Но «сходство» ряда их взглядов (в некоторых оценках судеб и путей развития Запада и России [10], значения общины, роли крестьянского элемента в русской жизни в настоящем и будущем и т. д.) было сходством более по форме, чем по внутреннему содержанию, определяемому классовой природой и общественными идеалами. Когда Кавелин писал позднее (в 1857 г.) Герцену, что, как ему кажется, они с Герценом расходятся «не в целях и в основаниях», а, скорее, «в средствах, которые ведут к целям» [11], то он и в этом очень сильно ошибался, не говоря уже о том, что обнаруживавшееся на разных этапах их отношений расхождение в понимании «средств» в конечном итоге оказалось столь глубоким и острым, что само по себе должно было привести к безысходному конфликту.

В своем письме от июня 1859 г. Кавелин писал Герцену: «Разошедшись на короткое время не в мыслях, а в образе действий, я опять и давно сошелся с тобою» [12]. «Схождение», весьма неполное, оказалось и непрочным. К тому же Кавелин погрешил против истины, говоря, что оно состоялось «давно». Ибо еще в 1855 г. (во второй половине, несомненно), в цитированном уже выше «Письме к издателю», Кавелин, выражая «от глубины души» уважение к Герцену как одному из даровитейших русских писателей, оказавших «в высокой степени благотворное влияние на русскую мысль», подчеркивал одновременно, что далеко не разделяет герценовского образа мыслей, далеко не сочувствует деятельности Герцена со времени его отъезда за границу [13].

Это несочувствие и отразилось в письмах Кавелина к Грановскому от сентября 1848 г. и октября 1853 г. В 1848 г. Кавелин противопоставлял открывающейся, как он думал тогда, перед Грановским будущности — «и деятельной и плодовитой для других» — деятельность в Париже Герцена, которая его, Кавелина, наоборот, и огорчала, и мучила. Правда, на первое место он тут выдвигал опасения, что своей «опрометчивостью» и «увлекательностью» Герцен закроет себе дорогу в Россию и возможность «делать свое дело у нас». Но, собираясь писать «огромное письмо» Герцену, он хотел дать ему почувствовать как «неосторожность» его действий, так и «невозможность и ложность точки зрения», на которой, по его мнению, Герцен в это время стоял.

Привлекает внимание в том же письме резко отрицательное отношение к планам Н. И. Сазонова, о которых дошли до Петербурга сведения,— относительно создания в Париже русского клуба и русского журнала для пропаганды. Взгляды, высказанные по этому поводу Кавелиным[14], долго держались и у него, и у всего близкого ему круга москвичей. Они нашли выражение и в реакции Грановского и его друзей на появление в 1851 г. на французском языке книги Герцена «О развитии революционных идей в России», и в отношении к великому начинанию Герцена — основанию им в 1853 г. вольного русского книгопечатания за рубежом. Письмо Кавелина к Грановскому от октября 1853 г. показывает, что его восприятие начатого Герценом дела не разнилось от московско-либерального. «Вести из-за границы ты знаешь»,— писал он и с достаточным основанием высказывал предположение, что эти вести подействовали на Грановского «так же, как и на нас здесь». «Я просто постарел от того, что читал и слышал»,— очевидно, Кавелин частью успел познакомиться с первыми герценовскими изданиями, частью судил о деятельности Герцена по рассказам. Тот факт, что Кавелин сохранял полностью личную привязанность к Герцену («А всё при имени этого человека сердце бьется по-прежнему...»), не меняет ничего в характере политической позиции, занятой Кавелиным в 1853 г. Под влиянием кризиса, вызванного Крымской войной, затем усугубленного смертью Николая I, изменилось отношение Кавелина к вопросу о заграничной русской печати. Являясь одним из двигателей возникшей тогда в самой России рукописной публицистической литературы, он стал поддерживать и идею зарубежного печатания. В упоминавшемся «Письме к издателю» Кавелин высказался за «прямое, откровенное выражение русской мысли посредством печатной книги или статьи», издаваемой за границей[15]. Любопытно, однако, что на это он смотрел прежде всего с точки зрения «восстановления» прямых отношений «между царем и народом»,— важно было, на его взгляд, чтобы русская мысль обратила на себя таким образом внимание царя. Позднее, во второй половине 1850-х годов, Кавелин положительно отзывался о деятельности Герцена по изданию «Колокола». Но он, как впоследствии подчеркивал В. И. Ленин, восторгался «Колоколом» «за его *либеральные* тенденции»[16]. Когда же Кавелин, как отмечает Ленин, восстал против конституции, революционной агитации, против призывов к «насилию», стал проповедовать терпение[17], «Герцен *порвал* с этим либеральным мудрецом»[18].

История взаимоотношений Кавелина и Герцена существенна для понимания всего процесса размежевания между либерализмом и демократизмом в русском общественном движении. Публикуемые письма интересны и в данном разрезе, хотя их, конечно, нужно рассматривать не изолированно от всего большого комплекса источников, относящихся к затрагиваемой теме. Установившиеся у Кавелина и Герцена дружеские взаимоотношения продолжались довольно долго (около двух десятилетий). После смерти Николая либеральные колебания Герцена облегчали временно ту или иную степень сотрудничества. Однако уже и в 1840-х и в первой половине 1850-х годов Кавелина и Герцена разделяли очень глубокие, серьезные разногласия. Письма Кавелина к Грановскому ясно это подтверждают. Логика общественной борьбы в России, панические настроения, порожденные у Кавелина развитием революционного движения в стране, с одной стороны, и очищение (более или менее последовательное) политических позиций Герцена от либеральных колебаний, с другой,— должны были вырыть пропасть между Герценом и Кавелиным. И прежние друзья решительно, навсегда разошлись.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 14. СПб., 1900, стр. 203.

[2] «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену». Женева, 1892, стр. 59.

[3] «Из писем К. Д. Кавелина к графу Д. А. Милютину». Сообщ. Д. А. Корсаков. — «Вестник Европы», 1909, № 1, стб. 9.

[4] К. Д. Кавелин. Собрание сочинений, т. II. СПб., 1898, стб. 895.

[5] «Голоса из России», ч. I. Лондон, 1856, стр. 18—19.— Мы *принимаем* свидетельство Б. Н. Чичерина, что «Письмо к издателю», опубликованное за подписью «Русский либерал» в «Голосах из России» (ч. I), написано двумя авторами: Кавелиным (первая половина, до стр. 20-й «Голосов») и Чичериным (вторая половина). См. об этом в «Воспоминаниях Бориса Николаевича Чичерина»: «Москва сороковых годов». М., 1929, стр. 172, и «Путешествие за границу». М., 1932, стр. 66. Правда, Кавелин был крайне недоволен письмом Чичерина к Герцену в 1859 г., в котором Чичерин раскрыл авторов «Письма к издателю», и в своем письме к А. В. Станкевичу (от 7 августа 1859 г.) утверждал, что Чичерин унизился «до неблагородного поступка и до клеветы» (ГИМ, ф. 351, ед. хр. 68, лл. 52 об.— 53. Здесь и ниже сообщено Л. Р. Ланским). Но относятся ли эти обвинения к самому факту принадлежности Кавелину первой половины «Письма к издателю»? Думаем, что факт этот не мог быть и не был просто выдуман Чичериным. Косвенное подтверждение нашего мнения можно усмотреть и в письме Кавелина к Герцену от 21 августа 1859 г., где Кавелин, уже знакомый со всеми обстоятельствами дела и объяснившийся лично с Чичериным, заявлял: «Ч⟨ичерин⟩ человек ограниченный ⟨...⟩, но человек он честный и добросовестный» («Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», стр. 13).

[6] Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 14, стр. 216.

[7] «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», стр. 4.

[8] Там же, стр. 54.

[9] «Так как оно было в конце июля, я предложил его назвать июльской революцией»,— шутя замечал Герцен (Герцен, т. X, стр. 62). В свою очередь, Кавелин писал А. В. Станкевичу 7 августа 1859 г. о своем посещении Герцена: «Поездка в Лондон доставила мне много утешения, но и много горьких дум. А. И. тот же, но постарел ⟨...⟩ Теперь я спокоен, имея снова живой его образ перед своими глазами и исполнив долг дружбы» (ГИМ, ф. 351, ед. хр. 68, л. 52 об.). А в новом письме к Станкевичу, от 21 августа 1859 г., Кавелин утверждал: «Теперь связь ⟨с Герценом⟩ опять так же крепка, как была 12 лет тому назад, и это для меня невыразимое утешение» (там же, лл. 54 об.— 55). Ср. письмо Кавелина к самому Герцену, написанное после свидания: «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», стр. 11—12.

[10] Характерны отдельные мысли Кавелина в письме к А. В. Станкевичу от 16 (28) июня 1859 г.: «Пребывание за границей, хотя и очень короткое, более и более убеждает меня в истине суда, произнесенного над Европой Герценом. Красные дни ее прошли. Начинается новая история (или, пожалуй, оканчивается старая), чуется новый мир, которого представителем не будет она, а какая-нибудь другая страна, может быть — мы. Заскорузлость старых форм, бессилие из них выбиться, рабство мысли при кажущейся свободе гражданской, свобода, являющаяся покровом для мелкого сибаритизма,— все это признаки начинающегося разложения и смерти. Нельзя не удивляться высокой образованности, разлитой во всех классах, но нельзя также не убедиться, что в этой образованности, лишенной животворящего начала, нет инициативы; а когда она есть,— посмотрите, на что она направлена: единственно на разрушение старых форм. Созидающего — ничего нет, да и быть не может» (ГИМ, ф. 351, ед. хр. 68, лл. 51—52).

[11] «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», стр. 4.

[12] Там же, стр. 9.

[13] «Голоса из России», ч. I, стр. 19—20.

[14] Мы имеем в виду не частный вопрос о пригодности для руководящей роли в этих делах Сазонова — в этом пункте сомнения можно считать достаточно обоснованными. Но и мнение Кавелина о превосходстве Фролова или Евгения Корша было неосновательно.

[15] «Голоса из России», ч. I, стр. 15.

[16] В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 18, стр. 13.

[17] Ленин, в частности, имел в виду письмо Кавелина к Герцену от 7 (19) июня 1862 г., в котором Кавелин заявлял: «С тобой поступают несправедливо — терпи; твою правду попирают бесправием — терпи; тебе кажется, что если ты ответишь силою против силы, то правое дело будет торжествовать: это горькое заблуждение,— терпи; тысячу раз терпи: зло само собою и скорее разлетится в прах, а ты останешься чист» («Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», стр. 79).

[18] В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 18, стр. 13.

1

⟨Петербург.⟩ 5 сентября ⟨1848 г.⟩[1]

Голицын за мной просто ухаживает, как за хорошенькой женщиной; тридцать раз повторяет, что он желает для пользы Училища правоведения иметь нас, а не других[2]. Предложил место надзирателя, которого я однако не м⟨огу⟩ принять, место временного преподавателя энциклопедии законоведения, за болезнью Штекгарда[3], от чего я тоже отказался, потому что энциклопедия — не моя специальность. Все это делается и предлагается мне, чтоб меня примкнуть к Училищу, чтоб помочь мне в моих делах денежных и проч. И это не догадка, а прямо мне говорится. Таким образом, мое помещение в Училище более чем вероятно, но не прежде года, ибо моя кафедра откроется не ранее. Чтоб больше обеспечить мой успех, Голицын рекомендовал меня к принцу Ольденбургскому, к которому я являлся вчера[4]. Это человек лет 35-ти, монументальной глупости: ничего не знает, ничего не понимает, перемешивает предметы и бессмысленно повторяет чужие слова. Думаю, император австрийский не глупей его. После получасового объяснения я ушел от него с растерзанным и оскорбленным сердцем: представь себе, каково мне было слышать от немца пошлые ругательства Германии, эталаж* русских патриотических чувств; сравнительное законодательство нужно уничтожить в Училище: теперь в Германии и Европе Faustrecht**; приезжие сюда иностранцы — des avanturiers***. Я не верил своим ушам. «Да кто ж ты-то сам?», — думал я при каждом крепком словце Германии и иностранцам. Гнусно. Я ушел раздосадованный, несмотря на предложения. Всего отвратительней, что в этих возгласах в пользу России, патриотизма русского, в этих ругательствах Европе слышится очень явственно один камертон: власть Николая Павловича, ее сохранение и обеспечение во веки веков. Будь это истинно национальное движение — можно было бы с ним не соглашаться, но, по крайней мере, его уважать. Но покуда это движение в Петербурге — лицемерная интрига немецкой династии, прикрывающейся русским именем, и воскурение фимиама со стороны подлой дворни, царских холопьев. Долго ли удастся им надувать таким образом целую страну, сильное государство, свежий на поприще истории народ,— нельзя решить. Но больно быть бессильным зрителем и свидетелем этой неловкой, шитой белыми нитками игры.

Ты знаешь, как я не терпел нашей так называемой народности в Москве. Надо было мне переехать в Петербург, чтоб стать русским патриотом сознательно. В самом деле, только здесь чувствуется вполне позор, унижение, постыдное рабство, в котором держит нас, несовершеннолетних, эгоистическая, выродившаяся, иностранная династия, прусско-солдатская, которой интерес один: усидеть возможно долго на своем месте. Я верю в совершенную необходимость абсолютизма для теперешней России; но он должен быть прогрессивный и просвещенный. Такой, каков у нас,— только убивает зародыши самостоятельной, национальной жизни. Хорошее что делается,— происходит помимо его, мало-помалу мы приспособляемся к нему, чтоб бить его его же собственным оружием.

В этом смысле патриотическая маска, надетая лицемернейшим из правительств и вдобавок самым невежественным, какое себе представить можно, может быть эксплуатирована в пользу истинного патриотизма. Они и мы будем разуметь розное; но наружность — та же. Например, ломать русскую историю на новый лад можно[5]: я забросил несколько

* выставку (от франц. «étalage»).
** кулачное право (нем.).
*** авантюристы (франц.).

благовидных слов об этом Голицыну, и он принял мои слова с большим, видимым удовольствием. Если неосторожность или сплетни мне не повредят, я буду иметь влияние в Училище: уже теперь некоторые из моих мыслей засели в голову Голицыну и отчасти отразились в распоряжениях по Училищу.

Грустно одно: нет официального знамени, под которое можно бы стать: нет точки соединения. «Отечественные записки», кроме того, что они все-таки более коммерческое, чем патриотическое, ученое и литературное предприятие,— трусят непомерно и скомпрометировались сильно статьей «Россия и Запад»[6]. «Современник» не имеет даже тех достоинств, которые имеют «Отечественные записки», но все его недостатки и еще несколько своих. Редакция невежественна и слишком несерьезна: она мелка до ничтожества; она не положительно подла, но и не положительно благородна; ее положение ложно. Она возникла с привычками гостинодворческими, под мыслью самого искреннего и благородного человека, каков был Белинский, и при участии людей, гнушающихся литературно-торговым ерыганством. И вышла редакция ни то, ни сё, бледная, несамостоятельная, бесцветная, которую раздергивают на стороны самые противуположные направления[7]. Панаев покончил свое литературное поприще. Тень убеждения, веры — исчезли[8]. Некрасов — человек страшно даровитый, но совершенно неприготовленный к делу и воспитанный в школе торгашества: он сам это чувствует и скрывает сколько можно эти стороны, но они прохватывают наружу, несмотря ни на что[9]. На днях составил он объявление о журнале. Мы с Тютчевым[10] сказали ему, что в объявление нужно включить программу; что публика, либеральная партия и все серьезные умы потребуют от журнала объяснить, как он будет действовать теперь, когда на литературу наложены путы, ошейник раба, и европейские события изменили наше положение. Ему сначала не хотелось,— так мало понимают они, что такое журнал; потом предложил он мне написать программу. Я это сделал, как умел; положил на нее много душевной теплоты, убеждения, но вышла в руках редакции — дрянь. Прежде цензурной переделки они подвергли ее своей, там урезали, здесь прибавили, что вовсе к ней не подходит, и вышла дрянь, ни то, ни сё[11]. Единственная выгода — что я получу за это лампу на стол от Панаева и конторку от Некрасова. Потом мне предложили писать о Белинском: несколько хороших вещей я мог бы высказать об нем как лице, характере. Я было и согласился, но потом раздумал. Подведут опять под уровень ничтожества, пошлости, и выдет тоже дрянь. Я уж предпочитаю не писать ничего: набросаю вещь, как понимаю, и пришлю к вам при случае: это будет документом для будущей биографии нашего друга и благородного мученика либерализма в России[12].

С какой стороны ни посмотришь,— везде отсутствие характеров, какая-то стертость: дуется и бесится один Фр⟨олов⟩, про себя, и с ним-то мне всего легче[13]. Каждую минуту вспоминаешь с досадой, как неосторожно поступил Корш, отказавшись от редакции «Современника». Но что ж об этом вспоминать, испорченного не поправишь. Ты ему и не говори об этом: он на меня будет в претензии за эти вечные напоминания и рассердится, а я дорожу его дружбой и не хочу расшевеливать больного места[14].

22 сентября.

Через три дни отправится отсюда Фролов и с ним это письмо. Я начал его нарочно пораньше, чтоб рассказать по свежим впечатлениям то, что хотел рассказать. Подошло письмо твое, любезный Грановский, и как все твои письма, настроило меня особенно, так что мне необходимо сказать тебе именно теперь еще хоть несколько слов. Прошу тебя об одном: держи мои письма про себя, показывай их только самым близким. Я боюсь

сплетен; они могут мне повредить в моих личных сношениях с теми и другими, с которыми наружно я хорош. Перед тобой я не скрываюсь, и мои письма — я сам.

И что мне тебя уверять, что твое последнее письмо меня обрадовало и утешило. Рад, что твои дела идут, хоть с внешней стороны, хорошо; но рад в тысячу раз больше, что твое нравственное равновесие и силы к тебе опять возвращаются. Ты живуч, Грановский, как и я; нас уморишь нравственно не скоро. Я счастлив, что ты опять попал в свою колею, не только занятий, но и жизни, тона, который ей заправляет. Перед тобой будущность, и деятельная и плодовитая для других.

Я не могу сказать того же об некоторых из наших друзей, и это меня и огорчает и мучит. Ты узнаешь от Анненкова, с которым я познакомился, что делает Герцен в Париже[15]: крепко боюсь, брат, чтоб друг наш, по опрометчивости, увлекательности, не скомпрометировал себя слишком и не закрыл для себя навсегда возможности делать свое дело у нас. На меня наводит тоску и желчь, когда я думаю об Герцене. Ты увидишь из писем его, что он еще развился, стал выше, благородней, если он мог только стать благородней: и в то же время ты увидишь, и еще больше узнаешь из рассказов, что он так въелся в новую среду, что ему почти невозможно вынести ни нашей жизни, ни наших условий. Похоже на то, что он действует очертя голову. Что выйдет из всего этого — бог весть, только мне страшно подумать, что увлечение может навсегда оторвать Герцена от России, сделать его для нее бесполезным и ненужным, потому что он сам постарается и похлопочет поставить себя в такое положение. Я собираюсь писать к нему огромное письмо; обдумаю его, соберу все силы, какие есть во мне, чтоб дать ему почувствовать всю неосторожность его действий, всю невозможность и ложность точки зрения, на которой он стоит теперь. Призову на помощь всю мою любовь, дружбу, уважение к нему — авось-либо успею хоть немного, хоть заставлю его одуматься несколько.

Страшно, Грановский, делается, когда подумаешь, сколько сил нашей братьи-славян тратится попустому, сколько существований, успевших избежать Сибири и крепости, растрачиваются даром. Натуры благородные, мало имеющие себе равных, приходят к концу деятельности к мучительному вопросу:

24 сентября.

К вопросу: что ж они сделали, что прибавили своим существованием к сокровищнице жизни 60 миллионов полудиких и невежественных людей, но все-таки людей? К чему послужили их гуманизм, их внутренняя борьба, их любовь к высшей правде, самоотвержение, развитость — словом, все богатство сил, ума, знания, все нравственные силы? Страшный вопрос! Для других мы не могли ничего сделать: наши прогулки по Европе не могли натурализировать нас там; а где мы могли действовать, там мы ничего не сделали? Что ж была вся жизнь? Не сном ли, не головной ли работой, которая опять и возвращалась в голову, не выливаясь в широту, бесконечность действительной жизни? Живительного, святого, что есть в убеждениях — их практическая сторона, польза для других, непосредственная или посредственная — все равно, любовь к ближнему и человечеству полная, в мысли и действии — всего этого мы не знали! Мы не испытали всей живительной радости, сладостного трепета, при виде, как семена, заброшенные верной рукой, с убеждением, приносили постепенно цвет и плод или шли к тому. У нас нет резигнации любви, готовности вникнуть в мелкие, на низкой степени стоящие требования нашей братии по плоти и крови, вслушаться в младенческий говор целого племени, к которому принадлежим, пóтом и кровью которого мы, однако, стали тем, что мы есть,— мы, умные и образованные, видящие далеко

вперед. Если никогда в нас не родилась твердая, непреклонная воля, решимость снизойти до его печалей и радостей и им симпатизировать делом,— наша космополитическая любовь — пустое слово, чванство пресыщенного знанием эгоизма, образованный, утонченный разврат и растление. Любовь налагает обязанности, которые можно опоэтизировать вообще, невозможно в частностях. Это тернистый и скучный путь любви к ближнему — особенно у нас. Практичность состоит не в отрицании всякого начала и определений и не в бессмысленном, малодушном или плутовском подчинении себя настоящему, окружающему, но в действительной горячей любви к человеку и ко всему, что может способствовать его нравственному преуспеянию в истории, в деятельной ненависти к тому, что надменно пляшет на его спине, во имя чего бы то ни было, не думая и не заботясь о нем. Не понимаю, как не видят многие, что принцип, какой бы он ни был, как бы он ни был свят и неоспорим,— ложь и нелепость, если он не уложен в данные условия, не одет в плоть и кровь, другими словами, если точно не измерены и не взвешены средства и условия, данные действительностью, в какой мере применим и какими путями может быть водворен, проводим, осуществим этот принцип. Стрелять по готовому рецепту в народ, приговором или действием — как мало в этом истинной человечности, истинной fraternité!*

Говорят, Сазонов помышляет о русском клубе в Париже, о русском журнале для пропаганды[15]. И то и другое было бы возможно — если б можно было освежать и то и другое беспрестанно — новым приливом сил, текущих непосредственно из теперешней России, приливом людей, знающих теперешнее ее положение. Не говорю уж, что оба предприятия предполагают фактическое знание, возможное только в самой России, и не по книгам, а по живой наглядке, опытности, разговорам — в этой тюрьме, где мысль и правда не смеют явиться на свет божий и скрываются в потемках от татарско-диких преследований — нужно знать тон, который мог бы захватить за душу русских, сделать дело импозантным в глазах узаконенных палачей нашей несчастной страны. Революционные, общечеловеческие программы этого тона не заменят. Сколько он может и должен необходимо достигнуть своей цели, столько абстрактный либерализм может только погубить зачатки, вызвать новые крестовые походы против цивилизации в России; он будет бичом хорошего, доносом, по которому виновных покуда нетрудно отыскать, потому что их горсть, капля в море и все наперечет известны. Тона — не изобрести в Париже. Да я и не знаю, кроме тебя, Фролова, Корша, людей, которые были бы в состоянии дать этот тон, понять его силу и всю важность. А дай всем нам пожить вне России год,— ручаюсь наверное, что этот тон и в нас исчезнет, потому что каждый год приносит что-нибудь новое. Тем лишь-то поверю я в этом какому-нибудь Сазонову.

25-го.

Больше писать некогда. Прибавлю новости. Левашов умер; с ним падает влияние Муравьева (Михаила Николаевича), отстраняется надолго учреждение Департамента для уравнения земских повинностей, в котором Арапетов должен был стать вице-директором, падает Министерство внутренних дел, потому что Левашова заменит Блудов, ненавидящий министра внутренних дел[17]. Арапетов нос повесил: мне его жаль. Оставаясь об нем того же мнения, как и прежде, я люблю его больше и больше[18]. Краевский, как рассказывают, получил изъявление высочайшего благоволения за статью «Россия и Запад», и чин статского советника. «Современник», кажется, хочет возобновить предложение Коршу: он может еще его принять благовидно. Подумай, Грановский, не лучше ли

* братства! (франц.).

ему переехать сюда. Тысячу общих и частных причин говорят в пользу этого, так что и Фролов начинает склоняться на то же. Плетью ни на чем не основанной настойчивости не перебьешь обуха безвыходного положения (денежного) Корша. Фролов будет говорить об этом с тобой, увидишь поближе, что и как, и напиши мне, чтоб я мог с своей стороны попробовать действовать на Корша, а я имею тысячу причин советовать ему оставить Москву и переехать в Питер. И ты, Грановский, подумай, и если увидишь, что мы правы, употреби свое влияние. Корш приносит себя в жертву своему — скажу прямо — отчаянию и совершенно частным отношениям. Дело и другие соображения — придирки, оправдания. Здесь ему будет лучше материально.— Mes rapports intérieurs sont les meilleurs possibles*. Кое-как перебиваюсь, работаю и надеюсь, без усиленных трудов, обеспечить себе ежедневный кусок хлеба. Мои обыкновенные издержки в месяц, кроме платья, извозчика и т. д.— до 120 рублей серебром, в том числе квартира и дрова. 100 рублей в месяц я могу заработать легко. 50 рублей жалованья, сверх того, дают мне возможность уплачивать понемногу кричащие долги. Чтоб не забыть: Николай Павлович говорил недавно: «Когда я вспомню все, что мне говорили и советовали с разных сторон после Февральских дней, ужас меня берет: теперь ясно, что клеветами или страхами хотели меня заставить прибегнуть к мерам, совершенно ненужным». Наследник упрекал его в том, что он либерал, слишком радикально действует. Это чрезвычайно важно. Итак, Николай Павлович является у нас прогрессистом, некоторым образом Прудоном или Робеспьером. Этим все сказано.

Поклонись друзьям. Царство Блудова, этого лакея, обрызганного кровью декабристов, его друзей и единомышленников не предвещает ничего доброго[19]. C'est l'avènement de Joukowsky, de prince Wiasemsky, de Chomiakoff etc, etc au pouvoir**. Посмотрим, что будет далее. Цензурный устав, кажется, не изменится, и останется цензура при университетах. Поговаривают об уничтожении чинов. Кажется, страх теперь проходит мало-помалу, и черкают уж не так безобразно, что печатается, как прежде. Ну, прощай. Будь здоров и — главное — бодр и свеж. Ты нужен не одним своим друзьям, но России: береги себя. Завидую вам, что вы отнимаете у нас Фролова, с которым я, однако, спорю обо всем на свете. Я не согласен с ним, а люблю его очень. Москва, может быть, приблизит его образ мыслей к нашему. Жму тебе руку. Дружеский поклон твоей жене.

[1] Первое из публикуемых писем Кавелина (1818—1885) относится, как вполне ясно из его содержания, к 1848 г. Оно написано в несколько приемов, между 5 и 25 сентября, то есть после того, как Кавелин окончательно переселился в Петербург из Москвы, где в 1844—1848 гг. он с большим успехом вел преподавание на юридическом (главным образом) факультете Московского университета. Переезд Кавелина из Москвы в Петербург состоялся в связи с его демонстративным выходом из Московского университета, вызванным известной «Крыловской историей» (о ней см., например, у Чичерина: «Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов», стр. 61—62). История эта непосредственно была связана с личными и семейными отношениями профессора Н. И. Крылова, но она, несомненно, имела и заметную общественную подкладку. В неопубликованном письме к министру народного просвещения С. С. Уварову от 24 июня 1848 г. Кавелин указывал, что Крылов, желая оправдаться перед начальством, старался придать своей домашней истории и ее последствиям характер интриги, задуманной «вредной и опасной партией, будто бы преследовавшей в нем ревностного представителя и поборника начал, освященных историей и существующими законами» (ГИМ, ф. Уварова, ед. хр. 41/166). Против действий Крылова, порочащих профессорскую коллегию в нравственном и общественном отношении, выступал, среди других, и Грановский. Грановский также подавал в отставку, но не был по формальным обстоятельствам отпущен.— Отметим, что в фонде Грановского хранится, помимо публикуе-

* Мои внутренние отношения находятся в наилучшем положении (франц.).

** Это приход к власти Жуковского, князя Вяземского, Хомякова и пр. и пр. (франц.).

мых здесь, еще пять писем Кавелина личного характера, не представляющих научного интереса.

[2] Кавелин посвящает начало письма своим попыткам устроиться преподавателем в Училище правоведения.— Николай Сергеевич *Голицын* (1809—1892), армейский деятель, военный историк, недолго — в 1848—1849 гг.— состоял директором Училища правоведения. Быстрое окончание его директорской карьеры было связано с проявившимися в училище антиправительственными настроениями, отчасти вызванными влиянием революции 1848 г. и дела петрашевцев.

[3] Генрих-Роберт *Штекгардт* — немецкий ученый, работавший в 1830—1840-х годах в России. Был в Училище правоведения профессором энциклопедии права и сравнительной юриспруденции. Умер в 1848 г.

[4] Принц Петр Георгиевич *Ольденбургский* (1812—1881), внук Павла I, племянник Николая I, один из видных сановников в царствование Николая I и Александра II, являлся с основания (в 1835 г.) Училища правоведения его «августейшим» попечителем. Политической характеристикой принца может служить рассказ Никитенко, которому он, по словам известного мемуариста, не мог простить появления на официальном торжестве в черном галстуке вместо белого, в чем был усмотрен Ольденбургским признак опасного свободомыслия (А. В. Никитенко. Дневник, т. I. Гослитиздат, 1955, стр. 353).

[5] Кавелин, по-видимому, имел здесь в виду освещение русской истории в духе воззрений историко-юридической (или «государственной») школы, одним из главных основателей которой он являлся. Менее чем за два года до описываемых событий Кавелин опубликовал в «Современнике» свой известный «Взгляд на юридический быт древней России».

[6] Статья самого редактора-издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского «Россия и Западная Европа в настоящую минуту» была напечатана в июльской книжке журнала 1848 г. Она, действительно, вызвала (как отмечает ниже в своем письме Кавелин) изъявление «высочайшего благоволения» (М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Изд. 2. СПб., 1909, стр. 196), ибо, безмерно напуганный «внушением» и прямыми угрозами со стороны власти, беспринципный и приспособляющийся редактор, с полного одобрения III Отделения, опубликовал статью, написанную в сугубо-охранительном, погодинско-шевыревском духе — с самым резким противопоставлением западного «безначалия со всеми своими ужасными последствиями» и российского «мира и спокойствия со всеми своими благами». Прославляя порядок, господствующий в николаевской России, Краевский утверждал, что «летописи мира не представляют подобного величия и могущества, и счастье быть русским есть уже диплом на благородство посреди других европейских народов». Заслуживает внимания свидетельство Кавелина, что «Отечественные записки» «скомпрометировались сильно» статьей Краевского (конечно,— в общественном мнении).

[7] Нет необходимости полемизировать с отзывом Кавелина о «Современнике», остававшемся и после смерти Белинского, в обстановке жесточайшей реакции (об «ошейнике раба», наложенном на литературу, говорит сам Кавелин) все-таки относительно лучшим русским журналом. В немалой степени оценка Кавелина была отзвуком той двойственной позиции в отношении «Современника», которая еще при Белинском была занята всем московским кружком Грановского, Боткина, Кавелина и других, которых Белинский в письме к В. П. Боткину от 4—8 ноября 1847 г. назвал: «наши московские друзья-враги» (Белинский, т. XII, стр. 415) *.

Кавелин печатался и в «Современнике», и в «Отечественных записках». 12 сентября 1848 г. (стало быть, одновременно с комментируемым письмом) Некрасов сообщал И. С. Тургеневу: «Кавелин перебрался теперь сюда на службу и усердно работает для „Современника“» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X. М., 1952, стр. 116).

[8] Дальнейшая деятельность И. И. Панаева (особенно при Чернышевском и Добролюбове, оказавших на него исключительно благотворное влияние) вовсе не оправдала мрачного суждения Кавелина («покончил свое литературное поприще»). Впрочем, даже Белинский, признаваясь в своей любви к Панаеву, в котором он находил «что-то доброе и хорошее», полагал в 1847 г., что Панаев-беллетрист «уже выписался» (письмо к И. С. Тургеневу от 1/13 марта 1847 г.— Белинский, т. XII, стр. 346).

[9] Признание даровитости Некрасова характерно в устах Кавелина. Кавелин и позже, как отмечено, например, в воспоминаниях Пантелеева, «поклонялся» таланту Некрасова (Л. Ф. Пантелеев. Из воспоминаний прошлого. М.— Л., 1934, стр. 127). Но к личности Некрасова он питал, подобно своим товарищам по московскому кружку Грановского (и самому Грановскому в том числе), достаточно необоснованное

---

* Справедливости ради следует отметить, что и Герцен осенью 1848 г. выражал в своей переписке резкое недовольство «Современником». Обращаясь к московским друзьям, он писал: «Я полагаю, сблизиться с „Отечественными записками“ благопристойнее, а еще благопристойнее ни с кем не иметь литературных дел, а писать для вас...» (Герцен, т. V, стр. 244). Однако Герцен мог не иметь еще вполне ясного представления об условиях, в каких выпускался в то время «Современник».

предубеждение, нашедшее выражение и в данном письме. Широко известные письма Белинского к Кавелину, Тургеневу и др. свидетельствуют о том, что он, хотя и считаясь с теми или иными личными недостатками Некрасова, неизмеримо глубже и справедливее оценивал его и, между прочим, самым решительным образом протестовал против сближения Некрасова и Краевского, допускавшегося Кавелиным и Грановским (Белинский, т. XII, стр. 458). К вопросу об отношении к Некрасову, к «Современнику» и «Отечественным запискам» 1840-х годов Кавелин возвращается в своих «Воспоминаниях о В. Г. Белинском», перепечатанных в последний раз в сб. «Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948.

[10] Николай Николаевич *Тютчев* (1815—1878) — один из близких друзей Кавелина, служивший по разным ведомствам (дольше всего — по Департаменту уделов); в 1840-х годах был одним из основных участников кружка Белинского в Петербурге; оставил воспоминания «Мое знакомство с В. Г. Белинским» (перепечатаны в названном выше сб. «Белинский в воспоминаниях современников»). Кавелин посвятил Н. Н. Тютчеву некролог и речь (1879), вошедшие впоследствии в его «Собрание сочинений» (т. II, стб. 1233—1237).

[11] Объявление «Об издании „Современника" в 1849 году» в том виде, в каком оно, в конечном счете, вышло из рук Некрасова и Панаева, см. в Полн. собр. соч. и писем Н. А. Некрасова, т. XII. М., 1953, стр. 119—126. Указание редакции тома, что объявление в таком виде печатается впервые,— неточно. 30 сентября 1848 г. объявление появилось в «Московских ведомостях» (№ 118, стр. 1073—1074). Цензурное запрещение, о котором говорится в комментариях т. XII (стр. 417), последовало, таким образом, лишь после того, как объявление уже стало достоянием части читателей. Предположение В. Е. Евгеньева-Максимова («„Современник" в 40—50-х гг.». Л., 1934, стр. 298), что редакторы «Современника», опубликовав объявление в газетах, преднамеренно не напечатали его в собственном журнале и тем совершили акт «гражданского мужества», оказывается неосновательным: объявление для журнала просто не было допущено властями. Объявление, хотя и не устроившее цензурное ведомство, которое потребовало «исключения некоторых неуместных подробностей и рассуждений» *, бесспорно было выражением готовности редакторов «Современника» пойти формально на идейные компромиссы ради сохранения журнала. С. А. Венгеров еще в 1880-х годах не без основания говорил по поводу этого объявления, что «тут было одно лицемерие, желание 〈мы сказали бы именно — готовность, готовность скрепя сердце.— *Ш. Л.*〉 присоседиться к тем сторонам славянофильства, которые пользовались наибольшим благоволением подлежащих ведомств» (С. А. Венгеров. История новейшей русской литературы (от смерти Белинского до наших дней), ч. I. Конечные годы дореформенной эпохи (1848—1855). СПб., 1885, стр. 147). В самом деле, в объявлении шла речь о том, что «теперь» очевидной стала «истина», что мир славяно-русский и мир романо-германский — «два совершенно особенные мира, неслиянные», что у России свое назначение, своя особенная дорога и свои особенные средства. Подобное заявление в обстановке 1848 г. имело определенный смысл отмежевания от революционного движения «романо-германского» мира. Это подкреплялось ссылкой на то, что окончательно получившие право гражданства «чувство народной самобытности» и «историческое, практическое разумение» были подготовлены «совокупными усилиями правительства и частных лиц» в «последнее двадцатилетие», другими словами — при императоре Николае. Из комментируемого письма Кавелина видно, что сама идея программного объявления была подсказана Некрасову и Панаеву Кавелиным и Н. Н. Тютчевым. К сожалению, невозможно пока определить, какие моменты в редакторской «переделке» вызвали негодование Кавелина и как выглядела идейно-политическая сторона объявления в том варианте последнего, который вышел из-под пера самого Кавелина. Грановскому некрасовско-панаевский вариант стал известен в ближайшие же недели или дни из «Московских ведомостей».

[12] Видимо, Кавелин не писал специально о Белинском до 1874 г., когда по просьбе А. Н. Пыпина, работавшего над монографией о Белинском, он написал упоминавшиеся выше воспоминания, использованные Пыпиным, а позднее вошедшие, в полном виде, в III том Собр. соч. Кавелина. В 1875 г. Кавелин напечатал в «Неделе» в качестве «Письма к А. Н. Пыпину» статью «Белинский и последующее движение нашей критики», в которой пытался занять позицию, среднюю между расходящимися в некоторых отношениях Тургеневым и Пыпиным. Кавелин формально признавал (в 1870-х годах) преемственную связь между Белинским и критикой последующих «представителей отрицательного направления», то есть Чернышевским, Добролюбовым и т. д. Тем не менее, он стремился по возможности преуменьшить эту связь, доказывая, будто «новое движение русской литературы» продолжало Белинского «односторонне» (К. Д. Кавелин. Собр. соч., т. III, 〈1899〉, стб. 1099—1114). Другими словами, он хотел приблизить Белинского к либерализму. Но когда Кавелин в 1848 г. в письме к Грановскому име-

* В то же время, как указывал В. Е. Евгеньев-Максимов, «изложенное в объявлении „новое направление" журнала было признано цензурными властями „весьма благонамеренным"» (указ. соч., стр. 298).

новал Белинского благородным мучеником «либерализма» в России, он мог, конечно, иметь в виду не либерализм в собственном значении слова (в качестве определенного политического направления), а в очень широком смысле, подчас ему тогда и еще позднее придаваемом, то есть в смысле совокупности идей и настроений, противополагаемых реакции, обскурантизму, отсталости и пр.

[13] Имя Фролова неоднократно и ниже упоминается у Кавелина. Николай Григорьевич *Фролов* (1812—1855), географ, последователь Александра Гумбольдта и Риттера, переводчик «Космоса» Гумбольдта, издатель (с 1852 г.) географического сборника «Магазин землеведения и путешествий». В Берлине, где Фролов долгое время жил (в 1830—1840-х годах), он тесно сошелся с Н. В. Станкевичем, Грановским и др. В Москве он принадлежал к кругу Грановского — Боткина — Корша. Грановский и Кавелин исключительно высоко ценили Фролова; Грановский в письме к Герцену от 25 августа 1849 г. признавался, что в дружбу к Герцену, Огареву и Фролову ушли лучшие силы его души («Лит. наследство», т. 62, 1955, стр. 96). Высокая оценка заслуг Фролова Грановским нашла выражение в написанном им некрологе «Несколько слов о покойном Николае Григорьевиче Фролове» в т. IV «Магазина землеведения и путешествий» (Сочинения Т. Н. Грановского. Изд. 4. М., 1900, стр. 572—577). Несомненно, что мнение Грановского и Кавелина о качествах Фролова и его ученых достижениях было сильно преувеличенным. Злую характеристику Фролова дал в 1847 г. Белинский (в письме к Кавелину): «Фролов человек умный, но ум его поражен хронической болезнью, не то насморком, не то запором» (Белинский, т. XII, стр. 435).— О «Магазине землеведения», выпускавшемся Фроловым, благожелательно отозвался впоследствии Чернышевский в «Современнике» (Чернышевский, т. II, стр. 614—624).

[14] Евгений Федорович *Корш* (1810—1897) — журналист и переводчик, был очень близок к Грановскому и Кавелину (женатому на его сестре), к Герцену и Огареву. В 1840-х годах Корш редактировал газету «Московские ведомости». От этой должности он отказался в связи с крыловской историей (см. письма Огарева к Герцену в «Лит. наследстве», т. 61, 1953, стр. 772, 773), после чего велись переговоры с Некрасовым и Панаевым относительно его участия в редакции «Современника». Грановский, будучи в июне 1848 г. в Петербурге, писал жене: «Пока между нами, на Панаева и Некрасова Коршу нельзя много полагаться»; через несколько дней Грановский ей же сообщал, что он везет Коршу письмо от «Современника», но должен ему многое объяснить лично: «Без моих объяснений он мог бы вступить в ложные отношения к редакции» («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897, стр. 276, 278). Судя по письму Кавелина, Корш, в конце концов, сам отказался от «редакции» «Современника», к немалой досаде Кавелина. Впоследствии Корш оказался одним из тех бывших друзей Герцена — Огарева, которые раньше других и притом особенно далеко отошли от них и прямо приложили свои руки к литературно-политической травле Герцена. В 1862 г. Герцен называл Корша и Н. Х. Кетчера «догнивающими трупами чего-то близкого», «клевретами Чичерина, приятелями Павлова» (Н. Ф.), абсолютистами, заставляющими его «краснеть за былое» (Герцен, т. XV, стр. 473).

[15] В начале сентября 1848 г. П. В. Анненков прибыл в Петербург из Франции, где он был свидетелем событий революции 1848 г. Близкий знакомый Герцена, Анненков постоянно встречался с ним в Париже в течение революционных месяцев. Взгляды демократа и утопического социалиста Герцена и либерала Анненкова на происходящее были весьма различны, и в письме, непосредственно адресованном Грановскому и Коршам, которое Анненков привез в Россию, Герцен предостерегал друзей от слишком доверчивого отношения к «повествованиям» Анненкова (т. V, стр. 235). Анненков доставил в Россию и отрывки будущей книги «С того берега» или «Писем из Франции и Италии»; с этими отрывками, как видно из комментируемого письма, имел возможность познакомиться Кавелин.

[16] Николай Иванович *Сазонов* (1815—1862) — публицист; в 1830-х годах участник герценовского студенческого кружка в Москве, в 1840—1850-х годах — один из видных представителей русской эмиграции (см. о нем в публикациях: Б. П. Козьмина — в «Лит. наследстве», т. 41-42, 1941, стр. 178—252, и Н. Е. Застенкера — «Лит. наследство», т. 62, 1955, стр. 522—545). Герцен относился к деятельности Сазонова в Париже в 1848 г. достаточно скептически, что видно хотя бы из письма его в Россию к друзьям от августа 1848 г. («А. И. Герцен. Новые материалы. К печати приготовил Н. М. Мендельсон». М., 1927, стр. 48). Не без иронии пишет Герцен в «Былом и думах» (в очерке, посвященном Сазонову) об участии Сазонова в *международном* клубе, который, по словам Герцена, Сазонов «завел» летом 1848 г. (Герцен АН, т. X, стр. 329; ср. стр. 497). Сведения о планах Сазонова относительно *русского* клуба и русского журнала для пропаганды, вероятно, дошли до Кавелина через Анненкова.

[17] 23 сентября 1848 г. умер генерал-адъютант граф В. В. Левашов (в прошлом участник расправы над семеновцами, затем над декабристами), незадолго перед тем (в конце 1847 г.) назначенный председателем Государственного совета и Комитета министров. Вопреки предсказанию Кавелина, Левашова сменил не Блудов, а князь А. И. Чернышев (Блудов занял это место позднее, в 1861—1862 гг.).— Министром внутренних дел был в 1840-х и начале 1850-х годов Л. А. Перовский.—Михаил Николаевич

Муравьев — печально известный Муравьев-вешатель, в 1840-х годах — директор Департамента податей и сборов, директор Межевого корпуса, сенатор.

[18] Иван Павлович *Арапетов* (1811—1887) — товарищ Герцена по Московскому университету, потом видный чиновник; участник подготовки крестьянской реформы 1861 г. (член Редакционных комиссий). В 1840—1850-х годах вращался в литературном кругу Петербурга, был хорошо знаком с Некрасовым, Тургеневым, Кавелиным и др. К 1854 г. относится эпиграмма Некрасова и Тургенева «Загадка», едко высмеивающая Арапетова («Друг мыслей просвещенных, чуть-чуть не коммунист, удав для подчиненных, перед Перовским — глист» и т. д.) (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. I. М., 1948, стр. 424).

[19] Кавелин вспоминает роль Д. Н. Блудова в качестве делопроизводителя Следственной комиссии по делу декабристов и составителя ее известного Донесения. Следующая фраза свидетельствует, что Кавелин опасался тогда возможного — в случае назначения Блудова — влияния славянофилов, П. А. Вяземского, В. А. Жуковского и т. д. Позднее, после смерти Николая I, Кавелин несколько по-другому отзывался о Блудове как одном из последних представителей времени Александра I, которых он противопоставлял деятелям николаевского царствования: «Не бог знает как густы граф Киселев и граф Блудов, а я просто боюсь, когда вспоминаю, что им обоим за семьдесят; за ними идут Долгорукие, Норовы, Броки, Панины, Анненковы, Ростовцовы» (письмо к М. П. Погодину от 17 марта 1856 г.— Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 14, стр. 211).

2

С.-Петербург. 18 октября ⟨1853 г.⟩

Гранушка! Пикулин[1] просит меня возвратить 300 рублей, которые я взял из денег Кетчера. Это меня поставило совсем в тупик. Я взял деньги до декабря и рассчитывал просрочить еще месяц, т. е. до января, когда получу деньги *наверное*, в награду по Комитету. Сделай милость, попроси Пикулина подождать, если это только возможно. Ей-ей, мне заплатить теперь решительно не из чего. Хотел отвечать самому Пикулину, да не знаю его имени и отчества, без чего писать никак нельзя.

От тебя ни слуху, ни духу. Слышал от Д. Милютина, что ты был болен и что ты поправился. Первая весть нас сильно напугала, тем более, что успокоительные известия доставлены гораздо позднее, чем Милютин думал. Будешь ли ты к нам? Как бы хотелось обнять тебя здесь. Время свободное теперь есть, и можно бы видаться каждый день, не боясь, что дома тебя ожидает пакет с надписью *нужное*. Служба самая приятная, насколько она может быть приятна[2]. Дела не очень много, и не болит от него ни голова, ни поясница. Я было уже принялся опять за свои старые работы, да помешал раздел. Со старшим братом никак пива не сваришь. Сутяга такой, что страх! Жду с нетерпением конца раздела, чтоб покончить с этим господином раз навсегда. Он мне опротивел своими придирками и низкими штуками. По-видимому, мне быть владельцем самарского имения, я этому душевно рад, потому что можно будет привести в исполнение разные мысли свои относительно деревенского управления с наименьшими пожертвованиями. Притом и самое имение может и должно со временем принести много доходу[3].

Живу я очень уединенно и редко с кем вижусь. Читаю понемногу. Теперь читаю М. историю Англии[4]. Чудо что за книга! Она сто́ит своей репутации. Лучшие минуты доставляет мне эта книга и это чтение.

С Панаевым и Арапетовым не кланяюсь. С последним — за личности, нимало не отвергая его достоинств. Я нахожу этого человека очень приятным и достойным всякого уважения, когда с ним не кланяюсь и не знаюсь. Панаева не знаю после известных его статей. Ses excuses*, напечатанные после пасквиля, sont pires que l'offense**. Считаю его за большого негодяя, скрывающегося под личиною наружного добродушия[5]. С Николаем Милютиным и Д. Милютиным очень хорош, по-прежнему[6]. Последний имел

* извинения (франц.).
** хуже, чем оскорбление (франц.).

несчастие потерять сына, мальчика 2-х лет. Это его сильно опечалило, особенно потому, что мальчик страшно страдал.

Огарев после приезда милой своей половины написал мне пренелепую записку и после того не был у меня до отъезда. Перед самым отъездом зашел раз на минутку. Горько, что бабы могут так вертеть такими людьми, как Огарев! Дражайшая половина его объявила, что она не запрещает ему (?!) ходить ко мне, но видеть меня не желает, потому что я оттолкнул от себя ее отца. Вот какою тяжкою ценою я купил отчуждение от негодяя. Самое горькое и тяжелое для меня во всем этом — это расхоложение наружное с Огаревым. А нельзя не любить его. Редкое сердце и неистощимое добродушие. Он гораздо лучше, живее Тентетникова, хотя тип тот же. Горестно, страшно горестно[7].

Вести из-за границы ты знаешь: думаю, что они на тебя подействовали так же, как и на нас здесь. Я просто постарел от того, что читал и слышал. А все при имени этого человека сердце бьется по-прежнему, как-то необыкновенно, как не бьется вообще[8]. Каждый день отрывает по листику из дерева, которое прежде зеленело так роскошно. Вместе с волосами в голове недосчитываешься многих друзей и многих свежих чувств и надежд. С каждым днем теряю бодрость духа, хандрю невыносимо и все больше и больше ухожу в себя. Одному, в совершенной пустоте как будто легче и покойнее. Может быть, еще мое счастие, что я должен зарабатывать деньгу, чтоб жить и не изнемочь под долгами. Не будь этого, будь свой угол, я бы давно все бросил и похоронил бы себя где-нибудь в деревне. А было ли бы это лучше? Только усиленные занятия спасают от совершенного распадения с самим собой, или, скорее, внутри самого себя.

Слышал ли ты, что Тургенев разошелся, наконец, с Тютчевым и последний едет в Петербург искать место?[9] Что́ все это значит — не понимаю! Что́ этот бедный будет здесь делать? История его слишком разгласилась, чтоб кто-нибудь его взял! И какое место можно получить вдруг, не служа? Чин же его не крупный. Боюсь я за него крепко; а рекомендовать? Как же его рекомендовать после двухсмысленных его поступков! Это тоже из похороненных друзей. Горестно об нем подумать!

Прощай, друг! Обнимаю тебя, поцелуй ручку у Елизаветы Богдановны. Будь здоров и помни меня.

К. Кавелин

P. S. Жена тебе кланяется. Детки мои мне доставляют много радости, особливо Митя. Славный выходит он мальчик и неглупый. Боюсь только, что он что-то скучает и бледен. К росту ли это или оттого, что он развивается не по летам? Последнее меня очень заботит. Трепещу за него, потому что для него только, кажется, и живу. Иначе жизнь моя — совершенная бессмыслица.

Корш скучен, хотя дела его не так-то дурны. Бездельника Надеждина поразила апоплексия, как ты, конечно, знаешь, которая сделала его неспособным широковещать, подличать, делать мерзости всякие и пакостить по-чиновничьи Коршу. Вероятно, его министр долго держать у себя не будет. Еще месяца полтора-два, и его место заступит Корш. Душевно буду этому рад, потому что это даст ему, по крайней мере, вздохнуть немного. Что с ним делал этот негодяй — нельзя себе представить[10].

Обними за меня Кетчера, Фролова и всех друзей.

Слухи об войне все те же, что и у вас, но верного как-то никто ничего не знает[11]. Кажется, однако, что миром не обойдется. У нас из гвардейского корпуса отправляются в действующую армию из полков пехотных по 3, а из кавалерийских по одному обер-офицеру. Охотников много, и между ними мечут жребий. Англичане, по слухам, идут на попятную. Потери торговые от войны для них были бы неисчислимы, а что станет

делать Турция одна? Впрочем, теперь о войне у нас говорят гораздо меньше, может быть потому, что столоверчение до сих пор еще сводит с ума многих. Точно век Аполлония Тианского! Самые здравомыслящие, по-видимому, люди порют такую дичь, что ушам своим не веришь, как все это вмещается в голову. Интересное время!*

[1] Павел Лукич *Пикулин* (1822—1885) — врач, адъюнкт Московского университета; был тесно связан с кругом Грановского; пребывание его в Лондоне у Герцена в середине 1855 г. оставило небольшой, но яркий след в «Былом и думах» и переписке Герцена.

[2] После переезда в Петербург Кавелин служил с 1848 по 1850 г. редактором в городском отделе Хозяйственного департамента Министерства внутренних дел, в 1850—1853 гг.— начальником воспитательного отдела штаба главного начальника военно-учебных заведений, в 1853—1857 гг.— начальником отделения в канцелярии Комитета министров.

[3] Кавелин стал владельцем имения в Новоузенском уезде Самарской губ., в 60-ти верстах от с. Балаково — хлебной пристани на Волге. «Имение это,— писал Кавелин в 1861 г.,— муравейник, всего 78 ревизских крестьянских душ, поселенных на участке в 4200 десятин» (К. Д. Кавелин. Собр. соч., т. II, стб. 692).

[4] Кавелин, несомненно, говорит об «Истории Англии» буржуазно-либерального историка Томаса Маколея, запрещенной в России в ту пору (см. «Записку о письменной литературе» в «Голосах из России», ч. I. Лондон, 1856, стр. 44—45).

[5] Под пасквилем Кавелин разумеет выпад, по существу личного характера, против Н. Г. Фролова (в панаевском тексте по имени не названного), содержащийся в фельетоне Панаева «Канун нового, 1853 года» в январской книжке «Современника» 1853 г. (Отдел «Смесь», стр. 99—100). Очень болезненно реагировал на выходку Панаева Грановский. В письме к Е. Ф. Коршу от начала 1853 г. он требовал прекращения всяких литературных отношений с «Современником»: «Наши имена не должны являться в этом журнале»,— писал он («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 468). Как видно из комментируемого письма Кавелина, он вполне разделял возмущение Грановского. Впоследствии Грановский примирился с Панаевым. Весь эпизод едва ли не следует рассматривать как показатель известного упадка литературных нравов в тяжелое время реакции начала 1850-х годов. См. также «Литературные воспоминания» И. И. Панаева (гл. V части второй и Примечания).

[6] Кавелин говорит о своей близкой дружбе с братьями Милютиными — Николаем Алексеевичем (будущим руководящим деятелем реформы 1861 г.) и Дмитрием Алексеевичем (будущим военным министром).

[7] Алексей Алексеевич *Тучков* (1800—1879) — отец Н. А. Тучковой-Огаревой, человек сравнительно прогрессивных убеждений, ценимый и уважаемый Герценом и Огаревым, однако отнюдь не пользовавшийся симпатиями со стороны Грановского и других представителей его круга. Это отношение, как ясно видно из письма Кавелина, разделял и последний, доводя даже, быть может, его до крайности.

В 1853 г., после смерти первой жены Огарева, Марии Львовны, Огарев и Н. А. Тучкова приезжали в Петербург и там обвенчались. Об этом их пребывании в столице и говорит Кавелин. Следует заметить, что в своих мемуарах Н. А. Тучкова дает о Кавелине в высшей степени благожелательный и сочувственный отзыв и о размолвке с ним не упоминает (Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. Л., 1929, стр. 99).

[8] Кавелин говорит здесь о Герцене. «Вести из-за границы» — начало деятельности лондонской типографии. См. предисловие к настоящей публикации.

[9] Н. Н. Тютчев в 1852—1853 гг. управлял в течение примерно 1½ лет имением И. С. Тургенева. Согласно воспоминаниям А. Я. Панаевой, Тургенев находил, что Тютчев «набаловал» крестьян и действовал как человек, как будто задавшийся целью «разорить» его (А. Я. Панаева. Воспоминания. М., 1948, стр. 229—231).

[10] Николай Иванович *Надеждин* (1804—1856) — литератор, критик, этнограф, бывший профессор Московского университета и редактор «Телескопа», пострадавший за опубликование «Философического письма» Чаадаева. С начала 1840-х годов являлся редактором «Журнала Министерства внутренних дел». Его в тот период упрекали, с достаточным основанием, в приспособленчестве, угодничестве перед реакционной властью (в частности, за составление секретных изданий, направленных к оправданию преследований раскольников). Е. Ф. Корш одно время состоял при том же «Журнале Министерства внутренних дел»; как вспоминает Панаев, он заведовал журналом с тех пор, как Надеждин был разбит параличом (И. И. Панаев. Литературные воспоминания, стр. 367).— Кавелин был связан с Надеждиным по Географическому обществу (совместное редактирование «Этнографического сборника»).

[11] Речь идет о начинавшейся тогда Восточной (Крымской) войне 1853—1856 гг.

---

* Конец письма, по-видимому, не сохранился.— *Ред.*

3

⟨Петербург.⟩ 4 марта 1855 года[1].

Любезный друг. С... привез мне досадную весть, что твоя поездка опять отложилась на неопределенное время[2]. Горько мне было узнать об этом, особливо о том, что ты нездоров. Выздоравливай скорей и приезжай скорей. Тебя ждут распростертые объятия твоих друзей, к которым я ревную тебя,— так ты всем надобен. Елена Павловна несколько раз меня спрашивала, скоро ли ты будешь. Тебя и тут даже ждут[3].— Такие большие дела приключились, брат, у нас под носом, что и не знаешь, как подступить к их рассказу. Верный ли буду рассказчик — не знаю. Отрицательная радость моя, желчная, ядовитая, по случаю перемены, так велика, что, может быть, я и увлекаюсь. Калмыцкий полубог, прошедший ураганом, и бичом, и катком, и терпугом по русскому государству в течение 30-ти лет, вырезавший лица у мысли, погубивший тысячи характеров и умов, истративший беспутно на побрякушки самовластия и тщеславия больше денег, чем все предыдущие царствования, начиная с Петра I,— это исчадие мундирного просвещения и гнуснейшей стороны русской натуры — околел, наконец, и это сущая правда! До сих пор как-то не верится! Думаешь, неужели это не сон, а быль? Я видел его погребальную процессию из Дворца в крепость, где он сгноил и обезумил столько людей и где бы ему приличнее было бы жить, чем лежать после смерти,— процессию беспорядочную, в шубах и шинелях, такую же бессмысленную, как все его царствование,— и все-таки до сих пор не могу еще прийти порядочно в себя! Если б настоящее не было так странно и пасмурно, будущее так таинственно загадочно, можно было бы с ума сойти от радости и опьянеть от счастия. Экое страшилище прошло по головам, отравило нашу жизнь и благословило нас умереть, не сделавши ничего путного! Говори после этого, что случайности нет в истории и что все совершается разумно, как математическая задача. Кто возвратит нам назад тридцать лет и призовет опять наше поколение к плодотворной и вдохновенной деятельности! Какому Ваалу нового времени принесены в жертву лучшие силы, цвет и надежда России? Когда-то соберутся новые? Еще генерация*, выросшая и воспитанная под самой несчастной звездой, лишенная энергии, идей, чести, только с виду носящая человеческий образ, должна пройти, пока выйдет что-нибудь путное. Пусть кто хочет верит в благость провидения, думая обо всем этом. Хорош главнокомандующий, у которого могут быть такие начальники штаба, каков был в бозе почивающий!

Вы уже много подробностей знаете и печатно и словесно, и я боюсь обременить вас излишними повторениями. Надежды «оставить Россию благоустроенной и счастливой» à sa façon **—пропечатаны; плевок d'outre tombe ***, посланный России в последних словах гвардии, армии и флоту — этот букет державной мысли, le mot de l'énigme **** 30-летнего «благополучного» царствования вы тоже видели[4]. Прибавлю ненапечатанное.

В самый день смерти он допустил к себе в 10-ть часов утра начальников дружин С.-Петербургского ополчения: велел отворить двери комнаты, в которой лежал, или подойти к дверям и их видел. Никто не запомнит и в частном быту смерти, столько спокойной, сознательной; все он предумал, предвидел, со всеми простился, обо всем сделал свои распоряжения, до последних мелочей. Ему хотелось, чтоб после него ни одна пружинка, ни малейшее колеско в заведенной им машине не перестало и

* поколение (лат. «generatio»).
** на его манер (франц.).
*** из-за могилы (франц.).
**** разгадку (франц.).

после него идти точно таким же порядком, как шло при нем. Он готовился к смерти как будто отправляясь на время, в доклад к главнокомандующему. Увидав великую княгиню Елену Павловну, он ей сказал: «Ah, madame Michel, vous êtes ici? Et moi?..»*, при этом он присвистнул, чтоб сказать, что все кончено. С наследником долго разговаривал наедине. Говорят, при этом был Мандт и некоторые из служителей,— первый потому, что подозреваем был в незнании русского языка[5]. Кое-что из этого разговора стало известным. Он, главным образом, вертелся около таких фраз: «Держи крепче, как можно крепче»,— и сжатый кулак образно выражал при этом державную мысль. C'était le refrain des dernières instructions d'un mourant**. Кажется, покойник подозревал раздор или несогласие между теперешним государем и Константином, потому что к последнему он обращался серьезно, называя его вашим императорским высочеством, и рекомендовал ему быть верным подданным своего будущего государя. По этому поводу между Константином и Александром Николаевичем произошла трогательная сцена. Они у одра смерти бросились друг другу в объятия. Потом умирающий продолжал говорить в том же смысле Константину, показывая ему теперешнего наследника, напоминая ему, что это его будущий царь, которого он до возраста, если окажется нужным, должен охранять и беречь всячески. Стоит еще рассказать вот какой случай. Когда он со всеми простился, некоторые из приближенных хотели доставить ему утешение видеть Нелидову. Чтоб не оскорбить его, они повели речь издалека о том, что некоторые из придворных дам, особенно ему преданных, желают с ним проститься; названо было несколько имен, в том числе Нелидова. Он подумал и потом сказал: «Это все прошло»[6]. Перед смертью написал записочку карандашом, запечатал и приказал Александру Николаевичу распечатать по его смерти и истребить. Так и сделано. Императрица (Александра Федоровна) знала содержание записки. Для всех прочих — это тайна. Потом: не велел себя бальзамировать, хотел, чтоб его выставили не более как на 10 дней, но потом прибавил: «Великие князья не успеют приехать; хороните через 14 дней». Сам назначил место, где похоронить,— в ногах у Павла. Сам велел заказать гроб, какой был у Протасова, который ему понравился. Этот гроб работал какой-то бедненький гробовщик на Васильевском острове, и последнее жилище царя было перевезено на простых санках, без лошадей, работниками, во дворец. Анненков причисляет это к беспорядку, а по мне так это чуть ли не самое трогательное из всего: хоть раз проглянул человек в умершем, за всю его жизнь. Забыл прибавить, что он особенно рекомендовал наследнику (Александру Николаевичу) не делать более никаких уступок союзникам, потому что более уступать нельзя, а военному министру особенно приказывал напоминать об этом теперешнему государю! Ты видишь, как я прав, говоря, что он хотел продолжать царствовать и из-за гроба.

После кончины произошел во дворце такой беспорядок, такая суматоха и суетня, что в первые же минуты набралось в комнату множество постороннего народу, и каждый ходил и делал что ему угодно. Замечательно, что за первыми минутами оцепенения и страха после кончины последовало совершенное, убийственное равнодушие. Говорят, плакали сильно во Дворце, горько плакал весь дом у Клейнмихеля (это достоверно)[7], когда везли колесницу погребальную в крепость, народ при повороте ее с набережной в 1-ю линию пал на колена, и плакали многие; то же повторилось, когда процессия переступила через дамбу Тучкова моста на Петербургскую сторону, что особенно тронуло государя и цесаревну (т. е.

* Ах, госпожа Мишель, вы здесь? А я?.. (франц.).
** То был припев в последних указаниях умирающего (франц.).

царицу). Но все это являлось как исключение; общее же впечатление — холодность и равнодушие. Говорят, не таково было впечатление, когда умер Александр I. Это отзыв современников его, помнящих живо событие. Народ толковал теперь, что ему все равно или что следует царствовать Константину, потому что он царский сын, а не Александр[8], что покойник поприжал помещиков, а новый каков-то еще будет, но все это не было общим голосом. Только общий и сильный голос был в народе, что Мандт отравил царя. Гордость Мандта, ненависть к нему врачей, которых он был тремя головами выше, неосторожность его лечить царя лекарствами собственного приготовления, без рецептов, ошибка, может быть — не пустить покойнику крови, когда у него было воспаление в легких, все это объясняет слух, который врачи, враги Мандта, и распускали, и поддерживали. Верно то, что его народ требовал у Дворца, до выноса покойного в крепость; что Мандт живет не у себя на квартире, а во Дворце. Вдова покойного была у него с визитом, и царь был тоже. Он (Мандт) болен. Думают, что Мандт скоро уедет за границу, но верно я не знаю. Наконец, вы знаете слухи о набальзамировании. Оно было сделано невежественно, так что царь стал тотчас же гнить. Пошли взаимные обвинения врачей друг на друга, и царь отдал это дело на рассмотрение медицинскому начальству. Потом какой-то другой уже врач (не припомню фамилии) починил покойника, так что он до 5-го долежал в церкви tant bien que mal*. Константин крепко был раздосадован, что его называли и считали претендентом на престол, и он делал все возможное, чтоб заявить свое верноподданничество: читал присягу необыкновенно громко и внятно; стал говорить во всеуслышание, что он морской министр — и более ничего; устраняется от всего; не хочет брать на себя никаких новых обязанностей, справедливо замечая, что члены императорской фамилии слишком обременяются множеством дел и оттого ни в одно вникнуть порядочно не могут; он же останется при морском деле, в котором уже кое-что смыслит, и надеется поднять эту часть. Чтоб еще более заявить свои чувства, Константин в присутствии Бажанова[9] настаивал на том, чтоб теперешний цесаревич повторил ему слово в слово наставление, данное им покойным, уговаривал его не забыть эти слова, и повторил клятву со своей стороны исполнить завет свято. Говорят, Бажанов сказал ему на это: «Ваши чувства делают вам величайшую честь. Позвольте при случае напомнить вам ваши клятвы и обещания».

Теперешний царь Константина очень ласкает. Когда наступил первый день доклада Константина, последний явился в назначенное время. При покойном он присутствовал при докладе военного министра, который приезжал прежде него; но теперь Константин остался в приемной. Государь это узнал, позвал Константина в кабинет, оставил его при докладе Долгорукова и просил, чтоб вперед все осталось по-старому, как было при покойном. Если оба брата искренно пойдут об руку, не поддаваясь обольщениям ссориться, царствование может выйти даже замечательно умное, ибо в хороших наклонностях, в дельности, в уме Константину отказать нельзя. Недавно он принимал Ребиндера, приехавшего из Кяхты, долго с ним говорил, обещал доставить аудиенцию у царя и особенно рекомендовал ему говорить государю все, совершенно откровенно, как бы он говорил самому себе, а не царю[10]. Остаются затем только сплетни и слухи. Любопытно, что новый царь, получив от Блудова проект манифеста о своем восшествии на престол, показал его сперва жене и потом уже подписал. Ф. И. Тютчев рассказывает, будто теперешний царь выразился так: «Мудрено ли, что у нас нет голов, когда их 30 лет снимали». Эти слова влагают ему в уста, когда он был в‹еликим› князем. Покойный царь завещал

* дурно ли — хорошо ли (франц.).

Нелидовой 300 000 рублей серебром, Адлербергу, кто говорит 15 тысяч дохода в год, кто миллион единовременно[11]. Еще: Меншикова покойник отставил только от должности главнокомандующего, а от должностей финляндского гражданского губернатора и начальника морского штаба — теперешний; Меншиков выпросил себе зато в подарок казенный дом, в котором он жил в качестве начальника штаба, а Комовского, его любимца, пожаловали в статс-секретари и тайные советники[12]. Каковы люди! Еще что: носятся слухи, что заготовлено и выйдет на днях прощение последних декабристов; велено будто бы остановить преследование раскольников; царь будто бы сказал: «Я не хочу мученичества». Сильно говорят о том, что Бибикову плохо и что его заменят Игнатьевым; это было бы истинным успехом[13]. То же говорят о замене Брока (Княжевичем, а кто называет Чевкина), о смене гр. Клейнмихеля, о неудовольствии с Киселевым, об облегчении цензуры и пр.[14] Бродят слухи о замене Орлова Барятинским, который на Кавказе, а Чернышева — Орловым[15]. Всем этим слухам внимаю с недоверием, пока не увижу приказов или не удостоверюсь положительно как-нибудь. Каждый влагает в уста и в голову нового самодержца свои надежды, ожидания и требования от нового правительства, как всегда и везде. Есть множество анекдотов мелких, но всего не напишешь. А главное из того, что я знаю, я все написал.

Всего важнее — как приняли весть в просвещенных кружках. Здесь не могу сказать, чтоб было большое единодушие. Многие, ненавидя покойника, боятся, что новый царь не справится с затруднительными внешними обстоятельствами, в которые повергнул его покойный. Война, кажется, и не думает прекращаться. Оттого те, которые радовались бы смерти при другой обстановке, задумываются перед будущим. Впрочем, речь дипломатическому корпусу, дворянству и гвардии возбудила большое сочувствие; находят, что царь говорил симпатически и с достоинством[16]. (Знаете ли вы, что в день кончины войскà, говорят, по настоянию покойного, были собраны в казармах, а Преображенский полк имел ружья заряженные?). Кроме этого мнения, есть и другое: многие жалеют ума и твердости Николая, считая нового царя совершенно неспособным и предвидя еще больший произвол и беспорядок в управлении и преобладание немецкого и дворянского элемента в царском совете. В первой половине этого пункта я расхожусь со многими моими друзьями, в том числе и с Милютиными[17]. Есть люди, которые считают, что при новом царе положительно будет лучше, рассчитывая при этом на его тихий нрав и несомненно доброе сердце; не предвидят реформ и великих государственных действий, но полагают, что все пойдет хоть в той же колее, но почеловечнее и помягче, по крайней мере сначала. К этому мнению я присоединяюсь вполне, но еще более к тому, которое безумно радуется, что вырвались, наконец, из когтей разъяренного безумца, не загадывая вперед, что будет, и в убеждении, что что бы ни было, а хуже не будет ни в каком случае. Если новый царь не станет биться в своей клетке, как яростный тигр, ища жертв и казней, подобно отцу; если он только даст подлечить раны, нанесенные этим бессмысленным татарином и злодеем; если мнение, жалоба, высказанные между четырьмя глазами, не будут считаться справедливым основанием к жестоким казням; если хоть мало-мальски общественный голос будет до него доходить,— на 10, на 15 лет этого очень, очень довольно, без реформ и преобразований. Россия измучена, разорена, задавлена, ограблена, унижена, оглупела и одеревянела от 30-тилетней тирании, какой в истории не было примера по безумию, жестокости и несчастиям всякого рода. Лет 10, 15 немного — чтоб вздохнуть, выспаться нравственно и приготовиться к новой деятельности. С этим вы, может быть, не согласитесь. Но если вы подумаете хорошенько, как ничтожны люди, призванные теперь править, как этот калмык истребил

в верхних слоях всё мыслящее, всё просвещенное, всё одушевленное желанием добра и энергическое, вы, может быть, и найдете, что покой, временный отдых и живительный сон столько же желательны, сколько и необходимы. От нас ждать нечего, а за нами идет гнусная генерация, которую новый Навуходоносор создал с помощью своих солдат, писарей, сбиров и шпекинов по своему образу и подобию. Выпущенники пажеского корпуса и школы гвардейских подпрапорщиков, близко известные Ратынскому[18], не исцелят глубоких ран, нанесенных России и государству. Для этого нужны другие головы и другие сердца. Но подготовиться в это царствование может многое в глубине народного сознания и в сфере материальной. Оно может выйти не блестящее, но благодетельное в общей экономии русской истории. Посмотрим. Я предоставляю себе право и любить и ненавидеть. Пока порадуемся, что египетские 30-тилетние казни, щедро и милостиво расточенные нам в бозе почивающим, вечныя славы достойным отцом и благодетелем, миновались. Хочу жить до 70-ти лет, чтоб ненавидеть его и его память всеми силами души, каждым ногтем своим.

7 марта.

Сегодня, сию минуту, услыхал, будто бы по телеграфу дали сюда знать, что на Венской конференции первый из 4-х пунктов приняли к общему удовольствию[19]. Дай бог, чтоб и все были приняты и мир восстановили. Война нужна была как немезида, как фонтенель, как меркурий против сифилиса, открывшегося в России в лице высочайшей особы. Теперь она становится тем, чем она всегда есть: зло и несчастие, особливо такая бессмысленная, позорная война!

Это письмо я теперь же запечатаю и посылаю к тебе. Если будет что-нибудь новое, велю сказать на словах. Бедный Фролов! Он не дождался минуты сладкой! Как бы его порадовало событие 18-го февраля, день, который долго будет помниться.

10 марта.

Приписка будет невелика. Уже теперь сделаны большие упрощения в военных формах. У кирасир уничтожены лосиные штаны, ботфорты, султаны и ружья (последние на время войны складывались в цейхгауз. Это истинная правда!). Генералам даны красные штаны вместо белых штанов и ботфорт.

Важнее то, и это верно, что Александр завладел умом даже, не только сердцем Константина; в действиях его есть такт. Il a des gros boutons* и доброе сердце. Братья клялись на гробе отца поддерживать друг друга и жить ладно (это известие — верно). Все с боязнью смотрят на восходящее светило Ростовцева. Он был во вражде с Александром Адлербергом, другом императора и его адъютантом (как он силен, доказывается тем, что его в семействе зовут Alexandre III); теперь они с Ростовцевым друзья. Что-то выйдет из всего этого: успеют ли они овладеть царем или их заменят другие? Важный вопрос![20] Царь еще глубоко погружен в печаль и говорит, что все еще чувствует себя наместником, а не царем. Заметь известие о построении редута против Корниловского бастиона, в 300 сажен. Это чрезвычайно важное известие и отлично поправляет наши дела. Есть известие телеграфическое, что два первые пункта об общем покровительстве княжеств и о свободном плавании по Дунаю прошли и приняты. Россель, прибавляют, очень любезен и внимателен к нашему послу, Буркене, напротив, надменно и высокомерно себя держит[21].

Следствие по некоторым раскольничьим делам приостановлено. Требуют, говорят, отчета от Бибикова о том, какой существует порядок для производства раскольничьих дел. Заготовляется милостивый манифест,

* Здесь в смысле: Он имеет большое влияние (франц.).

в котором будут прощены декабристы. Коронация отлагается до окончания войны[22]. Бибиков виленский, известный дурак и скотина, смещается с генерал-губернаторства, но кто будет на его место — неизвестно[23].

Присылай скорей письмо к Никитенке о Чичерине. Его диссертация — очень замечательна[24]. И для меня настало потомство не только материально, но и нравственно, в науке. Какая здоровая голова у Чичерина! Он другой имеет взгляд на русскую историю, оригинальный, верный и умный Целую ручку жены. Письмо мое не пускай по рукам[25].

[1] Скорее всего об этом письме от 4—10 марта 1855 г. сообщается в воспоминаниях Е. М. Феоктистова. Система Николая I, как указывает Феоктистов, говоря о периоде Крымской войны, «глубоко оскорбляла все лучшие чувства и помыслы образованных людей и с каждым днем становилась невыносимее; ненависть к Николаю не имела границ. Чрез несколько дней после его кончины получено было из Петербурга письмо К. Д. Кавелина, вероятно сохранившееся в бумагах какого-либо из его московских друзей: это был вопль восторга, непримиримого озлобления против человека, воплощавшего собой самый грубый деспотизм. Письмо переходило из рук в руки и в каждом из читавших его вызывало полное сочувствие» (Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы. 1848—1896. Л., 1929, стр. 89).

[2] В январе 1855 г. Грановский извещал Кавелина, что в феврале непременно будет в Петербурге. Но он смог приехать туда лишь в конце апреля 1855 г. («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 289, 453).

[3] В. к. *Елена Павловна* (принцесса Вюртембергская) (1806—1873), вдова в. к. Михаила Павловича. В придворных сферах принадлежала к числу тех, кто сознавал неизбежность уступок, в первую очередь — в вопросе о крепостном праве. Со второй половины 1840-х годов в ее салон был вхож Николай Милютин, позже с нею близко познакомился и Кавелин. Во время своей поездки в Петербург весною 1855 г. Грановский «представлялся» Елене Павловне; в сентябре того же года Грановский виделся с нею в Москве и высказывал ей свои мнения («не показались ли ей мои отзывы о лицах и вещах чересчур откровенными?»,— спрашивал Грановский Кавелина в письме, отправленном за несколько дней до смерти.— «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 291, 307, 458).

[4] В официальном сообщении о «последних минутах» Николая I передавались его слова, сказанные наследнику (Александру II): «Я хотел продолжать трудиться так, чтоб оставить тебе государство благоустроенное, огражденное безопасностью извне, совершенно спокойное и счастливое; но ты видишь, в какое время и при каких обстоятельствах я умираю... Тяжело тебе будет» («Северная пчела», 1855, № 41, от 23 февраля). Говоря о замогильном плевке, посланном Николаем России, Кавелин имеет в виду «последние слова Николая I», воспроизведенные в приказе Александра II российским войскам от 19 февраля 1855 г.: «Благодарю славную верную гвардию, спасшую Россию в 1825 году, равно храбрые и верные армию и флот; молю бога, чтобы сохранил в них навсегда те же доблести, тот же дух, коими при мне отличались. Покуда дух сей сохранится, спокойствие государства и вне и внутри обеспечено, и горе врагам!» (там же, 1855, № 39, от 21 февраля). Последняя угроза была обращена одинаково к врагам внешним и внутренним, то есть свободолюбивым силам России; недаром царь на краю могилы напомнил о подавлении восстания декабристов («спасение» России в 1825 г.).

[5] Мартин *Мандт* (1800—1858) — немецкий врач и естествоиспытатель, в России — с 1830-х годов, лейб-медик Николая I; после смерти Николая I покинул Россию. Оставил воспоминания (на немецком языке: «Немецкий врач при дворе императора России Николая I». Мюнхен и Лейпциг, 1923). В «Русском архиве», 1884 (№ 1, стр. 192—198) был опубликован перевод «рассказа доктора Мандта»: «Ночь с 17 на 18 февраля 1855 г.». Об обвинениях по адресу Мандта пишет Кавелин далее.

[6] Варвара Аркадьевна *Нелидова* (ум. 1897), фрейлина имп. Александры Федоровны (жены Николая I), была возлюбленной Николая I.

[7] Гр. Петр Андреевич *Клейнмихель* (1793—1869) — сподвижник Аракчеева, начальник Штаба управления военными поселениями; с 1842 г.— главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями; один из самых приближенных сановников Николая I. Был весьма непопулярен в обществе; уже в октябре 1855 г. Александр II должен был пожертвовать им, приняв его прошение об отставке с поста министра путей сообщения. Погодину писали из Петербурга, что там забыли по случаю ухода Клейнмихеля про Крым и Карс и «праздновали как победу» (Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 14, стр. 127).

[8] Александр II родился в 1818 г., когда еще был жив Александр I и Николай Павлович был великим князем; брат же Александра II Константин Николаевич родился в 1827 г., уже после вступления Николая на престол.

[9] Василий Борисович *Бажанов* (1800—1883), священник, профессор богословия в Петербургском университете; духовник Николая I.

[10] Николай Романович *Ребиндер* (1810—1865) — в 1840-х годах, будучи чиновником Министерства внутренних дел, вращался в петербургских литературных кругах. В 1851—1856 гг.— градоначальник («воевода», по ироническому определению П. В. Анненкова) в Кяхте, был знаком в Сибири с ссыльными декабристами, женился на дочери С. П. Трубецкого. По словам Анненкова, Ребиндер выдумал в 1855 г. «сказку о близком отложении Сибири» («Былое», № 18, 1922, стр. 6). Позднее попечитель Киевского и Одесского учебных округов, директор департамента Министерства народного просвещения.

[11] Владимир Федорович гр. *Адлерберг 1-й* (1791—1884), друг Николая I, его адъютант еще с 1817 г., с 1852 г.— министр императорского двора, оставался в этой должности и после смерти Николая I (до 1870 г.). Николай, действительно, оставил Адлербергу по завещанию ежегодную пенсию в 15 тысяч рублей. «Ничтожнейший из ничтожных»,— так характеризует Адлерберга Кавелин много лет спустя в переписке с Дмитрием Милютиным («Вестник Европы», 1909, № 1, стр. 26; письмо от 13 апреля 1884 г.).

[12] Кн. Александр Сергеевич *Меншиков* (1787—1869) — генерал-адъютант, адмирал, при Николае I начальник Главного морского штаба. В 1847 г. Белинский указывал на него (в письме к П. В. Анненкову), как на самого решительного и, к несчастью, самого умного противника мысли об уничтожении крепостного права (Б е л и н с к и й, т. XII, стр. 436). В 1848 г.— председатель Комитета для наблюдения за печатью, предшествовавшего так называемому Бутурлинскому комитету. Во время Восточной войны — неудачливый главнокомандующий войсками в Крыму. Рескрипт в. к. Константина Николаевича о «пожаловании» Меншикову в потомственное владение в награду за управление морским ведомством дома начальника Главного морского штаба «со всеми службами и убранством» был распубликован в печати.— Александр Дмитриевич *Комовский* (1815—1863), воспитанник Царскосельского лицея, долго служивший в морском ведомстве, был ближайшим сотрудником Меншикова; потом — статс-секретарь и сенатор, исполнял во второй половине 1850-х годов «особые поручения» Александра II (ревизии министерств и пр.). Его бумаги печатались в «Русской старине» в конце 1890-х годов.

[13] Дмитрий Гаврилович *Бибиков* (1792—1870) — участник Бородинского сражения, один из видных администраторов николаевского времени, генерал-губернатор Юго-западного края, с 1852 г.— министр внутренних дел, действительно, был отставлен через несколько месяцев, но заменил его не П. Н. Игнатьев (будущий петербургский генерал-губернатор и председатель Комитета министров), а С. С. Ланской.

[14] Петр Федорович *Брок*, министр финансов, был, в самом деле, заменен Александром Максимовичем Княжевичем, но не тогда, а лишь в 1858 г. Константин Владимирович *Чевкин* стал министром не финансов, а путей сообщения, сменив Клейнмихеля. Слухи о «неудовольствии с Киселевым» (Павлом Дмитриевичем, министром государственных имуществ, с именем которого связана известная «реформа» государственных крестьян) до известной степени, очевидно, соответствовали действительности, хотя предупреждали события — Киселев был переведен на пост посла в Париже в 1856 г.

[15] Алексей Федорович *Орлов*, долголетний шеф жандармов, сменил А. И. *Чернышева* на посту председателя Государственного совета через год, в апреле 1856 г. Александр Иванович *Барятинский* остался на Кавказе и в следующем году был назначен командующим Отдельным Кавказским корпусом и наместником Кавказа.

[16] В речи к представителям дворянства Петербургской губернии 20 февраля 1855 г. Александр II, признавая, что «времена трудные», просил «не унывать» и не посрамить «земли русские» («Северная пчела», 1855, № 48, от 3 марта). Принимая в тот же день в Зимнем дворце генералов, штаб- и обер-офицеров гвардии, царь призывал не уступать шага врагам, отстоять Россию и т. д. (там же, 1855, № 51, от 7 марта).

[17] Через 27 лет Кавелин писал Дмитрию Милютину: «Помните ли, Дмитрий Алексеевич, как мы, в нашем тесном дружеском кружку, повесили носы с смертью Николая Павловича, в уверенности, что вопрос об освобождении крестьян будет похоронен? Один я крепко верил, что этот вопрос не умрет и пройдет, за что Николай Алексеевич ⟨Милютин.— *Ш. Л.*⟩ надо мной подтрунивал, говоря, что у меня une foi robuste ⟨непоколебимая вера⟩» (Из писем К. Д. Кавелина к графу Д. А. Милютину 1882—1884 гг. Сообщил Д. А. Корсаков.— «Вестник Европы», 1909, № 1, стр. 11—12). Это же Кавелин повторял в письмах к Д. А. Милютину от 1 октября 1882 г. и 13—22 апреля 1884 г.

[18] Возможно, имеется в виду Николай Антонович *Ратынский* (1821—1887), воспитанник Московского университета, чиновник, в период 1870—1880-х гг.— цензор, член Совета Главного управления по делам печати.

[19] Речь идет о Венской конференции послов России, Англии и Франции (при участии австрийского министра иностранных дел), открывшейся в самом конце 1854 г. и имевшей целью выработку предварительного соглашения, которое позволило бы перейти к переговорам о мире. Первый пункт касался замены протектората России над Дунайскими княжествами протекторатом пяти великих держав. Венская конференция весною 1855 г. окончилась безрезультатно.

[20] Александр Владимирович *Адлерберг* (1818—1888), сын В. Ф. Адлерберга (см. выше), ближайший сподвижник, самое доверенное лицо Александра II, при котором он состоял с 1836 г., когда последний был еще наследником престола. С 1870 г., после своего отца, являлся министром императорского двора — до конца царствования Александра II.— Яков Иванович *Ростовцев* (1803—1860) — известный своим доносом на декабристов в молодости и видной ролью в подготовке крестьянской реформы в конце жизни. Кавелин хорошо знал о нем как руководителе военно-учебных заведений при Николае I и относился к нему с глубоким недоверием. Представители либерального крыла дворянской общественности сохраняли неприязненное отношение к Ростовцеву до того времени, когда определилась известная перемена позиции его в крестьянском вопросе — переход от крепостнических к более или менее либеральным установкам, что было продиктовано в первую очередь страхом перед возмущением крестьянства. В 1884 г. Кавелин писал Д. А. Милютину: «Вспомните, что Ростовцев освободил крестьян! Ведь это было бы вопиющею к небу нелепостью, если б не было правдой!» («Вестник Европы», 1909, № 1, стр. 26).

[21] Лорд Джон *Россель* (1792—1878), о котором упоминает Кавелин,— английский политический деятель, один из лидеров вигов, бывший в разное время премьером и министром иностранных дел, во время конференции находился в Вене как уполномоченный британского правительства. Венской миссии Росселя, разговоров о его «мирных настроениях» неоднократно касается Маркс в статьях того времени (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. X, 1933, стр. по указателю). Русский посол — Александр Михайлович *Горчаков* (1798—1883) — известный дипломат, министр иностранных дел в 1856—1882 гг. Барон де *Буркнэ* — французский посол в Вене, представитель Франции на Венской конференции. Англию официально представлял ее посол в Вене лорд Уэстморлэнд. По оценке Е. В. Тарле, Буркнэ, «больше всех работавший в Вене, чтобы сорвать переговоры», пользовался полной поддержкой со стороны своего английского коллеги («Крымская война», т. II. Изд. 2. М.— Л., 1950, стр. 344—345).

[22] Амнистия декабристам была объявлена только через полтора года и приурочена к коронации Александра II (август 1856 г.).

[23] «*Бибиков виленский*» — Илья Гаврилович (1794—1867), армейский деятель (в особенности — по артиллерийской части), генерал-адъютант, генерал-от-артиллерии. В 1850 г. назначен виленским военным губернатором с управлением гражданской частью, а также гродненским, минским и ковенским генерал-губернатором; облечен был и правами попечителя Виленского учебного округа. Бибиков был смещен в декабре 1855 г. Преемником его стал В. И. Назимов (попечитель Московского учебного округа), с именем которого отчасти связано начало открытой подготовки крестьянской реформы (рескрипт Назимову 1857 г.).

[24] Диссертация Б. Н. Чичерина — «Областные учреждения России в XVII веке». Ее горячо одобрили и Кавелин, и Грановский. Руководители юридического факультета Московского университета не пропустили ее по мотивам цензурно-политического характера. Грановский рекомендовал Чичерину попытать счастья в Петербургском университете. А. В. Никитенко должен был, по мнению Грановского и Кавелина, помочь в этом деле Чичерину. Письмо по этому поводу Грановского к Чичерину (при нем прилагалось обращение к Никитенко) напечатано в «Переписке Т. Н. Грановского» (указ. изд., стр. 444; с ошибочной датой). Подробно, но не без некоторой путаницы в хронологии, как свидетельствует сопоставление с комментируемым письмом Кавелина, рассказывает всю историю сам Чичерин в своих мемуарах («Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов». М., 1929, стр. 121—123, 147—148).

[25] Если — что можно предположить с большой долей вероятности — настоящее письмо Кавелина имел в виду в своих воспоминаниях Феоктистов (см. прим. 1), то Грановский не выполнил заключительной просьбы Кавелина и пустил письмо по рукам, причем оно встретило большое сочувствие в либеральных московских кругах.

НОВЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ БИОГРАФИИ ЛЕРМОНТОВА

НЕИЗВЕСТНАЯ РУКОПИСЬ А. В. ДРУЖИНИНА

Статья и публикация Эммы Герштейн

1

В собрании бумаг А. В. Дружинина хранится рукопись его незаконченной рецензии: «Сочинения Лермонтова. Издание С. С. Дудышкина. СПб., 1860 года» [1]. В ней содержатся ценные сведения о жизни и гибели великого поэта.

Статья эта имеет свою историю. Она написана весной или летом 1860 г. после выхода из печати первого тома дудышкинского издания (ценз. разр. 6 марта). Здесь вместо традиционного биографического очерка об авторе сочинений была помещена вводная статья редактора о русском байронизме. Это взволновало Дружинина. В анонимной заметке, напечатанной в сентябрьской книжке «Библиотеки для чтения», критик писал: «Мы очень хорошо знаем, что для подробного жизнеописания еще не пришло время,— но краткий очерк жизни Лермонтова уже возможен, а по журналам нашим разбросано некоторое количество воспоминаний и заметок о Лермонтове, имеющих значение и хотя отчасти знакомящих нас с оригинальною, причудливою, загадочною и все-таки крайне симпатичною личностью человека, в котором как было сказано когда-то „может быть, Россия лишилась своего Байрона“» [2].

Дружинин обещал читателям после выхода второго тома «представить полную и подробную рецензию» на все издание. Вскоре второй том поступил в продажу (ценз. разр. 29 ноября), но среди многочисленных печатных откликов на новое собрание сочинений Лермонтова рецензии Дружинина мы не находим.

Теперь черновая рукопись обещанной статьи перед нами. Дружинин вставил в нее биографический очерк о поэте. Но так как Дудышкин поместил во втором томе своего издания «Материалы для биографии и литературной оценки Лермонтова», начатую статью надо было переделать. Между тем, Дружинин как раз в это время рассорился с «Библиотекой для чтения» и стал сотрудничать в «Русском вестнике». Вероятно, он намеревался переработать свою статью для этого журнала. Однако для предварительной оценки он послал ее не в редакцию, а одному из новых сотрудников «Русского вестника», начавшего печатать там в 1861 г. основательный исторический обзор английской журналистики. На обложке рукописи, которой мы теперь располагаем, написано карандашом: «Александру Васильевичу Дружинину от Л. Ф. де Роберти». Выбор автора своим судьей знатока английской литературы можно объяснить тем, что добрая половина рецензии Дружинина посвящена Байрону. Но надо при этом помнить, что Леонид Федорович де Роберти был одним из активных членов русской колонии в Гейдельберге и только что вернулся в Россию [3].

После того, как де Роберти вернул рукопись Дружинину, автор перестал над ней работать. Рецензия осталась незаконченной. И тому были важные причины.

Проблема биографии Лермонтова волновала передовых русских людей с самого дня гибели поэта в 1841 г. Еще когда Белинский вставил в рецензию на второе издание «Героя нашего времени» замаскированный некролог его автору, он старался передать

свои впечатления о личных встречах с поэтом. В 1845 г. редакция передового популярного издания для юношества призывала современников «собрать хотя некоторые сведения для будущей биографии Лермонтова ⟨...⟩ которые до сих пор еще никем не были печатно собраны» [4]. Но попытка самой «Библиотеки для воспитания» дать элементарную биографическую справку о поэте потерпела неудачу. «Перед стихотворениями Лермонтова,— значится в редакционной заметке,— следовал краткий очерк его жизни; но в ожидании более полных сведений, которые в скором времени должны быть доставлены, редакция отложила его до следующей книжки». Однако ни в одном из выпусков «Библиотеки для воспитания» очерк жизни поэта так и не появился. И когда через четырнадцать лет, в 1859 г. Вл. Стоюнин выпустил сборник «Русская лирическая поэзия для девиц», он вынужден был повторить слова своих предшественников: «Лермонтов умер в 1841 году, не имея и тридцати лет от роду. Биография его до сих пор никем не написана, а потому и обстоятельства его жизни нам очень мало известны» [5].

Избранные стихотворения Лермонтова и отрывки из «Героя нашего времени» помещались в хрестоматиях с самого начала 1840-х годов, сочинения его все время переиздавались. В любом учебнике русской словесности Лермонтову уделялось значительное место. Поэма «Демон» «обошла всю Россию в неисчислимом множестве списков» и была «известна всем от мала до велика наизусть» [6]. Вся русская литература сороковых и пятидесятых годов прошла под знаком Лермонтова так же, как Пушкина и Гоголя, стихи Лермонтова разошлись уже на пародии,— а никто не мог еще указать, в каком году поэт родился!

За все время царствования Николая I в русской печати появилось только несколько скупых упоминаний о личности Лермонтова. В 1853 г. в газете «Кавказ» были приведены пустые россказни неизвестного казначея одного из четырех полков, где служил Лермонтов [7]. Эта заметка была тотчас перепечатана в «Московских ведомостях» [8] и в том же году использована в «Справочном энциклопедическом словаре» [9]. Русский читатель должен был довольствоваться пошлым сравнением внешности Лермонтова с портретом Печорина и отголосками ходячих анекдотов о поэте. Другими материалами редактор «Энциклопедического словаря» А. Старчевский не располагал.

Для того, чтобы сказать что-либо о жизни Лермонтова, русским литераторам приходилось прибегать к уловкам. Так, в журнале «Пантеон», в том же 1853 г., в отделе «Петербургский вестник», корреспондент сделал, как он выразился, «арабский скачок» с Невского проспекта к «прелестям мирного деревенского быта» в Пензенской губернии. Он привел письмо своего приятеля, помещика тех мест, который описывал могилу «автора лучшего романа русского и многих превосходных стихотворений». Степной житель, так верно оценивший прозу Лермонтова, писал петербургскому хроникёру: «Село Тарханы в последние годы приобрело известность, и часто бывает убрана свежими цветами гробница поэта ⟨...⟩ Грустно на безвременной его могиле, но отрадно внимание, которое оказывают его памяти и высокому дарованию... даже безграмотные крестьяне смутно понимают, что их барин был чем-то, писал что-то хорошее...» [10] Далее он привел несколько, правда, очень неточных сведений о рождении и детстве Лермонтова. Но кому пришло бы в голову искать данные о покойном писателе, запрятанные в многословный фельетон петербургского журналиста? «У нас нет не только биографии, но даже какого-нибудь известия о жизни Лермонтова, а между тем 15 июля будет пятнадцать лет, как он умер!» [11]— восклицал рецензент «С.-Петербургских ведомостей» в 1856 г.

Однако среди литераторов пятидесятых годов был один, который очень осторожно намекал в печати, что ему хорошо известны подробности последнего года жизни Лермонтова на Кавказе, а следовательно, и его гибели. Литератор этот был не кто иной, как Александр Васильевич Дружинин. Еще в 1852 г., в январской книжке «Библиотеки для чтения», он так же незаметно, как фельетонист «Пантеона», вставил в свое очередное (XXV) «Письмо иногороднего подписчика о русской журналистике» замечательно интересный психологический портрет Лермонтова.

«Во время моей последней поездки,— писал он,— я познакомился с одним человеком, который коротко знал и любил покойного Лермонтова, странствовал и сражался вместе с ним, следил за всеми событиями его жизни и хранит о нем самое поэтическое,

нежное воспоминание. Характер знаменитого нашего поэта хорошо известен, но немногие из русских читателей знают, что Лермонтов, при всей своей раздражительности и резкости, был истинно предан малому числу своих друзей, а в обращении с ними был полон женской деликатности и юношеской горячности. Оттого-то до сих пор в отдаленных краях России вы еще встретите людей, которые говорят о нем со слезами на глазах и хранят вещи, ему принадлежавшие, более чем драгоценность. С одним из таких людей меня свела судьба на короткое время, и я провел много приятных часов, слушая подробности о жизни, делах и понятиях человека, о котором я имел во многих отношениях самое превратное понятие» [12].

Неизвестный друг и сослуживец великого поэта повстречался Дружинину в Пятигорске, в тех самых местах, где ровно за десять лет до того раздался выстрел Мартынова. «Преданность моего знакомца памяти Лермонтова была беспредельна»,— говорит Дружинин. Критик рассказывает далее, что его приятель, сохранявший в 1851 г. «всю молодость духа и всю гибкость воображения», «долго жил на Кавказе и понимал произведения Лермонтова так, как немногие их понимают: он мог рассказать происхождение почти каждого из стихотворений, событие, подавшее к нему повод, расположение духа, с которым автор „Пророка“ брался за перо...»

Если неназванный друг Лермонтова мог говорить о событиях, которые, по его мнению, повлияли на создание предсмертных стихотворений поэта, то он мог рассказать Дружинину и о последнем трагическом событии: о том, при каких обстоятельствах Лермонтов был убит. Но в дореформенной печати нельзя было писать не только о подробностях дуэли поэта с Мартыновым, но и о самом факте дуэли. Естественно, что на заметку Дружинина не последовало никаких откликов. Даже в полемической статье, напечатанной в «Москвитянине» по поводу XXV «Письма иногороднего подписчика», имя Лермонтова не было упомянуто [13].

Между тем кавказская встреча произвела на Дружинина сильнейшее впечатление. В своем неизданном дневнике он снова и снова возвращается к этому эпизоду. В отдельной заметке, где для памяти отмечены «светлые дни» его жизни, Дружинин упоминает «Вид кавказских гор с Елисаветинской галереи», «дом на Пятигорском бульваре» [14]. А в подневных записях раскрывается, что воспоминание, оставшееся у него от посещения Пятигорска, связано было с «обожаемой памятью» Лермонтова [15]. «Владей я легким стихом, у меня вышло бы несколько стихотворений,— записывает он 30 июня 1853 г.— Планы некоторых были такие. Пятигорск и воспоминания о Лермонтове,— горная дорога между Ессентуками и Кисловодском ⟨...⟩» [16]. Через неделю он возвращается к той же теме: «А я думал обдумать простенькую повесть о Нардзане. Неужели же этот лунный свет ⟨...⟩ и снеговые горы, и ночи в парке, и Нардзан, и Лермонтов ⟨...⟩ и вся обстановка моя два года тому назад не сложатся, наконец, во что-нибудь стройное?» На следующий день он сокрушенно признается в своем бессилии: «Начал легенду о Нардзане (увы, в который раз), и уже на первом листе отклонился от простоты». Повесть, однако, была закончена Дружининым и напечатана в некрасовском «Современнике» в 1854 г. под названием «Легенда о Кислых водах». О Лермонтове там не было ни слова.

Историки литературы единодушно отводят этой повести одно из скромных мест в творчестве автора «Полиньки Сакс». Но первые страницы «Легенды» остались ненапечатанными. А в этом неизданном «Вступлении» Дружинин снова упоминает о свидании с другом поэта, описывая свою ночную поездку из Пятигорска в Кисловодск. На «Кислых водах» он бродит возле дома дворянского собрания, знакомого нам по «Герою нашего времени»; здесь опять открыта «ресторация» Найтаки, у которого служит «самый смышленый из его буфетчиков, старожил Кавказского края, видавший на своем веку много интересного и не раз подававший форелей „покойному Михаилу Юрьевичу“». Автор охвачен особенным настроением: им владеет «только одно воспоминание, одно стремление и один порыв душевный к человеку давно умершему, никогда им не виданному...» «Я не мог думать ни о чем и ни о ком,— пишет рассказчик,— кроме Лермонтова, к которому еще за день не чувствовал, казалось, ничего, кроме заслуженного уважения по поводу его литературных достоинств ⟨...⟩ Образ Лермонтова, в тот еще день виденный мною на портрете, срисованном

с усопшего и хранившемся как святыня у одного из его ближайших товарищей, возникал передо мною с ясностью почти фантастической. Я видел, ясно видел у грота, прославленного гением Лермонтова,— это загорелое и бледное лицо с отпечатком предсмертного страдания и какой-то таинственной неразгаданной мысли...».

Дружинин подчеркивает, что именно встреча с другом Лермонтова вызвала у него особенный порыв отчаяния из-за гибели поэта. С редкой для него экзальтацией Дружинин пишет: «Зачем люди, его окружавшие,— думал я с ребяческим ожесточением,— не ценили и не лелеяли поэта, не сознавали его величия, не становились грудью между ним и горем, между ним и опасностью! Умереть за великого поэта, не лучше ли, чем жить целое столетие?..» [17].

Дружинин описывает первый день, вернее первую ночь, своего пребывания в Кисловодске в 1851 г. В последующие дни (мы знаем об этом по его напечатанной переписке) он стал бывать в доме, где «собирались разные кавказские герои» [18]. Не от них ли он слышал новые рассказы о Лермонтове, упомянутые им мимоходом в другом «Письме иногороднего подписчика», в 1854 г.? В этом фельетоне критик утверждал, что память о Лермонтове «до того свежа на Кавказе, что сотни сведений о его жизни придут к биографу сами, по первому востребованию» [19].

Есть основания думать, что Дружинин умышленно встретился с двоюродным дядей Лермонтова, у которого поэт жил несколько дней в Пятигорске в последний приезд на воды. По крайней мере, в лаконичных заметках Дружинина записана фамилия этого родственника Лермонтова: «Хастатов» [20]. В заметке, озаглавленной «Места», Дружинин записывает: «Имение Вадковского... дом Хлюпина...» Эти фамилии тоже имеют отношение к Лермонтову. Один из Вадковских — Иван Яковлевич — учился вместе с Лермонтовым в университетском пансионе, а командиром Тенгинского пехотного полка в то время, когда там служил Лермонтов, был полковник С. И. Хлюпин (правда, в 1851 г. его уже не было в живых). Что касается записи «Участь книг в Пятигорске», стоящей непосредственно перед пометой «Хастатов», то она наводит на мысль, что речь идет о книгах Лермонтова, оставшихся после его смерти. Не надо забывать, что ценнейший альбом поэта, подаренный ему В. Ф. Одоевским и заполненный последними стихами Лермонтова, был возвращен в Петербург в 1843 г. именно Акимом Акимовичем Хастатовым.

Видимо, после пятигорской встречи Дружинин решил серьезно заняться подготовкой жизнеописания великого поэта. «Всякий из литераторов поставил бы себе в честь составить более или менее полную биографию Лермонтова»,— писал он в анонимной рецензии на третье смирдинское издание сочинений писателя в 1852 г.[21]

2

Казалось бы, весь круг интересов критика способствовал осуществлению этого намерения. В своих статьях он постоянно восхищался разработанностью биографического жанра у англичан; призывал русскую публику хранить и собирать материалы об отечественных литераторах, мечтал о том времени, когда «по поводу самого второстепенного писателя у нас будет писаться по десятку биографий и монографий» [22]. Он и сам написал биографический очерк малоизвестного писателя А. П. Степанова — отца популярного карикатуриста. Перу Дружинина принадлежат несколько компиляций из биографических трудов английских исторических писателей о знаменитых европейских государственных деятелях. А воспоминания Дружинина о П. А. Федотове до сих пор считаются исследователями русского искусства одним из самых значительных и достоверных источников для биографии художника. Но скрытая работа Дружинина по собиранию материалов для подготовки жизнеописания Лермонтова не находила себе никакого применения.

Не выступил критик с рассказами о любимом поэте и тогда, когда после окончания Крымской войны в русских журналах стали мелькать кое-какие воспоминания о Лермонтове. Это были чрезвычайно скудные материалы, и Дружинин мог назвать их «имеющими значение» только после молчания, окружавшего личность Лермонтова во время царствования Николая I. Убожество их особенно бросалось в глаза после

того, как в 1855—1856 гг. вышли из печати два капитальных труда, справедливо оцененные критикой как литературное событие: «Материалы для биографии А. С. Пушкина» П. В. Анненкова и книга П. А. Кулиша «Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем». Стала очевидной необходимость подготовки серьезной биографии Лермонтова, хотя речь пока могла идти только о предварительном собирании материалов. Обладая достоверными сведениями о Лермонтове, Дружинин, несомненно, мог бы внести большой вклад в правильную разработку его биографии. Но споры о «пушкинском» и «гоголевском» направлениях в русской литературе разгорелись, как известно, именно вокруг книги Анненкова о Пушкине. Дружинину, яростно защищавшему позиции «эстетической критики», было не в пору выступать со своими сообщениями о Лермонтове: как видно из публикуемой рецензии, его толкование творчества и особенно биографии поэта не укладывалось в рамки провозглашенной «эстетами» теории «чистого искусства».

В полемику об истоках лермонтовского байронизма, завязавшуюся в русских журналах в конце 1850-х годов, Дружинин тоже не вмешался, хотя он был признанным знатоком английской литературы. Но когда Дудышкин в предисловии к первому тому сочинений Лермонтова заговорил о том, что образы «Печориных, Арбениных, Демонов» обязаны своим рождением только «отвлеченному идеалу» поэзии Байрона, Дружинин был, наконец, задет за живое. Обнаруженная рецензия, конечно, является выпавшим звеном из этой дискуссии. Содержание статьи Дружинина резко отличается от большинства критических выступлений по этому вопросу. В своем толковании творчества Байрона критик отвлекается от изучения влияния произведений английского поэта на развитие западноевропейской и русской литературы и пытается восстановить авторский замысел, рассматривая творчество Байрона в органической связи с его биографией. В этом он отходит от установившейся историко-литературной традиции, основанной на изучении байронизма, а не исторической личности Байрона. Поэтому спор об истинном пафосе его творчества — заключался ли он в «поэзии власти», как утверждал Дружинин, или в «поэзии разочарования», как его восприняло несколько поколений последователей,— был уже запоздалым. И если критик его затеял, то, думается, только для того, чтобы яснее провести аналогию между личными политическими судьбами Лермонтова и Байрона. Ярко выраженное сочувствие демократическим идеалам Байрона, восхваление политической деятельности поэта, боровшегося за свободу Греции, сравнение Байрона с Гарибальди — совершенно неожиданны в статье критика, известного своим общественным индифферентизмом. В этом отношении новонайденная статья послужит ценным материалом для изучения эволюции общественно-политических и эстетических взглядов Дружинина. Нас находка этой ненапечатанной рецензии интересует сейчас с точки зрения новых данных для биографии Лермонтова.

Если восстановить зачеркнутые места в характеристике Лермонтова, мы увидим, что, говоря о Байроне, Дружинин иносказательно говорит и о русском поэте. «Корень этого основного и постоянного элемента байронических песен,— пишет Дружинин,— заключался в энергичной натуре певца, предназначенной властвовать над людьми и только в последние годы его жизни отыскавшей свое прямое предназначение. До сближения Байрона с итальянскими патриотами жажда власти жила в нем как сила без применения, кидавшаяся во все стороны, по временам попадавшая на прямую дорогу (речь о страданиях работников в Палате лордов), но сбиваемая с нее неудачами, несвоевременностью попыток и событиями бурной жизни». Сопоставим эту характеристику политического властолюбия Байрона с тем, что пишет Дружинин о властолюбии Лермонтова, и мы убедимся, что автор и в нем видел потенциального политического деятеля. «...По натуре своей [предназначенный властвовать над людьми] * горделивый, сосредоточенный, и сверх того, кроме гения, отличавшийся силой характера,— наш поэт был честолюбив и [горд] скрытен. Эти качества с годами нашли бы себе применение и выяснились бы в нечто стройно-определенное...» Видимо, Дружинин, много раз подчеркивающий в своей статье, что последний год жизни Лермонтова на Кавказе известен ему с достаточной полнотой, намекает на какую-то политическую тенденцию

* В прямые скобки заключены слова, зачеркнутые Дружининым.

в поведении поэта. Основанием для уверенных заключений Дружинина служили рассказы кавказских офицеров. О том же, только в других выражениях, говорил и П. К. Мартьянов, писавший о поэте со слов В. И. Чиляева (у которого Лермонтов снимал дом в свой последний приезд в Пятигорск): «Это был сильный, эгоистический и властолюбивый характер, имевший одну цель — пробить себе во что бы то ни стало дорогу в высшие сферы влияния и дела, чтобы современем властвовать над толпою...»[23]. Отбросив туманную фразеологию Мартьянова, уже модернизованную влияниями народнической публицистики восьмидесятых—девяностых годов, мы не можем пройти мимо этих согласных указаний свидетелей кавказской военной жизни Лермонтова на какие-то его политические планы. Зная по другим источникам о близости поэта к военному командованию, о свидании его в Москве с Ермоловым по поручению П. Х. Граббе [24], наконец, о присутствии на Кавказе в этот период многих членов «кружка шестнадцати» [25], мы должны придти к выводу, что военно-политическая деятельность Лермонтова на Кавказе должна привлечь самое пристальное внимание исследователей. И новым толчком для разработки этой темы послужит обнаруженная рецензия Дружинина.

Значение нашей находки этим далеко не исчерпывается.

Печатая дружининскую статью почти через сто лет после того, как она была написана, мы должны горько пожалеть о том, что она не увидела света своевременно. По тону, по знакомству с подлинными фактами жизни Лермонтова эта статья резко противостоит потоку развязных, поверхностных или пристрастных воспоминаний о погибшем поэте, которые все чаще стали появляться в русских журналах после выхода дудышкинского издания.

Не подозревая, что он опровергает целое направление в будущей биографической литературе о Лермонтове, Дружинин пишет: «...соприкасаясь со всем кругом столичного и провинциального общества, Лермонтов имел множество знакомых». Этим снимается примитивное представление об одиночестве поэта, которое так культивировалось в дореволюционном литературоведении. Не зная, что одним из главных доводов защиты «мартыновцев» будет ссылка на то, что пятигорскому обществу трудно было угадать в Лермонтове великого поэта, Дружинин выбивает у них из рук этот козырь, упоминая об огромной прижизненной популярности Лермонтова («имея на всем Кавказе славу льва-писателя...»).

«Как гласят никому уже не секретные литературные предания, в фигуре Леонина ⟨граф Соллогуб⟩ довольно ловко выставил комическую сторону великосветских стремлений поэта»,— писал Аполлон Григорьев в 1862 г. и находил в этой темной истории подтверждение своей концепции об «обиженных» героях произведений Лермонтова [26]. Представитель «органической» критики не мог бы делать такие далеко идущие выводы, если бы он прочел статью Дружинина, где автор дает трезвый анализ социальной структуры петербургского великосветского общества. Принадлежа к дворянской чиновничьей семье, сам служивший некогда в одном из гвардейских полков, Дружинин намекает, что офицеры гвардии представляли «какой-то промежуточный слой между кругом высшим и кругом средним». Между тем, в повести «Большой свет» Соллогуб поместил Леонина-Лермонтова на самой низшей ступени иерархической лестницы дворянского столичного общества, приписывая своему герою недостойные стремления проникнуть в высший круг. Не разбираясь в этих тонкостях кастового расслоения общества тридцатых годов, Аполлон Григорьев и некоторая часть демократической интеллигенции шестидесятых годов приняли на веру клеветнические намеки Соллогуба. На самом деле, по роду своей службы в гвардии Лермонтов близко соприкасался с так называемым «большим светом», имея там свои обязанности, а его литературная слава сделала его желанным посетителем гостиных петербургской знати, падкой на моду.

Как известно, опубликование повести «Большой свет» связывалось позднейшими биографами Лермонтова со столкновением поэта на новогоднем маскараде с царскими дочерьми, со стихами Лермонтова, разоблачающими лицемерие великосветского общества, демонстративно подписанными им «1 января», и с последующим арестом Лермонтова за дуэль с Барантом. Очевидно, Дружинин тоже знал об этом, что видно из его упоминания о стихотворении «1 января». Трудно сказать, ошибся ли Дружинин,

утверждая, что оно было «задумано на бале, а *дописано в невольном уединении*» (курсив наш.— *Э. Г.*), или он сообщает еще неизвестный литературоведам факт ареста Лермонтова (может быть, он был посажен на гауптвахту), за «дерзкое» поведение на новогоднем балу. Не исключено, что Дружинин имел в виду арест Лермонтова за дуэль с Барантом, так как об этом событии в 1860 г. в печати еще ничего не было сказано. Возможно, что Дружинин не заметил, что стихотворение «1 января» было уже напечатано в первой книжке «Отечественных записок» 1840 г., и причислил его к тем произведениям, которые Лермонтов написал весной в ордонансгаузе. Во всяком случае, сближение этих двух событий закономерно и указывает на глубокую осведомленность Дружинина в подспудных причинах высылки Лермонтова на Кавказ в 1840 г.

Как и следовало ожидать, статья Дружинина дает ответ и на центральный вопрос нашей публикации: какого рода сведения о гибели Лермонтова так взволновали его в Пятигорске в 1851 г.?

Прямо поведать об этом читателям Дружинин не мог: подробности эти были таковы, что в 1860 г. о них так же нельзя было говорить, как и при жизни Николая I. Вот почему Дружинин не напечатал своего вступления к «Легенде», где он упоминал о пятигорской встрече; вот почему описание знаменательного свидания стоило ему такого труда. В новонайденной рукописи изложение рассказа знакомца Дружинина оборвано: автор оставил в рукописи две пустых страницы, намереваясь заполнить их позже. Но он так и не решился это сделать и вовсе зачеркнул весь эпизод. «Как ни хотелось бы и нам поделиться с публикою запасом сведений о службе Лермонтова на Кавказе,— историею его кончины, рассказанной нам на самом ее театре с большими подробностями,— мы хорошо знаем, что для таких подробностей и сведений не пришло еще время»,— пишет Дружинин. Но, опытный журналист, сделавший себе имя критика в годы самого тяжелого цензурного гнета, Дружинин умел лавировать в печати. Ничего не рассказав, он сказал много.

В то время как во второй книжке «Современника» 1861 г. И. И. Панаев легкомысленно заявлял, что Лермонтов «должен был кончить так трагически: не М⟨артынов⟩, так кто-нибудь другой убил бы его» [27], а Боденштедт, со слов М. П. Глебова, уверял, что дуэль произошла из-за сестры Мартынова [28], — у Дружинина в столе хранилась отложенная рукопись, где он разоблачал совершенное в Пятигорске преступление. Статья его полна нераскрытых намеков. Нам остается только попытаться их расшифровать.

Автор отказывается признать дуэль Мартынова с Лермонтовым честным поединком. Он указывает на моральных виновников убийства: «...невольная злоба наполняет душу нашу — злоба на *общество*, не сумевшее оградить своего певца». Далее он дает понять, что были негодяи, которые подготавливали смерть Лермонтова и ждали ее: «...злоба на *мерзавцев*, осмеливавшихся ей радоваться или холодно встречать весть, скорбную для отечества» ⟨курсив наш.— *Э. Г.*⟩. Кроме того, Дружинин «проклинает лиц, допустивших ⟨...⟩ погибель» поэта. Вероятно, он имеет в виду секундантов. Вспомним, как он сетовал в Кисловодске на друзей Лермонтова за то, что они не «стали грудью между Лермонтовым и опасностью». Но самое главное, что Дружинин говорит о «презренных орудиях» гибели Лермонтова. В «честном» поединке, где противники находятся в равных условиях, победителя обвинять нельзя. Резкая характеристика Дружинина, напротив, заставляет думать, что он считал Мартынова сознательным убийцей Лермонтова.

Не совсем понятно, почему Дружинин употребляет множественное число, говоря о непосредственных «орудиях гибели» Лермонтова.

Прежде всего приходит в голову упорный слух о посторонних свидетелях, присутствовавших на самом месте поединка,— слух, столь волновавший воображение позднейших биографов Лермонтова. Основываясь на этих слухах, П. А. Висковатов писал в восьмидесятых годах: «В дело вмешались и посторонние люди, как, например, Дорохов, участвовавший на 14 поединках. Для людей, подобных ему, а тогда в кавказском офицерстве их было много, дуэль представляла приятное препровождение времени, щекотавшее нервы и нарушавшее единообразие жизни и пополнявшее отсутствие интересов» [29]. При этом Висковатов ставил Дорохова в один ряд с представителями власти, которые (биограф Лермонтова это понимал) толкали поэта к гибели.

Казалось бы, разгадка фразы Дружинина о «презренных орудиях» гибели Лермонтова найдена: косвенным виновником трагического исхода дуэли называли Дорохова. Но все дело в том, что подробные рассказы об убийстве Лермонтова Дружинин слышал в Пятигорске именно от Дорохова! Ибо человек, который хранил самое нежное воспоминание о Лермонтове, знал наизусть каждую его строчку, берег как святыню его портрет и говорил о погибшем друге со слезами на глазах,— оказался известным начальником «беззаветной команды», знаменитым брётером Руфином Дороховым.

Это заставляет пересмотреть наше представление о ближайшем окружении Лермонтова, об его преддуэльной истории и о самом поединке. И для того, чтобы разобраться во всех этих противоречиях, необходимо установить достоверность источника, которым пользовался Дружинин. Нам надо внимательнее познакомиться с биографией Дорохова и проследить, каково было его участие в дуэли Лермонтова с Мартыновым. Нам придется обратиться к первой половине XIX в. и особенно остановиться на событиях 1841 г.— года смертельной катастрофы в жизни поэта.

3

Руфин Иванович Дорохов родился в 1806 г.[30] В 1812 г. мальчик был зачислен в военную службу. Отец его, герой Отечественной войны генерал-лейтенант Иван Семенович Дорохов, умер в 1815 г. от ран, полученных при изгнании французов из Вереи. «На тринадцатом году жизни своей» Руфин «был оставлен без надзора⟨...⟩ на произвол его пылких страстей»,— сказано в одном из сохранившихся документов[31]. Едва выйдя из пажеского корпуса в учебно-карабинерный полк, он убил на дуэли капитана [32]. В 1823 г. М. И. Пущин нашел его на Арсенальной гауптвахте, «содержащегося под арестом и разжалованного в солдаты» [33] «за буйство в театре и ношение партикулярной одежды»[34], как сказано в формулярном списке Дорохова. Пущин рассказывает, что «в театре на балконе Дорохов сел на плечи какого-то статского советника и хлестал его по голове за то, что тот в антракте занял место незанумерованное и им перед тем оставленное». «Через несколько лет,— вспоминает Пущин,— я встретился с Дороховым на Кавказе, другой раз разжалованным».

В 1827 г. Дорохов прибыл в Нижегородский драгунский полк под начальство генерала Н. Н. Раевского. На войне он участвовал вместе с сосланными декабристами в самых рискованных делах. Пущин описывает, как темной ненастной ночью он вместе с Дороховым и декабристом Коновницыным осматривал занятую врагом крепость Сардарь-Абад. «Паскевич, довольный исполненным поручением, чтобы отогреть нас, приказал подать две бутылки шампанского и с нами, тремя солдатами, их роспил» [35].

Об участии Дорохова в осаде той же крепости вспоминает и декабрист А. С. Гангеблов. «В Персии, при осаде Сардарь-Абада, ночью при открытии траншей адъютант Сакена привел Дорохова на мою дистанцию работ и приказал дать ему какое-нибудь поручение». «Генералы нашего отряда относились к нему как к сыну славного партизана Отечественной войны, их сослуживца, и старались так или иначе Дорохова выдвинуть»,— указывает Гангеблов причину появления адъютанта. Однако Дорохов «всегда держал себя с достоинством, в самой личности его не было ничего похожего на низкопоклонство»[36].

В течение всей войны мы видим Дорохова на самых опасных пунктах. В кавалерийском деле при Джаван-булахе он врубается вместе с серпуховскими уланами в персидскую конницу и берет лично в плен двух наездников; в деле под Карсом он участвует в качестве саперного офицера и первый устанавливает орудия на башне Темир-паша; при штурме Ахалцыха врывается в город в первых рядах ширванцев. На передних траншеях под Эриванью Дорохов был ранен в грудь и контужен осколком гранаты.

По окончании войны Дорохов был награжден золотой саблей с надписью «за храбрость» и произведен в поручики. В это время с ним встретился Пушкин. Упоминание об этой встрече он ввел в свою прозу: «Во Владикавказе нашел я Дорохова и Пущина. Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы» («Путешествие в Арзрум»).

Поэт присоединился к обоим приятелям. Пущин живо изобразил в своих «Записках» полукомические инциденты, происходившие во время этого совместного путешествия. «По натуре своей Дорохов не мог не драться»,— и Пушкин с Пущиным хохотали, гляда на его «повинную вытянутую фигуру». «Он позволяет мне,— рассказывает Пущин,— прибить себя, если он кого-нибудь при мне ударит»[37].

Пушкин, по словам Пущина, находил «тьму грации» в Дорохове и «много прелести в его товариществе».

Гангеблов тоже считал Дорохова «человеком благовоспитанным, приятным собеседником, острым и находчивым. Но все это,— оговаривается мемуарист,— было испорчено его неукротимым нравом, который нередко в нем проявлялся ни с того, ни с сего, просто из каприза и преследовал à outrance* тех, кто ему не нравился, и он этого не скрывал»[38].

В стихотворении, привезенном в 1829 г. из Арзрума, Пушкин, как это установил покойный М. А. Цявловский, нарисовал портрет Руфина Дорохова [39]:

Счастлив ты в прелестных дурах,
В службе, картах и чинах.
Ты Сен-При в карикатурах,
Ты Нелединский в стихах.
Ты прострелен на дуэле,
Ты разрублен на войне,
Хоть герой ты в самом деле,
Но повеса ты вполне.

Отчаянный храбрец и чувствительный стихотворец, герой и повеса, таков был романтический образ Дорохова, пленивший Пушкина.

Сравнение Дорохова с Нелединским не должно нас удивлять. Л. П. Семенов недавно обнаружил в «Сыне отечества» 1837 г. два стихотворения, напечатанные за подписью: «Р. Дорохов»: «Лезгинскому кинжалу» и «К⟨укольник⟩у (из Ахалцыха)»[40]. В одном из неопубликованных писем жены Дорохова скопировано стихотворение, написанное им в 1838 г.

С 1833 г. Дорохов, уволившись «за ранами» от службы и женившись, живет в Москве. В 1835 г. у него происходит «неприятная история» с отставным поручиком Нижегородского полка Д. П. Панковым. Считая своего давнишнего врага «дрянным офицером», Дорохов «поносил его честь»,— несправедливо, по мнению суда. Папков стрелял в Дорохова на улице [41]. Суд приговорил Папкова к наказанию, но потребовал и у Дорохова сознания перед судом в клевете. По этому поводу Дорохов пишет генералу Н. Н. Раевскому письмо, полное достоинства: «Это касается уже до чести — и я скорее умру, чем дозволю наложить малейшую тень на оную,— ибо праху моего родителя должен я отдать отчет в наследстве, им мне завещанном — в имени беспорочном, которое он мне оставил...»[42].

В 1837 г. у Дорохова уже новая «история». «Ты, может быть, слышала о геркулесовском подвиге г-на Дорохова, который чуть не убил г-на Сверчкова в кабинете кн. Вяземского,— иронически писала Н. П. Шаликова 30 августа 1837 г. С. Д. Кареевой.— Жизнь Сверчкова была в опасности, однако благодаря счастливой звезде г-на Дорохова он выздоровел. Полагают, что дело будет замято, ведь судьба покровительствует повесам ⟨...⟩ вот видишь, милая, как романтично!..»[43].

Но дело обернулось гораздо серьезнее. Дорохов был арестован и тяжело заболел в тюрьме. Очевидно, виновному угрожали каторжные работы, потому что «высочайшая» конфирмация о назначении его рядовым в Навагинский пехотный полк последовала только весной, да и то в результате усиленных хлопот В. А. Жуковского. Поэт просил наследника поговорить с царем, склонил на свою сторону Бенкендорфа, добился у московского генерал-губернатора облегчения режима арестованного. Правда, Жуковский заступился за Дорохова только ради его жены, но интересно, что сам потерпевший тоже присоединился к этим хлопотам: «Я виделся с князем Вяземским;

* беспощадно (франц.).

и он, и Сверчков готовы сделать все возможное»,— писал Жуковский М. А. Дороховой, к которой он относился с отеческой нежностью [44].

1 марта 1838 г. Дорохов за «нанесение кинжальных ран» отставному ротмистру Сверчкову был назначен рядовым до выслуги в Навагинский пехотный полк. Но «он ранен в ногу, ходить не может, следственно, будет плохой солдат в пехоте,— пишет Жуковский Н. Н. Раевскому в апреле 1838 г.,— посадите его на коня: увидите, что он драться будет исправно. Одним словом, нарядите его казаком»[45]. Раевский исполнил просьбу Жуковского и прикомандировал своего бывшего подчиненного к казачьим линейным войскам. Казацкий наряд как нельзя лучше подошел Дорохову. «Я запорожец в душе»[46],— писал он в одном из своих позднейших писем. «Вы водворили его в свою сферу»,— благодарно писала М. А. Дорохова Жуковскому [47].

Дорохов был назначен в десантный отряд, строящий Вельяминовский порт при устье р. Туапсе. Во время сильной бури, разразившейся 31 мая, Дорохов бросился с несколькими солдатами в лодку и после шести часов борьбы с волнами был выброшен на противоположный берег реки, где потерпевшие крушение матросы отражали нападения черкесов. «За отличное мужество и самоотвержение, оказанное при крушении судов у черкесских берегов» Дорохов был произведен в унтер-офицеры [48]. Подробности этого события описаны в уже упоминавшемся письме М. А. Дороховой к Жуковскому (от 12 июля 1838 г.): «Руфин с товарищами вернулись, изнемогая от усталости и промокшие до костей,— пишет Дорохова.— Мой бедный муж, едва излечившийся от длительной и тяжелой болезни, схватил ужасную простуду, и его начальник отправил его в госпиталь на излечение. Но он мне пишет, что не будет ждать своего выздоровления, и, если предстоит новая экспедиция, он непременно постарается в ней участвовать. Для того, чтобы мне показать, как хранит его провидение, он прислал мне свою солдатскую фуражку, пробитую двумя пулями... Мой муж представлен к производству, это будет сильно способствовать его выздоровлению».

М. А. Дорохова переписывает для Жуковского новую, очень слабую по форме, песню, сочиненную Дороховым—«Что грустишь ты, казак». «Заметьте, что мой бедняга Руфин выдает себя в этой песне с головой,— пишет она,— ясно видно, что из всех постигших его бед больше всего его терзает потеря сабли с надписью „за храбрость". Вообразите, я ревную. *Он по сабле тоскует более нежели по жене**... Но так как мой муж не желает никогда больше расставаться с военной службой, я прощаю ему, что он сделал моей соперницей золотую саблю...».

Это письмо, ярко характеризующее солдатскую натуру Дорохова, относится уже к периоду, близкому к началу дружбы с ним Лермонтова. В 1840 г. мы видим Дорохова во главе собранной им команды охотников, в которую входили казаки, кабардинцы, много разжалованных. Эта команда, действуя партизанскими методами борьбы, обращала на себя внимание отчаянностью всех ее участников и легкой подвижностью. 10 октября Дорохов был ранен и контужен на речке Хулху-лу и передал командование своими «молодцами» Лермонтову. Ранение Дорохова было тяжелым. Один глаз был поврежден — следствие контузии головы, он был ранен в ногу навылет.

В 1841 г. мы видим Дорохова рядом с Лермонтовым в Пятигорске. (Об этом будет сказано дальше.) В 1843 г. он вышел в отставку. Шесть последующих лет его жизни остаются совершенно неосвещенными. В феврале 1849 г. он явился к П. X. Граббе с просьбой выдать ему свидетельство, поручающее его покровительству Комитета инвалидов. Просьба его была исполнена бывшим командующим войсками на Кавказе «из уважения к памяти отца»[49]. Но через полгода какие-то новые происшествия заставили уже немолодого и изувеченного Дорохова опять надеть военный мундир. «Я, наконец, поступаю на службу, а война кончена! Признаюсь вам, этой насмешки от судьбы я не ожидал»,— пишет он 10 августа 1849 г. из Варшавы в Петербург. Старый вояка не разбирается в политических целях войны, он рвется в бой, чтобы снова добиться возвращения прежнего офицерского чина. «Я просто в отчаянии от моих неудач, и если бы не религия и не железный мой характер, то не знаю, на что бы другой решился на моем месте»,— пишет он [50]. Летом 1851 г. Дорохов уже в Пятигорске,

* Эта фраза написана по-русски.— *Ред.*

где перед отправлением в свою последнюю экспедицию успел рассказать Дружинину историю гибели Лермонтова. Из этого похода Дорохов не вернулся.

18 января 1852 г. вместе с большим отрядом во главе с «атаманом всех кавказских казаков» генерал-майором Ф. А. Круковским Дорохов попал в засаду в Гойтинском ущелье и был изрублен противником. Тело Дорохова не было вынесено из боя. «Только через три недели князь Барятинский выкупил его у чеченцев за 600 рублей. Его доставили в лагерь расклеванного хищными птицами и обглоданного шакалами» [51].

Судьба Руфина Дорохова заинтересовала Л. Н. Толстого. Некоторые черты его характера и биографии великий писатель использовал в образе Долохова в романе «Война и мир» [52].

4

Лермонтов познакомился с Дороховым на Кавказе в 1840 г., когда оба были прикомандированы к чеченскому отряду генерал-лейтенанта Галафеева. Из рассказа Дружинина мы узнаём подробности этого знакомства. Совместная боевая деятельность обоих ссыльных известна. Лермонтов «получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников», как писал он сам А. А. Лопухину. Это известие подтверждено дошедшими до нас официальными документами. «Во главе отряда» Лермонтов «оказывал самоотвержение выше всякой похвалы»,— писал генерал Галафеев в наградном списке Лермонтова. Известен также плачевный результат этого представления поэта к отличию.«Зачем не при своем полку?— написал собственноручно Николай I на рапорте командира.— Велеть непременно быть на лицо во фронте, и отнюдь не сметь под каким бы ни было предлогом удалять от фронтовой службы при своем полку» [53]. Таким образом попытка разжалованного героя дать возможность Лермонтову отличиться осталась безуспешной.

После окончания экспедиции Лермонтов встречался с Дороховым в Ставрополе в избранном кругу кавказских офицеров, в том числе сосланных декабристов [54]. Затем оба друга встретились в 1841 г. в Пятигорске. К этому времени относится сближение их имен историком Нижегородского полка:

«В Черкеевской экспедиции нижегородцы рассчитывали видеться с двумя своими старыми однополчанами — с Руфином Дороховым и М. Ю. Лермонтовым, которых роковая судьба опять привела на Кавказ, помимо их воли. Оба они принадлежали к войскам чеченского отряда, и обоих не было в экспедиции. Дорохов лечился от ран, полученных в минувшем году, а Лермонтов, ездивший в отпуск, остался на возвратном пути в Пятигорске. Но хотя нижегородцам не пришлось их увидеть, они слышали о них рассказы и не могли не интересоваться судьбою их, как старых товарищей. Имя Лермонтова достигло тогда уже колоссальной славы, а о Дорохове говорил весь Кавказ, как о человеке исключительном и по своей фатальной судьбе и по тем подвигам, которые два раза высвобождали его из-под серой шинели» [55].

Но какие-то неясные слухи ходили об участии Дорохова в ссоре и дуэли Лермонтова с Мартыновым. В них-то и надо нам разобраться.

Н. П. Раевский, живший в 1841 г. вместе с Глебовым в доме Верзилиных, рассказывал: после вызова Мартынова к ним пришел «некий поручик Дорохов, знаменитый тем, что в четырнадцати дуэлях участие принимал, за что и назывался он у нас бретер. Как человек опытный, он нам и дал совет:

— В таких, говорит, случаях принято противников разлучать на некоторое время. Раздражение пройдет, а там, бог даст, и сами помирятся» [56].

По словам Раевского, друзья послушались Дорохова и отправили Лермонтова со Столыпиным в Железноводск. Когда выяснилось, что Мартынов мириться не хочет, «бретер Дорохов опять слово вставил:— Можно, господа, так устроить, чтобы секунданты поставили какие угодно условия». У Раевского осталось впечатление, что Дорохов давал секундантам разумные советы, как избежать дуэли.

Эмилия Александровна Шан-Гирей передавала за верное, что Дорохов сопровождал противников и секундантов до самого места поединка [57].

Другой очевидец в своем рассказе о вечере 15 июля упомянул: «Прискакивает Дорохов и с видом отчаяния объявляет: вы знаете, господа, Лермонтов убит!» [58]

В переговорах со священником, отказывавшимся хоронить Лермонтова, «Дорохов горячился больше всех»,— вспоминает А. С. Гангеблов. Дорохов «просил, грозил и, наконец, терпение его лопнуло: он как буря накинулся на бедного священника и непременно бы избил его, если бы не был насильно удержан князем Васильчиковым, Львом Пушкиным, князем Трубецким и другими» [59].

Казалось бы, все эти детали, запомнившиеся разным людям, свидетельствуют о дружеском участии Дорохова к Лермонтову. Но были люди, которые приписывали ему совсем другую роль и в их числе «г-жа А‹лександров›ская», жена протоиерея, на которого набросился Дорохов. Задетая какими-то замечаниями Раевского, она откликнулась на его рассказ в «Ниве».

«Вот как это было,— пишет Александровская в 1885 г.— Накануне памятной, несчастной дуэли, вечером пришел к мужу моему г. Дорохов, квартировавший у нас в доме на бульваре, и просил верховую лошадь ехать за город недалеко; мой муж отказывал ему, думая, не какое ли нибудь здесь неприятное дело, зная его как человека уже участвовавшего в дуэлях, и не соглашался, желая прежде знать, для чего нужна лошадь. Но тот убедительно просил, говоря, что лошадь не будет заморена и скоро ее доставят сохранно и неприятности никакой не будет; муж согласился и действительно лошадь привели вечером не заморенной».

Далее попадья рассказывает, как в шесть-семь часов утра следующего дня к священнику пришли друзья Лермонтова просить о церковном погребении убитого.

«Они ушли,— продолжает она,—а муж позвал меня к себе и сказал: „У меня было предчувствие, я долго не решался давать лошадь Дорохову. Вчера вечером у подошвы Машуки за кладбищем была дуэль; Лермонтова убил Мартынов, а Дорохов спешил за город именно поэтому".— И, опять задумавшись, сказал: „чувствую невольно себя виновным в этом случае, что дал лошадь. Без Дорохова это могло бы окончиться примирением, а он взялся за это дело и привел к такому окончанию, не склоняя противников на мир"» [60].

О поведении священника в этот день мы знаем из официальных документов, обнаруженных в девяностых годах. Александровский отказывался отпевать Лермонтова и только, когда Столыпин дал ему двести рублей, согласился проводить покойника. Естественно, что попадья отрицала этот факт, упомянутый и Раевским. О столкновении Дорохова со священником, описанном Гангебловым, она тоже умолчала.

Само собой разумеется, что никто из друзей Лермонтова не посвящал протоиерея в подробности ссоры поэта с Мартыновым. Александровский не мог знать, кто мирил, а кто ссорил противников. Разозленный Дороховым, он свалил на него всю вину, не имея к тому никаких реальных оснований. Против обвинений попадьи решительно протестовала Э. А. Шан-Гирей: «Несправедливо также предполагать Дорохова подстрекателем»,— заявляла она [61]. Но Висковатов твердо стоял на своей позиции, чрезвычайно субъективно толкуя все упоминания о Дорохове, которые он улавливал в своих разысканиях. В Пятигорске рассказывали, например, что задержка Лермонтова в колонии Каррас по дороге из Железноводска к месту дуэли произошла согласно заранее намеченному плану друзей поэта: они, мол, надеялись привезти туда Мартынова, чтобы попытаться в последний раз примирить противников. Говорили, что Мартынов, действительно, приехал в Каррас (это не подтверждается другими материалами), одни полагали, что его привез Васильчиков, другие — Дорохов. Последнее «сомнительно,— пишет Висковатов,— потому что в Пятигорске старожилы говорили, что Дорохов 15 июля под вечер много разъезжал верхом на коне» [62]. Казалось бы, этот факт свидетельствует только о каком-то беспокойстве Дорохова, но Висковатов всецело положился на подозрения неизвестных обывателей. «Знавших этого человека его суетня поразила: что-нибудь да замышляется недоброе, если Дорохов так суетится». При этом, передавая настроения жителей того времени, Висковатов отсылает читателя к приведенному нами рассказу Александровской. «Мне же она и в 1888 году говорила вышеозначенную фразу»,— признается он. Вот на чем строил исследователь свою версию: на пристрастных рассказах попадьи!

Теперь, когда мы узнали от Дружинина об исключительной привязанности Дорохова к Лермонтову, мы уже не сомневаемся в том, что «суетня» его была вызвана же-

ланием спасти друга. Но ошибочная версия Висковатова о роли Дорохова в дуэли Лермонтова до сих пор путает наше представление об обстановке поединка. Я имею в виду слух о посторонних свидетелях дуэли, упорно державшийся в Пятигорске.

«Есть *полное* вероятие,— пишет Висковатов,— что кроме четырех секундантов: кн. Васильчикова, Столыпина, Глебова и кн. Трубецкого, на месте поединка было еще несколько лиц в качестве зрителей, спрятавшихся за кустами — между ними и Дорохов». «Этот слух доходил и до Лонгинова...,— добавляет автор в примечании, называя еще Тимирязева, слышавшего в Пятигорске нечто подобное.—Кто были эти господа, конечно, останется недознанным. Не подлежит сомнению, что на месте поединка был Дорохов...»[63]. Когда в восьмидесятых годах Висковатов обратился к супругам Шан-Гиреям и А. И. Васильчикову,— он спрашивал их не столько о Дорохове, сколько о целой группе зрителей: Эмилия Александровна ответила, что «она того не знает:— мало ли какие ходили слухи!— сказала она.— А участвовал Дорохов,— но это было скрыто на следствии, как и участие Столыпина и Трубецкого». «Когда я указывал кн. Васильчикову на слух, сообщаемый и Лонгиновым,— повествует Висковатов,— он сказал, что этого не ведает, но когда утвердительно заговорил о присутствии Дорохова, князь, склонив голову и задумавшись, заметил: „может быть и были...“»,

Васильчиков всякий раз настораживался, когда речь заходила о Дорохове. В «Эпилоге» своей книги Висковатов повторяет: «Князь Васильчиков упорно молчал относительно *других лиц, свидетелей дуэли*. Он и о Дорохове почему-то говорить не хотел...»[64] Догадываясь, в каком резком освещении Дорохов нарисовал Дружинину картину гибели Лермонтова, мы начинаем понимать, почему Васильчиков избегал о нем говорить. Вероятно, Дорохов знал те подробности несчастья, которые противник поэта и секундант на дуэли хотели скрыть. Думается, что он был непрошенным свидетелем на самом месте поединка, и, может быть, его-то и имел в виду некий Н. Д. С-н, утверждавший, что «Лермонтов умер на руках офицера, выслужившегося из солдат»[65]. Но так как Висковатов упорно приписывал ему роль подстрекателя, то выплыла старая версия о группе посторонних зрителей, подстрекавших Мартынова[66]. Теперь ее можно подвергнуть сомнению.

Для нас важно другое: из всех приведенных материалов явствует, что в эти июльские дни в Пятигорске Дорохов был в самом центре событий. А следовательно его рассказ о гибели Лермонтова приобретает особенное значение.

Что же случилось на месте встречи противников? Дружинин, узнавший подробности катастрофы, не решился предать их гласности. Нам остается только гадать о том, о чем до сих пор мы не имели ни одного достоверного показания очевидцев. Описание Васильчикова, как известно, неточно; все сообщения о фразах, будто бы сказанных Столыпиным Мартынову до и после убийства, или о предсмертных словах самого Лермонтова, обращенных к Глебову, и проч. и проч.— апокрифичны. Непонятно также выражение «участвовал» в поединке, которое так упорно применяла Э. А. Шан-Гирей по отношению к Дорохову, так же впрочем, как и к Столыпину с Трубецким. Всего этого мы разгадать еще не можем. Но рассказ Дорохова, слышанный Дружининым,— первый сигнал, поступивший с самого места катастрофы. И сигнал этот был таков, что позволил «джентльмену» Дружинину, постоянно выступавшему в защиту дворянских традиций, называть Мартынова «презренным орудием» гибели Лермонтова. Все это указывает на то, что Дорохов — признанный знаток дуэльных правил, сам знаменитый бретер,— оценивал свершившийся поединок как преступление. К этому выводу уже давно приходят советские исследователи, но мы впервые слышим такое мнение от участника и свидетеля поединка. И в этом заключается первостепенное значение находки дружининской рукописи.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ЦГАЛИ, ф. 168, оп. 1, ед. хр. 93.

[2] «Библиотека для чтения», 1860, № 9, Литературная летопись, стр. 6.— Принадлежность этой неподписанной заметки А. В. Дружинину установлена Н. В. Гербелем (А. В. Дружинин. Собр. соч., т. II. СПб., 1865, стр. 596).

[3] Леонид Федорович де Роберти (1838—1867) напечатал в «Современнике» 1860 г. роман «Трое» под псевдонимом П. Волгонский. См. его письмо к Н. А. Некрасову от 29 декабря 1859 г./10 января 1860 г. («Лит. наследство», т. 51-52, 1949, стр. 478—479). Письмо написано еще из-за границы, но де Роберти, по-видимому, вернулся в Россию, на что указывает и надпись на обложке рукописи Дружинина.

[4] «Библиотека для воспитания», 1845, отд. I, ч. II, стр. I—II.

[5] «Русская лирическая поэзия для девиц». Ред. Вл. Стоюнина. СПб., 1859, стр. 190.

[6] «Русское слово», 1860, № 5, отд. II, стр. 56.

[7] «Кавказ», 1853, № 47; ср. «Русский архив», 1893, № 11, стр. 380.

[8] «Московские ведомости», 1853, № 71, от 13 июня.

[9] «Справочный энциклопедический словарь, издающийся под редакцией А. Старчевского», т. VII «Л — Мар». Прибавление. СПб., 1853.

[10] «Пантеон», 1853, № 9, «Петербургский вестник», стр. 37—38.

[11] «С.-Петербургские ведомости», 1856, № 133, от 16 июня.

[12] «Библиотека для чтения», 1852, № 1, стр. 119—120; ср. А. В. Дружинин. Собр. соч., т. VI, стр. 564 (в журнале это письмо значится XXV, но в собрании сочинений нумерация перепутана, и оно помечено XXVI). См. также Полн. собр. соч. М. Ю. Лермонтова. М., «Правда», 1953, т. I, стр. 34, где скрыто процитировано это письмо.

[13] «Москвитянин», 1852, № 3, отд. V, стр. 93.

[14] ЦГАЛИ, ф. 168, оп. 1, ед. хр. 108, л. 86 об. (Дневник А. В. Дружинина).

[15] Там же, ед. хр. 53, л. 2 (А. В. Дружинин. «Легенда о Кислых водах»).

[16] Там же, ед. хр. 108, л. 92.

[17] Там же, ед. хр. 53, л. 2.

[18] Е. Н. Ахматова. Знакомство с А. В. Дружининым.— «Русская мысль», 1891, № 12, стр. 135.

[19] А. В. Дружинин. Собр. соч., т. VI. СПб., 1865, стр. 762.

[20] ЦГАЛИ, ф. 168, оп. 1, ед. хр. 109, л. 2 (А. В. Дружинин. Выписки и заметки).

[21] «Библиотека для чтения», 1852, № 8, отд. VI, стр. 69. — Принадлежность этой неподписанной рецензии Дружинину устанавливается мною на основании материала настоящей статьи.

[22] А. В. Дружинин. Собр. соч., т. VI, стр. 431.

[23] П. К. Мартьянов. Дела и люди века, т. II. СПб., 1893, стр. 50.

[24] С. А. Андреев-Кривич. Кабардино-черкесский фольклор в творчестве М. Ю. Лермонтова.— «Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института», вып. 1. Нальчик, 1946, стр. 260; ср. И. Андроников. Лермонтов. М., 1951, стр. 286—287.

[25] См. нашу статью «Лермонтов и кружок шестнадцати».— В кн.: «Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова» (Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР). М., 1941, стр. 77—124.

[26] Аполлон Григорьев. Лермонтов и его направление. Крайние грани развития отрицательного взгляда. Статья третья.— «Время», 1862, № 12, стр. 34.

[27] И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., 1950, стр. 133; ср. «Современник», 1861, № 2, стр. 658.

[28] *Л.* Заметка о Лермонтове. По поводу нового издания его сочинений.— «Современник», 1861, № 2, «Современное обозрение», стр. 323.— Под псевдонимом Л. скрывался поэт М. И. Михайлов. В своей заметке он перевел «Послесловие» Фр. Боденштедта к его изданию сочинений М. Ю. Лермонтова на немецком языке (Берлин, 1852).

[29] Сочинения М. Ю. Лермонтова. Первое полное изд. В. Ф. Рихтера под ред. П. А. Висковатова, т. VI. М., 1891, стр. 418.

[30] «Тифлисский листок», 1902, № 90, от 17 апреля, стр. 2.— Е. Г. Вейденбаум, в распоряжении которого был формулярный список Дорохова, говорит, что он погиб в январе 1852 г. на 46-м году жизни. В формулярном списке Дорохова, составленном 17 февраля 1841 г., сказано, что ему 35 лет (ЦГВИАМ, ф. 395, оп. 147/455, д. 223, ч. IV, лл. 743—754).

[31] Н. Н. Овсянников. К биографии Жуковского. (Неизданные письма его к М. А. Дороховой).— «Исторический вестник», 1895, № 3, стр. 934.

[32] Письмо К. Я. Булгакова к А. Я. Булгакову от 15 сентября 1819 г.— «Русский архив», 1903, № 11, стр. 338. Дата этого письма вызывает сомнение, так как выходит, что Дорохов дрался на дуэли, когда ему было 13 лет.

[33] «Записки М. И. Пущина».— «Русский архив», 1908, № 3, стр. 424.

[34] «Тифлисский листок», 1902, № 90, от 17 апреля, стр. 2.

[35] «Русский архив», 1908, № 3, стр. 514.

[36] «Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова». М., 1888, стр. 180—181.

[37] М. И. Пущин. Встреча с Пушкиным за Кавказом.— В кн.: «И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма». М., 1956, стр. 366.

[38] «Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова», стр. 181.

[39] А. С. Пушкин. Сочинения. Ред. текста и комментарии М. А. Цявловского и С. М. Петрова. М., ГИХЛ, 1949, стр. 874.

[40] «Сын отечества», 1837, ч. 183, стр. 151 и ч. 185, стр. 272—273; ср. Л. П. Семенов. Встречи М. Ю. Лермонтова на Кавказе.— «Ученые записки Сев.-Осетинского гос. педагогического института им. Хетагурова», т. XVIII, вып. историко-филологический. Дзауджикау, 1949, стр. 112.

[41] А. С. Гангеблов считает, что столкновение Д. П. Панкова с Дороховым на улице произошло в Петербурге в 1849 г. Панков, действительно, приехал 22 января этого года в Петербург («С.-Петербургские ведомости», 1849, № 19, от 25 января, стр. 76). В таком случае остается неясным, за что судили Дорохова и Панкова в 1835 г. (см. прим. 42).

[42] «Архив Раевских», т. II. СПб., 1909, стр. 243.

[43] ЛБ. Шифр 120/14/8, письмо № 13, л. 5 об.— Подлинник по-французски.

[44] «Исторический вестник», 1895, № 3, стр. 934.

[45] «Архив Раевских», т. II, стр. 413.

[46] Письмо Р. И. Дорохова к И. П. Липранди от 10 августа 1849 г.— ЛБ. Шифр М.8553.70.

[47] Письмо М. А. Дороховой (урожд. Плещеевой) к В. А. Жуковскому от 12 июля ⟨1838 г.⟩.— ЛБ. Шифр Елаг. 4.35.— Подлинник по-французски.

[48] М. Ф. Федоров. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 г.— В кн.: «Кавказский сборник», III. Тифлис, 1879, стр. 194; ср. «Тифлисский листок», 1902, № 90, от 17 апреля.

[49] «Из дневника и записной книжки графа П. Х. Граббе».— «Русский архив», 38 , 10, стр. 394.

[50] Письмо Р. И. Дорохова к И. П. Липранди от 10 августа 1849 г.— ЛБ. Шифр М.8553.70.

[51] «Тифлисский листок», 1902, № 90, от 17 апреля.

[52] Находка дружининской рукописи вносит новые коррективы в вопрос о прототипе образа Долохова. В романе мы находим следы знакомства Толстого с впечатлениями Дружинина о Дорохове (дружеская близость Толстого и Дружинина в 1850-х годах общеизвестна): неожиданные слезы и восторженное отношение Долохова к матери, его нежность к горбатой сестре — как мне кажется — напоминают Дорохова, буяна, бретера и героя, который плакал, когда говорил с Дружининым о Лермонтове. В диалоге Долохова с Николаем Ростовым, в котором раскрывается самое существо образа Долохова, тоже можно узнать черты Руфина Дорохова, «из каприза преследовавшего тех, кто ему не нравился», и саркастического Лермонтова, относившегося к немногим близким ему людям «с женской деликатностью и юношеской горячностью». Имею в виду слова Долохова: «Я никого знать не хочу, кроме тех, кого люблю, но кого люблю, того люблю так, что жизнь отдам; а остальных передавлю всех, коли станут на дороге».

[53] ЦГВИАМ, ф. 395, оп. 147/455, д. 223, ч. I, л. 74. Ср. С. А. Андреев-Кривич. Два распоряжения Николая I.— «Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 411—430 и в книге того же автора «Лермонтов». М.— Л., 1955, стр. 126—150.— Действия «дороховского» отряда и участие в нем Лермонтова неоднократно рассматривались в специальных исследованиях. Главнейшую литературу см. в «Летописи жизни и творчества М. Ю. Лермонтова», составленной В. А. Мануйловым.— М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. VI. М.— Л., АН СССР, 1957, стр. 854.

[54] См. А. Есаков. Лермонтов в 1840 г.— «Русская старина», 1885, № 2, стр. 474—475.

[55] В. Потто. История 44 драгунского нижегородского полка, ч. IV. СПб., 1894, стр. 125.

[56] «Нива», 1885, № 8, стр. 186.

[57] «Север», 1891, № 12, стр. 747.

[58] «Записки Екатерины Александровны Хвостовой, рожденной Сушковой. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова». СПб., 1870, стр. 250.

[59] «Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова», стр. 182.

[60] «Нива», 1885, № 20, стр. 475.

[61] «Север», 1891, № 12, стр. 748.

[62] Сочинения М. Ю. Лермонтова. Под ред. П. А. Висковатова, т. VI. СПб., 1891, стр. 421.

[63] Там же, стр. 420.

[64] Там же, стр. 426.

[65] «Сборник литературных статей, посвященных русскими писателями памяти покойного книгопродавца-издателя А. Ф. Смирдина», т. III. СПб., 1858, стр. 356. Ср. М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. II. М.—Л., АН СССР, 1954, стр. 378.

[66] См., например, «Лермонтов в записках А. И. Арнольди». Публикация Ю. Г. Оксмана («Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 470 и 476).

СОЧИНЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА.

Издание С. С. Дудышкина. СПб., 1860 года

Во всей истории русской литературы, за исключением личности Пушкина, с каждым годом и с каждым новейшим исследованием становящейся ближе и ближе к сердцу нашему, мы не находим фигуры более симпатичной, чем фигура поэта Лермонтова. Загадочность, ее облекающая, еще сильнее приковывает к Лермонтову помыслы наши, уже подготовленные к любви и юностью великого писателя, и его безвременною кончиною, и страдальческими тонами многих его мелодий, и необыкновенными чертами всей его жизни. Большая часть из современников Лермонтова, даже многие из лиц, связанных с ним родством и приязнью,— говорят о поэте, как о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам,— но рядом с близорукими взглядами этих очевидцев идут отзывы другого рода, отзывы людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других связей ценивших эту дружбу. По словам их, стоило только раз пробить ледяную оболочку, только раз проникнуть под личину суровости, родившейся в Лермонтове отчасти вследствие огорчений, отчасти просто через прихоть молодости,— для того, чтоб разгадать сокровища любви, таившиеся в этой богатой натуре. Жизнь Лермонтова, до сей поры еще никем не рассказанная, известна нам лишь весьма поверхностно, а между тем она изобилует фактами, говорящими в пользу поэта красноречивее всех дружеских панегириков. Лермонтов умел быть смелым в то время, когда прямая и смелая речь вела к великим бедам,— он заявил свою преданность русской музе в ту пору, когда эта муза могла лишь подвергать своих поклонников гонению и осуждению света. Когда погиб Пушкин, перенесший столько неотразимых обид от общества, еще не дозревшего до его понимания,— мальчик-Лермонтов в жгучем, поэтическом ямбе первый оплакал поэта, первый кинул железный стих в лицо тем, которые ругались над памятью великого человека. Немилость и изгнание, последовавшие за первым подвигом поэта, Лермонтов, едва вышедший из детства, вынес так, как переносятся житейские невзгоды людьми железного характера, предназначенными на борьбу и владычество. Вместо того, чтоб тосковать в чужом крае и тосковать о столичной жизни, так привлекательной в его лета,— он привязался к Кавказу, сердцем отдаваясь практической жизни, и мало того, что приготовил себя самого к разумной военной деятельности,— но с помощью своего великого дарования сделал для Кавказа то, что для России было сделано Пушкиным. Когда быстрая и ранняя литературная слава озарила голову кавказского изгнанника, наш поэт принял ее так, как принимают славу писатели, завоевавшие ее десятками трудовых годов и подготовленные к знаменитости. Вспомним, что Байрон, идол юноши Лермонтова, [в детстве*] возился со своей известностью как мальчик, обходился со своими сверстниками как турецкий паша, имел сотни литературных ссор и вдобавок еще почти стыдился звания литератора. Ничего подобного не позволил себе Лермонтов, даже в ту пору когда вся грамотная Россия повторяла его имя. Для этого насмешливого и капризного офицера, еще так недавно отличавшегося на юнкерских попойках или кавалерийских маневрах под Красным Селом, мир искусства был святыней и цитаделью, куда не давалось доступа ничему недостойному. Гордо, стыдливо и благородно совершил он свой краткий путь среди деятелей русской литературы, которая, нечего скрывать, в то время представляла много искушений и много путей к дурному. События последнего, самого великого, самого плодовитого года в жизни знаменитого юноши почти

* В прямые скобки заключены слова, зачеркнутые Дружининым. — *Ред.*

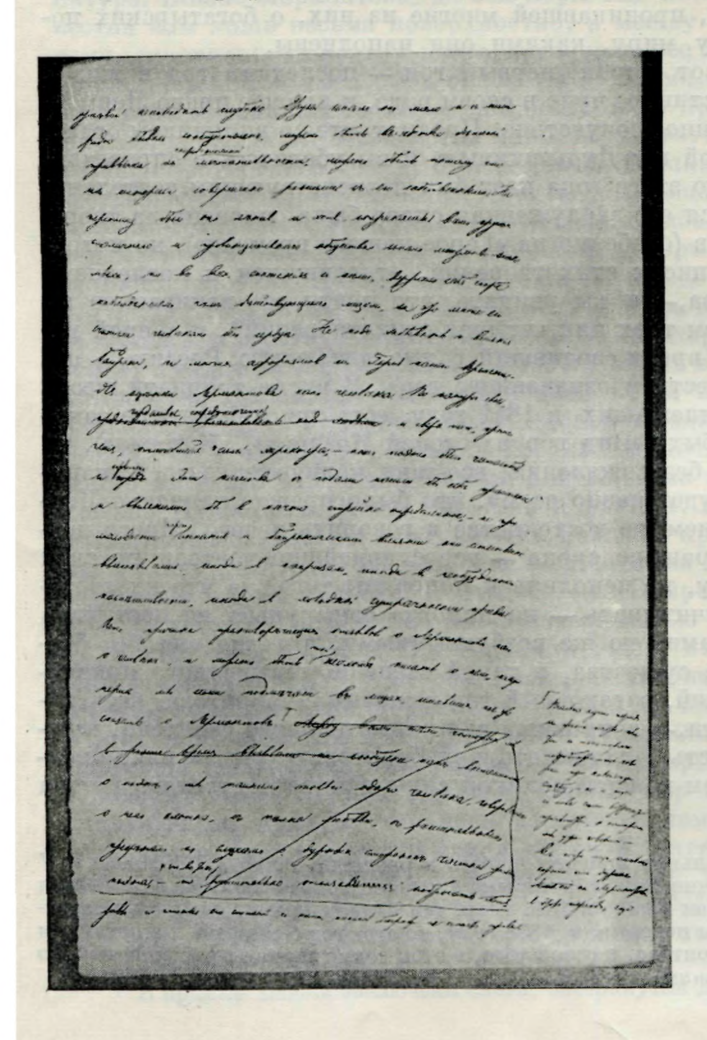
неизвестны. Как человек, Лермонтов, может быть, в эту пору был незамечателен, а временами и грешен,— но как поэт, он, видимо, переживал эпоху необыкновенную (и, по всей вероятности, имевшую влияние на его характер). Он зрел с каждым новым произведением, он что-то чудное носил под своим сердцем, как мать носит ребенка, мотивы невыразимой, подавляющей скорби вырывались у его Музы и смешивались с другими восторженно-сладкими звуками. Опыт веков, история литературы всех народов показывают с ясностью, что природа никогда не тратит сил своих по-пустому, не дает писателю, предназначенному на скромную деятельность,— языка и замашек поэта великого. А в 1841 году, за самое короткое время от преждевременной смерти, Лермонтов показал нам все частные особенности поэта истинно великого. Лорд Байрон с гордостью подписал бы свое имя под иными строфами «Сказки для детей», самые возвышенные из песен Гейне не имели в себе столько силы и грусти, как многие из предсмертных песен русского двадцатишестилетнего писателя. Общеевропейская, общечеловеческая физиономия поэта Лермонтова еще не успела высказаться, определиться с ясностью, но все признаки и задатки мирового поэта тут были — начиная с формы стиха, до сих пор недосягаемой по совершенству, до удивительного проникновения в жизнь природы, выразившегося множеством картин, мастерства первоклассного. Не говорим уже о разнообразии и всесторонности последних пьес Лермонтова, о глубине мысли, проникавшей многие из них, о богатырских порывах к недосягаемому миру, какими они наполнены.

Да, тысяча восемьсот сорок первый год — последний год в жизни поэта нашего — есть истинное чудо в своем роде, и лучшее право Лермонтова на наше восторженное сочувствие. Просмотрите со вниманием оглавление книжки, изданной г-м Дудышкиным, и вы убедитесь в справедливости слов наших. И до этого года поэт был первенствующим деятелем в нашей литературе,— вся его заслуженная слава была основана на творениях предыдущих годов (особенно на «Герое нашего времени»), но потрудитесь взглянуть на список стихотворений, относящихся к последнему году жизни Лермонтова,— и вы увидите, что почти всё написанное им прежде, за исключением трех или четырех стихотворений*, и «Герой нашего времени», в свое время сводивший с ума читающую Россию,— всё померкнет перед творчеством означенного года. В числе тридцати шести стихотворений, принадлежащих к 1841 году, есть три или четыре заимствованных, даже слабых («Вид гор из степей Козлова», «Кинжал»), но если мы исключим их без сожаления, все-таки количество вещей, написанных в 1841 году, будет равно всему, что было прежде написано Лермонтовым[1]. О внутреннем же достоинстве и говорить нечего. Много поэтов в мире погибало раньше срока — все славнейшие деятели русской поэзии сошли в могилу, не исполнив и половины того, на что их соотечественники могли рассчитывать — но никогда еще судьба не поступала так жестоко с надеждами, ею же возбужденными, никогда она так безвременно не похищала существа, в такой степени украшенного присутствием гения. Последний, загадочный год в жизни Лермонтова, весь исполненный деятельности,— сокровище для внимательного ценителя, всегда имеющего наклонность заглядывать в «лабораторию гения», напряженно следить за развитием каждой великой силы в мире искусства. Тут на

* Замечательна правильная прогрессивность в развитии таланта Лермонтова. У него нет блистательных начинаний, за которыми следуют периоды вялости, бездействия или слабого творчества. Чем ближе к 1841 году, тем более силы и гениальных задатков. Мы видим только один перерыв, в 1838 году, но этот год был очень хлопотливым по служебным делам Лермонтова, и сверх того, в этом году задуман им «Герой нашего времени».—*Прим. Дружинина.*

всяком шагу виден новый порыв в сокровеннейшие тайники творчества,— новый шаг к той неразгаданной грани, которая отделяет деятелей гениальных от деятелей высокоталантливых. И вот, кажется, грань перейдена, вот будто послышались небывалые звуки, от которых забьются сердца миллионов людей... всё пророчит победу, кажется одна только минута отделяет нас от новой силы и нового слова,— и вдруг всё становится мрачно, все ожидания падают, как здание, выстроенное на песке. Безвременная насильственная смерть заканчивает всю эту великолепную картину, невольная злоба наполняет душу нашу,— злоба на общество, не сумевшее оградить своего певца, злоба на презренные орудия его гибели, злоба на мерзавцев, осмеливавшихся ей радоваться или холодно встречать весть, скорбную для отечества. И только после долгого озлобления, после долгих уверений самого себя в невозвратимости утраты дух наш успокаивается. Мы принимаем то, что дано нам, снова дивимся песням безвременно погибшего юноши и, проклиная лиц, допустивших его погибель,— все-таки с гордостью убеждаемся, что «не бездарна та природа, не погиб еще тот край», где при стечении самых неблагоприятных случайностей, при полной неспособности общества ценить людей, его возвеличивающих — всё еще появляются личности, подобные поэту Лермонтову.

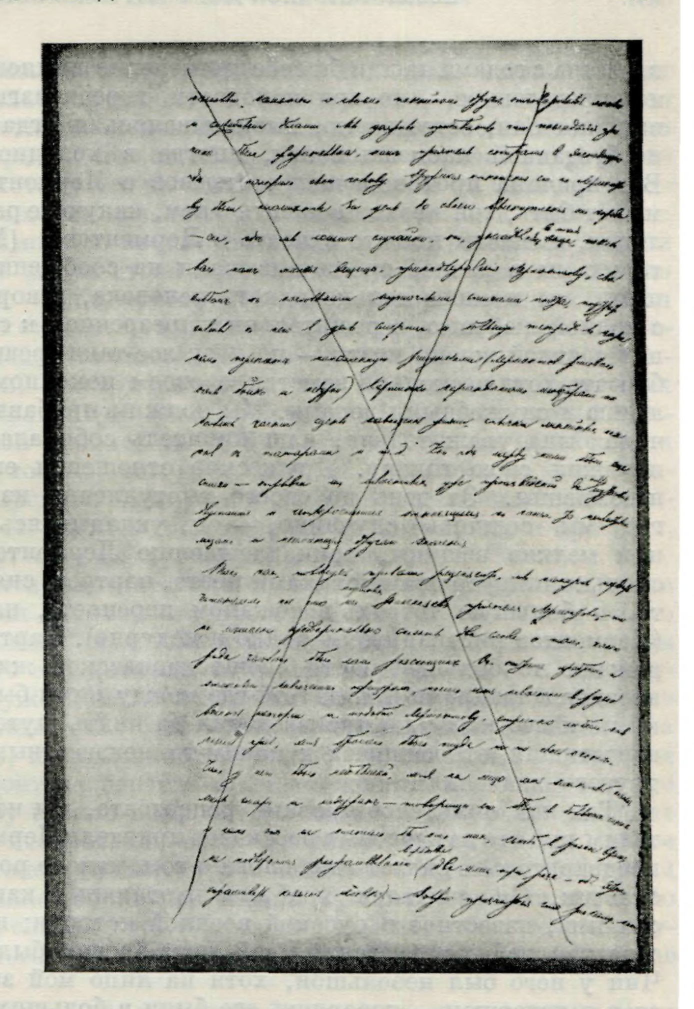
В издании, принадлежащем С. С. Дудышкину и теперь нами разбираемом, нет биографии Лермонтова, нет даже материалов для его биографии.



РУКОПИСЬ СТАТЬИ ДРУЖИНИНА О ЛЕРМОНТОВЕ. 1860 г.

Черновой автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва



РУКОПИСЬ СТАТЬИ ДРУЖИНИНА О ЛЕРМОНТОВЕ
1860 г.
Черновой автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

В этом отношении винить издателя невозможно, для полного жизнеописания еще не пришло время, материалов же готовых слишком мало, неизданных же, может быть, и довольно, но все они раскиданы по рукам людей, весьма мало заботящихся о литературе. Жизнь Лермонтова не была скупа событиями, но многие слишком интимные ее подробности, касаясь людей живых или еще недавно умерших,— не могут принадлежать печати. Поэт имел, как говорят люди его знававшие, небольшое число страстных привязанностей, имевших решительное влияние на его жизнь, касаться их невозможно, когда еще живы женщины, ценимые им выше всего на свете. Умея любить, Лермонтов был и тем, что Байрон называет a good hater, то есть человек, умевший ненавидеть глубоко. Друзей имел он мало и с ними редко бывал сообщителен, может быть вследствие детской привычки к сосредоточенной мечтательности, может быть потому, что их интересы совершенно рознились с его собственными. На переписку был он ленив, и хотя, соприкасаясь ⟨со⟩ всем кругом столичного и провинциального общества, имел множество знакомых, но во всех сношениях с ними держал себя скорее наблюдателем, чем действующим лицом, за что многие его считали человеком без сердца. Не надо забывать и влияния Байрона, и многих афоризмов из «Героя нашего времени» — для оценки Лермонтова как человека. По натуре своей [предназначенный властвовать над людьми] горделивый, сосредоточенный, и сверх того, кроме гения, отличавшийся силой характера,— наш поэт был честолюбив и [горд] скрытен. Эти

качества с годами нашли бы себе применение и выяснились бы в нечто стройно-определенное,— но при молодости, горечи изгнания и байроническом влиянии они, естественно, высказывались иногда в капризах, иногда в необузданной насмешливости, иногда в холодной сумрачности нрава. Вот причина противоречащих отзывов о Лермонтове как о человеке и, может быть, той неохоты писать о нем, какую не раз мы сами подмечали в лицах, имевших кое-что сказать о Лермонтове. [Между всеми теми, которых мы в разное время вызывали на сообщение нам воспоминаний о поэте, мы помним только одного человека, говорившего о нем охотно, с полной любовью, с решительным презрением к слухам о дурных сторонах частной жизни поэта,— но и он все-таки решительно отказался набросать хотя несколько заметок о своем покойном друге, отговариваясь ленью и служебными делами. Мы должны прибавить, что последняя причина была уважительна, наш приятель собирался в экспедицию, где и положил свою голову. Дружеские отношения его к Лермонтову были несомненны. За день до своего выступления из города ⟨Пятигор⟩ска, где мы сошлись случайно, — он, укладываясь в поход, показывал нам мелкие вещицы, принадлежавшие Лермонтову, свой альбом с несколькими шуточными стихами поэта, портрет, снятый с него в день смерти, и большую тетрадь в кожаном переплете, наполненную рисунками (Лермонтов рисовал очень бойко и недурно). Картинки карандашом изображали по большей части сцены кавказской жизни, стычки линейных казаков с татарами и т. д. Кой-где между ними были еще стихи — отрывки из известных уже произведений да опять шуточные двустишия и четверостишия, относящиеся к каким-то неизвестным лицам и не имеющие другого значения[2].

Так как, пользуясь правами рецензента, мы намерены передать читателям кое-что из изустных рассказов приятеля Лермонтова,— то не мешает предварительно сказать два слова о том, какого рода человек был сам рассказчик. Он считался храбрым и отличным кавказским офицером, носил имя, известное в русской военной истории; и, подобно Лермонтову, страстно любил кавказский край, хотя брошен был туда не по своей охоте. Чин у него был небольшой, хотя на лицо мой знакомый казался очень стар и издержан,— товарищи его были в больших чинах, и сам он не отстал бы от них, если б в разное время не подвергался разжалованию в рядовые (два или три раза,— об этом спрашивать казалось неловко).— Должно признаться, что знакомец наш, обладая множеством достоинств, храбрый как лев, умный и приятный в сношениях,— был все-таки человеком из породы, которая странна и даже невозможна в наше время, из породы удальцов, воспетых Денисом Давыдовым и памятных, по преданию, во многих полках легкой кавалерии. Живи он в двенадцатом году, при широкой дороге для военного разгула и дисциплине, ослабленной необходимостью, его прославляли бы как рубаку и, может быть, за самые шалости его не взыскивалось бы со строгостью, но при мире и тишине дела шли иначе. Молодость его прошла в постоянных бурях, шалостях и невзгодах, с годами все это стало реже, но иногда возобновлялось с великой необузданностью. Но, помимо этих периодических отклонений от общепринятой стези, Д—в был человеком умным, занимательным и вполне достойным заслужить привязанность такого лица, как Лермонтов. Во все время пребывания поэта на Кавказе, приятели видались очень часто, делали вместе экспедиции и вместе веселились на водах. С годами,— когда подробные рассказы о последних годах поэта будут возможны в печати,— мы передадим на память несколько особенных приключений, а также подробности о последних днях Лермонтова, в настоящее же время, по весьма понятной причине, мы можем лишь держаться общих отзывов и общих рассуждений о его характере.

Лермонтов,— рассказывал нам его покойный приятель,— принадлежал к людям, которые не только не нравятся с первого раза, но даже на первое свидание поселяют против себя довольно сильное предубеждение. Было много причин, по которым и мне он не полюбился с первого разу. Сочинений его я не читал, потому что до стихов, да и вообще до книг, не охотник, его холодное обращение казалось мне надменностью, а связи его с начальствующими лицами и со всеми, что терлось около штабов, чуть не заставили меня считать его за столичную выскочку. Да и физиономия его мне не была по вкусу,— впоследствии сам Лермонтов иногда смеялся над нею и говорил, что судьба, будто на смех, послала ему *общую армейскую наружность*. На каком-то увеселительном вечере мы чуть с ним не посчитались очень крупно,— мне показалось, что Лермонтов трезвее всех нас, ничего не пьет и смотрит на меня насмешливо[3]. То, что он был трезвее меня,— совершенная правда, но он вовсе не глядел на меня косо и пил, сколько следует, только, как впоследствии оказалось,— на его натуру, совсем не богатырскую, вино почти не производило никакого действия. Этим качеством Лермонтов много гордился, потому что и по годам, и по многому другому, он был порядочным ребенком.

Мало-помалу неприятное впечатление, им на меня произведенное, стало изглаживаться. Я узнал события его прежней жизни, узнал, что он по старым связям имеет много знакомых и даже родных на Кавказе, а так как эти люди знали его еще дитятей, то и естественно, что они оказывались старше его по служебному положению. Вообще говоря, начальство нашего края хорошо ведет себя с молодежью, попадающей на Кавказ за какую-нибудь историю, и даже снисходительно обращается с виновными более важными. Лермонтова берегли по возможности и давали ему все случаи отличиться, ему стоило попроситься куда угодно, и его желание исполнялось,— но ни несправедливости, ни обиды другим через это не делалось. В одной из экспедиций, куда пошли мы с ним вместе, случай сблизил нас окончательно: обоих нас татары чуть не изрубили, и только неожиданная выручка спасла нас. В походе Лермонтов был совсем другим человеком против того, чем казался в крепости или на водах, при скуке и бездельи]*.

Итак, по необходимости — все, что могут биографы сказать о жизни поэта Лермонтова, и все, что можем сказать мы сами, имевшие случай сходиться с небольшим числом лиц, его хорошо знавших, до сих пор ограничивается одними общими соображениями. Как ни хотелось бы и нам поделиться с публикою запасом [подробностей] сведений о службе Лермонтова на Кавказе,— историею его кончины, рассказанной нам на самом ее театре с большими подробностями,— мы хорошо знаем, что для таких подробностей и сведений не пришло время. Примиримся же с необходимостью и расскажем, по крайней мере, тот бедный запас фактов, который теперь может быть рассказан.

Изо всей жизни Лермонтова, взятой с внешней точки зрения, только начало и конец заключают в себе нечто благоприятное поэтическому развитию его таланта. Дитятей он живал в деревне с старым домом и запущенным садом, смерть нашла его между величавых гор Кавказа, посреди обильной, уму и сердцу говорящей деятельности. Лучше всех анекдотов о детстве Лермонтова, живее всех рассказов о его ученических годах

---

* *Здесь в рукописи оставлены почти две страницы чистыми.*

Ниже приводим строки, вставленные позднее и заменяющие вычеркнутый эпизод:
Только один период из жизни поэта известен с некоторою подробностью — мы говорим про кавказскую службу,— но и тут с новой силой встречается препятствие, о котором мы уже говорили,— все почти лица, имевшие хорошее или дурное влияние на Лермонтова в этот период, еще живы, и касаться его сношений с ними никакой биограф не имеет права.

является его бессмертная элегия, задуманная на бале, дописанная в невольном уединении и подписанная тысяча восемьсот сороковым годом. Элегия эта, «Первое января», по справедливости считающаяся жемчужиной в поэтическом венце Лермонтова. Тут история его детских дум и радостей, тут сведены в одном фокусе все лучи, кидавшие свет ранней поэзии на целое детство истинного поэта.

...памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней*, я плачу и люблю,
Люблю мечты* моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.

Так царства дивного всесильный господин*—
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.

Мы не можем не заметить от себя при этом случае, что все рассказы о детстве Лермонтова, в разное время слышанные нами и иногда от людей вовсе не поэтических по натуре,— словно почерпнуты из этого стихотворения. Во всех ребенок-Лермонтов изображается нам сосредоточенным и мечтательным (мы видим, что у него даже была воображаемая подруга с голубыми глазами и розовой улыбкой!), умеющим находить наслаждение в одиночестве и недовольным, когда что-нибудь отрывало его от уединенных прогулок. Как все дети с подобным развитием, Лермонтов долго был нескладным мальчиком и даже в молодости, выезжая в свет, имея на всем Кавказе славу льва-писателя, не мог отделаться от застенчивости, которую только прикрывал то холодностью, то насмешливой сумрачностью приемов. К наукам, особенно к наукам точным, мальчик Лермонтов расположения не имел, да и вообще не подавал блестящих надежд в будущем, отчасти потому, что учился понемногу, как все русские мальчики, отчасти и по развитию поэтического элемента в ущерб прочим. Читал он, конечно, много, хотя, по большей части, лишь произведения изящной литературы,— поэзия Пушкина и знакомство с иностранными языками ограждали его от слишком неразборчивого чтения. О том, когда и как начал писать Лермонтов, многого говорить не сможем, потому что в произведениях его детства нет особенных залогов будущего совершенства и в этом роде они далеко ниже лицейских стихотворений Пушкина[4].

* *Вместо* я *в рукописи* — и; *вместо* мечты — души; *вместо* господин — властелин.

С поступлением мальчика или, скорее, молодого человека в учебное заведение (в старую школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров принимались воспитанники не моложе 16 лет), внешняя обстановка жизни Лермонтова становится не только не поэтическою, но даже антипоэтическою. Дошедшие до нас школьные произведения поэта, острые и легко написанные, хотя по содержанию своему неудобные к печати, оставляют в нас чувство весьма грустное. Всякая молодость имеет свой разгул, и от семнадцатилетних гусаров никто не может требовать катоновских доблестей, но самый [холодный] снисходительный наблюдатель сознается, что разгул молодежи лермонтовского времени был разгулом нехорошим. Даже старый Бурцов, забияка и ёра, не одобрил бы своих мальчиков-потомков, не одобрил бы и среды, в которую они были поставлены. Гусар Бурцов никак не понял бы этих полузатворнических, полуудалых нравов, этих ребяческих кутежей, основанных не столько на потребности веселья, сколько на моде и подражании взрослым. Нам кажется, что если бы семнадцатилетнего Бурцева посадили в закрытое заведение, он или удрал бы из него для того, чтоб пойти солдатом в настоящие гусары, или выдержал бы искус, скрепя сердце, не роняя достоинства молодости, не увлекаясь полупроказами и полуудальством воспитанника. В юношеских стихах, относящихся ко времени затворничества Лермонтова, мы не встречаем и тени протеста в бурцовском отношении[5]. Он доволен своим «пестрым эскадроном»*, восхищается своими удалыми сверстниками, а в товарищах, едва вышедших из ребяческого возраста, выхваляет то, что едва спускалось герою Денису, прославившему себя в бою и честно послужившему родине. Понятно, что, при таком направлении жизни, речи не могло быть о науке, о дельном чтении, даже об основательном изучении военного ремесла, к которому Лермонтов готовился. К счастию, срок юнкерского воспитания был не долог, и Лермонтов не замедлил проститься с бытом не то офицерским, не то кадетским, и, во всяком случае,— для него ничего не давшим.

Жизнь молодого поэта в столице как военного и светского человека тоже не во многом была радостна. Лермонтов принадлежал к тому кругу петербургского общества, который составляет какой-то промежуточный слой между кругом высшим и кругом средним, и потому и не имеет прочных корней в обоих. По роду службы и родству он имел доступ всюду, но ни состояние, ни привычки детских лет не позволяли ему вполне стать человеком большого света. В тридцатых годах, когда разделение петербургских кругов было несравненно резче, чем теперь, или когда, по крайней мере, нетерпимость между ними проявлялась сильнее, такое положение имело свои большие невыгоды. Но в [замен] смягчение им, оно давало поэту, по крайней мере, досуг, мешало ему слишком часто вращаться в толпе и тем поперечить своим врожденным наклонностям. Сверх того, служба часто требовала присутствия Лермонтова в окрестностях Петербурга, где поневоле все располагало его к трудам, чтению, пересмотру его заброшенных было тетрадок. Нужно ли говорить о том, что скоро к другим побуждениям высказаться — присовокупилась страсть, самая горячая и самая способная возвысить душу славолюбивого юноши? Как бы то ни было, но период первой службы Лермонтова, довольно бесцветный по событиям, принес ему с собою охоту к труду. Уже силы были испробованы в печати [довольно удачно, замыслы новых произведений уже роились в душе, а душа была наполнена песнями Пушкина, грандиозной фигурой Байрона, которого основательное изучение относится именно к этой поре в жизни Лермонтова] наступал довольно заметный перелом

* В старой школе юнкера носили мундир своих полков, а не один общий, как в настоящее время.—*Прим. Дружинина.*

в направлении новых стихотворений, влияние Пушкина как образца сменило собою рабское увлечение Байроном,— не повредив, однако же, страсти Лермонтова к байроновской поэзии, захватившей собой всю душу талантливого юноши почти что с детского возраста.

Здесь мы считаем нужным приостановиться и сказать несколько слов о предмете, которого нельзя не коснуться, изучая Лермонтова, о предмете до такой степени сросшемся с его твореньями, что о нем счел нужным поговорить сам г. Дудышкин, не сообщивший нам даже малейших подробностей, относящихся до биографии Лермонтова. Читатель догадывается, что предмет, упомянутый нами,— есть поэзия лорда Байрона и ее влияние на Лермонтова.

О Байроне было писано чрезвычайно много и еще много будет писаться. Бури, окружавшие собой жизнь этого необыкновенного человека, кажется снова поднимаются над его могилою. Реакция поклонения влечет за собой реакцию сурового суда и отдаляет последнее слово о поэте, даже на его родине, где общественное мнение так снисходительно к деятелям предшествовавших поколений. Над нами, может быть, посмеются, если мы скажем, что десятки самых развитых ценителей искусства в Англии отрицают в Байроне поэтическое дарование и что сотня тысяч соотечественников поэта, создавшего Манфреда, предпочитают этому поэту или Теннисона или Вордсворта. А между тем мы нисколько не преувеличиваем и можем, даже не ссылаясь на новые критические журналы, отослать читателя за справками к Теккерею, не раз говорившему в своих романах, что лорд Байрон был не поэтом, а очень умным человеком, умевшим пускать пыль в глаза своей публике. По нашему мнению, причина такого колебания известности, таких разноречивых отзывов о писателе, бывшем почти четверть века властителем дум образованного света, заключается в двусторонности значения лорда Байрона как поэта, в двойственности байроновской поэзии, соединяющей в себе элементы вечного гения с частностями иногда фальшивыми, иногда возмутительными, иногда совершенно несовместными с гением.

Г-н Дудышкин в коротенькой статье своей перед первым томом сочинений Лермонтова хорошо охватил слабые стороны частной жизни лорда Байрона, стороны, отразившиеся во многих его трудах и в свое время увлекавшие читателей гораздо более, нежели другие существенно прекрасные стороны Байрона как человека. Совершенная правда, что поэт «Чайльд-Гарольда» был великосветским денди, стыдился своего расстроенного состояния, мстил английской аристократии за то, что она его не заметила в Палате лордов, тщеславился своей разгульной жизнью в Италии, проповедывал сильные страсти и был капризен как избалованная кокетка. К обвинениям этим можно прибавить еще многое, еще не высказанное г. Дудышкиным. Байрон сделал несчастными нескольких женщин, его любивших. Презирая литературные занятия, он был болезненно самолюбив на всякое справедливое замечание. Смеясь над мнением света, он тосковал, чуть свет переставал им заниматься, радовался, когда нелепая молва выставляла его героем небывалых преступлений, и считал своей обязанностью, посредством угрюмого вида и таинственных полупризнаний, поддерживать свою злодейскую репутацию. В письмах своих и заметках, исполненных остроумия и огня, он часто являлся лгуном безо всякой надобности. «Я распустил мой гарем»,— пишет он почти мальчиком, покидая свой замок. «Я не способен любить порядочных женщин»,— говорит он Муру в период самой сильной из своих привязанностей. Все это очень нехорошо, и нехорошо тем более, что было воплощено в летучие строфы, в страницы блестящей прозы, обходило весь мир, благоговевший перед Байроном, и кружило головы, самые неподатливые.

Но за этими, в наше время смешными или нечистыми частностями, жила другая сторона, признаваемая даже и злейшими хулителями Байрона. От полоумного отца и до бешенства вспыльчивой матери поэт наследовал их пороки,— но провидение, никогда не дающее высоких талантов недостойным представителям человечества,— наделило его возвышенным умом и страстно-любящим сердцем. Г. Дудышкин жестоко ошибся и, вероятно, не просмотрел всех отзывов о жизни Байрона, сказавши, что этот человек «по идее вступался за угнетенные народы, а всегда при встрече с народом не хотел ему протянуть своей руки, одетой в лайковую перчатку». Очень может быть, что в смысле буквальном Байрон не жал своей рукою руки простолюдина, но в переносном смысле он протягивал свою щеголеватую руку всякому, кому была нужна помощь. Беспредельная благотворительность лорда Байрона была одною из причин его *относительной* бедности; она засвидетельствована тысячами рассказов, всеми фактами, разъяснившимися после его смерти, и, наконец, помимо неопровержимых доказательств, живет в народной памяти. В Венеции, невзирая на расспросы туристов, давно забыли английского поэта как знаменитость, забыли и его причудливую жизнь и его прогулки верхом в Лидо, но нет в ней простолюдина, который на вопрос о Байроне не скажет вам: «Сколько делал добра, сколько денег раздавал этот signor Byron!» То же скажут простые люди в Равенне, и даже в Генуе, где пребывание Байрона было кратковременно*. Вступаться за угнетенных, нести всю свою душу на защиту слабого Байрон умел не хуже Гарибальди, и если бо́льшая часть его усилий прошла без следа, в том надо винить не его, а время, в которое он действовал. Никакие человеческие усилия не в силах заставить созреть недозревшего плода, а Байрон жил именно в то время, когда дело всей его жизни было еще незрело. Европа только что начала отдыхать после изнурительных переворотов,— [невыразимая] неодолимая потребность спокойствия отстранила на время все вопросы о национальностях, все стремления к улучшению быта меньшей братии. Вся политическая жизнь лорда Байрона была попыткою расшевелить эту апатию, попыткою, часто несвоевременною и потому бесплодною,— но всегда искреннею. Вспомним предмет, по поводу которого говорил он свою лучшую речь в Палате лордов: дело шло о бедственном положении ткачей и других работников, о *фрембрикерах* и о мерах к успокоению народа, почти доведенного до отчаяния колебаниями цен, нищетою, застоем торговли. Байрон говорил против мер жестокости в этом деле, напоминал о необходимости принять к сердцу вопрос, грозивший несчастиями,— и если лорды без внимания выслушали молодого оратора, то меры последующих годов и теперешняя заботливость передовых людей Англии оправдали Байрона, а не лордов. То же самое видим мы через несколько лет, в Италии, когда поэт всем сердцем отдался незрелому делу ее освобождения. Десятки великолепных страниц свидетельствуют о том, как любил он Италию, ее небо, ее искусство, ее будущность, ее жителей, но мог ли уважать всех своих сверстников в деле освобождения, сверстников, зараженных мюратизмом, мистицизмом, допускавших тайное убийство как средство противодействия и перемешанных с доносчиками, с авантюрьерами, жаждущими своеволия, а не свободы? Так,— скажут нам,— «но массы итальянского народа были же чисты от грехов карбонаризма?» Да, Байрон и не был неправ перед итальянским народом, он делился с ним чем мог, тосковал о его страданиях, но все-таки и видел, и говорил, что опираться на этот народ — дело ненадежное. Много лет

* Надо к этому прибавить, что в Италии, где благотворительность крайне развита и часто переходит в ребяческое разбрасывание денег,— трудно удивить кого-нибудь добрыми делами.—*Прим. Дружинина.*

после смерти Байрона, в 1848 году,— разве этот народ, в Милане, не оказался истинно ненадежным,— не оскорбил сардинские войска, клавшие за него головы, и не отравил последних [военных] часов политической жизни короля Карла-Альберта, своего первого заступника? Байрон не мог сжиться с мыслию о том, что освобождать Италию было еще несвоевременно. С отчаянием держась за лучшую мечту молодости, он даже был готов на отчаянную попытку,— от которой, к счастию, отвлекли его несогласия его товарищей-патриотов. И теперь, когда, кажется,— лучшая пора настала для страны, обожаемой поэтом,— может быть, Италия, ставящая памятники Кавуру и Гарибальди, не позабудет почтить память чужестранца, трудившегося для нее в те года, когда целый свет вместе с князем Меттернихом считал слово «Италия» простым географическим выражением.

Поездка лорда Байрона в Грецию одна может служить памятником его беспредельной любви к угнетенным. Г. Дудышкин говорит нам, что поэт, сражаясь за народ, описанный Фукидидом, ненавидел настоящих греков за то, что в них живут низкие страсти. Это обвинение нас удивляет. Если б Байрон ненавидел *всех* настоящих греков,— он не поцеремонился бы уехать от них или выразил бы свою ненависть чем-нибудь положительным, то есть показал бы свою вражду на деле, и греки не оплакивали бы его кончины так, как они ее оплакивали. А в том, что Байрон возмущался жадностью, жестокостью и даже трусостью многих из греков, имевших с ним сношения по его приезде, сомневаться нельзя. Нам скажут, что он должен был любить народ греческий со всеми его недостатками. Да Байрон и любил его, и умер за него, а недостатки его ненавидел, клеймил, наказывал по мере сил и возможности. Почитайте-ка записки Трелавиня о Греческой войне, недавно вышедшие, да возьмите еще кого-нибудь из филэллинов,— и тогда мы вас спросим, какое звероподобное существо могло мириться с недостатками вождей и воинов новой Греции[6]? Легко примириться с человеком, который вследствие долгого угнетения заражен грубостью, грязен, порочен,— но если он с наслаждением режет пленного и крадет деньги, назначенные на прокормление его умирающих с голода товарищей, о нем можно говорить, как о подлеце, и даже наказать его можно, как подлеца, не греша перед народом. Необразованный вождь из клефтов может ругаться и нести вздор на военном совете и при этом оставаться все-таки хорошим воином, но если при споре он берет пистолет и сажает пулю в лоб своему соседу,— никакая любовь к народу не помешает нам назвать его диким извергом. Байрон, отправляясь в возмущенную Грецию, вовсе не ожидал найти там аркадских пастушков или воинов Плутарха. Он даже предвидел худое, и оттого так сильно боролся с ним, что желал его уничтожить. Да, наконец, что и за любовь к народу без ненависти к его порокам? Извинением пороков этих или нежными иеремиадами не много сделаешь добра и пользы. Скажем более: греки оттого так и оплакивали Байрона, что видели в нем вражду к злу, между ними распространенному, и надеялись, что около него, как около нового знамени, соберется все честное и способное в их родине. Сам Байрон знал, что на него смотрят не только как на бойца против врага внешнего, но как и на гонителя врагов внутренних. Его властолюбивая натура радовалась приобретенному влиянию и готовилась в первый раз испробовать себя в роли настоящего вождя людей, роли смутно сознаваемой и до страсти всегда увлекавшей Байрона.

Оканчивая с обозрением байроновой жизни (а она вся отразилась в плодах его вдохновений), мы прямо подошли к сущности и духу трудов поэта. Двойственность человека, усиленно выискивающего себе поприще для сильной политической деятельности и только перед смертью отыскавшего себе в Греции это поприще, вполне высказывается в байроновой

поэзии. Поэт «Корсара» был прежде всего человеком властолюбивым, и мы видели, что властолюбие его не принадлежало к числу праздных бесцельных властолюбий, властолюбий для потехи собственного сердца. Байрон всю жизнь свою, может быть, начиная с детства (когда он воображал себя полководцем и командиром *байроновой черной дружины*) видел в себе вождя людей, существо передовое и отмеченное перстом божьим на нечто великое. Италия, а еще более Греция доказали, что мечта эта не была напрасной мечтою,— они же достаточно выяснили ту деятельность, на которую он был призван. Но до Италии и до Греции было еще далеко. Неуживчивый по натуре, гордый вследствие смутной веры в свои силы, без большого значения в свете, неприготовленный практикой жизни к политическим делам в Палате,—молодой лорд был вдобавок еще несчастен и в семействе своем. За исключением страстно любившей его сестры Августы, он был несчастен в самых близких людях. О матери его уже мы говорили, жена его, может быть, им самим поставленная в недобрые отношения,—повела разрыв так жестоко и оскорбительно, что [как бы] оправдала Байрона от всякого нарекания. Вся эта мрачная обстановка жизни — в соединении с поэтической зоркостью на общественные страданья своего времени — и породила тот безотрадный горделиво-страдальческий оттенок таланта, который, по мнению многих, составляет всю сущность байроновой музы. «Прошедшее,— говорит нам муза эта,— бесконечная арена преступлений, настоящее — отвратительно, будущее — темно; мир — игрушка случая; народ — подл; правители — безжалостны; философия открывает бездну, у которой нет границ; любовь — роковая мечта»*. Характеристика эта, скажем мимоходом, далеко не полна, но дополнять ее нет надобности: отличительные черты байронизма хорошо известны всякому.

Как ни подходили вышеозначенные идеи к положению изнуренного, изверившегося и разочарованного общества в начале нынешнего столетия,— как ни соответствовали они воплю отчаянного отрицания, раздававшемуся отовсюду, но не на них одних основывалась громадная популярность Байрона как поэта. Одни отголоски горького разочарования не могли привлечь к поэту всей мыслящей, особенно молодой части его современников. Лорд Байрон был певцом не одной безнадежности. Пушкин понял его превосходно, назвавши его *поэтом гордости* **, может быть еще вернее будет, ежели мы слово гордость заменим словом *властолюбие*. Корень этого основного и постоянного элемента байронических песен заключался в энергичной натуре певца, предназначенной властвовать над людьми и только в последние годы его жизни отыскавшей свое прямое предназначение.

До сближения Байрона с итальянскими патриотами [властолюбие] жажда власти [над] жила в нем как сила без применения, кидавшаяся во все стороны, по временам попадавшая на прямую дорогу (речь о страданиях работников в Палате лордов), но сбиваемая с нее неудачами, несвоевременностью попыток и событиями бурной жизни. С первого замечательного произведения Байрона («Englishbards»***) мы уже видим в поэте человека, не удовлетворенного передовыми людьми и передовыми идеями своей родины, враждебного рутине, как литературной, так и политической. В первых песнях «Чайльд-Гарольда» это мизантропическое настроение, украшенное всеми перлами поэзии, проявилось снова, дало Байрону великую славу и вместе с тем одностороннюю известность, как певца *разочарования*. Но рядом с сейчас названными произведениями,

* Предисловие г. Дудышкина к I тому Соч. Лермонтова.— *Прим. Дружинина.*
** И Байрон, гордости поэт. («Евг. Онегин»). — *Прим. Дружинина.*
*** «Английские барды 〈и шотландские обозреватели〉» (англ.).

исполненными горького и пассивного недовольства,— шли другие, в которых Байрон уже являлся иной стороной своего призвания. В «Гяуре», «Корсаре», «Осаде Коринфа» слышится не один плач по поводу увядшего жизни цвета, не одно презрительно враждебное отношение поэта к людям. В поэмах, нами названных, и во многих мелких стихотворениях той поры сказывается поэзия борьбы с враждебной судьбою, сладость власти над людьми, гордое величие духа, в себе самом нашедшем опору и силу. В поэмах, про которые говорим мы, является один и тот же человек (как во всех поэмах Байрона) в виде любовника-мстителя, начальника пиратов, ренегата-полководца. В «Гяуре» мы его видим сперва в полном бессилии, одного во враждебном крае, навсегда лишившегося женщины, ценимой им выше всего мира. И этот слабый, едва очерченный поэтом незнакомец, гяур между правоверными, наконец, совершает мщение, нападает на человека, погубившего его подругу, в бешеном бою повергает его наземь, склонившись над ним, называет себя, и, кончив дело всей своей жизни,— умирает гордо и бестрепетно. Конрад в «Корсаре» уже не один посреди пустыни,— около него целый народ флибустьеров, преданных ему беспредельно, он идет на мусульман, как шиллеров Карл Мор на злых филистеров, он любит, и его любят, он вовсе не разочарован, а только горд и сумрачен,— ему дороги и его власть, и красота немолчно шумящего моря, и те минуты, когда он «прогуливается, как монарх, по покрытой народом палубе» своего корабля. Ренегат Алп, в «Осаде Коринфа», равным образом не подходит к идеалу псевдобайронических поэтов, и он полон энергии, и он упивается властью, сильный в зле и первенствующий между первыми. Для людей, которые, может быть, спросят, почему у Байрона все *люди власти* оказываются или пиратами, или убийцами, или ренегатами, как будто бы власть могла сказываться лишь обилием преступлений, мы можем указать на «Разбойников» Шиллера, еще более причудливых по частностям, потому что и в прошлом столетии нельзя было вообразить себе без смеха войско его великодушных разбойников между двумя немецкими городами, в дремучем лесу, каких не водится в Германии со времен Арминия. Разбирая юношеские творения великих поэтов, всегда почти наткнешься на какую-нибудь несообразность подробностей, только надо стараться, чтоб, заглядевшись на несообразность эту, не проглядеть духа под ней скрытого. Соображение это мы еще припомним в скором времени, по поводу лермонтовского «Героя нашего времени».

Долго было бы перебирать все творения Байрона в доказательство того, что не поэзия разочарования,— а *поэзия власти* высказывается нам в большей части его зрелых творений. Эту поэзию видим мы в «Манфреде», бесстрашно вызывающем духов и падающем только перед тенью обожаемой женщины, в «Каине», где падший дух вступает в борьбу с самим божеством, в «Паризине», где юноша перед позорной плахой гордо высказывает правду в глаза отцу и тирану. В «Дон Жуане», где красота и молодость героя приковывают к нему женщин, отдающихся ему во власть и безропотно принимающих гибель за часы страсти, в «Сарданапале», где молодой властитель, герой в душе, не хочет вести своих народов на бесплодные войны и считает презренной резней то, что отцы его звали военной славою. Если в остроумно созданном характере Сарданапала слышится поэтичный протест против воинственных предрассудков,— то все-таки надо прибавить, что сам Байрон не был чужд этим предрассудкам, так дорогим для всякого властолюбивого духа. В «Сарданапале» поэту улыбалась идея власти кроткой, так сказать, эпикурейской, но во всем, что писал тот же Байрон о Наполеоне и по поводу Наполеона, сказывается сочувствие к власти грозной, карающей, к кровожадной власти льва, которая все-таки лучше, чем «прихоть нескольких волков, пред которыми

склоняется Европа». Даже обыкновенная строевая и чуть-чуть не фронтовая сторона военной власти улыбается Байрону: тоскующий и разочарованный Чайльд-Гарольд, остающийся на ватерлооском поле, в восхитительных строфах описывает ночное выступление из Брюсселя, шотландские батальоны, бегущие на тревогу «*под резко и дико раздающиеся в ночном воздухе возбуждающие душу звуки камеронова сбора*», артиллерию, со стуком скачущую по дороге, и мрачную фигуру герцога Брауншвейгского, первым услышавшего сигнальный выстрел и ставшего одною из первых жертв кровавого боя... Таких картин найдете вы у Байрона довольно,— и всякая из них покажет с достаточной ясностью, куда и в какую сторону клонились симпатии той музы, которую нам так часто представляли бесстрастною, презрительною ко всему свету, чуждою интересам обыкновенной жизни.

Властолюбие, страсть к первенству между людьми и жажда энергической деятельности часто вовлекали лорда Байрона в странные причуды, которые (естественное дело) именно и приходились по плечу его обожателям и подражателям. Немногие из жрецов байронизма дивились в своем идоле тому суровому духу политического властолюбия, который послал его на защиту угнетенной Греции. Немногие видели в нем человека, каждый день готового умереть за освобождение Италии. Но человеку счастливому на женщин, отличному стрелку, до ребячества хвастливому наезднику и чудаку, переплывшему морской пролив для того, чтоб получить лихорадку, Европа дивилась и рукоплескала. Байрон это хорошо видел и, правду сказать, вел себя совершенно, как мальчик, не из пренебрежения к публике, не из желания смеяться над нею, а с полным чистосердечием обыкновенного льва гостиных. Еще в превосходстве его как стрелка, ездока и пловца было что-нибудь разумное,— но решительно ничего разумного не видим мы в необыкновенного вида галстухах, в сумрачных взглядах, в кокетливо-дерзком обращении с гостьми, в насмешливых разговорах про то, что для влюбчивого и нежного сердцем Байрона было дороже самой жизни. И сам поэт, и все направление, которым поэзия была ему обязана, чрезвычайно много пострадали от всей этой изнанки, которая, как уже было сказано, людям дюжинным показалась именно лицевою стороною. Мало того, что карикатурные частности байронизма предубедили против него большую массу положительной публики, но с наступлением реакции и милованием моды эти частности стали между ценителем и Байроном, обезобразив поэта так, как какой-нибудь причудливо-старомодный костюм безобразит собой фамильные портреты наших прабабушек.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Анализ Дружининым творческой эволюции Лермонтова устарел,так как построен на неверных датировках, принятых в издании Дудышкина. В частности, «Кинжал» был написан не в 1841 г., а в 1838 г.

[2] Судьба «дороховского» альбома Лермонтова, так же как и альбома самого Дорохова с рисунками и шуточными стихами поэта, неизвестна.

[3] Не известный до сих пор факт из биографии Лермонтова о предполагавшейся его дуэли с Дороховым проливает свет на одно из французских писем, приписываемых поэту (см. В. Мануйлов. Утраченные письма Лермонтова.— «Лит. наследство», т. 45-46, 1948, стр. 51—52).

В этом письме корреспондент рассказывает о своем вызове на дуэль офицера, который был старше его на десять лет, составил себе репутацию участием в двадцати поединках и битвах и отличался горячностью. Можно думать, что отрывок, скопированный неизвестной рукой и вклеенный вместе с несколькими другими подобными приписываемыми поэту отрывками в тетрадь с ранними стихотворениями Лермонтова, представляет собой выписку из письма Лермонтова к неизвестному лицу, в котором описывается ссора его с Дороховым. На обороте листка, где записан этот отрывок, переписано французское четверостишие, рисующее образ рыцаря-воина, соответствующий романтическому облику Дорохова:

La guerre est ma patrie,
Mon harnais — ma maison.
Et en toute saison
Combattre c'est ma vie.

<Перевод:

Моя родина — война,
И латы — вот мой дом,
И всюду и всегда
Сражаться — жизнь моя>.

[4] В 1860 г. ранние произведения Лермонтова были опубликованы только в небольшой своей части. Поэтому суждение Дружинина об его юношеских стихотворениях устарело.

[5] Также неверно понят Дружининым период пребывания Лермонтова в юнкерском училище. Надо иметь в виду, что в 1860 г. не была еще обнаружена рукопись «Вадима», над которой Лермонтов работал в 1832—1834 гг.

[6] Имеется в виду книга: Trellawney. Recolections of the last days of Lord Byron. London, 1858.

А. П. ЩАПОВ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ

ПИСЬМО к П. П. ВЯЗЕМСКОМУ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 1861 г.

Статья М. В. Нечкиной

Афанасий Прокофьевич *Щапов* (1830—1876)— один из крупнейших деятелей революционно-демократического движения шестидесятых годов — изучен далеко не достаточно. Оценка его политического мировоззрения до сих пор является предметом спора историков. Каких только решений тут ни предлагалось: одни определяли Щапова как славянофила, другие как буржуазного либерала; его относили то к родоначальникам народничества, то к «просветителям», то к революционным, то к не революционным демократам [1]. Как всегда, недостаточная выявленность первоисточников, на основе которых выносилось суждение, содействовала противоречивости толкований. Нередко упускалась из виду и бурная эволюция его мировоззрения,— оно определялось не в развитии на основе совокупности обнаруженных источников, а на базе отдельных работ, выхваченных из связанного друг с другом ряда, при этом оно трактовалось как рано сложившееся, стоячее, застывшее на исходных позициях. Быстрое развитие мировоззрения Щапова в пору стремительно развивавшихся событий шестидесятых годов, — событий, в поток которых с головою ушел живой и активный деятель своего времени, страстно, всю жизнь искавший правды, — несомненный факт, который требует внимательного изучения.

Особо интересным этапом этого развития являются годы революционной ситуации. К ним и относится вновь найденный документ: письмо Щапова к попечителю Казанского учебного округа кн. П. П. Вяземскому (1820—1888), сыну известного поэта П. А. Вяземского. Оно не носит характера частного письма, в нем — горячее изложение взглядов автора на современную жизнь, на историю угнетенного крестьянства, протест против угнетающего народ дворянства и против сословности вообще, убежденное, радищевски-страстное разоблачение дворян как крестьянских кровопийц и вместе с тем продуманная историческая концепция автора. Это письмо — один из важнейших источников для изучения мировоззрения Щапова—теперь должно прочно войти в сложный документальный комплекс, на основе которого мы исследуем мировоззрение историка-демократа в годы революционной ситуации. Главными составными частями этого комплекса являются, кроме легально изданных в свое время работ Щапова,— его полулегальная лекция «О конституции», прочитанная в 1860 г. казанскому студенчеству [2], нелегальная речь на Куртинской панихиде (апрель 1861) в память крестьян, расстрелянных во время Безднинского восстания, написанное под арестом письмо Александру II в мае 1861 г. и, наконец, публикуемое письмо к П. П. Вяземскому от октября 1861 г. В этом комплексе документов, относящихся к короткому периоду 1860—1861 гг., ясно видна эволюция Щапова, созревание его мировоззрения.

Подобно Герцену, Щапов испытывал либеральные колебания, но и у него при всех колебаниях — демократ «брал верх». Разница лишь в более последовательном демократизме и в происхождении колебаний: они порождены, на мой взгляд, «наивным монархизмом» крестьянина, а не герценовской связью с дворянской революционностью.

Элементов классовой дворянской ограниченности в мировоззрении Щапова, разумеется, нет,— но в нем налицо немало элементов крестьянской ограниченности. Публикуемый документ как раз свидетельствует о том, что у Щапова революционно-демократические взгляды взяли верх над наивно-монархическими колебаниями крестьянства. Тюремное заключение оказалось школой для Щапова, убедившегося на практике в том, что расчеты крестьянского наивного монархизма на социальные преобразования «доброго царя» — пустой звук.

Письмо Щапова к Александру II, написанное под арестом, позже других документов стало достоянием историков: опубликованное только в 1926 г., оно явилось основным аргументом в пользу ограничительной трактовки политических позиций А. П. Щапова: вера в царя и в идущие сверху реформы, несмотря на широкий размах предлагаемых преобразований, как бы исчерпала его политическую характеристику. Обосновывать «либеральный» характер воззрений Щапова оказалось весьма простым делом: видите — вот письмо к царю, в нем наличествует вера в самодержавие. Следовательно, Щапов — либерал. Столь же простой метод когда-то, в годы господства школы Покровского, безошибочно действовал и для определения позиций Герцена: пишет письма к царю,— какой же он революционер? И доселе историки, стремящиеся втянуть Щапова в состав либерального лагеря, опираются на это тюремное письмо как на основной аргумент. Правда, первый публикатор письма А. Л. Сидоров приходил к правильному выводу, что «Щапов был демократом и принадлежал к левому течению общественной мысли 60-х годов», однако сейчас же вносил тяжелое ограничение, основанное на письме к императору: «Но он не был революционером». В 1920-е годы самый факт обращения к царю в глазах историка начисто снимал вопрос о революционности деятеля: ленинский анализ Герцена еще не был глубоко воспринят, сам редактор «Колокола» относился М. Н. Покровским и его школой к «либерально-монархическому течению», и вопрос о либеральных колебаниях деятеля, в процессе которых демократ может *брать верх* над либералом, еще не был продуман историками русского революционного движения.

Щапова, в отличие от Герцена, никак нельзя отнести к дворянским революционерам — он с головы до ног представитель многострадальной *крестьянской* России. Его тюремное письмо к императору глубоко противоречиво. Он просит царя создать Российскую федерацию самоуправляющихся областей с «народным контролем над провинциальным губернским управлением», с «восстановлением» всесословных «земских советов» и центрального Земского собора, ограничивающего царскую власть, просит уничтожить «непомерную экономическую централизацию», господствующую в России, и осуществить «всенародное просвещение», на которое народ может претендовать в силу «естественного права». Демократическое по объективному существу политических предложений, письмо все же окутано иллюзиями наивного крестьянина. Какую-то долю этой веры можно отнести за счет, так сказать, тюремной мимикрии, но все же значительная ее часть присуща политическому мировоззрению автора. Письмо к царю является замечательным свидетельством как демократизма его автора,так и наличия в нем крестьянского «наивного монархизма»: веры в фантастического крестьянского царя, который вдруг возьмет да по доброй царской воле и возглавит упраздняющую царизм народную демократию, похерит кровопийц-чиновников и устроит справедливую жизнь. Письмо к Александру II не оставляет сомнений в том, что, по представлению Щапова, царь — глава будущего земского конституционного строя: депутатские собрания созываются «по призыву государя», земские советы «давали бы отчет государю об областных сборах, бюджетах...», будущий строй представляется Щапову «областным народосоветием перед царем» и т. д. Реального царя, конечно, не обманули эти иллюзии,— в резолюции Александра II на письме Щапова значилось: «Все это доказывает, какие в нем преобладают мысли и что за ним придется зорко следить, когда сочтем возможным выпустить его на свободу» [3].

Тюремное письмо к Александру II было подано царю в мае 1861 г.: Щапов был арестован 30 апреля, а царская резолюция датирована 21 мая. Письмо к царю является, таким образом, одним из ранних документов в истории ареста его автора и последующих на него гонений.

ПОРТРЕТЫ РУССКИХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ — Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, П. Г. ЗАЙЧНЕВСКОГО и А. П. ЩАПОВА, ИЗОБРАЖЕННЫХ НА КАРТИНЕ «ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ» ПОЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА А. СОХАЧЕВСКОГО

Зарисовки к картине, 1863—1882 гг.

Портрет Чернышевского под № 10, Зайчневского — № 15, Щапова — № 12

Исторический музей, Варшава

Только четыре с половиною месяца отделяют тюремное письмо от замечательного письма к П. П. Вяземскому. Но в этот срок уместился целый этап созревания политического мировоззрения Щапова. Его письмо к Вяземскому много последовательнее письма к царю,— Щапов немало продумал за прошедшие месяцы, пересмотрел многие вопросы.

Письмо к Вяземскому входит в состав «софийской коллекции» герценовских документов. Оно представляет собою снятую для Герцена копию; дата самого письма, которой помечен подлинник, дана под подписью «А. Щапов» — 8 октября 1861 г. Дата снятия копии помещена под заголовком «Письмо Щапова к кн. Вяземскому», — под нею значится «переписано 7-го янв⟨аря⟩ ⟨18⟩62 ⟨г.⟩». Как увидим позже, к снятию копии и отсылке письма Герцену причастны члены первой «Земли и воли».

Обстоятельства возникновения этого документа таковы.

16 апреля Щапов произнес известную речь на панихиде по крестьянам, убитым при усмирении Безднинского восстания. 30 апреля он был арестован в Нижнем-Новгороде по пути в Петербург и доставлен в столицу в III Отделение. За выступление на панихиде Щапова лишили университетской кафедры и права преподавания в духовной академии, продержали в виде наказания под арестом еще две недели; первоначальный приговор о ссылке в Соловецкий монастырь, правда, заменили пребыванием под строгим секретным надзором, что облегчалось назначением Щапова чиновником по раскольничьим делам в Министерство внутренних дел, но должность эта была для него чрезвычайно тяжела. Этим назначением III Отделение обеспечивало строгий секретный надзор за крамольным профессором, все связи которого с волновавшимся казанским студенчеством, да и вообще с какой бы то ни было студенческой средой, этим самым искусственно прерывались. В августе 1861 г. Щапов был освобожден из-под ареста и оказался в принудительном и унизительном для него положении лишенного кафедры бывшего профессора, петербургского чиновника.

В это же время — в августовской книжке «Русского вестника» появилось стихотворение П. А. Вяземского под заглавием «Заметка», в котором, по общему мнению, сложившемуся среди петербургских литераторов, был высмеян лично Щапов и в уничижительном тоне сатирически характеризовались его политические убеждения как противника и разоблачителя дворянства. Старый поэт, некогда друг декабристов и Пушкина, «декабрист без декабря», П. А. Вяземский давно растерял к этому времени былой либерализм. Уже не первый раз открыто выступал он против передовых представителей разночинского лагеря: его стихотворение против Белинского выявляло резкую классовую неприязнь дворянина к революционному разночинству. «Заметка» была развитием тех же идей. Крайне слабое с точки зрения художественных достоинств, свидетельствовавшее об упадке творчества, это стихотворение ничем не напоминало лучших произведений молодого Вяземского, принесших ему заслуженную славу. Указание в подзаголовке на стихотворный цикл, к которому относится «Заметка» («На дороге и дома»), не вносит пояснений или ограничений в замысел. Основной темой довольно длинного (15 строф) стихотворения является противопоставление некоей истинной «свободы», которой обладает и дорожит Вяземский,— другой, всячески унижаемой и осмеиваемой им свободе в понимании воображаемого полемиста, в котором нетрудно угадать разночинца-демократа. «Благородная» и «возвышенная» (его термины) свобода Вяземского — «возвышенной души сокровище и страсть» — является его личным достоянием, ее почему-то не может попрать ни «невзгода судьбы», ни даже «вражда людей». Князь обладает ею во всей полноте, свобода эта сторожит его «домашний порог». Лишь высокие личные достоинства человека дают ему возможность обладать свободой такого рода,— ибо «кто рабствует страстям», останется рабом, и получив свободу. Политический смысл противопоставления двух свобод окончательно уясняется строчками:

Душой свободен был Шенье, всходя на плаху,
А Робеспьер был раб в кровавом торжестве.

Князь, забыв традиции юности, высказывается против равенства сословий и считает, что злоба «к отличиям и к роду» является лишь «хворой завистью» к этим отличиям:

Есть древняя вражда: к каретам — пешехода,
Ленивой нищеты к богатому труду,
К барону Штиглицу — того, кто без дохода,
И обвиненного — к законному суду.

Оказывается, «новый Гракх республики журнальной» косит либеральной косою заслуги, род, честь и чины по той простой причине, что он сам-то не прочь от чинов, только они прочь от него. Заодно высмеивается и внешний вид новоявленных Гракхов:

На всех сверкает он молниеносным взглядом.
И чтоб верней любовь к свободе доказать,
Он силится смотреть свирепым дикобразом
И с пеной на губах зубами скрежетать.

Эти защитники свободы лишь, пугая, смешат людей. Далее Вяземский дополняет свои аргументы ссылкой на истинно свободного правдивого Карамзина: «Мудрец и гражданин», он был «тверд и свободен» при дворе, «под царскосельской сенью», а Жуковский сохранил и во дворце детскую душу. Далее следует бессодержательная формула о том, что истинно свободным является лишь тот, кто «умирил желанья» (какие?), кто «светел» душою и «чист» помышлением, кто не обольщается рукоплесканиями толпы и не уязвляется «нахальным» свистом черни. Обозвав далее лозунг равенства «нелепым» и унижающим каких-то «высших», князь концовку утомительно затянувшегося стихотворения заключает либеральным призывом сближать «бойцов» «любовным словом» и говорить старшим: «и младший — брат тебе».

Вот и все содержание «Заметки» [4]. Как видим, в ней нет каких-либо конкретных элементов «щаповской истории» или реальных примет его личности. Дело идет о принципиальном вопросе — о понимании «свободы». Раздраженно-язвительная попытка защитить сословные привилегии обладателей карет и свести борьбу против сословности к зависти пешехода к карете — не могла не взорвать демократа Щапова и не вызвать его на идейный бой. Узнать себя в стихотворении Вяземского Щапов не мог. И если традиция прочно свидетельствует о каком-то моменте личного столкновения в идейном споре Щапова со старым Вяземским,— остается предположить лишь их личную встречу и спор на эти темы или передачу Щапову мнения отца сыном Вяземского, Павлом Петровичем, попечителем Казанского учебного округа. Но вероятно нет сомнений в том, что с самим молодым Вяземским споры на эту тему были: для Щапова появление «Заметки» старого Вяземского было лишь сравнительно мелким поводом к написанию письма.

Описав многовековую борьбу народа за свои права, Щапов лишь во второй половине обширного письма попутно замечает: «После этого что значит, князь, новая ничтожная выходка вашего отца, князя Вяземского...», «... в насмешку стихам вашего отца отвечу вам стихотворением, сочиненным заранее, и не в княжеских палатах, а в каменных палатах III Отделения». Таким образом, стихи Щапова, включенные в его письмо, написаны не специально в ответ на «Заметку» П. А. Вяземского, появившуюся в августовском номере «Русского вестника» и прочтенную Щаповым, как свидетельствует Н. Я. Аристов, лишь в конце сентября [5]. Они написаны ранее, в III Отделении между маем и августом 1861 г. Из письма Щапова видно, что он хорошо знает и другие произведения старого Вяземского, в том числе и стихотворение против Белинского, более полный разбор он отлагает до другого раза («Князь! я хотел бы разобрать все стихотворение вашего отца, но отлагаю до другого письма. Теперь замечу только: ваш отец, между прочим, укоряет молодое поколение Белинского и его братию в пьянстве, в зависти каретам...»).

Таким образом, письмо Щапова к Вяземскому использовало стихотворную «Заметку» его отца лишь как частный предлог и не содержит в себе прямого свидетельства ни о *личных выпадах* старого Вяземского против Щапова, ни вообще личного характера столкновения, на что указывала прежняя литература [6]. Письмо Щапова к Вяземскому (а судя по обещанию разобрать стихи его отца в «другом письме», была задумана целая серия таких писем) — серьезный идейный документ принципиального

спора о социальной несправедливости и исторической необоснованности дворянских привилегий, о паразитическом характере дворянского сословия, о необходимости покончить с несправедливым и прогнившим политическим строем старой сословной России и заменить его общинным «народосоветием».

Сопоставляя письмо к Вяземскому с написанным за четыре месяца до этого письмом к Александру II, мы видим, в основном, тот же позитивный план серьезнейших социальных преобразований, который отстаивает Щапов в противовес старому строю и робким царским реформам, но план, углубленный и обогащенный четырьмя месяцами тюремных размышлений. Самое главное — отсутствие в нем того крестьянского «наивного монархизма», который был характерен для предшествовавшего документа. «Предоставив областным советам и союзному федеративному земскому собору создать русское земское общинно-демократическое народосоветие,— царь, естественно, должен отречься от самодержавия»,— этот новый вывод Щапова формулирован с предельной ясностью. Щапов солидарен с лозунгом бегунов-раскольников: «Отрицаюсь от великороссийской церкви, от царя и всех его установлений. А когда придет время, бороться буду с ним, с антихристом-императором, и теперь борюсь с ним противлением и неповиновеньем его законам».

Но, может быть, Щапов по-прежнему, отрицая самодержавие как неограниченное единовластие царя, все же считает, что предлагаемый им строй земского «народосоветия» может возглавляться земским царем? Нет, все содержание и весь тон письма к Вяземскому не оставляют сомнений в том, что Щапов изменил тут свою позицию. Во-первых, нигде на всем протяжении письма он не оговаривает этой старой особенности предлагаемого им «земского строя»: в отличие от тюремного письма к Александру II, царь не фигурирует теперь ни как инициатор созыва областных советов, ни как лицо, принимающее отчет по областным сборам и бюджетам, ни в какой другой позитивной функции. Ни этих, ни иных функций у царя нет,— структура будущего политического строя теперь не содержит «царского» элемента. Во-вторых, Щапов прямо утверждает в письме к Вяземскому, что земство «*отрицает* царя со всеми его централизационно-бюрократическими учреждениями», одобряет намерение бегущего от царя народа бороться «с антихристом-императором». В свете этих утверждений требование к царю самому создать (отрекаясь от самодержавия!) в сельских местах сельские волостные, а в городах — городовые сходы для обсуждения и устройства сельского и городского общинного самоуправления и нового суда — звучит как ультиматум, ничего не меняющий в радикальной сути делаемых предложений: это — лишь *частная возможность* в осуществлении непререкаемо-справедливого плана,— он реализуется, если царь «страшится, не хочет страшного суда народного,— ужаснейшей в свете предстоящей русской революции...». А если не страшится? Ответ ясен. Уступок в этом случае не предполагается, принципиальных изменений не вносится: подлинным властителем является не царь, а народ. Исторические сопоставления призываются теперь для доказательства именно этого положения: в XVII в. «областные общины» сначала «избрали царя», а потом «выразили свое демократическое раскаяние и отрицание царя и его учреждений бунтами Стеньки Разина...». А Разина Щапов понимает как *противника* царя,— Разин призывает «избивать бояр», он «постоянно повторял своим сподвижникам: „Я не хочу быть царем — хочу жить с вами как брат"...».

В рисуемой Щаповым новой общественной системе земля считается всенародной собственностью, а не достоянием прогнившего дворянства. Щапов стоит, по собственному признанию, на стороне «принципа древнерусской общинности — всенародной принадлежности земли». Это очень важная сторона его социальной программы.

Со всей страстностью своей натуры Щапов борется против разлагающегося дворянского строя, против дворянства, поработившего русский народ. Он восторженно цитирует слова Радищева о бурлаке, обагренном кровью, который многое может решить доселе гадательное в истории российской. Он находит слова радищевской силы для разоблачения сидящего в карете дворянина: «Князь ошибся, не написавши вместо *зависть* — *ненависть*,— потому что в карете сидит прегордый, превельможный сиятельный...» тиран-кровопийца, человекоубийца, Бирон крестьянства, враг свободы,

равенства и братства...», которому ненависть кричит вслед за каретой слова о том, что он деспот, о том, что народный вздох, им слышимый, есть «последний ох» дворянского деспотизма.

Исключительный интерес представляет упомянутый в письме Щапова лозунг созыва Всенародного Земского собора, имеющего функции Учредительного собрания. Всенародный Земский собор, по Щапову, должен навсегда покончить с дворянским строем крепостнической России. «Я готов умереть за эту мучащую меня мысль *об общинном народосоветии, о земском — областном и союзном народосоветии»,* — пишет Щапов Вяземскому. «Я говорю и буду говорить до смерти или до каторги одно: конституция русская *не может* быть *сочинена* ни новым Сперанским — гением бюрократическим, ни новым Муравьевым или Пестелем — неспелым, односторонним гением 14-го декабря, ни одним Искандером,— *никем.* Она *должна* быть *создана*, организована самим народом, излюбленными выборными *умом народным, кого* — скажу старинным народным словом — *кого меж себя излюбят и выберут»*[7].

Щапов с полной ясностью отдает себе отчет в *революционном* характере своих замыслов,— он знает, что он идет «не к Искандеру» (то есть не имеет намерения эмигрировать за границу), «а в могилу Радищевых, Рылеевых...».

Чья-то дружеская рука (или руки?) удержала Щапова от отсылки молодому Вяземскому написанного письма. Вместо перспективы глухого мученичества и гибели — ему указали на возможность анонимной огласки его идей через заграничную трибуну свободного слова. Сюда, в лондонский центр, и направилась копия с письма Щапова [8]. Конечно, она не могла быть в этом виде опубликована. Щапов одновременно стал перерабатывать письмо в статью «О русском дворянстве». Друг Щапова Н. Я. Аристов, хорошо знавший всю историю с письмом, свидетельствует: «... он придал ему общий характер, начал развивать и дополнять свои мысли о русском дворянстве, собрал много исторических данных, и таким образом статья разрослась впоследствии в большое историческое исследование, которое Щапов предназначал к печати. Но в какое издание он ни обращался с ним, нигде оно не было пропущено цензурой».

Публикуемое письмо, разумеется, не является этой обширной, законченной статьей. Против этого говорит сохранение в нем элементов прямого обращения к адресату (начальное обращение «Князь Павел Петрович!», последующее неоднократное обращение «Князь!», прямое упоминание: «Ничтожная выходка *вашего отца*» и т. д.). Исторический элемент письма весьма значителен: тут характеристика роли земских соборов, ряда течений раскола, движения Разина и Пугачева, подробный анализ социального лица русского дворянства и его взаимоотношений с угнетаемым крестьянством. Но все же это не снимает с публикуемого текста характера личного письма. Может быть, Щапов хотел под общим заголовком «О русском дворянстве» опубликовать целую серию писем к Вяземскому? На такой замысел может намекать лишь упоминание самого Щапова о намерении написать еще одно письмо. Но свидетельства друзей, бывших в курсе дела, не сохранили для нас доказательств реализации этого плана. Самое обещание написать еще одно письмо скорее говорит за то, что перед нами — не законченная статья, а именно первоначальное письмо. Текстом законченной статьи Щапова «О русском дворянстве» мы, к сожалению, не располагаем.

Особо ценно свидетельство Н. Я. Аристова о том, что Щапов сделал письмо достоянием гласности — «читал его нередко своим знакомым»[9]. Мы можем поэтому говорить и об агитационной функции публикуемого документа — идейного памятника рукописной литературы шестидесятых годов. Его агитационная сила должна была быть значительной.

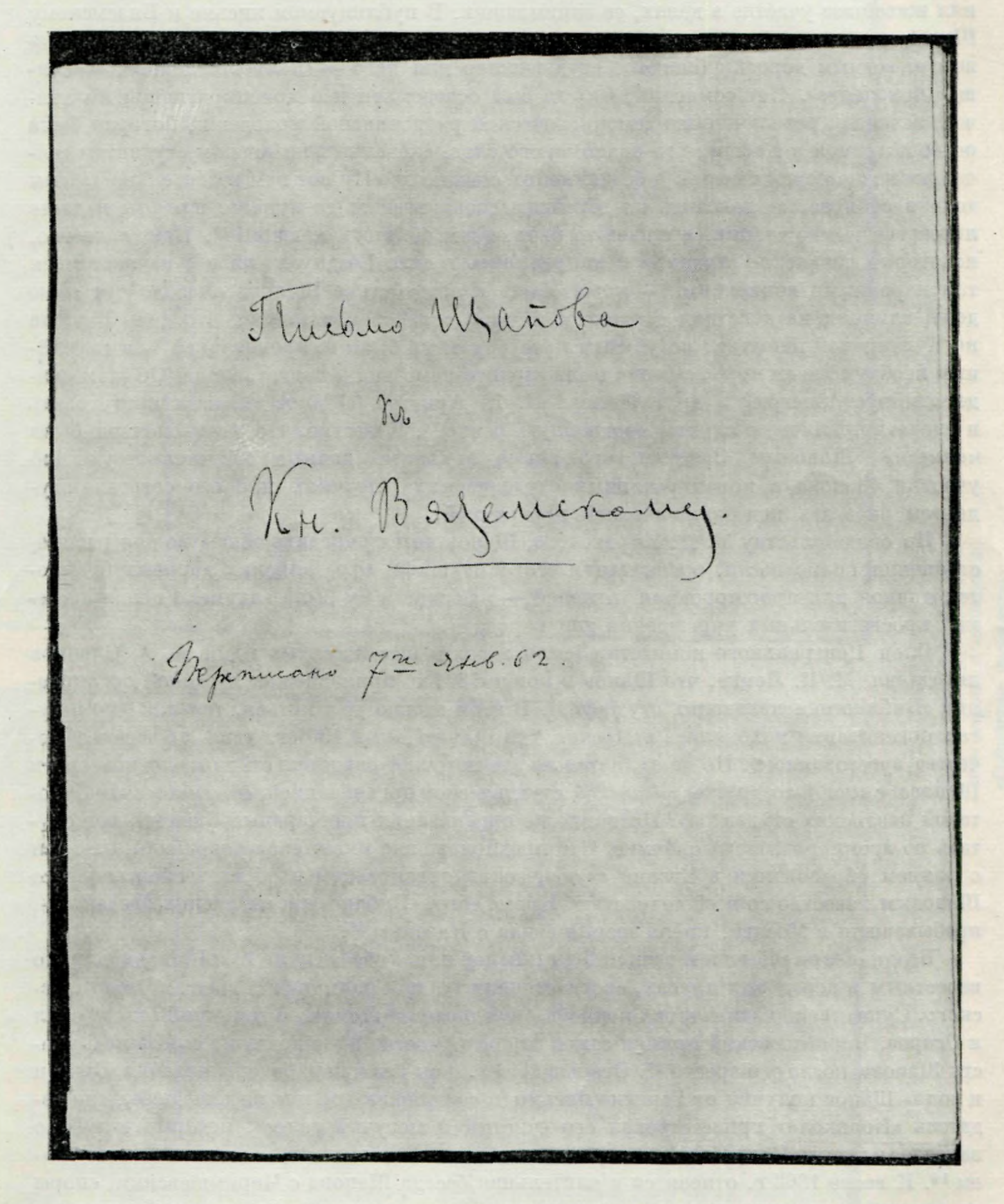
В аспекте общественного значения памятника и его дальнейшей судьбы важно проследить, какой путь проделало письмо Щапова, попавшее в герценовский архив. Восстановить этот путь можно на основании заслуживающих внимания свидетельств. Вопрос этот нельзя разрешить без другого: как относился Щапов к тайным революционным организациям шестидесятых годов и имел ли с ними связи?

Щапов рано был замечен и идейными руководителями революционно-демократического движения шестидесятых годов и массой передовой разночинской молодежи. «Современник» поместил резкий критический разбор работы Щапова «Русский раскол

старообрядчества», начало которой печаталось в 1857 г. в «Православном собеседнике», а вся работа в целом вышла в Казани в 1858 г. отдельным изданием. Добролюбов предложил тему рецензии и написал ее вступительную часть, основной же текст был написан М. А. Антоновичем (это было его первое выступление на страницах «Современника»). Суровая критика «Современника» была вполне справедлива: смесь церковных воззрений с либеральными взглядами, явно выраженная двойственность и колебания характеризовали позицию молодого автора. Рецензия носила острое заглавие: «Что иногда открывается в либеральных фразах?». «Современник» оказался воспитателем Щапова. Он сурово и последовательно проанализировал противоречия в его работе. Н. Я. Аристов свидетельствует, что этот критический отзыв «сильно отрезвил» Щапова и заставил его «глубже вдуматься во внутреннюю жизнь раскола» и побудил заниматься «более строгим и осмотрительным образом». Щапов «окончательно бросил приемы, усвоенные им и любимые духовным начальством», и стал вырабатывать «точное научное направление» [10].

«Современник» и позднее пытался оказать воспитательное воздействие на Щапова. Об этом свидетельствует не пропущенная цензурой статья Н. В. Шелгунова «Русское слово (журнальные споры)» (помета цензора на гранках статьи о ее запрещении датирована 15 февраля 1862 г.). Статья Шелгунова была отчасти направлена против работы Щапова «Земство и раскол», появившейся в «Отечественных записках» 1860 и 1861 гг. Шелгунов с достаточной ясностью, в плохо защищенной от цензуры форме проводит в статье мысль о необходимости *революционной* борьбы народа. Вместе с тем статья эта — страстная борьба за Щапова, воспитание его, полемика с идеализацией земских соборов. Шелгунов полагает, что народ не проявлял в старые времена истинной силы в борьбе, а лишь писал к царю челобитные и «вопиял» о своих нуждах. «Нельзя же только вопиять и больше ничего»,— восклицал Шелгунов [11]. Заметим, что весь круг «Современника» в то время уже знал, как высоко оценивал Щапов движения Разина, Пугачева и вообще активную борьбу народа. Поэтому вопрос Шелгунова мог и не иметь исключительно «щаповского» адреса: это была прежде всего проповедь крестьянской революции, столь нужная для «Современника», общеагитационное значение этой не пропущенной цензурой статьи вне сомнений. У Щапова были расхождения с кругом «Современника»,— он идеализировал формы старорусской земской жизни, рассматривая церковь как защитницу простого народа от угнетения,— но сходился в основных вопросах социально-политической программы: в признании земли всенародной собственностью, в решительном, бескомпромиссном протесте против крепостного права, в отрицании самодержавия, в признании народа основной движущей силой истории.

Герцен также рано обратил внимание на работы Щапова. 8 ноября 1858 г. Щапов произнес речь на акте в Казанской духовной академии, посвященную отношению церкви к крепостному праву. Позже речь его была напечатана в качестве статьи (без подписи автора) в январской книжке «Православного собеседника» 1859 г. и издана в Казани отдельной брошюрой в том же 1859 г. под заглавием «Голос древней русской церкви об улучшении быта несвободных людей». Статья идеализировала церковное отношение к несвободным людям,— Щапов в ту пору еще был во власти церковной идеологии, — но зато он правдиво и взволнованно, с большим знанием дела рисовал положение порабощенного крестьянства. Герцен ошибочно предположил, что автором работы является архимандрит Казанской духовной академии Иоанн, известный своим либерализмом. Когда анонимная статья Щапова подверглась клеветническому нападению со стороны кавказского епископа Игнатия Брянчанинова, мигом учуявшего в ней вольный дух, Герцен выступил против «возмутительного памфлета» Брянчанинова с известной статьей «Во Христе сапер Игнатий», где писал: «Цель памфлета ⟨Игнатия⟩ состоит в христолюбивом доносе на архимандрита Казанской духовной академии Иоанна, поместившего „Слово об освобождении крестьян" (в январской книжке „Православного собеседника")»; цель доносчика— «в благочестивом рвении доказать, что рабство — установление божественное, святыми отцами православной церкви поддерживаемое, благоверными царями упроченное». Общее сочувствие Герцена направлению и тону статьи Щапова, защищающей крестьянство, не вызывает сомнений [12].



Письмо Щапова

къ

Кн. Вяземскому.

Переписано 7го янв. 62.

ПИСЬМО А. П. ЩАПОВА к П. П. ВЯЗЕМСКОМУ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 1861 г.

Список, сделанный для Герцена. Обложка с пометой неустановленной руки: «Переписано 7-го янв. 62»

«Софийская коллекция»

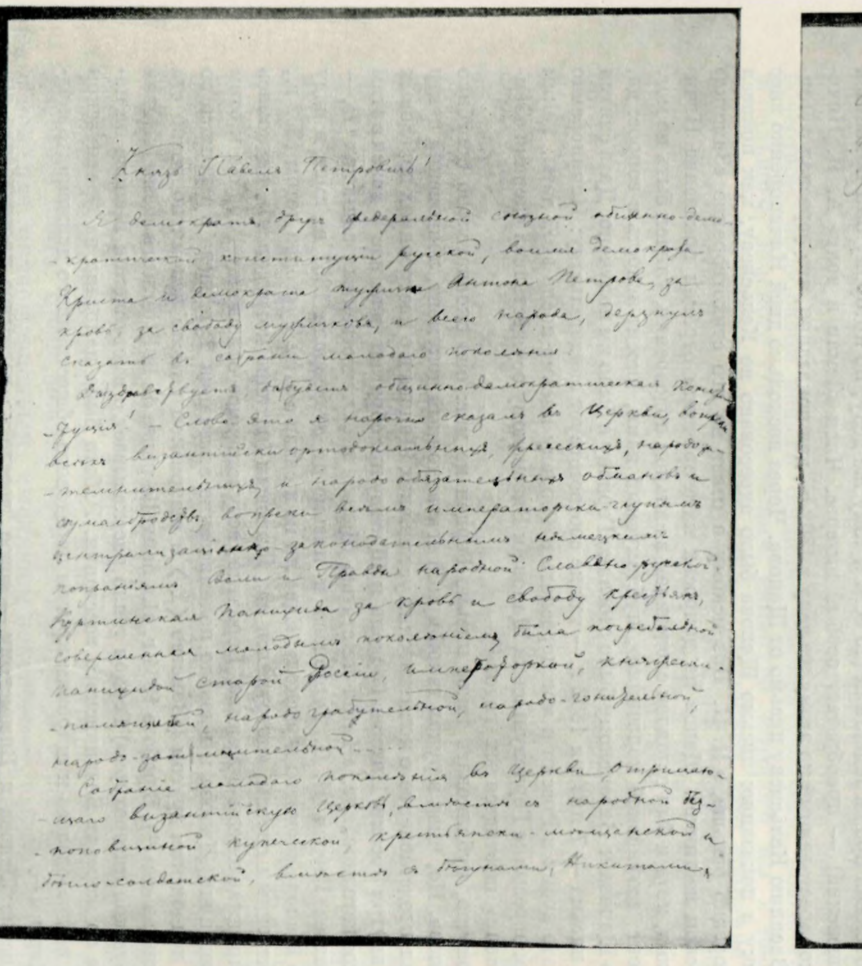
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

В ноябре 1861 г. Щапов начал преподавание в Казанском университете и сразу стал кумиром демократической студенческой молодежи. Он горячо полюбил ее и принял живейшее участие в делах, ее занимавших. В публикуемом письме к Вяземскому Щапов пишет о «святой принадлежности к университету», а преподавание в нем называет «самым дорогим благом»; студенчество для него — «полножизненное, мыслящее поколение». Нет сомнений, что он был осведомлен и о конспиративной политической жизни революционно-демократической разночинской молодежи, которая была особо активной в Казани: это видно из его слов, сказанных казанским студентам сейчас же после первых вестей о безднинских событиях: «Ну вот вам и деятельность! Вы только собираетесь заводить по деревням своих агентов, закупаете шрифты и даете литографические станки, а жизнь-то бьет своим обычным ключом» [13]. Как известно, некоторые казанские студенты и направились в село Бездну в связи с начавшимися там народными волнениями,— может быть и воздействие Щапова оказало тут свою долю влияния на действия студентов. В этой связи замечательно, что речь Щапова на Куртинской панихиде по убитым крестьянам не была импровизацией или случайным необдуманным порывом: она была заранее намечена и подготовлена. Об этом свидетельствует биограф и друг Щапова Н. Я. Аристов («Щапов *вызвался* приготовить и сказать приличную случаю надгробную речь»)[14]. Известно, что речь сначала была *написана* Щаповым. Заметим, что новые архивные данные свидетельствуют об участии Щапова в конспиративных студенческих кружках и о его советах студентам работать над политической программой.

По свидетельству М. Д. Муравского, Щапов хотел учредить общество для распространения грамотности, организации сельских школ, крестьянских даровых библиотек и школ для приготовления учителей,— как видим им была задумана целая система просветительных учреждений для народа [15].

Член Центрального комитета «Земли и воли» шестидесятых годов А. А. Слепцов передавал М. К. Лемке, что Щапов в конце 1861 г. принадлежал к тайной организации «Библиотека казанских студентов». В этом можно усомниться, так как упомянутая организация находилась в Москве, где Щапов был в 1861 г. лишь проездом в качестве арестованного. Но не является ли это неточное свидетельство отголоском связи Щапова с какой-то другой *казанской* студенческой организацией, *связанной* с «Библиотекой казанских студентов»? Название же организации престарелый Слепцов мог спутать во время разговора с Лемке. Это предположение имеет свои основания, так как о раннем образовании в Казани студенческих организаций и об их тесной связи со Щаповым известно со всей точностью. Кроме того, «Библиотека казанских студентов», пребывавшая в Москве, имела тесные связи с Казанью [16].

Безднинские события и речь на Куртинской панихиде сделали имя Щапова широко известным в передовых кругах, сосредоточили на нем внимание Герцена и Чернышевского. Существенно замечание Слепцова, передаваемое Лемке, о том, что Щапова знал и Огарев. Чернышевский принял самое горячее участие в хлопотах по смягчению участи Щапова после его ареста [17]. Осенью 1861 г. как раз в период организации «Земли и воли» Щапов получил от Герцена письмо (к сожалению, до нас не дошедшее), где издатель «Колокола» приветствовал его «чистый и могучий голос», который «глубоко западает в душу». Подробного содержания и повода письма мы, к сожалению, не знаем [18]. К весне 1862 г. относится и длительная беседа Щапова с Чернышевским, споры их о каких-то острых вопросах, выявившие не только некоторые расхождения во взглядах, но и совпадающие воззрения, поскольку в результате беседы Щапов стал готовить статьи для «Современника». Учитывая все эти связи, надо с большим вниманием отнестись к свидетельству Н. Я. Аристова о факте приглашения Щапова в это время вступить в организующееся в Петербурге тайное общество, каким могла быть только возникшая в середине 1861 г. «Земля и воля». «Раз зашел разговор о значении тайных обществ в его присутствии; передавали, что в Петербурге учреждается такое секретное общество; он все время молчал и глубоко размышлял о чем-то. Но когда ему предложили вопрос: „Не желает ли он быть членом тайного общества", он высказал определенно свой взгляд: „Я думаю, что теперь пора тайных обществ миновала, прежде они могли приносить много пользы, чему разительным доказательством служит



Князь Павел Петрович!

Я демократ, друг федеральной союзной общинно-демократической конституции русской, во имя демократа Христа и демократа мужичка Антона Петрова, за кровь, за свободу мужичков, и всего народа, дерзнул сказать в собрании молодого поколения

Да здравствует будущая общинно-демократическая конституция! — Слово это я нарочно сказал в Церкви, вопреки всех византийски ортодоксальных, греческих, народо-стеснительных, и народо-обязательных обманов и сумасбродств, вопреки всем императорско-[illegible] централизационно-законодательным немецким попыткам Воли и Правды народной Славяно-русской. Куртинская Панихида за кровь и свободу крестьян, совершенная молодым поколением, была погребальной панихидой старой России, императорской, княжеско-помещичьей, народо-грабительной, народо-гонительной, народо-затемнительной...

Собрание молодого поколения в церкви отрицало византийскую Церковь, вместе с народной безпоповщиной, купеческой, крестьянско-мещанской и бело-солдатской, вместе с Бегунами, Никитами,

Сами произносили: Перед Каретой, иди пешком, и с умным ходить пешком, с дураком ездить в карете. Умы за 1000 верст, подражая первому научному Европейской науки уму русскому, Ломоносову. В Ломоносовские морозы идет пешком учиться, учиться ...... от Народа, убитого Князьями, не быть может, для освобождения Народа от Князей.

А. Щапов

8 Окт. 61.

ПИСЬМО А. П. ЩАПОВА к П. П. ВЯЗЕМСКОМУ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 1861 г.

Список, сделанный для Герцена 7 января 1862 г.

Листы первый и последний

«Софийская коллекция»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

деятельность Н. Ив. Новикова; ну, а в настоящее время, кажется, можно принести более пользы, оставаясь явным членом образованного и деятельного общества, чем тайным. Надо говорить только просто, ясно и откровенно, без ужимок, и дело делать начистоту, от полноты убеждения"». «Однако,— продолжает Аристов,— *он скоро изменил свой взгляд на современное значение тайных обществ в России, когда стали уничтожать воскресные школы и закрыли „Шахматный клуб"»*[19]. Если Щапов уже в Казани был связан с подпольными студенческими организациями, то первую часть свидетельства (отказ признать пользу тайных обществ) надо взять под сомнение. Но даже если дать ей веру, подчеркнутая часть свидетельства — *перемена* мнения Щапова о тайных обществах, относимая по словам Аристова к середине 1862 г. (в июне был закрыт Шахматный клуб),— должна приковать внимание исследователя. Аристов, всячески стремящийся нарисовать облик Щапова как «академический», далекий от революции и даже чуждый ей,— вдруг вынужден признать три существенные факта: 1) *приглашение* Щапова вступить в члены тайного общества в Петербурге во второй половине 1862 г. (то есть в «Землю и волю»); 2) первоначальный отказ от вступления и 3) последующее *изменение позиции* в 1862 г. Если последнее означает, что Щапов вступил в состав «Земли и воли» в середине 1862 г., то он мог пробыть ее членом до конца существования организации, самоликвидация которой относится к началу 1864 г. Щапов был в это время в Петербурге. Однако активным ее членом он быть едва ли мог, так как находился в это время под правительственным наблюдением (весной 1864 г. Щапов был выслан в Сибирь).

В этой связи привлечение Щапова ко второму делу — к процессу о сношениях с лондонскими пропагандистами (то есть к тому же делу, по которому был привлечен Чернышевский) — приобретает особый интерес. Член «Земли и воли» А. И. Ничипоренко, арестованный по этому же делу в 1862 г., дал показания, что переслал в Лондон к Василию Кельсиеву письмо от Щапова. Через несколько дней Ничипоренко внес поправку в показание: письмо Щапова было адресовано не Кельсиеву, как показал Ничипоренко раньше, а П. П. Вяземскому в ответ на его стихотворение «Заметка» в «Русском вестнике». Щапов на допросах категорически отрицал показание Ничипоренко и, хотя и был оставлен следствием в сильном подозрении, уличен быть не мог. Документ «софийской коллекции», публикуемый нами, вносит ясность в вопрос: да, письмо Щапова к Вяземскому было отослано Герцену и было им получено. Дата снятия копии письма — 7 января 1862 г.— также соответствует свидетельству: Ничипоренко был в это время в России и мог переслать к Герцену письмо после этой даты. Таким образом пересылка Герцену письма Щапова к Вяземскому осуществлена членами «Земли и воли» шестидесятых годов [20].

Конечно, публиковать такое письмо Герцен не мог: оно окончательно погубило бы Щапова. Но, имея в руках такой яркий агитационный документ, лондонский центр получал представление о политических установках Щапова и о настроениях передовых людей внутри России. Интерес Герцена к Щапову приобретает для нас в связи с этим глубокое истолкование. «Читал ли статью Щапова в „Отечественных записках"?»,— спрашивает Герцен И. С. Тургенева в письме от 20 февраля 1862 г., имея в виду статью Щапова «Земство и раскол». Едва ли не в связи с этим Тургенев летом 1862 г., по собственным словам, «потрудился над Щаповым (истинно потрудился)», знакомясь с его представлением о земстве. Вероятно, сочувственное отношение Герцена к этим произведениям Щапова и вызвало полемические замечания Тургенева в переписке со своим лондонским другом («Земство ⟨...⟩ в щаповском смысле непонятно ровно ста мужикам из ста» [21]). В работе 1864 г. «La nouvelle phase de la littérature russe» («Новая фаза русской литературы») Герцен тепло рассказывает о выступлении Щапова на панихиде по жертвам Безднинского восстания. Работа была написана на французском языке и адресовалась к широким кругам передового общественного движения Западной Европы [22].

Письмо Щапова к Вяземскому — новое, доселе не известное произведение выдающегося историка-демократа — должно по праву занять значительное место в его литературном наследии. Оно представляет интерес как для историков русского общественного движения, так и для изучения русской исторической мысли.

ПИСЬМО ЩАПОВА К КН. <П. П.> ВЯЗЕМСКОМУ

Переписано 7-го января 62.

Князь Павел Петрович! [23]

Я демократ, друг федеральной союзной общинно-демократической конституции русской, во имя демократа Христа и демократа-мужичка Антона Петрова, за кровь, за свободу мужичков и всего народа, дерзнул сказать в собрании молодого поколения:

«Да здравствует, да будет общинно-демократическая конституция!»

Слово это я нарочно сказал в церкви, вопреки всех византийски-ортодоксальных, жреческих, народозатемнительных и народообязательных обманов и сумасбродств; вопреки всем императорски-глупым централизационно-законодательным немецким попраниям Воли и Правды народной славяно-русской. Куртинская панихида [24] за кровь и свободу крестьян, совершенная молодым поколением, была погребальной панихидой старой России, императорской, княжески-помещичьей, народограбительной, народогонительной, народозатмительной...

Собрание молодого поколения в церкви, отрицающего византийскую церковь, вместе с народной беспоповщиной, купеческой, крестьянски-мещанской и бегло-солдатской, вместе с бегунами [25], Никитами Семеновыми, Евфимиями, крестьянскими Радищевыми, Рылеевыми, Искандерами — это собрание молодого поколения в церкви, его вдохновенно восторженная общинная, дружная, союзная песнь на похоронах старой России, у могилы убитых правительством крестьян были просветом, пророчеством, прообразом нашего общинно-демократического, союзного, федерального, земского *Народосоветия*, накануне которого мы живем и о котором помышлял *первый крестьянин* — Посошков. Это собрание молодого поколения представляло прообраз русской общинно-демократической *агапы*, схода, союза, совета,— того союза и совета, который, начинаясь в селах с *сельского мира*, возрастет в волости в *волостной сход*, а в городах начнется с *городового схода* или всегородской думы, *Веча*, потом возрастет органически из *излюбленных*, выборных от волостных и городовых сходов в *областной земский совет* и достигнет высшего общего, цельного выражения в лице излюбленных, выборных от всех *областных земских советов в общем федеральном союзном совете* (сходе или съезде). Это будет общинно-демократический земский мир — совет, союз, тот совет и союз, которого хотели наши областные общины во времена нашей древней земской революции, в смутное время, когда на областных земских советах порешили быть в *любви*, в *совете* и в *соединении*; избрали царя с ограничительною записью, каковая уложена была *на Совете всей земли*, и потом выразили свое демократическое раскаяние и отрицание царя и его учреждений, бунтами Стеньки Разина, демократическим развитием раскольнической общины, *Согласа*,Советов,как, например: Согласы и Советы бегунов... Византийские свечи в руках молодого поколения были русскими свечами народного просвещения, просвещения масс, инициатива которого выразилась на первый раз в византийской форме воскресных народных школ...

Князь! Я, не гонясь за благами дворянства, а гонясь за *голытьбою за кабацкою* Стенек Разиных, Радищевых,— я сказал свободное слово об *общинно-демократической свободе*, и за то пострадал — лишился самого дорогого блага: преподавания русской истории в университете, общения с молодым, полножизненным, мыслящим поколением, оторвался от святой принадлежности к университету, на который я смотрю как на голову — разум в организме народном. И несмотря на все льстящие, *подлые* интересы *временно-обязанной* принадлежности к Министерству внутренних

дел, я еще больше, чем когда-либо, готов пострадать за то, чего я желаю народу, или, лучше сказать, за то, чего требует сама, *вся горькая, вопиющая жизнь русского народа*,— разнообразных областных общин, забитых императорско-министерско-губернской централизацией, я готов умереть за эту мучащую меня мысль *об общинном народосоветии*, о *земском — областном и союзном народосоветии*. Я говорю и буду говорить до смерти или до каторги одно: конституция русская *не может* быть *сочинена* ни новым Сперанским — гением бюрократическим, ни новым Муравьевым или Пестелем — неспелым, односторонним гением 14-го декабря, ни одним Искандером,— *никем*.— Она *должна* быть *создана*, организована самим народом, излюбленными выборными *умом народным*, *кого* — скажу старинным народным словом — *кого меж себя излюбят и выберут*. Сам народ в смутное время, согласившись предварительно на областных *земских советах*, быть всем областным общинам тогда разрознившимся, *быть* в *любви*, в *совете* и в *соединении*,— т. е. в федеративном союзе и совете, сам народ избрал царя на *великом московском земском совете или Соборе*, который был результатом *областных* земских советов, результатом так называемого *схода всех городов под Москву*. Сам народ дал царю *запись*, *какова уложена была по Совету всей земли*, запись, ограничительную для единодержавия. Запись эта была нарушена первым Алексеем Михайловичем и окончательно сыном его Петром I — гением немецко-русским, первым императором, первым нарушителем естественно-исторического развития и определения *правды русской — правды народной*, и сочинителем *правды — воли монаршей*. Петр I во имя идеи *сочиненного*, *по-немецки отвлеченного государства*, создал вместо развития и усовершения устройства *земского собора Сенат и Коллегии*, вместо наибольшего объединения и развития *Земства* своей табелью о рангах и ревизиею душ разъединил земство, создал чины и чиновников, со всей их бюрократией, вместо правильного продолжения (если уж он, по раскольническому учению, из царя, избранного народом, *император наречется*) древнерусского *земского устроения*, вместо поддержания и развития принципа древнерусской общинности, всенародной принадлежности земли — он своим непонятным, задуманным и не конченным геометрическим размежеванием земли, своим введеньем вместо писцовой поземельной переписи, ревизии душ, переписи и приписи людей к земле, кто где жил, для службы отвлеченной идеи государства,— разъединил, разобщил, разделил самую землю, сделал ее помещичьею или крепостною, дворцовою или удельною, государственною или казенною, т. е. царскою; вместо определения прав и средств свободного самообразования и саморазвития всего земства-народа — он заставил учиться одних дворян и детей боярских, дворянских для службы отвлеченному, немецки-сочиненному государству и одних церковников и церковнических детей — и таким образом создал касты дворянскую, чиновническую и духовную: произвел сословное разъединение земства, довершенное окончательно табелью о рангах и расписаньем народа по разным родам сочиненной отвлеченно государственной службы. Все эти ошибки Петра I произошли оттого, что он наперед съездил в Западную Европу, за границу, а не объехал наперед Россию, да и оттого, что еще при отце завладели воспитанием царских детей *немцы* — исторические враги славян и в Западной Европе, и, следовательно, славяно-русского народа ..

Все эти ошибки сделал Петр I в своих реформах — и начали преобладать над *земством*, над народом, четыре сословных касты: солдатство, дворянство, духовенство и чиновничество. Жизнь земства, массы народной, тотчас, при первом преобразователе-сочинителе Петре I, тотчас же ощутила ненормальность, неестественность отвлеченных реформ Петра. Вместо временного кипучего бунта Ст. Разина—Раскол с своими Согла-

сами восстал против Петра I как против антихриста. Никакие гонения, какие только могла измыслить византийская адская злоба полемического фанатизма и императорского самодержавия, не могли остановить жизненно народное демократическое развитие раскола, а только усилили в нем энергичность, стремительность да постепенное объединение в одну общинно-демократическую оппозицию. Прошло 50 лет после реформы Петра I: созданные им касты развились больше и тяжелее налегли на народ, так что он стал, по характеристическому выражению Тургенева, «le bas muet et souffrant de la triste pyramide»*. Каста *духовная*, византийско-иерархическая, византийско-епархиальная и византийско-ортодоксальная — стала кастою народозатмительной, народогонительной

Други человѣколюбивые Убiенные!

Самъ Христосъ возвѣщалъ народу искупительную свободу братства и равенства во времена Римской Имперiи и страдалъ за народъ и по Пилатскому суду кровью запечатлѣлъ свое демократическое ученiе. Въ Россiи за 150 лѣтъ стали являться, по причинѣ отсутствiя просвѣщенiя, среди сельскихъ общинъ свои мнимые Христы, которые по своему возвѣщали свободу отъ своего рабскаго, страдальческаго положенiя въ государствѣ. Съ половины XVIII вѣка одинъ мнимый Христосъ сталъ называться Императоромъ и Искупителемъ сельскаго народа. Вотъ явился новый пророкъ и также возвѣщалъ волю Божiю свободу и за то много невинныхъ сельчанъ пострадало, по незнанiю ограниченнаго государственнаго положенiя, по причинѣ недарованнаго имъ просвѣщенiя.

Миръ праху Вашему, бѣдные страдальцы и вѣчная память! Да успокоитъ Господь Ваши души и да здравствуетъ общинная свобода,ˣ даруемая Вашимъ живымъ собратьямъ.

ˣ сказано Демократически Революцiонная Демонстрацiя.

Рѣчь сказанная Профессоромъ Русской Исторiи Казанскаго Университета Щаповымъ 18 Апрѣля 1861 г. при панихидѣ въ кладбищенской церкви, за убитыхъ въ селѣ Безднѣ Крестьянъ и представленная [illegible] Правительству

СПИСОК РЕЧИ А. П. ЩАПОВА, ПРОИЗНЕСЕННОЙ 16 АПРЕЛЯ 1861 г. НА ПАНИХИДЕ ПО УБИТЫМ КРЕСТЬЯНАМ В СЕЛЕ БЕЗДНА

Сохранился в делах III Отделения вместе с фотографией Щапова. Дата панихиды в списке неверна

Центральный исторический архив, Москва

(в исповеди, в постах, в браках, в полемике, в консисториях, в синодах и т. д.) и народоомрачительной в своих богословских, догматических, фундаментальных объяснениях. Каста *дворянская*, княжеская, графская, помещичья, возродившаяся из шляхетств первой половины XVIII столетия после дворянских грамот Петра III и Екатерины II в вельможество екатерининских и наших времен. Эта физиологически изгнивающая, генеративная, родовая, геральдическая, столбовая каста налегла на земство, особенно на сельский народ, всею тяжестью землевладельческого, крепостного самовластия и грабежа, насилия и буквального поядения крестьянской крови (!!!...) (зато народ всегда кричал: «Избивать бояр, князей и вельмож, чтобы вашего козьего дворянского племени не было!» [26]) — Каста *военная*, командирски-солдатская, поглотившая миллионы самой здоровой, самой жизненной, существенной части народонаселения, крестьянства, мещанства и горькодумных, мыслящих людей, убивавшая своей солдатской *дисциплиной*, *тупоумной наукой*, отупляющей шаги-

* «молчаливым и страдающим подножием в этой печальной пирамиде» (франц.).

стикой приклада и всего, про что скажет только умный солдат,— *управлявшая престолом** — *жандармами*, гнавшая, давившая живую свободную мысль, самосознательное живое народное слово и пр. ... Эта военная каста, стража самодержавия императорства, самое отборное, обритое, вооруженное зло для свободной жизни народа, истины, мысли, слова, для народного самоуправления и саморазвития... От этого вопиющего зла бежал *бегун* и создал великий демократический *соглас* оппозиционный всей системе императорского совета и правительства... Наконец, каста *чиновничья* императорски-министерско-губернско-бюрократическая,— каста жалких, чернильных, бумажных, бездушных скрипачей-борзописцев — живого слезно-вопиющего горя народного,— каста бесчувственной бумажной брани над народом, над его вопиющим горем и т. д.— эта каста немецкая, отвлеченная от жизни русского народа табелью о рангах, крючкодейственными злодействами своими, воспитала в народе ненависть ко всякому *светлопуговичнику*. И зато народ всегда кричал: «Избивать начальных людей!» «Мужик потерпел, потерпит,— говорил умный мужичок из села Павлова, Иван Васильев,— да беспременно возьмется за начальство, беспременно перестреляет их».

Кричал, вопиял народ от всех этих созданных Петром каст народного угнетения и насколько мо́чи было терпел, выжидал, авось не обдумается ли, не обрусеет ли немецкий царь,— ждал в лице немца Петра III своего искупителя, освободителя и при великой революционерке [27], чудесно и непостижно восшедшей на престол, по льстивому, верноподданническому выражению Бецкого, увидел, что льготная, дворянская хартия дана Петром III и Екатериной II только дворянству, вельможеству, княжечеству, помещичеству. И вот все ожидания, все терпение народа, масс народных, лопнули: явился *Пугачев*, пугнул забывшихся, и народ, забывший двор разврата и шумной роскоши, заявил о демократической народной партии... На пути в Иркутск ссыльный демократ-мужик, называя** народным *Христом*, плотно пожимая руку встречному Пугачеву, сказал два только слова: «Против антихристовой церкви — и против антихриста-царя!». А в то же время *беглый солдат* Евфимий [28], из переяславских *мещан*, учит массы: «Петр I антихрист, раскольник, народная перепись или ревизия душ, разделение человека по чину (табель о рангах и касты сословные), размежевание земель, рек и усадеб (отвлеченно геометрическое размежевание жизненно-общей, всенародной земли, учреждение цехов) — *новшества* антихриста Петра I, сенат и совет государственный, антихристов совет, синод — жидовский синедрион, в судах судят по злату да по сребру запев *кривосказательных книг* — в губерниях, в областях *все лихоимцы грады содержат, не в милосердии* в городах первии, и т. п. и т. п. Учение бегуна Евфимия и его сопутных... сильно, живо распространилось в массах народных, во крестьянстве, мещанстве, беглом солдатстве и купечестве, в то время когда сердечный Радищев в своем «Путешествии из Петербурга в Москву» выл, стонал и во сне видел какую-то *странницу*, обличающую царя с вельможеством, княжески-помещичьим и княжески-бюрократическим [29]. И теперь это учение бегуна Евфимия сильно распространяется народными странствующими учителями, гениальными по-своему, Никитами Семеновыми, распространяется в крестьянстве, мещанстве, купечестве и беглом солдатстве. Купцы, проис-

* Даже граф Воронцов в записке к царю Александру I заметил: «*Доселе де в России солдатство престолом управляло*». В III Отделении, столице жандармов, в одном из разговоров с жандармами, один жандарм из крестьян казанских, на вопрос мой, в какой форме ходит царь,— ходит ли в сюртуке, ответил: «Нет,— даже на вопрос часового: кто идет? с гордостью отвечает: „*Солдат*“».— *Прим. Щапова.*

** *Переделано из*: называвшийся народом. *Над этими словами и двумя следующими чернилами поставлены вопросительные знаки.*

шедшие из крестьян, поселившиеся в городах, и богатые крестьяне и мещане, эти жиловые мирские бегуны, как они себя называют, пристанодержатели, капитальные помощники народных, земских, странствующих учителей демократизма.— В известных, по делам Министерства внутренних дел, городах и селах, у них, у бегунов, свои сходы, согласы, советы, на которых выборные их совещаются...* и всего согласа бегунов*...

Да, князь, демократизм живет в народе и как еще умно и деятельно распространяется! Мы, *воспитывавшиеся* или *учившиеся* у папашей ли, в училищах ли, за границей ли, мы многое знаем, но не знаем *русского народа*, того народа, о свободе которого все мы мечтаем: и аристократы, и демократы, и лакеи... Масса народная самая жизненная, земство отрицает немецкое петровское устройство всероссийской империи, *отрицает* царя со всеми его централизационно-бюрократическими учреждениями, *отрицает* вельможество, княжество со всем его помещичеством... народ *бежит* даже вместе с бегунами от всего этого... куда же он бежит?— *Отрицая* всероссийскую империю и церковь, чего *положительного* он хочет?— Во времена бироновщины, демократические партии народа тысячами бежали за границу — а ныне *бежит* внутри России ... *бежит*!.. и на пути, дорогами по селам и городам, и на суде, все еще одно говорит: «Отрицаюсь от великороссийской церкви, от царя и всех его установлений. А когда придет время, бороться буду с ним, с антихристом-императором, и теперь борюсь с ним противлением и неповиновеньем его законам».

Князь! Вот первая историческая народная дума, которая мучит меня, заставляет бежать от всяких подлых интересов и искательств, для того чтобы *заслужиться* или *нажиться*, заставляет гнаться не за благами великокняжеского дома, а за *голытьбой* за кабацкой, за *бегуном*-крестьянином, за бегуном-мещанином, бегуном-купцом, беглым солдатом, бежать не дальше могилы, не к Искандеру, а в могилу Радищевых, Рылеевых... Да куда ты бежишь, сумасшедший,— скажете вы, князь, мне, демократу,— чего ты хочешь?

Я бегу за бегунами крестьянскими, мещанскими, купеческими, беглосолдатскими, и за бегунами просвещенного либерализма социально-демократической конституции — Искандерами, отрицаюсь императорства, централизации, вельможества и княжески-помещичьих удельностей и хочу федеральной или союзной общинно-демократической конституции, *земского народосоветия*; жду его от самого народа, и говорю, что народ теперь и давно способен к нему... *Сам народ* на земском соборе избрал царя и ошибся в выборе: цари обманули его и вызвали в массах земства Разиных, Пугачевщину, мощную, живучую оппозиционную общину раскола, в людях образованного молодого поколения вызвали *декабрьщину* и *матрикульщину*[30]. Следовательно, сам народ в праздник тысячелетия[31] должен или сам сойтись или неотложно и немедленно быть созван царем на новый земский собор и отречься от императора и централизации — дать автономию Польше, Украйне, Великороссии, Сибири и всем провинциям, и создать федеративную социально-демократическую конституцию, союзное, общинно-демократическое земское народосоветие.— Князь! Если царь страшится, не хочет страшного суда народного — ужаснейшей в свете предстоящей русской революции,— он должен сам созвать в *сельских мирах* — сельские *волостные сходы*, для свободного обсуждения и правильного решения вопроса сельского самоустройства, самоуправления и саморазвития. *В городах — городовые сходы* или всегородные

* *Пропуск в рукописи.— Ред.*

думы для обсуждения и устройства городового, общинного самоуправления и самосуда; в главных губернских или областных городах, какие изберут сами областные общины, должен созвать из выборных от волостных и городовых сходов областные земские советы или съезды для установления общинно-социального земского народосоветия и самосуда; из выборных от всех областных земских советов или союзов должен быть созван общерусский великий союзный или федеральный земский совет, съезд, собор. Предоставив областным советам и союзному федеративному земскому собору создать русское земское общинно-демократическое народосоветие, — царь, естественно, должен отречься от самодержавия. Князь! Князья и бояре также должны отречься от своих исключительных олигархических притязаний. Вся история русская доказывает, что в России сельский и общинно-демократический элемент всегда преобладали над боярством; переход дружины из одной земли в другую, из области в область вместе с удельными князьями не дал безземельной, подвижной дружине древней России развиться, установиться в настоящую землевладельческую аристократию, как было это в Англии. В то время как дружины вследствие своей подвижности и неприкрепленности к земле не могли организоваться в землевладельческую аристократию, организовать твердую аристократическую конституцию, в то время свободно развивалось самое многочисленное сельское народонаселение и путем вольнонародной *мирской* земледельческой и торговой промышленности, колонизации, организовало вольные демократические общины с своим самоуправлением. В сельских общинах вследствие свободного перехода народонаселения и развития начал общинно-демократического самоустройства и самоуправления развивался и укоренялся тот демократический противубоярский дух, который после, в XVI, XVII, XVIII столетиях, часто обнаруживался в разных демократических бунтах сельских общин и доселе живет в большей половине крестьянства, несмотря на всю чиновную крепостную и казенную деморализацию и забитость его. Этот-то вольный, буйный, общинно-демократический дух, развившийся и окрепший на просторе средневековой вольности, в эпоху разгула материальных сил и средств и отсутствия сословного разъединения земского, этот-то дух у нас был всегда противен аристократической княжески-боярской исключительности и притязательности. Как бы ни обнаруживало дворянство свое стремление к преобладанию над земством, в форме ли удельного княжеского вельможества в борьбе с Иваном Грозным, или олигархического *боярства* в Смутное время, когда бояре замышляли разделить Россию на уделы; или в лице временщиков вроде Морозовых и тьмы прочих; или олигархического шляхетства во время попытки Волынского в 1730 г.; или привилегированной дворянской грамотой, напудренно-чванной, эгоистической аристократии екатерининских времен, вроде аристократической попытки Панина; или аристократического совета, вокруг Александра I, с идеею аристократической конституции,— одним словом, в какой бы форме ни проявлялась исключительная притязательность нашей физиологически сгнивающей генеративной, родовой, столбовой аристократии, — она всегда встречала преграду в общинно-демократическом духе масс народных. Оттого и были всегда неудачны исключительные аристократические замыслы, которые скорее угрожали земству олигархией, чем способны были создать какую-нибудь аристократическую конституцию наподобие английской, вовсе не идущей к нашему народу. Во время борьбы грозного царя с удельно-княжеским вельможеством и олигархиею, демократические общины истребовали себе свободы от бояр-наместников и волостелей, и выбрали своих излюбленных земских старост и чиновников и целовальников. В смутное время, без царя, все областные демократические общины, на своих област-

ных земских советах, единогласно порешили: «*А бояр бы нам не хотеть — против бояр стоять обще за один*». Во время господства при царе Алексее Михайловиче временщиков Морозова и Милославского по городам и волостям поднялись бунты против бояр, во всю 2-ю половину XVII столетия постоянно раздавались крики масс: «*Избивать бояр*». Ст. Разин постоянно повторял своим сподвижникам: «*Я не хочу бырт царем — хочу жить с вами, как брат, — и я иду только истребить бояр, дворян и приказных людей*». Атаман Носов, заводчик астраханского бунта, провожая гостей, завещевал: «Идите и управляйтесь с князьями и боярами, а на весну и мы к вам будем». Пред стрелецким бунтом, по словам одного хронографа: «*Сердца народные были сильно опечалены и тоскою исполнены*, от неправд *вельможей и временщиков*; и *голос народный носился* такой, чтобы избивать бояр». Пугачев шел тоже истреблять *бояр*, как он называл дворянство. При Николае, во время Новгородского бунта 31-го года, бунтовщики *тоже* грозное слово говорили: «*Нам нужно, чтобы вашего козьего дворянского племени не было*»[32].

Вот как народ, земство, смотрело и смотрит на вельможество, дворянство, и вот чем грозит оно боярству, княжеству. После этого, что значит, князь, новая ничтожная выходка вашего отца, князя Вяземского, какой смысл имеет она после вековой исторической песни земства избивать бояр?..[33] Нет, нет, я не князь-поэт, и не поэт из демократов, а в насмешку стихам вашего отца отвечу вам стихотворением, сочиненным заранее, и не в княжеских палатах, а в каменных палатах III Отделения:

ПАМЯТНИК НА МОГИЛЕ
А. П. ЩАПОВА В ИРКУТСКЕ
Фотография, 1956 г.

Пусть льют и пьют аристократы
Шампанское за кровь, за расстреляние крестьян,
Мы—други сельских общин, демократы,
Мы за свободу, жизнь, права селян;
В России не было и нет аристократии,
Весь ход, закон истории — другой,
Закон союзной общей демократии,
Советов областных поруки круговой.
Давно советы земские решили
Бояр одних в правленье не хотеть,
И всей землею положили
В союзе и в любви совет иметь.
Равенство прав и средств развитие —
Вот путь природного призванья,
Талантов в пользу общежитья
Цена труда и дарованья.

Генеративная, родовая, геральдически-замкнутая аристократия мне кажется аномалиею, не только историко-политическою, но и физиологическою, без прилива демократической крови она изгнивает внутренно, умирает. Напротив, общинно-демократическое равенство прав и средств или общественных условий развития и социального значения личностей — природою данных мозгов,— вот истина естественно-народная, закон социального развития человеческой природы. При общинно-демократическом равенстве прав и условий развития и общественного значения данных природою мозгов или способностей разных личностей возможно, естественно и необходимо для разнообразия и движения прогресса—одно только неравенство — неравенство дарований или сил, степени их саморазвития и самообразования и их социальных действий и заслуг.

Я не вхожу в подробный анализ общинно-демократического равенства. Это слишком удалило бы меня от главной цели моего письма. Князь! я хотел бы разобрать все стихотворение вашего отца, но отлагаю до другого письма. Теперь замечу только: ваш отец, между прочим, укоряет молодое поколение Белинского и его братию в пьянстве, в зависти каретам... Да! Человек кипучей, могучей русской крови, которую не могут отравить *ни ненавистный царский кабак*, ни *откупная водка*, пьет *горькую*, вонючую,— чтоб только не пить *сладкого*, шипучего—царско-княжеского,— пьет горькую, чтоб только жить, мыслить, страдать и петь *с горя от царской водки и от царской воли*, вместе с вопиющим *Горем-злосчастием*, старорусским, народным, появившимся в XVII столетии — вместе с *государевыми, царевыми кабаками да с государевой царевой волей, без воли народной.* Сама правда воли монаршей — Петр I — пил горькую, и народ тоже в *кабачке — мартышке* слал ему горькое проклятие за его немецкие реформы. Сам освободитель крестьян Александр II пьет горькую,— и за то мужички в царских кабаках шлют ему *матюка* и ждут нового А. Петрова, Ст. Разина или Пугачева. А Ст. Разин *со голытьбою со кабацкою* проповедовал равенство, пожил в равенстве с своими удалыми добрыми молодцами, казаками и хотел сделать всех равными, без царя, без князей и бояр,— *братьями* по правам... Ломоносов, первый самородок русский, создатель новой русской науки и литературы, первый преобразователь умственной России, пророк первого русского университета, врач, борец и страдалец в российской академии немцев — Ломоносов пил *горькую* и не вкушал сладкого в своей горемычной жизни.

Бурлак, идущий в кабак, скажу словами Радищева, и назад возвращающийся, обагровленный кровью — многое может решить доселе

гадательное в русской истории. А сколько горьких пьяниц русской литературы — в горьчайшую николаевщину, когда и в истории российской в устряловском царствовании Николая I, и в литературе свирепствовала не горькая водка горькодумного поколения Белинского, Пушкина, Кольцова, а сладкая вода, пустота стихокропателей князя Вяземского,—карамзинщина, повествовательщина пустая, болтовня, россказня, без глубоких и возвышенных жизненно-философских идей Белинского, без жизненной поэзии Пушкина, Кольцова... И теперь мы пьем горькую, потому что на каждом шагу видим *горе, лыком подпоясанное, старое горе, злосчастье русское.*

Горе сердце нам грызет,
Вот бедняжка мужичок,
Воз печали он везет
За один лишь пятачок,
Горемычный батрачок.

И не исчислить всего горя русского, если начать с мужичка, с хаты деревенской, где стон и вопль от рекрутчины, от неволи, от станового, от помещика и пр., пр. — всю широкую всероссийскую империю — юдоль плача, горя народного, начиная от *Амура* и до *ненависти*, и наяву и во сне, и в самом дворце и в хижине деревенской, и на Невском и на улице сельской, везде видишь *горе русское* и слышишь *горе русское*, кричащее, вопиющее, песней, шарманкой, — скрипом или стуком телеги или фуры набитой ...*, подати, рекрутчины, писанья и бесправья, разнообразными вариациями горя ...*

Промысла и т. д., и т. д.

И видим *горе русское* и слышим *горе русское, народное, живое*, и пьем *горькую, царскую*, отравляющую, убивающую. И пьем всю горькую чашу горя от ума, горя от царя, горя от помещиков, князей и т. п., и пьем и не пьянеем и ждем нового могучего Ст. Разина, *со голытьбою со кабацкою*, с ненавистными кн. Вяземскому отборными пьяницами горя русского *тысячелетия*. А что касается до *духовной свободы*, которою за свое сокровище и страсть (к крестьянским деньгам) князь упоется до поэтического отреченья, сидя, быть может, с дорогой сигарой на дорожайшем диване во всем княжески-вельможном комфорте, наитяжелейшем для крестьянства, притом после выпивки хорошего шампанского за расстреляние возмутившихся крестьян, — что же касается до духовной свободы, то я спросил бы только его сиятельство: «А что, князь, мужичок или ремесленник фабричный или заводский, имеет ли не только духовную, но и телесную свободу от палок, от непомерной тяжести оброка, подати, рекрутчины — свободно ли он владеет землею, на которой стоит с своей избушкой на курьих ножках, свободен ли и досыта ли кормится от земли, которою питает Россию?..» Что же касается до *зависти пешехода карете*, то князь ошибся: не написал, во 1-х, вместо *зависти — смеха* пешехода за каретой, в которой сидит один барин с пустейшею гордостью, преважно подбоченясь, прелениво навалившийся на одну сторону, левую — показывая всем знаком, что у него есть правая половина, отсутствующая дама его сердца, тиранящая дворовых девок, блудящая *по-армейски*, как выражаются дворовые, —князь ошибся, не написавши вместо *зависть — ненависть* — потому что в карете сидит прегордый, превельможный, сиятельный, или тиран-кровопийца, человекоубийца, Бирон крестьянства, враг свободы, равенства и братства, которому ненависть кричит вслед за каретой:

* *Пропуск в рукописи.—Ред.*

(bis)

...Слышь, деспот, народный вздох,
Ведь то бьется кровь демократизма,
То последний ох,
От твоего деспотизма...

— Вместо *зависти* — князь не написал *ум* или следующую русскую пословицу, которую вы, князь, сами произносили — перед каретой, идя пешком: «С умом ходим пешком, а дурак ездит в карете». Ум за 1000 верст, подражая первому наученному европейской наукой уму русскому, Ломоносову, в ломоносовские морозы идет пешком учиться, учит...... * из народа, забитого князьями, и, быть может, для освобождения народа от князей.

А. Щапов

8 октября 61.

Текст письма подготовлен к печати редакцией «Литературного наследства».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] К славянофилам склонен причислять Щапова его биограф Н. Я. Аристов; вывод этот не относится, однако, к числу основных положений его книги, а дан попутно и без доказательств. Справедливость требует отметить, что, несмотря на в общем консервативный тон, может быть, объясняемый годом выхода книги в свет (она появилась в виде журнальных статей в 1882 г. в благонамеренном «Историческом вестнике», а отдельным изданием в 1883 г.— это было время начала реакции после убийства Александра II),— это лучшая работа о Щапове в дореволюционной литературе. Сам некогда поднадзорный и причастный к революционному движению шестидесятых годов, Аристов не может быть безоговорочно отнесен ни к консервативным, ни тем более к реакционным кругам. Его книга о Щапове обладает высокими достоинствами тонкой наблюдательности, сохранившей для нас множество фактических данных, известных автору как другу и современнику Щапова (Н. Я. Аристов. Афанасий Прокофьевич Щапов (жизнь и сочинения). Посмертное изд. СПб., 1883).

Работа молодого Г. В. Плеханова о Щапове, напечатанная еще в «Вестнике народной воли», является рецензией на книгу Н. Я. Аристова. Плеханов подчеркивает в этой рецензии разногласия между Щаповым и Чернышевским. Последний в те ранние годы еще представляется Плеханову реформистом-государственником, в Щапове же, по Плеханову, «были очень сильны славянофильские тенденции». Федеративный идеал Щапова Плеханов — явно неправильно — трактовал как возврат к феодальному дроблению, в силу чего Щапов представлялся ему идеализатором того «печального периода народной беспомощности, когда народу оставался лишь выбор между чужеземными и домашними поработителями». По Плеханову, «яблоком раздора» между Щаповым и Чернышевским «был именно вопрос о государстве, его исторической роли и желательном для демократов отношении его к народу в настоящее время». Надо заметить, что Чернышевский не был реформистом-государственником, а Щапов — славянофилом. Самое крестьянское существо идеологии Щапова несовместимо с классовой помещичьей сутью славянофильского либерализма (рецензия Плеханова перепечатана в его Полн. собр. соч., т. II, 1923, цит. тексты на стр. 20 и 17).

Довольно обширная работа о Щапове принадлежит Г. А. Лучинскому, предпославшему обширный биографический очерк III тому сочинений Щапова; заметим, что в этом очерке Щапов — общественный деятель оторван от Щапова-историка; автор стремится трактовать Щапова как либерально-консервативного академического профессора, всячески подчеркивая его болезненные, неврастенические черты. Правда, достоинством очерка является привлечение дополнительного архивного и вновь опубликованного документального материала (Г. А. Лучинский. Афанасий Прокофьевич Щапов.—Соч. Щапова, т. III. СПб., 1908, стр. I—CIX).

А. Л. Сидоров, опубликовавший найденное Е. И. Чернышевым письмо Щапова к Александру II, приходит в своем предисловии к публикации к выводу, что Щапов был демократом, но не был революционером («Красный архив», 1926, № 6, стр. 151). Е. И. Чернышев в своих публикациях о Щапове придерживается правильного вывода, что Щапов принадлежал к революционным демократам (А. П. Щапов. Неизданные сочинения. Оттиск из «Известий Общества археологии, истории, этнографии при Государственном Казанском университете», т. XXXIII, вып. 2-3). П. Кабанов в своей книге «Общественно-политические и исторические взгляды А. П. Щапова» (М., 1954)

* *Пропуск в рукописи.— Ред.*

относит Щапова к «просветителям» и вместе с тем сближает его с революционными демократами.

[2] Лекция Щапова «О конституции» опубликована Е. И. Чернышевым в «Известиях Общества археологии, истории, этнографии при Государственном Казанском университете», т. XXXIII, вып. 2-3, стр. 38—58.

[3] Письмо Щапова к Александру II 1861 г.— «Красный архив», 1926, № 6, стр. 151, 161, 162.

[4] 〈П. А.〉 Вяземский. Заметка. (Из собрания стихотворений «На дороге и дома»).— «Русский вестник», 1861, № 8, стр. 697—698. Вяземский в пору близости его с декабристами обрисован в работе Николая Кутанова (псевдоним С. Н. Дурылина) «Декабрист без декабря».— В сб. «Декабристы и их время», т. II. М., 1932, стр. 201—290; ср. П. А. Вяземский. Моя исповедь (1829) (Полн. собр. соч., т. II. СПб., 1879).

[5] Н. Я. Аристов. Указ. соч., стр. 72.

[6] Так, Г. А. Лучинский пишет: «По толкованию многих, это стихотворение было направлено против Щапова» (А. П. Щапов. Соч., т. III, стр. 2). Более точен, повидимому, Н. Я. Аристов: «Трудно допустить, чтобы князь Вяземский в этом стихотворении метил на определенную какую-либо личность; но между литераторами сложилось тогда убеждение, что он изображает здесь Щапова, о чем и сообщили последнему знакомые» (Н. Я. Аристов. Указ. соч., стр. 72).

[7] Заметим, что это свидетельствует о значительно более раннем появлении лозунга о созвании Земского собора (Учредительного собрания), чем 1862 г. Ср. Ш. М. Левин. К датировке новых огаревских документов.— «Лит. наследство», т. 63, 1956, стр. 869.

[8] Н. Я. Аристов. Указ. соч., стр. 73.

[9] Там же.

[10] «Современник», 1859, № 9 (ср. М. А. Антонович. Воспоминания.— В кн.: «Шестидесятые годы». М.— Л., «Academia», 1933, стр. 138—139); Н. Я. Аристов. Указ. соч., стр. 46.

[11] Запрещенная цензурой статья Н. В. Шелгунова.— «Красный архив», 1926, № 1, стр. 128—130 и 141. Более половины статьи Шелгунова не касается работ Щапова, а сосредоточено на анализе силы народов в борьбе с угнетателями, определении условий, при которых сила эта проявляется. Шелгунов считает русский народ недостаточно активным в борьбе и упрекает Щапова как раз за преувеличение его силы (стр. 140). Спор идет не по принципиально-программному моменту, а лишь против идеализации Щаповым активности русского народа в прошлом и преувеличения значения земских соборов («Нашли мы в нашей прошлой жизни какие-то земские соборы и ужасно обрадовались своей находке, и возимся мы с этими соборами, и тычем ими всем в глаза, и думаем, что тут-то именно и нужно искать русское слово. *Слово, точно, есть и тут*, да слово очень небольшое. И неужели мы и без этого не знаем, что нам нужно?» (стр. 146).

[12] А. П. Щапов. Соч., т. I. СПб., 1906, стр. 1—15; Герцен, т. X, стр. 69 и сл.

[13] «Известия Общества археологии, истории, этнографии при Государственном Казанском университете», т. XXXIII, вып. 4, 1927, стр. 76.

[14] Н. Я. Аристов. Указ. соч., стр. 66.— Курсив мой.— *М. Н.*

[15] А. П. Щапов. Соч., т. III, стр. XXXIV (ср. М. К. Лемке. Дело воскресников. —«Очерки освободительного движения „шестидесятых годов". По неизданным документам». СПб., 1908, стр. 399—438.

[16] Герцен, т. XVI, стр. 73 (комментарии).

[17] Об активном участии Чернышевского в хлопотах по делу имеется ценный опубликованный документальный материал. Ср., например, его письмо к А. А. Краевскому от февраля 1862 г.: «По поручению лиц, сочувствующих г. Щапову, я заходил к вам, Андрей Александрович, просить вас участвовать в депутации, которая должна отправиться к Головнину для представления прилагаемой мною записки. К записке этой собираются подписи 〈...〉 В депутацию предполагается назначить вас, г. Некрасова, г. Тиблена и меня» (Чернышевский, т. XIV, стр. 448).

В этой связи чрезвычайно интересно неизвестное письмо Г. Е. Благосветлова от 4 февраля 1862 г. к Краевскому, найденное Н. Г. Розенблюмом. Публикуем его полностью:

Милостивый государь Андрей Александрович!

Чернышевского я не застал дома и потому ничего не могу сообщить вам о деле Щапова. Между тем и с других сторон слышится, что Головнин не имеет отношения к этому делу. Пусть мальчики действуют поосторожней, иначе придется просить у Юпитера нового журавля для лягушек.

С совершенным уважением к вам

Григ. Благосветлов

1862 4 февраля

(ГПБ, Письма к А. А. Краевскому, Б —.В, л. 234).

[18] Н. Я. Аристов приводит из письма Герцена к Щапову следующую цитату: «Ваш свежий голос, чистый и могучий, теперь почти единственный, отрадно раздается среди разбитых и хриплых голосов современных русских писателей и глубоко западает в душу» (Н. Я. Аристов. Указ. соч., стр. 74).

[19] Н. Я. Аристов. Указ. соч., стр. 74.— Курсив мой.— *М. Н.*

[20] Герцен, т. X, стр. 73, 76; т. XV, стр. 66, 307; т. XVI, стр. 72—73; т. XVII, стр. 238, 380; ср. также М. К. Лемке. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». СПб., 1908, стр. 110—112.

[21] Герцен, т. XV, стр. 66, 307.— О доносе Андрея Муравьева по поводу статьи Щапова «Земство и раскол»— см. А. П. Щапов. Соч., т. III, стр. 57.

[22] Герцен, однако, совершает здесь ту ошибку, что считает панихиду посвященной памяти расстрелянного Антона Петрова. Это не так, — когда служилась панихида, Петров еще был жив, приговор над ним был приведен в исполнение днем позже (ср. Герцен, т. XVII, стр. 197, 238). Панихида служилась по убитым крестьянам.

[23] В рукописи заглавие таково: «Письмо Щапова к кн. Вяземскому. Переписано 7-го янв‹аря› ‹18›62».

Павел Петрович Вяземский (1820—1888), сын поэта П. А. Вяземского, с 1859 г. состоял попечителем Казанского учебного округа. В 1862 г. он перешел на службу в Министерство внутренних дел и стал председателем С.-Петербургского комитета цензуры, а с 1881 г.— начальником Главного управления по делам печати.

[24] «Куртинская панихида» — панихида по жертвам Бездиинского восстания — была отслужена в вербное воскресенье 16 апреля 1861 г. после вечерни в церкви Казанского городского кладбища, называемого «Куртино» (по старому названию места),— отсюда название панихиды. Панихиду служили «соборне»: два священника и иеромонах «в сослужении» дьякона и иеродьякона, причем один священник, иеромонах и иеродьякон были студентами Казанской духовной академии и учениками Щапова. Во время панихиды служившие ее поминали «рабов божиих во смятении убиенных». На клиросе пели студенты духовной академии и университета, а «вечную память» пели все присутствовавшие, которых собралось очень много, преимущественно студентов. Свою речь Щапов произнес после панихиды с амвона (см. свидетельство очевидца *П. В.* «К биографии А. П. Щапова».— «Древняя и новая Россия», 1876, № 9, стр. 104).

[25] Упоминаемая тут и далее секта «бегунов» — одно из течений русского раскола, особенно интересовала Щапова, уделившего ей значительное внимание в своих работах о старообрядчестве и отдельное исследование во второй части труда «Земство и раскол», имеющее подзаголовок: «Бегуны» (см. А. П. Щапов. Соч., т. I, стр. 505—579). «Все учение бегунов есть всецелое, решительное, деятельное или фактическое отрицание всех основных начал и учреждений империи, всей государственной системы»,— пишет Щапов (стр. 574). Бегуны отрицали присягу царю, подати, оброки, запись «ревизских душ» и т. д. Упомянутые в тексте имена Никиты Семенова и Евфимия — имена руководителей и идеологов секты.

[26] Слова крестьянина, участника «холерного бунта» — восстания военных поселян в Новгородской губ. в 1831 г. (ср. П. П. Евстафьев. Восстание военных поселян Новгородской губернии в 1831 г. М., 1934).

[27] Ироническое наименование Екатерины II.

[28] Один из руководителей секты бегунов.

[29] Имеется в виду «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, где в главе «Спасская полесть» описана странница Прямовзора («глазной врач»), которая сняла бельма с глаз правителя и дала ему возможность увидеть не вымышленное благополучие народа, а истинную картину его угнетения.

[30] Под «декабрьщиной» Щапов разумеет здесь движение декабристов, под «матрикульщиной» — студенческое движение 1861 г., связанное с отказом студентов принять «матрикулы», что было бы равносильно принятию новых стеснительных для студентов правительственных правил. Не принявшие матрикулов студенты, участники выступлений, подверглись суровым репрессиям, многие были заключены в Петропавловскую крепость.

[31] Праздник тысячелетия России приходился на 1862 г.— его было решено торжественно отметить. Щапов готовил к официальному торжеству ряд статей, разоблачающих самодержавную централизацию и угнетение народа на всем протяжении истории России.

[32] Имеется в виду астраханское восстание 1705—1706 гг. во время царствования Петра I. Восстание возглавил ярославский купец Яков Носов, выбранный атаманом движения и ставший во главе нового астраханского управления, организованного восставшими.

[33] Речь идет о стихотворении П. А. Вяземского «Заметка» в августовской книжке «Русского вестника» 1861 г. (см. о нем в предисловии к настоящей публикации).

О МЕМУАРАХ А. А. СЛЕПЦОВА

Сообщение В. Э. Боград а

История возникшего в начале 1860-х годов тайного революционного общества «Земля и воля» недостаточно исследована и крайне бедна документальными источниками, в частности мемуарными. Среди последних значительную ценность представляют воспоминания одного из основателей «Земли и воли», члена ее Центрального комитета Александра Александровича *Слепцова*. О существовании этих воспоминаний — «тетради Слепцова» — неоднократно свидетельствовал М. К. Лемке, напечатавший из них несколько отрывков и цитат в X и XVI томах вышедшего под его редакцией Полного собрания сочинений и писем Герцена и во втором издании своей книги «Политические процессы в России шестидесятых годов» (М.— Пг., 1923, стр. 318). При публикации этих материалов Лемке сообщил, что полный текст «тетради Слепцова», а также своих записей, сделанных под диктовку Слепцова, он «намерен дать в особой специальной работе»[1]. Однако в связи со смертью исследователя (1923), задуманный им труд о «Земле и воле» не был написан, и обещанная публикация «тетради Слепцова» в печати не появилась. В архиве Лемке, хранящемся с 1941 г. в Институте русской литературы, «тетради Слепцова» не оказалось. Загадочность судьбы воспоминаний Слепцова не находила объяснений и порождала неверие в их существование. Так, например, Б. П. Козьмин, в статье «Был ли Чернышевский автором письма „Русского человека“ к Герцену?» писал: «Дело в том, что ни копии письма „Русского человека“, ни автографа воспоминаний Слепцова, ни вообще каких-либо записей, сделанных последним, никто, кроме Лемке, не видал, и где находятся они, — *если только они в действительности существовали*, — никому неизвестно»[2]. Тем самым ставилась под вопрос и достоверность опубликованных Лемке отрывков, имеющих, несмотря на свою фрагментарность, большое значение для истории «Земли и воли».

Обнаруженные нами и публикуемые здесь документы устраняют сомнения в существовании «тетради Слепцова», содержавшей материалы и наброски к начатому, но далеко не завершенному мемуарному труду о революционном движении шестидесятых годов. Замысел такого труда возник у Слепцова в самом конце его жизни. Взяться за перо мемуариста его заставили воспоминания Л. Ф. Пантелеева, одного из членов «Земли и воли». Они стали появляться отдельными статьями в периодической печати с начала 1900-х годов и были встречены Слепцовым крайне враждебно.

Когда в декабре 1904 г. в газете «Наша жизнь» Пантелеев напечатал ту главу из своих воспоминаний, в которой речь шла о «Земле и воле» и о последующей судьбе ее деятелей, Слепцов 18 декабря 1904 г. обратился к автору со следующим письмом:

С изумлением читаю я, Лонгин Федорович, те пошлости и гнусности, которые вы печатаете в газете «Наша жизнь», под видом «воспоминаний о давно минувшем». Жду окончания их, чтобы высказаться о них во

всеуслышание, но теперь же, как излюбленный герой ваших измышлений, считаю себя вправе требовать, чтобы вы выражались яснее. Вы напечатали в № 41: «Действительная причина удаления г-на с пенсне со службы была другая: в одной реакционной газете начались в это время вылазки против ведомства, где он служил, и делались прямые указания, что в нем свили гнездо неблагонамеренные элементы — бывшие женевцы».

Многие читатели строчки эти поняли в том смысле, будто «г. с пенсне» удален был своим начальником и школьным товарищем по подозрению, что «указания реакционной газеты» написаны им.

То ли вы хотели сказать? Выскажитесь, пожалуйста, определеннее и не стесняйтесь.

Перед клеветой вы, очевидно, не останавливаетесь, а раз дело идет о вымысле — дорисовать фигуру, вами измышленную, приписав ей еще и донос, очень уместно.

А. Слепцов[3]

Намерение Слепцова высказаться о воспоминаниях Пантелеева «во всеуслышание» не осталось одним только желанием. В бумагах Слепцова сохранился набросок его полемической заметки, направленной против мемуарного труда Пантелеева. Судя по тому, что Слепцов ссылается лишь на публикацию пантелеевских воспоминаний в газете «Наша жизнь» и не упоминает об их отдельном издании, первый том которых вышел в марте 1905 г., его заметку следует датировать концом 1904 — началом 1905 г. Вот текст двух отрывков из этого документа:

В ряде фельетонов газеты «Наша жизнь» помещались воспоминания Л. Ф. Пантелеева о давно минувших днях 1861—63 гг. От внимательных читателей этих фельетонов — насколько я мог убедиться — не ускользнули ни противоречия, которыми изобилуют сделанные сообщения, ни явно пристрастное отношение автора к отдельным личностям, ни его желание выставить себя чуть ли не единственным трезвым деятелем среди каких-то шутов, подвергавших себя и людей серьезным опасностям ради ребяческой игры в тайное общество. Неблагоприятное впечатление производят эти фельетоны еще и потому, что представляют собою не более как рассказы болезненно самолюбивого участника одного из кружков того времени об отдельных личностях, не давая никакого понятия ни об общем настроении эпохи, ни о стремлениях, одухотворявших первые шаги нашего общественного самосознания, нашей освободительной работы после 19 февраля. Эти первые шаги в фельетонах г. Пантелеева совершенно обессмысленны. Между тем вряд ли они могли быть бессмысленны, душою их являлись такие личности, как Чернышевский, Н. Серно-Соловьевич... А что это было так — свидетельствую, и думаю, что на это имею право. Г-н Пантелеев рисует мое участие в деятельности 61—63 гг. в очень нелестных красках, изображая меня под псевдонимом «господин в пенсне»... Но даже из того, что он говорит, ясно, что с делами того времени я знаком, и знаком много более, чем он.

[Если я о них не говорил до сих пор — потому, что, как известно, говорить о них и теперь еще неудобно, да и потому, что делал свое дело не напоказ, а по внутреннему побуждению. Глядя на развитие общественного самосознания в настоящем, может быть, мне и приятно сказать себе: «Счастлив, что и моего тут капля меду есть», но зачем же трубить об этом?]

И Слепцов так излагал причины, побудившие его взяться за перо:

И к чему, думалось мне, рассказывать! Потрудился каждый из нас, как смог и как сумел, имеет счастье видеть, что общественное дело выясняется и крепнет и может спокойно сойти со сцены, уступая место новым поколениям.

Но одно дело пройти путь свой хотя и незаметно, но спокойно, другое — услышать у гроба клевету и на себя, и на целый ряд людей близких, и на самое дело, которому служил всей душою и всем достоянием. Когда в печати появились россказни вроде тех, которые написал г. Пантелеев, приходится взяться за перо и, насколько еще позволяют силы, восстановить «давно минувшее» в его истинном свете. В деле молодом были, конечно, черты молодости ⟨...⟩, но в нем не было той буффонады, которую рисует г. Пантелеев[4].

Слова «приходится взяться за перо и, насколько еще позволяют силы, восстановить давно минувшее в его истинном свете» явно указывают на замысел развернутого ответа Пантелееву в форме своих собственных воспоминаний. Приведенный текст следует рассматривать как набросок начала такого ответа, как первый приступ к работе.

Работа эта, как будет видно из дальнейшего, осталась незавершенной. Но в феврале 1906 г. Слепцов предпринял неудавшуюся попытку выступить в печати, а именно в журнале «Былое», с краткой полемической «заметкой» по поводу воспоминаний Пантелеева. Об этом мы узнаем из следующего письма редактора «Былого» В. Л. Бурцева к Слепцову (письмо датируется по почтовому штемпелю на конверте):

⟨Петербург. 19 февраля 1906 г.⟩

Многоуважаемый Александр Александрович!

Очень жалею, что вы нам поставили такие невозможные условия: или печатать *всё*, или не печатать ничего. Мы охотно воспользовались бы сущностью вашей заметки, но у нас решено полемики, особенно *резкой*, не помещать. Мы охотно напечатали бы ваш рассказ о 60-х годах. Вы — наиболее компетентный человек насчет событий того времени. Вы *должны* написать свои воспоминания. Чем мы, люди 80—90 гг., виноваты, что среди вас, шестидесятников, до сих пор не нашлось почти никого, кто бы счел нужным разыскать документы о своем времени и рассказать о нем то, что память сохранила.

Это ваша *обязанность*. Исполните ее.

Ведь, не странно ли, и документы-то о вашем времени разыскиваем *мы*, а не ваши современники.

Еще раз повторяю вам свою просьбу: *запишите ваши воспоминания*, комментируйте нам те документы, которые мы разыскали и напечатали.

Готовый к вашим услугам Вл. Бурцев[5]

На письме имеется надпись М. Н. Слепцовой: «Это ответ Бурцева на негодующее письмо Ал. Ал. Слепцова и указания на неточности (чтобы не сказать более) в записках Л. Ф. Пантелеева». Ни «негодующее письмо» Слепцова, ни «заметка» его, отвергнутая Бурцевым за ее резкий полемический тон, до нас не дошли или остаются неразысканными.

Задетый отказом Бурцева, Слепцов, по-видимому, никак не откликнулся на его предложение написать для «Былого» воспоминания о шестидесятых годах и прокомментировать своими рассказами опубликованные в журнале документы по революционному движению этого времени.

Но примерно за месяц до конфликта с Бурцевым к Слепцову обратился с аналогичной просьбой М. К. Лемке. К *его* предложению помочь «восстановить картины 60-х годов в истинном свете» Слепцов отнесся с полным сочувствием. На письмо Лемке, содержавшее эту просьбу (оно остается неизвестным), Слепцов отвечал:

12 января 1906.
Симбирская 12. СПб.

Милостивый государь
Михаил Константинович!

Письмо ваше застало меня на пороге, уезжающим на вокзал, поэтому извините за спешный ответ на первом попавшемся листке. Еду в деревню за женой, которая, выехав туда на праздники, там захворала. Возвращусь через неделю, дней через 10, и тогда извещу вас. Душевно рад помочь чем могу восстановлению картины 60-х годов в истинном свете. Давно пора!

Искренне горя желанием послужить вашему делу.

А. Слепцов[6]

Слепцов, однако, пробыл в отъезде значительно дольше и возвратился в Петербург только 4 февраля. На другой день после приезда он предложил Лемке (в письме от 5 февраля) встретиться с ним, а телеграммой от 7 февраля извещал: «Завтра среду могу быть дома только до семи не приедете ли в шесть? Иначе прошу четверг в семь вечера»[7]. С этого времени началось личное деловое общение Лемке со Слепцовым. Непосредственные впечатления о первой встрече переданы в дневнике Лемке такой записью, датированной 15 февраля 1906 г.:

«Был у А. А. Слепцова. Ему теперь 70 лет. В 60-х годах он был близок с Серно-Соловьевичем и Чернышевским. Много рассказывал. Очень недоволен статьей о созданной им „Земле и воле" Пантелеева. Говорит, что теперь, чувствуя, что смерть близится, будет спешить записать все, что ему известно о революционной работе 1860-х годов. Я заинтересовался, поддержал его. Мария Николаевна — куда против него — совсем молодец. Какой-то странный брак. Он, видимо, любит похвастаться, но очень интересный человек»[8].

Вероятно, в ближайшие же дни после первого свидания с Лемке Слепцов отослал ему ту полемическую заметку против воспоминаний Пантелеева, которую отказался полностью печатать Бурцев. Посылка сопровождалась следующим письмом, текст которого сохранился в копии М. Н. Чернышевского, снятой с черновика Слепцова:

⟨Петербург. После 15 февраля 1906 г.⟩

Многоуважаемый
Михаил Константинович,

Вы просили меня хотя бы в кратких чертах рассказать, что вспомню, об эмбриологическом периоде пореформенного освободительного движения, о тех «шестидесятых» годах, свидетелей которых осталось в живых так немного.

С подобным призывом к «воспоминаниям» обращались ко мне не раз многие, но я до сих пор не только не записал ничего, но даже редко, очень редко и неохотно рассказывал кое-что о минувшем. Почему? По многим причинам. Главным образом потому, что говорить о себе как-то неловко, да, казалось, и незачем. Работалось не для того, чтобы рассказать о своих деяниях, а в удовлетворение внутренней потребности согласовать жизнь с идеалами... Как бы то ни было, мне 70 лет, я два раза был на краю гроба и ожил, после тяжких болезней, совершенно неожиданно и для людей и для себя, а никогда не исповедывался в прожитом даже близким...

Однако за последнее время пришлось убедиться, что в своем упорном молчании я был неправ. Пришлось пожалеть, что я не взялся за «воспо-

А. А. СЛЕПЦОВ

Фотография, 1890-е гг.

Центральный архив литературы и искусства, Москва

минания», когда и память была много свежее и пособить ей могли многие сверстники. Увы, теперь из них уже в живых не осталось почти никого. И те, которые еще не умерли — только полуживы, забыли многое... Изменили мои отношения к «воспоминаниям» те картины 60-х годов, которые рисуют в настоящее время на моих глазах, изображая эти годы и деятелей их далеко не правдиво. Пусть бы забыли о прошлом — куда ни шло, но его совершенно не понимают, на него клевещут. И этой низости уже нельзя ⟨не⟩ постановить отпора.

Поэтому и решаюсь удовлетворить вашему желанию по мере оставшихся сил и возможности. Говорю о «возможности» ввиду того, что, будь я посвободнее, посостоятельнее, — я бы и теперь мог, конечно, написать много больше, проверив, освежив свою память ⟨с⟩ помощью пересмотра старинных газет, посетив нескольких стариков, доживающих последние годы на покое по разным углам России, порывшись в семейных архивах... Но, увы, несмотря на свой преклонный возраст, я не имею никаких средств к существованию, кроме небольшой пенсии (1200 р., из которых две пятых еще удерживается казначейством за долги) и заработков. От этой заботы о хлебе, при настоящей пониженной работоспособности, на «воспоминания» много времени уделить я не в состоянии. Примите, что пока могу дать. Если окажется досуг и «бог века продлит» (как говорится), пополню кое-что впоследствии.

Все, что напишется, передаю вам в ваше полное распоряжение. Вы спросите, почему не посылаю я этих страниц в печать? А потому, что печать (да будет ей стыдно!) по отношению ко мне уже заявила себя крайне пристрастной в защиту одного из самых неправдивых изобразителей 60-х годов, — не допуская меня свидетельствовать свободно, невзирая на то, что я свои свидетельства подписывал полной фамилией, что вы, усердно роясь в подлинных документах, беседуя с лицами, прикосновенными к прошлому, слышавши о нем от отцов, имеете случай и будете всегда иметь возможность проверить правдивость моих показаний, хотя бы настолько, чтобы, получив подтверждение некоторых частностей, проникнуться доверием и к целому. И тогда они, полагаю, вам пригодятся.

Если признаете мои листы на что-нибудь годными, — печатайте их в целом, по частям, в извлечениях, — как хотите. В дополнение к ним буду, по мере того, как встретятся в печати строки, которые я сочту полезным комментировать, присылать вам свои заметки. Начинаю с присылки вам той заметки, которую не согласилось напечатать полностью «Былое». На днях пришлю еще кое-какие такие же отрывочные заметки [9].

Записи в дневнике Лемке подтверждают, что Слепцов горячо принялся за работу над воспоминаниями. Из этих же записей видно, что по ходу работы Слепцов обращался к архивным источникам. Так, 23 февраля Лемке встретил Слепцова у Н. П. Барсукова, заведующего архивом Министерства народного просвещения, к которому тот заходил за справками о своей службе в этом министерстве.

Сохранившиеся же в бумагах Слепцова черновики нескольких писем свидетельствуют, что, в поисках интересовавших его сведений о «Земле и воле» и ее деятелях, он специально вступил в переписку с рядом корреспондентов. Так, в письме к С. П. Ганнефельд (дочери В. С. Ганнефельд, урожд. Корсаковой) от 6 февраля 1906 г. он просил сообщить ему дату смерти А. С. Корсакова, мотивируя это тем, что старается «воспроизвести картины 60-х годов и дорого бы дал, между прочим, за всякое упоминание, которое может помочь восстановлению хоть сколько-нибудь полных образов друзей моей молодости А. С. Корсакова и А. А. Мордвинова» [10]. К этому же времени относится письмо Слепцова к А. А. Черкесову, в котором, предлагая вступить в переписку, он просил на первый раз сообщить биографические сведения о Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичах, об основании библиотеки и переходе ее к Черкесову и также о том, как Серно-Соловьевич открыл вместе со Слепцовым в своем доме на Обуховском проспекте читальню и народную библиотеку [11]. Кроме того, здесь же хранится письмо к Слепцову неизвестного лица из Ташкента (1906 г.), в котором идет речь о связи между ними по «Земле и воле» [12].

Живое и поэтическое описание работы Слепцова над мемуарами о «Земле и воле» находим мы в известных воспоминаниях его жены, М. Н. Слепцовой — «Штурманы грядущей бури»:

«Уже за полночь. В доме тишина. За письменным столом перед раскрытой книгой сидит старик. Старик годами, но его мощная фигура и ясные глаза полны жизни. Мысли его, видимо, блуждают в далеком, далеком прошлом. Воспоминания вызваны раскрытой книгой Л. Ф. Пантелеева „О давно минувших днях (1861—1868 гг.)“. Многими противоречиями изобилуют сообщения. Явное пристрастие проявляет автор к отдельным личностям. Странное желание выставить себя чуть ли не единственным трезвым деятелем среди каких-то лиц, подвергавших себя и других людей серьезной опасности ради ребяческой игры в „тайное общество“, сплошь и рядом сквозит между строк. Нет в воспоминаниях ни характеристики общего настроения эпохи, ни понятия о стремлениях, одухотворяющих первые шаги общественного самосознания того времени, об освободительной работе после 19 февраля 1861 г.

И вот перед одиноко сидящим в глухую полночь человеком мелькают картина за картиной, из далекого прошлого. Пестрота событий, лиц, мест, желаний, стремлений» [13].

Враждебная оценка мемуаров Пантелеева не имеет здесь самостоятельного значения. Это лишь отражение отношения Слепцова к воспоминаниям Пантелеева. Чтоб убедиться в этом, достаточно отметить, что суждение Слепцовой о мемуарах Пантелеева («Нет в воспоминаниях ни

характеристики общего настроения эпохи...») почти текстуально совпадает с их оценкой в опубликованной выше заметке Слепцова.

22 июня 1906 г. Слепцов умер. Лемке отправил М. Н. Слепцовой телеграмму с соболезнованием по поводу смерти ее мужа, а по прошествии двух месяцев письмо (от 16 августа 1906 г.), в котором сообщал: «На днях я сажусь писать свою большую работу о деле, в котором главную роль играл Н. А. Серно-Соловьевич; нельзя будет не коснуться и глубоко уважаемого мною Александра Александровича, который уже упоминается в документах. Дорожа широтой и правильностью освещения, мне хотелось бы знать, не сможете ли вы помочь мне кое-какими документами, может быть оставшимися после Александра Александровича». Для большего успеха своей просьбы Лемке, зная о враждебном отношении М. Н. Слепцовой к воспоминаниям Пантелеева, обосновывал ее тем, что он, конечно, не стал бы ее сейчас беспокоить, если бы не желание возразить Пантелееву, а, по его мнению, «делать это нужно именно теперь» [14]. М. Н. Слепцова ответила Лемке из Меррекюля 20 августа, выражая желание по приезде в Петербург передать ему оставшиеся рукописи Слепцова:

«Во-первых, позвольте пожать вашу руку за то отношение к Александру Александровичу, которое выразилось в вашей телеграмме после его кончины. Я много получила чрезвычайно трогательных писем и телеграмм, в которых люди, служившие с мужем или знавшие его долго, лет от сорока — выражали свое уважение, удивление и любовь к нему. Но вы знали его так мало! Только человек с чутким сердцем мог во всю величину оценить этого действительно замечательного человека при знакомстве кратковременном. Вот почему ваше отношение и ценно для меня и сразу сделало вас моим другом. Простите за непрошенную дружбу: я говорю о своем душевном отношении. Но не в моих признаниях дело. Гораздо интереснее для вас деловая сторона письма; вот она: у мужа остались некоторые заметки, наскоро набросанные им, есть несколько фотографических портретов лиц 60-х годов, но все это мной не разобрано и оставлено в городе, куда я приеду только в середине сентября.

Вряд ли вы разберетесь в его скорописи. Все старые документы и заметки, как вы, кажется, знаете со слов мужа, были сожжены его братом. На всякий случай, я дам вам все, что есть, но не поздно ли это будет? Моя память так плоха, что я не смогу восстановить перед вами слышанное от мужа, но, мне кажется, вот кто может вам помочь: за год до смерти Александр Александрович долго и подробно беседовал с Сергеем Николаевичем Южаковым. Тот хотел даже написать ему письмо, как документ, кажется, как раз против Пантелеева. Обратитесь к Южакову. Скажите, что я его очень прошу дать вам все данные для выяснения участия Александра Александровича в делах 60-х годов. Скажите, что для меня чрезвычайно горько то ложное и глупое освещение, в каком он выведен у Пантелеева. Мы с Южаковым старые приятели, и он, я уверена, расскажет вам, что сам знает (увы, очень малое), что он лично мне доставит удовольствие. Вот все, чем пока я могу вам помочь»[15].

Лемке воспользовался указанием М. Н. Слепцовой и через некоторое время зашел к Южакову. «Был у Южакова с письмом Слепцовой,— записал он 7 сентября 1906 г. в своем дневнике.— Он, в сущности, ничего не знает по делу Серно-Соловьевича и Гольц-Миллера»[16].

Общение Лемке со Слепцовой на этом не прекратилось. Вскоре после приезда из Меррекюля в Петербург М. Н. Слепцова 7 сентября просила Лемке зайти к ней. «Я охотно передам вам,— писала она,— те мало-

численные заметки, которые оказались у мужа, и несколько писем, принадлежащих, кажется, Серно-Соловьевичу»[17]. Из содержания дальнейшей переписки Слепцовой с Лемке видно, что она и сама продолжала собирать дополнительные данные о «Земле и воле», вела переписку с немногочисленными оставшимися в живых членами этой организации. Так, например, в ее письме к Лемке от 4 октября 1906 г. читаем: «За адрес Алексеева — спасибо. Кочетов и мне не ответил. Очевидно, он не желает трогать былых воспоминаний. Другой человек, к которому можно было обратиться, — Апрелев, убит в Сагале! Редеют ряды... Уменьшаются данные для истины»[18].

О том, что Слепцова осуществила свое намерение передать Лемке все найденные ею в бумагах мужа записи и материалы о «Земле и воле», свидетельствует позднейшее заявление исследователя, подтвержденное впоследствии следующими словами Слепцовой: «К сожалению, смерть прервала его ⟨Слепцова⟩ записи, а начало их, переданное мною М. К. Лемке и отчасти использованное им в своих работах в „Былом“ 1906 г. и в собрании сочинений Герцена, бесследно погибло со смертью Лемке»[19].

Важным источником, подтверждающим существование мемуарных записей Слепцова, являются публикуемые ниже копии трех отрывков из воспоминаний Слепцова, снятые с его автографической рукописи в 1913 г. М. Н. Чернышевским. Копии найдены нами в бумагах А. Н. Пыпина, хранящихся в Отделе рукописей Пушкинского дома[20].

Первый публикуемый отрывок содержит план, или, точнее говоря, часть плана воспоминаний Слепцова. Копия его снята неизвестной рукой, но исправлена и продолжена рукой М. Н. Чернышевского. Не зная подлинника, с которого делался список, трудно решить, скопирован ли набросок плана воспоминаний полностью. Возможно, что план воспроизведен лишь в той части, которая прямо или косвенно относится к Чернышевскому. Это предположение возникает хотя бы из того, что М. Н. Чернышевским опущена часть текста (пропуск обозначен многоточиями), относящегося к пребыванию Слепцова за границей в 1860 г.

Второй публикуемый отрывок — о первом свидании Слепцова с Чернышевским, воспроизводит с некоторыми дополнениями и вариантами текст того фрагмента, который был опубликован Лемке в десятом томе Полного собрания сочинений и писем Герцена (стр. 425—427).

Нами найдены две копии этого отрывка. Одна из копий снята той же неизвестной рукой, что и план воспоминаний Слепцова, но опять же дополнена и исправлена рукой М. Н. Чернышевского. Другая копия является целиком автографом М. Н. Чернышевского.

Таким образом, мы располагаем сейчас тремя источниками текста для того важного места из воспоминаний Слепцова, в котором описывается его первая встреча с Чернышевским и разговор с ним о Герцене и тайном обществе: двумя рукописными копиями и публикацией Лемке. Первая копия была снята неизвестным нам лицом по поручению М. Н. Чернышевского. В этой копии осталось много пробелов для мест, не разобранных в скорописи Слепцова. Эти пробелы и были заполнены рукою М. Н. Чернышевского. Им же был внесен в текст ряд дополнений и исправлений. Все это не оставляет сомнений в том, что копии сличались с первоисточником лично М. Н. Чернышевским и что этим первоисточником был автограф Слепцова. О последнем свидетельствует также и надпись М. Н. Чернышевского на полях: «Зачеркнуто в оригинале» (надпись относилась к подчеркнутым М. Н. Чернышевским словам в незаконченной фразе: «Что же, это дело, — твердо сказал Чер-

нышевский.— А вы, Александр Александрович, пробовали писать какие-нибудь»).

Сверив копию и внеся в нее много исправлений и дополнений, М. Н. Чернышевский перебелил весь текст, затем продолжил его рассказом Слепцова о приходе к нему Чернышевского (рассказ этот составляет содержание третьего отрывка нашей публикации). На этой перебеленной копии М. Н. Чернышевский сделал следующую надпись: «Из тетрадки Слепцова,— наброски по памяти, сделанные им по просьбе М. К. Лемке, 16. X. 1913. Мих. Чернышевский». Следовательно, копия была снята М. Н. Чернышевским за шесть лет до того, как этот отрывок был напечатан Лемке в десятом томе сочинений Герцена, вышедшем в свет в 1919 г.

Публикация отрывка, осуществленная Лемке, восходит к его собственному чтению подлинника, отличающемуся от чтения М. Н. Чернышевского. В нашей публикации воспроизводится более полный текст копии М. Н. Чернышевского с приведением в подстрочных примечаниях наиболее значительных вариантов другой копии, снятой неизвестной рукой и правленной М. Н. Чернышевским (сокращенно — *копия Н*).

Изучение этих вариантов показывает, что Лемке напечатал отрывок о первой встрече Слепцова с Чернышевским довольно небрежно. Он пропустил несколько мест, трудных для чтения, другие же прочел, по-видимому, неверно. Так, например, в копии М. Н. Чернышевского читаем: «Он ⟨Герцен⟩ не удовлетворял меня ⟨Слепцова⟩, но я еще не понимал, что для данного момента Герцену подобает только глубокая признательность, как несомненно крупному деятелю прошлого, что в руководители будущего он уже был непригоден. Впоследствии, при встрече в Ницце... приходят к этому сознанию... как он не сразу согласился». Из многоточий, поставленных М. Н. Чернышевским в последней фразе, видно, что в автографе Слепцова она с трудом поддавалась прочтению. М. Н. Чернышевский плохо прочел фразу. О смысле ее можно лишь догадываться. Лемке же вышел из трудного положения просто: без каких-либо оговорок он полностью ее опустил.

Другой пример. В копии М. Н. Чернышевского читаем: «Между ним ⟨Герценом⟩ и мною не происходило решительных пререканий; он вселял во мне недоверие к себе чрезвычайным самомнением, самое искрометное остроумие его мне *тоже* не нравилось, когда оно было отравлено самомнением, *призванием к своему требованию* * *даже тогда, когда и уже не... как он... когда нападал на свист „Very dangerous“*». Выделенные курсивом слова у Лемке не напечатаны.

Дальше в публикации Лемке читаем: «Герцен,— спешил я *ответом* ⟨Чернышевскому⟩,— был ко мне очень внимателен, дал мне позволение приходить к нему в дни, не назначенные для общего приема, знакомил меня *с Лондоном, познакомил с Мащини...*, говорил я и все глядел на своего собеседника». В копии М. Н. Чернышевского этот же текст записан так: «Герцен,— спешил я *ответить* ⟨Чернышевскому⟩,— был ко мне очень внимателен, дал мне позволение приходить к нему в дни, не назначенные для общего приема, знакомил меня *в Лондоне с разными вопросами особенно, познакомил с Мадзини, что было мне очень интересно.*

Говорил я и все глядел на своего собеседника».

Из сравнения этих двух отрывков можно предположить, что М. Н. Чернышевский и в данном случае прочел и записал текст Слепцова точнее, чем Лемке.

Последний пример.

---

* *Над этим словом М. Н. Чернышевский поставил знак вопроса.— В. Б.*

В копии
М. Н. Чернышевского:

— Надо было сперва приглядеться к... ⟨сказал Чернышевский, обращаясь к Слепцову⟩, какая почва для сеяния. Ведь, вот, говорят, будет крестьянское движение в 63 году... будет ли?

Тут не дал ответить и вместе с тем поставил вопрос *:

— А вы пробовали составлять прокламации?

— Нет, и не думаю, чтобы было возможно... не зная публики.

— А если бы пришлось все-таки... Интересно бы посмотреть как вы пишете.

. . . . **

— Ну вы попытайтесь, а я как-нибудь на днях зайду к вам, поговорим обстоятельнее.

Результат вечера превзошел мои ожидания. Как я потом уверился, Чернышевскому именно по душе пришлось мое сомнение в Герцене и сознание необходимости нащупать почву для дела прежде, чем приниматься за дело.

В публикации
М. К. Лемке:

— Надо бы сперва приглядеться и разъяснить, ⟨— сказал Чернышевский, обращаясь к Слепцову, —⟩, какая почва для слияния разных кружков... Ведь, вот, говорят, будет крестьянское движение в 63 году. Будет ли?

— А вы пробовали составить прокламацию?

— Нет... И не думаю, чтобы было возможно...

— *А если бы пришлось, все-таки? Интересно бы посмотреть, как у вас вышло бы?*

— *Вместо меня вы попытайтесь, а я как-нибудь на днях зайду к вам поговорить обстоятельнее.*

Результат свидания превзошел мои ожидания. Как я потом убедился, Чер⟨нышевско⟩му именно по душе пришлось мое сомнение в Герцене и сознание неизбежности нащупать почву прежде, чем приняться за дело.

Обратим внимание на подчеркнутые нами слова. Во-первых, Лемке пропустил в своей публикации ремарку Слепцова, имеющуюся в копии М. Н. Чернышевского: «Тут ⟨Чернышевский⟩ не дал ответить и вместе с тем поставил вопрос». Пропуск этот позволял приписать следующий затем в публикации Лемке вопрос: «А вы пробовали составить прокламацию?» — не Чернышевскому, а Слепцову. Во-вторых, Лемке опустил в своей публикации строку многоточий между двумя фразами, имеющуюся в копии М. Н. Чернышевского, где она, несомненно, обозначала текст, который не удалось прочесть. Вследствие этого у Лемке получилось, что не Чернышевский Слепцову, а Слепцов Чернышевскому дает совет попытаться составить прокламацию и в этой связи обещает: «Я как-нибудь на днях зайду к вам поговорить обстоятельнее». Чтоб окончательно убедиться в ошибке, допущенной Лемке, достаточно обратиться к началу публикуемого ниже третьего отрывка из мемуарных набросков, где Слепцов пишет: «Через несколько дней Чернышевский действительно зашел ко мне».

По-видимому, ошибся Лемке и в чтении слова «сеяния», которое он прочитал как «слияния». Комментирующие же это чтение слова «разных кружков», вероятно, добавлены самим Лемке. Во всяком случае, ни в копии, изготовленной рукой неизвестного для М. Н. Чернышевского, ни в копии, перебеленной самим М. Н. Чернышевским, этих слов нет.

---

* *Ср. с публикацией Лемке, в которой набранная курсивом фраза отсутствует* (Герцен, т. X, стр. 427).—*В. Б.*

** *Строка многоточий в публикации Лемке отсутствует.— В. Б.*

Отметим, наконец, что в «тетради Слепцова» имелся рассказ о его впечатлениях от встречи с Герценом в Лондоне. На это указывают следующие печатаемые нами курсивом слова в копии М. Н. Чернышевского, пропущенные в публикации Лемке: «Хотелось мне высказать свои, *уже описанные выше*, впечатления из поездки в Лондон».

Третий публикуемый отрывок — об ответном посещении Слепцова Чернышевским, как уже сказано, непосредственно примыкает по своему содержанию ко второму отрывку и составляет с ним, в копии М. Н. Чернышевского, одно целое.

Таким образом, печатаемые нами отрывки, из которых два вовсе не были известны до сих пор в печати, а один значительно дополняет текст публикации Лемке, не оставляют сомнения в существовании «тетради Слепцова», о которой не раз упоминают и М. К. Лемке и М. Н. Слепцова. Однако из этого отнюдь не следует, что «тетрадь Слепцова» содержала какое-то обширное, единое и законченное произведение мемуарного жанра. Напротив того, из публикуемых нами новых материалов со всей определенностью явствует, что Слепцов, хотя и принял предложение Лемке и горячо взялся за работу над воспоминаниями о «Земле и воле», но успел сделать до своей скорой смерти относительно немного. По словам Лемке, «смерть прервала его труд на первой трети, хотя очерк „Земля и воля“ был задуман ⟨...⟩ нами умышленно кратко, чтобы не затруднить больного и старого человека мелкими подробностями»[22]. Он оставил в своей тетради несколько набросков и заметок. Однако и в таком виде «тетрадь Слепцова», новые страницы из которой здесь публикуются, является важным документом для истории первой «Земли и воли». Следует надеяться, что она не погибла и когда-нибудь будет найдена.

ТРИ ВЫПИСКИ ИЗ «ТЕТРАДИ А. А. СЛЕПЦОВА», СДЕЛАННЫЕ В 1913 г. М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

⟨1⟩

Попробую набросать на первый раз хотя бы только общий очерк своей деятельности после выпуска из лицея до выезда за границу в 1863 году.

Пропущу пока и рассказ о годах, предшествовавших 1860-му году, т. к. они, имея, быть может, интерес биографический, не представляют собою, собственно, ничего интересного по вопросу о первых шагах так называемого реформенного освободительного движения...

Оставляю пока в стороне и то, что помню о тревогах, сопутствовавших в обществе ходу работ по освобождению крестьян, о встрече 19 февраля 1861 года.

Начну прямо с очерка волнений, вызванных разочарованием в «великих реформах», особенно неполнотою «воли», объявленной «Положением», и потребностью упрочить новые формы жизни политической реформой в духе народоправства с возможным ограничением самодержавия.

Начну с эпизода совсем комического. Проникнутый жаждой альтруистической деятельности (см. сказания за годы 56—59), совершенно лишенный соображения о стоимости вещей, о количестве труда, требуемого той или другой задачей, в какой-то уверенности, что любое дело оборудовать можно, было бы искренно, глубоко и то * желание, я, ни с кем не посоветовавшись, подал гр. Блудову (как своему начальнику...

* *Над этим словом М. Н. Чернышевский надписал:* такое-то?

служил я тогда в II отделении собственной его императорского величества канцелярии) заявление, что «желал бы открыть бесплатную гимназию» для приходящих...

№ Свои мечты и расчеты...

Не знаю, какое мнение Блудов и его factotum, правитель дел И. Д. Делянов, имели о моем состоянии, но ни один не обмолвился ни словом сомнения касательно моих лет (23 года), средств подготовки, программ...

(Сцена у Блудова и Делянова).

Блудов поспешил при первом докладе подсунуть мое заявление государю и, приехав, с восторгом оповестил, что гимназия моя высочайше разрешена.

(Беседа, предложение переговорить с Н⟨!⟩ов *.)

Зачисление на службу в Министерство народного просвещения 2 июня.

Беседа с К⟨овалев⟩ским.

Предложение поехать за границу. Командировка на 11 месяцев.

. . . .
. . . .

Гимназия на Петербургской стороне. Читальня.

Дата, когда я жил с Кочетовым.

Мордвинов.

Корсаков.

Серно-Соловьевич.

Неронов, Кочетов, Ольхин[21].

Так я сразу оказался в центре большого кружка.

Первый вечер у Чернышевского.

Проба пера, визит Чернышевского ко мне. Принятое решение, разговор с медиками.

Эта деятельность свела меня
с Серно-Соловьевичем,
со студентами Медико-хирургической академии,
с университетскими профессорами.

⟨2⟩

Наконец, захватил с собой письмо Н. Н. Обручева и отправился к Чернышевскому. Почему-то (кажется, по указанию, данному Обручевым) пошел я к нему вечером, да попал в день какого-то собрания на его квартире. По крайней мере, когда, передав в прихожей письмо и свою визитную карточку прислуге, я затем, по приглашению хозяина, вошел в слабо освещенную залу, там оказалось несколько человек. Чернышевский, как теперь вижу, вышел из-за какого-то стола мне навстречу, протянул руку и со словами: «Милости прошу, пройдемте ко мне»,— не представив меня никому, не выпуская моей руки из своей, провел в другую комнату.

— Здесь нам разговаривать будет удобнее,— прибавил он, зажигая свечу.— Садитесь хотя вот сюда.

Посадил он меня к какому-то небольшому столу, затворил дверь, сам сел рядом.

Я всегда, даже в молодости, страдал каким-то странным недостатком зрения: мне все очертания представлялись туманными, все предметы окаймленными как бы расплывающимися линиями; потому мне очень трудно разглядывать и запоминать черты лица. Плохо видел я и лицо своего собеседника, но тем ярче выступала предо мною его фигура,

---

* *Над этим началом фамилии М. Н. Чернышевский надписал:* Ковалевский.

приковывали к себе его пристальный взгляд и его странная, совсем необычайная улыбка — и насмешливая, и ласковая в одно время.

Он облокотился на стол обоими локтями, держа одну руку в другой, и глядел на меня сквозь очки, несколько приподнимая голову.

— Ну-с, вы из-за границы, видались там, конечно, с Герценом...

— Видал...— произнес я это слово, вероятно, так выразительно, что собеседник мой услыхал за ним неизбежное * «но»...

Хотелось мне высказать свои, уже описанные выше, впечатления, вынесенные из поездки в Лондон, но я замялся. Показать себя сразу недостаточно почтительным к «великому изгнаннику» я не решался. Я опасался оттолкнуть от себя Чернышевского с первого раза, а мне так хотелось подойти к нему поближе...

Во взгляде Чернышевского отразилось будто удивление. Лицо его стало серьезнее. Он, видимо, ожидал встретить молодого человека, осчастливленного встречей с тогдашним владельцем либеральных русских сердец.

— Что же? Вы будто его не одобряете?

Я и тут не решился высказать свои сомнения... Именно потому, что в душе моей были только *сомнения*, а не сложившийся взгляд. Я еще так недавно действительно представлял себе Герцена средоточием и путеводителем нового движения. Между ним и мною не происходило решительных пререканий; он вселял во мне недоверие к себе чрезвычайным самомнением **, но его отношения к всколыхнувшейся России, его взгляды, мнения я еще продумать не успел. Возражать ему я, при свидании в 1861 г., еще не мог. Самое искрометное остроумие его мне тоже не нравилось, когда оно было отравлено самомнением, призванием к своему трибуналу ⟨?⟩, даже тогда, когда... уже не... Как он не... себя, когда нападал на «Свисток» — «Very dangerous». Я еще слушал его в чаянии найти напутствия и опору своим стремлениям. Он не удовлетворял меня, но я еще не понимал, что для данного момента Герцену подобала только глубокая признательность, как, несомненно, крупному деятелю прошлого, что в руководители будущего он уже был непригоден. Впоследствии, при встрече *** в Ницце... приходят к этому сознанию... как он не сразу согласился.

Я ушел от исповеди не сложившихся еще в душе отрицаний, переходим к повествованию.

— Герцен,— спешил я ответить,— был ко мне очень внимателен, дал мне позволение приходить к нему в дни, не назначенные для общего приема, знакомил меня в Лондоне **** с разными вопросами особенно, познакомил с Мадзини, что было мне очень интересно.

Говорил я и все глядел на своего собеседника... Рассказ мой о любезности Герцена *****...

Когда же я упомянул о Мадзини, Чернышевский стал снова внимательнее.

— Мадзини,— говорил я,— рассказывает изумительные вещи. Он уверен не только в окончательном успехе итальянского объединения,

---

* *В копии Н слово* неизбежное *пропущено.*

** *В копии Н далее вписано рукою М. Н. Чернышевского:* самое искрометное остроумие его мне тоже не нравилось, когда оно было отравлено самомнением, призванием к своему требованию ⟨?⟩ даже тогда, когда и уже не... как он... когда нападал на свист «Very dangerous». Но его взгляды, мнения, его отношения к всколыхнувшейся России я еще продумать не успел. Возражать ему я при свидании 61 года еще не мог.

*** *В копии Н далее рукою М. Н. Чернышевского:* с Н... на... к этому сознанию... как он не сразу согласился.

**** *В копии Н против этого слова рукою М. Н. Чернышевского:* с Лондоном? *Далее им же, после слова* Лондоне *поставлено двоеточие.*

***** *В копии Н:* его...

но и в том, что будет совсем скоро революция славянск... Он уже предвидит разрушение Австрии...

— Да, — заметил смеясь Чернышевский, — он всегда предвидит * где-нибудь революцию на завтрашний день.

— Он и у нас ожидает революцию, говорит, что близость русской революции указана ему многими русскими... Советовал организоваться... И вот, Николай Гаврилович, об этом-то я и хотел, собственно, поговорить с вами, послушать, что вы скажете.

— Что же, думаете заняться организацией тайного общества? ** Чернышевский встрепенулся. Видимо, теперь только свидание наше начинало получать для него некоторый смысл.

— Тайного общэства? Я этого собственно не предполагал, а предполагал только, что сначала следует нам присмотреться к силам, сорганизоваться...

— Что же, это дело, — твердо сказал Чернышевский.

— Вот уже здесь явились воззвания 〈*1 слово нрзб.*〉.

— А они удовлетворяют вас?

— Не знаю, как вам ответить, — сказал я. — И удовлетворяют и не удовлетворяют. Удовлетворяют как начало. Только, не зная среду, к которой обращаешься ***, говорить трудно... а вот 〈*несколько слов нрзб.*〉.

— Надо бы сперва приглядеться к —, какая почва для сеяния. Ведь, вот, говорят, будет крестьянское движение в 63 году... будет ли?

Тут, не дав ответить, и вместе с тем поставил вопрос.

— А вы пробовали составлять прокламации?

— Нет, и не думаю, чтобы было возможно... не зная публики.

— А если бы пришлось все-таки... Интересно бы посмотреть, как вы пишете.

. . . .

— Ну, вы попытайтесь ****, а я как-нибудь на днях зайду к вам, поговорим обстоятельнее.

Результат вечера превзошел мои ожидания. Как я потом уверился, Чернышевскому именно по душе пришлось мое сомнение в Герцене и сознание необходимости нащупать почву для дела прежде, чем приниматься за дело.

〈3〉

Через несколько дней Чернышевский действительно зашел ко мне. Случайно при его приходе я сидел в своем кабинете и при〈готовился〉 уже к приходу 〈Чернышевского〉.

Он сидел у меня долго, разговор шел очень...

— Мне Н. Н. Обручев сообщил, о чем предстоит наш разговор, потому я прямо и приступил к нему, — пояснил он. — Потому и провел вас прямо в свою комнату... Хотелось мне также предварительно ознакомиться с тем, насколько вы увлекаетесь прлрн ***** Лондона.

---

* *В копии Н* предвидит *исправлено рукою М. Н. Чернышевского на:* предсказывал.

** *В копии Н далее рукою М. Н. Чернышевского*: Тайное общество? Я этого собственно не предполагал, а полагал только, что... присмотреться к силам, сорганизовать... Чернышевский встрепенулся. Видимо, теперь только свидание наше начинало получать для него некоторый смысл.— Что же, это дело,— твердо сказал Чернышевский.— А вы, Александр Александрович, пробовали писать какие-нибудь.— *Последнее предложение М. Н. Чернышевский зачеркнул, пометив против него:* зачеркнуто в оригинале.

*** *В копии Н:* среду и обращаемого

**** *В копии Н:* согласитесь попытаться

***** *т. е., вероятно, «Полярной звездой» и другими изданиями Герцена.*

Я сознался, что не особенно внимательно перечитывал «Колокол» *, но смущаюсь обращ*аться* ** к царю ***, а между тем и здесь слышу Серно-Соловьевич обращался к царю.

— А вы знаете Серно-Соловьевича?

— Как лицеиста.

— Хороший человек, но мечтатель. Но для него то был первый шаг, а Герцен упорствует. А что, написали что-нибудь?

— Написал... Фразы... пробовал. Наверно я не знаю, к кому обращаться. Может быть, ждать?

Мы стали перебирать...

— Ну, что же, поприглядите здесь, потом в провинции.

— Я мало знаю провинции.

— Итак... можно ****. Посмотрите здесь в университете. Вы, я смотрю, решили ***** все-таки.

— Занимаюсь я-то уже зн... лицо сегодня — Михайлов.

— Университетские те скоро у....

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Герцен, т. XVI, стр. 71.

[2] «Лит. наследство», т. 25-26, 1936, стр. 578.— Курсив наш.

[3] Письмо опубликовано С. А. Рейсером в примечаниях к вышедшей под его редакцией книге Л. Ф. Пантелеева «Из воспоминаний прошлого». М.— Л., 1934, стр. 721.

[4] ЦГАЛИ, ф. 462, оп. 1, ед. хр. 10.

[5] Там же, ед. хр. 21, л. 1.

[6] ИРЛИ, ф. 661, ед. хр. 1010, л. 1.

[7] Там же, лл. 2 и 4.

[8] Там же, ед. хр. 11, л. 91.

[9] Там же, ф. 250, оп. 1, ед. хр. 485.— В конце приведенного документа рукой М. Н. Чернышевского заверительно надписано: «Копия с черновика письма Слепцова к М. К. Лемке». Указание на черновик допускает предположение, что письмо могло остаться не переписанным набело и неотправленным. В этом случае оно передано Лемке Слепцовой уже после смерти мемуариста, вместе с другими его бумагами.

[10] ЦГАЛИ, ф. 462, оп. 1, ед. хр. 13.

[11] Там же, ед. хр. 17.— Отрывок из этого письма частично приведен М. Н. Слепцовой в статье «Штурманы грядущей бури» (стр. 413. См. прим. 13).

[12] Там же, ед. хр. 46.

[13] М. Н. Слепцова. Штурманы грядущей бури. (Из воспоминаний).— «Звенья», II, 1933, стр. 387.

[14] ЦГАЛИ, ф. 462, оп. 1, ед. хр. 94.

[15] ИРЛИ, ф. 661, ед. хр. 1011, лл. 3—4.

[16] Там же, ед. хр. 12, л. 5.

[17] Там же, ед. хр. 1011, л. 6.— Семнадцать писем Серно-Соловьевича, о которых идет речь, Лемке напечатал в своей книге «Очерки освободительного движения „шестидесятых“ годов» (СПб., 1908).

[18] Там же, л. 7 об.

[19] М. Н. Слепцова. Указ. соч., стр. 402.

[20] ИРЛИ, ф. 250, ед. хр. 714.

[21] В публикуемом отрывке Слепцов сообщает о своей общественной деятельности в области народного просвещения. В этой связи заслуживает быть приведенным список преподавателей мужской воскресной школы в Сампсониевском училище (разрешенной 12 июля 1860 г.) и мужской воскресной школы в Воздвиженском училище (разрешенной 2 декабря 1860 г.), открытых А. А. Слепцовым. В «Списке распорядителей и преподавателей в воскресных школах С.-Петербургской дирекции», составленном в 1862 г., читаем:

---

* *Над этим словом М. Н. Чернышевский поставил знак вопроса.*

** *Против выделенной курсивом части слова М. Н. Чернышевский надписал:* ением? *Несомненно это чтение и следует признать правильным:* ... но смущаюсь обращением к царю...

*** *Это слово вписано М. Н. Чернышевским.*

**** *Над этим словом М. Н. Чернышевский поставил знак вопроса.*

***** *Над этим словом М. Н. Чернышевский надписал:* занимаетесь

«Мужская школа в Сампсониевском училище.

Распорядитель — студент Медико-хирургической академии Рымаренко. Казначей — служащий в Морском министерстве А. А. Кочетов.

Преподаватели: бывшие воспитанники лицея, состоящие ныне на службе: С. А. Ольхин, Н. А. Ольхин, А. А. Мордвинов, А. П. Наронович, Н. Ф. Фан дер Флит, П. И. Апрелев, П. И. Бларамберг.

Студенты Медико-хирургической академии: Гибнер, Афанасьев, Березин. Дочь покойного протоиерея М. А. Кочетова. Дочери лейб-медика: А. П. Наронович, В. П. Наронович, Л. С. Сердюкова.

Мужская школа в Воздвиженском училище.

Распорядитель — причисленный к Центральному статистическому комитету титулярный советник Михаил Николаевич Раевский. Преподаватели: священник Крестовоздвиженский ямской церкви о. Александр Славинский, коллежский асессор Петр Инн. Потулов, воспитанники Петербургской духовной семинарии: Илья А. Соколов, Петр А. Соколов, Никанор А. Тихвинский» (ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 88, 1862 г., № 312, лл. 163 об. и 238).

Изучение приведенного списка показывает, что по крайней мере пять распорядителей и преподавателей открытых Слепцовым воскресных школ были членами общества «Земля и воля». К ним принадлежат:

Сергей Рымаренко — один из основателей «Земли и воли», возможно, член ее первого Центрального комитета, человек, близкий к Чернышевскому;

А. А. Кочетов — входил в одну из «слепцовских пятерок»;

А. А. Мордвинов — входил в одну из «слепцовских пятерок», друг юности Слепцова;

А. П. Наронович — входил в четвертую «слепцовскую пятерку»; позднее — врач, стяжавший среди бедноты широкую известность своим бесплатным лечением;

П. И. Апрелев — входил во вторую «слепцовскую пятерку».

[22] Герцен, т. XVI, стр. 71.

Г. Г. ПЕРЕТЦ — АГЕНТ III ОТДЕЛЕНИЯ

Сообщение Н. Г. Розенблюма

Кто был агентом III Отделения в доме Герцена в Лондоне? Кто телеграфировал в Петербург о том, что возвращающийся на родину П. А. Ветошников везет деятелям революционного подполья в России письма Герцена, Огарева, Бакунина и Кельсиева? Кто в немалой степени явился непосредственным виновником ареста Чернышевского, Николая Серно-Соловьевича и других революционеров? Эти вопросы, возникшие уже почти сто лет тому назад, в сущности говоря, до сих пор оставались документально не расследованными, а потому и не могли считаться решенными с необходимой ясностью и убедительностью.

Непростительная неосторожность, допущенная при передаче писем Ветошникову в воскресный день, 6 июля 1862 г., когда дом был переполнен посторонними, осталась у Герцена, как он писал Е. В. Салиас 21 августа того же года, «незакрывающейся раной на сердце» (Герцен, т. XV, стр. 391 *). Еще несколько месяцев позже, 27 декабря в письме к Мальвиде Мейзенбуг и к старшей дочери у Герцена вырываются слова: «Ради бога, поменьше знакомств 〈...〉 к черту людей!» (там же, стр. 584). Позднее Герцен писал в «Былом и думах» о Ветошникове: «Прощаясь с ним, с последним, я спокойно отправился спать, — так иногда сильно бывает ослепление — и, уж, конечно, не думал, как дорого обойдется эта минута и сколько ночей без сна она принесет мне. Все вместе было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени... Можно было остановить Ветошникова до вторника, отправить в субботу. Зачем он не приходил утром? Да и вообще, зачем он приходил сам?.. Да и зачем мы писали?» (Герцен АН, т. XI, стр. 328).

Попытки Герцена и его друзей узнать, кто был агентом III Отделения, начались тотчас же. Подозрения пали на ряд лиц. Первый сигнал исходил от В. И. Касаткина: «Из Петербурга пишут лаконически, что Перетц — шпион», — сообщал он из Женевы Герцену 15 ноября 1862 г. («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 54). Герцен отнесся к этому сообщению недоверчиво. Впечатление, произведенное на него Г. Г. Перетцом, было благоприятное. «Знаете ли вы Г. Перетца? Он, кажется, очень хороший и образованный человек», — писал он Н. А. Серно-Соловьевичу за две недели до отъезда из Лондона Ветошникова (XV, 219). Все же Герцен не оставил вопроса о Перетце без выяснения. Где именно и у кого проверяли Герцен и его друзья сообщение Касаткина, неизвестно, но уже 5 сентября Герцен писал В. В. Стасову: «...наконец я убедился что перец чист. Странное дело для перца, что не он щипал наш язык, а наш язык пощипал его. В Петербурге вы его непременно оправдайте» (XV, 467).

Позднее назывались и другие имена. В. И. Кельсиев в своей «Исповеди» упрекал В. И. Касаткина в том, что тот «распустил слух, что Бенни

* При дальнейших ссылках на это издание указываются только том и страницы.

и брат мой ⟨Ив. Кельсиев⟩ — агенты III Отделения» («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 326). Обвинение это хоть и не связывалось с арестом Ветошникова, но, увеличивая вообще круг подозреваемых, затрудняло выявление действительного агента. Позднее Александр Серно-Соловьевич писал в памфлете «Миколка-публицист» уже про самого В. И. Кельсиева: «Уж не он ли сам и выдал-то Ветошникова?» (XV, 381). Подозревались и другие.

Все же в глазах современников и в мнении позднейших исследователей основным подозреваемым остался Г. Г. Перетц, который начал бывать у Герцена с начала июня 1862 г. Приезд его в Лондон совпал со временем открытия Всемирной выставки. Это могло служить удобной ширмой. М. К. Лемке, говоря в своих комментариях к Герцену об агентах, указывал: «Наконец, помимо спорадических осведомителей, в дом Герцена удалось ввести неизвестного пока нам агента» (XV, 380). В своей позднейшей работе «Политические процессы в России „шестидесятых" годов» Лемке назвал имя агента: «Донес „гость" Герцена — Г. Г. Перетц» (стр. 179). Однако, выступив со столь категорическим утверждением, Лемке никак его не аргументировал.

Что заставляло современников и позднейших исследователей предполагать, что «неизвестный агент» — это Г. Г. Перетц? Данные, на которых строились ранние подозрения современников, нам неизвестны. Доказать же основательность подозрений с документами в руках — не удавалось никому. Приведенные Лемке в комментариях к собранию сочинений Герцена выписки о Перетце из бумаг III Отделения не сделали подозрения более вескими. Да Лемке и не сопроводил приведенные им материалы никаким анализом. Правда, некоторые из выписок как будто содержат намеки на какое-то особое отношение органов политического надзора к Перетцу. Таково, например, очень глухое упоминание о портфеле с письмами, обнаруженном у Перетца при осмотре на Вержболовской таможне (XV, 385). Какие это были письма? От кого? Кому? Почему они не были «досмотрены» управляющим таможней, а беспрепятственно пропущены? Настораживают также содержание и форма донесений в Петербург лондонского агента III Отделения — отсутствие фамилии Перетца в одном списке лиц, посещавших Герцена, и добавление его имени карандашом в другом (XV, 381—382). Подозрительно и отсутствие Перетца в списке лиц, которых правительство предполагало арестовать при возвращении их из-за границы (XV, 379—380). Однако всего этого было недостаточно для точного установления истины.

В поисках доказательств Лемке обратился к А. А. Слепцову. Он, свидетельствует Лемке, «указал мне на позднейшие подозрения в отношении Перетца; это убеждение сложилось в 1866—67 гг., когда тот официально служил в 3-й экспедиции (разведочной и справочной) III Отделения, да и до того высказывалось многими, не исключая Герцена» (XV, 381).

Однако просмотренные нами «Адрес-календари» не подтверждают официальной службы Перетца в III Отделении в 1866—1867 гг. Впервые его имя указано в «Адрес-календаре» 1870 г. Служил он тогда в Департаменте общих дел Министерства внутренних дел сверхштатным чиновником особых поручений при министре. В этой же должности Перетц числится и в 1871—1872 гг. Таким образом, показание А. А. Слепцова, будто убеждение о роли, сыгранной Перетцом в выдаче Ветошникова, сложилось лишь в 1866—1867 гг. и именно вследствие официального вступления Перетца на службу в III Отделение, не получает документального подтверждения.

В действительности гласная служба Перетца в высшем учреждении политической полиции царизма падает на 1873—1877 гг., когда он со-

стоял сначала чиновником особых поручений в III Отделении, а с 1875 г. — старшим советником при главном начальнике.

Что же касается секретной службы Перетца в органах политической полиции, начавшейся много раньше, то мы о ней до сих пор почти ничего не знали. В печати, впрочем, давно уже известно одно свидетельство, относящееся к теме настоящего сообщения. Но оно осталось, насколько нам известно, незамеченным в литературе о Герцене. Мы имеем в виду весьма любопытное описание встреч с Перетцом, данное А. Ф. Кони в его книге «На жизненном пути» (изд. 3. М., 1916, т. II, стр. 348—355). Первые встречи происходили в 1859—1860 гг. у брата Перетца, который учился тогда вместе с Кони в одной гимназии. Перетц — в ту пору преподаватель русской словесности — приносил юношам «Колокол» и «Полярную звезду», проповедовал им необходимость ниспровержения государственного строя и призывал «утопить в крови существующий порядок». Прошло более десяти лет, и Кони — тогда уже прокурор — вновь встретился со старым знакомым. Перетц явился к Кони в качестве чиновника III Отделения. Начальник этого учреждения, шеф жандармов гр. П. А. Шувалов, за два дня до этого визита встретившись с Кони на приеме, сказал ему о Перетце: «Очень способный и образованный: он у меня состоит заграничным агентом по надзору за русской эмиграцией и пишет интересные и очень полезные для нас донесения».

А во время возникшего разговора Перетц сказал Кони: «Мои главные занятия за границей, а здесь я занят мало... Для меня же здесь, в Петербурге, нет теперь серьезной задачи. Иное дело руководить надзором за этими заграничными негодяями, которые устроились удобно и

22

Список
Арестантам содержащимся в доме Алексеевского равелина С.Петербургской крепости.

Августа 1 дня 1862 года

№	Кто именно?	С которого времени содержатся	По каким повелениям	За что содержатся	Где содержатся	№ покоев
1	Поручик Драгунского Военного Ордена полка Бейдеман.	С 29 Август 1861.	По Высочайшему Государя Императора повелению	[illegible]	В доме Алексеевского равелина	14.
2.	Коллежский Секретарь Павел Ветошников	С 7 июля 1862 года				9
3	Титулярный Советник Николай Чернышевский					11
4.	Отставной Надворный Советник Николай Серно-Соловьевич.					16.
5	Почетный Гражданин Николай Владимиров	С 14 Июля				7.
6	Отставной Штабс-Капитан Петровский	С 16 Июля				5
7	Московский купец Иван Шипаев.	С 19 Июля				2

СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, НАХОДИВШИХСЯ В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАВЕЛИНЕ 1 АВГУСТА 1862 г.

Лист первый

Второй, третий и четвертый в списке: П. А. Ветошников, Н. Г. Чернышевский и Н.А. Серно-Соловьевич

Центральный исторический архив, Москва

безопасно и подстрекают несчастную молодежь идти на революционные затеи и погибать затем в ссылке и на каторге. Вот с кем надо бороться и кого не следовало бы щадить».

В ответ на выраженное Кони удивление такой «переменой взглядов», Перетц сослался на то, что в период их первых встреч он «был молод, увлекался», на что последовала весьма ядовитая реплика Кони, что Перетцу тогда было «весьма за тридцать лет» (в действительности Перетцу было в 1859—1860-х годах почти сорок лет: он родился в 1823 г.).

Хотя в рассказе Кони ничего не говорится о роли, сыгранной Перетцом в 1862 г. в лондонском доме Герцена, но созданный проницательным мемуаристом образ двуличного негодяя психологически подкрепляет веру в основательность сложившихся вокруг имени Перетца подозрений.

Публикуемые нами новые архивные материалы также не относятся непосредственно к событиям 1862 г. И все же содержащиеся в них сведения впервые полностью подтверждают обоснованность давно возникшей догадки о непосредственном виновнике тяжелейшего провала русского революционного центра в 1862 г. Убедительность основного вывода о роли Перетца в этих трагических событиях следует из того впервые документально устанавливаемого факта, что уже в 1863 г. III Отделение числило Перетца среди своих секретных агентов, причем — что очень важно — не новичком, а таким, которым уже поручались ответственные и сложные дела политического розыска.

Мы публикуем четыре документа: две докладные записки Г. Г. Перетца 1864 г. о деятельности «Комитета грамотности» и «Общества женского труда» и два препроводительных отношения того же 1864 г. одного из руководящих чиновников III Отделения, тайного советника А. К. Гедерштерна на имя шефа жандармов кн. В. А. Долгорукова. В первом из названных «отношений», от 23 апреля, прямо сказано «агент наш Перец», во втором, от 29 апреля, Перетц скрыт под буквой «П», которая расшифровывается указанием, что она скрывает секретаря Общества грамотности, внедренного туда III Отделением. В препроводительной записке от 23 апреля Гедерштерн отмечает, что работа, отчет о которой Перетц представляет в своем докладе, была ему поручена еще в ноябре 1863 г. и потребовала пятимесячного труда.

Прежде чем перейти к характеристике докладных записок Перетца об исполненных им двух поручениях, отметим, что из публикуемых бумаг явствует, что еще в 1863 г. Перетц был непосредственным помощником Гедерштерна. А в центре внимания Гедерштерна находилось наблюдение за лондонским центром издателей «Колокола». Этим делом Гедерштерн стал заниматься в 1857—1858 гг., что тогда же было замечено Герценом, писавшим в л. 23-24 «Колокола» от 15 сентября 1858 г. «Предостережения»: «Старший чиновник III Отделения действительный статский советник Гедерштерн путешествует по Европе *с специально-учеными целями*» (IX, 341). О нем же 18 сентября того же года он сообщал М. К. Рейхель: «III Отделение прислало сюда статского советника Гедерштерна присмотреть, как бы подкузьмить „Колокол“ и узнать, кто доставляет вести. Я о его приезде напечатал» (IX, 337).

Не станем утверждать, что это одно уже служит доказательством того, что и годом раньше, в 1862 г., Перетц работал в Лондоне по заданиям Гедерштерна, но упускать этого из виду не следует. Укажем также, что еще в августе 1861 г. статс-секретарь В. П. Бутков в письме из Парижа шефу жандармов В. А. Долгорукову осуждал повторную посылку Гедерштерна за границу для «собрания сведений относительно Герцена и русских выходцев» и советовал «послать для этого лицо частное, к III Отделению не принадлежащее», так как в этом случае «не так скоро узнали бы о цели командировки» («Лит. наследство», т. 63, 1956, стр.

310). Не приняло ли III Отделение во внимание этот совет влиятельного государственного деятеля и не нашло ли оно такого человека в лице Г. Г. Перетца?

Ради каких целей Перетц стал членом Комитета грамотности, а потом секретарем бюро этого Комитета, нам теперь известно. Его направило туда III Отделение. Если мы обратимся к изданию «Занятия Комитета грамотности» 1860-х годов, выпускавшемуся в виде прибавлений к «Трудам Вольного экономического общества», то мы найдем много любопытного относительно поведения Перетца в Комитете. Он был, оказывается, не только весьма активным, но и подчеркнуто «прогрессивным» членом. Это создавало ему постепенно известность и признание членов Комитета, что выражалось ростом подаваемых за него из года в год голосов при выборах.

Впервые Перетц, еще в качестве гостя, участвовал на заседании Комитета 28 ноября 1863 г. Он выступил по вопросу об организации бесплатной школы для сельских учительниц, заявив, в частности, о своем согласии преподавать (безвозмездно) русский язык в этой школе, а также принять участие в обследовании женских училищ в целях выявления необходимой им помощи и пособий («Занятия Комитета грамотности», 1863, вып. VIII, стр. 344—351). 14 апреля 1864 г. он был избран секретарем бюро и состоял им до 1867 г. включительно (там же, 1864, вып. IV, стр. 197—198).

На заседании 13 октября 1864 г. он восстал против предложения о закрытом устройстве школы сельских учительниц. Они, — говорил он, — должны быть совершенно самостоятельны в жизни, следовательно и школа должна приучить их к самостоятельности, а не водить на помочах (там же, 1864, вып. VI, стр. 72). Шесть раз на экстраординарном заседании 20 октября 1864 г. он выступал, настаивал и добился того, чтобы был отклонен проект введения домашнего контроля над чтением учащихся школы сельских учительниц (там же, стр. 83). Тогда же он был избран вместе с П. Г. Редкиным и А. Н. Беляевым в члены Педагогического совета.

Позднее, на заседании 14 декабря 1865 г. Перетц (докладчик сметы на 1866 г.) требует увеличения статьи расхода на бесплатную рассылку книг (там же, 1865, вып. II, стр. 124), той бесплатной рассылки книг, о которой он за два года до этого писал в своей докладной записке, что она дает возможность «под прикрытием дела грамотности успешно вести и организовать обширный заговор».

После 1867 г. Перетц уже не состоит членом бюро, но участие в работе Комитета продолжает принимать. В 1871 г. он избирается в комиссию, которой поручается договориться с Исаковым об уступке Комитету права издания избранных, доступных народу сочинений Пушкина (Д. Д. Протопопов. История С.-Петербургского комитета грамотности. 1861—1895. СПб., 1898, стр. 208). В том же году он был введен в комиссию по присуждению золотых медалей Вольного экономического общества за лучшую книгу для народа (там же, стр. 305—306).

Такова одна, явная, сторона деятельности Перетца в Комитете грамотности — деятельности под маской защитника интересов народа.

Чтобы познакомиться с другой, утаенной стороной его деятельности — деятельности секретного агента III Отделения, обратимся к публикуемой ниже докладной записке Перетца о занятиях Комитета. Суть этого документа определяется содержащейся в ней полицейской характеристикой бюро Комитета как центра, «около которого группируется обширная организация, раскинутая по всей России». Эта «организация», по мнению агента, может «под прикрытием дела грамотности успешно вести и организовать обширный заговор». Отсюда делается вывод о необходимо-

сти подчинить деятельность Комитета «постоянному и бдительному надзору».

При чтении доклада Перетца начальник III Отделения Долгоруков обратил внимание на слова о «разнохарактерности» состава бюро и таящейся в этом опасности. Из восьми приведенных Перетцом фамилий Долгоруков подчеркнул четыре. Он прошел мимо фамилий С. С. Лошкарева (чиновника особых поручений при министре государственных имуществ) и Н. А. Ермакова (начальника отделения Министерства внутренних дел), мимо В. Д. Скарятина (редактора-издателя реакционного журнала «Весть») и, наконец, мимо самого Перетца. Другие же четыре фамилии Долгоруков подчеркнул, а именно: М. Я. Ростовцева (посещавшего Герцена в Лондоне, бывшего в 1862 г. под арестом и уволенного тогда же в отставку), Г. Д. Корибут-Кубитовича (секретаря Генерального штаба Главного управления военно-учебных заведений, переводчика с немецкого языка книг по военным вопросам), О. И. Паульсона (педагога, составителя «Книги для чтения», основателя журнала «Учитель») и Д. А. Кропотова (редактора журнала «Чтение для солдат», привлекавшегося в 1849 г. по делу Петрашевского). Деятельность этих четырех в Комитете грамотности III Отделение сочло, очевидно, нужным взять под наблюдение.

Еще любопытнее вторая публикуемая записка Перетца о вновь учреждаемом Обществе женского труда, которое после ряда бурных заседаний закрылось еще прежде официального его открытия. Препроводительное отношение Гедерштерна на имя Долгорукова говорит о том, что Перетц использовал свое секретарство в Комитете грамотности и успел узнать о проектируемом Обществе женского труда, куда III Отделение предложило ему записаться членом. Гедерштерн отмечает близость отношений Перетца с М. Я. Ростовцевым, предполагая, по-видимому, возможность использовать эту близость в будущем.

В своей записке Перетц старается убедить III Отделение, что задуманное Лавровым и Елисеевым Общество женского труда, ставящее своей задачей применение на практике идей Чернышевского и Михайлова, «дает возможность под покровом благотворительности проводить идеи политические и социальные самого опасного характера». Он пугает III Отделение возможностью «устраивать под именем артелей общие мастерские, которым легко сообщить коммунистическое направление».

Перетц указывает на важность «присутствия надежного лица в исполнительном или хотя бы контрольном отделении» Общества. По его мнению, это «могло бы не только отвратить опасность», но и послужить к «раскрытию других планов злоумышленников».

Е. И. Жуковская-Ценина вспоминает, как А. К. Кривошеин, будущий министр, учредитель и один из активных членов предполагавшегося Общества женского труда, запугал учредителей, А. П. Философову и В. Н. Ростовцеву, «грозным призраком какого-то неподобающего заговора против существующего порядка, задуманного Лавровым под видом организации женского труда», а позднее, на собрании исключенных членов, стоявших близко к «Современнику» и «Русскому слову», «решился обвинить присутствовавших в лицо в намерении произвести переворот „организацией женского труда“» (сб. «Памяти А. П. Философовой», 1915, т. II, стр. 23—25). Очень возможно, что испуг Кривошеина явился отзвуком докладной записки Перетца, или, точнее говоря, того впечатления, которое она могла произвести на руководителя ведомства политической полиции. Вряд ли можно сомневаться, что эта записка сыграла свою роль в закрытии Общества.

Слова Перетца: «Для меня же здесь, в Петербурге, нет теперь серьезной задачи», сказанные им позднее, в 1872 г., А. Ф. Кони, дают право

предположить, что Перетц, может быть, имел отношение не только к Комитету грамотности и Обществу женского труда, но и к каким-либо другим политическим делам 1860-х годов. В. Я. Богучарский в «Материалах для истории революционного движения в России в 60-х годах» приводит слова сенатора Жданова: «Мы, слава богу, обзавелись верными людьми, теперь наша полиция не уступит наполеоновской: у нас и в вагонах по железной дороге и за границей есть свои люди. Вот Чернышевский, хотя умный каналья и язвительно смеется, а запрятали. Мы вот тоже окружили глазами и ушами Антоновича с Елисеевым, не отвертятся!» (стр. 145). Не думал ли Жданов, в частности, и о Перетце, пристально следившем за Елисеевым?

Остается сказать еще несколько слов о роли Перетца в доме Герцена. Публикуемые документы не содержат прямых указаний на то, что Перетц в 1862 г. был послан в Лондон III Отделением. Но теперь мы достоверно знаем, что связь Перетца с политической полицией возникла не в 1866—1867 гг. и не в 1872 г., а в начале 1860-х годов, что уже осенью 1863 г. Перетц был тайным агентом III Отделения, и не рядовым, а таким, которому была поручена сложная и длительная работа. Все эти факты сильно подкрепляют предположение о его участии в деле Ветошникова.

Зловещая фигура Перетца, человека двойной роли: знакомца и собеседника Герцена и защитника интересов простых людей в Комитете грамотности, с одной стороны, а с другой — тайного агента III Отделения, не только следящего, но пытающегося оклеветать тех, за кем он следит, фигура эта встает со страниц его докладных записок во весь рост.

Быть может, позднейшие изыскания дадут возможность расшифровать сказанное им А. Ф. Кони, выявить, что́ крылось под его словами, что для него в Петербурге «нет теперь серьезной задачи», пролить свет на его «задачи» 1860-х годов и установить тем самым список еще не известных нам жертв Перетца.

1

А. К. ГЕДЕРШТЕРН * — В. А. ДОЛГОРУКОВУ

23 апреля 1864 г.

Весьма секретно

В ноябре месяце прошлого 1863 года агент наш Перетц вступил в число членов Комитета грамотности, учрежденного при Вольном экономическом обществе[1], и в течение 5-ти месяцев, проследив внимательно его занятия, вполне ознакомился с его организацией и деятельностью, которые заслуживают особенного внимания.

Дней десять тому назад Перетц был выбран в секретари этого Общества, и вследствие сего ему поручено было сообщить некоторые подробности о нем, что он и исполнил. Сведения эти изложены в представляемой у сего записке. Они будут пополняемы им по мере необходимости.

2

ЗАПИСКА Г. Г. ПЕРЕТЦА

Секретно

Комитет грамотности состоит из трехсот почти членов, сотрудников и корреспондентов и поддерживает через них постоянные сношения с 45 или 50 губерниями. Главные цели Комитета составляют: поддержание

* Авторство Гедерштерна устанавливается сличением почерка.— *Н. Р*

существующих школ и содействие открытию новых, приготовление и доставление сельских учителей и учительниц, указание лучших книг для школ и для народа, содействие их изданию популярных сочинений и понижение их цены, устройство в провинции и особенно по селам книжных складов, наконец снабжение бедных школ книгами безденежно. Не все цели достигаются с одинаковым успехом: в последнее время особенное развитие получили устройство книжных складов и безденежная рассылка книг. Еще в 1863 году считалось около 40 складов; теперь же число их, без сомнения, перешло за 50, рассеянных преимущественно по отдаленным губерниям Европейской России и частью даже по Сибири. Рассылка книг возрастает в громадных размерах: в 1861 г. (первый год существования Комитета грамотности) разослано только 800 книг, в 1862 г. — 5 000, а в 1863 г.— 14 000 книг, и все это количество даром, так как книги, высланные за деньги, не входят в это число.

Делами Комитета грамотности заведует бюро, состоящее из председателя, двух товарищей и четырех секретарей. В руках этого бюро сосредоточена вся деятельность: оно поддерживает постоянные сношения с членами и корреспондентами, рассеянными по всей почти России, оно ведет переписку и расчеты с складами и снабжает их книгами; оно выбирает и покупает книги, оно же рассылает их по своему усмотрению. Таким образом это малочисленное бюро составляет центр, около которого группируется обширная организация, раскинутая по всей России. Нечего и говорить, что при таком устройстве Комитета бюро, составленное из людей неблагонамеренных, могло бы под прикрытием дела грамотности успешно вести и организовать обширный заговор, охватывающий почти все губернии и области империи.

Члены Комитета грамотности были недовольны прежним составом бюро, бывшего под председательством действительного статского совет-

«ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ»

Эскиз маслом А. Сохачевского к его одноименной картине, 1863—1882 гг.

На переднем плане Анна Гудзинская, участница польского освободительного движения 1860-х гг., приговоренная к каторжным работам

Исторический музей, Варшава

АЛЕКСАНДР СОХАЧЕВСКИЙ
Автопортрет художника, эскиз маслом, 1863—1882 гг.
Исторический музей, Варшава

ника Сергея Сергеевича Лошкарева, и обвиняли его в недостатке энергии и деятельности; поэтому на выборах в общем собрании 14 апреля старые члены бюро были забаллотированы и на место их выбраны новые. Теперь состав бюро следующий: председатель — Николай Андреевич Ермаков (начальник отделения в Министерстве внутренних дел); товарищи председателя: граф Михаил Яковлевич *Ростовцев* * и Скарятин, издатель и редактор журнала «Весть»; секретари — Г. Д. *Корибут-Кубитович*, офицер Генерального штаба, Осип Иванович *Паульсон*, издатель и редактор журнала «Учитель», Григорий Григорьевич Перетц, сотрудник журнала «Северная почта» и учитель русской словесности, и полковник *Кропотов*, помощник военного цензора. По недавности избрания нового бюро определить характер и направление его деятельности считается покуда невозможным; вообще же нельзя не заметить разнохарактерности его состава.

При существовавшем до сих пор направлении его деятельности Комитет грамотности, принося пользу делу просвещения, оставался совершенно безвредным в отношении политическом; но устройство его таково,

* Фамилии подчеркнуты начальником III Отделения В. А. Долгоруковым и им же отчеркнуты на полях фраза: «Нечего и говорить ⟨...⟩ области империи», а также последний абзац записки. — *Н. Р.*

что дает все средства для самой широкой и опасной политической пропаганды. Поэтому казалось бы возможным сохранить его существование, подчинив его постоянному и бдительному надзору.

23 апреля 1864 г.

3

А. К. ГЕДЕРШТЕРН — В. А. ДОЛГОРУКОВУ

29 апреля 1864 г.

Весьма секретно

Бюро Комитета грамотности собирается обыкновенно по понедельникам для обсуждения некоторых вопросов в квартире графа Михаила Яковлевича *Ростовцева*. Агент наш П⟨еретц⟩ в качестве одного из 4-х секретарей постоянно присутствует. Третьего дня граф Ростовцев, оставляющий каждый раз всех ужинать, разговорился с нашим агентом и, похвалив его за сочувствие всем хорошим предприятиям, предложил ему вступить членом учреждаемого Общества женского труда, со внесением 12 рублей серебром, причем граф Ростовцев вручил ему прилагаемый у сего устав Общества, долженствующий на днях быть утвержденным. К уставу этому сзади пришит белый лист для желающих записаться в члены Общества[2]. Граф Ростовцев хотел заехать завтра к П⟨еретцу⟩, чтобы, отдав ему визит, получить обратно этот устав и узнать, согласен ли он быть членом Общества.

Агент, собрав ближайшие, по возможности, сведения об Обществе, сообщил таковые в прилагаемой у сего записке. Ему поручено записаться членом Общества и иметь за деятельностью его наблюдение.

Устав Общества желает он получить обратно *не позже завтрашнего утра*.

В разговоре с графом М. Я. Ростовцевым о некоторых событиях 1862 года сей последний коснулся между прочим его и брата его посещений Герцена и говорил: «Я и брат — мы единственные патентованные русские, которых уволили в отставку за то, что мы бывали у Герцена»[3].

4

ЗАПИСКА Г. Г. ПЕРЕТЦА

Секретно

Весною 1862 года под влиянием сильно распространенных в то время идей об эмансипации женщин, пущенных в ход *Михайловым* и *Чернышевским*, литераторы полковник *Лавров* и *Елисеев* задумали основать Общество женского труда. События, ознаменовавшие лето этого года, — арест *Чернышевского* и *Серно-Соловьевича*, закрытие шахматного клуба[4] и воскресных школ[5] и особенно благодетельные изменения общественного мнения побудили отсрочить выполнение задуманного плана; но в 1863 году мысль, оставленная на время, возникла с новою силою. Роман *Чернышевского* «Что делать?» снова поднял вопросы об эмансипации женщин и об устройстве общих мастерских на коммунистических началах. Елисеев и Лавров воспользовались этим обстоятельством и возобновили свой план, встретивший сочувствие в известном кружке[6]. Они составили проект устава, напечатанный в значительном числе экземпляров и вызвавший сочувствие некоторых журналов, особенно «Современника» и «Русского слова». В настоящее время проект этот поступил уже на рассмотрение Министерства внутренних дел.

Устав вновь возникающего Общества указывает на затруднительное положение женщин, для которых «большая часть занятий закрыты не по

неспособности их к ним, а по непривычке видеть женщину на месте, обыкновенно занимаемом мужчиною». Для облегчения такого положения Общество поставляет себе целью:

1) Доставлять женщинам труд.

2) Изыскивать такие сферы деятельности, где женский труд может быть полезен так же или даже более, чем мужской.

3) Ходатайствовать о допущении женщин к таким родам деятельности.

4) Приглашать женщин составлять *артели* для различных предприятий и содействовать устройству этих артелей.

5) Доставлять участницам Общества средства изучать те предметы, которыми они желают заняться с какою-либо практическою целью.

6) Открывать торговые и промышленные заведения.

7) Выдавать пособия нуждающимся женщинам — членам Общества.

Организация Общества следующая: оно состоит из неопределенного числа членов, как мужчин, так и женщин, которые составляют общее собрание, созываемое три раза в год. Наружным главою Общества представляется почетный президент, в помощь которому избирают ежегодно вице-президента; но заведование делами Общества и сообщение ему определенного направления зависит исключительно от исполнительного отделения.

Общее собрание избирает председателя этого отделения, который *сам* избирает 11 членов, только утверждаемых собранием. Таким образом председатель может составить отделение исключительно из людей, ему единомышленных, и беспрепятственно вести дела к задуманной цели. Такая организация, несмотря на контроль шести членов, назначаемых общим собранием, дает возможность под покровом благотворительности проводить идеи политические и социальные самого опасного характера.

Эти опасения подтверждаются самою целью Общества, предполагающего устраивать под именем артелей общие мастерские, которым легко сообщить коммунистическое направление и которые, естественно, сделаются средством для революционной пропаганды даже в рабочем классе и послушным орудием в руках ловких агитаторов.

Все эти соображения побуждают обратить особенное внимание на вновь учреждаемое Общество и приискать средства для ближайшего надзора за его деятельностью. Присутствие надежного лица в исполнительном или хотя бы контрольном отделении могло бы не только отвратить опасность, но даже, быть может, послужить к раскрытию других планов злоумышленников.

29 апреля 1864 г.

ЦГИАЛ, ф. 930, ед. хр. 17, лл. 7—12, 14—14 об.—Обе докладные записки Перетца переписаны рукою Гедерштерна.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Петербургский комитет грамотности при имп. Вольном экономическом обществе был образован в 1861 г. и существовал до 1895 г., когда перешел в ведение Министерства народного просвещения. Отчеты о деятельности его выходили периодически. В 1871 г. вышел обзор за десять лет, в 1881 г. С. Миропольским был дан обзор за 1861—1881 гг. В 1898 г. вышла «История С.-Петербургского комитета грамотности. 1861—1895», составленная Д. Д. Протопоповым. В 1863 г. начали издаваться особые приложения при «Трудах Вольного экономического общества» — «Занятия Комитета грамотности». Они выходили по 1869 г. и являлись, по существу, журналом заседаний.

[2] Впервые вопрос об Обществе женского труда был затронут в майской книжке «Современника» 1863 г. («Внутреннее обозрение», стр. 196—200). Там же были указаны основные пункты деятельности проектируемого Общества. Осенью того же года вышла брошюра «По поводу проектированного Общества женского труда». Автором ее был

будущий министр путей сообщения А. К. Кривошеин, который писал: «Некоторые лица в Петербурге, побуждаемые настоятельной необходимостью улучшить социальное положение и устроить на более прочных началах экономический быт женщин в России, задумали составить для этой цели особое общество под именем „Общества женского труда"». В последних числах декабря 1863 г. вышли «Общие основания проекта устава „Общества женского труда"» (подробно об Обществе см.: Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки. М.— Л., 1934, стр. 349—356; В. В. Стасов. Надежда Васильевна Стасова. Воспоминания и очерки. 1899, стр. 68—69; сб. «Памяти А. П. Философовой», 1915, т. I, стр. 125—134; т. II, стр. 21—25; А. В. Никитенко. Дневник. 1955, т. II, стр. 400, 500, 502).

После ряда бурных заседаний «учредители положили»,— по выражению Никитенко,— «приостановить открытие». Произошло это уже в 1865 г.

[3] Флигель-адъютант М. Я. Ростовцев и его брат Н. Я. Ростовцев были 3 июня 1862 г. арестованы и 8 июня уволены в отставку. Причина: поездка обоих к Герцену в целях реабилитации покойного отца, Я. И. Ростовцева, доносчика на декабристов. На арест братьев повлияли несколько и петербургские пожары, обострившие обстановку. Никитенко тогда же записал в своем «Дневнике»: «Флигель-адъютант граф Ростовцев арестован. Очевидно существует какой-то заговор, ветви которого распространены далеко. Бедная Россия! Каким хаосом тебе угрожают» («Дневник», т. II, 1955, стр. 278). Позднее, в ноябре 1862 г., увольнение Ростовцевых было разрешено считать «по прошению и с мундиром».

Отношение консервативных кругов общества к аресту Ростовцевых отражено в неопубликованном письме М. Г. Карташевской к В. С. Аксаковой от 10 июня 1862 г., в котором, говоря о петербургских пожарах, она писала: «Все это творение Герцена, его любви к России. Оно и забавно сидеть в Англии и сатанински подстрекать молодое поколение без всякой для себя опасности. Оно и всегда лучше обеспечить себя да и губить других. Вот и Ростовцевы не пренебрегали никакими выгодами и почестями, которые получали от правительства, чтобы потом вместе с Герценом исподтишка затевать козни...» (ИРЛИ, 1065. XVI, с. 12, лл. 60—61).

[4] Шахматный клуб, открытый в январе 1862 г., был закрыт уже в июне того же года, сейчас же после петербургских пожаров. В объявлении петербургского военного генерал-губернатора, опубликованном в № 126 «Русского инвалида» от 8 июня 1862 г., было сказано, что клуб закрывается «впредь до усмотрения», поскольку в нем «происходят» и из него «распространяются неосновательные суждения».

Современники по-разному определяли цели клуба, одни считали его просто литературным клубом (Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания прошлого. М.— Л., 1934, стр. 223—224), другие, в том числе III Отделение, видели в нем место встреч революционеров. Это же освещение получил вопрос о Шахматном клубе и в докладе шефа жандармов царю от 27 апреля 1862 г. («Процесс Чернышевского». Саратов, 1939, стр. 16—17). Агентурное наблюдение за деятельностью клуба велось с первого же дня. Туда III Отделением был направлен ряд агентов. Мы знаем трех: Волгина, Вельяшева, Волокитина («Материалы для биографии П. Л. Лаврова», вып. I, 1921, стр. 78.— «Красный архив», 1926, № 14, стр. 107—118). Был ли III Отделением направлен туда Перетц и был ли он членом клуба — неизвестно. В первоначальном списке намечавшихся будущих членов, охватившем сто человек, его нет, но число членов позднее достигло двухсот.

Позднейшие исследователи (А. А. Шилов, М. К. Лемке) несколько недооценивали роль Шахматного клуба; причина лежала в самих донесениях агентов, весьма легковесных и не дававших того, что хотело бы знать о клубе III Отделение. Напротив того, новейший исследователь, Р. А. Таубин, подчеркивает конспиративно-революционное значение клуба. В исследовании «К вопросу о роли Н. Г. Чернышевского в создании „революционной партии" в конце 50-х — начале 60-х годов XIX в.» («Исторические записки», № 39, 1952) Р. А. Таубин пришел к выводу, что клуб был «штаб-квартирой для свиданий активных деятелей революционного подполья» и что он «облегчил работу по сколачиванию тайного общества „Земля и воля", явившись ширмой для свиданий, переговоров, сближения, связи различных политических кружков и направлений» (стр. 92 и 95).

[5] Воскресные школы, возникшие впервые в 1859 г. и получившие широкое распространение в последующие годы, были в середине 1862 г. «временно» закрыты. О воскресных школах см.: 1) Р. А. Таубин. Революционная пропаганда в воскресных школах России в 1860—1862 гг.—«Вопросы истории», 1956, № 8; 2) Я. Д. Пичкуренко. К вопросу о роли воскресных школ в буржуазно-демократическом освободительном движении России в конце 50-х — начале 60-х годов XIX века.— «Советская педагогика», 1954, № 5; 3) Г. И. Ионова. Воскресные школы в годы первой революционной ситуации (1859—1861).— «Исторические записки», № 57, 1956.

Имеется неопубликованное письмо А. В. Головнина к П. А. Валуеву, не датированное, но написанное, несомненно, незадолго до запрещения воскресных школ, в котором он писал: «Сейчас получил вашу записку о воскресных школах, почтеннейший Петр Александрович. Я весьма желал бы, чтоб следствие было произведено самое строгое и притом самыми способными чиновниками, дабы виновные были открыты и

можно было немедленно наказать их по суду и придать делу тогда всевозможную гласность. Мне нужно иметь возможность доказать фактами, что если министерство просвещения не покровительствует воскресным школам, то это потому, что они употребляются как орудия вредной пропаганды. Преданный Головнин» (ЦГИАЛ, ф. 908, оп. 1, ед. хр. 61, л. 57).

[6] В вопросе об инициаторах и составителях проекта Общества женского труда имеются разногласия. В. В. Стасов в книге «Надежда Васильевна Стасова. Воспоминания и очерки» (стр. 68—69), ссылаясь на Е. А. Штакеншнейдер, называет таковыми П. Л. Лаврова и А. К. Кривошеина. Сама Е. А. Штакеншнейдер в «Дневнике», правда, упоминает тех же лиц, но в отношении Кривошеина ограничивается словами, что проект устава выработан Лавровым в сотрудничестве с А. Н. Энгельгардт «по просьбе Кривошеина» (стр. 349). Тех же составителей проекта и инициаторов организации Общества, Лаврова и Кривошеина, называет А. В. Тыркова в сб. «Памяти А. П. Философовой» (т. I, стр. 126). В отличие от всех этих свидетельств, А. В. Никитенко в записи от 27 февраля 1865 г. называет инициаторами Лаврова, Антоновича и Елисеева («Дневник», цит. изд., т. II, стр. 500).

А. А. Шилов в «Материалах для биографии П. Л. Лаврова» приводит донесение агента III Отделения об организации Общества женского труда, в котором тот инициаторами и составителями проекта называет Лаврова и Елисеева (стр. 86), то есть повторяет запись Никитенко. Исходя из неверного представления, что в 1860-х годах донесения агентов III Отделения «не выходили из пределов данных наружного наблюдения или сообщений о толках и слухах» и что «никакой внутренней агентуры» в то время «не существовало», как «не существовало и настоящих секретных сотрудников», А. А. Шилов делает необоснованный вывод, что совпадение записи Никитенко с донесением агента не случайно и имеет своим источником «ходившие по городу слухи» («Красный архив», 1926, № 14, стр. 85 и «Материалы», стр. 87).

Публикуемая докладная записка Перетца от 29 апреля 1864 г. снова повторяет запись Никитенко и тем колеблет мнение А. А. Шилова, что источником донесений и записи Никитенко были одни городские слухи. Любопытно, что в данном случае совпадает не только содержание и упоминание имени Елисеева, но и само изложение истории создания Общества. Перетц писал: «Весною 1862 г. ... задумали основать ... побудили отсрочить... в 1863 году мысль ... возникла с новою силою...». Никитенко заносит в свой «Дневник»: «Они уже давно собирались составить общество»... «опять хотели было прибегнуть к недостойной уловке...». Не вернее ли искать источник сходства записи Никитенко с донесениями агентов не в городских слухах, а в давнишних, еще со студенческой скамьи, приятельских отношениях Никитенко с Гедерштерном.

Надо думать, что сведения Перетца были точны: он почерпнул их из первоисточника. Основные пункты проекта в майской книжке «Современника» (май 1863 г.) и «Общие основания проекта устава Общества женского труда» (декабрь 1863 г.) были, очевидно, составлены при участии Елисеева, а А. К. Кривошеин был, как известно, автором брошюры «По поводу проектированного Общества женского труда», дозволенной цензурой 29 августа 1863 г. и вышедшей осенью того же года.

АЛЕКСАНДР СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ

Статья и публикация Б. П. Козьмина

Александр Александрович *Серно-Соловьевич* (1838—1869), как и его старший брат Николай Александрович, принадлежал к числу наиболее выдающихся деятелей революционно-демократического движения шестидесятых годов прошлого века*.

Люди, знавшие Серно-Соловьевича лично, отзывались о нем с восторгом. Так, Н. В. Шелгунов писал о нем: «Об Александре Серно-Соловьевиче сохранились у меня самые светлые воспоминания. Это был человек кипучей энергии, горячий, скорый, смелый и очень умный 〈...〉 По энергии темперамента, по пылкой страстности характера, по быстроте соображения, тонкому ироническому уму и по беззаботности, с какой Серно-Соловьевич отдавался делу, не думая о себе,— он был один из очень немногих людей того времени» (Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М.— Пг., 1923, стр. 158).

Высокая оценка дана была Серно-Соловьевичу и Н. И. Утиным в некрологе, напечатанном анонимно в № 7-10 женевского журнала «Народное дело» за 1869 г. Читатели найдут ниже этот весьма ценный в биографическом отношении некролог, никогда ранее не перепечатывавшийся и делающийся теперь достоянием современного читателя.

Несмотря на то, что братья Серно-Соловьевичи значились потомственными дворянами, они являлись типичными представителями той новой, антидворянской интеллигенции, которая в шестидесятых годах прошлого века выступила на историческую сцену как активная общественная сила.

Отец Серно-Соловьевичей, разночинец по происхождению и чиновник по профессии, выслужил себе звание потомственного дворянина. Он был человеком состоятельным и дал детям очень хорошее образование. Александр Серно-Соловьевич, как и его брат Николай, обучался в Александровском лицее, куда поступил в 1851 г. Окончив лицей в 1857 г., он вышел на жизненное поприще в начальную пору широкого общественного возбуждения, которым была отмечена в России вторая половина пятидесятых годов. К этому времени он определился уже как принципиальный противник «аристократизма», в котором усматривал «подагру нравственного мира», и как человек, горячо сочувствовавший горестной судьбе русского крестьянства. Почти ежегодно бывая за границей, Серно-Соловьевич имел возможность сравнивать русские политические порядки с порядками буржуазных стран Запада, и это способствовало росту в нем отрицательного отношения к бесправию и произволу, господствовавшим на родине. В одном из писем 1859 г. к товарищу по лицею Серно-Соловьевич призывал к ненависти и борьбе. Он писал: «Нужно воспитывать ядовитую злобу, лелеять ее, довести до последних пределов 〈...〉 Пусть будет она девизом, вечным знаменем,

---

* См. о нем в наших статьях: «А. А. Серно-Соловьевич в I Интернационале и в женевском рабочем движении» («Исторический сборник Института истории Академии наук СССР», вып. V. М.— Л., 1936); «Герцен, Огарев и „молодая эмиграция"» («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 1—48) и в предисловии к публикации его писем к Огареву («Лит. наследство», т. 62, 1955, стр. 548—549).

с которым нужно идти на борьбу, потому что невозможно никакое примирение там, где не хотят его знать, где все окружающее напоминает только о том, что ты грязь и ничтожество» (М. К. Лемке. Очерки освободительного движения «шестидесятых» годов. СПб., 1908, стр. 251).

Как видим, к тому историческому моменту, когда в России сложилась революционная ситуация, Серно-Соловьевич был уже подготовлен к участию в борьбе со старым порядком.

На развитие социально-политических воззрений Серно-Соловьевича большое влияние оказали сочинения Герцена, которого он посетил в Лондоне в 1859 г. Позднее его отношения с издателями «Колокола» разладились, но и тогда он вспоминал время, когда «страстно любил и глубоко уважал» их.

Влияние Герцена встретилось с еще более мощным идейным воздействием, исходившим от Чернышевского и редактировавшегося им «Современника». Непоколебимая последовательность Чернышевского, его железная логика, непримиримость к противникам, неспособность идти на компромиссы производили на Серно-Соловьевича громадное впечатление. Преклонение перед Чернышевским он сохранил на всю жизнь. В публикуемом ниже «Протесте» (1866) он писал, обращаясь к Чернышевскому: «Учитель! Как тебя недостает между нами, каким счастьем почел бы я, если б мне ценою собственной жизни искупить хоть часть страданий, на которые обрекли тебя...». Чернышевского и Добролюбова Серно-Соловьевич называл «крупнейшими публицистами молодой России». Чернышевскому он был обязан тем, что окончательно укрепился на революционных позициях и критически оценил либеральные колебания Герцена.

Революционные взгляды Серно-Соловьевича оказали сильное воздействие на его старшего брата Николая. Автор указанного выше некролога сообщает, что А. Серно-Соловьевич «имел значительное влияние на старшего брата», которого он «звал на прямое дело», и что «оба они стали в передовые ряды революционных организаторов».

В 1861—1862 гг. Александр Серно-Соловьевич с братом развернули весьма интенсивную и разностороннюю общественную и революционную деятельность. Во время студенческого движения, происходившего осенью 1861 г. в Петербурге, братья Серно-Соловьевичи принимали самое деятельное участие в агитации, которая велась в пользу студентов. Участвовали они и в широком движении за организацию воскресных школ. Серно-Соловьевич набирал и печатал революционные прокламации, а также распространял их по городу.

«Спросите у людей, знавших меня в Петербурге,— писал впоследствии Серно-Соловьевич Н. А. Тучковой-Огаревой,— как провел я год, с освобождения крестьян по выезд за границу: по ночам набирал и печатал прокламации, днем разносил их и работал над Шлоссером. В формулярный список мой можно записать, что все то время, когда в России господствовал террор, когда на каждом перекрестке Петербурга стоял часовой, никто не решался разносить прокламации,— один я взялся за это» (см. ниже, стр. 739).

Еще большее значение имела деятельность братьев Серно-Соловьевичей по сплочению в единую организацию разрозненных до той поры революционных обществ и кружков, существовавших тогда как в столице, так и в других городах, а также по созданию новых кружков, там, где их еще не было. Начало этой деятельности относится к осени 1861 г. Особенно же развернулась она к весне следующего года, когда образовался центр еще не оформленного полностью тайного общества, позднее принявшего название «Земля и воля». В состав этого центра, действовавшего под руководством Чернышевского, наряду с А. А. Слепцовым, Н. Н. Обручевым и В. С. Курочкиным, входили оба брата Серно-Соловьевичи.

В связи с работой по организации будущей «Земли и воли» стояла их встреча с эмигрантом В. И. Кельсиевым, тайно приехавшим в Россию в марте 1862 г. для привлечения раскольников к участию в революционном движении (см. «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 307—335 и т. 62, 1955, стр. 161). Во время своего пребывания в Петербурге Кельсиев жил у Серно-Соловьевичей. А. А. Серно-Соловьевич свел его с одним знакомым беспоповцем, через которого Кельсиеву удалось установить связь с при-

ехавшим тогда из-за границы в Петербург — тоже тайно — видным деятелем старообрядчества Павлом Прусским. После того как Кельсиев выехал из России, А. А. Серно-Соловьевич отправился в Пруссию, где совместно с Кельсиевым занялся налаживанием путей для тайной переправки революционных эмигрантских изданий в Россию, а по возвращении в Петербург — подыскиванием склада для присылаемых изданий.

Помимо собственно революционной работы, Серно-Соловьевич, как и его брат, принимал участие в различных общественных предприятиях, пытаясь использовать их в революционных целях. Они принадлежали к числу учредителей Шахматного клуба, служившего революционерам для конспиративных свиданий и для агитации среди его членов. Оба они входили в состав артели, издававшей в 1862 г. еженедельник «Век», которым, по мысли братьев Серно-Соловьевичей, можно было бы воспользоваться в интересах революции, когда она вспыхнет в России.

Правительство давно уже присматривалось к деятельности Серно-Соловьевичей. Уже в мае 1862 г. было намечено произвести у них, как и у ряда других лиц, обыски. Нужен был только подходящий момент для принятия по отношению к ним репрессивных мер.

7 июля 1862 г., в один день с Чернышевским, был арестован Николай Серно-Соловьевич. Поводом для его ареста послужили адресованные ему письма Герцена, Огарева и Кельсиева, отобранные при задержании на границе возвращавшегося из Лондона П. А. Ветошникова. Правительство намеревалось арестовать и Александра Серно-Соловьевича, но оказалось, что он незадолго до того уехал за границу. Александр Серно-Соловьевич не возвратился в Россию по вызову властей, и поэтому был привлечен к делу заочно. Хорошо понимая, к каким последствиям приведет его приезд на родину, Серно-Соловьевич решился перейти на положение политического эмигранта. 10 декабря 1864 г. Сенат приговорил его к лишению всех прав состояния и к вечному изгнанию из пределов России.

Александр Серно-Соловьевич находился в Лондоне, когда ему стало известно об аресте брата. Эта весть еще более обострила его ненависть к самодержавию. Он решил, оставаясь за границей, посвятить все свои силы тому, чтоб отомстить за брата, за своего учителя Чернышевского и товарищей, ставших жертвами царских репрессий.

Весной 1863 г. истекал срок введения в действие уставных грамот. Как и другие революционеры той поры, Серно-Соловьевич питал надежды на то, что к этому времени крестьяне окончательно убедятся в невозможности ожидать от правительства действительного улучшения их участи, и тогда в России осуществится, наконец, народная революция. Он понимал, какую большую агитационно-пропагандистскую работу необходимо в связи с этим провести русским революционерам. Ему было ясно, что недостаточно при этих обстоятельствах не только тех прокламаций и воззваний, которые смогут быть напечатаны в России в тайных типографиях, но и тех, которые исходят из лондонской типографии Герцена. Стало необходимо организовать за границей новую русскую типографию. В конце осени 1862 г. такая типография была создана в Берне. После ее возникновения возник вопрос о взаимоотношениях двух русских заграничных типографий, о координации их работы. Серно-Соловьевич вел переговоры в Лондоне со Станиславом Тхоржевским, заведовавшим издательством Герцена, и в Женеве с эмигрантом В. И. Касаткиным. Был выработан проект создания акционерного общества, объединяющего обе типографии. Проект этот осуществлен не был. Как видно из письма Герцена к Огареву от 15 февраля 1863 г., Герцен возражал против объединения типографий (XVI, 68—69)*. Ввиду этого решение вопроса затянулось, а вскоре отпала и надобность в его осуществлении, так как ожидавшееся весной 1863 г. народное восстание не разразилось. Наоборот, волна крестьянского движения неуклонно снижалась по сравнению с 1861 г. Тем не менее, у Серно-Соловьевича не могло не остаться чувства недовольства Герценом, что отразилось на их дальнейших взаимоотношениях.

---

* Здесь и ниже даются ссылки на Полн. собр. соч. и писем Герцена под ред. М. К. Лемке.

В 1864 г. мы находим Серно-Соловьевича в Цюрихе, где он жил в пансионе, содержавшемся Л. П. Шелгуновой, и где одновременно с ним проживали его товарищ по лицею и друг А. А. Черкесов, известный эмигрант П. И. Якоби и его жена, В. А. Голицына. Черкесов, несомненно, с согласия Серно-Соловьевича, выдвинул проект создания, наряду с «Колоколом», еще одного русского органа за границей. Проектировавшийся Черкесовым журнал, в отличие от герценовского «Колокола», должен был иметь общеэмигрантский характер, хотя редактирование его предполагалось поручить Герцену. Однако у Герцена проект Черкесова сочувствия не вызвал: не отказываясь от сотрудничества, он категорически уклонился от предложенных ему редакторских обязанностей (XVII, 144—145). Отказ Герцена был воспринят «молодыми эмигрантами» как доказательство его нежелания наладить какое-либо дело совместно с молодежью.

В виду этого «молодыми эмигрантами» было решено встретиться с Герценом и попытаться договориться с ним по вопросам, их волновавшим.

В конце декабря 1864 — начале января 1865 г. в Женеве состоялся съезд эмигрантов, на котором, помимо Герцена, присутствовали почти в полном составе представители «молодой эмиграции», в том числе и Серно-Соловьевич с Якоби и Шелгуновой, приехавшие из Цюриха. (Подробнее о съезде см. в нашей статье «Герцен, Огарев и „молодая эмиграция“» в т. 41-42 «Лит. наследства», 1941, стр. 20—23 и в публикации в т. 61 «Лит. наследства», 1953, стр. 271—278*.) По словам Герцена, Серно-Соловьевич выступал на этом съезде, как «главный противник» издателей «Колокола» (XVIII, 8). После длительных прений, наконец было достигнуто соглашение. Герцен скрепя сердце принял некоторые требования «молодых эмигрантов», которые, со своей стороны, отказались от ряда своих первоначальных претензий. Однако перед самым отъездом из Женевы Герцен узнал, что соглашение сорвалось вследствие протеста Серно-Соловьевича и Якоби. Последние требовали превращения «Колокола» в общеэмигрантское издание или же организации наряду с ним другого органа, в руководстве которым участвовали бы и представители «молодой эмиграции». Материальные же средства, необходимые для издания этого журнала, должен был дать Герцен, заимствовав их из суммы, переданной ему на революционные нужды П. А. Бахметевым. Герцен категорически отказался от этого, считая, что не имеет права расходовать деньги Бахметева.

Таким образом, съезд не привел к соглашению. Наоборот, он способствовал дальнейшему охлаждению между «старой» и «молодой эмиграцией».

Вскоре после женевских переговоров Серно-Соловьевич тяжело заболел. Его здоровье никогда не было крепким. Дурная наследственность, непосильная, напряженная работа, тяжелое впечатление, произведенное на него арестом Чернышевского, любимого брата и многих близких знакомых и друзей, подавление польского восстания, во время которого погибло немало его соратников,— все это тяжело повлияло на психику Серно-Соловьевича. К этому присоединился разрыв с Шелгуновой и разлука с горячо любимым сыном, которого мать увезла с собой в Россию. Несмотря на заботы друзей и все принятые ими меры, болезнь прогрессировала. Черкесову, трогательно ухаживавшему за своим больным другом, пришлось поместить его в психиатрическую лечебницу, где Серно-Соловьевич пробыл около года.

Необходимо отметить, что, несмотря на поддержку со стороны Черкесова, материальное положение Серно-Соловьевича было чрезвычайно тяжелым. Эмигрантам пришлось собирать средства на оплату его лечения и содержания в лечебнице. Как видно из печатаемых ниже документов, Герцен, Огарев и Н. А. Тучкова-Огарева оказывали Серно-Соловьевичу значительную помощь, особенно после того, как Черкесов уехал в Россию. Помогали они ему и после выхода его летом 1866 г. из лечебницы. Ему поручена была в это время корректура «Колокола», что давало ему скромный, но регулярный заработок.

---

* Пользуемся случаем, чтобы исправить ошибку, допущенную в названной публикации в т. 61 «Лит. наследства»: на стр. 272, строка 7-я сверху по ошибке указано письмо Утина от 5 августа, а следует: 16 декабря 1864 г.

Скоро, однако, взаимоотношения его с издателями «Колокола» разладились вследствие расхождений политического характера. Поводом для этого послужила статья Огарева «По поводу продажи имений в Западном крае», напечатанная в 224 листе «Колокола» от 1 ноября 1866 г. Серно-Соловьевич познакомился с ней еще в корректуре и счел необходимым протестовать против нее. Дело в том, что Огарев, вместо того, чтоб осудить изданный царским правительством закон о принудительной продаже земель польских помещиков, принимавших участие в восстании 1863 г., усмотрел в нем отступление от «религии собственности» и выразил наивную надежду на то, что «немного погодя русским дворянам будет приказано продать свои земли не дворянам — и вот осуществится давно желаемая *ликвидация сословий*». Наряду с этим Огарев давал русскому правительству совет передавать отчуждаемые польские земли не русским помещикам и чиновникам, как оно это делало, а крестьянам, либо местным, либо из внутренних губерний, готовым из-за малоземелья переселиться на Запад.

Серно-Соловьевич пытался уговорить Огарева внести изменения в его статью, но тщетно. Тогда он написал резкий «Протест», в котором доказывал, что переход польской земли в руки русских крестьян неизбежно приведет к русификации края, и находил в статье Огарева отступление от прежней установки «Колокола» по польскому вопросу, исходившей из признания за каждым народом права на самоопределение. Этот «Протест» Серно-Соловьевич хотел напечатать в «Колоколе», но, вследствие отказа Герцена, опубликовал его в виде листовки на французском языке. Ниже помещается оригинальный русский текст «Протеста» по автографу, оставшемуся в бумагах Герцена. «Протест» явился первым выступлением Серно-Соловьевича в печати против издателей «Колокола». Вскоре за ним последовало второе, еще более резкое.

Это была изданная в 1867 г. брошюра «Наши домашние дела». Ее имел в виду Ленин, когда писал, что Серно-Соловьевич, наряду с Чернышевским и Добролюбовым, справедливо критиковал Герцена за его либеральные колебания (Ленин. Соч., изд. 4, т. 18, стр. 12). Брошюра являлась ответом на статью Герцена «Порядок торжествует», но Серно-Соловьевич не ограничился критическим разбором этой статьи: он давал общую, и притом очень резкую, характеристику политической деятельности Герцена.

Серно-Соловьевич напоминал Герцену о времени, когда на него смотрели, «как на одного из лучших людей России», и указывал, что это время является далеким прошлым, так как давно уже «молодое поколение», поняв, что Герцен собой представляет, «отвернулось от него». Герцен, по мнению Серно-Соловьевича — уже «*мертвый человек*», от которого не приходится ничего ожидать.

В статье «Порядок торжествует» Серно-Соловьевича особенно возмутило место, где Герцен говорил о своем отношении к Чернышевскому. Герцен считал себя представителем того социализма, который «идет от земли и крестьянского быта». Напротив, Чернышевский, по его мнению, представлял собою «чисто западный социализм», средой которого в России являлась будто бы не крестьянская, а «городская, университетская» среда, состоявшая «исключительно из работников умственного движения, из пролетариата интеллигенции». Проводя такое различие между собою и Чернышевским, Герцен высказывал мнение, что оба они «служили взаимным дополнением друг друга» (XIX, 128).

Своей оценкой Чернышевского Герцен как бы подтверждал обвинение, выдвигавшееся против редактора «Современника» его политическими противниками, а именно, что его пропаганда имела чисто книжный, теоретический характер и была по существу чужда русской жизни, ее нуждам и запросам. Вполне понятно, что, верный ученик Чернышевского, Серно-Соловьевич никак не мог согласиться с такой оценкой своего учителя. Он был уверен, что деятельность Чернышевского, как и идеи, которые он проповедовал, соответствовали реальным нуждам многомиллионного русского крестьянства. Поэтому он не мог согласиться и с утверждением Герцена, будто он и Чернышевский чем-то «дополняли» друг друга. На это утверждение Герцена Серно-Соловьевич обрушивался с особой силой, бросая Герцену ряд тяжких обвинений. Он ставил ему в вину неверие в революцию, расчеты на преобразовательную деятельность

правительства, его многочисленные письма к Александру II, отзывы о Каракозове как о «фанатике» и «сумасшедшем» и т. д.

Несомненно, что многое в обвинениях, выдвинутых Серно-Соловьевичем против Герцена, было справедливо. Так, Герцен до конца жизни не расстался в полной мере с верой в возможность мирного преобразования общества. В статье «Порядок торжествует» он писал: «Мысль о перевороте без кровавых средств нам дорога́...» (XIX, 126). Правильно было и указание на надежды Герцена подтолкнуть царя на путь реформ. Именно эти надежды и побуждали Герцена писать «бесчисленные слащавые письма в „Колоколе“ к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения» (Ленин. Соч., изд. 4, т. 18, стр. 12). Последнее такое письмо было написано Герценом в 1866 г. В нем Герцен старался убедить царя, что тот будто бы «кругом обманут» сановниками. «... трудно мне,— писал Герцен,— окончательно расстаться с мыслью, что вы вовлечены другими в тот исторический грех, в ту страшную неправду, которая совершается возле вас» (XVIII, 407).

Однако если ряд обвинений, брошенных Серно-Соловьевичем по адресу Герцена, был справедлив, то никак нельзя согласиться с его утверждением, будто Герцен ко второй половине шестидесятых годов превратился в «мертвого человека». Нам хорошо известно, что последние годы жизни Герцена были ознаменованы новым взлетом его мысли, проявившимся с такою силою в письмах «К старому товарищу». (Надо, впрочем, сказать, что Серно-Соловьевич не дожил до появления в печати этого замечательного произведения.) Неправ был Серно-Соловьевич и тогда, когда говорил в своей брошюре с Герценом недопустимо раздраженным и даже грубым тоном. Характерно, что ряд других представителей «молодой эмиграции», в том числе и автор некролога Серно-Соловьевичу, напечатанного в «Народном деле», осуждали его брошюру за ее крайне резкий тон, хотя и признавали справедливость выдвинутых в ней обвинений.

Позднее, в письме к С. Боркгейму, Серно-Соловьевич сделал в высшей степени ценное признание, противопоставляя издателя «Колокола» издателям буржуазной «Женевской газеты». «Герцена,— писал он,— я только вышучиваю и высмеиваю, а тех, кого представляет „Женевская газета“, я ненавижу телом и душой». Несмотря на это заявление, при чтении «Наших домашних дел» создается впечатление, что Серно-Соловьевич не отдавал себе полного отчета в том, что, хотя между Герценом и Чернышевским существовали разногласия, оба они стояли по одну сторону баррикады, сражались против общего врага. Серно-Соловьевич не оценивал в достаточной степени положительные стороны деятельности Герцена и его заслуги перед русской революцией. Его историческая роль осталась не понятой Серно-Соловьевичем.

Резкий тон брошюры Серно-Соловьевича не мог не вывести Герцена из себя. Тяжело читать его письма этого периода, в которых он выражал негодование не только на Серно-Соловьевича, но и на других представителей «молодой эмиграции», несправедливо обвиняя их в поддержке этого выступления Серно-Соловьевича. Отношения Герцена с «молодой эмиграцией» приняли с той поры особенно враждебный характер. С течением времени чувство обиды у Герцена потеряло первоначальную остроту, восстановились и личные отношения с Серно-Соловьевичем (см. письмо Серно-Соловьевича к Огареву от 1 ноября 1867 г.— «Лит. наследство», т. 62, 1955, стр. 548—551). Тем не менее, осенью 1867 г. Серно-Соловьевич предоставил С. Боркгейму право перевести на немецкий язык его брошюру против Герцена. Впрочем, даже тогда, когда перевод ее был уже готов и прислан Серно-Соловьевичу на отзыв, он задержал его на некоторое время, не решаясь «выносить сор из избы». Только выход в свет пробного номера «Kolokol'а», издание которого Герцен предпринял после прекращения русского «Колокола», положил конец колебаниям Серно-Соловьевича: в «Kolokol'е», по его словам, он нашел «прежние вздохи и глупости». К счастью, немецкий перевод брошюры вышел только в 1871 г., уже после смерти и Герцена, и самого Серно-Соловьевича.

Характерно, что незадолго до смерти Серно-Соловьевича Герцен вел с ним, а также с П. И. Якоби и Н. И. Жуковским переговоры относительно совместного возобновления «Колокола». Об этом известно со слов В. Ф. Лугинина, бывшего свидетелем переговоров (см. М. О. Гершензон. Письма к брату. М., 1927, стр. 150—151).

Проект Герцена не привел к каким-либо реальным результатам, тем не менее, самый факт в высшей степени показателен.

Об изменении отношения Герцена к Серно-Соловьевичу сохранилось свидетельство В. А. Зайцева, который имел, несомненно, в виду Серно-Соловьевича, когда писал в своей брошюре: «... нам отрадно заявить, что Герцен в последние дни еще сочувственно говорил об одном честном молодом деятеле, так рано умершем в Женеве, который в свое время высказал ему много горького из-за любви к правде...» («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 176).

Для характеристики Серно-Соловьевича необходимо упомянуть еще об одной его брошюре, выпущенной на русском языке в 1868 г. под названием «Миколка-публицист». Эта брошюра была направлена против Н. Я. Николадзе, который хотя и не был эмигрантом, но жил в то время в Швейцарии, вращаясь в эмигрантской среде. Поводом для написания брошюры послужила Серно-Соловьевичу статья Николадзе, напечатанная в № 3 журнала «Современность», издававшегося в Женеве Николадзе и Л. И. Мечниковым. В ней автор выступил с рядом тяжелых обвинений по адресу русских эмигрантов. По словам Николадзе, эмигранты были людьми полуграмотными в политическом отношении, лишенными твердых убеждений, неспособными на серьезное дело, не отдающими себе отчета в том, существовали ли основательные причины для их отъезда из России. При таких условиях эмигрантам, по мнению Николадзе, не оставалось ничего другого, как или возвратиться в Россию по примеру В. И. Кельсиева, или отказаться от политической деятельности и, оставаясь за границей, погрузиться в обывательскую жизнь. Серно-Соловьевич, взбешенный клеветническими обвинениями Николадзе против эмигрантов, ответил на его статью исключительным по резкости памфлетом. Спорить с Николадзе по существу и опровергать его обвинения Серно-Соловьевич считал излишним. «Прочли Миколкину патологию,— писал он в статье о Николадзе,— и сказали про Миколку: „Совсем дурак Миколка". Так, кроме дурака, больше ничего и не сказали».

Последние годы жизни Серно-Соловьевич отдался всецело работе в Интернационале и участию в женевском рабочем движении (см. об этом подробнее в нашей статье в «Историческом сборнике» АН СССР, вып. V. М.— Л., 1936).

Почти все русские эмигранты, жившие в Женеве и ее окрестностях, состояли членами секций Интернационала. Работа Серно-Соловьевича в женевских секциях началась в 1867 г. Вскоре он стал весьма заметной фигурой в женевском рабочем движении. Характерно, что по выходе в свет первого тома «Капитала» Маркс счел необходимым послать экземпляр его Серно-Соловьевичу.

При почти полном отсутствии среди женевских рабочих теоретически образованных людей, способных владеть пером, Серно-Соловьевич, несомненно, приносил большую пользу местному рабочему движению. В 1868 г. он был одним из редакторов небольшого журнала «La Liberté», фактически являвшегося органом романских секций Интернационала. В том же году Серно-Соловьевич принимал самое деятельное участие в руководстве начавшейся в Женеве стачкой строительных рабочих, добивавшихся повышения своей нищенской заработной платы.

В период, предшествовавший стачке, Серно-Соловьевич вел агитацию среди рабочих, руководил их кружками, выступал с речами, председательствовал на собраниях членов Интернационала, писал статьи, воззвания и т. п. В одном из писем к своей приятельнице, М. В. Трубниковой, он сообщал: «Здесь, в эти последние три-четыре недели, рабочий вопрос принял очень серьезный оборот. Как член интернационального общества рабочих, я написал несколько статей, которые были замечены в обоих лагерях. Работы было много, случалось спать два-три часа в ночь» («Звенья», V, 1935, стр. 391). К сожалению, мы не знаем, о каких статьях своих сообщает здесь Серно-Соловьевич. Известна нам только одна брошюра, выпущенная им анонимно во время стачки. Это «Réponse à Goegg. A propos de la grève» («Ответ Геггу. По поводу стачки»).

Аманд Гегг, против которого была направлена эта брошюра,— участник германской революции 1848—1849 гг. Он эмигрировал после ее подавления в Швейцарию. Участвуя в местном рабочем движении, он в то же время скопил значительные средства и превратился в фабриканта. По своим взглядам Гегг являлся буржуазным демо-

кратом, сторонником таких реформ, которые должны были «разрешить» социальный вопрос к обоюдному удовольствию фабрикантов и рабочих. Посетив Женеву во время стачки, он опубликовал в местных газетах статью, в которой, рекомендуя себя как «общепризнанного друга рабочих», призывал забастовщиков и предпринимателей к взаимным уступкам в целях обеспечения социального мира.

Статья Гегга произвела известное впечатление на отсталые слои рабочих. Чтобы парализовать его, Серно-Соловьевич и выступил со своей брошюрой, в которой подверг Гегга сокрушительной критике, доказывая, что тот не заслуживает никаких симпатий со стороны рабочих.

ОБЪЯВЛЕНІЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ВОЕННАГО ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРА.

О закрытіи народныхъ читаленъ и шахматнаго клуба.

I.

Въ объявленіи С.-Петербургскаго Военнаго Генералъ-Губернатора, помѣщенномъ во вчерашнемъ № Инвалида о закрытіи народныхъ читаленъ, по ошибкѣ пропущено два слова и потому сегодня перепечатывается снова это объявленіе.

Въ слѣдствіе замѣченнаго вреднаго направленія нѣкоторыхъ изъ учрежденныхъ въ послѣднее время народныхъ читаленъ, которыя даютъ средство не столько для чтенія, сколько для распространенія между посѣщающими оныя лицами сочиненій, имѣющихъ цѣлію произвести безпорядки и волненіе въ народѣ, а также безосновательныхъ толковъ, С.-Петербургскій Военный Генералъ-Губернаторъ призналъ необходимымъ закрыть, впредь до дальнѣйшаго распоряженія, всѣ нынѣ существующія народныя чатальни.

II.

С.-Петербургскій Военный Генералъ-Губернаторъ, считая въ настоящее время своею обязанностію принимать всѣ мѣры къ прекращенію встревоженнаго состоянія умовъ и къ предупрежденію между населеніемъ столицы, не имѣющихъ никакого основанія толковъ о современныхъ событіяхъ, призналъ необходимымъ закрыть, впредь до усмотрѣнія, шахматный клубъ, въ которомъ происходятъ и изъ коего распространяются тѣ не основательныя сужденія.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ВЛАСТЕЙ О ЗАКРЫТИИ НАРОДНЫХ ЧИТАЛЕН И ШАХМАТНОГО КЛУБА В ПЕТЕРБУРГЕ

Одним из учредителей клуба был А. А. Серно-Соловьевич

«Русский инвалид», № 126 от 8 июня 1862 г.

«Вы говорите,— писал Серно-Соловьевич, обращаясь к Геггу,— что постоянно занимаетесь судьбою рабочего. На это мы позволим себе ответить. Кто вы такой, г. Гегг? Чем вы живете? Получают ли от вас рабочие все должное им? Проживаете ли вы столько же, сколько производите? Потрудитесь показать нам ваши счета 〈...〉

Г-н Гегг переходит затем к истории: он рассказывает нам, как буржуазия победила безжалостную аристократию, как она сделалась главенствующим классом в обществе благодаря своему уму, труду, воспитанию. Знаем мы этот ум буржуазии; много ли его нужно, чтоб спекулировать на том, что произвели другие?

Г-н Гегг думает еще, что родственная связь между буржуазией и народом больше, чем между этим последним и аристократией. Нет, милостивый государь, эта бездна так же глубока. Сделала ли что-нибудь буржуазия, чтоб улучшить судьбу тех, кто ее кормит? 〈...〉 У аристократии было хоть свое 4 августа, тогда как буржуазия скорее готова разорить страну, уморить голодом рабочего, чем платить ему сорок сантимов в час».

Возражая на призыв Гегга к «слиянию классов», Серно-Соловьевич иронизировал: «При этих словах нам уже представляется, что капиталисты несут свои капиталы

в кассу Интернационала. Отчего не подает г. Гегг первый примера этому слиянию, предоставив свои собственные капиталы на создание такой ассоциации?»

В заключение своей брошюры Серно-Соловьевич говорил рабочим: «Каков бы ни был исход конфликта, не станем доверять *благодетелям* человечества и запомним навсегда, что тот, кто толкует нам о любви, спекулирует или спекулировал нашим трудом».

Брошюра Серно-Соловьевича с ее страстной отповедью «либеральному» капиталисту имела огромный успех среди рабочих и сорвала выступление Гегга.

Хотя бастовавшим женевским рабочим удалось добиться частичного удовлетворения своих требований, Серно-Соловьевич не был вполне доволен исходом стачки. 20 ноября 1868 г. он писал Марксу: «Последняя стачка показала, как мало еще рабочие способны руководить сами собою, раз какой-то г. Гегг именно в тот момент, когда надо было проявить максимум энергии, мог в течение двух долгих недель водить рабочих за нос и создать себе выдающееся положение в стране!» («Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями». Изд. 2. М., 1951, стр. 34—35).

Серно-Соловьевич убедился, что необходима еще громадная работа как по организации рабочих, так и по поднятию их политического сознания. За эту работу он и взялся по окончании стачки.

Он был избран секретарем статистического бюро женевских секций. Ему было поручено составлять отчет об их деятельности для очередного конгресса Интернационала, который должен был собраться в Брюсселе в сентябре 1868 г. Он состоял членом комиссии, составлявшей проект устава касс сопротивления. В связи с предстоявшими в ноябре 1868 г. выборами женевского Большого совета (так называлось законодательное собрание кантона), он совместно с некоторыми другими членами Интернационала пытался создать отдельную рабочую партию, которая должна была выдвинуть на выборах своих кандидатов. Партия эта ставила своей задачей борьбу за уничтожение «неравенства правового и экономического». В качестве же неотложных реформ она требовала отделения церкви от государства, введения обязательного для всех бесплатного обучения, замены всех прямых и косвенных налогов единым подоходным и налогом на наследства, широкого самоуправления общинных собраний, создания банка, призванного облегчать осуществление кооперативных принципов, и др.

Результаты выборов оказались весьма плачевными для новой партии. Ей не удалось провести ни одного своего кандидата в Большой совет. Общее количество голосов, собранное ею, немного превышало сотню.

Причина этой неудачи заключалась в том, что большинство женевских рабочих состояло, главным образом, из строительных рабочих. Это были преимущественно иностранцы или выходцы из других кантонов. Ни те, ни другие избирательным правом в Швейцарии не пользовались. Что же касается многочисленных в Женеве часовщиков, ювелиров, граверов, живописцев по эмали и т. п., то они в силу не изжитого еще ими оппортунизма и мелкобуржуазных иллюзий уклонились от голосования за кандидатов новой партии и отдали свои голоса по старой привычке радикалам.

Было еще одно обстоятельство, обусловившее неудачный для новой партии исход выборов. Это появление в Женеве Бакунина и создание им Альянса социальной демократии, который должен был войти в Интернационал и, опираясь на который, Бакунин рассчитывал начать войну против Маркса и руководимого им Генерального совета. К попытке создания рабочей партии Бакунин отнесся в высшей степени отрицательно, так как он не признавал необходимости вмешательства рабочих в политическую борьбу и выдвигал требование полного уничтожения государства. Вскоре после опубликования программы рабочей партии, за несколько дней до выборов в Большой совет, Бакунин устроил учредительное собрание Альянса. К огорчению Серно-Соловьевича, некоторые из его соратников по созданию рабочей партии оказались и в числе учредителей Альянса, что, конечно, было прямой изменой делу, начатому ими вместе с Серно-Соловьевичем. Провал рабочей партии на выборах способствовал дальнейшему успеху бакунинской проповеди аполитизма.

Ученик Чернышевского, прекрасно понимавший необходимость участия рабочих в политической борьбе, Серно-Соловьевич был одним из очень немногих деятелей же-

невского Интернационала, не примкнувших к Альянсу. Считая политику, проводимую Бакуниным, гибельной для рабочего движения и Интернационала, Серно-Соловьевич являлся убежденным противником Бакунина и его последователей. Но в результате их все более крепнувшего влияния на развитие рабочего движения в Женеве Серно-Соловьевич в последний год жизни оказался почти в полной изоляции.

Правда, он был включен в члены комиссии, разрабатывавшей проект создания газеты, которая должна была явиться официальным органом романской федерации Интернационала. Однако на конгрессе романских секций, происходившем в Женеве в январе 1869 г., бакунисты одержали полную победу, и Серно-Соловьевич, вопреки его расчетам, не был включен в состав редакционного совета газеты.

Разочарования, пережитые Серно-Соловьевичем, не поколебали, однако, его веры в конечную победу дела, за которое боролся Интернационал. Но для победы Серно-Соловьевич считал необходимым прежде всего повышение умственного уровня рабочего класса, рост его политической сознательности. В письме к Марксу Серно-Соловьевич ставил в большую заслугу Интернационалу пробуждение в рабочем классе «сознания того, что у них в жизни есть нечто, помимо жестокого закона спроса и предложения» (там же, стр. 32—33).

Последние годы жизни Серно-Соловьевич почти совершенно не занимался русскими делами, но интереса к ним он не утратил. Автор некролога, помещенного в «Народном деле», приводит его чрезвычайно интересное заявление. «Меня мучит,— говорил Серно-Соловьевич,— что я не иду в Россию мстить за гибель моего брата и его друзей; но мое единичное мщение было бы недостаточно и бессильно; работая здесь в общем деле, мы отомстим всему этому проклятому порядку, потому что в Интернационале лежит залог уничтожения этого порядка повсюду, повсеместно!»

Цепь разочарований, пережитых Серно-Соловьевичем, привела к тому, что под конец жизни его душевная болезнь вспыхнула с новой силой. Его пришлось поместить в больницу. В один из промежутков болезни, когда к нему вернулась ясность сознания, он узнал от врача, что его положение безнадежно. Тогда Серно-Соловьевич бежал из больницы и покончил с собою (4/16 августа 1869 г.).

В предсмертной записке, оставленной друзьям, он писал: «Я люблю жизнь и людей и покидаю их с сожалением. Но смерть — это еще не самое большое зло. Намного страшнее смерти быть живым мертвецом».

Так погиб один из самых верных и преданных учеников и соратников Чернышевского*.

1. ПИСЬМО Л. П. ШЕЛГУНОВОЙ к А. А. ЧЕРКЕСОВУ

Автор печатаемого письма, Людмила Петровна *Шелгунова* (1832—1901), жена известного публициста Н. В. Шелгунова, в 1863—1865 гг. жила в Швейцарии — сперва в Цюрихе, а с 1865 г. в Женеве. В обоих этих городах она содержала пансион для русских, преимущественно эмигрантов. Так, в Цюрихе в ее пансионе жили А. А. Серно-Соловьевич, П. И. Якоби и его жена В. А. Голицына. Шелгунова сблизилась с Серно-Соловьевичем и имела от него сына.

Публикуемое письмо было написано 5 января 1865 г., во время эмигрантского съезда в Женеве, созванного для урегулирования взаимоотношений между издателями «Колокола», с одной стороны, и «молодой эмиграцией», с другой. Для понимания этого письма необходимо привести несколько выдержек из писем Герцена к Огареву, в которых он информировал его о ходе женевских переговоров. Переговоры эти, как известно, происходили в весьма напряженной обстановке. Герцен не соглашался с требованиями, предъявленными ему «молодыми эмигрантами», находя их несправедливыми. Однако, как видно из его письма к Огареву от 4 января, стороны, наконец, пришли к соглашению, и Герцен считал переговоры законченными. «Здесь я покончил

* Публикуемые новые материалы для биографии Александра Серно-Соловьевича собраны редакцией «Литературного наследства».

мирно,— писал он Огареву.— Молодые люди отказались (откровенно или нет) от своих требований и обещают горы работ и корреспонденций к 1 мая 〈...〉 После всех переговоров, „заседаний“ и пр. родилась следующая программа, которую я тебе посылаю. Такую программу и подобную можно составить mille e tre* в день. Я на нее совершенно согласился. Что „Колокол“ издавать в Лондоне при новом взмахе в России нельзя, это для меня ясно. Здесь перекрещиваются беспрерывно едущие из и во Францию, из и в Италию, здесь многие живут и пр. Но что мы будем делать с милой оравой этой, я не знаю» (XVIII, 6). Таким образом, Герцен согласился на предложенную ему «программу», хотя и не был вполне доволен ею. Однако перед самым отъездом своим из Женевы, состоявшимся 6 января, он узнал, что намеченное соглашение сорвалось. 7 января Герцен писал Огареву: «Женевские щенята в последнюю минуту отказались от всего (по приказу из Цюриха),— да черт же с ними, наконец» (XVIII, 8). На следующий день он сообщил Огареву некоторые подробности относительно срыва соглашения. «После ежедневных прений и разговоров, в которых под скрытой симпатией и уважением крылась мелкая оппозиция и желание захватить в свои руки „Колокол“ и деньги Бахметева, после программы, которую я послал тебе,— за час до моего отъезда является один из них с заявлением, что цюрихские господа не согласны (Серно-Соловьевич — главный противник наш, Якобий и Шелгунова), что они стоят на своем: „Колокол“ издавать по большинству голосов или издавать журнал на Бахметева деньги 〈...〉 Пора же, наконец, и тебе окончательно вразумиться на их счет. У них нет ни связей, ни таланта, ни образования; один Мечников умеет писать; им хочется играть роль, и они хотят нас употребить пьедесталом. Я доказал им, до чего идет моя уступчивость, Л〈угинин〉 и К〈асаткин〉 дивились мне. Ну, и баста. Ты знаешь, у меня никогда не лежало к ним сердце,— у меня есть свое чутье 〈...〉 Женева при разрыве с этими господами делается превосходным местом. Они надоели бы, как горькая редька. Au reste**, я твоим личным вкусам не хочу препятствовать, но работать с ними нельзя» (XVIII, 8—9).

Приведенные нами выдержки из писем Герцена дают возможность исчерпывающим образом прокомментировать письмо Шелгуновой. То «письмо, поднесенное Герцену», о котором пишет Шелгунова,— программа, предложенная Герцену «молодой эмиграцией» и принятая им, та программа, которую он 4 января отправил для ознакомления Огареву и которая, очевидно, не была согласована с Серно-Соловьевичем («Местром») и Якоби и вызвала резкий протест с их стороны. Показал ли Черкесов негодующие письма Серно-Соловьевича и Якоби другим представителям «молодой эмиграции» или только на словах, как об этом просила Шелгунова, передал в смягченной форме об их недовольстве,— неизвестно. Во всяком случае, из-за протеста Серно-Соловьевича и Якоби достигнутое соглашение между «молодой эмиграцией» и Герценом было сорвано, что привело к дальнейшему обострению их и без того неприязненных взаимоотношений.

Таким образом, письмо Шелгуновой для истории женевских эмигрантских переговоров представляет значительный интерес.

Письмо публикуется по копии «пражской коллекции» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 117).

〈Цюрих. 5 января 1865 г.〉

Будьте так добры, Черкесов, не читайте кружку писем Якоби и Местра[1]. Это чистое безумие; ради бога, устройте это для меня. Письма их оскорбят Утина и пользы не принесут. Местра же письмо рассорит нас со всем кружком. Мое мнение такое, чтобы вы сами своими словами объяснили из их писем, чем они недовольны,— собственно для того, чтобы телеграмма не осталась неразъясненною. О том, что я вам телеграфирую, я объясню 〈на〉 днях моим молодцам. Скажите Утину, что А. А.[2] так горячо принимает это дело, что ему сделалось дурно, получив письмо, под-

* тысячу три (итал.). Слова Лепорелло в опере «Дон Жуан» Моцарта. — *Ред.*
** впрочем (франц.).

несенное Герцену. Всю вину я беру на себя, если вас будут обвинять, что вы не имели права не читать писем. Письмо это можете показать как документ. Я уверена, что Местр завтра же будет жалеть, что написал такое резкое письмо. Пожалуйста, умоляю вас, исполните мою просьбу. Деньги когда ваши получу, вышлю вам сто талеров, а восемьдесят четыре возьму себе. Если Ковалевский[3] мне оставит денег, то я вам могу отдать и 200 фр., а не оставит, так не отдам. Триста рублей в Петербурге получены, может быть их вышлю⟨т⟩ обратно. До свиданья. Уж будет ли друг хозяина?[4]

Л.* Ш.

5 января ⟨1865 г.⟩

[1] *Местр* — прозвище Серно-Соловьевича, которым он сам подписывал некоторые свои письма.

[2] *А. А.*— Серно-Соловьевич.

[3] Владимир Онуфриевич *Ковалевский* также присутствовал на эмигрантском съезде. Письма Ковалевского к Герцену см. в «Лит. наследстве», т. 62, 1955, стр. 259—272.

[4] По-видимому, Шелгунова осведомляется здесь об Огареве.

2. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СТАТЬИ ОГАРЕВА

Во вступительной статье к настоящей публикации мы указали, против какой статьи Огарева счел необходимым выступить в конце 1866 г. с «Протестом» Серно-Соловьевич и что́ в этой статье вызвало его возражения. Как известно, Серно-Соловьевичу не удалось напечатать свой «Протест» на русском языке. Он был переведен на французский и выпущен в виде отдельной листовки под названием: «Question polonaise. Protestation d'un Russe contre le „*Kolokol*“» («Польский вопрос. Протест русского против „Колокола“»). Русский перевод этой листовки, выполненный Ф. Фрейденфельдом по экземпляру ее, хранящемуся в женевской университетской библиотеке, был напечатан в «Литературном наследстве», т. 41-42, 1941, стр. 113—115.

В «пражской коллекции» сохранился русский автограф листовки Серно-Соловьевича, который первоначально хотел напечатать свой «Протест» либо в «Колоколе», либо отдельным изданием на русском языке и предлагал Герцену оплатить стоимость отдельного издания. Однако он получил отказ. Доставленный им Герцену экземпляр «Протеста», очевидно, остался у издателя «Колокола» и таким образом попал в «пражскую коллекцию».

В опубликованном переводе французского текста листовки имеются значительные стилистические расхождения по сравнению с русским оригиналом, не изменяющие, однако, существа аргументации автора; имеется там также отсутствующий по понятным причинам в русском оригинале постскриптум, в котором Серно-Соловьевич рассказывает о своих неудачных попытках напечатать «Протест» в «Колоколе» или отдельным изданием в Вольной русской типографии.

Текст листовки публикуется по автографу «пражской коллекции» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 126).

ПРОТЕСТ

Довольно, довольно уступок с нашей стороны ради прошлых заслуг; уступать долее и молчать я не считаю позволительным.

Глубоко расходясь с деятельностью гг. издателей «Колокола», я молчал до сих пор, потому что тяжело было открыто начинать междоусобицу в своем лагере,— я молчал даже и тогда, когда в «Колоколе» появлялись *чуть* не верноподданнические письма к убийце Александру II—Вешателю, печатались статьи с презрительными отзывами о наших молодых мучениках. Я молчал, потому что не хотелось, чтобы Катковы, Скарятины и вся эта сволочь, вся эта падаль из отхожих мест, идущая с ними

* *В копии ошибочно:* А.—*Ред.*

и за ними, видела разлад той микроскопической партии, которая называется русской эмиграцией; я молчал, наконец, так долго, потому что когда-то страстно любил и глубоко уважал гг. Герцена и Огарева. Но гг. издатели «Колокола» глухи ко всем советам и просьбам своих друзей; на все, что им говорят, они отвечают: «Пишите против нас». Они не признают никакой солидарности с нами — наше дело разорвать с ними политическую связь, когда-то соединявшую нас.

В 224 номере «Колокола» (1-го ноября) помещена статья г. Огарева «О продаже имений в Западном крае». Корректируя эту статью, я просил г. Огарева выбросить из нее все то, что относится до переселения в Польшу русских крестьян, говоря, что это и ложно по мысли и должно грубо оскорбить тех, которым «Колокол» постоянно говорит «наши братья, поляки». Господа редакторы не согласились на эту поправку, защищая свой проект своими социальными теориями и тем, что в статье они будто бы остаются верными своей прежней деятельности и вывешенному ими знамени.

Против этой-то статьи я считаю теперь необходимым протестовать печатно.

Не уполномоченный никем, не представляя ни мнения партии, ни даже кучки людей, я протестую только от своего собственного имени; но я уверен, что русское молодое поколение будет в этом вопросе со мною, а не с «Колоколом».

Я *протестую,* — чтобы доказать полякам, что в России есть еще люди, которые, краснея за свою роль палачей и разбойников, прежде всего искренно и без задней мысли хотят полного освобождения Польши и всего польского, т. е. *отделения* их от России. Эти люди говорят, что прежде примирения обеих сторон, прежде союзного общежития на каких бы то ни было началах, с нашей, русской, стороны должны быть покаяние и акт справедливости.

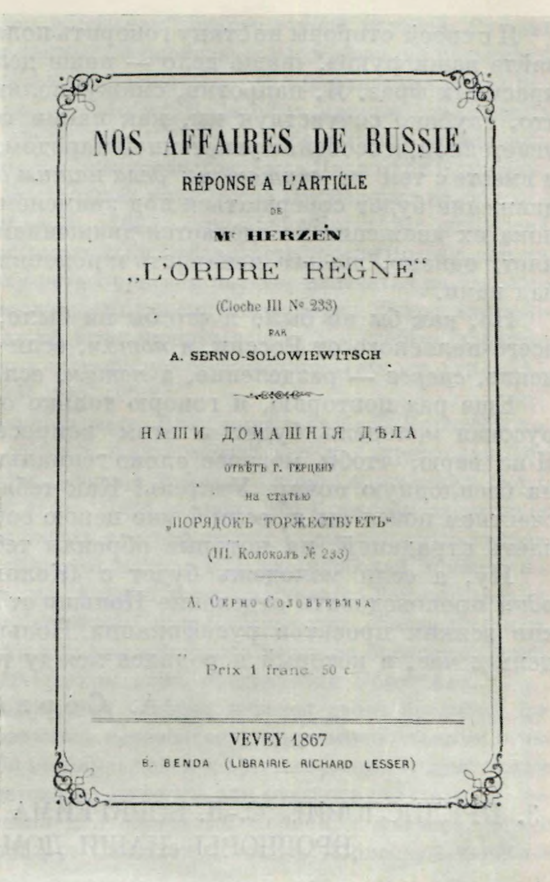
Я *протестую,* — чтобы доказать, что гг. издатели «Колокола» изменили в польском вопросе своим прежним воззрениям, потому что некогда они проповедовали *прежде всего* право Польши устраиваться на тех началах, какие она признает для себя более удобными.

Я *протестую,*— чтобы доказать, что «Колокол» не служит представителем молодого русского поколения, а выражает только личные воззрения гг. Герцена и Огарева.

Я *протестую,*— чтобы доказать, что статья Огарева — страшная политическая ошибка. До сих пор, мы—наша партия — всегда упрекали поляков за узкость их воззрений, за их злобу и недоверие к нам, людям, сосланным в рудники или скитающимся за границею. Но могут ли поляки доверять нам после статьи Огарева? Этой статьи поляки никогда не простят нам — и будут правы. Будь я поляк, я возненавидел бы все русское двойною ненавистию. К чему же вечно твердить полякам: «Наши братья», к чему «пожимать им руки», к чему говорить: «Ваше дело — наше дело».

Я *протестую,*— чтобы доказать, что рассуждения этой статьи о том, что введение русской шляхты в Польшу будет страшным вредом для края, доказывает со стороны издателей «Колокола» и совершенное непонимание дела, и страшную бестактность. Русская шляхта, особенно та, которая пойдет скупать польские имения, неминуемо потонет в польском элементе. Ну, а вот если русское правительство схватится за проект «Колокола» и наводнит Польшу русскими крестьянами, облегчив им еще там условия жизни, тогда действительно настанет Finis Poloniae.

Я *протестую,*— чтобы доказать, что статья г. Огарева напоминает басню Крылова «Щука, рак и лебедь», что концы ее никак не сведешь с началом, что начало тянет в одну сторону, а конец — в другую. Я спра-


NOS AFFAIRES DE RUSSIE

RÉPONSE A L'ARTICLE

DE

Mr HERZEN

„L'ORDRE RÈGNE"

(Cloche III № 233)

PAR

A. SERNO-SOLOWIEWITSCH

НАШИ ДОМАШНІЯ ДѢЛА

ОТВѢТЪ Г. ГЕРЦЕНУ

на статью

„ПОРЯДОКЪ ТОРЖЕСТВУЕТЪ"

(III. Колоколъ № 233)

А. Серно-Соловьевича

Prix 1 franc 50 c.

VEVEY 1867

B. BENDA (LIBRAIRIE RICHARD LESSER)

БРОШЮРА А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА «НАШИ ДОМАШНИЕ ДЕЛА», ВЕВЭ, 1867

Титульный лист

Библиотека СССР им. В. И. Ленина

Москва

шиваю: что значит русифицировать, полонизировать, германизировать и т. д. какую-нибудь страну? Не значит ли это насильственно вводить в страну чуждые ей элементы? и не есть ли переселение русских крестьян в Польшу — русифицирование ее? Добровольное соглашение, говорят нам гг. редакторы «Колокола». Знаем мы, чтó значит в России добровольное соглашение, а если гг. редакторы не знают, чтó это такое, то пусть спросят у нас, знакомых ближе, чем они, с современной Россией. Да к тому же добровольное соглашение предполагает обоюдное согласие. А вероятно, даже и гг. Герцен и Огарев не предполагают ни чтобы мягкосердечный Александр II стал спрашивать поляков, хотят ли они оставить Польшу, ни чтобы поляки захотели выселяться из отечества.

Я *протестую*, наконец,— чтобы доказать, что я понимаю совсем иначе, чем гг. издатели «Колокола», и осуществление социальной теории и какие бы то ни было обновления общественных форм. Прежде чем подносить кому-нибудь свое лекарство, нужно доказать и свою способность лечить, и то, что у вас хотят лечиться. Если же вы подносите мне ваши врачевания на конце кнута или штыка, если вы нагло вторгаетесь в мой дом, тогда я вправе сказать вам: или убирайтесь вон, или сознайтесь, что вы разбойники и палачи. Истинные социалисты совсем не хотят, чтобы народы, как дикие звери, поели друг друга; в том-то и великая задача социализма—найти такую формулу, которая, перестроив экономический быт народов, дала бы возможность не только каждому из них, но и каждой местности жить своей полной, независимой жизнию.

Я с своей стороны не стану говорить полякам ни «наши братья», ни «давайте ваши руки», «ваше дело — наше дело», ни других тому подобных красивых фраз. Я, напротив, скажу полякам с полной откровенностью, что, глубоко сочувствуя им, как нации героев и мучеников, как нации угнетенной, и особенно угнетенной народом, к которому принадлежу я,— я вместе с тем *не считаю их дела нашим делом* до тех пор, пока польское движение будет совершаться под знаменем панов и ксендзов, до тех пор, пока их движение не сделается движением народным. Пока нас соединяет, однако, *только* ненависть к немецким ублюдкам, владычествующим над нами.

Но, как бы ни было и что бы ни было, *сперва* — отделение Польши и всего польского от России, а *потом*, если возможно, федеративное соединение, *сперва* — разделение, а *потом*, если возможно, братский союз.

Еще раз повторяю, я говорю только от своего имени, но уверен, что русская молодежь будет в этом вопросе со мною, а не с «Колоколом». Я не верю, чтобы могучее слово гениального Чернышевского упало все на бесплодную почву. Учитель! Как тебя недостает между нами, каким счастием почел бы я, если б мне ценою собственной жизни искупить хоть часть страданий, на которые обрекли тебя эти убийцы.

Ну, а если молодежь будет с «Колоколом»? Тогда — тогда я буду *один* проповедовать отделение Польши от России, один протестовать против всяких проектов русификации Польши,— и еще раз прокляну тот день и час, в который я родился между рабами.

А. Серно-Соловьевич

3. ПРЕДИСЛОВИЕ С.-Л. БОРКГЕЙМА К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ БРОШЮРЫ «НАШИ ДОМАШНИЕ ДЕЛА»

Немецкий перевод брошюры А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела» был издан уже после смерти ее автора под названием «Unsere Russische Angelegenheiten. Antwort auf den Artikel des Herrn Herzen „Die Ordnung herrscht“ („Kolokol“, Nr. 233)» («Наши русские дела. Ответ на статью господина Герцена „Порядок торжествует“».—(„Колокол“, № 233»). Он вышел в 1871 г. в Лейпциге и печатался в типографии, принадлежавшей газете Вильгельма Либкнехта «Der Volksstaat». Перевод был просмотрен Серно-Соловьевичем. Переводчик снабдил его своим предисловием, представляющим значительный интерес. В нем приведены два весьма содержательных письма Серно-Соловьевича к переводчику, его же открытое письмо к ренегату В. И. Кельсиеву и, наконец, предсмертная записка, оставленная Серно-Соловьевичем своим друзьям и объясняющая мотивы его самоубийства.

Необходимо пояснить, что́ представлял собою переводчик брошюры Серно-Соловьевича.

Сигизмунд-Людвиг *Боркгейм* (1825—1885)— немецкий политический деятель демократического направления, близкий знакомый Маркса и Энгельса, участник революции 1848 г., после подавления которой эмигрировал в Швейцарию, а затем во Францию. В 1851 г. он был арестован и выслан из страны французским правительством и уехал в Англию. Поселившись в Лондоне, он занялся торговой деятельностью. В 1860 г. Маркс называл его «видным купцом лондонского Сити» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XII, ч. I. М.— Л., 1933, стр. 255).

Характеризуя политические взгляды Боркгейма, Энгельс писал: «Не связывая себя определенной программой, Боркгейм всегда примыкал к самой революционной партии» (там же, т. XVI, ч. I. М.— Л., 1937, стр. 301). Свою публицистическую деятельность Боркгейм посвятил преимущественно борьбе с русским абсолютизмом, как с главной опорой европейской реакции. При этом он не делал различия между рус-

ским правительством, русским народом и русской революционной партией. Отсюда его ненависть к Герцену, которого он обвинял в панславизме и в желании подчинить России балканские страны. В этом отношении Боркгейм, как все фанатики, часто доходил до абсурда. Маркс отмечал, что русофобия Боркгейма принимала «опасные размеры» (там же, т. XXIV. М.— Л., 1935, стр. 122). Это особенно ярко проявилось в 1867 г., когда Боркгейм произнес речь на Женевском конгрессе Лиги мира и свободы, в которой он, по выражению Маркса, выступал «в роли Петра Пустынника *по отношению к России*» (там же, т. XXIII. М.— Л., 1932, стр. 458). Боркгейм доказывал необходимость крестового похода всех европейских государств против России, для оттеснения русского народа за Урал. Эту речь Боркгейм позднее напечатал на нескольких языках под претенциозным названием: «Моя жемчужина перед Женевским конгрессом». Маркс очень резко отзывался об этом «произведении» Боркгейма, характеризуя его, как «безвкусную белиберду» и «чистейшую бессмыслицу» (там же, стр. 450—451; ср. также — т. XXV, М.— Л., 1934, стр. 496)*.

Во время пребывания в Женеве на конгрессе Лиги мира и свободы Боркгейм познакомился с Серно-Соловьевичем, который заинтересовал его как противник Герцена, выступавший против него в печати. Узнав о брошюре Серно-Соловьевича, Боркгейм решил перевести ее на немецкий язык. Надо сказать, что Боркгейм специально изучил русский язык для того, чтобы читать русские газеты и эмигрантскую литературу. Владел он русским языком не слишком хорошо и, когда пробовал писать по-русски, не всегда можно было понять, что именно хочет он сказать. Тем не менее он взялся за перевод на немецкий язык брошюры Серно-Соловьевича, обязавшись прислать его автору на просмотр. История издания немецкого перевода брошюры Серно-Соловьевича подробно изложена в печатаемом ниже предисловии Боркгейма.

По просьбе Боркгейма Серно-Соловьевич снабдил перевод своей брошюры пояснениями тех мест, которые представлялись переводчику недостаточно ясными и понятными для немецкой публики, слабо разбиравшейся в русских делах. Подавляющее большинство этих пояснений не представляет интереса для русского читателя, но некоторые из них не лишены значения для биографии Серно-Соловьевича, рисуя его отношение к упоминаемым в брошюре событиям и лицам. Приводим наиболее значительные из этих пояснений.

О великом князе Константине Николаевиче Серно-Соловьевич замечает, что он долгое время хотел играть в России роль «либерала», подобную той, какую при Наполеоне III играл принц Наполеон. «Как всякое глупое подражание, это было пошло и грязно»,— пишет Серно-Соловьевич.

Характерна сноска Серно-Соловьевича к фамилиям Милютина и Арцимовича: «Два так называемых русских государственных деятеля, которые с муравьевским хладнокровием творили в Польше всевозможные зверства. Первый из них, друг великого князя Константина, долгое время был на плохом счету при дворе из-за своего так называемого социалистического направления, которое, как теперь выяснилось, заключалось в том, чтобы уничтожить поляков и их землю заселить русскими крестьянами. Второй, поляк по происхождению, является ренегатом. Оба—самые честолюбивые люди России».

Интересны отзывы Серно-Соловьевича о русских революционерах.

К фамилиям Сазонова и Энгельсона Серно-Соловьевич дает следующее пояснение: «Два русских политических эмигранта 〈...〉, умерших в изгнании. Они были друзьями Герцена. Теперь же, чтобы показать, что в России имеется только один единственный человек, достойный быть эмигрантом,— именно сам Герцен — он публикует грязные истории из их частной жизни, которая известна ему, как их другу». Ясно, что Серно-Соловьевич имел в виду главы «Былого и дум», посвященные этим двум эмигрантам.

В примечании о погибшем во время польского восстания Потебне Серно-Соловьевич пишет:

---

* О Боркгейме см. также в настоящем томе статью Вольфа Дювеля «Чернышевский в немецкой рабочей печати» и статью E. Reissner «Zur Herzen-Kritik in frühen sozialdemokratischen Zeitungen. (Borkheims Polemik gegen Herzen)». — «Zeitschrift für Slawistik», Band III, Heft 2-4, Berlin, 1958, S. 483—493. — *Ред.*

«Потебня был одним из деятельных молодых русских офицеров, вступивших в бой за Польшу. Когда он приехал в Лондон, чтобы спросить у Герцена совета, что должны делать офицеры и подготовлено ли восстание в России, в то время как революционное движение в Польше в разгаре и нельзя больше медлить, Герцен ответил ему своими обычными фразами о „гниении“ Европы, а по существу самого дела не сказал ничего. Потебня оставил Лондон разочарованным. Он был убит в борьбе за Польшу».

Чрезвычайно враждебен отзыв Серно-Соловьевича о П. В. Долгорукове. «Долгоруков — это тот самый князь, который опубликовал свои грязные мемуары. Почему этот человек объявил себя эмигрантом, не знает никто, даже он сам. Презираемый всеми русскими, находящийся в постоянной переписке со всеми русскими сановниками, он из всех эмигрантов поддерживал связь только с г. Герценом, пока, наконец, не издал свою глупую и тупую брошюру о Женевском конгрессе мира, в которой называет гг. Герцена, Бакунина и Огарева старыми, седыми и неисправимыми буршами».

Приведем в заключение одну сноску, касающуюся Герцена: «После покушения Каракозова у г. Герцена обсуждался вопрос о протесте против этого героя».

Предисловие и включенные в него письма печатаются в переводе с немецкого А. Н. Дубовикова.

ВВЕДЕНИЕ

В 1867 г. я впервые услышал на берегах Женевского озера о русских «республиканцах и социалистах», которые не только ничего общего не имели с надворным советником Герценом, но были его противниками. Рассказывавший мне об этом был коренной русский, воспитанный в Германии, доктор философии и *тоже* надворный советник[1]; случайно он оказался моим соседом за обеденным столом в гостинице. Он назвал мне русских «радикалов», совершенно неизвестных в Европе. Вскоре после этого мне попалось в некоторых швейцарских книготорговых объявлениях заглавие нижеследующей переведенной мною брошюры. Оно обратило мое особенное внимание из-за автора, имя которого, как я вспомнил, было названо среди других имен «радикалов», казалось бы, вполне лояльным русским надворным советником. Как только я ее прочел, я обратился письменно на французском языке к г. Серно-Соловьевичу с просьбой разрешить опубликовать ее по-немецки, а также разъяснить мне некоторые непонятные места и дать справку об упомянутых им, неизвестных мне лицах. Я получил следующий ответ, который перевожу с французского оригинала:

Женева, 18 октября 1867 г.
Делис 55.

Милостивый государь.

Я получил от книготорговца г. Бенда[2] ваши письма от 12 и 14 текущего месяца и спешу ответить на ваши вопросы. Чернышевский и Добролюбов являются двумя крупнейшими публицистами молодой России. Им — никто не может это отрицать — обязаны мы движением, которое происходит сейчас в России и рано или поздно — так, по крайней мере, я надеюсь — должно привести к явному взрыву (éclater). Первый, приговоренный к каторжным работам, находится в Сибири, второй умер в возрасте двадцати шести лет. Едва ли нужно добавлять, что они являются противниками Герцена и именно в том смысле, что, по их мнению, слову, если оно не отмечено печатью лжи, не должно противоречить поведение человека в жизни. Никого не принуждают проповедовать социализм, но если кто-либо выступает как его пророк, он должен точно определить свой социализм, иначе он окажется не чем иным, как краснобаем.

Статьи Чернышевского рассеяны на страницах журнала «Современник», который он редактировал и который больше не существует. Иностранцу трудно его понимать — это относится правда только к его политическим статьям,—так как, для того чтобы провести цензуру, он писал прямо противоположное тому, в чем был убежден. Публика понимала его. Этот человек обладал большим и притом совершенно оригинальным талантом, я бы мог сказать, что это был настоящий гений. Он знал немецкую философию,

Unsere Russischen Angelegenheiten.

Antwort auf den Artikel des Herrn Herzen:

„Die Ordnung herrscht!"

(Kolokol Nr. 233)

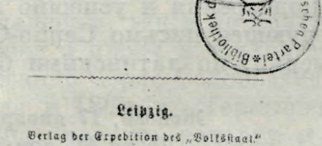
von

A. Serno-Solowiewitsch.

Aus dem Russischen übersetzt

von

S. L. Borkheim.



Leipzig.

Verlag der Expedition des „Volksstaat."

1871.

Einleitung.

Im Jahre 1867 hörte ich zum ersten Male an den Ufern des Genfer Sees von russischen „Republikanern und Sozialisten" sprechen, die nicht nur gar nichts mit dem Hofrath Herzen gemein haben, sondern seine Gegner sein sollten. Mein Gewährsmann war ein in Deutschland erzogener Stockrusse, Doktor der Philosophie und auch Hofrath, den mir der Zufall zum Tischnachbar an der Hoteltafel gegeben hatte. Er nannte mir russische „Radikale", die in Europa ganz unbekannt waren. Bald darauf fand ich den Titel nachstehend übersetzter Broschüre in einigen schweizerischen Buchhändleranzeigen. Er war mir besonders wegen des Autors aufgefallen, dessen Namen ich mich erinnerte, unter den von dem anscheinend loyalen russischen Hofrath aufgeführten „Radikalen" gehört zu haben. Sobald ich sie gelesen, wandte ich mich brieflich in französischer Sprache an Herrn Serno-Solowiewitsch mit der Bitte, sie auf deutsch veröffentlichen zu dürfen, ersuchte ihn auch um Aufschluß über mir unverständliche Stellen und um Auskunft über darin erwähnte, mir unbekannte Persönlichkeiten. Ich erhielt folgende Antwort, die ich aus dem französischen Original übersetze:

Genf, den 18. Oktober 1867.
Délices 55.

„Mein Herr!

„Ich habe von dem Buchhändler Herrn Benda Ihre Briefe vom 12. und 14. d. M. erhalten und beeile mich, Ihre Fragen zu beantworten.

„Tschernyschefski und Dobroljuboff sind die zwei größten Publicisten des jungen Rußland. Sie sind es — Niemand kann dem widersprechen, — denen wir' die Bewegung schulden, die sich jetzt in Rußland vollzieht, und die früher oder später — so hoffe ich wenigstens — zu deutlichem Durchbruch kommen muß (éclater). Jener befindet sich, zur Zwangsarbeit verurtheilt, in Sibirien, dieser ist, 26 Jahre alt, gestorben. Ich brauche kaum beizufügen, daß sie die Gegenmänner Herzens sind, und zwar in dem Sinne, daß, gemäß ihres Urtheils, dem Worte,

НЕМЕЦКИЙ ПЕРЕВОД БРОШЮРЫ А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА «НАШИ ДОМАШНИЕ ДЕЛА». ЛЕЙПЦИГ, 1871

Титульный лист и первая страница предисловия переводчика — С.-Л. Боркгейма

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Москва

как немногие немцы. Его сочинения теперь напечатаны в Женеве, как вы можете видеть из прилагаемого объявления книготорговца Бенда. *Последний* том, который содержит его философский роман «Что делать?», только что вышел в свет[3]. Я перевожу его на немецкий язык для книготорговца Р. Лессера. Перевод почти готов и в ближайшее время должен быть напечатан в «Интернациональной библиотеке»[4]. Этот роман написан им в Петропавловской крепости.

Сочинения Добролюбова изданы в России в трех больших томах. Я намерен, ввиду их высокой цены (по меньшей мере 50—60 франков), устроить, чтобы вам их выслали из Петербурга.

Теперь о моей брошюре. Разумеется, милостивый государь, вы можете с ней делать все, что вы сочтете нужным; но уверяю вас, без тени ложной скромности, что она не заслуживает перевода, тем более, что она имеет только местный интерес. Все же делайте с ней, что вам угодно.

Я посылаю вам перевод и пояснения тех мест моей брошюры, на которые вы указали в вашем втором письме. Если вы будете настаивать на

своем решении перевести ее, я просил бы вас перед опубликованием присылать мне немецкую рукопись по частям, по мере того, как она будет готова. Я дам все необходимые замечания и разъяснения. Я должен только вас предупредить, что *после* 10 ноября меня уже не будет в Женеве.

Вы предложили мне гонорар. Я отклоняю это предложение. Мы черпаем слишком много и без всякой скромности из немецких источников, чтобы я мог позволить себе принимать плату за подобные незначительные мелочи.

У меня еще одна просьба к вам: напечатать впереди текста брошюры прилагаемое письмо, адресованное г. Кельсиеву. Вы поймете его без комментариев. (Далее следуют некоторые пояснения, касающиеся языка и содержания брошюры.—*Прим. С.-Л. Боркгейма*).

Я жду вашего ответа и присылки части вашего перевода и прошу вас, милостивый государь, принять уверение в моем высоком уважении.

А. Серно-Соловьевич

Вскоре я послал ему, одну за другой, части перевода, но он в течение трех месяцев не подавал никаких признаков жизни. Я подозревал в этом скрытое влияние Герцена, которое, разумеется, должно было бы быть направлено на то, чтобы не оказывать никакого содействия немецкому изданию и даже, если возможно, воспрепятствовать ему. Наконец я обратился к живущему в Женеве моему дорогому старому другу Иоганну-Филиппу Беккеру[5] с просьбой помочь моей рукописи путем личного вмешательства. Основательны ли были мои подозрения и успешно ли было посредничество Беккера, показывает следующее письмо Серно-Соловьевича, оригинал которого написан по-немецки, но латинскими буквами:

Женева, 17 января 1868 г.
Делис 41, дом Николь

Милостивый государь.

Простите мне великодушно мое долгое и для вас совершенно непонятное молчание, хотя я действительно не знаю, как я могу оправдаться перед вами. Я мог бы привести вам в качестве причины, что я сам был три недели болен, что умер один из моих друзей и его болезнь отняла у меня много времени[6], наконец, что я должен был закончить совершенно неотложную работу[7], но всё это были бы не настоящие основания моего молчания.

В декабре прошлого года я узнал, что Герцен намерен с нового года основать социалистическую газету на французском языке. И вот я спросил себя: целесообразно ли теперь, когда вопрос о социализме вновь решительно выдвигается на передний план, обнаруживать личные расхождения перед врагами социализма, перед всеми этими лавочниками, этими «Женевскими газетами». Ибо, милостивый государь, Герцена я только вышучиваю и высмеиваю; а тех, кого представляет «Женевская газета», я ненавижу телом и душой. Я охотно готов признать, что это мнение было ошибочным, потому что послабления ⟨Ablassungen*⟩ никогда не приводили ни к чему хорошему. Я только спрашивал еще себя, не лучше ли

---

* Смысл слова «Ablassungen» мне неясен. Я думаю, что Серно-Соловьевич хотел сказать «отказ» ⟨«Lossagung»⟩ или, может быть, «смена убеждений» ⟨«Meinungswechsel»⟩. Очевидно, он имел в виду какое-то русское слово, с трудом поддающееся передаче по-немецки. Мне не хочется думать, что он с намерением затемнил смысл этой фразы. — *Прим. С.-Л. Б.* (Может быть, он хотел сказать «Abblassungen» — от abblassen, verblassen — то есть «смягчения». — *Прим. наборщика*).

было бы не выносить сора из избы ⟨die schmutzige Wäsche in der Familie zu waschen*⟩. Что представляем собою мы, другие русские? В появившемся пробном номере «La Cloche»** снова повторяются прежние вздохи и глупости. Но первый номер еще не вышел. Я все ждал его, как и выяснения позиций Герцена по отношению к европейской прессе, чтобы, судя по обстоятельствам, отослать вам только перевод или присоединить к нему также просьбу не публиковать его. Тут получил я запрос от г. Беккера. Дальнейшая задержка стала невозможной и, сверх того, излишней.

Я посылаю вам первую часть с извинениями за внесенные поправки и надеюсь, что вы не истолкуете это дурно; обещаю вам остальное (как и приложение) прислать в конце этого месяца.

Примите, сударь, мое глубокое почтение.

Преданный вам

А. Серно-Соловьевич

P. S. Вы мне как-то писали о Бакунине, так что вам, быть может, будет интересно знать сказанное им, что «за брошюру меня следует отколотить палкой».

Непонятные немецкой публике места г. Серно-Соловьевич объяснил в своих ответах на мои вопросы. Я включил их в «примечания». К самому переводу с точки зрения филологической он ничего не добавил. То, что он не мог быть мне полезен в отношении стилистики, достаточно явствует из приведенного выше его немецкого письма. Обещанное «приложение» я, к сожалению, так и не получил.

Перевод и прозы и стихов выполнен мною.

Александр Серно-Соловьевич был эмигрантом с 1863 г. В то самое время, когда в 1865 г. Чернышевский по приговору сената был осужден на двадцатилетнюю каторгу и последующую пожизненную ссылку[8], а брат Серно-Соловьевича Николай был отправлен на вечное поселение в Сибирь, он сам in contumatiam*** был лишен имущества и гражданских прав. В эмиграции он ⟨Александр⟩ вынужден был бороться с суровыми условиями жизни и, в конце концов, в 1869 г., в тридцатилетнем возрасте, стал жертвой нервного расстройства. Он боялся сойти с ума и думал спасти себя от такого несчастья самоубийством. В полученном его друзьями после его смерти письме, которое лежит передо мною во французском переводе, он сам говорит об этом тяжелом решении:

«Если б я мог думать, что у вас достанет мужества выслушать спокойно мое прощальное слово, я, конечно, мог бы убедить вас в необходимости для меня расстаться с жизнью. Я люблю жизнь и людей и покидаю их с сожалением. Но смерть — это еще не самое большое зло. Намного страшнее смерти быть живым мертвецом».

Товарищем Серно-Соловьевича по ссылке был Кельсиев-Желудков, вскоре перешедший на сторону русского правительства, которое произвело его в «советники» и для которого он в качестве «агента» использовал свои знания и опыт, полученные за границей. Письмо, об опубликовании которого так настоятельно просил меня г. Серно-Соловьевич, звучит так****:

---

* Вся последняя фраза зачеркнута, но не настолько, чтобы ее нельзя было прочесть.— *Прим. С.-Л. Б.*

** «Колокола» (франц.).

*** заочно (лат.).

**** Оригинал письма, приведенного Боркгеймом, — на немецком языке. — *Ред.*

ПИСЬМО г. КЕЛЬСИЕВУ-ЖЕЛУДКОВУ

⟨Женева. Сентябрь 1867 г.⟩

Милостивый государь!

В одном из августовских номеров «Петербургская газета» оказала мне честь, заговорив о моей русской брошюре, появившейся в Берлине, и при этом оскорбив меня. Мне нечего, абсолютно нечего возразить на такие дерзкие, избитые, пустые фразы. Я понимаю и знаю ученых профессоров полицейского права; это всецело в их компетенции, это их ремесло, их заработок,— пусть они с божьей помощью живут им.

Но вы, милостивый государь, без сомнения, очень хорошо знаете, что касающиеся меня глубокомысленные соображения почтенной редакции внушены вашим «раскаянием», вашей «исповедью», вашими «блестящими статьями», вашим «талантом», вашим «возвращением» в Россию с «покорным сердцем», короче говоря, вашим добровольным превращением из свободного человека в царского холопа. Пусть сравнят благочестивые похвалы, которыми одаряет вас русская пресса, с сообщениями иностранных газет о золоте, которым наполнились ваши карманы при достижении границы, и тогда не останется никаких сомнений в том, что́ вы такое и на что вы годитесь, *господин Кельсиев-Желудков*.

Об этих крайне интересных фактах молчат ваши бывшие друзья, господа редакторы «Колокола», которые в течение нескольких лет жили вместе с вами в Лондоне и нашли в вашем лице пресловутого царского социалиста. Впрочем я забываю, что редакторы «Колокола» с некоторого времени предались мирным занятиям; они отдыхают от своих длительных вздохов и «утирают покрытые по́том лбы».

Но бывают отношения, которые дают право тем, кого они касаются, требовать с своей стороны ответных объяснений. Так сложились наши отношения, и думаю, что я имею все основания потребовать от вас, чтобы вы объяснили ваше превращение.

Скажите же нам: чем вы были вчера? Чем вы являетесь сегодня?

Продали ли вы просто вашу совесть за золото? Или вы стали приверженцем пресловутой теории царских социалистов? Или, наконец, вы принадлежите к тем несчастным созданиям, которые не представляют себе заранее последствий эмиграции и о которых можно только пожалеть?

Объясните, сударь, чем вы были зимой 1863 г., когда вы явились к нам, чтобы найти убежище, и благодаря нашей помощи смогли беспрепятственно покинуть Россию? [9] История, которая, как вы это хорошо знаете, окончилась смертью для моего брата, отправленного по этапу в Сибирь, каторжным приговором для меня и потерей нашего имущества.

Чем вы были, когда мы бродили у прусской границы и пытались переправить в Россию лондонские издания?

Чем вы были, когда вы вместе с г. Герценом писали нам письма, полные поздравлений?.. Я имею в виду ту несчастную историю Ветошникова, когда из-за вашей недопустимой небрежности погибло столько людей [10].

И когда содержание вас поглощало общие деньги и лишало куска хлеба других русских ссыльных?

И когда я однажды потребовал от вас объяснений относительно письма, написанного вашей рукой, перехваченного правительством и послужившего причиной ареста моего брата, вспомните, что вы мне ответили? «Вы эмигрант!!! Я не могу сейчас объяснить вам все эти обстоятельства, потому что у меня лихорадка и одному богу известно, что со мной происходит; да, вы стали эмигрантом — при одном этом слове у меня сжимается сердце. Да, я погубил вас и вашего брата! Мой друг,— позвольте мне называть вас этим именем,— если бы я мог в жизни хоть что-нибудь сделать для вас! Требуйте от меня чего хотите, я готов для вас пожерт-

вовать собою. Но я знаю вас; я знаю, что вы подчиняете ваши личные выгоды общим интересам. Наш час скоро пробьет; и теперь не время поддаваться личной скорби; надо попытаться использовать обстоятельства; соединим наши усилия. Рассеемся, чтобы охватить Россию мощной цепью и в братском труде направить все наши удары против пошатнувшегося правительства. До скорого свидания. У меня нет больше сил писать. Обнимаю вас от всего сердца. Лондон, 3 августа 1863 г. В. Кельсиев» (совершенно то же фразерство, что и у Герцена)... Я бережно сохранил это письмо... Или лихорадка вас еще не оставила?

Итак, объясните нам, милостивый государь, ваше прошедшее, ваше настоящее и... ваше будущее. Страницы «Петербургской газеты», несомненно, будут с радостью предоставлены вашему испытанному таланту и вашей раскаявшейся совести.

И, наконец, в заключение еще один вопрос: хорошо ли рассчитали вы ваше покаяние? Хорошо ли вы учли доверие, которым награждают предателей?.. Что бы там ни говорили господа Корши, Кавелины, неизвестные [11] и иже с ними — все эти господа, которые не могут понять, что нищета в свободной стране лучше, чем все их посты в помойной яме.

А. Серно-Соловьевич

Женева, сентябрь 1867 г.

Я надеюсь, что перевод брошюры не всеми читателями будет сочтен за бесполезную работу. Я знаю, что ура-патриоты приходят в ярость, когда рассматривают под увеличительным стеклом жалкие, прогнившие, запутанные дела русских «заклятых друзей» Гогенцоллернов.

Лондон, апрель 1871.

СОЧИНЕНІЯ

Н. ЧЕРНЫШЕВСКАГО

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ ИЗДАНІЕ

ТОМЪ I

НАУЧНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

1853—1858

Изданіе М. ЭЛПИДИНА и Компаніи.

VEVEY

B. BENDA, LIBRAIRE-ÉDITEUR

Successeur de Richard Lesser

1868

«СОЧИНЕНИЯ Н. ЧЕРНЫШЕВСКОГО». ВЕВЭ, 1868. ИЗДАНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ И ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА

Титульный лист первого тома

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

[1] Судя по тем данным, которые сообщает Боркгейм об этом докторе философии, имеется в виду Владимир Оттомарович Баранов, корреспондент Маркса. См. о нем в «Лит. наследстве», т. 41-42, 1941, стр. 160—162, а также «Переписку К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», стр. 58—59.

[2] Б. *Бенда* — поляк, эмигрант, владелец книжного магазина и издательства в Вевэ.

[3] О женевском издании сочинений Чернышевского см. в предисловии к письму Огарева к Н. Я. Николадзе («Лит. наследство», т. 63, 1956, стр. 160).

[4] Было ли осуществлено издание «Что делать?» на немецком языке в переводе А. Серно-Соловьевича — установить не удалось.

[5] Иоганн-Филипп *Беккер* (1809—1886) — немецкий революционер, участник революции 1848 г., эмигрировавший после подавления ее в Швейцарию. В 1860-х годах Беккер являлся одним из организаторов швейцарских секций Интернационала.

[6] Возможно, что речь идет здесь о В. И. Касаткине, умершем 10 декабря 1867 г. Другом Серно-Соловьевича он не был,— наоборот, отношения их отличались, особенно в последнее время, нескрываемой враждебностью. Это не исключает того, что хлопоты во время болезни и после смерти Касаткина могли отнять у Серно-Соловьевича, как и у других женевских эмигрантов, много времени.

[7] Вероятно, Серно-Соловьевич имел в виду какую-нибудь переводную работу, выполнявшуюся им для «Записок для чтения», издававшихся в Петербурге К. В. Трубниковым. Ради заработка он в 1866—1868 гг. перевел для этого журнала несколько иностранных романов.

[8] Боркгейм допускает неточности: Серно-Соловьевич сделался эмигрантом в 1862, а не в 1863 г. Чернышевский был осужден в 1864, а не в 1865 г. и притом на четырнадцать лет каторги, а не на двадцать. При утверждении приговора Сената срок каторги был сокращен до семи лет.

[9] Серно-Соловьевич ошибся: Кельсиев приезжал в Россию в марте 1862 г.

[10] Павел Александрович *Ветошников* — знакомый В. И. Кельсиева, был арестован в начале июля 1862 г. при возвращении из-за границы. При этом у него были отобраны письма, врученные ему эмигрантами, не соблюдавшими необходимой конспирации (см. об этом в «Былом и думах», ч. VI, гл. X). Арест Ветошникова явился последствием доноса заграничных агентов III Отделения о принятом им от эмигрантов поручении (об аресте Ветошникова см. выше сообщение Н. Г. Розенблюма «Г. Г. Перетц — агент III Отделения»).

[11] В немецком тексте стоит слово «Unbekannte». Возможно, что Серно-Соловьевич употребил здесь в нарицательном значении псевдоним А. С. Суворина «Незнакомец».

4. НЕКРОЛОГ А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧУ В ЖУРНАЛЕ «НАРОДНОЕ ДЕЛО»

Публикуемый ниже некролог был напечатан в № 7-10 журнала «Народное дело» 1869 г. Журнал издавался в Женеве группою русских эмигрантов, организовавших в следующем году русскую секцию Интернационала и поддерживавших Маркса и руководимый им Генеральный совет в их борьбе против тактики Бакунина и его последователей, дезорганизовавших рабочее движение. Как и все статьи, публиковавшиеся в этом журнале, некролог был напечатан анонимно. Тем не менее, установить, кто является его автором, не представляет труда.

Из самого некролога явствует, что он написан тем же лицом, что и статья «Пропаганда и организация», помещенная в № 2-3 «Народного дела» 1868 г. Обе эти статьи свидетельствуют о прекрасной осведомленности их автора в вопросах революционного движения в России начала шестидесятых годов. Среди участников группы, издававшей «Народное дело», таким осведомленным человеком являлся только Н. И. Утин, один из руководителей студенческого движения 1861 г. в Петербурге и член Центрального комитета «Земли и воли». Это придает некрологу Серно-Соловьевичу особый интерес и значение: он представляет ценность не только для биографии одного из наиболее выдающихся деятелей революционного движения шестидесятых годов, но и для истории всего этого движения в целом. Некролог Серно-Соловьевичу является документом, с которым необходимо, прежде всего, считаться при решении вопроса о времени возникновения центра, объединившего разрозненные ранее революционные кружки и организации. Автор некролога указывает, что соответствующая работа началась

с осени 1861 г., когда стала несомненной необходимость «правильного группирования революционных элементов, правильного организования, одним словом, того, что называется тайным обществом...»

Ценный материал дает некролог и для характеристики взаимоотношений между «старой» и «молодой эмиграцией». Автор ясно и отчетливо формулирует вопросы, в решении которых Герцен и Огарев разошлись со своими молодыми товарищами по эмиграции. В некрологе нет упоминаний ни о Герцене, ни об Огареве, но, тем не менее, он полемически заострен против них. Когда автор некролога с негодованием отвергает упрек «старого поколения» молодому в отсутствии «*исторической* благодарности», он несомненно имеет в виду Герцена. Когда он иронически отзывается о «ригорах и поэтах», что «звонили о благодушии царя победителя и освободителя», он тоже явно намекает на две статьи Герцена: ту, в которой Герцен, отзываясь на опубликование царских рескриптов в 1857 г., положивших начало подготовительной работе по отмене крепостного права, приветствовал Александра II словами: «Ты победил, Галилеянин!», и ту, которой Герцен отозвался на манифест 19 февраля 1861 г., назвав царя «Освободителем». Когда автор некролога говорит о людях, видевших в Н. А. Серно-Соловьевиче «нового маркиза Позу», он имеет в виду статью Герцена «Иркутск и Петербург» (XVIII, 375). Его же он имеет в виду, когда говорит, что попытка «молодой эмиграции» объединиться со «старой» для помощи пропагандистам в России рушилась отчасти вследствие «неумения или нежелания старой эмиграции соединить вокруг себя молодую». Про Герцена же идет речь и там, где автор некролога говорит о «глубоком сочувствии» Серно-Соловьевича Каракозову, вследствие которого он счел необходимым выступить против людей, отозвавшихся о Каракозове, как о «фанатике» и «сумасшедшем». Герцена же и Огарева имел он в виду, когда говорил о протесте Серно-Соловьевича «против некоторых предложений „Колокола“ правительственному социализму в Литве» (см. выше во вступительной заметке к публикации «Протеста» Серно-Соловьевича). О статье Герцена «Порядок торжествует», вызвавшей брошюру Серно-Соловьевича «Наши домашние дела», автор говорит, выражая негодование против «объяснений старой эмиграции о *дополнительном* значении Чернышевского». Наконец, о Герцене же и главах из «Былого и дум», посвященных В. А. Энгельсону и Н. И. Сазонову, идет речь, когда автор некролога протестует против людей, публиковавших «никому не нужные и чуждые всякому делу семейные подробности об отношениях мужа и жены, о займах денег, о попойках». Из письма Серно-Соловьевича к Боркгейму, приведенного в предисловии к немецкому изданию брошюры Серно-Соловьевича «Наши домашние дела» (см. выше), видно, как он был возмущен этими главами «Былого и дум».

Таким образом, некролог ясно указывает нам на те пункты расхождений, которые существовали между издателями «Колокола» и «молодой эмиграцией», в частности А. А. Серно-Соловьевичем.

Подробности об авторе некролога — Н. И. Утине — см. в нашем предисловии к публикации его писем Герцену и Огареву («Лит. наследство», т. 62, 1955, стр. 607—625).

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ

Братья, что ж молчит в вас злоба,
Что любовь молчит?..

(Михайлов. На смерть Добролюбова)

4/16 августа Александр Александрович Серно-Соловьевич кончил свою жизнь самоубийством в Женеве.

Еще новая жертва той безотрадной русской жизни, пред мраком и низостью которой не устоял молодой мозг горячего борца за народную свободу; жертва того кровожадного гонения, с которым так называемые образованное общество и русское правительство набросились в 60-х годах на свежие и бодрые силы молодого поколения.

Эта могила А. Серно-Соловьевича еще более расширяет тот глубокий ров, который лежит между тем, кто остается ответственным за реакционные гонения, и между тем, кто остается верен своему однажды поднятому знамени; эта могила связывает чрез все громадное пространство сибирские рудники с заграничным изгнанием, наших сибирских братьев с нами. Здесь труп одного брата рассказывает нам ту историю, про которую в сибирских сугробах говорит труп другого брата. Честные и энергичные, преданные и бескорыстные, гонимые, но непокорившиеся, оба брата — Николай и Александр Серно-Соловьевич одинаково оставляют по себе в русской революционной истории благодарную память. Да, мы, которых старое поколение упрекает в отсутствии какой-то *исторической* благодарности, — мы говорим о любви и о признательности, с которыми и бывшее, современное братьям поколение, и нынешнее молодое поколение всегда отнесутся к памяти обоих, потому что они *заслужили* ее своим искренним служением делу народной свободы.

Политическая жизнь того и другого брата заключала в себе много поучительного, могущего служить столько же строгим уроком новому поколению, сколько суровым упреком старому.

В то время, когда в чаду либерализма, в упоении трескучими фразами и сентиментальными фигурами, в шаловливых мечтаниях чуть ли не о российской республике с новым царем под счастливой звездой, *в то время*, когда риторы и поэты звонили о благодушии царя — победителя и освободителя,—молодой Николай Серно-Соловьевич, только что вступавший на общественную арену, решался *тоже* прямо обратиться к Александру II. Соловьевич остановил Александра II в Царскосельском саду и протянул ему записку, которую тот принял, видя смелую настойчивость Соловьевича. В этой записке Николай Серно-Соловьевич указывал царю на бедствия страны и говорил о потребных реформах, об уничтожении крепостничества. Прочел ли царь записку и, если прочел, то понял ли он ее,— это неизвестно; но известно то, что он велел одному из своих приятелей, Орлову или Долгорукову, поцеловать юношу[1].

Этот поступок был совершен Николаем Соловьевичем под понятным влиянием Кавелина и его прежних друзей; таким указанием мы вовсе не думаем обвинять сих людей за подобное упование на ум и сердце царя; напротив, по всему складу своей мысли и по своему отношению к верхним и нижним слоям русской империи, они были совершенно последовательны в своих упованиях (чего далеко нельзя сказать о всех других отношениях их), и поэтому мы только констатируем факт. Этот факт объяснит нам, почему в то время, как одни восхищались поступком Соловьевича и побуждали его идти далее по начатому пути, предвидя в нем нового маркиза Позу — другие, суровые скептики, указывали ему на иной путь, на путь борьбы, а не союза с царизмом, и пророчили ему беду от иудиного поцелуя.

Среди колебаний между двумя направлениями, делившими тогда между собою,— хоть и не довольно ясно для поверхностных глаз публики,— радикальную и либеральную партии, Серно-Соловьевич отправился за границу вместе с своим братом Александром. Рассказ об их сношениях за границею повел бы нас слишком далеко и вывел бы за пределы этого короткого напоминания о жизни двух честных, энергических революционных деятелей. Достаточно будет напомнить читателю о выпуске Соловьевичем в Берлине брошюры о крестьянском освобождении*[2], в ко-

* Одна из книжек «Голоса из России» принадлежит также Н. Серно-Соловьевичу; он говорил в ней о способах крестьянского освобождения и между прочим предлагал продажу североамериканских русских владений Соединенным Штатам, с назначением вырученной суммы на увеличение капитала для государственного раздела между помещиками и крестьянами[3]. Царь-освободитель, в своем патриотизме, конечно, не принял тогда сей меры и предпочел позже спустить владения за бесценок для приобретения кораблей, о дальнейшей участи которых мы, однако, не слыхали.

торой он уже изобличал прямо правительство и под которой счел нужным подписать свое полное имя, желая очевидно указать этим и правительству и царю, что серьезные и трезвые люди могли ошибаться одну минуту в юности, но не могли не убедиться скоро в негодности и предательстве

Годъ первый №№ 7, 8, 9, 10. Ноябрь, 1869.

НАРОДНОЕ ДѢЛО

LA CAUSE DU PEUPLE

Цѣна: 1 фр. 25 сант. | Prix: 1 fr. 25 cent.

Libraire-dépositaire Mr. H. Georg à Genève et à Bâle.

S'adresser pour tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration à l'imprimerie de la Cause du Peuple, à M. A. Troussoff, Montbrillant, 8, à Genève.

СОДЕРЖАНІЕ: Смерть Ал. Ал. Серно-Соловьевича. — Современное выраженіе Соціальной Революціи на Западѣ. (Базельскій Конгрессъ Интернаціональной Ассоціаціи Рабочихъ, Ст. I-ая). — Русское соціально-революціонное дѣло и его соотношеніе съ Западнымъ рабочимъ движеніемъ. — Размышленія о россійскомъ образованномъ обществѣ. (Письмо въ Редакцію). — Отчетъ Главнаго Совѣта Интернаціональной Ассоціаціи. — По поводу прокламацій. Запросъ А. Герцену, Н. Огареву и М. Бакунину? — Сочиненія Н. Г. Чернышевскаго. — Денежные взносы.

АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧЪ.

Братья, чтожъ молчитъ въ васъ злоба,
Что любовь молчитъ? . . . . .
(Михайловъ, на смерть Добролюбова)

4/16 Августа Александръ Александровичъ Серно-Соловьевичъ кончилъ свою жизнь самоубійствомъ въ Женевѣ.

Еще новая жертва той безотрадной русской жизни, предъ мракомъ и низостью которой не устоялъ молодой мозгъ горячаго борца за народную свободу; жертва того кровожаднаго гоненія, съ которымъ такъ-называемыя образованное общество и русское правительство набросились въ 60-хъ годахъ на свѣжія и бодрыя силы молодаго поколѣнія.

Эта могила А. С.-Соловьевича еще болѣе расширяетъ тотъ глубокій ровъ, который лежитъ между тѣмъ, кто остается отвѣтственнымъ за реакціонныя гоненія и между тѣмъ, кто остается вѣренъ своему однажды поднятому знамени; эта могила связываетъ чрезъ все громадное пространство Сибирскіе рудники съ заграничнымъ изгнаніемъ, нашихъ Сибирскихъ братьевъ съ нами. Здѣсь трупъ одного брата разсказываетъ намъ ту исторію, про которую въ Сибирскихъ сугробахъ говоритъ трупъ другого брата. — Честные и энергичные, преданные и безкорыстные, гонимые, но непокорившіеся, оба брата, Николай и Александръ Серно-Соловьевичъ одинаково оставляютъ по себѣ въ русской революціонной исторіи благодарную память. Да, мы, которыхъ старое поколѣніе упрекаетъ въ отсутствіи какой-то *исторической* благодарности, — мы говоримъ о любви и о признательности, съ которыми и бывшее, современное братьямъ поколѣніе, и нынѣшнее молодое поколѣніе всегда отнесутся къ памяти обоихъ, потому что они *заслужили* ее своимъ искреннимъ служеніемъ дѣлу народной свободы.

НЕКРОЛОГ А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧУ В ЖУРНАЛЕ «НАРОДНОЕ ДЕЛО». ЖЕНЕВА, НОЯБРЬ 1869 г., № 7-10

Напечатан без подписи. Автор некролога Н. И. Утин

Страница первая

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Москва

правительства. Действительно, возвратившись из-за границы, оба брата, Николай и Александр, который, между прочим, имел значительное влияние на старшего брата и который звал его на *прямое* дело, оба они стали в передовые ряды революционных организаторов, время для которых наступило с лета 1861 г., с появления «*Великоросса*». С этого времени Николай и Александр Серно-Соловьевич ни минуты не покидают революционного дела. Во время осенней студентской истории в Петербурге, когда

четыреста человек брошено было в Кронштадтскую и Петропавловскую крепость и когда Шуваловы, Паткули, Игнатьевы и Панины норовили сдать студентскую молодежь в солдаты, арестантские роты, на Кавказ и в Сибирь,— общественная агитация заставила отцов отечества остепениться и задержать свою жажду крови. Общее недовольство и ропот, на которое в то время еще обращал внимание царь,— потому что дорожил общественным мнением в Европе и потому что тогда ропот даже образованного общества имел известное значение, ибо общество было тогда, действительно, сильнее и единодушнее, —заставили царя свеликодушничать и удовольствоваться ссылками и исключениями из университета взамен Сибири. В той агитации оба брата играли значительную роль и готовы были идти до крайних мер, полагая, что при дальнейших насилиях правительства и при поддержке, которую тогда готовы были оказать молодежи некоторые элементы низших слоев, можно будет повести общество на энергическую оппозицию правительственным мерам.

За выпуском студентов из крепости последовало тесное сближение различных кружков; революционное направление обозначилось более ясно и определенно. Круг недовольных, круг готовых мстить правительству за его насилие над народом и над теми, которые видели цель своей жизни в служении народу, за его все более бесцеремонный разбой над обманутым народом и за его покушение на образование и жизнь мозгового пролетариата, круг недовольных быстро умножался и расширялся. Являлась потребность правильного группирования революционных элементов, правильного организования, одним словом, того, что называется тайным обществом...

Но и здесь, в отдельном рассказе о двух личностях того времени, как и в общей истории революционного движения 60-х годов, конечно, надо будет умолчать о многом и о многом: это *необходимо* в виду нового свободного дела и в виду неудобства даже и теперь разъяснять и помечать те планы, сущность которых вполне применима и теперь. Конечно, такое умолчание значительно уменьшает возможность оценки той или другой светлой, преданной личности того времени; конечно, между прочим и память о двух погибших за дело братьях осветилась бы блеском и почетом в глазах очень многих людей, не посвященных в подробности бывшего дела или гораздо позже вступивших в него, но мы уже говорили (см. «Пропаганда и организация»[4]), что то было общее «дело, которому личность отдавалась с полною, беспредельною преданностью и бескорыстно скрывалась в общем единодушном стремлении по пути к задуманной цели». Это определение должно быть вполне применено к обоим братьям, и мы смело можем поручиться — и поведение Николая пред инквизиторскими комиссиями[5], и поведение Александра в Интернациональной ассоциации подтверждают наши слова,— что ни тому, ни другому вовсе не нужно было личной, мишурной славы, личного мелкого удовлетворения: молодое поколение 60-х годов не нуждалось и не искало ни того, ни другого; дружное, общее действование не оставляло ни времени, ни охоты заниматься игрою в генералы и главнокомандующие: на всем пространстве России шло объединение подготовительной работы без подозрения друг друга, без препирательств из-за диктатуры того или другого комитета в общей федерации столичных и провинциальных комитетов. Каждый комитет ссужал другой всем, чем только мог, и, в свою очередь, обращался за братской помощью к другим, когда то требовалось. В таком общем настроении и направлении шли и оба брата, и мы не для красного слова на могиле, а по требованию истины, говорим здесь, что оба брата не щадили ни своих средств, ни своей безопасности, ни своего здоровья в служении общему делу.

А между тем и мы можем доставить нашим врагам удовольствие та-

ким признанием,— между тем немногие из агитаторов и пропагандистов могли в то время похвалиться особенным здоровьем: оно с детства тратилось безобразным, противоестественным воспитанием, оно хоронилось заживо в замкнутых стенах казенно-учебных заведений, оно у большинства, недостаточного, расходовалось в ежедневной изнурительной борьбе с нуждой и голодом, у меньшинства, достаточного или даже богатого, в семейной ежедневной борьбе с предрассудками и претензиями привилегированных, имущественных каст; оно гибло вконец в удушливых сырых склепах Петропавловской крепости и острогов, и многие выносили из заключения кровохарканье и расстройство того или другого органа, расстройство нервной системы. А жизнь окружающая, а правительственный дикий гнет и общественная патологическая деморализация, а народные кровавые страдания «усмирительного периода» не могли не отзываться тяжелыми ударами на организме людей, для которых борьба со всей гнетущею народ системою была не пустою игрой словопрения и не праздным препровождением времени, а насущной задачей всей их жизни, громадною задачею сравнительно с количеством сил, бравшихся за нее и отстаивавших народное дело.

Но в то время люди, конечно, не думали о своем здоровье, и если мы говорим о том положении, то только для того, чтобы объяснить естественным и правдивым путем постигшее позже Александра Соловьевича патологическое состояние. В то время люди жили и работали с усиленной энергией, как бы сознавая, что они *опоздали* с своей работой и как бы желая нагнать утраченное для организации время пред объявлением фальшивой воли; эти люди надеялись (нас могут упрекать и высмеивать за неосновательность нашей надежды, мы все же говорим, что *надеялись*, иначе наша усиленная работа тогда не имела бы смысла), что народ быстро дойдет до самосознания и захочет тогда же требовать своей настоящей воли и земли, и что им будет тогда место в рядах народа для помощи общему делу освобождения. И ускоренная, денно и нощно тревожная жизнь этих людей шла среди успехов и неудач, среди одолеваемых препятствий и неожиданных тормозов, среди увеличения числа единомышленников и гибели дорогих борцов...

Погром 62-го года (см. №№ 2 и 3 «Народного дела»)[6] среди многих жертв поглотил в один день Н. Чернышевского и Н. Соловьевича, учителя и ученика!

Бессмысленная поездка болтливого негодяя, ренегата Кельсиева, дала правительству ловкий повод к аресту многих личностей, а бессмысленное рабское потворство общества, угорело бросившегося в реакцию, дало правительству благодушного освободителя возможность морить своих противников целые годы в Алексеевском равелине и потом сослать на каторгу без суда, без фактических доказательств их виновности, с обличением фальшивыми документами.

Противозаконное обвинение Чернышевского и Соловьевича, разбив всякие заблуждения насчет правительства Александра II, указало в то же время на невозможность союза между радикальной партией и лицемерствующим обществом, обнаружив бескорыстную преданность народным интересам и разумное понимание их, с одной стороны, и лишь привязанность к личному пресыщению и раболепное невежество, с другой. Мы уже говорили прежде, что ни мы, ни наши дорогие собратья и учителя не подумали бы жаловаться или негодовать на гонения правительства против революционной партии: преследуя нас, оно остается верным себе; непримиримая борьба с партией свободы обусловливает самую сущность этого правительства. Но мы здесь пользуемся только еще раз случаем, чтоб и юношеству и благородному обществу напомнить тот факт, который свидетельствует, что либеральное и могущественное правительство не

имеет в своих руках иной власти и силы против враждующей с ним партии, как только самое произвольное насилие, что, преследуя врагов своих, оно первое нарушает все законы, им же самим установленные и долженствующие «служить охраной священных интересов жизни и собственности общества». А затем мы предоставляем нашим либеральным столпам отечества уже самим взвесить, насколько умно и логично с их стороны казнить своих противников за *противозаконность* пропаганды здравых идей, предоставляем им поразмыслить и о результатах такого сопоставления...

Рядом с двумя жертвами должна была погибнуть и третья. Александру Соловьевичу только бегством удалось спастись от равелина и Сибири. Но не удалось ему спастись от тяжелой страдальческой доли.

Защитники мещанской религии, семьи и собственности вопят о революционерах как бы об извергах, не признающих ни естественных чувств, ни дорогих привязанностей. Пусть они вопят себе вволю... их дряблый мозг никогда не поймет, чтоб во имя идеи, во имя любви к делу свободы люди могли отрываться с жгучею, мучительною болью от всех своих привязанностей, ото всего, с чем срослась и переплелась вся личная жизнь! Они никогда не поймут, чтоб слезы матери при аресте по-видимому спокойного, улыбающегося сына могли заставлять этого бездушного сына сдерживать в груди своей целый ад печали и горя и за нее, свою дорогую, свою любимую мать, и за тысячи матерей, подобных ей, и за миллионы матерей в среде народа, у которых ежедневно отнимают их сыновей, если не рекрутчиной, то острогом, если не болезнью, то нуждой! Они никогда не поймут, чтоб у брата, присутствовавшего при казни, при заточенье, при надевании кандалов на брата с спокойным, чуть ли не равнодушным видом, чтоб у него чувство личного мщения и ненависти к врагам-губителям едва сдерживалось внутри самого себя и находило опору своей сдержанности в чувстве более широкого, безличного мщения за всех братьев, закабаленных и закованных во всевозможные цепи. Они никогда не поймут, чтоб, по-видимому, спокойно отрывающийся от жены и ребенка муж и отец могли жестоко страдать от этого насильственного разрыва и все же безропотно и без помысла о пошлом раскаянии идти вперед по опасному пути пропаганды, находя выход для личного страдания и личного горя в мысли о более широком, многомиллионном горе, в мысли о помощи этому горю, об уничтожении этого горя путем уничтожения ненавистных врагов народа. Они никогда не поймут всего этого, несмотря на все известные примеры из истории революции; потому что они довольствуются в своем злостном невежестве только словопрениями. Что же может быть общего между нами и ими?! Оставим их в стороне и сомкнемтесь сами по себе, одни братья, в тесный дружный строй около могилы брата. И то, чего они не поймут, *то* мы знаем. Мы знаем, что Александр Александрович страстно любил своего брата; мы понимаем поэтому, что каждый день его пребывания за границей (в Англии и потом в Швейцарии), в те два долгие года, когда его брат Николай содержался в Петропавловской крепости, каждый день был отравлен мучительной мыслью о брате, о его жизни, сорванной при начале ее широкого революционного развития. И еще мучительнее становилось положение Александра Серно-Соловьевича вдали, изолированное от места действия, когда вслед за погромом 62-го года уцелевшие и новые борцы не захотели предательски бросить дела, поднятого старшими братьями, и стали сплочивать революционные силы Молодой России, невзирая ни на какие преследования правительства, только более вызывавшие и энергию, и охоту борьбы. Поражение польского восстания рядом с поражением революционной организации в России тем более потрясло Соловьевича, что как в той, так и в другой организации было много това-

рищей его и многие друзья его, польские и русские, дрались отважно и смело с петербургским императорством в Польше.

Мы не станем затрагивать личной жизни Александра Серно-Соловьевича и не будем говорить ни о фигурах, которые решились до конца омрачить его жизнь горем и лишениями, ни о тех достойных личностях, которые не оставляли его никогда своей нравственной и, может быть, материальною поддержкою, в то время, когда он не мог сам работать, и которые до последней минуты сохранили к нему свое честное участие и свое дружеское уважение и привязанность. Если б эти личности нуждались в благодарности, то мы, конечно, позволили бы себе от лица Молодой России благодарить их за их отношение к погибшему другу. Мы совершенно умолчим о личной жизни Александра Соловьевича, но мы должны будем упомянуть о том, что в конце 1864 года он принял энергическое участие в стремлении молодой эмиграции создать в Женеве тесный круг, который своей готовностью и положением мог бы служить постоянною помощью нашим друзьям пропагандистам в России. Это стремление рушилось тогда отчасти вследствие разлада молодой эмиграции с старой, вследствие неумения или нежелания старой эмиграции соединить вокруг себя молодую; отчасти вследствие бывшей разнородности и недостатка наличных материальных и авторских сил в самой молодой эмиграции для создания самостоятельного органа. Мы вовсе не считаем нужным скрывать, что вслед за нарушением той мечты начались в эмиграции более, чем когда-либо раздоры и даже интриги, потому что там, где между людьми, близко стоящими друг к другу, нет серьезного, строгого дела, связующего их в один дружный круг, там всегда есть разъединение и разлад. Как бы то ни было, но близким друзьям Александра Соловьевича известно, что его здоровье, слабое и дотоле, пришло в совершенное расстройство, сопряженное с обнаружившеюся тогда мозговою болезнью, именно в начале 1865 года...

Для дальнейшего объяснения одного поступка Соловьевича, на который напустились изящные словесники, мы не считаем более нужным скрывать, что если кто-либо мог иметь наиболее оснований отнестись неприязненно к поводам и побуждениям старой эмиграции в ее разладе с молодой, то это, конечно, был Александр Серно-Соловьевич. Он был *за границей* вместе с своим братом, он знал все, что происходило между его братом и другими, и теперь, когда он, после гибели брата, сопряженной с многими обстоятельствами, созывал всех на одно *общее дело* — он услышал не отклик, а бранливую критику сплеча и осуждение всему молодому. Присоедините к этому его глубокое сочувствие Каракозову, его радикальное осуждение иезуитского *правительственного социализма* в Польше, и вы легко поймете, почему в конце 1866 года, оправившись от болезни, он счел нужным протестовать печатно против некоторых предложений «Колокола» правительственному социализму в Литве, и вы точно так же поймете (даже не знакомясь со всей интимной стороной дела, о которой мы здесь умолчим), почему Соловьевич, быв учеником Чернышевского, стояв с ним в близких отношениях, счел нужным летом 1867 года протестовать против объяснений старой эмиграции о *дополнительном* значении Чернышевского. Мы жалели и жалеем, что Соловьевич примешал к делу тон личной насмешки и пояснения домашнего характера; мы жалеем, между прочим, и потому, что в аргументации, основанной на печатных фактах, у Соловьевича не могло быть недостатка; и, конечно, такая аргументация была бы гораздо сильнее. Тем не менее, брошюра А. Соловьевича имела свое серьезное значение; в ней выразился протест ученика Чернышевского против неверного толкования и сопоставления, в ней сказалось неизменное отношение к Чернышевскому. Во всяком случае упрек ему за домашний оттенок памфлета никак не мог бы идти со

стороны той части заграничной прессы, в которой даже и по смерти некоторых людей,—когда силою природы всякая апелляция, всякое опровержение переставало быть возможным,— решались публиковать никому не нужные и совершенно чуждые всякому делу семейные подробности об отношениях мужа и жены, о займах денег, о попойках!

Раз навсегда решив избегать всяких личностей, мы извиняемся перед читателем за неясность этих строк и за неизбежность, в которую мы поставлены и еще не раз можем быть поставлены, говорить, в свою очередь, о роли и поведении некоторых деятелей.

Одновременно с появлением брошюры «Наши домашние дела» А. Серно-Соловьевич принял деятельное инициативное участие в задуманном издании сочинений Н. Г. Чернышевского, и при его помощи был выпущен роман «Что делать?»[7]. На этом кончается прямое участие Соловьевича в русских делах, участие, еще и в последний раз столкнувшееся с нелепым отношением российского общества к изданию сочинений Н. Г. Чернышевского! В то время, когда в России после каракозовского выстрела нечего было и думать об издании сочинений Чернышевского, рьяные публицисты вздумали протестовать против издания чуть ли не в видах нарушения литературной собственности![8] У этих протестантов даже не хватило стыда не оскорблять памяти и учения Чернышевского, который, если б мог быть спрошен, конечно, сам поручился бы за то, что никогда никто из эмигрантов не покусится в своих личных видах на его скуднейшие средства и что, конечно, в издании его сочинений руководятся только искренним желанием подвинуть дело пропаганды вперед...

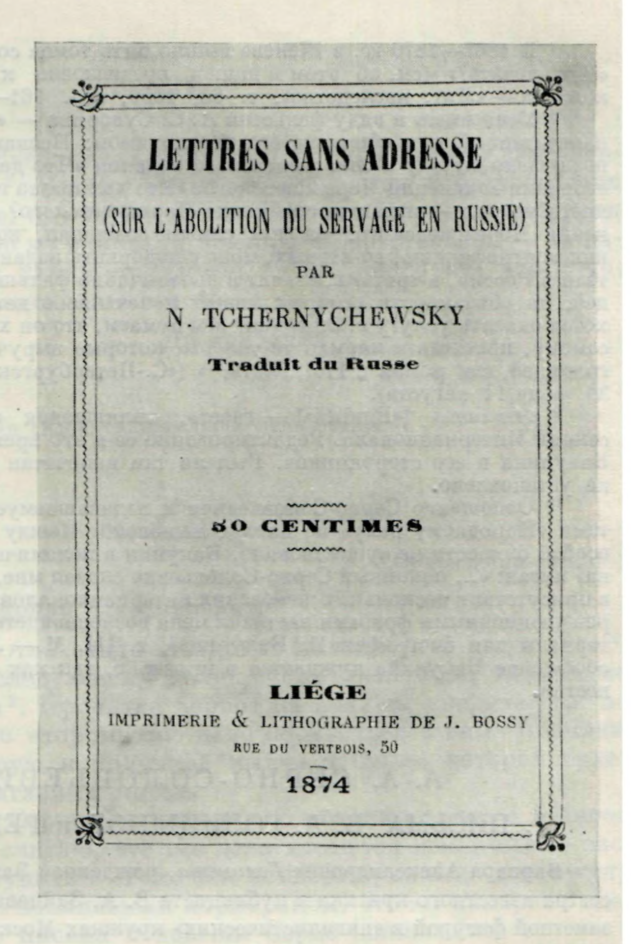
Другая деятельность манила к себе энергическую, неустанную натуру Соловьевича. В той новой деятельности он видел возможность ближайшего осуществления тех новых общечеловеческих начал, в борьбе за которые на родине он положил лучшие годы своей жизни. С жаром, с самоотверженной преданностью ухватился он за работу в Интернациональной ассоциации и всецело посвятил себя ей. Наши единомышленники, работники Интернационала в Женеве знают и, конечно, скажут скоро подробно (в журнале «Эгалите»)[9] о той ежедневной серьезной помощи, которую оказывал Соловьевич только что начинавшейся организации Интернационала в Женеве. Он не любил разыгрывать шумную роль, он был враг трескучих фраз из революционной фразеологии, ничего собою не выражающих; он любил в деле— дело, а не свою фигуру. Когда он был нужен на трибуне, он являлся на нее, и не раз общее собрание всех секций звало его в президенты собрания. Но гораздо важнее, чем на трибуне, была его деятельность в кружках рабочих, в личных, ежедневных сношениях с ними: там, где он мог что-либо заимствовать для выяснения основных начал и практического пути действия, там он слушал жадно и являлся учеником; там же, где он мог дать что-либо от своего знания и изучения, которое столь ценят работники, не имеющие достаточно ни времени, ни средств для самостоятельного занятия, там он обращался в искреннего, добросовестного учителя и будил сознание в уснувших или еще не пробужденных, и вселял смелость в робких, и звал к единству разъединенных, и все научились понимать его, все его любили и уважали в Интернационале. Ему принадлежит заслуга в том, что своей бескорыстною преданностью он сделал то, что интернационалы встречают радушно и приветливо своих русских братьев — братьев по одному и тому же делу общего всенародного освобождения, во имя одних и тех же начал новой народной жизни!

Но жестоко ошиблись бы те, которые подумали бы, что Соловьевич стал вместе с тем равнодушен к *русскому делу*: нет, еще недавно один из его товарищей в Интернационале повторял нам его слова: «Меня мучит, что я не иду в Россию мстить за гибель моего брата и его друзей; но мое единич-

ФРАНЦУЗСКИЙ ПЕРЕВОД «ПИСЕМ БЕЗ АДРЕСА» ЧЕРНЫШЕВСКОГО. ЛЬЕЖ, 1874

Обложка

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва


LETTRES SANS ADRESSE

(SUR L'ABOLITION DU SERVAGE EN RUSSIE)

PAR

N. TCHERNYCHEWSKY

Traduit du Russe

50 CENTIMES

LIÉGE

IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE DE J. BOSSY

RUE DU VERTBOIS, 50

1874

ное мщение было бы недостаточно и бессильно; работая здесь в общем деле, мы отомстим всему этому проклятому порядку, потому что в Интернационале лежит залог уничтожения этого порядка повсюду, повсеместно!» Та же мысль руководила им, когда в последнюю зиму пронесся слух о прекращении «Народного дела» и он обратился к нам с братским увещанием не бросать, а продолжать начатое дело социальной пропаганды в России[10].

На его могиле обещаем мы крепко и твердо держать снова поднятое знамя до тех пор, пока сохранно передадим его в руки тех борцов, которые придут на смену нам, когда мы отстанем, или окажемся менее пригодными, чем другие, к ведению великого дела пропаганды или же когда мы погибнем в ранней или поздней борьбе за великое дело народного освобождения.

[1] Описываемый эпизод относится к сентябрю 1858 г. Н. А. Серно-Соловьевич был вызван не к Долгорукову, а к А. Ф. Орлову, бывшему в то время заместителем председателя Главного комитета по крестьянскому делу.

[2] Брошюра Н. А. Серно-Соловьевича вышла в 1861 г. в Берлине под названием «Окончательное решение крестьянского вопроса».

[3] Автор некролога имеет в виду «Проект действительного освобождения крестьян», опубликованный в VIII кн. «Голосов из России». Лондон, 1860.

[4] Статья Н. И. Утина «Пропаганда и организация» в № 2-3 «Народного дела» 1868 г.

[5] О поведении Н. А. Серно-Соловьевича на следствии см. в «Лит. наследстве», т. 62, 1955, стр. 552—561, а также настоящий том, стр. 748—760.

[6] Утин ссылается здесь на свою статью «Пропаганда и организация» (см. прим. 4).

[7] В 1867—1870 гг. в Женеве вышло пять томов сочинений Чернышевского, роман «Что делать?» (см. об этом в нашем предисловии к письму Огарева к Н. Я. Николадзе.— «Лит. наследство», т. 63, 1956, стр. 161—162).

[8] Утин имеет в виду фельетон А. С. Суворина — «Недельные очерки и картинки», напечатанный под обычным его псевдонимом: Незнакомец. Начало этого фельетона посвящено выходу в свет женевского издания «Что делать?» и предстоящему изданию собрания сочинений Чернышевского. «Кто дал право г. Михаилу Элпидину,— восклицает Суворин,— издавать сочинения Чернышевского? <...> Печатая за границей сочинения Чернышевского, он тем самым совершал, во-первых, литературную кражу или контрафакцию, во-вторых, может подорвать издание сочинений означенного писателя в России, в-третьих, ставит в чрезвычайно фальшивое положение и автора, и людей, на обязанности которых лежит попечение о детях Чернышевского... Кому же хотел оказать услугу г. Элпидин? Мы думаем, что он хотел оказать услугу только себе самому, положив в карман те талеры, которые выручит с русских, пребывающих за границей, за роман „Что делать?“» («С.-Петербургские ведомости», 1867, № 208, от 30 июля/11 августа).

[9] «*Эгалите*» («Egalité») — газета, являвшаяся органом романской федерации секций Интернационала. Редактирование ее в это время (1869 г.) находилось в руках Бакунина и его сторонников. Был ли там напечатан некролог Серно-Соловьевичу — не установлено.

[10] Отношение Серно-Соловьевича к издававшемуся Утиным и другими эмигрантами «Народному делу» не вполне выяснено. Между Серно-Соловьевичем и Утиным особой близости не существовало. Бакунин в полемической статье «Интриги г-на Утина» писал: «... покойный Серно-Соловьевич сказал мне, незадолго перед своею смертью в присутствии нескольких женевских интернационалов: „Утин своими отвратительными революционными фразами заставил меня возненавидеть самое слово революция“» («Материалы для биографии М. Бакунина», т. III. М.— Л., 1928, стр. 411). Однако это сообщение Бакунина нуждается в проверке, так как его ненависть к Утину общеизвестна.

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ в 1865 г.

I. ПИСЬМА В. А. ГОЛИЦЫНОЙ к ГЕРЦЕНУ и ОГАРЕВУ

Варвара Александровна *Голицына*, рожденная Зайцева, по второму мужу Якоби, сестра известного критика и публициста В. А. Зайцева, была, как и ее брат, довольно заметной фигурой в «нигилистических» кружках Москвы и Петербурга начала шестидесятых годов. Она привлекалась к дознанию по делу московских членов «Земли и воли» (так называемое «дело Андрущенко») и была одной из деятельниц «Общества поощрения женского труда» в Петербурге, в организации которого принимал ближайшее участие П. Л. Лавров.

В. А. Зайцева была дочерью провинциального чиновника, советника казенной палаты в Костроме, человека, не имевшего никакого состояния, но не лишенного некоторой образованности. Он был театралом и печатал в местной прессе стихи и статейки на различные темы. По своим политическим взглядам Зайцев был человеком весьма отсталым и до последней степени преданным престолу.

В семье Зайцевых очень рано обнаружился обычный в те времена конфликт между отцами и детьми. Подвергаясь постоянным преследованиям со стороны отца, угрожавшего донести на «непокорную» дочь в III Отделение, Варвара Александровна вышла замуж фиктивным браком за князя А. С. Голицына, человека, настроенного крайне оппозиционно по отношению к самодержавию и сблизившегося с революционными кругами. Голицын предоставил ей полную свободу, и в середине 1860-х годов она уехала в Швейцарию.

Там она сблизилась с эмигрантскими кругами и стала женой известного психиатра и этнографа П. И. Якоби. Они поселились в Цюрихе. Вместе с А. А. Серно-Соловьевичем они в среде «молодой эмиграции» составляли партию, которая относилась к Герцену наиболее враждебно и настаивала на превращении «Колокола» в общеэмигрантское издание.

В девяностых годах Зайцева вместе с Якоби возвратилась в Россию.

Письма печатаются по автографам «пражской коллекции» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 78).

1

ГЕРЦЕНУ

23 июля ⟨1865 г.⟩

Александр Иванович! Вчера были получены от Соловьевича два письма и телеграмма с дороги[1]. Из них видно, что разъезды и беспокойство оказали уже свое действие: ему стало хуже. Поэтому Черкесов поручил мне предупредить вас, чтоб вы написали доктору в Брестенберг — не давать Соловьевичу ни под каким предлогом денег, иначе он, вероятно, убежит, и вам придется разыскивать его по Германии.

До свидания.

В. Голицына

[1] Эти письма и телеграмма Серно-Соловьевича неизвестны.

2

ОГАРЕВУ

⟨16 сентября 1865 г.⟩

Почтенный Николай Платонович!

Так как я узнала, что Александр Иванович находится в отсутствии[1], то обращаюсь к вам по следующему делу: посылаю вам два письма ко мне от Серно-Соловьевича[2]. Прочитав первое из них, вы увидите, что по делу, заключающемуся во втором, мне надо обратиться к вам. Посылаю вам также депешу, которую я получила нынче и смысл которой будет вам понятен после прилагаемых писем.

Так как после письма Серно-Соловьевича, с мотивированным отказом жить с нами в Берне[3], я считаю, что все дела касаются всего ближе вас, то предоставляю вам поступить с этим, как найдете нужным, и попрошу вас только написать мне с посылаемым кормораном, что вы намерены сделать по делу последнего письма и депеши Серно-Соловьевича[4].

Готовая к услугам

В. Голицына

16 сентября 1865 г.

[1] Герцен в этот день уехал в Вевэ.
[2] Эти письма Серно-Соловьевича неизвестны.
[3] См. ниже прим. 1 к письму Серно-Соловьевича к Н. А. Тучковой-Огаревой от 28 августа 1865 г. (стр. 737).
[4] В переписке Огарева за этот период нет откликов на получение этого письма Голицыной.

II. ПИСЬМА А. А. ЧЕРКЕСОВА к А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧУ и ГЕРЦЕНУ (?)

Александр Александрович *Черкесов* (1839—1908)— товарищ А. А. Серно-Соловьевича по лицею и близкий друг, уехавший вместе с ним в 1862 г. за границу и проживший там до августа 1865 г. Возвратившись в Россию, он был арестован, но по постановлению Сената освобожден от ответственности с подчинением надзору петербургской полиции. Черкесов владел книжными магазинами в Петербурге и Москве. В 1868 г., освобожденный из-под надзора, Черкесов ездил за границу, где встречался с эмигрантами. В начале зимы 1869—1870 гг. он был арестован в связи с нечаевским делом, но по недоказанности обвинения от ответственности снова освобожден. Позднее Черкесов был адвокатом и мировым судьей.

Первое из печатаемых ниже писем Черкесова адресовано А. А. Серно-Соловьевичу.

Адресат второго письма предположительно устанавливается тем, что письмо обнаружено в архиве Герцена, а также указанием на то, что адресат проявил большой интерес к судьбе больного Серно-Соловьевича и имел намерение съездить в Рагац. По-видимому, это был Герцен, который, выехав 6 или 7 августа 1865 г. из Женевы в небольшую экскурсию по Швейцарии, 14 августа посетил Рагац. Это позволяет датировать настоящее письмо Черкесова концом июля или началом августа 1865 г.

Письма публикуются по автографам «пражской коллекции» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 214 и 119).

1

А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧУ

Женева. 30 июля ⟨1865 г.⟩[1]

Сегодняшняя телеграмма твоя напомнила мне, что мне действительно давно бы следовало быть у тебя. Нечего говорить, как мне неприятно, что безденежье до сих пор мешает этому. Без денег же ехать к тебе и неудобно относительно Эрисмана[2], и невозможно, потому что с десятью франками, составляющими мою наличность, до Брестенберга не доедешь. Остальные все, по обыкновению, без денег.

Желание твое ехать в Рагац с Фенюшкой[3] представляет также невозможности. Ехать тебе туда одному — немыслимо. Ты там скорее, чем где-нибудь, соскучишься. Фенюшке же оставить теперь пансион невозможно. У нее хлопот по горло, и без нее ничего не пойдет.

Затем я должен тебе сообщить заключения, к которым пришел в последнее время относительно моего вмешательства в твои дела.

Я твердо убежден, что для твоего здоровья важнее всего уход такой, какой ты можешь найти *только* в maison de santé*. Поэтому я не могу действовать против этого убеждения, и, вследствие того, ограничиваю свою личную инициативу относительно тебя следующими пунктами:

1) Пока я не уехал, я могу взяться перевести тебя *только* в maison de santé, более никуда.

2) Я буду помогать тебе деньгами по мере надобности, где бы ты ни жил, *исключая Женевы*.

3) В Женеве я решительно отказываюсь помогать тебе, потому что Женева для тебя хуже яда. Ты сам это признавал, и я вынужден на эту меру, чтобы гарантировать невозможность твоего поселения в Женеве.

Вот главные условия, которыми я *окончательно* определяю характер отношений моих к тебе и степень участия моего в твоих делах. Не сердись на меня за это; иначе действовать было бы противно моим убеждениям, моей совести.

Я особенно настаиваю на Женеве. Давно ли ты сам *требовал*, чтобы согласились на условие: как только ты приедешь в Женеву, свезти тебя в maison de santé?

Я каждый день жду денег из Праги и Петербурга. Как только получу их, заеду к тебе и потом уже двинусь прямо в Россию.

До свидания
Твой Ч р к с в

[1] Настоящее письмо написано Черкесовым в 1865 г., незадолго до отъезда его в Россию, и послано в Брестенберг, где в то время находился на излечении Серно-Соловьевич.

[2] Федор Федорович *Эрисман* (1842—1915) — известный врач-гигиенист, уроженец Швейцарии, в 1869 г. переселившийся в Россию.

* лечебнице (франц.).

[3] *Фенюшка* — крепостная родителей Л. П. Шелгуновой; после замужества Л. П Шелгуновой перешла на службу к Шелгуновым и сопровождала их в Сибирь, когда они ездили на свидание с М. И. Михайловым. Уезжая за границу, Л. П. Шелгунова взяла ее с собой. Там она работала в пансионах, содержавшихся Шелгуновой в Цюрихе и Женеве. Позднее она была няней в семье Черкесовых. По свидетельству О. К. Булановой-Трубниковой, Фенюшка была «очень развитая женщина, пользовалась полным доверием как у Шелгуновых, так и у Черкесовых, где считалась членом семьи» («Звенья», V, 1935, стр. 389).

2

ГЕРЦЕНУ (?)

⟨Женева. Конец июля — начало августа 1865 г.⟩[1]

Серно-Соловьевич бомбардирует меня требованиями перевезти его в Рагац. Прилагаю последнее письмо его[2]. Мне очень досадно, что не могу до сих пор ехать к нему. Каждый день жду денег, чтобы свезти ему и ехать восвояси.

На все требования его я категорически отвечаю: 1) что я считаю возможным принять на себя одно только перемещение его в maison de santé, как единственное полезное, и 2) что, кроме этого перемещения и выдачи ему денег, я *более ничего* взять на себя не могу.

Вы хотели ехать в Рагац и хотели также заехать к Серно-Соловьевичу. Не хотите ли попробовать съездить с ним в Рагац, чтобы поближе присмотреться к нему и там поручить его доктору, которого он знает? Я не прошу об этом, потому что убежден заранее, что он в Рагаце недели не проживет, но предлагаю вам сделать еще этот опыт, чтобы узнать поближе состояние больного.

Ваш Ч р к с в

[1] О предположительной датировке этого письма см. в предисловии к настоящей публикации.

[2] Это письмо не сохранилось.

III. ПИСЬМА А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА к Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ

Печатаемые ниже четыре письма А. А. Серно-Соловьевича написаны им на бумаге с оттиснутым адресом водолечебницы Брестенберг в Аарау (Швейцария), куда автор писем был помещен друзьями в двадцатых числах июля 1865 г. (как это выясняется из печатаемого выше письма В. А. Голицыной к Герцену от 23 июля 1865 г.). Точная датировка первых двух писем крайне затруднительна: по всей вероятности, они написаны ранее третьего и четвертого, то есть в конце июля или в августе 1865 г.

Письма эти представляют значительный интерес, так как знакомят нас с взаимоотношениями Серно-Соловьевича с издателями «Колокола».

В своих «Воспоминаниях» Н. А. Тучкова-Огарева с большой симпатией говорит о А. А. Серно-Соловьевиче. Описывая его первый приезд в Лондон и начало знакомства с Герценом, состоявшиеся, как это видно из письма Герцена к сыну от 10 марта 1860 г. (X, 233), в 1859 г., она сообщает:

«Он очень понравился Герцену; видно было, что, несмотря на свою молодость, он уже много читал и думал; он был умен и интересовался всеми серьезными вопросами того времени ⟨...⟩ Он был очень мил и внимателен с детьми». К этому Тучкова-Огарева добавляет, что к издателям «Колокола» Серно-Соловьевич относился тогда «с большой теплотой и уважением». Что касается дальнейших взаимоотношений Серно-Соловьевича с Герценом и Огаревым, то автор «Воспоминаний» почти не касается их, объясняя выступления его против издателей «Колокола» «дремавшими ранее» его «дурными качествами», «самолюбием и завистью» и игнорируя идейные расхождения,

существовавшие между ними. В то же время она подчеркивает, что в отношении к Серно-Соловьевичу Герцена резко проявлялись «присущие ему чувства великодушия, доброты и жалости, доходившие до невероятной степени» (Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. Л., 1929, стр. 251).

В другом месте воспоминаний Тучкова-Огарева останавливается на взаимоотношениях Серно-Соловьевича и Л. П. Шелгуновой и на его психическом заболевании. Эта часть ее воспоминаний изобилует явными неточностями и враждебными выпадами против представителей «молодой эмиграции». В частности, она путает события, относящиеся к первому заболеванию Серно-Соловьевича (в 1865 г.), с эпизодами предсмертной его болезни. Такая обычная в ее воспоминаниях хронологическая путаница не может, конечно, не снижать в значительной мере их достоверности. Приведем пример неточности мемуаров Тучковой-Огаревой.

Рассказывая об отношениях Серно-Соловьевича с Шелгуновой и о его заболевании в 1865 г., Тучкова-Огарева упоминает, что однажды вечером к Герцену вбежал Серно-Соловьевич и бросился перед ним на колени, заявив, что он бежал из сумасшедшего дома, куда был помещен своими друзьями, и прося у Герцена защиты. По словам Тучковой-Огаревой, Серно-Соловьевич при этом говорил: «А. Ив., я клеветал на вас, клеветал на вас даже в печати... а все-таки я у вас прошу помощи, вы защитите меня от моих друзей, они опять запрут меня туда, чтоб ей 〈Шелгуновой.— *Б. К.*〉 было покойно. Вы знаете, я бежал из сумасшедшего дома, и прямо к вам, к врагу» (там же, стр. 366).

Эпизод, рассказанный Тучковой-Огаревой, несомненно, относится к 1865 г. Однако память настолько ей изменила, что она вкладывает в уста Серно-Соловьевича слова, которых он в то время никак не мог произнести: это слова о том, что Серно-Соловьевич будто бы «клеветал» на Герцена в печати. Хорошо известно, что выступления Серно-Соловьевича против издателей «Колокола» в печати относятся к 1866 и 1867 гг. Следовательно, он никак не мог говорить о них в 1865 г. Да и вообще трудно поверить, чтобы Серно-Соловьевич мог даже в состоянии невменяемости назвать эти свои выступления в печати «клеветой».

Неточности и хронологические ошибки, допускаемые Тучковой-Огаревой, не могут однако поколебать достоверность того факта, что Герцен и его семья во время болезни Серно-Соловьевича отнеслись к нему с большим вниманием и заботливостью, что и подтверждается печатаемыми ниже письмами Серно-Соловьевича к Тучковой-Огаревой.

Письма эти печатаются по автографам «пражской коллекции» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 234).

1

〈Аарау. Лечебница Брестенберг.
Конец июля 1865 г.〉

Пришлите мне, пожалуйста, ваш адрес, чтобы я мог писать вам без передаточных станций. Я получил ваше милое письмо[1]: в деньгах, кажется, не предстоит надобности; говорят, Черкесов уплатил мои цюрихские долги. Здоровье мое очень поправилось, и я теперь уверен, что, если условия мои сложатся хоть мало-мальски сносно,— через год я встану на ноги. Между прочим, я ездил в Берн к Мунку, он взялся меня лечить и сказал, что не сомневается в возможности совершенно вылечить меня.

У меня до вас новая просьба, Наталья Алексеевна, и довольно оригинальная. Напишите Черкесову за меня письмо, главные основания которого я вам продиктую. Дело, видите, в том, что опыт доказал, что мы не можем сноситься друг с другом непосредственно; все, что я ему говорю, кажется ему фантазией, бредом больного воображения, излишней нервностью и т. д.; все, что он говорит мне, кажется мне отсутствием понимания, совершенной безнервностью и т. д. Словом, возьмите на себя роль посредницы между мною и Черкесовым. Всю важность этой просьбы вам, конечно, трудно понять теперь[2]. Но для того, чтобы объяснить

вам все, позвольте рассказать вам в кратких чертах историю моей болезни. Из нее вы увидите, что во всех моих выходках не было ни бестолковости, ни отсутствия логики: подкладкою, конечно, служила болезнь, но взбалмошного действия не было ни одного.

Ваш А. Серно-Соловьевич

P. S. Что вы делаете с русскими газетами и журналами? Если они остаются у вас в доме, не можете ли вы на некоторое время снабжать меня старыми номерами? Что вы также делаете с «Confédéré» — фрейбургским листком, который я видел у вас? [3]

⟨*На обороте 2-го листа:*⟩

Наталье Алексеевне Огаревой.

[1] Это письмо Н. А. Тучковой-Огаревой к Серно-Соловьевичу неизвестно.

[2] Выполнила ли Тучкова-Огарева эту просьбу, установить не удалось.

[3] «*Confédéré*» — ежедневная газета, «орган швейцарской радикальной демократии», основанная в 1847 г. в Фрейбурге.

2

Аарау. Лечебница Брестенберг. 28 августа ⟨1865 г.⟩

Я очень хорошо помню, Наталья Алексеевна, что обязан вашему семейству и свободою, которою теперь пользуюсь, и тем, что стал поправляться, и никогда не забывал, что дал вам слово не оставлять Брестенберга, не посоветовавшись предварительно с вами, и что я, так или

QUE FAIRE?

ROMAN

DE

N. G. TCHERNYCHESWKY

EN VENTE

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

1875.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. 1875

Перевод А. Н. Тверитинова

Шмуцтитул

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

иначе, нахожусь под вашим покровительством. Поэтому упрек ваш, что следовало бы хоть известить о переселении в Берн тех лиц, которые уж раз выручили меня из беды,— несправедлив[1].

Переселение мое в Берн далеко еще дело не решенное; более того, я переселюсь туда *только* в том случае, *если* не исполнится то, чего я желаю, или если жить здесь зимою будет *уже* совсем невмоготу. Как видите, переселение зависит и от *если* и от *уже*. Да и во всяком случае, я никак не располагал и не располагаю тронуться отсюда куда бы то ни было ранее половины или конца октября, следовательно, было много времени впереди, чтобы списаться с вами. (Последнее мое письмо к вам,— из которого вы можете убедиться, что именно теперь я считал своевременным договориться с вами,— отправлено к вам дня четыре назад, а ваше второе письмо получено мною только вчера вечером[2]). Кроме того, в конце августа Александр Иванович думал прокатиться по Швейцарии и заехать в Брестенберг, наконец, даже переговоры о Берне еще не закончены, и я не знаю, какие условия делают мне. Черкесов провел у меня всего вечер[3], и от него я, по обыкновению, не мог добиться ничего обстоятельного, хотя мне писали, что он привезет сюда ultimatum. Прощаясь со мной, Черкесов спросил меня, переселюсь ли я в Берн, и прибавил, что с своей стороны желал бы этого собственно потому, что Голицына — женщина умная и симпатичная, что она относится ко мне очень тепло и что таким образом я избегну одиночества, которого так боюсь, и буду иметь пристанище в семье. К этому он добавил, что Голицына и Якоби поселятся в пансионе, следовательно я буду совершенно независим, а что условия, о которых мне писано, он считает вздором. На все это я отвечал, что ничего теперь сказать не могу, а деньги прошу высылать на первый раз— сюда, потом — глядя по обстоятельствам.

Впрочем, переговоры о Берне должны были, по моему плану, войти в сказание о моих подвигах с мая месяца. Эту историю я все-таки намерен рассказать вам, — как это мне ни тяжело. Тяжело же мне это, собственно, потому, что рассказ мой может иметь вид жалоб или обвинительного акта против человека, которого я считаю одной из благороднейших личностей и несравненно выше себя по чистоте, благодаря которому я еще существую, который меня содержит и который один в состоянии в далеком будущем, если я когда-нибудь выздоровею совсем, сделать для меня то, чего не может сделать никто, т. е. поставить меня в те условия, без которых жизнь не имеет для меня более ни смысла, ни цели да без которых я просто жить не хочу[4]: я говорю, Наталья Алексеевна, не о деньгах: независимое существование, положение какого-нибудь commissionnaire de place* или гарсона в отеле несравненно завиднее для меня самых заманчивых условий при зависимом положении. Зависеть от кого бы то ни было, даже от Черкесова, настолько тяжело человеку с такими свойствами, как я, что, не будь у меня ребенка[5], я давно уж покончил бы с собою. Итак, не жаловаться на Черкесова и слабость его характера хочу я вам, а объяснить все то, что вы знаете, только в ином свете. Похождения мои вам рассказывали, но без комментария, т. е. без того, что объясняет их. Эти комментарии я считаю нужным сделать теперь, потому что теперь снова настало для меня очень серьезное время и потому что я прошу вас, Наталья Алексеевна, вмешаться в мою судьбу. Объяснением или пояснением некоторых фактов я хочу достигнуть двух целей: во-первых, доказать вам, что я никогда, ни одной минуты не был помешанным, что я никогда, ничего, даже самого отчаянного, не делал и не делаю взбалмошным образом, что всеми моими действиями, даже са-

* рассыльного (франц.).

мыми шальными, руководит известного рода логика, часто болезненная, известного рода стремления; во-вторых, что иметь со мною дело совсем не так тяжело, как это представляют, и этим убедить вас принять на себя роль посредника между мною и Черкесовым.

Я напишу вам несколько писем; не отвечайте мне ничего, пока я не кончу рассказа. Но я заранее прошу вас о двух условиях: во-первых, прочесть мои письма со вниманием, во-вторых, чтобы содержание их не вышло из вашего семейства,— к которому я не причисляю Касаткина[6],— последнее вы решительно должны обещать мне. Я более всего на свете боюсь сплетен, особенно выходящих через меня. Раз в жизни, нуждаясь в Утиной[7] и считая ее порядочной барыней, я поверил ей некоторые свои семейные дела. Она дала мне честное слово, что никогда не скажет никому, даже мужу, ни одного слова. И между тем, через нее вышли такие сплетни, что я не желал бы никогда встречаться с ней, потому что принужден буду бросить в нее порядочным комом грязи. Я далеко не всякий день в состоянии писать, и потому не удивляйтесь, если между письмами будут промежутки.

Ваш А. Местр

P. S. До сих пор я не знал вашего адреса.

[1] Якоби и Голицына, переехавшие в это время в Берн (из Цюриха), приглашали Серно-Соловьевича поселиться в этом городе. После некоторых колебаний Серно-Соловьевич отказался от этого предложения.

[2] Эти письма неизвестны.

[3] В августе 1865 г. А. А. Черкесов уехал в Россию. Перед этим он посетил Брестенберг, чтобы проститься с Серно-Соловьевичем.

[4] Имеется в виду А. А. Черкесов.

[5] Малолетний сын Серно-Соловьевича и Шелгуновой.

[6] О В. И. Касаткине—см. «Лит. наследство», т. 63, стр. 247—249.

[7] Наталья Иеронимовна *Утина*, рожденная Корсини — жена Н. И. Утина.

3

〈Аарау. Лечебница Брестенберг. Сентябрь 1865 г.〉

Я вам не пишу, потому что мне очень плохо: на днях я, вероятно, сойду с ума или отравлюсь. Все шло хорошо, но я вздумал писать свою историю[1]. Мои несчастия воскресли передо мною: ребенок, которого я так страстно любил и о котором ежедневно плачу[2]. И вот в один день мной овладело какое-то бешенство, я решился утопиться: стал бродить по озеру, зашел в кабак и напился пьян (я никогда не пил прежде). Так продолжалось три дня. Утопиться я не утопился, а испортил все лечение, и теперь со мной творится что-то страшное. Что мне делать? Голова теряется. Здесь есть хороший профессор: он советует идти в maison de santé, но в хороший, т. е. никак не в частный. Советует в южной Германии или в Превалезии, около Невшателя. Наконец, есть еще средство — найти хорошего человека, который служил бы мне, находился бы неотлучно при мне и за которого я мог бы держаться. Наталья Алексеевна, ответьте, что мне делать, мне ужасно плохо.

Ваш А. С.

Денег Черкесов дает сколько нужно, только он просил не писать ему до времени.

[1] Сохранилось несколько упоминаний о мемуарах, которые писал Серно-Соловьевич. Рукопись их до сих пор не найдена. Вероятно она не сохранилась.

[2] Мать ребенка, Л. П. Шелгунова, увезла его в Россию.

4

⟨Аарау. Лечебница Брестенберг.
Сентябрь — октябрь 1865 г.⟩[1]

Наталья Алексеевна. Благодаря умным мерам, принятым случившимся здесь немецким профессором, и хорошим дням, мне снова полегче — и я пользуюсь первыми более покойными минутами, чтобы писать вам. Собственно, по характеру моего письма его следовало бы адресовать Александру Ивановичу и Виктору Ивановичу[2], но, во-первых, между нами уже более или менее установилась корреспонденция, во-вторых, я действительно не сомневаюсь, что вы лично принимаете во мне участие, в-третьих, наконец, вас самих так недавно постигло несчастие[3], что вы, конечно, способнее кого-либо стать в чужую шкуру и понять несчастия другого. А я, Наталья Алексеевна, страшно несчастлив и порой удивляюсь той цепкой живучести, которая мешает мне покончить с собой. Только русский организм, только моя страшная физическая сила спасает меня от сумасшествия, потому что порой я мечусь, как дикий зверь. Все, что может быть дорого человеку,— честь, семью, ребенка, которого я любил до безумия, состояние, здоровье, заманчивые планы, самолюбивые стремления, независимость — все потерял я, и теперь в каком-то полупьяном состоянии влачу существование между людьми, которых я или ненавижу глубоко или столь же глубоко презираю. Четырехмесячный опыт нынешнего лета убедил меня, что я не могу ни лечиться, ни достигнуть сколько-нибудь благоприятных результатов без двух условий: безусловного, ничем не нарушаемого покоя и человека, который находился бы безотлучно при мне, с утра до вечера, и не давал бы мне задумываться. Без этих двух условий я не могу выздороветь. Трудно было найти такую личность, потому что от нее требуется и некоторое развитие и известного рода симпатичность. Но я нашел подходящего человека в здешнем садовнике, готовом посвятить мне год. Таким образом, для поставления себя в условия, которых настоятельно требует мое совершенно расстроенное здоровье, мне необходимо только одно условие, правда, главное — это деньги. Попросите Александра Ивановича и Виктора Ивановича подарить мне год жизни, т. е. обеспечить меня в денежном отношении следующим образом: каждое первое число я буду присылать им счет, который они будут уплачивать, это будет мой debet; все же, что Черкесов будет высылать мне, я буду отсылать им — это будет мой credet. В конце года, т. е. в будущем октябре, мы сосчитаемся, и я уплачу им разницу. Maximum моих расходов с человеком равен пяти тысячам франков. Только это даст мне возможность предаться полному покою, забыться и устроить мою жизнь так, чтобы передо мною была вечная смена прогулок, катаний, карт, шахматов, бильярда, ванн, газет, разговоров, а главное сна,— словом: покой, покой, покой. Во мне еще остается жизненная сила, энергия проснется, и я снова сделаюсь человеком. Что бы не дал я, не готов был бы отдать за это условие, за возможность встать на свои ноги. В какие сроки и когда будет высылать деньги Черкесов — это совершенно неизвестно, между тем денежный вопрос вечно грызет меня. Люди же, у которых я живу, принадлежат к той гнусной категории буржуазии, для которой деньги — всё, которая станет вас третировать, как скотину, в тот день, когда вы ей не заплатите в срок денег. Я старался петь на все лады, но нет — это свыше меня: я мог бы сделаться всем, чем угодно, — вором, мошенником, убийцею, но никогда алтынником, пиявкою, высасывающею кровь, эксплуататором, бездушною тварью. Не будь у меня физических болей и некоторой раздражительности, я поселился бы у крестьянина, но, к несчастью, мне нужен более всего покой и покой. Четыре года добиваюсь пожить покойно хоть несколько месяцев,

и никогда, ни разу не удавалось мне это. Спросите у людей, знавших меня в Петербурге, как провел я год, с освобождения крестьян по выезд за границу: по ночам набирал и печатал прокламации, днем разносил их[4] и работал над Шлоссером[5]. В формулярный список мой можно записать, что все то время, когда в России господствовал террор, когда на каждом перекрестке Петербурга стоял часовой, никто не решался разносить прокламации,— один я взялся за это. За границею я сначала зависел от Рихтера[6], заведовавшего нашими делами, и потому мне по целым дням случалось не есть, потом..., но о том, что было потом, лучше и не говорить. Еще в мае нынешнего года я просил, молил Черкесова достать мне 1500 франков и оставить меня в покое лечиться. Но меня потащили в Париж, толкали по отелям, по докторишкам и, наконец, ткнули в Контрексевиль, где я чуть не помешался от железных вод, словом, денег потрачено куча, а я слабее и хуже, чем когда-нибудь. На мою просьбу я предвижу следующее возражение: что же, если с Черкесовым случится что-нибудь? Случай этот был предвиден, и между нами условлено, что в таком случае Черкесов напишет братьям и сестрам, что задолжал Эрисману 1000 рублей серебром, и деньги вышлются сюда разом. Неужели Александр Иванович и Виктор Иванович откажут мне? Что же мне тогда делать? Жить с этими людьми я не могу, я могу жить *у* них, создав себе особый мир, свою обстановку. Наталья Алексеевна, помогите мне устроиться покойно, отдохнуть головою, забыться, забыть всё и всех, заснуть на год. Я устал, устал, устал. Пожалуйста, ответьте мне скорее на это письмо.

Ваш А. Местр

P. S. Неужели Касаткин обиделся на меня, что я не отвечал ему? А я очень ждал его и раз писал ему об этом. Но куда мне было отвечать на его последнее письмо? Оно помечено 26 августа, а я получил его 28, т. е. в день открытия конгресса, т. е. когда Касаткин был уже или должен был быть в Берне[7].

[1] Приблизительная дата устанавливается упоминанием о «будущем октябре» — ровно через год,— когда Серно-Соловьевич намерен был подвести итоги своему долгу Герцену и Касаткину.

[2] *Александр Иванович* — Герцен, *Виктор Иванович* — Касаткин.

[3] В начале декабря 1864 г. Огарева потеряла двух малолетних детей, умерших от дифтерита.

[4] Трудно определить, о каких прокламациях идет речь. Достоверно известно, что Серно-Соловьевич принимал деятельное участие в распространении прокламации Шелгунова «К молодому поколению», но эта прокламация печаталась в лондонской типографии Герцена и была в отпечатанном виде доставлена в Петербург М. И. Михайловым. В Петербурге печатались три прокламации «Великорусс», но причастность к печатанию их Серно-Соловьевича представляется мало вероятной. Более вероятна причастность его к печатанию вышедших в 1862 г. прокламаций: «Профессор Павлов сослан в Ветлугу» (март), «Офицеры!» (март — апрель) и «Земская дума» (апрель). Наиболее вероятной представляется причастность Серно-Соловьевича к напечатанию последней из названных прокламаций: имеются указания на то, что она вышла из кругов, формировавших тайное общество, принявшее позднée название «Земля и воля».

[5] Имеется в виду русский перевод «Всемирной истории» Шлоссера, издававшийся Н. А. Серно-Соловьевичем под редакцией Чернышевского.

[6] *Рихтер* — управляющий магазином Серно-Соловьевичей в Петербурге (см. о нем в «Звеньях», V, стр. 409—414).

[7] С 28 августа по 2 сентября (н. с.) 1865 г. в Берне происходил четвертый конгресс Международной ассоциации для усовершенствования социальных наук. Очевидно, Касаткин собирался присутствовать на нем.

IV. ПИСЬМО П. И. ЯКОБИ к ГЕРЦЕНУ

Павел Иванович *Якоби* (1842 или 1843—1913) — друг Серно-Соловьевича, участник революционно-демократического движения шестидесятых годов, позднее — известный психиатр и антрополог.

Якоби познакомился с Герценом, вероятно, в конце 1863 г., когда он по поручению польского революционного правительства посетил Лондон (см. «Лит. наследство», т. 62, 1955, стр. 260).

Позднее Герцену пришлось встретиться с Якоби в Женеве во время эмигрантского съезда — в конце декабря 1864 г.— начале января 1865 г. На этом съезде Якоби вместе с А. А. Серно-Соловьевичем и Л. П. Шелгуновой был одним из самых решительных и непримиримых противников Герцена (XVIII, 8. См. также выше, стр. 708). Отношения между Герценом и Якоби и впоследствии оставались весьма холодными. Этим объясняется строго официальный тон публикуемого ниже письма Якоби, в котором он приглашал издателя «Колокола» на совещание эмигрантов по поводу Серно-Соловьевича, находившегося в то время в лечебнице. Якоби и его жена — В. А. Голицына — настаивали на переселении Серно-Соловьевича в Берн. См. об этом выше письмо самого Серно-Соловьевича к Н. А. Тучковой-Огаревой.

Письмо печатается по автографу «пражской коллекции» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 125).

⟨Женева. 24 августа 1865 г.⟩

Милостивый государь
Александр Иванович,

Честь имею просить вас придти завтра 25 августа в четыре часа пополудни в Café du Nord для обсуждения некоторых соображений, касающихся Серно-Соловьевича.

С истинным почтением остаюсь готовый к услугам

П. Якобий

24 августа 1865 года
Servette comp. Oltramare.
Женева

ДВА ПИСЬМА ГЕРЦЕНА к А. А. ЧЕРКЕСОВУ и А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧУ

Публикация А. Ф. Смирнова

Публикуемые ниже два письма Герцена являются важным дополнением к печатающейся в настоящем томе обширной публикации Б. П. Козьмина, посвященной А. А. Серно-Соловьевичу и его отношениям с Герценом. Письма эти обнаружены нами среди перлюстрационных копий в «Агентурных донесениях и записках по наблюдению за Черкесовым А. А., привлекавшимся к суду за связь с русскими революционными эмигрантами, с приложением писем Герцена А. И., Огарева Н. П., Бакунина М. А., Черкесова А. А., Бакста, Плятера за 1862—63 гг. (копии)» (ЦГИАМ, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 155).

Оба письма относятся к 1863 г. и свидетельствуют о дружеских отношениях между корреспондентами и о действенной помощи Герцена Серно-Соловьевичу, постоянно находившемуся в стесненных материальных обстоятельствах.

Первое письмо, датированное 8 февраля и адресованное А. А. Черкесову, имеет приписки Огарева и Бакунина, с откликами на начавшееся польское восстание. Второе письмо, относящееся к декабрю, также с припиской Огарева, отправлено было на имя Черкесова, но фактически адресовано Серно-Соловьевичу, что показалось бесспорным даже чиновнику III Отделения, сделавшему следующую пометку об этом: «Вникая глубже в прилагаемое письмо Герцена с припиской Огарева, убеждаешься, что хотя оно и адресовано на имя Черкесова, но написано Александру Серно-Соловьевичу, который, действительно, давно уже страдает печенью и может переводить, чем вряд ли займется Черкесов. Этим и объясняется, что брат, поставленный вместе с Чернышевским и Мартьяновым, не кто другой, как Николай Серно-Соловьевич, которого Герцен, действительно, очень любит и называет последним маркизом Позою... В одном месте Герцен пишет: „Кланяйтесь Чер..., если он с вами", т. е. Черкесову».

Бóльшая часть второго письма посвящена попытке Герцена оказать содействие Серно-Соловьевичу, мечтавшему обеспечить себе постоянный и надежный заработок литературными трудами и, главным образом, переводами. Герцен отправил при этом своему корреспонденту книгу де Кинсея «Исповедь английского потребителя опиума», горячо рекомендованную самому Герцену И. С. Тургеневым. Большой интерес в этом письме представляют следующие слова Герцена о Н. А. Серно-Соловьевиче и Чернышевском: «Лишь бы физические силы выдержали», заставляющие предполагать, что напечатанная в т. 62-м «Литературного наследства» конспиративная записка Н. А. Серно-Соловьевича из Петропавловской крепости (от первой половины 1864 г.), в которой содержится сходная мысль: «Лишь бы физика вынесла, наши дни придут еще» (стр. 560—561), является непосредственным откликом на это упоминание Герцена, доведенное до сведения петербургского узника его братом.

Отметим также многозначительные слова Герцена о том, что в последних номерах «Колокола» его издателями взята «иная боевая позиция». Герцен имел здесь в виду

свою программную статью «В вечность грядущему 1863 году», датированную 10 ноября и помещенную в листе 175 «Колокола» от 15 декабря 1863 г., и статью «1864 год», являющуюся продолжением и развитием предыдущей. Статья эта датирована 14/26 декабря, то есть она писалась примерно в то же время, что и публикуемое письмо к А. А. Серно-Соловьевичу. Помещена она в листе «Колокола» 176 от 1 января 1864 г. Лист 177 от 15 января 1864 г., также упоминаемый Герценом, открывается письмом Герцена к Джузеппе Гарибальди, являющимся прямым продолжением предыдущих статей, но на этот раз обращенным не к русскому, а к западноевропейскому общественному мнению.

1

А. И. ГЕРЦЕН — А. А. ЧЕРКЕСОВУ

〈Лондон.〉 8 февраля 1863 г.
Orsett house, Westbourne terrace.

Любезнейший Черкесов! Письмо ваше я получил, вы в нем пишете обо всем — кроме одного, и С〈ерно-Соловьевич〉 пишет обо всем — кроме одного. Да получили ли вы деньги, высланные на имя неаполитанского Ротшильда, 600 франков или нет?

Деньги можете отдать моей дочери, когда будет там,— это как хотите — разумеется, если вы их получили. Прибавьте 13 франков за телеграмм (11 шиллингов, 6 рублей).

Итак, вы в Гейдельберге, здесь слухи о дуэли Блюммера с Новицким[1]. Досадно; время ли теперь заниматься этими феодальными расправами?

Если вы знакомы с Владимировым (если нет, то не знакомьтесь), поблагодарите его за письмо и скажите, что пока книг из Гейдельберга не нужно нам. Правда ли, что Милорадовича потребовали?...*

Кланяйтесь Лугинину,— зачем он предается нигилизму?

Прощайте, дружески жму вам руку.

А. Герцен

〈*Приписка Н. П. Огарева?:*〉**

Здесь приехала бездна поляков — молодцы.

Крепко жму вам руку. Да! о фонде хлопочите, он теперь больше нужен, чем когда-либо.

〈*Приписка М. А. Бакунина:*〉

Здравствуйте. Время настало бурное. Не знаешь только, буря ли это или только предбурье. — А вы как живете, вы и ваш друг, которому усердно кланяюсь.

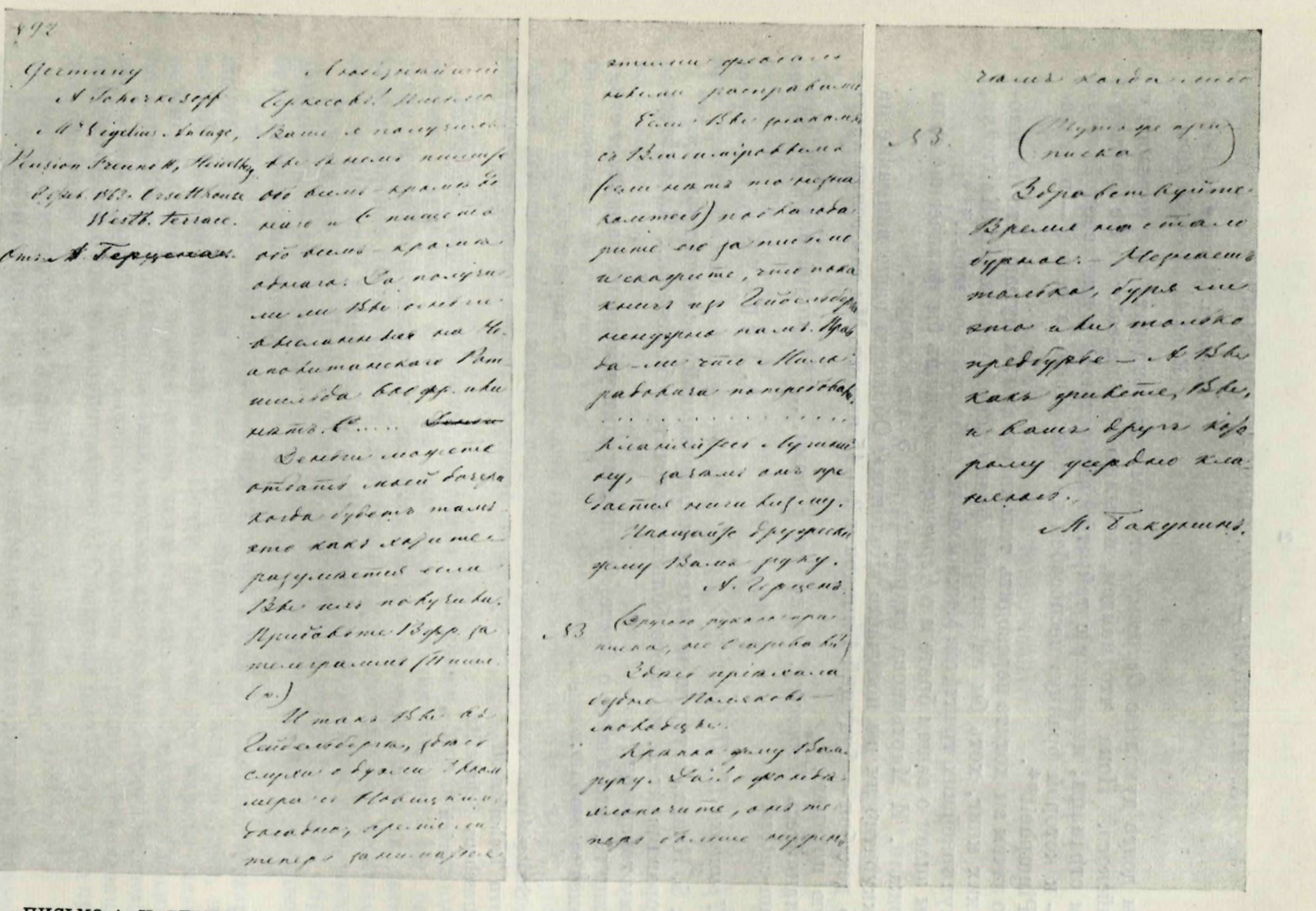
М. Бакунин

Germany
A. Tcherkessoff
M[r] Vigelius Anlage
Pension Freund, 10
Heidelberg.

[1] О конфликте Л. П. Блюммера с П. В. Новицким см. в письме последнего, напечатанном в л. 151 «Колокола» от 1 декабря 1862 г. См. также «Лит. наследство», т. 62, 1955, стр. 737—738.

* *Многоточие в копии.*

** *Агентом помечено:* NB. Другою рукою приписка: не Огарева ли?



ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА к А. А. ЧЕРКЕСОВУ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1863 г. С ПРИПИСКАМИ Н. П. ОГАРЕВА и М. А. БАКУНИНА

Перлюстрационная копия

Центральный исторический архив, Москва

2

А. И. ГЕРЦЕН — А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧУ*

Лондон. 26 декабря 1863 г.
Elmfield house. Teddington

Мы долго думали с *Огаревым*, что вам рекомендовать для перевода с английского. Пока что найдем, посылаю «Opium-eater'a» De Quincey. В нем страницы, писанные с той откровенностию и мужественной отвагой,— к которой француз неспособен по тщеславию, а немец — по грязной Plumpheit**.

Но зачем вы хотите переводить только романы, я думаю, что из исторических книг, хоть бы из истории французской революции Карлейля, и популярнейших трактатов можно много набрать хорошего...***

Мы знаем о вашем брате и о *Чернышевском*, лишь бы физические силы выдержали. И Мартьянова отправили на 5 лет каторги.

Аккуратно ли вы получаете «Колокол»? Обращаю ваше внимание на № 15 декабря — будущий 1 января и 2 — 15 января. Мы там взяли иную боевую позицию.

Кланяйтесь *Черкесову*, если он с вами, ...*** понравился ли вам «Opium-eater»?

А. Герцен

⟨*Приписка Н. П. Огарева:*⟩

P. S. Книга, которую посылаем мы, чрезвычайно замечательная...*** Выздоравливайте... но всего больше вылечите себе печень... Кланяйтесь вашему товарищу.

Пишите, что̀ знаете о брате. Он не выходит у меня из памяти, я его бесконечно люблю.

Огарев

Switzerland
Herrn Tscherkessoff
Oberstrasshaus Schabelitz
Zürich

---

* *Судя по указанию агента:* Из письма А. Герцена, *здесь приведена лишь часть письма Герцена. Агентом помечено на копии:* № 96. *Надпись:* Получено 28 декабря нов. ст., *вероятно, принадлежит Серно-Соловьевичу.*

** неуклюжести (нем.).

*** *Строка многоточий в копии.*

НИКОЛАЙ СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ

1. НЕЗАВЕРШЕННАЯ РУКОПИСЬ (1862 г.)

Публикация И. Б. Володарского

Публикуемый ниже набросок сохранился среди многочисленных бумаг Николая Александровича *Серно-Соловьевича* (1834—1866), изъятых жандармами при его аресте 7 июля 1862 г. Рукопись автором не озаглавлена, не подписана и не датирована. То обстоятельство, что автограф находился вместе с рукописями, над которыми Н. Серно-Соловьевич работал в последние месяцы перед арестом, позволяет приблизительно датировать набросок апрелем — началом июля 1862 г.

Рукопись, несмотря на свою незавершенность, является документом, ярко характеризующим политическое мировоззрение Н. Серно-Соловьевича — непримиримого врага социального строя, основанного на угнетении и эксплуатации, непоколебимо убежденного в неодолимости и конечном торжестве освободительной борьбы. Относящийся к тому периоду, когда Н. Серно-Соловьевич, вместе с Чернышевским, был, по меткому замечанию А. Слепцова, «душою освободительного движения», публикуемый набросок хорошо передает непреклонную последовательность и страстность революционно-демократических убеждений его автора.

Если бы страдания были явлением единичным, исключительным, частные улучшения могли бы считаться действительными. Но бедствие велико и повсеместно: не тысячам, не сотням тысяч, а десяткам миллионов наших братьев достались в удел ежедневные, безвыходные, не имеющие конца лишения. [Неужели такой порядок неизменен?]

Почему это так? Почему в эпоху прогресса, в эпоху развития образованности — это страшное унижение, эта долгая агония громадного большинства населения?

Темная задача. Задача страшная. Потоки крови лились для ее разрешения — но не решили ее. Мыслители лишались над ней рассудка, железные энергии надломливались. Почти две тысячи лет народы лежат коленопреклоненные перед крестом, чтя в том, кто погиб на нем, Спасителя мира. И еще сколько страданий, сколько нравственной проказы, сколько торжествующей несправедливости, сколько тирании, безнаказанно пользующейся плодами злоупотреблений! Спаситель был — когда же придет спасение?

Но не отчаивайтесь. Закон прогресса непреложен.

Если он применим ко злу — он тем сильнее принадлежит протесту против зла, протесту, проявляющемуся в бесконечном множестве видов, протесту непоколебимому, громадному, общему, неодолимому.

Трудность задачи не должна пугать нас, если мы дружно, смело примемся за ее решение.

Автограф. ЦГИАМ, ф. 112, оп. 1, д. 50, л. 236—236 об.

2. ПИСЬМО ИЗ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАВЕЛИНА (1864 г.)

Публикация Г. Ф. Коган

Утром 20 июля 1864 г. комендант Петропавловской крепости генерал-лейтенант Сорокин предъявил для опознания заключенному в Алексеевском равелине «государственному преступнику» Николаю Александровичу Серно-Соловьевичу копию его письма. Письмо имело конспиративный характер. На это указывало его содержание, а также и то, что в нем не были обозначены ни адрес, ни имя адресата в обращении, ни подпись писавшего.

О результатах произведенного допроса комендант тотчас же сообщил начальству в следующем донесении (ЦГИАМ, ф. 109, оп. 1, д. 252, л. 9): «Г-н Серно-Соловьевич был мною лично опрошен, чрез кого и когда передано им письмо, и отвечал, что время не помнит, а передано тайно при свидании брату — Владимиру Серно-Соловьевичу. Причем был весьма смущен. А. Сорокин. 20 июля 1864 г.».

К донесению было приложено собственноручно написанное объяснение Серно-Соловьевича, помеченное тем же 20 июля. Серно-Соловьевич признался, что предъявленное ему письмо действительно написано им и передано на волю тайно. Был назван и адресат письма, хотя и с некоторой неопределенностью: «Это, должно быть, письмо к моему брату»,— заявил Серно-Соловьевич, имея в виду брата Александра, выдающегося революционера, уехавшего в 1862 г. за границу и ставшего там одним из виднейших деятелей «молодой эмиграции» (там же, л. 10).

В дополнение к своему объяснению и будто бы для уточнения его Серно-Соловьевич просил коменданта сообщить ему «подлинник означенного письма»: «... дабы я мог вспомнить содержание его, так как по беглому взгляду, брошенному на него в присутствии вашего превосходительства, я решительно не в состоянии отдать себе о нем отчета» (там же, л. 10—10 об.).

Возможно, что просьба Николая Серно-Соловьевича преследовала определенную цель: ему важно было узнать, действительно ли власти располагают подлинником письма, или в их распоряжении находится только перлюстрационная копия. В последнем случае можно было бы предполагать, что письмо, текст которого был перехвачен «совершенно частным образом», было отправлено по назначению. Знать все это, разумеется, было существенно для Серно-Соловьевича.

Из материалов III Отделения не видно, была ли удовлетворена просьба заключенного. Но она могла быть удовлетворена, так как в распоряжение органов политического розыска попал подлинник письма. Судьба этого подлинника неизвестна, до нас дошла лишь копия с документа. Об этом мы узнаем из памятной записки, составленной, вероятно, для шефа жандармов и начальника III Отделения кн. В. А. Долгорукова:

Совершенно секретно

Совершенно частным образом представилась возможность достать письма, отправляемые за границу к жене полковника Шелгунова под адресом:

Suisse. Zürich,
Herrn Brandenberger,
Im Wiyfgässle, Niederdorf, № 552.

Письма эти представляются в подлиннике; по содержанию и сличению рук первое должно быть от арестованного в Алексеевском равелине надворного советника Николая Серно-Соловьевича, а второе — по предположению, от бывшего начальника на Казаковском прииске корпуса горных инженеров поручика Михайлова, ныне преданного военному суду.

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА ОТ 14 ИЮЛЯ 1864 г., СОСТАВЛЕННАЯ ДЛЯ ШЕФА ЖАНДАРМОВ В. А. ДОЛГОРУКОВА, ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЕМУ ПЕРЕХВАЧЕННОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

На полях резолюция Долгорукова

Центральный исторический архив, Москва

Адрес г-жи Шелгуновой сообщен для наблюдения за перепискою статс-секретарю Лаубе.

14 июля 1864 г.

На полях надпись: Д⟨оложить⟩ е⟨го⟩ в⟨еличес⟩тву. *Далее приведена резолюция Долгорукова*: «Надобно будет о письмах произвесть ловким образом тщательное дознание, согласно с тем, что мы по этому предмету говорили. 18 июля» (ЦГИАМ, ф. 109, оп. 1, д. 252, л. 1).

Упомянутый в записке поручик Михайлов — брат известного писателя и революционного деятеля Михаила Ларионовича Михайлова, томившегося с 1861 г. на каторге.

Кто же перехватил корреспонденцию революционеров, доставил ее в III Отделение и сообщил конспиративный передаточный адрес в Швейцарии, по которому письма должны были быть доставлены Л. П. Шелгуновой?

Сделал это секретный агент III Отделения Степан Степанович Попов. Сведения о нем сохранились в архивном деле 1865 г., озаглавленном (современное название): «Агентурное донесение о необходимости установления контроля за деятельностью секретного агента III Отделения Попова, выехавшего в Сибирь по семейным обстоятельствам». Среди других материалов «дела» имеется донесение о Попове одного из старших чиновников III Отделения, датированное 9 февраля 1865 г.: «Почетный гражданин Попов,

письмо которого при сем представляется, прошлого года был употребляем мною по некоторым секретным поручениям и исполнял их очень добросовестно и с успехом; между прочим, он перехватил очень ловко переписку содержащегося в Алексеевском равелине политического преступника Серно-Соловьевича и открыл переписку из-за границы жены известного полковника Шелгунова (по обоим этим случаям сделаны были в свое время надлежащие распоряжения)» (ЦГИАМ, ф. 109, оп. 3, д. 619, л. 1).

В приложенном к донесению письме (на имя некоего Николая Дмитриевича) Попов, ходатайствуя о снабжении его и впредь денежными средствами «*нужными для успеха дела*», ссылается при этом не только на свои «прежние заслуги», но и на свою «деятельность» уже в Иркутске. Расшифровывая эти свои новые заслуги перед органами политического розыска, Попов сообщает «о лично дознанной» им конспиративной переписке сибирских «сепаратистов, бывших студентов С.-Петербургского университета — Григория Потанина в Томске, Николая Ядринцева в Омске, Серафима Шашкова в Красноярске и Николая Наумова, собиравшегося из Петербурга в Тобольск». О переписке этой Попов сообщил генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову. Она была отослана в Петербург и послужила одним из основных вещественных доказательств в «Деле о сибирском сепаратизме» или «Деле о злонамеренных действиях некоторых молодых людей, стремившихся к ниспровержению существующего в Сибири порядка управления и к отделению ее от империи».

Таким образом, Попов предстает перед нами как довольно крупная фигура в секретной агентуре III Отделения, созданной в шестидесятые годы.

Каким же путем Попов проник в среду демократических кружков Петербурга, оппозиционно и революционно настроенных, и сумел завоевать здесь доверие к себе?

Материалы III Отделения дают ответ и на этот вопрос.

Попов был введен в кружки лиц, связанных с революционерами, своим земляком и приятелем — иркутским купцом Николаем Николаевичем Пестеревым. О своеобразной, яркой личности этого человека и о его причастности к некоторым конспиративным замыслам и делам русских революционеров рассказано в недавней работе В. Н. Шульгина «Из истории поздних связей Герцена и Огарева с Россией» («Лит. наследство», т. 63, 1956, стр. 311—338).

Когда в 1866 г. Пестеревым заинтересовалась Следственная комиссия по делу Каракозова и Пестерев оказался привлеченным к дознанию, у него было изъято много обращенных к нему писем. Они сохранились в делах III Отделения и свидетельствуют, что Попов был знаком со многими «передовыми, прогрессивными личностями», с которыми его свел Пестерев. Так, в одном из писем Попова к Пестереву имеется следующая приписка: «Кланяюсь Зайцевым, Маркеловой, княжне 〈Макуловой〉, Ковалевскому и Львову с его супружницей, Якушкину и студентам-сибирякам мой привет» (ЦГИАМ, ф. 95, оп. 2, д. 219, л. 124). Здесь названы имена людей, с которыми, как это видно из показаний Пестерева Следственной комиссии, он познакомился в первые же дни по приезде в Петербург весной 1864 г. (В. Н. Шульгин. Указ. соч.— «Лит. наследство», т. 63, стр. 321—322). Особенно сблизился Пестерев в это время с семейством известного критика и публициста В. А. Зайцева, с его матерью и сестрой Варварой Александровной, видной участницей революционно-демократического движения шестидесятых годов.

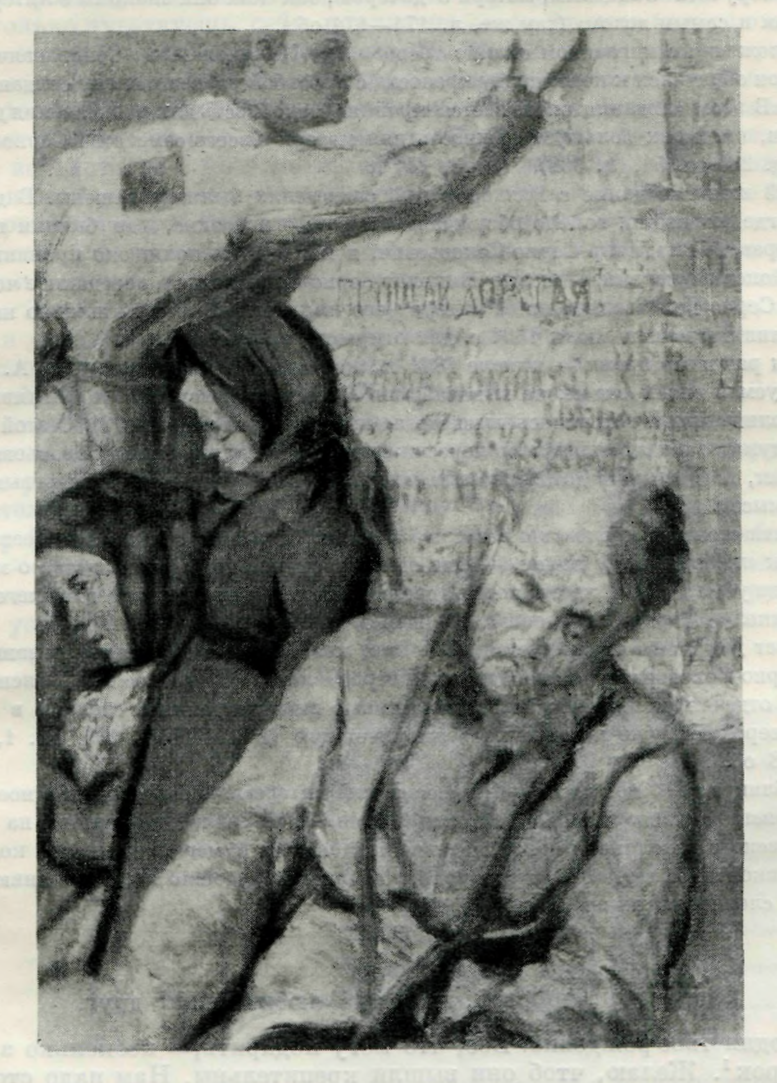
В одном из показаний Пестерева о его петербургских знакомых читаем: «11 апреля 〈1864 г.〉 я прибыл в С.-Петербург и остановился в Старой Конюшенной в гостинице Волкова. Туда приезжали ко мне по несколько раз Попов и жена моего старого знакомого г. Плотникова, хлопоча, как бы уехать домой в Иркутск. В это же время я вошел в семейство Зайцевых...» (ЦГИАМ, ф. 95, оп. 1, д. 302, ч. IV, л. 208).

В доме Зайцевых Пестерев познакомился с матерью и сестрой Л. П. Шелгуновой, которые просили своего нового знакомого, зная о его предстоящей в ближайшие дни поездке за границу, «отвезти» Шелгуновой, находившейся тогда в Швейцарии, ее старую кухарку, на что Пестерев согласился (там же, л. 211—211 об.).

Не приходится сомневаться, в соответствии со всем тем, что мы теперь знаем об утаенных целях поездки Пестерева в мае 1864 г. за границу, что, отправляясь туда

для определенных переговоров с деятелями русской революционной эмиграции, Пестерев, помимо сопровождения кухарки для Шелгуновой, «согласился» выполнить ряд конспиративных поручений из Петербурга.

Пестерев пробыл за границей недолго. Он виделся в Швейцарии с Александром Серно-Соловьевичем, Л. П. Шелгуновой, Николаем Утиным, В. И. Касаткиным,



«ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ»
Картина маслом польского художника А. Сохачевского, 1883—1887 гг.
Фрагмент
Исторический музей, Варшава

вместе с А. А. Черкесовым ездил в Лондон к Герцену, на обратном пути заезжал в Париж, где встречался с В. Ф. Лугининым, и снова в Швейцарию, к русским эмигрантам.

В июне Пестерев вернулся в Петербург. Среди поручений, вывезенных Пестеревым из-за границы, было одно частное, исходившее от Александра Серно-Соловьевича. Он просил Пестерева по приезде в Петербург «войти в ближайшее положение» книжного магазина братьев Серно-Соловьевичей. В связи с арестом Николая и эмиграцией

Александра, предприятие это — единственный источник существования семьи — находилось в катастрофическом положении. Заведовал магазином Рихтер. По желанию Александра Серно-Соловьевича Пестерев по возвращении из-за границы виделся с Рихтером, который «просил принять от него магазин». Пестерев советовался по этому поводу с В. О. Ковалевским. Решено было, что «дальнейшее ведение дела всего лучше поручить Зайцевым, матери с дочерью, так как они знакомы с литературным кружком и самым делом» (там же, л. 174—174 об.).

Положение с магазином сильно тревожило и Николая Серно-Соловьевича. 5 июня 1864 г. он обратился к коменданту крепости с просьбой разрешить ему свидание с Рихтером. «В этом свидании оказывается крайняя надобность для разъяснения денежных расчетов, имеющих большую важность для матери и всего семейства Серно-Соловьевича» (д. 230, ч. 54, л. 302).

С 23 июня свидания с Рихтером при свидетелях были разрешены. В доме Зайцевых, где, очевидно, горячо обсуждался вопрос о магазине, где бывали и Рихтер, и Пестерев, и Владимир Серно-Соловьевич, и могло быть похищено проникшим в их среду Поповым тюремное письмо Николая Серно-Соловьевича, переданное через Владимира Серно-Соловьевича или Рихтера (его имя могло быть умышленно не названо в показании) в начале июля 1864 г. для отправки за границу.

Как раз в это время — в июле 1864 г., как сообщает Пестерев,— В. А. Зайцева, преследуемая своим отцом, не выдававшим ей паспорта, вступила в фиктивный брак с кн. Голицыным и готовилась выехать за границу (там же, л. 179). С этой оказией, нужно думать, и предполагалось переслать письмо Николая Серно-Соловьевича. Ловкий агент, введенный в дом Зайцевых ничего не подозревавшим Пестеревым, пресек этот замысел.

Почти столетие пролежало в архиве III Отделения послание из Алексеевского равелина к «любимейшему другу» — еще одно замечательное свидетельство о мужестве, твердости убеждений и преданности революционному делу «благороднейшего, чистейшего Николая Серно-Соловьевича» (Герцен).

Текст документа публикуется по копии, предъявлявшейся для опознания Николаю Серно-Соловьевичу комендантом Петропавловской крепости. Пояснительные слова к отдельным местам текста, помещенные внизу страницы, сделаны в III Отделении, вероятно, уже после опроса заключенного (ЦГИАМ, ф. 109, оп. 1, д. 252, лл. 2—8 об.).

Публикуемый документ — выдающегося интереса — второе известное нам теперь конспиративное письмо Николая Серно-Соловьевича, переданное на волю из Алексеевского равелина. Первое, недавно найденное в бумагах «пражской коллекции» и опубликованное в т. 62 «Литературного наследства», дошло по назначению. Судьба второго сложилась по-другому.

Бесценный, дорогой, навсегда любимейший друг.

Сегодня твое рождение! Все, что могу подарить,— несколько задушевных строк[1]. Желаю, чтоб они вышли крепительны. Нам надо стойкости, обстоятельства лягают изо всех сил. Зато, кто из нас не ляжет под ними, тот порядком закалится. На днях магазин должен лопнуть. Вся семья останется почти не при чем и без всяких ресурсов к приобретению. Я, без сомнения, понтирую в каторгу. Но во мне с несчастиями растут силы переносить их, что будет дальше, не знаю; но до сих пор якорь крепок, хоть волны и бьют корабль со стороны на сторону. Заметь это сравнение. Ровно год назад я говорил в стихах: «Весь год меня в тюрьме морили, разбили бедную семью, чего могли — всего лишили,— а тверд я, как утес, стою». Теперь сравнение с утесом было бы хвастовством. Утверждающим независимость духа от материи я советовал бы проверить свою теорию в одиночном заключении. Развращающее влияние тюрьмы именно в том, что развитие организма поставлено в ненормальные условия.

Делай, что хочешь, силы подтачиваются, весь расклеиваешься, и сила ума подавляется, как все прочие. Бывают дни, что я не в состоянии думать. И вообще чем дальше, тем тяжелее становится для меня заключение. Порою просто невыносимо. Но я берегу себя, елико возможно. А как только чувствуешь себя порядочно,— ощущаешь энергию и мощь. Хуже всего для меня — тревога о семье. Но об этом распространяться нечего, не поможешь. Тебе я пою старую тему: что в тебе есть все данные быть одним из лучших публицистов — значит иметь средства жить[2]. Недостает только навыка — свойства приобретаемого, да решимости взять бумаги, исписать ее и послать в любую редакцию. А то рекомендую как более прибыльную статью — поэзию, особенно переводы. Это легко и может дать хорошие деньги. Собственным опытом дознал, что это та же механика. Те же условия, которые делают умным человеком, могут сделать и хорошим стихотворцем, если специально заняться. Умственная гимнастика. Я в жизнь не слагал двух рифм,— а дошел[3]. Худы ли, хороши ли стихи — вопрос не в том (чем дальше, тем больше совершенствуешься), главное, что я в несколько недель мог написать пятиактную драму в стихах «Андроник» и перевести мистерию Байрона «Каин» (в 3 актах). Драма имеет недостатки первого произведения: я чувствую, что следующую мог бы написать лучше. Но есть прекрасные сцены, например,— суд, где удалось отлично изобразить своих судей. Перевод же, кажется, положительно хорош. Сама вещь — колоссальная. Лермонтовский «Демон» — ребенок перед Люцифером. Если б обе эти вещи не погибли в застенке,— они дали бы здоровый куш. Заключение из всего этого,— что ты можешь приобретать тем же способом, так как ты, при равенстве прочих условий, сильно превосходишь меня и живостью ума и вкусом. А переводы вдвоем составят и легкое и приятное занятие[4].

ПИСЬМО Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА ИЗ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАВЕЛИНА К БРАТУ АЛЕКСАНДРУ, ПЕРЕХВАЧЕННОЕ III ОТДЕЛЕНИЕМ

Копия, предъявленная Серно-Соловьевичу при допросе 20 июля 1864 г.

Лист первый

Центральный исторический архив, Москва

Теперь о своем положении. Вероятно, до тебя дойдут слухи (как дошли до меня), что я сильно повредил себе рукоприкладством[5]. Убедительно прошу тебя, не обращай на них никакого внимания. Это или глубокомысленные соображения доморощенных юристов или, вернее, намеренно распускаемые слухи для придания благовидности приговору. Взвесь рассудительно массу следующих обстоятельств: меня и Ч.* арестуют по высочайшему повелению, вследствие доклада, что взяты письма «явно доказывающие намерение нарушить общественное спокойствие»[6]. Ч. до такой степени невозможно было обвинить по письмам, что его отделили от общего дела и доконали другим путем. Я при следствии отверг все до одного обвинения — меня поставили во главе. Сенату велено было определить, кого выпустить из крепости, кого оставить — меня оставили[7]. Всевозможные искажения были сделаны. Дело, видимо, медлили решать. Письмам совершенно превратно придано значение приглашения к возмущению. В одном сказано, между прочим: «Вам нельзя рисковать собой, ваша гибель будет иметь страшно вредные последствия для общего дела»[8]. Судья — Пинский, делопроизводитель — Кузнецов[9]. *При начале рукоприкладства—комендант говорит мне*: «*Если вас оставили в крепости, значит оправдаться невозможно*; *рукоприкладство только повредит, я говорю по бывшим примерам*»**. Указ, предававший суду, обвинял в государственном преступлении, очевидно, на 10 шансов не могло быть ни 1 в пользу оправдания. Как же тут помочь или повредить себе? Но я был в таком настроении, что хотел защищаться, получив накануне весть о расстройстве денежных дел. Что защита была хороша,— я видел из всего. Меня старались поймать на словах, искажали смысл. Пинский сказал: «После словесного показания я считал, что дело у меня вот (сжав кулак) — а теперь мы в прежней неизвестности»[10]. Я требовал, чтоб ко мне применили указ, обещавший снисхождение признавшимся, обнаружившим раскаяние и содействующим обнаружению злоумышленников, доказывая, что подхожу не под букву, а под дух[11]: они составили журнал, что во всех моих ответах «не оказалось ни признания, ни раскаяния». Наконец, я до конца стоял на том, что невинен во всем. Правда, был другой способ защиты: прямо и косвенно свалить все на Сашу*** [12]. Но это я считал слишком подлым. Желание очистить его было одним из соображений, почему я объяснил свое знакомство с Г****. Подлые пути всегда ложны. Их выгоды мнимые, в сущности, за них всегда получаешь наказание. Ибо 1) он может быть принужден обстоятельствами вернуться, 2) могли постановить не решать дело до его возвращения, сколько тогда трансов и томлений, 3) могли все-таки обвинить и набросить страшную тень на репутацию, 4) главное, что для самого себя это послужило бы источником упреков и нарушило мир с самим собой, что я считаю безусловно высшим из благ. Моя система защиты основывалась на следующем. Я сказал себе: меня доконают во что бы ни стало. Ясно, что дело пошло на то, чтоб истребить всех сколько-нибудь известных людей противного лагеря, и в этом направлении III Отделение, Сенат, Государственный совет действуют, как один человек. Но против этого в самом праве есть оппозиция, и я успел заметить, что между обеими партиями страшная вражда. С другой стороны, само дело при сколько-нибудь добросовестном разборе не представляет никаких матерьялов к обвинению. Потому я разъяснял это обстоятельство, рассчитывая выпутать таким образом всех только прикосновенных и вместе доказывая несостоятельность всей системы. Попа-

---

* Чернышевский.— *Прим. III Отделения.*

** *Подчеркнуто красным карандашом в III Отделении.*

*** Брат его Александр, находящийся за границею.— *Прим. III Отделения.*

**** Герцен.— *Прим. III Отделения.*

дись все мое писанье в руки одному порядочному человеку,— оборот всего дела мог быть иной. Но, очевидно, все заодно. А потому всякие усилия бесплодны. Какие результаты дало знаменитое тверское рукоприкладство? Осуждение[13]. Прощение было уже независимо от судебного хода. Есть заветная фраза «по уликам и обстоятельствам дела», которою можно повесить законным порядком кого угодно. Забыл привести, между прочим, слова Пинского: «Вы желаете своими ответами свалить ответственность на Сенат,— но мы свалили ее на вас», значит, толковать об этом нечего. Надо по возможности устранять нелепые толки. И кто же из читавших дело может высказать такое мнение, имея в виду мою пользу?

ОБЪЯСНЕНИЕ, НАПИСАННОЕ Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧЕМ ПО ПОВОДУ ПЕРЕХВАЧЕННОГО ПИСЬМА ЕГО К БРАТУ АЛЕКСАНДРУ, 20 ИЮЛЯ 1864 г.

Автограф

Адресовано коменданту Петропавловской крепости Сорокину.

Центральный исторический архив, Москва

Вздор. А впрочем, пусть говорят, что хотят. Я дошел уже до той выработки себя, что единственный суд над моими поступками, имеющий для меня значение,— мой собственный. Я же сам весьма доволен, что удалось никого не замешать и пережить два года тюрьмы, оставшись самим собой. Каторга меня не пугает. С своим спокойным характером я уживусь везде,— я на нее смотрю как на школу, суровую, но могущую быть во многом полезною. Главное, что я смотрю вперед с полным доверием. Делать нечего. Закон силы против нас. Он неумолим и неотразим. Но имеющие баланс в свою пользу доживают свой век,— мы начинаем свой. Они не понимают этого, и потому обстоятельства через десять лет выведут нас на арену. Ссылающие Ч.— вымирают; бросающие цветы — нарождаются[14]. Я нянчу в уме отличную мысль: составить евангелие свободы — изложение своих начал в полном объеме, построя все отношения на пяти началах: свобода, знание, труд, любовь, счастие[15]. Будь что будет, останемся верны себе и ⟨будем?⟩ любить друг друга. Надеюсь, ты не

шелохнешься ни под каким предлогом. Всем сердечный поклон, несчетно целую. Если у тебя случаются грустные минуты,— веди дневник: великолепное средство. Я пользовался им, только чтоб испытать действительность,— меня это воскрешало. Необходимо прибавить несколько строк, чтоб не смутить тебя. Сравнение с кораблем нисколько не означает колебаний в направлении. В «Андронике» Цавелхос говорит[16]:

Как ровно бьется сердце, ты покойно,
Ты праведно. Я бережно хранил
В себе свой идеал, свою святыню,
И сохранил его до сей минуты,
Не сделав ни малейшей уступки
И не подавшись ни на шаг назад!
Да, я могу геройски умереть
И чистым победить!

Я недоволен только тем, что не могу сохранить равномерной бодрости духа, не в состоянии отгонять какого-то неопределенного, тоскливого чувства. Я приписываю это чисто физическим причинам,— потому с нетерпением жду всякого решения, лишь бы высвободиться из тюрьмы. Подумай, два года не слышать здравого слова, не обменяться здравою мыслью. Самая светлая голова, с которой удалось поговорить в это время,—поп* [17]. А я дознал, что разговор— одно из существеннейших условий освежения и обновления мыслей — я думаю, посредством возбуждения слуховых нервов. Кроме того, я часто колеблюсь, как держать себя. Стоять ли упорно кремнем, или, напротив, стараться облегчить свою участь, действуя различными путями на гос⟨ударя⟩? Все соображения объяснять долго. Если будет возможность, напишу историю дела. Но как доводы меняются сообразно обстоятельствам, то подобные колебания действуют дурно на состояние духа. Раз положение окончательно обрисуется решением,— водворится полнейшее спокойствие. По моим соображениям, они твердо убеждены в существовании какого-то заговора, считают, что не обнаружили его следствием и тщательно стараются раскрыть. Сенат от себя посылал одного действительного статского советника по всей России разыскивать следы. Теперь он работает и в Петербурге. Каков он,— можно судить из отзыва мне Кузнецова: «Он отца родного повесит на законном основании». По виду добродушнейший толстяк, он член гербового отделения, малоросс — фамилия Афонасенко.

Память у меня совсем ослабла,— все восстановится на свежем воздухе, хоть и в кандалах. По словам Кузнецова, отправление и поездка Мих. Ил.** прослежена до малейших подробностей и весьма многие компрометированы. Известно, что Н. В.*** писал статьи о Сибири[18].

Может, магазин и уцелеет. Шл.**** продолжается, я было думал, что и он stop. Теперь я покойнее. Скорей бы решение, чтоб выбраться отсюда. Буду тверд. Как бы ни было, важную эпоху мы переживаем. Придется ли нам свидеться или нет, не знаю, но помяни мои слова, что конец этого столетия напомнит собой конец прошлого[19]. Мне кажется, на воле я был бы в состоянии написать много хорошего. Еще раз, береги себя. Будь здоров и по возможности счастлив.

---

* Полисадов. — *Прим. III Отделения.*
** Михайлов.— *Прим. III Отделения.*
*** Шелгунов.— *Прим. III Отделения.*
**** Шлоссер.— *Прим. III Отделения.*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Сегодня твое рождение! Все, что могу подарить — несколько задушевных строк.* Александр Серно-Соловьевич родился 15 июля 1838 г. Письмо было написано загодя в расчете на то, что в день рождения брата оно будет передано ему в качестве «подарка». Из приведенного во вводной заметке документа видно, что уже 14 июля письмо было перехвачено агентом и доставлено в III Отделение.

[2]*... в тебе есть все данные быть одним из лучших публицистов...* Болезнь и тяжелая нужда сильно ограничили литературную деятельность Александра Серно-Соловьевича. Но на всех его немногочисленных выступлениях в печати (см. «Наши домашние дела». Веве, 1867; «Миколка-публицист». Женева, 1868 и др.), в том числе и в изданиях I Интернационала, действительно, лежит отблеск яркой публицистической талантливости и остроты. Александр охотно брался за политические статьи и обозрения для газет: «работу эту я вдобавок очень люблю», — писал он М. В. Трубниковой («Звенья», V, 1935, стр. 385).

[3]*... рекомендую, как более прибыльную статью—поэзию, особенно переводы... Я в жизни не слагал двух рифм, —а дошел.* — Советуя брату заняться поэтической деятельностью, Серно-Соловьевич рассказывает о своих произведениях, созданных в крепости. Он упоминает в письме лишь драму в стихах «Андроник» и перевод мистерии Байрона «Каин». При этом он допускает возможность, что «обе эти вещи погибли в застенке». Как сложилась судьба этих литературных произведений, покажет следующая справка. «Андроник» и «Каин» и написанные Серно-Соловьевичем позднее драма в стихах «Кто лучше?» и комедия «Из былого» были переданы 29 апреля 1865 г. комендантом крепости Сорокиным управляющему канцелярией III Отделения с указанием просьбы Серно-Соловьевича переслать их в книжный магазин на имя брата Владимира (ЦГИАМ, ф. 109, оп. 1, д. 230, ч. 54, л. 346). Последний рукописи получил, за исключением «Андроника» (о нем нет упоминаний). Это видно из письма Владимира Серно-Соловьевича к Г. Е. Благосветлову от 24 марта 1866 г.: «Многоуважаемый Григорий Евлампиевич! С подателем сего письма посылаю вам, согласно обещанию, два стихотворения брата Николая: „Кто лучше?“ и „Из былого“. Продать их кому и на каких условиях предоставляю вполне вам, как заблагорассудите. О получении их, как и „Каина“,— прошу почтить меня уведомлением» (там же, ф. 95, оп. 2, д. 66, л. 3).

Благосветлов не успел дать никакого назначения полученным рукописям, так как был 11 апреля 1866 г. арестован. Во время обыска при аресте рукописи Серно-Соловьевича были изъяты и вновь вернулись в III Отделение вместе с фотографической карточкой Михайлова, л. 213 «Колокола» и сочинениями Коллонтая, как «бумаги, возбуждающие на означенных лиц подозрение в неблагонадежности» (д. 195, «Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге следственной комиссии. О редакторе журнала „Русское слово“, чиновнике 10 класса Григории Благосветлове», лл. 3—4). Пьесы и перевод Серно-Соловьевича из «Каина» были признаны произведениями, «выражающими недовольство существующим положением общества и либеральные стремления авторов» (там же, л. 28).

После освобождения из крепости Благосветлов обращался в III Отделение с просьбой возвратить отобранные у него рукописи. 13 мая 1868 г. доверенному Благосветлова артельщику Максимову был выдан чемодан с бумагами. Но рукописей Николая Серно-Соловьевича в нем не было. Они оказались в числе «удержанных высочайше учрежденною в С.-Петербурге следственною комиссиею», что выясняется из расписки Максимова (там же, л. 38).

Таким образом, предположение Серно-Соловьевича оказалось правильным: до настоящего времени пьесы и перевод его считались утраченными, навсегда погибшими в «застенке».

Пятиактную драму «Андроник», которую и теперь не удалось разыскать, Серно-Соловьевич называет своим первым произведением. Заглавие драмы и рассказ Серно-Соловьевича о том, что в одной из сцен, которой он более всего дорожил, ему удалось отлично изобразить своих судей, подсказывает нам, что он воспользовался историческим сюжетом из жизни Византии XII века для изображения современной ему политической обстановки в России. Сюжет этот был почерпнут Серно-Соловьевичем из находившейся у него в тюрьме «Истории упадка и разрушения Рима» Эдуарда Гиббона. СПб., 1862. Византийский император Андроник I Комнин (1183—1185) характеризуется в этом источнике так: «Его управление представляло странный контраст добродетелей и пороков. Когда он увлекался своими страстями, он был бичом своего народа, а когда внимал голосу рассудка, был для этого народа отцом. В качестве судьи, он был справедлив и взыскателен; он уничтожил позорную и вредную продажность должностных лиц, и так как он имел достаточно прозорливости, чтоб уметь выбирать людей, и достаточно твердости, чтоб наказывать виновных, то общественные должности замещались при нем самыми достойными кандидатами. Он прекратил бесчеловечный обычай обирать потерпевших кораблекрушение моряков и подвергать их самих рабской зависимости; провинции, так долго бывшие предметом или угнетений или пренебрежения, ожили от благоденствия и достатка, и миллионы людей издали благословляли

его царствование, между тем как свидетели его ежедневных жестокостей осыпали это царствование своими проклятиями» (т. V, стр. 377. Цит. по изд. 1885 г.).

Серно-Соловьевич мог знать и только что переведенную с греческого на русский язык «Историю», написанную современником Андроника Никитой Акоминатом из Хон (см. «Византийские историки, переведенные с греческого, при С.-Петербургской духовной академии». СПб., 1860; в дальнейшем цит. по этому изд.). Никита Акоминат — враг Андроника — не жалеет самых черных красок, рассказывая о жестокости Андроника, о его ярости и кровавых приговорах при обнаружении противных ему убеждений. Период царствования Андроника, известный в истории как период государственных реформ и реакции, и привлек Серно-Соловьевича для проведения аналогии с современной ему обстановкой в России начала 1860-х годов, характеризующейся, с одной стороны, реформаторской деятельностью правительства (реформы земские, судебные, военные и особенно крестьянские), а с другой, все усиливающимся натиском реакции и полицейских репрессий. Цавелхос, о котором говорит в своем письме Серно-Соловьевич, очевидно, один из тех молодых граждан в царстве Андроника, которые «мало-помалу начинали говорить свободнее и склоняться к мятежу» («Никиты Хониата история», т. I, стр. 421). Таких «дерзких крамольников» Андроник казнил. Цавелхос в драме Серно-Соловьевича, готовый геройски умереть, не отступив от своих идеалов, несомненно выражает чувства самого автора, мужественно отстаивавшего свои убеждения на следствии.

[4] *...переводы вдвоем составят и легкое и приятное занятие.*—По предположению И. Б. Володарского (сообщенному редакции «Лит. наследства»), это относится к Л. П. Шелгуновой. Она совместно с Николаем и Александром Серно-Соловьевичами участвовала в переводе на русский язык «Всемирной истории» Ф. Шлоссера (см. ее письмо к Александру Серно-Соловьевичу, опубликованное М. К. Лемке в книге «Очерки освободительного движения „шестидесятых“ годов». СПб., 1908, стр. 98). Н. Серно-Соловьевич был через Владимира Серно-Соловьевича или А. Рихтера, несомненно, осведомлен о том, что Л. П. Шелгунова в это время находилась в Швейцарии, где жил Александр Серно-Соловьевич. Известно, что в это время Л. П. Шелгунова была увлечена им, что также не могло быть тайной для Николая Серно-Соловьевича.

Н. Серно-Соловьевич занимался переводами также и совместно с Павлом Ивановичем Якоби. Павлу Якоби читал он и свои публицистические статьи, прислушиваясь к его мнению («Звенья», стр. 385).

[5] *Вероятно, до тебя дойдут слухи (как дошли до меня), что я сильно повредил себе рукоприкладством.*— 11 декабря 1863 г. Николай Серно-Соловьевич приступил к чтению всего производства по своему делу. Ему стало ясно, что многое из того, что он раньше скрывал от следствия, скрывать уже стало бесполезно. В этой связи он просил Сенат допустить его к даче дополнительных письменных показаний — «к рукоприкладству». В поданных одно за другим в начале 1864 г. пространных показаниях (имевших форму «всеподданнейших прошений») Серно-Соловьевич вынужден был признать вещи, которые раньше отрицал. Он признал прежде всего, что находился в сношениях с Герценом и Огаревым. По мнению Серно-Соловьевича, признание им ряда фактов, как он убедился, уже установленных следствием, не могло повредить ему и ухудшить его положение.

[6] О письмах Герцена, Огарева, Бакунина и Кельсиева, «явно доказывающих намерение нарушить общественное спокойствие», явившихся непосредственным поводом для ареста Чернышевского и Николая Серно-Соловьевича, говорится в докладе генерал-майора Потапова князю Голицыну от 9 июля 1862 г. в связи с арестом Ветошникова («Процесс Н. Г. Чернышевского. Архивные документы». Саратов, 1939, стр. 42—43).

[7] *Сенату велено было определить, кого выпустить из крепости, кого оставить — меня оставили.*— Это определение Сената было сделано на заседании 4 марта 1863 г. Многие обвиняемые по «процессу 32-х были или отпущены на свободу или отданы на поруки» (М. К. Лемке. Очерки освободительного движения «шестидесятых» годов. СПб., 1908, стр. 174).

[8] *Вам нельзя рисковать собой; ваша гибель будет иметь страшно вредные последствия для общего дела.* — Серно-Соловьевич цитирует (не совсем точно) слова из обращенного к нему конспиративного письма В. И. Кельсиева от 7 июля 1862 г. (М. К. Лемке. Указ. соч., стр. 37).

[9] *Судья — Пинский, делопроизводитель — Кузнецов.* — Серно-Соловьевич не упоминает в своем письме обер-секретаря Сабурова, бывшего лицеиста, который был, по-видимому, отстранен от ведения дела: за ним было замечено, что он исполняет свои обязанности «с преднамеренною целью предоставить обвиняемому все способы путать дело, как ему угодно, и таким образом оправдываться насколько можно и ставить себя в положение человека, которого правительство притесняет без положительных данных к обвинению единственно в силу своей власти — одним словом, представить из себя мученика» (см. «Агентурные донесения о политической неблагонадежности обер-секретаря Сената Сабурова, занимавшегося производством

дел Чернышевского и Серно-Соловьевича. 9 июля 1864 г.»— ЦГИАМ, ф. 109, оп. 1, д. 251, л. 1).

[10] *После словесного показания я считал, что дело у меня вот* (*сжав кулак*) — *а теперь мы в прежней неизвестности*.— Таким образом Пинский считал, что своим «рукоприкладством», то есть дополнительными письменными показаниями или прошениями от 12 и 26 января и 5 марта 1864 г., Серно-Соловьевич перечеркнул свои словесные показания, о которых он просил 18 декабря 1863 г. (М. К. Лемке. Указ. соч., стр. 183—184).

[11] *Я требовал, чтоб ко мне применили указ, обещавший снисхождение признавшимся ..., доказывая, что подхожу не под букву, а под дух*...— Это требование содержалось во втором прошении Серно-Соловьевича от 26 января 1864 г. (М. К. Лемке. Указ. соч., стр. 212—213; об «указе», стр. 183).

«ПОСЛЕДНЯЯ ТАЧКА»

Картина маслом польского художника А. Сохачевского, 1863—1882 гг.

Исторический музей, Варшава

[12] ...*прямо и косвенно свалить все на Сашу*.— Примечание чиновника III Отделения или агента, перехватившего письмо, что эти строки относятся к Александру Серно-Соловьевичу (адресату письма) — неверно. Речь тут идет об Александре Александровиче Черкесове. Он был товарищем Александра Серно-Соловьевича по Лицею и одним из его и Николая Серно-Соловьевича ближайших друзей. Участник революционно-демократического движения шестидесятых годов, Черкесов в 1862 г. уехал за границу и жил в Женеве. Вернулся в Россию в 1865 г.

[13] *Какие результаты дало знаменитое тверское рукоприкладство*? *Осуждение*.— Речь идет о «рукоприкладстве» группы тверских мировых посредников летом 1862 г. Они были привлечены к ответственности в связи с своим заявлением о том, что они в своей деятельности будут руководствоваться не законом, а постановлением тверского дворянского собрания, признавшего реформу 1861 г. неудовлетворительной (ЦГИАМ, ОППС, ф. 112, оп. 1, д. 4 и 5: «О разных лицах, принадлежащих к составу мировых учреждений Тверской губернии, преданных суду за подписание противузаконного заявления», т. I. Прошения тверских дворян; о допущении их к «рукоприкладству» (10 июня 1862 г.); т. II, л. 384 названного «дела»; о решении дела — «освобождены по случаю тезоименитства императрицы, сохранив за тем силу приговора в остальной части...» — т. II, л. 882).

[14] *Ссылающие Ч.— вымирают*; *бросающие цветы — нарождаются*.— Эти слова — характеризующие представления Николая Серно-Соловьевича о закономерности исторического процесса — связаны с Чернышевским. Речь идет о цветах, брошенных М. П. Михаэлис (свояченица Н. В. Шелгунова) на помост во время обряда гражданской казни Чернышевского, 19 мая 1864 г.

Таким образом, следует признать, что Николай Серно-Соловьевич и в строжайшей, казалось бы, изоляции Алексеевского равелина располагал информацией о некоторых важнейших событиях текущей политической жизни.

[15] *Я нянчу в уме отличную мысль: составить евангелие свободы...*— Этой мысли не суждено было осуществиться.

[16] *Цавелхос говорит...*—О Цавелхосе см. выше, прим. 3.

[17] *Самая светлая голова, с которой удалось поговорить в это время,— поп.*— Речь идет о тюремном священнике, протоиерее Полисадове. Как видно из материалов III Отделения, исполнение своих обязанностей священнослужителя Полисадов не стеснялся совмещать с деятельностью секретного агента политической полиции (ЦГИАМ, ф. 109, оп. 3, ед. хр. 3238, № 528).

[18] *По моим соображениям они твердо убеждены в существовании какого-то заговора...— писал статьи о Сибири.*— Правительство, действительно, было напугано. Как известно, по распоряжению царя в 1862 г. была организована под председательством кн. Голицына специальная комиссия для расследования «причины смуты». Афонасенко, о котором упоминает Серно-Соловьевич, принимал непосредственное участие и в расследовании «дела о послаблениях» М. Л. Михайлову, как депутат со стороны Министерства юстиции и внутренних дел (ЦГИАМ, ф. 109, д. 274, л. 299), выезжая специально в Тобольск. Заключительная часть письма вновь свидетельствует, что Серно-Соловьевич был в курсе почти всех событий революционной борьбы.

Отправление и поездка Михайлова была действительно «прослежена до малейших подробностей». Служащие и начальствующие лица Тобольска (председатель губернского правления Соколов, губернский прокурор Жемчужников, управляющий комиссариатской комиссией Ждан-Пушкин и др.), оказывавшие особенное сочувствие Михайлову, были преданы суду. *«Весьма многие компрометированы»* — в среде чиновников III Отделения считалось, что поводом к сочувствию Михайлову послужил «слух, разнесшийся по прибытии его в Тобольск, о том, что г. начальник губернии получил письмо от с.-петербургского генерал-губернатора князя Суворова о принятии участия в положении Михайлова» (д. 274, л. 175, 21 мая 1862 г.). Слух этот подтверждается также неизвестным письмом Л. П. Шелгуновой к М. В. Авдееву, рассказывающей о большой помощи князя Суворова в облегчении участи Михайлова (там же, ОППС, ф. 112, оп. 1, д. 40а). Михайлов во время пребывания в Тобольске не был закован, в остроге его посещала студенческая молодежь, женщины приносили в тюрьму цветы, начальствующие лица увозили его к себе домой к обеду (см. «Записки» М. Л. Михайлова).

В марте 1863 г. «по повелению императора» было вновь начато «строжайшее доследование» по делам о побеге за границу М. А. Бакунина и о послаблениях Михайлову в Восточной Сибири (ЦГИАМ, ф. 109, д. 274 и дело: «О бегстве политического преступника Михаила Бакунина из Николаевска за границу, тут же переписка о переводе из Зерентуйского рудника на Козаковский промысел преступника Михайлова. Нач. 10 ноября 1862 — конч. 24 марта 1864»— ЦГИАМ, ф. 95, оп. 1, д. 69). Военному суду были преданы полковник Дейхман и брат Михайлова — П. Л. Михайлов, горный инженер, начальник Козаковского прииска. В донесении о перехваченных письмах Серно-Соловьевича и П. Л. Михайлова на имя Л. П. Шелгуновой (см. во вводной заметке) указывается, что П. Л. Михайлов — «ныне предан военному суду». Статьи Н. В. Шелгунова о Сибири, писавшиеся им во время поездки к Михайлову, печатались в «Русском слове».

[19] *...конец этого столетия напомнит собой конец прошлого* — то есть напомнит грозные события французской революции 1789—1794 гг.

«ТОРЖЕСТВО ДОБРОДЕТЕЛИ» («МИНИСТР ПЛОДОРОДИЯ»)

НЕИЗДАННАЯ КОМЕДИЯ КОЗЬМЫ ПРУТКОВА

Статья Б. Я. Бухштаба
Публикация В. Э. Боград а

Как известно, литературная биография Козьмы Пруткова тесно связана с некрасовским «Современником».

Имя славное Пруткова,
Имя громкое Козьмы —

впервые было названо в первом номере «Литературного ералаша»— специального сатирического приложения к «Современнику», которое в течение 1854 г. постоянно появлялось при книжках журнала. В пяти номерах «Литературного ералаша», содержащих «Досуги Кузьмы Пруткова», было опубликовано не менее половины всего дошедшего до нас литературного наследия Пруткова. «Досуги Кузьмы Пруткова» настолько превалируют в «Литературном ералаше», что естественно связать самую идею появления в «Современнике» такого приложения с желанием Некрасова предать гласности плоды вдохновений и раздумий Козьмы Пруткова.

После прекращения «Литературного ералаша» Козьма Прутков умолкает на шесть лет. Новые публикации его произведений появляются в новом сатирическом приложении к «Современнику»— «Свистке». «Свисток» выходил нерегулярно: сравнительно часто при Добролюбове, который был его душой, его основным автором (по три номера в 1859 и 1860 гг.), и изредка в позднейшие годы (по одному номеру за 1861, 1862 и 1863 гг.).

Таким образом, всего вышло девять номеров «Свистка»; Козьма Прутков принимал участие в четырех. В 4-м номере «Свистка» помещено семь стихотворений Пруткова под общим заголовком «Пух и перья (Daunen und Federn)». Сохранившаяся корректура (гранки) показывает, что первоначально предложено было 18 произведений, часть которых была опубликована лишь много лет спустя, а часть так и не была напечатана [1].

В «Свистке» Козьма Прутков уже не играл основной роли, и произведения его отбирались скупо. В 5-м и 7-м номерах «Свистка» напечатано по одному произведению, а в 9-м читателям сообщено, что Козьма Прутков окончил свое земное поприще: опубликован «Краткий некролог и два посмертные произведения Кузьмы Петровича Пруткова». 9-й номер «Свистка» был последним.

Однако, как показывают приводимые ниже материалы, у редакции «Современника» было намерение продолжать «Свисток» и в следующем году.

В комментариях к Полному собранию сочинений Козьмы Пруткова в издании большой серии «Библиотеки поэта» процитировано хранящееся в ГПБ письмо В. М. Жемчужникова к А. Н. Пыпину с вопросом: «Пытались ли отдавать „Министра плодородия“ и „Фантазию“ в цензуру и как приняли?»[2]. Письмо имеет дату «25 ноября». В комментариях оно датировано периодом 1863—1865 гг. и предположительно 1865 годом.

Материалы, публикуемые ниже, дают возможность с большой вероятностью датировать письмо 1864 годом.

Как видим, уже после завершения прутковского цикла некрологом авторы его пытались продолжить публикацию произведений Пруткова — несомненно, в «Свистке», ибо вне сатирического приложения, в основном тексте «Современника» Козьма Прутков был бы совершенно неуместен. И редакция «Современника» намеревалась напечатать новые, посмертные произведения Пруткова.

О том, что существует неизданная комедия Козьмы Пруткова «Министр плодородия», стало известно в 1933 г., когда П. Н. Берков опубликовал по материалам архива Пушкинского дома три письма В. М. Жемчужникова к А. Н. Пыпину 1883 г.[3] Письма эти связаны с подготовкой первого собрания сочинений Козьмы Пруткова, вышедшего в 1884 г. В одном из них, перечисляя все, что должно войти в это издание, В. М. Жемчужников указывает в разделе «Сценические творения»: «„Министр плодородия“ (рукопись была передана в редакцию „Современника“ 1863 или 4 г., не напечатана и *не возвращена*)».

До недавнего времени это было все, что мы знали о затерянной комедии Козьмы Пруткова. Но опубликованные П. Н. Берковым письма В. М. Жемчужникова к А. Н. Пыпину имеют непосредственное продолжение в виде трех писем, хранящихся в ГПБ. Последнее из них, целиком посвященное «Министру плодородия», напечатано в выдержках в нашей вступительной статье к Полному собранию сочинений Козьмы Пруткова [4]. Приводим его полностью:

$\frac{24}{12}$ февраля 1884 г.
Villa Isola bella.
Menton. France.

Многоуважаемый
Александр Николаевич!

Во имя покойного Козьмы Пруткова, которого память (как ныне оказывается из радушного приема публикою издания его сочинений) достойно чтится по сию пору,— прошу вас наиубедительнейше: нет ли возможности поручить кому-либо пересмотреть в бумагах бывшей редакции «Современника» (если таковые остались) за 1860—4 года,— не найдется ли там рукописи, или даже корректурных листов *комедии Козьмы Пруткова «Министр плодородия»*? — Она была дана мною в 1860—4 годах, охотно принята редакциею, но, как мне сообщили потом,— *не пропущена цензурой* (поэтому я и говорю о «корректурных листах»). Я помню, что мы все смеялись тогда, что Валуев принял тип министра за свой. Теперь я не нахожу подлинной рукописи этой комедии у себя и не могу съездить в СПб. и поискать ее там, в бумагах покойного графа Перовского; а между тем хотелось бы поместить ее во 2-м издании сочинений Козьмы Пруткова. Хотя в той рукописи, которая была передана мною редакции «Современника», эта комедия была немного переделана, именно в цензурных видах, но я мог бы теперь повсюду выкинуть эти переделки и восстановить подлинник по памяти: а восстановить ее всю по памяти — мы не можем: ни я, ни брат мой Алексей, ибо уже стары, живем не вместе, да духом не прежние.

Если возможно, помогите мне в этом, ради удовольствия наших соотечественников.

Во всяком случае откликнитесь на сию просьбу и ведайте, что я очень нередко останавливаюсь воспоминаниями на вас, из числа немногих, живущих в России, с кем хотелось бы видеться, видаться и беседовать. Простите мне такую откровенность.

Ваш всегда В. Жемчужников

Таким образом, не имея возможности включить «Министра плодородия» в первое издание Полного собрания сочинений Козьмы Пруткова, В. М. Жемчужников настойчиво стремился опубликовать его во втором издании. Это — единственное произведение, которым он хотел дополнить основной корпус творений Козьмы Пруткова,

«ЛИБЕРАЛ, СДЕЛАВШИЙСЯ МИНИСТРОМ»

Карикатура Н. В. Иевлева

Под рисунком подпись:
Тень: «Либерал может сделаться министром, но может ли министр сделаться либералом — вот в чем вопрос?»

«Гудок», 1862, № 19

строго очищенный от всего, что не соответствовало «цельности и достоинству типа»[5].

В. М. Жемчужников в поисках текста неизданной комедии пошел по правильному пути: корректура, по которой комедия печатается, обнаружена В. Э. Боградом в фонде А. Н. Пыпина в архиве Академии наук СССР (ед. хр. 172). Неясно, почему Пыпин не возвратил его литературной собственности. Быть может, Пыпин не сразу разыскал ее (в корректуре она называется не так, как в письме Жемчужникова), а в том же 1884 г. Владимир Жемчужников умер. Единственный оставшийся в живых «опекун» Козьмы Пруткова, Алексей Жемчужников, гораздо меньше своего брата интересовался судьбой Козьмы Пруткова и не стремился дополнять текст собрания его сочинений [6].

Предисловие к публикуемой комедии помечено 11 октября 1864 г. Число 11 можно считать *мнимым, ибо, как было указано в «Кратком некрологе»*, Козьма Прутков «никогда не заканчивал своих рукописей в другое число, как в 11-е»[7]. Но сомневаться в месяце и годе у нас нет никаких оснований. Поэтому и упомянутое выше письмо В. М. Жемчужникова к Пыпину от 25 ноября, в котором он спрашивает, «пытались ли отдавать: „Министра плодородия“ и „Фантазию“ в цензуру и как приняли»,— естественно датировать тем же годом.

В корректуре пьеса озаглавлена «Торжество добродетели». Между тем, В. М. Жемчужников называет ее «Министр плодородия»,— не только через двадцать лет, когда он мог уже забыть название, но и непосредственно после передачи комедии в редакцию «Современника». В том, что речь идет об одном и том же произведении, убедится каждый, кто заглянет хотя бы в список действующих лиц «Торжества добродетели», где на первом месте поставлен «министр плодородия». Вероятно, название «Торжество добродетели»— одно из тех смягчений текста для цензуры, о которых говорит Жемчужников в позднейшем письме. Результатом цензурного приспособления является и то, что действие комедии происходит за границей, во *Франции — обычнейший прием цензурного смягчения*. Вспомним у Некрасова:

Если скажешь: «В дворянских именьях
Нищета ежегодно растет»,—
«Речь идет о сардинских владеньях»—
Поясню,— и статейка пройдет!

Комедия была задумана, несомненно, в качестве творения Козьмы Пруткова. Об этом свидетельствует, в частности, примечание Козьмы Пруткова к мизансцене

4-го действия. Впоследствии, как видим, Владимир Жемчужников — всегдашний организатор и редактор публикаций Козьмы Пруткова — безусловно отнес к его трудам «Министра плодородия», как и «Фантазию». В эту же пору, непосредственно после опубликования некролога, творцы Козьмы Пруткова решили было дальнейшие публикации приписывать детям Козьмы Пруткова. Начатые в то же время «Военные афоризмы»[8] подписаны, как известно, именем сына Козьмы Пруткова — Фаддея Козьмича.

Примечание к 4-му действию «Министра плодородия» авторы, однако, не сняли, а в предисловии объявили читателю, что получили его от Козьмы Пруткова из загробного мира, посредством спиритизма. Впоследствии этот мотив был использован Александром Жемчужниковым в фельетоне «С того света» (1876) и Алексеем Жемчужниковым в стихотворении «Посмертное произведение Козьмы Пруткова» (1907).

В дальнейшем авторы Козьмы Пруткова отказались от идеи поставить рядом с ним, помимо его отца и деда, еще и его детей. В изданном ими Полном собрании сочинений Козьмы Пруткова нет никаких произведений, приписанных его детям.

Любопытно, что комедию Александра Жемчужникова «Любовь и Силин», уже напечатанную в журнале «Развлечение» 1861 г. под именем Козьмы Пруткова, автор предисловия (вероятно, Владимир Жемчужников) к публикуемой комедии приписывает сыну Козьмы Пруткова Андронику, «Фантазия» же, написанная Алексеем Жемчужниковым и Алексеем Толстым (по некоторым сведениям, при участии В. М. Жемчужникова), приписывается Антону и Агапию Прутковым. Они же названы авторами «Торжества добродетели» («Министра плодородия»). При этом делается указание, что впредь имена создателей будут правильно и добросовестно обозначаться под принадлежащими им произведениями. Не означает ли это участия Алексея Толстого в «Министре плодородия»? В. М. Жемчужников в письмах к Пыпину не перечисляет авторов этой комедии.

Между тем в «Министре плодородия» есть черты, предвосхищающие знаменитую сатиру Алексея Толстого «Сон Попова», написанную много лет спустя (в 1873 г.).

Как известно, в этой сатире в лице министра изображен министр внутренних дел П. А. Валуев — консерватор и реакционер под маской либерала. В приведенном выше письме В. М. Жемчужникова указано, что Валуев принял на свой счет и публикуемую комедию. Главный герой ее де Лагероньер, «сановник и журналист» (сочетание, характерное для Валуева), добивается места товарища министра плодородия с помощью лести и приспособления ко взглядам министра. До своего назначения в 1861 г. министром внутренних дел, в годы подготовки крестьянской реформы, Валуев был директором департамента в Министерстве государственных имуществ, возглавлявшемся яростным реакционером М. Н. Муравьевым, впоследствии получившим печальную славу усмирителя восстания 1863 г. в Польше и Литве. Будучи подчиненным Муравьева, Валуев писал в его духе проекты и доклады, направленные против реформы. Получив же пост министра внутренних дел, Валуев сразу порвал с Муравьевым и стал прикрывать реакционную деятельность громкими и пустозвонными либеральными фразами, на которые он был большой мастер. Возможно, что в пьесе есть намек на прошлое Валуева — на его стремление сделать карьеру в Министерстве государственных имуществ, к которому, как будто, ближе, чем к другим тогдашним министерствам, подходит пародийное название «министерство плодородия». Либеральная фраза, прикрывавшая русский абсолютизм, в конце 1850-х — начале 1860-х годов, с замечательной остротой пародирована в «Сне Попова». Она пародируется и здесь. Так, секретарь де Лагероньера Гюгель, применяющийся к его фразеологии, произносит такую фразу: «...нет на свете государства свободнее нашего, которое, наслаждаясь либеральными политическими учреждениями, повинуется вместе с тем малейшему указанию власти». Подобные фразы метко вскрывают лицемерие «либерального» правительства Александра II. Отметим, что де Лагероньер — фамилия не вымышленная и взятая не случайно. Публицист Луи-Этьен виконт де Лагероньер стоял

на республиканских позициях до переворота Наполеона III, а при Наполеоне перешел на его сторону и был назначен сенатором.

Еще ближе к «Сну Попова» разработана другая тема—произвола и мошенничества тайной полиции. Надо полагать, что именно эта тема вызвала цензурный запрет комедии. Полковник тайной полиции Биенинтенсионне (то есть «Благонамеренный») постепенно вписывает в список «неблагонадежных» всех остальных действующих лиц,— и в финале сам становится министром плодородия. У полковника приторно-сладкие манеры. Он все время «целует взасос» всех персонажей и, даже объявив им, что все они вольнодумцы, все «вписаны» им, не получат желанных назначений, а частью даже «подлежат уничтожению», он «утирает слезу сострадания и подходит поочередно к каждому с распростертыми объятьями». Это близко напоминает манеру «лазоревого полковника» из «Сна Попова», который чередует угрозы с нежностями и при этом утирает «обильный струящийся ручей» слез «платком, узором шитым». Биенинтенсионне, впервые увидя одного из персонажей комедии и уже «вписав» его,— «целует его взасос» и обращается к нему с такими словами: «Я вам второй отец! Как ваше имя? Кто вы такой?» (ср. в «Сне Попова»: «И я хочу вам быть второй отец»).

Мы уже указывали, что в произведениях Козьмы Пруткова 1860-х годов, особенно в «Проекте: О введении единомыслия в России» предвосхищаются позднейшие сатирические мотивы Щедрина [9]. Это можно сказать и о публикуемой комедии.

В 1885 г. Щедрин в «Пестрых письмах» в качестве пародии на чиновничьи проекты имеющие целью усиление бюрократического вмешательства в народную жизнь,— выдвигает проект создания «института племенных молодых людей» с целью поставить под контроль правительства «свойства грядущих поколений». Идея бюрократического регулирования «самого движения народонаселения» выражена в комедии Козьмы Пруткова в словах министра плодородия: «Плодородие должно зависеть от министерства, т. е. от меня. Я не хочу, чтобы в нашем отечестве что-либо росло и рождалось без моего позволения 〈...〉, даже самое движение народонаселения, понимаете, должно подлежать моему надзору. Всё, что будет сверх сметы, — вон!».

Самые названия «министерство плодородия», «министерство народного подозрения» предвосхищают характерные для щедринских циклов 1870-х годов названия: «министерство оплодотворения и министерство отчаяния», «департамент предотвращений и пресечений», «департамент возмездий и воздаяний» и т. п.

Конечно, как во всех произведениях Козьмы Пруткова, достаточно заметна в комедии и стихия непритязательного каламбура, комической бессмыслицы; так де Лагероньер, который должен сесть в ванну с отрубями, садится на мешок с отрубями, поставленный в ванну, и т. п.

В комедиях Козьмы Пруткова вообще много бездумного балагурства. Но из всех его комедий «Министр плодородия»— единственная, содержащая политически острые мотивы, которые и привели к ее запрещению цензурой.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Полн. собр. соч. Козьмы Пруткова. Вступительная статья, редакция и примечания Б. Я. Бухштаба. Л., 1949, стр. 346.
[2] Там же, стр. 384.
[3] Козьма Прутков. Полн. собр. соч. Вступительная статья, редакция и примечания П. Н. Беркова. М.—Л., 1933, стр. 449—464. Также в книге П. Н. Беркова: Козьма Прутков, директор Пробирной палатки и поэт. К истории русской пародии. Л., 1933, стр. 190—200.
[4] Полн. собр. соч. Козьмы Пруткова. Л., 1949, стр. XX.
[5] Там же, стр 339.
[6] Там же, стр. 349.
[7] Там же, стр. 287.
[8] О датировке «Военных афоризмов» — см. там же, стр. 371.
[9] Там же, стр. XIX, 377.

ТОРЖЕСТВО ДОБРОДЕТЕЛИ

ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

СОЧ. АНТОНА И АГАПИЯ ПРУТКОВЫХ

От потомков Козьмы Петровича Пруткова в редакцию «Современника»

Редакция «Современника» всегда пользовалась благорасположением незабвенного родителя нашего, Козьмы Петровича Пруткова. Еще в 1850-х годах он избрал, с свойственною ему проницательностию, именно сию редакцию для оглашения свету славного своего имени и неподражаемых своих произведений. Скажем более: редакция «Современника» содействовала прославлению не только папеньки нашего, но и более отдаленных предков наших, как-то: деда — Петра Федотыча Пруткова, автора комедии «Черепослов, сиречь Френолог», и прадеда — отставного премьер-майора и кавалера Федота Кузьмича Пруткова, автора «Гисторических материалов». Ободренные таковым вниманием к семейству Прутковых, мы — дети покойного Козьмы Петровича Пруткова — подражая во всем незабвенному родителю нашему, стремимся и по смерти его доказать свету, что талант творчества и глубокомыслие суть преемственные и наследственные дары в знаменитом роде Прутковых. Посему вследствие долгого и основательного суждения в семейном нашем совете мы порешили обратиться к «Современнику» с просьбою: не отказать публике в удовольствии познакомиться и с собственными нашими, детей Козьмы Пруткова, произведениями. Большая часть наших творений оставалась до сего времени семейною нашею тайною; только одно из них, комедия «Любовь и Силин», напечатано в журнале «Развлечение», и одно — именно комедия «Фантазия» — было сыграно раз в Александринском театре в 185* году в бенефис г. Максимова. Теперь мы препровождаем для напечатания сию последнюю комедию («*Фантазию*») и драму в 4-х действиях «*Торжество Добродетели*». — Само собою разумеется, что мы не все вместе писали эти драматические произведения, тем более, что нас, ближайших потомков Козьмы Петровича Пруткова, весьма много,— брак Козьмы Петровича был благословлен многочадием! Один из нас, соименник Кузьмы Петровича, Кузьма Кузьмич Прутков, пока еще остается неизвестным публике; но мы предупреждаем, что в нем воскреснет талант нашего знаменитого родителя. До того времени пусть публика наслаждается произведениями его братьев, из коих Андроник есть творец комедии «Любовь и Силин», Антон и Агапий суть творцы комедии «Фантазия» и драмы «Торжество Добродетели». — Обещаем и впредь откровенно и правильно, с родственною добросовестностью обозначать имя каждого из нас под принадлежащим ему произведением.

К сему считаем нужным присовокупить, собственно для гг. Геннади, Лонгинова, Галахова и других почтенных библиографов: хотя отец наш, Козьма Петрович Прутков, давно уже переселился в горния, но мы как люди современные и искренние дети — продолжаем пользоваться его советами, подвергать его рассмотрению все наши произведения и почтительно принимать все его замечания; для этого мы употребляем средства, указанные спиритами, т. е. сносимся с покойным нашим родителем посредством столов и тарелок. Таким способом, напр., получено нами примечание Козьмы Петровича к 4-му действию драмы «Торжество Добродетели». Мы считаем обязанностью своею предупредить об этом гг. Геннади, Галахова и Лонгинова, предвидя, что — без такого объяснения — они по обыкновению пришли бы к ложным догадкам и заключениям,

которые неизбежно подали бы повод к весьма важным недоразумениям и даже — чего не дай бог! — к серьезной ссоре как между ними, так и между законными их потомками.

Примите и проч.

Подлинное подписано — шестью дочерями и семью сыновьями Кузьмы Петровича Пруткова. Скрепили — секретари семейного совета Прутковых, племянники Козьмы Петровича — Воскобойников и Шерстобитов.

11 октября 1864 г.
СПб.

Действующие лица:

Министр плодородия.
Де Лагероньер, журналист и сановник.
Гюгель, его секретарь.
Биенинтенсионне, полковник.
Пино, владелец москательных и благовонных товаров.
Покупатели и приказчики.

Действие в Париже, на квартирах действующих лиц.

ДЕЙСТВИЕ I

Сцена первая

(Кабинет де Лагероньера. Де Лагероньер сидит за письменным столом. Гюгель перед ним в вицмундире, с портфелем под мышкой).

Де Лагероньер. Итак, любезный, кажется, дело мое идет хорошо... Министр плодородия получил обо мне — посредством полковника Биенинтенсионне — самое выгодное мнение... Недаром я задобрил полковника!.. Но теперь-то и пора мне действовать, чтобы получить место товарища министра плодородия! Необходимо, мой любезный, узнать все его вкусы; надобно знать, что ему более всего нравится в человеке? И даже самую наружность свою должно сообразить с его взглядами на природу!.. Так слышишь ли, Гюгель, собери мне об этом надлежащие сведения.

Гюгель. Ваше превосходительство можете быть спокойны; — мнения министра плодородия и по сему предмету мне основательно известны. Вам, ваше превосходительство, легко будет им понравиться. В товарище своем они прежде всего желают видеть здоровый цвет лица: «Человек, от которого пышет здоровьем, — так изволили выразиться министр, — не может иметь вредного образа мыслей; он здоров — значит он доволен»; «желтизна лица, — говорят они, — напротив, означает человека беспокойного, непокорного, на коего нельзя положиться; малейший прыщик на лбу, — так сказали его высокопревосходительство, — малейший прыщик на лбу, — говорят они, — вселяет в меня подозрение».

Де Лагероньер. Кажется, то же самое говорил Каюс-Юлиус Цезарь?

Гюгель. Статься может, ваше превосходительство.

Де Лагероньер. Однако подай сюда зеркало... (*Глядится в оное.*) Кажется, у меня немного лупится кожа?..

Гюгель. От усиленных трудов, ваше превосходительство.

Де Лагероньер. Разумеется! Но министр не примет и этого в уважение; он подумает, пожалуй, что я езжу на Среднюю рогатку! Надо этому помочь.— Гюгель, съезди, братец, к Пино за косметикой; я сяду сегодня в ванну с отрубями, слышишь? Но это после, а теперь бери перо и пиши под диктовку. (*Встает и выходит за авансцену.*) Я напишу министру письмо, в котором затрону слабую его сторону! (*Ходит взад и вперед, погруженный в соображения. Гюгель сидит с пером и следит за ним глазами и головой.*) Пиши: «Ваше высокопревосходительство! Что есть лучшего? Бесспорно — здоровье человека. Здоровый цвет лица есть признак довольства. Напротив, желтый цвет означает человека непокорного начальству, беспокойного и вредного образа мыслей. Малейший прыщик на лбу вселяет в меня омерзение». Ведь так сказал министр!

Гюгель. Они сказали: подозрение.

ДеЛагероньер. Ну, а я что говорю? Я и говорю: подозрение! Так и пиши.

Гюгель (*пишет*). Подозрение...

Де Лагероньер. «Подозрение!.. Цели, к которым стремится ваше высокопревосходительство, обнимая собою всю будущность страны, так многосложны и обширны, что непростительно было бы малейшему сыну отечества не пещись, хотя слабыми силами своими, содействовать к осуществлению оных». Написал?

Гюгель. Оных...

Де Лагероньер. «Оных...» Точка, в другую строчку: «Примите, ваше высокопревосходительство, благосклонно сие краткое изложение образа мыслей, как усердное выражение благоговейного сочувствия к мудрым предначертаниям вашего высокопревосходительства. С совершенным почтением и пр.».

Гюгель (*пишет*). «Покорнейший слуга» изволите написать своеручно?

Де Лагероньер. Разумеется, братец,— какой ты несообразительный!.. (*Подписывает*). Вложи в пакет и отправь. Да не забудь к Пино, а потом ванну с отрубями. Я еду развлекаться.

Гюгель. Сердце радуется, ваше превосходительство, когда изволите так говорить.

(*Де Лагероньер уходит*).

Сцена вторая

Гюгель (*подходит к авансцене*). Честолюбец ушел, но (*оглядывается*) не бывать ему товарищем! Это место принадлежит мне! Клянусь своим рангом, я сыграю ему такую ⟨штуку⟩, что министр плодородия будет смотреть на него — с омерзением!.. (*Забирает бумаги и уходит.*)

ДЕЙСТВИЕ II

⟨Сцена первая⟩

(Кабинет министра плодородия).

Министр плодородия (*один*). Многие думают, что я достиг высшей точки почестей и завидуют мне. Глупая толпа ползающих рабов! Они не знают, что человек истинно великий, истинно государственный, никогда ничем не доволен... Что мне в этом министерстве? Это — песчинка на берегу морском! Я заберу в руки еще министерство здоровья. Надобно только найти такого товарища, который был бы слепым моим орудием, в котором были бы преданность и усердие; тогда я взвалю на него все

плодородие и — хватаюсь за здоровье!.. Но где этот товарищ? Слишком способного мне не надо; ленивца также не хочу; нужен человек работящий и — который бы мне удивлялся... Удивлять я могу, за этим дело не станет! Биенинтенсионне говорил мне о каком-то де Лагероньере, но этим полковникам верить нельзя; у них есть задняя мысль,— пожалуй, прикомандирует соглядатая? Вот если бы мне самому увидеть этого де Лагероньера, я бы сразу отгадал человека; но посылать за ним нет предлога, а ехать к нему своим лицом — неприлично!.. Не знаю что делать?

(*Входит человек с письмом.*)

Это что? Ба! От самого де Лагероньера! (*читает*). «Что есть лучшего?» Гм! Гм!.. «Желтый цвет лица... прыщик... вселяет подозрение».— Это правда! —«Будущность страны... сыну отечества... содействовать... мудрым предначертаниям... с совершенным почтением».— Мне нравится слог. Хороший образ мыслей. Образ мыслей отличный! Может быть, он подделывается под меня, но это доказывает преданность, это хорошо. Да кроме того, в письме видна глупая наивность. Таких людей я люблю, такого мне и нужно, я не мог бы отыскать лучшего. Теперь надо его чемнибудь обязать, чтоб возбудить удивление и благодарность и тем навсегда привязать его... Что бы ему сделать? Подарить ему мои старые эполеты, когда я был еще военным? Он будет благодарен, но это не удивит его, этому бывали примеры... Ба! Нашел! Поеду к нему своим лицом! Этой чести он не ожидает и никогда не забудет... Эй! Человек! карету!.. Поеду своим лицом и — привезу эполеты... Удивлять, так удивлять! Обязать, так обязать! Карету, говорю я!

Входит полковник Биенинтенсионне.

Сцена вторая

Биенинтенсионне. Извините, милый друг, что без доклада! Хотел застать вас — за работою! Так приятно видеть государственного человека в своем святилище... (*Подходит к письменному столу.*) Вечные занятия? Вечные соображения о благе нашего любезного отечества! (*Министр плодородия поспешно прячет бумаги.*) Что это? Недоверие! Стыдитесь, любезный друг, иметь от меня секреты! Мы должны идти рука об руку, должны служить одному делу, вместе обуздать безумное направление века!

Министр плодородия. С этим я согласен.

Биенинтенсионне. Задача трудная! Волнение умов и запутанность понятий удивительные! Хорошие люди редки, настоящее понятие о чести и долге все более исчезает. (*Таинственно и многозначительно.*) Я в настоящее время знаю очень немногих благонадежных,— остальные почти все у нас вписаны. Скоро придется вписать и последних. Исключаю одного, именно: г. де Лагероньера. Это человек золотой; этот бы и вам пригодился.

Министр плодородия (*в сторону*). Хоть я и решил взять его в товарищи, но сделаю это будто в угождение полковнику. Эта каналья может пригодиться. Et de cette maniere je ⟨lancerai⟩ d'une pierre deux coups*; — и его также обяжу благодарностью, таковы мои правила! (*Громко.*) Конечно, может быть, г. де Лагероньер человек очень достойный, но я уже выбрал себе товарища и не располагаю более этим местом. (*В сторону.*) Il faut se faire prier**.

---

* И таким образом, одним ударом я убью двух зайцев (франц.).
** Нужно заставить себя попросить хорошенько (франц.).

Биенинтенсионне. Что слышу, любезный друг, вы взяли товарища, не посоветовавшись со мною? Вы на меня плюете! (*Грозит ему пальцем.*) «Не плюй в колодезь!»

Министр плодородия. Что же делать, я дал слово.

Биенинтенсионне. Вольному воля, спасенному рай! Кстати о воле; помните ли, друг мой, ваше прекрасное стихотворение о воле, или о свободе, которое вы написали, когда были еще учеником политехнической школы? Оно начинается так:

«Народов идеал, свобода золотая!»

Министр плодородия (*с испугом*). Полноте, полноте! Мне было семнадцать лет, когда я написал эту глупость!

Биенинтенсионне (*декламирует*). «Семнадцать только лет, не более того!» (*Шутливо*). Ce qui est différé n'est pas perdu...*

Министр плодородия (*в сторону*). Этот аспид мне угрожает; моя хитрость не удалась, надобно сдаться... Но как они узнали это проклятое стихотворение, которое я сам давно забыл?

Биенинтенсионне (*декламирует*). «Народов идеал, свобода золотая...»

Министр плодородия. Ради бога, полковник, перестаньте; нас могут услышать... Если вы ручаетесь за вашего де Лагероньера, мне достаточно вашего желания, чтобы сделать вам приятное. Мне ничего не стоит взять назад данное честное благородное слово и сделать товарищем де Лагероньера.

Биенинтенсионне (*целует его взасос*). Драгоценный вы мой друг! Благодарю вас, я этого никогда не забуду! А де Лагероньер будет служить вам верой и правдой!

Министр плодородия (*жмет ему обе руки*). Для любезнейшего полковника сделаю более: поеду сам к де Лагероньеру и подарю ему пару своих старых эполет, когда еще был военным!..

Биенинтенсионне (*хитро*). Учеником политехнической школы?

Министр плодородия (*в сторону*). Аспид, свинья!

Биенинтенсионне (*целует его взасос*). Благодетель вы мой, этого никогда не забуду! (*В сторону.*) Струсил, подлец! И тебя впишу, коли обманешь! (*Громко.*) Истинно, истинно глубоко вам благодарен.

Министр плодородия. Да посидите немножко, побеседуемте, поговоримте о чем-нибудь. Ваша беседа поучительна и драгоценна для всякого государственного человека.

Биенинтенсионне. Не могу, мамочка, спешу в министерство народного подозрения. (*Уходит.*)

Министр плодородия (*кричит*). Карету, как сказано выше!

ДЕЙСТВИЕ III

Магазин Пино

(Пино, Гюгель, разные покупщики; спустя несколько времени входит Биенинтенсионне).

Гюгель. Неаполитанского мыла — фунт. Казанского — три фунта. Лоделавану большую склянку. Завернули?

* То, что отсрочено — не потеряно (франц.).

Пино. Завернул-с.

Гюгель (*скороговоркой*). Красного перцу — фунт, крепкой водки — склянку, серной кислоты — две склянки; поскорей заверните особо.

(Входит Биенинтенсионне и слышит последние слова).

Биенинтенсионне (*в сторону*). «Заверните особо!» Все едкие вещества, гм! (*К Пино*). Пожалуйста, почтеннейший, сургучей разных цветов и нюансов. Да самого чистого желтого воску.

Пино. Вам для спуску-с?

Биенинтенсионне. Нет, снимать слепки с печатей.

Пино (*подает ему*). Три рубля семьдесят пять копеек.

Биенинтенсионне (*берет сверток и не платит*). Хорошо.

Гюгель (*к Биенинтенсионне*). Полковник, позвольте два слова.

Биенинтенсионне (*берет его под руку и отводит на авансцену*). Благородный молодой человек! Говорите смело, не жалейте ни отца, ни матери; я ваш истинный друг и приятель! Тайна останется между нами, я даю вам благородное слово! Ваш откровенный поступок не останется без внимания. Кого вы заметили в вольнодумстве?

Гюгель. Нет-с, я не о том.

Биенинтенсионне (*целует его взасос*). Я вам второй отец! Как ваше имя? Кто вы такой?

Гюгель. Секретарь господина де Лагероньера, Модест Гюгель, к вашим услугам.

Биенинтенсионне. Де Лагероньера! Это мой приятель; мы всегда крестим друг у друга детей. Итак, вы что-нибудь про него знаете? Говорите откровенно.

Гюгель. Я готов все положить на алтарь отечества.

Биенинтенсионне (*целует его взасос*). Я это знал; я в тебе не ошибся! Итак?..

Гюгель. Г. де Лагероньер человек неблагонадежный...

Биенинтенсионне. Я это знаю.

Гюгель. Здоровья плохого.

Биенинтенсионне. Самого скверного.

Гюгель. Весь в прыщах.

Биенинтенсионне. Конечно, но я их не заметил.

Гюгель. Они покажутся завтра.

Биенинтенсионне. Как завтра?

Гюгель. Завтра он будет весь в прыщах.

Биенинтенсионне. К чему это клонится?

Гюгель. Может ли человек в прыщах быть товарищем министра плодородия?

Биенинтенсионне. Будут, конечно, затруднения. Но что же вы полагаете?

Гюгель. Полковник, у меня цвет лица чист, я все готов положить на алтарь отечества. Скажите за меня слово министру, и я буду товарищем.

Биенинтенсионне. Благородный молодой человек! Ваше желание показывает сметливость. Если ваше усердие равняется оной, обещаю за вас хлопотать. Но согласны ли вы быть моим соглядатаем при министре?

Гюгель. Все положу на алтарь отечества!

Биенинтенсионне (*целует его взасос*). Ты будешь товарищем! (*В сторону.*) А едкие вещества, завернутые особо, я все-таки не забыл! Буду иметь в виду.

Оба выходят.

ДЕЙСТВИЕ IV

(Спальня де Лагероньера. Де Лагероньер сидит в ванне*. Возле него на стуле Гюгель).

Де Лагероньер (*высовывая голову из ванны*). Прибавь лоделавану. Так. Неаполитанское распустил?

Гюгель. Распустил, ваше превосходительство.

Де Лагероньер. А казанское?

Гюгель. И казанское, ваше превосходительство.

Де Лагероньер. Прибавь лоделавану. Что, цвет лица лучше?

Гюгель. Заметно поправляется, ваше превосходительство.

Де Лагероньер. Прибавь лоделавану, не жалей его, мошенника. А как, сколько сидеть на отрубях? Что, брат Гюгель, они зашиты в мешки?

Гюгель. В наволочке, ваше превосходительство.

Де Лагероньер. А если наволочка прорвется?

Гюгель. Не дай бог! ваше превосходительство!

Де Лагероньер. То-то, не дай бог! Если прорвется, я тебя, братец, прогоню! Не забудь, что у тебя жена и семеро детей; куда ты с ними денешься?

Гюгель. Боже сохрани, ваше превосходительство, чтоб прорвалась! Вы только не извольте ездить на мешке.

Де Лагероньер. Дурак, я езжу только в карете! Советую тебе не забываться. Прибавь лоделавану.

Гюгель (*в сторону*). Бездушный честолюбец! (*Бросает что-то в ванну и говорит скороговоркой*): Красный перец!

Де Лагероньер. Что ты сказал?

Гюгель. Я говорю, что ваше превосходительство наш второй отец.

Де Лагероньер. То-то, второй отец. Прибавь кипятку! (*Гюгель льет.*) На ноги льешь, на ноги льешь! Смотри, только ошпарь их!

Гюгель (*льет еще что-то в ванну, говоря в сторону*). Крепкая водка!

Де Лагероньер. Что ты говоришь?

Гюгель. Я сказал: какое благоденствие осенит наше любезное отечество, когда ваше превосходительство сделаетесь товарищем министра плодородия.

Де Лагероньер. Ты, кажется, не то сказал? Мыла прибавь.

Гюгель (*льет и говорит скороговоркой*). Серная кислота!

Де Лагероньер. Что ты говоришь?

Гюгель. Я говорю, что нет на свете государства свободнее нашего, которое, наслаждаясь либеральными политическими учреждениями, повинуется вместе с тем малейшему указанию власти.

Де Лагероньер. Это правда.

Гюгель. Кожа вашего превосходительства заметно делается нежнее. (*В сторону.*) Завтра будешь в прыщах!

Де Лагероньер. Однако твоя наволочка что-то очень растопырилась, я насилу держу равновесие... Смотри, если отруби выскочат! Ты у меня висишь на волоске...

Гюгель. Не извольте беспокоиться.

Де Лагероньер. Что, брат Гюгель, думал ли ты когда-нибудь, что мы будем товарищем? А? Каково? А ведь от какой безделицы зависит иногда счастье человека! Не будь у меня средства купить косметики для приобре-

* Для этого актеру не следует в самом деле раздеваться и садиться в воду; оно было бы на сцене неприлично. Он может, сев в сухую ванну, накрыть оную простыней, из-под коей выставить только мокрую голову и шею без галстука и такую руку. В ногах должно поместить в ванне ведра, в кои и вливать воду, будто в ванну. Так представляли мои дети на домашнем моем театре, и вышло очень хорошо.— *Прим. Козьмы Пруткова.*

тения здорового цвета лица, вскочи у меня завтра хоть единый прыщик на лбу — и все пропало!

Гюгель. Все лопнуло, ваше превосходительство.

Де Лагероньер (*с испугом*). Как лопнуло? Что лопнуло?..

Гюгель. Не будет удачи, ваше превосходительство.

Де Лагероньер. А, да... А я думал ты говоришь про мешок!

Гюгель. Про оный вы лучше изволите знать, ваше превосходительство, потому он под вами.

Де Лагероньер. Подай зеркало. Да кто там ходит в боскетной? Поди, посмотри.

Гюгель (*идет и возвращается*). Ваше превосходительство, ваше превосходительство!.. Его высокопревосходительство, сам министр плодородия изволили приехать!..

Де Лагероньер. Быть не может... Врешь!..

Гюгель. Провались я сквозь землю, вместе с вами, ваше превосходительство, если говорю неправду!..

Де Лагероньер. Боже мой, как быть!.. Простыню!..

Голос министра плодородия (*за дверью*). Без церемоний, почтеннейший господин де Лагероньер, если вы в халате, оставайтесь в оном.

Де Лагероньер. Ах, что делать?!.. Счастливая мысль! Приму его в ванне: это означает заботливость о здоровье,— он будет доволен!.. Что бы мне ему сказать?! Ба! он любит веселое расположение духа,— так затяну же я песенку, будто не знаю, что он здесь! (*Поет.*) «При долинушке стояла...»

Голос министра. Я к вам за небольшим делом.

Де Лагероньер (*будто не слышит, продолжает «Калину ломала!»*).

Голос министра. Да позвольте же войти!

Де Лагероньер (*по-прежнему*). «Ты поди, моя коровушка, домой!»

Голос министра. Милостивый государь, вы забываетесь!..

Де Лагероньер (*продолжает*). «Ты поди, поди, недоенная!..»

Голос министра. Нет, это уж слишком!..

Сам министр (*отпирает дверь и видя де Лагероньера в ванне, останавливается в восхищении*). Усладное зрелище! Мой будущий товарищ — в ванне!..

Де Лагероньер (*хочет выскочить из ванны*). Ваше превосходительство, не нахожу слов!.. Я в таком замешательстве!..

Министр (*бросается к нему и удерживает его в ванне*). Сидите, сидите, мой милый, мне вчуже приятно!..

Де Лагероньер. Такое неожиданное посещение!.. (*Хочет выскочить.*)

Министр (*удерживает его за плечи*). Говорю — сидите; мне приятно видеть подчиненного в мыле!.. Поговоримте лучше о деле... (*Садится около ванны.*) Вы хотите быть моим товарищем? Какой у вас взгляд на вещи?

Де Лагероньер. Я более смотрю на них косвенно.

Министр. Это хорошо. А направление века?

Де Лагероньер. Можно дать другое направление.

Министр. Это необходимо. Когда я займусь министерством здоровья, то поручу вам плодородие. Дайте ему совершенно другое направление.

Де Лагероньер. В каком смысле я должен понимать?..

Министр. В самом прямом смысле. Плодородие должно зависеть от министерства, т. е. от меня. Я не хочу, чтобы в нашем отечестве что-либо росло и рождалось без моего позволения. О всех посевах надо

будет представлять мне смету на утверждение. Без моего ведома чтоб никто не смел посеять ниже́ крес-салату. Все, что вырастает мимо меня — вон!

Де Лагероньер. Это показывает глубокую заботливость вашего превосходительства.

Министр. Таков мой взгляд. Куры, яйца, свиноводство и даже самое движение народонаселения, понимаете, должно подлежать моему надзору. Все, что будет сверх сметы — вон! Я на вас надеюсь, и в знак моего расположения я привез вам мои старые эполеты. Положите их под стекло.

Де Лагероньер (*хочет вскочить*). Такая неожиданная милость, ваше высокопревосходительство...

Министр. Сидите, сидите.

Де Лагероньер. Не могу, не могу; слишком великая милость!.. (*Хочет выскочить; между ними начинается борьба; Гюгель заграждает их ширмами; из-за ширм слышны голоса.*)

Голос министра. Таки выскочил пострел!

Голос де Лагероньера. Обнимая ваше высокопревосходительство, я обнимаю все отечество!

Голос министра. Тьфу! перестаньте, вы мокры и в отрубях!..

Голос де Лагероньера. Значит, прорвалась наволочка!.. Я прогоню Гюгеля!.. Позвольте обнять ваше высокопревосходительство!

Слышна борьба.

Голос Биенинтенсионне (*тоже за ширмами*). Извините, господа, что без доклада... Ах, какой срам!.. Да наденьте хоть простыню!..

Гюгель отодвигает ширмы. Те же и Биенинтенсионне. Де Лагероньер в простыне.

Биенинтенсионне. Странное зрелище, странные проступки!

Де Лагероньер. Полковник, я рад видеть вас! Порадуйтесь моему счастью! Министр дал мне слово — я буду его товарищем; — вот его эполеты!..

Биенинтенсионне. Долг чести повелевает мне, драгоценный друг, воспрепятствовать этому: вы поступили безнравственно, выскочив из ванны; — безнравственный человек не может быть назван товарищем!

Де Лагероньер. Что я слышу?.. Вспомните, полковник, вы у меня крестили детей!..

Биенинтенсионне. Тем паче! Не пожалею ни отца, ни матери для блага службы.

Министр плодородия (*вглядывается в де Лагероньера*). Боже! Что я вижу! 25 прыщей на лбу! Ты меня надул, ты заговорщик!.. Никогда не будешь моим товарищем, — отдай назад эполеты!.. Полковник, я беру свое честное благородное слово назад — я буду иметь другого товарища!

Биенинтенсионне. Не беспокойтесь. Вам более товарищ не нужен. Вы более не будете министром. По долгу чести я предъявил ваше стихотворение: «Народов идеал, свобода золотая!»

Министр. Что я слышу?

Гюгель (*подходит к полковнику*). Итак, теперь товарищем буду я? У кого я буду соглядатаем?

Биенинтенсионне (*торжественно и строго*). Когда нет министра, нет и товарища! — Ты, злонамеренный, подлежишь уничтожению за то, что подмешал едкие вещества в ванну своего благодетеля... — Все вы вольнодумцы, всех вас следует вписать, но — это не мешает нам оставаться в коротких дружеских отношениях. Друзья мои! позвольте утереть слезу сострадания и расцеловать вас! (*Утирает слезу сострадания и подходит поочередно к каждому с распростертыми объятьями.*) Теперь прощайте! Еду в министерство подозрения, — там впишу Пино за прода-

жу едких веществ. А потом — подарю в своем лице нашему любезному отечеству кандидата в министры — и здоровья и плодородия. (*Уходит.*)

Немая картина. Занавес опускается.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ниже публикуется неизвестная сатира К. Пруткова на славянофилов — «Современная русская песнь».

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПЕСНЬ

Уж как мы ль, друзья, люди русские!..
Всяк субботний день в банях паримся,
Всякий божий день жирны щи едим,
Жирны щи едим, гречневку лопаем,
Всё квaском родным запиваючи,
Мать святую Русь поминаючи,
Да любовью к ней похваляючись,
Да всё русскими называючись...
И как нас-то все бранят попусту,
Что ничего-то мы и не делаем,
Только свет коптим, прохлаждаемся,
Только пьем-едим, похваляемся...
Ах, и вам ли, люди добрые,
Нас корить-бранить стыдно б, совестно:
Мы работали б, да хотенья нет;
Мы и рады бы, да не хочется;
Дело плевое, да труда бежим!..
Мы труда бежим, на печи лежим,
Ходим в мурмолках, да про Русь кричим,
Всё про Русь кричим, — вишь, до охрипу!
Так еще ль, друзья, мы не русские?!..

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Белинский — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. I—XII. М., изд. АН СССР, 1953—1956.

Герцен — Полное собрание сочинений и писем А. И. Герцена. Под редакцией М. К. Лемке, т. I—XXII. Пг.—Л., 1919—1925.

Герцен АН — А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. I—XII. М., изд. АН СССР, 1954—1957.

Добролюбов — Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений в шести томах под общей редакцией П. И. Лебедева-Полянского. М., ГИХЛ, 1934—1941.

Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в шестнадцати томах. М., ГИХЛ, 1939—1953.

Щедрин — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений ⟨в двадцати томах⟩. Л., ГИХЛ, 1933—1941.

ГИМ — Государственный Исторический музей (Москва).

ГПБ — Государственная Публичная библиотека РСФСР имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).

ЛБ — Государственная Библиотека СССР имени В. И. Ленина (Москва).

ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов (Москва).

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.

ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив в Москве.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ*

Составила Н. Д. Эфрос

I. КНИГИ С ПОМЕТАМИ В. И. ЛЕНИНА И КАРЛА МАРКСА

Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность. СПб., 1909. Экземпляр с пометами В. И. Ленина. Титул. лист и страницы книги. ИМЛ — стр. 13, 21, 31, 39, 57.

Добролюбов Н. А. Сочинения, т. I. СПб., 1862. Экземпляр с пометами К. Маркса. Конец 1871 г. Титул. лист и страница книги. ИМЛ — стр. 261.

Салтыков М. Е. (Щедрин). Убежище Монрепо. СПб., 1880. Экземпляр с пометами К. Маркса. Титул. лист и страница книги. ИМЛ — стр. 505.

Чернышевский Н. Г. Письма без адреса. Цюрих, изд. журнала «Вперед», 1874. Экземпляр с пометами К. Маркса. Титул. лист и страница книги. Воспр. с негатива, хранящегося в ИМЛ — стр. 167.

II. ПОРТРЕТЫ

Анненков П. В. Фото, 1860-е годы. ЦГАЛИ — стр. 545.

Боткин В. П. Акв. К. А. Горбунова, начало 1840-х годов. ИРЛИ — стр. 549.

Добролюбов Н. А. Фото 1857 г. с дарственной надписью Чернышевского (на обороте) П. И. Бокову. ЦГАЛИ — стр. 226, 227.

Каблуков А. Ф. Фото, 1870-е годы. Частное собр., М. — стр. 521.

Салтыков М. Е. Фото с дарственной надписью П. В. Анненкову от 14 марта 1857 г. ЦГАЛИ — стр. 455.

Салтыков-Щедрин М. Е. Шарж.— «Галерея знаменитых современников», конец 1870 — начало 1880-х годов — стр. 487.

Салтыков-Щедрин М. Е. Бюст работы П. П. Забелло, 1878 г. Рис. автора, 1882 г. ГПБ — стр. 367.

Салтыков-Щедрин М. Е. Бюст (мрамор) работы П. Ф. Мовчуна, 1952 г. Музей укр. искусства, Киев — стр. 285.

Слепцов А. А. Фото, 1890-е годы. ЦГАЛИ — стр. 673.

Сохачевский А. Автопортрет. Эскиз маслом, 1863—1882 гг. ИМВ — стр. 693.

Чернышевский на каторге. Портрет маслом, написанный по зарисовкам с натуры польским художником А. Сохачевским. Фрагмент эскиза к картине «Прощание с Европой», 1863—1882 гг. ИМВ — вклейка между стр. 6—7.

Чернышевский на каторге. Портрет маслом на эскизе к картине «Прощание с Европой» польского художника А. Сохачевского, 1863—1882 гг. ИМВ — стр. 109.

Чернышевский Н. Г. Грав. портрет, помещенный в редактировавшемся В. Либкнехтом социал-демократическом журнале «Die Neue Welt», 1876, № 11 — стр. 173.

Чернышевский на каторге. Портрет маслом польского художника А. Сохачевского. Фрагмент картины «Прощание с Европой», 1883—1887 гг. ИМВ — стр. 139.

Чернышевский на смертном одре. Фото И. М. Егерева. На обороте надпись О. С. Чернышевской, свидетельствующая, что фотография была подарена ею О. М. Антонович 24 декабря 1889 г. ИРЛИ — стр. 115.

---

* Список условных сокращений:

Государственная ордена Ленина библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва — ЛБ.
Государственная ордена Трудового Красного Знамени Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград — ГПБ.
Государственный Исторический музей, Москва — ГИМ.
Государственный Литературный музей, Москва — ГЛМ.
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов — МЧ.
Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Москва — ИМЛ.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград — ИРЛИ.
Историческая библиотека города Парижа — ИБП.
Исторический музей в Варшаве — ИМВ.
Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва — ЦГАЛИ.
Центральный государственный исторический архив, Москва — ЦГИАМ.

ГРУППОВЫЕ ПОРТРЕТЫ

III. АВТОГРАФЫ

IV. ДОКУМЕНТЫ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ

Распоряжение властей о закрытии в Петербурге народных читален и Шахматного клуба, одним из учредителей которого был А. А. Серно-Соловьевич. — «Русский инвалид» от 8 июня 1862 г.— стр. 705.

Перлюстрационная копия письма А. И. Герцена к А. А. Черкесову от 8 февраля 1863 г. с приписками Н. П. Огарева и М. А. Бакунина. В письме упоминается А. А. Серно-Соловьевич. ЦГИАМ — стр. 743.

Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ

Памятная записка от 14 июля 1864 г., составленная для шефа жандармов и начальника III Отделения В. А. Долгорукова при представлении ему перехваченной революционной переписки, в том числе письма Н. А. Серно-Соловьевича к брату Александру. ЦГИАМ — стр. 747.

Копия перехваченного III Отделением письма из Алексеевского равелина к брату Александру, представленная Серно-Соловьевичу при допросе 20 июля 1864 г. Первый лист. ЦГИАМ — стр. 751.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Объявление об отъезде Чернышевского за границу.— «С.-Петербургские ведомости» от 20 июня 1859 г., отдел «Судоходство» — стр. 125.

Список политических заключенных, находившихся в Алексеевском равелине 1 августа 1862 г. В списке значатся Н. Г. Чернышевский, Н. А. Серно-Соловьевич и П. А. Ветошников. ЦГИАМ — стр. 687.

Рукописный библиографический указатель сочинений Чернышевского, составленный Н. Я. Агафоновым, 1871 г. Первый лист. Музей Татарской АССР, Казань — стр. 217.

Объявление с призывом к студентам Казанского университета собраться на сходку для обсуждения петиции об освобождении Чернышевского, 1881 г. Архив Татарской АССР, Казань — стр. 219.

Извещение астраханского губернатора от 14 июня 1889 г., направленное губернатору в Саратов в связи с переездом туда Чернышевского. К извещению приклеена фотографическая карточка Чернышевского, снятая в астраханском жандармском управлении в 1883 г. ЦГАЛИ — стр. 160.

А. П. ЩАПОВ

Список речи Щапова, произнесенной 16 апреля 1861 г. на панихиде по убитым крестьянам в селе Бездна, сохранившийся в делах III Отделения. ЦГИАМ — стр. 659.

Список письма Щапова к П. П. Вяземскому от 8 октября 1861 г., сделанный для А. И. Герцена 7 января 1862 г. Обложка, первый и последний листы списка. «Софийская коллекция». ЛБ — стр. 653, 655.

V. КНИГИ С ДАРСТВЕННЫМИ НАДПИСЯМИ

Добролюбов Н. А. «Собеседник любителей российского слова». Статья первая. Оттиск из «Современника», 1856, № 8. С дарственной надписью И. И. Срезневскому. ГЛМ — стр. 253.

Салтыков М. Е. (Щедрин). Помпадуры и помпадурши. СПб., 1879. С дарственной надписью сотруднику «Отеч. зап.» В. А. Тимирязеву. ЦГАЛИ — стр. 501.

Чернышевский Н. Г. Опыт словаря к Ипатьевской летописи. СПб., 1853. С дарственной надписью П. П. Пекарскому. ЦГААИ — стр. 93.

Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности. СПб., 1855. С дарственной надписью Н. М. Благовещенскому. ГЛМ — стр. 101.

Чернышевский Н. Г. Дарственная надпись П. П. Пекарскому на статье А. Н. Пыпина «Очерки из старинной русской литературы». Статья вторая. Оттиск из «Отеч. зап.», 1855, т. CII. ЦГАЛИ — стр. 97.

Чернышевский Н. Г. Лессинг. Его время, его жизнь и деятельность. СПб., 1857. С дарственной надписью Н. М. Щепкину. ГЛМ — стр. 103.

Чернышевский Н. Г. Дарственная надпись О. И. Фельдману от 3 октября 1886 г. на обложке одного из томов перевода «Всеобщей истории Вебера». Вклеена в альбом Фельдмана. ЦГАЛИ — стр. 161.

VI. ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. Е. САЛТЫКОВА (ЩЕДРИНА), А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА, Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, СТАТЬИ О НИХ И ДРУГОЙ ПЕЧАТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ИЗДАНИЯ, УПОМИНАЕМЫЕ В АНОНИМНЫХ РЕЦЕНЗИЯХ, ПОМЕЩЕННЫХ В «СОВРЕМЕННИКЕ» И «ОТЕЧ. ЗАПИСКАХ» 1847—1848 гг. И ПРИПИСЫВАЕМЫХ М. Е. САЛТЫКОВУ

VII. ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ М. Е. САЛТЫКОВА (ЩЕДРИНА)

ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР

Рисунки М. О. Микешина к предполагавшемуся изданию сказки, 1892 г. Обложка. Рисунки к текстам: «Сказывали шел мимо деревни солдатик...»; «Общество, собравшееся в усадьбе помещицы...», «Она вынула десятирублевую бумажку...». ЦГАЛИ — стр. 341, 344, 345, 347.

ПОХОРОНЫ

Акв. С. В. Герасимова, 1939 г. ГЛМ — стр. 517.

КОНЯГА

Сепия Н. В. Фаворского, 1939 г. ГЛМ — стр. 535.

VIII. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И ВИДЫ

Астрахань. Общий вид. Фото, 1880-е годы. МЧ — стр. 159.

Астрахань. Канава — район, в котором жил в 1884—1887 гг. Н. Г. Чернышевский. Фото. Воспр. по негативу фототеки ГЛМ — стр. 159.

План расположения дома Абхарова в Астрахани, сделанный Н. Г. Чернышевским для сына, М. Н. Чернышевского, в мае 1884 г. при переезде в этот дом. ЦГАЛИ — стр. 158.

Памятник на могиле А. П. Щапова в Иркутске. Фото 1956 г.— стр. 663.

Казань. Вид на Кремль. Картина маслом А. Н. Раковича, 1861 г. ГИМ — стр. 131.

Нижний-Новгород. Вид от Макарьевской ярмарки; Макарьевская ярмарка. [illegible] П. Дитца, 1842 г. ГИМ — стр. 271.

Ницца. Грав. Фрэпона из книги: Henry M o n t a u t. Voyage au pays enchanté. Paris, 1880 — стр. 533.

Публичная библиотека в Петербурге. Зал редких изданий. Литогр. В. Дарленга.— Путеводитель по имп. Публичной библиотеке. СПб., 1852 — стр. 267.

Дом А. М. Никольского на Соборной улице в Саратове (ныне не существующий), где провел последние месяцы жизни и умер Н. Г. Чернышевский. Фото.— «Исторический вестник», 1905, декабрь — стр. 113.

Дом (теперь не существующий) в селе Спас-Угол Калязинского уезда, Тверской губернии, в котором родился и провел детские годы М. Е. Салтыков. Фото 1900-е гг. Истор. музей г. Дмитрова — стр. 525.

МЕСТА КАТОРГИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Сцены из быта населения Александровского завода, где в 1866 — 1871 гг. отбывал каторжные работы Чернышевский. Рис. неустановл. польского полит. ссыльного, 1865—1866 гг. «Группа бурят в национальных костюмах, продающих чай»; «Тунгуссы и бурята»; «Тунгусская и бурятская езда». ЦГИАМ — стр. 155.

«Вид озера Байкал у истоков реки Ангары». Здесь проходил путь из Иркутска в Нерчинск, по которому летом 1864 г. проезжал Чернышевский. Рис. неустановл. польского полит. ссыльного, 27 октября 1865 г. ЦГИАМ — стр. 149.

Солеваренный завод в селе Иркутское Усолье. Первоначальное место каторжных работ Чернышевского. Вид с левого берега Ангары на Варничный остров. Акв. неустановл. польского полит. ссыльного, 1866 г. ЦГИАМ — стр. 143.

Солеваренный завод в селе Иркутское Усолье. Первоначальное место каторжных работ Чернышевского. Рис. польского полит. ссыльного Ст. Катерла, 1865—1866 гг. Вид с левого берега Ангары на Барничный остров; то же с правого берега Ангары; вид на село Иркутское Усолье с левого берега Ангары; Вид с Барничного острова. Казарма; то же — на Барничном острове. Больница. Школа. Костел. ЦГИАМ — стр. 145, 146, 147, 148.

План камеры в казарме Иркутского Усолья. Рис. неустановл. польского полит. ссыльного, 1865—1866 гг. ЦГИАМ — стр. 156.

Виды Кадаи, где в 1864—1866 гг. отбывал каторжные работы Чернышевский. Тюрьма. Сопка, на которой был расположен рудник; тюрьма и рудник. Рис. неустановл. польского полит. ссыльного, 1866 г. ЦГИАМ — стр. 150, 151.

Виды Кадаи. Виньетки на почтовой бумаге. Рис. неустановл. польского полит. ссыльного, 1866 г. МЧ — стр. 152, 153.

КАТОРГА В ИЗОБРАЖЕНИИ ПОЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА, ПОЛИТИЧЕСКОГО ССЫЛЬНОГО А. СОХАЧЕВСКОГО

Гражданская казнь; наказание плетьми. Рис. углем, 1863—1882 гг. ИМВ — стр. 210, 211.
Заковывание в кандалы. Картина маслом, 1863—1882 гг. В каторжанине, которого заковывают в кандалы, художник изобразил себя самого. ИМВ—стр. 127.
На каторгу. Картина маслом, 1863—1882 гг. ИМВ — стр. 127.
«Последняя тачка». Картина маслом, 1863—1882 гг. ИМВ — стр. 757.
«Прощание с Европой». Картина маслом. Фрагмент. 1883—1887 гг. ИМВ — стр. 749.
Эскиз маслом к картине «Прощание с Европой», 1863—1882 гг. Женщина, изображенная на картине,— Анна Гудзинская, приговоренная к каторжным работам за участие в польском освободительном движении. ИМВ — стр. 692.

IX. ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

Баррикады в Париже, после победы февральской революции 1848 г.— «Illustrierte Zeitung» от 28 апреля 1848 г. — стр. 583.
Вторжение народа в зал Национального собрания в Париже 15 мая 1848 г.— «The Illustrated London News» от 20 мая 1848 г.— стр. 585.

X. КАРИКАТУРЫ

«Неожиданная гостья». Карикатура на чиновников, испуганных неожиданным появлением Фемиды (правосудия). Рис. И. Ф. Шестакова, литогр. А. Т. Скино, 1858 г. ГИМ — стр. 361.
Карикатура на либеральствующих чиновников. Грав. П. Куренкова с рис. Г. Полтавцева.— «Искра», 1859, № 47 — стр. 357.
«Рассуждения о гласности в провинции».— «Искра», 1860, № 11 — стр. 578, 579.
«Посредник в мировой сделке». Запрещенная карикатура, предназначавшаяся для «Искры», начало 1860-х годов. ГИМ — стр. 475.
«Либерал, сделавшийся министром». Рис. Н. В. Иевлева.— «Гудок», 1862, № 19 — стр. 761.
«Баланс в руках опытного журналиста». Карикатура, направленная против беспринципных журналистов. — «Искра», 1864, № 35 — стр. 383.
«Читатель „Московских ведомостей" и читатель „Эпохи"». Карикатура из цикла «Читатели газет и журналов». Грав. с рис. А. Н. Бордгелли.— «Искра», 1864, № 44 — стр. 393.
«Стрижи мелькают». Карикатура на журнал братьев Достоевских «Эпоха». Грав. Русица.— «Искра», 1865, № 1 — стр. 377.
Карикатура на Каткова и его газету «Московские ведомости».— «Будильник», 1865, № 35 — стр. 349.
Карикатура, высмеивающая «либерализм» пореформенного чиновничества. Грав. П. Куренкова с рис. А. Антоновича. Из цикла «В болоте». — «Будильник», 1869, № 42 — стр. 397.
«Дружно гребите, во имя прекрасного, против течения!..». Сатирический отклик на борьбу прогрессивной печати с реакционной журналистикой. Среди изображенных лиц М. Е. Салтыков-Щедрин и М. М. Стасюлевич. Рис. М. М. Чемоданова.— «Фаланга», 1881, № 37 — стр. 497.
«Борьба за существование». Сатирический отклик на положение периодической печати в начале 1880-х годов. Рис. неустановл. художника.— «Осколки», 1883, № 2 — стр. 507.
«Современная картинка.' Пресса в прессе». Рис. М. М. Чемоданова в альбоме О. И. Фельдмана, 1889 г. ЦГАЛИ — стр. 399.
«Фантастическая сценка на литературном кладбище». Рис. М. М. Чемоданова в альбоме О. И. Фельдмана, 1889 г. ЦГАЛИ — стр. 399.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Составил А. Д. Левин

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ, ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ И РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 1840—1860-х ГОДОВ

В ТОМЕ 179 ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ОДНА ВКЛЕЙКА

«Литературное наследство», том 67

*

Утверждено к печати
Отделением литературы и языка
Академии наук СССР

*

Редактор издательства *А. Т. Лифшиц*
Технический редактор *Г. Н. Шевченко*
Корректор *В. Г. Богословский*

*

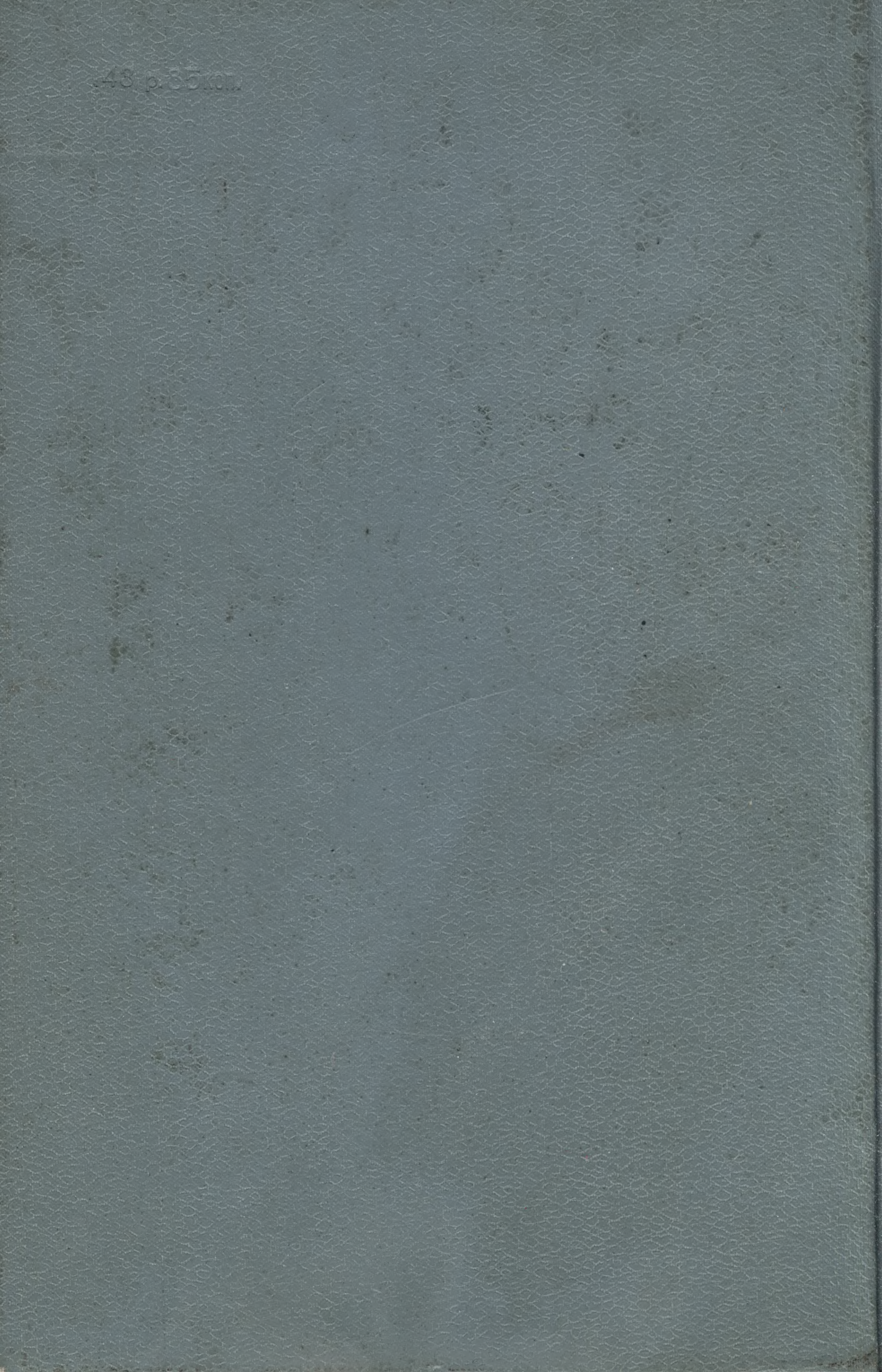
РИСО АН СССР № 1—96В. Сдано в набор 21/VIII 1958 г.
Подп. в печать 18/XII 1958 г. Формат бум. $70\times108^1/_{16}$.
Печ. л. 50,25+1 вкл. Усл. п. л. 68,8.. Уч.-изд. лист. 69,6. Т-13210
Тираж 5000 экз. Издат. № 3215. Тип. заказ 872.

Адрес редакции: Москва, Г-19, Волхонка 18.
Телефон Г 5-29-66

Цена 43 руб. 85 коп

Издательство Академии наук СССР, Москва Б-64,
Подсосенский пер., д. 21

2-я типография Издательства АН СССР. Москва, Г-99,
Шубинский пер., д. 10


43 р. 35 коп.